С 32
К367273.

С. Н. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ СТРАДА




ИЗДАНИЯ ВОЕННЫХ ЛЕТ
1941-1945

С. Н. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ



СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ СТРАДА

ЭПОПЕЯ В ТРЕХ КНИГАХ

Иллюстрации
художника П. Я. Павлинова

Волоколамская
Основной фонд
для читателей

ОГИЗ
Государственное Издательство Художественной Литературы
МОСКВА · 1942

Оформление книги
художника А. П. Радищева

Вступительная статья

Эпопея С. Сергеева-Ценского «Севастопольская страда»—явление яркое, праздничное и в творческом пути писателя и в общем развитии советской литературы. Здесь дар большого художника, с присущим ему страстным отношением к жизни, соединен в одно целое с пытливой мыслью историка-исследователя, с его ответственным отношением к фактам и событиям изображаемой эпохи. Действительно, читателя эпопеи поражает прежде всего монументальность повествования, документальная обоснованность картины страды. И однако произведение Сергеева-Ценского не является простой хроникой минувших событий. «Севастопольская страда»—подлинно художественное произведение, проникнутое и пафосом гнева и пафосом утверждения, дающее целостную картину жизни.

Развитие советского исторического романа, высоко оцененного А. М. Горьким, уже опрокинуло старые, традиционные рамки исторического повествования, когда изображение правды жизни подменялось воспроизведением «колорита истории», измышлением всяческих сентиментально-любовных сцен и перипетий частного порядка.

«Севастопольская страда» еще раз подтверждает принципиальную правильность тех новых завоеваний в области исторического повествования, которыми отмечено развитие советской литературы. Для Сергеева-Ценского реальная история не сводилась к «колориту», к фону; реальная история встает на страницах его эпопеи как главное действующее лицо. Она звучит во весь голос и в характеристике героев эпопеи, большинство которых—живые, запечатлевшиеся в народной памяти деятели прошлого, она звучит с особой силой и в том, что жизнь народа, судьба его составляет главную тему эпопеи.

Повествование в «Севастопольской страде» ограничено строго проведенными хронологическими рамками: с августа 1854 года по декабрь 1855 года, от первого появления армады союзников—Англии, Франции, Турции—у берегов Крыма до конца осады и штурма Севастополя, до начала мирных переговоров дипломатов заинтересованных государств. Расстановка и обозначение глав в «Севастопольской страде» также строго подчинены реальным событиям эпохи в их хронологической последовательности. Основные эпизоды героической обороны Севастополя—бои на Алме, Инкермане, Черной речке, бомбардировки и штурмы редутов и города—определяют собою экспозицию всего повествования.

Но, ограниченная сравнительно кратким временем, эпопея Сергеева-Ценского насыщена исключительными по своей исторической значимости и драматизму событиями. Она вбирает в себя широкий план жизни и нравов европейских государств, законченные характеристики их коронованных и некоронованных деятелей, раскрывает тайны их дипломатии, она дает целостный и многогранный образ николаевской России, обнажает глубочайшую трагедийную основу ее существования, так резко обозначившуюся в дни севастопольской осады. Поистине эпопее Сергеева-Ценского присущ энциклопедический характер, познавательное ее значение трудно переоценить.

I

Изображение причин войны и ее непосредственных вдохновителей по праву получило в книге Сергеева-Ценского большое значение.

Так возникают образы Николая I и его ближайшего окружения, образ Луи-Наполеона—авантюриста и интригана, узурпатора императорского трона, колоритно дополняемого фигурой его побочного брата, спекулянта-биржевика, инициатора всяческих сомнительных махинаций графа Морни. Так возникает образ могущественной, самоуверенной Англии викторианского периода, сильной «своим умением колонизировать и прибирать к рукам огромные страны», Англии времен благоденствия и процветания Сити и ужасающей нищеты и обездоленности масс. Образ королевы Виктории, воинственной дамы, посылающей свои наемные войска в Черное море, мастерски нарисован писателем.

Главы о трех самодержцах, одинаково зараженных захватническими инстинктами, крайне заинтересованных в разрешении замысловатого «восточного вопроса», написаны Сергеевым-Ценским в тонах страстного обличения, публицистической заостренности, порою с едкой и тонкой иронией. «Забота о безнадежном больном», «о ключах к вифлеемской церкви», составлявшая внешнюю оболочку интересов коронованных и некоронованных самодержцев, раскрыта в произведении в своем истинном, грубо-материальном значении, как корыстное вожделение России, с одной стороны, и Англии с Францией, с другой стороны, относительно Оттоманской империи. Пользуясь той характеристикой, которую дал в 1854—1855 гг. К. Маркс признанному английскому дипломату Пальмерстону, Сергеев-Ценский показывает этого «актера на любые роли» уни-

жающимся, заискивающим перед узурпатором власти—Луи-Наполеоном, и в этом раскрывается писателем грязная основа союза двух держав, их отвратительный, меркантильный торг как та последняя и самая истинная пружина, которая привела их к берегам Крыма.

Сергеев-Ценский обличает в первую очередь самого царя Николая I как воплощение духа крепостничества, бюрократии. Создание этого образа составляет одно из важнейших и бесспорнейших достижений таланта Сергеева-Ценского. Широко известный по общеисторической, мемуарной и даже художественной литературе характер Николая I изображен писателем в тонах новых, свежо, интересно и значительно для общего замысла эпопеи.

Яростный враг свободы, душитель мысли, самозабвенный поклонник кнута, муштры, чинопочитания, человек с болезненно развитым самомнением и самоуверенностью, законченный крепостник,—Николай I дан в эпопее в момент жесточайшего кризиса той системы, которая усиленно насаждалась и культивировалась им в течение десятилетий. Обстановка этого жесточайшего кризиса позволяет Сергееву-Ценскому показать содержание самого человеческого типа русского самодержца, раскрыть его историческое значение.

В «Севастопольской страде» образ Николая I приобретает трагедийный характер. Основу этой трагедийности составляет противоречие между внешне кипучей, неугомонной деятельностью Николая и внутренней несостоятельностью, даже больше того, глубокой вредностью всех его поступков. Все, чем увлекался Николай, все, что составляло дело его жизни, его долг государя,—все это в свете Крымской войны обнаружило полную никчемность, наносило прямой и глубокий вред России. Маниак парадов и смотров, желавший все и вся поставить по военному образцу, Николай не подготовил армию к войне, которую сам же он и вызвал. «Зачарованный бесподобной выправкой своих солдат, Николай не то чтобы не видел, он просто не хотел видеть того, как перевооружались западные армии, как вводился там новый рассыпной строй и многое другое». «Из боязни, что русский солдат испортится», пресекались им даже разговоры о необходимости перевооружить пехоту, ввести ружья новой системы.

«В мозгу начальства этого несчастного солдата твердо укоренилось сознание, что ружье солдату давалось только для ружейных приемов,—в крайнем же случае для штыковых ударов. Так как ружейные приемы должны были делаться четко, хлестко, звонко, то винты в ружьях нарочно расшатывались, затравки рассверливались, и после всех этих поправок получалось оружие если и опасное вообще, то исключительно для тех, кто рискнул бы стрелять из него, зато совершенно безвредное для всякой живой и мертвой цели». Неудивительно, что после подобных «забот» царя об армии русская армия встретилась в Крыму с противником во много раз превосходящим ее по вооруженности. По свойственному же царю пренебрежению к технике, по присущей ему постоянной надежде на живую силу войск не производилось также и укрепление имеющихся крепостей.

Боязнь всякой «смуты», вольномыслия ярко проступила в отказе Николая от строительства дорог, а бездорожье становилось бичом в военных условиях, неукоснительно влекло поражение. Неусыпная забота самодержца о чинах, департаментах, священный трепет перед чинами, внушенный всей системой правления Николая I,—логически приводили к баснословному казнокрадству, чуть ли не открыто действовавших чиновников, начиная с министров и кончая захудалыми служаками.

Энтузиаст «порядка» и уставности, самодержец всей своей деятельностью по внедрению этого «порядка» поставил себя перед лицом краха, оказался абсолютно неспособным решить те загадки, которые дала ему им же спровоцированная война.

В обстановке кризиса Николай остро ощущает свое одиночество, ибо «николаевский режим не выдвигал и, по самой сути своей, не мог выдвигать талантливых людей». Его преследует сознание, что он владыка пустой страны. «Огромнейшая страна, но как будто совершенно пустая, восемьдесят миллионов подданных, и нет людей для защиты границ»... «в России пространство владеет народом и царем,—оно непроходимо, оно бездорожно, оно враждебно».

Но трагедийность положения, хотя и вызывает у Николая чувство одиночества и страха, однако не осмысляется им до конца в своей истинной сути. Таково уже свойство Николая как определенного человеческого типа. Трагедия переводится им в фарс. В обступивших его невзгодах Николай продолжает видеть силу внешнюю по отношению к себе, ни на одну секунду он не задумывается о собственной виновности, и это позволяет ему попрежнему, с прежней самонадеянностью разыгрывать роль самодержца в последнем акте трагедии.

«Быть не только императором-самодержцем, но еще и талантливым артистом на роль императора»—вот правило Николая, которому он следовал всю жизнь. Напыщенным комедиантом уходит Николай с исторической сцены. С предельной ясностью эти качества бездушного актерства раскрыты писателем в главе «Смерть Николая». Умирающий Николай «как будто незримо надел на себя новый мундир, тот мундир, в котором нужно было итти представляться уже не папе в его Ватикан, а богу, в которого он верил». И умирая, он боялся, «что не исполнят чего-нибудь, что полагается по уставу, по закону, по форме исполнить». В трагедии, переживаемой русским народом, самодержец до конца довел свою роль комедианта, участника фарса.

Не менее удачен и образ Меншикова—царедворца-дипломата, поставленного царем на пост главнокомандующего армии в горячие дни осады Севастополя. Европейски образованный, остроумный, человек «разнообразных и обширных знаний», Мен-

шиков обнаруживает в условиях Крымской войны свою полную личную несостоятельность. Все живое, деятельное вытравлено в нем николаевским режимом. Меншиков верный слуга царя, и общий крепостнический дух эпохи наложил неизгладимую печать на облик этого человека.

Решающая черта характера Меншикова, каким он показан в эпопее,—это непреодолимая сила инерции, безграничная апатия ко всему. Государственные узаконения и нормы приняты Меншиковым в их формальном, а не реальном существовании. Неоднократно на протяжении всего повествования Меншиков как главнокомандующий попадает в обстановку, требующую действия, инициативы, но почти во всех случаях он заботится не о том, чтобы выполнить поставленную жизнью задачу, а о том, чтобы найти по существующей форме оправдание своей бездеятельности. Он боится риска, всячески избегает решительных действий. Характерен в этом отношении разговор Меншикова с отважным и храбрым генералом Хрулевым, предлагающим, по заданию царя, провести штурм Евпатории. Как только встала необходимость риска, Меншиков сразу же убеждает и себя и других в безнадежности, неизбежности провала всего предприятия. Он, наконец, соглашается пойти на риск, но только потому, что такова воля императора. Во всех трудных случаях Меншиков озабочен не тем, как правильно сделать, а тем, как подыскать достаточные основания для снятия с себя ответственности. Так было со штурмом Евпатории, а еще раньше неудачи Инкерманского сражения Меншиков целиком свалил на Данненберга.

Острый, критический ум Меншикова позволяет ему заранее угадать намерения Англии и Франции. О своих предположениях он ставит в известность царя. Меншиков прекрасно понимает также вздорность многих распоряжений Николая, не питает относительно царя никаких иллюзий. И однако на деле Меншиков целиком подчиняется распоряжениям из Петербурга, несмотря на их вздорность, и тем объективно способствует разоружению России перед лицом опасности.

«Лицо императора»—так иронически называет писатель Меншикова. И это название характерно. Умный, образованный Меншиков, оставаясь верным слугою николаевского режима, не может не утратить *своего* лица. Глубочайшая амортизация души, переживаемая Меншиковым,—выразительный симптом бездушно крепостнической жизни николаевской России.

Внешний портрет главнокомандующего, его поведение в решающие моменты обороны Севастополя дополнительно подчеркивают внутреннее опустошение, искалеченность этого деятеля крепостнической России.

Для Меншикова характерно презрение к людям, чувство разъединения, обособления от них. Будучи главнокомандующим, он был лишен главного—он «не мог никого заразить экстазом победы, потому что всякий экстаз вообще был совершенно чужд его натуре». «Обилие его знаний не оставляло в нем места для веры в людей». Даже в тех случаях, когда он являлся свидетелем героизма, проявленного солдатской и матросской массой, он относится к этим проявлениям с удивлением, но не изменяет своему основному чувству презрения, недоверия к людям. Меншиков убежден крепко в том, что русский солдат не может быть героем.

В повествовании глава «Смерть Николая» поставлена рядом с главою «Отставка Меншикова». В подобном соседстве глав есть особый смысл, дополнительно подчеркнутый автором в самом тексте. И Николай и Меншиков—в сущности мертвецы при жизни своей. Еще задолго до физической смерти императора Меншиков являл собою живого мертвеца, и своеобразным парадоксом истории было его пребывание в роли главнокомандующего.

«Лицо императора» должно было оставить Крым, как только то, что было императором Николаем, перестало существовать. Но дух николаевской эпохи продолжал по инерции жить. Преемник Меншикова Горчаков столь же мало соответствует назначению на роль главнокомандующего. Избалованный сановник, никчемный воин, Горчаков практически бездеятелен, и даже в условиях, когда севастопольцы обнаруживают чудеса храбрости, Горчаков тайно надеется на скорейшее снятие осады, победу союзников.

Ленин писал: «Крымская война показала гнилость и бессилие крепостной России».

Сергеев-Ценский изображением таких исторических фигур эпохи, как Николай I, Меншиков, создал впечатляющую картину глубочайшего внутреннего кризиса, оскудения крепостнической системы жизни. В ярком свете боевых огней севастопольской страды особенно остро обозначилась вся грязь и затхлость абсолютистско-крепостнической России, необходимость для нее решительных перемен.

Севастопольская трагедия изображена Сергеевым-Ценским во многих планах. Непосредственное изображение событий сочетается с показом жизни России той эпохи в целом, показом глубокого тыла, настроений передовых умов того времени. В повествование вводятся такие исторические деятели, как Грановский, Аксаковы, Погодин, Шевырев, Хомяков и др.

Характерные выводы делает Грановский. Он говорит: «Из своих занятий историей я вынес взгляд, что победы в войнах редко бывают полезны победителям. Гораздо больше пользы извлекают из них побежденные, если только они не обескровели, если имеют достаточно сил, чтобы заняться коренными реформами, переделаться, обновиться... А ведь этот свекловичный николаевский пресс, под которым мы задыхаемся, что он такое по своей сути, как не результат александровской победы над Наполеоном». Пораженческие позиции занимает и такой герой эпопеи как петрашевец Дебу. Вспомним, что и К. Маркс в многочисленных газетных корреспонденциях 1854—1855 гг. постоянно подчеркивал неизбежность поражения России и доказывал целесообразность этого

поражения с точки зрения интересов революционной демократии.

Говоря о неизбежном поражении России, Грановский полон веры в будущее своей родины. В том же разговоре с Кругловым он утверждал: «Затоптанный правительственными ботфортами в грязь, народ выкарабкается из грязи, вымоется, вочеловечится и заживет умно и свободно! Вот в какой результат этой войны я верю! Когда же вочеловечится наш народ, вот тогда-то он и будет по-настоящему непобедим! А вы представьте только победу, полную, блистательную победу над целой почти Европой,—что же это было бы такое? Абсурд! Торжество николаевских шпор, триумф аракчеевщины, татарщины, крепостничества!»

Эпопея Сергеева-Ценского многосторонним образом показывает неизбежность поражения крепостнической, абсолютистской России.

II

Пафосом гнева, критики насыщена «Севастопольская страда», повествующая о крепостнической России. Но в то же время эпопея Сергеева-Ценского знаменательна своей жизнеутверждающей силой, оптимистической верой в будущее.

Подлинным героем эпопеи является народ—масса солдат и матросов, героически защищающих свою родину. В этом сосредоточенном внимании писателя к героической стороне обороны сказалась одна из решающих черт новой литературы, литературы социалистического реализма, насыщенной гуманистическими мотивами.

Изображение сцен и эпизодов героической борьбы масс проходит через всю эпопею и достигает кульминационной точки в последних ее частях. В начале седьмой части, в апрельские дни 1855 г., на пиру проходит своеобразный смотр севастопольских чудо-богатырей. Здесь бутырцы, томцы, колыванцы, азовцы, якутцы и многие другие, люди героической жизни, доказавшие делом свою храбрость, самоотверженность, бесстрашие.

Это они были лучшими разведчиками, лучшими минерами, наводчиками, бесстрашными штурмовщиками, это ими цементировались люнеты и редуты Севастополя под ураганным огнем во много превосходящей армии союзников.

Эпопея дает отчетливое представление о все более и более растущем героизме масс, о их воле к борьбе, даже и в обстоятельствах почти безнадежных. Бездарное военное руководство, дикие распоряжения командования, глумления над массой (грекам-волонтерам, отправляющимся в атаку, дают вместо ружей простые палки), отсутствие провианта, военного снаряжения, антисанитарные условия госпиталей—все эти язвы крепостнической системы не сломили и не могли сломить боевого духа солдат и матросов. Изнуряющая муштра, введенная Николаем, на практике обнаружилась как система абсолютно несостоятельная для интересов ведения войны. Севастопольцы на ходу вырабатывали свою особую, не предусмотренную и не регламентированную никаким николаевским военным уставом, тактику боя, тактику обороны. Петрашевец Дебу имел основание сказать, что в результате войны «Европа только поумнеет, Россия сделается мудрей... Эту войну, как вольтеровского бога, нужно было бы нарочно выдумать, если бы не произошла она в силу вполне естественных причин».

Когда союзные войска впервые вступили в Крым, они представляли свою задачу куда более легкой, чем это оказалось на деле, а свою победу скорой и окончательной. На деле все обернулось по-другому. С иронической усмешкой рисует Сергеев-Ценский поведение главных командующих союзных армий: французской—Сент-Арно, английской—лорда Раглана.

Усмиритель кабилов, «истребитель свободолюбивых парижан 4 декабря 1852 года», Сент-Арно, как бывший актер привносит и в свою новую деятельность актерские замашки. Разыгравшееся честолюбие Сент-Арно не получает удовлетворения—война с русской армией приводит его в замешательство, а вскоре он и совсем сходит со сцены.

Истый англичанин, Раглан также привлечен был в Крым убеждением в легкой победе. Не склонный подобно Сент-Арно к позерству и фразе, лорд Раглан правдиво признает свои заблуждения. Роль главнокомандующего страшно тяготит его. Война с Россией обернулась непредвиденно тяжелым делом. Уже первое сражение на Алме, закончившееся паническим отступлением русской армии, обнаружившее бездарность командования русских, ставит лорда Раглана в тупик своим разрушительным и опустошающим итогом для армий союзников.

Крошечный эпизод в дни всех событий эпопеи—захват англичанами Балаклавской бухты—весьма красочен и показателен для характеристики ожидавшего армию союзников разочарования в легкой победе. Четыре мортиры поручика Маркова и небольшой гарнизон Балаклавской бухты дерзко обстреливали целую армию в течение нескольких часов и нанесли значительный урон. Лорд Раглан и «дети королевы Виктории» были озадачены упорством, с каким защищался балаклавский гарнизон.

Армии союзников не один раз были деморализованы необычайной силой упорства русской обороны, меткостью боевых орудий севастопольских батарей, личным бесстрашием защитников города.

Английская газета «Таймс» вынуждена была признаться относительно своих обманутых надежд: «Мы ожидали легких побед, а нашли сопротивление, превосходящее упорством все, доселе известное в истории...» Отступление русских в Инкерманском сражении лондонская газета «Морнинг кроникл» описывала в таких тонах: «Это отступление русских Гомер сравнил бы с отступлением льва, когда, окруженный охотниками, он отходит шаг за шагом, потрясая гривой,

обращает гордое чело к врагам своим и потом снова продолжает путь, истекая кровью от многих ран, ему нанесенных, но непоколебимо мужественный, непобежденный». А «Таймс», подводя итоги Инкерманскому сражению, вынуждена была признать: «Мы ни на шаг не подвинулись к Севастополю, между тем потерпели страшный урон».

Слава героям в серой шинели—вот основной пафос эпопеи.

Обескровленные в боях с вооруженным по последнему слову техники противником, поредевшие русские полки представляли изумительное явление: «...каждый солдат в них был почти то же, что матрос на палубе корабля: обстрелянные, обветренные, насквозь продымленные, втянувшиеся во всякую работу, переставшие замечать, как пули пели кругом, бравые по своей выправке в строю, надежные на случай шторма люди».

Севастопольская оборона, как показывает Сергеев-Ценский, породила в народе способность быть героем не на мгновение, а пробудила «отстоявшееся геройство повседневности, которое перестало уже всем казаться чем-нибудь особенным, а стало необходимым по своей целесообразности».

Героем выступает руководитель смелых и опасных разведок лейтенант Бирюлев, бесстрашный воин, заботливый начальник. Героями являются такие люди, как знаменитый есаул пластунов шестидесятилетний Даниленко. Героически действует и погибает смертью храбрых матрос Игнат Шевченко—человек необычайной физической силы. Народная память хранит предание о бесстрашном герое-матросе Кошке, веселом парне, храбром и отважном воине. Простой русский солдат, рядовой девятой роты Камчатского егерского полка Егор Мартышин, показан в эпопее в своем типическом значении для севастопольцев. Смертельно раненный Егор Мартышин протестует против того, что четверо его товарищей, покинув траншею, несут его на носилках в госпиталь. Его заботит: «если с каждым, кого чугунка зацепит, по четыре человека уходить станет, то этак и Камчатку некому будет стеречь!» Прощаясь с товарищами, умирающий Егор призывает неотступно защищать траншею до последней капли крови.

Устоявшийся героизм характеризует борцов за Севастополь. Оборона Севастополя пробудила в народе чувства свободолюбия, активного действия, непримиримости к насилию по отношению к родине,—все те чувства, которые были придавлены крепостническим режимом. Родившаяся в результате происков и захватнических интересов европейских самодержцев, война имела, как показывает Сергеев-Ценский, определенную тенденцию перерасти в войну народную против насилия и захвата.

В изображении народного героизма Сергеев-Ценский имел возможность итти вслед за Л. Толстым, непосредственным участником севастопольской обороны и изобразителем этой трагической страницы истории. И однако, перекликаясь с Толстым, испытывая на себе влияние Толстого, Сергеев-Ценский во многом оригинален в изображении народного героизма. Если Толстой уже тогда подходил к проявлению героизма с своеобразным, хотя и сложившимся еще в самых общих чертах, каратаевским идеалом простоты и естественности человека-героя, то для Сергеева-Ценского характерно подчеркивание активной, деятельной, наступающей силы народного героизма. В эпопее усилены все те моменты, в которых масса шла подчас наперекор, вопреки распоряжениям высшего командования, в сущности трусливого, не способного вести бой.

Но героические защитники Севастополя оставались крепостными сынами своей родины. Эту тему, кстати, писатель дополнительно разрабатывает в эпопее, давая историю крепостного крестьянина Терентия Чернобровкина. Крепостное состояние героев в серых шинелях не могло не ограничить рамок их действия. Показывать их свободно действующими героями—это значило бы на деле модернизировать историю. Поэтому и для Сергеева-Ценского, желающего передать правдиво историческое прошлое, народный героизм представляется явлением, во многом еще хранящим на себе след крепостнической эпохи. У защитников Севастополя было в сущности одно право—право умереть героем. Это право и находило широкое осуществление. Победной перспективы эти герои не имели. Будущее сулило им ту же крепостническую лямку.

Героизм «Севастопольской страды»—это героизм трагедийный. С особой силой звучит эта трагедийность в образах истинных вдохновителей и руководителей обороны—Корнилова, Нахимова, Истомина, Тотлебена. Эти замечательные исторические деятели сумели стать подлинными руководителями обороны Севастополя потому, что, в противовес Меншиковым, Горчаковым, Данненбергам и др., они верили в народ, в его силу, жили горячим чувством любви к своей родине, всей своей деятельностью стремились привить это чувство руководимой ими массе.

Если Меншиков питал презрение к людям и отрицал возможность для солдата быть героем, то для Нахимова, например, слова о том, что «матрос есть главный двигатель на военном корабле»—отнюдь не являются фразой, наоборот, составляют твердый жизненный вывод. Вера в силы народа делает Корнилова, Нахимова, Истомина людьми активными, деятельными.

Если Меншиков заботился о формальном выполнении всяких предписаний, то Корнилова, Нахимова, Тотлебена отличает творческое отношение к запросам жизни. Тотлебен показал себя непревзойденным мастером и инициатором сложной системы укреплений, поражавшей иностранцев. Никто из них не был просто «службистом», но каждый вносил живую душу в свое дело, самозабвенно отдавался ему, становился поэтом своего дела. Кипучая их деятельность, соединенная с личным бесстрашием, с мастерским зна-

нием искусства войны, делала их незаменимыми вдохновителями обороны.

Но участь этих выдающихся деятелей прошлого поистине трагична. Уже на первом этапе обороны Севастополя умирает Корнилов смертью героя, а далее следуют и другие смерти. Их путь был завершен со славою, они оставили о себе в народе благодарную память. Но не это здесь существенно. Сознание жестокой необходимости умереть, обороняя Севастополь,—вот что владело умами этих деятелей еще в условиях их кипучей работы. Другого исхода для них нет, и даже в мыслях иной исход не предвиделся.

Приготовившись к смерти, Корнилов почувствовал себя свободным и полным энергии. Слова Корнилова, обращенные к солдатам: «Ребята, помни: если надо умереть на защите этого бастиона, умрем до единого все,—но ретирады не будет!»—эти слова звучали мобилизующе, но в то же время и жертвенно.

С особой силой этот сознательно принятый жребий—умереть, обороняя Севастополь,—звучит в образе Истомина.

Он заранее записал себя в расход и твердо уверен в своей гибели. В разговоре с воинственным генералом Хрулевым Истомин противопоставляет жизнелюбию и вере в победу Хрулева свое убеждение в том, что: «Наше общее назначение здесь... умереть, защищая Севастополь». Это убеждение устраняло всякие оптимистические чаяния и надежды. Истомина захватывает настроение безнадежности дела защиты Севастополя. Правда, это настроение не деморализует его, но оно—яркое свидетельство тех неразрешимо трагедийных обстоятельств, которые складывались в крепостнической России. Для Истомина, как и для других героев Севастополя, защищать город «стало делом чести русского имени». Но деятельное участие в обороне Севастополя не устраняло для Истомина отчетливого представления о том, что волею обстоятельств город и его защитники символизируют своеобразную кухонную чугунную ступу, где безжалостно толкут и толкут человеческие жизни.

Таким образом «Севастопольская страда» показала мученический удел славных руководителей русского флота Корнилова, Истомина, Нахимова, подлинных героев своей родины.

Эпический характер произведения сказывается в широкой экспозиции повествования, охватывающей многосторонне жизнь главных европейских стран. Эпичны и герои «Севастопольской страды», люди, олицетворяющие собою силы истории, ее веления.

Эпический склад повествования дополнительно подчеркнут писателем в многочисленных сопоставлениях событий войны в Крыму с событиями гомеровского эпоса. Сама природа Крыма, исторически и географически связанная с древним миром, дает благоприятный материал для подобных сопоставлений, а события войны в Крыму часто повторяют ситуации прошлых войн.

Огромное построение «Севастопольской страды» не свободно от отдельных недостатков. Стройнее, цельнее по композиции первые части эпопеи. В последних частях сказывается излишне подчеркнутое стремление писателя к охвату всех событий, что замедляет ход повествования.

Центральная сюжетная линия эпопеи—это сама оборона Севастополя.

Развитие этого сюжета допускает свободный переход к изображению характера жизни европейских государств, к изображению строя отношений, господствовавших в России, в тылу войны. Многие такие эпизоды выполнены Сергеевым-Ценским с блеском, им подчас придана хорошая публицистическая заостренность.

Но к основной сюжетной линии эпопеи, основанной целиком на исторически достоверном материале, присоединены еще две побочные линии, долженствующие прояснить общий колорит жизни эпохи. Такова история семьи Зарубиных и история семьи Хлапониных. Им уделено писателем сравнительно большое место, подробно, например, показано пребывание Хлапониных в имении дяди, помещика-изувера. Однако развитие этих побочных для сюжета линий повествования в ряде случаев как-то уводит от главного, к тому же и выполнено это слабее, чем показ непосредственной обороны Севастополя.

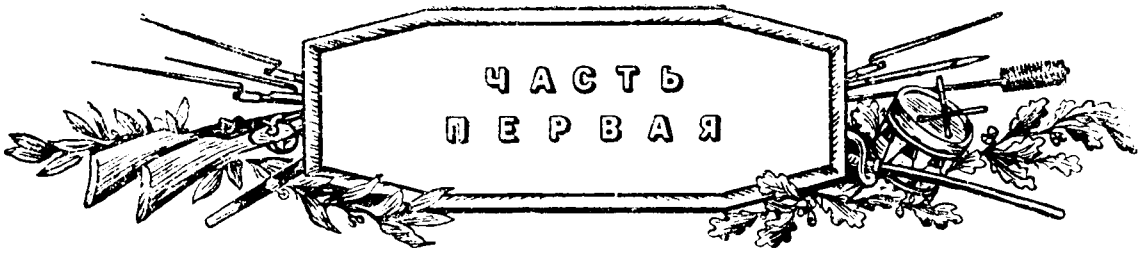
В творчестве Сергеева-Ценского эпопея «Севастопольская страда»—явление знаменательное. Долгий путь творческих исканий писателя, начатый в канун первой русской революции, уводил его иногда в стан пессимистической литературы, которая господствовала в дооктябрьский период. В произведениях Сергеева-Ценского появлялись герои, «обреченные» на гибель; писатель иногда терял веру в здоровые начала жизни, возникало у него своеобразное чаадаевское сомнение в будущем своего народа. Но все же побеждало жизнеутверждающее, оптимистическое начало, и Сергеев-Ценский выходил на дорогу реалистического искусства.

«Севастопольская страда» признана одним из лучших произведений советской литературы последних лет. Сергеев-Ценский—лауреат Сталинской премии. Один из старейших художников современности, Сергеев-Ценский явился создателем монументального исторического произведения, насыщенного пафосом героизма, любви к родине.

Е. Ковальчик

КНИГА ПЕРВАЯ





ГЛАВА ПЕРВАЯ
БАЛ

1

Необыкновенной мощности, багроволицая, несмотря на щедрый слой пудры, с дюжим носом и круглыми ястребиными глазами, адмиральша Берх, энергично действуя веером в направлении складчатой шеи и низко декольтированных широких жирных плеч, басом говорила полковнику Сколкову:

— Но послушайте, как адъ-ю-тант светлей-шего, должны же вы были от него слышать его мысли вслух!.. А то мы ведь так и не знаем, можно ли нам, слабым существам, оставаться здесь, в Севастополе, или убираться отсюда, пока в нас не начали стрелять!.. Вон адмирал Корнилов свою Лизавету Васильевну еще в июле в Николаев отправил со всеми чадами... Правда, она ходила беременная пятым ребенком, ей всякая там эта стрельба с кораблей английских вредна, конечно... Ну, а для нас чем она может быть полезна?

В сияюще белом кителе, как, впрочем, и все другие офицеры в этом зале, молодой, ловкий и самоуверенный, хорошего роста и еще лучшего на вид здоровья, полковник Сколков, почтительно наклоняясь к адмиральше, но глядя больше на ее племянницу м-ль Катрин, отвечал улыбаясь:

— Предосторожность, конечно, никогда не мешает, но князь даже и сегодня еще нам говорил, что он десанта союзников не ждет.

— Вот тебе раз: не ждет! Князь может его не ждать, разумеется, на то его воля,—однако известно ведь всем, что десант уж три дня стоит у Змеиного острова!—возмущенно пробасила адмиральша, оглянувшись при этом влево и вправо.

— Что же, что он стоит у Змеиного острова!—снова улыбнулся Сколков.—Постоит, может быть, и еще неделю, потом вернется опять в Болгарию.

— Что-о? Как вернется?—выкатила глаза адмиральша.—Зачем же он выходил в море, если вернется? Это может быть ваше личное мнение, а не князя?

— Да-а, между прочим князь высказывал и такое предположение,—невозмутимо продолжал Сколков.—Есть известие, что армию просто вывезли из Варны, как из места, зараженного холерой.

— И от холеры их набили битком на суда и вывезли в море? Чтобы удобнее было покойников в море швырять?.. Ну, признаюсь, батюшка, такой глупости мы с вами едва ли дождемся от англичан и французов!

— От холеры они ведь вообще не знают, как избавиться, а между тем армия тает и тает без всяких сражений. Маршал Сент-Арно послал против наших войск генерала Канробера в Добруджу, а через месяц в ту же Варну вернулось из тридцати тысяч войск французских только двадцать: десять тысяч легли там, в болотах... Погибли совершенно бесполезно и для Франции и даже для теории войн, потому что не удалось им даже и увидеть ни одного нашего казака. Вообще, надо сказать, что союзникам не везет. Вы говорите: зачем было сажать армию на суда? Но ведь Варна почти вся сгорела от ужасного пожара, о каком недавно писали в газетах!

— А-а, это, что подожгли греки?

— Греки или не греки, только Варна сгорела. Осталось только одно имя, а Варны уж никакой нет. И если бы пороховые погреба не отстояли войска, то и некого было бы сажать на суда после взрыва, потому что...

— Это все вы лично так говорите, или князь так говорит?—бесцеремонно перебила адмиральша, настолько уже тяжело дыша и выпучивая глаза, что Катрин, хорошенькая блондинка немецкого облика, нашла нужным вмешаться:

— Тетю занимает один только вопрос: пора уж нам уезжать из Севастополя или мы можем пока оставаться здесь?

— Ну, конечно же, я ведь сама именно так и сказала,—подтвердила адмиральша,—а все эти рассуждения меня занимают гораздо меньше!.. Это дело князя, это дело Станюковича, Корнилова, Нахимова, моего мужа и прочего начальства... Что князь гово-рит, это я и без вас знаю от мужа, мне только хотелось бы знать, что он дума-ет!

На это адъютант Меншикова, командующего всеми сухопутными и морскими силами Крыма, улыбнувшись Катрин и несколько понизив голос, проговорил:

— Князь старается думать так и то, что думают по этому вопросу т а м, в Петербурге.

И при слове «там» наклоном хорошо сработанной головы с безукоризненным английским пробором в темных волосах очень точно указал на север, так как далеко не в первый раз был в этой бальной зале, теперь совершенно переполненной разряженными дамами и офицерами гарнизона и флота.

Было по старому стилю 30 августа 1854 года. В этот день, как всегда, праздновали память «святого благоверного князя Александра Невского». Со времен императора Павла этот день считался днем «царским», так как в этот день непременно бывал именинником или наследник престола, или сам царь. Теперь именинником был наследник, шеф Бородинского полка, а по давним полковым традициям этот праздник знаменовался балом.

Бородинский полк, отправившись пешим порядком из Нижегородской губернии еще осенью 1853 года, прибыл в Севастополь в мае 54-го, и ему не было отведено казарм.

Солдаты помещались в лагере на Бельбеке, верстах в шести от города. Они явились на обедню, молебен и парад к Михайловскому собору, прошли церемониальным маршем перед светлейшим и его свитой, получили от него поздравление с праздником, ответили: «Покорнейше благодарим, ваша светлость!»—и ушли в свой лагерь снова.

Офицерство же деятельно готовилось к балу в приспособленном для балов, вечеров и приемов высочайших особ роскошно отделанном доме Дворянского собрания, стоявшем около Графской пристани.

Танцовальный зал в этом собрании был обширный, в два этажа, облицованный белым мрамором, с пилястрами и колоннами из розовых мраморных плит. Свет в этом зале был верхний, двери из красного дерева, отделанные бронзой.

В биллиардной комнате и нескольких кабинетах, окружавших зал, были дорогие обои—розовые, голубые, зеленые, с золотым тиснением.

И по архитектуре это было красивейшее здание Севастополя, в котором в те времена было все-таки немало больших и красивых зданий.

Библиотека морского ведомства, собранная трудами адмиралов Лазарева и Корнилова, помещалась тоже в обширном и красивом доме, а на площадку над нею, на которой установлены были оптический телеграф и телескоп, вела мраморная лестница, украшенная сфинксами прекрасной работы.

Главные улицы Севастополя, единственные замощенные булыжником,—Екатерининская и Большая Морская,—сплошь почти состояли из вместительных двух- и трехэтажных каменных домов, признак того, что Черноморский флот пользовался особым благоволением правительства, и офицерство в нем было богатое, около него могли наживать капиталы, раскидисто строиться и вполне благодушествовать купцы.

Даже форты, охранявшие Севастополь от нападения чужого флота, издали казались не только колоссальными сооружениями, но, со своими круглыми башнями по углам, были похожи на средневековые замки несокрушимой мощи.

В то время как адмиральша Берх выпытывала тайные мысли Меншикова у одного из его адъютантов, другие дамы атаковали с тою же целью другого адъютанта светлейшего, двадцатисемилетнего конногвардейца, штаб-ротмистра Грейга.

— Самойло Алексеич! Скажите, как решено князем,—выйдет наш флот сражаться с флотом союзников?—искательно спрашивала в кругу гораздо более молодых, чем адмиральша, дам жена капитана 2-го ранга Суслова, мать четверых детей.

— Поверьте, что об этом даже не поднималось вопроса!—прикладывал руку к сердцу, снисходительно улыбаясь, коренастый плотный Грейг.— Ведь до последнего времени наш флот и не выходил за рейд.

— Да, конечно, раз это было не нужно... А вдруг их эскадра с войсками подойдет к Севастополю?

— Зачем же ей итти к Севастополю?

— Как зачем? Говорят, так именно и пишут во всех заграничных газетах: цель войны, какую союзники себе ставят,—уничтожить наш флот и взять Севастополь!

Женщина с кроткими карими глазами, всецело занятая детьми, домашним хозяйством, визитами, сама Суслова, как и все дамы того времени, никогда не читала газет, считая это исключительно мужским занятием, как флотская или артиллерийская служба, как парады и выговоры, получаемые от начальства.

— А разве о том, что действительно хотят сделать наши враги, они будут кричать за несколько месяцев?—покоряюще мягко и снисходительно спрашивал ее Грейг.—Вот именно потому, что они кричат об этом очень давно, у нас и думают, что они или совсем никуда не пойдут, ограничатся одним

шумом, -или пойдут куда угодно, только не в Севастополь!

Этот довод показался до того убедительным, что дамы, слушавшие вместе с Сусловой Грейга, переглянулись.

-- Конечно, только шпионы доносят противникам, что те один против другого задумали!

— И за это шпионов вешают!

- Хотя газетные писаки—те же шпионы...

— Однако правительства Англии и Франции наверное не позволили бы им писать такое, если бы это была правда?

А Грейг продолжал уверенно:

— По нашим сведениям, у них, если исключить больных, наберется не больше пятидесяти тысяч. Это—очень много для десантной армии,—как можно высадить столько, у нас не представляют ясно,— но это ведь совершенно ничтожные силы для того, чтобы взять Севастополь!

— Я слышала, говорил муж, что в осажденной крепости один человек может и пятерым сопротивляться,—сказала Суслова.

— Да, это общепринято. Но ведь наш гарнизон может быть даже побольше тридцати тысяч, так что у нас думают, что к нам союзники не сунутся!— очень торжественно заключил Грейг, заслужив этим благодарные огоньки не в одних только кротких глазах Сусловой.

Когда он говорил «у нас думают», то это значило, что думают в среде адъютантов светлейшего. Меншиков не терпел не только штабов, но даже и самого слова «штаб», и его молодые адъютанты, исполняя все штабные работы, вполне естественно считали себя «головкой» гарнизона Севастополя и всех войск Крыма. Впрочем, сын и внук знаменитых адмиралов, основоположников русского флота, штаб-ротмистр гвардии Грейг с детства знал о себе, что он рожден для блестящей карьеры, и привык с уважением относиться к своему уму.

Однако одна из дам, его окружавших, бойкая спорщица, капитанша Бутакова вспомнила об английском парламенте, в котором обсуждались вопросы ближайших военных действий после того, как сухопутная русская армия князя Горчакова 2-го была в июне отозвана с Дуная, чтобы избежать военных действий еще и с Австрией, молодой император которой Франц-Иосиф, по выражению царя Николая, «удивил мир своим вероломством».

— Я очень, очень хорошо запомнила это,—отчетливо заговорила Бутакова, сверкая белизной безукоризненных зубов,—в парламенте обсуждался только этот вопрос: итти ли им на Севастополь?— и вот все, все они, все эти лорды Пальмерстоны и Россели и другие решили: непременно итти! Вот! А раз решил что-нибудь их парламент, то уж...

Она даже не сочла нужным договорить: вывод и без того казался ей ясен, и кроткие карие глаза Сусловой снова обеспокоенно обратились на Грейга, но Грейг возразил веско, как взрослый в толпе детей:

— С нами воюет ведь армия, а не парламент! Мало ли чего хотелось бы парламентам, где сидят всякие рябчики!.. Я сказал «воюет», но ведь союзная армия ни разу пока еще не видела нас, а мы ее. Нам известно даже, что в армии союзников существуют большие несогласия среди командующих... А последний манифест Луи-Наполеона вам известен? Вот этот манифест гораздо ближе к истине. Там прямо так и говорится: «Враги наши от Балтики до Кавказа не знают, куда мы направим решительный свой удар...» Видите ли, какая нам объявлена милость? Не знаем и не будем знать, пока удар не будет нанесен! Вот как сказано! Мы можем только догадываться, что не в Севастополь, а...

Высказать догадку эту Грейгу так и не удалось, потому что как раз в этот момент музыканты полкового оркестра, помещенные вместо хоров на деревянном помосте под потолком, грянули туш: командир Бородинского полка Веревкин-Шелюта 2-й почтительно встречал начальника своей семнадцатой дивизии генерал-лейтенанта Кирьякова.

Знаменитый своим голосом, темномалиновый от большого количества ежедневно выпиваемых им крепких напитков, с голубыми бакенбардами и усами и с голым, как ладонь, черепом, низенький, но на высоких каблуках с гремучими огромными шпорами, всячески стремящийся поддержать о себе мнение как о боевом генерале-рубаке, он прежде всего справился у Веревкина, передернув широкими ноздрями:

— Командующий будет?

— Обещался быть, ваше превосходительство... До его прибытия не откроем танцев...—заторопился ответить бравый видный полковник с тою приветливой улыбкой хозяина, которую как будто надел он на себя исключительно ради этого бала.

— Прибытия... хм-хм... прибытия!—прищурил пренебрежительно глаза Кирьяков, проходя в зал.

Что генерал Кирьяков взял себе за правило презрительно относиться к командующему силами Крыма, открыто разнося в кругу своих подчиненных каждую из его мер по обороне Крыма, это знал Веревкин, знал он и то, что за это Меншиков нескрываемо ненавидит Кирьякова и давно бы сместил его, если бы только власть смещать начальников дивизий предоставлена была ему царем.

Стоявший в зале портрет именинника—наследника—был густо обвит гирляндами цветов, между тем как портреты императорской четы хотя тоже были украшены цветами, но заметно скромнее. Кирьяков, остановившись перед портретами, недовольно заметил Веревкину:

— Насколько я вижу, тут кто-то у вас умствовал, полковник, хм... А в таких случаях, долюжу

вам, требуется как можно меньше ума, но-о как можно больше трепета,—вот что-с!

Веревкин только наклонил скромно голову: этим занималась его жена, а он привык полагаться на нее даже в важных хозяйственных делах управления полком.

Новый встречный туш заставил его обернуться к дверям зала: входил Моллер, тоже генерал-лейтенант, но старше Кирьякова по производству, уже довольно древний старик, весьма отяжелевший, с пушистыми кудерьками снежно-белых волос, получивший от Меншикова прозвище «Ветреная блондинка» за то, что месяца два назад, в депеше, полученной с семафорного телеграфа, «SO», то есть «юго-восток», принял, по незнанию морских терминов, за 50. Депеша была такая: «Неприятельская эскадра показалась на «SO». В ней не было ничего тревожного: небольшие неприятельские эскадры часто проходили в виду Севастополя, блокируя русские порты Черного моря, охотясь за каботажными судами. Но у Моллера при докладе его Меншикову получилось: «Показалась неприятельская эскадра в пятьдесят судов»,—а это уж прозвучало тревожно: это могло даже означать близкую бомбардировку Севастополя с моря.

Окна собрания были открыты туда, в море, в лунную теплую ночь; двери, конечно, тоже были открыты, однако сквозняка не выходило,—даже язычки свечей в люстре почти не колыхались. Проворные солдаты собрания, усатые и с бакенбардами в виде котлеток, но без бород, как это тогда полагалось, высоко подымая над головами подносы со стаканчиками сливочного, кофейного, ягодного мороженого, обносили им дам.

Ничего не надеялись узнать, обеспокоенные замыслами союзников, дамы ни от генерала Кирьякова, ни тем более от Моллера. Но вот вошли вместе два Аякса [1] флота—вице-адмиралы Корнилов и Нахимов, оба равного роста, высокие, узкоплечие, несколько сутулые,—мозг и сердце флота; Корнилов—в золотых аксельбантах генерал-адъютанта, отстающих при движении от его впалой груди, с георгием в петлице и с владимиром на шее, Нахимов—герой Синопа—с двумя георгиями; оба русоволосые и светлоглазые, старший летами—Нахимов—старший из флагманов флота, Корнилов же—начальник штаба флота; и дамы, со стаканчиками мороженого или с одними только кружевными веерами в руках, сейчас же окружили обоих.

Нахимов был убежденный холостяк, жил одиноко, тревоги дам были ему не совсем понятны, но строгий на службе, он имел мягкое сердце в быту; обеспокоенных дам надо было успокоить. И, поворачивая то к одним, то к другим голову с низковатым покатым лбом, как на древних изображениях Александра Македонского, он говорил им:

— Ничего-ничего-с... Все идет как нельзя лучше-с, медам! Неприятель, как видно-с, все-таки побаивается нас и очень близко к нам подходить не желает-с!

— А как же, Павел Степаныч, какая большая эскадра союзная в июле стояла перед Севастополем целый день,—напоминали ему дамы.—Ведь она, разумеется, не зря стояла.

— Это—четырнадцатого числа-с?—уточнил Нахимов.—Да-с, да-с, стояла... Что же из этого-с? Постояла и ушла-с. А мы на другой день закладку собора святого Владимира произвели-с. Мы ведь не теряем присутствия духа-с. Они вздумали перед нами покрасоваться, а мы вот, видите ль-с, собор новый заложили-с... Мы их не боимся, нет-с!

Нахимов говорил это, не улыбаясь однако, и дамы переглядывались, не зная, как его понять: может быть, это была просто горькая шутка?

Несколько иначе говорил с дамами Корнилов. Смолоду любимец женщин, он сделался хорошим семьянином; никогда не отличавшийся крепким здоровьем, сам он привык беспокоиться о здоровьи своих домашних; но как начальник штаба флота он слишком много труда вложил в огромное дело устройства флота, поэтому он больше отвечал беспокоившим очень глубоко его самого мыслям, чем окружавшим его дамам, когда говорил им:

— Только вчера около наших берегов крейсировало одно английское судно—пароход «Карадок». Я его долго наблюдал в трубу. Это было не просто крейсерство: это было судно-наблюдатель. Видно, наши берега изучались очень тщательно, им делали осмотр, какой следует. Мы не могли прощупать этот пароход с наших батарей, о чем я очень жалею... Да, и эта эскадра, которая нас посетила четырнадцатого числа, она имела свои цели. Когда стемнело, она, конечно, ушла, но за день она осмотрела все, что можно разглядеть у нас в трубы с приличной дистанции, на какой она держалась.

— Так вы думаете, Владимир Алексеич, что лучше, не теряя времени, уезжать из Севастополя?—по-своему понимали его дамы.

Но Корнилов пожимал узкими плечами, продолжая отвечать своим мыслям:

— Неоспоримых оснований так именно думать я все же не имею. Змеиный остров ведь на одинаковом расстоянии и от Севастополя и от Одессы... Может быть, противник нацелился на Одессу.

— Оттуда их отобьет опять Щеголев!—сказала было одна из дам, но Корнилов поморщился:

— Ну что там Щеголев с его четырьмя пушчонками! Он, конечно, никого не отбил, это пустяки: союзники тогда высмотрели все, что им было надо, и ушли, чтобы теперь, например, высадить там десант. Одесса—город богатый и почти беззащитный,

---

[1] *Аяксы*—два легендарных греческих героя, упоминаемые в поэме Гомера «Илиада». Аяксы всегда были друг с другом неразлучны.

Кроме того, оттуда они могли бы выйти в Новороссию, отрезать армию Горчакова...

— Так что это именно так и будет? Значит, они пойдут на Одессу?—облегченно спросили дамы.

— Не знаю, не знаю! Если бы мы вообще что-нибудь знали наверное!—поднял обе руки, как для защиты, Корнилов, и одна из дам заметила на это колко:

— Нет, Владимир Алексеич, что вы там ни говорите, а вы хорошо сделали, что отправили Елизавету Васильевну в Николаев!

Корнилов, не ответив на это, оглядел рассеянно поверх искусных и благоухающих причесок дам обстановку зала, заметил кое-что новое, временно внесенное сюда для украшения стен, и, слегка улыбнувшись, проговорил не в тон сказанному раньше:

— А-а, так, значит, для бала в этом собрании наши новые сослуживцы отважились на некоторый ремонт! Знатно!

Действительно, бравый полковник Веревкин-Шелюта, готовя собрание к своему первому балу, рассчитанному на большое число гостей, затратил много усилий, чтобы обставить, насколько было возможно, богаче и без того весьма богато обставленное Дворянское собрание.



Вице-адмирал В. А. Корнилов

Ведавший же всей хозяйственной частью устройства бала полковой казначей поручик Вержиковский заготовил большое количество бутылок шампанского и других вин, но на всякий случай в бакалейном магазине купца Носова, запертом со стороны улицы, дежурил приказчик, который мог бы значительно подкрепить этот запас.

Еще в начале августа стали привозить из окрестностей и благословенных долин небольших речек Бельбека и Качи десертный виноград лучших сортов, и теперь большие корзины чауша и шаслы стояли на стойке буфета собрания рядом с корзинами летних дюшесов и душистых зеленомясых дынь. И, глядя на все это искристое, цветистое, благоухающее великолепие, кто не мог бы мгновенно забыть о какой-то англо-французско-турецкой эскадре с огромным десантом, притаившейся против устья Дуная за плоским островом, на котором будто бы погребено было тело Ахиллеса [1], перенесенное от стен Трои матерью его Фетидой,—островом, в древности называвшимся Левке, а теперь кем-то и когда-то зловеще названным Змеиным.

Так же точно за островом Тенедосом, лежащим против Безикской бухты, таился ахейский флот, готовясь к походу против твердынь Илиона. За Тенедосом, богатым вином, поджидал Агамемнон, вождь ахейцев, остроносые суда греков, полные воинов для десанта.

В Севастополе знали, что флагманский корабль английской эскадры, таившейся теперь вместе с французской за островом Змеиным, корабль, на котором держал свой флаг командующий эскадрой адмирал Дондас, носил звучное имя «Агамемнон».

2

— Вот посмотрите, господа, на эти часы,—только по рассеянности в свои карманы не прячьте,—и скажите, где здесь ключик,—говорил лейтенант Бирюлев, показывая плоские, обыкновенные на вид золотые часы в группе молодых флотских офицеров в буфете собрания.

Лейтенант Астапов, склонный к полноте блондин, повертел в руках часы, посмотрел пристально на бретерское осанистое долгоносое лицо Бирюлева и сказал:

— Просто и ясно: ключик потерян.

— Все такого мнения, господа, что ключик потерян?—обвел глазами других Бирюлев.—Как будто все! Тогда смотрите. Вот я завожу часы!.. А вот я ставлю часы по часам этого собрания, так как у меня они позади на двенадцать минут.

И он передвинул стрелку так же без ключика, как и завел часы.

— Это что же такое? Фокус?

---

[1] *Ахиллес*—один из главных героев поэмы Гомера «Илиада», посвященной девятилетней осаде греками малоазиатского города Трои—иначе Илиона.

— Ничуть. Не сомневаюсь в том, что через полгода у вас будут такие же часы, а мне их только сегодня привезли с оказией от любящих родителей. Это—последнее слово заграничной техники.

— Гм... Вот так штука! Часы, и вдруг без ключика!

И часы, только что дошедшие в Севастополь из-за границы, пошли бы гулять по рукам, если бы Бирюлев, опасаясь, что их перекрутят и испортят, не спрятал их в карман.

— Может быть, такие часы без ключика есть у всех офицеров союзного флота,—сказал Астапов.

На это Бирюлев ответил:

— Я думаю, что и у многих армейцев. Но вот еще какая новость техники: за границей начали будто бы делать бумагу из дерева.

— Как из дерева? Из какого дерева?—удивились все.

— А из чего делают бумагу у нас?—спросил Бирюлев.

— Из тряпок, кажется.

— То-то что из тряпок. Но это—дорогая бумага, а там будто бы получается из обыкновенных бревен и очень дешевая.

— Каким же образом?

— Очень просто. Подвергаются бревна какой-то химической обработке, в результате получается прекрасная бумага.

— Вот оно что!—качнул головой лейтенант Холин, книжник и немного поэт.—Если с простыми карманными часами и с бумагой так обстоит дело за границей, то сколько же последних слов техники приготовили они для нас грешных? А мы об этом и понятия не имеем.

— О конических пулях Минье мы уже читали, остается только увидеть их в действии,—сказал Астапов.

— Пули Минье уж не новость, я читал о каких-то ядовитых газах,—выдумал один англичанин,—только не дал я этому веры,—отозвался на это мичман Завалишин, крепкий брюнет с энергичным лицом.—Могут ли быть изготовлены такие газы?

— Отчего же нет? Есть ведь «Собачья пещера»—грот такой где-то в Италии, в котором собаки дохнут. Почему же дохнут? Очень просто—ядовитые газы!—сказал Бирюлев.

— Я не об этом! Ядовитые газы, конечно, есть даже и в угольных шахтах в России,—незачем в Италию ездить,—а вот как ими действовать могут? Начинять ими гранаты, что ли?

— А почему же и нет? Разорвется одна такая граната на палубе, вот и задерем мы все ноги, как собачки в пещере!

Дамы не позволили молодым флотским развить разговор о последних словах заграничной техники в военном деле. Дамы требовали неусыпного внимания к себе, иначе зачем же они пришли на бал? Наконец, они чувствовали себя встревоженно и настойчиво требовали, чтобы их успокоили по-настоящему, прочно, отвлекли бы их мысли в беззаботное прошлое.

Еще так недавно, несмотря на то, что союзный флот являлся бесспорным хозяином моря, заставив молодой и малочисленный русский флот укрыться в бухте под мощную защиту семисот орудий береговых батарей, севастопольская жизнь отнюдь не нарушала своего заведенного задолго до объявления войны течения.

Даже и в августе до этого последнего дня каждый день в шесть часов вечера на стадвадцатипушечном корабле «Великий князь Константин», носившем флаг Корнилова и стоявшем у Екатерининской пристани, начинал играть оркестр, а на самой пристани гремело еще несколько оркестров как флотских, так и армейских, и даже роговой хор гусарского полка с песенниками.

И тогда на Приморском бульваре, где стоял бронзовый памятник герою Черноморского флота — лейтенанту Казарскому, начиналось гулянье, и Севастополь мог показаться даже любому мизантропу самым счастливым, самым веселым городом в мире.

На гуляньях этих много было женщин, для них, в сущности, и устраивались гулянья, потому что Севастополь, по самому чину военной твердыни, предназначенной охранять весь юг Европейской России, был подчеркнуто мужской город. Из сорока двух тысяч его населения в те времена тридцать пять тысяч приходилось на войско гарнизона и матросов флота, а из семи тысяч остальных жителей сколько могло приходиться на женщин, если исключить чиновников, купцов, ремесленников, рабочих и детей?

Конечно, город с таким огромным количеством постоянно живущих военных привлек не одну сотню жриц свободной любви, которые, чуть только раздавалась музыка на пристани, выходили на свой промысел, отчетливо, по-военному маршируя по главным улицам—Екатерининской и Морской, по Театральной площади и пристаням. На Приморский же бульвар, где у входа дежурила с шести часов полиция, могли из них попасть только те, которые одевались «под приличных дам».

По всей основной шестикилометровой бухте, которая называлась Большим рейдом, и по рукаву ее—Южной бухте—стояли картинно красивые, хотя и со свернутыми парусами, корабли, фрегаты, брига, бригантины, корветы, яхты, тендера, транспорты, шкуны и многочисленный купеческий флот.

Было и несколько пароходов, сделанных по запоздалому заказу в Англии, причем за постройкою их следил и принимал их Корнилов.

На всех этих судах, хотя и праздно стоявших, все-таки кипела привычная жизнь. Между ними и от них к пристаням—Екатерининской и Графской—скользили под веслами и на парусах боты, вель-

боты, шлюпки и катеры с катающимися флотскими дамами. Весело, раскатисто смеялись на тихой воде, разноцветными зонтиками защищаясь от жаркого солнца; звонко пели.

В такие «царские» дни, как этот—30 августа, все суда бывали разукрашены флагами, и эта пестрота флагов, отражаясь в зеркале бухт, не могла не веселить глаз.

Что Севастополь совершенно неприступная крепость и взять ее с моря невозможно, в это поверили к концу дня 14 июля даже и те, кто сомневался в этом. В этот день с утра Севастополь был обложен флотом союзников, который подошел к его батареям почти на пушечный выстрел. Флот был вдвое более сильный, чем скрывшийся в бухте русский. Все видели, что лавирует он не спеша от Камышевой бухты—«Прекрасной гавани» древнего Херсона—до Балаклавы, однако не пытаясь вступать в бой с батареями фортов.



Вице-адмирал П. С. Нахимов

А в это время все начальствующие лица Севастополя были заняты подготовкой к торжеству закладки нового собора. И торжество это действительно состоялось на следующий день, день памяти «святого равноапостольного и великого князя Владимира», когда по плану профессора архитектуры «действительного статского советника К. А. Тона» собор был заложен, и каждый из присутствовавших на торжестве адмиралов и генералов положил свой кирпич в его фундамент, и Златоуст того времени—Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический, сказал при закладке памятное слово.

— Кто не знает, что у врагов наших одно из задушевнейших желаний состоит в том,—восклицал он, подымая театрально глаза к небу,—чтобы оторгнуть здешнюю страну от состава России? Но скорее не останется во всех здешних горах камня на камне, нежели мусульманская луна заступит тут место креста Христова!.. Итак, не унывай, богоспасаемый град Севастополь, от множества и от злобы врагов, тебя обышедших, памятуя, что ты преемник не Ахтиара мусульманского, а православного Херсонеса Таврического!..

Не все, слушавшие Иннокентия, знали, что на месте Севастополя, при Потемкине, тесно жались тут сакля к сакле татарской деревни Ахтиар, что Потемкин, заложивши тут верфь для постройки кораблей и распланировав по линейке город, назвал его Севастополь, то есть «знаменитый город», что потом, после смерти Екатерины, мальтийский кавалер Павел, задавшийся занятной целью отовсюду «вышибать потемкинский дух», вышиб его и отсюда, приказав переименовать Севастополь снова в Ахтиар, и только при Александре I, да и то к концу его царствования, вспомнили о Севастополе, и слово это, вытеснив слово «Ахтиар», утвердилось, наконец, в казенных бумагах.

Собор был заложен, и о визите союзной эскадры забыли. Откуда же шел источник этого неколебимого спокойствия, которого хватало на несколько десятков тысяч гарнизона и обывателей, несмотря на статьи в газетах иностранных и русских, как «Северная пчела» или «Journal de S.-Pétersbourg», несмотря даже на речь Иннокентия, подчеркнувшего «задушевнейшее желание» союзников?

Источником этого спокойствия являлся сам светлейший князь Меншиков, которому было в то время шестьдесят шесть лет.

Юности свойственна пылкость, старости—хладнокровие, однако хладнокровие Меншикова кое-кому из молодых и пылких временами казалось просто преступным, потому что оно было совершенно бездеятельным. Все знали, что Севастополь хорошо укреплен с моря, но все видели также и то, что он почти совершенно открыт с суши: по линии в семь верст расположено было всего полтораста мелких орудий. Все знали, что было время укрепить, как следует, подступы с суши, и все видели, что Меншиков не только сам не делал никаких распоряжений на этот счет, но даже изумлялся, когда ему говорили об этом другие. Между тем берега Большого рейда укреплялись все сильней

и сильней, чтобы не допустить неприятельский флот прорваться в бухту. Меншиков не был моряком смолоду, однако долголетняя за последнее время служба по морскому ведомству и чин адмирала сделали свое дело: если Меншиков иногда и думал о нападении неприятеля на Севастополь, то ожидал его только со стороны моря. Это была привычка давнего адмирала—глядеть в море. И в то время как местное купечество, сложившись, купило у пьяницы шкипера Малахова курган, на котором завел было он маленькое хозяйство, на кургане этом построило оборонительную башню с амбразурами на пять орудий, сам Меншиков на устройство окружной саперной дороги в окрестностях Севастополя, дороги, которая должна была иметь очень важное значение в случае действий неприятеля с суши, ассигновал из казенных средств всего только двести рублей, а дорогу нужно было проложить в каменистом грунте и протяжением на шестьдесят верст. Инженерное ведомство, добивавшееся у Меншикова согласия на устройство саперной дороги, не могло не охладеть к ней, получив такую сумму; дорогу начали было проводить силами солдат, но скоро бросили, и когда доложили об этом Меншикову, это вызвало с его стороны только очередной каламбур.

Меншиков имел репутацию остроумнейшего человека своего времени. Когда царь Николай после смерти весьма престарелого петербургского митрополита Серафима в 1843 году обратился к Меншикову за советом, кого бы назначить на место умершего, Меншиков ответил:

— Что же вам, ваше величество, затрудняться, когда у вас есть Клейнмихель? Извольте назначить его с отчислением по кавалерии. Он у вас только митрополитом и не был, а то всем уже был!— Один важный сановник, о котором прошла молва, что его били в игорном доме за шулерство, получил орден Андрея Первозванного, и когда Меншиков увидел его во дворце на приеме у царя в новенькой синей андреевской ленте, он сказал громогласно:—Однако основательно колотили этого мерзавца: посмотрите, какой огромный синяк у него вскочил!—На одном из придворных балов дама, бывшая с Меншиковым, спросила его, показав веером на подымавшегося по лестнице министра государственных имуществ графа Киселева:—Qui est ce général là?—C'est le ministre, qui s'élève [1],— тут же ответил Меншиков, намекая на то, что тогда по служебной лестнице Киселев сильно шел в гору. Но бывшие в ведении Киселева государственные крестьяне часто бунтовались, за короткое время насчитывалось сорок два бунта, усмирявшихся войсками, и Меншиков говорил о Киселеве: «Его надо причислить со всем его ведомством к военному министерству: никто, как он, не заботится о том, чтобы солдаты наши упражнялись в военных действиях в мирное время».

Подобных острот и каламбуров Меншикова ходило в обществе множество. Но кроме присяжного остроумца Меншиков считался еще и способнейшим дипломатом. Свою государственную службу он и начинал как дипломат в штатских должностях министерства иностранных дел. На военную службу в гвардию он зачислился во время первой войны с Наполеоном. В конце царствования Александра вздумал вместе с несколькими другими придворными поднять голос против всесильного тогда Аракчеева и в результате вынужден был выйти в отставку и поселиться в одном из своих имений, где почему-то начал изучать морское дело, пользуясь своей библиотекой, одной из лучших частных библиотек тогдашней России.

Когда воцарился Николай, Меншиков снова поступил на службу и снова как дипломат был послан в Персию. Но персидский шах Фетх-Али посадил его в тюрьму, где он просидел около года. Казалось бы, что тюрьма в Тегеране не могла сделать из него моряка, но по возвращении из плена Меншикову было поручено царем преобразовать морское министерство. Однако во главе морского министерства мог стоять только адмирал. Меншиков был переименован в адмиралы. Командовал десантом во время войны с Турцией в 1828 году и взял крепость Анапу, но под другой турецкой крепостью—Варной—был ранен в обе ноги ядром, ранен в третий уже раз, притом тяжело ранен. Но уцелели все-таки ноги, и после войны он был назначен начальником главного морского штаба, потом генерал-губернатором Финляндии. Наконец, снова как дипломат, оказался он при истоках Восточной войны, посланный царем в Константинополь для переговоров с султаном о ключах вифлеемской церкви.

Эти ключи оказались ключами к первой после наполеоновских войн большой европейской войне.

О ключах вифлеемской церкви писали в то время очень много и в иностранных и в русских газетах, так что даже и севастопольские дамы, сухопутные и морские, отлично знали, что весь сыр-бор разгорелся из-за каких-то ключей и права водрузить серебряную звезду в алтаре вифлеемской церкви, так как ни ключей, ни звезды православные—русские—не хотели уступить католикам, католики же—французы—не хотели уступить православным.

И султан Абдул-Меджид то передавал эти ключи России, то Франции, то снова России, то снова Франции... Ключи были только символ. За ними таилось покровительство грекам, болгарам, сербам и прочим христианам, земли которых входили в состав турецкой монархии. Но так как греки, сербы, болгары и прочие всегда могли поднять громогласный вопль о притеснении их со стороны маго-

[1] — Кто этот генерал?—Министр, который идет в гору.

метан-турок, то держава-покровительница всегда имела возможность вмешаться в турецкие дела и даже занять своими войсками Болгарию, Сербию, Грецию, наконец, совсем и навсегда вытеснить турок из Европы.

Эта последняя мысль была так же стара, как история самой Турции. Занятый турками в половине пятнадцатого века, Константинополь и в половине девятнадцатого твердо стоял на границе Европы и Азии, на страже Босфора и Дарданелл. На него покушался Петр, но едва не погиб на Пруте. Екатерине писал Вольтер, что она имеет все возможности овладеть столицей Турции, она ответила ему шуткой, но стремилась к этому до конца своих дней, сознательно назвав одного из внуков своих Константином и с детства окружив его греками, чтобы и константинопольские греки приучились видеть в нем своего будущего царя. Однако не к неудачному Константину, а к другому внуку Екатерины—Николаю—перешла идея о захвате Константинополя и овладела им всецело. Никто не сделал столько, сколько этот царь, чтобы подорвать могущество турок, но европейские политики видели это. И в то время, как Меншиков вел переговоры с Портой о ключах вифлеемской церкви, лорд Россель в парламенте произнес громовую речь, полную оскорблений по адресу Николая. Он в первый раз сказал во всеуслышание, что дело тут не в ключах, конечно, а в протекторате России над Турцией, с чем Англия никогда не согласится. Между тем, конечно по указке свыше, архиепископ Парижский обнародовал в газетах воззвание, что вся Франция должна встать на защиту своей святой римско-католической веры от посягательств русской державы, и прелаты уже призывали на оружие Франции благословение неба.

Миссия Меншикова не привела ни к чему: султан искал себе покровителя против Николая и нашел его в лице незадолго перед этим взобравшегося на французский трон Луи-Наполеона; ключи от вифлеемской церкви были переданы католическому духовенству.

Тогда Николай решил предложить Англии через посредство английского посла Сеймура ни больше ни меньше, как полюбовный раздел Турции, но с тем непременным, однако, условием, чтобы Англия не посягала на Стамбул и проливы, а вознаградила бы себя Египтом и Критом.

Предложение это вызвало бурю негодования в английских правительственных кругах: русский царь слишком проговорился, он выказал себя плохим дипломатом. Полное владычество России в Черном море свело бы на-нет английскую торговлю с Востоком; захват Россией Европейской Турции слишком усилил бы могущество России. И Англия, бывшая до того с Францией в отношениях, близких к войне, протянула ей руку для борьбы с явным нарушителем европейского равновесия—царем Николаем.

Севастопольские дамы не знали причин войны. В театре они все пересмотрели пьесу Нестора Кукольника «Морской праздник в Севастополе или Синопский бой», в морском собрании они видели картину молодого художника-маринста Айвазовского, имевшую темой тот же подвиг Черноморского флота, но ходили слухи, что именно Нахимов, блистательно истребивший турецкую эскадру в Синопском заливе, и заставил англичан деятельно готовиться к длительной и большой войне, чтобы русский флот перестал существовать и чтобы Севастополь, как древний Карфаген[1], был разрушен.

Между тем все разговоры и с адъютантом Меншикова, и с адмиралами, и с генералами, близкими к светлейшему по делам службы, не успокаивали дам. Ответы казались им явно уклончивыми, генерал же Кирьяков ответил насмешливо, что лучше его знают сами союзники, куда именно они вздумали везти десант.

Однако дамам казалось бесспорным, что кроме союзников должен знать это тот, кому вверена судьба Крыма,—главнокомандующий сухопутными войсками и флотом, светлейший князь, который к тому же, как было известно, состоит в личной переписке с самим царем. Он—дипломат, конечно, он может не сказать из каких-нибудь соображений этого прямо, если его спросить, но успокоительный ответ всегда ведь можно прочитать на его лице.

И когда полиция, оцепившая с площади дом Дворянского собрания, чтобы праздная публика не смела прохаживаться под окнами, дала знать на лестницу, что вышел из дворца светлейший, дамы из разных углов залы и кабинетов собрания поспешно столпились около входных дверей.

Меншикова звали Александр Сергеевич, и он также был именинником в этот день, как и наследник. И если офицерам флота и армии была возможность поздравить именинника перед парадом и после парада, во время обеда в морском собрании, то дамам представлялось сделать это теперь.

Внушительных размеров букет ремонтантных чайных роз и алых гвоздик был приготовлен для этого хозяйкой бала, полковницей Веревкиной, молодой крупной женщиной тех расплывшихся, но искусно стянутых форм, которые вежливо зовут роскошными.

Меншиков поднимался по невысокой, но широкой мраморной лестнице, устланной красным ковром и ярко освещенной свечами в бронзовых

---

[1] *Карфаген*—финикийское государство и главный его город в Северной Африке; разрушен войсками Рима, с которыми вел войны (264—146 гг. до н. э.).

бра, весьма торжественно. Он был более чем высокого роста,—это было в роду у Меншиковых, начиная с основателя рода «безвестного баловня счастья», петровского денщика.

Несмотря на свои преклонные годы, именинник держался прямо; седые волосы на вытянутой голове были еще довольно густы; коротко подстрижены были белые усы, черные глаза глядели внимательно не под ноги, на ступеньки и ковер, а вверх, где у дверей толпились дамы и слышалась из зала подготовка оркестра к радостному тушу.

Он казался при своем росте сухощавым, если не худым, однако это не была сухощавость стариков его лет, это была его прирожденная стройность, которую передал он и своему сыну Владимиру, генерал-майору, шедшему с ним рядом, справа, а слева на шаг сзади его держался старший его адъютант—полковник Вунш.

Хозяйка бала встретила светлейшего именинника в дверях, скрывая нижнюю половину своего дородного, вдруг раскрасневшегося лица за букетом. Она приготовилась было сказать небольшую речь наподобие речи Иннокентия при закладке собора, конечно, гораздо проще, но проговорила только: «Поздравляем вас, Александр Сергеевич, с торжественным днем вашего ангела...»

И неожиданно даже для себя самой остановилась: все остальные слова как-то мгновенно вылетели из ее головы, а букет совершенно непроизвольно потянулся к золотым аксельбантам князя.

Князь благосклонно поблагодарил ее невнятной французской фразой и, молодцевато склонившись, поцеловал ее пухлую руку.

Дамы кругом кричали:

— Поздравляем! Поздравляем, ваша светлость! С ангелом!

Наконец грянули музыканты и покрыли все голоса. Прижимая к груди букет, Меншиков наклонял голову влево и вправо, и улыбка его при этом была похожа на досадливую гримасу. После обеда в морском собрании он спал часа два-три, но теперь его мучила изжога, и он думал только о содовой воде. Вечерний свет скрадывал желтизну его лица, очень заметную днем. Ноги его побаливали, но к этой боли он уже приспособился, привык: это была давнишняя его подагра; иногда она разыгрывалась, но теперь была вполне терпима.

Генерального штаба полковник Вунш, плотный белокурый человек лет тридцати двух-трех, спрашивал между тем на ухо у Веревкина, приготовлен ли в собрании кабинет для князя, и Веревкин торопливо выдвинулся вперед, чтобы провести главнокомандующего в кабинет, убранный особенно заботливо.

Но дамы не разомкнули своего тесного круга перед сделавшим было шага два вслед за Веревкиным светлейшим. Ведь только он мог и должен был разрешить все их сомнения и снять их страхи. И одна из дам, стоящая к нему ближе других, жена капитана 1-го ранга Юрковского, застенчивая вообще, но теперь вдруг проникнувшаяся решимостью, сказала неожиданно, когда музыканты умолкли:

— У меня десять человек детей, ваша светлость!

— Да-а!?—непонимающе поднял седые брови Меншиков.

— И самый старший мой всего только кадет третьего класса...—продолжала Юрковская.—И я, как и другие матери, хотела бы знать, оставаться ли нам в Севастополе, если это безопасно, или же... или мы должны куда-нибудь выехать?

Брови князя опустились даже ниже, чем нужно, так как теперь он понял, но, чтобы ответить не сразу, спросил:

— Однако, чего же именно вы опасаетесь?

— Неприятельского десанта, разумеется!—ответила за Юрковскую бойкая Бутакова.

— Который направляется в Севастополь!—закончила за Бутакову Суслова с кроткими глазами.

— Ка-ак так направляется в Севастополь?—опять вспорхнули брови князя.—Ведь десант продолжает стоять у Змеиного острова?—посмотрел он на своего сына, на Веревкина, на Корнилова; и, остановив встревоженный взгляд на начальнике штаба флота, спросил начальственно:—Разве были еще депеши?

— Никаких с утра, ваша светлость!—поспешно ответил Корнилов.

— Значит, неприятельская армада как стояла, так и продолжает стоять?—обвел с высоты своего роста всех столпившихся дам несколько игривым даже взглядом Меншиков.

Однако Юрковская снова спросила за всех:

— Но ведь она когда-нибудь тронется все-таки и пойдет... Куда же именно?

— Ах, вот что! Вам хочется знать, куда именно пойдет!—слегка улыбнулся Меншиков и ответил быстро, но многозначительно:—На Кавказ!

— На Кавказ?—изумленно повторила Юрковская, а за нею еще несколько дам.—Почему же на Кавказ?

— Таково мнение его величества,—прищурив глаза, ответил князь.

— А вы лично... ваше личное мнение?—не звонко, но настойчиво спросила Бутакова.

— Какого мнения я лично?—на вид чрезвычайно изумился детскому вопросу хорошенькой женщины главнокомандующий и ответил наставительно и потому как будто сурово:—Если мне известно мнение его величества, я не имею права держаться каких-нибудь других мнений!

Серьезность и даже как будто суровость князя, когда он говорил это, была вполне точно понята дамами, а возможность десанта на Кавказе, о чем

они иногда слышали и раньше, тоже стала как-то совсем бесспорной после его слов.

Действительно, где же еще и велась хроническая, точно катар желудка, война, как не на Кавказе? У некоторых из дам родственники погибли в этой войне, у других погибали, третьи успели уже состариться, в первый раз еще в детстве услышав о войне на Кавказе. Просто Кавказ это и было такое место, где воюют и куда, для медленной или скорой смерти, как кому повезет, высылает правительство тех, кого вздумает разжаловать.

Как-то сразу стало ясно, что больше и некуда итти этому досадному десанту, как только туда, на Кавказ, где принято воевать бесконечно.

И круг дам около Меншикова почтительно и благодарно разомкнулся, и князь смог, наконец, проследовать в кабинет и спросить себе содовой воды.

Музыканты же ретиво грянули котильон, которым обыкновенно начинались в те годы танцы на всех балах, неизменно заканчиваясь мазуркой.

3

На противоположной стороне улицы собралась толпа любопытных послушать музыку оркестра Бородинского полка, посмотреть на то, что можно было увидеть вблизи этого приманчивого для иных юных сердец севастопольского дома веселья.

Пристав, дежуривший около собрания, счел это скопление народа недопустимым и послал двух будочников разогнать толпу. Но в толпе оказалось несколько офицеров из огромного числа не попавших на бал, и будочники сконфуженно вернулись ни с чем.

Среди этих фланирующих по Екатерининской улице офицеров было два флотских—мичман Невзоров и лейтенант Стеценко, которые с двенадцати часов должны были становиться на вахту на телеграфной вышке морского собрания.

Вышки оптического телеграфа были раскинуты по всему берегу от Севастополя до Николаева. Они устраивались на таком расстоянии друг от друга, чтобы днем можно было разглядеть сигналы флагами и шарами, ночью—семафорами. Депеши, полученные таким образом, поневоле немногословные, передавались с одной вышки на другую, пока не достигали Севастополя—в одну сторону или Николаева—в другую,—двух портов на Черном море, в административном отношении наиболее важных.

Мичман, только что сам покинувший ради вахты бал, говорил лейтенанту:

— Поглядели бы вы, как Бирюлев прыгает! И с кем это он? С Ниной Бутаковой! Вот кому везет по всем статьям! В Нину ведь и я влюблен, однако я вот должен итти на вахту, а он с нею танцует!.. А третьего дня заложил банк и всех нас обчистил... Я от него вышел,—положительно сел на экватор.

«Сесть на экватор» было в те времена в большом ходу у черноморских моряков, когда надо было выразить полное безденежье.

Лейтенант Стеценко был постарше Невзорова и считался одним из серьезнейших среди флотской молодежи. Совершенно невозмутимый, с обычно плотно сжатыми губами, как будто совсем и не приспособленными к улыбке, и с пристальным взглядом небольших серых глаз, точно постоянно занятый измерением и съемкой местности и встречных лиц, лейтенант отозвался, кивнув на окна:

— Очень похоже на так называемый пир Валтасара![1] А между тем как-то неудобно даже: вдруг союзники направятся к нам, а мы, извольте полюбоваться, встречаем их танцами!.. Ка-ка-я, подумаешь, счастливая Аркадия![2]

— Не сунутся к нам союзники! Одни разговоры!..—И Невзоров попрежнему жадно вглядывался в окна, хотя в них, конечно, ничего не могло быть видно, и вдруг толкнул Стеценко, почти простонав тоскливо:—А-ах, божественная Катрин и противный Сколков! Если б вы только видели эту пару!

— А в Катрин вы тоже влюблены?—осведомился Стеценко.

— Безгранично!.. Эх!.. Если бы не эта проклятая вахта, я и сейчас был бы там! Представить только!

— Это представить нетрудно... Гораздо труднее представить следующий бал в Севастополе.

— Семнадцатого сентября будет!

— По-че-му вы убеждены в этом?

— Как же почему? Семнадцатого—Веры, Надежды, Любви и матери их Софьи! Пол-Севастополя будет именинниц! И чтобы не было в этот день где-нибудь бала... Что вы!

— Ну, пойдем уж на вахту,—отвернулся от Невзорова Стеценко и не остался, хотя тот умолял его постоять еще немного.

Мичману пришлось догонять его, зашагавшего неумолимо четко, хотя минут десять, по всем расчетам, они могли бы еще подождать.

А бал между тем к этому времени вполне разгорелся, и разгорелся пышно.

Сам олицетворенное спокойствие на весьма длинных (трижды—под Рущуком, Парижем и Варной—раненых) ногах, князь Меншиков, так успешно успокоив дам и выпив необходимой ему содовой

---

[1] *Валтасар*—вавилонский царь, который, по рассказу библии, увидал во время пира начертанные таинственной рукой непонятные слова на стене, предвещавшие, как разъяснили толкователи, гибель его царства.

[2] *Аркадия*—сказочная страна мирного счастья и неомраченной простоты нравов.

воды, расположился в кабинете собрания со всеми возможными не у себя дома удобствами.

Молодой Меншиков и полковник Вунш остались в зале, а туг около светлейшего сидели, кроме Нахимова и Корнилова, все почтенные старцы: «Ветреная блондинка», Моллер, которого молодежь называла иногда «Рамоллер», производя это слово от «рамоли»[1], вице-адмирал Станюкович, бывший в Севастополе командиром порта,—пост равный генерал-губернаторскому, и князь Горчаков 1-й—генерал от инфантерии, командир корпуса, старший брат главнокомандующего Южной армией, которую отодвинули от Дуная австрийцы.

Станюкович был даже старше годами светлейшего: ему было без нескольких месяцев семьдесят лет. Когда-то бравый флотоводец, теперь он стал только хлопотуном и канцеляристом, ретивым хранителем всякого весьма многочисленного казенного добра, скопившегося за долгие годы в порту. Серые когда-то глаза его выцвели и глядели подслеповато. Он часто нюхал табак, медленно доставая для этого табакерку и большой фуляровый платок. Потом, прочихавшись, прятал так же медленно то и другое, чтобы через несколько минут снова нашаривать их, совсем не в тех карманах, куда положил, и не совсем уже послушными, костенеющими руками. Слышал он тоже уже плоховато, хотя всячески силился это скрывать.

Горчаков был года на два моложе светлейшего, почти такого же роста, как он, и, пожалуй, не меньшего хладнокровия. Он был боевой генерал, участник многих сражений, и на его опытность возлагал большие надежды Меншиков в случае, если б действительно англо-турко-французы вздумали когда-нибудь впоследствии, ради демонстрации, высадиться в Крыму.

Так в не особенно большой комнате этой собрались почти все, от кого зависела судьба крепости и флота, города и Крыма в случае, если бы союзники пустились выполнять волю английского парламента.

Правда, в городе и в окрестностях его—в казармах, палатках и на судах—спали теперь десятки тысяч солдат и матросов, и от них как будто тоже зависело кое-что, но они обязаны были только делать то, что начальство прикажет, без промедления и рассуждений: наиболее вредными для дела войны считались у солдат и матросов какие бы то ни было свои мысли.

На столе перед светлейшим стояла бутылка шампанского; не без основания, может быть, именно этому коварному вину приписывая свою подагру, Меншиков все-таки не имел достаточного запаса воли, чтобы от него отказаться, тем более теперь, когда, как всегда в день своих именин, он чувствовал себя праздично и непрочь был несколько разойтись.

Не желая напрягать голосовых связок, он говорил негромко, так что Станюкович таращил на него глаза и тянулся к нему открытым ртом и левым ухом:

— Так же точно, господа, как адмирал Нэпир боится Кронштадта, как чорт ладана, и только несчастные финские лайбы топит, так и Дондас с Гамеленом не сунутся к Севастополю,—нет, будьте покойны!

— Да, конечно, Нэпир бездействует,—живо подхватил Корнилов,—но ведь берега балтийские кое-где все-таки минированы, а у нас что?

— Минированы?—насмешливо качнул головой светлейший.—Пус-тя-ки это все! На всякие мины есть свои контрмины... Мины можно поставить,—мины можно выловить...

Однако Корнилов не сдавался:

— Ну, под выстрелами береговых батарей не так легко выловить мины, ваша светлость!

— Крепостная артиллерия не может рассчитывать на меткость стрельбы по движущимся целям, но вы правы, конечно: под выстрелами батарей не так бывает приятно даже английским кораблям, и они предпочитают уходить,—неуловимо улыбался его словам Меншиков, улыбкой, похожей в то же время и на гримасу от подагрических болей.—Вообще эта привычка Англии сначала объявить войну, а потом начать к ней готовиться—очень смешна. Помнится, месяцев пять назад было сообщение в газете, что начали точить на наши головы одиннадцать тысяч сабель в Портсмуте, кажется, потом месяца через два было, что их продолжают точить в Плимуте, а совсем недавно где-то попалось мне, что их дотачивают в Облимуте. Однако это едва ли конец, мы еще прочитаем через полгода, в каком городе, может быть в Манчестере, их окончательно наточили! Только тогда они и решатся сделать десант на Кавказе. Кстати через полгода начнется весна, а на зиму глядя, кто же делает десант?

Из всего сказанного князем Станюкович вполне ясно расслышал только «десант на Кавказе», поэтому он взмахнул радостно табакеркой, которую забыл спрятать, и подхватил:

— Стало быть, на Кавказе десант? Это значит, Александр Сергеич, вполне решено и подписано, а?

Но Меншиков развел длиннопалыми руками, усмехнувшись:

— В Петербурге—да... А как решили Сент-Арно с Рагланом, мне неизвестно... Между нами, господа,—впрочем, это, может быть, и не секрет уже,—я ведь писал государю еще месяца два назад о своих взглядах на этот предмет... Может ли противник высадить десант в Крыму и где именно удобнее было бы ему высадиться, это

[1] *Рамоли*—человек, старчески расслабленный (франц.).

й разобрал в своем письме, кажется, довольно подробно.

— И какое же место для высадки нашли вы наиболее возможным?—спросил Горчаков.

— А вы как бы думали?

— Гм... Может быть, Перекоп, чтобы сразу отрезать весь Крым?—не совсем решительно ответил Горчаков.

— Далеко! Туда они не пойдут-с!—оторвался от своей трубочки Нахимов.—Это далеко-с!

— Херсонес!—решительно сказал было Моллер, но тут же, как напроказивший мальчик, тревожно оглядел всех, особенно светлейшего, а Корнилов, разглядывая свой перстень на левой руке и будто думая вслух, проговорил медленно:

— Если уж ждать их, то где-нибудь тут—между Качей и Евпаторией.

— Совершенно верно, Владимир Алексеич! Так именно я и писал,—кивнул Меншиков.—Я пересмотрел все возможные пункты высадки: Перекоп и даже Феодосию, Керчь,—и пришел к выводу, что или в самой Евпатории, или южнее... И просил усилить меня хотя бы вдвое. Но-о... мне предложено было усилить моими войсками генерала Хомутова, и туда, к нему, на Северный Кавказ, все гонят подкрепления и пушки. Значит, есть какие-то основания для этого, нам с вами неизвестные.

— Да-с, наступает сентябрь, месяц равноденствия-с,—выбил и спрятал свою трубочку Нахимов.—Они еще незнакомы с нашим Черным морем, так вот-с—пусть познакомятся.

— В сорок восьмом году, при покойном Лазареве, помните, какая буря была у берегов кавказских? Вот так и теперь может случиться,—сказал Станюкович.—Вот тогда им и будет де-сант! У нас тогда три судна погибло, у них может быть гораздо больше потерь!

— Не пойдут они на Кавказ!—вдруг громко и решительно заявил Моллер, и все посмотрели на «Ветреную блондинку» ожидающе и молча, но Моллер был напыщен, красен и только вращал глазами.

— Почему не пойдут?—спросил, наконец, Корнилов.

— Потому что они ведь не круглые же дураки,—вот почему!—и «Ветреная блондинка» стал воинственно барабанить мясистыми пальцами по подлокотнику кресла, в котором сидел.

— Они, конечно, люди неглупые,—улыбнулся Меншиков,—но что войну ведут они непостижимо глупо, кто же будет против этого возражать?

Между тем как в кабинете успокаивали самих себя те, кто привычно считался мозгом и волей Севастополя, дамы в зале и других комнатах собрания чувствовали уже себя успокоенными прочно. Опьяненные музыкой и дозволенной в обществе близостью молодых, здоровых, веселых, остроумных, воспитанных, а главное, совершенно посторонних мужчин, с которыми можно за эти несколько часов натанцоваться, игриво наговориться и нафлиртовать вволю, отнюдь не давая определенных надежд на большую близость, но в то же время и не лишая никого этих надежд, молодые и средних лет дамы, а также девицы, весьма немногочисленные, впрочем, в этом городе неисчерпаемого запаса женихов, к половине первого вошли в пределы вполне счастливой беспечности.

Буфет работал во-всю.

Презрительно относившийся к Меншикову генерал-лейтенант Кирьяков в кружке удачно подобранных контр-адмиралов и капитанов 1-го ранга, а также одного из своих бригадных—генерал-майора Гогинова, пил крепкий портер, в изобилии заготовленный хозяйственным поручиком Вержиковским, и то рассказывал сам, то, раскатисто хохоча, выслушивал от собеседников несколько пожилые, но все же казавшиеся после нескольких бутылок портера не лишенными еще пикантности анекдоты.

Десертному винограду и душистым зеленомясым дыням была оказана должная честь. В избытке чувств роскошнотелая хозяйка бала распорядилась умеренно угостить и музыкантов, и когда подкрепившиеся музыканты с новой энергией взялись за свои валторны, фаготы и кларнеты и завихрилась мазурка, в собрание вошел лейтенант, одетый так, как полагалось для вахтенных офицеров, и спросил полковника Веревкина, не здесь ли начальник штаба флота.

— Адмирал Корнилов здесь,—ответил Веревкин,—только... я не знаю, будет ли это удобно...

— Получена на телеграфной станции очень важная депеша,—строго сказал вахтенный.

— Да, если важная депеша,—конечно... Как о вас доложить?

— Лейтенант Стеценко.

Через минуту Веревкин сам ввел лейтенанта в кабинет и вышел, плотно затворив за собою дверь.

Стеценко, мгновенно оглядев находившихся в кабинете и сделав два шага в направлении Меншикова, четко стукнул каблуком о каблук и сказал тоном рапорта:

— Ваша светлость, только что получена на телеграфной станции депеша о движении неприятельского флота.

И удивленному князю протянул форменный, синего цвета бланк, в который вписывалось переданное семафорами.

Лорнет, вынутый Меншиковым из бокового кармана кителя, заметно дрогнул в его крупной руке, когда он приставлял его к глазам, чтобы прочитать депешу. Он прочитал ее два или три раза, так показалось остальным, сидевшим в кабинете, наконец он сказал глухо, отнимая лорнет от глаз:

— Это, господа, нужно будет еще проверить завтра... то есть уже сегодня, с восходом солнца. Депеша эта могла быть составлена опрометчиво.

— А содержание ее?—быстро спросили и Корнилов и Горчаков.

— Содержание такое: «Неприятельский флот в несколько сот вымпелов держит курс на ост к западным берегам Крыма»,—снова вскинув лорнетку, прочитал Меншиков.

Все переглянулись, а Меншиков обратился к Стеценко:

— Кого вы оставили на станции, лейтенант?

— Мичмана Невзорова, ваша светлость.

— Ага... Ночь светлая?

— Почти полная луна, ваша светлость.

— Ветер?

— Был вест, теперь упал и полный штиль, ваша светлость.

— В депеше не сказано, где находится сейчас флот?

— Депеша отправлена из Николаева, ваша светлость.

— Во всяком случае, если штиль, они недалеко уйдут: у них очень много парусных судов и, чтобы их вести на буксире, нехватит пароходов.

Среди очень обеспокоенных лиц, лицо Меншикова удивило лейтенанта своим спокойствием. Князь сложил депешу вчетверо и сказал Стеценко тоном приказа:

— Отправляйтесь сейчас же и установите, где именно в данное время находится флот. Депешу доставьте мне лично, но не сюда, а ко мне во дворец.

— Есть, ваша светлость!

Показав прекрасную выправку на повороте, Стеценко вышел.

А Корнилов, глядя на Меншикова, сказал не то, чтобы зло, и не то, чтобы возбужденно, а как человек, с которого свалилась тяжесть ожидания, мучившая его очень долго:

— Ну, вот, наконец и дождались!

— Чего именно?—живо отозвался Меншиков.— Что армада сдвинулась с места? Она и должна была сдвинуться когда-нибудь, чтобы пойти на Анапу, к Хомутову.

— На Анапу ли?

— А чтобы дойти до Анапы, ей надо обогнуть Крым.

— Но в депеше ясно сказано «на ост», а не на «зюйд-ост»! Ведь для того, чтобы обогнуть Крым, надо итти на зюйд-ост, а не на ост. Змеиный остров и Евпатория на одной высоте...

И Корнилов ногтем большого пальца на белой глаженой скатерти провел две черты: одну совершенно прямую от воображаемого Змеиного острова к Евпатории, другую—изогнутую на конце— к Анапе.

Меншиков же заметил на это досадливо:

— Вы вспомните-ка лучше, где Николаев, и каким это образом из Николаева могли увидеть движение флота в открытом море!

— Очевидно, туда дали знать из Одессы вёрхами-с,—вставил Нахимов.

— Это и показывает, что депеша нуждается в проверке.

Никто уже не сидел, все стояли, потому что встал Меншиков.

Станюкович, как открыл рот еще при чтении князем депеши вслух, так и не закрывал его, и, глядя то в этот открытый рот, то в белые глаза адмирала, говорил возбужденно Моллер:

— Я ведь только что,—вы слышали?—сказал, что они не дураки, чтобы итти на Кавказ! И вот я оказался прав!

— Депешу, конечно, надо проверить,—выразил свое мнение и Горчаков, он вынул часы, медленно открыл крышку, присмотрелся к стрелкам и добавил:—До утра осталось уж не так много, а утро, говорят, вечера мудренее.

— Ваша светлость! Прикажете готовить флот к бою?—вытянулся по-строевому перед Меншиковым Корнилов.

— Нет, это и преждевременно и... и вообще лишнее,—недовольно ответил Меншиков.

Однако все в этом кабинете, уютно обставленном, поняли вдруг, что бал надобно закончить немедленно.

Но это поняли и в зале.

Полковник Веревкин ждал выхода лейтенанта Стеценко, чтобы узнать от него, что за важная новость получена на телеграфе, и Стеценко не счел нужным скрыть содержания депеши, так как не получил от командующего приказа держать это в тайне, бал же этот был ему противен и раньше, когда он глядел с улицы на освещенные ярко окна.

Он вспомнил три гневные строчки Лермонтова:

О, как мне хочется смутить веселость их
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!

И он сказал Веревкину настолько отчетливо и громко, чтобы могли слышать и другие, кто оказался около:

— Неприятельские силы идут к берегам Крыма!

И тут же вышел на лестницу.

Когда из кабинета показались Меншиков и другие, в зале уже все знали страшную новость. Она промчалась по собранию почти мгновенно, как электрический ток.

Фаготы и кларнеты умолкли, но слышен был мощный бас адмиральши Берх:

— Ну, вот и доплясались!.. А теперь уж, пожалуй, отсюда и не уедешь!

Та сложная военная операция, которая могла еще когда-то совершиться, молниеносно совершилась уже в испуганном мозгу.

Кто-то крикнул тоскливо:

— А днем-то едва ли уж и извозчиков найдешь!

И мать десятерых малолетних детей, капитанша Юрковская, с побелевшим и сразу опавшим лицом, не желая уже терять ни минуты времени на разъяснения светлейшего, ринулась вон из зала. За ней другие.

Светлейший, впрочем, ничего не разъяснял. Он видел смятение дам, понял, что оно вызвано не кем иным, как тем же весьма исполнительным по службе, кстати имевшим и боевой опыт на Кавказе, лейтенантом Стеценко, но не счел нужным ни осудить за это лейтенанта, ни успокаивать кого бы то ни было.

Ему и самому казалось очевидным, что союзники, если они действительно высадятся в Крыму, сейчас же выдвинут сильный заслон на большую дорогу из Севастополя в Симферополь.

Подошедшему к нему с обеспокоенным лицом сыну он сказал вполголоса:

— Как я писал в Петербург в июне, так, кажется, и случилось.

Обычно такие кроткие карие глаза Сусловой сделались неузнаваемо негодующими, когда она, стремясь к выходу, взглянула теперь на красноречивого адъютанта светлейшего конногвардейца Грейга.

ГЛАВА ВТОРАЯ
ВРАГИ ПРИШЛИ

1

Депеша, полученная на телеграфной станции при морском собрании в ночь на 31 августа, несколько предупредила события.

Из Николаева, с бухты реки Буга, конечно, никто и ни в какую подзорную трубу не мог бы разглядеть движения великой армады, но не только за слишком большою дальностью расстояния, а также и потому, что армада никуда не двигалась в этот день: для парусных судов, из которых в огромном большинстве она состояла, не было достаточной силы ветра.

Однако искать виновного в передаче ложного слуха как военного донесения не пришлось долго Меншикову: армада покинула Змеиный остров и двинулась действительно к берегам Крыма, а не Кавказа, в полдень 31 числа, когда окреп попутный ветер, и депеши об этом шли уже уверенно и настойчиво одна за другою. В одной указывались даже приблизительные размеры армады—семьсот вымпелов, в другой говорилось, что армада покрыла море на четырнадцать верст в ширину.

В этих депешах была уже некоторая обстоятельность и точность, так необходимые в деле войны. Было видно, что наблюдатели—моряки, сидевшие в мелких каботажных судах в открытом море, стремились подсчитать безошибочно силы врагов, чтобы было что передать на семафорные вышки. Можно было представить, получая подобные депеши в Севастополе, и то, что неприятельские эскадры идут в собранном виде, имея определенную цель впереди и не желая отвлекаться преследованием каких-то жалких лодок, сколько бы наблюдателей в них ни сидело: они шли открыто и с сознанием полного превосходства своих сил.

К Севастополю, гордой русской крепости, стоящей на прочной скалистой суше, плыла по Черному морю на пароходах и огромных двух- и трехдечных парусных линейных кораблях, на фрегатах, корветах, бригах, на транспортах больших, средних и малых новая крепость.

Все эти сотни судов везли не только до семидесяти тысяч полевых войск, с расчетом по тысяче артиллеристов на восемь тысяч пехоты, не только огромные осадные орудия—пушки и мортиры, не только бесчисленное количество снарядов к ним, не только сорок тысяч туров, но и сотни тысяч мешков, набитых шерстью и землей,—турецкой землей, из окрестностей Константинополя, из-под Скутари и Галлиполи, и ближе—из Варны, из Балчика... Казалось бы, мешки можно было привезти и пустые, но известен был каменистый грунт на подступах к Севастополю и представлялось проще и легче привезти водою вполне готовые бастионы.

Корреспонденты иностранных газет, посещавшие лагери союзников весною и летом, были нетерпеливы, конечно, как наиболее нервные из городских людей. Они жаждали скорейшего начала военных действий, чтобы красочно живописать их для своих газет, но военных действий не было, и им казалось, что армии, собравшиеся сначала в Константинополе, а потом в Варне, собирались только затем, чтобы постепенно вымирать там от холеры и изнурительной лихорадки.

Но армии отнюдь не бездействовали,—напротив, они готовились к походу с большой поспешностью и чрезвычайно обдуманно. Готовясь к осаде крепости, они только к этому и сводили все учения в поле, в то время как огромный французский флот и несравненно больший английский безостановочно работали, подвозя из Марселя и Дувра дивизию за дивизией.

Один английский океанский пароход «Гималая» брал сразу по два полка пехоты, с артиллерией и обозом, и окрестности Константинополя переполнялись массами европейцев, проявивших такую деятельность, что она приводила в ужас царство табака, кальяна и кейфа.

Находя берега Дарданелл и Босфора очень плохо защищенными от нападения русских войск, французы и англичане энергично начинали применять к укреплению их последние достижения инженерного искусства Запада. По всем правилам фортификации укрепляя берега, они даже через такие

священные места мусульман, как кладбище, проводили траншеи, деловито выбрасывая вон кости покойников.

Турки правящих кругов недаром славились как хорошие политики: они отлично знали, что очень часто случалось в истории, когда народ, приглашенный на помощь другим народом, охотно приходил, но весьма неохотно уходил, оказавши помощь, а чаще всего оставался, как завоеватель.

Французы, как народ более сангвинический в противоположность холодным англичанам, и вели себя в Галлиполи и Скутари, где они расположились в турецких казармах и по домам обывателей, как в завоеванной стране.

Они назначали на съестные припасы и на все, им необходимое, свои цены, и на адрианопольского пашу, назначенного султаном, чтобы помочь союзникам устроиться на турецкой земле, французский генерал Канробер совершенно по-хозяйски топал ногами и кричал, требуя в апреле, когда уж никто в Турции не топил печей, дров для отопления казарм.

Однако,—и это случилось в первый раз в истории турецкого государства,—шейхуль-ислам—глава турецкого духовенства, издал приказ по мечетям служить молебны о даровании победы оружию гяуров, к величайшему, конечно, изумлению аллаха и Магомета, пророка его.

Тысячеминаретный Стамбул не один раз видел теперь на своих площадях и блестящие парады французских войск, которые, как театральные постановки, проводил в присутствии султана Абдул-Меджида главнокомандующий французских войск маршал Сент-Арно, настоящая фамилия которого была Леруа, актерская же,—так как до поступления на военную службу он был мелким провинциальным актером,—Флоридаль.

Сент-Арно выдвинулся в Алжире во время жестокого усмирения кабилов, деревни которых он уничтожал до основания. Этот талант его—жестокость—был отмечен в Париже. Когда племянник Наполеона, Луи Бонапарт, добившийся поста президента Французской республики, вздумал возродить империю и взойти на трон, он отыскал Сент-Арно в Африке, сделал его военным министром и своим послушным орудием в деле истребления свободолюбивых парижан 4 декабря 1852 года.

Тогда по непосредственному приказу Сент-Арно подпаиваемые на деньги Луи Бонапарта солдаты не только разметали артиллерийским огнем баррикады на улицах Парижа, но беспощадными и бессмысленными залпами расстреливали и обычные уличные толпы, фланирующие по тротуарам, и даже любопытных, высыпавших из своих квартир на балконы посмотреть на необычайную стрельбу.

Окровавленный Париж, потерявший тогда несколько десятков тысяч человек убитыми и ранеными, был приведен в трепет и молчаливо признал Луи Бонапарта императором, а не признавшие из депутатов парламента частью были расстреляны, частью сосланы в колониальные страны, частью просто высланы или, как Виктор Гюго, бежали из пределов Франции.

Генерал Канробер, тоже выдвинувшийся в Алжире при разгроме кабильских деревень, помогал Сент-Арно и при разгроме Парижа. Эти два «декабрьские» генерала стояли во главе французских войск, как во главе английских—два бывших адъютанта герцога Веллингтона, которого чтили в Англии как гениального победителя Наполеона, точно так же, впрочем, как в Пруссии чтили за то же самое Блюхера, в России—Кутузова.

Эти два бывшие адъютанта и ученики Веллингтона были: главнокомандующий лорд Раглан и начальник одной из дивизий генерал сэр Джордж Броун.

Лорд Раглан был тех же лет, что и князь Меншиков, но он был однорукий: в битве при Ватерлоо[1], когда состоял он при Веллингтоне для поручений, ему оторвало правую руку ядром.

Сент-Арно был значительно моложе Раглана,—однако в свои пятьдесят три года он был уже полумертвец. Он страдал неизлечимой болезнью желудка, и Луи Наполеон, отправляя его на Восток, в то же время снабдил Канробера бумажкой, по которой тот должен был принять командование над войсками в случае смерти Сент-Арно.

Как бывший актер Сент-Арно любил говорить речи перед войсками, издавать цветистые приказы по армии и писать реляции в стиле монологов ложноклассических пьес. Но врачи, лечившие его, не говорили ему, что дни его сочтены. Напротив, они уверяли, что труды и заботы боевой жизни будут для него гораздо лучше всяких лекарств.

В Африке ему никогда не приходилось командовать отрядом больше, чем в шесть тысяч; теперь же под его командованием была огромная армия, которая готовилась воевать отнюдь не с кабилами, и он временами впадал в отчаяние от возможной неудачи похода, и это плохо действовало на окружающих. Тогда он требовал от императора Наполеона III, чтобы тот отозвал в Париж дивизионного генерала, принца Жерома Наполеона, своего дядю, которому было уже под семьдесят и который, по мнению Сент-Арно, разлагающе действовал на всю французскую армию своим гомерическим пьянством и обжорством.

Принц Жером, впрочем, не оставался в долгу и слал племяннику жалобы на Сент-Арно. Наполеон III был тогда еще довольно молод, но обла-

---

[1] *Ватерлоо*—селение в Бельгии, вокруг которого 30 июня 1815 г. произошло сражение между соединенными силами Англии и Пруссии и армией Наполеона. Поражение французов решило судьбу Наполеона.

дал совершенно невозмутимым спокойствием и терпеливо ждал смерти обоих.

Он знал, что война, затеянная им совместно с Англией, может принести в случае удачи пользу только Англии, а не Франции, интересы которой не сталкивались жизненно с интересами России.

Но молодые люди всегда склонны переоценивать свои таланты, особенно военные, и он, которому посчастливилось, хотя и при третьей уже попытке, попасть так легко на трон, завоеванный некогда его дядей, не мог не думать, что часть военного гения Наполеона живет и в нем. Союз с Англией был тем более для него ручательством победоносной войны, что Англия держалась золотого правила не проигрывать войн. А начать свое царствование счастливой войной значило приобрести популярность в народе.

Буржуазию думал он привлечь, предоставив ей возможность нажиться на поставках для армии; офицерство—быстрым производством в чины; так как всякий убитый или тяжело раненный офицер очищает свое место для младшего в чине, солдатам же, которым повезет уцелеть в боях, он заранее заготовил красноречивые всемилостивейшие манифесты.

Один из подобных манифестов был опубликован в «Монитере»—газете Елисейского дворца. Касался он весьма многочисленных потерь «во славу Франции», понесенных французской армией во время июльско-августовской экспедиции в болотистую Добруджу.

Кем-то был пущен слух, что русская армия, отошедшая от Силистрии на Дунае, скопляется в Добрудже, чтобы отсюда угрожать союзникам, и вот Сент-Арно спешно снарядил две дивизии, и по совершенно не освещенной разведкой болотистой местности двинулись под начальством Канробера бравые зуавы.

Сначала они попали под проливные дожди и брели по колено в воде, потом, выйдя из полосы болот, они под палящим солнцем шли по совершенно безводной равнине. От нестерпимой жажды солдаты пили воду из канав, заваленных трупами. Смертность от эпидемических болезней была такова, что целая бригада, видя, что на каждом шагу падает в ней то там, то здесь человек, чтобы никогда не встать больше,—в ужасе бросила ружья и ранцы и рассыпалась, как испуганное стадо.

Наконец показался какой-то кавалерийский отряд, принятый за русских казаков, началась перестрелка. Но вскоре оказалось, что это не казаки, а турки. Начальник турецкого отряда убедил Канробера вернуться в Варну, так как этот участок совершенно безопасен от русских.

В перестрелке со своими союзниками французы потеряли около тридцати человек, от эпидемии—до десяти тысяч.

Все генералы, подчиненные Сент-Арно, думали, что после этого он будет, наконец, смещен, но он не нужен был в Париже, и дело это закончилось манифестом в «Монитере» и секретной телеграммой Сент-Арно с определенным приказом готовить армию к экспедиции в Крым. Цель войны, наконец, была указана ясно: Севастополь. Приказ (не первый уже) был на этот раз категоричен.

Но эта цель гораздо раньше была известна Раглану, хотя одновременно с Сент-Арно и он получил приказ итти на Севастополь.

Английская армия не истратила ни одного человека на легкомысленный поход в Добруджу. Английская армия была наемная, ее содержание слишком дорого обходилось казне, чтобы швыряться ею. Этим рабочим военного цеха платили по шиллингу в день. Их обязывались хорошо кормить, и обязательство это выполняли. В походе им давали в день по две кружки пива. Солдатские жены, сопровождающие мужей в поход, перевозились на казенный счет.

По сравнению с маленькими французами, английские солдаты—англичане ли они были, шотландцы или рыжие ирландцы—были все очень рослый народ (людей низкого роста не вербовали в войска королевы Виктории), а гвардейские их полки казались полками великанов.

Эти рабочие военного цеха служили не для парадов. Их действия в Индии создали им славу самой стойкой в мире пехоты, самой лучшей в мире артиллерии.

Меряться доблестями с русскими войсками им приходилось в первый раз за всю историю Англии и России.

Когда большая союзная эскадра, выйдя из Босфора, подошла 14/26 июля к Севастополю, на ней был и лорд Раглан, и сэр Джордж Броун, и Канробер, и несколько других английских и французских генералов, так что это была не только генеральная, а еще и генеральская рекогносцировка в целях точнейшего изучения Севастополя как крепости и его окрестностей на предмет осады.

Тогда были сосчитаны все орудия береговых батарей, так как маскировать их русские артиллеристы еще не умели, тогда же были обсуждены достоинства и недостатки Балаклавской и Камышевой бухт, и первую наметили себе для стоянки флота англичане, вторую—французы. Тогда же было выбрано и удобнейшее место для высадки десанта: километров на дзадцать южнее Евпатории, около озёр Сакского и Кизилар.

Вечером в тот день эскадра отошла недалеко: заштилело,—парусные линейные корабли никуда не могли уйти. И утром, как раз когда происходила закладка собора, в присутствии всех начальствующих в крепости и городе лиц, эскадра подошла снова.

Она точно хотела показать, как могут рабо-

тать в полный штиль пароходы, трудолюбиво таща на буксире по два и даже по три парусных корабля. И наблюдавший в трубу эту муравьиную работу пароходов, ярый приверженец парусного флота, адмирал Нахимов морщил покатый свой лоб и говорил ворчливо:

— Вот проклятые самовары!.. Недаром я их так не люблю, не-да-ром-с!

А на пароходе «Карадок», который крутился около Севастополя почти весь день накануне бала, снова был тот же неутомимый старик Раглан, и Канробер, и Броун, и другой старый английский генерал—Бургоин.

Русский флот мог бы выйти из бухты на охоту за дерзким соглядатаем, но невдалеке стояли на страже три больших судна,—между ними и «Агамемнон»...

Все-таки эскадра эта отнюдь не была страшна для всего Черноморского флота, но осторожному Меншикову казалось, что где-то за горизонтом скрываются еще и еще суда, которые быстро придут, заслышав первый же пушечный залп.

Однако никаких неприятельских кораблей не было вблизи Севастополя в этот день. Все остальные суда стояли у Змеиного острова и ждали сигнала к отплытию.

Благополучно вернувшись, Раглан и дал этот сигнал.

2

На линейном стопушечном парусном трехдечном корабле «Город Париж», шедшем на буксире парохода «Наполеон», в просторной, богато обставленной, отделанной тековым деревом каюте, изогнувшись стоял перед небольшим, экономным окошком, с толстым цельным стеклом, очень исхудалый и потому казавшийся чересчур длинным маршал Сент-Арно и глядел неотрывно в море.

На кожаном излишне мягком диване, полуутонув в нем, сидела и кормила с блюдечка пышнопушистую белую ангорскую кошку его жена. У нее была крупная фигура бретонки, зеленовато-серые глаза, светлые волосы, очень свежее тридцатилетнее лицо.

У дверей каюты стоял врач, невысокий толстый лысый человек пожилых лет. Он только что вошел, вызванный из соседней каюты звонком мадам Сент-Арно, и глядел неопределенно вопросительно на нее, на ангорскую кошку, на блюдечко и на длинного человека без мундира, в одной рубахе, небрежно вправленной в форменные брюки со штрипками, в мягких домашних туфлях.

Этот человек, с такой тонкой морщинистой шеей, с такою узкой спиной, на которой торчали, даже выпирая и из рубашки, как крылья, сухие лопатки, с такими серыми редкими, но тщательно приглаженными щеткой, точно приклеенными к черепу волосами, был его давний пациент, и о состоянии здоровья его у него не было двух мнений.

— Господин Боше, посмотрите, что делает наш маршал! Он совсем выходит у меня из повиновения!

И мадам Сент-Арно почти с ненавистью взглянула на отставленный левый локоть мужа, торчащий в ее сторону, как казачья пика.

— Господин маршал!—сделал два-три шага от двери Боше.—Вам надобно лечь в постель, господин маршал, а не стоять... тем более у окна... Из окна все-таки немного дует, хотя оно и закрыто... Вам необходимо лечь, господин маршал!

— Ах, надоело уж мне лежать!—полуобернулся Сент-Арно.

— Но тогда, может быть, вы сели бы в кресло, господин маршал.

— Ах, надоело это мне тоже—сидеть!—прошипел маршал.

— Но если вы будете стоять так долго, у вас может опять начаться боль в желудке, господин маршал.

— Ах, оставьте вы меня в покое! Идите!—рассерженно обернулся Сент-Арно.

— Я отвечаю перед Францией за ваше здоровье, господин маршал.

— Идите же, идите, идите, когда я вам говорю это!

И Сент-Арно выпрямился и поднял костлявые плечи. Большие от худобы, черные, с болезненным тусклым блеском глаза стали жестки и, пожалуй, страшны, рыхлый седой правый ус дернулся несколько раз от тика, а рука—тонкая безмясая рука полумертвеца, величественно поднявшись, указала на дверь.

Боше, наклонив лысую голову, вышел гораздо проворнее, чем вошел. А Сент-Арно, простояв в величественной позе с четверть минуты, как-то сразу всеми костями скелета рухнул в обширное кожаное кресло, такое же топкое, как и диван, и тоже с подушкой, брошенной на спинку.

— Ну, вот, начинается качка!—трагически прошипел он.

— Боже мой! Решительно никакой качки!.. Море совсем тихое, и мы точно едем в хорошей коляске по отличной дороге,—пыталась успокоить его мадам Сент-Арно, не отнимая, впрочем, блюдечка от мордочки уже сытой кошки.

Маршал откинул голову на подушку и закрыл глаза. Не открывая глаз, он проговорил вполне отчетливо:

— Десантная операция не удастся, нет!.. Я это предчувствую.

— Надо надеяться на лучшее,—беззаботно отозвалась она.—Я не сомневаюсь, что лорд Раглан знает, что он делает.

— Лорд Раглан?!

Странное действие производит иногда на людей, даже почти умирающих, одно слово. Сент-Арно открыл глаза, вызывающе подбросил серую голову, взялся двумя пальцами за острый подбородок, украшенный острой эспаньолкой, и сказал совершенно уничтожающим тоном.

— Ваш Раглан просто упрямый дикий осел!.. Да! Осел!.. Столько тысяч людей, столько крепких новых судов он ведет на полное истребление! Зачем? Зачем это, я вас спрашиваю?

— Он, конечно, знает это лучше, чем я. Разумеется, он исполняет приказ своего правительства.

— Приказ? Подобный приказ получен и мною от императора, но я... я вам говорил это... получил вместе с приказом и право его не исполнять, если нет шансов на выигрыш... И я высказался против экспедиции.

— Вам вредно говорить много и так волноваться!—заметила она, однако он продолжал, возвышая голос:

— Я был против, адмирал Гамелен тоже, и этот старый бурдюк—принц Жером—тоже был против... А у них, у англичан, адмирал Дондас, герцог Кембриджский, генерал Бургойн... Все, кто не потерял еще головы, были против. И только этот упрямый однорукий осел настоял на отправке войск!.. Вот мы увидим скоро, ка-кими залпами своих пушек встретит нас Меншиков на берегу! Ведь все это погибнет,—обвел он кругом себя рукой.—Ведь все они пойдут туда, туда... вон туда, в море!

Он несколько раз подряд наклонил бессильную кисть руки с вытянутым указательным пальцем и сам внимательно всматривался в сложный рисунок ковра на полу, точно как раз под ним пенилось море, хотя каюта была на верхней палубе.

— Туда, в пучину,—с разбитыми черепами пойдут они... тысячи... вы представляете?—страшными глазами глядел он на жену, отрывая их с усилием от рисунка ковра.

— Если вы так убеждены в этом, то как же в таком случае мы с вами?—обеспокоенно спросила женщина, отставив, наконец, блюдечко и прижав кошку к груди.

— Мы?.. Мы ведь будем... высаживаться последними... Это значит, что мы... совсем не будем подходить к берегу... Я прикажу, чтобы наш корабль отвели дальше в море...

И Сент-Арно снова закрыл глаза, далеко вперед вытянул прямые ноги и свесил голову на глубоко впалую грудь.

В это время лорд Раглан прохаживался рядом с генералом Броуном и адмиралом Лайонсом по палубе девяностопушечного парохода «Агамемнон».

Им, трем старикам, конечно, нужен был моцион, но палуба была завалена ящиками необходимого военного груза, и потому для прогулки оставалось очень мало места. Им, трем старикам, из которых самому младшему—Лайонсу—было уже шестьдесят три года, может быть, надо было и вообще отдохнуть от военной службы, но Англия была страной, упорно державшейся правила, что генералами и адмиралами только и могли быть люди, которым перевалило уже за шестьдесят.

Чины генерал-майора, генерал-лейтенанта и маршала так же, как и адмиральские чины, не продавались правительством и не покупались за большие деньги, как это было с остальными офицерскими чинами, а давались за особые заслуги отечеству, поэтому достигали их только в глубокой старости, и средний возраст английских генералов того времени был от шестидесяти двух до семидесяти пяти лет.

Лорд Раглан, главнокомандующий английской армией, разрешал себе ходить в штатском платье. На его широкой голове хорошо сидела жесткая вытянутая спереди назад шляпа формы котелка; серое осеннее пальто было застегнуто, и за борт его закладывал он пустой рукав, а левой рукой при ходьбе опирался на палку.

Плотное с крупными чертами лицо его было чисто выбрито, глаза в тяжелых мясистых веках внимательно глядели не столько на собеседников, сколько на море впереди и сбоку, и подзорная труба средней величины висела у него на ремне, перекинутом через плечо.

— Все наше предприятие зависит от того, сколько войска успел собрать Меншиков,—говорил сэр Броун, который был несколько выше, но суше и морщинистей Раглана.

— Вы видели ведь с «Карадока», мой друг, сколько сена в стогах собрано там в степи, от Евпатории к северу и к югу?—отозвался ему Раглан.—Я думаю сейчас об этом сене. Все это сено мы должны захватить, когда окончим высадку, и перевезти на корабли на шлюпках. Оно нам очень пригодится потом.

— Да, объемистый фураж лучше всего достать здесь, на месте,—согласился Броун.—Этот хитрый кроат Омер-паша говорил мне, что татары в Крыму будут так рады, если мы освободим их от русского ярма, что пригонят нам сколько угодно баранов из своих степей.

— Да, конечно, если только этих баранов не угнали уже у них казаки Меншикова.

Адмиралу Лайонсу не нужно было сена для его матросов, и он думал не о татарских баранах; он думал о русском флоте, который может отважиться напасть на армаду, и он сказал:

— Французы так перегрузили свои корабли войсками, что они совершенно неспособны к бою. Адмирал Гамелен переложил всю ответственность за успех боя на нас. Не могли заготовить транспортов за такое большое время!

— Зачем вас беспокоит это?—живо отозвался Раглан.—Русский флот ни за что не осмелится

выйти в море... Я думаю о речке Каче. Туда надо будет направить эскадру в десять-двенадцать пароходов и транспортов пять-шесть пехоты. Это будет демонстрация, чтобы отвлечь внимание Меншикова от места высадки всего десанта. Это мы должны будем сделать раньше, и если в это время будет туман...

— Тумана ждать нельзя,—вставил Лайонс.

— Я хотел сказать: туман или небольшой дождь, чтобы закрыть дальний план, чтобы транспортов и судов казалось с берега больше, чем их будет на самом деле, то этот маневр может дать нам некоторый успех. Я в этом уверен.

— Мы это сделаем. Я сейчас же составлю список паровых судов, которые могут пойти в прикрытие,—почтительно ответил Лайонс.

Этот адмирал искренно и до глубины души ненавидел Россию как конкурента Англии на Востоке, и ему казалось непонятным, что адмирал Дондас упорно пророчил полный провал экспедиции. Впрочем, он объяснял это тем, что почти семидесятилетний Дондас стал уже плох здоровьем. Он надеялся на то, что Дондаса во время кампании правительство отзовет в Англию на покой, и его, Лайонса, назначит командующим всеми силами английского флота на Черном море.

— Герцог Веллингтон, наш общий учитель,—улыбаясь, сказал Раглану Броун,—говорил не раз, как вы сами, конечно, помните: «Не начинай боя, не выяснив сначала силы врага».

— Золотое правило!—качнул шляпой Раглан.—Аксиома стратегии. И мы с вами сделали для этого все, что могли сделать с моря. Если же ждет нас катастрофа у берегов Крыма, то должен сказать вам, мой друг, что ответственность за нее уже заранее взяло на себя наше правительство. Так что на этот счет мы с вами можем быть совершенно спокойны. Ответственность за полный неуспех, что нам предсказывает герцог Кембриджский, берет на себя совет министров и сама королева.

Сэр Броун знал, конечно, что королева Виктория была или хотела быть самой воинственной дамой во всей тогдашней Европе. Когда отправлялись эскадры в Черное и Балтийское моря, она сама выезжала их провожать на своей королевской яхте. Матросы, взобравшись на реи, кричали ей «ура», орудия на судах салютовали ей двадцатью одним выстрелом, и в грохоте выстрелов, и в криках, и в пороховом дыму на палубе своей яхты она воинственно махала платком отплывающим офицерам и матросам. И суда величественно проходили мимо яхты и, оставляя за собой клубящиеся белые хвосты на море и дым в воздухе, скрывались одно за другим, а королева все махала им вслед платком, точно твердо была убеждена в том, что этот магический жест, повторенный две тысячи раз, принесет неслыханную удачу британскому флоту.

И когда отправлялась на Восток кавалерия, самая блестящая кавалерия в мире по красоте и чистопородности коней и всадников, и когда отправлялась артиллерия, самая мощная артиллерия в мире по калибрам снарядов и меткости наводчиков, и когда отправлялась пехота, самая стойкая пехота в мире, снабженная самыми лучшими нарезными ружьями,—королева Виктория безотлагательно, во всякую погоду появлялась на их проводах, взволнованная жала руки и сэру Броуну, и сэру Бургоину, и лорду Кардигану, и лорду Кодрингтону, и особенно крепко единственную левую руку лорда Раглана, на которого возлагала прочные надежды, и в прекрасных северных глазах ее, цвета британского неба, когда, в очень редкие, правда, дни, бывает оно совершенно ясным, стояли слезы.

Но это были не слезы вполне простительной женской слабости,—это были слезы воинственного экстаза. Такие слезы могли выступать и на глазах предводительницы войск, французской девы Жанны д'Арк[1], отнюдь не тогда, конечно, когда жгли ее на костре британцы, а во время ее великих подвигов на пользу отечества.

Иногда, впрочем, когда она проезжала в открытой коляске по улицам Лондона рядом со своим супругом, принцем Альбертом, в уличной толпе раздавались свистки и громкая ругань и даже крики: «Долой!» Но королева знала, что все это относится не к ней лично, а только к ее супругу. Это проявление народного недовольства ее не тревожило. Это доказывало только, что английский народ под ее владычеством отнюдь не закабален, как иные народы в Европе, что он—самый свободный народ в мире, имеет самую лучшую конституцию и может открыто выражать волнующие его чувства.

3

Турецкий военный флот был мал и плох; египетский тоже; но турецкие сухопутные войска показались английским и французским генералам еще хуже, а египетские—просто какой-то ордой оборванцев, не имеющих понятия о дисциплине.

Однако в армаде, составляя особый отряд, шли и турецкие и египетские суда с войсками: Раглан и Сент-Арно решили, что египтяне там, в Крыму, при осаде Севастополя, годятся как рабочие: будут рыть траншеи, подносить к бастионам мешки и плетенки с землей, переставлять орудия... Плохие солдаты, они имели достаточно сноровки в тяжелом труде. Для земляных работ взяли также и тысячу болгарских крестьян с их лопатами и кир-

[1] *Жанна д'Арк*, или Орлеанская дева—национальная героиня Франции, крестьянка, принявшая участие в англо-французской войне и содействовавшая в 1429 г. освобождению Орлеана от англичан. Попав в руки англичан, была сожжена ими как «колдунья».

ками. Турецких лошадей тоже было много на транспортах, так как перевозка морем каждой лошади из Франции обходилась в восемьсот франков.

Для перевозки лошадей и орудий транспорты делались с двойным дном.

Французы не взяли своей кавалерии, твердо решив, что она не будет нужна в Крыму. Но всадники на чистопородных конях, по мнению Раглана, могли понадобиться для преследования казаков Меншикова, поэтому на английские транспорты была посажена дивизия конницы.

Всех подозрительных по холере, конечно, оставили на Змеином острове, но холера не отстала все-таки,—она погналась за армадой.

На военных и на купеческих судах, зафрахтованных под транспорты, на палубах и в трюмах кораблей, везде, куда набили солдат, они сидели или лежали очень плотно, как плывут косяки рыбы. Иные спали, иные пили запасенное на берегу вино, иные играли в домино или карты, но все беспокойно вглядывались один в другого— не начинается ли у кого эта страшная болезнь.

И часто то здесь, то там, бок о бок с здоровыми начинали корчиться больные.

А суда шли и шли по намеченному курсу, соблюдая тот порядок, в котором они снялись с места и в котором получили приказ притти.

Впереди шли линейные английские суда, свободные от войск, и все паровые, на случай встречи с русской эскадрой. За ними военные пароходы, буксирующие транспорты с войсками. Справа и и слева—в кильватерных колоннах суда соединенного флота. Непосредственно за линейными кораблями шла легкая пехотная дивизия сэра Броуна, которая должна была высадиться первой, и дивизия французской пехоты, под командою боевого генерала Боске. Вслед за ними, соблюдая определенные интервалы, двигались другие войска.

Ночью на буксирных пароходах приказано было вывесить на бизань-мачтах огни и чтобы число этих огней равнялось номеру дивизии, к какой принадлежали пароходы, так что порядок движения не нарушался и ночью.

Суда, перевозившие артиллерию, были украшены внушительных размеров буквою А на обоих бортах, суда с пехотою—буквою В, суда с кавалерией—буквою С.

Множество баркасов, полубаркасов, шлюпок, флашкоутов и кожуховых ботов было припасено на всех судах для высадки войск. На каждый баркас и шлюпку большой величины назначен был особый лейтенант или мичман для управления ими при высадке. Все до последних мелочей было предусмотрено и включено в длиннейшие инструкции всем родам войск.

Главным же образом предусматривалось то, что на месте, облюбованном для высадки, на плоском песчаном берегу, серьезными, строгими рядами будут установлены по приказу Меншикова батареи, а дальше за ними будет торчать целый лес казачьих пик.

Поэтому, когда вечером 12 сентября показались, наконец, западные плоские берега Крыма, тысячи подзорных труб и биноклей встревоженно поднялись к глазам офицеров-союзников, чтобы разглядеть батареи.

Курс эскадры был взят безупречно правильно. На берегу на узкой полоске суши раскинулись два озера, как это и ожидалось. Вечер был безоблачный, теплый, такой же, как и накануне, когда отплывала от острова армада. Озера при последних лучах солнца розово блестели, как два больших зеркала овальной формы, и это было красиво. Но тщетно шарили глаза, отыскивая батареи на берегу, их не было видно. А вместо целого леса казачьих пик, когда эскадра подошла ближе, разглядели всего только шестерых казаков, причем один из них был, без сомнения, офицер, но почему-то во флотской форме. Лошади были небольшие, сухопарые, разных мастей. Офицер, повидимому, наблюдал подход эскадры и десанта, но ни подзорной трубы, ни бинокля не было у него в руках. Он сидел на лошади совершенно спокойно и что-то записывал в блокнот.

Паровые линейные суда, шедшие впереди,— между ними и «Агамемнон», описав полукруг, повернулись правым бортом к берегу и сняли чехлы с орудий, приготовясь на залп русских пушек, где-то скрытых так искусно, что их нельзя даже и предположительно разглядеть в подзорные трубы большой силы, ответить сосредоточенным залпом нескольких сот орудий. От судов до берега было не больше восьмисот метров. Но залпа русских батарей не раздавалось, и Раглан, несколько даже недоуменно пожевав по-стариковски губами, сказал Броуну:

— Кажется, это и все, что нашел нужным князь Меншиков выслать нам навстречу: шестеро кавалеристов.

Броун улыбнулся, отвечая:

— Я не назвал бы эту встречу очень торжественной. Мы, конечно, заслуживали большего... Впрочем, судя по этому, отказать Меншикову в джентльменстве нельзя: согласитесь, что всякая другая, более торжественная встреча была бы признаком дурного тона.

— Погодите, мой друг, не ликуйте!—взял его за локоть Раглан.—Солнце уже садится, пока подойдут все транспорты, будет темно. В темноте же высадки мы, конечно, не будем делать, а за ночь эта приятная картина пустого берега очень может измениться к худшему... Эти шестеро, конечно, пикет. Такие же пикеты, должно быть, расставлены по всему берегу. Что стóит за ночь подвезти батареи из Севастополя и прислать не-

сколько казачьих полков?.. Хотя, разумеется, это уж не так страшно.

— Судовые орудия заставят эти батареи убраться, а казаки способны только добивать раненых и обирать убитых,—сказал Броун.—Но офицер этот в морской форме все-таки рассыпал своих людей: он вне ружейного выстрела, значит, боится, что мы пустим в него гранату... Нет, мы не так щедры.

Офицер в морской форме был лейтенант Стеценко, и он действительно послан был непосредственно самим Меншиковым наблюдать подход десанта и высадку на берег и сообщать ему то, что найдет нужным сообщить через казаков, которые были с ним; при этом Стеценко получил несколько пакетов, на которых было напечатано: «По приказанию Главнокомандующего...» Казаки, конечно, рассыпаны были по всему берегу, и донесения должны были передаваться без малейших задержек.

Когда с линейных кораблей загремели якорные цепи, Стеценко написал в донесении: «Боевая эскадра стала на якорь южнее Евпатории против двух озер. Транспорты с войсками подходят на буксире пароходов и готовятся к высадке».

Но стало темнеть, и стемнело очень быстро,—высадка не начиналась, и Стеценко послал новое донесение, что, повидимому, она отложена на утро.

Он был послан из Севастополя часов в двенадцать, за целый день ничего не ел, но зрелище, которое было перед ним, захватило его настолько, что он забыл об еде, забыл об отдыхе.

Слегка колыхавшийся на слабой волне этот город судов с населением не менее, как в сто тысяч человек, расположился у берега правильными кварталами. Когда совершенно стемнело, зажглись огни на бизань-мачтах буксирных пароходов, точно фонари на улицах, потом какие-то сигналы передавались ракетами и фалшфейерами. Войска спали, но вахтенные принимали и передавали сигналы, неусыпно работала чья-то враждебная злая мысль. Стеценко представил, как в эти скученно стоящие транспорты под покровом ночи пробираются русские брандеры. Донесение о возможности произвести большой переполох брандерами он послал еще засветло Корнилову, когда ясно для него стало, что высадка отложена на утро. И теперь, отъехав от берега на такое место, где могли бы пастись спутанные лошади, он жадно наблюдал за темными силуэтами судов в море. Но стрельба не открывалась,—брандеры не подошли значит. Почему? Он не мог понять.

Эта ночь, проведенная на берегу моря в виду несметной силы врагов, была невозможна для сна, хотя трем из пяти казаков, бывших при нем, он разрешил спать, и они улеглись на сухой траве рядом с ним, двое на всякий случай сидели впереди, в секрете.

Он чувствовал всю великую историчность этой ночи.

Несмотря на внешнее спокойствие, он был впечатлителен, впрочем, и не нужно было иметь слишком живого воображения, чтобы представить, как, совершенно беспрепятственно высадившись на берег, покатится к Севастополю эта страшная лавина войск.

Ему было уже за тридцать, но продвижение по службе во флоте шло медленно, командиры судов, начиная с капитан-лейтенантов, плотно держались на своих местах. Стеценко поручено было ведать юнкерами морского ведомства, и он не знал, что будет с его питомцами в случае осады города, хотя Корнилов бросил вскользь, что теперь не до детей, что детей лучше вывезти вон из Севастополя, чтобы не нести ответственность за их жизнь и здоровье перед их родными.

Отослав засветло донесение, что больших судов, стоявших спереди, он насчитал сто шесть, а остальные, ввиду захода солнца и дальности расстояния, слились в одну общую массу, и что фронт судов по глазомеру не меньше как девять морских миль, Стеценко понимал, конечно, что сведений этих слишком мало, однако он не думал, что и утром их будет больше: как можно было сосчитать войска, по фронту в девять миль, выходящие на берег? И кто допустит его стоять на берегу и считать?

Воспитанный как моряк Черноморским флотом, он привык относиться к нему с уважением. Он любил морскую службу, как любил и море, какие бы штормы ни подымали на нем норд-ост, норд-вест или бóра—северный и самый лютый ветер. Он твердо верил в то,—да это можно было прочитать перед объявлением войны и в статьях «Таймса»,—что Черноморский флот представлял из себя лучшую морскую силу в мире и по размерам и по качеству судов и артиллерии на них и, самое главное, по составу команд. Он знал, что на крупнейших из судов вся нижняя батарея состояла из бомбовых 68-фунтовых пушек, чего не имели даже и англичане. Когда не плавал сам, он часами мог любоваться огромными кораблями, которые все маневры в море исполняли с такою же легкостью и быстротою, как мелкие суда. Однако и малейшая погрешность кого-либо из его товарищей резала глаз как ему, так и другим морякам, и не было судей в служебном отношении более строгих, чем та же морская молодежь. Севастополь был слишком отрезан от остальной России того времени, чтобы моряки его не спаялись в очень дружную семью. У них было и еще одно могучее средство спайки: чувство своей явной необходимости для государства.

Не в пример Балтийскому флоту, стоявшему безмятежно в Кронштадте, не тревожимому даже и теперь английским адмиралом Непиром, Черноморский флот, начиная с первой при Николае турецкой

войны, все время был в состоянии военных тревог, то перевозя войска к так называемой «Береговой линии», то есть к русским фортам, раскинутым по всему западному побережью Кавказа, то охотясь за турецкой контрабандой, идущей на Кавказ, то блокируя турецкие порты в случае войн, то, наконец, нанося турецкому флоту такие сильные удары, как при Наварине и Синопе.

Это сознание своей необходимости развило в каждом моряке и чувство собственного достоинства и готовность к любой ответственной задаче и жертве собою.

Черноморский флот был ясен насквозь и не мог не быть ясен: на него смотрели в тысячу оценивающих глаз товарищи офицеры, на него смотрели в десятки тысяч недоверчивых глаз матросы, на него наведены были, наконец, неусыпные подзорные трубы двух образцовых флагманов флота—Нахимова и Корнилова, и от этих все замечающих труб нигде нельзя было укрыться на рейде.

Теперь на берегу, ночью, этот любимый им Черноморский флот казался совсем игрушечным лейтенанту Стеценко по сравнению с чудовищным флотом союзников. И все достоинства его матросов и офицеров и даже двух образцовых флагманов—какими-то детскими. И даже брандеры, если бы их послали сюда, пожалуй, могли бы нанести этому неоглядному телу врага не больший вред, чем булавочный укол обыкновенному человеческому телу.

Но ведь за этой армадой вслед могла через месяц-другой прибыть вторая такой же величины, за второю—третья, если этого потребуют обстоятельства: аппетит приходит во время еды, борьбе армий сопутствует борьба самолюбий в каждой стране, Англия же настойчива и богата... И гарнизон крепости, состоящий из осколков разных дивизий, показался Стеценко таким же слабосильным, как и маленький гарнизон Евпатории, куда он заезжал днем, чтобы передать приказ князя: выйти из города гарнизону и итти не в Севастополь, а к северу—на Перекоп.

Историчность этой ночи действовала и подавляюще и возвышающе, как всякая историчность. Уходило вниз, смятенно сдавливалось, сплющивалось, сморщивалось свое личное, но взмывало кверху, росло, ощутительно и грозно колыхалось уже около то, что вот-вот завтра—послезавтра начнут делать сотни тысяч людей здесь, в Крыму,—миллионы людей в России и в Европе.

Если до этой ночи только готовились, то с этой ночи неудержимо начнут стремиться к тому, чтобы доказать русскому царю, что он не смеет рассчитывать на «ключи от вифлеемской церкви» и для доказательства убивать тысячи, десятки, а может быть и сотни тысяч его подданных из усовершенствованных орудий.

Лейтенант Стеценко не был в бою при Синопе, но он был офицер, то есть с детства, с кадетского корпуса, готовился к убийству людей в узаконенном международным правом порядке.

Во время экспедиции флота на Кавказ, при перевозке десанта, ему даже приходилось командовать на одном мелком судне обстрелом берегов. Но обстрел этот производился по принятому на Кавказе обычаю перед высадкой пугать горцев: хотя их и не было видно, они всегда предполагались около каждого русского укрепления, где-то там, в лесистых горах.

Но несколько месяцев назад все эти укрепления, стоившие много денег и жертв, принесенных не столько «кровожадности» горцев, сколько кавказской лихорадке, взорвали, и гарнизоны их в количестве пяти тысяч человек вывезли в Крым, чтобы они не стали добычей союзников.

В этой операции, довольно смелой и возмутившей английские газеты, так как союзный флот блокировал уже русские порты, участвовал также и Стеценко.

Но в этих мелких делах все было будничное. Огромная же историческая драма, тщательно подготовленная к постановке искусными режиссерами Запада, начиналась только теперь. Пока зал еще пуст, темно, черный занавес опущен и скрывает лицедеев... Он подымется утром, с восходом солнца, и первое действие драмы начнется.

4

Возможно, что соединенный флот тоже опасался ночью нападения русских брандеров, и все эти фалшфейеры и ракеты зажглись только затем, чтобы расшевелить внимание вахтенных, потому что к утру, когда чуть начали белеть небо и море,—Стеценко отметил это в своей записной книжке,—напряжение ожидания улеглось, и в приплывшей крепости было тихо, как бывает в полях перед грозой.

Но рассветало быстро, и вот по сигналу все там пришло в движение: застучали цепи отдаваемых якорей, слышны стали оттуда и отсюда стуки от приколачивания навесных трапов, наконец, стали доноситься и выкрики команд. Замелькали здесь и там спускаемые на воду шлюпки, палубы покрывались густыми толпами солдат с ружьями и ранцами.

Можно было отлично разглядеть даже и лица на ближайших судах: так стало светло, и так близки были суда. Утро было тихое-тихое, море гладкое-гладкое, и даже как-то больно стало Стеценко, что так радушно встречает крымский берег таких гостей.

Между озерами, из которых южное было гораздо меньше, расстояние было в две-три версты. Против южного озера стояли французы, они первые начали

высадку по приказу Сент-Арно, который вдруг неузнаваемо ожил, когда узнал, что на берегу нигде не видно никаких русских батарей.

По свойственной ему склонности ко всему театральному, он приказал оркестрам играть, и под музыку, плавно, в большом порядке двинулись к берегу шлюпки, блюдя указанные в инструкции интервалы одна от другой.

Не больше как в двадцать минут на берегу была уже целая бригада французов. Сент-Арно приказал перевезти на берег и себя, но он смертельно боялся трапа, и один дюжий матрос снес его на руках с палубы в шлюпку. Удостоверясь, что на берегу ей никакой опасности не угрожает, в ту же шлюпку спустилась и мадам Сент-Арно.

Она, конечно, узнала прежде, что «Наполеон» с его очень удобной каютой главнокомандующего будет сопровождать войско, когда оно двинется вдоль берега к Севастополю. Изумительную ангорскую кошку она оставила под присмотром своей компаньонки, бывшей в соседней каюте.

Эта экспедиция, к которой столько готовились и которой многие так опасались, оказалась пока что просто приятной прогулкой. Русские, очевидно, бежали в испуге; впрочем, если бы началась серьезная стрельба, мадам Сент-Арно обещали тут же перевезти на корабль, так как рисковать своею жизнью она не хотела.

Берег хваленой крымской земли был здесь, правда, плоский и очень некрасивый, но все-таки это была твердая земля, на которую приятно было ступить после долгого плавания по зыбкому морю; кроме того, это был первый кусок русской земли, занятый доблестной армией ее мужа.

В одну шлюпку со своим пациентом сел, конечно, и доктор Боше. Звонко и величественно играли оркестры, и у маршала был такой вид, вдохновенный и напряженный, как будто он дирижировал сам всеми ими.

Когда он вышел на берег, он старался держаться бодро и даже сказал немногословную, правда, но зато очень патетическую речь выстроившимся на берегу частям. Конечно, ее расслышали только передние шеренги ближайших их рот, но все с большим подъемом кричали «vivat».

Стеценко со своими казаками, которых осталось при нем только три, так как двух он послал одного за другим с донесениями, что высадка началась, стоял против английских линейных судов и транспортов и отметил, что в противоположность французам англичане отправили свои шлюпки без всякой помпы. Они твердо соблюдали инструкцию для высадки, первое правило которой предписывало подходить к неприятельскому берегу в строжайшем молчании.

Деловито и без лишней суетливости подымались и опускались весла шлюпок, и к немалому удивлению своему заметил Стеценко, что из первой шлюпки, мягко врезавшейся в песчаный низкий берег, вышли два генерала.

Это были—генерал-квартирмейстер Эри и сэр Джордж Броун, так как его легкая пехотная дивизия по расписанию должна была высадиться прежде других.

— Ваше благородие, зараз тикать надо, а то не втечем,—встревоженно обратился к нему пожилой казак с серебряной серьгой в левом ухе; и двое других казаков вопросительно перегнулись к нему над луками седел.

Поджарые лошадки переступали ногами и кивали головами едва ли приветственно,—скорее беспокойно, но Стеценко ничего не ответил казаку с серьгой, хотя генералы высадились от него не более как в трехстах шагах.

Можно было подумать о нем со стороны, что, как Плиний [1], наблюдавший извержение Везувия, он просто забыл всякую предосторожность, но можно было принять его и за парламентера, пренебрегшего общепринятым обычаем прицепить куда-нибудь белый платок.

Стеценко же надеялся только на то, что от пеших они—четверо конных—всегда могут ускакать, когда придет крайность, пока же не хотелось ему показывать англичанам тыл, не высмотрев всего, что можно.

— Этот русский офицер очень загадочен!—улыбнулся сэр Джордж и сделал несколько шагов по песку в направлении к Стеценко, но встревоженный Эри крикнул фузилерам, высадившимся вместе с ними:

— Обстрелять казаков!

И тогда на крымской земле раздались первые выстрелы десантной армии союзников, но выстрелы эти были выше цели, так как между стрелками и русскими конниками стоял сэр Джордж.

Стеценко, поворачивая своего серого и давая ему шпоры, слышал, как пропели пули над его головой. Казаки вслед за ним пустили коней в карьер и рассыпались в промежутках между озерами. Проскакав с версту, лейтенант думал было остановиться, чтобы продолжать наблюдения за высадкой, но казаки указали ему, как, огибая южное озеро, наперерез, бежали толпой красноголовые зуавы, стреляя беспорядочно и ненужно и что-то крича, а впереди их мчались в охотничьем азарте две вислоухих собаки средней величины, рыжей шерсти.

Пришлось проскакать гораздо дальше, на дорогу, ведущую в Севастополь, откуда ничего уже не было видно.

Этот совершенно незначительный эпизод был всячески приукрашен корреспондентами французских и английских газет. Они писали, что казаки, бывшие под начальством одного морского офицера,

---

[1] *Плиний* (младший)—римский писатель и оратор.



едва не захватили в плен генерал-квартирмейстера Эри и увлекающегося военными подвигами, несмотря на свой почтенный возраст, сэра Джорджа.

Когда Стеценко выехал на дорогу, он заметил сзади, далеко от себя, кавалькаду татар, в низеньких круглых черных шапках и в цветных жилетах, больше малиновых и ярко-желтых, а впереди других заметил седобородого в зеленой чалме муллу, или ходжи, побывавшего в Мекке. Они ехали по направлению от Евпатории в тот самый промежуток между озерами, из которого только что выбрался он. На гривах их иноходцев что-то белелось. И он догадался, что это делегация от местных татар к главнокомандующим союзными армиями.

А дальше встретился целый обоз скрипучих татарских арб: на волах и буйволах везли толстые дубовые бревна, прикрученные веревками.

— Так это ж они, ваше благородие, до хранцуза дрова тянут!—очень оживился казак с серьгой.

И двое других подхватили:

— А известно до хранцуза!.. А то до англичанов.

А посланный с донесением рано утром и теперь возвращавшийся четвертый казак,—малый еще молодой и бойкий,—слышно было, кричал начальственно, показавшись из-за последней подводы:

— Ты что мне заладил одно: «Бельмес—не!» Ты мне по-русскому отвечай: куда дрова везете?

— Волы эти так что в казанкй пойдут, а дрова под казанкй, ваше благородие,—вот хранцузам и обед будет,—соображал вслух казак с серьгой.

Стеценко остановил переднюю подводу. Татары,—их было человек восемь, все бородатые и пожилые,—глядели на него не испуганно, напротив, недовольно и, как ему казалось, даже зло. Он пытался втолковать им, что куда бы они ни везли дрова в ту сторону,—там теперь везде неприятель, который отнимет у них и волов, и дрова, и арбы, но татары только разводили руками, вопросительно глядели один на другого, бормотали что-то по-своему, и нельзя было определить, действительно ли не понимают они ничего по-русски или не желают уж больше ничего понимать, раз пришли в Крым единоверцы их—турки.

Стеценко приказал было двум казакам спешиться и повернуть быков обратно. Подводы повернули, и казаки погнали было быков назад, но это отняло много времени и грозило отнять еще больше, а между тем надо было спешить с донесением к свет-

лейшему. Поэтому татарам только погрозили нагайками, но бросили их и помчались рысью по дороге.

Было уже не рано—свыше десяти часов, когда впереди показался большой конный отряд.

— Наш полк идет!—повернули к Стеценко радостные лица казаки, но Стеценко и сам разглядел, что это, так же деловою рысью, как и они, движется казачий полк, но зачем именно движется, он не понял.

Он почувствовал только вдруг именно теперь, что очень устал, проведя почти сутки без привычки в седле, при совершенно бессонной к тому же ночи, что хочет есть, а главное—пить, так как день выдался жаркий.

Рядом с командиром казачьего полка Та́циным Стеценко, к удивлению своему, разглядел Меншикова-сына. Молодой генерал-майор сидел на рослом гнедом белоногом донце, не по-казачьи, то есть с наклоном вперед, а по-гусарски—прямо.

Темноволосый и черноусый, он был похож чем-то неуловимым на своего седого отца, кроме такого же большого роста, и Стеценко, подъезжая к нему, думал: «Вот таким именно был, очевидно, наш главнокомандующий, когда брал Анапу... Но было бы гораздо лучше для Севастополя и России, если бы так же молод был он теперь!»

Стеценко знал о Меншикове-сыне то же, что знали все в Севастополе: что при внешнем сходстве с отцом он все-таки не пошел в отца. Конечно, он был хорошо воспитан и образован, но очень пуст, хлыщеват и неумен, как это бывает, впрочем, со многими детьми гораздо более выдающихся отцов, чем старый Меншиков.

Стеценко подъехал с мыслью о рапорте, однако, заметив это и не дав ему начать рапорта, молодой генерал приветливо протянул ему длинную руку, заговорив сам.

— Ну, что там, как? Вы там близко были, что?

— Нельзя уж было близко держаться, ваша светлость,—пришлось убраться,—обстреляли и думали даже отрезать и забрать.

— Ну, вот видите как!.. Да... Обстреляли? Но с далекой дистанции?

— Никак нет,—пули пролетели над головой.

— Ну, вот, над головой! Значит, вы очень близко стояли и все видели. Кавалерию выгрузили?

— Я видел только пехоту, ваша светлость, но в большом числе. Высадку они ведут в большом порядке и очень быстро.

— Быстро, да? Ну, вот, а генерал Жомини в академии доказывал, что большой десант невозможен! Были бы транспорты, а? Не так ли?

Так как в это время он вопросительно глядел не на лейтенанта, а на Та́цина, тот, страдавший, насколько мог заметить Стеценко, от узкого ворота рубахи, сдавившего ему шею, повел в стороны багровым лицом с красными глазами и росинками пота на широком носу и ответил хрипло, приложив к козырьку руку:

— Ничего нет невозможного для них, ваша светлость, при их известном богатстве.

Стеценко видел, что в его личном рапорте Меншикову-отцу теперь как будто не было уже нужды, если о высадке десанта всё на месте и наверное гораздо больше, чем он, может разузнать Меншиков-сын, который даже как будто замещал здесь самого отца, поэтому пришлось поневоле остаться, держаться как бы в его свите и забыть на долгое, может быть, время еще об отдыхе и обеде.

Высадка между тем шла дальше, не так уже гладко, как началась. Подул ветер: на море забелели барашки, с запада надвигалась сплошная густая и темная туча.

Французский генерал Боске, человек далеко еще не старый, в избытке наделенный галльским остроумием и энергией, почерпнувший большой военный опыт в колониальных странах, приказал в виду этой тучи для своей дивизии, высаженной первой, перевезти и палатки.

Его примеру последовали и другие французские генералы. В английской же армии правила высадки выполнялись строго. Там неспеша перевозили дивизию за дивизией, пехоту, но вместе с пехотой переправлялась и причисленная к ней артиллерия, а это отняло много времени. Кавалерия же и палатки по правилам высадки стояли на последних местах.

Между тем в полдень хлынул ливень.

Часть французской пехоты, посланная как раз в это время, когда явился донской полк с Меншиковым-сыном, занять татарскую деревню Контуган, спаслась от ливня в этой деревне; донской полк поспешно передвинулся в другую деревню, километрах в пяти от Контугана; французские войска, оставшиеся на берегу, быстро разбили бивак и натянули палатки, англичане же остались под открытым небом и свирепым ливнем.

Перевезено было уже до двадцати тысяч человек. При сильном западном ветре, под хлещущими косыми потоками дождя, кутаясь в одеяла, насквозь промокшие, около часа стоически выдерживали ливень и старые генералы и молодые лорды на земле, которую явились они приобщить к числу британских владений, может быть, до заключения мира, может быть, навсегда.

Но вместе с ними промокли до последней нитки и «дети королевы Виктории», двадцать тысяч бравых «Томми», оценивших все свои силы и способности в единственный шиллинг в день до того момента, когда убьют и когда даже и этот шиллинг вместе с двумя кружками пива в походе будут уже совершенно ненужны.

Ливень утих к двум часам дня, и высадка продолжалась, но палатки все-таки не были доставлены на берег, а с вечера дождь, доходящий до силы ливня, зарядил на всю ночь, и утром полторы ты-

сячи больных свезено было на пароход «Кенгуру», чтобы отправить их в госпитали в Константинополь.

Впрочем, не все больные были перевезены на «Кенгуру», иначе этот пароход был бы перегружен так, что не смог бы сдвинуться с места. Многие валялись на берегу в грязи без всякой помощи со стороны врачей, так как врачи были тоже люди, и не заболевших среди них осталось мало.

Несколько человек офицеров умерло от холеры.

Только 3/15 сентября перевезли на берег кавалерию.

Дорогие лошади очень пострадали от тесноты и недосмотра за те две недели, какие пришлось им пробыть на кораблях, а при перевозке на берег несколько из них потонуло.

Напуганные первым ливнем Сент-Арно с женою были перевезены снова на корабль «Наполеон». Однако там, в роскошной и спокойной каюте, несмотря на дождь кругом, приподнятое настроение вернулось к маршалу Франции. Он говорил жене:

— И я, и генерал Канробер, и генералы Мартенпре, и многие другие генералы,—мы все стояли за то, чтобы или высадиться в Керчи, на восточном берегу Крыма, или отложить экспедицию до весны будущего года. Но посмотрите-ка, какая удача нас ожидала даже и на этом, западном берегу! Кто же знал, что русские, как утверждает Боске, совсем не желают с нами сражаться!

Начальник штаба Сент-Арно полковник Трошю, и военный секретарь Раглана Стиль были посланы с переводчиком Кальвертом в Евпаторию с требованием немедленно сдать город. Так как весь гарнизон Евпатории успел уже выйти, их привели к старенькому чиновничку, начальнику карантинной стражи, состоящей из нескольких инвалидов. Письменное требование о сдаче города было передано ему. Никакого языка, кроме русского, он не знал, но бумагу, полученную из рук полковника Трошю, тут же деятельно проколол булавкой не менее, чем в двадцати местах и окурил. Когда Кальверт, по-русски говоривший очень плохо, кое-как растолковал ему, что пришла масса кораблей, доотказа набитых войсками, затем, чтобы высадиться в Крыму, старичок подумал и ответил:

— Высадиться, отчего же-с, высаживаться на берег не воспрещается. Только, господа, в видах эпидемии холерной, не иначе, как приказано от начальства, высаживаться непременно в карантин и выдержать там положенный четырнадцатидневный срок.

В Евпатории высадились два небольших отряда—французский и турецкий—и принялись обшаривать город. На частных складах у хлебных экспортеров-греков найдено было около шестидесяти тысяч четвертей, то есть до полумиллиона пудов пшеницы, что явилось совершенно неожиданным, но очень крупным подарком союзникам, на несколько месяцев обеспечив их хлебом.

Кроме того, под Евпаторией перехвачено было парусное судно, шедшее из Геническа в Севастополь с восемью тысячами ведер спирта для нужд гарнизона. Это был тоже очень ценный приз. На судне этом никто не знал, конечно, о том, что враги пришли, и с недоумением глядели на то, как они хозяйничали в трюме, считали и метили бочки.

Между тем недоумение было уже излишним: воцарялись обычаи войны. Если в Галлиполи и Скутари французские войска, привыкшие в Алжире расправляться с деревнями кабилов, только еще пытались вести себя, как завоеватели, то береговая полоса евпаторийского уезда считалась уже вполне завоеванной ими, хотя и без боя, и в деревне Контуган, как и в других соседних деревнях, занятых ими на другой день, они резали и свежевали для своих котлов буйволов, телят, баранов, кур, а на костры, на которых варили и жарили это, разбирали незатейливые плетневые хлева и сараи, отбирали сплошь муку, крупу, овощи, фрукты, заготовленные на зиму, заставляли запрягать в арбы лошадей и волов и на арбы складывали сено, овес, ячмень, скопом насиловали женщин...

Лишенные всего, татары толпами бежали в Евпаторию, в которой, как они слышали, вводилась уже справедливая турецкая власть.

Высадка союзных войск, проведенная так сказочно беспрепятственно и спокойно, точно на маневрах, закончилась только к вечеру на третий день.

Крылатую фразу, брошенную генералом Боске: «Эти русские совсем не желают с нами сражаться!»—повторяли теперь уже рядовые солдаты.

Погода снова стала прекрасной, как и в день прибытия к русским берегам, но при видимом изобилии воды в озерах оказался острый недостаток воды для питья: озера эти были просто клочки моря, отрезанные песками.

Пресную воду, правда, привезли с собою в анкерках на судах,—турецкую воду как турецкую землю в мешках для бастионов, но анкерки быстро опустели. Лошади целые сутки простояли совсем без пойла.

И шестидесятысячная десантная армия двинулась к югу, к речке Алме, Бельбеку и Каче, гонимая не только воинственным пылом скорее дойти до Севастополя и взять его, но еще и жаждой.

Действительно, такого скопления людей и лошадей нигде в своей степной части не мог напоить Крым.

Когда лейтенант Стеценко, проведя,—теперь уже с целым донским полком,—еще одну ночь вблизи союзников, вернулся, наконец, в Севастополь, он узнал, что главнокомандующий вывел из города войска для боя с надвигающимся противником на облюбованной уже им позиции на берегу речки Алмы.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПОТРЕВОЖЕННЫЙ МУРАВЕЙНИК

1

В небольшой гостиной довольно скромного дома на Малой Офицерской улице, которую, точно по приказу начальства, заселяли все больше отставные военные, 5/17 сентября днем сидел с семьей хозяина дома, отставного капитана 2-го ранга Зарубина, унтер-офицер рабочего флотского батальона Ипполит Матвеевич Дебу. В семье Зарубиных, где он жил на квартире, знали, что он выслан сюда, в знак особой монаршей милости, в солдаты до выслуги в первый офицерский чин, что он, человек хорошо образованный, дает уроки детям адмирала Станюковича, что он принят в лучших домах города, но почти совсем не бывает в том батальоне, к которому причислен, что ему снисходительно разрешено даже носить штатское платье, в котором он был и теперь.

Но сам Дебу только сегодня утром узнал, что его положение очень круто изменилось, так как у Станюковича ему сказали, что вся семья, за исключением самого адмирала, уже укладывается, собираясь уезжать в Николаев, а из канцелярии батальона прислали к нему солдата-писаря с приказом явиться в казармы полка и быть отныне в них безотлучно, ввиду «скоровозможных боевых действий».

Что боевые действия действительно «скоровозможны», это, конечно, знал и сам Дебу, но боевые действия вообще представлялись ему довольно отдаленно и смутно. Он был разжалован военным судом не из офицеров, а из чиновников одного из петербургских департаментов как петрашевец. Наказан он был сравнительно со многими другими, между прочим, и со своим старшим братом, довольно легко: всего только двумя годами арестантских рот, но возможность после арестантских рот выслужиться в офицеры в те времена действительно считалась «особой милостью монарха».

Со времени суда над ним прошло уже почти пять лет; тогда ему было всего двадцать пять лет, но теперь он казался гораздо старше тридцати: как бы ни были легки наказания, они все-таки сильно меняют человека.

В обществе считался он очень осведомленным в разных вопросах и остроумным собеседником, но улыбался он редко и бегло—на момент. А внешность его была подкупающей по той постоянной серьезности, которая светилась и в его пристально и прямо глядящих на каждого глазах, казавшихся черными в тени, но на свету неожиданно голубевших, и в прекрасно сработанной голове, и в правильных чертах лица, и в той неуловимо свободной манере держаться, которой так трудно научиться, если она не присуща человеку и которую нельзя было изменить в нем даже таким бесспорно сильным средством, как два года арестантских рот.

Негромким грудным голосом он говорил, по-своему пристально глядя в глаза капитана:

— Для того чтобы на тебя не вздумали напасть, нужно только одно: чтобы тебя боялись. Не так ли?.. Но ведь кажется наш император делал все для того, чтобы его боялись, однако же на нас вот напали и, нужно сказать, напали нагло и очень открыто. Это значит, что совершенно перестали бояться.

— И эти напавшие... напавшие... они... они будут истреблены! Да! Истреблены бе... без остатка!—с большим усилием, но азартно выкрикнул капитан и стукнул раза три палкою в пол.—Им не дадут сделать... эту... эту... обратную амбаркацию... амбаркацию... на ихние корабли! Нет! Не дадут!—и еще раз стукнул, точно приложил казенную печать на горячий сургуч.

Капитан Зарубин был красен тощей жилистой шеей и бледен лицом, выкаченные раскосые глаза глядели свирепо, полуседая щетина на голове стояла дыбом, полуседая щетина на щеках и подбородке придавала ему воинственный вид.

В Синопском бою он был ранен в ногу и контужен в голову и левое плечо, левая рука висела плетью, голова дергалась, язык плохо повиновался мыслям, ходить он мог только медленно, сильно опираясь при этом на толстую палку. В вознаграждение за все это он был представлен к очередному ордену и получил отставку с пенсией и мундиром.

Кроме него, сидели в гостиной две его дочери: старшая, Варя,—уже невеста, с пышными щеками, с русой косой до пояса и с бирюзовым девическим колечком на левом мизинце, и младшая, Оля,—подросток с полуоткрытым алым ртом и жадно вбирающими решительно все на свете глазами.

Иногда заходила и присаживалась их мать, Капитолина Петровна, дородная женщина, всегда очень приветливая и в вечных хлопотах по хозяйству. Придет, посидит, скажет два слова и тут же плавно выйдет, вспомнив, что за чем-то там еще не досмотрела и что-то вот сию минуту перекипит.

— Я не сомневаюсь, Иван Ильич, что никто из сейчас напавших не выйдет от нас живым, но подумайте, сколько это будет нам стоить!—отозвался капитан Дебу.—А между тем так недавно еще, всего лет десять-одиннадцать назад, когда нашему царю донесли, что в Париже ставится пьеса «Екатерина II и ее фавориты» и, конечно, имеет огромный успех,—успех скандала,—он собственноручно написал послу нашему при французском дворе, графу Палену: «С получением сего, в какое бы время ни было...» Заметьте, «в какое бы время ни было», то есть хотя бы в четыре часа ночи!.. Я это

письмо наизусть знаю!—«нисколько не медля, явитесь к королю французов и объявите ему мою волю, чтобы все печатные экземпляры пьесы «Екатерины II» были немедленно же конфискованы и представления запрещены на всех французских театрах. Если же король на это не согласится, то потребуйте выдачу кредитивных грамот и в двадцать четыре часа выезжайте из Парижа в Россию. За последствия я отвечаю. Николай...» Вот какое письмо, а? Королю Франции!

— Следует, да!—пристукнул капитан.—За это... следует!

— Курьера монарх наш отправил лично,—продолжал Дебу.—Курьер помчался. Прибыл в Париж,—граф Пален как раз обедает в королевском дворце. Вызвал его, передал письмо. Посол наш вернулся в обеденный зал и к королю: «Ваше королевское, прошу дать мне немедленно аудиенцию!» Конечно, Людовик Филипп должен был удивиться,—он и удивился. Он предлагал отложить дело до послеобеда, а граф Пален, в свою очередь, ссылался на строгий приказ депеши. Король вышел в соседнюю комнату, граф Пален познакомил его с полученной депешей. Конечно, Луи Филипп вышел несколько из себя: «Воля вашего императора, говорит, может быть законом только для вас, граф, а не для меня, поскольку я—король Франции. Прошу передать вашему императору, что во Франции не деспотизм, а конституция и свобода печатания, поэтому если бы я даже вздумал пойти навстречу желанию вашего императора, то я пошел бы против конституции французской и против свободы печати, а это уж совершенно невозможно!»

— Гм... Та-ак! А граф Пален на это?—негодующе пошевелил палкой капитан.

— Граф Пален, естественно, говорит: «В таком случае прикажите выдать мне доверительные мои грамоты».—«Как выдать грамоты? Но ведь это же равносильно объявлению войны!» — «Может быть, и так... Во всяком случае, мой император пишет ведь, что сам отвечает за последствия...»—«Тогда дайте, говорит король, время посоветоваться с моими министрами!»—Пален, конечно, указал на депешу, где говорилось о двадцати четырех часах:—дескать, двадцать четыре часа могу ждать, а там, если ответ будет нежелательный, выеду.

— И что же?.. Что же?

— И совет министров был тотчас же созван, и часа через два вышло постановление: все напечатанные экземпляры пьесы конфисковать, постановку пьесы запретить... Император был удовлетворен, и Пален остался на своем посту... Вот что было еще так недавно!

— Так, да так... именно так... должен был поступить... поступить наш царь!—очень волнуясь и дергая головой, припечатал капитан.

— Замечательно!—врастяжку сказала Варя и перекинула тяжелую косу с левого плеча на правое.

Влажный рот Оли заалел еще ярче, и глаза стали еще круглее.

— Однако это еще не все,—продолжал Дебу.

— Ах, вы что-то очень занимательное говорили, Ипполит Матвеевич, а я опоздала послушать!—вошла, улыбаясь, Капитолина Петровна и села на пуф.

— Сейчас расскажу не менее занимательное,—утешил ее Дебу.—В сорок четвертом году кто-то таким же образом написал во Франции пьесу «Павел I». Может быть, даже тот же самый автор. Дело касалось, значит, уже не бабушки царя, а его отца. Автор, конечно, не постеснялся наделить его разными отрицательными чертами, и сцену убийства его в Михайловском дворце дал,—и, конечно, снова успех скандальный был бы, если бы пьеса была поставлена. Но теперь Пален уже следил за этим и сам донес царю, что такая вот пьеса готовится к постановке. Царь наш, конечно, написал королю, что если эта пьеса будет поставлена, то он пошлет в Париж миллион зрителей в серых шинелях, которые ее освищут.

— Браво!—сказала восхищенно Капитолина Петровна, хлопнула в мягкие ладони и вышла.

— Вот это... вот это... это...—заволновался капитан, разнообразно двигая головою, наконец поднял палку и положил такую печать, что задребезжали тарелочки на этажерке.

— Конечно, после такого письма пьеса эта так и не увидела света,—продолжал Дебу.—Это ли не мировое могущество? Вмешаться в частные и вполне внутренние дела другой великой державы, и великая держава спасовала, как только наш царь пригрозил войной!.. А Венгерская кампания? Неизвестно, что было бы с Австрией в революционном сорок девятом году. Скорее всего, что Австрия распалась бы на несколько республик. Кто подавил движение венгров? Наш царь, как известно. И власть молодого Франца Иосифа укрепилась, а ведь на волоске висела! Государь же наш получил название европейского жандарма... Но вот прошло несколько лет, и что же? Уж не наш император французскому королю, а французский император нашему пишет знаменитое письмо в январе и предлагает ему немедленно помириться с Турцией, «иначе, пишет он, Франция и Англия будут принуждены предоставить силе оружия и случайностям войны решить то, что могло бы быть решено рассудком». Так писать нашему царю, это значит перестать его бояться! А Франц Иосиф!

— Негодяй!—решительно выкрикнул капитан.—Это... это—негодяй!

— Он забыл даже о том, что владеет Австрией теперь только благодаря нашему царю, и двинул против Горчакова свои войска. Это значит, что

до того уж перестали бояться, что даже и самой черной неблагодарности не стесняются!.. А наш царь, говорят, до того любил этого Франца, что даже статуэтку его везде с собой возил! Однако почему же перестали бояться,—вот вопрос?

И Дебу оглядел не только Зарубина, но и Варю и даже чрезвычайно внимательно слушавшую Олю.

— Потому что их несколько держав,—не совсем уверенно ответила Варя, перебрав тонкими пальцами кружевную пелеринку на груди.

— Конечно! Потому что их много, а русские одни!—тут же согласилась со старшей сестрой младшая.

Но отец их выжидающе смотрел на своего квартиранта и молчал.

Квартирант же будто думал вслух:

— Отчасти, разумеется, потому что коалиция, но это не все. Больше всего потому, что высмотрели у нас не одну ахиллесову пяту [1].

— Не одну! А сколько... сколько же? Две?— вдруг неожиданно зло подался к нему капитан.

— Нет, не две даже, а, я думаю, побольше,— спокойно возразил Дебу.—Севастополь выбран не зря. Прежде всего он у моря, которое не замерзает, а затем—к нему нет дороги.

— Как же так нет дороги?—удивилась Варя.

— Я говорю о железной, конечно. У союзников в руках самый удобный и самый дешевый путь. Пока к нашей армии на выручку подойдет пешком, скажем, пятьдесят тысяч, союзники могут подвезти сто. Я думаю, что весь расчет свой они строили только на этом.

— Что вы, Ипполит Матвеич! Неужели же вы думаете, что они возьмут Севастополь?—очень обеспокоилась Капитолина Петровна, вновь появившись.

— Нет, я думаю, что может быть хуже,—быстро вскинул на нее глаза Дебу и тут же опустил их,— до того растерянное было теперь лицо у этой всегда приветливой женщины с добрым сердцем.— Видите ли, Россия и во второй половине девятнадцатого века продолжает оставаться страной крепостного рабства. К чести нашего императора нужно сказать, что он хотел освободить крестьян, и по этому поводу было собрано, как известно, особое совещание Государственного совета, и на нем сам царь выступал с речью, однако из этого ничего не вышло: высшее дворянство оказалось против этого проекта и в первую голову наш главнокомандующий, князь Меншиков, заядлый крепостник, потому что владелец чуть ли не десяти тысяч крестьян. Но железные дороги и крепостное рабство, согласитесь сами, это не вяжется одно с другим. И, однако, если Россия и спасалась чем от глубокого вторжения врагов, то только своим бездорожьем. Царь наш в своем манифесте вспомнил 1812 год, но французы его, конечно, тоже помнят, и в глубь нашей страны они не пойдут, я думаю. Какой им смысл уходить от моря, то есть от своего флота, даже в глубь Крыма, не только в глубь России, если у них артиллерия, как известно, гораздо лучше нашей! Мне кажется, союзникам нет даже и смысла особенно спешить брать Севастополь. Зачем им это делать?

— Как зачем, если вся война из-за Севастополя?—как будто даже обиделась на Дебу Варя за то, что он будто дешево очень оценивает ее родной город.

И все четверо Зарубиных непонимающе переглянулись, но Дебу продолжал спокойно:

— Мне кажется, что Севастополь будет просто местом артиллерийской дуэли. Союзники вызвали нас на артиллерийскую дуэль и местом для нее выбрали нашу крепость, где самый большой арсенал на юге России. На Одессу ведь вот же они не пошли, как многие у нас думали, хотя взять Одессу им ничего не стоило. Они пришли туда, где мы вооружены лучше всего, и, я думаю, их единственный план своими орудийными заводами задавить наши орудийные заводы. Наш ближайший к Севастополю пушечный завод в Луганске, но доставить оттуда пушки и снаряды в Севастополь куда труднее, чем из Англии морем,—и конечно, по сравнению с английскими и французскими пушечными заводами, это очень плохой завод.

— Что такое он... он... говорит, этот?—побледнев еще заметнее и показав набалдашником палки на Дебу, спросил тихо жену Зарубин.

Та тут же подошла к нему вплотную и положила руку на его шею, шепнув:

— Не волнуйся, Ваня, тебе вредно!

А Дебу, обращаясь в это время только к Варе, продолжал, не замечая:

— Допустим на минуту, что союзники пришли к самому Севастополю. Естественно, что их встретят орудийными залпами. Так начинается эта дуэль. Допустим еще, что они в результате этой дуэли возьмут Севастополь через месяц. Есть ли им смысл уходить отсюда дальше в Крым? Решительно никакого! Им выгоднее всего снова укрепиться в нем и ждать, когда его придут отнимать русские дивизии, чтобы снова показать им превосходство своих орудийных заводов и своих инженеров.

— Это—француз! Да!—стукнул яростно палкой и закричал, исказив лицо, Зарубин.—Вы—француз, и потому вы... Как вы смеете говорить так? А?.. Как смеете?

И он поднялся, согнувшись и подавши все тело на палку.

— Успокойтесь, Иван Ильич,—кинулся к нему Дебу.—Ради бога успокойтесь! Я ведь только рас-

---

[1] *«Ахиллесова пята»*—выражение, употребляемое в смысле уязвимое место.

суждаю с точки зрения союзников... То есть пытаюсь найти их точку зрения,—только! Я француз и католик, но по подданству такой же русский, как и вы.

— Вы не смеете, нет!.. вы... вы—солдат унтерского звания, вот!.. И вы-ы... не смеете рассуждать!—кричал Зарубин, краснея и дергая шеей.

— Рассуждать я все-таки должен, хотя я и солдат,—примиряющим тоном обратился Дебу не только к нему, но и к Капитолине Петровне.— А говорю это затем, чтобы убедить вас поскорее отсюда уехать, так как мне будет больно, если из вас кто-нибудь погибнет. Понимаете? Очень больно! Вот почему говорю.

— Но ведь князь пошел же не допустить союзников до Севастополя, и он не допустит!—больше вопросительно, чем убежденно сказала Капитолина Петровна.

— Будем верить, будем надеяться... когда на это никто уж не надеется и Севастополь укрепляют, как умеют и могут. Но что вам мешает уехать, хотя бы на время, не понимаю.

— Куда же мы поедем из своего дома?—уже с тоской в голосе сказала капитанша.—У нас ведь нет никакого имения, а дом мне от матери перешел по наследству... Здесь они у меня родились все,—кивнула она на Олю, и вдруг слезы навернулись ей на глаза и покатились одна за другою по полным гладким щекам.

Оля подошла к матери и поцеловала ее в подбородок, Варя отвернулась к окну, плеснув по покатым плечам косою, а сам Зарубин, одетый ввиду прохладной погоды в старый флотский сюртук, продолжал еще смотреть на Дебу яростными глазами, когда вбежал, запыхавшись, пятнадцатилетний сын его Витя, юнкер флота, и, не снимая белой бескозырки с лентами, крикнул ломающимся голосом:

— Сусловы уезжают, мама! Я сейчас видел!

— Куда же они уезжают?—спросила Варя.

— Не знаю. Говорят, пока еще можно проехать... «Громоносец» и «Херсонес» вышли за боны,—теперь на открытом рейде... И «Бессарабия» тоже.

В семье Зарубиных знали, что эти три парохода военного флота и что это утешительно: отважились выйти из бухты! А мальчик продолжал так же возбужденно:

— А что делается на улицах,—не-ве-роятно!.. Везде роют траншеи! И на Театральной площади тоже!

— И на Театральной даже? Надо пойти посмотреть... А потом в свой батальон зайти,—сказал Дебу, подвигаясь к двери, и добавил, выходя:— Вот видите. Сусловы уехали, а им ведь труднее вашего было собраться, Капитолина Петровна. Эх, начинайте-ка скорее укладываться, чтобы не было поздно потом! Раз надо бежать, бегите!

2

Южная бухта делила Севастополь на две очень неравные части: по одну сторону, ближе к скрытым в земле руинам Херсонеса, расположился довольно правильно разбитыми кварталами собственно город, по другую—морские казармы, порт с его сложным хозяйством, мастерскими и доками, примыкающими к небольшому заливу—Корабельной бухте. По соседству с Корабельной бухтой и доками селились отставные шкиперы и боцманы, построив Корабельную слободку в несколько улиц. Невдали от нее расположены были крепкие, из местного белого камня, двухэтажные постройки морского госпиталя—в одну сторону, а в другую—Малахов курган с башней на пять орудий. Эти две части Севастополя находились между собою в постоянном и очень оживленном сношении: ялики морского ведомства беспрестанно сновали с одного берега на другой.

Но Северная сторона, лежавшая за Большим рейдом, была почти совершенно пустынна. Не привлекавшая поселенцев, она не привлекала внимания и крепостного начальства. Там было только несколько фортов, охранявших вход в Большой рейд с открытого моря, причем один из этих фортов был построен еще при адмирале Лазареве с разрешения Меншикова отставным поручиком артиллерии Волоховым на свой счет. Этот форт, глядевший в море, так и назывался Волоховой башней.

Однако не нашлось других отставных поручиков артиллерии, чтобы построить хотя бы слабые укрепления поясом по Северной стороне от Волоховой башни до конца Большого рейда—на семь верст. Линия фортов там, правда, намечалась, но давно,—лет двадцать назад,—и только на карте.

Теперь же первое, что, к удивлению своему, отметил, выйдя от Зарубиных, Дебу, было то, что дюжие вороные артиллерийские кони везли одно за другим несколько орудий в направлении к Царской пристани, откуда их могли переправить не иначе, как только на Северную сторону. На улице от грузно цокающих по гладкому булыжнику подков и от подпрыгивающих дебелых зеленых колес с толстыми железными шинами стоял грохот. Из окон, отставляя цветочные горшки и отстраняя занавески, высовывались любопытные женщины.

Рядом с последним орудием ехал верхом знакомый Дебу артиллерист, штабс-капитан Кушталов. Ему крикнул Дебу, поднимая над головой шляпу:

— Куда? На Северную?

— Укрепляемся про всякий случай,—приставив руку ко рту, чтобы Дебу сквозь грохот расслышал слова, ответил Кушталов, проезжая.

А в обратную сторону, явно на Симферопольскую дорогу, двигалась длинная арба, запряженная парой мелких деревенских лошадок. Возчик шел

рядом, с вожжами в одной руке и с кнутом в другой, а на тяжело груженной разными домашними вещами арбе важно сидела пожилая женщина в ковровой шали,—экономка ли, нянька ли чья, а рядом с нею солдат с неизгладимой печатью денщика на широком сытом рябом лице. Выше других вещей на арбе желтело узенькое плетеное детское креслице, без которого как же было обойтись в Симферополе или Николаеве счастливому семейству, очевидно, уехавшему из обреченного города раньше.

Партию рабочих с кирками и лопатами на плечах вел куда-то исполнительного вида унтер-офицер. Рабочие были в фартуках и сапогах бутылками. Фартуки и сапоги их были заляпаны известью. Лица у них были не то чтобы запыленные, а явно недовольные. Унтер же говорил им, проходя и взглядывая искоса на штатского в шляпе:

— Теперь не то что новые дома класть, а впору об старых заботу поиметь, чтобы часом их не развалили неприятели...

И Дебу понял, что этих каменщиков по чьему-то приказу сняли с постройки рыть траншеи.

Кучка смуглых бородатых потных людей, оживленно жестикулируя и громко говоря на неизвестном Дебу языке, вышла из переулка прямо против него, и один из них обратился к нему крикливо:

— Гаспадин! Скажи, гаспадин, старшуй начальник как мы найдом, а?

— А вы... что же за люди такие?—спросил Дебу.

— Луди?—вопросительно, но быстро оглядел говоривший других своих и ответил, ткнув себя в грудь большим пальцем:—Ми нэ люди, ми—кадыккойские греки!

— А-а, вон вы кто, а я думал—цыгане... Зачем же вы пришли?

— Ми нэ прышли, ми на лошадь прыехаль!— с еще большим достоинством ответил грек.

Понемногу разговорились. Можно было понять, что эта кучка кадыккойских греков приехала сюда узнать, что делать всем вообще кадыккойским и балаклавским грекам, если подойдет неприятель: сидеть ли в своей Балаклаве, или, может быть, будет безопаснее перебраться всеми семействами и со всем имуществом сюда, в Севастополь.

Вопрос был, конечно, важный, и Дебу подробно и долго объяснял им, как пройти к Екатерининскому дворцу, где могли бы им указать того, кто теперь распоряжался всем в крепости за отбытием светлейшего на Алму.

А когда он прошел дальше, к Театральной площади, то увидел, что там, в дальнем конце ее, на выходе из города, действительно, как говорил Витя Зарубин, рыли канаву, но рыли какие-то бабы, чего не сказал Витя. Однако бабы эти, не в пример каменщикам, рыли траншею весело, то и дело покатываясь от хохота по новости дела. Руководили их работой два пожилых саперных солдата, старавшихся унять их веселость окриками.

Дебу хотел было подойти поближе к веселым землекопам, но тут, под барабанный бой маршируя, вышла на площадь рота матросов одного из морских батальонов, сверкая на солнце стволами и штыками ружей. Какой-то лейтенант, ротный командир, четко идя под барабан впереди, вдруг обернулся, прошел несколько шагов задом и неистово скомандовал под правую ногу:

— Ррот-та-а... стой!

Рота сделала еще шаг, ударив по земле ногами изо всей силы, и стала вкопанно. Барабан умолк.

Дебу увидел, что матросы, когда они собраны вот так в роту, кажутся, благодаря своим высоким и широким грудям и дюжим, воловьим шеям, какой-то непобедимой крепостью по сравнению с ротой пехоты. Но вот ретивый лейтенант, отойдя от роты в сторону, прокричал в самом высоком тоне:

— По убегающему неприятелю вдогон-ку... Первый взвод с колена, второй стоя, остальные уступами... рро-от-та...

И матросы, кто с колена, кто стоя на месте, кто выбежав вправо и влево, начали старательно целиться в сторону Дебу, он же с давним уже, но очень стойким, неистребимым в нем замиранием сердца ждал команды «пли!»

Этой команды он ждал однажды, стоя на эшафоте на Семеновском плацу в Петербурге, и с тех пор неприятное чувство всякий раз овладевало им, чуть только слышал он это вопящее «рро-о-та»... за которым должно было следовать короткое, как выстрел, и страшное «пли!»

Тогда их стояло на эшафоте двадцать человек, осмелившихся читать утопистов—Фурье, Сен-Симона, Кабе и других—и о прочитанном спорить. Но самым преступным деянием их, по мнению следственной комиссии и членов суда—нескольких генералов,—было то, что они осмелились читать вслух знаменитое письмо Белинского Гоголю по поводу «Переписки с друзьями»! Выяснилось при этом еще более преступное, что письмо кое-кто из них давал даже переписывать своим знакомым!

Они собирались большей частью у молодого, как и все они, чиновника министерства иностранных дел Буташевича-Петрашевского, известного прежде всего тем, что он вызывающе открыто носил строго запрещенную в те годы для чиновников и дворян бороду и шляпу с очень широкими полями,—признак явного вольномыслия и даже бунтарства. Они не знали, что снисходительно смотреть на эти причуды чиновника было секретно приказано свыше ввиду особенных целей.

Среди частых гостей Петрашевского, собиравшихся у него по пятницам, были молодые гвар-

дейские офицеры, неслужащие дворяне, литераторы, как Пальм, Дуров, Плещеев, Салтыков-Щедрин, Достоевский, «Бедные люди» которого приводили тогда в восхищение читателей, наконец имели вход к Петрашевскому и образованные мещане, как некий Шапошников.

Дебу помнил, как письмо Белинского читал своим изумительным голосом глубоко волнующего тембра этот щуплый, низенький и болезненный с виду, некрасивый, когда молчал, и всегда прекрасный в споре, отставной инженер-поручик Достоевский.

После чтения все говорили о позорной петле, накинутой на народную шею,—о крепостном праве.

Тогда было время тревожное не для одного только вечно боявшегося революции Николая, тогда «красный призрак бродил по Европе», революции вспыхивали одна за другой то в Париже, свергшем короля Луи Филиппа и установившем власть временного правительства, то в Вене, то в ряде городов и областей Германии, где выдвинулись как вожди Карл Маркс и Фридрих Энгельс, то в Италии—в Неаполе, Флоренции, Милане, когда впервые известны стали имена Гарибальди, Мадзини...

Тогда-то, чтобы задавить освободительное движение в Венгрии, Николай послал на помощь Францу Иосифу свыше ста тысяч своих войск под командой Паскевича.

Тем строже отнеслись к тем, кто на «пятницах» у Петрашевского как будто призывал оттуда, с Запада, «красный призрак».

Почти все участники «пятниц» были арестованы в одну ночь, в апреле, но сидели в крепости восемь месяцев до суда в одиночных казематах, причем не выдержали одиночки и заболели умственным расстройством гвардейский поручик Григорьев, девятнадцатилетний студент Катенев и родной брат Дебу—Константин, тоже чиновник одного с ним департамента.

Этот день, когда их рано вывели из казематов, переодели в их собственное платье и повезли,—день 22 декабря 49 года,—мгновенно воскрес в памяти Дебу при одной этой команде лейтенанта.

Их посадили в кареты,—кареты тронулись, окруженные конными жандармами с саблями наголо. Стоял мороз, и сквозь заиндевевшие маленькие окошечки кареты ничего не было видно. С ними ехал солдат-конвойный. Его спросил он:—Куда нас везут?—Конвойный ответил таинственно:—Этого не приказано сказывать.—Он стал тереть и скоблить стекло пальцами, чтобы хоть рассмотреть, по какому направлению везут, но солдат завопил:—Что вы,—хотите, чтобы меня из-за вас до полусмерти избили?!

Но вот, наконец, остановились кареты: привезли. Сказали:—Извольте выходить!—Вышли. Огляделись и узнали Семеновский плац.

На скрипучем синем утоптанном снегу—какой-то длинный помост из свежих новых досок, небрежно обитых черным коленкором, с лестничками с двух сторон и столбами по обочинам: эшафот. Глядели друг на друга, не веря глазам своим: почему эшафот? Почему в стороне от него солдаты с ружьями, полк солдат при всех офицерах? Почему рядом с офицерами петербургский обер-полицмейстер Галахов, в генеральской шинели, верхом на лошади, и какой-то рыжий поп в шубе и меховой шапке с бархатным черным верхом?

Оглядывали друг друга, едва узнавая; за восемь месяцев заключения такие все стали обросшие, худые, желтые, даже богатырски сложенный Спешнев!

Все были уверены, что привезут их снова в здание суда, где и прочитают им приговор, конечно, какой-нибудь легкий, но почему же вдруг такая предсмертно-торжественная обстановка?

Кто-то обратил внимание на сани, стоявшие в стороне. На этих санях громоздилось что-то, покрытое рыжим.—«Это гроба наши, а сверху рогожи!»—сказал тогда Дуров, и все поверили, хотя, как оказалось потом, на санях была свалена их арестантская одежда.

Но говорить друг с другом им запретили: собрались тут люди для дела, деловито приказал им генерал Галахов взойти на эшафот. Их расставили около столбов—по одной стороне девять, по другой—одиннадцать человек,—лицами внутрь, и на эшафот взошел тот самый аудитор, который записывал их показания на суде, длинный и тощий военный чиновник-немец.

— Шапки долой!—прокричал им Галахов.

Неторопливо, сняв перчатку с одной руки, держа бумагу близко к близоруким глазам, деревянным громким голосом прочитал чиновник приговор, кончающийся словами: «Приговорены к смертной казни расстрелянием».

И еще не успели изумленно переглянуться все они,—двадцать человек на эшафоте, как торопливо сошел аудитор и взошел поп, левой рукой вытащив из кармана шубы небольшой серебряный крест. Лысой голове его было, видимо, холодновато сразу после теплой шапки, но тут же снова раздалась команда Галахова им, двадцати осужденным, успевшим уже снова покрыть головы:

— Снять головные уборы!

Не все поняли эту команду, но вслед за офицерами, как гвардейские поручики Пальм, Момбелли, Григорьев, опять сняли кто шляпу, кто шапку.

Поп оглядел кое-кого торопливым взглядом и сказал певуче:

— Братие! Искреннее покаяние перед смертью очищает душу...

Должно быть, он хотел сказать небольшую речь о пользе исповеди, но Дебу заметил, как стоявший

прямо против него Петрашевский зло усмехнулся в широкие усы, посмотрев на него исподлобья, и тот пробормотал только:

— Прошу подходить к исповеди по очереди, не толпясь.

Однако никто, кроме Шапошникова, не подошел к нему. Исповедь была недолгая. Шапошников отошел. Поп подождал немного, оглянулся назад, на генерала Галахова, и спросил негромко:

— Может быть, не против убеждений ваших будет приложиться ко кресту?

И к нему продвинулся очень набожный, несмотря на весь свой фурьеризм, литератор Дуров, чтобы спросить его, почему не приобщает он того осужденного, которого только что отисповедовал, но поп, не отвечая на этот вопрос, сунул к его губам крест.

Когда, надев шапку и спрятав крест, спустился вниз поп, на помост взбежали с той и с другой стороны солдаты, несколько человек,—с веревками, мешками, шпагами... Ротный командир, торжественно произнося:—Лишаетесь военного звания!—переломил над головою каждого из офицеров заранее надпиленные шпаги, солдаты быстро прикрутили Петрашевского, Григорьева, Момбелли к столбам, на головы всех накинули плотные мешки... Потом раздалась эта подлая, звонкая в морозном воздухе команда ротного:

— По государственным преступникам паль-ба... взводом!

Но после этой команды настала вдруг длительная тишина. И Дебу помнил, что он занят был тем, что про себя считал мгновения: раз... два... три... четыре...

Не представлялось никаких лиц, с которыми хотелось бы хоть мысленно проститься перед смертью, ничего не оставалось, как будто в памяти—пустота, и в этой черной пустоте сверкали, падая вниз, мгновенья.

Он насчитал так десять, двадцать, тридцать наконец, все ожидая последнего человеческого слова в его жизни,—коротенького, но такого огромного по смыслу,—слова «пли!», после которого раздастся гром залпа, и тело в нескольких местах жгуче будет пронизано пулями...

И вдруг вместо этой ужасной команды барабанщик ротный ударил «отбой», и раздалась команда другая, мирная:

— К но́-ге-е!

Ружья, взятые сложным приемом с прицела «к ноге», однообразно звякнули, и те же конвойные солдаты, которые натягивали на головы им мешки, кинулись их снимать и развязывать тех, кто был прикручен к столбам.

Дебу помнил, с какой ненавистью поглядел он тогда на этого осанистого генерала, обер-полицмейстера, распоряжавшегося всей этой гнусной церемонией, когда он объявлял, что государь «всемилостивейше помиловал» их и «даровал им жизнь»... для того, чтобы разогнать их, кого, как Петрашевского, на каторгу без срока, кого, как Достоевского, на каторгу на четыре года, кого, как самого Дебу, в арестантские роты... в Килию, на Дунае, а потом в Севастополь, в военно-рабочий батальон...

Но этот ненавидящий взгляд был обращен не столько к генералу Галахову, который проделал, как умел, что ему было приказано, сколько к тому, кто приказал это проделать.

Переживший предсмертный ужас Григорьев был бледен, весь дрожал и стучал зубами, бормоча что-то бессвязное: он совершенно сошел с ума.

Позже узнал Дебу, что царю было известно о «пятницах» Петрашевского еще в начале 1848 года, но он только посылал к ним шпионов и выжидал, когда они, как новые декабристы, выйдут на улицу. Петрашевцы на улицу не вышли, время же было тревожное, и царь отдал приказ об их аресте. Он сам следил за процессом, сам читал все их показания, сам же лично пересматривал приговор суда генералов, кому уменьшая, кому увеличивая сроки наказания... точно так же, как сам он привлек вот теперь десант союзников в Крым.

Дебу передернул плечами от этих воспоминаний и обошел роту матросов стороною. Когда же, чтобы взять прямое направление на казармы своего батальона, куда он шел, он поравнялся с кучею баб, работающих так ухарски весело, то услышал громкий, несколько хрипловатый окрик:

— Эй, барин! Чего зря бродишь, слоны слоняешь? Иди к нам, девкам, землю под пушки копать!

На задорный окрик другие ответили дружным хохотом, и он догадался, что это—те самые веселые девки, которые во множестве жили именно здесь, около Театральной площади, на выезде из города.

Приглядевшись, он заметил, что порядком здесь ведал квартальный надзиратель, так как всеми подобными девками тогда бесконтрольно ведала полиция.

Только через несколько дней он узнал, что здесь, за насыпанным девками валом, установили батарею мощных орудий, и батарею эту нежно назвали «Девичьей».

Тут же за Театральною площадью, по берегу Южной бухты был разбит бульвар, открытый для гулянья даже солдат и матросов,—в то время, как вход на Приморский бульвар строго им воспрещался. Проходя по этому пока еще чахлому бульвару, где дорожки подметались только перед большими праздниками, Дебу увидел направо от себя новую толпу рабочих, только уже не девок. Это были из так называемых рабочих батальонов порта, но оттуда, из порта, где они работали по-

стоянно, их перебросили сюда по чьему-то властному приказу.

Дебу помнил, что еще в апреле этого года на месте теперешних работ был чей-то виноградник, обнесенный невысокой каменной стенкой, и на винограднике торчала небольшая сторожка. Потом солдаты копали здесь траншеи и блиндажи, которые накрывали бревнами в накат и присыпали землей и песком; это место стало называться четвертым бастионом.

Но теперь он видел, что и бульвар уже был размечен кольями и шестами, и кое-где валялись только что срубленные молодые деревья, а к их пенькам бороздою проведена была изломанная линия будущих редутов.

В бухте, где за последнее время привычно неподвижно стояли суда: бриг «Тезей», бриг «Аргонавт», корвет «Андромаха» и прочие, теперь кипела работа; на них как муравьи кишели матросы, артельно крича:—«А ну, ра-аз!.. А ну, два!.. Принима-ай, ра-аз!» Это по сходням из бревен и толстых досок выгружали на берег с мелких не имевших боевого значения судов орудия, а на берегу уже ожидала их артиллерийская запряжка, чтобы отвезти на позиции.

Но что особенно поразило Дебу дальше, когда он подошел к концу бухты, это кипучая деятельность арестантов морского ведомства, плавучая тюрьма которых, блокшиф «Ифигения», торчала тут же, в бухте.

Засидевшиеся арестанты работали ретиво, с прибаутками и смешками, вроде тех девок на площади, но они разбирали каменную ограду чьей-то земли в стороне и перетаскивали на носилках камень к дороге из Севастополя на Симферополь. Часть их рыла также и землю, но вырытая земля свозилась на тачках туда же, где укладывался длинным рядом камень, оставляя на широкой гуртовой дороге в середине только узкий проезд для двух подвод.

Отыскав глазами тюремного надзирателя, Дебу подошел к нему и спросил недоуменно:

— Что такое тут делают, а?

Усатый сумрачный надзиратель оглядел его от шляпы до башмаков весьма недовольно и ответил без малейшей тени уважения:

— Сами видите, что... баррикады.

— Хотя и вижу, любезнейший, но трудно было догадаться, чтобы арестанты вдруг начали строить баррикады!—улыбнулся Дебу.

И он остановился здесь, чтобы уяснить самому себе, какой смысл имели эти баррикады,—могли ли они надолго задержать войска, обильно снабженные артиллерией, но надзиратель, оглянувшись, сказал вдруг ему торопливо:

— Проходите, господин, тут вольным стоять не полагается!.. Адмирал едут, проходите!

Отходя от строящихся баррикад и оглянувшись, Дебу увидел большую группу всадников,—не менее как человек пятнадцать,—и узнал среди них адмирала Корнилова. Корнилов ехал со стороны Корабельной слободки и Малахова кургана со всеми чинами своего штаба и что-то энергично чертил в воздухе рукою,—должно быть, линию новых траншей, которые должны быть устроены безотложно.

И Дебу понял, от кого исходят все приказания по обороне города теперь, когда Меншиков терпеливо поджидает на Алме подхода неприятельских полчищ, кто распорядился в спешном порядке снимать орудия с бездеятельных бригов и корветов и даже проституток выгнал на рытье траншей.

И в первый раз именно теперь ему стало неловко как-то за свое «вольное» пальто и шляпу и захотелось поскорее стать по виду солдатом,—пусть даже и не пустят тогда его будочники на аристократический Приморский бульвар.

В канцелярии рабочего батальона, куда, наконец, добрался Дебу, он нашел только хорошо ему знакомого батальонного адъютанта, поручика Смирницкого.

— Ну, вот и кончились счастливые дни Аранжуэца![1]—весело сказал ему поручик, счастливый обладатель внешности, способной быть очень подобострастной и почтительной в отношении к начальству, очень внушительной в отношении подчиненных ему писарской и музыкантской команд, восторженно-мечтательной в отношении женщин и добродушнейше-небрежной в отношении товарищей по полку.

— Да, надо приниматься всерьез за службу,—отозвался ему Дебу, присаживаясь к адъютантскому столу.

— Извольте-с добавлять теперь: «ваше благородие»,—неуловимо иронически заметил поручик.—И вообще подрепертите «Памятку рекрута», а то вы нам голову снимете!

— Ну, так уж и сниму!—Унтер-цер ведь я все-таки.

— Как же не снимите? Ведь вот же «ваше благородие» опять не добавили! А за сколько шагов снимать будете головной убор при встрече на улице с генералом или адмиралом?

— За шестнадцать, ваше благородие,—улыбнулся Дебу.

— Ничего нет смешного! А во фронт будете становиться за сколько шагов?

— За восемь шагов.

— А своим штаб-офицерам?

— Э-э, знаю, знаю все это отлично! Своего полка штаб-офицерам головной убор снимать за восемь шагов, а во фронт становиться за четыре... Так же и своему ротному командиру.

— А «ваше благородие» где? Нет, вы неиспра-

---

[1] *Аранжуэц*—летняя резиденция испанских королей.

вимый рябчик. Впрочем, будем надеяться скоро увидеть вас офицером: Ганнибал[1] у ворот!

— Вы думаете, у союзников имеется все-таки свой Ганнибал?

— А Сент-Арно на что?

— Посмотрим... А как думают в высших сферах, удержится князь на Алме или...

— Это уж вам лучше знать, чем нам грешным. Вы ведь вращаетесь в высших сферах, а не мы.

Так несколько минут поговорив шутливо об очень серьёзном, поручик Смирницкий весьма откровенно зевнул во весь рот, сильно потер себе уши, так что они зарделись, как пионы, буркнул:

— Спать хочется, как коту! Сегодня ночью и трех часов не спал...—и поднялся, давая этим понять Дебу, что разговор надо уже кончать.

— На так называемое довольствие я где-нибудь буду зачислен?—спросил, подымаясь, Дебу.

— А как же! На довольствие пока зачислю вас в писарскую команду... Но при штабе батальона, вы, конечно, можете проболтаться недолго. В строю, под пулями, голубчик, наживаются эполеты, а не перышком скрипя. Потом решите сами, к какому вас ротному командиру для военных подвигов откомандировать,—к тому и командируем. А завтра с утра непременно уж приходите форменным нижним чином, а то я за вас отвечать буду... Обмундировку не пропили?

— Никак нет, ваше благородие,—хмуро улыбнулся Дебу, искоса глядя на адъютанта.

— А кто же вам разрешил косвенные взгляды эти и разные там улыбки, раз вы говорите с начальством?—играя уголками губ, нахмурил притворно свои пухлые брови Смирницкий и дружелюбно подал ему на прощанье тугую широкую лапу.

Когда Дебу возвращался на Малую Офицерскую, он уже вполне чувствовал себя нижним чином, хотя и был еще в шляпе.

И даже Варя Зарубина, которая часто дарила его внимательным, но как бы нечаянным взглядом из-под полуопущенных век, и делалась такою благодарно-краснеющей, искренне-радостной, когда он заговорил с нею наедине, не при родителях, даже она, о которой привык он думать часто и нежно, вдруг почему-то сразу отодвинулась в его мыслях далеко в сторону: все-таки штаб-офицерская дочь!

Арестанты попрежнему ретиво воздвигали баррикады на Симферопольской дороге, а на четвертом бастионе, остановившись там со всею свитою, что-то начальственно кричал Корнилов.

Нижним чинам того времени свойственно было стремиться по возможности не попадаться на глаза высокому начальству, и Дебу, не вслушиваясь в слова Корнилова, постарался скрыться за кустами бульвара.

3

Весь этот день 5/17 сентября, встав рано утром, Корнилов провел не в штабе флота, а на коне, объезжая ближайшие подступы к Севастополю, с каждым часом все ясней и ясней убеждаясь в том, что город этот, оплот всего юга России, почти совершенно не защищен с суши,—раздет.

Фортификация—наука не моряков. Но блокада, как буря, выбросила на берег весь Черноморский флот со всем его экипажем, считая и адмиралов, и когда все сухопутные силы ушли на реку Алму, их место на фортах крепости, естественно, должны были заступить моряки, которых насчитывалось до одиннадцати тысяч, и контр-адмирал Истомин руководил работами по укреплению Малахова кургана, другой контр-адмирал, Панфилов, укреплял форты Южной стороны.

В то же время деятельно готовился к выходу в море и к решительному бою весь флот, за исключением совсем устаревших и мелких судов, с которых свозились орудия на берег.

Как свернувшийся еж, Севастополь расправлял и выставлял во все стороны свою щетину.

Телеграфная станция морского собрания была устроена на площадке над библиотекой, между прочим, очень богатой книгами, там же установлен был и довольно сильный телескоп, в который видно было вполне отчетливо, какой силы неприятельская армада стала на якорь между Евпаторией и деревней Контуган, и в каком порядке происходила высадка десанта, так что лейтенант Стеценко, явившись с докладом к Корнилову, немного мог сказать ему нового, но доклад его понравился Корнилову тем, что был обстоятелен и спокоен так же, как и сам докладчик.

— Вот что мы сделаем,—оценивающе глядя на лейтенанта, сказал Корнилов.—Я вас зачислю в свой штаб адъютантом. Приходите ко мне сегодня обедать,—познакомимся покороче.

И в свите адмирала, которую увидел Дебу, как новичок в штабе, был и лейтенант Стеценко. Дебу просто не разглядел его в толпе всадников, а между тем они часто виделись и подолгу говорили друг с другом и могли бы считаться друзьями, если бы были более сентиментальны оба.

«Ветреная блондинка», генерал Моллер, старший по чинопроизводству, но в то же время непригодный для полевых действий по старости, был оставлен в Севастополе Меншиковым, как начальник гарнизона. Но гарнизона этого было всего только четыре резервных батальона, стоявшие, как стояли

---

[1] *Ганнибал*—знаменитый карфагенский полководец III в. до н. э., вел войну с Римом и вторгся в Италию, но был разбит на подступах к Риму.

и раньше, на крупных фортах. Кроме того, у Моллера в эти тревожные дни расшалилась поясница, и он ее усиленно парил, сидя дома, и хотя разные важные бумаги по правилам субординации шли на решение к нему, он тут же направлял их к Корнилову.

Корнилов был человек увлекающийся, испытанной личной храбрости в морских боях, очень хорошо знавший морское дело, но в эти дни на него свалилась тысяча мелких забот, с которыми к нему обращались отовсюду, включая сюда и жалобу саперных частей на выданные им из складов адмиралтейства очень мягкие лопаты, которые гнулись, как картонные, при работе на каменистой земле, и слишком перекаленные кирки и мотыги, которые ломались с двух-трех ударов.

В этот день, 5/17 сентября, с библиотеки было видно, как купеческие суда начали отходить от флота союзников, и можно было насчитать свыше семидесяти судов, которые пошли на юго-запад, освободившись от десанта. Затем замечен был французский винтовой корвет, на котором разглядели генерала со свитой. Корвет этот подходил очень близко к устьям Алмы, Качи, Бельбека и к мысу Лукулл, очевидно разглядывая позиции русских войск.

Обеспокоенный Корнилов очень ярко представил, как неприятельский военный флот этой же ночью может атаковать Севастополь, может быть даже подвезет и часть сухопутных войск, чтобы внезапным нападением занять несколько фортов. Корнилов после объезда работ собрал всех младших адмиралов и командиров судов, чтобы назначили команды матросов на помощь резервным батальонам, если услышат сигналы с флагманского корабля.

Но среди всех этих беспокойств о городе, о флоте, о чести России он (очень хороший семьянин) помнил, что этот день—годовщина его свадьбы с Елизаветой Васильевной, с которой он прожил в согласии семнадцать лет, прижил четверых детей, из которых старший сын, Алексей, уже гардемарин и совершает первое свое кругосветное плаванье.

В обед он пил шампанское за здоровье своей жены, тревожно думая о том, как-то пройдут пятые ее роды, а вечером с особым курьером из Николаева получил от нее письмо, что роды прошли благополучно, что родилась дочь и в честь роженицы названа Лизой.

В этот вечер, проведенный им вместе со всем своим большим штабом и адмиралами Нахимовым, Истоминым, он был очень оживлен и даже весел. Маленькое семейное счастье его покрыло все беспокойства за крепость, за флот, за честь России розовым облаком. Уединившись в своем кабинете, он написал жене: «С утра взгрустнулось, когда вспомнил, что 5 сентября провожу один. Поздравляю тебя, добрый друг мой, поздравляю и дочку Лизу. Когда-то мне удастся вас всех увидеть! Из лагеря известия были и утром и вечером: неприятель попрежнему продолжает окапываться, а мы стоим на прежней отличной позиции. У нас в Севастополе все спокойно и даже одушевленно. На укреплениях работают безустали, и они идут с большим успехом. Надеемся все-таки, что князь Меншиков обойдется и без них. С каким восторгом увидел я твои строки, написанные уже довольно твердою рукою!»

Он мог бы в другое время написать жене много о том, что было понятно и дорого только им двоим, но теперь за дверью сидело шумное общество, а за другою дверью ждал курьер, который отправлялся обратно в Николаев.

И хотя вот теперь, в ночной уже час три парохода: «Херсонес», «Бессарабия» и «Владимир», по его же приказу, дежурили за бонами на внешнем рейде в ожидании нападения союзного флота и на всех судах и бастионах ждали тревожных сигналов с его флагманского судна «Великий князь Константин», сам он был далек уже от мысли о возможной опасности, и когда кое-кто за столом сомневался в военных талантах князя Меншикова и не ждал ничего хорошего от его затеи встречать в открытом поле противника, который вдвое его сильнее числом, Корнилов горячо защищал князя и доказывал, что план его превосходен.

На другой день утром, обрадованный тем, что ночного нападения не было, что для укрепления Севастополя дается врагом еще целый день, а это большая удача, Корнилов, взяв с собою только одного нового адъютанта Стеценко, верхом поехал в лагерь на Алме.

Поехал он не за тем, чтобы получить какие-либо распоряжения князя, лагерь уже был связан телеграфом с библиотекой морского собрания, и с князем можно было переговариваться из Севастополя,—нет,—хотелось посмотреть лагерь своими глазами и убедиться в том, что действительно он крепок.

Утро было чудесное, бодрое, воздух свежий и ясный, очень четко рисовалась даль.

После ливня, бывшего три дня назад, вновь, хотя и робко еще, зазеленели сожженные летним солнцем неглубокие балки и взлобья холмов. Перепела выпархивали из-под копыт лошадей, когда, желая сократить время, Корнилов и Стеценко сворачивали с извилистой дороги и ехали прямиком. Перепелов в это время года множество собиралось со всей хлебородной России. Отсюда они передвигались дальше на юг.

От укреплений Северной стороны до лагеря на Алме считалось верст двадцать пять, но жилые места—хутора и деревни—были здесь только по долинам речек Бельбека и Качи, а между этими долинами—унылое безлюдье.

Раньше, месяц назад, здесь можно было встретить только чабанов с отарами овец крупных здешних помещиков, но теперь и отары держались как можно дальше от моря, вдоль берегов которого от Евпатории и от Севастополя двигались войска.

Только никому ненужные суслики то здесь, то там торчали на кочках, свистели презрительно.

Оценка человека человеком—весьма капризная вещь: очень часто меняется она под влиянием иногда совершенно ничтожных причин. Но Стеценко привык с юных лет высоко ценить Корнилова как большого знатока морского дела, теперь же, когда Корнилов взял его к себе адъютантом, он стал ближе к нему и как человек.

То бесстрашие, какое проявил Стеценко при высадке союзников, конечно было ему присуще, но он и самому себе, пожалуй, не признался бы в том, что тогда, как и на рейде, чувствовал где-то сзади себя подзорную трубу не Меншикова, которым был послан, а Корнилова, который предложил Меншикову послать не кого-либо другого, а именно его.

Ему, плотному и уверенному в прочности своего ширококостного тела, как-то даже чисто физически приятно было чувствовать рядом, конь о конь, гибкое и стройное тело адмирала. Он даже не только прощал ему несколько нефронтовую посадку, напротив, она казалась ему такою, как надо: корниловской. И рука адмирала, которой он держал поводья, рука без перчатки, энергичная, нервная рука, казалась ему еще молодою,—гораздо моложе сорока восьми лет.

Адмирал спросил его о родных (они жили в Киеве), о невесте (у него пока не было невесты), пошутил насчет Нахимова, который каменно-тверд в своих холостых привычках, наконец, заговорил о главнокомандующем (голос его, тенорового тембра, тоже очень нравился Стеценко):

— В такие дни испытаний, как теперь, главнокомандующий—это все! Все военные чудеса только от него и зависят. И прежде всего, по-моему, он должен уметь выбрать место для боя... Все, что мы сейчас с таким трудом создали под Севастополем, он должен суметь найти на местности... Князь именно такую позицию и нашел, а это половина успеха, не правда ли?

Стеценко слишком высоко ставил своего начальника, чтобы ответить ему, как подобало испытанному адъютанту:—Это—безусловная истина, ваше превосходительство!..—Он принял это за едва прикрытую иронию, почему и сказал, слегка улыбнувшись:

— Это, конечно, не относится к главнокомандующему противной стороны, который наступает на самые лучшие позиции и берет их, ваше превосходительство?

— Ну, да, ну, да, это конечно относится только к главнокомандующим тех армий, которые защищаются, как мы теперь,—живо поправился Корнилов.

— Но, однако, давно ведь известно, что самое лучшее средство защиты...

— Самому напасть! Конечно! Кто же не будет с этим согласен? Но ведь очень большое неравенство сил не обещает успеха при нападении, нет! У князя едва ли наберется и тридцать тысяч против шестидесяти... а может быть, и семидесяти.

— В истории, однако, бывали примеры, когда...

— Еще бы в истории! Но аббат Сийес[1] очень хорошо сказал насчет этого: «Ссылаться на историю для объяснения настоящих событий, это все равно, что отыскивать известное при помощи неизвестного». История—это просто слухи, а ведь говорится же: не всякому слуху верь. Наконец, кого бы вы там ни называли: Фемистокла[2] ли, напавшего на флот Ксеркса, Александра ли, напавшего на войска Дария, или нынешних Румянцева, Суворова,—все равно, закон один для всех: войска нападавших были передовыми войсками для тех времен, а нападали на отсталые,—вот почему им и разрешалось историей быть в меньшем числе. У нас же, конечно, наоборот, не будем высокомерны... Но князь в данной обстановке положительно незаменим. Во-первых, он умен, и потому не сделает какой-нибудь вопиющей глупости, а это очень важно: один опрометчивый ход может погубить все дело... Ум—это способность предвидеть, как разовьется событие...

— Что князь умен, этого никто не отрицает,—поспешил согласиться Стеценко.

Он чувствовал, что этот вопрос о главнокомандующем очень волнует адмирала, на которого именно за последние три дня свалилось множество забот князя, множество недоделанных Меншиковым дел. Однако, если он, князь, не успел доделать их здесь, в крепости, когда давалось ему для этого много времени, то каким же образом он справится с ними там, в открытом поле, всего за несколько дней, на виду у недремлющего, конечно, и все примечающего врага?

Поняв именно так тревогу своего адмирала, Стеценко поглядел на него вполне сочувствующими глазами.

Над долиной реки Качи стояла старая и густая дубовая роща. Кто-то издревле, века за два, за три начал заботиться о том, чтобы не вырубались деревья, и, в благодарность за это, какие они стали мощные, в два охвата, с широкими кронами, с прохладной тенью.

— Вот где можно было бы устроить союзникам

[1] *Сийес* (1748—1836)—французский государственный деятель и публицист.

[2] *Фемистокл*—афинский военачальник и политический деятель (род. в 525 г. до н. э.), разбил флот персидского царя Ксеркса у острова Саламина.

второй Тевтобургский лес![1]—сказал Стеценко, а Корнилов подхватил оживленно:

— Украли мою мысль, лейтенант! Я только что это же самое подумал!.. А на Алме там ведь нет такого леса, там ведь голое плато? В конце концов не так-то легко будет держаться там нашим войскам, если у противника большой перевес в артиллерии!.. Вы хорошо знаете это место?

— Я там был дней пять назад, когда ехал встречать десант, ваше превосходительство. Откровенно говоря, хотя я и не пехотинец, мне она (эта позиция) не показалась удачной.

— Вот как!—внимательно и серьезно глянул на него Корнилов.—Не показалась удачной? Почему именно?

— Она совершенно открыта для противника, мне так кажется. А у противника при наступлении будет огромное преимущество: сады и виноградники вдоль речки... и даже целые деревни... Не знаю, впрочем, как теперь: это я видел пять дней назад, а за пять дней можно, конечно, вырубить сады и виноградники и сжечь деревни, чтобы за ними не прятались враги... из садов можно сделать у нас на позиции завалы, как это принято делать на Кавказе.

— Ну, разумеется, это все так и сделано, как вы говорите! Ведь это же азбучная истина—постараться раздеть противника и одеть себя. Кроме того, между нами и ими там будет речка.

— Речка эта везде проходима вброд, ваше превосходительство, речка эта не может служить препятствием даже для артиллерии, не только для пехоты.

— Да, поскольку теперь не зима, речка эта проходима, конечно... Но там есть болота... Наконец, если проходимы и болота, то князь, должно быть, придумал какой-нибудь тактический прием, чтобы их разбить... Наконец, были сведения, что неприятель усиленно окапывается, значит, он сам боится нашего нападения.

— Когда я проезжал мимо нашей позиции пять дней назад, я нигде не заметил у нас окопов, ваше превосходительство,—припомнил Стеценко то, что его тогда поразило.—Значит, у них уже роют окопы, а у нас нет.

— Как так не было окопов?—даже повернулся к нему в седле Корнилов.—Вы просто промчались тогда мимо в карьер и не заметили их!

— Именно там я не мчался, ваше превосходительство,—там я дал отдых лошадям и ехал шагом... Но конечно за пять дней все там сделали неузнаваемым,—добавил Стеценко, заметив, что лицо адмирала из благодушного, каким оно было раньше, становится слишком начальственным.

— Разумеется, при такой массе рабочей силы там уже теперь перевернули плато!—отходчиво сказал Корнилов.—Что же там еще им делать, как не рыть окопы?

То и дело попадались по дороге казачьи пикеты, на которых еще издали встречали адмирала раскатистой командой: «Смир-на-а!» Но из деревень поспешно выезжали татары, угоняя и скот. Это было особенно заметно в долине Качи, близкой к позициям русских войск. Подводы тянулись цепочкой, обозами на восток, к Бахчисараю.

4

Меншиков встретил Корнилова в своем шатре, где он только что собирался обедать со всеми своими адъютантами. Шатер этот был основательной величины вместилище, разделен он был большим персидским ковром на две части: столовую и княжескую спальню.

Из столовой в сторону неприятеля был направлен телескоп такой же величины и сылы, как и стоящий на библиотеке морского собрания. Около этого телескопа Корнилов и застал князя.

Конечно, приезд Корнилова был не вполне самочинным: он просил разрешения на это Меншикова накануне депешей и получил ответ: «Если обстоятельства позволят вам отлучиться на день из Севастополя, приезжайте». Князь мог бы добавить к этому: «Буду рад вас видеть»,—но даже из вежливости не добавил. В таком ответе можно было прочитать желание князя, чтобы обстоятельства оказались сильнее и не позволили любопытному адмиралу появиться в лагере перед боем. Но Корнилов пренебрег всякими догадками на этот счет: пересилило любопытство.

Однако не одно только любопытство двигало Корниловым, хотя и более чем законное любопытство: было одно очень важное дело, о котором хотелось поподробнее поговорить с князем.

Желая усилить свою армию, Меншиков требовал безотлагательно прислать ему команды лучших стрелков флота. Между тем батальон матросов был уже откомандирован на пополнение войск князя. Корнилов думал, что такая мера, как отзыв из флота лучших людей, сделает флот совершенно небоеспособным; адмирал, он думал все-таки больше о флоте, о деле всей своей жизни, но другой адмирал, старший его в чине, его начальник, требовал тех, кто должен был обслуживать суда на море, в поле... зачем? Чтобы обессилить флот?

С высокого холма, на котором стоял шатер князя, видно было море верст на тридцать и флот союзников на нем. Несколько минут, не отрываясь, Корнилов рассматривал оценивающим взглядом старого моряка союзную эскадру. Он знал, что здесь стоят далеко не все силы союзного флота, но и эта часть их была подавляюще гро-

---

[1] *Тевтобургский лес*—легендарное место, где восставшие германцы, подчиненные Риму, разбили под руководством Арминия в 9 г. н. э. римские легионы.

мадна по сравнению с количеством крупных судов Черноморского флота, однако...

— Однако,—сказал он князю, отрываясь от стекол трубы,—я отнюдь не теряю куражу, несмотря на то, что их флот сильнее!—и глаза его расширились, потемнели и загорелись.

— Я тоже не теряю куражу, хотя они вдвое сильнее меня!—улыбнулся непроницаемо-весело князь, показывая длинной тощей рукой на лагерь противника.—Разве можно проиграть сражение с такими молодцами? Посмотрите, что они делают?

Долина Алмы не широка, и вся опушка садов и виноградников с той стороны реки была занята цепями русских стрелков. Вся позиция тянулась по высокому берегу реки верст на семь. В середине ее приходилась небольшая татарская деревня Бурлюк, на левом фланге деревня Алматамак, на правом фланге другая такая же деревня, Тарханлар, а от берега моря войска были отодвинуты версты на две, чтобы не пострадать от артиллерии союзного флота. Но цепи противника залегли местами всего в пятистах шагах от русских цепей, и то, на что указывал Меншиков, было, пожалуй, излишнее удальство казаков, которые прорвались ближе к правому флангу—шесть-семь человек, сквозь неприятельскую цепь зажгли там стог сена и, рассыпавшись, под выстрелами умчались обратно.

— Это что? Завязка сражения?—спросил Корнилов.

— Нет, это—милые бранятся, только тешатся,—улыбнулся Меншиков.—Сражения я сегодня не могу начать: жду московского полка из отряда Хомутова. Два батальона должны притти из Арабатского укрепления, два из-под Керчи. Арабатским ближе,—их я жду сегодня к ночи, а вот керченские могут меня задержать. Впрочем, я с Сент-Арно не совещался: может быть, он вздумает меня предупредить и начнет сегодня.

— Сколько у них орудий, Александр Сергеич?

— Много! Это меня печалит,—серьезно уже сказал князь.—Мы насчитали свыше ста тридцати полевых, у меня же всего восемьдесят. Большая разница! Их осадных орудий я даже не касаюсь, хотя их тоже много, конечно.

— Я могу вам прислать еще несколько судовых орудий,—живо отозвался Корнилов.

— Если не будет поздно, распорядитесь, пожалуйста. Хотя у меня, кажется, для лишних орудий не хватит артиллерийской прислуги,—вяло проговорил Меншиков, а Корнилов вспомнил то, что слышал от Стеценко насчет окопов, и внимательно присмотрелся к рыжим скатам, за которыми стояли главные силы.

— Я что-то не вижу окопов, Александр Сергеич,—сказал он с беспокойством.

— Окопов не видите! Трудно и увидеть то, чего нет,—снова улыбнулся Меншиков.

— Как? Совсем нет окопов?—почти испугался Корнилов.

— Есть кое-где эполементы, но окопы для пехоты мне кажутся совершенно лишними. Видите, как продвинулись к самому морю французы? Ведь под защитой своей эскадры они приготовились меня обойти с моего левого фланга. Какой же смысл будет в том, что мои полки будут вязнуть в окопах. Засади их в окопы, они и будут защищать окопы до последней капли крови, а ни мне, ни России этого совсем не нужно. Зачем бесполезно истреблять армию?

И опять по этому желтому морщинистому лицу от седых бровей к щегольски подстриженным белым усам пробежала мгновенная улыбка.

— Но все-таки, ваша светлость,—переходя уже на официальный тон, прямо спросил Корнилов,—ведь вы надеетесь же на победу?

— Надеюсь, что будем драться на совесть,—качнул головой Меншиков,—а там уже что бог даст. Вот если бы я своевременно получил еще корпус, тогда другое дело...

И Корнилов из этого ответа понял, что больше незачем уже спрашивать об этом князя,—что он сказал все, что считал возможным сказать, а вывод из его слов только один: надо еще усерднее, чем до этого дня, укреплять подступы к Севастополю.

Так как все адъютанты князя были довольно юны, то за обедом царило такое веселье, какого ни Корнилов, ни тем более Стеценко совсем не ожидали найти здесь, в шатре главнокомандующего, накануне боя.

Стеценко знал, конечно, что первый остроумец своего времени Меншиков любил видеть около себя остряков, но слишком непринужденные остроты полковника Сколкова, Грейка и некоторых других его коробили.

После обеда варили и пили жженку. Князь был отнюдь не наигранно добродушен и весел: явно отложил он все важные дела назавтра.

Корнилов, с недоумением на него смотревший, обратился вполголоса к сидевшему за столом рядом с ним старшему из адъютантов полковнику Вуншу:

— Какие наши главные козыри в завтрашнем бою?

— Разве завтра ожидается бой? Завтра едва ли... Может быть, послезавтра,—как бы хотел уклониться от ответа Вунш.

— Хорошо, допустим, что послезавтра. На что можно надеяться?—повторил в иной форме свой вопрос Корнилов.

— Все надежды на наш испытанный штыковой удар,—вполголоса ответил Вунш.—Мы думаем опрокинуть их штыками.

— Гм... штыками? По-суворовски? Какой старинный прием! Теперь ведь не времена поко-

ренья Крыма, послушайте,—теперь мы за-щи-щаем Крым! И все-таки ничего, значит, кроме штыков?

Моряк, привыкший иметь дело только с пушками и мортирами, он в силу штыков плохо верил.

После жженки еще раз и теперь уже гораздо внимательнее, чем с приезда, оглядел он в трубу лагерь противника. Там как будто бы даже и слишком мирно на вид, но густо, сплошь, как опенки в урожайную осень, сзади резервных колонн уже сидели палатки.

Там, за речной зеленой долиной было так же голо, как и здесь, и лагерь противника был так же весь на виду, как и русский лагерь, и ему, моряку, даже непостижимым казалось, почему же два этих лагеря врагов соседствуют так мирно, поглядывая друг на друга, вместо того чтобы завязать бой, едва сойдясь, как это принято делать на море.

Странно было видеть, что так же, как и русские гусары, в белых коротких кителях толпились там, на своем левом фланге, спешенные английские кавалеристы дивизии лорда Лукана, а кровные кони привязаны были к длинным пряслами тянулись тонкими шеями к раскинутому за прясламисену.

Кавалерийский лагерь англичан был расположен сзади пехотных частей, которым в первую голову нужно было двигаться на линии русских, точно так же сзади французов разбили свои палатки турки, которых, видимо, было не так много. Они знакомо уже для глаз Корнилова алели своими фесками с черными кистями и голубели потертыми кафтанами с крупными медными пуговицами на них.

Линейки пехотного лагеря англичан ярко краснели: «дети королевы Виктории» были одеты в мундиры красного сукна; линейки французского лагеря густо синели. Но среди синемундирного василькового поля французов видны были, как венчики дикого мака, празднично-кумачовые повязки на головах зуавов, алжирских стрелков, получивших свое странное название от африканского племени зуа-зуа, из которого набирались первые туземные полки на французской службе. Зуавы дивизии Боске и Канробера не имели уж никакого отношения к племени зуа-зуа, но, чистейшие французы, они удерживали в своей форме эту дикарскую повязку на голове, нечто среднее между чалмой и феской: это была как бы вывеска их исключительного удальства, и, как пешим казакам французского войска, им сходило с рук многое в мирное время, за что сурово наказывали солдат других частей.

На переднем плане Корнилов увидел и очень знакомое ему по последним дням дело: ретивое рытье окопов. Союзники не были праздными в своем лагере: они передвигались большими частями, они не совсем еще установились, они подтягивали свой тыл, но главное они деятельно окапывались по всей линии своего фронта.

Может быть, они ждали нападения русских, может быть, готовили себе укрепленную позицию на случай отступления, если их атака будет отбита, но видно было одно: они тщательно старались соблюсти все правила современного ведения сражений, чего совершенно незаметно было в лагере Меншикова.

Корнилов подозвал к себе Стеценко и сказал ему:

— Вот что, лейтенант, хотя его светлость имеет как будто достаточное количество адъютантов, но вы... я думаю, вы ему пригодитесь тоже. Я сейчас поеду обратно, чтобы приехать мне засветло. Возьму с собой казаков для эскорта, а вас хочу подкинуть князю. Мне кажется, вы здесь принесете больше пользы, чем... чем там, в городе. Вы меня поняли?

— Есть, ваше превосходительство! — ответил Стеценко, но так как Корнилов заметил недоумение в его глазах, то повторил вполголоса:

— Здесь вы можете принести гораздо больше пользы, чем кое-кто из адъютантов князя.

И отошел, чтобы поговорить с Меншиковым с глазу на глаз.

Стеценко же не успел еще разобраться в тех мотивах, которые заставили Корнилова отказаться от него как адъютанта и «подкинуть» его главнокомандующему, но одно то, что он будет участником назревающего, готового вот-вот разразиться, может быть, решающего боя для всей кампании, сразу взбодрило его необычайно, и он был рад, когда, поговорив несколько минут с князем, Корнилов сказал ему как будто даже торжественно:

— Итак, остаетесь здесь! Прошу помнить, что от адъютанта зависит многое и до сражения, и во время сражения, и после сражения тоже. Я надеюсь, что головы вы не потеряете,—это самое важное. Я так и рекомендовал вас князю.

И Стеценко понял, что, уезжая отсюда, Корнилов оставлял при Меншикове не столько его, сколько через него ту самую свою недреманную подзорную трубу, которую чувствовал он, лейтенант Черноморского флота, в каждый момент своей службы на рейде.

5

Московский полк, которого ждал Меншиков, получил от конного ординарца князя приказ о выступлении 4 сентября, но собрался только через сутки. От селения Аргин под Керчью, где стояли два первые батальона этого полка вместе со своим командиром, до позиции на Алме считалось двести двадцать верст, пять суток пути форсированным маршем, причем, конечно, много было бы отсталых.

Командир полка, генерал-майор Куртьянов, человек огромного полнокровия и сверхъестественной толщины, весьма зычноголосый, читавший только журнал «Русский инвалид», и то на тех только страницах, где помещались списки произведенных и награжденных орденами, и предпочитавший так называемые «крепкие» слова всем вообще словам русского лексикона, получив приказ «явиться без всяких промедлений», начал с того, что отобрал у населения все подводы, какая бы запряжка в них ни была: быки, так быки, буйволы, так буйволы, верблюды, так верблюды, приказал солдатам усесться в скрипучие арбы и погонять что есть силы.

Батальоны двинулись по степи.

Конечно, пущенные рысью лошади скоро оставили за собою верблюдов, верблюды быков, быки буйволов, самых неторопливых животных. Но по пути попадались колонии немцев, хутора болгар, имения помещиков. Буйволов и быков бросали и заменяли лошадьми. Усталых лошадей тоже бросали, когда попадалось большое селение с запасом свежих коней. Обедов не варили, чтобы не медлить, но во всех встречных хуторах и деревнях врывались в хаты и тащили к себе в арбы все, что попадалось съестного, даже пучки кукурузы, сушившейся вдоль стен под стрехами, даже тыквы, которые долеживались на крышах, и начисто отрясали яблоки и груши в садах.

От недостатка лошадей набивались в арбы так тесно, что ни лежать ни сидеть в них не могли,— стояли, благо арбы эти строились для перевозки соломы и сена и имели высокие боковины.

Стоя пытались и спать, но это не удавалось.

Пели жалостную песню, старательно длинно и высокими фальцетами вытягивая концы:

Вы прощайте, девки-бабы,
На-ам теперьча не до ва-а-ас!
Эх, нам теперьча д'не до ва-а-ас:
На сраженье везут на-а-ас!

Но ротным командирам, ехавшим верхами, не нравилась эта заунывная, совершенно неформенная песня, они обрывали ее в самом начале: мало ли хороших настоящих солдатских песен? И вот по степи летела другая, гораздо более подходящая к случаю, хотя и старинная, песня на взятие Хотина:

Ой, пошли наши ребята
На горушку на круту
Ко цареву кабаку,
Ко Ивану Чумаку.
Ой, Иване, ты чумак,
Отворяй царев кабак.
Увпущай наших ребят!
Не успели вина пить,
Барабаны стали бить,
Они били-выбивали,
Нас молодцев вызывали
Сорок пушек заряжать
Хотин-город разорять!

Уже ночью на вторые сутки езды заметили в степи зарево пожаров: это казаки по чьему-то приказанию жгли то здесь, то там татарские аулы и русские деревни, чтобы они не достались врагам.

— Во-время дошли! Спасибо за службу! Молодцы!

— Рады стараться, ваше прево-сходи-тельство!—дружно ответили батальоны.

— Садись, отдыхай, ребята! Будете в резерве полка... Садитесь!

Мешками повалились солдаты наземь.

Толстого Куртьянова тоже благодарил Кирьяков. Он был торжественен, точно выиграл сражение, но сидел на коне нетвердо: он много выпил рому в это утро.

— Видали эполементы? — вдруг спросил он Куртьянова зло и с надсадой.—Приказал светлейший, длинный чорт этот, такие люнеты сделать, что можно палить из пушек и туда, и сюда! Это для того, чтобы французы, когда займут наши позиции, били бы из наших орудий нам в спину!

— Не займут, Василий Яковлевич, наших позиций французы,—отозвался Куртьянов.—Пусть-ка лучше вспомнят двенадцатый год.

— Не возьмут?—прищурился Кирьяков.—Ну, тогда докладывайте командующему, что привели свои два батальона. А я с ним говорить не хочу.

Но Меншиков был недалеко. Он слышал дружное «рады стараться!» И вот штаб-ротмистр Грейг, подъехав рысью, передал приказ князя новоприбывшим батальонам Московского полка выйти в первую линию левого фланга.

— Они не могут! Они только что пришли! Они без ног!—запальчиво крикнул Кирьяков.

— Не могу знать, ваше превосходительство, таков именно приказ его светлости,—отозвался Грейг, отъезжая.

Кирьяков повернул за ним коня.

Меншиков сидел на рослом гнедом донце—сухой, костяной, желтый. Глаза Кирьякова с трудом выкарабкивались из набрякших век, когда он, поднимая руку к козырьку, проговорил желчно:

— Я приказал только что пришедшим батальонам Московского полка остаться в резерве, ваша светлость!

— А я... я приказываю,— поднял голос Меншиков,—взять их из резерва сюда, на левый фланг!

— Они устали, ваша светлость!

Утром стали попадаться дымившиеся пепелища, уже брошенные жителями. Лошади устали, но их негде было менять, много лошадей пало, выбившись из сил. Наконец, ротам пришлось после небольшого привала итти пешком. Было уже утро 8 сентября, до позиций на Алме оставалось, по расспросам у жителей, верст двадцать. Роты одна за другою двинулись форсированным маршем. Вышли

на дорогу, ведущую из Бахчисарая в Севастополь, и пошли по ней.

Никто не встречал батальон, шли наугад, и вдруг с того плоскогорья, по которому шли, увидели верстах в двух от себя неприятельские разъезды, а несколько далее—огромный враждебный лагерь, в котором все двигалось, все устанавливалось, и уже доносились сигналы трубачей.

Толстый Куртьянов выкрикнул не один десяток слов, предпочтенных им раз и навсегда даже и для менее тревожных случаев, выехал на своем вместительном экипаже вперед и покатил по направлению к аулу Тарханлар, заметив там русские резервы, за ним бегом пустились оба батальона.

Через Алму переправились вброд и в мокрых сапогах вышли на пыльную, узкую и длинную улицу этой татарской деревни, покинутой жителями уже несколько дней назад.

Так близко были от них, бежавших сюда с незаряженными ружьями, английские кавалеристы, что одного эскадрона было бы довольно, чтобы их смять лихим ударом в тыл. Тем больше была радость солдат, когда они проскочили благополучно.

Проходя мимо русских батарей, направленных жерлами в неприятельский стан, солдаты вдруг хватили лихую песню даже без команды «песенники вперед!» Ударили в бубны, заиграла музыка, даже плясуны выскочили перед ротой.

Но итти к своим третьему и четвертому батальону пришлось далеко, с правого фланга на левый, через весь лагерь, растянувшийся на несколько верст. Радость успела улечься за это время, заступила ее место такая усталость, что еле доволокли ноги.

Генерал Кирьяков, объехав их по фронту и выехав на середину, крикнул:

— Пустяки! «Устали!»... Извольте передвинуть их сюда сейчас же! Немедля!.. Сюда! Вот!

И Меншиков, отвернувшись от Кирьякова, указал рукой, куда он думал поставить батальон.

— Слушаю, ваша светлость!—вызывающе громко гаркнул Кирьяков и дернул поводья с такой силой, что едва удержался в седле.

Между тем Куртьянов уже скомандовал:

— Первому и второму батальонам надеть чистые рубахи и сподники!

А ротные подхватили разноголосо:

— Первой роте надеть рубахи и сподпее!

— Второй роте надеть рубашки и сподники!

Солдаты, которым только что сам начальник дивизии приказал заслуженно расположиться на отдых, недоуменно вскочили, но проворно начали вытаскивать из ранцев чистое белье.

Меняя белье перед боем, усталые батальоны разделись, как для купанья, когда снова подъехал к ним Кирьяков и, покачиваясь в седле и поблескивая георгием, полученным за усмирение польского восстания, знаменитым звонким голосом прокричал так, чтобы было слышно и Меншикову:

— Ребя-та! Пойдете сейчас на передовую позицию!.. На голое, открытое ме-сто!.. Но зна-ать, ребята, это—приказ командующего армией, а не мой!

Солдаты же говорили, натягивая на нежелающие разгибаться ноги чистые сподники:

— Ну, кажись так, братцы: паны тут промеж собой дерутся, а у нас, хлопцев, будут чубы трещать!

Все-таки голые потные тела их продуло утренним ветерком, освежило. Начали даже шутить по рядам:

— Отысповедались у начальства, причепурились,—айда теперь, братцы, к французским попам причащаться!

Они уже узнали от своих однополчан, раньше их пришедших с Арабатской стрелки, что против них и всего левого фланга русской позиции стоят французы.

Кирьяков назначен был Меншиковым командовать левым флангом, князь Горчаков 1-й—центром и правым. Против него строились к наступлению красные полки англичан, а синие колонны лучшего из французских генералов—Боске—под музыку и ожесточенный барабанный бой парадным форсированным маршем двинулись уже к устью Алмы, против которого выстроились левыми бортами к русской позиции восемь линейных паровых судов.

Палатки еще рано утром были сняты как в лагере союзников, так и в русском. Уложен был на подводы в тылу и огромный шатер Меншикова вместе с обеденным столом и телескопом, теперь уже ненужным, так как враги шли открыто и были близко.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
БОЙ НА АЛМЕ

1

На балу, данном Бородинским полком 30 августа, мало было офицеров Владимирского и Суздальского полков, 1-й бригады 16-й дивизии, корпуса князя Горчакова: эти полки еще за две недели до бала вышли из Севастополя и стали лагерем на той самой позиции при устье Алмы, которая была выбрана Меншиковым для встречи союзников.

Может быть, служба в министерстве иностранных дел, с которой начал свою государственную деятельность Меншиков, приучила его как дипломата к большой скрытности, но он никогда не был тем, что называется «душа нараспашку». Он как будто твердо помнил ядовитый афоризм Та-

лейрана[1] о языке, который дан человеку, чтобы скрывать свои мысли.

Может быть, эта скрытность,—как и высокомерие в отношении окружающих,—объяснялась переоценкой своих способностей; может быть, он думал, что таким именно и должен быть всякий вообще «светлейший» князь, так как «светлейших» было в России немного. Но могло быть и так, что, сознательно или нет, Меншиков подражал царю Николаю, который готов был вмешиваться во все даже мельчайшие дела своих министров и выносил очень часто решения, совершенно неожиданные для них по своей непродуманности (вроде беседы с английским посланником Сеймуром о разделе Турции), зато самостоятельные и без задержек.

Меншиков тоже привык самостоятельно решать самые разнообразные дела во всех ведомствах, какие поручались ему царем, и потому не заводил штаба, а многочисленных адъютантов держал при себе, как ординарцев, для посылок. Между тем среди них были люди, хорошо для своего времени знавшие военное дело, офицеры генерального штаба, как капитан Жолобов, полковник Исаков, полковник Сколков и другие.

Позицию на Алме он наметил еще в конце июня, когда писал свою докладную записку царю о единственно возможном, по его мнению, месте высадки союзников у Евпатории. Он надеялся, что царь не поскупится на войско, чтобы увеличить крымскую армию вдвое-втрое; тогда он думал решительным сражением на этой именно позиции раздавить союзников, если не удастся помешать их высадке. Однако, любивший только свои личные решения, Николай не хотел допустить и мысли, чтобы союзный десант высадился в Крыму: берега Кавказа —это другое дело, но никак не Крым!

Меншиков остался при тех слабых силах, какие у него были, но с облюбованной им заранее позиции для встречи противника не сошел, хотя позиция эта и была слишком велика для его тридцатидвухтысячной армии.

Однако позицию эту, природно сильную, можно было значительно укрепить для оборонительного боя, чтобы этим несколько возместить недостаток войск. Для этого было время и было много рабочих рук.

Но владимирцы и суздальцы, поставив тут свои палатки и наскоро устроив кухни и пекарни, повели обычную лагерную жизнь. Утром барабанщики и горнисты на передних линейках выбивали и трубили зо́рю; затем роты маршировали под барабан, благо места для этого было вполне довольно, делали сложные построения и ружейные приемы, ходили учебным шагом, на прямой поднятой ноге вытягивали носок и, продержав ее так с минуту, топали ею о землю что было силы, для того, чтобы тут же поднять и вытянуть другую ногу, и под тягучую команду «два-а-а» с минуту дожидаться благодатной команды «три!» Часами ходили так, как никто и никогда не подумает ходить в жизни, но это называлось «ученьем» солдат, но этого только и требовало начальство на смотрах. Иногда вечером командир бригады устраивал для разнообразия «зо́рю с церемонией» по всем правилам, существовавшим на этот счет в печатном уставе. А ночью, вылезая из палаток и мимо дневальных проходя как бы «до ветру», солдаты делали набеги на искушающие виноградники и сады этой богатой долины, где у нескольких мурзаков, татарских дворян, были отдельно стоявшие от деревень усадьбы.

Офицеры же облюбовали себе трактир,—по-местному кофейню,—в ауле Тарханлар, где можно было достать сколько угодно вина и заказать шашлык из барашка и кофе по-турецки.

Этот лагерь русского отряда в несколько тысяч человек пехоты резко бросился в глаза и Раглану, и Канроберу, и другим союзным генералам, выезжавшим на пароходах от Змеиного острова для окончательного выбора места высадки. Очень нетрудно было догадаться, что именно здесь готовится десантной армии встреча.

Когда Раглан предлагал адмиралу Лайонсу отрядить суда для прикрытия демонстрации высадки у устья Качи, он хотел, между прочим, выявить, насколько прочно прирос к месту русский отряд на Алме,—не сдвинется ли он поспешно на юг, к устью Качи, отражать десант.

Но бригада не сдвинулась с места, так как не получила на этот возможный случай никаких приказаний от высшего начальства.

На алминской позиции, на высоком берегу, на холме, близко к мысу Лукулл, получившему свое имя от римского полководца, победителя царя Митридата VI[1], была устроена телеграфная вышка. С этой вышки отлично было видно, как эскадра, отряженная Лайонсом для эскорта нескольких транспортов с войсками, подошла к устью Качи, как шлюпки с солдатами отчалили от транспортов, но, будто бы озадаченные выстрелами казачьих пикетов с берега, остановились в море и под вызывающий гром орудий своих судов покачивались на легкой волне, часа два ожидая, когда подойдут к берегу крупные русские силы, те самые, которые стояли на Алме, или другие, расположенные еще ближе, но не видные с рей.

Владимирцы и суздальцы остались на своих местах, военные суда и транспорты союзников

[1] *Талейран* (1754—1838)—французский дипломат и министр иностранных дел при Наполеоне и во время реставрации Бурбонов. Славился своим остроумием.

[1] *Митридат VI*—царь Понта в Малой Азии в 132—63 гг. до н. э., подчинил себе Колхиду (Кавказ) и Херсонес Таврический (Крым) и основал Босфорское царство.

вернулись вечером к озерам у развалин старого генуэзского укрепления, где производилась высадка, а Раглан понял, что русский отряд стоит на Алме недаром, что с ним неминуемо придется иметь дело при движении берегом на Севастополь.

Союзники двигались по берегу таким же точно порядком, каким они плыли на судах от Змеиного острова: с левой стороны, дальше от берега,— англичане, с правой, ближе к морю,—французы, а за французами шла турецкая дивизия в семь тысяч человек под командой французского генерала Юсуфа.

Вся осадная артиллерия,—семьдесят орудий, сто тысяч штук кирпича, сто восемьдесят тысяч мешков с землею, готовые дощатые щиты для стен и крыш деревянных бараков, которые можно было установить в один день, миллион рационов муки, полтора миллиона рационов рису, кофе, сахара. и множество всего, что нужно было войскам для продолжительной осады сильной крепости, осталось на военных транспортах и должно было притти туда, где установится под Севастополем армия, когда разобьет русский заслон.

Обоз французов был очень мал, англичане совсем не имели обоза, но в ближайших к месту высадки деревнях они отобрали триста-четыреста арб и телег и на них везли немного провианта, амуниции, палатки. Солдаты были нагружены чрезмерно: они несли с собою провианта на три дня и патроны на два сражения.

То, что совершенно беспримерная в новейшей истории высадка весьма многочисленной армии прошла так сказочно удачно, окрылило союзные войска. Боевое настроение не покидало даже и полумертвого Сент-Арно. Он ехал в покойной карете, добытой для него зуавами в имении помещика Ревелиоти, владельца имения Контуган. Мадам Сент-Арно ехала с ним вместе. Она во что бы то ни стало хотела быть свидетельницей блестящей победы своего мужа, маршала Франции, над князем Меншиковым с его казаками.

О том, что армия Меншикова мала, главнокомандующие союзных армий узнали на берегу из опроса сведущих жителей, так что золотое правило Веллингтона было соблюдено.

А 6/18 сентября утром большая часть союзных войск стянулась уже к долинам Алмы, и теперь уже все, до последнего турецкого редифа, могли осмотреть позицию русских, которую должны они были взять приступом через день-два.

2

При одном внимательном взгляде на русские позиции издали план предстоящего боя становился ясен каждому, кто хоть сколько-нибудь понимал в военном деле: левый фланг армии Меншикова из опасения обстрела с судов был отодвинут от берега моря километра на два и совершенно открыт, само собой напрашивалось обойти русские силы со стороны моря, чтобы выйти им в тыл и одним этим нехитрым маневром решить участь боя.

Так как в силу создавшихся уже условий марша вдоль берега против левого фланга пришлись французы,—дивизии Боске, Канробера, принца Жерома Наполеона и Форе,—кроме того, дивизия турок, бывшая также под командою Сент-Арно, то «декабрьский маршал», почувствовав себя совершенно здоровым от одной только возможности легкой и быстрой победы, помчался к Раглану.

Раглан видел, что левый фланг русских численно был как бы намеренно гораздо слабее, чем правый, приходившийся против английских дивизий: наиболее густые колонны русских и наибольшее число батарей виднелись именно тут. Поэтому недовольно сказал он Сент-Арно:

— Вы хотите взять себе легкое, а трудное великодушно предоставить мне!

— О, совершенно напротив, совершенно напротив!—горячо возразил маршал.—Вашим храбрым полкам, может быть, даже нечего будет и делать! Дивизия генерала Боске обойдет русских, и им ничего не останется больше, как отступить. Вы просто пойдете только по их следам,—ваши стрелки будут им стрелять в спины,—это будет для ваших бравых солдат не более как военная прогулка!

Раглан слегка улыбнулся и сказал:

— Гораздо лучше было бы, если бы нам удалось обойти русских с их правого крыла: тогда они были бы прижаты к морю и расстреляны судовой артиллерией, а нам с вами открылась бы свободная дорога на Севастополь!

— Это превосходно! Это чрезвычайно умный план!—живо одобрил его Сент-Арно.—Сделайте так!.. Если только это не будет гораздо труднее... Но зато русская армия совершенно перестанет существовать, и Севастополь достанется нам самой дешевой ценой! Сделайте так!

— Я подожду все-таки, когда генерал Боске сделает свой маневр по охвату русских,—уклончиво ответил Раглан.—Тогда и я попытаюсь охватить их со своей стороны... Если нам приблизительно известна численность противника, то сила его сопротивления для нас пока величина неизвестная.

Сент-Арно ликовал: близкая и несомненная для него победа над Меншиковым отдавалась Раглaном в его руки.

Он отдал приказ, чтобы 8/20 сентября в шесть утра первая бригада дивизии Боске начала наступление, и батальоны зуавов и африканских стрелков двинулись добывать славу Франции, Наполеону и маршалу Сент-Арно. С этой бригадой, которой командовал генерал д'Отмар, пошел и сам Боске.

Дойти до устья Алмы по долине не представляло труда, но здесь Боске остановил бригаду. Поведение русских полков левого крыла было таинственно и загадочно: отлично видные отсюда, с довольно близкого расстояния, они не стреляли. Молчали их батареи; по берегу Алмы не было заметно цепи их стрелков.

Берег с этой стороны был пологий, с той—высокий, утесистый. Батареи русские стояли на холме вокруг телеграфной вышки. Алма около устья разлилась несколько шире, чем влево, выше по течению, но была очень мелка, вполне проходима вброд. А при впадении в море суживалась до того, что ее можно было перепрыгнуть с разбега: ее запруживали ею же принесенные сюда во время ливней большие камни и гравий, набросанный на эти камни морским прибоем.

Боске долго и внимательно вглядывался в ряды англичан, ожидая, что они пойдут дружно на приступ, но никакого движения там не заметил. Вторая бригада его дивизии, бывшая под командой Буа, тоже почему-то не двигалась.

— Должно быть, они завтракают,—высказал он свою догадку д'Отмару.—Отчего же в таком случае и нашим солдатам не напиться кофе? Говорят, что это не так плохо перед боем. Вода же у нас под рукой, дрова тоже... Будем пить кофе!

И вот очень быстро среди зуавов и стрелков, расположившихся на невольный отдых, загорелись и весело задымили небольшие костры, и неслыханно вкусен оказался кофе вблизи русских батарей, загадочно молчаливых.

Сент-Арно в это время выходил из себя от неповоротливости генералов Буа и Юсуфа. Он даже взобрался на верховую лошадь, чтобы быть настоящим, то есть театрально-картинным полководцем; впрочем, два адъютанта поддерживали его справа и слева, чтобы он не выпал из седла. В таком положении он был похож на слепого Яна Жижку, вождя гуситов[1].

Он поехал лично на свой правый фланг узнать, почему мешкают с выступлением бригада Буа и дивизия турок, но при его приближении двинулись с музыкой и та и другая.

Тогда и Боске приказал своим переправляться *через речку* вброд, и батальон зуавов, рассыпав впереди цепь, перепрыгивая с камня на камень, перебежал речку, там, где она разлилась шире, но зато была мельче, и вот уже начал карабкаться на почти отвесные скалы русской позиции.

Это энергичное движение бригады д'Отмара было замечено Меншиковым с того холма, с которого утром сняли его шатер, и вот посланный им к Кирьякову лейтенант Стеценко подскакал к командующему левым крылом.

— Его светлость просит вас, ваше превосходительство, обратить внимание на эти семь батальонов французов, которые идут на вас в атаку!— почтительно взяв под козырек, раздельно проговорил Стеценко фразу, заранее составленную им так, чтобы не оскорбить вспыльчивого генерала, что могло повредить успеху сражения.

Кирьяков, прищурясь, презрительно оглядел и лейтенанта,—этого нового адъютанта князя,—и казачьего маштачка, на котором он сидел, и сказал с ударением:

— Передайте его светлости, что восемь батальонов французов хотят меня обойти, а не семь! И что я этих мартышек вижу и сам, но-о... нисколько их не боюсь... Так и передайте!

Стеценко видел, что Кирьяков пьян, и это его испугало. Передавая ответ Меншикову, Стеценко хотел было добавить, каким он нашел этого генерала, но промолчал Кирьяков имел репутацию боевого генерала, а привычки боевых генералов так или иначе вести себя во время сражения были ему мало известны. Ему самому казалось, что бой и без вина опьяняет, однако он знал и то, что для большей храбрости принято пить перед боем солдат; могло случиться так, что это не мешало и иным генералам.

А Боске, карабкаясь по узенькой козьей тропинке между скалами вверх, говорил д'Отмару:

— Ну, не прав ли я был, скажите мне! Нет, решительно эти господа не имеют никакого желания сражаться с нами!

Тут сверкнули желтые огоньки на бортах двух судов, они окутались дымом, громом выстрелов, и через головы зуавов полетели первые ядра в русский лагерь. Огневой бой начался.

Против мыса Лукулл была небольшая татарская деревня Улюкол. Боске послал к ней разведку узнать, не занята ли она русскими стрелками.

Осторожно, перебегая от выступа к выступу скал, прячась за каждым холмиком, зуавы подобрались к деревне, но оказалось, что она была пуста. Лишь вдали за нею, ближе к своим войскам, однако оторванно от них, вне выстрела с судов, расположилась фронтом к морю колонна русских, приблизительно в тысячу человек.

Это был батальон Минского полка. Взобравшись наверх, откуда этот батальон отлично было видно, Боске долго вглядывался в него; даже и этому опытному в военных делах генералу, проведшему в Африке—и всегда успешно—несколько сражений, непонятно было, почему фронтом к морю, а не к нему стоял теперь этот батальон.

Но командир батальона получил приказ наблюдать за морем, не покажутся ли на нем спущенные с союзных судов шлюпки с десантом: генерал

---

[1] *Гуситы*—деятели национального движения в Чехии в XV в., осуществлявшегося в форме религиозной борьбы с немцами-католиками. Получили название от имени своего вождя Яна Гуса, сожженного в 1415 г. на костре. В 1419 гуситы начали открытое восстание под предводительством Яна Жижки.

Кирьяков предполагал, что союзники способны и на такую выходку.

Однако, когда довольно густые уже толпы зуавов показались на гребне, командир батальона решил, что одной роте его можно не только повернуть к ним фронт, но еще встретить их залпом.

Раздался первый русский залп, но гладкоствольные ружья русских солдат, в которые круглые, как орехи, пули забивались при заряжении шомполами с дула, не стреляли далеко.

Зуавы, мгновенно присев, видели, как эти пули, ударившись в землю, подняли пыль и подскочили довольно далеко от них. Они переглянулись в недоумении. Но вот другие взводы роты выдвинулись вперед по команде, дали новый залп, очень старательный, как на ученьи, отнюдь не сорванный ни одним из солдат; однако пули подняли полосою пыль опять на том же месте,—на предельной дистанции их полета,—в трехстах шагах от стрелявших.

Тогда зуавы захохотали неудержимо, отнюдь не стесняясь своего начальства. Они готовы были кататься по земле от хохота.

У них у всех, во всей дивизии Боске, были дальнобойные нарезные штуцеры, стрелявшие ровно вчетверо дальше, и когда улегся взрыв их непринужденной веселости, они открыли пальбу из своих штуцеров, очень оживленную, хотя и далеко не образцовую в смысле залпов. Они знали,—им говорили это,—что у русских принято ставить в строю офицеров на фланге колонн, и они прежде всего обстреляли фланги, и там учащенно начали падать раненые и убитые.

Но заслышав перестрелку вверху, снизу, от речки, все быстрей и быстрей карабкались вверх, и вот уже вся бригада д'Отмара появилась влево от русских войск.

Эта часть русской позиции осталась незащищенной не потому только, что Меншиков считал ее неприступной: он, адмирал, опасался огня судовых орудий, а между тем за высоким мысом и за круглым холмом невдалеке от мыса не было видно берега в глубину с союзных судов, и стрелять оттуда могли только наугад, без прицела.

Однако в восьми батальонах у Боске было всего не больше четырех с половиной тысяч солдат легкой пехоты, с прекрасными, правда, штуцерами, но без орудий. Орудия дивизии были при бригаде Буа, которая в это время только еще подошла к Алме и пыталась перебраться с батарсями на другой берег по песчаным наносам у самого моря.

Против Боске на левом крыле русских было двенадцать-тринадцать тысяч.

Пылкий Сент-Арно, желая поскорее добиться победы на своем фланге, двинул и дивизии Канробера и принца Наполеона, чтобы атаковать русских еще и с фронта против деревни Алматамак.

Со своей стороны и Меншиков, взбешенный бездеятельностью Кирьякова, совершенно утратил присущее ему спокойствие дипломата и, окруженный всеми своими адъютантами, поспешно спустился с холма в тылу, откуда он думал руководить боем.

И вот перед двумя в это утро пришедшими батальонами Московского полка, построенными к атаке, то есть к штыковому бою, появилась пестрая толпа всадников в формах кавалерийских, артиллерийских, пехотных, инженерных и флотских, и, полуподнявшись на стременах, длинный, тонкий, с желтым лицом, искаженным негодованием на Кирьякова, как будто задавшегося целью перещеголять его самого в спокойствии, Меншиков закричал дребезжащим, исступленным, но незвонким, старческим голосом:

— Пе-ервый батальон вполоборота налево, а второй—вполоборота направо! Ша-агом... марш!

И батальоны разошлись: один в сторону бригады д'Отмара, другой—к берегу Алмы.

3

Штуцеры были введены в те времена и в русской армии, но их было еще очень мало,—всего по двадцать четыре на целый пехотный батальон. А у резервных батальонов Белостоцкого и Брестского полков, которые тоже были переброшены Меншиковым из Севастополя на Алму, были даже совсем древние—кремневые ружья, как у запорожцев времен гетмана Сагайдачного.

Штуцерники полков, стоявших в первой линии, были посланы в застрельщики в сады и виноградники на правый берег Алмы. В трех деревнях долины,—Алматамаке, Бурлюке и Тарханларе,—почему-то разместили батальоны белостокцев и брестцев, а также два морских батальона тоже со старыми ружьями, причем матросы удивляли даже самых захудалых пехотинцев своим полным неумением стрелять; они стреляли не из-за деревьев, а прислонясь к ним своими широкими спинами.

Между тем на них надвигались дивизии, в которых все солдаты имели штуцеры и, что было не менее важно, опыт недавней войны в Африке, в то время как во всей армии Меншикова не было ни одного обстрелянного солдата.

Правда, полковые священники утром в этот день, после воинственного «генерал-марша», выбитого барабанщиками в одно время во всех полках и отдельных батальонах, служили торжественные молебны о победе и кропили солдат «святой» водою, но настроение солдат падало, когда они видели, что их ружья вызывают только хохот французских егерей, не нанося им никакого вреда, а в русских рядах падали офицеры, фельдфебеля, унтера, сваленные коническими разрывными, с ушками и стерженьком в середине пулями Минье, так что в короткое время они, молодые солдаты, остались совсем без начальства и не знали, стоять ли им

на месте, итти ли вперед, или повернуть назад. Но что делали они прежде всего, оставаясь без начальства, это—снимали тяжелые, плотно набитые ранцы, сильно резавшие им плечи ремнями. Снимали и клали возле себя: без ранцев было гораздо свободнее и дышать легче.

Из двух батальонов Московского полка, получивших команду от самого Меншикова, второй батальон, при подполковнике Грале, двинулся к берегу Алмы навстречу дивизии Канробера, а первый, при котором был и сам командир полка, генерал Куртьянов, ехавший верхом, сомкнутым двадцатичетырехшеренговым строем, похожим на знаменитую фалангу Филиппа Македонского [1], под барабанный бой, способный из любого простоватого сельского парня сделать лихого драчуна и записного вояку, пошел больше чем за версту в атаку на бригаду д'Отмара.

Батальон этот, правда, шел не один, он шел только в голове колонны, собранной Меншиковым наскоро из ближайших к нему разрозненных частей. Тут были и батальоны Минского полка, и два эскадрона гусар, и сотня казаков, и две батареи легких орудий, стрелявших картечью.

Однако уже с тысячи четырехсот шагов в фалангу Куртьянова стали залетать певучие пули Минье, и, пройдя еще шагов двести, батальон остановился: пули начали лететь к нему очень густо, и отбивавшим ногу рядам то и дело приходилось обходить упавших в первых шеренгах.

— Ба-таль-он, ложи-ись!—скомандовал Куртьянов; однако и лег батальон так, что ровными линиями по земле очертились красные воротники солдатских мундиров,—линия за линией,—двадцать четыре сплошных линии красных воротников. И ноги в пыльных сапогах были откинуты однообразно—у всех влево. Разомкнутого строя не знали в те времена русские войска. Их учили не отрываться от локтя своего товарища и не делать ни одного шага без приказа на то начальства.

Но главнокомандующий приказал батальону итти в атаку, а не лежать под певучими пулями. И вот лейтенант Стеценко на своем маштачке подскакал к тучному генералу Куртьянову, стоявшему сзади своего батальона и платком старательно вытиравшему пот с обширного лица, не менее обширной плеши и красной шеи.

Стеценке был противен вид этой непомерно жирной и насквозь потной туши, но он передал приказ Меншикова почтительно, насколько мог.

— Что я должен итти в атаку, это я знаю сам,—продолжая вытирать шею, отозвался ему Куртьянов.—Но итти одному батальону на целую бригаду с такими ружьями, как у них,—это без-рас-суд-ство!.. Вон, видите, сколько выбито у меня людей?—показал он на убитых и тяжело раненных, валявшихся сзади.

— Я это вижу. Однако же приказ его светлости итти, невзирая на потери от огня, ваше превосходительство,—старался передать точнее слова князя Стеценко.

— Приказ его светлости, повторяю вам, лейтенант, мне известен,—но вот, если бы вы передали его командиру Минского полка! В одной линии с Минским полком я мог бы пойти дальше, невзирая на большие потери...

Стеценко понял эти слова не только как адъютант главнокомандующего, а как участник сражения своей армии с армией противника. Он сказал Куртьянову:

— Есть, ваше превосходительство!—и повернул танцовавшего на месте буланого маштачка в сторону Минского полка.

Однако случилось непредвиденное им: командир Минского полка Приходкин, нестарый еще, высокий полковник, сделал вид, что очень удивлен словами Стеценки; он даже спросил, кто он такой и почему тут разъезжает. Наконец, узнав, что он—новый адъютант светлейшего, сказал с достоинством:

— Я получил приказание от самого главнокомандующего подпереть Московский полк... Подпереть,—понимаете? А вы передаете мне вдруг какое-то там приказание командира Московского полка итти в атаку!

— Это не приказание, конечно...—начал было Стеценко, но полковник перебил его, подняв голос:

— Во-первых, лейтенант, передо мною нет неприятеля, а есть только Московский полк... Значит, на Московский полк мне прикажете итти в атаку? А во-вторых, лей-те-нант, я—такой же командир полка, как и Куртьянов, и ему я нисколько не подчинен, чтобы от него получать приказания!

Стеценко вспомнил, что был послан он только к генералу Куртьянову, и понял, что командир Минского полка со своей точки зрения вполне прав: он не получал приказа князя итти в атаку,—он должен только был подпирать Куртьянова. Остановился Куртьянов,—остановился и он.

А зуавы Боске палили зато безостановочно. И выдвигалась уже на гребень снизу бригада генерала Буа, втаскивая орудия на холм.

Перед тем, как они появились, пробовали палить по зуавам д'Отмара русские легкие батареи картечью, но картечи не положен далекий полет, а пули Минье стали перебивать орудийную прислугу и лошадей.

Когда же бригада Буа установила свои батареи на гребне, то после первых же залпов все части отряда, брошенного на этот участок боя Меншп-

---

[1] *Филипп Македонский* (382—336 г. до н. э.)—царь македонский. Им введен новый тогда строй пехоты—четырехугольником,—называвшийся фалангой.

ковым, как атакующие, так и подпирающие, подались назад.

При этом нулей в левую руку ранен был генерал Куртьянов, тут же уехавший на перевязочный пункт в тыл. Вслед за ним ранен был и полковник Приходкин, командир минцев.

А за бригадой Буа переходила Алму турецкая дивизия, правда, переходила не спеша, так как тропинка на крутом левом берегу была очень узка. Многие нежились, развалясь на пляжике при устье речки, иные даже снимали свои туфли, закатывали выше колен широкие шаровары и толпою стояли в море у берега.

Стрелки бригады Буа между тем занимали места стрелков д'Отмара, продвигавшихся дальше, к аулу Орта-Кесэк, в тыл русских войск.

Так, шаг за шагом, после полудня против обессиленного потерями от орудийного и штуцерного огня крыла Кирьякова скопилось уже шестнадцать тысяч французов и турок, левый фланг позиции Меншикова был обойден, сопротивление его сломлено, и Меншиков понял, что сражение он проиграл, как бы ни держались стойко части Горчакова в центре и на правом фланге.

Он потерял последние запасы спокойствия, когда увидел, что второй батальон Московского полка стремительно и налегке, без ранцев, тем форсированным маршем, который похож на бег, направлялся в тыл, бросая берег Алмы под натиском стрелков Эспинаса, бригадного генерала дивизии Канробера. В то же время несколько дальше и тоже от берега Алмы уходил также без ранцев четвертый батальон Московского полка, а Кирьяков, попрежнему нетвердо сидевший в седле, даже и не пытался остановить его.

— Генерал Кирьяков,—закричал ему Меншиков,—ваша дивизия бежит! Почему она бежит? Что это значит?

— Это значит только то, что она не имеет оружия такого, как у противника,—вот что это значит!—запальчиво крикнул в ответ Кирьяков.—Но она не бежит, а отступает!

— Она бежит, говорю я вам! Остановите ее сейчас же!

— Она не бежит, ваша светлость! Вы плохо видите! Остановить ее? Слушаю, ваша светлость!

И, повернув коня в сторону второго батальона, успевшего уже далеко продвинуться в тыл своим маршем, похожим на бег, он скомандовал во весь голос:

— Второй батально-о-он стой!.. Налево кру-у-гом!.. Слушай-а-ай на кра-у-ул!

И батальон, остановившись и повернувшись кругом, под ядрами, бороздившими совершенно чистое синее небо, под зловеще певшими пулями бригады Буа слева и взобравшейся уже на крутобережье со стороны Алматамака бригады Эспинаса с фронта, отчетливо, как на параде, взял на караул.

Для ружейных приемов гладкоствольные ружья годились, они пасовали только перед дальнобойными штуцерами.

— Спасибо, братцы!—зычно крикнул Кирьяков, и второй батальон Московского полка, продолжая держать «на краул», не менее зычно ответил:

— Рады стараться, ваше прево-сходи-тельство!

Кирьяков победоносно поглядел на Меншикова и махнул батальону рукой: это означало, что батальон может взять «к ноге», повернуться кругом снова и итти тем же форсированным шагом, похожим на бег, каким он и шел.

Французы смотрели на это зрелище с немалым изумлением. Люди весьма живой фантазии, они могли бы даже подумать, что этот русский батальон отдает им вполне заслуженную ими честь. Они даже перестали стрелять и отнюдь не преследовали уходившие колонны русских.

Продолжали орудийную пальбу только четыре паровых судна союзников, совсем близко от устья Алмы ставшие на якоря. И, должно быть, разглядели оттуда пеструю, яркую группу всадников,—Меншикова в окружении нескольких адъютантов. Два ядра одновременно ударили в эту группу, и лошади испуганно шарахнулись в разные стороны от кровавой, барахтающейся на земле и вопившей массы.

Когда же Стеценко с трудом повернул буланого и подъехал к сраженным, он увидел прежде всего страшно поразившую его чью-то отдельно валявшуюся небольшую ногу в ботфорте, в оборванной и залитой свежей кровью штанине, а возле этой ноги, будто желая добраться до нее во что бы то ни стало, двигались по земле с большой силой белые передние ноги серой в яблоках лошади с развороченным брюхом, в котором крупно клубились кишки.

Стеценко мгновенно вспомнил, что это лошадь капитана Жолобова, и тут же отыскал его глазами: он, человек небольшого роста, запрокинулся за спину лошади, придавившей ему другую ногу. Он был без сознания от большой и внезапной потери крови и от боли. Обычно нервное, иронически умное лицо его и высокий с зализами лоб были окроплены кровью. Другой сраженный был веселый полковник Сколков. Ему оторвало левую руку выше локтя, но так как тем же самым ядром разбило голову и его лошади, то он упал с нее вперед, а не на бок, однако запутался в стременах ногами. Это он и вопил, как ребенок, забыв, что он—полковник, что он не только адъютант главнокомандующего, но еще и флигель-адъютант, что ему вообще не полагается вопить от боли. При падении он ранил себе и подбородок о пень спиленного дерева: здесь были деревья и кусты, которые могли бы очень пригодиться при защите этой позиции, но владимирцы и суздальцы спилили и вырубили их еще в августе на дрова для своих кухонь.

Быстро спрыгнув с буланого, Стеценко освободил из стремян ноги Сколкова и помог ему подняться, но он не устоял на ногах.

На скрещенных штыках отступавшие белостокцы отнесли в полевой госпиталь и его и Жолобова, пришедшего было в себя, когда его вытащили из-под лошади, но скоро снова потерявшего сознание.

Меншиков ценил серьезного Жолобова и привык видеть около себя всегда живого и остроумного Сколкова, и Стеценко отметил про себя, как, хриповато крикнув им, остальным адъютантам:—Никогда не держитесь кучей!—он понуро, не глядя по сторонам, направил своего донца в тыл.

Когда, почувствовав запах гари, Стеценко обернулся в сторону Алмы, он увидел сплошное облако дыма, гораздо более темное, чем дым от орудийной пальбы, затуманивший дальние планы. Догадаться было нетрудно, что это горит лежащая как раз против левого фланга позиции деревня Алматамак, подожженная отступавшими русскими частями, чтобы затруднить преследование их французами.

Алматамак горела, горели фруктовые деревья около построек, отчего дым был особенно густ и черен, но это не остановило французов. Напротив, пользуясь дымом, как защитой от выстрелов русских стрелков-штуцерников, засевших за стенками садов, одна из бригад дивизии принца Наполеона подвезла прямо к горевшей деревне свои орудия и задавила немногочисленных уже стрелков сосредоточенным огнем картечи.

И когда остатки этих упорно сопротивлявшихся стрелков были выбиты, бригады принца Наполеона безудержно покатились дальше.

Весь левый фланг позиции на Алме был во власти французов к двум часам дня.

4

Генерал Канробер, низенький, но сутулый, слабого на вид сложения человек лет сорока пяти, когда-то блестяще выдержал экзамен на первый офицерский чин и не менее блестяще выдержал обстрел во время войны в Африке, когда он, будучи командиром роты, неосторожно с небольшою кучкой своих солдат сунулся в каменоломни, где засели вооруженные кабилы.

Все солдаты около него, числом шестнадцать, были тогда или убиты, или ранены, уцелел только он один, и за то, что так чудесно мог уцелеть, получил орден Почетного Легиона. Подавлял движение кабилов он не менее жестоко, чем Сент-Арно, почему и выслужился, конечно. Но резкий скачок в его карьере создало ему участие в декабрьской бойне[1] на улицах Парижа, где, впрочем, он вел себя не особенно решительно. Другой французский генерал, Пелисье, говорил о нем: «Хотя зовут его Сертэн (то есть верный), но на него буквально ни в чем нельзя положиться!»

Канробер любил славу и любил женщин, как истый француз, любил даже, сидя за картой, строить планы больших сражений, но дивизией в бою он командовал впервые.

Другому же начальнику дивизии армии Сент-Арно, престарелому принцу Жерому Наполеону, никогда не приходилось командовать в бою даже и взводом, не только целой дивизией; поэтому Сент-Арно сам безотлучно находился при нем, как Меншиков при отряде Кирьякова.

И в то время, как принц поглядывал кругом с понятным в старике его возраста и физических возможностей любопытством, но совершенно без необходимого в таком серьезном бою воодушевления, полумертвый Сент-Арно волновался ужасно, чувствуя на себе взгляды целой Франции с ее монархом и всего остального мира.

Когда Боске с бригадой д'Отмара оторвался от армии и исчез там, за этими скалами, на левом фланге позиции русских, Сент-Арно очень живо представил, что он погибает, окруженный со всех сторон,—вот-вот погибнет! И он растерялся до того, что даже к лорду Раглану посылал адъютанта, не найдет ли способы он, Раглан, выручить зарвавшегося Боске. То, что на позиции русских ни в какую подзорную трубу нельзя было разыскать никаких укреплений, казалось ему военной хитростью Меншикова: заманить в засаду туда, дальше, в эти таинственные холмы и там истребить.

Больное воображение его работало лихорадочно. То, что происходило перед его глазами, представлялось только завязкой настоящего сражения, которое должно будет, по замыслу русских, произойти дальше, в глубине полуострова, где военные суда не в силах уже будут помочь армии французов, неосторожно рвущихся вперед, и армии англичан, которые действуют так медленно именно потому, должно быть, что не хотят далеко уходить вглубь, в местность, которую не удалось осветить порядочной рекогносцировкой: подполковник генерального штаба Ла Гонди был послан Сент-Арно накануне именно с этою целью, но по ошибке принял русских гусар за английских кавалеристов и попал в плен.

Даже когда вся дивизия Боске и вся турецкая дивизия Юсуфа поднялись на скалистый берег и исчезли из глаз Сент-Арно, там, в этом огненном жерле русских позиций, и когда дивизия Канробера с приставшими к ней двумя батальонами дивизии принца уже перешли Алму и толпились под защитой крутого берега, укрываясь от русских ядер,—он считал сражение окончательно потерянным.

Еще больше разбинчивали маршала своими рос-

[1] *Декабрьская бойня*—2 декабря 1852 г. Луи Наполеон, до того президент республики, провозгласил себя императором и в несколько дней подавил восстание, вспыхнувшее на улицах Парижа.

сказнями легко раненные, которые в очень большом, как ему казалось, числе уходили в тыл, в лазареты: как всегда бывает в подобных случаях, они преувеличивали силу русского огня, чтобы найти себе сочувствие у начальства.

Одного за другим слал Сент-Арно своих адъютантов к Раглану, прося перебросить на его фланг свои резервы.

Раглан, который по недавнему плану самого же Сент-Арно должен был только терпеливо ожидать, когда,—разумеется очень быстро,—будет все кончено на левом фланге, и только потом пустить в дело, главным образом, свою кавалерию для преследования уходящих русских,—увидел, что сражение ложится всею тяжестью на его армию, хотя ей и не может ничем помочь мощная артиллерия судов. Тогда он решил бросить в наступление против центра русских сил, которые стояли крепко и совсем не думали уходить, дивизию легкой пехоты своего друга, сэра Джорджа.

Пехотная дивизия англичан была в то время равна по численности одному русскому полку. Центр русской армии приходился против деревни Бурлюк. Сады и виноградники этой деревни, в сторону англичан, были заняты немногочисленными командами штуцерников и матросами морского батальона. Но матросы если и стреляли из своих старых ружей, то только наполняли воздух около себя пороховым дымом. На весь двадцатитысячный отряд, занимавший под командой Горчакова центр позиции и правый фланг, приходилось только полторы тысячи штуцеров, но из них почти половина оставалась на всякий случай в тыловых частях. Между тем каждый солдат двадцатишеститысячной армии Раглана вооружен был штуцером новейшей системы, быстрозарядным и еще более дальнобойным, чем принятый в армии французов.

В полчаса все защитники бурлюкских садов были вытеснены из них частой и очень меткой ружейной пальбой. Оставляя Бурлюк, русские стрелки подожгли его, так что в долине одновременно горело уже две деревни; сады заволокло сизым и черным дымом: дым ел глаза солдатам, потому что поднявшийся с моря ветер гнал его на русские колонны, построенные к атаке; артиллеристы продолжали свой поединок с редко стрелявшими батареями англичан, совсем не видя цели.

В Бурлюке был мост через Алму. Саперы при отступлении кинулись было разорять его, но не успели этого сделать: мост зорко берегли английские стрелки,—к этому именно мосту направлялась в развернутом строе легкая пехота сэра Джорджа.

Правда, легко можно было перейти у Бурлюка Алму и вброд, но мост представлялся сэру Джорджу совершенно необходимым для перевозки пушек. Он видел издали, как французские канониры помогали лошадям перевозить орудия через речку, стоя по пояс в воде и руками проталкивая вперед колеса. Мокрые канониры, по его мнению, никуда не будут годны в бою.

Берег Алмы был здесь более отлогий, и батареи стояли в эполементах, хотя и очень возмутивших генерала Кирьякова своим устройством, но все-таки придававших этой части позиции укрепленный вид.

Как только стройные ряды англичан, красномундирные и ярко и зловеще в этот яркий и зловещий день озаренные пламенем пышно горевшего Бурлюка, появились около моста, в них полетела меткая картечь пристрелянных легких орудий.

Пехотинцы Броуна легли на землю, но это не спасло их от большого урона. Наконец, по одному перебегая, они укрылись за одиноко стоявшим бурлюкским трактиром и оттуда уже отступили снова в виноградники и сады.

Отсюда, таясь за каменными стенками, меткие английские стрелки били на выбор артиллеристов и лошадей. Даже стоявший позади батарей Бородинский полк, теряя одного за другим своих батальонных и ротных командиров, вынужден был отступить. Батареи с остатками людей и лошадей покинули эполемент.

Командир одной из бригад сэра Джорджа, генерал Кодрингтон, упорно желая перейти на тот берег по мосту, а не вброд, снова бросил сюда пять батальонов. Гладкоствольные ружья не годились для обстрела моста, батареи ушли от берега,—красные мундиры появились, наконец, на южном берегу Алмы.

Горчаков двинул против них в атаку два батальона Казанского полка. Со штыками наперевес, под барабанный бой, дружно, стеною двинулись вниз казанцы. Подъехавшие было снова к покинутым эполементам легкие батареи могли бы засыпать англичан картечью, но казанцы заслонили их своими спинами. В то же время стрелки Кодрингтона встретили казанцев такой меткой стрельбой по офицерам, что в две-три минуты были убиты и командир полка, и оба батальонные, и почти все ротные, и солдаты беспорядочной толпой кинулись назад, к эполементам, а следом за ними в эполемент ворвался один из английских полков, и красное знамя заалело на валу батарей. Два подбитых орудия остались в руках англичан.

Владимирский и Суздальский полки, «старожилы» этой позиции, стояли в резерве: в ближнем резерве—Владимирский, в дальнем, за версту от него,—Суздальский. Владимирский полк поддерживала батарея, стоявшая на холме.

Пули Минье из английских штуцеров залетали иногда и к владимирцам, безвредные уже, как всякие пули наизлете. Офицеры и солдаты поднимали их, разглядывали, но не могли догадаться, что это такое и зачем.

— Какие-то бабьи наперстки, глянь!—говорили солдаты.

Артиллерийские же офицеры неуверенно объясняли пехотным:

— Тут, по всей видимости, был какой-то горючий состав в середине, только он, конечно, уже выгорел.

Пехотные спрашивали, не понимая:

— Зачем же все-таки сюда наложен был этот состав?

— Зачем?.. А за тем, знаете ли,—тянули артиллеристы,—чтобы в наши зарядные ящики попасть. Попадет такая штучка в патронный ящик,—вот вам и взрыв, и все у нас полетит к чорту!

Даже и сам командир полка, с георгием в петлице, полковник Ковалев, рассматривая внимательно «наперстки», только чмыхал в усы, выпячивал губы, пожимал плечами, но объяснить, что это такое, не мог.

Владимирский полк, как и Суздальский, только в августе пришел в Крым из Бессарабии, но и там против турок не приходилось ему выступать, как и всей 16-й дивизии.

Начальник этой дивизии, генерал Квицинский, виден был впереди рядом с Горчаковым.

Когда пошли в атаку казанцы, полковник Ковалев, разминавший ноги на свежевылезшей травке, прокашлялся, погладил шею, не спеша, но привычно-ловко подпрыгнул легким, не ожиревшим еще телом, вскочил в седло и, повернув своего гнедого коня к фронту, скомандовал:

— Господам офицерам занять свои места!

И офицеры стали на фланги, ожидая, когда двинут их полк вслед за казанцами, чтобы закрепить их победу.

Но вот увидели все то, во что не хотелось верить: казанцы, так браво шедшие в атаку, бежали обратно снизу под грохот жестокой пальбы из нескольких тысяч ружей, бежали и падали, вскакивали, пробовали бежать дальше и падали снова, чтобы уж не подняться больше, и могучие лошади батареи, искривив напряженно шеи, дико кося глазами, под крики и удары проволокли мимо владимирцев в тыл орудия.

— Стой, сто-ой!.. Куда-а? Куда вы-ы? Стой!— доносился чуть слышно, как стон, исступленный крик генерала Квицинского, который появился совсем невдали от полка на вороной большой лошади, стараясь перехватить и остановить казанцев.

Но казанцы бежали самозабвенно, а дальше, в разрывавшемся клочьями дыму, краснели на валу укрепления английские мундиры.

Барабаны там, у казанцев, неровно и сбивчиво били по чьей-то команде «сбор», трубили горнисты, а перед владимирцами остановился большой вороной конь Квицинского. В руке генерала, как плеть для коня, была зажата и спущена вниз обнаженная сабля; обычно яркое и спокойно-веселое лицо его теперь посерело и стало жестким, белый длинный пушистый правый ус отогнуло не сильным, но упругим ветром с моря, закрывая ему рот, но команда его прозвучала отчетливо и выразительно:

— Первым двум батальонам в ат-таку!

— Первый и второй батальон... на рру-ку!— поспешно скомандовал Ковалев, одновременно с последними словами своей команды выхватив из ножен саблю.—Ша-агом марш!

И сразу с места, взяв ружья наперевес, поблескивая черной лакировкой своих металлических киверов, первые батальоны владимирцев двинулись вперед прямо на занятые англичанами эполементы.

Их плотная тысячная масса, идущая строго в шаг, под барабаны, казалась издали всесокрушающей.

Как и все полки дивизии Квицинского, Владимирский полк был настоящим парадным полком. Рослые люди в нем, уроженцы северных губерний, умели плотно во всю ступню ставить ногу, отлично делать ружейные приемы, вызывая этим на инспекторских смотрах непритворное восхищение самых строгих и самых старых генералов; ни один волосок не шевелился ни у кого в строю после торжественной команды «смирно». Все построения роты, батальона, полка проводили они безукоризненно; все мелочи уставов изучены были ими до тонкостей... Неоднократно в приказах по дивизии и даже по корпусу объявлялась благодарность Владимирскому полку за знание службы, и полк знал себе цену. Эти два батальона полка шли, все учащая и учащая шаг, чтобы одним ударом в штыки разметать там все красное, торчащее на валу.

Ружья были стиснуты в руках крепко, до белизны и боли пальцев, и штыки уже чудились воткнутыми в тех, красномундирных, по самые жомутики.

Впереди, почти рядом с Квицинским, прямо сидя на гнедой машистой лошади, ехал Ковалев; батальонные и ротные командиры—впереди своих батальонов и рот; сзади батальонных командиров—батальонные адъютанты; все дистанции соблюдались с наистрожайшей точностью. На штыки жалонеров надеты были красные флажки; осанистый и широкогрудый знаменщик гордо нес полковую святыню—знамя.

А пули навстречу им пели кругом,—чем дальше, тем чаще и гуще,—те самые «наперстки»—пустые в середине, как колокольчики, и потому звонкие.

Одна пуля сорвала георгий с повернувшегося назад полковника Ковалева, другая, следом за ней, пронизала ему грудь навылет.

В то же время под лошадью адъютанта первого батальона взорвалась граната. Вскочив на дыбы перед тем, как грохнуться на землю, лошадь сбро-

сила адъютанта, поручика, и он очутился как раз перед падающим со своего гнедого коня Ковалевым. Наскоро засунув ему под мундир спереди, к ране, из которой сильно лила кровь, свой платок, поручик, человек неслабый, взял легкое тело полковника в обхват, подняв его, и понес между расступившимися, но все идущими вперед рядами. Солдатам задней шеренги батальона адъютант передал тело полковника, чтобы несли его на перевязочный пункт,—но впереди за это время были ранены одни, убиты другие—еще несколько человек офицеров.

Но, обходя упавших, владимирцы шли, как на параде; сзади однообразно били, точно гвозди вбивали в спины, неутомимые барабанщики, а спереди, где уже не было и командира первого батальона, все еще виднелся крупный вороной конь начальника дивизии, то и дело вздрагивающий высокой головой с поставленными торчком ушами.

И вот раздалось наконец это: «Урра-а!..» Его только и ждали все, кто еще оставался и жив и не ранен, и кинулись на вал шагов за сто с таким остервенелым криком, с такими искаженными лицами, что красномундирные не вынесли ни этого крика, ни этих лиц и ринулись вниз к реке, очищая занятые эполементы.

5

Когда первая атака сэра Джорджа на позицию Горчакова не удалась и в помощь его дивизии пришлось послать дивизию генерала Леси-Эванса, Раглан поехал сам на передовую линию осмотреть положение на месте.

Русские стрелки в садах южнее деревни Бурлюк были уже сбиты: валялись тела убитых, стонали, пытаясь подняться, тяжело раненные, и Раглан со своим штабом совершенно беспрепятственно переехал вброд через Алму и выбрался на берег как раз в том месте, где должны бы были соединяться отряды Кирьякова и Горчакова, но где совершенно не было никаких русских солдат.

По мере того как развивалось сражение, рассасывался центр армии Меншикова. Не только все части отряда Кирьякова стягивались к его левому флангу, где ясно с самого начала обозначился замысел обхода его французами, но даже и батареи донцов приказал Меншиков перебросить сюда от Горчакова.

В центре было пусто, и главнокомандующий одной из союзных армий очутился благодаря этому со всем своим штабом на линии русских резервов.

Десятка казаков или полувзвода гусар было бы достаточно, чтобы отрезать эту любопытную кавалькаду и взять ее в плен, и, может быть, совершенно иной ход приняли бы тогда события, но судьба часто бывает на стороне смелых.

Раглан не только высмотрел расположение войск Горчакова, но он видел также и то, что не было известно ни Горчакову, ни даже Сент-Арно,—он видел, что левый фланг армии Меншикова отступает, что французы почти уже закончили свое дело, что остановка только за ним.

Как раз в это время и раздалось раскатистое «ура» владимирцев, и Раглан видел, как они ворвались в укрепление, из которого бежали полки легкой дивизии сэра Джорджа.

Волнуясь, он сказал одному из своих адъютантов:

— Вот здесь, именно здесь, на этом холме, за которым мы стоим, нужно поставить батареи,—обстрелять их во фланг... Скачите сейчас же назад, возьмите хотя бы два орудия и поставьте здесь.

Адъютант поскакал назад, а Раглан проехал еще несколько вперед, чтобы обдумать, как лучше и что именно сделать.

С холма он увидел, что отряд Горчакова расставлен очень разбросанно, потому что был мал для большой позиции, какую, волей Меншикова, пришлось ему защищать; что слишком большие интервалы между резервными колоннами не позволят резервам второй очереди во-время подойти на помощь к передовым частям; что артиллерии мало, что она слаба, что она поставлена неумело.

И когда он повернул, наконец, коня, очень обрадовав этим свой штаб, план его был уже готов.

Это был очень простой план: навалиться на передовые части отряда Горчакова всеми дивизиями сразу, с обходом не правого его фланга, а левого, и раздавить их одним общим ударом.

И когда участник знаменитого сражения при Ватерлоо окончательно остановился на этом плане и рысил к своей армии, чтобы немедленно его выполнить, не принявшие атаки стрелки Броуна, выстроившись длинным и редким двухшереножным строем на гребне спуска к реке, открыли губительную пальбу по владимирцам.

Правда, по команде Квицинского: «Штуцерники, вперед!» выскочили вперед десятка три штуцерников, но этого было слишком мало; владимирцев расстреливали на выбор; они начинали пятиться.

Когда издали заметил это Горчаков, он, стоявший одиноко, без адъютантов, кинулся сам к остальным батальонам полка, чтобы лично вести их в атаку.

Граната догнала его: она взорвалась впереди его лошади, и та, убитая наповал осколком, опрокинулась навзничь, придавив его боком и спиною.

Подбежали владимирцы, оттащили лошадь, подняли генерала. Старик с минуту стоял, не понимая, что с ним и где он, и глядел на всех нездешними глазами. Но бой шел, пели пули, лопались гранаты, нельзя было этого не понимать долго... Бледный, хромающий, в длинной летней шинели, отчего казался еще выше, чем был, он стоял пе-

ред фронтом и кричал то же самое, что недавно звонко кричал Квицинский:

— Третьему и четвертому батальону в атаку!.. Шагом... марш!—и также выхватил саблю.

Один из батальонных адъютантов, поручик Брестовский, спешившись, подвел ему свою лошадь и помог сесть на нее; и так же парадно, как первые два, штыки наперевес, безукоризненно в ногу и строго держа равнение в рядах пошли вперед и эти два батальона, и если впереди первых двух ехал генерал-лейтенант, то впереди этих— командир корпуса, генерал от инфантерии.

Между тем, как бы ни были малочисленны штуцерники в первых двух батальонах, это были самые меткие стрелки в полку и так же, как англичане, стремились они выбивать из строя нарядных офицеров. Это озадачивало англичан, и если медленно пятились владимирцы, то не наступали и те.

А Горчаков уже подводил беглым шагом свои два батальона, и сквозь беспорядочную пальбу чуткое ухо могло уже уловить мерные удары барабанов к атаке.

Квицинский за валом батареи крикнул:

— Ко мне!.. Жалонеры на свои места!

И вот за валом, уже густо укрытым телами убитых и тяжко раненных, солдаты поспешно начали строиться к атаке. И еще только подходил Горчаков, как они уже кинулись, огибая вал, с широкоротым «ура» и штыками наперевес на британцев.

Те не ожидали этого, а может быть, не хотели уже отступать, потому что видели,—и к ним через мост и броды шли на подмогу отборные полки: гвардейские гренадеры, шотландские фузелеры и Cold-stream—гвардия.

Гвардию вел сам герцог Кембриджский, начальник гвардейской дивизии.

Тогда начался жестокий рукопашный бой, которым всегда сильны были русские войска и побеждали.

Рослый и сильный и в большинстве молодой еще народ, владимирцы сгоряча иногда ломали штыки и тогда, обернув ружье прикладом кверху, превращали его в доисторическую дубину и били по головам.

С той и другой стороны остервенели солдаты.

В ряды остатков батальонов Квицинского влились, добежав, свежие батальоны Горчакова, и теперь уже два старых генерала руководили боем.

Но подбегали снизу, от речки, на помощь своим тоже рослые и сильные люди: гвардейские гренадеры, мускулистые шотландцы в своем национальном костюме—в круглых меховых шапках, в коротких юбчонках над голыми коленами и со шкурой зверя головою вниз спереди...

Гвардейцы же обходили владимирцев справа, открывая по ним стрельбу во фланг, а слева прямою наводкой начали бить по ним прибывшие на указанные Рагланом места два орудия.

Должен был слезть с лошади Квицинский, раненный пулей в ногу; на ружьях понесли его в тыл.

Вторую лошадь убили пулей под Горчаковым.

Красные жалонерные флажки приняли британцы за батальонные знамена и, чтобы отбить их, нажали сильнее.

Поражаемые ружейным огнем справа, орудийным слева, владимирцы получили, наконец, от пешего Горчакова приказ отступать.

Да было и время: их осталось всего несколько сот от двух почти тысяч, а офицеров только десять человек от шестидесяти восьми.

Шинель Горчакова была прострелена в шести местах.

В раненого Квицинского, когда несли его в тыл, попала новая пуля, раздробив ему руку и ребро.

Между тем ни Суздальский, ни Углицкий полки, стоявшие в резерве, не шли на выручку владимирцев, так как не получали от высшего начальства такого приказа; артиллерия боялась стрелять во время рукопашного боя, чтобы не попасть в своих.

Наконец, когда владимирцы, теряя все больше и больше людей, дрогнули и побежали, то Углицкий полк, не дожидаясь приказа сделать то же самое, повернулся налево кругом и побежал тоже, бросая для легкости бега не только тяжелые ранцы, но даже и ружья.

Уже на бегу в тыл обстреляли их гвардейцы герцога Кембриджского, однако не преследовали бегущих. Снялась и повернула упряжки в тыл артиллерия, чтобы не достаться врагу.

То же самое и в то же время произошло и на крайнем правом фланге, на который вел наступление сэр Колин Камбелл, имевший большой опыт боев в Индии. Но там, вдали от высшего начальства, от генералов Квицинского и Горчакова, все кончилось гораздо быстрее.

Так, часам к трем дня главные силы русских были разбиты и отступили по всему фронту. Так, первая в истории встреча в открытом поле и почти в равных силах англичан и русских кончилась победой тех, кто имел парламент и свободу печати, лучшую технику и гораздо лучший военный строй.

Между тем левофланговый отряд, откатившись версты на три, был все-таки остановлен Меншиковым: человек очень самонадеянный, он не хотел поверить сразу в то, что сражение им бесславно проиграно. Он выжидал, чем кончится у Горчакова, хотя не послал к нему никого из своих адъютантов.

Но выжидали также и стрелки Боске, и дивизия Канробера, который был легко ранен в плечо осколками гранаты, и дивизия принца Жерома, успевшая вся перейти на южный берег Алмы.

И только когда показался неудержимо бегущий в тыл Углицкий полк, а за ним на рысях какая-то легкая батарея, Меншиков понял, что надо заботиться только об отступлении в возможном еще порядке и выставлять в арьергард бывшие в резерве полки казаков и гусар.

ГЛАВА ПЯТАЯ
ОТСТУПЛЕНИЕ

1

За те неполные два дня, которые провел Стеценко вблизи Меншикова на Алме, он не успел разглядеть его так, как ему бы хотелось.

Этот лейтенант обладал холодной и спокойной натурой наблюдателя, и, если бы он не был лейтенантом, из него мог бы выйти неплохой естествоиспытатель, например, способный часами рассматривать в микроскоп туфелек и амеб в капле застоявшейся воды или структуру нервной системы москита.

Но перед этим спокойным и наблюдательным лейтенантом был не микроскопический организм под стеклом, а главнокомандующий армией и флотом великой державы, на которую напали соединенные и отборные силы двух других великих держав; и если одна амеба способна во всем повторить другую амебу, смотри на нее сегодня или завтра, через месяц или через год, то перед глазами Стеценки проходили события, не только не безопасные для наблюдения, но еще и такие, которые волновали до боли, проносились стремительно и никогда уж потом не могли повториться.

Когда он заметил вдали, вправо от себя, эту дико бегущую не вперед, а назад густую огромную толпу солдат, он живо обратился к Грейгу:

— Посмотрите, ротмистр, что это за полк бежит? Или это—целая бригада?

Грейг, казавшийся ему наиболее правдивым и общительным из адъютантов князя, присмотрелся внимательно и вскрикнул:

— Это Углицкий полк!.. Углицкий!..

И тут же, повернув лошадь к Меншикову, сказал строевым тоном:

— Честь имею доложить, ваша светлость, Углицкий полк бежит!

Князь вытянулся на стременах.

— Как бежит? Где?

Вдали он различал предметы уже не совсем ясно. Грейг указал рукою на бегущих, и Стеценко еще только думал, кого из них двоих, бывших к нему ближе других, пошлет князь туда узнать, почему и от кого бегут, как Меншиков, ударив шпорой своего донца, с места рысью помчался наперерыв бегущим. Ему и Грейгу оставалось только пришпорить своих коней.

Стеценко удивился, как молодо скакал теперь светлейший. Он, тонкий во всей фигуре, очень похож был именно теперь, сзади, и так держась на коне, на своего сына, молодого генерал-майора.

Его заметили конные офицеры-угличане. Они заметались около бегущей толпы солдат, и Меншикову не пришлось кричать: «Сто-ой!» Это прокричали другие; толпа остановилась раньше, чем он подъехал.

Правда, задние еще напирали на передних, и хотя командир полка,—полковник из гвардейцев, поэтому далеко не старый и молодцеватый на вид человек,—раза три, выехав перед полком, прокричал:

— Смир-но! Глаза налево!.. Господа офицеры!..

Но смирно не становились, и равнения не было, и офицеры не в состоянии были в перемешавшихся ротах занять свои уставные места.

Меншиков подскакал, и Стеценко видел, как он силился что-то такое крикнуть, но от возмущения только открывал и закрывал рот, а полковник застыл с рукою под козырек и с округлившимися серыми глазами навыкат.

— Отрешу-у-у!—вдруг высоким, каким-то неожиданно скопческим фальцетом прокричал Меншиков.—От командования полком... я вас отрешу-у!

— Ваша светлость!—начал было что-то говорить в свое оправдание полковник, но, отвернувшись от него, Меншиков крикнул в первые ряды солдат:

— Песенники вперед!.. Музыканты перед середину полка!

И пока строились роты и занимали свои места офицеры, а песенники, барабанщики и музыканты со своими трубами и бубнами протискивались через ряды вперед или обегали роты с флангов, Меншиков обратился к старому командиру первого батальона со шрамом на щеке от сабельного удара, с курносым простонародным лицом, с владимирским крестом в петлице:

— А что же, ваш начальник дивизии, генерал Квицинский, видел, как вы пустились в бегство?

— Начальник дивизии ранен, ваша светлость... или, может, даже лишен теперь жизни: пронесли мимо нас на перевязочный, ваша светлость!—весь вытянувшись на седле и с застывшей у козырька рукой, хрипловато и подобострастно ответил подполковник со шрамом.

— Ранен?.. А командир вашей бригады генерал Щелканов?

— Говорили так, что тоже ранен смертельно, ваша светлость!

— Как? И Щелканов ранен?.. А князь Го ков?—уже упавшим голосом спросил Мен

— Не видно было на лошади, когда бе

димирский полк, а его снятельство пошел в атаку с третьим батальоном владимирцев, ваша светлость, убит или ранен, не могу знать.

Меншиков согнулся в поясе, точно под тяжестью большого груза, но, постепенно выпрямляясь, спросил уже негромко:

— Разве владимирцы... владимирцы тоже бежали?.. Опустите руку.

— Так точно, ваша светлость!—батальонный опустил руку.—Их осталось от полка совсем малая часть,—может, только две роты,—остальные же погибли в рукопашном, ваша светлость!

С минуту молчал Меншиков, как будто занятый только тем, как выбегали и строились впереди песенники и музыканты.

Но вот он заметил, что у многих солдат совсем нет ружей в руках, кроме того, что почти ни на ком нет ранцев... Он дернул лошадь, повернулся лицом к полковнику и закричал вдруг снова пронзительным фальцетом:

— Ваш полк стоял в ре-зер-ве, полковник... в бою с неприятелем не был и потерял оружие!.. За это я вас предам суду-у, знайте это!

Стеценко заметил, что у князя, обычно бескровного, вдруг слабо покраснели впалые щеки, уши и нос, когда вслед за этим криком он небрежно бросил музыкантам презрительный приказ:

— Играть церемониальный марш!

И проявивший недостаток мужества, потерявший в паническом бегстве не только ранцы, но и ружья, Углицкий полк под торжественные звуки марша парадов двинулся мимо князя, Стеценки и Грейга в том же направлении, в каком бежал: безоружный, он не годился даже и для того, чтобы прикрывать отступление армии.

Не понимавшие, что это и зачем, все офицеры, начиная с самого командира полка, при первых звуках церемониального марша выхватили сабли и взяли их «на руку», чтобы, не доходя столько-то шагов до князя, взять их «подвысь» и затем опустить «на караул».

Но князь не смотрел уже больше в сторону проходившего полка: он даже хвостом повернул к нему своего донца. Он говорил Грейгу:

— Поезжайте, ротмистр, узнайте, что такое с князем Горчаковым и кто там сейчас его замещает, если он... ранен.

— Слушаю, ваша светлость!

— И в каком порядке там проводится отступление,—сделал ударение на последнем слове князь.

Грейг повторил:

— Слушаю, ваша светлость!

И вот уже точеные белые ноги его рыжей англизированной кобылы Дэзи замелькали, огибая задние ряды проходившего полка, в том направлении, откуда летели еще английские гранаты и ядра, провожавшие беспорядочные толпы русских солдат.

2

Лорд Раглан, проехав через вполне уже безопасный теперь от русских орудий и ружей бурлюкский мост, направился к сэру Джорджу, чтобы поздравить его с победой.

Сакли аула строились из камней на глине, полов в них не было, горели только деревянные накаты потолка, который в то же время служил и крышей, потому что смазанный сверху глиной с навозом, не пропускал дождевой воды.

Дым от горевшего навоза был очень удушлив, однако пожара никто не собирался тушить, хотя воды в Алме было для этого довольно: никому не нужен был горевший аул, от которого войска должны были направиться дальше, отрезать отступавших русских и перебить всю армию Меншикова, если она не сдастся.

Но только что проехав мост и подымаясь на другой берег Алмы, Раглан был испуган грудами страшно искалеченных тел стрелков дивизии сэра Джорджа.

Около них возились уже санитары и врачи, выискивая заваленных трупами раненых, которых клали пока отдельно, чтобы после перенести на корабли, так как походные госпитали, хотя и хорошо оборудованные, не были взяты на военные транспорты: они остались в Варне.

Оторванные ядрами головы страшно глядели на старого Раглана открытыми глазами. Иные тела были без ног, другие без рук, иные были разорваны так, что трудно уж было различить что-нибудь в кровавой массе. У иных черепа были размозжены не то осколками гранат, не то прикладами русских пехотинцев и мундиры были обрызганы сплошь белыми сгустками мозга...

Тела убитых офицеров складывали отдельно по полкам, и Раглану доложено было, что одного только 23-го полка дивизии Броуна найдено восемь убитых офицеров, между ними и полковник.

— Боже мой!—Раглан поднес руку к глазам.—Такого количества убитых офицеров не было ни в одном нашем полку даже и в битве при Ватерлоо!

Потом он узнал, что ранен начальник дивизии, генерал сэр Леси-Эванс, что под сэром Джорджем была убита лошадь... Встретивший его сэр Джордж имел удрученный вид.

— От моей дивизии не останется ничего,—сказал он Раглану,—если дальше нас ожидает такое же сражение!.. И сколько великосветских семейств должны будут теперь надеть траур!.. Убит капитан Монк... Убит сэр Вильям Юнг... Лорд Читон ранен смертельно... У меня нехватает мужества назвать их всех...

— Как? Неужели и лорд Читон?.. Это печально! Это очень печально, дорогой мой друг!—Раглан покивал головой.—Я никак не ожидал, чтобы

русские с их никуда негодными ружьями могли так ожесточенно сражаться! Но у нас есть еще впереди задача их отрезать.

— Отрезать? Да, конечно... Но это может быть гораздо труднее, чем заставить их только очистить позиции... Притом же четвертый час уже: скоро начнет смеркаться. А успеем ли мы сделать это до темноты? У того, кто стремится уйти от гибели, вырастают быстрые ноги... Кавалерия наша может быть пущена вслед русским, но кавалерии у Меншикова впятеро больше, чем у нас... Будут ли шансы на успех?

— Да, я уже думал об этом, вы правы, конечно. Мы достаточно сильны, чтобы их победить еще и еще раз, но для преследования их нужны свежие силы. Может быть, задачу эту возьмет на себя Сент-Арно... Тем более, что потери его, кажется, гораздо меньше наших.

Между тем он уже поднялся на гребень, за которым густо, кое-где даже не только в два ряда, а грудами лежали убитые русские.

— О-о, как много они потеряли!.. Очень много, да, очень много!—с торжеством в голосе протянул Раглан, оглядывая место ожесточенного рукопашного боя.

— Приблизительно вдвое больше, чем мы,— уточнил сэр Джордж.

— Да, не меньше... не меньше, чем вдвое... Но присмотритесь,—они лежат головами к линии нашего фронта... Если только их не напоили пьяными перед боем, то это... это наводит меня на размышления... Это—противник очень серьезный, кто бы ни говорил обратное, как это делают наши газетные писаки... Очень серьезный, очень серьезный... И ведь мы шли на совсем не укрепленную позицию, а Севастополь—первоклассная крепость. Для меня ясно по этому первому сражению, что она нам будет стоить дорого, очень дорого, мой друг! Сколько взято знамен и орудий?

— Орудий только два из двенадцати, какие стояли в этом эполементе... В плену у нас будет один генерал и много офицеров, все раненые, впрочем, так что их надо еще лечить... Знамен нами не было взято... Пленных солдат, тоже раненых, наберется, пожалуй, семьсот, восемьсот.

— Вот видите, какие скромные трофеи! Ни одного знамени и всего только два орудия!.. Нет, русские—противник очень серьезный!.. А насчет пленных я, знаете, думаю так: генерала и офицеров мы, соблюдая международную вежливость, возьмем к себе на госпитальное судно, а раненых солдат, пожалуй, вернем обратно их отечеству. У нас, кажется, мало будет медиков и для своих раненых, а для нескольких сот русских надо отрядить целый транспорт и приставить к ним большой штат хирургов. Нет, это нам не по средствам. Самое лучшее—отправить их в Николаев или в Одессу. Пусть со своими ранеными возятся сами русские.

А русские разбитые силы в это время уходили своими плотными каре как бы в строго выдержанном шахматном порядке. Британские орудия, занявшие открытые места неподалеку от заваленных трупами эполементов, пускали им вслед снаряды, но кое-где замечались уже недолеты.

Присмотревшись внимательно к этим плотным удаляющимся каре, Раглан добавил:

— Все-таки они представляют собой еще очень сильные войска. Лорд Лукан рвался ударить им в тыл, и я разрешил ему это, но лучше будет отозвать его обратно. Кавалерии у нас мало, она нам еще может пригодиться в будущем. Нам же надо будет заняться своими ранеными и похоронить, как должно, убитых.

Когда были подсчитаны потери в дивизиях Броуна и Леси-Эванса, среди гвардейских гренадер и шотландских стрелков, Раглан написал донесение военному министру, герцогу Ньюкестльскому о «сражении при ауле Бурлюк». Донесение это было составлено скупым на краски, чисто деловым языком. Потери были показаны в две тысячи солдат, сто четырнадцать сержантов и девяносто шесть офицеров. Упомянуто было о двух орудиях и пленном русском генерале Щелканове.

В то же самое время писал свое донесение самому Наполеону Сент-Арно о «победе на реке Алме», начиная торжественно и высокопарно, как это было свойственно ему, бывшему актеру Флоридалю: «Sire! Le canon de Votre Majesté a parlé...» [1]

И если Раглан силы русских, стоящие против английских, называл равными английским, то преувеличение тут было небольшое. Сент-Арно, донося о всем вообще сражении, как будто и войска Раглана были под его командой, исчислял силы русских в сорок пять тысяч, восемьдесят русских орудий выросли в его донесении в сто восемьдесят, а совершенно не защищенная окопами позиция оказалась «покрытой страшными редутами, которые были взяты только благодаря беспримерной храбрости французских полков, строго выполнявших предначертания своего главнокомандующего».

Излагая последовательно и сухо ход сражения, Раглан ни разу не упомянул о себе лично. Полумертвый Сент-Арно, находившийся все время в почтительном расстоянии от русских пушек, говорил только о себе.

Зуавы Боске возле деревни Орта-Кесэк, лежащей на дороге из Севастополя к Алматамаку, захватили беспечно подъезжавшую во время боя к русской позиции карету Меншикова, в которой сидел писарь, везший кое-какие чистые бланки и неважные текущие бумаги на подпись князю. И об

---

[1] Государь! Пушка вашего величества зал

карете в торжественно-победном тоне доносил своему монарху маршал:

«Я захватил карету князя Меншикова! Я взял ее с его портфелем и перепиской!.. Я воспользуюсь драгоценными данными, какие там найду!..»

Французы, по донесению маршала, потеряли тысячу триста человек, русские будто бы в семь раз больше.

Сколько действительно потеряла армия Меншикова в сражении на Алме, конечно, гораздо легче было подсчитать на поле сражения, чем в сумятохе отхода разбитых полков, но даже и в официальных французских донесениях более позднего времени они определялись числом около пяти тысяч.

В руках французов остался тяжело раненный командир одной из бригад дивизии Кирьякова генерал Гогинов, о чем так же пространно и высокопарно писал Наполеону маршал.

А мадам Сент-Арно, с живейшим интересом наблюдавшая издали великолепную картину боя, вечером, не желая подвергать себя неудобствам бивуачной жизни, перебралась на корабль «Наполеон» в свою каюту.

О возможности преследования русских Раглан ничего не писал «милорду герцогу»; но Сент-Арно заканчивал свое донесение словами: «Если бы у меня была конница, ваше величество, армия князя Меншикова перестала бы существовать!»

3

Телеграф на мысе Лукулл сделал около двух часов дня свою последнюю передачу о том, что неприятель наступает на алминскую позицию по всему фронту. Но еще за час до того пушечная пальба была отчетливо слышна в Севастополе: поверхность моря передает звуки дальше и ярче, чем сухопутье.

Адмирал Корнилов, только что начавший было обедать, вскочил из-за стола, взял с собою обедавшего у него инженер-подполковника Тотлебена, незадолго перед тем присланного Меншикову Горчаковым 2-м из Бессарабии, и поехал верхом, по знакомой уже ему дороге, на Алму.

Горчаков оценил Тотлебена как инженера на Дунае, при осаде Силистрии, где он сложной системой подземных ходов вплотную подошел к передовому укреплению Араб-Табия и взорвал его по всему фронту.

Но осаду Силистрии приказано было снять, и Горчаков направил этого способного инженера в Севастополь. Однако, непоколебимо уверенный в том, что из-за позднего времени года и по другим причинам союзники в Крым не пойдут, Меншиков не хотел даже думать ни о каких работах по укреплению Севастополя с суши. Только после 30 августа о Тотлебене вспомнил Корнилов и день за днем из начальника этого флегматичного на вид, круглолицего и круглоглазого длинного немца, который все жаловался на плохое сердце, но работать мог по двадцать часов в сутки, сделался его ретивым помощником.

Сражение уже кончилось, когда они подъезжали к Алминской долине; им навстречу шла уже разбитая армия, вид которой всегда бывает сумрачен, даже если музыкантам и приказывают играть церемониальный марш.

Сумрачен был и сам Меншиков, который ехал верхом, хотя у него и побаливали ноги: его карету, трофей его победителя, облюбовала себе для дальнейшей прогулки к Севастополю мадам Сент-Арно.

Первое, что услышал от Меншикова Корнилов, было то, что он потерял двух своих адъютантов.

— Капитан Жолобов погиб, бедняга!—сказал он грустно.—Я заезжал проведать его на перевязочном; он был еще жив, но уже совершенно безнадежен. А Сколкову лекаря обещают жизнь, однако без руки какая же может быть у него карьера!.. Впрочем, генерал Скобелев и безрукий стережет Петропавловскую крепость...

Помолчав, он продолжал с гримасой большой брезгливости:

— Кирьякова же я ни в коем случае не хочу больше у себя видеть: это—пьяный шут и болван! Вся сегодняшняя неудача наша исключительно от него!.. Если военный министр назначит его куда-нибудь в резервную часть, например в Киев, я буду очень доволен... Это положительно какой-то шут гороховый, а не начальник дивизии!

Корнилов хотел узнать, велики ли потери в полках и какие из полков наиболее пострадали, но ждал, когда об этом заговорит сам князь. Он же больше молчал, чем говорил, что было вполне понятно в его положении.

— А каков Петр Дмитриевич!—Меншиков покачал головой.—Что это—задор, какой был бы только безусому подпоручику к лицу, или в его корпусе совсем и не ночевала дисциплина?.. Командующему главными силами бросать общее наблюдение за ними и во главе батальона итти самому в атаку, что это такое? А батальонный командир на что?.. Или батальонные должны итти в атаку впереди взводов? Очень странно и непонятно! Человек по седьмому десятку... полный генерал, а?! Его счастье, что остался хоть в живых, а генерал Квицинский,—тоже впереди батальона пошел в атаку! Может, и не выходится! Что же они оба думали, что за это я их к награде должен представить? Нет, не представлю!

Когда подъезжали к Качинской долине, в которой предусмотрительно были оставлены обозы армии, Корнилов спросил:

— Как вы думаете, Александр Сергеевич, не двинут ли они теперь свой флот к Севастополю,

чтобы бомбардировать его на рассвете или даже ночью?

— Да, вам, конечно, надо ехать сейчас же назад, и быть наготове ко всяким неприятностям... А я уж останусь при армии и заночую здесь, при обозе,— устало сказал Меншиков.—А чтобы неприятельский флот не ворвался в бухты, я думаю, надо бы затопить несколько старых судов на выходе из Большого рейда...

— Как так—затопить несколько судов?—ошеломленно повторил Корнилов.

— Обратить бухту в закрытое озеро,—это единственно возможный выход из нашего положения... А вам, полковник,—Меншиков повернулся к Тотлебену,—вам надобно сделать вот что... Неприятель будет двигаться вдоль берега, как он и двигался, и, конечно, придет к Северной стороне,—это неизбежно. Найдите на Инкерманских высотах позицию для нашей армии, такую, чтобы можно было взять неприятеля во фланг именно тогда, когда он будет подходить к Северной стороне. Форты Северной стороны будут у него с фронта, армия—с левого фланга... Оборону же Северной стороны, Владимир Алексеич, я поручаю вам.

Корнилов был так изумлен предложением затопить суда при входе на Большой рейд, то есть обречь флот на полное бездействие, что не понял и последнего поручения князя.

— Оборону Северной стороны?—переспросил он.—Какими же силами могу я оборонять семиверстную линию, если вся армия будет под вашим командованием на Инкермане?

— Возьмите матросов с судов в дополнение к резервным батальонам... По моим подсчетам, у вас может составиться тысяч десять.

— Эта цифра может составиться только тогда, если я возьму с судов почти всех матросов, Александр Сергеич!

— Я именно об этом и говорю,—подтвердил князь.—Кроме того, вот еще что: нужно послать фельдъегерем к государю с донесением о сегодняшнем деле ротмистра Грейга... Ротмистр Грейг!—крикнул он назад, так как адъютанты его ехали на приличной дистанции.

— Вы назначаетесь фельдъегерем к государю,—обратился князь к штаб-ротмистру, когда тот подъехал.

— Я, ваша светлость?—Грейг испуганно поглядел на него.

— Да, мне кажется, что вы это сделаете лучше, чем кто-нибудь другой. Я не знаю, получите ли вы за это очередную награду, но... во всяком случае, хорошо сможете доложить государю, что вы видели и знаете... Прежде всего, конечно, скажете о том, что я нуждаюсь в самой спешной присылке подкреплений... Что армия противника велика, снабжена прекрасным оружием, но что если мы в самое ближайшее время, совершенно незамедлительно, получим корпус свежих войск, то сбросим неприятеля в море... Вот, Владимир Алексеич, вы возьмете его с собой, дадите ему необходимые инструкции и бумаги, и завтра же утром он должен выехать в Петербург... Свое донесение государю я напишу сейчас и пришлю вам с Исаковым...

Когда Корнилов, Тотлебен и Грейг, простившись с Меншиковым, отъехали две-три версты от Качинской долины, где войска расположились бивуаком на ночь, Грейг заметил на боковой дороге смутные в густых сумерках силуэты длиннорогих украинских серых волов, запряженных по нескольку пар в три подводы, причем на каждой подводе было что-то длинное, черное и, видимо, очень тяжелое. Около же подвод, покрикивая на волов, шли толпою матросы.

— Что это может быть такое?—озадаченно самого себя, но вслух спросил Грейг, а Корнилов ответил на его вопрос:

— А-а! Это судовые орудия... Я их послал князю еще рано утром, а они только теперь доплелись сюда, когда в них нет уже надобности... Поезжайте, пожалуйста, к ним, голубчик, скажите, чтобы возвращались назад... чтобы оставили их на Северной стороне... Они там сослужат свою службу.

— А государю я должен буду донести и о том, как у нас перевозят орудия, ваше превосходительство?—не без насмешки спросил Грейг, поворачивая коня.

— Отчего же не доложить и об этом? Государь должен знать и то, какие у нас способы перевозки тяжелых орудий,—ответил ему Корнилов.

Подполковник Тотлебен, державшийся все время очень молчаливо, вдруг отозвался на это с большим оживлением:

— Да, государь должен знать правду! Не с парадного подъезда, а с заднего крыльца государь должен знать все о положении Севастополя!.. И что перевозочных средств оч-чень мало, и что инженерное имущество оч-чень бедное, и что войск оч-чень мало, и что оружие оч-чень плохое—все это должен сказать государю ротмистр Грейг. Он должен иметь мужество сказать это! Это есть его долг!

— Я уверен, что у Грейга мужества на это хватит,—сказал Корнилов,—но... будем молиться богу, чтобы хватило мужества и у князя не настаивать на истреблении своего же флота! Я думаю, что это вырвалось у него под влиянием неудачи... Он очень расстроен... А? Вы это заметили?

— Как знать,—уклончиво ответил Тотлебен.— Когда Геркулес[1] бросал Антея на землю, земля

---

[1] *Геркулес*—легендарный герой древних греков. Один из его подвигов заключался в победе над великаном Антеем, сыном богини земли Геи.

Антею возвращала все его прежние силы... Если матросы наши хороши на море, то тем лучше они будут на суше...

— Матросов посадить в окопы?—крикнул Корнилов.

— Конечно, это только в случае крайней необходимости, ваше превосходительство,—поспешил смягчить свои слова Тотлебен.

— Матросов засадить в окопы—это все равно что художников заставить красить заборы!.. Нет, моряки слишком дорогой вид войска, и они сделают для защиты Севастополя то, что их учили делать! И сделают это именно на море, а не на суше!

4

Как только стемнело, ничего не евшие и не пившие за целый день солдаты, вдобавок еще, как это было в нескольких полках, бросившие тяжелые ранцы и сухарные мешки, разбрелись по Качинской долине в виноградники и сады: зрелое и незрелое, все поедалось без разбору.

Слышалось только повсюду, за невысокими каменными стенками и плетнями, как отрясались деревья, как градом падали наземь яблоки и груши, как перекликались друг с другом и переругивались солдаты, а фельдфебеля на привале около построек кричали неистово:

— Пе-ервая рота Бородинского полка-а, сюда-а-а-а!

— Пятая рота Суздальского полка-а, сюда-а-а-а!

— Восьмая рота Московского полка-а, сюда-а-а-а!

Это последнее «а-а-а-а!» тянулось до бесконечности. Конечно, голоса у фельдфебелей были разные,—у кого бас, у кого звонкий тенор,—но трудно было все-таки различить в темноте, кое-где только слабо пронизанной огоньками непышных костров, свой ли фельдфебель кричит, или чужой, и солдаты, собираясь на крики, которые неслись со всех сторон, часто ошибались, попадали не только не в свою роту, а даже в чужой полк, и до полуночи почти бродили зря, а после полночи барабанщики по всему лагерю ударили сбор, потому что Меншикову не спалось,—беспокоила мысль о глубоком обходе, охвате, даже о десанте противника под самым Севастополем, оставшимся без армии: представлялось совершенно необходимым к рассвету довести войска до Инкерманских высот.

И вот, то и дело натыкаясь на кусты карагача и дуба, объеденные за лето козами и потому колючие, отводя душу руганью, двинулись в темноте дальше совершенно перемешавшиеся местами части,—просто толпы солдат, подгоняемые единственным желанием добраться до кухонь, когда придут, наконец, на место. Дальше, в лесу, совершенно перепутались и перемешались части, так что утром, едва забрезжило, когда дошли до Бельбекской долины передовые отряды, пришлось остановить их, чтобы разобраться по ротам, батальонам, полкам...

Но перед тем как разобраться, молодые офицеры и солдаты вкупе и влюбе разгромили виноградники и сады, чтобы уж ничего не досталось следом идущим французам.

А часам к девяти утра с Северной стороны на Южную через Большой рейд начали перевозить раненых, которые могли итти сами и шли впереди войск небольшими командами. Так как среди них не было начальства, то они и не знали, куда именно следует им направиться. Они появлялись толпами в наиболее сытном месте города,—на базаре, где были харчевни и сидели торговки с булками, студнем, гороховым киселем, грушевым квасом. Торговки сердобольно роздали голодным раненым все свои товары, но подходили новые толпы усталых, измученных, закопченных пороховым дымом, с кровавыми повязками на руках, головах, иногда даже на ногах: ковыляли, но двигались—и глядели молящими глазами на базарную снедь.

Харчевни закрылись; торговки ушли; раненые разбрелись по улицам, просили христа-ради у прохожих. И скоро весь Севастополь уже знал, что армия с неприятелем справиться не могла, что и остановить его была не в силах, что она бежала, а он идет за нею следом и вот-вот придет.

Одна старая грудастая боцманка с Корабельной, завидев юного и тонкого подпоручика, шедшего по улице без каски, расстановисто сказала ему, покачав головой в коричневом чепце:

— Что-о, длинноногий! Так от француза лататы задал, что и каску свою потерял? На, мой чепец возьми, накройся!

И, пожалуй, бросила бы ему свой чепец, если бы подпоручик не юркнул от нее в переулок.

Жены офицеров Бородинского и других полков, заранее нацепив траурные ленты на шляпки и черный креп на рукава и с готовыми уже слезами, кидались на улицах ко всем офицерам и солдатам, стремясь узнать что-нибудь о своих мужьях.

Кто-то пустил слух, что гражданскому населению будут раздавать оружие для защиты Севастополя, и потому порядочная толпа сошлась к Екатерининскому дворцу и другая к дому адмирала Станюковича; но вместо ружей выдали кирки и лопаты и под командой саперов повели рыть новые укрепления.

Матросы за недохваткой лошадей сами тащили орудия с судов на бастионы.

Все жалующийся на плохое сердце и в то же время неутомимо и методически работающий, Тотлебен размечал места для пехотных полков и батарей на Инкерманских высотах.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР ФЛОТУ

1

После того, как Корнилов простился с Меншиковым, отъехавшим в сторону, он подозвал к себе лейтенанта Стеценко.

Стеценко думал, что адмирал берет его снова в свой штаб, так как сражение окончилось, но Корнилов сказал ему несколько пониженным, заговорщицким голосом:

— Пожалуйста, сделайте для меня вот что: разыщите, где идут морские батальоны,—сколько бы людей в них ни уцелело,—и чтобы они шли, не отдыхая, к Северной пристани, поняли? Я дам распоряжение,—их немедленно перевезут на свои суда... А там—coûte que coûte [1].

Стеценко сказал, конечно: «Есть, ваше превосходительство»,—но совершенно не понял, зачем понадобились адмиралу морские батальоны, вошедшие в состав сухопутной армии; подумал, что об этом уже договорился он с князем, и, только успев сказать другому адъютанту—Панаеву, что послан Корниловым, направился в тыл.

Однако в густом потоке идущих в темноте войск не только трудно было найти два морских батальона, мудрено было даже пробиться назад: долина Качи была слишком узка и вся сплошь занята садами и саклями, оставалась для прохода целой армии только по-восточному узкая улица аула.

Часа два блуждал Стеценко, пока нашел, наконец, командира одного из батальонов, капитана 2-го ранга Наденна, и передал ему приказ адмирала.

— Это, конечно, приказ князя, только переданный через адмирала?—спросил Наденн.

— Иначе и быть не могло, конечно,—ответил Стеценко.

Наденн отозвался на это шутливо:

— Китайский мудрец сказал: лучше итти, чем бежать, лучше стоять, чем итти, лучше сидеть, чем стоять, и лучше быть дома—в Севастополе, чем чорт знает где! Только двадцать минут привала, и мы выступаем на Северную.

Но опередить остальную армию морским батальонам не удалось: когда Стеценко вернулся к князю, он уже поднял полки с бивуака и сам садился на лошадь. Панаев передал лейтенанту, что Меншиков хотел послать его вместо полковника Исакова с наскоро написанным донесением царю, которое должен был отвезти Грейг, и ему пришлось сказать, что он, Стеценко, послан Корниловым с каким-то своим поручением в тыл.

— Вы где были, лейтенант?—мрачно спросил Меншиков, едва разглядев при потухающем костре Стеценко.

— Выполнял приказ адмирала Корнилова, ваша светлость!

— Ка-кой же та-кой приказ адми-рала Кор-нилова?—сознательно или нет, но как будто бы даже гнусаво, точно простуженно, проговорил князь, и Стеценко ответил, уже запинаясь:

— Относительно двух морских батальонов... чтобы они незамедлительно шли к Северной пристани... откуда их должны будут перевезти на свои суда, ваша светлость!

— Вот ка-ак!.. Странно,—протянул так же гнусаво князь.—Я-а лично такого распоряжения не давал!

И Стеценко понял, наконец, что в отношениях между главнокомандующим и начальником штаба флота, между двумя генерал-адъютантами что-то не все и не совсем ясно.

Однако Меншиков не сказал больше ни слова о двух морских батальонах. Он, правда, вообще стал очень молчалив после сражения.

Стеценко не заметил в нем накануне боя открытой уверенности в победе; но теперь он видел, что поражение если и представлялось ему, то далеко не в таком виде и не с такими потерями.

Он пробовал сам угадать дальнейший план действий, который строился вот теперь, ночью, для всей этой массы людей, для всего населения города, для будущего ведения войны, для сбережения флота, для чести России,—строился и рос в этой самоуверенной почти семидесятилетней голове.

Но несмотря на свойственную молодости способность к быстрому распределению каких угодно средств и сил, не мог он придумать ничего больше, кроме как поставить всю армию на бастионы.

От Бельбекской долины армия шла уже по двум дорогам, чтобы скорее добраться до бастионов Северной стороны, и все-таки едва к девяти часам утра первые эшелоны появились в виду этих бастионов.

И Стеценко встревоженно вглядывался в морскую синь, не скопляется ли вновь, как он уже видел у соленых озер, армада союзников и здесь, перед Большим рейдом. Но море было пустынно; виднелись только два пароходных дымка обычных судов-наблюдателей. Город же издали казался совершенно спокойным... Город, которому приготовлена была волею всего только нескольких людей, имеющих власть, самая злая участь, сверкал теперь, утром 9 сентября, яркой белизной домов, чуть тронутой кое-где позолотой садов, золотыми куполами и крестами церквей... Нарядный, кокетливый даже, был у него вид, у этого Севастополя.

Подозвал к себе Стеценко Меншиков. Под глазами князя синее, заметнее стали мешки, чернее круги; все лицо, еще более осунувшееся и желтое, чем всегда. Голос хрипопатее и суше.

---

[1] Во что бы то ни стало.

— Сейчас же переедете на Южную сторону.— сказал князь,—найдите адмирала Корнилова, передайте ему, что я приказал все средства флота и порта обратить на перевозку войск на Южную сторону...

— Есть, ваша светлость!—бодро ответил Стеценко, довольный тем, что план действий князя оказался отгаданным им, что он все же был единственным возможным планом: вся армия становилась гарнизоном крепости.

— Узнайте также, уехал ли Грейг, и явитесь потом ко мне вместе с Исаковым... Кроме того, еще вот что: мы везем до ста человек раненых офицеров. Для переноски их в госпиталь, чтобы высланы были носилки.

Несмотря на то, что переживания боя, столь неудачного для русской армии, и бессонная, проведенная большею частью на коне, ночь не могли не отразиться на лице князя, все-таки Стеценко заметил теперь в нем то спокойствие, какое было ему присуще и которое он так часто терял там, во время отступления и бегства полков.

Отъехав от князя, Стеценко довольно игриво подумал даже, что в такой стране всевозможных уставов, правил и предписаний начальства, как Россия, должен быть написан и издан,—с высочайшего разрешения, конечно,—устав для главнокомандующих соединенными силами армии и флота, с точным указанием, как должны вести себя они во всех предусмотренных случаях, то есть не только при несомненной победе, но и при возможном поражении тоже. В уставе же этом должна быть и такая статья: «Если обнаружится из донесений арьергардных частей, что неприятель не гонится за отступающей армией по пятам и не стремится ее обойти и отрезать, то главнокомандующему разрешается вздохнуть свободно и стать на некоторое время спокойным».

2

Когда Стеценко перебрался на Южную сторону, то поехал сначала на квартиру Корнилова, но там адмирала не оказалось. Удалось узнать только, что он на военном совете, который созван по его распоряжению в кают-компании корабля «Великий князь Константин».

Корнилов, вернувшись из поездки часов в десять вечера, до полуночи подготовлял Грейга к его обязанностям фельдъегеря и снабжал его нужными бумагами. Потом, когда Исаков привез донесение Меншикова царю, они ужинали и разошлись поздно.

Но даже и в те немногие часы, которые оставались для сна усталому адмиралу, заснуть он не мог, а в восемь часов утра он разослал приказ флагманам флота и капитанам кораблей явиться на совещание.

Если уставы для главнокомандующих складывались только в мозгу лейтенанта Стеценко, то отношения между начальствующими и подчиненными сложились уже очень давно.

Вице-адмирал Корнилов был только начальником штаба Черноморского флота, притом он был еще молодой вице-адмирал: старше его по службе считались и Станюкович, и Нахимов, и командующий флотом Берх.

И если Станюкович и Берх,—оба глубокие старики,—не получили приглашения на совет, то Нахимов был приглашен, остальные же адмиралы и капитаны 1-го ранга получили просто приказ явиться.

Вопрос, который волновал Корнилова, был действительно слишком серьезен для того, чтобы он решился на такой шаг, не предусмотренный уставом: вопрос этот был о флоте.

И поскольку речь должна была итти о флоте,—о самом насущном для моряков, а военный совет был делом, совершенно новым для людей, привыкших получать только приказания и отвечать на них коротким, как выстрел, «есть!», то все приглашенные явились в парадной форме—в вицмундирах и шляпах.

Обширная кают-компания корабля вполне вместила всех флагманов и капитанов 1-го ранга, и если Нахимов, расположась в кресле рядом с Корниловым, тут же принялся набивать табаком свою трубку, то другие, младшие чином и заслугами, не решились этого сделать: останавливали их не только торжественность минуты, но и бледное, с воспаленными глазами, очень посуровевшее лицо Корнилова.

Расселись за длинным столом; Корнилов—на своем почетном председательском месте. В руке у него был карандаш в серебряной вставочке, на столе перед ним записная книжка.

Голос его был глуховат, когда он начал:

— Господа! Вы уже знаете, я думаю, что остановить натиск армии союзников,—армии вдвое сильнейшей, чем наша, и вдесятеро лучше снабженной оружием,—нашим войскам не удалось, что можно было предвидеть и раньше. Войска наши отступают к Севастополю; вчера вечером я их оставил на Каче... Его светлость, командующий армией, передавал мне, что ждет нападения союзников на Северную сторону, а сам предположил занять фланговую позицию на Инкерманских высотах. Но силы неприятеля велики, поэтому Сент-Арно, очевидно, будет действовать так же решительно, как действовал на Алме. Допустим, что он займет южные Бельбекские высоты, надавит на Инкерман и оттеснит нашу армию... Ведь наша армия имеет теперь уже гораздо меньшую численность, чем на Алме. Пусть даже неприятель понес такую же потерю, как и мы, но одно дело потерять, скажем, шестую часть армии, другое дело—две-

надцатую. Второе можно перенести незаметно, а первое очень чувствительно. Вполне допустимо также, что и настроение наших войск несколько подавлено неудачей сражения,—предположим и это, с тем мужеством предположим, с каким мы приучены глядеть в лицо опасности... И вот представим: неприятель преодолел все препятствия, поставил свои батареи на высотах и начал действовать по кораблям Павла Степановича,—он кивнул головой в сторону Нахимова.—Чтобы не потерять эти суда, придется переменить позицию. Но ведь в то же время и корабли противника будут стоять наготове и близко, чтобы прорваться на рейд, а сухопутная армия атакует северные укрепления, где оборонительные работы еще далеко не закончены. Вот, господа, какая картина рисуется мне в самом близком будущем. Что, если северные укрепления будут взяты, несмотря на все геройство их защитников? Тогда, господа... тогда,— дрогнул голос Корнилова, — Черноморский флот наш очутится в такой же ловушке, как турецкий в Синопской бухте, но погибнуть может гораздо бесславнее, чем погибла турецкая эскадра, потому что та эскадра сражалась, а наша будет просто расстреляна!.. Избитый, израненный, если даже он попытается тогда выйти в море, то ведь он не пробьется через кордон гораздо сильнейшей союзнической эскадры... И что же ему останется тогда? Не будем ни секунды останавливаться на этом подлом слове «плен»! В плен к нашим врагам не попадет, конечно, наш доблестный флот!—Корнилов ударил карандашом о стол.—Он, конечно, погибнет в бою, но гибель-то эта будет совершенно бесполезна для дела защиты и Севастополя, и всего Крыма!..

Корнилов приостановился, обвел всех воспаленными, как будто зажженными изнутри глазами и продолжал голосом, более строгим и суровым:

— А между тем, господа, мы еще могли бы несколько поправить большую, огромнейшую ошибку, нами допущенную в первый же день, когда стало известно о движении неприятельских сил на Евпаторию. Тогда была у нас возможность,—блестящая, я бы сказал, возможность,— напасть всему нашему флоту на суда, перегруженные десантом, на суда с очень большой осадкой...

— Но ведь тогда был штиль, Владимир Алексеич,—перебил Нахимов.—Ведь мы об этом думали-с тогда, думали с вами вместе, но штиль, штиль помешал-с!

И Нахимов побарабанил пальцами левой руки о пальцы правой, что у него означало: «Ничего не поделаешь!»

Но Корнилов блеснул в его сторону насмешливо глазами и подкинул волевым, упрямым подбородком:

— Шти-ль? Да-а... Штиль тогда был, это так, но-о... не столько на море, сколько... Оставим это! Это—дело прошлое. Потерянного не воротишь... Наши парусные суда могли подойти тогда к неподвижной и не способной лавировать армаде на буксире наших пароходов, в ночь с первого на второе сентября. И я предлагал этот план, но он... как вам известно, не был одобрен... А между тем мы могли бы разгромить десантную армию там, на море, где она не имела бы возможности защищаться во всю свою мощь, так как очень многих орудий своих не могли бы на нас направить военные суда: их палубы были загружены пехотой... Вот что могло бы произойти, господа, но о прошлом больше уж говорить не будем... Перед нами катастрофа, господа! Она надвигается очень быстро и требует бури в наших мозгах!.. Если флот наш останется на тех же местах, на каких он стоит сейчас, он погибнет! Может быть, даже завтра, послезавтра, но над ним уже висит погибель,—она очевидна... И единственное средство спасти наш флот от гибели совершенно бесполезной и, конечно, бесславной— это вывести весь боеспособный состав его в море и... напасть на неприятельскую эскадру!

Неотрывно глядевшие в лицо Корнилова адмиралы и капитаны переглянулись, когда были сказаны—и сказаны с большой энергией—последние слова; Корнилов же продолжал с подъемом:

— Это может, пожалуй, показаться слишком смелым, но надо же, господа, хоть сколько-нибудь надеяться на удачу, на счастье! Не один же только арифметический расчет решает дело сражения! Пусть эскадра противников гораздо больше, но, насколько я наблюдал ее, она плохо умеет лавировать,—в этом мы ее превосходим... Я видел их эскадру в полном сборе у мыса Лукулл: мне она не показалась особенно внушительной... Стремительность нападения—вот был бы наш главный козырь!.. Вспомните, как Густав III[1] стремительно напал на русский флот под командой этого международного проходимца принца Нассау-Зиген и разгромил его. В морской операции этой со стороны Густава не было ничего, кроме смелости... Конечно, моряки английские и французские совсем не то, что русские моряки времен Екатерины, но, в крайнем случае, господа, мы если и погибнем, то погибнем в бою и такой можем нанести вред противнику, что десантная армия окажется в конце концов и без осадных орудий, и без продовольствия, по крайней мере— на ближайшее время. А там придут наши дивизии, которые уже идут в самом спешном порядке, и Севастополь будет спасен, а десантная армия должна будет сдаться, если не захочет быть совершенно истребленной... Вот мой план, господа,

---

[1] *Густав III*—шведский король (с 1771 по 1792 г.), вел войну с Россией.

и я предлагаю вам обсудить его со всем беспристрастием!

Из всех, бывших теперь в кают-компании флагманского корабля, бессонную ночь провел только один Корнилов, и отступление армии видел один только он. Все остальные могли бы быть гораздо спокойнее, но от Корнилова как бы исходила большая взволнованность, и она заражала.

Нахимов, увидев, что на него вопросительно глядело несколько пар пытливых глаз, заторопился, зажал в левую руку трубку чубуком вперед и заговорил сосредоточенно и негромко:

— Я думаю, господа, что Владимир Алексеич, о-он... он высказал верную вполне мысль. То есть, что флот есть флот, да-с, и назначение его—морской бой... Иначе зачем же вообще государству тратить большие средства на это... это установление-с?.. Сегодня штиль, зато вчера был вполне попутный нам ветер—зюйд-вест... Между тем, что же говорят о вчерашнем сражении? Что его будто бы решили суда союзников,—несколько их пароходов... Вот что говорят-с!

Нахимов не был рожден оратором, как Корнилов, он с трудом собирал мысли, а для того, чтобы публично излагать их, должен был глядеть на какой-нибудь неподвижный и непременно неодушевленный предмет. Теперь он глядел на кончик своего чубука.

— Возможна ли победа, если мы выйдем для боя с противником?—продолжал он.—Я не сказал бы, господа, что она... что победа... вполне возможна,—нет. Этого я бы не сказал... Потому, что я не знаю, каковы будут союзные моряки в бою... Это зависит от многих причин и, между прочим, от того даже, ладят между собой командиры их или же нет-с. Да-с, это тоже может быть одна из причин... Но что я знаю, это-с... это то, что свою службу по блокаде портов наших несли они спустя рукава-с! Безобразно-с! Наш «Святослав», например, разве он не стоял целые сутки на мели-с?.. Притом же вне выстрелов наших батарей... Однако же нам удалось вполне благополучно его стащить... Это что значило? Значило только то-с, что плохо они несли службу, вот что-с!.. А «Тамань»?.. Как позволили они выйти «Тамани» из Севастополя, чтобы каперствовать у них же под Босфором? Это значит, что плохо несли они службу-с!.. Возможен ли успех с подобным противником? Я бы сказал так: не невозможен, да-с! И кто это во время высадки—кажется, лейтенант Стеценко—прислал донесение, что два-три брандера могли бы ночью тогда большо-го переполоха у них наделать, да-с! Кажется, поздно пришло донесение, почему и не были посланы брандеры... Но ведь могли бы догадаться об том и сами, здесь —промедлили-с! Допустили оплошность! Но повторять, господа, повторять свои упущения и оплошности мы уже не имеем теперь больше никакого малейшего основания, да-с!.. Флот есть флот, и его назначение—бой на море! Я кончил-с.

И разрешенно подняв на всех свои светлые, с небольшой косиной глаза, он снова повернул трубку чубуком к себе, и рука его при этом заметно дрожала почему-то; но два георгия, полученные им за боевые подвиги, белели на черном сукне его вицмундира весьма внушительно.

— Спасибо, Павел Степанович, что поддержали меня!—Корнилов полуподнялся на месте, протянув Нахимову руку.

— Все поддержим!—густо сказал контр-адмирал Панфилов, крепкий блондин с пухлым лицом и маленькими глазами.—Назначение флота—морской бой, это правильно сказано!

Корнилов благодарно склонил голову, поглядел на него признательно и обратился к другому контр-адмиралу, Истомину:

— А вы, Владимир Иванович?

— Можете ли вы сомневаться в моем ответе?!—как будто даже несколько укоризненно проговорил, положив руку на грудь, Истомин, лысоватый спереди, с очень внимательным всегда к словам начальства лицом первого ученика.—Черноморский флот это,—простите мне такое сравнение,—сторожевой пес всего юга России, а кто же держит сторожевого пса запертым в сундуке? Раз приходят во двор хозяина воры, сторожевой пес должен хватать их за горло!—И Истомин даже сделал рукою такой хватающий за горло жест.

Двое Вукотичей,—Вукотич 1-й и Вукотич 2-й,—оба смуглые пожилые люди, братья, контр-адмиралы, сербы по отцу, один за другим также высказались за то, что надобно вывести флот из бухты и вступить в бой.

С лица Корнилова при выступлениях контр-адмиралов все заметнее слетала обеспокоенность. Зажженные изнутри глаза продолжали гореть, может быть, даже и еще ярче, но оживали впалые щеки, выше поднималась голова, крепче становились узкие плечи...

Но вот на дальнем конце стола, как раз против него, поднялась мешкотная, неуклюжая фигура капитана 1-го ранга Зорина.

— Ваше превосходительство, надеюсь, позволите и мне сказать несколько слов?—обратился он к Корнилову.

— Пожалуйста, Аполлинарий Александрович, пожалуйста! Больше голов—больше умов,—ободрил его Корнилов.

— Я, господа, буду краток,—Зорин обвел многих как будто несколько мутноватыми глазами.—Времени у нас в обрез, каждого из нас ждет дело, а враг наступает. Длинных речей говорить некогда.

Он оперся пальцами о стол, подался вперед и, глядя не на Корнилова, а по сторонам, больше



на капитанов, чем на адмиралов, начал негромко, однако уверенно:

— Прошу прежде всего, господа, не обвинять меня в трусости, я никогда не был трусом, но я—человек дела. Предложение о том, чтобы выступить флоту и сразиться, и я бы принял очень охотно, если бы видел от него хоть какую-нибудь пользу защите Севастополя. Но,—должен честно сказать,—не вижу! На победу надеяться нельзя, это сказано,—на что ж можно надеяться? На большой урон, какой мы принесем врагу, хотя в то же время и сами погибнем. Пчела, когда жалит нас на пчельнике, думает, конечно, тоже, что причинит нам огромный вред, но у нас—поболит и перестанет, а пчела неминуемо погибнет... Представим, что мы истребим даже ровно столько судов противника, сколько их есть у нас: сцепимся, например, на абордаж и вместе взорвемся. Геройский подвиг,—что и говорить! Но противник потеряет при этом, скажем, третью часть своего флота, а мы весь! У него останется до-ста-точно, господа, чтобы стать тогда полным хозяином положения, а у нас погибнут вместе с судами: вся судовая артиллерия, во-первых, которая пошла бы на бастионы; десять, скажем, тысяч отличных артиллеристов,—матросов и офицеров,—во-вторых, которые могли бы сейчас же стать при своих же батареях на бастионах. Вот вам и защитники Севастополя, опытные, умелые артиллеристы. С потерей Москвы, господа, не погибла Россия, авось и с потерей судов не пропадет Севастополь.

— Как с потерей судов?—Корнилов вздернул голову.

— Я говорю, ваше превосходительство, о тех нескольких судах, которые придется затопить в фарватере Большого рейда, чтобы неприятельский флот не прорвался в бухту... Несколько старых судов, семь-восемь. Геройство, конечно, хорошая вещь, но здесь, в данном случае, оно совершенно не у места... Нам теперь просто не до геройства, господа! Дело идет ведь о ничуть не романтической, а самой обыкновенной защите Севасто-

поля нашего от очень сильного, как оказалось, врага! Суда, какие мы должны будем затопить для этой защиты, построят, конечно, вновь со временем на наших же верфях, но если нам вот сейчас, в такой момент критический, не могут прислать достаточно сухопутного войска, то станем вместо этого неприсланного войска на бастионы сами и бастионы даже можем назвать именами тех самых судов, какие придется затопить, и вот матросам будет казаться, пожалуй, что они опять на своих кораблях, только корабли стоят так прочно на якорях, что никакая буря их не сорвет... Но это уж я в область поэзии ударился, что совершенно ни к чему, конечно... Я все сказал, господа, что думал сказать.

И капитан Зорин так же мешкотно уселся на свое место, как и поднялся.

— Это ваш собственный план?—подозрительно поглядев на него, резко спросил Корнилов.

— Да, разумеется, это мой личный взгляд на положение наше,—проговорил уже не так уверенно Зорин, заметив, что какое-то неловкое молчание наступило в кают-компании после его слов.

— Надеюсь, что этот ваш план,—сделал ударение на слове «ваш» Корнилов,—не будет никем разделен.

Он сказал это сухо, как будто даже презрительно, но вдруг услышал:

— В словах капитана Зорина много правды, если только не все они правда!

Это сказал вице-адмирал Новосильский, самый молодой из вице-адмиралов.

А капитан 1-го ранга Кислинский заявил еще определеннее:

— Я вполне согласен с капитаном Зориным.

Этого никак не ожидал Корнилов. Это было уже похоже на открытый бунт младших в чине против высшего начальства.

Однако неудержимо заговорили именно эти младшие в чине:

— Единственный выход из положения—затопить суда в фарватере!

— И всем итти на бастионы!

— Как будто бастионы под обстрелами противника не то же самое, что и суда в море!

— Геройство остается геройством и на бастионах, и подвиги—подвигами!

— И если даже такого случая не было в истории, то пусть будет первый случай в Севастополе!

Корнилов увидел вдруг по этим возгласам, таким откровенным, что его предложение не принято большинством военного совета. Он поглядел на Нахимова, ища у него поддержки, но Нахимов усиленно сосал свою трубку, заволакивая себя дымом, как из мортиры, и был безмолвен.

— Хорошо, господа,—сказал Корнилов громко, вставая с места.—Больше мы обсуждать этот вопрос не будем. Должен все-таки сказать вам: готовьтесь к выходу в море! Будет дан сигнал, что кому делать. На этом кончим.

Все встали из-за стола, переглядываясь и пожимая плечами. Корнилов сам отворил дверь кают-компании и увидел, что к нему по коридору направлялся лейтенант Стеценко.

— Как? Вы уже здесь?—удивился Корнилов.

— Я от его светлости, ваше превосходительство.

— А-а! Где же в данный момент его светлость?

— Вероятно, уже переехал на Южную сторону.

— Вот как! А где же армия? На Инкермане?

— Приказано все средства перевозки как флота, так и порта предоставить на переброску армии с Северной на Южную сторону, ваше превосходительство. С этим приказанием я и послан к вам его светлостью.

— Значит, армия вся возвращается в Севастополь и становится на его защиту? Я очень рад!.. А союзники? Где же их армия?

— Неизвестно. Повидимому, еще не тронулась с места.

— Вот как? Они, стало быть, дают нам лишний день на подготовку к их встрече? Это гораздо лучше сложилось, чем можно было думать, гораздо лучше!.. Я сейчас же распоряжусь насчет перевозки войск и буду у князя по очень важному делу...

В отворенную дверь кают-компании Стеценко разглядел и Нахимова, и Истомина, и двух Вукотичей и кое-кого из капитанов 1-го ранга.

На корабле ему сказали уже, что тут собран Корниловым военный совет, но он думал, что над ним по-дружески подшутили. В том уставе для главнокомандующего, который несерьезно, правда, но все-таки довольно назойливо складывался в его голове, совсем не было и даже не предполагалось статьи о военном совете.

3

Когда Корнилов, распорядившись о перевозке войск, приехал в Екатерининский дворец, Меншиков был уже там и завтракал. Он сидел за столом один. Он держался сутуло, понуро, какой-то не желтый даже, а обескровленный, точно не армия, а лично он был тяжело ранен на алминском турнире. Корнилову он показался теперь похожим на рыцаря из Ламанча[1]: нехватало только острой эспаньолки. И хотя Меншиков любезно, как всегда, пригласил его разделить с ним завтрак, Корнилов заметил на себе недовольный чем-то и пристальный взгляд князя.

[1] *Рыцарь из Ламанча*—Дон-Кихот, герой одноименного романа испанского писателя Сервантеса.

— Перевозку войск наладили?—спросил Меншиков.

— Распорядился, ваша светлость... Войскам вы приказали бивуакировать на Куликовом поле?

— Да-да-а... Их надо привести в известность, переформировать... От Владимирского полка, например, осталось нижних чинов всего на один батальон, и то мирного состава, а офицеров и на три роты не хватит... Многим надобно выдать новую амуницию... Их надо накормить, надо, чтобы они отдохнули немного...

— А дальше куда их и как?

— Когда противник покажет свою деятельность, будет известно и нам, что нам делать... Пока же он, повидимому, хоронит убитых, которых у него, я думаю, не меньше, чем у нас... Но скажите мне, Владимир Алексеич, вот что... Сейчас у подъезда я встретил капитана Кислинского... шел в парадной форме... Я спросил его: «Почему парадная форма?» Он отвечает, представьте, что идет с военного совета!.. Гм... С военного со-ве-та! Будто вы собрали флагманов флота и командиров кораблей на совет по поводу...

— По поводу ближайших действий флота, ваша светлость!—досказал, видя затруднение князя, Корнилов.

— Разве ближайшие действия флота не были предуказаны вам мною?—Князь откинулся на спинку стула.—Разве я вам не сказал вчера, что́ нужно сделать?

— Вы мне сказали, ваша светлость, относительно того, чтобы затопить суда на входе в Большой рейд, но я почел это за предложение только, а не за приказ...

Корнилов почувствовал, что он бледнеет, становится так же бескровен с лица, как и старый князь. Сердце его начало биться беспорядочно и гулко, и трудно стало дышать.

— Какого же вы ждали еще приказа? Бумажки с моей подписью?

— Да, именно... именно приказа на бумаге, ваша светлость! Оправдательного документа перед государем... перед историей, наконец!

Меншиков собрал все свое небольшое лицо в очень сложную гримасу.

— История будет писаться потом, сейчас она делается.

В этой гримасе было и презрение к истории—как она и кем она там пишется, и старая ненависть к своей подагре, которая начала заявлять о себе настойчиво, и борьба с зевотой, которая совершенно его одолевала, но считалась им неприличной, и злость на своего повара, который не нашел в своем арсенале ничего другого, кроме жалкой яичницы с ветчиной, ему на завтрак, а ветчина оказалась твердой, совсем не по его челюстям, но вызвать повара и накричать на него было неудобно: мешал не во-время явившийся Корнилов, который созывает какие-то «военные советы», пользуясь его отсутствием. Корнилов же подхватил только смысл его слов, не обратив внимания на смысл гримасы.

— Совершенно верно, ваша светлость,—горячо сказал он,—история делается на наших глазах, но нужно, чтобы ее делали мы сами, а не Сент-Арно! Мы не должны ждать, что́ соблаговолят с нами сделать союзники,—мы должны поставить их в невозможность сделать то, что́ они задумали сделать! Мы должны перемешать и перепутать их карты и ходы!

— Слова!—князь махнул двумя пальцами, вытирая подбородок салфеткой.—Как именно перепутать их ходы?

— Прежде всего так: они рассчитывают, что наш флот замер от ужаса перед их флотом, как кролик перед удавом в зверинце,—а мы вдруг покажем им, что они нам нисколько не страшны, и нападем на их флот!

Меншиков узнал от капитана Кислинского, о чем говорилось на военном совете, но намеренно сделал круглые, изумленные, неподвижные глаза, прежде чем спросить Корнилова:

— Вы не этот ли свой проект и обсуждали на... так называемом совете военном?

— Этот, да, ваша светлость! Именно этот, и только этот... Как творцы истории мы выступали с очень большим запозданием, точнее—нас просто застали врасплох... историю готовились делать там—в Париже, в Лондоне, в Константинополе, в Варне, а мы только смотрели на это... издали смотрели, и как будто это нас совсем не касалось. Но если армия наша... если она оказалась мала, хотя ее можно было увеличить значительно, то флот мы увеличить за такой короткий срок не могли, флот остался таким же, каким и был: он вполне боеспособен и готов к выступлению по первому приказу вашей светлости.

— Не-ет!—Меншиков бросил салфетку на стол.—Нет, я такого приказа не давал и не дам!.. Вы же... Что касается вас лично, то вы превысили свои полномочия,—вот что такое военный совет, какой вы изволили созвать! Кроме Государственного совета,—в каком, может быть, когда-нибудь удостоимся заседать и мы с вами, ни-ка-ких советов не должно быть в Российской империи даже и в мирное время, тем более нетерпимы они в военное—как сейчас! Вы не могли этого не знать! Вы начальник штаба Черноморского флота, вы вице-адмирал, вы генерал-адъютант, вы не имели пра-ва этого не знать или об этом забыть!.. А вы собираете вдруг совет!.. Далее: отлучась из Севастополя на несколько дней для встречи противника, я оставил заместителем своим не вас, а генерал-лейтенанта Моллера, вы же, как я узнал, распоряжались тут всем вполне самовластно, даже

Мой прямой долг—вам повиноваться... Повторяю: это—самоубийство!.. Но... подчиняюсь...

На глазах его блестели слезы.

Он опустил голову и стал как-то сразу гораздо ниже ростом.

Нерешительно и медленно Меншиков протянул ему руку.

4

Часа через два после этого разговора на корабле «Великий князь Константин» был поднят сигнал: «Кораблям и фрегатам прислать к адмиралу по два буйка с балластами и концами».

Этот краткий и очень малопонятный для сухопутных приказ означал коренную ломку в расположении флота. По этому приказу старшие штурманы должны были расставить по рейду буйки для указания новых мест всем крупным боевым судам.

Десять новых кораблей—«Гавриил», «Храбрый», «Чесма», «Святослав», «Ростислав», «Двенадцать апостолов» и другие—выстраивались так, что правые борта их были обращены к Северной стороне, чтобы обстреливать ее при неприятельской атаке, а пять старых кораблей и два фрегата должны были стать на место казни,—в кильватерной колонне по прямой линии между Александровской и Константиновской батареями, охраняющими вход на Большой рейд.

Вслед за тем писаря канцелярии штаба Черноморского флота спешно и рьяно принялись переписывать приказ, подписанный Корниловым:

«По случаю ожидания сюда неприятеля, который, пользуясь своим численным превосходством, оттеснил наши войска и грозит атакою северному берегу Севастопольской бухты, следствием которой будет невозможность флоту держаться на позиции, ныне занимаемой; выход же в море для сражения с двойным числом неприятельских кораблей, не обещая успеха, лишит только бесполезно город главных своих защитников,—я, с дозволения его светлости, объявляю следующие распоряжения, которые и прошу привести немедленно в исполнение.

Корабли расстановить по назначению в плане диспозиции; из них же старые: «Три святителя», «Уриил», «Селафиил», «Варна» и «Силистрия»; фрегаты: «Флора» и «Сизополь»—затопить в фарватере.

Фрегатам и мелким судам войти в Южную бухту.

Людей, остающихся от затопленных кораблей и от стрелковых и абордажных батальонов, оставить на кораблях для действия артиллериею по балкам северного берега до тех пор, покуда потребуется, а потом составить из них батальоны для усиления уже образованных.

Контр-адмиралу Вукотичу 1-му привести в исполнение затопление кораблей, когда это потребуется.

Все корабли, на позиции стоящие, также должны быть готовы к затоплению, буде придется уступить город».

Так был подписан смертный приговор флоту тем, кто вложил в него все свои недюжинные силы и знания. Ироническая усмешка истории блеснула тут, в этом приказе, непреклонно холодно и жестоко.

Уже с трех часов пополудни 9/21 сентября все шесть больших пароходов, заказанные и приведенные Корниловым из Англии, деятельно принялись растаскивать на буксирах огромные стопушечные корабли на новые места их стоянки. Они были похожи издали на трудолюбивых муравьев. Мирная бухта вся вспенилась от лопастей их колес, от их усилий точно по буйкам расставить громоздкие суда, неспособные к собственным движениям без силы ветра.

С кораблей-смертников пока еще не приказано было сходить экипажу. Их поставили со слабо теплившейся надеждой, что, может быть, неприятельский флот захочет все-таки форсировать Большой рейд, чтобы покончить с русским флотом путем боя с ним в его же убежище, как это удалось сделать Нахимову с турецкой эскадрой в Синопской бухте. Тогда несколько сот орудий, бывших на обреченных судах, могли бы сослужить большую службу, и гибель судов, если бы им суждено было погибнуть, отнюдь не была бы бесславной.

Хотя и старые, они, как крепость на якорях, могли бы еще быть грозными для эскадры союзников, достойно завершить свое боевое прошлое. Огромный корабль «Три святителя», поставленный в середине других судов, сражался при Синопе; фрегат «Флора» незадолго перед тем отбился в открытом море во время штиля от напавших на него трех турецких паровых фрегатов...

Небольшие пароходы, баркасы, боты и другие гребные суда густо бороздили поверхность бухты, перевозя с Северной стороны на Екатерининскую пристань орудия, зарядные ящики и другие тяжести...

Только часам к десяти вечера улеглась, наконец, суматоха, поднятая на Большом рейде и Южной бухте приказом Корнилова: флот приготовился встретить союзные силы на новых местах, ощетинился хоботами орудий, разжег калильные печи для ядер...

Но на все эти приготовления моряков подозрительно смотрел отдохнувший уже от впечатлений неудачного Алминского сражения и бессонно в походе проведенной ночи Меншиков. Он даже прислал вечером одного из своих адъютантов к Корнилову справиться, когда именно будут затоплены в фарватере суда. Корнилов ответил, что затопить суда недолго, было бы все к этому готово, сам

же думал все-таки как-нибудь повлиять на князя, чтобы спасти суда.

Однако часа через два разыскал его другой посланец князя с приказом перед тем, как топить суда, поднять над городом русский национальный флаг в виде сигнала.

Но ни в этот день, ни даже на следующий, 10 сентября, суда потоплены не были. У Меншикова и кроме них было много забот: перевозилась и переходила на обширное Куликово поле,—южнее четвертого бастиона,—армия со всеми обозами; составлялись списки потерь; подтягивались отсталые, записанные в «пропавшие без вести»; устраивались в госпитале раненые; выдавались ранцы и ружья из складов и цейхгаузов; наполнялись снова патронные и сухарные сумки...

Приходили депеши, что неприятель все еще не тронулся с места, но это значило только, что он, освобождаясь от своих раненых, готовится к дальнейшим действиям не спеша и обдуманно. Казаки и гусары встречали кавалерийские разъезды, освещавшие местность, даже у Бельбекской долины.

Утром 10-го близко ко входу в Большой рейд, но, конечно, вне выстрелов с береговых батарей, подошли два парохода союзников. Выстроившиеся совсем по-новому, в две кильватерные колонны, русские суда на Большом рейде их изумили. Они тут же ушли с донесением адмиралам Лайонсу и Гамелену, что русская эскадра приготовилась выйти, чтобы напасть на союзный флот.

Союзный флот собрал все свои силы и целый день усиленно готовился к бою и ждал нападения, несколько раз меняя для этого места.

Вечером те же два разведочные парохода подходили снова: картина на рейде не менялась.

Между тем штиль продолжался,—не было ни малейшего ветра. Это говорило союзникам только о том, что русские парусные корабли выступят утром, когда подует попутный им бриз.

Но в шесть часов вечера над библиотекой взвился трехцветный флаг,—сигнал на этот раз весьма печальный. Несколько видных морских офицеров сошлись у Корнилова, умоляя его повременить с исполнением жестокого приказа.

— Господа, я все сделал, что мог, но приходится покориться необходимости,—говорил им Корнилов.

— Мы навсегда опозорим себя в глазах противника!—возражали ему.—И население Севастополя, и моряки, и гарнизон—все будут подавлены, если мы сами затопим свои суда!

— Я приводил все эти доводы князю, но он ссылался на историю: часто бывало, дескать, то, что армии, высадясь в чужой стране, сжигали свои корабли, чтобы отрезать себе путь отступления... Мы же, дескать, сделаем гораздо умнее, если их потопим и тем обезопасим себя с моря от наступления... Он до того упорен в этом, что я уже перестал с ним спорить. Сигнал дан, надо свозить с кораблей экипаж и орудия, и вообще что можно успеть свезти... Потом прорубить отверстия в подводных частях и...

Корнилов сделал правой рукою ныряющий жест и отвернулся, чтобы скрыть приступ слабости.

Весь вечер и всю ночь деятельно перевозили с судов-смертников на берег орудия, снаряды, офицерские вещи, однако перевезти всего не удалось.

Из орудий были сняты только мелкие, потому что крупные при их огромной тяжести снимать спешно и в темноте было невозможно.

На каждом судне хранились большие запасы провианта, но об этих запасах никто, кроме коков и баталеров, даже и не вспомнил в общей суматохе.

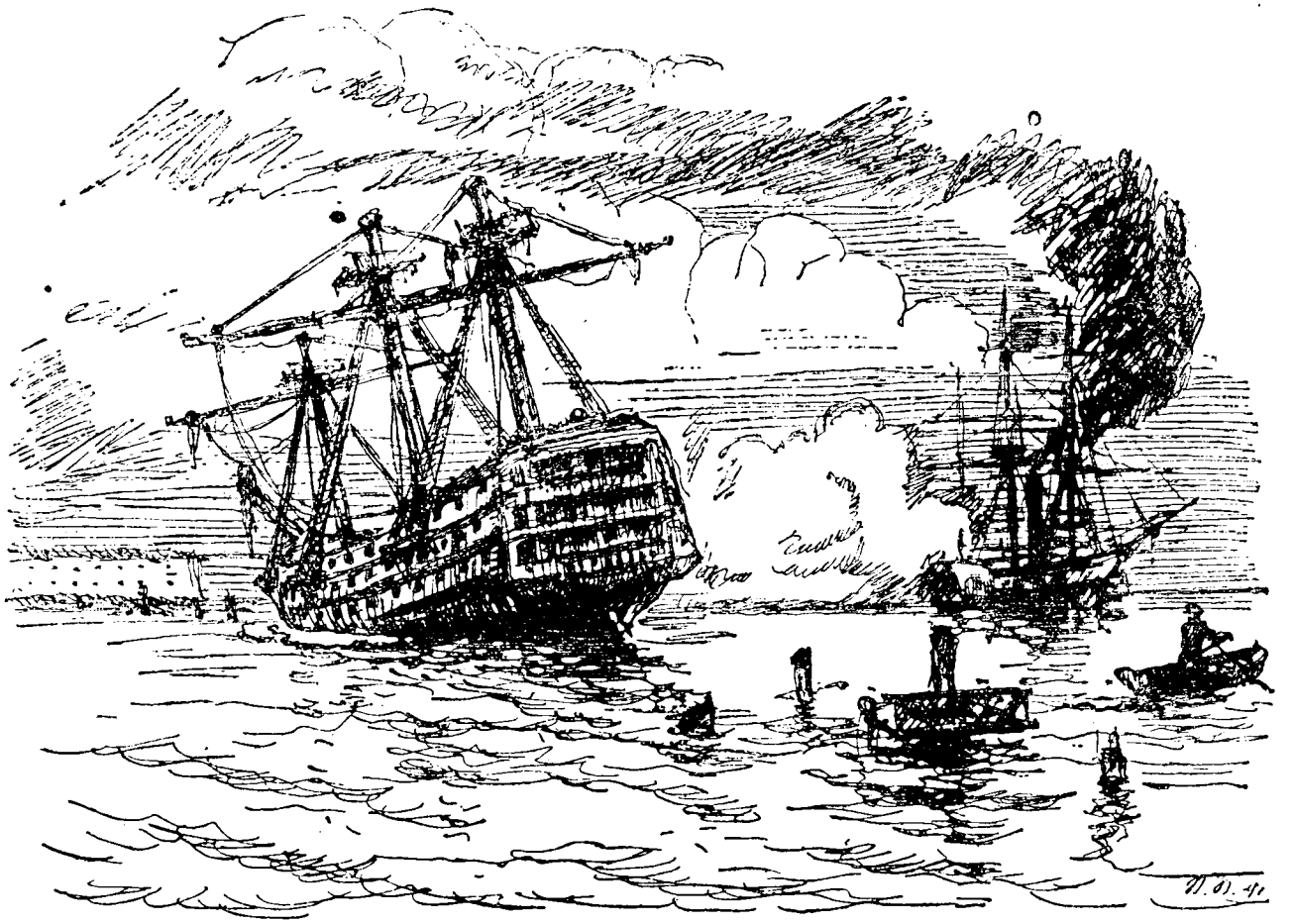
Почему-то упорно держалось мнение, что неприятельский флот, по депешам скопившийся в большом числе возле устья Качи, только для того именно и скопился и усердно готовится к сражению, чтобы утром 11-го числа атаковать Большой рейд и в него ворваться. Поэтому спешили потопить суда еще до рассвета, совершенно бросив их разгрузку.

Матросы прорубали широкие, на совесть, отверстия ниже ватерлинии. И вот на рассвете погрузились уже окончательно «Варна», «Силистрия», «Сизополь»... Только обломки мачт плавали на тех местах, где они стояли. За ними пошли на дно «Уриил» и «Селафиил». «Флора» держалась на воде до 8 часов, потом, покачиваясь и вздрагивая всем корпусом, точно от холода или боли, медленно скрылась в водяной могиле.

Только стоявший как раз над самым глубоким местом фарватера огромный «Три святителя» не выказывал ни малейшего желания расстаться с жизнью, хотя вода и вливалась добросовестно во все бреши, проделанные в нем топорами.

Капитан Зарубин, как и все севастопольцы, с большой тревогой наблюдал за всем, что делалось кругом. Для этого времени у него было довольно. Если по дому он,—человек отставной во всех смыслах,—ничего не мог делать, то ковылявшие ноги дотаскивали его все-таки до Приморского бульвара, откуда хорошо видны были и Южная бухта и вход на Большой рейд. То, что появились на улице раненые, говорившие, что «француза этого прет на Севастополь—темно! Даже так, что и сосчитать нельзя!»—его уже достаточно испугало. Капитолина Петровна только ахала, всплескивала руками, металась то туда, то сюда и искала, кого бы ей обвиноватить в том, что во-время не уехали, как люди. Дебу жил уже в казарме при канцелярии своего батальона; юнкер-сын пропадал на корабле; Варя и Оля еще меньше, чем их мать, знали, что надо делать.

Зарубин пошел на бульвар и в это утро—ближе к полдню, как был тут и накануне, когда



видел колонну кораблей, выстроившихся поперек рейда.

Что они готовятся здесь, при поддержке береговых батарей, встретить грудью эскадру врага, это было ему понятно; что в самой середине колонны, как бы в кореннике, стоит корабль «Три святителя», его корабль, на котором, будучи капитан-лейтенантом, он сражался с турками, было ему тоже и понятно и даже радостно вчера.

Но очень страшно показалось в этот день, 11 сентября, когда он увидел вдруг, что корабль его стоит уже только один... Куда же ушли остальные?.. И почему на его корабле так странно вдруг стали торчать мачты? Или это только кажется его глазам?..

Он стоял, облокотясь на высокий каменный парапет над бухтой. Близко никого не случилось, чтобы спросить, куда делись остальные шесть судов и действительно ли что-то там такое с мачтами или ему только так кажется.

Вдруг Зарубин увидал пароход из новых больших, построенных по русскому заказу в Англии. Этот пароход, «Громоносец», шел на сближение с кораблем. Но вот он сделал поворот, надымил из трубы черным дымом в небе, вспенил кормою воду в бухте, и странно, и неожиданно, и оглушительно грянул с него орудийный выстрел...

Ниже полосы черного дыма отплывал от него клубами белесый пороховой дым... И еще орудийный выстрел... И еще один... И корабль «Три святителя» вдруг покачнулся, пораженный несколькими ядрами в подводную часть, мачты его упали, и на глазах Зарубина он стал погружаться... Сначала медленно, потом быстрее, быстрее, наконец, исчез в воде... И Зарубин понял, что его корабль просто расстрелян и затоплен сознательно, по приказу, так же затоплен, как и остальные шесть...

Больному, изувеченному, слабому, старому, ему стало страшно, как малому ребенку, и, уткнув лицо в руки, лежащие на парапете, он зарыдал, как ребенок.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ФЛАНГОВЫЙ МАРШ

1

Отставить генерала Кирьякова от командования дивизией Меншиков не имел полномочий. Он даже не просил об этом и в том донесении царю, которое повез Грейг; когда же 11 сентября в полдень получены были депеши, что армия союзников оставила, наконец, Алминскую долину и направляется к реке Каче,—вдоль берега моря, как и раньше,—Меншиков приказал Кирьякову с его отрядом двинуться, обогнув Северную сторону, и быть авангардом армии, назначение которого наблюдать за противником, а князю Горчакову приказано было вести свой отряд как ядро армии на Инкерманские высоты.

Этот вывод войск из Севастополя, для того чтобы не дать союзникам запереть в крепости полевые войска, а, напротив сделать из этих войск для союзников угрозу их флангу и тылу и сохранить связь Севастополя с остальным Крымом и, значит, с Россией, и был началом отмеченного впоследствии в истории военного искусства фланговой марша Меншикова.

Теперь, когда между бухтой и открытым морем выросла непроходимая баррикада из затопленных судов, Меншиков мог быть спокоен за целость матросов и судовых орудий: взгляды даже самых воинственных флагманов поневоле обращались теперь с моря на сушу.

Но он издал еще два приказа: приготовить к затоплению также и все новые корабли, чтобы они не достались союзникам в случае, если атаки отразить не удастся; двум же Аяксам Черноморского флота стать во главе сухопутной обороны: Корнилову—северной части Севастополя, Нахимову—южной.

Командовать всем севастопольским гарнизоном в свое отсутствие Меншиков назначил снова «Ветреную блондинку»—Моллера.

Получив приказ, Нахимов тут же направился к князю. Он надел парадную форму; он нацепил бо́льшую часть своих орденов; он был торжественно-решителен.

Он стоял официально навытяжку перед главнокомандующим и говорил против обыкновения почти без запинок:

— Вы изволили, ваша светлость, зачислить меня в сухопутные генералы, но я—вице-адмирал-с! Я ничего не знаю ни в саперном деле, ни в деле обороны разных там бастионов-с... Я могу по своей неопытности во всем этом-с наделать таких непозволительных ошибок, что... что мне их никогда не простят-с!.. Вместо пользы я могу принести огромнейший вред-с, чего я боюсь!

— Пу-стя-ки!—Меншиков сделал гримасу.—Всякий вице-адмирал равен по своему чину генерал-лейтенанту. Кроме того, у вас под командой будут ваши же матросы, вам очень хорошо известные... Так что вы, Павел Степанович, напрасно волнуетесь.

Однако Нахимов продолжал обдуманно:

— В английском воинском уставе, ваша светлость, есть статья, прямо запрещающая назначать адмиралов на должности сухопутных генералов, так как это две разные военные специальности-с... Ведь никому не придет в голову сухопутного генерала вдруг взять и сделать адмиралом!

— Однажды,—сухо отозвался Меншиков,—это пришло в голову ныне царствующему монарху, и ваш покорнейший слуга,—он ткнул себя пальцем в аксельбант,—из сухопутных генералов сделан был адмиралом, о чем вы, как видно, забыли!

Нахимов, действительно, забыл об этом. Он был очень сконфужен и покраснел даже.

— Виноват, ваша светлость, я упустил-с, да... совсем упустил это из виду-с.

Тут он подумал, что князь, пожалуй, не поверит, будто он говорил без всякого умысла; что князь может найти в его словах намек на проигранное Алминское сражение, которое мог бы выиграть настоящий, коренной сухопутный генерал,—и покраснел еще гуще.

Меншиков заметил это. Он сказал полушутливо-полусерьезно:

— Древние римляне назначали на должности полководцев не только адмиралов взамен генералов, а даже людей, никогда не служивших в войсках... Возьмите хотя бы Лукулла, который был только богат и любил хорошо покушать.. Однако же он оказался очень удачливым полководцем, не так ли?.. Почему же? Да по той простой причине, что была у него, как у всякого богатого человека, привычка командовать людьми... И не нужно ему было совсем никаких знаний саперного дела, если была такая привычка.

— Пример вы привели разительный, ваша светлость!—пробормотал Нахимов и после двух-трех произнесенных еще фраз простился с князем, который собирался уже уезжать к отряду Горчакова.

Не снимая ни орденов, ни парадного вицмундира, новый Лукулл верхом поскакал знакомиться с Южным фронтом, который должен он был защищать, может быть даже завтра, против опытных полчищ союзников.

С молодости осталось у него представление о морской стихии как о беспредельной и необъятной, но стихия земная оказывалась еще необъятнее, как только пришла для него необходимость ее защищать.

Он взял направление на ближайший к городу седьмой бастион. Он думал о Лукулле, который, почти две тысячи лет назад, так же вот, должно

быть, трясся на лошади,—на equus'е[1] гнедой масти,—по малоазийскому бездорожью и проклинал неугомонного Митридата, как он теперь проклинает Сент-Арно.

Направо от него синела вполне известная ему и понятная Артиллерийская бухта, у входа в которую стоял корабль «Ростислав» с флагом контр-адмирала Вукотича 1-го, а налево раскинулась сгоревшая от солнца низенькая желтая трава, из нее высунулись повсюду белые известковые камни, и вдали копошатся люди,—матросы роют траншеи...

Левая штанина адмиральских брюк с широким лампасом все стремилась закатиться к колену; от шеи гнедого эквуса сильно пахло трудовым конским по́том; было жарко в парадной форме, хотелось пить...

Густорыжеволосый, приземистый, с искорками неукротимо-легкомысленной веселости в карих глазах, шахматист и любитель кутежей, капитан 2-го ранга Будищев встретил его рапортом, что все на вверенном ему седьмом бастионе обстоит благополучно.

— Благополучно, вы сказали-с?—поздоровавшись с ним, прикрикнул Нахимов.—Как же так благополучно-с, когда все орудия просто на земле валяются, как бревна-с?—и показал рукой на несколько таких орудий.

— Эти орудия только недавно привезли, ваше превосходительство, но лафетов к ним пока нет еще... и платформ тоже... Поэтому они и лежат пока на земле...

— Вот тебе на,—нет!.. Как же так нет?.. Неприятель наступает, а платформ нет?.. И даже лафетов нет! Чорт знает что-с!.. Как же так нет?

— Отчасти потому их нет, что не готовы еще, ваше превосходительство, отчасти же...

— Довольно-с!.. Одного этого довольно, что не готовы!

Но Будищев все-таки досказал:

— Отчасти же потому, что нехватает подвод.

— Да, вот видите! Подвод!—подхватил Нахимов.—Если на это нехватает подвод, то как же тогда защищать город?—Он махнул рукою вправо и влево, желая очертить хоть какое-нибудь определенное, как палуба какого-то огромного корабля, пространство из этой необъятной стихии земли.

— Придется забрать все подводы у обывателей, какие только найдутся, ваше превосходительство... А также лошадей, быков, что у кого имеется, раз город на осадном положении.

— Кто объявил город на осадном положении?—очень удивился Нахимов.—Разве был такой приказ?.. Я только сейчас от князя,—об осадном положении он ничего не говорил мне!

— Но ведь если даже не объявлен еще на осадном положении, ваше превосходительство, то вот-вот должен же быть объявлен, когда будет осаждаться противником!

Нахимов заметил усмешку, промелькнувшую в карих глазах и под короткими рыжими усами Будищева.

— Как же так, в самом деле-с, а?.. Князь из города уехал... Город на осадном положении не объявлен... Платформ и лафетов нет!.. Подвод тоже нет! И вот извольте-с тут защищать Южную сторону!

— Неприятель ожидается с Северной стороны, ваше превосходительство,—напомнил адмиралу Будищев.

— Ну, да-с, ну, да-с... С Северной,—поэтому все средства защиты идут туда... но однако-с почему-то приказано защищать и Южную сторону! Предполагается, значит, окружение сразу со всех сторон!

И для большей наглядности Нахимов прочертил над головой лошади круг левой рукой. Будищев снова приложил руку к козырьку:

— У нас еще и перевязочного пункта нет, ваше превосходительство... И хотя бы доставили с какого-нибудь судна бочонок уксуса с пенной водкой для перевязок...

— Вот видите, вот видите-с!—удивился Нахимов.—Ожидается с часу на час атака, а ничего нет! Как же так никто не позаботился раньше?.. Чорт знает что-с!..

До позднего вечера Нахимов ездил по бастионам Южной стороны и, наконец, совершенно усталый, с головой, ощутительно разбухшей, раздавшейся в висках от массы несообразностей, нелепостей, недохваток, обнаруженных им на этом необъятном пространстве желтой каменистой земли, которую нужно было ему защищать, появился на квартире генерала Моллера со смиренным вопросом:

— Какие приказания от вас, ваше превосходительство, должен я получить по обороне Южной стороны, мне порученной его светлостью?

Усталый вид Нахимова, его запыленная парадная форма и такой подчеркнуто официальный тон его вопроса—все это поразило «Ветреную блондинку» до чрезвычайности.

— Вот мы сейчас, Павел Степанович, мы сейчас, присядьте, пожалуйста, очень прошу... Мы сейчас пригласим Владимира Алексеича и втроем, втроем как-нибудь... обдумаем это... Закусите что-нибудь, а? Чайку стаканчик?.. Сейчас распоряжусь, чтобы Владимир Алексеич к нам... А каков князь, а?.. Ведь бросил нас!.. В такой, можно сказать, момент критический, когда неприятель подходит, взял и увел войска!.. Значит, что же нам теперь остается? Защищаться с теми резервными батальонами, какие есть... да вот еще матросы. На них вся надежда, Павел Степанович, на ваших матросов. Вот придет Владимир Алексеич, все обсудим...—не говорил

[1] *Equus*—лошадь (лат.).

даже, а просто как-то невразумительно лепетал старец, то и дело приглаживая пушистые белые волосы у левого плоского уха.

И, оглянувшись на дверь, от которой к уютному чайному столу, озаренному бронзовой лампой, ему удалось оттиснуть Нахимова, Моллер добавил полушопотом, чтобы не испугать своих семейных:

— А может быть, в этой вот моей квартире завтра мне и ночевать уж не придется... а будет тут ночевать уж этот... маршал Сент-Арно, а?

И в выпуклых бесцветных глазах старого генерала Нахимов увидел недоумение, страх и надежду, что он, боевой адмирал с двумя георгиями, молодой еще по сравнению с ним человек,—всего только в начале шестого десятка,—его успокоит и ободрит.

2

Старый Моллер не знал еще, что маршалу Сент-Арно было приготовлено уже другое место для ночлега.

Когда мадам Сент-Арно узнала, что армию при ее движении к Севастополю могли ожидать всякие неприятные сюрпризы со стороны Меншикова, она отказалась от прогулки к русской крепости в карете светлейшего. Она предпочла путешествие морем вдоль берега в своей удобной каюте на корабле «Наполеон».

Правда, целый день было беспокойство во флоте,—думали, что выйдет и нападет русская эскадра, но потом все успокоились. Передавали даже такой страшный слух, будто часть русских судов затоплена самими же русскими.

11/23 сентября, к вечеру, маршал Сент-Арно прислал жене изумительнейшей работы ночной столик с инкрустациями из перламутра и бронзы, взятый им, как он писал ей, «во дворце княгини Бибиковой», хотя Бибикова совсем не была княгиней и скромный дом в ее усадьбе на Каче отнюдь не был похож на дворец. Но это был последний подарок, который сделал маршал своей супруге: на другой же день, когда армия союзников подошла к Бельбекской долине, маршал уже был до того плох, что его поспешно перевезли на корабль «Наполеон». Хлопоты врачей около него вернули ему небольшой запас сил для того, чтобы продиктовать приказ, которым он прощался с армией, так как решено было отправить его в Константинополь, *не столько для того, чтобы лечить*, сколько для похорон в торжественной обстановке.

В своем последнем приказе Сент-Арно объявлял войскам, что, «побежденный жестокой болезнью, должен отказаться от командования» и что смотрит на это «с горестью, но мужественно...» «Воины,—говорил он,—вы пожалеете обо мне, потому что несчастие, меня поражающее, безмерно, невознаградимо ничем и, быть может, беспримерно!» Потом он в том же возвышенном стиле говорил о генерале Канробере, перечисляя его заслуги и подвиги, и заканчивал так: «В эти-то достойные руки будет вверено знамя Франции. Он будет продолжать начатое мною так удачно; он будет иметь счастие, о котором я мечтал и в котором я ему завидую,—вести вас на Севастополь».

Во французской армии, впрочем, давно уже все привыкли к тому, что Канробер носит жезл маршала если не в ранце, то в боковом кармане мундира; уход Сент-Арно ни малейшим образом не повлиял на движение армии, заранее рассчитанное так, чтобы притти к бухтам Балаклавской и Камышевой, где можно было поставить флот и на него опереться.

Союзники шли без обозов и парков. Все, что могло затормозить их движение, все, что было приготовлено для осады Севастополя, плыло морем, погруженное на военные транспорты. Их убитые были закопаны на Алминской позиции, их раненые были отправлены на госпитальных судах в Скутарийские казармы, обращенные в лазарет; их ничто не отягощало.

Может быть, впрочем, несколько тяжелее стали ранцы солдат, в которые переселилось все, пригодное для военного обихода, что было найдено в русских ранцах, брошенных на Алме: сапоги, белье, бритвы, мыло, дратва...

Русские тяжело раненные два дня оставались совсем без помощи; многие из них умерли там, где легли в бою; другие нашли в себе силы кое-как добраться до деревень севернее Алмы, откуда казачьи разъезды перевезли их кого в Бахчисарай, кого в Симферополь; но большинство тех, кто смог выжить без помощи врачей, без питья и пищи два дня, было подобрано на третий день санитарами союзников, врачи наскоро делали перевязки, раненых переносили на английский пароход и отправляли, как заранее решил Раглан, в Одессу, где они прежде всего попали на три недели в карантин и только после того были устроены в лазареты.

12/24 сентября фланговым маршем, одна в виду другой, мирно двигались две больших армии: армия союзников в сторону Балаклавы, армия Меншикова на пройденную уже однажды ею дорогу через долины Бельбека, Качи, Алмы к Бахчисараю.

Когда одна армия огибала Инкерманские высоты с севера, а другая с юга, расстояние между ними было не более пятнадцати верст, но ни Раглан, вполне подчинивший себе нового главнокомандующего французов, не решился на сокрушительный фланговый удар, который при удаче отдал бы в его руки город, ни Меншиков, стремившийся только к тому, чтобы Севастополь не был отрезан.

Они разошлись почти безболезненно: только часть обоза гусарского полка захвачена была ан-

глийским разъездом да уничтожен один артиллерийский парк.

С библиотеки морского собрания в сильную подзорную трубу было видно, как двигалась по узкой долине красная лента английских полков, а ближе к городу—синяя лента французских, но русских войск вблизи Севастополя уже не было видно.

Не успевшие выехать из Севастополя дамы, как флотские, так и сухопутные, были в отчаянии чрезвычайном.

— Вот так князь!.. Вот так подлец!—кричали они.—Бросил Севастополь и бежал!.. Изменник престола и отечества!.. Продал нас французам!

Десять паровых судов союзной эскадры, держась вне выстрелов береговых батарей, начали обстрел. Правда, снаряды не долетали до берега, как и снаряды с берега не долетали до пароходов, но эта совершенно напрасная трата боевых припасов наполняла город громом и пороховым дымом, воспринималась всеми как начало близкого конца, раз ушла из города армия.

Генерал Моллер кинулся сам разыскивать Корнилова затем, чтобы передать ему командование гарнизоном.

— Владимир Алексеич! Только вы один можете что-нибудь сделать при таких обстоятельствах! Распоряжайтесь, ради бога!—умолял он его.—Распоряжайтесь так, как будто меня и не существует вовсе!

— Что вы, помилуйте!—отговаривался Корнилов.—Разве будут меня слушать пехотные части?

— Как не будут, голубчик, что вы?! Как же они смеют не слушаться вас, если я сам вас прошу об этом?

— Но ведь им известен же приказ князя, что гарнизоном командуете вы, а совсем не я!

— А вы объявите... объявите по гарнизону, что вы—мой начальник штаба, вот и... И они обязаны слушаться вас! Обязаны!

Бедный Моллер был совершенно растерян.

Грохотали орудия; по улицам пополз едкий пороховой дым; метались голосившие, как на пожаре, женщины; двигались красные и синие ленты неприятельских войск по долине Черной речки...

Корнилов говорил Моллеру:

— Но ведь Павел Степанович старше меня,—он, я думаю, не захочет мне подчиняться...

— Я только что от него, голубчик, Владимир Алексеич! Я только что с ним обсудил это... Он твердит одно, что он—не пехотный генерал и боится что-нибудь напутать!.. Что́ он говорил вчера у меня, то говорит и сегодня. Он будет очень рад вам подчиняться, поверьте!.. Сейчас же объявим приказ по гарнизону и... распоряжайтесь, ради бога, как вам подскажет... подскажет ваш ум!

Хороший семьянин, каждый день писавший письма жене и детям и отправлявший их с курьером в Николаев, Корнилов несколько дней назад написал духовное завещание и запер его в шкатулку. Он приготовился к смерти. Он чувствовал себя свободным и полным энергии, несмотря на беспокоивший его ревматизм. Приказ о том, что он назначается начальником штаба гарнизона, был спешно объявлен всюду; одновременно и Севастополь объявлен был на осадном положении.

У Моллера накануне вечером было решено ввиду близости неприятеля прорубить отверстия в подводных частях кораблей, чтобы затопить их в случае, если неприятель возьмет город. Теперь, под грохот канонады, хотя и безвредной пока, матросы деятельно работали топорами в трюмах кораблей, заделывая прорубленные дыры временными пробками и конопатя их паклей, чтобы корабли не затонули раньше времени.

Но бо́льшая часть пароходов союзников обстреливала Северную сторону. Это дало Корнилову повод думать, что подготовляется атака Северной стороны. Он приказал немедленно стянуть туда несколько морских батальонов, которые предназначались раньше на Южную сторону.

Нахимов подсчитал тогда свои силы: оказалось, что у него только пять резервных батальонов, с которыми нельзя было и думать удержаться против целой армии противника. Он приказал привязать к палубам кораблей просмоленные кранцы, чтобы зажечь их, если корабли будут тонуть так же медленно, как «Три святителя».

Он становился час от часу мрачней и мрачней. И в то время, как Корнилов натянул, точно струны, до последней степени напряжения все нервы своего длинного и узкого тела, появляясь всюду, где, по его мнению, требовался зоркий глаз начальника обороны,—Нахимов глухо говорил подчиненным:

— Никак нет-с, города мы не отстоим-с!.. Мы должны думать только о том, чтобы флот наш не достался в руки врагов,—вот что-с!.. Мы должны найти достаточное время, чтобы его уничтожить.

Он все-таки оставался попрежнему только адмиралом.

Солдаты Литовского резервного батальона, занимавшие бастион Северной стороны, отнюдь не имели, на взгляд Корнилова, бравого вида, обычного для матросов, и, остановясь перед ними, он счел нужным прокричать им звонко:

— Ребята, помни: если надо будет умереть на защите этого бастиона, умрем до единого все,—но ретирады[1] не будет! А ежели кто из вас услышит, что я скомандую ретираду,—коли меня!

И он ударил себя кулаком в тощую грудь.

Вице-адмирал Новосильский назначен был им

---

[1] *Ретирада*—отступление, военный термин, заимствованный из французского языка.

командовать морскими батальонами; контр-адмирал Истомин с тысячью человек матросов день и ночь работали над укреплением Малахова кургана; укрепления росли всюду; орудия и зарядные ящики матросы тащили к ним на руках... Так прошел день.

Ночью была тревога; три ракеты и три орудийных выстрела подняли на ноги весь гарнизон,— думали, что наступают союзники. Союзники, правда, были отчасти виноваты в тревоге этой тем, что заставили своим продвижением ретироваться один батальон Тарутинского полка, оставленный для защиты Инкерманского моста через Черную речку, и батальон с факелами вошел в город, везя с собой и четыре своих орудия.

Утром выяснилось, что против Северной стороны не было неприятельских сил. Нахимов, поднятый, как и все, среди ночи тревогой, решил, что под ударом будет его, Южная, сторона, что тот критический момент, когда нужно уничтожать суда, уже наступил. А так как он в то же время был и командующий эскадрою из десяти новых кораблей, то он и издал утром такой приказ по эскадре:

«Неприятель подступает к городу, в котором весьма мало гарнизону. Я в необходимости нахожусь затопить суда вверенной мне эскадры и оставшиеся на них команды, с абордажным оружием, присоединить к гарнизону. Я уверен в командирах, офицерах и командах, что каждый из них будет драться как герой, нас соберется до трех тысяч; сборный пункт на Театральной площади. О чем по эскадре объявляю».

По приказу в первую голову был затоплен вспомогательный транспорт «Кубань», полный разных артиллерийских снарядов и дистанционных трубок к ним; затем—два брандера: «Кинбурн» и «Ингул».

Только что получив донесение об этом на своей квартире, только что успев подивиться этому распоряжению Нахимова, Корнилов увидел входящего к нему взволнованного контр-адмирала Вукотича 1-го, флаг которого был на «Ростиславе».

Остановясь у порога комнаты, совершенно официальным тоном строевого рапорта Вукотич проговорил глухо:

— Доношу вашему превосходительству, что корабль «Ростислав» со всеми орудиями на нем затоплен.

— Ка-ак затоплен? Почему затоплен?—почти испугался Корнилов, отшатнувшись.

— Согласно приказа по эскадре его превосходительства вице-адмирала Нахимова,—тем же строго строевым тоном ответил Вукотич и добавил:—Успели снести на берег только кое-какой багаж и часть провизии... Корабль быстро наполняется водою.

— Отставить!—закричал Корнилов.—Сейчас же спасти корабль!.. Я отменяю приказ Нахимова!

В это время в комнате появился сам Нахимов. Он не сомневался в том, что приказ дан им во-время, он только хотел просить Корнилова, не уступит ли он ему для защиты Южной стороны морские батальоны под командою Новосильского.

Вукотич выбежал спасать свой корабль, пока еще было не совсем поздно, а два вице-адмирала, которым вверена была защита города, остались с глазу на глаз и смотрели друг на друга безмолвно.

— Павел Степанович!.. Прежде-вре-менно! — сказал, наконец, придушенно Корнилов.

— Преждевременно, вы находите?.. А какая же есть надежда?—вполголоса отозвался Нахимов.

Они не протянули друг другу руки: забыли об этом.

— На-дежд особенных и я не питаю, конечно, но... одного штурма, думаю я, им будет мало, чтобы взять Севастополь... если только по вашему приказу не потопят все наши пловучие батареи, а также и снаряды к ним!

Нахимов молчал и, точно перед ним был не хорошо известный ему Владимир Алексеевич, а кто-то совершенно другой и незнакомый, удивленно раскрывал все шире светлые с косиной глаза.

— На каком основании отдали вы такой приказ по эскадре?

— Этот приказ отдал я потому, что на успех обороны не надеюсь,—в видах того, что...

— Прошу вас немедленно, сию минуту, отменить его моим именем!—перебил его Корнилов голосом более тихим, чем раньше: какие-то нервные спазмы сдавили ему гортань, и он едва протолкнул эти слова.

Нахимов тут же повернулся и вышел.

Через комнату помещались флаг-офицеры Корнилова, его адъютанты. Вызвав к себе одного из них, Корнилов начал было отдавать ему приказ тем же сдавленным голосом, но кончил криком:

— Поезжайте сейчас же... по всем командирам кораблей и... скажите им от... моего имени... что если хоть од-на пробка подводная бу-дет от-крыта без моего на то приказания, то я, я... я признаю командира того корабля за го-су-дар-ственного преступника, да!.. И в кандалах, в кандалах отправлю его в Петербург, к государю!.. Идите!..

3

Если Змеиный остров,—Левкè древних греков,— был связан с именем Ахиллеса, то Балаклавская бухта воспета была Гомером как гавань царства лестригонов, утесоподобных гигантов-людоедов, живьем сожравших очень многих спутников злополучного Одиссея, другого героя осады Трои.

Балаклава того времени была чистенький, хоть и небольшой греческий городок.

Узкий вход в бухту, между высоких скалистых берегов, выгодно мог защищаться против натисков с моря, и когда-то была здесь построена генуэзцами крепость. Крепость эту разрушили османы, однако и развалины ее были еще очень высоки, крепки и живописны.

Балаклава была зажиточна: все жители ее были рыбаками, и все имели сады, виноградники, огороды, пчельники, молочный скот, а под боком—Севастополь, неутолимый рынок сбыта.

Но балаклавцы не знали, что тишайшая и многорыбная бухта их была облюбована Рагланом для стоянки английского флота, как не знали этого и в Севастополе. Между тем 14/26 сентября утром полчища союзников показались на дороге, ведущей к ближайшей от Балаклавы деревне—Кадык-Кою. В то же время близко ко входу в бухту подошли два парохода союзников. Они держались все-таки осторожно, они опасались, не встретят ли огня скрытых за скалами русских батарей.

Правда, батарея в Балаклаве была,—вернее, батарейка,—из четырех небольших мортир. Командовал ею молодой поручик Марков. И гарнизон был: рота по мирному составу—восемьдесят человек, и инвалидная команда—тридцать. Подполковник Манто был начальником гарнизона, капитан Стамати—командиром роты. Надвигался же на все эти силы авангард английской армии—три-четыре тысячи пехоты.

Вся эта колонна шла спокойно и с тем невольным подъемом, с каким предвкушается людьми конец всякого долгого путешествия. С разных мест Англии, Шотландии, Ирландии съезжались в Дувр, затем—долгий путь Атлантическим океаном до Гибралтара, потом через все Средиземное море в длину до Дарданелл; Константинополь, Варна, Змеиный остров; долгие месяцы подготовки к походу в Крым, пока отправились; высадка у двух соленых озер в Крыму; проливной дождь на этом чужом берегу в течение дня и ночи; поход до Алмы; сражение, в котором потеряли так много товарищей; и вот, наконец, пришли к тому месту, к которому так долго стремились,—предельная точка, отдых...

Уже отчетливо был виден полосатый, черно-бело-красный, как везде в тогдашней России, шлагбаум, который вот-вот должен был торжественно подняться, а жители городка, столпясь по ту сторону шлагбаума, должны были стоять с хлебом-солью, как принято было у русских встречать начальство.

Так ожидалось всеми; но чуть только подошла колонна на триста шагов, раздался ружейный залп, и несколько человек упало.

Никого не было видно в стороне от шлагбаума, откуда раздался залп. Только сизые дымки здесь и там между больших камней и густых кустов.

Колонна остановилась, подалась назад, проворно убрала раненых в тыл, беглым шагом раздвинулась в стороны... Залп повторился.

Цепь фузелеров открыла пальбу по невидимому противнику, но, теряя людей, отодвинулась, только загнула фланги.

Офицеры видели по числу дымков, что противник немногочислен, но очень хорошо укрыт. И с полчаса тянулась бесполезная перестрелка, пока не зашли почти в тыл дерзким гарнизонным солдатам и инвалидам. Однако они отлично знали местность кругом: куропатками между обросшими мхом камнями и кустами шныряли они, продвигаясь к городу, отстреливаясь на ходу.

Колонна прошла шлагбаум. Казалось, что сопротивление совершенно подавлено. Но ударил орудийный выстрел с горы над городком, закряхтела над головами граната и разорвалась в середине колонны, переранив и убив почти два десятка стрелков.

Пришлось остановиться снова и выдвинуть свою батарею. Началась канонада. Четыре мортирки поручика Маркова по очереди посылали в красные ряды англичан гранаты, запас которых был невелик, а гарнизон медленно стягивался между домами и садами туда же, где стояли мортирки,—в эти живописные развалины крепости генуэзцев.

В это время другая колонна союзных войск, тысяч в пять, подошла к Балаклаве уже не по дороге, а с северной стороны, от горы Кефаловриси, и тоже выставила по гребню этой горы свои батареи. Наконец к двум пароходам-разведчикам придвинулось еще не меньше двадцати паровых судов, и большой трехпалубный винтовой корабль бортовыми залпами начал громить укрепление.

Четыре мортирки поручика Маркова стали действовать теперь и по колонне у шлагбаума, и по колонне на Кефаловриси, и по союзной эскадре... И часа полтора палили эти четыре задорные мортирки... Но снаряды иссякли, наконец, мортирки умолкли. Не слышно уж было и ружейных выстрелов...

Только тогда бросились на штурм густые цепи с горы, и на развалинах заалел английский флаг.

Подполковник Манто и капитан Стамати были ранены осколками гранат, с ними попали в плен человек шестьдесят солдат и инвалидов, а остальных увел лихой поручик Марков вместе со своими артиллеристами. В густых зарослях и в расщелинах скалистого берега скрывались они до темноты, а ночью пробрались в Севастополь. Занятие Балаклавы неожиданно обошлось англичанам человек в двести убитых и раненых, и сам Раглан захотел посмотреть на пленных.

— Только-то!—сказал он с недоумением.—Такая жалкая горсть людей сопротивлялась нам столько времени! На что же вы надеялись, безумец? Зачем вы затеяли перестрелку с целой армией?—обратился он к подполковнику Манто.

— Мы только выполнили свой долг, как могли и как сумели,—ответил Манто.

В бухту бойко вбежал небольшой паровой катер, кое-где сделал промеры глубины, потом выбежал снова в море, чтобы привести на место стоянки всю эскадру.

В небольшую Балаклаву двумя сплошными потоками—от шлагбаума и с горы Кефаловрисси—влились английские полки. Еще когда только началась перестрелка, почти все жители Балаклавы переправились на яликах на другой, мало заселенный берег и бежали в сады и виноградники; но когда канонада окончилась, они вернулись, чтобы приглядеть за своим имуществом.

Однако имущество их было уже в руках других хозяев, которые простую мебель ломали на дрова, более ценную отправляли на пароходы; срывали обои и распарывали матрацы, ища, не спрятаны ли где деньги и золотые вещи; платье разбирали по рукам; стенные зеркала разбивали на куски.

Плача, умоляли хозяйки домов прекратить этот разгром, но от них требовали сначала доказательств того, что они действительно хозяйки здесь, а когда доказательства представлялись, говорили: «Пустяки. Это все—наше теперь!», а особенно голосистым указывали на свои штыки или сабли. Женщины пытались жаловаться на солдат офицерам, но те хлопали жалобщиц по плечу и утешали насмешливо:

— Стоит ли вам хлопотать и убиваться об этих жалких лачугах! Вот возьмем Севастополь,—подарим вам дворцы и кареты!

Вся домашняя птица была изловлена и пошла на кухни. Молочный скот, к вечеру вернувшийся с пастбища, был убит на порции солдатам. Виноградники, сады, огороды были очищены в первый же день. Но у многих балаклавских греков было по нескольку колодок пчел.

В первый день этих колодок не трогали; до них добрались на второй день, когда было уже покончено со всеми ближними виноградниками и садами. Однако балаклавские пчелы защищались не менее яростно, чем маленький балаклавский гарнизон, тем более, что «дети королевы Виктории» только знали, что в ульях бывают соты с медом, но не умели вынимать эти соты. Право победителей не помогло им, когда они вздумали разламывать колодки, чтобы достать соты. Десятки, сотни тысяч рассерженных пчел напали на грабителей.

Те сначала отмахивались от них руками, как от мух, потом спрятали руки в карманы, спрятали шеи в поднятые воротники, уткнули лица в сгибы локтей,—ничто не помогало!.. Мириады пчел вились всюду; от них темнел день и жужжал воздух... Солдаты пробовали закутываться с головой в только что снятые с кроватей балаклавские одеяла, но пчелы проникали и под одеяла. Особенно пострадали от них шотландцы, голоколенные и в юбчонках. Они ожесточенно хлопали себя по ляжкам, визжа от болезненных укусов. Они вертелись, как бешеные, наконец, не выдержали и пустились в постыдное бегство. Многие бросались в бухту и погружались в тинистую воду до глаз, чтобы хоть в таком положении спастись от разозленных насекомых, но пчелы вились сплошною тучей и над водою у берегов бухты, но боль от укусов не проходила в воде. Многим потребовалась даже помощь врачей, до того они были искусаны и распухли.

Но когда покончено было со всем исконным балаклавским бытом, даже и с пчелами, начали ломать ограды и каменные стенки, выходящие на набережную, и рубить деревья в садах за этими стенками и оградами, чтобы набережную сделать шире. Под госпиталь отвели самый большой из домов; разметили остальные дома под квартиры начальства; расчистили от виноградных кустов поляны и на них установили красноверхие палатки—и начали разгружать транспорты, нагруженные еще в Варне тем, что было приготовлено для планомерной, методической осады Севастополя.

В то же время французская армия устраивалась по соседству, поближе к Севастополю, у «Прекрасной гавани» древних херсонесцев,—Камышевой бухты, куда вошел и весь французский флот.

Транспорты привезли французским войскам вполне готовые стены и крыши деревянных бараков; их оставалось только поставить и сбить гвоздями.

И в два-три дня на пустынных до того берегах появился целый густо населенный деревянный город, игриво названный французами Petit Paris[1]. В этом маленьком Париже на правильно разбитых прямых улицах запестрели даже и вывески маркитанток, парикмахеров и прочих необходимых для войск людей.

Набережную здесь сделали гораздо шире балаклавской, и скоро появились на ней выгруженные с транспортов огромные осадные орудия.

4

Утром 16/28 сентября в Севастополь явился посланный Меншиковым лейтенант Стеценко. Он пробирался из-под Бахчисарая, где был Меншиков, расположивший там свою армию. Ночью, пешком, оставив свою лошадь в сторожевом отряде на Мекензиевых горах, в окрестностях Севастополя, Стеценко с проводником-татарином прошел по дну нескольких глубоких, заросших лесом балок, вышел к долине Черной речки, перешел через эту речку по остаткам сломанного моста, видел, правда неясно, вдали неприятельский лагерь; перед рассве-

[1] *Petit Paris*—маленький Париж.

том наткнулся на разъезд, который принял тоже за неприятельский.

Разъезд оказался русский, и в офицере этого разъезда Стеценко узнал лейтенанта Обезьянинова, с которым был очень дружен. Один из казаков разъезда дал ему свою лошадь, и вот, подъехав к Малахову кургану, едва поднялось солнце, Стеценко не узнал кургана: так много было сделано там всего только за пять дней тысячью работавших там матросов.

Контр-адмирал Истомин был уже на работах сам, несмотря на столь ранний час. Но не успел Стеценко показаться вблизи него, как адмирал забросал его нетерпеливыми вопросами:

— Где князь? Где армия? Что делает? Почему бросила Севастополь на произвол союзников?

— Ваше превосходительство! Да если Севастополь за эти дни вообще укрепился так, как я это вижу здесь, то, поверьте, никакие союзники ему не страшны и без армии князя!—сказал Стеценко.

— Мы работаем, конечно, но как же так без армии князя?—испугался Истомин.—Куда ж пошла армия?

— Армия получила подкрепление в десять тысяч,—сказал Стеценко, улыбаясь этому испугу.— Кроме того, ожидается еще целая дивизия—двенадцатая, генерала Липранди.

— Хорошо, подкрепление... Это очень хорошее известие вы привезли. Но куда же потом пойдет эта подкрепленная армия?

— Она вернется в Севастополь через два дня.

— Правда? Вот это известие! Да вы просто архангел Гавриил, а не лейтенант!—Истомин обрадованно жал руку Стеценко.—Поезжайте сейчас же к адмиралу Корнилову, обрадуйте и его, как меня!

И Корнилов, действительно, был обрадован, так как и не ожидал увидеть Стеценко. Он тут же взял его с собою в объезд бастионов; он весело говорил на каждом бастионе, указывая на Стеценко:

— Вот адъютант его светлости приехал от него с доброй вестью! Армия возвращается к нам через два дня. Она теперь почти вдвое больше, чем была,—подошли подкрепления!.. И еще подходят!.. Пусть-ка попробуют теперь взять у нас Севастополь эти наглецы!

На радостях он, распорядившийся уже выдавать работающим на укреплениях матросам по две чарки водки, обещал в этот день выдать им еще и по третьей.

Когда же Стеценко, которому приказано было князем без промедления вернуться к нему с докладом о положении в Севастополе, искал на базаре своего проводника-татарина, он показался очень подозрительным всем харчевникам и торговкам.

Его окружили. Раздались яростные крики:

— Держи его, братцы! Это же явственный переодетый французский шпион!.. Зови скорейча полицию сюда!

Правда, у флотских офицеров и вообще-то не было принято заходить в такое слишком демократическое место, как базар, а тем более обращаться так к первому встречному с расспросами о каком-то татарине.

Явились будочники. Примчался даже сам полицмейстер верхом. Стеценко едва удалось убедить полицмейстера, что он—адъютант светлейшего, а не шпион.

В этот же день,—16 сентября,—другой адъютант Меншикова, штабс-ротмистр Грейг, приехал фельдъегерем в Гатчину к царю.

В своем рабочем кабинете гатчинского дворца Николай сидел за письменным столом перед картой Финского и Рижского заливов, видимо, озабоченный разгадыванием того, что́ именно может замышлять у русских берегов английский адмирал Непир.

За окнами лил и барабанил в стекла косой крупный дождь, отчего в кабинете царя было сумрачно; только отчетливо белел над камином большой мраморный бюст Бенкендорфа, выделяясь на фоне темномалиновых обоев, и слабо золотела рама образа Николая-угодника над походной кроватью.

Царь был в строго застегнутом сюртуке. Его широкий затылок отражался в трюмо напротив, а прямо к вошедшему Грейгу повернулось почти шестидесятилетнее, но без единой морщины лицо с полуседыми небольшими баками и тугими, закрученными на концах в два симметричных завитка усами.

Хорошо знакомые Грейгу стального цвета выпуклые глаза смотрели на него ожидающе.

— Ваше величество, честь имею явиться,— фельдъегерем из Крымской армии прибыл, штабс-ротмистр Грейг!—проговорил Грейг отчетливо и без запинки.

— Здравствуй, Грейг!—сказал Николай, принимая от него пакет с донесением от Меншикова.

— Здравия желаю, ваше величество!—невольно громче, чем ему хотелось бы, ответил, как в строю, Грейг, глядя на лоснящуюся широкую плешь царя, разрывавшего пакет.

Едва глянув в донесение Меншикова, царь поднял глаза на Грейга:

— Так сражение на Алминской позиции состоялось восьмого сентября?..

— Так точно, ваше величество...

— Как себя вели мои войска? Что ты видел?

Грейгу не было свойственно теряться. Офицер одного из самых блестящих гвардейских полков, он видел и слышал царя много раз. Придворный этикет тоже был ему знаком. Но он не отделался еще от запавшего в него в Севастополе г.

взволнованного голоса адмирала Корнилова, напутствовавшего его перед поездкой: «Скажите государю все, что вы знаете о положении дел! Государь должен ясно представить все наши недостатки, все наши болезни, чтобы приказать их исправить и вылечить!.. Честь России поставлена на карту... Что если карта эта будет бита только потому, что во-время не подоспеют к нам подкрепления?..»

И под звуки этого взволнованного голоса адмирала, мгновенно возникшие в нем с прежней силой, он твердо ответил царю:

— Войска вашего величества держались, сколько могли, но по своей малочисленности и плохому оружию не имели возможности противостоять долго противнику и оставили поле сражения... А некоторые полки даже бежали, ваше величество...

Царь бросил на стол донесение Меншикова, вскинул голову, как от удара в подбородок, и оглушительно крикнул вдруг:

— Вре-ешь, мерзавец!

Стального цвета страшные глаза выкатились, выпятилась нижняя челюсть и заметно дрожала, а длинная-длинная рука царя, сорвавшись с подлокотника вольтеровского кресла, обитого зеленым сафьяном, дотянулась до Грейга, схватила его за борт мундира, притянула несколько к себе и тут же отшвырнула его к стенке.

И Грейг, чувствуя себя побледневшим и готовым провалиться сквозь пол, услышал более тихие, сдержанные и медленные слова:

— Мои войска могут отступить, но бежа-ать... бежать перед противником, кто бы он ни был,— ни-ког-да!.. Запомни это!

И так как глаза царя глядели после этих слов на Грейга уничтожающе-презрительно, но неотрывно-ожидающе в то же время, то Грейг пробормотал вполголоса:

— Так точно, ваше величество,—войска отступили в полном порядке... И неприятель не осмелился преследовать их, ваше величество!

Николай наклонил свою тускло блестевшую голову так, что глядел теперь на послание Меншикова исподлобья, и глядел долго, с полминуты, показавшиеся целым часом Грейгу,—наконец, сказал совершенно спокойно:

— Что же ты остановился?.. Про-дол-жай!



ГЛАВА ПЕРВАЯ
САМОДЕРЖЕЦ

1

Великолепный фронтовик,—огромного, свыше чем двухметрового, роста, длинноногий и длиннорукий, с весьма объемистой грудною клеткой, с крупным волевым подбородком, римским носом и большими навыкат глазами, казавшимися то голубыми, то стальными, то оловянными, император Николай I перенял от своего отца маниакальную любовь к военному строю, к ярким раззолоченным мундирам, к белым пышным султанам на сверкающих, начищенных толченым кирпичом, медных киверах; к сложным экзерцициям на Марсовом поле; к торжественным, как оперные постановки, смотрам и парадам; к многодневным маневрам, хотя и совершенно бесцельным и очень утомительным для солдат, но радовавшим его сердце картинной стройностью бравой пехоты, вымуштрованной кавалерии и уверенной в себе артиллерии,—тяжелой, легкой, пешей и конной...

Будь он поэтом, он только и воспевал бы смотры, парады, маневры... но он не мог быть поэтом; он ничего не понимал в поэзии; он смешивал ее с вольнодумством, и если терпел во дворце наставника наследника-цесаревича, поэта Жуковского, то потому только, что тот был переводчик благонамереннейших немецких (а не французских) поэтов.

Из всего огромнейшего гардероба генеральских мундиров разных частей войск, один другого причудливее и краше, ему особенно нравился казачий: в нем он даже представлялся в Ватикане папе Пию IX, когда в 1845 году был в Риме. Он как бы спустился в папский дворец, чтобы монах в тиаре мог лицезреть последнее из воплощений Марса.

Он был тогда признанно могущественнейшим государем Европы, —значит, и всего мира.

Когда ему случалось бывать в собрании больших и малых немецких владык, начиная с короля прусского, стороннему наблюдателю могло бы показаться, что объединение Германии состоялось под верховенством русского царя,—с такими к нему относились преданностью и почтением коронованные особы Германии.

Умирающий император австрийский, престарелый Франц, умолял его на смертном одре не оставить без помощи своего слабоумного сына, который должен был после его смерти вступить на престол Австрии, и Николай великодушно обещал свою помощь.

Он щедро раздавал русские ордена высоких степеней знатным иностранцам; он до того открыто благоволил к служившим у него в армии немцам, что талантливый генерал Ермолов, отставленный им от службы, не то в шутку, не то всерьез говорил: «Очень желал бы, чтобы меня произвели в немцы».

Иностранной политикой при Николае во все время его царствования ведал граф Карл Вильгельмович Нессельроде; финансами до 1843 года—граф Егор Францевич Канкрин, приехавший из Германии в год смерти Екатерины II; шефом жандармов был граф Бенкендорф; министром императорского двора—граф Адлерберг; министром путей сообщения—граф Клейнмихель...

Члены «Священного союза», основанного его братом Александром в 1815 году в Париже,—Австрия и Пруссия,—до последнего года царствования представлялись Николаю надежнейшими форпостами, охранявшими Россию от зловредных революционных идей, рассадником которых являлась Франция.

Тут же после Июльской революции в Париже, когда был свергнут с престола Карл X, Николай послал графа Дибича-Забалканского в Берлин к прусскому королю, а графа Орлова—в Вену, к Меттерниху, для обсуждения вопроса об интервенции на предмет восстановления свергнутых Бурбонов.

Однако члены «Священного союза» весьма охладели за пятнадцать лет к идеям «союза» и от вмешательства в частные дела Франции уклонились. А тем временем подготовлялось и наконец разразилось восстание в Польше, унесшее и Дибича, назначенного его усмирить, и старшего брата Николая, Константина, неудачного претендента на несколько престолов, между прочим и на константинопольский, к чему готовила его еще Екатерина II, его бабка.

Польское восстание так напугало Николая, особенно после нерешительных и, может быть, намеренно неудачных действий Дибича, что граф Паскевич, взявший по чужому плану Варшаву, признан был спасителем отечества, и ему приказано было воздавать царские почести.

Венский трактат 1815 года, завершивший наполеонаду, имел в виду главным образом охрану европейских правительств от разрушительных идей французской буржуазной революции. Заветы этого трактата достались Николаю по наследству от старшего брата, а воплощенные идеи революции он видел однажды воочию, когда утром 14 декабря 1825 года они вышли на Сенатскую площадь в лице хотя и плохо построенных, но вооруженных офицеров и солдат.

Это событие прочно оформило внутренний облик Николая: оно дало ему резкую прямолинейность. Борьба с революцией, в какой бы форме и в какой бы стране она ни появлялась, стала его навязчивой мыслью.

Однако под влиянием революционных идей демократизировалась вся Европа, только Россия обречена была на умственный застой, потому что во главе ее и на страже тезисов венского трактата стоял двухметровый драбант[1], совершенно лишенный способности двигаться вперед сам и двигать вперед Россию.

Даже покровительство турецким подданным христианам простиралось только до бунта этих христиан против власти султана; но раз поднимался бунт, Николай готов был помогать против бунтовщиков и самому султану.

От султана же хотел он выдачи повстанцев-поляков, бежавших в Турцию, и не только поляков, а и венгерцев, кроатов и прочих, спасавшихся там от преследования своего правительства по политическим мотивам. По его настоянию Австрия требовала, чтобы Порта сняла с крупнейших командных должностей своих генералов: Омера-пашу, Измаила-пашу, Селима-пашу, на том основании, что они—ренегаты, бывшие революционеры, а между тем они пересоздавали турецкую армию по западным образцам, и первый из них, Омер-паша, кроат по происхождению, путейский инженер по образованию, был впоследствии главнокомандующим турецкой армией на Дунае, в Евпатории и на Кавказе.

Революционные движения на Западе вспыхивали то там, то здесь с 30 года по 37-й,—время чрезвычайно тревожное для Николая. Однако, зорко оберегая Россию в эти годы от «морового поветрия, охватившего Европу», Николай не забывал и другого завета, полученного им по наследству уже не от брата и даже не от сумасбродного отца, а от бабки. Этот завет—крест на «святой Софии»[1] и проливы в русских руках.

Когда Потемкин основывал Севастополь, он на западной окраине его приказал поставить огромный столб и на доске славянской вязью сделать четкую надпись: «Дорога в Константинополь». Это было вполне объяснимо: Потемкин был не только человек обширных планов, но в войнах с турками он провел последнюю часть своей жизни и умер на отвоеванной у турок земле.

Войну с турками, как и войну на Кавказе с горцами, которых поддерживали тоже турки, Николай получил тоже по наследству, но он всеми мерами стремился эти две войны привести к благополучному для себя концу.

Едва оглядевшись на занятом престоле, он уже двинул свои армии против турок и в направлении на Эрзерум, и, главное, в направлении на вожделенный Константинополь.

Эрзерум сдался Паскевичу; до Константинополя не дошел Дибич: от двухсоттысячной армии уже под Адрианополем осталось только пятьдесят, и то—в жалком состоянии. За неимением бинтов рвали грязные палатки на перевязку ран. Подвоза провианта почти не было. На Константинополь итти было не с чем. Пришлось заключить в Адрианополе мир. Первый сильный натиск на Порту сорвался.

Николай не сидел в это время в Петербурге,—он сам был в армии Дибича и видел своими глазами, что такое война. Он уехал в Одессу из взятой Варны только тогда, когда получил известие о тяжелой болезни своей матери, разбитой параличом.

Адрианопольский мир оторвал от Турции Грецию, Сербию, Молдавию и Валахию (первая получила полную самостоятельность, последние три—автономию); к России же отошли устье Дуная и Ахалцых, но самое важное, что было достигнуто этой войной,—России дано было право вмешиваться в дела Турции под видом защиты подвластных султану христиан.

Удачно был использован Николаем момент за-

[1] *Драбант*—воин, входивший в отряды, которые охраняли начальствующих лиц.

[1] *«Святая София»*—храм в Константинополе, построенный в 325 г. и превращенный турками в мечеть в 1453 г. Екатерина II замышляла завоевать европейские владения Турции и создать из них империю для своего внука Константина.

труднений султана, когда восстал против него египетский паша Мегмет-Али. Тогда, в 1833 году, в Ункиар-Скелесси, летней резиденции султана, был заключен договор с Портой, по которому за помощь против Египта Порта обязалась запереть Дарданеллы для военных судов западных держав.

Кстати, этот договор особенно восстановил против Николая и Англию и Францию как сильнейшие морские державы, и через семь лет, когда истек срок этого договора, по настоянию этих держав Порта не возобновила его.

Уже тогда, за тридцать лет до начала Восточной войны, положение было довольно близким к войне, и французский посол в Константинополе, генерал Гильеминo, занятый вопросом о высадке союзного десанта в Крыму, наметил для этой цели именно Евпаторию.

Но война не началась, потому что состоявшие в «сердечном соглашении» (entente cordiale) Англия и Франция перессорились тогда из-за Египта, на который слишком горящими, по мнению Англии, глазами вздумалось глядеть Франции.

Однако разногласия между сильнейшими морскими державами длились недолго; изворотливый руководитель английской политики лорд Пальмерстон не только возобновил с Францией прежние отношения, но еще и привлек ее подписать с Портой новый договор о проливах: военным судам, по новому договору, запрещалось проходить через проливы, но только до тех пор, пока Турция будет в состоянии мира.

Эта фраза не значила ровно ничего, но зато у «больного человека», как называл Николай Порту, одним опекуном стало больше, притом таким, от которого Николай старался держать Россию как можно дальше.

Но Пальмерстон не остановился на этом. По его совету, Австрия помогла Александру Карагеоргиевичу занять сербский престол; по его совету, Греция ввела у себя конституцию; Пруссия добилась от Порты равноправия протестантов с православными и католиками... И все это делалось помимо Николая.

Когда Николай увидел, что влияние его в Турции очень пошатнулось благодаря происка Англии, он вздумал отправиться в Лондон, чтобы там на месте договориться по турецкому вопросу с английским правительством. Это было в 44 году.

В Виндзоре устроили парад войск по случаю прибытия могущественного русского монарха, и на этом параде Николай имел случай не только показать свою безукоризненную посадку на коне, свою гвардейскую выправку, свой звонкий командный голос, но и любезно сказать королеве Виктории, что, в случае ее затруднений военного свойства, она может вполне рассчитывать на всю его армию.

Чтобы ознаменовать его посещение Англии, там выбили медаль с его профилем... Виктория писала королю бельгийскому Леопольду: «Этот приезд — великое событие для нас и знак большой учтивости к нам. Английский народ очень польщен этим визитом».

И сама королева, и руководители английской политики—Пальмерстон, Абердин, Роберт Пиль и другие—все сделали вид, что очарованы и любезностью, и прямотой, и даже величественной внешностью Николая. Но в разговоре с ними Николай все-таки не мог не коснуться своей давней идеи русско-английского соглашения на случай, если бы «больному человеку», наконец, вздумалось помереть.

И, заверяя их в чистоте помыслов относительно Англии, он невольно вселял к себе недоверие именно в этом, наиболее остром, вопросе. О том же, что Николай не помышляет начать когда-либо открытую борьбу с царицей морей, они отлично знали и без него, так как столетиями обеспечивали свою неуязвимость даже со стороны ближайших соседей, не только отдаленной России с ее слабым флотом.

Вопрос о Турции так и не был решен визитом царя, и «сердечного соглашения» с Англией Николай не достиг.

2

Быть не только императором-самодержцем, но еще и талантливым артистом на роль императора,— вот чем был особенно занят Николай за долгий срок своего царения.

Он охотно позировал художникам, и одному из них—Крюгеру—удалось изобразить его как исключительно картинного всадника на исключительно картинном коне.

Вставая рано, Николай не позволял себе отдыха днем: он желал быть образцовым императором, который неустанно печется о нуждах государства. Поэтому с самого утра он уже занимался в своем кабинете очередными государственными делами, принимал министров, клал свои резолюции на множество бумаг,—так до обеда в своей весьма многочисленной семье.

После обеда любил ходить пешком,—однако не бесцельно: одно время он направлялся обыкновенно из Зимнего дворца в Мариинский, где жила его старшая замужняя дочь, герцогиня Лейхтенбергская.

Была и еще цель этих прогулок: наблюдать, правильно ли по форме одеты встречающиеся ему офицеры, кадеты, пажи, юнкера, как они становятся во фронт и какова вообще их выправка вне строя.

Однажды во время такой прогулки он встретил юнкера инженерной школы.

— Откуда идешь так поздно?—спросил его царь.

— Из депа, ваше императорское величество!— громогласно ответил юнкер.

— Дурак!.. Разве «депо» склоняется?—крикнул царь.

— Все склоняется пред вашим императорским величеством!—еще громче и самоотверженнее гаркнул юнкер.

Этот ответ понравился царю. Он милостиво разрешил юнкеру итти дальше. Он вообще любил, когда перед ним склонялись, и его боялись даже его министры.

Некий тайный советник Вронченко, по старшинству в чинах заместивший вышедшего в отставку дряхлого и почти слепого графа Канкрина в заведывании русскими финансами, не выдававшийся решительно никакими талантами человек, уличный потаскун и циник, всей своей последующей блестящей карьерой и графством был обязан только тому, что однажды до трепета рук и ног испугался грозного вида Николая.

Был обычный прием министров во дворце в утренние часы. Вронченко был на этом приеме самым младшим по своему положению, между тем как доклады министров производились по старшинству. Он смело мог бы явиться тремя часами позже, но, по новости дела, приехал раньше всех. Бывший тут же, как управляющий морским министерством, Меншиков отпустил на его счет обычную для себя остроту, что новый министр финансов явился на доклад, видимо, прямо с ночных своих похождений на Невском проспекте.

Шутка вызвала общий смех; смех этот донесся до слуха царя, и он показался во весь свой рост в дверях кабинета с вопросом: «Что тут за шум?» Вид его был гневен и так испугал Вронченко, что он выронил портфель с бумагами для доклада, бумаги разлетелись по полу, и царедворцы теперь уж никак не могли удержаться от нового взрыва смеха при взгляде на трясущегося от страха, с выпученными глазами и разинутым, но безмолвным ртом министра финансов.

Однако царь сказал им недовольно: «Тут нет ничего смешного!»—и, приказав камер-лакею подобрать с полу бумаги, пригласил Вронченко к себе для доклада первым.

Но за свой верноподданнический страх перед самодержцем Вронченко был награжден не только этим вниманием к себе. В первый же новогодний день, к которому приурочивалось большинство наград, он получил звезду и ленту Александра Невского, а вскоре после этого графский титул.

Его предшественник Канкрин считался гениальным финансистом: при Канкрине рубль ценился выше al pari[1] на иностранных биржах, а за ассигнации[1] платили довольно большой лаж[2] внутри страны. Этот чудаковатый, вечно боявшийся простуды старик любопытен был еще и тем, что один во всем русском государстве упорно не хотел подчиняться жестким правилам присвоенной ему по генерал-адъютантскому званию форме одежды и ходил зимою в теплых, на меху, ботфортах александровской эпохи, в теплой, на меху, шинели с поднятым воротником, обвязанным шерстяным шарфом, и в неизменном зеленом шелковом зонтике над глазами, боявшимися дневного резкого света. Единственная форменная часть костюма на Канкрине была треугольная шляпа с султаном из белых петушьих перьев.

И строгий царь не раз при встречах делал ему замечания, но Канкрин отвечал уныло: «Разве, ваше величество, желаете вы, чтобы я заболел и умер?.. Кто же тогда будет держать в порядке русские финансы?»

Однако и самый гениальный финансист не сможет упорядочить государственные финансы при плохой торговле, а время Николая было время крупного вывоза за границу помещичьего хлеба, хотя хлеб и сильно упал в Европе в цене по сравнению с первой четвертью девятнадцатого века.

После наполеоновских войн Западная Европа пользовалась очень долгим, почти сорокалетним миром, если говорить исключительно только о международных войнах. Народонаселение везде сильно увеличилось, промышленность развилась в ущерб земледелию. На русский хлеб появился очень большой спрос, и соперничать с Россией в этом не могли еще тогда ни Соединенные Штаты, ни Индия, ни какая-либо другая из английских колоний.

Но Канкрин ничего, конечно, не сделал для развития хлебной торговли; к сожалению, он ничего не сделал и для развития железнодорожного дела в России; больше того: он оказался яростным противником рельсовых путей.

Старикам свойственна скупость, а дороговизна железных дорог просто испугала старого министра.

— И к чему, батушка, эти рельсы, когда их все равно на полгода занесет снегом? Напрасная трата денег, батушка мой!

По-русски он до конца дней своих изъяснялся с трудом и с сильным акцентом, но на немецком языке им было написано несколько ученых работ, главным образом по лесному делу, которое изучал он раньше, в Германии.

Он опасался, что железные дороги своей дороговизной расстроят так блестяще поставленные им русские финансы; поэтому, кроме вредоносного снега, он указывал Николаю на то, что рельсовые

[1] *Al pari*—означает, что курс бумажных денег равен обозначенной на них ценности.

[1] *Ассигнации*—бумажные денежные знаки, не подлежавшие обмену на металлические деньги.

[2] *Лаж*—надбавка, уплачиваемая за ценную бумагу сверх обозначенной на ней ценности.

пути подорвут исконно русский извозный промысел. Наконец, охраняя русские леса, которые неминуемо истреблялись бы для топки паровозов, он в записке, поданной царю, называет железные дороги «истинным недугом века»; ввозить же в страну каменный уголь, а также рельсы—значит вывозить из России большие капиталы... Но, чтобы окончательно убедить Николая, хитрый старик ссылался, наконец, и на вред дорог этих явно политический: «Железные дороги подстрекают к частым путешествиям без всякой нужды и таким образом увеличивают непостоянство духа нашей эпохи...» Закончил же он свою докладную записку так: «Следует не только считать превышающей всякую действительную возможность мысль о покрытии России целой сетью железных дорог, но одно уже предположение сооружения железной дороги от С.-Петербурга до Казани надо признать на несколько веков преждевременным».

Так один из наиболее талантливых и просвещенных министров Николая оказался гораздо более консервативным, чем даже сам Николай, который все-таки понимал, что этой «болезнью века» необходимо заболеть, и заболеть как следует, и России.

Дорога между двумя столицами, единственная построенная при Николае, начата была только после ухода в отставку Канкрина; обошлась она очень дорого казне и строилась очень долго—восемь лет! За то же время и за те же деньги можно было бы довести рельсовый путь и до Одессы, и до Севастополя, и до Кавказа, и кто знает, решился ли бы тогда Запад на борьбу с Востоком на юге России?

Но тот, кто требовал от всех в государстве только охраны узаконенного порядка вещей, как мог бы он собрать около себя в лице министров людей широкой государственной мысли? Если Канкрин сидел, как наседка, на собранных им государственных деньгах, то другие министры так же, как он, ревностно охраняли свои ведомства решительно от всяких новшеств. Они и не могли проявить самостоятельности ни в чем по той причине, что царь то и дело вмешивался в их работу,—работу отнюдь не созидательную, конечно,—а военным министерством управлял он всецело сам, предоставляя министру Чернышеву только исполнение личных «предначертаний» царя и за это награждая его всеми высшими степенями наград, включительно до титула «светлейшего князя».

Между тем, зачарованный бесподобной выправкой своих солдат, Николай не то чтобы не видел, он просто не хотел видеть того, как перевооружались западные армии, как вводился там новый рассыпной строй и многое другое.

Еще в 1834 году, после опытов с ружьем Роберта, отличавшимся гораздо бо́льшей скорострельностью, чем кремневые, раздались было робкие голоса за то, чтобы перевооружить и нашу пехоту, но генерал Муравьев докладывал особой запиской великому князю Михаилу Павловичу, что «введением сего ружья сделается совершенно противное тому, что надобно (ибо и ныне уже пехота наша без меры и надобности стреляет)», что «привычку сию надобно бы [illegible]вести в войсках, а не усиливать оружием, дающим способ к сему»; что «у нас с сим ружьем войска перестанут драться и недостанет никогда патронов...»

Так и не было введено это ружье из боязни, что русский солдат с ним испортится!

У Михаила Павловича была любимая поговорка: «Война только портит солдата». Но если война только портила солдата и если хорошее ружье способно было испортить солдата, то что же такое был николаевский солдат?

В мозгу у начальства этого несчастного солдата твердо укоренилось сознание, что ружье солдату давалось только для ружейных приемов,—в крайнем же случае для штыковых ударов. Так как ружейные приемы должны были делаться четко, хлестко, звонко, то винты в ружьях нарочно расшатывались, затравки рассверливались, и после всех этих поправок получалось оружие если и опасное вообще, то исключительно для тех, кто рискнул бы стрелять из него, зато совершенно безвредное для всякой живой и мертвой цели.

К стрельбе в цель относились тогда, как к пустой затее, зря отнимающей время от настоящего «обучения» войск. При заготовке боеприпасов тогда полагали, что даже для большой европейской войны русскому солдату за-глаза довольно ста сорока патронов на ружье на всю войну.

Нарезные ружья не были полнейшей новостью в эпоху Николая: они являлись вооружением егерских батальонов еще при Екатерине II, но начали выходить из употребления еще при Павле, отовсюду, даже из ружей, вышибавшем «потемкинский дух»: парезы в стволе мешали начальству рассмотреть как следует, чисто ли вычищен ствол. А ствол чистили тогда толченым кирпичом, и при Николае чистили так усердно, что ствол ружья стирался до толщины газетного листа. С такими-то ружьями и пошли в Крыму навстречу доброй половине Европы!

Знал ли Николай о том, что армии Англии, Франции да и других европейских держав перевооружаются штуцерами Гартунга или Литтиха? Знал,—ему доносили об этом посланники; но только к 1853 году, году начала Восточной войны, он приказал ввести штуцеры в количестве тысячи восьмисот на каждый корпус пехоты, состоявший из сорока двух тысяч человек.

Одежда солдат преследовала разные цели, кроме лишь удобства.

Ранцы из тюленьей или телячьей кожи, квадратные, полуметровые, носились на широких рем-

пях, которые перекрещивались на груди. Эти ранцы с полной выкладкой весили около пуда. Вообще же тяжесть всего носимого солдатом на походе составляла два с четвертью пуда, а при дожде, когда намокала шинель,—до трех пудов,—вдвое больше, чем в армиях французской и английской.

Грудь солдата была так сдавлена узкими мундирами и ранцевыми ремнями, что у многих во время походов открывалось кровохарканье от переполнения легких кровью.

Жалованья рядовой армейской пехоты получал два рубля с копейками в год, но у него было право, которого не имели даже высшие чиновники России, если только они числились по гражданской службе: это было право на усы! Даже офицеры инженерного ведомства (каким был, например, Достоевский) долгое время при Николае не смели носить усов как нестроевые; капельмейстеры как военные чиновники дирижировали усатыми солдатами; военные врачи, интенданты всех чинов были тоже безусые. Это правило было законом и соблюдалось строго.

Чтобы строевого военного даже в отставке можно было с первого взгляда отличить от презренного «рябчика»—штатского, ему разрешалось носить усы, но если кто из строевой службы переходил на нестроевую, тот прощался с усами.

Бороды же вообще никто не имел права носить, кроме духовенства, купцов и «простолюдинов». Женщины как лишенные усов и бороды от природы оставлены были властью в этом смысле в покое, но шляпки носить разрешалось только дворянкам и чиновницам; шляпка же, очутившаяся на голове купчихи или мещанки, вызывала привод в полицейский участок для составления протокола.

Оборона государства предоставлялась Николаем всецело живой силе войска. Все русские крепости, за исключением Севастополя, были в состоянии очень жалком, хотя сам Николай, еще будучи наследником, интересовался саперным делом и один из кабинетов его дворца носил название «инженерного» кабинета.

В числе крепостей был Свеаборг, предназначенный для защиты с моря Гельсингфорса, но крепость эта была при Николае в таком состоянии, что комендант ее не разрешал делать ни одного залпа в учебных целях, потому что от сотрясения при залпах неминуемо должны были рассыпаться крепостные стены.

И они рассыпались действительно, когда пришлось дать уже не учебный, а боевой залп по слишком близко подошедшей к безмолвной крепости английской эскадре адмирала Непира.

Консерватизм Николая был так велик и многообразен, что даже ни одна сколько-нибудь «крупная» постройка в каком бы то ни было городишке его обширного царства не могла начаться, если план и фасад ее по непременном представлении ему для просмотра не был им почему-либо утвержден. Хотели ли строить церковь, казарму, Дворянское собрание, институт «благородных девиц»,—все должно было итти на утверждение самого царя.

Наиболее способным строителем Николай считал Клейнмихеля, который угодил ему быстрой постройкой Зимнего дворца на месте сгоревшего.

Ему поручено было в одно и то же время наблюдать за постройкой трех совершенно различного вида сооружений: грандиозного Исаакиевского собора над Невой, который строил знаменитый архитектор Монферран, постоянного моста через Неву и вокзала железной дороги из Петербурга в Москву.

Но все эти три постройки велись так медленно, что это дало повод Меншикову пустить очередную остроту:

— Достроенного собора мы не увидим, но, может статься, его увидят наши дети; достроенный мост мы, пожалуй, увидим, но зато наши дети уж не будут его видеть, потому что он рухнет; а достроенной железной дороги не увидим мы, не увидят ее и наши дети!

Когда же железная дорога, хотя и очень поздно, все-таки достроилась, Меншиков говорил:

— У Клейнмихеля все поводы к вызову меня на дуэль; но я отвергну и пистолеты и шпаги. Я предложу ему сесть нам обоим в вагон в Петербурге и пуститься в опаснейший путь в Москву, а там уж посмотрим, кого из нас убьет при неизбежном крушении!

Крушение для них обоих готовила все-таки не Николаевская железная дорога, а, напротив, полное бездорожье юга России, одна из крупнейших причин севастопольского разгрома, после которого и тот и другой из этих деятелей эпохи Николая были отставлены от службы.

Понятие «взятка» было при Николае так неразлучно с понятием «чиновник», что даже министр юстиции граф Панин однажды дал взятку в сто рублей своему департаментскому чиновнику, выправлявшему какую-то вполне законную бумагу для его, Панина, дочери; а понятие «казна», то есть казенные деньги, было бок о бок с понятием «красть», и казнокрадство доходило иногда до таких размеров, что, например, от полуторамиллионного «инвалидного капитала» за один год буквально ничего не осталось, причем инвалиды из этого капитала не получили ни копейки.

3

Чиновников за казнокрадство судили, ссылали в Сибирь, а там они снова приглашались местным начальством писать в канцеляриях и составлять отчеты, так как грамотных людей было в русских глухоманях мало.

Когда в 1827 году временно заменявший Воронцова на посту новороссийского генерал-губернатора граф Пален испрашивал позволения приговорить к смертной казни двух контрабандистов, оказавших вооруженное сопротивление при аресте, Николай отменил этот проект приговора, написав на нем: «Виновных прогнать сквозь тысячу человек двенадцать раз. Слава богу, смертной казни у нас не бывало и не мне ее вводить».

Он как будто забыл в это время о пятерых повешенных им декабристах. Однако эти двенадцать тысяч палок стоили не одной смертной казни, так как не было и не могло быть человека, который был бы способен вынести такое «наказание» и остаться в живых.

И если смертных казней в буквальном смысле слова после повешения Пестеля, Рылеева, Каховского, Бестужева-Рюмина и Муравьева-Апостола почти не было уж больше при Николае, то очень трудно было бы сосчитать всех забитых насмерть палками и кнутами за время его царения.

Палки из лозняка—шпицрутены—имели строго определенную толщину (несколько меньше вершка в диаметре) и были ровно в сажень длиной. Осужденный со связанными руками и обнаженной спиной проходил сквозь строй солдат, которые били его палками по спине изо всей силы. Если палки ломались, их тут же заменяли новыми. Начальство смотрело во все глаза, чтобы били солдаты «на совесть». Когда избиваемый падал, его приводили в чувство, и наказание продолжалось... Только мертвого переставали бить. Однако кто же, кроме самого забитого насмерть, был виноват в том, что он не вынес нескольких тысяч палочных ударов?

Точно так же и наказание кнутом было как бы рассчитано на то, что человеческая выносливость неизмерима.

Кнутом били уже не солдаты, а особые мастера этого дела. Они выходили на площадь, к «кобыле», в старинной форме, присвоенной палачами: красных рубахах и широких плисовых шароварах. К «кобыле», толстой доске с прорезами для рук, палач прикручивал свою жертву, потом отходил от нее шагов на двадцать, на тридцать и торжественно-медленно подходил снова, как бы лениво волоча за собой длинный кнут из сыромятной кожи. Уже с первого удара он рассекал спину до позвоночника; собирая кнут, он пропускал его через сжатую ладонь левой руки, чтобы снять с него кровь. Потом отходил снова на двадцать-тридцать шагов и так же медленно и торжественно подходил для нового удара. Иногда, как бы чувствуя себя усталым, пил водку из штофа стаканом... При наказании обычно присутствовали священник и доктор. Если сплошь окровавленный, искалеченный человек переставал стонать, доктор давал ему нюхать спирт, и, когда находил, что он еще жив, истязание продолжалось.

Конечно, ни дворяне, ни чиновники, ни духовенство к телесным наказаниям не присуждались: они были опора трона. Не наказывались также и лица, получившие образование: Николай признавал все-таки, что интеллигенция довольно дорогой человеческий материал. Например, врачи. Он помнил, что во время русско-турецкой войны один врач приходился на шестьсот человек больных и раненых и неоткуда было их взять. В этом смысле он все-таки был расчетлив. Он каждый день убеждался в том, что содействовать высшему образованию в России необходимо.

Но когда раскаты революционного грома на Западе стали отчетливо слышны в России, Николай испугался, не слишком ли много и у него интеллигентов, весьма склонных, как ему было известно, к опасным шатаниям мысли.

Московский генерал-губернатор, князь Голицын, неосторожно брякнул в разговоре с ним, что не мешало бы в России ввести адвокатуру, так как без содействия адвокатов совершенно невозможно вести гражданские дела в русских судах.

Николай гневно воззрился на него своими оловянными навыкат глазами и прикрикнул:

— Подумай раньше, чем говорить такое!.. Ты долго жил в революционной Франции,—это тебя испортило... Вспомни, кто были Робеспьер, Мирабо, Марат и другие! Адвокаты! Кто и теперь особенно заражен революционными идеями там и в других странах? Они же,—адвокаты! И вот этих прохвостов ты советуешь мне расплодить в России?.. Не ожидал!

В Москве же он, столь возлюбивший полное единообразие форм одежды и даже человеческих лиц, заметил на улицах группы молодых людей в каких-то фантастических клетчатых пледах и в совершенно штатских шляпах и узнал, что это—студенты университета.

Московский университет был у него вообще на плохом счету в силу своей либеральности, и когда бы Николай ни заезжал в Москву, он никогда не посещал этого подозрительного, на его взгляд, рассадника просвещения. Но пледы и шляпы на студентах заставили его вызвать попечителя учебного округа Голохвастова и накричать на него за то, что студенты не носят формы.

Голохвастов хотел оправдаться:

— Трудно усмотреть за всеми студентами, ваше величество! Их слишком много.

— Много? А как именно много?—грозно спросил Николай.

— Свыше тысячи... Поэтому надзор за ними вне стен университета весьма затруднителен для университетского начальства, ваше величество.

— В таком случае,—сказал царь,—оставить для удобства наблюдения за ними только триста че-

ловек,— слышишь? Остальных же уволить!.. За исключением медиков,—добавил он, вспомнив, что врачи весьма необходимы на случай войны.

В университетах допускалась при нем тень самоуправления: должности ректоров и деканов были выборными; но после 48 года уничтожена была и эта тень, и, например, вместо выбранного деканом историко-филологического факультета либерального Грановского был назначен благонамеренный Шевырев.

Вместо же рекомендованной Голицыным адвокатуры Николай ввел жандармерию, назначив своего любимца Бенкендорфа шефом корпуса жандармов, и вот «голубые мундиры»—эти «всевидящие глаза» и «всеслышащие уши»—ретиво замелькали здесь и там в русской жизни, замораживая всякое вообще проявление самостоятельной мысли у самых ее истоков.

Действуя по особым инструкциям, «по именному приказанию его величества», жандармские офицеры, даже и малых чинов, зорко следили и за губернаторами, являясь властью над властью, крепчайшей сетью, опутавшей весь организм России. И если офицеров, чиновников, духовенство за те или иные преступления не гоняли сквозь строй, не били палками или кнутами на площади, то все воспитание и обучение их происходило при воздействии розог. Необходимо было с мечтательных детских лет выбить всякое вольномыслие, чтобы получить надлежащего николаевского офицера, чиновника и попа; поэтому секли жестоко и в кадетских корпусах, и в гражданских школах, и в бурсе, так же как секли солдат в полках, матросов на судах, крепостных в конюшнях.

Это был век розог, кнута, шпицрутенов, ссылки и каторги.

Когда-то, еще будучи четырнадцатилетним, Николай писал на тему, данную одним из его наставников, сочинение о стонке на троне—Марке Аврелии-Философе[1]. Ставши взрослым, он уже не писал никаких сочинений ни на какие темы, но, может быть, у него было немало минут, когда он вполне чистосердечно воображал себя именно стоиком на троне, подобным Марку Аврелию,—ложась спать в том или ином из своих великолепных дворцов на походную кровать, на тонкий тюфяк, набитый сеном.

Он не курил и не любил, чтобы около него курили его близкие; он почти не пил никаких спиртных напитков; пруссак до мозга костей, он всячески хотел казаться истинно русским, и потому щи и гречневую кашу предпочитал изысканным изделиям французской кухни: на ужин ему подавали только суп из протертого картофеля.

У него и маленький, всего девятилетний внук, первенец наследника престола, будущего Александра II, приучался нести военную службу всерьез и на деле: стоял иногда часовым у будки во дворе дворца. И когда начинался при этом очень частый гость Петербурга—дождь, маленький Николай (впоследствии умерший юношей) накидывал на себя огромную шинель гвардейца, лежавшую в будке, и все-таки выстаивал положенные два часа, пока разводящий не приводил ему на смену нового часового; а в окно дворца на сынишку, храбро высовывавшего нос из огромной шинели, на три четверти валявшейся на земле, испуганными глазами глядела его мать и заламывала в отчаянии руки: «Простудится!.. Непременно простудится!»

Ненавидя Францию за то, что она была поставщиком на весь мир революционных идей, Николай все-таки любил ходить во французский театр, и наоборот: будучи немцем в душе и по крови, имея немку жену, опираясь на немецкие государства, как на союзные, он терпеть не мог немецкого театра и никогда туда не ходил, хотя и французский и немецкий театры Петербурга одинаково содержались на казенный счет.

Иногда, но гораздо реже, чем французский, он посещал и русский театр. В целях борьбы со сплошным взяточничеством своих чиновников он сам разрешил к постановке пьесу «Ревизор», и хотя она очень не понравилась ни его министрам, ни всему высшему петербургскому обществу, а старый Канкрин ворчал на первой постановке: «Какая глупая фарса!»—все-таки Николай не позволял снимать ее со сцены.

За сверхпатриотическую пьесу однокашника Гоголя—Нестора Кукольника—«Рука всевышнего отечество спасла» Николай пожаловал автору бриллиантовый перстень, а за правдивую, но резкую критику этой пьесы закрыл журнал «Московский телеграф» Полевого.

По его «высочайшему» заказу Айвазовский написал картину «Синопский бой», Боголюбов—«Бой адмирала Корнилова на пароходе «Владимир» с турецким пароходом «Парваз-Бахру»; художник Машков командирован был на Кавказ в действующую армию Паскевича для увековечения его подвигов и написал картину «Сдача крепости Эрзерум»... Николай поощрял изобразительное искусство.

Он любил бывать и в оперном Большом театре, и патриотическая опера «Иван Сусанин» Кавоса пользовалась его неизменным вниманием.

Для него на слова придворного поэта Жуковского капельмейстер придворной капеллы, духовный композитор Львов, написал гимн «Боже, царя храни!» Три дня Николай то и дело подходил к партитуре этого гимна и играл основную мелодию его на флейте или пел слова присущим ему царственным тенором; несколько раз слушал его в

[1] *Марк Аврелий*—римский император (с 161 по 180 г. н. э.). Разделял учение римской философской школы стоиков, требовавшей пренебрежения к жизненным благам и непреклонного выполнения долга.

исполнении своей капеллы и соединенного оркестра гвардейских полков. Наконец объявил его национальным русским гимном.

Пушкин назвал его брата Александра I «кочующим деспотом», но мог бы сказать то же самое и о нем.

Древние полагали, что хорошо управлять можно только таким царством, размеры которого не превышают четырех дней конного пути от центра до любой из его границ.

Со времен Петра русское государство стало весьма эксцентричным, поскольку столица его расположилась на одной из его морских границ, размеры же его далеко превышали все скромные представления древних; однако Николай ревностно колесил по России.

Он не был только в Сибири, куда, начиная с декабристов, высылал в ссылку и на рудники тысячи людей, но он часто ездил на смотры и маневры в отдаленные концы Европейской России, причем не один раз бывал и в Севастополе.

Он добрался даже и до Эривани, за взятие которой дал Паскевичу титул графа Эриванского, и, посмотрев на низкие глиняные стены этой «крепости», удивленно спросил своего «отца-командира»: «Что же тут было брать?»

В Геленджике на смотру кавказских войск сильный ветер сорвал и унес его фуражку; на Военно-Грузинской дороге опрокинулся его экипаж, но, повиснув на краю пропасти, он сам счастливо отделался только ушибами тела; зато, когда он подъезжал к родному для Белинского и Лермонтова уездному городишке Пензенской губернии Чембару, кучер вывалил его из экипажа с меньшим успехом: Николай сломал при этом ключицу и левую руку, должен был пешком итти семнадцать верст до Чембара и пролежать там на попечении местных эскулапов целых шесть недель, пока не срослись кости.

Когда же стал поправляться, то захотел увидеть чембарских уездных чиновников, и пензенский губернатор Панчулидзев собрал их в зале того дома—дома уездного предводителя дворянства, в котором жил император.

Они сошлись, одетые в новую, залежавшуюся в их сундуках и пропахшую махоркой—от моли!—форму, очень стеснительную для них, кургузых, оплывших, привыкших к домашним халатам, и стали, выстроившись по старшинству в чинах, в шеренгу, при шпагах, а треугольные шляпы с позументом деревянно держа в неестественно вытянутых по швам руках...

Трепещущие, наполовину умершие от страха, воззрились они на огромного царя, когда губернатор услужливо отворил перед ним дверь его спальни, а Николай осмотрел внимательно всю шеренгу и сказал по-французски губернатору, милостиво улыбаясь:

— Но послушайте,—ведь я их всех не только видел, а даже отлично знаю!

Губернатору была известна огромная память царя Николая на лица и фамилии, но он знал также и то, что до этого Николай никогда не был в Чембаре, и он спросил его недоуменно:

— Когда же вы изволили лицезреть их, ваше величество?

И Николай ответил, продолжая милостиво улыбаться:

— Я видел их в Петербурге, в театре, в очень смешной комедии под названием «Ревизор».

4

30 марта 1842 года Николай собрал членов государственного совета на чрезвычайное заседание по крестьянскому вопросу.

Он вошел в зал совета одетый в блестящий конногвардейский мундир. С ним был наследник, а за великим князем Михаилом Павловичем послали нарочного.

Члены государственного совета все были в сборе, за исключением трех-четырех глубоких старцев, явно расслабленных и ни к какому передвижению неспособных.

На этом собрании Николай произнес большую речь о крепостном праве, называя его «злом, для всех ощутительным и очевидным, но прикасаться к которому теперь было бы еще более гибельным делом».

Он говорил, что «никогда не решится дать свободу крепостным, так как это было бы преступным посягательством на общественное спокойствие и на благо государства: Пугачевский бунт показал, до чего может дойти буйство черни. Позднейшие попытки в таком же роде были до сих пор счастливо прекращаемы, что, конечно, и впредь будет точно так же предметом особенной и, с божьей помощью, успешной заботливости правительства, но нельзя скрывать от себя, что теперь мысли уже не те, какие бывали прежде, и каждому наблюдателю ясно, что нынешнее положение не может продолжаться навсегда».

В этой перемене мыслей Николай обвинял в первую голову тех либеральных помещиков, которые давали и дают образование своим крепостным и тем вообще расширяют круг понятий крестьян.

Однако, хотя и не высказываясь за уничтожение крепостного права, Николай говорил о том, что «надобно приготовить пути для постепенного перехода к другому порядку вещей и, не устрашаясь перед этой переменой, обсудить ее пользу и последствия. Не должно давать вольности, но должно проложить дорогу к переходному состоянию, а с этим связать ненарушимое охранение вотчинной собственности на землю...»

будто государственных крестьян здесь казна продала помещику.

В наследство от своего брата Александра Николай получил военные поселения, насажденные и взлелеянные Аракчеевым; жизнь этих солдат-крестьян была беспросветно несчастна. Иногда они восставали и убивали свое начальство, как это было, например, во время холерного бунта в Новгородской губернии, но их усмиряли жестоко и беспощадно.

И однакоже все эти крестьяне,—крепостные, государственные, военно-поселенцы,— забритые в солдаты по рекрутскому набору или взятые в ополчение и украшенные здесь медными крестами на картузах и шапках, призваны были защищать своею грудью в Севастополе от натиска англо-французов и военную славу помещичье-чиновничьей России, и непогрешимость тридцатилетних действий самодержавного помещичьего царя Николая.

5

Когда Николай появился на свет, бабка его Екатерина II писала о нем своему старинному корреспонденту Гримму [1]:

«Сегодня мамаша родила большущего мальчика, которого назвали Николаем. Голос у него бас, и кричит он удивительно. Длиною он аршин без двух вершков, а руки немного менее моих. В жизнь мою в первый раз вижу такого рыцаря. Если он будет продолжать, как начал, то братья его окажутся карликами перед этим колоссом!..»

Поэт Державин не замедлил предречь ему великую будущность:

Он будет, будет славен!
Душой Екатерине равен!

Даже Пушкин, обласканный Николаем в 26 году, когда он разрешил ему выехать из Михайловского, счел себя обязанным отблагодарить его за это известными «Стансами»—напоминанием о его пращуре Петре:

Семейным сходством будь же горд,
Во всем будь пращуру подобен;
Как он неутомим и тверд,
И памятью как он незлобен!

Однако колоссального роста и могучего голоса оказалось далеко недостаточно, чтобы стать вторым Петром. Не помогли Николаю и огромная трудоспособность и память, если и отнюдь не «незлобная», то все же, по общим отзывам современников, выдающаяся.

Петр в умственном движении вперед своего народа видел прогресс, Николай—революцию; Петр ездил в Европу смиренно учиться, Николай—учить управлению государством одних и подбивать на раздел чужих земель других, а попутно поражать своей бравой осанкой и красотой казачьего генеральского мундира; Петр делал из пирожников министров и из простых кузнецов королей железа и стали; Николай—из людей государственного ума и способностей делал висельников и каторжников, из даровитейших поэтов—солдат.

Его долголетняя и упорная борьба с мыслью беспримерна в русской истории. Ее он начал с первых же дней своего царствования новым «уставом цензурным».

В уставе этом было 230 параграфов. Установлен был верховный цензурный комитет из трех министров: просвещения, внутренних и иностранных дел.

При выполнении всех правил этого устава литература русская могла существовать только едва дыша.

Но после европейской революции 30 года петля цензуры затянулась гораздо туже.

Николай, как и во всех областях управления, стремился делать все лично и в этой области.

Он не только был цензором Пушкина; он находил время быть строжайшим цензором решительно всей тогдашней,—правда, поневоле небогатой,—литературы, особенно журнальной. Ходатайства о разрешении на издание новых журналов или газет шли непосредственно к нему, и он клал большей частью резолюцию краткую, но выразительную: «Не нужно!»

Журнал Киреевского «Европеец» запрещен был с первой же книжки за статью его «19-й век»; запрещена была «Литературная газета» Дельвига; запрещен журнал «Телескоп» Надеждина, причем сам Надеждин сослан в Усть-Сысольск за помещение «Философического письма» Чаадаева, который по царскому приказу объявлен был сумасшедшим...

Цензоров, пропустивших те или иные не одобренные царем статьи, сажали на долгие сроки на гауптвахту. Даже о дороговизне извозчичьих такс нельзя было писать в газете, так как это принималось за порицание действий полиции, составлявшей таксы. Лиц, заведывавших цензурой, было гораздо больше, чем всех книг, выпущенных в царствование Николая.

Когда начала строиться железная дорога между столицами и появились первые робкие статьи об этом в газетах, Клейнмихель испросил у Николая, чтобы все, что пройдет через цензуру по этому предмету, шло потом к нему на утверждение и без его ведома не печаталось.

Служащие военного и гражданского ведомств ничего не смели отправлять в печать без разре-

[1] *Гримм Фридрих-Мельхиор* (1723—1807)—литератор, баварец, живший в Париже и состоявший в переписке с Екатериной II.

шения на то своего начальства. Гласности боялись, как источника революции.

Могли быть миллионные хищения; губернаторы могли буквально грабить откупщиков и купцов; десятки тысяч людей могли умирать от голода, как это было в ряде губерний в исключительно неурожайный 1840 год,—ни слова об этом нельзя было помещать в газете.

А один из цензоров не пропустил даже такой строчки в учебнике географии Ободовского: «На севере России ездят на собаках». Он написал на полях книги: «Как будто в России нехватает лошадей! И что подумают об этом иностранцы?»

Литература русская была разгромлена. Погибли Грибоедов, Пушкин, Полежаев, Марлинский... Когда был убит на дуэли Лермонтов, Николай сказал: «Собаке собачья и смерть!»... Ямская тройка с жандармами увезла в Вятку Салтыкова-Щедрина, который и пробыл там семь с лишком лет; угас Гоголь; за статью на его смерть был засажен под арест Тургенев, а через месяц отправлен в свое имение без права выезда оттуда куда бы то ни было; на каторге изнывал Достоевский; в эмиграцию ушли Герцен и Огарев; десять лет томился в Орской крепости, в Оренбургском крае, Шевченко, живописно-насмешливо сказавший о той эпохе, в какую пришлось ему жить:

От молдаванина до финна—
На всех языках все молчит,
Бо благоденствует!

Николай процарствовал лет тридцать, а заморозил Россию на шестьдесят.

ГЛАВА ВТОРАЯ
ДРУГОЙ САМОДЕРЖЕЦ

1

В 1829 году, когда длилась еще начатая Николаем война с Турцией, на русскую службу в армию Дибича хотел поступить волонтером двадцатилетний принц Луи-Наполеон, племянник Наполеона I, сын бывшего короля Голландии Людовика, брата Наполеона, и падчерицы Наполеона—Гортензии Богарнэ.

Когда доложили об этом желании молодого принца Николаю, он отказал наотрез; он даже топнул при этом ногою от возмущения: он вообще не выносил напоминания о ком бы то ни было из наполеонидов.

Луи-Наполеон рос при матери, вполне унаследовав от пылкой креолки склонность к безбрежным фантазиям при внешнем спокойствии, чудовищный эгоизм при самом любезном обхождении с окружающими, решительность замыслов, не всегда связанную с решительностью действий.

Гортензия Богарнэ получила воспитание в светском Сен-Жерменском институте, где основным предметом было l'art de plaire—искусство нравиться; это искусство она постигла вполне, его же передала она и своему сыну.

Между прочим она имела и талант к живописи и занималась ею под руководством знаменитого художника Изабэ. Отец же Луи-Наполеона тоже увлекался искусством и литературой, писал стихи, романы, кое-что из истории фамилии Бонапартов и прочее. Это тоже передалось будущему императору Франции.

Впрочем, муж Гортензии, Людовик, не считал Луи-Наполеона за своего сына: он даже не приехал к его родинам и крестинам. Как настоящего и подлинного отца Луи-Наполеона ему называли Деказа, будущего министра полиции, с которым познакомилась Гортензия, будучи одна на водах в Котерэ, в Пиренеях.

Впоследствии, разойдясь уже с мужем, Гортензия родила еще сына от графа Флахо; этот побочный брат Луи-Наполеона стал известен под именем графа Морни и деятельно помогал своему брату Луи взобраться на престол Франции.

Николаю было тогда восемнадцать-девятнадцать лет, когда он, сопровождая своего старшего брата победителя Наполеона, был в Париже в 1814 году. Он видел тогда и Гортензию, старавшуюся—и не без успеха—вскружить голову мягкосердечному Александру, и ее шестилетнего сынишку—Шарля-Луи-Наполеона. Он гостил даже вместе с братом в ее имении Сен-Ле, где окончательно очарованный Гортензией и ее умением петь под игру на арфе романсы, причем и слова этих романсов и музыка к ним были сочинены ею,—Александр обещал ей титул герцогини Сен-Ле, чего, конечно, без труда добился от Людовика XVIII Бурбона, им же и посаженного на французский престол на место отрекшегося и сосланного на Эльбу Наполеона.

Передавая лично патент на герцогство Сен-Ле Гортензии, к которой заехал на пути в Англию, Александр поручил секретарю русского посольства особую заботу о денежных делах герцогини и приказал сообщать непосредственно ему, если возникнут затруднения для нее в этих делах.

Такая забота о дочери Наполеона (которому вздумалось удочерить свою падчерицу, бывшую всего на четырнадцать лет моложе его) очень не нравилась юному Николаю.

Гортензия же, освободившись от всякой опеки со стороны своих близких (мать ее, Жозефина Богарнэ, первая жена Наполеона, неожиданно умерла), во всю ширь развернула свои познания в основном предмете аристократического Сен-Жерменского института, применяя их сразу в отношении нескольких венценосцев и их наиболее видных государственных деятелей.

Даже и сам Людовик XVIII был так очарован ею, что кое-кто советовал ему добиться ее развода с мужем и на ней жениться.

Однако, увлекаясь устройством своих личных дел, она забывала, что осталась единственной высокопоставленной бонапартисткой в Париже. Об этом ей часто напоминал муж в своих письмах, об этом ей напоминали немногие бонапартисты, приходившие к ней, чтобы пристыдить «дочь Наполеона», предавшуюся его врагам. Наконец случилось то, чего она не ожидала: бежавший с Эльбы Наполеон появился в Париже, и Гортензия как ни в чем не бывало помчалась к нему. Теперь она была снова дочерью Наполеона.

Однако названный отец принял ее сурово. Он говорил ей, что она действовала позорно, вымаливая титул и земли у его победителей; он ужасался, как могла она даже вообще о чем бы то ни было говорить с его врагами...

Гортензия тихо плакала и молчала. Что могла она сказать в свое оправдание? Сильная в нескольких искусствах, она хорошо знала только одну науку—нравиться, и жизненный опыт ее доказывал ей на каждом шагу, что это—самая полезная из наук. Единственное, что она могла сказать, наконец, это—будущность двух ее детей, за которых она болела сердцем.

Но тут огромная толпа, собравшись под окнами дворца, кричала все громче и громче приветствия Наполеону, еще не вполне доверяя слухам о его возвращении с Эльбы, и он, сорвав с места рыдающую Гортензию и грозно приказав ей мгновенно осушить потоки слез и начать очаровательно улыбаться, появился рядом с ней в окне. Народ принял ее за Марию-Луизу, народ снова видел императора в его спокойной семейной обстановке,—всё было в порядке,—народ заревел от восторга.

Наполеон примирился с Гортензией: в королевском замке Тюильри нужна была хозяйка для приемов, так как жена Наполеона Мария-Луиза бежала из Франции. Гортензия и стала этой хозяйкой на все сто дней новой наполеонады вплоть до конца ее при Ватерлоо.

Новое и явно непоправимое уже падение Наполеона заставило Гортензию выехать из Парижа, так как союзники отнеслись к ней теперь как к ярой бонапартистке, и она действительно впоследствии стала ею: культ Наполеона воцарился в замке Арененберг, в швейцарском кантоне Тургау, где она после долгих мытарств поселилась прочно.

В этом скромном замке сформировалась довольно сложная личность будущего противника Николая.

Если существует в богатой копилке человеческих типов этот странный тип заговорщика от молодых ногтей, глядящего кругом подозрительно и исподлобья, не доверяющего не только своим близким, но и самому себе, зорко следящего за каждым своим движением, чутко слушающего каждое свое слово, то именно таким прирожденным заговорщиком и был в свои молодые годы принц Шарль-Луи-Наполеон.

2

Старшего своего сына отобрал у Гортензии по суду Людовик Бонапарт и увез его во Флоренцию, так что все материнские заботы ее сосредоточились только на Луи.

В доме матери еще при жизни ее в Париже маленький Луи видел только наиболее знаменитых людей своего времени. Как м-м Рекамье[1] или Сталь[2], имевшие свои салоны, Гортензия стремилась привлекать к себе в дом людей, о которых говорил Париж. Среди них были не только наполеоновские генералы и полковники, но иногда и писатели, художники, композиторы, даже ученые, которые как истые французы умели быть интересными в разговоре с хозяйкой дома, несмотря на свою ученость.

С тех же пор как Гортензии предложено было выехать из Парижа и она попала под надзор дипломатических агентов «Священного союза», переезжая из города в город, она поняла, что время пения романсов под аккомпанемент арфы и время акварельных этюдов и автопортретов в манере ее учителя живописи Изабэ прошло надолго, если не навсегда.

По иронии судьбы категорический приказ короля Людовика XVIII о немедленном выезде из Парижа ей привез тот самый Деказ, которого молва называла отцом Луи.

Из иных городов ей приказывали выехать уже через два часа после приезда. Она была доведена этим до такого отчаяния, что говорила не раз:

— Мне остается только броситься в озеро!

Так усиленно считали ее ярой бонапартисткой, что ей ничего больше и не оставалось, как сделаться ею. И вместо былых поэтов и художников ее стали окружать исключительно бонапартисты.

Однако в 1821 году Наполеон умер в своем заточении. Казалось бы, с его смертью должна была умереть и бонапартистская идея. Нет,—она питалась надеждами на сына Наполеона от Марии-Луизы, на рождение которого поэты того времени написали тысячу триста стихотворений.

Провозглашенный еще в колыбели римским королем, сын Наполеона назывался теперь скромнее—герцогом Рейхштадтским и жил вместе с матерью при дворе императора Австрии—Франца.

---

[1] *Рекамье Юлия* (1777—1849). В ее салоне собирались, особенно во времена Наполеона I, представители французской интеллигенции.

[2] *Сталь Анна-Луиза* (1766—1817)—французская писательница, объединявшая вокруг себя интеллигенцию, настроенную оппозиционно в отношении Наполеона.

И признавая его первым претендентом на французский престол, Гортензия внушала своему сыну, что второй и совершенно бесспорный претендент—он.

Внушение—великая вещь; из заядлого труса оно может сделать героя, из Альдонсы [1]—Дульцинею, а принц Луи-Наполеон был от природы больших способностей. Ему не нужно было сомневаться в том, что он—принц: он был принцем; ему не нужно было сомневаться и в том, что он Наполеон: это было его имя; ему оставалось только силой или хитростью пробиться к престолу Франции: это он и сделал целью всей своей жизни.

История народов представлялась ему в свете сказочной судьбы его дяди, которому казалось, что он все смеет и все может, и потому он сделался тем, чем хотел,—покорителем Европы.

Фееричность и блеск его карьеры, несмотря на печальные последние шесть лет его жизни, буквально ослепляли Луи. Ничего, кроме этого, не видел он ни позади, ни впереди истории. История же прельщала его только своим драматизмом, шумихой войн, сильными жестами. Как и дядя его, он обучался артиллерии, как и дядя его, он верил в свою звезду.

И если отец его в его годы писал сонеты, если даже его идеал—дядя Наполеон I написал пьесу «Граф Эссекс», то он, возвратясь из Италии после подавления восстания, в котором участвовал вместе с братом, написал книжку «Политические мечтания» и продолжал заниматься артиллерией в Туне в Бернском кантоне.

Брата он потерял: тот умер от какой-то болезни, которой не переболел в детстве. Теперь исключительно на нем одном сосредоточились смутные, но тем не менее сильные надежды Гортензии.

Июльская революция в Париже изгнала Бурбонов; престол перешел к Орлеану, Луи-Филиппу. С английскими паспортами для себя и сына Гортензия отважилась явиться в Париж, повидаться с новым королем. Тот принял ее ласково, но попросил все-таки скрывать свой приезд с сыном.

Однако Гортензия отнюдь не хотела делать из этого тайны. Она устраивала совершенно открыто свои денежные дела, показывала теперь уже взрослому сыну все то великолепие, которое он видел только в детстве и которое «по праву», в чем она не переставала убеждать Луи, должно было принадлежать ему, а принадлежало Орлеанам. Наконец ей предложили выехать из Франции.

Между тем началась революция в Польше, и горячая голова Гортензии переполнилась мечтаниями о польском троне, который пока мог бы занять ее сын. Но революция в Польше была раздавлена войсками Паскевича, Варшава взята.

Временно можно бы было успокоиться двум «политическим мечтателям»—матери и сыну. Но вот неожиданно умирает в Вене болезненный сын Наполеона, герцог Рейхштадтский, и для Гортензии стало как нельзя более ясно, что теперь единственный претендент на престол Франции ее сын.

Но к престолу нужно было итти уверенными шагами, и беспокойная мысль Луи стала усиленно работать над планом военного переворота.

Он хорошо изучил истории всех вообще переворотов и отлично понимал, что стоило ему только овладеть Парижем, и он овладел бы всей Францией. Однако пробраться в Париж не представлялось возможным: там его хорошо за последний приезд рассмотрела полиция. Был выбран большой город в Эльзасе—Страсбург, был разработан план военного восстания. Гортензия сначала испугалась такой затеи сына, но ведь она так же верила в его счастливую звезду, как и он сам. Она согласилась, наконец, с его планом, тем более, что время шло, она старела, Луи шел уже двадцать восьмой год.

А между тем единственным человеком, на кого мог рассчитывать Луи, был полковник артиллерии Водре, который только своих подчиненных мог убедить в том, что в Париже произошла революция, что Луи-Филипп свергнут с престола, а нового императора, племянника великого Наполеона, они скоро увидят в Страсбурге и в артиллерийской казарме.

И принц Луи-Наполеон действительно явился, в сером сюртуке и треугольной шляпе—историческом костюме своего дяди, несколько загримированный под Наполеона I для полноты иллюзии и с теми немногими орденами на сюртуке, которые обычно сопутствовали изображениям корсиканца.

Принц Луи вошел в казармы не один, конечно, а со «штабом» из нескольких лиц. Водре принял его с подобающей торжественностью и тут же послал нескольких из своих подчиненных арестовать начальника дивизии и префекта.

Торжественно проследовал Луи в соседние казармы 46-го полка, но здесь провалилась вся затея. Даже простых солдат, ничего не слыхавших о революции в Париже, оказалось не так просто убедить, что перед ними новый король Франции, а вбежавший командир полка немедленно приказал арестовать и Луи-Наполеона и его «штаб» и отправить всех вместе с Водре в Париж.

Вместо трона Луи попал в тюрьму в ожидании суда. Это так испугало его мать, что она ринулась через все рогатки в Париж сама, чтобы умолить короля помиловать ее сына. Но королю и без того вся эта затея бонапартистов показалась более смешной, чем опасной. Он решил совсем не судить Луи, чтобы не поднимать излишнего

---

[1] *Альдонса*—крестьянка, которая в воображении героя романа Сервантеса, Дон-Кихота, превратилась в прекрасную даму Дульцинею.

шума около бонапартистской идеи, а отправить его как можно дальше от Франции.

Остановились на Соединенных Штатах, и король не только выпустил из тюрьмы претендента на свой престол, но еще и приказал выдать ему десять тысяч франков на обзаведение в Америке, куда он был отвезен на одном из военных судов. Даже полковник Водре и другие участники неудавшегося «переворота» не понесли никакого наказания.

Все-таки на Гортензии отразилась тяжело эта неудача с сыном и насильственная разлука с ним. Она заболела и уже не могла оправиться. Она умерла осенью 1837 года, но за месяц до ее смерти в замок Арененберг приехал к ней бежавший из Америки Луи. Похоронив мать, он остался один со своей мечтой о короне. Однако французское правительство обеспокоилось его приездом, и целый корпус войск придвинут был к швейцарской границе, чтобы силой поддержать требование немедленно удалить его из Швейцарии.

Швейцарцы начали готовиться к войне с Францией; категоричность требования им не понравилась.

Хотя такая готовность защищать его вооруженной силой как нельзя более пришлась по душе принцу Луи, но он все-таки решил избавить Швейцарию от явного разгрома и тайком выехал в Англию.

Великое искусство нравиться, унаследованное от матери, принц Луи пустился широко применять в лондонских высших кругах и в среде крупных политических деятелей.

Он видел, что отдых англичан—это только замена одного занятия другим, поэтому и он был чрезвычайно деятелен в отыскании все новых и новых знакомств с людьми, которые со временем могли бы быть ему полезны. Он стремился быть популярным, он заботился всячески о том, чтобы о нем говорили.

Когда в Лондоне появился командированный Николаем дельный и знающий военный инженер генерал-адъютант Шильдер, принц Луи добился знакомства и с ним, и не было тех льстивых комплиментов, которых ни расточал бы он по адресу русского царя. Но все это говорилось им только затем, чтобы Шильдер, по приезде в Петербург, доложил Николаю, что одного слова такого могущественного монарха достаточно было бы для него, племянника Наполеона, чтобы он, принц Луи, сверг ничтожного Людовика-Филиппа с французского престола.

И Шильдер действительно доложил об этом Николаю, но, как признавался он сам потом, гораздо лучше бы сделал, если бы не докладывал,—так раздражило это царя.

Между тем в 1840 году, как известно, французское правительство решило перевезти с острова св. Елены прах Наполеона во Францию. Для человека, только и жившего наполеоновской легендой, с детства воспитанного в культе Наполеона, это решение прозвучало, как приказ тени великого полководца: «Действуй!»

Из Лондона он поддерживал денежно две бонапартистские газеты: «Le Capital» и «Le Commerce»; эти газеты всячески старались поддерживать во Франции настроения в пользу бонапартистских идей. Он написал и выпустил книгу «Наполеоновские идеи», в которой стремился доказать, что Наполеон I был не кто иной, как «исполнитель заветов революции, ускоривший наступление царства свободы»; что весь он был поглощен одной заботой установления демократии, а войны его имели только одну цель: водворить мир.

Нетрудно убедить человека, который только и ждет, чтобы его убедили. Немногочисленным сторонникам принца Луи стоило только сказать ему, что настроение умов по ту сторону Ламанша всецело в его пользу, как он появился во Франции, только уже не в Страсбурге, а в Булони.

Увы, булонский путч был так же неудачен, как страсбурский! И принц Луи и его сторонники, кроме двух убитых, были захвачены, но теперь претенденту на французский престол пришлось уже выступить перед судом.

На суде он держал себя с достоинством и презрительно относился к судьям. Оскорбленные им судьи приговорили его к пожизненному заключению в крепости Гам.

Казалось бы, на этом и должна была закончиться карьера неудачного искателя престола Франции: сиди в крепости и жди смертного часа.

Но принц Луи обратил свою камеру в кабинет писателя по политическим и военным вопросам.

Он прочитал в своем заключении множество книг и написал книгу об Англии, книгу «Об уничтожении пауперизма», отнюдь не лишенную интереса для специалистов, книгу «О прошедшем и будущем артиллерии»... Он написал ценную статью о возможности прорытия канала на Панамском перешейке для соединения Атлантического океана с Тихим, на много лет предупредив практическое разрешение этого вопроса; писал статьи о сахарной промышленности; писал по ряду вопросов политических и в то же время вел обширнейшую корреспонденцию со своими сторонниками, пользуясь сочувствием, которое возбуждал теперь во многих своей судьбой.

Высланный за прахом Наполеона корабль бросал якорь в бухте острова св. Елены, когда принца Луи водворяли на всю жизнь в крепость Гам. Между тем прах Наполеона был привезен, и «Франция среди рукоплесканий и кликов радостных», как сказал Лермонтов, его встретила. Принц Луи ожидал даже, что эта всеобщая радость заставит правительство отворить дверь его камеры.

Ожидания оказались напрасными, однако сочувствие в народе к нему, родному племяннику великого полководца и императора Франции, очень выросло за эти дни торжеств. Партия бонапартистов весьма значительно увеличилась численно. И хотя принцу Луи пришлось пробыть в заключении около шести лет, все же бонапартистам удалось помочь ему освободиться, доставив ему в камеру костюм рабочего, в котором он и вышел из тюрьмы, неся на плече доску и прикрываясь ею от тюремного начальства на дворе и от часовых в воротах.

Через два дня он был уже снова по ту сторону Ламанша, а через два года избран был президентом Французской республики при помощи плебисцита: из семи с лишним миллионов голосов за него было подано около пяти с половиной миллионов.

Короля Луи-Филиппа сбросил, конечно, не он, а мощный взрыв февральской революции 48 года. Она длилась в Париже, как известно, всего два дня—23 и 24 февраля, вылившись в восстание республиканской партии против монархии и начавшись, как всегда, баррикадами в рабочих кварталах.

Испуганный Луи-Филипп отказался от престола в пользу своего внука, графа Парижского, но сделавшийся королем утром 24 февраля, граф Парижский перестал уже считаться им к вечеру того же дня, так как образовавшееся из членов разных партий правительство издало декрет: «Республика учреждается, как правительство Франции». И так же точно, как и в июле 30 года, революция в Париже не вызвала ни малейших протестов нигде во всей Франции.

Политический деятель того времени Жюль Симон, который отказался присягнуть на верность Людовику-Наполеону, так говорит об этом перевороте: «Агитация была устроена либералами в пользу республики, которой они боялись; а в последнюю минуту подача голосов была организована республиканцами в пользу социализма, который внушал им ужас».

Высшая власть сосредоточилась в руках Временного правительства, в которое вошли члены двух партий: республиканцев «парламентских» и республиканцев «демократических». Каждая из этих двух партий понимала республику по-своему: первая,—она называлась «национальной»,—не шла дальше всеобщего избирательного права и трехцветного знамени; вторая,—она называлась партией «Реформы»,—требовала социальной революции, немедленного улучшения положения рабочих и признала красное знамя.

Борьба между этими двумя партиями во Временном правительстве началась с первых же дней. Представители социальной партии преобладали в правительстве. Рабочие, вооруженные революцией, не сдавали оружия. Когда правительство издало декрет, чтобы все граждане имели право войти в национальную гвардию, рабочие вступили в легионы, и национальных гвардейцев оказалось в Париже до двухсот тысяч к середине марта. Возникли рабочие клубы, в которых коммунисты пропагандировали социальную революцию.

Чтобы ввести в жизнь формулу социалистов «право на труд», член правительства социалист Луи Блан составил декрет: «Правительство французской республики обязуется гарантировать рабочему существование посредством труда; оно обязуется обеспечить работу каждому гражданину». Вслед за этим декретом последовал декрет об устройстве «национальных мастерских».

Однако осуществить это не удалось, между тем число безработных росло с каждым днем: к маю их было уже до ста тысяч в Париже. Им давали земляные работы на Марсовом поле с платой по два франка в день, потом оставили совсем без работы.

Избрано было всеобщей подачей голосов Учредительное собрание из девятисот представителей, в котором большинство стояло за политику буржуазной части Временного правительства, то есть хотело демократической республики и высказывалось против социального переворота. Социалисты пытались силой установить правительство социальных реформ. Подавая петицию в пользу Польши, они объявили собрание распущенным и провозгласили вновь Временное правительство, составленное исключительно из вождей социалистической партии, как-то: Бланки, Барбес, Луи Блан, Кабэ, Прудон, Ледрю-Роллен и другие. Но национальная гвардия вытеснила их из собрания.

Тогда поднялось восстание рабочих, и началась гражданская война.

Это было в июне. Собрание поручило генералу Кавеньяку подавить восстание рабочих, и оно было подавлено с большою жестокостью. Бои на улицах были очень кровопролитны. Пленные расстреливались. Социалистическая партия перестала существовать.

Тогда Учредительное собрание выработало «конституцию 1848 года» сообразно с политическими взглядами большинства членов: права личности были провозглашены, социальные же реформы только обещаны. Основами республики были признаны: семья, собственность, общественный порядок. Наконец установлены были две власти, обе исходящие от французского народа: законодательная, передаваемая народом собранию из семисот пятидесяти представителей, избранных всеобщей подачей голосов, и исполнительная, вручавшаяся народом президенту республики, которому предоставлялось право назначать министров. Президент избирался по этой конституции на четыре года (как в Соединенных Штатах Америки).

Таким образом власть над Францией должна

была перейти в руки того, кто будет выбран президентом.

Начиная с февральских дней боролись за власть только две партии; они и выставили своих кандидатов в президенты: одна—бравого усмирителя восстания рабочих генерала Кавеньяка, другая—Ледрю-Роллена. Партию бонапартистов старались даже не замечать по ее малочисленности, но она в короткое время развила энергичнейшую деятельность.

Принц Луи-Наполеон постарался забыть старый политический лозунг: «Кто победит Париж, тот победит и Францию»; точнее,—он перевернул его. Получилось: «Кто победит Францию, тот победит и Париж». Он постарался победить Францию провинциальную, крестьян французских, а не парижских рабочих, крестьян, отнюдь не разбиравшихся в программах политических партий, но хорошо знавших, кто был Наполеон.

Делал ли при этом что-нибудь он лично? Очень немного: только руководил издали своими приверженцами, наиболее энергичным из которых был его побочный брат, граф Морни. Правда, он немедленно явился в Париж из Англии, чуть только дошла до него весть о революции и свержении Людовика-Филиппа; но Временное правительство попросило его удалиться из пределов Франции. Помня шестилетнее заключение в крепости Гам, он не заставил себя упрашивать и поспешил уехать. Он вернулся только тогда, когда всеобщей подачей голосов был избран в Национальное собрание в нескольких департаментах.

Временное правительство очень встревожилось этим и хотело издать приказ об аресте его, ссылаясь на закон 1816 года, по которому все члены фамилии Бонапартов изгонялись из пределов Франции. Однако возобладало мнение, что «закон, направленный против одного только человека, недостоин великого собрания». Тогда сложивший было уже свои полномочия и приготовившийся к новому бегству Луи-Наполеон остался скромно выжидать дальнейших событий.

Выбранный президентом таким громадным большинством голосов (за Кавеньяка было подано миллион четыреста тысяч голосов, за Ледрю-Роллена триста семьдесят тысяч), Луи Наполеон поднял голову.

Он почувствовал, что наконец-то мечта его жизни исполнилась: хотя и не император еще, он стал уже хозяином Франции. Ему было в то время сорок лет.

3

Никто не был более изумлен таким оборотом дела Луи-Наполеона, как император Николай, для которого этот принц все продолжал оставаться только незаконным племянником узурпатора дяди и пылким, хотя и неудачным деятелем итальянской революции 30 года.

Но с каждым новым донесением своего посланника во Франции, с каждым новым листом иностранных газет, которые им внимательно читались, раз дело шло об его исконном враге—революции, Николай изумлялся еще более, только теперь в обратную сторону. Он вполне искренно и с большим сочувствием говорил теперь о президенте Луи-Наполеоне: «Молодец!»—узнавая, как он расправляется с революционерами во Франции, хотя и поклялся, вступив во власть, «быть верным демократической республике и защищать конституцию».

Хотя Учредительное собрание и продолжало заседать попрежнему, но министры, избранные президентом из представителей монархических партий, уже посылали префектам в провинции приказы рубить так называемые «деревья свободы», запрещая всякие политические собрания, и французская армия, вопреки решению собрания, получила приказ атаковать Рим.

Годы президентства Луи-Наполеона прошли в непрерывной борьбе его с республиканцами и в подготовке Франции к провозглашению Второй империи.

Уже в мае 49 года в Законодательное собрание из семисот пятидесяти членов его было избрано пятьсот монархистов. Это большинство в полном согласии с президентом и министрами давило республиканскую партию, отнимая у нее средства действия, как-то: газеты, школы, всеобщую подачу голосов, право составлять политические общества.

Крупнейший из руководителей партии республиканцев—Ледрю-Роллен вынужден был эмигрировать в Лондон.

Постепенно и министров-орлеанистов президент заменил бонапартистами. Во всей Франции появились католические гимназии и начальные школы, а школы для девочек были поручены монахиням.

Президент оставался верен своему правилу опираться на крестьян. Он часто ездил по провинции и всюду говорил с большим искусством речи, проводя в них свои «наполеоновские идеи». Его агенты в толпе слушателей кричали: «Да здравствует Наполеон!..» Но с течением времени начали уже кричать как бы в соловьином экстазе: «Да здравствует император!»

Луи-Наполеон отнюдь не делал вида, что его смущают подобные проявления восторга толпы. Он не запрещал таких криков. Напротив, когда после смотра армии в Сатори в октябре 50 года кавалерия кричала: «Да здравствует Наполеон!», а пехота, по приказу командовавшего ею генерала, вздумала молчать, военный министр уволил этого генерала в отставку.

Луи-Наполеон все гуще окружал себя своими сторонниками, готовыми на самые энергичные

меры для восстановления империи, и на первом месте среди них стоял его брат, граф Морни, из которого вышел человек недюжинных способностей, биржевой спекулянт, организатор многих торговых и промышленных обществ, вращавшийся в среде практических людей, ясно видевший цели, к которым надо было итти, и средства, благодаря которым их можно было достигнуть.

Но он был только делец; среди военных же наиболее ревностным и способным сторонником наполеоновской идеи был полковник Флери, не способный отступать ни перед какой опасностью. Он отыскал в Африке Сент-Арно, и этот генерал был приглашен в Париж и сделан военным министром. А когда стал военным министром, то немедленно приказал убрать из всех казарм декрет 48 года, который давал Учредительному собранию права требовать вооруженную силу.

Префектом полиции был назначен сторонник принца Луи весьма исполнительный Мопа; к заговору примкнули и начальник парижского гарнизона генерал Маньян, и генерал Авостин—командир национальной гвардии, и много других видных представителей вооруженных сил Парижа: опыт неудачных путчей в Страсбурге и Булони отлично был учтен Луи-Наполеоном, и теперь он сделал все, чтобы бить наверняка.

В свою очередь и республиканцы организовали тайные общества для борьбы с президентом, который не имел желания сложить свою власть к концу четырехлетия, на какое был избран, но эти общества не только не были объединены одним руководством, но даже враждовали друг с другом. Между ними выделялись: партия бланкистов, социалистическая партия Луи Блана и коммунистический союз Карла Маркса.

Агенты правительства обвиняли эти общества в том, что они имеют склады оружия и готовят нападения на префектуры, а президент, открывая собрания по подготовке к выборам, говорил о «демагогическом заговоре, который организуется во Франции и в Европе».

Луи-Наполеон, убедившись в том, что все военные силы Парижа в его руках и ему будут послушны, решился не ожидать конца своих полномочий как президента и произвел переворот. 2 декабря 1851 года он издал декрет, которым Законодательное собрание распускалось и французский народ, в силу всеобщего избирательного права, призывался к избирательным урнам. Исполнительная власть восстала против власти законодательной.

Чтобы обеспечить себе успех без сопротивления, Луи-Наполеон приказал арестовать ночью главных вождей партий.

Однако свыше двухсот членов Законодательного собрания все-таки нашли возможность собраться и, что было вполне согласно с конституцией, постановили низложить президента. Солдаты арестовали депутатов собрания и отвели в тюрьму.

Большими отрядами, проходя по улицам и бульварам, солдаты на другой день стреляли залпами в безоружную толпу, даже в тех, кто выскакивал из квартир верхних этажей на балконы, чтобы посмотреть, что за стрельба на улицах.

В кварталах Сент-Антуан и Сент-Мартен, рабочих кварталах Парижа, не замедлили появиться баррикады, но для борьбы с целым парижским гарнизоном силы были слишком неравны.

Участником борьбы республиканцев с президентом в эти два дня 2—4 декабря депутатом собрания, Виктором Гюго, бежавшим из Франции, была написана в эмиграции книга «История одного преступления», полная потрясающих подробностей разгрома Парижа «маленьким Наполеоном», как он назвал президента в своем знаменитом памфлете.

По документам, найденным в Тюильри[1] в 1870 году, арестованных в связи с переворотом 2 декабря было свыше двадцати шести тысяч, из которых пятнадцать тысяч приговорены были к ссылке (девять с половиной тысяч—в Алжир, около двухсот пятидесяти—в Кайенну).

Так сделан был Луи-Наполеоном решительный шаг к трону. Подача голосов назначена была на 20 декабря, и семь с половиной миллионов высказалось за то, что «народ желает сохранения власти Людовика-Наполеона Бонапарта и дает ему полномочия на составление конституции на основаниях, изложенных им 2 декабря».

К этому можно было бы добавить: «Притом изложенных гораздо убедительнее пулями и штыками, чем словами».

Самый день 2 декабря был выбран принцем Луи потому, что в этот день совершена была коронация Наполеона I, и в этот же день произошло знаменитое Аустерлицкое сражение, в котором Наполеон разбил соединенные русско-австрийские силы и обратил в бегство императоров Александра и Франца.

Нужно было только получить полномочия на составление новой конституции, составить же ее не представляло труда. И она была составлена так, что президент, избранный теперь уже на десять лет, а не на четыре года, становился самодержавным властелином Франции.

Он был ответствен теперь только перед народом, объявлявшим свою волю плебисцитом, то есть был безответствен. Он имел право самостоятельно заключать договоры с другими державами, объявлять войну и осадное положение, назначать на все должности и издавать законы.

Все военные и гражданские чины должны были приносить ему присягу на верность как монарху.

---

[1] *Тюильри*—дворец в Париже, резиденция Наполеона III, сожженная коммунарами в 1871 г.

Дальше этого итти уже было некуда. Оставалось только вместо маловразумительного слова «президент» поставить пышное слово «император» и вместо «десяти лет» поставить знак бесконечности, имея в виду еще и династические интересы.

Такие результаты декабрьского переворота, конечно, обеспокоили не только революционные круги, но и всех вообще государственных деятелей Европы и особенно монархов. Больше всех возмущен был этим Николай I.

Пока Луи-Наполеон подавлял революцию во Франции, он был, конечно, и приемлем и даже более чем на месте в глазах Николая: он готов был думать, что даже и Бенкендорф и Клейнмихель при таких обстоятельствах не могли бы действовать энергичнее и умнее.

Но стремиться стать императором или даже королем... Это, по понятиям Николая, было бы во всяком случае оскорбительным для монархической власти, которая должна быть прежде всего наследственной.

— Пусть он будет всем, чем хочет, этот Людовик-Наполеон,— говорил он возмущенно,— хотя бы великим муфтием[1], если ему это нравится, но что касается до императорского или королевского титула, то я не думаю, что он будет настолько неосторожен, чтобы его добиваться.

Между тем, верный своим наследственным способностям нравиться, сам Людовик-Наполеон уже через месяц после переворота обратился к Николаю с письмом, похожим на докладную записку, которая составлена с таким расчетом, чтобы быть непременно одобренной начальством.

Он всячески выпячивал в этом письме необходимость сделать то, что он сделал, так как «деятельность партий угрожала Франции анархией, которая скоро могла бы обнять всю Европу...»

Если «всю Европу», то значит и Россию; недвусмысленно принц Луи давал понять Николаю, что он заботился и о его благополучии и покое, совершая свой кровавый переворот; что у него, президента Франции, с ним, императором России, вполне общие интересы, почему он и действовал «по-русски».

Свое письмо он заканчивал так: «Правительство будет особенно заботиться о поддержании внешнего мира и о более близких отношениях к кабинету вашего величества».

Конечно, Николай не замедлил ответить, что очень доволен энергичными действиями президента на пользу порядка в Европе, поздравил его с «доверием» к нему Франции, избравшей его снова на десять лет, уверил его, что всегда встретит он в нем «полную готовность соединиться для совместной защиты священного дела сохранения общественного порядка, спокойствия Европы, независимости и территориальной целости ее государств и уважения существующих трактатов».

Трактаты же были всякие; между ними был и Венский 1815 года, которым раз и навсегда воспрещалось представителям дома Бонапартов занимать престол Франции.

4

Однако престол Франции был занят и именно Бонапартом, президент ли он был, или король, или император: Венский трактат был нарушен, и Николай не мог этого не понимать; но он ни за что не хотел признать этого открыто. Просто он был так воспитан, что считал неприличным замечать чужое неприличие.

Со всех сторон Европы, из столиц, где были русские посольства, шли к нему тревожные депеши дипломатов школы канцлера Нессельроде.

Барон Бруннов, русский посланник в Англии, доносил, что в Лондоне все очень встревожены декабрьским переворотом, что там боятся войны, которую может начать новый полновластный самодержец Франции, начиненный, как бомба, «наполеоновскими идеями»; что трехсоттысячная армия французов будто бы уже начинает бряцать оружием, чтобы придать больше блеска ореолу племянника воинственного дяди.

Николай на этом донесении сделал такую пометку: «Я уверен, что если Франция начнет войну, то первые ее удары будут направлены не против Германии, а скорее против Англии, так как там это более вероятно, чем возможно».

Ему так хотелось, чтобы скорее развалилось «сердечное соглашение», что он уже принимал желаемое за необходимое, тем более что, по уверениям того же Бруннова, Англия была совершенно неспособна к сухопутной войне,—она не имела постоянных войск, а с кем же и воевать, как не с соседом, не имеющим большой армии? Именно только так и привык вести войны сам Николай с персами, с кавказскими горцами, с турками в 28 году.

Может быть, никогда за все сорок лет с падения Наполеона I дипломаты не работали так усиленно, как в 1852 году, стараясь как-нибудь выйти из того запутанного положения, в какое поставил их «Наполеон маленький».

Что он стремился к провозглашению во Франции второй империи—это было очевидно для всех; что вслед за этим неизбежно последует отнюдь не восстание в Париже, а война в Европе,—в этом не сомневались дипломаты, постигшие уже со свойственной им хитростью таинственный характер французского президента.

[1] *Муфтий*—мусульманский богослов, на обязанности которого лежало сохранение чистоты мусульманского вероучения.

И если император Николай с легким сердцем пророчил, что французская армия замаршрует на северо-запад, то политики Лондона заранее начали готовить все доводы к тому, чтобы набухающую грозовым электричеством тучу направить из французских гарнизонов на юго-восток.

Дипломаты не ссорятся с теми, кого опасаются; напротив, перед ними они рассыпаются в любезностях. Поэтому барон Бруннов предупреждал Николая, что если Людовик-Наполеон объявит себя императором, то Англия первая признает за ним этот титул. Австрийский министр иностранных дел, князь Шварценберг, тоже советовал русскому канцлеру признать империю, ссылаясь и на то, что «Людовик-Наполеон оказался лучшим и единственным охранителем порядка во Франции».

Пруссия заявила Николаю, что готова «действовать в полном согласии с Россией». Николай же был совершенно непреклонен и поручил русскому послу в Париже Киселеву отклонить принца Луи от пагубной мысли об императорском титуле, сам же лично внушал это французскому послу при своем дворе Кастельбажаку.

Переговоры дипломатов всё шли. Кипы бумаг, исписанных по этому вопросу, грозили обратиться в горы.

В мае 52 года Николай был в Берлине. К нему для переговоров все о том же «возможном изменении формы правления во Франции» был командирован президентом барон Дантес-Геккерен, убийца Пушкина, забывший уже свою былую верность Бурбонам и служивший Бонапарту. Николай принял его как бывшего офицера своей гвардии.

Барон Геккерен изложил надежды президента на поддержку императора России в его домогательствах, причем Луи-Наполеон обещал даже разоружение, чтобы уверить все державы в своем миролюбии.

Николай возразил, что, по его мнению, положение принца и без императорского титула превосходно; окончательно же высказаться по этому вопросу он обещал тогда, когда принц Луи действительно разоружится и будет соблюдать Венский трактат в том пункте, который касается наследственности власти.

Дантес поспешил заверить Николая, что Луи-Наполеон и не собирается передавать власть кому-нибудь из своих родственников, так как всех их он одинаково презирает; детей же у него, пока еще холостого, нет.

Между тем Николай видался не только с королем прусским, но и с юным Францем-Иосифом, чтобы укрепить нити «Союза». В том, что Людовику-Наполеону надо решительно отказать в праве передачи власти кому-либо из Бонапартов, все три монарха были вполне согласны.

Англичане же оказались гораздо более ветрены: они не видели особенной важности в этом вопросе, а престарелый фельдмаршал Веллингтон, когда к нему обратились за мнением, сказал ворчливо:

— Франция—и престолонаследие! Разве эти два понятия были там связаны в текущем веке?.. Наполеон I ушел в изгнание, Карла X выгнали, Людовика-Филиппа выгнали... Почему же все думают, что не выгонят этого нового Бонапарта? И почему так много говорят о престолонаследии, когда нет никаких вероятий, чтобы оно вообще состоялось когда-нибудь?..

Старик оказался прав, как известно; Николай же все старался убедить Луи-Наполеона оставаться попрежнему президентом и не объявлять Францию империей. Он весь был во власти «исторических фактов, которые не могут быть стерты словами», как писал он принцу.

Когда же к концу 52 года стало известно, что, несмотря ни на какие советы Николая, принц Луи твердо и бесповоротно решил принять титул императора, перья дипломатов заскрипели с удвоенной силой, чтобы решить, как должны себя вести при этом посланники России, Австрии, Англии, Пруссии; как должны будут писать к новоявленному императору монархи этих держав в частных письмах: «mon frère» («мой брат»), как они писали друг другу, или только «mon cher ami» («мой дорогой друг»), и можно ли позволить Луи-Наполеону наименовать себя «Наполеон III».

Последнее особенно возмущало Николая, который упорен был в своем взгляде на Наполеона Бонапарта как на обыкновенного узурпатора престола, лишенного всяких династических прав по Венскому трактату. Если же признать, что на троне Франции сидит Наполеон III, то, значит, нужно порвать Венский трактат и признать династию Бонапартов равноправной с династией Бурбонов. Кроме того: если счесть за Наполеона II давно умершего в Вене юного герцога Рейхштадтского, то где же и когда он царствовал, этот герцог?

Цифра «III» доводила Николая до бешенства. Относительно поведения посланников держав «Священного союза» он решил, что они могут явиться в Тюильри по приглашению президента, но должны будут тотчас, как только провозглашена будет империя, сложить свои полномочия. Обращение же монархов «Союза» к императору Наполеону III должно быть отнюдь не «mon frère», а только: «Его величеству, императору французов».

Пока шла вся эта сложнейшая и тончайшая по своим мотивам переписка, Людовик-Наполеон, окончательно подготовивший при помощи многочисленных своих агентов убедительнейшие результаты плебисцита, приступил к осуществлению мечты своей юности, мечты своей матери, мечты, взлелеянной в тихом замке Арененберг, в кантоне Тургау.

На всенародное голосование было поставлено

предложение сената о «восстановлении императорского достоинства в пользу Людовика-Наполеона и его потомства». Это было 21 ноября, а 1 декабря объявлены уже были результаты голосования; за предложение высказалось около восьми миллионов, против—около двухсот пятидесяти тысяч, и воздержалось от подачи голосов несколько более двух миллионов человек.

В ночь с 1 на 2 декабря, как только окончился подсчет голосов, сенаторы и другие высшие чиновники торжественно, в каретах, с факелами впереди, двинулись к дворцу президента, «волей народа» ставшего императором. Новый император произнес пышную речь. Он даже призывал к сотрудничеству «независимых людей, которые могли бы помочь ему своими советами и ввести власть в надлежащие границы, если бы она их когда-нибудь перешагнула».

Так 2 декабря 1852 года, в день годовщины знаменательнейших событий: коронации Наполеона I, битвы трех императоров при Аустерлице и кровавого переворота, совершенного им самим,—принц Луи-Наполеон стал императором Наполеоном III.

Он не забыл порадовать мать, которая не могла торжествовать теперь с ним вместе: на ее могиле в Рели, где она покоилась рядом с его бабкой Жозефиной, он приказал поставить заранее заготовленный великолепный памятник с надписью: «Королеве Гортензии ее сын Наполеон III».

Первой державой, которая признала его сразу и без всяких оговорок, была, как и ожидали, Англия. На полученном известии об этом Николай написал: «Это похоже на то, как дети говорят, когда боятся: «Дядюшка, боюсь!..» Любопытно, как наивно со стороны английских министров сознание страха. Это печально!»

Да, это оказалось действительно печально для России: «сердечное соглашение» не только не раскололось, но даже как будто еще более скрепилось спасительным страхом английских министров; но насколько именно печально, этого не определял и едва ли мог это определить слишком самонадеянный Николай.

Перед ним только все отчетливее начал вырисовываться облик загадочного сорокачетырехлетнего человека, которого причудливая судьба из революционера, каким он проявил себя в Италии, сделала палачом революционеров во Франции, из узника крепости Гам—самодержавным, как и он, императором, причем ни он сам, ни вся Европа ничего не сделали, чтобы воспрепятствовать этому вооруженной силой.

Толстый Людовик-Филипп при первой же вспышке февральской революции трусливо бросил трон, на который втащили его крупнейшие банкиры Франции—Казимир Перье, Лаффит и другие; этот, ясно было, отнюдь не уступит без сильнейшей борьбы трона, к которому стремился так долго, так упорно и которого добился, наконец, не благодаря банкирам, а «волей нации».

Николай видел Луи-Наполеона только в 1814 году, когда тому было шесть лет, и смутно помнил его; но теперь, после его «избрания», он пристально вглядывался в портрет его, на котором новый император был изображен в военном мундире с эполетами, с одинокой звездой на левой стороне груди и с лентой через плечо... Его открытый, широкий, лысеющий лоб, его тяжелый взгляд человека, верящего в себя и не верящего никому, кроме себя, его горбатый орлиный нос, закрученные в две острые шпаги усы и узкая, длинная эспаньолка, уже узаконенная во французской армии (высший признак самодержавности монарха!),—все это внимательно рассматривалось Николаем.

Своего соперника, и соперника сильного, потому что—изворотлив и хитер,—он чувствовал в нем; но он знал в то же время, что их разделяют слишком большие пространства немецких земель. Он думал, что война между ними если и возможна, то только в форме чисто дипломатической, себя же самого он считал столь же непревзойденным дипломатом, сколь крупнейший из его генералов—«отец-командир» князь Паскевич—считал себя непревзойденным стратегом и шахматистом.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ТРЕТИЙ САМОДЕРЖЕЦ— ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО КАПИТАЛ

1

Среди революционных бурь, пронесшихся в 48 году над всею Западной Европой, одна только Англия оказалась в полосе покоя; когда же движение всюду было задавлено превосходством физической силы, одна только Англия сохранила все свои свободы старого строя.

Она же дала приют Марксу и Энгельсу, как и вождям французской революции—Арману Барбесу, Луи Блану, Ледрю-Роллену и другим. Вождь итальянской революции Мадзини открыл даже в Лондоне подписку на заем для нового восстания в Италии; вождь венгерской революции Кошут совершал поездки по городам Англии, сопровождавшиеся неизменным триумфом. В Лондоне поселился и величайший поэт Франции—Виктор Гюго, как депутат Законодательного собрания, объявленный в дни декабрьского переворота Луи-Наполеона вне закона, причем назначена была даже награда двадцать пять тысяч франков тому, кто его арестует или убьет.

В Лондоне же открыл «Вольную русскую типо-

графию» Герцен, чтобы через несколько лет зазвонить в свой набатный «Колокол».

Англия выказывала полнейшую терпимость ко всем политическим партиям, теориям и взглядам. Она торговала со всем миром и колоссально богатела. Со времен войны с Наполеоном I ей не приходилось воевать в Европе, а колониальные войны, какие она вела, были так незначительны по размерам, что в России их назвали бы «усмирениями инородцев».

Англией, как это повелось издавна, правила родовая аристократия, правда, с небольшою примесью «манчестерцев», то есть представителей торгово-промышленного капитала.

В Англии офицерские места продавались,—явление чрезвычайно странное в XIX веке; но покупали их младшие сыновья аристократических семейств, чтобы иметь возможность существовать, так как по праву майората только старшие сыновья наследовали состояния своих отцов: огромные имущества аристократии таким образом не дробились.

Английские промышленники того времени были так могучи, что, например, манчестерские фабриканты тканей говорили: «Если бы найден был доступ на другую планету и если бы оказалось, что эта планета заселена человекоподобными существами, нуждающимися в одежде, мы взялись бы в самый короткий срок одеть всех обитателей этой планеты».

Могучая промышленность искала всюду новых и новых рынков сбыта. Англия добывала железа и чугуна гораздо больше половины всего, что добывалось тогда во всей Европе, и там приходилось этих металлов по сто восемьдесять три фунта на человека, в то время как в России—всего только по семи. Из миллиарда центнеров каменного угля, потреблявшегося тогда во всей Европе, одна Англия тратила на свою промышленность, на флот, на железные дороги шестьсот сорок миллионов. В России же каменный уголь тогда почти не добывался и не имел применения.

Половина всего ввозимого в Европу хлопка шла на манчестерские фабрики; две трети механических веретен в Европе для производства льняных тканей приходилось на долю Англии.

Одних только больших торговых кораблей к началу пятидесятых годов считалось в Англии до шестнадцати тысяч—почти половина всего торгового флота Европы.

Нигде в мире не было столь мощного капитала, как в Англии, и нигде в мире не было столь вопиющей нищеты, как там.

Замена ручной работы машинами позволила фабрикантам брать на работу вместо взрослых мужчин женщин и, к стыду Англии, детей.

Владельцы угольных шахт даже пятилетних ребятишек принимали в шахты: должность этих рабочих состояла только в том, что они отворяли двери при провозе вагонеток с углем. Этих несчастных малюток опускали в шахты с шести часов утра, и там они проводили в темноте и грязи целые дни, не смея отойти от дверей, к которым были приставлены. Каторжные работы в рудниках считались в те времена тягчайшим наказанием даже для взрослых, вполне сознательно совершавших те или иные преступления против общества, отлично зная при этом, как именно могут быть они наказаны по суду, если их преступления будут раскрыты.

Но в Англии того времени каторгой становилась жизнь детей пролетариата, едва только они открывали глаза на жизнь.

Они не видели неба, с утра до ночи несколько лет подряд работая в шахтах.

Годам к десяти они сами начинали возить по рельсам вагонетки с углем. Квершлаги шахт того времени были узки, низки, местами в них приходилось просто ползти на четвереньках, упираясь руками в вонючую грязь...

Так работали мальчики и девочки вместе, очень рано обучаясь у взрослых омерзительным ругательствам, пьянству, разврату, преступлениям... Становясь совершеннолетними, они наполняли тюрьмы.

Только в начале сороковых годов английский парламент удосужился заняться вопросом о детском труде в шахтах и запретил его. Но этим он поставил в безвыходное положение родителей, ибо многим семьям углекопов даже и такая явно каторжная работа детей казалась все-таки лучше голодной смерти, близость которой особенно грозно ощущалась во время торговых кризисов, заставлявших промышленников и фабрикантов прекращать работы.

Если манчестерские фабриканты готовы были одевать целые планеты, только бы нашелся к ним доступ, то манчестерским ткачам во время подобных кризисов вовсе не во что было одеваться и нечего есть.

В самом Лондоне, в котором было тогда два с половиной миллиона жителей,—в то время как во всей Англии только семнадцать миллионов,—на рынок между кварталами Уайт-Чепл и Бетнал-Грин еженедельно по вторникам родители приводили детей в возрасте от семи до десяти лет и предлагали их первому попавшемуся хозяину внаймы на какую угодно работу по пятнадцати часов в день.

Это был крикливый торг, так как родители с ругательствами вырывали друг у друга из рук хозяев, приходивших на рынок. Они всячески выхваляли своих детей и ругали чужих; они раздевали их торопливыми руками, чтобы воочию показать, как хорошо они сложены, какие они сильные для своих десяти лет (и семилетние шли при этом за десятилетних).

И ведь это совсем не был невольничий рынок;

это было только узаконенное обычаем место, где лондонская беднота избавлялась от голодных ртов.

А между тем кварталы Уайт-Чепл, Бетнал-Грин, Сент-Джайлс, населенные ужасающей беднотою, находились рядом с Сити, где высились роскошные особняки надменных аристократов и миллионеров-банкиров.

Кварталы бедняков в те годы казались совсем покинутыми всякою вообще администрациею. Узкие улицы здесь не мостились; площади представляли собой гнилые болота; домишки были нередко сколочены просто из ящичных досок, и в этих домишках целое семейство имело нередко только одну постель.

Если в Сити умирала ежегодно одна женщина на шестьдесят, то в Уайт-Чепле—одна на двадцать восемь. Если там все было рассчитано на то, чтобы продлить человеческую жизнь, то здесь все соединялось, чтобы сделать ее как можно короче.

Нечего и говорить о том, что кварталы бедноты кишели проститутками, которые никому из мужчин не давали проходу, чуть только темнело и зажигались уличные фонари. На улицы выходил и плотными толпами двигался все тот же голод.

Рабочие боролись как могли.

Они объединялись в союзы отдельных ремесл. Они и раньше составляли синдикаты, чтобы не продешевить, отдавая свой труд, но к Июльской революции во Франции Англия уже имела с легкой руки Роберта Оуэна кооперативные общества, депутаты которых съезжались на конгрессы. Тогда же пущено было в обращение и самое слово «социализм».

В начале пятидесятых годов был основан трэд-юнион—союз, объединивший рабочих всех видов труда. Целью этого объединения прежде всего была организация общей стачки, чтобы через парламент добиться закона о восьмичасовом рабочем дне.

Крупные промышленники и политические деятели переживали дни ужаса и паники. На объединение рабочих они ответили объединением заводчиков и фабрикантов. Рабочего не принимали на работу, если он не мог представить удостоверения, что не принадлежит ни к какому рабочему союзу.

Так началась организованная война между английскими промышленниками и рабочими. В ответ на требование последних о повышении платы и восьмичасовом рабочем дне первые закрывали фабрики и заводы.

2

Революционный 1830 год сделал Францию такою же парламентарной страной, как и Англия; кроме того, в Англии в то время вступили в министерство виги, представители либеральной партии; это сблизило Англию с Францией, оторвав ее в то же время от союза с тремя большими государствами Восточной Европы: Россией, Австрией и Пруссией.

Так Европа распалась на две части: либеральный Запад и консервативный Восток; в первой—короли только царствовали, но не управляли, предоставив это трудное дело крупной буржуазии; во второй—абсолютные монархи остались на страже трактатов 1815 года, и руководили политикой Николай I и австрийский канцлер князь Меттерних, опекавшие хотя и неограниченного, но тем не менее слабоумного императора Австрии Фердинанда, отца малолетнего Франца-Иосифа. Недалекий король Пруссии Фридрих-Вильгельм III во всех делах внешней политики ожидающе оглядывался на Николая и всегда и во всем был с ним согласен; при подавлении восстания в Польше он снабжал армию Паскевича провиантом и не возражал против того, чтобы русские войска двинулись на Варшаву со стороны прусской границы.

Но не одни только правительства делали политику в Европе; в дело политики на Западе вмешивались все заметней и ярче революционные организации. Они действовали через печать на общественное мнение или же непосредственно на членов правительства. Таким образом Запад все более левел. Восток же все еще ощетинивался штыками русской армии, которую Николай во всякий момент готов был вместе с пшеницей своих помещиков экспортировать куда угодно для защиты «законности и порядка».

Но и у этого рыцаря законности была своя ахиллесова пята. Основой общеевропейской внешней политики была система «европейского равновесия». Правда, эту систему девятнадцатый век получил в наследство от восемнадцатого, но ловкость рук и быстрота, с которыми Наполеон I перекроил в несколько лет всю карту Европы, заставили державы, принявшие участие в Венском конгрессе 1815 года, особенно возлюбить именно эту хорошую и удобную систему. Карту Европы тогда перекроили вновь и в трактат ввели статью, воспрещающую каждой из пяти великих держав (мелкие этого и не посмели бы сделать) расширять свою территорию в Европе, особенно за счет Оттоманской империи.

Так возник замысловатый «восточный вопрос».

Когда Николай убедился на деле, что не так легко и просто захватить Константинополь, и первая его война с Турцией заканчивалась Адрианопольским миром, европейские политики вежливо указали ему на то, что Россия, соблюдая Венский трактат, не может рассчитывать на округление своих земель за счет побежденного противника, и кровопролитная война, стоившая много жертв людьми, особенно вследствие бездарности русских генералов и пренебрежения к медицине, хотя и ослабила Турцию, но почти ничего не дала России.

Между тем очень выигрышное в торговом отно-

шении положение Константинополя на проливах, конечно, усилило бы Россию чрезвычайно, если бы ей удалось его захватить.

Константинополь был крупнейшим торговым центром, и количество населения в нем было вдвое больше, чем в Петербурге.

Сильнейшая морская держава, имевшая колонии во всех частях света, Англия более, чем какая-либо другая из европейских держав, была озабочена, чтобы Константинополь с проливами не попал в русские руки: тот, кто владел этим гениально расположенным городом, владел и всем ближайшим к Европе мусульманским Востоком,—и крупный английский капитал всячески предпочитал в этом отношении слабого турецкого султана могущественному русскому царю.

Именно здесь, на этом стыке Средиземного и Черного морей, издавна уже завязался тугой и сложный узел англо-русских отношений, которые сводились к тому, что из Петербурга к Константинополю тянулась длинная и весьма загребистая рука, а из Лондона подымалась тоже на чрезвычайно длинной шее зоркая голова и наблюдала, близко ли подобрались к Чаталдже и Золотому Рогу жилистые и крепкие пальцы.

Больше всего надеялась Англия на Францию, как на единственную сильную союзницу в борьбе с Россией за столицу Турции; а борьбу эту она считала неизбежной рано или поздно.

Венский конгресс гарантировал Бурбонам трон Франции, но Бурбоны были сброшены в июле 30 года, и в то время, как Николай счел Луи-Филиппа узурпатором и готовил против него интервенцию, Англия так же безоговорочно признала его, как впоследствии и Наполеона III, и Николаю в конце концов пришлось удовольствоваться только личною ненавистью к Луи-Филиппу и отказать ему в обращении «mon frère».

Когда же восставшие против Николая поляки обратились за помощью к Западной Европе и общественное мнение всюду горячо поддерживало их, как и либеральные партии правительств,—французский министр-президент Казимир Перье поручил Талейрану предложить Англии совместное выступление в пользу Польши. Однако руководитель английской иностранной политики лорд Пальмерстон отказался от этого шага: дело ведь не касалось ни Константинополя, ни проливов. Он ограничился только чисто дипломатической перепиской по польскому вопросу.

Но беспокойство Пальмерстона достигло высшей степени, когда против султана восстал египетский паша Мехмет-Али в 1833 году. Его поддерживали и давали ему опытных военных советников французы, вследствие чего Измаил-паша, его сын, одерживал над турецкими войсками одну победу за другой.

Пальмерстон понимал, конечно, что, помогая Мехмет-Али, французы собирались мирно овладеть Египтом. Однако это понимал и Николай, пославший черноморскую эскадру на помощь султану и небольшой, но вполне достаточный как авангард десант.

Как раз в это время английский флот блокировал Голландию, и Пальмерстон не мог собрать внушительную морскую силу для помощи султану. Но он постарался запугать его близостью полного раздела Оттоманской монархии и склонил к заключению скорейшего мира с Мехмет-Али,—отдать ему меньшее, чтобы не поплатиться бо́льшим.

Тем энергичнее стал действовать Пальмерстон впоследствии, чтобы склонить султана не возобновлять с Россией выгодный для нее и невыгодный для Англии союзный Ункиар-Скелесский договор, и вполне достиг своей цели.

Но Николай тем временем пробовал, действительно ли непроходимы для русских войск подступы к богатой Индии, не осиленные ни князем Бековичем-Черкасским при Петре, ни атаманом Платовым с его двадцатитысячным казачьим отрядом при Павле.

И вот в 1836 году русские, совершенно неожиданно для Пальмерстона, уже любовались Индией с плоскогорий Афганистана, а через три года после того граф Перовский начал пробиваться через песчаные пустыни к Хиве. Пусть этот первый блин вышел и комом, но завоевание всей Средней Азии Россией становилось уже возможным в недалеком будущем, и Англия сознавала свое бессилие этому помешать.

Сильная своим умением колонизовать и прибирать к рукам огромные страны, как Ост-Индия, и даже целые материки, как Австралия, английская крупная буржуазия видела, что и русские владеют подобным талантом.

На почве борьбы русских домогательств с английским влиянием в Персии погиб Грибоедов, автор не только «Горя от ума», но и разработанного проекта русской торговли с Востоком в явный ущерб Англии, а у Воронцова был готов проект вытеснения Англии с китайских рынков по торговле опиумом.

Николай, только что обработавший султана в 1833 году в смысле договоренности с ним о закрытии проливов для военных судов английского и французского флотов, считал себя обеспеченным от нападения со стороны Черного моря и начал лихорадочно усиливать свой Балтийский флот. Ежегодно должны были строиться два линейных корабля и один фрегат на петербургских верфях, а кроме того, один корабль и один фрегат в Архангельске.

Столкновение с Англией он предвидел: об этом он писал Паскевичу еще за двадцать лет до начала Восточной войны, когда усиленно начал укреплять Кронштадт и Севастополь с моря.

Но, готовя довольно большой флот с хорошо обученными командами, начиная заводить даже паровые колесные суда как боевые единицы флота, Николай упустил из виду то, что свойственно ему было упускать из виду всегда: прогресс, движение вперед пытливой человеческой мысли.

Он любил строить прочно и надолго, как гоголевский Собакевич, но он забывал, что, кроме сильной, никем и ничем не ограниченной власти, над миром царит еще власть ума и прежде всего ума изобретателей, и один Уатт своей паровой машиной сделал гораздо больше для изменения жизни человечества, чем все его генералы в казачьих и прочих мундирах, один другого блистательней и краше.

И если, борясь всю жизнь с революцией, он не сумел догадаться, что главный и непобедимый революционер—время, то и вводя новую судостроительную программу в 33 году, он не предвидел, что к началу пятидесятых годов будет изобретен винтовой двигатель, и винтовые паровые суда, введенные в строй английского и французского флотов, сделают невозможным сопротивление им русских парусных и даже колесных паровых судов.

Маршируя всю жизнь сам и заставляя неукоснительно образцово маршировать других, Николай забыл о том, что техника шла вперед где угодно на Западе, только не в России.

3

Какие бы условия ни были этому причиной,—удачное ли положение при устье Темзы, известной еще древним финикийцам[1], неиссякаемая ли энергия англичан или «Великая хартия вольностей»[2], данная им еще за девять лет до битвы русских с татарами на реке Калке,—но Лондон сделался для XIX века крупнейшим торговым центром, таким же, как Тир или Карфаген для древности, или Венеция и Генуя для средних веков.

Лондон был банкирской конторой для всего мира. Здесь оформлялись все иностранные займы, здесь пускались в ход все крупнейшие финансовые предприятия.

Лондонские доки того времени, расположенные по обоим берегам Темзы, совершенно подавляли путешественников, особенно русских, которые не могли даже понять и представить, как можно было разобраться во всем этом бесконечном нагромождении огромнейших складов на суше и бесчисленных паровых и парусных торговых судов на воде.

Можно было двигаться на пароходе вниз по Темзе от собственно Лондона к морю несколько часов и видеть справа и слева угнетающе-однообразную картину: из-за густейшего леса мачт, парусов, пароходных труб вырисовывались в тумане, похожем на дым, складочные конторы, магазины, фабрики, жилые дома... и совершенно без промежутков шли док за доком: за Лондонским Индийский, за Индийским Внешний, за Внешним Гринвич, за Гринвичем Ост-Индский,—каждый док по нескольку миль длиною, и этому однообразию изобилия совершенно не виделось конца, и все это неисчислимое богатство принадлежало частным компаниям, охранялось же оно от иностранных грабительских покушений только военным флотом: практические дельцы, англичане считали совершенно излишним содержать большую армию в мирное время. Кроме того, большие сухопутные армии для войны в Европе должны были найтись у континентальных государств, с которыми Англия вступала в союзы.

Поэтому Франция,—была ли она королевством, республикой или империей,—являлась нужнейшей для Пальмерстона страной в его подготовке борьбы с Николаем при помощи пушек и штуцеров.

Правда, Николай в бытность его в Виндзоре в 44 году предлагал юной тогда Виктории своих бравых гренадеров на случай каких-либо затруднений, однако никто из государственных людей Англии не подумал отнестись к этому серьезно: самая идея союза Англии с Россией казалась им совершенно противоестественной.

Но вот вскоре после отъезда Николая в Петербург несколько расстроились дела «сердечного соглашения»: Франция вышла из рамок политических приличий в Марокко и на островах Таити и тем задела интересы англичан. Лорд Абердин, глава кабинета министров, пригласил к себе Нессельроде, бывшего в то время на водах за границей, для обсуждения вопроса о союзе.

Николай ликовал: «Ведь я им говорил, что они без меня не обойдутся и будут просить о помощи,—писал он на донесение Нессельроде.—Вот плоды их подлости за четырнадцать лет!»

Но все-таки обошлись. По желанию Николая и просьбам Нессельроде лорд Абердин написал меморандум своих бесед с Николаем на тему «больного человека» и спрятал его в архив, как ни к чему не обязывающую бумагу, а с Францией помирился.

Между тем прежняя политика Англии у постели «больного человека» продолжалась. Послом в Константинополь был назначен сэр Стратфорд Каннинг,—впоследствии сделанный лордом Редклиф,—яростный ненавистник России, старавшийся дер-

---

[1] *Финикийцы*—народ, населявший средиземноморский берег Аравии и основавший в IX в. до н. э. колонию Карфаген на северном берегу Африки.

[2] «*Великая хартия вольностей*»—грамота, данная английским королем Иоанном Безземельным в 1215 г. Эта хартия считается основанием конституционных прав англичан.

жать в подчинении себе всех высших чиновников султана. Он тайно руководил и отправкой английского оружия контрабандным путем на Кавказ горцам, чтобы как можно более затруднить Николаю покорение этой страны. В этом ревностно помогали ему и французские консулы юга России и Одессы—Тэт-Бу-де-Мариньи и Омер-де-Гелль, муж французской поэтессы Адели, кружившей голову Лермонтову в 1840 году.

За помощью к Николаю обратились не английские лорды, а совсем юный, восемнадцатилетний император Австрии Франц-Иосиф, в пользу которого отказался от престола впавший в панику и бежавший из Вены его отец Фердинанд в грозном для многих европейских монархов 48 году.

Может быть, и он обошелся бы все-таки без помощи русских войск, но войска пришли: небольшая венгерская армия сдалась им без боя, Николай получил от эмигрантов прозвище «жандарма Европы», Англия же еще более обеспокоилась усилением его влияния, и через четыре года, когда Франция сделалась империей, английские политики решили, что время одернуть Николая настало.

Когда все готово уже для ссоры, подсчитаны ресурсы противника и приведены в полную ясность свои, тогда ищут обыкновенно хоть сколько-нибудь подходящего предлога для начала.

Таким именно предлогом оказался вопрос о «святых местах» Палестины, где ключами от вифлеемской церкви хотели владеть католические ксендзы, как до того владели ими православные священники. Вопрос по существу был вздорный и ничтожный, но из этих ключей сумели сделать совсем другие ключи—ключи к европейской драме, получившей название Восточной войны.

В николаевской России не канцлер Нессельроде по существу ведал иностранной политикой, а сам Николай. И в то время как испытанный дипломат князь Меншиков, доказавший еще четверть века назад свое умение говорить с азиатскими монархами и засаженный за это уменье персидским шахом Фетх-Али в крепость, был послан царем в Константинополь вести переговоры там, на месте, о «ключах» и прочем,—Николай решил сам начать переговоры, только уже не с султаном, а с представителем Англии при своем дворе.

9 января 1853 года был раут у великой княгини Елены Павловны, на который приглашен был английский посланник Гамильтон Сеймур, потому что с ним хотел побеседовать Николай об очень важном деле. Это важное дело было—раздел Турции на тех же основаниях, на которых при Екатерине II проведены были разделы Польши.

По мысли Николая, к дележу Турции должны были приступить—и притом немедленно—только две державы: Россия и Англия. Францию, в которой воцарился Наполеон III, начавший спор о «святых местах», то есть о покровительстве христианам, подданным султана, покровительстве, издавна принадлежавшем России,—Николай отнюдь не хотел приглашать к дележу; что же касается Австрии, то к ней Николай относился слишком свысока и слишком покровительственно, чтобы считать ее вполне самостоятельной монархией и брать ее полноправным членом в свою теплую компанию, а какую-нибудь Черногорию из богатого турецкого наследства он думал уступить ей сам.

Беседа Николая с Сеймуром состоялась. Русский самодержец был совершенно откровенен.

— Турецкие дела находятся в состоянии большой неустойчивости,—говорил он.—Страна грозит рухнуть. Ее гибель будет большим несчастьем, и важно, чтобы Англия и Россия пришли к полному соглашению и чтобы ни одна из этих двух держав не предпринимала решительного шага без ведома другой. Видите ли, на наших руках больной человек,—очень больной человек! Откровенно говорю вам, было бы большим несчастием, если бы он скончался раньше, чем будут сделаны все нужные приготовления...

Разговор этот был продолжен через несколько дней уже в кабинете царя, как более деловом месте. Посвятив сэра Гамильтона во все тонкости восточного вопроса и в его историю, Николай перешел к «больному человеку», который может умереть внезапно, и тогда:

— Хаос, путаница и неизбежность европейской войны должны сопровождать катастрофу, если она наступит неожиданно и если не будет заранее составлен другой план... Я буду говорить с вами как друг и джентльмен,—горячо сказал самодержец посланнику другого самодержца—английского капитала.—Если нам, Англии и мне, удастся достигнуть соглашения в этом вопросе, то другие меня мало интересуют. Мне безразлично, что будут делать или думать другие. Поэтому я хочу сказать вам с полной откровенностью: если Англия имеет намерение усесться когда-нибудь в Константинополе, я этого не допущу! Со своей стороны я также готов обязаться не занимать Константинополя, разумеется в качестве собственника, потому что быть держателем его по поручению я бы не отказался. Если же не будут сделаны все нужные приготовления и все будет предоставлено случаю, то возможно, что обстоятельства заставят меня оккупировать Константинополь.

Сколь ни был изумлен сэр Гамильтон этой тяжелой откровенностью царя, он, поблагодарив его за доверие, напомнил ему о Франции, которая может, пожалуй,—конечно, на свой страх и риск,—снарядить военную экспедицию в империю султана.

— Поверьте,—быстро отозвался Николай,—что такой шаг довел бы дело до острого кризиса!

Чувство чести заставило бы меня без промедления и колебания двинуть свои войска в Турцию, если бы даже такой образ действий повлек за собой крушение Турецкой империи... Я сожалел бы о таком результате, но все-таки считал бы, что действовал так, как вынужден был действовать!

— Но ведь крушение Турецкой империи оставило бы незаполнимую пустоту, ваше величество!—в недоумении возразил сэр Гамильтон.

— Вот это-то и было бы возвышенным триумфом для цивилизации девятнадцатого столетия,— Николай дружески взял его за локоть,—если бы оказалось возможным заполнить пустоту эту без нарушения всеобщего мира! Как же именно? Просто: путем принятия предохранительных мер двумя,—только двумя!—правительствами, наиболее заинтересованными в судьбах Турции!

Сеймур передал, конечно, свой разговор с Николаем срочной депешей на имя лорда Джона Росселя, неизменного представителя делового Сити в кабинете министров, в то время министра иностранных дел.

Ответ Росселя Сеймуру был очень тщательно обдуман и полон доказательств в пользу того, что «больной человек» отнюдь не настолько болен, чтобы не иметь силы отчаянно защищаться, что, наконец, если бы Николай стал «держателем» Константинополя, то это было бы очень опасно для него вследствие зависти Европы, так как ни Англия, ни Франция, ни даже Австрия не примирились бы с тем, чтобы Константинополь оставался в руках России. Он уверял со своей стороны, что Англии Константинополь не нужен и что ей чуждо желание овладеть им. Напоминал собственные слова Николая, что его империя и без того очень велика, чтобы желать приращения ее территории. Осторожно советовал соблюдать величайшую сдержанность по отношению к Турции, избегать сухопутных и морских демонстраций против султана. Что же касается христиан, подданных султана, то Россель предлагал только «посоветовать» турецкому правительству обращаться с ними «по правилам равноправия и свободы веры, принятым просвещенными нациями Европы».

Заканчивая свою довольно длинную депешу, Россель просил сэра Сеймура прочесть ее графу Нессельроде, а если это будет признано им желательным, то и передать копию ее лично Николаю, «прибавив к ней уверения в дружбе и доверии ее величества нашей королевы».

По получении этой депеши в Петербурге состоялась еще беседа сэра Гамильтона с Николаем, наиболее определенная и откровенная.

На скромный вопрос Сеймура, чего он хотел бы конкретно, Николай ответил так:

— Я не хочу прочного занятия Константинополя русскими, но этот город ни в каком случае не должен и перейти во владение какой-либо другой великой нации; я никогда не допущу попытки восстановить Византийскую империю; не допущу и расширения Греции до размеров большого государства; но тем более не допущу я раздробления Турции на мелкие республики—убежища для Кошута, Маццини и других европейских революционеров. Скорее я начну войну, чем примирюсь с одним из таких оборотов событий!

Практический англичанин, сэр Гамильтон, конечно, удивился тому, что его высокий собеседник как будто совершенно ничего не хочет положительного, но Николай скоро успокоил его на этот счет, добавив:

— Княжества Молдавия и Валахия являются независимыми государствами под моим покровительством; это так и могло бы остаться. Сербия могла бы получить такую же форму правления. Болгария—тоже. Что же касается Египта, то я вполне понимаю важное значение этой области. Могу поэтому лишь сказать, что если бы при разделе империи османов вы овладели Египтом, я не имел бы ничего против. То же самое могу сказать о Крите... Что касается Франции,—небрежно припомнил царь,—то одною из ее целей является, несомненно, овладеть Тунисом.

— Ваше величество,—воскликнул сэр Гамильтон,—но ведь есть еще Австрия!

— О-о, Австрия!—с улыбкой успокоил его Николай.—Если я говорю о России, то тем самым я говорю и об Австрии. В отношении Турции наши интересы вполне совпадают. Франция—другое дело. Похоже на то, что французское правительство желает всех нас перессорить на Востоке. Менее месяца тому назад я даже предложил султану свою помощь для сопротивления французам. Все, чего я хочу,—это соглашения с Англией, и то не о том, что следует делать, а о том, чего делать не следует. Что же касается Константинополя, то я ведь послал туда только своего Меншикова, а согласитесь сами, что мог бы послать, если бы пожелал, и целую армию! Итак побудите ваше правительство еще раз написать мне об этих делах подробнее и без промедления!

С этими словами царь подал руку Сеймуру, давая ему понять, что им сказано все; ответ был за министрами Виктории.

Правда, он не сказал того, что один корпус русских войск по его приказу был уже придвинут к самой границе Молдавии, другой маршировал к границам Валахии: это служило подкреплением миссии Меншикова. Он не поделился с сэром Гамильтоном и тем, что обратился к своему шурину, королю Пруссии, с секретным письмом о своих отношениях к Франции и Англии.

Из уклончивого ответа лорда Росселя он видел, конечно, что едва ли удастся ему расколоть «сердечное соглашение», а между тем Наполеон III

действовал в своих притязаниях на опеку турецких христиан явно вызывающе и, разумеется, не без ведома и одобрения Англии.

Поэтому Николай писал Фридриху-Вильгельму, что союзники, столь тесные и дружные, как Франция и Англия, его нимало не пугают на суше; на море же они, как сильнейшие морские державы, действуя соединенным флотом, несомненно могут вести успешную блокаду, и в этом их главный козырь. Но в апреле, к концу месяца, у него будет не меньше шестисот тысяч войск, из которых двести он мог бы предоставить ему с условием, что он двинется на Париж и сдернет узурпатора с французского трона.

Так хотел вовлечь прусского короля в свой назревавший конфликт с Францией русский самодержец, не переставший смотреть на немецкие государства только как на свои передовые форпосты.

Несколько дней бредил Фридрих-Вильгельм военными подвигами, которые совершил бы он во главе железных русских полков, но более трезвые, чем он, министры его испугались этой авантюры и упросили его отказаться от лестного предложения Николая.

В разговоре с Сеймуром Николай так и не разъяснил, что же именно думает он о будущем Константинополя, который будто бы совсем не нужен ни ему, ни России, но которого в то же время он никому не намерен уступать.

Правда, есть русская пословица о людях, которые иногда ведут себя, как собака на сене: сама не ест и другим не дает. Но английские политики отнюдь не причисляли Николая к людям подобного сорта. Напротив: у них были основания предполагать, что Константинополь, по замыслу русского царя, должен будет сделаться столицей особого царства, образованного из смежных с ним турецких провинций, а на престоле этого нового царства увидели бы кого-нибудь из младших сыновей Николая, вполне, конечно, послушного воле отца. Так что при разделе Турции несколько вассальных царств присоединялись бы к России, не говоря уж о Молдавии и Валахии, богатых хлебом.

Россия овладела бы всем устьем Дуная, а политики Виктории знали, что тот, кто владеет устьем Дуная, владеет им всем. Россия крепко зажала бы в своих руках проливы—ворота Черного и Средиземного морей... Кроме того, Николай в разговоре с Сеймуром если и вспоминал Египет, Крит, Тунис, то умалчивал о том, кому наметил он отдать Малую Азию и другие смежные вилайэты.

Ответ на предложение Николая, выраженное на последнем свидании с Сеймуром столь определенно, несколько запоздал. Поражены ли были лорд Россель и другие участники секретного обмена мнений между двумя дворами грандиозностью замыслов Николая? Нет, просто произошла в это время смена министерства, и вместо лорда Росселя отвечать Николаю пришлось новому министру иностранных дел, графу Кларендону.

И он ответил наконец.

Переменились министры, но мнение квартала Сити, правившего Англией, осталось то же самое: раздел Турции был нежелателен, потому что опасен.

«Интересы России и Англии на Востоке совершенно тождественны,—наивно пытался убедить Николая Кларендон,—но ни один крупный вопрос на Востоке не может быть поднят без того, чтобы не стать источником раздоров на Западе».

Следовательно, опасался он не войны Запада с Россией, а войны двух сильнейших и дружественных государств—Франции и Англии.

В этом было, конечно, большее знание человеческой психологии, чем у слишком занятого только собою русского царя. Но Кларендону отлично была известна и психология царя, и он добавлял, чтобы тому были вполне понятны опасения Англии:

«Каждый крупный вопрос на Западе будет принимать революционный характер и включать в себя пересмотр всего общественного уклада. Отсюда возникает стремление правительства ее величества предотвратить катастрофу».

Другими словами, английский самодержец—капитал—не столько боялся войны, даже и со своим союзником Францией, сколько пугала его перспектива получить в результате этой войны английскую революцию, которая была бы не хуже французской.

Захватить Египет, Крит и, может быть, что-нибудь еще было бы совсем не так плохо, но получить в результате этого революцию и потерять все те богатства, какими владел правящий класс Англии, это уж было похоже на злостную провокацию со стороны русского императора.

Между тем, пока происходил этот серьезнейший обмен мнениями по вопросу о разделе Турции, полномочный посол Николая, светлейший князь Меншиков, прибывший в Константинополь с большою свитой, вел другие, гораздо более невинные переговоры с турецкими министрами о «святых местах».

Но между секретнейшими и гласными переговорами была самая тесная зависимость, известная в то время очень немногим. И если английские министры—Россель и Кларендон—стремились писать свои ответы Николаю преувеличенно дипломатическим языком, то несколько иной язык оказался у английского посла в Константинополе, лорда Стратфорда Редклифа.

Правда, этот лорд не только ненавидел Россию, но имел все основания ненавидеть и Николая, который энергично отклонил назначение его, еще лет за двадцать до того, послом в Петербург.

Но его не хотели видеть послом и в Париже: он был известен как человек с тяжелым характе-

ром. Ему оставалось только ехать посланником в Константинополь, и здесь он подчинил своему влиянию великого визиря и пашей.

В другое время и при другом английском после Меншикова и Стратфорда, которые отлично знали, что им надо говорить, но еще лучше знали, о чем следует молчать. Из-за пустяков о ключах и куполах выглядывало нечто отвлеченное, правда, но уже не пустяковое: преимущественное покровительство турецким христианам со стороны русского императора,—другими словами: постоянный повод вмешательства в дела султана под предлогом, что в его владениях притесняют христиан; а из-за этого несколько расплывчатого в своих границах протектората Николая над турецкими христианами подымалась голова самого Николая, хозяйским глазом оценивающего вилайэты Порты.

Меншиков, которого между прочим сопровождал и адмирал Корнилов, прибыл на пароходе «Громоносец» в Константинополь в середине февраля и пробыл там до половины мая, напрасно теряя время в дипломатических уловках и совершенно бесполезных переговорах о «преимущественных правах российского императора на покровительство христианам, подданным Оттоманской империи»; лорд Редклиф в гораздо большей степени, чем даже французский посланник, внушал турецким сановникам, что подобной конвенции они не смеют подписывать, так как умаляют этим права султана.

Меншиков, наконец, угрожал открытием военных действий, если эта конвенция не будет подписана, но Редклиф убедил турецких сановников не пугаться и этого. Меншиков просил аудиенции у султана и на эту аудиенцию явился в штатском пальто и высоком цилиндре, как обыкновенно ходил в Константинополе. Он говорил с султаном властным тоном. Он при своем высоком росте и внушительной фигуре как бы сознательно «представлял» своего императора. Недалекий, женоподобный, застенчивый султан Абдул-Меджид совершенно был обескуражен его видом и его резким тоном и лепетал в ответ довольно бессвязно то, что было подсказано ему суфлером—Редклифом.

Видя, что последняя карта его—угроза войною—бита, Меншиков сообщил в Петербург, что оставаться долее в Константинополе не имеет уже никакого смысла, и выехал в Одессу.

Но угроза войной была, конечно, продиктована Меншикову самим Николаем, и у Николая был план этой войны. Он хотел для начала повторить тот прием, который беспрепятственно выполнил двадцать лет назад: посадить дивизию на суда Черноморского флота и высадить ее в Константинополе, а с суши подкрепить этот небольшой десант двумя-тремя корпусами, которые должны были итти с предельной быстротой из Бессарабии на Константинополь.

Николай, автор этого плана, был далеко не молод,—ему было уже под шестьдесят; но и Меншиков и Паскевич, которые должны были приводить этот план в исполнение,—как люди еще более пожилые и опытные, решили, что план этот не сулит удачи.

Меншиков всеподданнейше доносил, что Черноморский флот не в состоянии вести бой с объединенными флотами французов, англичан и турок в Босфоре и будет неминуемо уничтожен и что Константинополь далеко не так беззащитен, чтобы его можно было захватить с налета небольшим десантом; а Паскевич не менее всеподданнейше разъяснял, что на пути к Константинополю от русской границы и даже от Варны, если бы удалось в окрестностях ее высадить десант, есть сильно укрепленные пункты и достаточное число турецких войск, которые отлично умеют защищаться в своих крепостях; что молниеносного марша сделать будет нельзя ввиду больших обозов, неразлучных с армией, наступающей по чужой стране, а всякое промедление будет усиливать турок и ослаблять русских.

Он советовал применить испытанный уже прием: занять войсками княжества Молдавию и Валахию, что к тому же не должно будет считаться за открытие действий против Турции и в то же время заставит турок быть гораздо сговорчивей, а их западным покровителям покажет, что Россия смотрит на дело вполне серьезно.

Этот план своего испытанного стратега и должен был принять Николай. Он отлично понимал, что унылый план этот ни к чему удачному для него привести не может, но это был план фельдмаршала—высшего военного авторитета его государства.

Русские дивизии замаршировали по дунайским княжествам, а в ответ на это союзные эскадры вошли в Дарданеллы с нескрываемым намерением защищать столицу Порты от налета Черноморского флота.

Черноморский флот и начал Восточную войну громким делом полного истребления турецкой эскадры у Синопа осенью 53 года.

4

Правда, объявлена война была на месяц раньше Синопского боя, именно—20 октября.

Турецкий главнокомандующий Омер-паша, опираясь на обещанную Англией и Францией помощь, послал ультиматум князю Горчакову: очистить в

двухнедельный срок княжества, занятые его армией, иначе он откроет военные действия.

Княжества, конечно, очищены не были, и на Дунае раздались первые пушечные выстрелы, вслед за которыми Николай издал манифест о войне с Турцией.

Манифест был доставлен из Севастополя Нахимову, когда он крейсировал в море, держась около берегов Малой Азии. Получено было известие, что турки отправили три груженные орудиями парохода-фрегата из Константинополя на Кавказ, в Батум, но до объявления войны задерживать эти турецкие суда, а тем более сражаться с ними, запрещалось; приказано было только следить за ними.

Турецкие боевые суда в свою очередь следили за русскими судами, то появляясь на виду у них, то скрываясь.

Между тем море было бурное, как всегда осенью; дули сильные штормовые ветры; совершать прогулки по такому морю на парусных судах было весьма опасно, не говоря уже о том, что бесполезно для дела войны. Манифест развязал руки Нахимову, а турецкую эскадру собрал в Синопскую бухту под защиту береговых батарей.

Синоп,—родина философа древности Диогена и Митридата VI, царя Понтийского,—был в те времена небольшим полугреческим-полутурецким городком, с верфями для постройки судов, хорошо защищенным с моря. В Синопской бухте укрылось двенадцать военных судов и два транспорта, между тем как продолжительная борьба парусных судов эскадры Нахимова со штормами весьма истрепала их.

Наиболее пострадавшие от штормов Нахимов отправил в Севастополь, оттуда же получил несколько кораблей взамен, и больше недели тянулась эта смелая блокада Нахимовым синопского порта с силами гораздо меньшими, чем турецкие силы. Он дал приказ атаковать противника, если тот вздумает покинуть порт, несмотря на явное неравенство шансов на победу. Однако турецкий адмирал—капудан-паша Осман—отнюдь не хотел выходить, не веря тому, что половина эскадры Нахимова ушла чиниться в Севастополь. Через английского консула в Синопе он послал сухим путем донесение в Константинополь лорду Стратфорду о том, что русская эскадра крейсирует в виду Синопа,—значит, стоит только послать союзный флот отрезать ее от Севастополя, и она будет истреблена, если не сдастся.

Гонец английского консула успел прибыть вовремя, однако союзная эскадра послана не была: боялись штормовой погоды.

Между тем Нахимов, собрав нужные ему силы—шесть кораблей и два фрегата,—вошел в Синопский рейд.

Осман-паша был опытный моряк, участник Наваринского боя, так же как и Нахимов. Одним из судов его флота, двадцатипушечным пароходом «Таиф», командовал англичанин Слэд, четверть века проведший на турецкой службе.

У Нахимова не было пароходов. Притом береговые батареи могли обстрелять его суда каленными ядрами и зажечь их, он же был связан приказом не наносить вреда береговым турецким городам и селениям: человек глубоко штатский, канцлер Нессельроде думал, что вполне возможно это—атаковать турецкий флот на рейде портового города и уничтожить его, не нанеся самому городу во время боя никакого вреда.

Бой начался, едва только на близкое расстояние к турецкому флоту подошли русские суда и стали на якорь, как неподвижные крепости против двух линий неподвижных тоже крепостей—на море и на суше.

Матросы, по приказу Нахимова, не спеша и своевременно пообедали перед боем. Дул норд-ост, и шел спорый осенний дождь, когда суда подходили к рейду, но когда вошли в него, дождь перестал, и Синоп со своими крепкими стенами и башнями резко забелел впереди на высоком перешейке полуострова, отгородившего от моря бухту.

На судах Нахимова все были на своих местах и спокойны; между судами Османа-паши беспорядочно метались шлюпки; пароходы разводили пары; группы турецких солдат-артиллеристов на берегу бежали к своим орудиям: нападения в этот день—18 ноября—явно не ждали турки.

Однако они первые открыли огонь, и все развертывание русских судов прошло под сильной канонадой береговых и морских батарей. Но вот сблизились линии судов-противников на полтораста сажен, и Синопский рейд окутало густым туманом, сквозь который прорезались желтые вспышки выстрелов.

Канонада длилась около трех часов.

Уже с первых минут Нахимов перестал руководить, да и не мог бы руководить сражением: передавать приказы сигналами было невозможно, так как все фалы на его флагманском корабле «Императрица Мария» были перебиты ядрами, да за густой дымовой завесой, окружившей каждый корабль, не разглядели бы все равно сигналов.

Линейным стопушечным кораблем «Париж» командовал Истомин. Адмирал Корнилов с тремя пароходами спешил на помощь Нахимову из Севастополя, но опоздал к началу боя из-за бурной погоды. Мимо его пароходов, развивая предельную скорость хода, бежал Муштавер-паша, капитан Слэд, на своем пароходе «Таиф». Корнилов гнался за ним на пароходе «Одесса», все время обмениваясь с ним выстрелами, но не догнал.

«Таиф» и был единственным судном турецким, спасшимся от синопского разгрома. Все остальные или были потоплены выстрелами с русских судов,

или выбросились на берег, или сгорели, или были взорваны своими же командами. Взрывы эти далеко в город занесли горящие обломки и зажгли дома.

Синоп горел, когда Корнилов вошел на рейд после погони за «Таифом», и команды пароходов кричали «ура» своим товарищам—морякам эскадры Нахимова.

Израненный Осман-паша и человек двести кроме него были взяты в плен; часть команды судов спаслась на берег; от трех до четырех тысяч погибло. На русских судах насчитали около двухсот пятидесяти убитых и раненых.

Линейные корабли «Три святителя», «Императрица Мария». «Ростислав» получили по нескольку десятков пробоин, а «Великий князь Константин»—сто девятнадцать.

Суда не могли бы перенести перехода по бурному морю в Севастополь, если бы их не чинили команды с неменьшей энергией, какая была выказана ими в бою.

Только через полтора дня—именно в ночь на 20 ноября—эскадра снялась, наконец, с якоря и частью на буксире пароходов, частью своими силами двинулась к родным берегам.

Она была бы истреблена в свою очередь, если бы союзники выслали из Босфора свой флот. Но английские и французские адмиралы боялись шторма.

Когда Нахимов, Корнилов и Истомин подходили медленно и трудно к Севастополю, вся набережная была усеяна народом, радостно возбужденным. Привычные глаза севастопольцев различали суда; они видели, что суда идут после боя,—так они были изранены, но ни одно из ушедших судов не погибло,—значит, победа.

Только один Меншиков отменил всякие празднества по случаю синопской победы и приказал остановить все суда на внешнем рейде, а экипажам их объявить трехдневный карантин.

Одновременно с победой над турецким флотом русские сухопутные силы одержали под командой Андроникова при крепости Ахалцых крупную победу над большим отрядом турок.

Донесения об этих двух делах дошли в Петербург в один и тот же день 29 ноября, и этот день был днем большого ликования Николая. Но если к победам на суше он уже привык и другого исхода сражения не ожидал от своих полков, то первая в его царствование победа флота над иноземным, хотя бы и турецким, флотом окрылила его донельзя. Об этом он писал и Меншикову:

«До какой степени обрадован я был радостною вестью славного Синопского сражения, не могу довольно тебе выразить, любезный Меншиков! Оно меня осчастливило столько же важностью последствий, которые, вероятно, иметь будет на дела наши на черноморской береговой линии, но почти столько же потому, что в геройском деле сем вижу, что за дух, благодаря бога, у нас в Черноморском флоте господствует от адмирала до матроса... Уверен, что при случае, от чего боже упаси, но и балтийские товарищи не отстанут. Это моему сердцу отрадно и утешительно среди всякого горя. Пришли список увечных и раздай безруким и безногим по сто рублей каждому...»

Фельдъегерем послан был к царю с известием о синопской победе адъютант Меншикова подполковник Сколков, бывший очевидцем боя. Сколков был на радостях произведен в полковники и сделан флигель-адъютантом... для того, чтобы в сражении на Алме вступить в смиренные ряды безруких и утешаться тем, что со временем могут и его, как безрукого генерала Скобелева, назначить комендантом Петропавловской крепости.

Переговоры дипломатов по поводу «святых мест» тянулись слишком долго, для того чтобы не утомить русскую публику, читающую газеты. Предчувствия войны были тяжелы для всех, тем радостней отозвались все на победу при Синопе.

Тысячи патриотических стихотворений наводнили редакции журналов и газет. Даже старый друг Пушкина и Жуковского князь Вяземский напечатал в «Русском инвалиде» свои стихи, посвященные Нахимову и Бебутову, победителю турок на Кавказе, при Баш-Кадык-Ларе.

Владимирское дворянство пожертвовало тридцать пять тысяч серебром в пользу войск, «преимущественно Черноморского флота, в ознаменование одержанной им победы при Синопе». Вслед за этим пожертвования полились рекою. Простыми волонтерами записывались в полки сыновья знати.

Всегда отзывчивый на заказы исторического момента, Нестор Кукольник с большой быстротой написал трескучую пьесу «Синоп», имевшую бешеный успех в Петербурге.

Спектакли проходили при сплошных аплодисментах публики, которые доходили до высшей силы при упоминании об императоре Николае, о прежних подвигах флота, о создателе Черноморского флота адмирале Лазареве... Балтийские моряки, переполнявшие театры, плакали от волнения.

Совсем иначе отнеслись к синопскому делу на Западе. Когда известие об уничтожении турецкого флота Нахимовым дошло до Лондона, оно вздыбило всю английскую буржуазию, точно не турецкий, а непобедимый британский флот потерпел неслыханное поражение.

И статьи газет, и речи на митингах, и даже речи в парламенте стали сводиться к тому, что русский флот на Черном море должен быть истреблен, а Севастополь, как древний Карфаген, разрушен.

Для иных журналистов казалось делом чрезвычайно легким не только разрушение в самый короткий срок Севастополя, но даже и Кронштадта, и последующая оккупация Петербурга.

Страсти разгорелись чрезвычайно. Англия «начала точить сабли». Эскадре английской, так же как и союзной французской эскадре, был дан приказ войти в Черное море и блокировать Севастополь.

Так началась война Западной Европы с Европой Восточной.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ЧАСЫ ТРЕВОГИ

1

Когда адъютант Меншикова штабс-ротмистр Грейг после подробнейшего доклада о сражении на Алме рисовал Николаю состояние, в котором оставил он армию и Севастополь, то старался уж больше не раздражать царя неприкрытой правдой.

— В порядке ли отступили части?—тяжело глядя на него, вторично спросил царь.

Перед Грейгом мгновенно и очень ярко встала картина: усталые встречные матросы около усталых сивых волов и длинные хоботы морских орудий на скрипучих возах,—запоздалая поддержка, посланная Меншикову Корниловым,—костры и около них фельдфебеля разных полков, зычными выкриками в темноте сзывающие своих солдат, и прочее вполне законное, конечно, при столь поспешном отступлении,—но он, на момент зажмурясь перед ответом, ответил вполне отчетливо:

— В совершенном порядке, ваше величество!

— А наступление этих...—несколько запнулся царь.

— Наступление союзных армий,—поспешил ответить Грейг,—совсем не было замечено, ваше величество, ни восьмого числа, ни девятого утром.

— А ты... каким же маршрутом ты ехал из Севастополя?

Грейг понял вопрос.

— Дорога на Симферополь была совершенно свободна от неприятеля, ваше величество.

Николай вскинул на него круглый подбородок, под которым на выдавшемся заострившемся кадыке Грейг заметил морщинистую, вялую желтую кожу, обычную для людей около шестидесяти лет.

— Была свободна девятого числа, когда ты ехал, а теперь?—И, не дав Грейгу ответить на этот вопрос, задал ему другой:—Где должны будут сосредоточиться войска для защиты Севастополя?

Грейг ответил, как слышал от самого Меншикова, что—на Инкерманских высотах, на левом фланге наступающей армии союзников, которых укрепления Северной стороны должны будут встретить, как должно.

После еще нескольких расспросов отпустив, наконец, Грейга, Николай стал писать, слишком нервно нажимая на перо и разбрызгивая чернила:

«Любезный Меншиков!..»

Так обыкновенно начинал он письма своему командующему Крымской армией, но все прежние письма писались им человеку, который был общепризнанно умен и остер; часто приглашался во дворец как прекрасный собеседник, особенно ценимый за это императрицей, великой княгиней Еленой Павловной, великими княжнами и фрейлинами. Часто повторялась о нем во дворце острота опального генерала Ермолова, которому (это было в 14 году, во Франции, на походе) Меншиков жаловался на то, что пропали где-то его бритвы и он уже три дня не брился. «Нашел о чем тужить,—сказал Ермолов.—Высунь язык и обрейся!..»

Как управляющий делами морского министерства—Меншиков отлично поставил флот, особенно Черноморский, так блистательно показавший себя в Синопском бою; как генерал-губернатор Финляндии—он был вполне на месте, успешно вел борьбу с казнокрадством чиновников, чего никак не мог добиться Киселев в министерстве государственных имуществ; как полномочный посол в Константинополе—он сделал все, что можно было сделать, не роняя престижа России на Востоке...

Но теперь, после поражения на Алме, Меншиков был уже не тот—как будто кто-то подменил этого привычного, на глазах его состарившегося человека. Теперь на него легла черная тень неудачного полководца; он не оправдал надежд, которые были связаны с его именем...

Вдвое меньше войска, чем у союзников? Да, но князь Бебутов разбил же Абди-пашу с его тридцатичетырехтысячной армией при Баш-Кадык-Ларе, имея всего пятнадцать-шестнадцать тысяч! Правда, там были турки, а не англо-французы, но ведь англо-французы наступали, а Меншиков защищал позицию, которую сам же в донесении называл очень крепкой...

Было три кита в русской армии: князь Варшавский, князь М. Д. Горчаков и князь Меншиков. Но первый очень одряхлел, часто болел, задыхался, с трудом подымался на лошадь и без чужой помощи не мог с нее слезть... Однако даже его, полумертвого, пришлось назначить главнокомандующим Дунайской армией взамен Горчакова, так как этот оказался решительно никуда не годным на таком ответственном посту.

Он был безукоризненно честен, он был беззаветно храбр во время сражений, он, как никто, был заботлив о нуждах солдат, он был безупречный работник в штабе, но совершенно без пользы и нужды издергал и самого себя, и всех своих ближайших подчиненных, и всю стотысячную Дунайскую армию, когда, по рекомендации князя Варшавского, был назначен главнокомандующим.

Его беспокойному воспитанному в штабах уму то и дело представлялись тысячи случайностей и мелочей, которые могли совершенно испортить

ту или иную с великим трудом выработанную им же лично диспозицию войск, и он, ударив себя ладонью по лбу, гнал одного своего адъютанта в одну сторону с дополнительным приказанием, другого в другую—с приказанием прямо противоположным данному накануне... Иногда в один и тот же день по нескольку раз менял он приказы по армии; но дня этого все-таки было ему мало: он вскакивал и среди ночи будил своего начальника штаба генерала Коцебу и принимался за исправления и переделки своих дневных приказов, доводя Коцебу до отчаяния.

Командующих отрядами войск, рассеянных по Дунаю, он до того задергал, что они не смели уж и думать о малейшей самостоятельности действий; благодаря этому Омер-паша, противник Горчакова, вел всю дунайскую кампанию так, как ему было выгодно, нападая там и тогда, где и когда удавалось ему собрать явно превосходные по числу силы.

Так при деревне Четати был почти истреблен большим турецким отрядом Тобольский пехотный полк; неудачно для русских было сражение при Ольтенице; неудачны были действия при Калафате.

Горчаков и сам понимал, что великое бремя главнокомандующего вручено в его лице ладье малой, и каждый день казалось ему, что он с этим бременем пойдет ко дну и опозорит Россию. Поэтому он находил время среди всех своих военных забот и трудов писать длиннейшие, подробнейшие, всеподданнейшие письма ему, Николаю, испрашивая его приказаний. Но он, кроме того, обращался за советами и к своему бывшему начальнику князю Варшавскому, и к своему другу юношеских лет князю Меншикову, так что дунайскую кампанию вели они как бы вчетвером: прежде всего—он сам, Николай, самодержец всероссийский, затем Паскевич, Меншиков и, наконец, Горчаков, из всех четверых наиболее скромный как военачальник и даже поэт в душе. Это Горчаков там, на Дунае, сочинил солдатскую песню, начинающуюся куплетом:

Жизни тот один достоин,
Кто на смерть всегда готов.
Православный русский воин
Не считая бьет врагов!

Николай вспомнил, как приказал стихи эти положить на музыку и какая по этому поводу длинная была переписка.

Но, несмотря на всю воинственность этой песни, дела на Дунае шли из рук вон плохо. Пришлось упрашивать Паскевича взять на себя командование армией, обложившей Силистрию—турецкую крепость на Дунае,—и не умевшей ее взять, что вызывало бесконечные издевательства заграничных газет.

Вспомнилось, доносил ему посланный им к Паскевичу флигель-адъютант полковник Ланской, что сердитый старик разорался—зачем его разбудили ради прибытия Ланского, испортили ему послеобеденный отдых, и запустил в Ланского своею палкой...

Под Силистрией он только лежал на персидском ковре на солнцепеке и играл в шахматы со своим неизменным партнером, чиновником Петровым, которого как шахматиста переманил к себе на службу в Варшаву из Петербурга, выгодно женил на дочери богатого интенданта, очень быстро произвел в статские советники и наслаждался победами на шахматном поле над этим молодым хитрецом, который изо всех сил старался не выиграть ни одной партии у маститого фельдмаршала.

А другой молодой хитрец, император Франц-Иосиф, как пешку обошел его самого, могущественнейшего монарха Европы: благодаря ему усидев на своем троне в 49 году, он показал теперь ему свои зубы! Он, к которому Николай был так искренне расположен, оказался вдруг в стане его врагов!

Опасаясь, что в тыл ему зайдет двухсоттысячная австрийская армия, Паскевич вместо сигнала к атаке и штурму Силистрии приказал трубить отбой!

Дунайская армия откатилась назад в Бессарабию... Иностранные газеты нельзя было взять в руки,—казалось, что они обожгут даже пальцы огнем стыда.

Все это нужно было перенести ему, Николаю, при его огромном самомнении. И все это он перенес...

Князь Варшавский, уверяя, что опасность грозит и Варшаве, уехал в свой дворец наместником Польши. Горчаков снова принял командование над армией, теперь уже Южной, а не Дунайской. Первый этап войны был завершен бездарно и бесславно.

Николай скомкал забрызганный чернилами лист со словами «любезный Меншиков», бросил его под стол, подошел к окну.

За окном, в парке, надоевшем, унылом, противном, ретиво подметали в мокрых от только что переставшего дождя аллеях опавшие листья. Ветер трепал верхушки деревьев, почти уже голые, серые... Осень,—близость конца,—скверные известия из Крыма, притом известия поневоле давние: то, что было там несколько дней назад... А теперь что там? И хотелось и не хотелось знать подлинно и точно, что там теперь. На него, самодержца всея России, нападала какая-то оторопь, и некуда было повернуться, чтобы ее сбросить с себя: не было около людей, на которых можно было бы опереться. Сорок тысяч столоначальников управляли Россией незримо, но ощутительно, и это годилось для домашнего обихода и не годилось, как оказалось на деле, для приема непрошеных гостей с Запада.

Николай припомнил один из своих разговоров с Меншиковым. «Я был как-то в Симбирске, в Дворянском собрании,—сказал он тогда Меншикову,—и представь: там оказалось из дворян, меня встречавших, восемнадцать человек выше меня ростом! Сразу было видно, что попал я в черноземную губернию... Но почему-то,—я, конечно, судил по одному внешнему виду,—они не показались мне умными, нет... Они стояли браво, как в строю, но глядели сущими дураками...»

Людей по-настоящему талантливых, а не только ревностно исполнительных, не было около него,—это видел Николай к концу двадцать девятого года царения,—это очень остро чувствовал он, вот теперь, когда приближался вечер дождливого сентябрьского дня.

Того же Меншикова он спросил, когда думал, кем заменить светлейшего князя Чернышева:

— Как ты находишь князя Долгорукова? Я хотел бы видеть его у себя военным министром.

И Меншиков ответил:

— Долгоруков пороху не выдумает, ваше величество, стало быть, как по мерке скроен—военный министр!

Однако и сам Меншиков доказал своими действиями на Алме, что ему тоже не под силу выдумать порох, хотя он был и прав в глазах Николая тем, что еще месяца за два до высадки союзников просил подкрепления, думая,—как оказалось совершенно верно,—что союзники непременно нахлынут в Крым со стороны Евпатории, Долгоруков же поддерживал царя в мысли, что если десант и будет, то где-нибудь на береговой линии Кавказа.

Подкреплений просили и наместник Кавказа Воронцов, и наказной атаман донского войска Хомутов, и даже Паскевич, опасавшийся австрийцев... Нельзя было сразу стать одинаково сильным во всех пограничных пунктах...

Год назад из Севастополя Воронцову перевезли 13-ю дивизию, и она оказалась как нельзя нужнее на Кавказе, и благодаря этому одержали свои победы и Андроников и Бебутов... Если бы вовремя удалось отправить в Крым сильные подкрепления из армии Горчакова!

Николай представил себе, как ликует теперь этот ненавистный ему узурпатор французского трона, этот наглец, при одном воспоминании о котором у него тесно сжимались челюсти и кулаки и начинало гореть лицо.

Королеву Викторию он помнил такою, какою видел ее десять лет назад на параде в Виндзоре, когда предлагал ей свою помощь войсками: с очень свежим длинным северным лицом, несколько излишне чопорным, пожалуй. Впрочем, могло быть и так, что мало улыбалась она потому, что улыбка к ней как-то совсем не шла (бывают такие женщины).

Ей он не мог простить того, что она была в оживленной переписке с узурпатором и наглецом Наполеоном III, ездила в Париж, присутствовала на смотрах войск, отправлявшихся из Франции в Константинополь,—вообще гораздо более рьяно относилась к войне с ним, Николаем, чем это могла бы делать монархиня конституционного государства.

А маленького, старенького, слабоголосого лорда Джона Росселя он положительно готов был бы схватить и выбросить за окно в парк, вспоминая речь его в парламенте, направленную против него, Николая, и такую неслыханно дерзостно-резкую.

Когда во время первой в его царствование русско-турецкой войны сдался турецкой эскадре одинокий и расстрелянный небольшой русский фрегат «Рафаил», он, Николай, отдал приказ при захвате его у турок обратно немедленно его сжечь, чтобы смыть этим позорное пятно, наложенное его сдачей на весь Черноморский флот, и был особенно рад, что приказ его неожиданно удалось выполнить Нахимову во время Синопского боя в точности: вошедший в состав турецкого флота и переименованный, конечно, бывший «Рафаил» действительно сгорел от снаряда, попавшего в его крюйт-камеру, — загорелся, взорвался, перестал быть.

Но вот в эту войну сдался весь уцелевший от истребления гарнизон маленькой крепости Бомарзунд, на Аландских островах в Балтийском море, всего около полутора тысяч человек, и у него не находилось уже гневных слов для того, чтобы заклеймить этот позор.

Несчастный гарнизон буквально расстреливался, как на месте казни, из огромных орудий стоявшего вдали союзного флота, для которого стрельба эта была как бы учебной стрельбой. Из небольших крепостных мортир и пушек крепость не могла нанести ни малейшего вреда неприятельским судам, так как ядра далеко не долетали до них.

Однако вот теперь, может быть, в подобном же положении находится уже не какой-то ничтожный Бомарзунд, а оплот всего юга России—Севастополь, атакованный одновременно с моря и с суши.

Представив это, Николай вздрогнул, отвернулся от окна и просительно, и неотрывно, и даже растерянно (в своем кабинете и в одиночестве это можно было) начал глядеть на образ спасителя над своей кроватью.

Это так часто случалось с самодержцами прошлых веков, когда изнемогали они в борьбе с другими такими же самодержцами. Тогда они требовали, просили, умоляли, наконец, чтобы самодержец всех самодержцев земли им безотлагательно помог.

Разговор со спасителем был хотя и безмолвен, но многозначителен для Николая. Царь взял после этого новый лист бумаги и новое гусиное перо и,

усевшись в кресло, написал не отрываясь и без клякс:

«Любезный Меншиков!

Буди воля божия. Ты и твои подчиненные исполнили долг свой, как смогли; больно неудачи, но еще больнее потеря. Будем надеяться на милость божию и не терять надежды на светлые дни.

Да благословит тебя господь и все войска. Скажи им, что я попрежнему на них надеюсь и уверен, что скоро мне вновь докажут, что упование мое не напрасно. Пошли мой поклон и благословение Корнилову и нашим храбрым морякам; их положение меня крайне озабочивает. Бог милостив, унывать мы не должны. Обнимаю. Николай».

А как раз в то время, когда он писал это письмо с надеждами на божью помощь, в лагерь Меншикова, верстах в пяти от Бахчисарая, явился священник, посланный херсонским архиепископом Иннокентием.

Иннокентий, прибывший из Одессы в Симферополь, просил разрешения князя привезти в его лагерь явленную икону Касперовской божией матери, пронести ее с молебнами по полкам, а затем приехать с нею в Севастополь.

Хмуро выслушав посланца Иннокентия, сказал светлейший:

— Передайте его высокопреосвященству, что я боюсь скомпрометировать его икону, так как она может попасть в плен к тем, которые в нее совсем не верят... Так вот, опасаясь, чтобы этого не случилось, я прошу передать, что его высокопреосвященству совсем незачем приезжать с иконой на бивуак, а тем более везти ее в Севастополь... Прощайте!

Иннокентий стороною слышал о Меншикове, как о тайном безбожнике, но такого весьма откровенного мнения его о «пользе» для военных надобностей «явленных» икон он не ожидал и тут же написал и отправил в Петербург красноречиво, как всегда, составленный донос на командующего православным воинством, которому вручена свыше защита Крыма от неверных, защита креста от полумесяца.

2

За обедом в этот день были два младших сына Николая—Михаил и Николай, юноши двадцати двух и двадцати трех лет: один—артиллерист, другой—военный инженер, и приехавшая из Петербурга Елена Павловна, вдова великого князя Михаила Павловича.

Скромно сидела за столом и фрейлина императрицы Нелидова, некрасивая и уже немолодая, давняя фаворитка Николая, выполнявшая при нем обязанности его жены, отправившейся лечиться в Италию, в Ниццу.

На императрицу Александру Федоровну, сестру прусского короля Фридриха-Вильгельма IV, так подействовал страх, пережитый ею во время восстания декабристов, что вполне оправиться она потом так и не могла. С годами здоровье ее становилось все хуже и хуже, и она часто ездила по заграничным курортам, заменяя один климат другим, одни целебные воды другими и укрепляя этим состояние пользовавших ее врачей и владельцев курортных отелей, но не свое здоровье.

Столовая гатчинского дворца была необширная, и всю ее наполнял возбужденный голос Елены Павловны. Кокетливо кутая открытую высокую шею в пушистое меховое боа, она говорила о том, что вместе с английской армией в Крым поехало много сестер милосердия из высшего общества и что, конечно, теперь там, на кровавом поле сражения, они стяжали себе славу, которую могли бы стяжать и представительницы русского высшего общества, если бы разрешено было устроить общину русских сестер милосердия.

Она говорила по-французски, как это было принято во дворце Николая, хотя война велась главным образом с французами и они преобладали численно в десантной армии в Крыму, а русский язык Елена Павловна знала очень неплохо.

Мысль о кипучей деятельности по устройству этой первой общины сестер в России, видимо, очень сильно занимала невестку Николая, и он не без любопытства глядел на ее раскрасневшееся полное лицо, на шевелящиеся губы, на отливающие бронзовым блеском волосы и на взволнованные, обращенные к нему глаза, а длинные белые пальцы ее холеных рук всегда ему нравились, и она знала это, и все время, хотя в этом не было никакой нужды, поправляла то правой, то левой рукой боа на шее.

Сам же Николай во все время ее как будто заранее подготовленной, такой убежденной и бесперебойной речи думал о том, удержится Севастополь или не удержится до прихода к нему четвертого корпуса.

Красивые длинные белые пальцы безостановочно двигались от стола к пушистому боа и обратно, и, представив себе рядом с этими пальцами пухлые губы такого же юного, как его сын Михаил, мичмана или корнета, Николай отозвался наконец:

— В общину ты думаешь принять женщин не моложе, конечно, сорока пяти лет, не правда ли?

— Разве бывают светские женщины сорока пяти лет?—Елена Павловна притворно изумленно поглядела на него, очень высоко подняв брови.—Нет, нет, они никогда не доживают до этого печального возраста!

Но Николай не склонен был отвечать шуткой на шутку в этот вечер; он сказал без малейшей тени улыбки:

— Во вдовьих домах много старух, и они только сплетничают друг на друга и раскладывают пась-

янсы. Вот из них ты могла бы набрать себе сестер в общину...

— У меня есть и такой проект!—живо подхватила Елена Павловна.—И я даже знаю для них, для этих старух, очень хорошее название: «сердобольные вдовы»,—старательно выговорила она по-русски.—Для них, я думаю, вполне была бы приличная форма, как в русских монастырях: черные платья и черные платки... не правда ли? А для сестер милосердия, я думаю, лучше всего коричневые платья,—они немаркие,—и белые глаженые косынки, накрахмаленные, конечно—так будет изящнее. А на шее—золотой крест.

— Золотой георгий?—Николай круглыми глазами удивленно поглядел на нее.

— Нет, нет, моя мысль такая: золотой крест длинный, как у священников, и на аннинской красной ленте. Вот моя мысль!

Елена Павловна даже показала правой рукой на левой ладони, какой именно длины должен быть, по ее мнению, крест на шее русской сестры милосердия.

Но, заметив, что Николай глядит на нее непонимающе-неподвижно, она поспешила объяснить:

— Община сестер, по моей мысли, должна будет называться «Кресто-воз-движен-ская»,—по складам, как заучивала, выговорила она это длинное русское слово.—Нужно, чтобы в самом названии было «крест», какой они на себя возлагают, чтобы быть там, в этом аду, где пули, ядра, ракеты, и делать перевязки раненым.

— Делать перевязки?.. Но ведь для этого надо уметь их делать,—возразил Николай.—И не падать в обморок от одного вида тяжелой раны, как это принято у светских дам.

— О, конечно, они будут учиться этому!

— Где учиться?.. И сколько времени учиться?

— Я думаю, им позволят ходить для этого в хирургическую больницу, присутствовать при операциях...

— Убегут домой с первой же операции!—Николай презрительно повел головою, но добавил:—Попробуй обратиться с этой затеей к Долгорукову. Может быть, он и разрешит ее.

Елена Павловна знала, что если Николай отсылает к кому-либо из министров, это значит, что сам он ничего не имеет против,—и она неподдельно просияла, и даже бронзовый отлив ее волос стал как-то ярче.

Оба очень рослые, хотя и не такие чрезмерно высокие, как отец, великие князья Михаил и Николай тоже, как те светские дамы, которым захотелось надеть на себя коричневые платья, белые косынки и золотые кресты наружу, высказали отцу желание отправиться на театр военных действий.

Заговорил об этом Михаил, а Николай только поддержал его, и ожидающе оба глядели на отца, который медлил с ответом: он прежде всего не представлял, где именно вот теперь, в данную минуту, мог находиться этот театр военных действий. Разве не могло случиться, что, навалившись на слабые силы Меншикова, союзные армии на его плечах вошли уже в Севастополь?

Поэтому намеренно не сразу отозвался, попеременно глядя на сыновей, точно мысленно прощаясь с ними:

— Поездка на театр военных действий, конечно, может вам принести много пользы... Ты,—обратился он к Михаилу,—со временем должен будешь стать во главе артиллерийского ведомства. А ты,—он кивнул подбородком в сторону Николая,—во главе инженерного. Вам обоим надо знать, что введено нового у них, как идет дело у нас... Я не против вашей поездки к Горчакову, в Бессарабию.

— К Горчакову?—разочарованно протянули оба сразу.—А какие же военные действия возможны у Горчакова?

— Только этого и нехватало, чтобы еще и Горчаков открыл военные действия!—зло отозвался Николай.—Слава богу, у него пока спокойно, и вы можете присмотреться там на месте, как делается война. Воевать хорошо можно только тогда, когда война подготовлена хорошо.

— А разве Горчаков хорошо подготовил войну?—улыбнулся Михаил.

— Может быть, он умеет хорошо подготовить войну, но воюет, как известно, плохо,—поддержал младшего брата старший.

— Но зато он, кажется, единственный порядочный человек на всю Южную армию!—повысил голос Николай, но тут же отошел, добавив уже гораздо тише:—Я напишу ему, что вы хотите поехать к нему в действующую армию.

— А в Крым ехать сейчас даже и опасно,—заговорила возбужденно Елена Павловна,—потому что... неизвестно ведь, что там такое делается теперь.

— Прибыл курьер от Меншикова, привез донесение, что... десантной армии оказано сопротивление, очень чувствительное для союзников,—явно выбирая выражения, сказал Николай.

— Ах, вот как!—Елена Павловна радостно сложила ладони, как для аплодисментов.—Это очень утешительно!.. И что же теперь Меншиков?

— Будет защищать Севастополь с суши, пока подоспеет четвертый корпус от Горчакова... А там милые гости должны будут убраться во-свояси.

Николай говорил это не столько для Елены Павловны или своих сыновей, сколько для себя самого: хотелось звуками своего спокойного, уверенного голоса убедить себя, что именно так и будет, и что шагающего теперь по степи суворовскими маршами четвертого корпуса достаточно для того, чтобы десант союзников рассеялся как мираж.

— Вот они, истинные известия из Севастополя!—Елена Павловна блеснула глазами, сжимая в кулаки красивые руки.—А разные негодные люди в Петербурге уверяют, что Севастополь уже взят не то вчера, не то два дня назад!

— Ка-ак так взят Севастополь?—Николай поднял голову и плечи.—Кто-о смеет распускать такие подлые слухи?

Елена Павловна всплеснула руками:

— Невозможно! Это невозможная низость! Но как только появится в «Северной пчеле» официальное сообщение, все эти слухи исчезнут, конечно.

— Они не должны возникать,—что там исчезнут!—крикнул, уже не сдерживаясь, Николай.—За распускание подобных слухов—в Сибирь подлецов!—перешел он на русский язык, как более сильный и подходящий к моменту.—Это—дело столичной полиции брать за шиворот всякого, кто только повторяет подлейший этот слух!.. Войска Меншикова отступили в полном порядке!.. Потери наши ничтожны! Укрепления возведены! Орудия везде поставлены! И пусть-ка сунутся эти господа к Севастополю! Им устроят такой салют, что они едва ли унесут ноги!.. Да, они не унесут ног: Севастополь будет для них могилой!.. Могилой, да!

Он был бледен от возбуждения. Резко отставив стул, он поднялся и выпрямился, как в строю. Все встали вслед за ним, хотя обед еще не был окончен. Даже кроткая Нелидова осуждающе глянула на излишне болтливую Елену Павловну.

Император ушел к себе в кабинет, откуда тут же распорядился послать за князем Долгоруковым и петербургским генерал-губернатором.

3

Было уже поздно, когда отпустил Николай спешно прибывшего Долгорукова. Он все пытался сквозь осторожные официальные слова военного министра добраться до его мыслей там, в глубине души, о положении русского дела в Крыму, но Долгоруков умел хорошо владеть собою и говорил только то, что могло ослабить тревогу царя, а не усилить.

По его словам, слухи о падении Севастополя до него не дошли; если же их кто-нибудь в Петербурге придумывает и распускает, то это скорее всего французы-куаферы или француженки, содержащие великосветские ателье мод.

Петербургский генерал-губернатор получил приказ царя взять под стражайшее наблюдение французов и англичан, проживающих в столице, даже и принявших русское подданство в последние годы.

Доводы Долгорукова относительно того, что скорее, чем ехал курьер Меншикова, штабс-ротмистр Грейг, никто бы доехать из Севастополя до Петербурга не мог, электрического же телеграфа в южном направлении не существует,—конечно, являлись вескими для царя, но он знал эти доводы и сам и десятки раз приводил их самому себе.

Однако он не забывал и того, что стоустая молва, обходя почтовые тракты, способна лететь гораздо быстрее всех курьеров, а главное, были налицо все основания для такой молвы. Привыкший только отдавать приказания, а не выполнять чужую волю, самодержавный монарх России упрощал все расчеты, связанные с передвижением армий: в его мозгу они двигались неудержимо быстро,—просто для них даже и не существовало никаких препятствий. Это относилось прежде всего к армиям союзников, победителей на Алме, так как английские и французские пехотинцы были гораздо легче оснащены, чем русские,—значит, способны к более быстрым маршам.

Известию, привезенному Грейгом,—будто союзники не преследовали отступающие русские полки,—он не то, чтобы не верил, но это просто не укладывалось в порядок его мыслей: раз одержан успех, его необходимо развивать без промедления,—так учила тактика; а если Грейгу не встретились союзные войска на дороге к Симферополю, то потому, конечно, что они шли морским берегом, если даже не перевозились на судах, что было бы вполне разумно с их стороны.

Прямолинейный ум Николая предполагал такую же прямолинейность и у Раглана и Сент-Арно.

Между тем в прямолинейность заявлений заграничных газет о том, что союзники направляют удар на Севастополь, он не верил, считая, что это только военная хитрость—дать газетам заведомо вздорный план войны, чтобы усыпить его внимание на Кавказе, который несомненно станет театром военных действий: как же можно не поднять восстания горцев, у которых есть такой вождь, как Шамиль? Как же можно не усилить мощным десантом турок около Батума, зная, что Черноморский флот заперт в Севастопольской бухте?

От себя самого Николай не мог скрыть, что его обошли, перехитрили, одурачили; что если бы он дал больше веры записке Меншикова, посланной ему еще в конце июня, и подкрепил бы его хотя бы корпусом, Севастополь был бы в безопасности, а теперь... все говорило за то, что слухи, дошедшие до болтливой Елены Павловны, может быть, и вполне правдивы.

Что Севастополь почти не укреплялся с Южной стороны, Николай знал; в то, что его могли укрепить хорошо за несколько дней, он, когда-то занимавшийся саперным делом, не верил. Сокрушительный штурм армии союзников и позор падения твердыни и оплота всего юга России стал представляться ему все более и более возможным,

когда он остался после полуночи один в своем кабинете.

Вплоть до последнего времени Николай, хотя и оставался незыблемо религиозен, не допускал, чтобы обедни в дворцовой церкви тянулись дольше часа, почему не любил и так называемых «концертов», сложных по партитуре, и выступлений солистов, а допускал только простое обиходное пение: он ценил свое рабочее время дороже длинных и витиеватых песнопений,—у него был практический ум. Ясность европейской политики, которую главным образом сам же он и делал, укрепляла его в том мнении, что все, что он делает,—безошибочно хорошо: его бог (русский бог) стоял перед ним с благожелательным лицом.

Но вот теперь очень остро и резко почувствовал он, что бог, самодержец всех самодержцев земли, отвернул от него лицо.

Во дворце кругом все было тихо; за окнами кабинета слабо шуршал однообразно при полном безветрии падавший дождь.

Перед иконой спасителя старый камер-лакей Никита Иваныч по приказу Николая зажег восковую свечу и ушел спать.

Икона висела над изголовьем походной кровати. Николай отодвинул кровать, стоял и долго и молча смотрел на икону глаза в глаза. Наконец, огромный, но усталый от двух почти бессонных перед этим ночей, он медленно опустился на колени, истово крестился длинной рукой и склонял голову, касаясь ковра блестящим, облысевшим лбом.

Он не шептал при этом никаких церковью сочиненных молитв, ведь в этих молитвах ничего не говорилось о Севастополе; но он молился долго, до полной усталости, которая привела за собою сон.

Так и заснул он, стоя на коленях, прислонясь плечом к походной кровати и свесив голову. Свеча, подтаяв и наклонясь, капала на правый генеральский погон его мундира...

Он проснулся только тогда, когда повернул во сне голову вправо и горячая капля расплавленного воска упала на его голое темя.

ГЛАВА ПЯТАЯ
ДНИ ЛИКОВАНИЙ

1

Человек мечтателен по натуре,—его мысль быстра. Он недоволен слишком медленным, хотя и плавным, с учетом всех решительно причин и предпосылок, течением мировых событий. Он спешит. Ему так иногда хочется ускорить эти события, что он готов даже сам выдумать их и в свою же выдумку поверить.

Когда тот же самый, волчком завертевшийся по Европе слух о взятии Севастополя попал в парижские газеты (вечерние газеты за 1 октября нового стиля), ему сразу поверил весь Париж. И как было не поверить после только что опубликованных подробностей полного и решительного поражения армии Меншикова на реке Алме благодаря искусству покойного маршала Сент-Арно?

Если Сент-Арно и умер на своем славном посту, то ведь замещал его теперь молодой, полный энергии и отваги генерал Канробер, который, конечно, как волк на свою добычу, бросился на этот Севастополь и взял его.

На другой день в утренних выпусках газет появились всеми ожидаемые подробности этого славного дела. С большой осведомленностью газеты «Patrie», «Pays», «Constitutionnel» и другие сообщали своим читателям, когда и где последовательно, в нескольких сражениях была совершенно уничтожена армия Меншикова, уцелевшая от разгрома на Алме; как затем приступлено было к бомбардировке Севастополя, после которой блестяще проведен был штурм. Флот, стоявший в бухте, истреблен весь, без остатка. Сдача гарнизона была безусловной.

Конечно, нужно было все-таки указать и источник этих ошеломляющих известий. Газеты ссылались на татарина, приехавшего в Константинополь из Крыма. Уже в самом слове «татарин» была та самая экзотичность, которая необходима для достоверности, раз события совершаются в такой стране, как Россия. И в этот день самым популярным словом в Париже было слово «татарин».

Улицы были оживлены необычайно: как же можно было и усидеть дома, раз Севастополь взят? Газеты дошли даже до того, что патетически восклицали: «Наконец-то наши несчастья 1812 года в этой стране отомщены молниеносно быстро и блестяще». Радостно заволновались кварталы предместий; ликование перекинулось вместе с листами парижских газет в провинцию. Префекты городов печатали и приказывали наклеивать на стены прокламации о бурном натиске войск императора Наполеона III на твердыню императора Николая и об их решительном успехе, превзошедшем все ожидания.

С барабанным боем, торжественно объявлялись депеши газет гарнизонам провинциальных городов. Много, очень много было на вполне законном основании пьяных в этот день во всей Франции. Даже незнакомые люди сходились на улицах для того, чтобы поздравить друг друга с тем, какую геройскую армию имеет их страна,—несомненно лучшая страна в мире.

В Сен-Клу, где ожидался император Наполеон, торжественно и лихо били барабанщики, исполняя приказание начальства. Жителям предложено было зажечь вечером иллюминационные плошки

около своих домов. В парке сожжен был замысловатый фейерверк в ознаменование великого торжества французской армии над русскими казаками.

Наполеон III, мечтательный сын мечтательной Гортензии, так сразу и безоглядно уверовал в «татарина» с его бесподобными вестями из Крыма, что приказал было уже пушечными выстрелами с Инвалидного дома оповестить население Парижа о блистательной победе; и нигде во всем Париже не ждали с таким нетерпением этих заветных выстрелов, как на бирже, где расцвел мгновенно, чуть только появились «телеграфические депеши» в газетах, давно невиданный ажиотаж.

Побочный брат Наполеона, граф Морни, был на бирже совершенно в своей стихии. Дела его в первый день шли так же блестяще, как дела французской армии в Крыму. Но ему хотелось большего: не всякий же год берутся Севастополи и без остатка уничтожаются целые флоты.

Этот внешностью похожий на брата, только начисто плешивый делец, больше всех окружавших в тот день императора французов, настаивал на том, что необходимо палить не только с Инвалидного дома, но и вообще изо всех пушек, какие имеются в Париже. Торжествовать, так торжествовать! Иначе зачем же пушки?

Едва удалось военному министру, маршалу Вальяну, убедить Наполеона, что палить из пушек будет не поздно и на другой день: не все же сразу. А тем временем придут подтверждения первоначальных депеш, а главное, интересующие всех подробности этого огромного исторического события и перечисление взятых у русских трофеев.

Седоусый маршал выказал такую явную осторожность, отнюдь ни одним словом при этом не опорачивая переданных из Константинополя депеш, напечатанных и в официальном «Мониторе», что Наполеон только презрительно улыбался, глядя на него: хорош маршал! Хорош военный министр, сомневающийся в подвигах своей армии!.. Однако приказ об открытии пальбы в этот день отменил.

2

Все-таки, если даже и не палили из пушек, никто не мог запретить кричать кое-кому на бирже, что пальба была, что они только что слышали на улице пушечные залпы. Даже самые сомнительные ценности, и те летели вверх при одних только криках о пальбе.

Страсти разгорелись так, что за общими криками биржевики и не могли бы расслышать никаких пушек, не только с Инвалидного дома, но и возле здания биржи.

Вечерние газеты хотя и не принесли никаких подробностей о победах в Крыму, но зато объявили плохими патриотами тех, кто вздумает усомниться в верности сообщенных известий. Биржевые агенты были гораздо более воинственны, чем полковники и генералы. Размахивая тросточками, как шпагами, они кричали: «Итак, с русским медведем мы покончили! Теперь на Рейн! Теперь очередь Пруссии!»

Граф Морни проявлял непостижимую энергию: он не обедал, не отдыхал, не ложился спать два дня. Если сорвалось дело с пушками, то ведь были газеты, барабаны, иллюминации, прокламации, был ипподром наконец, на котором можно было в спешном порядке поставить на сцене «Взятие Севастополя».

Главное же было в акциях разных компаний, в акциях, продававшихся и покупавшихся в эти дни на бирже, некоронованным королем которой был Морни.

Метц, Страсбург, Тулон,—все вообще города, где были крупные гарнизоны, экстренно, но тем не менее пышно устраивали банкеты с разливным морем вина, речей и тостов за императора, маршалов, офицеров и героев-стрелков.

Начало октября—время сбора винограда винных сортов—и без того всегда было праздничным временем у французских крестьян, теперь же от этих изумительных побед в Крыму французская деревня совершенно обезумела.

Если бы Наполеон в эти дни вздумал посетить провинцию, как делал это в дни своего президентства, он был бы предметом самых восторженных оваций, он был бы кумиром толпы.

Но он не чувствовал уже никакой нужды в подобном проявлении народных чувств. Он был и без того упоен властью и еще больше вырос в собственных глазах благодаря необыкновенной, почти сказочной удаче предпринятого им не без тайных колебаний смелого шага на Востоке.

Однако и по ту сторону Ламанша появились в газетах те же самые константинопольские депеши со слов «татарина», приехавшего из Крыма. Но к чести англичан, только перед тем узнавших о больших потерях армии лорда Раглана «в бою у деревни Бурлюк», то есть на Алме, нужно сказать, что они отнеслись к «татарину» с некоторым сомнением.

Ликование было, конечно, и в Лондоне, и усиленно начали работать биржи и банки Сити, но Кларендона, руководившего иностранной политикой, со всех сторон засыпали вопросами, есть ли подтверждение столь пышных депеш, и Кларендон только разводил руками и говорил, что ему ничего неизвестно.

Париж продолжал волноваться сам и волновать Лондон, Берлин, Вену—всю Европу.

Правда, на третий день запрещено уже было правительством отправлять из Парижа электрические депеши, если в них официально сообщалось о взятии Севастополя. Однако министерство внутренних дел ничего пока еще не имело против

подобных сообщений, если газеты ссылались на «частные источники».

В подобных же «частных источниках» не было недостатка, так как агенты графа Морни не менее деятельно работали в Константинополе, чем он в Париже.

И только утром 5 октября газеты решились, наконец, разобрать набор громоносных статей, заготовленных заранее, в надежде на новые депеши уже не «татарина», а Канробера и Раглана.

Мистификацию нельзя уж было продолжать; тон газет стал весьма сконфуженный.

Разочарованные парижане в тот же день к вечеру каждого полицейского на улицах награждали презрительной кличкой «татарин», за что многие поплатились арестами.

Известный комический актер Грассо, зайдя вечером в этот день в совершенно переполненное кафе, сказал во всеуслышание: «Кажется, найти здесь место за столиком потруднее будет, чем взять Севастополь!»—и за это был немедленно отведен в полицию.

Сам Наполеон был ужасно рассержен тем, что стал жертвой доверия к совершенно нелепой выдумке, и приказал строжайше расследовать это дело. А плешивый братец его мог, наконец, утереть трудовой пот и подсчитать миллионные барыши, которые доставила ему пока, в первые дни, севастопольская кампания своим «татарином».

В Петербурге же иностранные газеты с константинопольскими депешами пришли в одно время с донесением Меншикова Николаю о том, что, совершив фланговый марш и обезопасив тем сообщение с тылом, он от Бахчисарая возвратился в Севастополь, на защиту которого стали в бастионы моряки рядом с пехотинцами, и что союзники, видимо, предпочли длительную осаду весьма рискованному штурму.

Сличение чисел показало, что и депеши со слов «татарина» и донесение Меншикова писаны в одно и то же время.

День получения тех и других известий—27 сентября по старому стилю—сделался днем ликования теперь уже для сумрачно настроенного перед тем Николая.

На радостях он написал Меншикову:

«Благодарю всех за усердие! Скажи нашим молодцам-морякам, что я на них надеюсь на суше, как на море. Никому не унывать! Надеяться на милосердие божие; помнить, что мы, русские, защищаем родимый край и веру нашу, и предаться с покорностью воле божией. Да хранит тебя и вас всех господь! Молитвы мои—за вас и наше правое дело, а душа моя и все мысли с вами. Душевно обнимаю.

Поклонись Горчакову и обними Корнилова.

Что наши раненые, каково им: как призрены, и где и как обезопасил ты их от бомб?»

Горчакову же, командующему Южной армией, он писал в тот же вечер:

«...Завтра благословлю в поход моих младших сыновей; думаю, что они к тебе явиться могут 3 или 5 октября. Будь им руководитель и сделай из них добрых, верных служивых, а за усердие их отвечаю. Не балуй их и говори им правду».

ГЛАВА ШЕСТАЯ
ДНИ НАДЕЖД

1

Войдя в синопскую бухту, суда Черноморского флота, не отвечая ни одним выстрелом на ожесточенную канонаду турок, прежде всего спустили якоря и стали прочно на отведенных им по диспозиции Нахимова местах.

Плавучие крепости сделались неподвижными крепостями и выдержали бой и уничтожили противника.

Когда Корнилов стал во главе обороны Севастополя, он остался прежним вице-адмиралом, только число подчиненных ему судов значительно выросло, и одни из них—старые—на привычных для глаза местах стояли в бухте, другие—новые—получившие название бастионов, выстроились с другой стороны города, а моряки были одинаковы здесь и там.

Поставленный во главе обороны не приказом свыше, а доверием к его способностям со стороны старших по службе адмиралов и генералов, как Нахимов, Станюкович, Берх, Моллер,—Корнилов в несколько дней развернул все свои недюжинные силы.

Он рос у всех на глазах. Он цепко держал в голове все слабые места оборонительных линий и все ресурсы крепости, которые можно было бросить туда, и все возможные способы этой переброски.

Каждый из тех нескольких дней, которые Меншиков с армией провел на бивуаке под Бахчисараем, казался вице-адмиралу неумолимо коротким.

Он стремился бывать везде и видеть всех. Его речи солдатам и матросам, рывшим траншеи, устраивавшим блиндажи, устанавливающим орудия, были коротки, но выразительны, как знаменитая, попавшая в летопись, речь Святослава[1]. Он говорил, что отступать некуда: позади море, впереди неприятель, и что надо умереть с честью.

---

[1] *Святослав Игоревич* (942—972)—великий князь Киевский. Имеется в виду речь, с которой Святослав в 971 г. обратился к своим воинам перед одной из битв с византийскими войсками, осадившими занятый им город Доростол (на Дунае); основная мысль этой речи: «или жить победителями, или умереть со славой».

При этом бледное лицо его горело таким экстазом, что даже солдаты, не только матросы, кричали «ура» и говорили: «Вот это командир, так командир!»

Между тем хворосту для туров и фашин не было, земля же была сухая, хрящеватая, сыпучая, даже дерн, чтобы ее удержать на укреплениях, вырезать было негде. Какой-то озорной козел, принадлежавший попу с Корабельной слободки, и тот повадился расковыривать рогами насыпи, приготовленные близ Малахова кургана для защиты от бомб и ядер союзников, и действовал так успешно, что приводил начальство батареи не только в ярость, но и в отчаяние.

Амбразуры для орудий выкладывали мешками с землей, отчетливо представляя себе, как они загорятся при первых же выстрелах, но больше не было ничего под руками. Счастливы были, когда удавалось докопаться до глины; тогда лепили щеки амбразур из глины.

Но орудия и снаряды к ним везли и везли из арсенала и с судов. Матросы-комендоры, принимая их, ласково поглаживали и похлопывали их по хоботам: свои! Брустверы бастионов—не те же ли были борты линейных кораблей и фрегатов?

Как на кораблях, матросы называли дежурство на бастионах «вахтой», часы—«склянками», канаты—«концами». Каждые полчаса вахтенный бил в колокол, как это делал на корабле, а боцманы свистками сзывали своих людей на обед, на работы.

Как на кораблях, вода для питья и на батареях хранилась в цистернах, железных ящиках одинакового размера, а глубокие блиндажи разве были не те же кубрики?

Князь Меншиков, адмирал по чину, начальник главного морского штаба по должности, назначенный царем в Крым на его защиту, никак не мог наладить хорошие отношения с черноморскими моряками. Не было уважения к нему, хотя он часто показывал, что знает морское дело; тем более не было ни с кем, даже из адмиралов, сколько-нибудь теплых отношений.

Он пробовал устраивать обеды и приглашал на них моряков приблизительно одних рангов, чтобы они держали себя непринужденно, но на таких обедах даже друзья, сидя рядом, имели вид тайных врагов, и признанные поклонники Бахуса только прикасались губами к бокалам, тут же отодвигая их.

От старших в чинах не отставали и младшие: капитан-лейтенанты, лейтенанты, мичманы. Они всячески выказывали свое презрение к тем, кого из флотских удостоил Меншиков взять к себе в адъютанты или ординарцы.

Когда Меншиков убедился в том, что неприязненного отношения к себе в Черноморском флоте он вытравить не может, он, не сдерживаясь, давал волю своему сарказму на смотрах; синопских героев, когда они вернулись, презрительно называл «желтыми рубашками», и мало того, что выдержал их три дня в карантине,—не пришел на праздник, устроенный для них городским управлением. Он сослался при этом на недужность, но все видели его в тот день вечером верхом на лошади, окруженного свитой адъютантов: вечер выдался тихий и теплый, и он вздумал проехаться по городу.

С матросами, выстроенными на палубах судов, когда он проезжал на катере или шлюпке, он даже и не здоровался, ссылаясь на свой тихий голос. Матросы звали его весьма единодушно «чортом».

Но если такие установились отношения во флоте у адмирала Меншикова, то тем более чужим казался он полкам кавалерийским и пехотным, солдаты которых даже и понять не могли, почему командующим войсками вдруг оказался этот длинный старик во флотской черной шинели и черной фуражке.

Корнилов же, свой среди матросов, сразу был признан и солдатами всех полков. Когда же лейтенант Стеценко привез ему добрую весть, что армия не только не покинула города на произвол врагов, но возвращается значительно усиленная отрядом генерала Хомутова, Корнилов так светился весь радостью, что зажег ею весь гарнизон, объезжая батареи с первой до последней.

И получилось как-то само собой, что будто не командующий всей обороной, не только Севастополя, а и целого Крыма, шел принять это дело в свои руки, а просто ему, адмиралу Корнилову, прислана была большая сила на подмогу и с этой подмогой при таком командире, как Корнилов, не страшны уж никакие враги.

Между тем ему никогда не приходилось не только защищать, но и брать никаких крепостей, а Меншиков все-таки за четверть века до того взял крепость Анапу, руководил осадой Варны и гораздо лучше Корнилова знаком был с инженерными работами, удивляя этими своими знаниями даже Тотлебена.

Человек общепризнанно умный, Меншиков был и одним из образованнейших людей тогдашней России. Он не только имел богатейшую из частных библиотек,—он прочитал все свои книги, и багаж его знаний был громаден. Неизвестно, зачем вздумалось ему между прочим получить диплом ветеринарного врача (это было в молодости, за границей), и он получил его. Но медики из разговоров с ним выводили, что он прекрасно знаком с медициной, геологи принимали его за геолога, астрономы за астронома...

И однако человек столь разнообразных и обширных знаний не знал такой простой, казалось бы, вещи—умения владеть людьми. Он был слишком холоден для этого; обилие его знаний не оставляло

в нем места для веры в людей. Он мог отдать приказ обдуманный и необходимый, но будто даже излишним считал внушить, как его выполнить; у него не было дара внушать.

И как раз того самого огня, которого нехватало Меншикову, чтобы стать вождем, в избытке было у Корнилова, и это чувствовали все, кто соприкасался так или иначе с ним, от генерала до рядового.

И когда светлейший вернулся в покинутый им на целую неделю Севастополь, то первый, кого он хотел видеть и с кем говорить, был Корнилов.

2

Человек кабинетный и по натуре и в силу преклонных лет, Меншиков даже в походе носил на себе всё наиболее нужное из своего кабинета: чернильницу, перья, карандаши, записные книжки разного назначения, справочники и свои записки, карты местности вокруг Севастополя, циркуль, лупу, двое карманных часов—расхожие и запасные, бинокль, а кроме того, имея в виду всякие случайности войны, он набивал свои карманы набором хирургических инструментов и всем, что требовалось для перевязки раны, револьвером и патронами к нему, сухарями и мятными лепешками, плоской фляжкой с коньяком или ромом и пропастью прочего груза, для которого на одном только жилете было у него шесть карманов; сверх жилета носил он камзол—тоже с шестью карманами, а сверх камзола—короткую шинель солдатского серого сукна, состоящую сверху донизу из одних карманов.

Это чрезмерное изобилие карманов прикрывалось в конце концов неким подобием плаща тоже из серого солдатского сукна, с рукавами, хлястиком сзади и капюшоном; сооружение это было недлинное—всего до колен, и в нем светлейший казался издали массивным.

Таким застал его Корнилов, вызванный им вечером 18 сентября на Северную сторону, в инженерный домик, облюбованный князем для ночевки после похода.

Корнилов вошел к нему радостный.

— Наконец-то! Теперь Севастополь спасен!—возбужденно заговорил он, едва успев поздороваться с князем.

— Почему вы так думаете?—Меншиков удивленно поглядел на него.—Потому только, что вам хочется так именно думать?.. Мне, конечно, тоже хотелось бы так думать, Владимир Алексеевич, но, к сожалению, у меня нет никаких оснований для этого... Неприятель очень силен, мы же ужасно слабы... ужасно слабы!

— Мы,—севастопольский гарнизон то есть,—мы действительно слабы, Александр Сергеевич,—нас едва ли наберется всего-навсего пятнадцать тысяч... Так что, если союзники двинутся на нас тремя колоннами по пятнадцать тысяч, они нас сомнут,—это правда... Но раз с нами будет вся армия...

— Армия не войдет в Севастополь,—спокойно перебил его князь.

— Как не войдет?—не понял Корнилов.

— Армия будет нужна для защиты Крыма, когда будет взят Севастополь.

Голос князя, и без того глухой и негромкий, теперь, от усталости видимо, показался Корнилову еще глуше; весь его старческий облик с темными, почти черными, дряблыми подглазьями был зловещий. Нервная судорога кривила его губы с левой стороны.

Несколько моментов Корнилов молчал пораженный,—наконец проговорил сдавленно:

— Мы ждем штурма со дня на день, с часу на час, ваша светлость. Мы укрепились уже очень за эту неделю... Но у нас мало людей для рукопашного боя... Вся наша надежда была на армию!

— Весь Крым надеется на армию,—не один Севастополь...

— А что же такое Крым без Севастополя?—почти вскрикнул Корнилов.—Разве можно дать погибнуть Севастополю, ваша светлость?

Меншиков повел головою.

— Моя армия его не спасет. Моя армия слишком слаба и численно мала.

— А десять тысяч подкрепления? Откуда же их взял лейтенант Стеценко?

— Десять тысяч?.. Да, мы их ждали, но пришло гораздо меньше... гораздо меньше... И то, что называется «на тебе, небоже, что нам негоже»... Никто ведь не хочет расстаться с хорошими частями. Горчаков писал, что послал двенадцатую дивизию, но когда она придет? К шапкам? Когда все с Севастополем будет кончено?

— Александр Сергеевич! Выделите нам хотя бы четыре пехотных полка полного состава, и Севастополь мы отстоим!—выкрикнул Корнилов, сделав энергичный выпад тощей рукой в сторону Балаклавы и Херсонеса.—Нет, вы этого не сделаете, конечно, чтобы армия была только почетным свидетелем гибели всех матросов, всех офицеров флота, всех судов, всех фортов, всего арсенала!.. Ведь не будет же армия с Инкерманских высот только наблюдать хладнокровно пожар Севастополя, как Нерон пожар Рима!.. Наконец... простите мою горячность, ваша светлость, ведь вы теперь лично, а не я, то есть не генерал Моллер, будете стоять во главе обороны Севастополя!

— Напротив! Совсем напротив!—спокойно возразил Меншиков.—Армию я думаю дня через два отвести снова от Севастополя.

— Но ведь штурм может быть завтра или даже сегодня в ночь, если они достаточно изучили местность!

— Местность они изучили гораздо раньше, чем высадились в Крыму,—непроницаемо спокойно отозвался князь и вынул из одного кармана камзола аккуратно сложенную пухлую карту окрестностей Севастополя с французскими надписями на ней.— Полюбуйтесь, какая чистая работа!.. Я несколько раз обращался с письмами к Долгорукову, чтобы прислал мне подробную карту Крыма; и мне прислали, наконец, старой съемки, еще тридцать седьмого года, карту вам известную,—пять верст в дюйме,—и с целой кучей неточностей, а эта— верста в дюйме и очень точная, в чем я убеждался неоднократно на походе.

— Как же она к вам попала?

— Казаки обшаривали поле сражения на Алме,—нашли ее где-то там в брошенной сумке... Между прочим подобрали и несколько наших тяжелораненных... Бросили те, мерзавцы, без всякой помощи... Потом на арбах перевезли их казаки в Бахчисарай.

— Хорошо еще, что не отрезали им голов турки!

— А у вас есть точные сведения, что штурм назначен на завтра? От кого именно получены они?

— Сведений никаких нет, но все разумные доводы говорят за это.

— Разумных доводов мало, очень мало! Разумные доводы говорили и за то, что десант в Крыму—вещь неразумная, а умнее был бы десант на Кавказе. Однако...

Меншиков сощурился и развел кистями рук.

— Однако они пропустили уже самый удобный для них момент,—подхватил Корнилов,—когда могли захватить и Северную и Севастополь!

— Армия висела у них на вороту,—вот что имели они в виду... И теперь висеть будет... И этот вытяжной пластырь, прошу вас так думать, Владимир Алексеевич, гораздо полезнее приемов лекарства внутрь... Вы увидите, что они не рискнут на штурм!

— Днем, может быть,—а ночью?

— Десятитысячному авангарду под командой Жабокритского я приказал, как следует показаться им на Инкерманских высотах! В развернутом строю, чтобы занять как можно больше пространства! И даже, если позволит время, продефилировать два раза одними и теми же частями, чтобы мой авангард они там приняли за всю армию. Думаю, что демонстрация эта им кое-что внушила, и штурма в ближайшие дни не опасаюсь.

— А в ближайшие ночи?—снова спросил Корнилов.—Ведь одна эта карта показывает, что местность кругом им известна, а за несколько дней, пока армия им не мешала, они, конечно, отлично изучили ее в натуре, нашу местность... Мы с Истоминым думали на-днях устроить учение на Малаховом,—примерный штурм,—чтобы определить точно, сколько штыков потребно будет для защиты этого участка обороны. Однако он думает и без подобного опыта, что надо вчетверо больше солдат и матросов, чем у него сейчас.

— Другими словами, вы хотели бы всю армию засадить за бастионы и чтобы Севастополь союзники окружили со всех сторон?—усмехнулся, по-своему, длительной саркастической гримасой, Меншиков.—Нет, об этом давайте больше не говорить. Прошу показать мне вот здесь, на карте, откуда именно ждете вы ночного штурма.

Корнилов наклонился над картой, которую Меншиков тем временем осторожно развертывал на столе.

— Гм... Тут есть даже хутор Дергачева... и хутор Панютина,—изумился он.—Что же это? Они ли производили съемку у нас под носом, или постарались для них какие-нибудь шпионы, наши подданные?

— Татары, конечно,—нахмурился Меншиков.— Я буду просить разрешения у государя очистить от татар западный Крым, иначе они поднимут восстание у нас в тылу.

— Мне кажется, это уж слишком крайняя мера, Александр Сергеевич. Все будет зависеть, конечно, от нашей силы. Будем слабы, допустим,—чего боже сохрани!—врагов овладеть Севастополем, восстание тогда неизбежно. А пока... пока они расположились так, насколько мы могли выяснить: Панютин хутор занят французами; от хутора и к верховьям Камышевой бухты и Стрелецкой они расположились лагерем; туда, к этим бухтам, сегодня утром пароходы вели на буксире пятнадцать купеческих судов, больших, с низкой осадкой... Затем то и дело появляются на высотах их конные отряды, в целях, разумеется, рекогносцировки, но близко, на пушечный выстрел, все-таки подъезжать не рискуют.

— А не могут ли они захватить Георгиевский пороховой погреб?—встревожился князь.

— Я это сделал, то есть приказал его очистить, и он очищен: из него успели вывезти все. Также и лес с делового двора перевезен в адмиралтейство, так как двор оказался вне оборонительной нашей линии. Затем введены в действие сигналы по всей линии, как-то «неприятель появился там-то», «имею нужду в подкреплении»...

— Кто же не имеет нужды в подкреплении?— буркнул Меншиков.—Англичане где и как стали?

— Получены сведения из Балаклавы, что они заняли Балаклаву, Кадык-Кой, Комары,—вообще всю окрестность Балаклавы и, повидимому, хотят завести в бухту свой флот.

— Военный флот ведь нельзя же завести в бухту,—перебил князь.

— Передавали, будто даже трехдечный линейный корабль ввели! Хотя у нас во флоте думают, что это какая-то басня.

— Странно! Мелкие суда—об этом не может быть спора: я так и предполагал, что тихая бухта эта будет служить убежищем для мелких судов во время равноденственных бурь,—но трехдечные линейные корабли чтобы вошли в такой узенький проход, как там,—это, правда, похоже на вымысел... Но допустим, допустим даже и это. Значит, этот район,—он обвел ногтем большого пальца,—угрожаем от французов, а этот—от англичан. Турки же, кажется, в большей части остались в Евпатории... Я такое их расположение предвидел. По каким же линиям и на какие именно пункты вы ждете ночных атак?

Корнилов пространно начал объяснять, то и дело прикасаясь к карте неочиненным концом карандаша. Меншиков слушал, глядя больше на его голову и мимо нее в окно, чем на карту,—наконец, сказал:

— Нет, я что-то совсем не верю в их ночные штурмы, Владимир Алексеевич! Без приличной такому шагу бомбардировки они не кинутся в подобный омут... Потому что ночной штурм—это тот же омут: можно вынырнуть, а можно и ко дну пойти. Они ведь знают, я думаю, что ночью будет исключительно штыковая работа, поэтому потери их во всяком случае будут огромные, а успех сомнителен.

— Вы придаете мне много бодрости этими вашими словами, Александр Сергеевич, но я надеюсь и на то, что вы не откажете все-таки дать еще и дивизию для поддержки матросов на бастионах,—почти умоляюще поглядел на князя Корнилов.

Меншиков недовольно отвернулся.

— Я думаю, что это совсем лишнее.

— Может быть, мы сделаем так, ваша светлость,—перешел на официальный тон Корнилов.—Вы прикажете собраться военному совету из начальников оборонительных участков; я зачитаю на нем свою вам докладную записку о положении дела, и тогда уж совет решит.

— Опять совет!—князь сделал гримасу.—Дались вам советы!

— Однако, ваша светлость, если вы говорите, что снова уведете армию от Севастополя, для чего потребовали, чтобы все обозы были перевезены на Северную, чем мы были заняты весь день и что, наконец, закончили...

— Ну, хорошо, хорошо! Совет,—военный совет,—презрительно перебил Меншиков.—Если вам так нравятся эти советы, приготовьте докладную записку,—что ж с вами делать!

— Я, ваша светлость, хочу только одного: чтобы уцелел Севастополь! — Корнилов выпрямился. — В каком часу прикажете завтра собраться начальникам оборонительных участков и прочим начальствующим лицам?

— Я извещу вас об этом завтра утром.

Они простились холодно. Вернувшись к себе, Корнилов немедленно начал готовить докладную записку, но верный себе Меншиков не собрал на другой день военного совета, зато он прислал к вице-адмиралу одного из адъютантов с радостным сообщением, что выделяет на усиление гарнизона три полка 17-й пехотной дивизии: Московский, Бородинский, Тарутинский, с батареями 17-й артиллерийской бригады и резервные батальоны—по одному от Волынского и Минского полков.

3

Еще до прихода армии Меншикова к Севастополю Корнилов устроил на случай бомбардировки и штурма несколько перевязочных пунктов в городе и один на Корабельной слободке. В этот последний, с его разрешения, была зачислена в штат медицинского персонала первая русская сестра милосердия—матросская сирота Даша.

Корабельная слободка основалась в одно время с тем казенным Севастополем, который показывал Потемкин Екатерине в 1787 году. Корабельную слободку заселили корабельные плотники, которых было немало согнано сюда из Воронежской, Рязанской и других губерний, где привился и вырос этот промысел с легкой руки Петра.

Флот, представленный Екатерине в Севастопольской бухте, был уже вполне порядочный для начала: три линейных корабля, двенадцать фрегатов, двадцать пять более мелких судов.

И все это, так же как и деревянный дворец для Екатерины, строили обитатели Корабельной слободки.

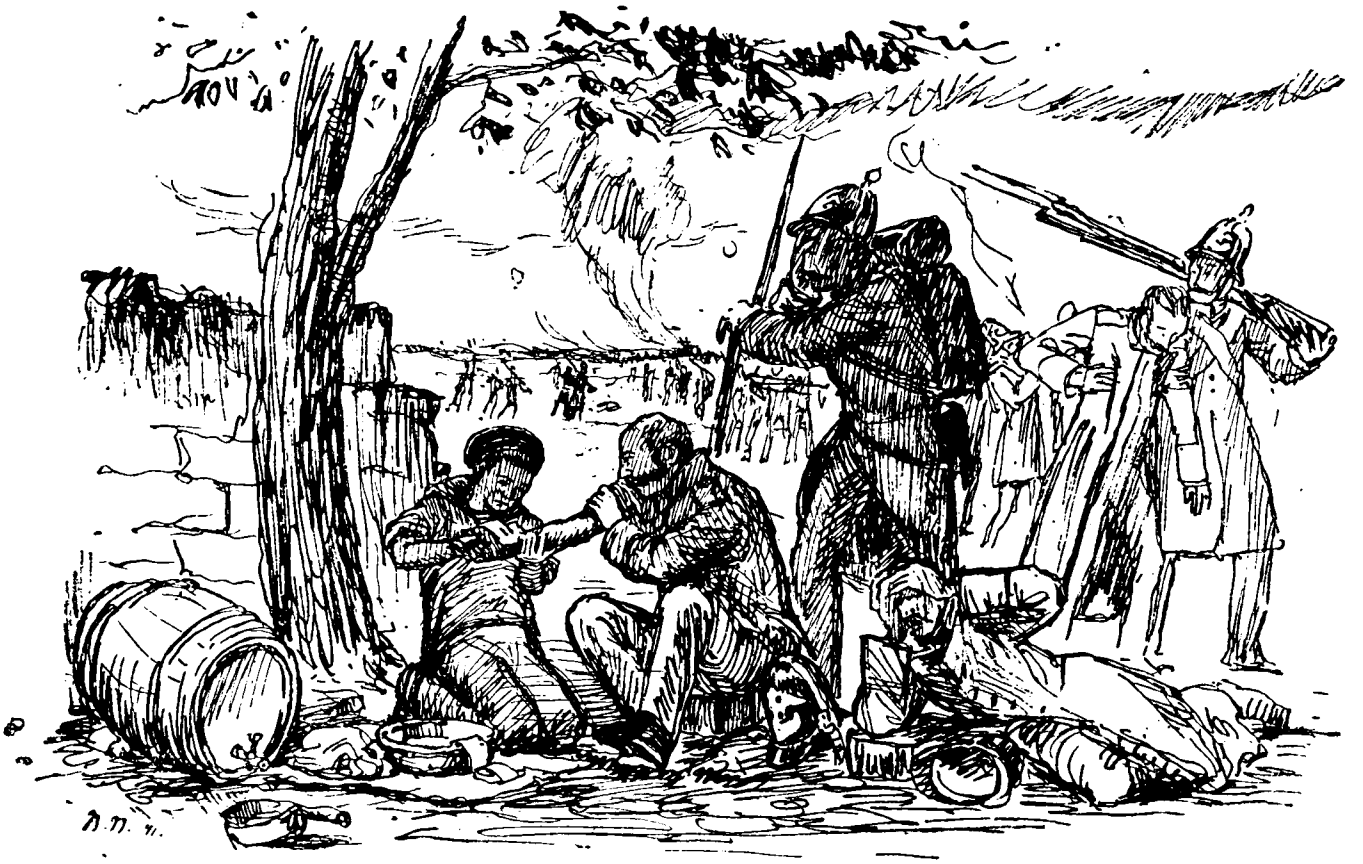
Впоследствии слободка раздвинулась, чтобы вместить в себя отставных боцманов и матросов, которые занялись кто огородами, кто извозом, кто завел ялики: одни—для перевоза с одной пристани на другую, другие—для рыболовства.

Таким отставным матросом, кое-как оборудовавшим себе с женой убогую хатенку, был и отец Даши. Он умер за месяц до высадки союзников: мать Даши умерла раньше.

Даша выросла на воле. Плавала она, как дельфин. Иногда пропадала целыми днями на Черной речке, выдирая раков из нор. Гребла не хуже самого заправского гребца и ставила парус. Ее приятели были приходившие к отцу матросы.

И когда два батальона матросов, в пешем строю и с ружьями, пошли вместе с другими армейскими батальонами встречать англо-французов на Алме, Даша не могла усидеть дома.

Она слышала от отца и других бывалых матросов о маркитантках-француженках, которые ездят на лошади с бочонком вина, и чуть где сражение.—они там: подкрепят усталого стаканом вина, помогут раненому... В восемнадцатилетней голове Даши, только услышала она о том, что будет сражение, сразу возник этот план: собрать все,



что можно продать, купить немудрую лошаденку и бочонок водки, а чтобы помочь раненым, набрать с собою чистых тряпок для перевязок... Попросят воды,—тогда взять еще и бочонок с водою; попросят есть,—взять хлеба и еще какой еды... Наконец, как можно появиться на сражении в женском платье? И не допустят, и мало ли что может из этого выйти. И Даша решила переодеться мальчишкой-подростком, юнгой.

Перешила старую отцовскую бескозырку,—спрятала под нее косы; перешила на свой рост его матроску и шаровары; продала ялик и сети, кур, свинью и все, что можно было продать,—купила водовозку-клячу вместе с двуколкой и упряжью; бочку променяла на два бочонка; собрала, что задумала собрать, и двинулась на Бельбек, на Качу, к роковой Алме.

Через казачьи пикеты пробралась, лихо держась, как самый настоящий юнга,—увязалась в хвосте обоза, а когда обоз остался в Качинской долине, пользуясь сумерками, добралась по дороге до войск как раз накануне сражения, всем, обращавшим на нее внимание по дороге, жалуясь энергично на свою клячу:

— Ну, не проклятая скотина, скажи! Была бы своя собственная, убил бы я ее давно, а то—барина, чтоб ее чорт съел!

— А кто же твой барин такой?—спрашивали иные.

— Э-э,—лийтенант, барон Виллебрандт...

— Чего же он тебя сюда послал, лейтенант твой?

— Э-э,—так он же адъютант самого князя Меншикова.

У Меншикова действительно был адъютантом капитан-лейтенант барон Виллебрандт,—это она знала от матросов. Выдумка насчет адъютантской клячи ей много помогла. Двуколку свою она поставила в кустах, в тылу, и жадными глазами следила за полетом и разрывами неприятельских гранат, за передвижениями батальонов, за пожарами в аулах на Алме, за всем, что могла разглядеть издали, в сплошном почти дыму пороховом и пожарном.

Но вот повалили раненые в тыл, на перевязочные пункты, а иных несли на скрещенных ружьях, покрытых шинелями.

Тогда началась работа Даши.

— Сюда, сюда!—кричала она тем, кто шел ближе к ней, и зазывающе махала руками.

И водку из одного ее бочонка, и воду из другого раненые и санитары выпили очень скоро; разобрали и ломти хлеба и жареную рыбу, которую она привезла. Но у нее остался еще целый узел чистой ветоши, и она занялась перевязкой раненых.

Ей никогда не приходилось этого делать раньше; солдаты сами указывали ей, как надо бинтовать руки, ноги, шеи, головы. И только когда вышла последняя тряпка, Даша беспомощно оглянулась кругом.

Сражение уже затихало. Не одни раненые,—шли в тыл, отступая, целые полки. Черные от порохового дыма, как негры, усталые, потные солдаты безнадежно махали руками, говоря о неприятеле:

— Его—сила! Теперича будет нас гнать, поколь до Севастополя не догонит... А там уж, само собой, наши ему дадут сдачи...

На Севастополь, который они вышли защищать, только и была надежда разбитых защитников.

Мышиного цвета кляча глядела презрительно и на своего нового хозяина с синими глазами и белым лицом (прежний был чернобородый грек),—хозяина, который угнал ее чорт знает в какую даль и дичь,—и на подходивших и подносимых солдат и офицеров в крови, которые выпили всю воду из бочонка, так что ей не досталось ни капли, хотя она и ржала требовательно и тянулась к нему пересохшими губами.

— Ну, ты-ы,—морская кавалерия!—прикрикнул на нее один усатый солдат в кивере, из-под которого катился на щеки пот, когда она ткнула его мордой в плечо, чтобы хоть он догадался ее напоить.

Людям не до нее было; люди помогли мальчишке в матросской фуражке ее запрячь, чтобы везти двуколку с пустыми бочонками в обратный путь, а один из раненых посоветовал Даше:

— До Качи доедешь,—худобу свою все ж таки напой, а то подохнет.

Перевязывая раны небрезгливо и всячески пряча поглубже свой ужас перед такими, никогда не виданными ею раньше жестокими увечьями человеческих тел, Даша однообразно, но с большой убедительностью повторяла каждому:

— Ничего, заживет!.. Срастется, ничего... Затянет, кровь у тебя здоровая,—это мне видать.

И раненым становилось легче от одного певучего девичьего голоса юнги и от его осторожных и ловких тонких рук, и от участливых синих глаз... А один с раздробленной осколками снаряда рукой, которому несмело забинтовала она руку полотнищем своего старого линялого розового платья с чуть видными голубыми цветочками, бормотал, покачивая головою:

— Это ж прямо ангела свово небесного нам бог послал!

Но этот раненый мог итти,—ноги у него были здоровые; а на свою двуколку, сбросив с нее бочонки, Даша усадила другого, тоже перевязанного ею, с перебитой ногою, и непоенная кляча, питавшаяся во время боя только карагачевыми и дубовыми ветками, тащилась в хвосте одного свернутого перевязочного пункта, как раз того самого, куда попал с оторванной рукой флигель-адъютант Сколков.

Даша видела свою армию в отступлении. Ей казалось, что теперь уже все пропало. И раненый, которого везла кляча, повторял то и дело:

— Теперь шабаш! Будь бы нога в исправности, ушел бы, а то—каюк... Вот-вот француз нагрянет—и крышка!..

Через Качу в сумерках переходили вброд. Кобыла долго пила, когда вошла в речку. У Даши выбилась коса из-под фуражки, и раненый спросил:

— Да ты же никак девка?

— Ну да, девка,—уже не скрывалась Даша.

— То-то оно и есть!.. А то я даве думаю: «Отколь у этого малого сердце взялось до людей приветное?» Мне и даве мстилось, что девка, да спросить у тебя робел через свою ногу...

Когда же утром добрались до Северной, кругом Даши все уже знали, что она—матросская сирота с Корабельной слободки, потому что узнали ее столпившиеся у перевозной пристани матросы одного из морских батальонов.

После этого дня Даша уже не хотела расставаться со своими ранеными, которых перевязывала она там на Алме. Она продала кобылу и двуколку, явилась к начальству и просила, чтобы позволили ей ходить за ранеными в госпитале.

Просьба эта показалась начальству очень несообразной, однако была передана самому Корнилову. Корнилов приказал привести ее к нему,—узнал от нее, что она—матросская сирота, вспомнил по фамилии ее отца и на каком корабле он служил, расспросил, что она делала на Алме во время боя, и не только разрешил ей ходить за ранеными, но даже обещал написать о ее подвиге в Петербург, военному министру.

Так и сказал: «О твоем подвиге напишу в Петербург...» А Даша даже и не догадалась, что сделала подвиг, да и самое слово это «подвиг» понимала смутно.

Так случилось, что как раз почти в то время, когда великая княгиня Елена Павловна решала томительно долго вопросы о форме для сестер милосердия из светских дам, Даша с Корабельной слободки уже вошла самочинно в историю как первая русская сестра, настоящая и подлинная сестра всей миллионной массы солдат и матросов.

4

Как врачующие лейкоциты—по теории Мечникова—сбегаются путями артерий к тому месту тела, в которое вонзится заноза или какой бы то ни было посторонний режущий предмет, так стекались форсированными маршами на обывательских подводах и на своих конях пешие и конные отряды к Севастополю.

Из Феодосии от атамана донского войска Хомутова пришел Бутырский полк, четвертый полк 17-й дивизии, и Меншиков, очень довольный, что избавился от ненавистного ему генерала Кирьякова, передав три полка его дивизии в распоряжение Корнилова, немедленно отправил на защиту севастопольских бастионов и этот полк.

Но вслед за бутырцами в лагерь Меншикова на Бельбеке явилось два батальона пластунов, пришедших с Северного Кавказа.

Пластуны не понравились светлейшему уже тем, что не имели никакой военной выправки, шли вразвалку и не в ногу, штуцера несли по-охотничьи—на ремне за спиной, одеты были по-азиатски: в чекмени с газырями, лохматые, облезлые рыжие папахи—кадушками, в постолы из коровьих, воловьих и конских шкур, шерстью наверх.

Когда батальоны эти проходили мимо встречавшего их дежурного по лагерю генерала, был жаркий день,—пластуны же были в стареньких шинелишках поверх чекменей.

— Пускай-ка снимут шинели—жарко,—сказал генерал командиру первого батальона; на это начальник, почтительно, всей пятерней взяв под козырек, отозвался тем не менее очень твердо:

— Нияк не можно цего, ваше прэвосходытэльство!

— Это почему же именно «не можно»?—удивился генерал.

— А так, ваше прэвосходытэльство,—бо богацько е таких, шо зовсім без штанів!

Когда об этом доложено было Меншикову вместе с письменной просьбой командиров обоих батальонов об отпуске для их нижних чинов сукна, холста на подкладку, сапог и ниток, то светлейший, поглядев на пластунов издали, приказал отправить их к Корнилову и в сопроводительной бумаге просить его «включить пластунов в раздачу штанов».

При этом он добавил: «Прикажите объявить черноморцам особым предписанием, что за даруемую им из складов морского ведомства одежду никакого взыскания учинено не будет. Предписание это надо будет прочитать при собрании нижних чинов, ибо казачье начальство в состоянии воспользоваться этим, но только в свою пользу».

Потомки выселенных Екатериной с Днепра на Кубань запорожцев, соратников гетмана Сагайдачного, атамана Сирко, полковника Тараса Бульбы, пластуны имели такой неказистый вид, что в Севастополе солдаты пехотных полков смеялись над ними, толкая один другого:

— Смотри ты! Вот вояки какие до нас прибыли!

— Да это ж те самые петрушки, какие на ярмонках в балаганах представляют!

— Ну да, какие через гребешки пищат и друг дружку за волосья тягают!

Но пластуны, рассыпанные в секреты впереди бастионов, очень скоро показали, как они могут, распластавшись на земле, по-кошачьи подползти к самым позициям противника, притаиться за камнями и пролежать незамеченными целый день, чтобы, сменившись ночью, доложить подробно начальству, сколько и какие именно орудия видели они у противника и сколько снарядов к ним заготовлено на батареях, и как, выбиваясь из сил при подвозе тяжелых осадных мортир, падают и издыхают справные кони, и как, видимо, нехватает для работы на позициях этих коней, и люди на себе волокут длинные фашины и чувалы с землей, и щеки у людей сильно позападали, и как заметно работающие в траншеях люди сильно бедствуют водой.

Между тем союзники отвели воду от Севастополя в расположение своих войск, и гарнизону, как и оставшимся жителям, пришлось довольствоваться одними колодцами, в которых теперь, перед зимними дождями, вода была солоновата на вкус.

Жителей же, имевших средства и возможность уехать из осажденного города, оставалось уже мало. Задержавшиеся в первые дни осады семьи теперь, с приходом армии Меншикова, безудержно ринулись по свободной для проезда дороге на Симферополь. Все крупные магазины стояли запертые и пустые: купцы поспешили распродать свои товары по дешевке, лишь бы поскорее унести ноги. Зато появилось достаточно предприимчивых людей, которые с базара перебрались на более видные места, у которых страсть к легкой наживе окончательно победила страх возможной и напрасной смерти.

Но были и такие семьи, которые могли бы уехать из обреченного города, но все-таки не уехали, в силу смутных причин, не менее смутно выраженных в пословице: «В своем доме стены помогают».

Со «своим домом»,—и это осталось в человеке, конечно, от очень давних времен,—связано именно такое представление о безопасном месте, в которое можно спрятаться от бушующих около бед. Мудрость улиток и черепах внушила им таскать на себе свои дома, чтобы спрятаться в них при малейшей угрозе со стороны. «Мой дом—моя крепость», принято было говорить у англичан, обеспеченных законом от набегов полиции.

Семья капитана 2-го ранга в отставке Зарубина

осталась в своем скромном, не похожем на крепость доме, на тихой Малой Офицерской улице, отчасти по непреоборимой чисто кошачьей привязанности к месту, отчасти из боязни лишиться всего накопленного долгим трудом, отчасти из опасения, что на малую пенсию капитана не проживешь где-нибудь в другом городе на наемной квартире, но больше всего—в надежде на помощь России, которая неужели же и в самом деле не отстоит Севастополя, раз появляются все новые и новые полки и спешат—идут и скоро уже придут—новые дивизии и корпуса!

Никому из семейства Зарубиных не было известно, что замышляют англо-французы, но все видели, как много воинских команд лихо, с песнями, барабанным боем, с оркестрами музыки, проходят по улицам; как везут с грохотом и гиканьем орудия, все гуще устанавливая их там, по редутам, люнетам, на бастионах оборонительной линии.

К пушечной пальбе уже привыкли, потому что не проходило дня, чтобы суда противника не завязывали перестрелки с фортами. Пальба эта тянулась обыкновенно с полчаса и кончалась ничем. Только один снаряд из дальнобойного орудия с небольшой неприятельской шкуны разорвался на одном из фортов и ранил тяжело двух артиллеристов... Но шкуна эта ушла и на другой день не появилась. Юный Виктор Зарубин горячо уверял мать, что шкуна и вообще не появится больше, что ей «здорово всыпали из наших дальнобойных орудий».

Раза два заходил Дебу,—теперь в унтер-офицерской форме, явный защитник Севастополя.

— Арсенал наш,—говорил он старику Зарубину,—кажется, совершенно неистощим! Оттуда все черпают-черпают без конца снаряды, лафеты, станки, орудия, дистанционные трубки, ядра и прочее, и прочее... Надо отдать справедливость начальству: заготовило оно всего на порядочную войну! Союзникам придется довольно туго,—это теперь ясно.

— Ага! Вот видите!.. Да... вот!—капитан от этих слов начинал сиять и постукивать в пол своей палкой.—Отчалят!.. Я вам говорю: от-чалят!.. Они от-ча-лят!..

— Было бы очень хорошо,—лучше не надо и для нас, и для них тоже. Они, конечно, могут заварить бойню, но чего именно этим могут достигнуть? Наскочит коса на камень!

— Наскочит, да!.. И пополам! По-полам!—одушевлялся капитан, приставляя свою палку к здоровому, неконтуженному колену, и делая вид, что вот-вот сломает ее пополам.

Капитолине Петровне и Варе, правда, Дебу говорил несколько иначе:

— Каждую ночь ждут штурма, и это очень изнуряет солдат. Чуть что—тревога. Встретились в темноте наши патрульные с патрулем другой части, приняли его за неприятельский, начали перестрелку,—сразу весь гарнизон поднялся на ноги: штурм! А днем выспаться некогда,—все люди работают доупаду. Это может кончиться тем, что, когда действительно начнется штурм, люди наши будут спать как убитые, и по их телам союзники в полчаса дойдут до Малой Офицерской... Тут я закрываю глаза, чтобы не видеть картин ужаснейших! Напрасно вы не уехали, Капитолина Петровна, хотя я думаю, что вы уже собираетесь все-таки. Все бегут! Пока есть еще время, бегите-ка и вы!

— С одной стороны, вы правы, конечно: все бегут, значит, и нам надо; но, с другой стороны...—раздумчиво тянула Капитолина Петровна, глядя не на него, а на изогнутую ножку старого, еще екатерининской поры дивана.

Варя же, переплеснув по привычке тяжелую косу с плеча на плечо, отзывалась более решительно:

— Совсем не все бегут из Севастополя! Вот Елизавета Михайловна не уехала же в Симферополь... Даже еще и в сражении на Алме была, где вы не были!

Дебу знал Елизавету Михайловну Хлапонину, соседку Зарубиных, жену батарейного командира, очень красивую и очень скромную, что редко бывает, молодую женщину, которая была для Вари предметом восхищения. Он знал, что если к нему Варя и неравнодушна, то ценит в нем его ум, образованность, начитанность, пожалуй немного и то, что он пострадал за идеи; но Хлапонина,—ее счастливая внешность и весь ее внутренний мир, та теплота, с которой относилась она к шестнадцатилетней, восторженной, готовой верить каждому ее слову девушке, то сияние ее лучистых глаз, с каким она на нее смотрела,—Хлапонина представлялась ей солнцем, к которому радостно тянулась она, как молодое сильное деревцо.

Хлапонина любила ездить верхом в светло-голубой амазонке, и Варя говорила уже ему как-то летом, что она, всегда спокойно сидящая на горячившемся под нею вороном с лысиной коне, точь-в-точь «Всадница» с картины знаменитого Брюллова. Но он не знал, что эта всадница отважилась на такую прогулку.

— Она, конечно, беспокоилась очень о своем Дмитрии Дмитриевиче,—охотно рассказывала ему Варя.—Его батарея стояла там на каком-то фланге или центре,—одним словом, очень опасно. Мало ли что могло случиться! Могли даже и ранить. Вот она и помчалась. Разумеется, не одна же, и Дмитрий Дмитрич,—говорила,—очень удивился, когда ее там увидел, и все посылал домой... Как же,—поедет она домой, когда она так его любит! Конечно, она там и осталась и все видела.

— Все видела, хотя и смотрела только на мужнину батарею?—вставил, улыбнувшись, Дебу.

Но Варю задела эта улыбка.

— А как же хотели бы вы?—Она вдруг раскраснелась.—Ради кого же она туда поехала, как не ради Дмитрия Дмитрича, да чтоб и на его батарею не смотрела? Вот еще!.. Конечно, она все время боялась: «А вдруг ранят!»

— Могли и убить, не только ранить,—постарался, как мог равнодушнее, отозваться на ее горячность Дебу.—Во время сражения иногда и убивают людей... даже менее порядочных, чем Дмитрий Дмитрич, а он—человек хороший,—поспешил добавить он, заметив ее изумленный и даже как будто недовольный взгляд.

— Ну, конечно, Дмитрий Дмитрич—очень хороший,—Варя вся засветилась.—Стала бы Елизавета Михайловна любить плохого!

— Он, конечно, уцелел, и они вернулись благополучно, конь о конь?—спросил он весело.

— Да, конечно. Она обратно ехала с его батареей!

— И сейчас уже она больше за него не боится?

— Ну, как же так—не боится! Конечно, очень боится, потому она отсюда и никуда и не поехала. «Если убьют,—говорит,—так пусть уж и меня тоже».

— Она имеет большой успех среди офицерства, а среди генералов особенно,—сказал Дебу, наблюдая за выражением лица Вари. (Капитолина Петровна в это время, как всегда, хлопотала на кухне или в саду по хозяйству.)

— Но зато они не имеют у нее успеха!—Варя энергично качнула головой и переплеснула косу.

Это понравилось Дебу, но он продолжал, как будто не замечая:

— Я слышал даже, что вся ссора генерала Кирьякова с князем Меншиковым началась из-за Хлапониной. Оба пустились за ней ухаживать чуть только она появилась в Севастополе, и каждому из них показалось, что другой стоит у него поперек дороги. Ведь может же быть такое помрачение светлых умов!.. Недавно, говорят, Кирьяков выкинул такой фортель. Пил где-то в компании, а за столом сидел генерал Бибиков, слепой и ограбленный: наши же солдаты во время отступления ограбили его имение на Бельбеке. Теперь перебрался сюда с женой, и жена все хлопочет, чтобы ей вернули убытки, а светлейший приказал дело ее бросить в корзину, ее же совсем не принимать... А Бибиков—участник Бородинского боя... А в дивизии Кирьякова как раз Бородинский полк. Поднимает Кирьяков бокал: «Предлагаю, господа, выпить за здоровье настоящего, подлинного бородинца, к великой скорби нашей лишенного зрения, старого ветеринара!»

— Ничего не поняла! Почему «ветеринара»?—Варя подняла тоненькие бровки.

— То-то и дело! Кое-кто за столом тоже не поняли и подсказывать пустились. «Ветерана!.. Ветерана!» Но наш Кирьяков еще отчетливее: «Вете-ри-на-ра!»—и сел. И сам же первый свой бокал выпил. А другие уж после догадались, что метил он совсем не в старца Бибикова, а в самого светлейшего, который и участник Бородинского боя, и ветеринар по диплому, и, по мнению Кирьякова, лишен зрения... Хотя ведь вот же Елизавету Михайловну разглядел,—значит, это просто клевета оскорбленного генеральского самолюбия.

— Мне можно рассказать это Елизавете Михайловне?—рассмеявшись, спросила Варя.

— Зачем же? Тем более, что она это, наверное, и сама знает. Что-что, а такие вещи очень живо расходятся: на них большой спрос.

Маленькую Олю, которая застенчиво и врастяжку называла его теперь «солдатом», очевидно, вкладывая в это слово самое растяжимое значение от немного как будто снисходительного до вполне почтительного, как к своему защитнику от каких-то несчастий, которых все кругом нее ждали, Дебу тоже спрашивал:

— Ну, а ты как? Тебе не страшно?

И беловолосая Оля, оглядываясь на сестру и приближая пухлые нетвердо еще очерченные губы к самому его уху, шептала доверчиво:

— Страшно!.. Очень бывает страшно!..

И от этого доверчивого детского шопота на ухо самому Дебу становилось страшно, что вот домчится сюда неприятельская бомба, и... тут он вздрагивал, как от сильнейшего холодного ветра, резким движением головы отбрасывал то, что пыталось навязать воображение, отечески целовал ребенка в завиток волос на виске и бормотал:

— Ничего, ничего... Еще успеете уехать, пока подойдет самое страшное.

Команду юнкеров флота, которой ведал лейтенант Стеценко, теперь уже распустили по приказу Корнилова, и Виктор Зарубин жил теперь дома, а не на корабле, но все его мысли были там, на рейде и фортах, охраняющих рейд.

Плечистый и плотный для своих пятнадцати лет, с открытым и упругим лицом, с привычкой самоуверенно вскидывать голову, когда он что-нибудь утверждал, и с тонкими и высокими, как у старшей сестры, бровями, Виктор подробно рассказывал Дебу, куда должны будут палить при ночном штурме какие суда:

— Пароходы «Крым», «Эльбрус» и «Владимир» будут громить Ушакову балку, а «Бессарабия», «Громоносец», «Одесса»—эти будут бить по той балке, какая идет мимо кладбища к Карантинной бухте... Ведь важны, конечно, балки... В балки они и напрутся, конечно, ночью, а тут их как раз и огреют как следует!

— Без порядочной бомбардировки они не пойдут на штурм,—замечал, любуясь им, Дебу.

— А что же такое бомбардировка? Они от-

крюют, и мы откроем,—и прикроем!.. Они наткнутся, вот вы увидите!

И так лихо подбрасывал при этом голову пятнадцатилетний, что Дебу даже переставал замечать, как несколько смешно ломается у него голос.

— По нашим судам, должно быть, будут они каленым ядрами бить, чтобы вызвать пожары,— сказал он, но Виктор отозвался живо:

— Велика штука! Тоже невидаль—каленые ядра!.. Везде на судах стоят бочки с водою и шланги: чуть что, сейчас же зальют. А над крюйт-камерами мокрые паруса навалены... Наконец, если даже, допустим, загорелось какое судно, так что потушить нельзя,—потопят его, только и всего!.. Пожар, конечно, опасен, потому что крюйт-камера может взорваться,—так разве же моряки до этого допустят!

— Я думаю, что и неприятельский флот праздным свидетелем не останется,—заметил Дебу.— А флот у них силен.

— Ого! Пускай-ка, пускай их флот сунется к нашим фортам,—ему пропишут ижицу!.. У нас только один Константиновский слабоват, ну, это уж девятого числа натворили в суматохе: посбрасывали бомбические орудия в море!

— Я что-то такое слышал, да не верил, признаться. Неужели правда?—удивился Дебу.

— Конечно, правда!.. Тогда много кое-чего натворили. Что же, когда приказ был—ничего не оставлять неприятелю! «Ростислава» чуть не утопили,—насилу потом откачали воду.

— Как же так с Константиновским фортом? Должны же новые орудия поставить!—забеспокоился Дебу.

— Конечно, должны... Может, и поставили уже теперь. Форта без орудий не оставят. Корнилов и Нахимов не таковские!

И после этих весьма убежденных слов лихо вскидывается голова. Унтер-офицер Дебу видел, что перед ним настоящая военная косточка, которая ждет не дождется бомбардировки и штурма, и, уходя, он негодовал на «ветеринара», которому вверена забота о людях в явно уже для всех осажденном городе и который не догадается приказать просто выслать из него всех женщин, детей, инвалидов и таких воинственных подростков, как Витя Зарубин.

5

Расположив армию на Бельбекских высотах, Меншиков сказал своим адъютантам:

— Устраивайтесь здесь по-домашнему, господа. Нам здесь над флангом союзников придется висеть, кажется, долгонько. По крайней мере до тех пор, пока не подойдет двенадцатая дивизия. Скорого штурма я не ожидаю и вам не советую ждать.

И адъютанты принялись устраиваться.

Была выкопана канава, идущая прямоугольником. В канаву, если сесть на ее борт, можно было опустить ноги, а землю в середине принять за стол.

Адъютанты,—их было человек пятнадцать,—деятельно принялись натягивать над этим сооружением навес из хвороста и полотнищ палаток. Получалась обширная столовая,—она же и главный штаб армии,—закурлыкал неугасимый ведерный самовар посредине прямоугольника на земле, наконец подвезли и установили столы для письменных работ и застрочили бойкие адъютантские перья.

Для самого Меншикова, как и для командира корпуса князя Петра Горчакова, который на бивуаке под Бахчисараем помещался под навесом кустов со связанными верхушками, натянули палатки. Начали даже думать о крупной разведке в сторону неприятельского лагеря, готовя для этого гусарские полки и бригаду пехоты.

Между тем Гектор[1] новой Трои—Корнилов—все еще одержим был мыслью, что союзники накапливают при устьях балок, скрытых от наблюдений из Севастополя холмами, крупные силы для ночной атаки, и все неутомимо сновал от одного укрепления к другому, добавляя траншей, орудий и штыков.

Контр-адмиралу Истомину, ведавшему тем участком обороны, в который входил Малахов курган, он приказал устроить примерное учение,—штурм его укреплений двойными силами, и учение это было проведено, а потом Корнилов торжествующе говорил Истомину:

— Владимир Иваныч, хорошо, что своевременно мы проделали это. Теперь я вижу, что ваш участок надо усилить целым полком! По крайней мере—полком, за неимением большего!

Против Малахова кургана расположен был хутор Дергачева, занятый отрядом союзников. В зрительную трубу Корнилов разглядел там, в ущелье, идущем от Южной бухты, девять больших осадных орудий и три мортиры.

— Осадные орудия, не правда ли? Вы видите?— обратился он весьма оживленно к Истомину.— Это отрадный признак того, что они, кажется, готовятся к бомбардировке, а не к ночному штурму! В таком случае мы их вспрыснем! Прикажите открыть стрельбу из шестидесятивосьмифунтовых!

Дальнобойные бомбические орудия Малахова кургана и третьего бастиона открыли стрельбу.

— Удачно!.. Еще удачнее!.. Молодцы!—радостно вскрикивал Корнилов, наблюдая разрыв бомб.

Союзники не отвечали, так как орудия их только еще устанавливались; подвоз ими новых орудий был прекращен, но ночью, конечно, они могли беспрепятственно выполнить свои планы.

Корнилов немедленно дал знать Меншикову, что

---

[1] *Гектор*—сын троянского царя Приама, героический защитник Трои, осажденной греками.

четвертая дистанция обороны, в центре которой был Малахов курган, требует подкрепления,—и к вечеру того же дня в распоряжение Истомина был прислан Бутырский полк.

Окрестности Севастополя изобиловали хуторами; хутора эти являлись отличным прикрытием для союзников.

Особенно досаден был один, очень благоустроенный, с длинной каменной стеною, расположенный на балаклавской дороге, между пятым бастионом и французским лагерем. В нем скопилось до двух батальонов французов. Корнилов отрядил для вылазки против них один флотский батальон с двумя пушками, с несколькими казаками и саперами, и вылазка закончилась успешно: хутор сожгли, каменную стену разметали, далеко отогнали два батальона французов и вернулись почти без потерь.

— И с такими молодцами князь проиграл сражение на Алме!—возбужденно говорил Корнилов в тот день вечером Нахимову, Истомину, вице-адмиралу Новосильскому, Тотлебену, которые, как всегда по вечерам, и в тот день сошлись к нему на квартиру для получения приказаний на завтрашний день.

Несмотря на то, что Тотлебен был всего только подполковником инженерных войск, значит—совсем еще недавно вместе с другими военными инженерами получил право на усы, кроме того и летами был гораздо моложе всех остальных на подобных собраниях,—к нему относились, как к равному, потому что все укрепления делались по его планам и под его очень придирчивым и строгим руководством, которому подчинялись все начальники дистанций обороны.

В этот вечер Корнилов получил от жены с курьером из Николаева письмо, к которому была приложена фотографическая (дагеротипная, как тогда говорили) карточка его дочери Лизы, и он всем собравшимся показывал карточку, радостно говоря:

— Посмотрите-ка! Не правда ли, она обещает стать красавицей?

— Она и теперь красавица!—отзывались все, искренне любуясь действительно милым и удачно переданным на карточке лицом девочки

Корнилов положил снимок на стол перед собой и, часто взглядывая на него, заговорил, волнуясь:

— Я должен вас поздравить, господа, еще с одним очень важным результатом сегодняшней вылазки: замечено, что противник ведет работы, готовясь к основательной, долговременной осаде Севастополя! Значит, наши труды не пропали даром: они оценены им как должно. Он увидел, что добиться успехов крупным штурмом ему уже не удастся, что к его приему мы готовы, что мы уже не такие слабенькие, какими были дней десять назад, что нас уже не возьмешь даже и ночным штурмом. Князь готовит рекогносцировку в больших размерах на Инкерманские высоты, чтобы определить, насколько они основательно заняты союзниками. Вся регулярная кавалерия будет участвовать в этом деле... и пехоты несколько тысяч человек. Кавалерия—под командой генерала Рыжова. А с нашей стороны требуется поддержать эту рекогносцировку соответственно,—чем и как? Бомбардировкой и выдвинув пехотные части. Когда я получу от князя подробное распоряжение, я и передам его вам подробно, а теперь пока вот только это... Для успеха дела прошу не разглашать, а готовиться, как заведено, принимая в соображение все случайности. Одним словом, хотя атмосфера сгущается, но сгустить ее желаем мы сами, а не противник,—это очень большая разница, господа! Это показывает, что мы уже достаточно сильны, чтоб самим лезть в драку, а не ждать, соблаговолят ли это сделать Раглан с Канробером!.. С чем вас и поздравляю, господа!

И было ли это действительно от сознания своей силы или от того, что перед глазами его лежал фотографический портрет его дочери, о которой все отозвались, как о красавице, но Корнилов вдруг встал и торжественно протянул руку сначала Нахимову, сидевшему ближе всех к нему, потом Новосильскому, Истомину, Кирьякову, Тотлебену и прочим, говоря при этом:

— Огромная тяжесть с плеч!.. Этот ночной штурм висел над нами, как кошмар! Теперь мы можем, наконец, успокоиться и передохнуть.

— Из рекогносцировки может развиться крупное сражение,—заметил Кирьяков,—а разве у нас хватит сил на такое сражение?

— Повидимому, подходит двенадцатая дивизия,—улыбаясь, ответил Корнилов.—Князь человек осторожный и рискованных шагов не сделает. Во всяком случае он покажет неприятелю, что армия его сильна и врага не боится. А наконец даже, если допустим, что сражение окажется безрезультатным, начнется только бомбардировка со стороны англо-французов... Только бомбардировка, как обычно при осаде крепостей, а это дело весьма затяжное, так как нам есть чем ответить, господа! К бомбардировке мы уже и теперь почти готовы, а еще через несколько дней мы будем неуязвимы... А там подойдет четвертый корпус, и это обстоятельство...

Тут Корнилов оглядел всех поочередно загоревшимся взглядом и докончил:

— Это обстоятельство, господа, или заставит их прибегнуть к обратной амбаркации, или, в худшем случае, задуматься поглубже, чем они думали, когда начинали с нами войну!

6

В конце сентября дни все еще стояли жаркие и тихие, и если бы не ежедневная, хотя и короткая, перепалка между береговыми батареями и под-

ходящими близко судами союзников, севастопольцы могли бы даже и позабыть на время, что где-то там, за высотами, окружающими город, неутомимо ткется крепкая паутина осадной войны.

На открытой веранде дома на Малой Офицерской, соседнего с домом Зарубиных, Елизавета Михайловна Хлапонина принимала гостя, приведенного ее мужем, тоже командира батареи, но не в 17-й артиллерийской бригаде, а на третьем бастионе, капитан-лейтенанта Лесли, жизнерадостного, веселого, лет тридцати двух человека, белокурого, высокого и с высокой головою, с тем счастливым складом полных и приветливых губ, которые просто не умеют не улыбаться, что бы ни говорилось и ни совершалось кругом, и обладают еще более счастливой особенностью вызывать ответные улыбки у окружающих.

До начала войны в Крыму моряки обычно не сближались с пехотинцами, среди которых они, люди высшей касты военных, чувствовали себя не в своей тарелке, тем более что даже и интересы служебные у них были совершенно различные.

Но теперь они вышли на берег, теперь, на сухопутье, они стояли бок о бок с пехотой на бастионах, теперь они стали поневоле товарищами пехотных офицеров, из которых скоро нашлись и образованные и вполне воспитанные люди.

Так быстро, за два-три дня коротко сблизился с Хлапониным Лесли и при первой возможности вырваться на час, на два с бастиона очутился у него в гостях.

Веранда была на втором этаже и выходила в небольшой сад. Хозяева дома, жившие в первом этаже, выехали в Симферополь. Никто не мешал говорить громко о том, что занимало всех: чем заняты вот теперь союзные армии и какие сюрпризы готовят им Корнилов и Меншиков.

— Я недавно шутки ради заглянул в журнал «Общеполезное чтение» и нашел там статью большущего хозяйственного значения: «Искусственное разведение раков»,—да, представьте себе, раков!— весь лучась, говорил, обращаясь к Елизавете Михайловне, Лесли.

— Что такое? Я не поняла, простите! Раков?— Елизавета Михайловна вопросительно поглядела и на него и на мужа одновременно.

— Где именно разводить раков?—полюбопытствовал Хлапонин.—Конечно, где-нибудь в прудах усадебных парков?

— В том-то и дело, что в речках, где они и без того водятся, но случается с ними, что они вымирают от каких-то там эпидемических болезней, и тогда эту милую живность рекомендуется разводить искусственно.

— Вот что! И как же именно?

— Ах, это очень запутанная история, и нужно было иметь много свободного времени, чтобы дочитать такую статью до конца. Но раки, знаете ли, куда уже ни шло,—я встречал на своем долгом веку немало любителей этого сорта пищи, а вот что касается ка-ва-ле-рии, то, знаете ли,— простите великодушно!—я бы, если бы моя власть, совсем запретил бы разводить этот род войска!

— Вот вы к чему клонили!—добродушно рассмеялся Хлапонин.—Действительно, кавалерия так отличилась, что тебе, Лиза, стыдно уж теперь будет галопировать на Абреке... Конечно, вы с Абреком в этом деле не участвовали, но все-таки...

— Но все-таки,—подхватил Лесли, видя, что Хлапонин не закончит фразы,—наши гусары осрамились исторически!.. Вы представьте себе, идут молодец к молодцу, кровь с молоком, что люди, что кони, один за другим два полка, саксен-веймарцы и лейхтенбергцы, в атаку на какой-то французский пост, где только что проснулись и еще мундиров, извините, не успели напялить,—что же должно получиться в результате подобной атаки? Приятное воспоминание об этом посту у нас и не совсем приятное у французов,—не так ли?

Хлапонина расширила прекрасные большие глаза.

— Я думаю!

— Все так думали! Даже и сам Меншиков, который затеял эту рекогносцировку и в подзорную трубу смотрел с почтительной дистанции... Однако получилось совсем иначе: хлопнула всего только какая-нибудь дюжина выстрелов вразброд, если бы хоть залп, как у нас учат теперь матросов встречать кавалерию,—нет, очевидцы говорят, всего несколько выстрелов,—и вот саксен-веймарцы поворачивают назад и мчатся на лейхтенбергцев, кого-то давят при этом весьма чувствительно, кого-то насмерть, и вот вы себе представьте эту потрясающую картину: впереди сломя голову лейхтенбергцы, за ними Саксен-веймарский полк, лупят, красиво выражаясь, во все лопатки!

И, говоря о том, что его возмущало, Лесли по обыкновению улыбался этой своей мягкой, очень располагающей к нему всех улыбкой.

Дмитрий Дмитриевич Хлапонин был крепкий, полнокровный, очень спокойного вида человек. Такое спокойствие внешности свойственно обычно только тем, кто вполне уверен в себе, а если у него есть подчиненные, то и в них.

Он был всего на год старше лейтенанта, но казался старше лет на пять, благодаря несколько разлатым темным усам, приспущенным бровям и начальственной складке лба над переносьем.

Он сказал жене:

— Я слышал даже, будто князь Меншиков так рассердился, что потом сам поскакал к Саксен-веймарскому полку и накричал на полковника Бутовича, что он его выгонит со службы... А Горчаков, вообрази, начал приводить ему резоны, что так неудобно, что у него будто и права на это нет...

— Почему нет?—удивилась Хлапонина.

— Потому что он пока только командующий армией, а не главнокомандующий,—ответил ей за Хлапонина Лесли.

— А Бутович разве родственник князю Горчакову?—снова недоуменно спросила Елизавета Михайловна.

— Родственник или нет, аллах ведает,—но он числится его корпуса, значит—за него надобно заступиться. А что он повернул полк назад от первых же выстрелов, так это, видите ли, такая уж милая привычка у кавалерии. Мы, дескать, существуем для парадов, как украшение, а тут вдруг какие-то неучи вздумали нас под пули совать!.. Нет, решительно,—это отживший вид войска! Я бы, если бы моя власть, снял бы всех этих гусар и драгун с лошадок, да в траншеи, а лошадок совсем бы угнал из Крыма.

— Где сена и для артиллерийских упряжек нет,—договорил Хлапонин,—и приходится уменьшать рацион им... Если теперь не подвезут сена, то ведь через месяц начнется распутица, тогда что будем делать?

— Неужели думают, что еще и через месяц не выгонят их... союзников?—Елизавета Михайловна вскинула глаза на мужа, но тут же перевела их на гостя, который как моряк должен был больше знать будущее.

И муж в ответ только чуть поднял подбородок и плечи, а гость ответил уверенно:

— На Алме они взяли двойными силами и штуцерами, теперь сил у нас не меньше, чем было у них тогда, а стрелять из орудий мы умеем не хуже их,—они это узнают при первой же бомбардировке!

А так как в это время денщик Хлапонина принес на веранду граненый графин водки, окруженный на подносе тарелками с закуской, то Лесли весело потер руки и бойко пропел ходовой среди моряков куплет:

Ехал чижик в ло-дочке
В адмиральском чине,
Не выпить ли во-о-одочки
По этой причине?

Он посмотрел при этом на Елизавету Михайловну так, как будто знаком был с нею и с ее мужем уже давно; как будто попал он к друзьям юности или даже детства, с которыми провел счастливейшие часы, дни, месяцы своей жизни; как будто на его глазах росла, обещая стать красавицей,—и стала действительно красавицей!—маленькая Лиза, доверявшая свои тайные мысли альбомам в сафьяновых и бархатных переплетах, но не ему, на что он отнюдь не обижался, считая это в порядке вещей, а тайные мысли ее безошибочно читая в глазах.

Он был жизнерадостным не потому, что хотел быть именно таким—веселым, непринужденным, неутомимо деятельным: он просто не мог быть иным, и не мог смотреть на людей своего возраста и положения иначе, как на друзей юности или детства, сближая этим их с собою с первых же слов. Так же непринужденно ел он и пил в гостях, возбуждая этим аппетит даже у самых пресыщенных хозяев.

Хлапонина видела, что угощать его совершенно излишне, что он очень самостоятелен за столом на их веранде; представляла, что так же самостоятелен он и у себя на бастионе, и спросила:

— Евгений Иванович! А у вас, на третьем бастионе, знают, кто будет вашим противником в случае бомбардировки,—французы или англичане?

— Судя по многим признакам, англичане, Елизавета Михайловна,—весело ответил Лесли.—Вот вы наблюдали сражение на Алме,—как вы находите, кто из них лучшие артиллеристы—французы или англичане?

Хлапонина поглядела на него внимательно и серьезно, говоря:

— Я несколько близорука и не гожусь для подобных наблюдений, но я видела наших раненых на перевязочном пункте... Это было ужасно!.. Это было... необыкновенно страшно... как в кошмаре!..

И она совсем закрыла глаза и сидела так долго, забывчиво долго, может быть с полминуты; при этом ресницы у нее мелко дрожали, как будто она плакала там, внутри, про себя.

— Англичане—лучшие артиллеристы, чем французы,—заметив это, поспешил сказать Хлапонин.—Это мнение не только мое личное, но и всех, кто был под обстрелом тех и других на Алме. Я думаю, что у вас серьезные противники, Евгений Иванович.

— Тем лучше,—беззаботно отозвался Лесли.—Дай бог всякому порядочного противника, и тогда людям некогда будет скучать, а? Как вы думаете насчет противника, Елизавета Михайловна?

— Ах, я думаю, что гораздо лучше было бы, если бы не было у нас никаких противников!.. Я с детства слышу: война, война... А почему война, зачем война,—никогда не могла понять!.. Неужели нельзя как-нибудь обойтись без этого ужаса?—спросила Хлапонина гостя.

Но гость предпочел вместо ответа только развести широко руками,—в правой рюмка, в левой вилка с куском жирной баранины,—склонить белокурую голову набок и сказать несколько даже жалобно:

— И что же тогда делали бы мы с вашим мужем: я—капитан-лейтенант флота, он—командир батареи, если бы совсем не было войн?

— Конечно, делали бы что-нибудь менее омерзительное, чем теперь вот собираются сделать с вами англичане с их осадными орудиями... И французы... и турки...

— На нас нападают, мы защищаемся, не так ли?

— Ах, это очень трудно разобрать, а еще труд-

нее понять, кто на кого и зачем напал!—Хлапонина слабо махнула кистью руки в сторону гостя.—Только Руссо в тысячный раз оказывается правым: ни науки, ни искусства не послужили к смягчению нравов, нет!

Она была взволнована,—это видел Лесли по ее сильно порозовевшему лицу и по ярко блестевшим глазам. Он видел также и то, что мужу своему она уже говорила это, потому что он деятельно и торопливо ел, как очень занятой и проголодавшийся человек, но предпочитал не вдаваться в отвлеченности.

И, улыбаясь, как это было ему свойственно, Лесли обратился к Елизавете Михайловне:

— Совершенно верно: разобрать трудно, кто виноват, что мы должны отстаивать Севастополь,—как это случилось, как это допустили!.. Но раз допустили, раз дело дошло до такого очень громкого разговора, как пушечные залпы, ничего нам больше не остается, как перекричать их, не правда ли?

— И мы их перекричим,—отозвался ему за жену Хлапонин.—Потому что не может этого быть, чтобы им удалось привезти вот теперь и орудий крупных калибров, и снарядов, и пороху больше, чем было заготовлено у нас в Севастополе! Да нужно подсчитать еще и то, сколько подвезено за последнее время...

— Они опоздали!—решительно поддержал Лесли.—Они теперь кусают вот это место,—он постарался поднести ко рту свой левый локоть,—от досады. Но напрасно-с! Не укусят!.. Какой роскошный арбуз!—восторженно перебил он сам себя, увидя, как входил денщик с огромным полосатым арбузом на подносе, уже надрезанным и кроваво-красным.—Вот мы-то имеем полную возможность наслаждаться такими прелестями, а как обстоит с этим у союзников,—вопрос!

Как раз в это время раздалось один за другим два пушечных выстрела где-то не очень далеко, потому что задрожали неубранные со стола рюмки.

— Союзники ответили на ваш вопрос!—сказала Хлапонина тревожно.

— За-ви-дуют, бестии!—Лесли очень весело подмигнул в сторону выстрелов.

— Однако вам надо же итти на свой бастион?

— Если вы меня гоните, если я вам надоел, то я, конечно, уйду,—отнюдь не собираясь уходить, напротив, принимаясь за арбуз, отозвался Лесли,—но эти выстрелы нашего бастиона не касаются,—это по фортам с моря... Должно быть, по Волоховой башне.

Загрохотали выстрелы и с берега, потому что гораздо сильнее дрогнули рюмки. И Хлапонин крикнул денщику:

— Убери посуду!

Несколько раз еще грохотало и сотрясало воздух, но вот наступило продолжительное затишье.

— Отчалили!—спокойно принимаясь за другой кусок арбуза, сказал Лесли.

— А я думаю... что сейчас начнется настоящая канонада...—снова закрывая глаза и сжимаясь, проговорила тихо Хлапонина.

— Напрасно думаете! Пожалуйста, не думайте так!—весело наблюдая ее, говорил Лесли.—Настоящая канонада впереди... Если мы не совсем еще готовы ее встретить как следует, то, поверьте, и союзники далеко еще не готовы ее начать!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ТОРЖЕСТВО ЛОГИКИ

1

Действительно, в стане союзников были еще не готовы к канонаде, но там работали, подготовляя ее, методически, умело, обдуманно, а главное—без помехи.

Та крепость, которую в разобранном на тысячи частей виде перевезли сначала из Дувра и Марселя в Константинополь, потом из Константинополя в Варну, из Варны к Евпатории, спокойно и хозяйственно перевозилась теперь в бухты, занятые союзным флотом, здесь выгружалась на берег, направлялась в заранее намеченные участки осадной линии и воздвигалась неукоснительно по плану подобных сооружений, выработанному западной наукой войны.

Все, оказалось, было нужно, что везли на сотнях коммерческих судов: и мешки с землею, и кирпичи, и готовые фашины, и туры, и тысячи болгар-землекопов с их собственными прочными добросовестно выкованными в болгарских кузницах кирками, мотыгами, лопатами и ломами.

Может быть, даже великое изобилие всего, что было заготовлено для устройства этой крепости против крепости русской—Севастополя, и было отчасти причиной того, что Раглан и Канробер не отдали приказа по своим армиям штурмовать город еще 12/24 сентября.

Бывает так, что обилие средств для достижения какой-нибудь цели подталкивает методический мозг использовать их все, хотя и раздается ветреный голос: «Зачем так много и для чего так долго?»

Старость медлительна и педантична. Редки случаи, когда она способна круто изменить свои расчеты, так как эти расчеты и есть именно то, что она больше всего ценит в своей угасающей жизни. Подчинить события своей логике, а не жертвовать хотя бы иногда логикой, натыкаясь на внезапно изменившийся ход событий,—в этом полнее всего проявляется старость.

Массивный и говорливый при этом, как часто бывает у стариков, лорд Раглан окончательно ов-

ладел нерешительным Канробером — прекрасным командиром роты, хорошим командиром полка, посредственным начальником дивизии и совершенно неспособным главнокомандующим армией.

Когда Сент-Арно слабым голосом умирающего передавал ему власть над войском, Канробер был убежден в том, что Севастополь будет взят через несколько дней и что его, Канробера, имя войдет в историю в ореоле славы.

Татары-проводники, бывшие при армии, уверяли, что город совершенно не защищен со стороны суши. Однако, обогнув город со стороны Инкермана, Канробер увидел, что линия укрепления существует, что она снабжена орудиями и живой силой.

В досаде Канробер приказал повесить татар, хотя они и не были виноваты: они не знали, что было сделано для защиты города Корниловым всего за несколько дней.

— Все-таки,—сказал Канробер Раглану, — эти слабые укрепления не будут в состоянии остановить натиск наших армий, и я уверен в успехе штурма.

Раглан предостерегающе поднял руку и отрицательно покачал головой. Канробер казался ему молодым человеком, способным на всякие легкомысленные, свойственные молодежи действия.

Тщательно округляя фразы, он заговорил о том, что армии утомлены тяжелым переходом, что много больных, что русские будут отчаянно сопротивляться, и если Алма стоила свыше трех тысяч человек, то штурм Севастополя обойдется в десять и все-таки может не дать того, что хотелось бы им обоим; между тем укрепления русских так слабы, что не выдержат и пятичасовой бомбардировки осадной артиллерией.

— Севастополь мы с вами можем уже считать взятым,—завершил Раглан цепь своих доводов в пользу правильной осады.—Нам надо добиться только того, чтобы нашу победу не называли пирровой победой... Нам надо взять его с наименьшим количеством жертв с нашей стороны!

Канробер согласился с тем, что потерять десять тысяч человек при штурме—это слишком большая цена за Севастополь, что такая крупная потеря заставит значительно потускнеть его ореол победителя, между тем как порох и чугун, сколько бы он их ни истратил, учитываться не будут, но сделают то же самое вернее, проще и безопаснее для армии императора французов.

Он помнил красивые слова приказа по армии, данного Сент-Арно в конце августа, при отплытии из Варны:

«Скоро на стенах Севастополя мы будем приветствовать три союзных знамени нашим национальным криком: «Да здравствует император!»

Тогда эти слова казались ему только словами в обычном духе этого бывшего провинциального актера; теперь они приобретали значение и вес. Теперь он думал, что неплохо было бы эти слова вставить в его будущий приказ по армии, когда Севастополь будет взят после надлежащего обстрела из осадных орудий.

2

Можно было нисколько не заботиться о том, чтобы назначить военные суда сопровождать транспорты и купеческие пароходы и парусники, подвозившие все нужное для осады: плавание у берегов Крыма было так же безопасно, как у берегов Франции.

На суше союзники стали твердой ногой: о нападении на них слабой армии Меншикова не могло быть и речи, о крупных вылазках из Севастополя тем более.

Однако в первые же дни оказалось много непредвиденных неудобств. Прежде всего в занятой союзниками под свои лагери местности почти совсем не было воды. Колодцы в Балаклаве, рассчитанные на скромные нужды небольшого населения, а также в селении Кадык-Кой, в другом селении Комары и в нескольких небольших усадьбах далеко не могли обслужить большую армию англичан, и стакан воды в их лагере продавался по три шиллинга, то есть почти по рублю серебром на тогдашние русские деньги. Еще меньше было воды на Херсонесском полуострове, занятом французами; очень скоро пришлось перестроить водопровод, снабжавший Севастополь, так, чтобы он спас большие десантные армии от грозного безводия.

Но если запасливые французы в первые же дни разбили для себя палатки и начали ставить бараки, то английская армия ждала палаток десять дней, а пока, совершенно непривычно для себя, расположилась на голой земле бивуачным порядком. Ночи же стали уже холодными, поэтому цена на самое ветхое дырявое одеяло поднялась до двух фунтов стерлингов.

Кроме холеры, которая не прекращалась, развивалось много других заболеваний. Почти все офицеры были больны. Между тем походные госпитали почему-то совсем даже не были погружены на суда и остались в Варне; их ждали со дня на день, но они не приходили.

Однако осадные работы должны были вестись усиленно, чтобы покончить с Севастополем как можно скорее. И с первых же дней английские солдаты поняли, что их любящий комфорт старый главнокомандующий, облюбовавший для штаб-квартиры Балаклаву, не пощадил ни ног их, ни спин, так как разные тяжести, необходимые на позициях, приходилось тащить им на себе за полтора десятка километров, рабочих лошадей было мало, корму для них тоже мало; надрываясь на подвозе осадных

орудий к позициям, они выбивались из сил и погибали. Местность была гористая, дороги плохие, если не приходилось их тут же прокладывать.

Даже огромные гвардейцы дивизии герцога Кембриджского, племянника королевы Виктории, и те через несколько дней сильно подались и имели измученный вид.

Французы занимали левый фланг осадной линии; им от Камышевой и Стрелецкой бухт до позиции было гораздо ближе; их главный штаб, подготовлявший экспедицию, оказался гораздо предусмотрительнее английского; их интендантство заботливее; в их лагере было меньше больных.

Но третье союзное знамя, которое Сент-Арно собирался приветствовать на стенах Севастополя, принадлежало туркам. Их дивизия насчитывала семь тысяч офицеров и солдат; они привезли с собой двенадцать полевых орудий и девять осадных, но кормить людей этой дивизии приходилось французам на свой счет еще в Варне, и если в первое время в Крыму даже французские солдаты не могли получить того, что им полагалось, то тем более—турки.

Поставленные как резервные силы в тылу французских и английских лагерей, турки, мучимые голодом, толпами бродили около кухонь и походных пекарен французов и англичан, выпрашивая необглоданных костей и хлебных корок; рылись в кучах отбросов; расходились по окрестностям в надежде ограбить местных жителей.

Но к этой последней спасительной мысли пришли и главнокомандующие союзных армий, решив ограбить Ялту, как наиболее близкий к Севастополю и наиболее населенный из прибрежных городов.

Это было утром 22 сентября,—перед Ялтой выстроилась эскадра в десять вымпелов; из этих судов, часть которых принадлежала английскому, часть—французскому военному флоту, особенно выделялись величиной два трехдечных корабля, сопровождавшиеся на случай безветрия двумя колесными пароходами.

И ялтинцы только еще спрашивали друг друга встревоженно, что может значить этот ранний и торжественный визит, как один из пароходов подошел к берегу.

Тогда всем ясно стало, что надо бежать из города, и первыми двинулись различные, свойственные уездным городам того времени «присутственные места»: казначейство, уездный суд, городская управа и прочие. Весь гарнизон Ялты,—около пятидесяти человек солдат и казаков при офицере,—прикрывал это шествие. Таща детей и узлы наскоро собранного скарба, потянулись за ним жители по дороге на Симферополь, мимо Гурзуфа, Алушты и других татарских аулов.

Но уйти успела только часть жителей. Союзники действовали быстро. С каждого судна были спущены шлюпки; в них посажено человек до пятидесяти солдат, и десант этот, рассыпавшись по набережной и всюду по улицам, чуть ли не к каждому дому поставил часового; всякое движение было прекращено, все замерло, ожидая, что будет дальше.

Дальше же начался грабеж. Все дойные коровы и козы, которых ввиду раннего часа не успели еще выгнать на пастбище, выгонялись со двора на улицу, откуда их гнали к пристани, чтобы грузить на шлюпки и баркасы. Туда же тащили мешки, набитые курами и прочей домашней птицей. Так как свиней вообще трудно перегонять с места на место, то их кололи штыками и подвозили туши их к пристани на обывательских подводах. Хлеб, яйца, вино, сахар, мука, крупа—все съестное забиралось и отправлялось на суда.

Однако солдаты нуждались не только в съестном. Они выламывали двери и окна, которые могли пригодиться им в лагере; из сундуков и гардеробов вытаскивали пальто; потом, входя во вкус полной безнаказанности своих действий, разбивали прикладами посуду, рвали штыками картины, книги, вообще уничтожали то, что им было не нужно или чего не могли унести.

С почтовой станции вывезли все брошенные там экипажи и сбрую, опустошили все магазины и казенные склады. Совершенно разорили и Ливадию, принадлежавшую тогда графу Потоцкому.

Два дня длился этот погром Ялты и окрестных имений. Только в ночь на 24 сентября ушла эскадра, и только имение императрицы—«Ореанда»—осталось не тронутым из соображений высшей политики.

3

По ночам в Севастополе слышен был стук многочисленных колес по каменистым звонким сентябрьским дорогам на неприятельской стороне: там неутомимо трудились над возведением брустверов и установкой орудий. Прошел даже слух, что союзники привезли с собой паровые машины для рытья траншей; но саперы сомневались, чтобы такие машины могли справиться со скалистым грунтом.

Ясными днями отчетливо была видна пыль, поднимаемая тысячами кирок и мотыг за три, даже за две версты от русских оборонительных линий. Рабочих обстреливали из дальнобойных орудий и замечали, что они разбегались, прекращая работы; но по утрам оказывалось, что неприятельские траншеи росли и что они приближались зигзагами.

Со стороны англичан—против третьего бастиона—появилась вдруг за одну ночь траншея всего в семистах саженях от русских траншей, а со стороны французов, против пятого бастиона,—еще ближе: меньше, чем за версту.

Это был труд не менее упорный, чем труд русских моряков и солдат. Лошади союзников решительно не в состоянии были выносить ту работу, которая требовалась от них по подвозке к укреплениям осадных орудий, они падали по нескольку десятков в день.

Пластуны и команды штуцерников ежедневно посылались Корниловым обстреливать рабочих, но французы выставляли против них цепи своих африканских егерей, англичане—снайперов, и перестрелка, то оживляясь, то временами затихая, стала ежедневной, втягивая все большее число команд.

Но штуцерных в русских полках было мало. Корнилов просил Меншикова прислать ему батальон стрелков, Меншиков обратился за этим к Горчакову, в Одессу. Горчаков, получив с курьером просьбу Меншикова, правда, распорядился послать стрелковый батальон на подводах, но батальон прибыл гораздо позже, чем его ждали.

Союзники спешили. Они не отвечали орудийным огнем на выстрелы русских пушек, не желая обнаруживать расположения своих батарей. Они даже не прорезывали вполне амбразур или, прорезав, тут же закрывали их мешками с землей и турами. Они скрытничали, но когда стало обнаруживаться, что пехота выбивается из сил, сооружая траншеи и блиндажи,—Раглан и Канробер потребовали от командующих флотами—лорда Дондаса и Гамелена—подкрепить пехотинцев матросами, которых насчитывалось в обоих флотах до двадцати пяти тысяч. Так что часть моряков союзников, как и все русские моряки, сошли на берег, чтобы стать саперами и потом—артиллеристами у осадных орудий.

Тянулись дни, наполненные неистово-спешным и обнаженно-осмысленным трудом на земле и в земле ста с лишком тысяч человек, десятков тысяч лошадей, мулов, волов, верблюдов, сотен тысяч колес с железными шинами и без шин, лопат, ломов, кирок, мотыг... И все это для того, чтобы перетащить и поставить в заранее намеченные места горы чугуна, которые должны будут в назначенный для этого день быть переброшены с одной стороны на другую, чтобы уничтожить как можно больше людей, лошадей, мулов, колес и, главное, орудий всех калибров и всех назначений.

В полдень 4 октября и Канробер и Раглан получили донесения, что подготовительные работы к бомбардировке крепости с суши можно считать законченными. Из главных квартир обеих армий об этом дано было немедленно знать Дондасу и Гамелену, и к вечеру этого дня с береговых фортов замечен был проворный небольшой пароход, шнырявший вне выстрелов русских батарей на линии входа на Большой рейд и разбрасывавший буйки.

Что это значило, было известно морякам. Союзная эскадра в полном сборе стояла у устья реки Качи, из которой доставляли пароходами воду во французский лагерь; буйки, поставленные в море, показывали, что корабли союзников решили появиться перед фортами во всем своем боевом могуществе.

И в то время, как флигель-адъютант подполковник Альбединский скакал на перекладных с собственноручным письмом Николая Меншикову, Раглан и Канробер верхами, в окружении нескольких штабных генералов, французских и английских, объезжали свои укрепления, на которых все считалось законченным для небывалой еще в истории канонады.

Николай отбрасывал даже и самую мысль об обороне, казавшуюся ему позорной; он настаивал на наступлении, хотя бы и постепенном, «укрепляясь на удобных местах». Он ободрял Меншикова: «Время года за нас; думаю, что союзникам куда не покойно в их лагере, на голой каменистой местности, где их продувает со всех сторон! Сын твой говорит, что они очень болеют и мрут,—ничто им! В газетах тоже упоминается о болезнях. Все это несколько охладит их жар!»

Главнокомандующие союзных армий знали о том, что действительно многие болеют и многие мрут, но они видели, объезжая свои позиции, что предначертания выполнены, несмотря ни на что.

Канроберу, который в Галаце, будучи еще только начальником первой дивизии, накричал на пашу, требуя от него дров для отопления казарм в апреле, нехватало выдержки и теперь, когда он стал во главе французской армии. Это подумал о нем, поморщившись, лорд Раглан, когда тот обратился к инженерному полковнику-англичанину с бестактным замечанием:

— Все-таки я нахожу, что русские укрепления тоже очень сильны! Как вы их находите, господин полковник?

Полковник, исхудалый от трудов, но аккуратно выбритый, поднял глаза на сидящего верхом французского главнокомандующего и ответил:

— Они построены не для огня наших орудий! При первых же наших выстрелах они обратятся в пыль.

Ответ этот понравился Раглану. Кивнув поощрительно в сторону столь великолепного, самоуверенного инженера, он обратился к Канроберу несколько более возбужденно, чем это было позволительно для его лет:

— Мой дорогой друг! Здесь,—он указал широким жестом своей единственной руки на огромные ланкастерские осадные орудия, выстроившиеся внушительно на батарее, прозванной русскими «пятиглазой» по числу амбразур в ней,—здесь мы с вами присутствуем на торжестве военной логики! Она молчалива пока, но завтра ее силу почувствуют русские! Завтрашний день будет началом конца наших военных операций!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
КАНОНАДА 5/17 ОКТЯБРЯ

1

Два полка дивизии генерала Кирьякова—Московский и Тарутинский—готовились к своим полковым праздникам, которые наступали для первого 5, для второго—6 октября.

Как всегда перед подобными праздниками, в полковых казармах все мылось, чистилось, «репертилось», как говорили тогда солдаты, производя это слово от «репетиция». Кашевары на кухнях даже пекли пироги с начинкой из капусты с рублеными крутыми яйцами. Заготовлялась водка для раздачи солдатам праздничных чарок; варилась двойная порция мяса: кроме говядины, еще и козлятина.

Между тем на батареях уже чувствовалось всеми, что вот-вот разразится бомбардировка: позиции противника были очень оживлены, замаскированные амбразуры открывались... Люди здоровые, полнокровные, жизнелюбивые, осевшие на батареях моряки, из которых многие сражались при Синопе, не хотели зря терять вечера, может быть последнего для многих; и тот праздник, к которому только еще готовились пехотинцы двух полков, самочинно пришел на батареи.

Это был как бы вполне законный отдых, когда люди пошабашили, закончив долгую, трудную, ответственную работу. Сделав все, что могли, вспрыснули вскладчину конец дела, бастионы—восемь больших, считая с Малаховым курганом, и тридцать четыре малых.

Начальство не запрещало матросам ни музыки, ни песен, ни плясок до поздней ночи. Начальство разрешило это и себе. Казармы и палатки, в которых расположился Московский полк, были невдали от третьего бастиона; приготовления к полковому празднику создавали на всем бастионе то предпраздничное настроение, когда люди, честно проработавшие перед тем больше месяца, разгибают спины, разминают плечи, утирают пот.

Душою вечеринки в офицерском блиндаже был Лесли: непринужденно острил, рассказывал неизвестно откуда им взятые, но явно для всех свежие анекдоты, пел «Чижика» с вариациями не для дам...

Командиром бастиона был капитан 2-го ранга Попандопуло, из одесских греков; а младшим офицером на батарее Лесли—сын старого Попандопуло, мичман, юноша лет двадцати двух, во всем стремившийся подражать своему непосредственному начальнику—капитан-лейтенанту.

На бастионе было двадцать два орудия; Лесли командовал батареей крупнокалиберных пушек, снятых с линейного корабля «Императрица Мария».

Вглядываясь в амбразуры английских батарей и поглаживая и похлопывая гладкий и длинный хобот одного из своих орудий, Лесли говорил юному мичману:

— Ничего, господа энглезы! Мы вам вшпарим по всем правилам искусства! Мы вам расчешем ваши рыжие кудри!

И мичман Попандопуло, невысокий, но стройный и очень ловкий южанин, с правильным, красивым, несколько долгоносым лицом, понимал, что это не для его ободрения говорит так его начальник,—он не нуждался в ободрении,—что это была твердая уверенность в успехе артиллерийского состязания завтрашнего дня. Кроме дальнобойных морских орудий, на бастионе стояла батарея полевых пушек и батарея мортир для стрельбы картечью, на случай, если союзники рискнут пойти на штурм.

Так как бастионом ведал его отец, немногоречивый, но деятельный и умевший всех около себя заставить работать как надо, то юный мичман чувствовал себя, может быть, даже прочнее, чем кто-либо другой на бастионе: отцу он привык верить с детства, отец не мог что-нибудь упустить из вида, не мог чего-нибудь недоделать. Для мичмана Попандопуло третий бастион был самым сильным на всей линии обороны, и после шумной вечеринки 4 октября юноша заснул спокойно и крепко, укрывшись шинелью, в углу блиндажа, чтобы подняться в пять утра, как ежедневно, ополоснуть лицо водой из корабельной цистерны—и к орудиям: долг службы—стать возле них раньше, чем подойдет Евгений Иванович, командир батареи; а в шесть происходила смена вахтенных, и он заступал на вахту.

В полдень этого дня объезжал линию укреплений, как обычно верхом, с двумя флаг-офицерами, Корнилов, и мичман Попандопуло слышал, что адмирал, остановясь у них на бастионе, указал его отцу, кивнув на пятиглазую батарею англичан с открытыми амбразурами:

— По всей видимости, они приготовились уже к бомбардировке... Ну, что ж... Встретим и примем!

— Мы ведь тоже сделали все, что могли сделать, ваше превосходительство,—с достоинством отозвался отец, который при одних летах с Корниловым имел уже сильную проседь в черных усах.

— Да, мы готовы... Мы готовы... Мы готовы!—все с большей уверенностью повторял Корнилов, подымаясь на стременах, чтобы разглядеть что-то такое там, на Зеленой горе, у неприятеля.—Они готовы, конечно. Однако—и мы тоже... А там пусть уж решает сам бог!

Он был очень серьезен, говоря это, даже торжественно серьезен. У него были прозрачные глаза в несколько воспаленных, от недосыпания вероятно, веках и длинные, белые, с синими венами, кисти рук.

Засыпая в углу блиндажа под шинелью, мичман увидел высокую тонкую женщину в средневековом шлеме, с мечом на серебряном поясе, с такими же прозрачными глазами и с такими же длинными белыми кистями рук. «Кто это, Евгений Иванович?»—спросил он Лесли.—«Как же так «кто»! Понятно, Жанна д'Арк!»—ответил Лесли.

А у Корнилова как раз в это время сидел, собираясь уже уходить, Нахимов. Корнилов жил тогда в доме того самого отставного поручика Волохова, который построил форт в виде башни на Северной стороне. Меньшую половину дома занимал он сам, большую—его штаб. Установка буйков в море пароходом союзников ясно указывала на то, что к бомбардировке с моря нужно быть готовыми не позже, как завтра. Поэтому Корнилов собрал к себе на совещание не только начальников сухопутных оборонительных дистанций: трех адмиралов—Новосильского, Панфилова и Истомина—и генерала Аслановича, но также и командиров береговых фортов. Конечно, на совещании присутствовал и генерал Моллер, продолжавший считаться начальником Корнилова, и Кирьяков, командовавший не только своей дивизией, но и всеми резервными силами, место стоянки которых была Театральная площадь, а назначение—броситься в ту сторону линии обороны, которой неприятель угрожал бы прорывом.

Но все бывшие на совещании уже разошлись, Нахимова же удержал сам Корнилов, так как только с ним связывала его не то чтобы близкая и теплая дружба, но та старинная приязнь, которая стоит дружбы.

Нахимов часто бывал в семействе Корнилова, его с его коротенькой трубочкой всегда любила видеть у себя Елизавета Васильевна, жена Корнилова; к нему привыкли дети. С ним можно было поговорить не только о служебном, тем более, что о служебном все уже говорилось раньше.

Куда и какими бортами должны были стать оставшиеся корабли в случае бомбардировки с суши и с моря, об этом уже говорилось; обсуждался и способ потопить их, если бы противник ворвался в город. Как тушить на них пожары, результаты обстрела, команды знали...

Нахимов был нужен Корнилову, чтобы поговорить с ним о чем-то другом, что для него самого было как бы неясно, но важно.

В просторном кабинете, где они сидели, висел синий табачный дым. Тогда лучшим табаком считался табак фабрики Жукова, и курить какой-либо другой табак было признаком плохого тона. Два адмирала сидели друг против друга за столом, с которого не убрали еще распитых после совещания бутылок красного вина.

— Павел Степанович, письмо мне привез николаевский курьер от жены... Просит Елизавета Васильевна передать вам поклон... и дети тоже...

— Очень благодарен за память!.. Очень рад, очень...—пробормотал Нахимов.—А где-то теперь Алеша на «Диане»?

— Да, вот... Алеша... «Диана», может быть, теперь подходит к Сингапуру, но ведь англичане находятся с нами в состоянии войны и могут захватить корабль,—вот чего я боюсь!

— Отстоится,—Нахимов благодушно кивнул головой.—Отстоится в каком-нибудь нейтральном порту-с... скучно, конечно, будет, если очень долго стоять, да... но ведь трудно-с и предположить такое, чтобы покусились они на наш корабль, когда он учебное плавание совершает!.. Нет, Владимир Алексеич, они этого не делали до сих пор и, я думаю, не решатся сделать.

— Я тоже полагаю, что англичане... Они—народ крепких традиций... Но вот французы, при теперешнем правительстве,—французы могут!

Нахимов поморщился, усиленно потянул из чубука, выпустил кольцами дым и сказал решительно:

— Нет, и французы не сделают!.. Наконец, постоять в китайском или голландском порту это-с... это-с поучительно для юноши...

— Об этом нет спору... Поучительно, да,—был бы хороший надзор за ним... А то эти портовые города в Китае...

— Алеша—строгий к себе мальчик: для него не опасно-с.

— Это вы хорошо определили его,—с живостью подхватил Корнилов.—«Строгий к себе». Прекрасно сказано!.. Он даже и плохим товарищам не поддастся! В нем есть эта... эта твердая самостоятельность, да—она и в детстве у него была... «строгий к себе»! Это, это, знаете ли, то самое, что и нам всем осталось... Мы попали в строгое время, и не мы одни,—вся Россия! Для России настали строгие времена, да! И может быть, самый строгий день будет завтрашний... Переживем ли его мы с вами, Павел Степанович?

Вопрос был задан быстро, скороговоркой, так что Нахимов, казалось, не сразу даже и понял его, но когда он дошел до его сознания, то, пососав чубук, адмирал с большим георгием—за Синоп—на шее крякнул, оперся о спинку кресла и проговорил назидательно:

— Бог не без милости, а моряк не без счастья.

— А если моряк выброшен на сушу?—слабо улыбнулся Корнилов.—Нильскому крокодилу в воде тоже везет, а вылезет на берег—и не заметит, как схватит пулю... Ведь это—совсем другая стихия, Павел Степанович, для нас с вами... Но это я между прочим... Жена прислала благословение: тревожится. Правда, она уж давно тревожится, и могло бы войти это даже в привычку, но теперь как-то у нее это сказалось... от глубины сердца... Вы верите в предчувствия?

— Я верю только в то, что не всякая пуля в лоб-с,—серьезно ответил Нахимов.—Убить чело-

века, для этого,—нам с вами это известно,—много свинца и чугуна надо истратить.

— Вы—одинокий, Павел Степанович... Правда, брат у вас есть в Москве,—но брат это, знаете ли, совсем не то, что своя личная семья—жена, дети... Я написал на всякий случай духовную с месяц назад, еще перед Алмой. Сегодня утром перечитал ее,—кажется, все там сказал,—не знаю, что еще можно добавить.

— Что вы, Владимир Алексеич! Что вы!—даже с подобием испуга в глазах отозвался Нахимов.—Разве вам можно думать о смерти? Вы только вспомните, как же без вас останется Севастополь! Что вы-с! Вы только об этом, об этом самом подумайте: кем же вас заменить можно? Никем-с! А защита Севастополя, как вы ее поставили, очень надолго-с, очень надолго-с может затянуться! Мимо таких-с людей—о, она, эта курносая, с косой,—сторонкой, сторонкой-с обходит, сторон-кой!.. Я даже и за себя не боюсь—видит бог, ни вот столько!—он указал на кончик чубука.—А вы Севастополю необходимы, как... как все его орудия и все снаряды-с! И чтобы такой человек погиб в самом начале дела,—помилуйте-с! Вас история выдвинула-с,—сама история-с! Зачем же она вас выдвигала? Чтобы тут же, извините меня, по затылку вас хлопнуть? История—не дура-с! История не так глупа-с, нет!

Давно не замечал Корнилов, чтобы герой Синопа так искренне говорил и так разгорячался при этом. Ему стало неловко, как будто он смалодушничал. Рука его, уже готовая было дотянуться до кипарисового ларца, в котором лежало его духовное завещание, медленно опустилась и стала вертеть пустой винный стаканчик. Видимо, в словах Нахимова нашлось что-то такое, что было для него если не ново, то убедительно,—и он поднялся, обошел стол, положил руки на эполеты Нахимова и три раза, точно христосуясь, поцеловал его в дымящиеся, слабо растущие усы.

— Спасибо на добром слове,—сказал он потом бодро, почти весело.—Вы правы в том отношении, что поддаваться всяким этим предчувствиям и, как бы сказать голосам вещих сердец—это упадок духа, разумеется, и для этого надо иметь, кроме того, свободное время,—да, вот именно: свободное время! А у нас его нет... Кстати, я забыл вам сказать: князь присылает нам, то есть в адрес командующего войсками в Севастополе, генерала Моллера, некоего полковника генерального штаба Попова в начальники штаба... Так что теперь у нас все пойдет не как бог на душу положит, а вполне по-ученому. Пишет князь, что этот Попов в Петербурге на лучшем счету.

— Ну, что же-с: одним петербургским умником будет больше,—непроницаемо спокойно отозвался на это Нахимов и положил трубку в карман, что делал он всегда перед тем, как встать и прощаться.

2

Московский полк утром 5 октября выстроился около своих палаток и казарм по-ротно, составив ружья в козлы. Полковой священник готовился начать молебен по случаю праздника, хотя непраздничной была погода.

Рассвет наступил поздно из-за тумана, густо залегшего вскоре после полуночи. В нескольких шагах ничего уже не было видно,—люди появлялись и расплывались как тени.

Когда же туман сдвинулся к морю и открылась линия неприятельских укреплений, к ним сразу повернулись тысячи лиц, чтобы узнать, что они готовят. Но там не замечалось ничего бросающегося резко в глаза: ни суетливого движения солдат, ни заново открытых амбразур...

Сзади, в Севастополе, тоже шло все заведенным порядком: рабочие выгружали адмиралтейство, как всегда с самого утра; по Южной бухте и Большому рейду энергично двигались шлюпки, баркасы, гички и совсем небольшие лодчонки, носившие название «вереек»; переправлялись с берега на берег люди, перевозились тяжести,—работа каждого дня, постоянством своим породившая уже устойчивость и спокойствие не только в солдатах, но даже и в обывателях.

И когда до слуха иной матерой боцманши с Корабельной слободки доходило зловещее известие о возможной и скорой уже бомбардировке, она говорила презрительно:

— Э-э, бандировка, бандировка! Пугаешь зря, будто мы пужливые! Не слыхали мы, што ль, никогда твоей бандировки!—и поджимала высокомерно губы.

Палатки белели в тылу укреплений всюду. Пехотные части были придвинуты Корниловым на случай штурма и штыкового отпора. Утренние подводы, привезшие из города хлеб и мясо для кухонь, виднелись между палатками, на задних линейках. Артельщики раздавали хлеб и черные ржаные сухари солдатам. Водовозы медленно продвигались, и к ним бежали с ведрами, чтобы защитники укреплений имели все, что полагалось для завтрака: не только сухари, но также и воду, чтобы было в чем размочить эти окаменелости, может быть десятилетней давности.

Все в это утро было как всегда, за исключением только полкового праздника в Московском полку, где начался уже было молебен, как вдруг грохнуло оттуда, со стороны противника... и еще... и в третий раз.

И не успели еще как следует переглянуться и снять со лбов сложенные для креста пальцы солдаты Московского полка, как загрохотало уже по всей линии противника сразу сто двадцать огромных осадных орудий—английских, французских и турецких—и, пряча поспешно на ходу

свой требник в широкий карман рясы, стаскивая через голову золототканную ризу, первым покинул поле молебствия перепуганный поп.

Солдаты ждали команды и искали глазами своих ротных командиров, но ротные точно так же оглядывались на батальонных, те—на командиров полков... И несколько минут канонады прошло в этих ищущих взглядах, пока, наконец, закричали, передавая сзади приказ Кирьякова:

— Пехотным частям отступать к городу!.. Пехоте отступать в порядке к улицам города!

Кричать приходилось звонко и чуть не в ухо соседа, потому что ста двадцати осадным орудиям союзников дружно принялись отвечать сто восемнадцать больших морских орудий русских бастионов. Трудно было и в двух шагах перекричать такой рев... клубы черного дыма очень быстро заволокли все кругом, и целей уже не было видно артиллеристам: только вспыхивали слабо то здесь, то там желтые огоньки выстрелов. Парадно выстроившийся для молебна Московский полк уходил к городу, унося и увозя многих раненых, а вслед ему визжали в воздухе ядра. Мчались нахлестываемые вожжами ротные лошади... За насыпями укреплений прятались от ядер матросы и солдаты бастионов, но эти насыпи, сделанные из каменной щебенки, рассыпались от удара ядер и обрушивались вниз, как град картечи. С каждым таким ударом они становились ниже и ниже. Щеки амбразур, выложенные мешками с землей, загорались от выстрелов, что очень мешало стрельбе. Блиндажи на бастионах только носили название блиндажей; их все-таки не успели сделать, как было нужно: это были простые навесы с тонким слоем земли на крыше. Они были похожи на обыкновенные татарские сакли в каком-нибудь ауле Бурлюк или Алма-Тамак.

Осадные орудия в большинстве были английские, и поставлены они были так, чтобы обстреливать Малахов курган и бастионы третий и четвертый.

Тот хутор с длинной каменной стенкой, которую разметали матросы при своей удачной вылазке, отогнав два батальона французов, скоро был занят французами снова. Это был хутор Рудольфа, давший свое имя и горе, на которой расположился.

Рудольфова гора была теперь вся в дыму и сверкании выстрелов французских батарей, стрелявших тоже по четвертому бастиону, взятому под перекрестный огонь.

Эти батареи на Рудольфовой горе были обстреляны в полдень 2 октября из сорока русских орудий. На пробной стрельбе тогда определялись углы возвышений для мортир и пушек, благодаря чему теперь каждый выстрел попадал в цель, хотя сплошной дым делал невозможной прицелку.

Ветра не было, дым висел всюду, как в курной избе, дым ел глаза, от дыма трудно было дышать.

— Ре-е-е-же!.. Ред-кий огонь!—пытались командовать на батареях офицеры, чтобы осадило дым, чтобы можно было хоть что-нибудь разглядеть вблизи, а вдали хотя бы приблизительно нащупать линии неприятельских траншей.

Но матросы-артиллеристы вошли в азарт. Они не замечали даже того, что слишком перегревались орудия. Они действовали как на корабле в море, где бои бывают жестоки, но не длинны, и во время боя некогда думать о чем-нибудь другом, кроме самого боя. Они не знали, они могли только догадываться по неумолкаемой и меткой горячей пальбе противника, что там у многих орудий стоят такие же матросы, как они, взятые с кораблей Рагланом и Канробером.

При первых же выстрелах канонады Нахимов сел на своего рыжего и поскакал, как был—в сюртуке с эполетами—на линию укреплений. Оттуда уже валом валила пехота к городу, и трудно было сразу понять, почему и куда уходят так поспешно. Нахимов пробовал кричать солдатам: «Ку-да?»—это не помогало,—голос терялся в грохоте и громе канонады. Только командир Бородинского полка полковник Веревкин, бывший тоже верхом, заметив адмирала, сам подъехал к нему и доложил, что пехоте приказано отойти, чтобы не нести напрасных потерь.

Однако в поспешной стрельбе без прицела много ядер и бомб перелетало через бастионы, и бомбы крутились перед разрывом, и ядра прыгали здесь и там.

Нахимов добрался до пятого бастиона и остался на нем. Когда он говорил Меншикову, что содействовать защите Севастополя с суши не может, так как он—адмирал, а не генерал, он представлял себе дело это во всей его сложности, действительно ему совершенно незнакомой. Но отдельный бастион был то же самое, что флагманский корабль в Синопском бою, а на своем корабле тогда он не был праздным зрителем,—не хотел быть им он и теперь.

Он сам наводил орудия. Он поднимался на бруствер, чтобы следить, насколько позволял дым, как могли ложиться снаряды по Рудольфовой горе.

Но снаряды тучей летели и оттуда, иногда сшибаясь в воздухе с русскими ядрами, и один из них разорвался недалеко от Нахимова, когда он стоял на бруствере и глядел в свою морскую трубу.

Был ли это совсем небольшой осколок или кусок камня, подброшенный с земли, но Нахимов почувствовал, что его стукнуло в голову, сдвинув еще дальше назад и без того сидевшую на затылке фуражку.

Он снял фуражку, оглядел ее,—она была чуть заметно пробита; провел по голове над левым виском ладонью,—кровь.

— Ваше превосходительство! Вы ранены?—подскочил к нему командир батареи капитан-лейтенант.

— Неправда-с! Ничуть не ранен!—Нахимов строго поглядел на него и надел фуражку.

— Вы ранены! Кровь идет!—крикнул обеспокоенный другой офицер, но Нахимов поспешно вытер платком щеку, по которой покатилась капля крови, и сказал ему:

— Слишком мало-с, слишком мало-с, чтобы беспокоиться!

В это время сзади молодцевато рявкнуло солдатское «ура». Нахимов оглянулся и увидел слезавшего с лошади Корнилова.

— Слишком много-с, слишком много-с—два вице-адмирала на один бастион,—пробормотал он, покрепче прикладывая к голове платок, но делать это стараясь так, чтобы не заметил Корнилов.

— Павел Степанович! И вы здесь!—прокричал Корнилов, здороваясь с ним оживленно, даже пробуя улыбнуться.

— Я-то здесь,—несколько отворачивая голову влево, бросил в свою очередь и Нахимов.—А вот вы зачем-с?—и глядел укоризненно.

— Как я—зачем?—постарался не понять Корнилов.

— Дома-с, дома-с сидели бы!—прокричал совсем недовольно Нахимов.

— Что скажет свет!—шутливо уже отозвался на это Корнилов и взял из его рук трубу, так и не заметив, что он ранен.

3

Французские батареи,—с Рудольфовой горы и из первой параллели, которую удалось французам вывести в ночь на 28 сентября в расстоянии всего четырехсот пятидесяти сажен от русских укреплений, длиною до полуверсты,—расположены были слишком близко, чтобы снаряды их не попадали в город, а дальнобойные орудия, стрелявшие каленными ядрами, выбирали своею целью корабли на рейде и деревянные дома в городе, чтобы вызвать пожары. То же назначение имели и конгревовы ракеты, пускавшиеся из особых ракетных орудий.

И пожары в городе начались, как это и предвидел Корнилов, по приказу которого из обывателей, инвалидов и арестантов образовано было несколько пожарных команд в разных частях.

Загорелся и сарай одного дома на Малой Офицерской, и Виктор Зарубин бросился его тушить.

Зарубины были в большой тревоге. Теперь уже Капитолина Петровна твердо решила бежать из дома и пихала в узлы из скатертей все, что попадалось ей на глаза, как всегда бывает с женщинами во время близкого пожара.

Она приказала Варе и Оле одеться; она помогла мужу натянуть шинель. Она кричала ему звонко:

— Что-о? Дождался? Вот теперь и... Дождался?.. Вот!

И капитан беспомощно глядел на нее, на детей, на окна, озаренные багровым отсветом, и не находил, что возразить, только открывал и закрывал рот, как рыба на берегу.

Но вот вбежал запыхавшийся, с потным лбом Виктор и закричал от двери:

— «Ягудиил» горит!

Этот крик сразу зарядил Зарубина боевой энергией.

— «Ягудиил»? Горит?—повторил он.—Зна-чит... зна-чит, и до рейда... до рейда достали?

«Ягудиил» был линейный корабль, трехдечный, восьмидесятипушечный,—грозная морская крепость, давно и отлично знакомая Зарубину, и вот теперь эта крепость горела. Старик представил это, внимательно глядя в пышащее лицо сына, и сказал веско, тоном команды:

— Тогда пойдем!.. Ставни закрыть на прогоничи!.. Двери все на замок!..

Он даже выпрямился, насколько позволила сведенная нога.

— Я сбегаю за Елизаветой Михайловной!—вдруг забеспокоилась Варя.—Пусть и она тоже с нами!—и тут же выскочила в дверь.

Она вернулась скоро. Она проговорила с ужасом в глазах:

— Прихожу,—денщик говорит: «А барыня давно ушла». Куда?.. Куда ушла? «Не могу знать... Ушли и мне ничего не сказали...»

Видно было, что она передавала свой разговор с денщиком Хлапониных слово в слово.

— На Северную все бегут переправляться!—сказал Виктор.

— Вот, значит, и мы... и мы туда тоже... на Северную!—скомандовал Зарубин.

Как раз в это время ядро ударило в сад, раздробив яблоню синап-кандиль.

— Выходи вон из дома!—закричал, ударив в пол палкой, капитан.

И все поспешно вышли, захватив только те узлы, какие были поменьше, забыв закрыть ставни на железные прогоничи и успев только запереть входную дверь.

Твердо опираясь на палку, капитан строго оглядывался по сторонам, как ведут себя неприятельские бомбы и ядра.

Чтобы попасть на Северную, где,—говорили так те, которые спешили рядом с ними,—было безопасно от бомбардировки, нужно было дойти до пристани,—несколько кварталов.

Виктор тащил свой узел, который сунула ему в руки мать, на поднятом локте так, чтобы можно было закрыться им, если встретится кто-нибудь из своих юнкеров: стыдно было.

Но никто не встретился,—все шли в том же направлении, как и они,—к Графской пристани.

А ядра визжали над головами, звучно шлепаясь потом в стены и черепичные крыши. Из бухты же, вслед за оглушительными выстрелами, летели русские ядра им навстречу.

— Это «Владимир» и «Херсонес»,— объяснял отцу Виктор.—Бьют по Микрюкову хутору, где англичане...

Старый Зарубин шел с большим трудом, но то, что свои пароходы посылают англичанам гостинцы, его ободряло.

— Ага, Виктория... Виктория...—бормотал он.— Повертись теперь!

«Ягудиил» же действительно горел, однако было видно, что его деятельно тушили матросы: рядом с черным дымом виднелся над ним белый пар, и языки пламени то вырывались, то исчезали.

На пристани было уже очень людно.

Всем хотелось поскорее уйти от смерти, летавшей кругом. Тут были семейства интендантских, портовых и прочих чиновников, усиленно проклинавших себя теперь за то, что не отправили своих раньше. Многие говорили с решимостью отчаянья:

— Только бы до Северной добраться, а там— хоть пешком пойдем на Симферополь!

Более спокойные замечали:

— Да раз он такую пальбу затеял, то, пожалуй, на Симферополь уж и не пробьетесь.

Однако пробиться и на Северную сторону было тоже очень мудрено. Шлюпки у пристани были, но стояли на причале и без весел. Иные смелые перевозчики брали пассажиров, но оставшиеся на берегу с замиранием сердца и аханьем следили за тем, как люди пробирались мимо неподвижных и тоже как будто замерших бригов и горевшего «Ягудиила», ожидая, что вот-вот обрушится на них сверху граната или ядро.

Один яличник, вернувшийся оттуда, с Северной, наотрез отказался везти кого-нибудь снова, хотя к нему кинулось наперебой несколько семейств.

— Первое дело,—сказал он рассудительно,— я могу живым манером ялика свово решиться; второе дело—я могу вас, своих давальцев, решиться; а третье дело—своей жизни могу решиться. Зачем же мне тогда, господа, ваши деньги, обсудите сами?

Он был морщинистый сурового вида крепкий человек. Деньги ему протягивали, но он отводил их рукою и добавлял:

— И так что еще, хотя я и не начальник какой, а могу вам сказать, что раз идет такая смертельная стрельба, кучно не стойте, а кто куда разойдитесь,—потому как может случиться большой от этой кучности вред.

— Папа! Давай у него купим ялик,—пойдем сами на веслах!—обратился Виктор к отцу, и глаза у него так и горели.

— Скажи матери,—буркнул Зарубин.

Капитолина Петровна так была напугана рассуждениями яличника, что только махала рукой на Виктора. Но вот ядро ударило шагах в десяти от них, к счастью, никого не задев, а яличник уже уходил, унося свои весла.

Капитолина Петровна поспешно сунула в руку Виктора десятирублевую ассигнацию, и Виктор кинулся за перевозчиком, а через несколько минут торжественно тащил весла.

Эти весла на плечах Виктора могли означать что угодно,—будущее было темно и страшно, но маленькая Оля вскрикнула, ликуя:

— Есть весла! Есть! Смотрите!

И все около нее, не говоря о самом Викторе, поверили, что в этих веслах спасенье их жизней.

Варя даже оглядывалась кругом с последней надеждой,—самой крепкой!—не покажется ли где Хлапонина.

— Куда же Елизавета Михайловна могла? Может быть, уже давно переехала?—спрашивала она мать.

Но мать отвечала ей с чувством:

— О себе заботься, а не о людях!

Уселись в ялик. Их считали счастливцами те, кто остался на пристани. Виктор сел на весла, стараясь грести, работая только бицепсами: ведь он начал грести на виду у всех,—надо же было показать себя мастером гребного спорта.

На корме уселся сам капитан, готовый править рулем ялика,—он, когда-то правивший боевыми кораблями.

Едва успели пройти метров пятьдесят, как впереди их шлепнулось в воду ядро, обдав их брызгами. Капитолина Петровна ахнула визгливо и припала головой к узлу, который держала на коленях (самый большой—с двумя подушками и одеялом). Оля смотрела на отца побелевшими глазами и с открытым ртом; у Вари выдавились сами собой слезы; Виктор, оглянувшись кругом, буркнул:

— Здорово лупят!—и продолжал грести.

Сам капитан серьезно исполнял обязанности рулевого, держа в руках мокрую бечевку руля.

Однако это было только первое ядро; вслед за ним, пока передвигался ялик к пристани Северной стороны, еще несколько ядер,—притом ядер каленых,—упало около него, точно там, на английских батареях, кто-то внимательно следил за ходом крошечного ялика и целился только в него.

Белые столбы воды всплескивались с шипом и шумом. И в то время, когда не только Капитолина Петровна, Варя и Оля сидели, онемев от ужаса, но даже и Виктор как будто начал задумываться над будущим и временами не знал, куда ему будет лучше ударить веслами—вперед или назад, или влево, вправо,—старый отставной капитан воодушевлялся все больше и становился воинственным на вид.

В «Ягудиил», видимо, попали новые ядра или

ракеты: он вспыхнул огромным костром у них на глазах, и капитан кричал, кивая на него сыну:

— М-мерзавцы, а? Не-го-дяи,—что делают!.. Не суши весел!.. Отдохнешь, когда причалим!.. Греби!

И Виктор, хотя чувствовал, что немеют руки и вот-вот, пожалуй, начнет их сводить судорогой, греб исправно.

Добрались наконец. Капитан направил ялик так, чтобы первой могла вылезть Капитолина Петровна со своим узлом. У него был вид победителя в серьезном сражении.

А ядра как будто гнались за ними, и одно упало в воду почти за кормою, обдав капитана с головы до ног.

Отряхиваясь, он вышел из ялика последним и, точно, став на твердую землю, он уже был застрахован от всяких покушений союзников, повернулся лицом в ту сторону, откуда летели снаряды, сделал самую язвительную мину, торжественно поднял правую руку, не спеша сложил захолодевшие пальцы в символический знак и прокричал:

— Что-о, Виктория? Шиш взяла?!. На тебе... на!.. Шиш под нос! Шиш под нос!

Виктор постарался привязать ялик, оставив в нем весла, но только что отошли они всего шагов десять от берега, как новое ядро, нащупав, наконец, их спасителя, ударило в него яростно, и щепки брызнули высоко кверху вместе с фонтаном кипуче-белой воды.

4

Когда Хлапонина услышала сквозь сон первые сигнальные выстрелы канонады, она тут же вскочила с постели, как подброшенная землетрясением, и посмотрела на свои маленькие часики, лежавшие на стуле у изголовья: было только половина седьмого.

— Так еще рано... и уже так страшно!—сказала она, хотя была одна в спальне: муж ночевал там, на батарее, «подпиравшей», как он выражался, третий бастион.

Елизавета Михайловна уснула поздно и спала плохо, потому что с совещания у Корнилова вздумалось заехать к ней генералу Кирьякову. Конечно, этот слишком поздний и для нее неожиданный визит был подсказан начальнику ее мужа лишним стаканом вина, выпитого на квартире адмирала, но он объяснил свой приезд заботой о ней: он заехал будто бы только затем, чтобы предупредить ее о том самом, что и действительно началось в половине седьмого утра,—о канонаде.

Сначала он по-хозяйски звякал щеколдой запертой уже калитки. Она думала, что пришел муж, и открыла ему калитку сама, даже не спросив: «Кто там?» Она была так уверена—это вырвался к ней с батареи муж,—что даже вскрикнула радостно:

— Митя! Как же ты вырвался?

Но всадник около калитки отозвался раскатисто и знакомо по тембру голоса:

— Митю ждали?

И она еще пыталась догадаться, кто это,—ночь же была не из очень светлых,—как всадник добавил, спрыгнув с лошади:

— Митя ваш выполняет долг службы, а Василий счел долгом вас навестить, Елизавета Михайловна!

— Василий Яковлевич!—узнала она, наконец, Кирьякова, невольно отшатнувшись.

— Он самый... А где ваш личарда? Посмотреть бы надо за конем, чтобы кто не мотнул на нем в Бахчисарай, к татарам.

Она только что хотела сказать, что готова его выслушать здесь, у калитки, и «личарду» незачем будить, как услышала сзади себя поспешные шаги денщика,—шинель внакидку.

— Присмотри, братец, за конем!—начальственным баритоном приказал ему Кирьяков и только на дворе, звякнув шпорами и сняв наотлет фуражку, поцеловал ее руку.

На лестнице горела поставленная ею свеча в шандале, и она очень боялась, чтобы Кирьяков не двинулся туда, «на огонек».

И он действительно направился было «на огонек», но она остановила его, взяв за локоть:

— Простите, Василий Яковлевич, в комнаты неудобно: там спят дети... Они только что уснули,—мы их разбудим.

— Дети? Ваши дети?—очень удивился он.

— Не мои, моих знакомых,—храбро придумала она.—Они живут там, одним словом—слишком близко к бастиону...

Назвать какой-нибудь бастион точно она все-таки не решилась, добавила поспешно:

— Погода, впрочем, очень теплая... Вы что-нибудь мне хотели сказать? Вот тут в садике есть скамейка, пойдемте.

— Да, да, сказать... кое-что сказать, именно!

Звякая шпорами, Кирьяков пошел за нею к скамейке в саду, скрывая, как ей показалось, недовольство таким оборотом дела за целой кучей бубнящих слов:

— Детям не здесь нужно быть,—их надо было отправить... Если они дети какого-нибудь обер-офицера, то ведь давали же пособия на отправку отсюда семейств бедных офицеров... А раз давали, то нужно было воспользоваться этим и за-бла-говременно их отправить, а не подбрасывать вам... О-очень хороши родители! Кто же они такие?

Хлапонина поспешила его успокоить, сказав, что это—дети одной чиновницы, которая собирается увезти их завтра же в Симферополь, уже нашла подводу и сговорилась о цене.

— Завтра едва ли ей удастся это... э-э... так удобно, как сегодня она могла бы,—ворчливо говорил Кирьяков, садясь на скамейку рядом с нею.

И на ее испуганный вопрос, что ожидается завтра,—коротко, но выразительно ответил:

— Бойня!

Она даже не повторила этого слова вслух: оно было ясно без повторения. Она только сказала тихо:

— Вот видите!

Видеть же он, генерал Кирьяков, явившийся к ней так непозволительно поздно, должен был то, что ее маленькая ложь насчет спящих у нее чужих детей не только понятна, даже необходима в такое страшное время.

Он просидел с нею рядом на скамейке в саду недолго, минут десять, но все это время говорил сам; он был речист вообще, теперь же пытался быть красноречивым. Он дошел даже до того, что сравнил ее с Еленой спартанской[1]... Наконец, с каким-то даже волнением в голосе спросил, будет ли ей хоть немного, совсем немного жаль его как человека, только как человека,—не как начальника 17-й дивизии,—если завтра, например, его, Василия Яковлевича Кирьякова, убьют нечаянно осколком снаряда, пущенного за две версты.

Разумеется, она сказала, что этого не может быть, и она даже не хочет думать о подобном.

— Ну, а если не убьют, а так, слегка покалечат, а? Придете ли вы меня проведать, когда буду я лежать в госпитале?—спросил он, сжимая ее руку в своей.

— О-о, непременно, непременно!—совершенно искренне ответила она, стараясь все-таки высвободить руку.

— Я очень рад!.. Я вам верю и очень рад!.. Я, само собою, не хотел бы быть искалеченным, чтобы доставлять вам лишнее беспокойство, но когда, знаете ли, один адмирал тобою, а другой—и тобой и этим твоим командиром командует, то тут уж, хочешь или не хочешь, а жди всяких неприятных сюрпризов!

Он постарался успокоить ее насчет Дмитрия Дмитриевича, сказав, что артиллерия только пехоте причиняет большие неприятности, сама же вообще несет мало потерь, и ушел, наконец, расцеловав ей обе руки.

У нее же слово «бойня» так и звенело и стучало в мозгу, когда она легла в постель, и продолжало звенеть и стучать в течение всей почти ночи.

Она поспешно оделась и вышла из дому, когда уже все кругом звенело, стучало, стонало, грохотало и под ногами дрожала земля. Дышать было трудно, хотя до внутренних улиц города, по которым она шла, доходили еще только первые волны пушечного дыма. Солнце сквозь дым казалось тусклым; оно светило не сильнее луны в полнолуние. У домов толпились люди, совершенно потерявшие головы: никто не знал, что начать делать, куда именно, в какую сторону бежать,—если бежать, где и в чем спасение от того, что началось так ошеломляюще ужасно.

Так как Хлапонина шла быстро и имела решительный вид, то встречные думали, что она знает, куда надо итти, где спасение. И она действительно знала, куда идет, и когда ее спрашивали: «Куда вы?»—она отвечала твердо, не останавливаясь однако: «В госпиталь сухопутных войск».

В городе был еще и морской госпиталь, гораздо больший и лучше обставленный, чем сухопутный, но она думала, что ее мужа, если его ранят, доставят в сухопутный, а не в морской.

Морской госпиталь был на Корабельной стороне; сухопутный—тоже за городом, между пятым и шестым бастионами.

Она повернула с Малой Офицерской на Офицерскую, потом вышла на Екатерининскую; дальше переулками выбралась за город, и, чем дальше шла, тем чаще и пронзительнее визжали над нею или в стороне от нее багровые и черные, как большие мячи, ядра.

Их визг почему-то был различим даже при том грохоте пушечной пальбы, от которой дрожала земля.

«Какой пронзительный!»—ошеломленно шептала Хлапонина, быстро все-таки подвигаясь вперед, как лунатик. Она изо всех сил старалась не думать, что какое-нибудь ядро может попасть в нее. Почему же в нее? Зачем непременно в нее? Так много места кругом,—совершенно пустого места,—куда падают эти ядра и будут падать, а она... Она казалась себе самой почти невесомой, почти не занимающей пространства...

Между домами, даже на окраине, было легче итти, чем на пустыре, отделяющем госпиталь от города. Двухэтажное длинное здание госпиталя было уже видно,—она не сбилась с дороги,—но видно как-то очень смутно,—частью от деревьев, которыми оно было окружено, частью от порохового дыма.

Здесь пальба гремела, как бесконечный гром, когда молнии, одна за другою, безостановочно и ослепительно блещут над самой головой.

И в то же время ядер, гранат и бомб в небе виднелось здесь гораздо больше, чем в городе, и визжали они пронзительней. Испуг так было охватил ее здесь, что она остановилась и оглянулась назад. Но вот различила она там, у ворот госпиталя, будто принесли кого-то тяжело раненного, конечно, на носилках, и принесли оттуда,

[1] *Елена спартанская*—жена спартанского царя Менелая, славившаяся своей красотой. По греческой легенде, похищение ее Парисом, сыном троянского царя Приама, вызвало поход греков на Трою.

со стороны третьего бастиона... Она подобрала левой рукой платье и побежала туда, к этим носилкам.

Через полчаса комендант госпиталя, пожилой сановитый полковник, и старший врач—зеленоглазый, бровастый, крупноносый, бритый старик в запачканном кровью белом халате—требовали, чтобы она оставила госпиталь, так как «это не полагается».

Но она, которой накануне вечером целовал руки начальник всех сухопутных войск Севастополя генерал Кирьяков, уходить не хотела.

— Что именно, что такое не полагается?—отнюдь не робко спрашивала она.

— Никаких в военных госпиталях женщин не полагается по уставу,—объяснял ей полковник, а врач добавлял:

— Это, прошу понять, внести может сумятицу разную неподобную в обиход госпиталя,—поняли?

Но она не понимала, она говорила горячо:

— Сюда могут принести мужа моего,—он командир батареи,—и я отсюда никуда не пойду,—так и знайте!

— Госпиталь обстреливают,—кричал ей полковник,—сейчас только что трубу снесло ядром!.. Мы и в том не уверены, что сами живы останемся, а как мы можем отвечать за вашу жизнь?

— Вам не нужно будет отвечать за меня никому!—кричала и она, потому что от грохота канонады тряслись стены и дребезжали окна.—Я буду делать тут у вас все для раненых, что мне прикажут, но чтобы я ушла отсюда, ни за что!

Полковник с врачом переглянулись, пожали плечами и разошлись, оставив ее: и у того и у другого слишком много было дела, чтобы тратить время на споры с женщиной.

Хлапонина осталась в госпитале.

5

На пятый бастион, где встретился он с Нахимовым, Корнилов попал, побывав уже на четвертом.

Четвертый его беспокоил еще накануне: ему казалось, что батареи англичан и французов сознательно ставились так, чтобы взять именно этот бастион под перекрестный огонь.

Когда он с несколькими из своих флаг-офицеров скакал к четвертому, то сам ловил себя на том, что чувствовал какой-то давно небывалый подъем во всем теле, как будто в этот именно день его ожидала большая удача.

От каких-то странных и томящих предчувствий, вызвавших его беседу с Нахимовым накануне, не оставалось и следа. Напротив, он был теперь в той же запальчивости бойца, которой отдался, когда, например, хотел догнать турецкий пароход «Таиф» под Синопом, несмотря на то, что «Таиф» был вооружен гораздо сильнее и имел гораздо лучший ход, чем его «Одесса», так что впоследствии он сам сравнивал тогдашнего себя с зарвавшейся гончей, которая в одиночку думает взять матерого волка.

Он хотел объяснить себе теперь этот свой подъем и вспоминал, что такое случилось после ухода Нахимова.

Память вытолкнула три таких удачных хода в той игре со смертью, какую он вел: в письме Меншикова, которое курьер привез ему уже после ухода Нахимова, сообщалось, что прибыла 12-я дивизия генерала Липранди,—это был самый удачный ход; затем еще—что Тотлебен и другой тоже очень способный военный инженер Ползиков, по его представлению, произведены в полковники, с чем их и можно поздравить... кроме того, удалось вспомнить вчера о массивных золотых отцовских часах, которые у него были, вспомнить затем, чтобы отправить их с курьером жене в Николаев.

Как ни странно было ему самому сопоставлять эти три удачных хода, но они сопоставлялись как-то сами собой, помимо его воли: чуть только возникала в мозгу 12-я дивизия, делавшая армию Меншикова вдвое сильнее, тут же прицеплялись к ней с одной стороны два талантливых полковника инженерных войск, с другой—отцовские золотые часы.

Об этих часах он думал, что передаст их капитан-лейтенанту Христофорову вместе с письмом жене и скажет: «Боюсь, чтобы здесь их как-нибудь не разбить, а они—вещь все-таки ценная для меня, потому что достались мне от отца... Пусть и от меня перейдут к моему старшему сыну...»

Лошади, сначала скакавшие бодро, стали пятиться, взвиваться на дыбы и бросаться в стороны, когда невдалеке уже был четвертый бастион, действительно попавший под перекрестный огонь. То и дело падали кругом то английские, то французские снаряды, а две полевые батареи, «подпиравшие» четвертый бастион, посылали свои снаряды одна в сторону французов, другая—в сторону англичан. Было от чего артачиться лошадям.

Корнилов схватил свою лошадь за ухо и крикнул в это ухо:

— Не люблю, когда меня не слушают!

И лошадь, которая перед тем волновалась и бросалась в стороны, пошла почему-то спокойнее, только болтала головой и фыркала, должно быть от едкого дыма, лезшего в ноздри.

Четвертым бастионом командовал Новосильский, произведенный в вице-адмиралы за Синопский бой. Он был первым в этот день, испуганно встретившим не бомбардировку англо-французов, а очень любимого им Корнилова на своем бастионе.

— Зачем вы в этот ад, Владимир Алексеевич?—сказал он, крепко (он был человек сильного сложения) пожимая тонкую руку Корнилова.

— Как—зачем?.. Чтобы знать, что мы делаем...

Оглянулся кругом и добавил Корнилов:

— И что делают с нами!

На бастионе были уже подбитые орудия, разбитые в щепки лафеты, валялись убитые и тяжело раненные...

— Почему не выносят убитых и раненых?—удивился Корнилов такой нераспорядительности боевого адмирала.

— Нет людей для этого,—ответил Новосильский.—Несем большие потери от перекрестного огня... Артиллерийская прислуга вся на счету... Требуется частая замена людей у орудий...

— Нужно будет из арестантов, не прикованных к тачкам, спешно составить команды санитаров,—решил Корнилов и подошел к ближайшему комендору-матросу посмотреть его прицел.

Новосильский наблюдал его с большой за него тревогой, а он держался совершенно неторопливо, точно у себя в кабинете. От первого комендора перешел ко второму, к третьему, прошел не спеша через весь бастион, дошел до батареи у «грибка» на бульваре (который получил впоследствии название «Исторический бульвар») и оттуда так же спокойно повернул назад и снова вышел к правому фасу бастиона.

Провожая его, Новосильский сказал ему:

— Владимир Алексеевич! Не примите за совет,—это моя, и знаю, что не моя только, просьба: поберегите себя, поезжайте прямо домой!

— От ядра ведь не уйдешь,—улыбнулся ему, садясь на лошадь, Корнилов.—Арестантов же для уборки раненых и убитых я пришлю.

Но он поехал не в город, а на пятый бастион, где рядом с Нахимовым стоял на бруствере, чтобы лучше разглядеть в трубу, как падают снаряды в укрепления противника.

Нахимов был доволен, что кровь в его небольшой ране над виском запеклась, что не нужно вытирать щеку платком и что Корнилов ничего не заметил.

Это была приманчивая для неприятельских артиллеристов цель. Кроме двух адмиралов, тут стояли по обязанности и три адъютанта Корнилова, и флаг-офицер Нахимова, и командир бастиона Ильинский.

Ядра свистели пронзительно кругом, делая свое страшное дело; землею и кровью убитых обдавало адмиралов и их свиту, но они заняты были наблюдением такой же точно картины в стане противника и не двигались с места. Это было, может быть, только щегольство личной храбростью и могло бы продолжаться так долго, как позволила бы плохая наводка неприятельских комендоров, но Нахимов, наконец, как бы очнулся и, взяв за локоть Корнилова, решительно свел его вниз под прикрытие.

— Ваше превосходительство! — обратился к Корнилову Ильинский.—Ваша жизнь слишком дорога для Севастополя... Простите, но я вас очень прошу оставить бастион!

Нахимов смотрел на Ильинского поощрительно и кивал в знак согласия головою. Корнилов же, не отвечая, наклонился над орудием, проверяя прицелку.

— Ваше превосходительство, — продолжал, заходя с другой стороны, Ильинский,—беру на себя смелость доложить, что своим присутствием на бастионе вы показываете недоверие ко всем нам—к офицерам, к матросам, к солдатам...

— Все вы выполняете свой долг прекрасно,—отозвался, наконец, Корнилов,—но у меня тоже есть долг: всех вас видеть!

И он пробыл на бастионе еще с четверть часа и увидел не только спокойную, бесстрашную работу молодцов-матросов, солдат и офицеров, причем на место убитого или раненого у орудия сейчас же, без команды, становился другой, и каждый разбитый лафет заменялся новым с тою же быстротою, какая требовалась на судах во время учения: он увидел еще и матросских жен,—толпу баб в скромных платочках на головах и с кувшинами в руках.

Кувшины были то глиняные, то жестяные, и у каждой, кроме них, были еще и узелки с тарелками и мисками—домашняя снедь. Их не пускали на бастион, они толпились сзади, эти бесстрашные бабы, около оборонительных казарм и бараков, кое-где уже полуразваленных бомбами.

Корнилов испугался за них,—снаряды падали неистово часто.

— Кто вы такие? Куда? Зачем?

— Водички вот, водички холодненькой своим принесли... Душу промочить... Душа-то горит, небось, али нет?

Бабы даже показывали Корнилову на свои загорелые шеи, не надеясь, что в таком несусветном шуме и громе расслышит он их, хотя и голосистых, и не считая необходимым держать руки по швам при разговоре с таким высоким начальством.

Корнилов справился, есть ли вода на бастионе; бабы оказались правы: воды не было, и души у матросов около орудий действительно горели.

Воду, правда, привезли с утра и успели наполнить ею корабельные цистерны, но частью ее уже успели выпить, частью вылили на орудия, которые слишком нагревались от безостановочной пальбы, а в одну цистерну угодило неприятельское ядро и разбрызгало и разлило драгоценную влагу.

Одного из своих адъютантов—лейтенанта Жандра—Корнилов сейчас же отправил в город наладить подвоз воды ко всем бастионам, а кувшины и узелки бабьи приказал передать по назначению.

— А сами идите скорей домой, пока живы! — сказал адмирал бабам.

— Как же так—домой, без посуды?—удивились такой несообразности бабы.—Еще пропадет тут, в содоме таком. Где ее тогда искать?.. И своих тоже повидать бы хотелось...

Бабы так и не двинулись,—двинулся Корнилов со своими флаг-офицерами на шестой бастион.

6

Зарубины по сыпучему песку Северной стороны дотащились туда, где,—они заметили это издали,—в безопасном от снарядов и даже сытном месте, около кухонь резервного батальона Литовского полка, расположились со своими саквояжами и узлами все бежавшие из города.

Витя огляделся и вдруг, совсем неожиданно для себя, заметил своего товарища Боброва, также юнкера гардемаринской роты.

Бобров, тех же лет, что и он, встретившись с ним глазами, тут же отшатнулся и спрятался за спинами своих семейных.

Витя понял это движение, потому что ему тоже хотелось в первый момент спрятаться за отца от Боброва. Но момент этой обоюдной неловкости прошел, и мальчики в форме гардемаринов бросились один к другому.

— Ты что тут делаешь?—спросил Витя, как будто даже с надеждой на то, что тут можно что-то такое делать им, юнкерам, а не сидеть, подпирая солдатскую кухню.

— Я вот—переехал со своими; перепугались,—конфузливо объяснил Бобров, ростом немного повыше Вити, но тоньше его и с девичьим лицом.

Витя знал, что отец Боброва служил в порту: к такой нестроевщине, хотя и в чинах морских офицеров, у них в роте относились несколько свысока.

— Я тоже своих переправил с Екатерининской,—сам греб,—отозвался он, как мог небрежнее.—Яличник струсил,—ни за какие деньги не соглашался грести.

— А на чем же ты переправился?

— На ялике же... Мы его купили, только его ядром разбило.

— Сочиняешь?.. А как же вы спаслись?

— Ты думаешь, ты один умный? Ядро, брат, тоже не из глупых: разбило ялик, когда мы уже высадились.

— Вот чорт!.. Если ты не врешь,—очень жалко!

— Я, брат, раньше тебя пожалел!.. Был бы цел ялик, ты думаешь, я бы здесь остался?

Вид у Вити был бравый, Боброву не нужно было доказывать ничего больше: он знал Витю, и если не совсем верил в историю с яликом, то признавал, что она все-таки могла бы быть на самом деле. Отстать от Вити не позволяло ему самолюбие, и он заметил:

— Можно попробовать дойти до пристани, а там...

— Пойдем!—тут же, решительно взяв его за руку, сказал Витя.

Они оба уже и теперь стояли в стороне от своих. Бобров нерешительно оглянулся. В толпе у кухонь у всех нашлись общие знакомые. Его семейные затерялись между другими. Витя смотрел на него неутомимо требовательно. Отказаться было нельзя.

— Пойдем... только...

— Что—только?

— Надо так, чтобы не заметили,—сконфузился Бобров, и Витя тут же нашел, как это сделать, чтобы не подняли тревоги востроглазые его сестры Варя и Оля.

— Сейчас давай разойдемся, а то догадаются. Потом поодиночке выйдем вон туда на дорогу, а там сойдемся. Есть?

— Есть,—отозвался Бобров, тут же от него отходя.

Минут через десять они сошлись на дороге к пристани в таком месте, которое не было видно толпе у кухонь.

Но только что они успели сойтись, как увидели своего офицера: лейтенант Стеценко в сопровождении двух казаков скакал к пристани, куда воровато направились они.

Они вытянулись во фронт. Стеценко придержал лошадь.

— Вы что здесь?—крикнул он.

— Перевезли свои семейства!—ответил за обоих Витя.

— А-а!.. Переправа под обстрелом?

— Так точно, ваше благородие!

Стеценко кивнул головой в знак трудности положения и помчался дальше, а оба юнкера поглядели друг на друга так, как будто получили то, чего им недоставало: приказание своего ближайшего начальника итти не куда-то вообще, а именно туда, на пристань, где переправа под обстрелом противника.

Они знали, конечно, что Стеценко теперь адъютант князя Меншикова, и не сомневались в том, что он послан в город с каким-то приказом князя.

Приказ действительно был: Стеценко был послан на пристань подготовить баркас или шлюпку с гребцами для переправы князя в город: командующий войсками Крыма хотел своими глазами видеть, как отбивается от англо-французов твердыня Крыма.

Витя и Бобров шли к пристани, не оглядываясь назад. Они видели, как засуетились на пристани, готовя шлюпку, но не для лейтенанта Стеценко,—для самого князя, который прискакал со свитой в шесть человек. Из флотских были при нем барон Виллебрандт и мичман Томилин. Последнему, который был старше каждого из них всего пятью-шестью годами, мальчики позавидовали от души.

Переехать в одной шлюпке с князем нечего было и думать; от него они прятались. Они знали,

что он приказал распустить роту юнкеров не за тем, чтобы юнкера рвались туда, где рвутся бомбы. Но когда светлейший, усевшись в шлюпку с адъютантами, отчалил, а лошадей повели грузить на плоскодонный баркас, то кто же мог запретить им устроиться на том же баркасе?

И они устроились, и снова перед глазами Вити стали чертить густой дымный воздух над Большим рейдом снаряды; из Южной бухты выходили транспорты «Дунай», «Буг», «Сухум-Калэ», спасаясь от сильнейшего обстрела; «Ягудиил»—в который уже раз!—загорелся снова, а в городе на одной из церквей очень заметен был подбитый ядром и повисший крест колокольни.

Пристав к Екатерининской пристани, светлейший со свитой не ждал баркаса с лошадьми и пошел к библиотеке морского собрания. Витя и Бобров сияли от своей удачи: они были в городе, в котором то справа, то слева падали ядра и рвались бомбы, и итти можно было куда угодно.

Но им хотелось прежде всего знать, зачем сюда переправился Меншиков. Может быть, думает он двинуть на союзников свою армию с Бельбека во фланг? Но что же может он рассмотреть в телескоп с библиотеки, когда на сухопутье везде такой сплошной дым?

Они дождались минуты, когда князь спустился, сел на лошадь; за ним очень бодро вскочили на лошадей своих Стеценко, Виллебрандт и другие, потом двинулась кавалькада.

— Куда он?—спросил Бобров Витю.

— Неужели на Корабельную?—недоуменно спросил Боброва Витя.

7

Когда Корнилов вернулся с бастионов в город, было уже девять утра. Он хотел было двинуться прямо на Малахов, к Истомину, но вспомнил об арестантах и поскакал к острогу.

— Вызови караульного начальника!—приказал он часовому.

Часовой ударил в колокол.

— Ну, не дико ли это?—обратился Корнилов к одному из своих флаг-офицеров, капитан-лейтенанту Попову.—Тут адская канонада,—я боюсь, что у нас и снарядов не хватит: с часу на час ожидаем штурма,—а колодники сидят за решетками, и при них караул, как в мирное время!

Вышел на вызов часового караульный начальник, подпоручик Минского полка, и застыл в ожидании с рукой у козырька.

— Сделайте вот что,—обратился к нему Корнилов.—Сейчас же всех арестантов, не прикованных к тачкам, ведите на Малахов. Я буду туда следом за вами и распоряжусь, что вам делать.

— Ваше превосходительство, караульный начальник... не имеет права отлучаться со своего поста!—несколько запинаясь, ответил подпоручик адмиралу, явно как будто не знакомому с уставом гарнизонной службы.

— Вы знаете, кто я?.. Я—Корнилов!

— Так точно, знаю, ваше превосходительство...

Подпоручик смотрел на адмирала, как полагалось смотреть на высшее начальство, но не поворачивался кругом, щелкнув по форме каблуками, и не мчался опрометью исполнять приказ, столь странный для его сознания.

— Над вами есть дежурный по караулам, кроме того—тюремное начальство,—заметил его замешательство Корнилов.—Вот вам моя визитная карточка,—это взамен моего письменного приказа вам. И сейчас же выводите всех арестантов на плац.

Только получив карточку, повернул налево кругом подпоручик и пошел к воротам острога, четко отбивая шаг.

Острог был большой. До тысячи арестантов, исполняя приказ, высыпало минут через десять из ворот на площадь. Они были возбужденно-радостны, как будто получали полную свободу, а эта свобода была только подаренная им возможность умереть на бастионе.

Но человек завистлив: колодники, прикованные к тачкам, подняли крик, чтобы выпустили и их туда, где сражаются с врагами.

— Какие люди! Какие прекрасные люди!—растроганно говорил о них Корнилов флаг-офицерам и приказал сбить кандалы со всех, чтобы ни одного человека, кроме больных, не оставалось в этих мрачных казематах.

Бритоголовые, в странных здесь, вне острога, арестантских бушлатах и серых суконных бескозырках, бородатые, бледные тюремной бледностью люди сами строились в шеренги, а когда построились наконец, Корнилов прокричал им в неподдельном волнении:

— Братцы! Теперь не время вспоминать ваши вины,—забудем их! Вспомните, что вы русские,—слышите, как громят Севастополь враги,—идем защищать его!.. За мною! Ма-арш!

— Ура-а-а!—далеко перекричали канонаду арестанты и двинулись за Корниловым, сами соблюдая равнение и ногу.

Флаг-офицерам показалось несколько неудобным ехать впереди арестантов; но канонада, доносившаяся со стороны Малахова кургана, была гораздо внушительнее и грознее, чем там, на пятом и шестом бастионах, и всем страшно было за пылкого адмирала.

Никто из них, и сам Корнилов также, ничего еще не ел и не пил с самого утра, и всем хотелось выпить хоть по стакану чаю; поэтому один из них, Лихачев, напомнил Корнилову, что буйки накануне расставлялись противником недаром, и не худо бы на всякий случай посмотреть с биб-

лиотеки на море,— не собираются ли и оттуда тучи.

— Вы правы,—согласился Корнилов,—а я совсем как-то выпустил это из вида... Конечно, мы должны ждать еще сюрприза и с моря.

И батальон арестантов пошел дальше, а Корнилов повернул к библиотеке.

Но сколько ни стремились все разглядеть что-нибудь подозрительное в море перед рейдом, там было пустынно; эскадра же союзников стояла, как и раньше, у устья Качи.

В двух шагах от библиотеки был дом Волохова, и Корнилов вспомнил, что там дожидается его, чтобы ехать курьером в Николаев, капитан-лейтенант Христофоров, а у него еще не дописано начатое было письмо жене.

И он зашел к себе на квартиру, наскоро, обжигаясь, проглотил стакан горячего чаю, наскоро дописал письмо жене и передал его Христофорову вместе с отцовскими золотыми часами, и только что приготовился выйти, чтобы ехать на Малахов, как вошел лейтенант Стеценко.

— Ваше превосходительство, его светлость просит вас к себе.

— Вот как! Он здесь! Где именно?

— Возле библиотеки.

— А я как раз собрался ехать на Малахов.

— Его светлость только что оттуда.

— А-а! Ну, что там, как?.. Я только что послал туда арестантов.

— Мы их встретили, ваше превосходительство.

Стеценко не сказал, конечно, Корнилову, что, встретив колонну арестантов и узнав, куда они идут и кто их послал, Меншиков сделал одну из своих гримас, в которые умел вкладывать по обыкновению очень много невысказанного, неудобного для высказывания вслух.

Корнилов тотчас же сел на еще не остывшую лошадь, и около библиотеки съехались два генерал-адъютанта.

— А я и не предполагал, что застану вас дома, Владимир Алексеевич,—сказал, здороваясь, Меншиков.

Почувствовав какую-то неприязнь и колкость в этих словах, выпрямился на седле Корнилов.

— Я объехал первую и вторую дистанции, ваша светлость!

— Ах, вы уже были там! Ну, что?

— Когда я был на шестом бастионе, слышен был сильный взрыв на французской батарее,—взорвался пороховой погреб.

— А-а! Это хорошо!

— Я уехал успокоенный, ваша светлость. Французов мы заставим замолчать, и очень скоро.

— Да, мне тоже кажется,—если мне не изменяет слух,—что с той стороны, от Рудольфа, канонада стала слабее, зато у Истомина очень жарко. Там мы несем большие потери.

— Я думаю, что и англичане тоже... сейчас я поеду туда.

— Но если вы говорите, что французские батареи вот-вот будут к молчанию приведены, тогда я, стало быть, видел самую жестокую картину артиллерийского боя... Ну, что ж... лишь бы хватило снарядов... Надо позаботиться о снарядах.

— Трех офицеров я назначил, ваша светлость, следить за доставкой снарядов на батареи... что же касается фортов, если вздумает пожаловать к нам эскадра, то они получили достаточный запас...

— Я имею в виду, что атака с моря будет непременно, не нам с вами ее накликать, но она как будто даже запоздала несколько... В таком случае, мне, я думаю, лучше проверить готовность фортов Северной стороны.

И Меншиков двинулся к Екатерининской пристани, до которой провожал его Корнилов.

Князь расстался с Корниловым очень любезно, но в тоне, каким он просил его беречь себя и не рваться на явную опасность, почудилась Корнилову какая-то скрытая, далеко затаенная насмешка, и еще ядовитее показались первые его слова: «А я и не предполагал, что застану вас дома!»

Канонада гремела; ядра падали около и выбрасывали камни мостовой на тротуар; Южная бухта будто кипела от обилия разрывавшихся над ней конгревовых ракет, от каленых ядер и бомб, щедрой рукой посылавшихся с английских батарей; но едва только отчалила от пристани и пошла в очень опасный путь шлюпка с князем и его адъютантами, Корнилову будто даже в виски ударила изнутри эта спрятавшаяся на время насмешка: «Не предполагал, что застану дома!»

Не раз приходилось говорить самому Корнилову о Меншикове, что он просто бежал из Севастополя в Бахчисарай, оставив город и порт без защиты. И вот теперь,—нужно же было так случиться!—он, этот беглец, возвращаясь с опаснейшего участка обороны, застает его дома, за чаем!

Флаг-офицеры его, благодаря которым попал он не на Малахов—впереди колонны арестантов, а домой, сразу стали ему противны, и он разослал их с приказаниями—одного по доставке снарядов на батареи, другого—по уборке раненых и убитых в городе; с ним остался только лейтенант Жандр, наиболее скромный и молчаливый.

Ненужно горяча лошадь, Корнилов поскакал по Екатерининской улице к театру, около которого стояли резервные части; посмотрел, как они укрыты от снарядов противника, справился, много ли потеряли людей. Кирьякова предупредил, что штурма, по мнению светлейшего, можно ожидать скорее всего со стороны Малахова кургана, но когда Кирьяков упорно почему-то начал уверять его, что он ждет штурма отнюдь не там, а со

стороны четвертого бастиона, что весь его военный опыт говорит именно за это,—Корнилов направился на близкий от площади четвертый бастион снова.

Там представился ему новый начальник штаба генерала Моллера,—то есть его штаба,—присланный из Петербурга полковник Попов, о котором накануне писал ему Меншиков.

Корнилов думал встретить в нем самоуверенного знатока военных дел, как все штабные в полковничьем чине; но перед ним стоял сырого вида и значительно уже оглушенный канонадой человек, который слушал его открытым ртом, а говорил—казалось так—ерзавшими вверх и вниз по лбу толстыми каштановыми бровями: он имел слабый голос, и слов его не было слышно из-за беспрерывной пальбы.

Однако Корнилов заметил, что убитые и тяжело раненные не валялись уже теперь здесь и там, как было это в его первый приезд; они были убраны, хотя сюда и не были направлены им арестанты, как он обещал Новосильскому.

От орудий шел пар, заметно белевший на фоне сплошного дыма,—их обильно поливали водой, значит, успели уже подвезти бочки. Комендоры сбросили с себя мундиры: слишком жарко было около орудий.

Улучив момент, Попов доложил, что был командирован военным министром, князем Долгоруковым, с назначением начальником штаба не крепостных, а полевых войск армии Меншикова, но командующий армией решительно заявил, что начальник штаба ему не нужен, так как у него нет штаба и он не собирается его заводить.

— Поэтому его светлость и откомандировал меня к вам,—закончил в новый, тихий сравнительно момент полковник и этим еще больше понравился Корнилову.

— Буду благодарить за вас князя!—прокричал он Попову.—Вижу, что нам принесете вы большую пользу!

Попов преданно наклонил голову.

Потом он, верхом и рядом с Корниловым, ехал уже как признанный начальник штаба гарнизона крепости, обязанный до мелочей знать все, что делается для обороны.

Между бараками четвертого бастиона, по горе, над бульваром, по которому точно прошел ураган, заваливший буреломом аллеи, он рысил осторожно, держась в отдалении от редута «Язона», где команда с брига этого имени стояла около двух батарей своих бомбических орудий.

— Генерал Кирьяков убежден, что штурмовать нас готовятся союзники именно с этой стороны,—говорил Корнилов.—Поверим его опытности... В таком случае вам придется остаться здесь, на второй дистанции.

— Слушаю,—я сам того же мнения,—с готовностью отозвался Попов.—Но я был на третьем бастионе. Туда направлен весьма сосредоточенный огонь. Штурмовать нас могут и оттуда тоже.

— Вот видите, а мне никто не донес,—встревожился Корнилов.—Тогда я поеду прямо на третий бастион.

Попов посмотрел на него испуганно.

— Ваше превосходительство! Считаю своим долгом вам доложить, что третий бастион... очень опасен,—проговорил он, поднимая брови.—Там большая убыль людей, ваше превосходительство!

— Вот видите, а мне это не было известно,—и Корнилов послал лошадь вперед.

— Ваше превосходительство,—Попов тронулся следом за ним,—в Петербурге... я получил приказ военного министра оберегать вашу личную безопасность!

— Но ведь вы такой же самый приказ получили, конечно, и относительно князя Меншикова?—улыбнулся слегка Корнилов.

Однако Попов возразил весьма живо:

— Никак нет, ваше превосходительство,—о князе Меншикове в этом смысле ничего не было сказано.

— От смерти не уйдешь,—улыбнулся снова Корнилов и протянул ему руку на прощание.

Жандру же он сказал по дороге на третий бастион:

— Наш начальник штаба, кажется, знает свое дело, почему от него и отказался князь... Кроме того, он, по всей видимости, очень хороший человек, а?

— Позвольте и мне быть тоже хорошим человеком,—горячо отозвался на это обычно молчаливый Жандр.—Если у нас есть теперь начальник штаба, то должен быть и неподвижный штаб, ваше превосходительство, и непременно в центре города, а не на бастионах, с которых в штаб должны поступать донесения!

— Так что мое место, по-вашему, где же должно быть?—удивленно спросил Корнилов.

— В доме Волохова, ваше превосходительство,—очень твердо ответил лейтенант.

Корнилов поглядел на него искоса, но ласково, и сказал:

— Я вижу, что вам хочется просто попить чайку!

Из-за бульвара навстречу им показались тоже двое конных: это был Тотлебен с ординарцем, и Корнилов был непритворно обрадован, увидя его.

— Поздравляю с чином полковника!—крикнул он ему шага за три.

— О-о, благодарю, благодарю вас!—не столько радостно, сколько как будто оторопело ответил на это Тотлебен, подъезжая.

Он знал, что представление об этом было сделано адмиралом еще до сражения на Алме, и не-

ожиданного в поздравлении Корнилова было только то, что производство почему-то не затянули, как обычно.

— Откуда вы, Эдуард Иваныч?

— Я объехал все укрепления Корабельной стороны... Они держатся, но... но мне бы хотелось, чтобы они наносили больший вред противнику. Этого последнего я не заметил.

Подробно и обстоятельно докладывал он Корнилову о том, что им было замечено на Малаховом кургане и на соседних редутах.

— А как третий бастион?—спросил Корнилов.

— Я только что оттуда сейчас... Против него действуют очень сильные батареи... Он отбивается, конечно, как может, но... явный перевес на стороне англичан.

— Я сейчас еду туда,—заторопился Корнилов, но Тотлебен совершенно непосредственно спросил:

— Зачем, ваше превосходительство?—и с тою обстоятельностью, которая его отличала, добавил:—Существенную пользу там могла бы оказать батарея шестидесятивосьмифунтовых орудий, если бы мы имели возможность туда их доставить немедленно и... и невидимо для противника... Но если мы продержимся до ночи, то есть если штурм сегодня не состоится, то третий бастион мы укрепим ночью.

— Очень жалею, что я не поехал туда раньше,—сказал Корнилов, прощаясь, а Тотлебен припомнил тем временем, что еще нужно доложить адмиралу:

— Замечено мною с башни Малахова кургана, что эскадра союзников покинула устье Качи.

— Покинула, и?..—живо спросил Корнилов.

— Держит направление на Севастополь, ваше превосходительство.

— Наконец-то!—Корнилов повел шеей, как будто сразу стал узок ему воротник сюртука.—Значит, скоро начнется вдобавок ко всему еще и атака с моря... А вы,—он укоризненно повернулся к Жандру,—додумались при таких обстоятельствах до неподвижного штаба!

8

На третьем бастионе было несколько флотских офицеров: два капитан-лейтенанта—Рачинский и Лесли, лейтенант Ребровский, мичман Попандопуло,—а также много матросов, которые в конце сентября были участниками вылазки, очень удачной и стоившей очень дешево в смысле жертв. Поэтому с самого начала артиллерийского поединка настроение тут было приподнятое, несмотря на сильнейший огонь, сразу развитый английскими батареями.

Наперебой кидались офицеры к орудиям, чуть только выходили из строя убитыми или раненными матросы-комендоры, и сами становились на их места, пока подоспевала смена.

Это был исключительно жизнерадостный бастион, несмотря на явную и страшную смерть, которая неслась к нему с каждым огромным снарядом осадных орудий, и поддерживал жизнерадостность эту Евгений Иванович Лесли, неистощимо веселый, как будто все еще продолжалась вчерашняя пирушка, только под неистово трескучий оркестр орудий, разрыв гранат и бомб и тяжкое шлепанье ядер.

Шутка ли, сказанная всегда метко ближайшим, а потом переданная от одного к другому во все углы бастиона, ходовое ли, всем известное словцо, которое всегда в трудных обстоятельствах бывает кстати, лишь бы кто-нибудь вспомнил его во-время; просто ли бесшабашный жест или яркая усмешка, способная далеко блеснуть даже и сквозь густой пороховой дым,—все это, исходя от одного Лесли, общего любимца, действовало на всех кругом, как праздничные подарки на детвору.

И этот бастион был бы непобедимейшим участком оборонительной линии, если бы было на нем больше крупных морских орудий и меньше мелких, поставленных здесь для отражения штурма, до которого было еще далеко.

Пятый бастион, на котором был Нахимов, заставил замолчать французские батареи уже к одиннадцати часам.

Кроме того взрыва порохового погреба, о котором говорил Меншикову Корнилов, там вызван был удачным выстрелом другой взрыв, отчетливо видный всем с пятого и шестого бастионов по огромному столбу черного дыма и встреченный громовым «ура» всей линии. После этого взрыва огонь французов все слабел и чах, наконец потух совершенно, пальба оттуда умолкла, и на бастионе-победителе могли заслуженно отдохнуть и начать перевязывать свои раны.

Но французские батареи расположены были гораздо ближе английских, что явилось ошибкой французских инженеров, и большей частью скучены были на Рудольфовой горе, что явилось второй ошибкой.

Совсем иначе разместили свои батареи англичане.

Кроме того, что они были поставлены далеко, так что только дальнобойные русские орудия могли состязаться с ними, они были развернуты в широкий охват, и скученными по сравнению с ними оказались уже русские батареи, и редкий выстрел английских мортир и пушек пропадал даром.

Молодой Попандопуло был ранен в грудь осколком снаряда около восьми утра. Он был в сознании, когда его подхватили матросы и отнесли в укрытое мешками место.

К нему подошел отец и с первого взгляда увидел, что рана была смертельна.

— Потерпи, Коля, скоро увидимся!—прокричал он на ухо сыну, благословил его, поцеловал в лоб, сморгнул слезу с ресниц и отошел к орудиям.

Вскоре был убит ядром Ребровский...

Комендоры выбывали один за другим... И когда Корнилов добрался через Пересыпь, у оконечности Южной бухты, до третьего бастиона, он увидел далеко не то, что видел на пятом, на шестом, даже на четвертом.

Бараки и казармы здесь уже лежали в развалинах. Поодоль от них, оставшись без прикрытия, стояли матросы и солдаты. Земля была сплошь изрыта, как вспахана глубоким плугом, и в больших ямах от взрывов бомб образовались как будто склады закатившихся сюда ядер внушительных размеров.

— Ого!—многозначительно сказал Жандру Корнилов.—А вы еще мне говорили, что мне сюда незачем ехать!

Однако возле орудий Корнилов не заметил растерянности. Правда, часть их была уже подбита и поникла; несколько лафетов были раздроблены в щепки и не заменялись новыми; но остальные орудия отстреливались азартно,—с большим подъемом.

— Я мало вижу офицеров,—заметил Корнилов командиру бастиона.

— Офицеры на местах, другие же выбыли из строя, Владимир Алексеевич,—ответил, забывая о чине Корнилова, Попандопуло.

— Выбыли?.. Я не вижу Рачинского...

— Только что вынесено тело: убит ядром.

— Рачинский убит! Какая жалость!.. А лейтенант Ребровский?

— Убит раньше.

— Прекрасный был офицер!.. А где же...—Корнилов запнулся, еще раз оглядел на бастионе все, что не совершенно скрывал из глаз дым, и докончил:—На этой батарее ведь был ваш сын, насколько я помню...

— Отправлен в госпиталь. Ранен в грудь смертельно.

Корнилов порывисто обнял капитана и пошел с ним рядом дальше, уже не спрашивая о потерях.

Но дальше трудились офицер, стоявший спиною, и матросы, поправляя амбразуру, заваленную ядром, и даже сквозь грохот выстрелов при этом слышны были взрывы громкого матросского смеха.

— Кому это тут так весело?—в недоумении спросил Корнилов шедшего ему навстречу командира всей артиллерии дистанции, капитана 1-го ранга Егормышева.

— А! Это—Лесли,—поздоровавшись с адмиралом, ответил Егормышев с улыбкой.

— А ну-ка, этого младенчика—в люльку!—донесся до Корнилова голос Лесли.—Держи его за уши! Рра-аз!.. Есть! Лежи, мерзавец!

И поднятый им вместе с матросами худой мешок, из которого сыпалась земля, лег на своем месте в щеке амбразуры.

— Браво, капитан Лесли!—крикнул было ему Корнилов, но выстрел из орудия вблизи заглушил его слова.

Корнилов прошел дальше, но когда сказали Лесли, что на бастионе Владимир Алексеевич, веселый командир батареи отозвался испуганно:

— Экая охота у человека шляться по всяким гиблым местам! Посоветовал бы ему кто-нибудь ехать домой!

9

Между тем союзная эскадра, приблизившись к Севастополю с двух сторон,—от устья Качи и от Херсонеса,—начала занимать по заранее поставленным буйкам намеченные для составлявших ее судов места.

Она запоздала. Она имела двух командиров различного темперамента. Французскими судами командовал адмирал Гамелен, английскими—лорд Дондас,—оба глубокие старцы.

Долго совещались они накануне, как провести атаку с наименьшими потерями для себя и наибольшими для русских фортов, для города и для остатков русского флота.

Был принят, наконец, план действий, которому нельзя было отказать в легкости и красоте: атаковать крепость, гуляя перед нею в море взад и вперед, взад и вперед. Проходит корабль мимо фортов и дает залп изо всех орудий одного борта; затем снова заряжаются орудия—и новый залп... Так, пока цель из-за рельефа местности станет недосягаемой. Тогда—обратный ход корабля и залпы из орудий другого борта.

Выгода этих прогулок перед фортами казалась несомненною: артиллерийская стрельба по подвижным целям давала в те времена плохие результаты; суда же на ходу по неподвижным целям стреляли недурно.

По требованию Раглана и Канробера атака с моря должна была начаться одновременно с канонадой на суше, чтобы не дать опомниться защитникам крепости, чтобы ошеломить их с первых же моментов и лишить воли к сопротивлению под тучами из чугуна, надвинувшимися сразу со всех сторон.

Но Гамелен за ночь (может быть, это была бессонная ночь, что свойственно старости) совершенно забраковал принятый было план обстрела фортов, гуляя. Это показалось ему ребячеством. И утром Дондас услышал от Гамелена, что самым лучшим планом был бы точно такой, какой был проведен Нахимовым в Синопском бою: боевые суда должны стать на якорь и палить изо всех орудий одновременно, для чего французский флот

развернется от Херсонесской бухты до Севастопольской, английский—от Севастопольской дальше на северо-восток.

— Но ведь над этим планом Нахимова—непременно привязать суда на якорь, чтобы они не разбежались в страхе,—смеялась вся Европа,—разве вы забыли это?—спрашивал пораженный непостоянством соратника лорд Дондас.

— Пусть Европа смеялась, но Нахимов все-таки истребил турецкий флот,—возражал Гамелен.

Новые переговоры вождей союзных эскадр шли долго. Гамелен не сдавался. Пришлось сдаться Дондасу, иначе это угрожало бы разрывом союзу Англии и Франции.

Но сдача Дондаса влекла за собою изменение всех приказов по флоту, данных накануне, что тоже отняло довольно времени. Наконец, не было ветра, и огромные парусные корабли союзников могли передвигаться только на буксире пароходов, значит, поневоле гораздо медленнее, чем это требовалось моментом, и главнокомандующие союзных армий выходили из себя, ежеминутно ожидая и не слыша начала бомбардировки с моря.

Корнилов был уже на Малаховом кургане в то время, когда соединенные эскадры, со снятыми парусами, медленно приближались с севера и с юга. Ведущими кораблями были французские, английские смиренно шли сзади, а в самом хвосте—несколько турецких судов.

Паровой корабль «Шарлемань», подойдя к берегу так близко, как позволяла глубина воды, собрал около себя суда, предназначенные для обстрела южных фортов; это были суда французского и турецкого флотов. Английским судам предоставлены были форты Северной стороны.

Когда Корнилов узнал, что с верхнего этажа башни на кургане можно при удаче, если осядет пороховой дым, наблюдать, как расстанавливаются суда союзников, он, не задумываясь, пошел было туда, но Истомин уверил его, что за дымом и оттуда ничего не видно, но башня—самое опасное место на всем бастионе.

— Там ничего нет, на этой верхней площадке,—я оттуда приказал снять и орудия, и оттуда ничего не видно,—повторял он, решительно становясь на дороге между Корниловым и башней.

Башня, действительно как самая высокая точка бастиона, осыпалась роем снарядов.

— Вы говорите со мною так, будто я ребенок!—несколько даже обиженно сказал Корнилов.

— Вы наш любимый начальник, Владимир Алексеич! Вам надо беречься для нас, для нашего общего дела!

И он, бесстрашный на своем кургане, как был бесстрашен на корабле «Париж» во время Синопского боя, глядел на него умоляющими глазами.

— Со всех бастионов меня,—точно все сговорились,—гонят домой,—скорее грустно, чем благодарно, улыбнулся Корнилов.—А для меня этот день—торжественный.

У него и вид был торжественный. Обыкновенно сутулый, он выпрямился и стал выше; глаза его сделались шире, осанка тверже, даже голос звучнее.

— Вы видели все на Малаховом, Владимир Алексеич. Тут все будет итти и без вас, как при вас... Зачем же вам быть здесь, где смерть кругом?

— Я не спросил еще у вас, как вы находите,—будут ли вам полезны арестанты, Владимир Иванович?

— Всякий лишний человек при таких потерях полезен...

— Кроме меня?

— Кроме вас,—твердо ответил Истомин, заметив, что Корнилов медлит оставить бастион.

— Часть арестантов вы пошлите на третий бастион,—так человек сто... Там тоже огромная убыль людей.

— Есть,—отозвался Истомин, но смотрел по-прежнему умоляюще.

Между тем стояли они недалеко от башни, и около них то и дело падали, подпрыгивали и катились ядра.

— Могут убить лошадей наших,—сказал Жандр уныло.

— Мы сейчас едем, едем,—но только мне хотелось посмотреть вон те полки,—показал на Бородинский и Бутырский полки, приготовленные для отражения штурма, Корнилов.

Он простился с Истоминым, который отошел успокоенно, и двинулся к лошадям, говоря Жандру:

— Вот только погляжу на солдат и поедем госпитальной дорогой домой.

Но едва он сделал несколько шагов, выбирая место для ног на совершенно искалеченной бомбардировкой земле, как упал. Жандра отбросило горячей струей сжатого воздуха то самое ядро, которое ударило Корнилова в левое бедро и раздробило ногу около живота. В луже крови, опрокинувшись навзничь, бледный, с закрытыми глазами, адмирал лежал без сознания.

— Носилки! Носилки сюда!—плачущим голосом кричал Жандр, но уже бежали со всех сторон матросы, солдаты, арестанты...

Сюртук Жандра спереди был залит корниловской кровью.

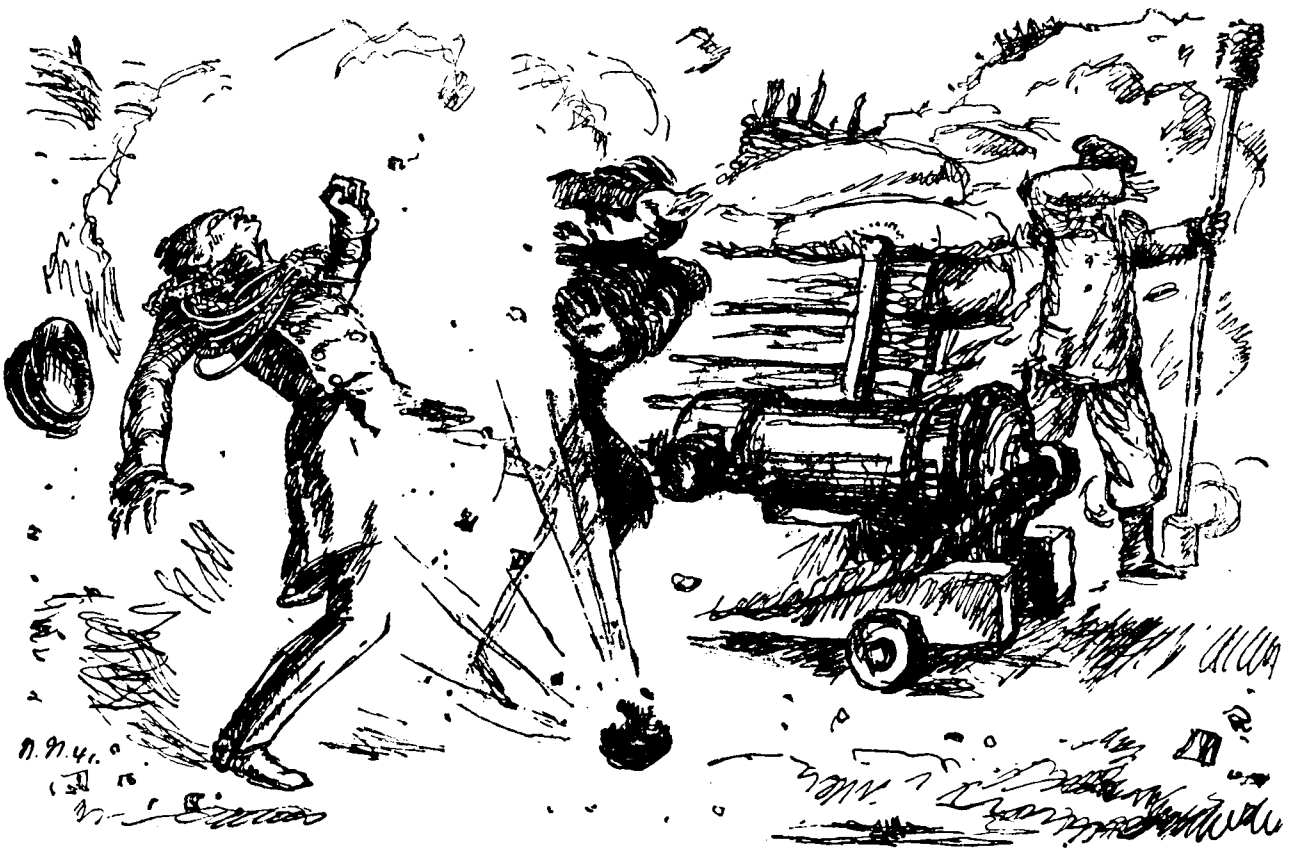
Тело бережно подняли и понесли на руках на насыпь, где положили между запасными орудиями.

— Кончился?—спрашивали один у другого.

— Видишь,—кончился!

Крестились, снимая фуражки.

Три английских батареи громили в этот памятный для России день Малахов курган: одна, в двадцать четыре орудия, на горе между Лабораторной балкой и Доковым оврагом; другая возле шоссейной дороги и третья, прозванная «пяти-



глазой», у начала Килен-балки, идущей к Южной бухте. Поэтому на Малаховом было так же трудно держаться, как и на третьем бастионе.

Но когда разнесся слух, что смертельно ранен и уже умер Корнилов, то многие бросились из-за прикрытий только затем, чтобы в последний раз взглянуть хотя бы на его тело.

Несколько офицеров обступили тело. Но вот открылись корниловские глаза, прошлись по опечаленным лицам внимательным взглядом, зашевелились губы, и кто был ближе и наклонился к ним, расслышал:

— Отстаивайте... Отстаивайте Севастополь!

Потом снова закрылись глаза и сжались губы, и не знали кругом, умер ли он, или только потерял сознание снова.

Жандр вспомнил о перевязочном пункте, мимо которого ехали они сюда, проезжая Корабельной слободкой, и четверо дюжих матросов понесли на носилках своего адмирала на этот перевязочный пункт. Жандр считал неудобным сидеть на своей лошади и вел ее в поводу за носилками, а за лошадью Жандра вели лошадь Корнилова.

Когда грустное шествие увидела первая русская сестра милосердия Даша, она всплеснула руками и стояла оцепенев, потому что видела и узнала Корнилова, когда он проезжал на Малахов, и по его лошади, которую вели, догадалась, что несут к ним адмирала, который обещал о ее «подвиге» написать в Петербург.

Она не решилась уже теперь сказать: «Ничего, заживет!», как говорила не только на Алме, но и здесь раненым матросам, солдатам и офицерам: по лицам всех, кто был около этого раненого, она видела, что не «заживет»,—нет!

Два врача перевязочного пункта осмотрели рану, переглянулись, покачали безнадежно головами и сказали, что перевязку они сделают, но надо вызвать священника, чтобы адмирал закончил свою жизнь принятием тайн, как это подобает христианину.

— Когда же можно ожидать смерти?—оторопело спросил Жандр, в первый раз почувствовав именно теперь, что левая сторона его тела контужена тем самым ядром, которое убило Корнилова.

— Может быть, вы распорядитесь отправить раненого в Морской госпиталь,—там ему будет спокойнее,—вместо ответа предложил ему старший врач.

— Хорошо,—понял его Жандр, я сейчас должен доложить о нашей потере генералу Моллеру, чтобы больше от Владимира Алексеевича не ждали приказаний... И также Нахимову... Буду проезжать мимо госпиталя, пошлю сюда оператора и носилки.

И поглядев на живого еще, хотя и с закрытыми глазами адмирала в последний раз, Жандр, несвободно владея левой ногой, вышел.

Носилки из госпиталя были принесены через полчаса, когда Корнилов был уже в сознании, но они были поставлены так, что приходились со стороны раздробленной ноги, и санитары не знали, как положить на них раненого.

Корнилов поднял голову, опершись локтями и перевалился через почти оторванную ногу сам в носилки, спасительно потеряв при этом сознание снова на долгую дорогу к госпиталю, когда то и дело опять падали рядом пролетавшие через бастион ядра.

Теперь ревело уже все кругом, потому что начала бомбардировку фортов союзная эскадра.

Отдельных выстрелов уже не было слышно: безостановочно гремели теперь тысяча семьсот орудий с той и с другой стороны, и если до этого сквозь дым бастионов иногда проблескивало далекое штилевое море, то теперь уж и море было в сплошном дыму.

Казалось, что вместе с Корниловым доживает свои последние часы и Севастополь, поэтому в госпитале никто не думал делать операции раненому, и когда он пришел в себя и попросил какого-нибудь лекарства от сильной боли в животе, ему дали только несколько чайных ложечек чаю.

Здесь нашел его один из его адъютантов, капитан-лейтенант Попов. Увидя Попова, Корнилов заметно оживился, как будто один вид прискакавшего верхом адъютанта, от которого шел запах конского пота, внушал ему, смертельно раненному, мысль, что надо тоже на лошадь и скакать на бастионы.

Попов был так поражен беспомощным видом своего адмирала, что глаза его заволокло слезами.

— Не плачьте, Попов,—заметил это Корнилов.— Я еще переживу поражение англичан!.. Моя совесть спокойна, и умирать мне не страшно... Но я хотел бы видеть Владимира Ивановича.

Попов дал свою лошадь одному из солдат, и тот поскакал на Малахов курган за Истоминым.

Сознание больше уже не покидало Корнилова. Гул орудий, от которого дрожали и звенели не только окна госпиталя, но даже и стены, начиная с фундамента, заставил его набожно перекреститься и сказать:

— Благослови, господи, Россию, спаси Севастополь и флот!

Он просил Попова послать юнкера гардемаринской роты Новосильцева, брата своей жены, в Николаев, сказать там жене и детям, что он ранен...

Истомин явился, встревоженный донельзя. Он, боевой адмирал, руководивший теперь делом обороны крупнейшего и важнейшего бастиона, на котором каждую минуту видел ужасные раны кругом и растерзанные снарядами тела, заплакал, подойдя к койке Корнилова.

— Не верю, нет, не верю, Владимир Алексеевич, чтобы ваша рана... Вы поправитесь, поправитесь!—повторял он, хватая его обеими руками за руку, точно силясь удержать его, отбить у надвигающейся смерти.

— Нет, туда, туда, к Михаилу Петровичу!— Корнилов указывал глазами вверх.

Попов знал, конечно, что Михаил Петрович был адмирал Лазарев, создатель могущественного Черноморского флота, внушавшего опасения англичанам, знал также, что Лазарев особенно ценил и выдвигал Корнилова, как своего заместителя.

По просьбе Корнилова Истомин рассказал, как идут дела на бастионе. Корнилов внимательно слушал, наконец сказал:

— Вам надо спешить туда, Владимир Иваныч... Прощайте!

— Благословите меня!—Истомин стал перед койкой на колени.

Серьезно, важно и медленно благословил своего младшего товарища умирающий; они обнялись в последний раз, и Истомин выбежал из палаты, чтобы не разрыдаться на глазах капитан-лейтенанта.

Еще около часа просидел с ним Попов. Иногда Корнилов слабо вскрикивал от сильнейших болей, тогда его опять поили с ложечки чаем...

Но вот явился посланный Истоминым лейтенант Львов с радостной вестью. Его не хотел было впускать врач, чтобы не тревожить раненого, но Корнилов сам просил, чтобы его впустили.

— Английские орудия сбиты,—доложил ему, как командующему обороной, Львов.—Осталось действующих только два орудия!

— Ура!.. Ура!..—радостно отозвался на это Корнилов, сложив на груди ладони, как будто хотел в них захлопать, и умер через несколько минут, дождавшись все-таки, как и хотел, поражения англичан против Малахова кургана.

10

Витя Зарубин и Бобров на полной свободе ходили по городу, который обстреливался с нескольких батарей, главным образом английских, имевших более дальнобойные орудия.

Они побывали на Малой Офицерской, чтобы посмотреть, уцелел ли дом Зарубиных, и на Малой Морской, где жили Бобровы, и около порта, вход

в который охранялся часовыми, и около фортов. Самыми же любопытными были для них те места, на которых падало больше снарядов.

Когда же увидели они, как, развернувшись веером, подходили на буксире пароходов огромные линейные корабли союзников для состязания с фортами, их глаз ничто уже больше не могло оторвать от моря.

Правда, от пышной картины выстроившихся полукругом кораблей не осталось ничего, как только началась канонада.

Корабли тут же окутались сплошным дымом, сквозь который пробивались только изжелта-красные вспышки залпов.

Но это был первый в их жизни бой эскадры с береговыми фортами и фортов с сильнейшей эскадрой; это было как раз то самое, к чему они готовились сами, что осмысливало их жизнь, с чем они были связаны сотнями крепких нитей.

Они могли бы по отдаленному выстрелу из одной пушки или мортиры определить на слух ее калибр; но здесь был сплошной, нераздельный и нескончаемый гром и рев, утопивший все отдельные калибры; они могли бы без бинокля определить степень меткости огня своего и чужого, но здесь все было заволочено дымом.

Однакоже были такие моменты (они жадно ждали и ловили их), когда мачты и реи кораблей показывались из оседавшего дыма, и они торжествующе кричали:

— Ага!.. Смотри! Смотри сюда! Видел?—и показывали друг другу, как все больше растерзанными становились с каждым таким моментом корабли союзников.

Им показалось однажды, когда почему-то ниже осел дым, что двух кораблей уже нет на их прежних, привычных уже для глаз местах, и они кричали:

— Утопили их наши! Молодцы!.. Честное слово утопили!

Корабли эти, правда, не были потоплены выстрелами с фортов, но они были приведены в такое состояние, что должны были выйти из строя, и пароходы, сами пострадавшие, отвели их на почтенное расстояние от фортов.

Пятнадцатилетние юнкера, увлеченные боем, не замечали, что время идет, что уже три часа пополудни... Их не беспокоило даже и то, что часть неприятельской эскадры обстреливала форты Северной стороны, куда спаслись от канонады сухопутных батарей их семьи: они твердо надеялись, что при таком многолюдьи бежавших из города, какое оказалось там, все своевременно уйдут в безопасные места, и для этого без их помощи обойдутся.

Они искали такого места, с которого лучше могли бы видеть весь флот союзников, и, передвигаясь для этой цели, натолкнулись еще на двух юнкеров своей роты. Один из этих юнкеров был Новосильцев, брат жены Корнилова, несколько старше Вити, рослый и крепкий.

Он едва взглянул на Витю и Боброва; у него был растревоженный вид; он спешил.

— Куда ты?—крикнул ему Бобров.

— Дядю убили!—крикнул, не останавливаясь, Новосильцев.

Витя и Бобров знали, что «дядей» он называл Корнилова. Они посмотрели друг на друга ошарашенными глазами и кинулись догонять Новосильцева, а когда узнали от него, что Корнилов теперь в Морском госпитале, пошли туда вместе. Первый в их жизни бой как-то потускнел сразу перед сознанием того, что убит главный защитник Севастополя, на котором покоились все надежды.

Через Пересыпь, в тылу бастионов, четверо юнкеров вышли на Корабельную сторону и пришли к Морскому госпиталю как раз в тот момент, когда тело Корнилова на носилках выносили, чтобы поставить его в Михайловском соборе.

Ближе всех к телу был Нахимов.

Жандр нашел его не на пятом бастионе, где, руководя стрельбой из орудий, адмирал добился такого успеха, что заставил замолчать французские батареи. Он был уже дома и обедал, но когда услышал о смертельной ране Корнилова, выронил ложку, закрыл рукою глаза и тут же, как был, пошел к своей лошади, бормоча горестно:

— Ведь я говорил ему!.. Ведь я просил его!.. И вот! Ведь я преду-преж-дал его!.. Эх, горе! Эх, Владимир Алексеевич!.. И как же теперь?.. Кто же теперь?

Капитан-лейтенант Попов, бывший при умирающем Корнилове, вместе с несколькими служителями госпиталя взялись было за носилки, но Витя Зарубин, Новосильцев и двое других юнкеров решительно придвинулись к Попову и сказали:

— Разрешите нам! Мы понесем!

И никому потом не уступали они этой чести.

Но на половине пути они почувствовали, как дрогнула земля у них под ногами, и дрогнула на носилках в их руках дорогая ноша; и сквозь слитый рев орудий прорвался вдруг грохот, покрывший даже и этот тысячеорудийный рев, потому что раздался он где-то близко.

Все переглянулись, не понимая. Кто-то крикнул: «Взрыв!» Нахимов поспешно садился на своего рыжего, и через минуту его уже не было видно: он скакал от одной утраты в сторону другой.

Это был взрыв порохового погреба на третьем бастионе. За час перед тем командир бастиона Попандопуло был ранен в голову и отправлен в госпиталь к сыну, оправдав то, что прокричал ему на ухо, и сын умер на его глазах; бастионом же пришлось командовать Лесли.

Между тем бастион все слабел и слабел. Уже больше половины орудий на нем было подбито. Три раза переменился весь состав прислуги при орудиях. Люди были уже усталые и одурманенные *десятичасовой беспрерывной* канонадой. Все прикрытия были разворочены ядрами, и восстанавливать их не было возможности под сильнейшим огнем...

Пороховой погреб бастиона защищен был накатом из толстых бревен с достаточным, как казалось, слоем земли на нем, но огромный снаряд осадного орудия пробил крышу погреба, и раздался взрыв.

Действие этого взрыва было ужасно.

Из двадцати двух орудий двадцать оказались засыпанными землей, из ста с лишком человек, бывших в то время на бастионе, уцелели, и то сильно контуженные, только шесть человек, включая сюда и начальника артиллерии дистанции Ергомышева.

Когда контуженный в голову Ергомышев очнулся, он не понимал еще, что такое случилось с ним и с бастионом; но его ногу дергал лежавший на нем поперек матрос, который кричал ему:

— Слышь! Это твоя нога или это моя нога?

Глаза матроса, как и все лицо его, были залиты кровью, веки слиплись.

Кое-как высвободившись и приподнявшись, Ергомышев увидел кругом себя вздыбленную землю там, где были рвы, рвы там, где были насыпи, а во рвах сброшенные туда, как в готовые братские могилы, чудовищно растерзанные трупы— обгорелые, безголовые, безрукие...

И все падало что-то сверху,—какие-то комочки, какие-то клочья коричневого цвета, от которых сильно, нестерпимо пахло паленым.

Ергомышев, пересиливая боль в голове, поднял лежавшего на нем матроса, ноги и руки которого оказались в целости, а рана на голове неопасной. Тот протер глаза закопченными черными руками, и, один поддерживая другого, они помогли подняться еще четверым.

— А где же капитан-лейтенант Лесли?—спросил Ергомышев.

— Раз не объявляется в живых, то значит...

— К орудиям!—скомандовал Ергомышев.

И пять человек оставшихся в живых из всей орудийной прислуги бастиона, спотыкаясь о глыбы земли, ядра, куски лафетов, трупы товарищей, пошли к двум уцелевшим орудиям, оглядываясь друг на друга и ища кругом глазами, где взять для этих орудий снарядов, чтобы продолжать стрельбу, чтобы показать ликующему противнику, что третий бастион еще жив.

Но из подпиравших бастион пехотных частей штабс-капитан Хлапонин вел уже им на смену своих артиллеристов: третий бастион все-таки не был приведен к полному молчанию.

Долго потом составляли человеческие тела, или только отдаленные подобия их, из разбросанных всюду рук, ног, туловищ и голов, но тела бравого воина Евгения Ивановича Лесли так и не нашли.

11

Флаг адмирала Гамелена был на корабле «Город Париж». На этом корабле был поднят сигнал: «La France vous regarde!»—«Франция смотрит на вас!»—и французские корабли вместе с турецкими выстраивались для начала боя в шахматном порядке, в расстоянии несколько больше километра от берега, так же без выстрела, как год назад эскадра Нахимова в Синопской бухте, хотя с форта Александровского и 10-й батареи их и осыпали снарядами.

От первых же выстрелов орудия нагрелись так, что около них, как и на бастионах, нельзя было стоять не только в шинелях, как полагалось ходить в октябре, но даже и в мундирах: орудийная прислуга действовала в одних рубашках с расстегнутыми воротами.

Из линии судов, ставших так, чтобы нести возможно меньше потерь от русского огня, вырвался вперед только паровой корабль «Шарлемань», ставший против входа на Большой рейд, чтобы обстреливать суда Черноморского флота и город: на нем даже видны были люди на палубах. Когда первыми же выстрелами сбит был на нем трехцветный флаг, он тут же поднял другой такой же. Он щеголял неустрашимостью своей команды, но первый же и вышел из строя: удачно пущенная бомба, пройдя все три его палубы, разорвалась в машине, и он был уведен на буксире в два часа дня.

Недолго после него держался и корабль «Наполеон», пораженный в подводную часть, а вслед за ним и «Париж» тоже вынужден был оставить свою позицию.

Флагманский корабль этот пострадал особенно сильно. В одну только оснастку его попало около ста снарядов; более пятидесяти пробоин получил он, причем три—в подводную часть. Несколько раз возникали на нем пожары; их тушили, и корабль все еще стоял и посылал залп за залпом из шестидесяти орудий одного борта.

Но вот бомба разорвалась близ капитанского мостика; снесен был ют[1], убит адъютант Гамелена, ранено несколько офицеров его штаба, и старый адмирал, понявший, наконец, что Севастополь далеко не Синоп, приказал буксирующему пароходу вывести «Париж» за линию огня в тыл.

Как в артиллерийском состязании на суше, так и тут французы первые потерпели поражение, хотя

[1] *Ют*—у парусных судов—кормовая часть верхней палубы.

имели на своих и турецких судах тысячу шестьсот орудий против девяносто шести орудий фортов Южной стороны.

Правда, в деле были только орудия одного борта кораблей и пароходов, то есть восемьсот, но и этот перевес в силах был громаден. И хотя суда стали на якоря, но якоря в случае нужды поднимались и подбитые корабли уходили,—форты же представляли неподвижную цель и должны были рассеивать свой огонь по многим направлениям.

Навестив третий бастион, где кое-как устраивалась свежая смена, Нахимов направился к шестому и седьмому, от которых не так далеко была батарея № 10, боровшаяся с эскадрой противника.

Попутно он послал своего адъютанта на корабль «Ягудиил» с приказом, чтобы оттуда была свезена на третий бастион команда в семьдесят пять человек, а из пехотной части при пятом бастионе вызвал партию охотников для подноски снарядов на третий бастион.

Была сильная опасность, что именно со стороны этого разрушенного укрепления союзники пойдут на штурм, поэтому нужно было сделать все, чтобы подтянуть сюда силы.

Но как адмирал, для которого флот и форты крепости были кровным делом, Нахимов стремился и туда, на батарею № 10. Однако все пространство между этой батареей и бастионами шестым и седьмым было сплошь засыпано ядрами и осколками разрывных снарядов, перелетавших через цель.

Если сильнейший огонь развивали десятки орудий сухопутных укреплений союзников, то восемьсот орудий морских, действовавших безостановочно и залпами, не давали надежды пробраться на батарею № 10, чтобы узнать, осталось ли там что-нибудь живое. Густой дым скрыл ее от глаз, а выстрелов с нее не было слышно. Отдельных выстрелов не было слышно вообще,—был сплошной гром, грохот, рев, не сравнимый ни с чем в природе. Позже об этой совершенно исключительной в истории осады крепостей бомбардировке говорили, что ее было слышно не только во всех самых отдаленных концах Крыма, но и на кавказском побережье.

И все-таки нашелся храбрец, который вызвался сам пробраться сквозь эту чащу падавших снарядов на батарею № 10.

Это был лейтенант Троицкий, который подобрал несколько человек таких же смельчаков-охотников из матросов, и они пошли.

И Нахимов, и другие, отправлявшие их, ждали их долго, около часа, и думали, что все они погибли, как и несчастная батарея, но к сумеркам они вернулись, не потеряв ни одного человека, и Троицкий доложил, что батарея действует исправно, что потери на ней ничтожны, но что снаряды приходят уже к концу.

Однако к шести часам вечера эскадра франко-турок снялась с якорей и ушла под прикрытием дыма и сумерек.

Нахимов посылал и на Северную сторону узнать, что делается там, как отбиваются форты Константиновский и Карташевский и Волохова башня с ничтожным числом своих орудий от большого английского флота.

Но когда посланный, вернувшись, донес, что за деятельностью фортов Северной стороны наблюдает сам Меншиков, он успокоился.

Если четырнадцать кораблей французских и два турецких имели против своих восьмисот орудий одного борта только девяносто шесть на южных фортах, то одиннадцать кораблей английских против четырехсот шестидесяти орудий одного борта имели жалкое количество орудий на Северной стороне: пять на Волоховой башне, три на батарее Карташевского и восемнадцать на Константиновском форте.

Как человек, многие годы ведавший морским министерством, носивший адмиральский чин, часто последнее время плававший на военных судах у берегов Крыма, Меншиков с живейшим интересом наблюдал подход и выстраивание английских кораблей: «Британии», «Трафальгара», «Кина», «Агамемнона», «Роднея» и других.

Очевидно, зная слабость фортов Северной стороны, они подошли ближе, чем на километр, чтобы бить наверняка и добиться победы в кратчайшее время.

Пять сильнейших кораблей атаковали Константиновскую батарею с фронта, четыре—с фланга и тыла, один фрегат—«Аретуза»—вступил в борьбу с маленькой батареей Карташевского, другой—«Альбион»—с Волоховой башней.

Слабость двух последних укреплений была известна Меншикову, но на Константиновской батарее, он знал, были огромные бомбические мортиры, и он жадно ожидал их сокрушительного действия.

Однако канонада шла, и все девять судов британцев стояли против Константиновского форта на своих местах.

— Почему же так плохо действуют там наши новые мортиры?—в недоумении спросил он одного из своих адъютантов.

— Мне передавали, но я не хотел этому верить, ваша светлость,—ответил адъютант,—будто эти мортиры приказано было сбросить в море, когда, после сражения на Алме, ждали штурма.

— Как так—сбросить в море?.. Зачем же именно?

— Чтобы они не достались в руки неприятеля, ваша светлость.

— Ну, если так, тогда...

Меншиков бросил трубу, в которую силился

рассмотреть что-нибудь сквозь дым, и повернулся к морю спиной.

Но и кроме этих утопленных в панике мортир на Константиновском форте бездействовали пять орудий, стоявших в казематах: английские корабли расположились так, что по ним из этих орудий совершенно бесполезно было бы открывать стрельбу.

Наконец, на этом форте было мало не только офицеров, но даже фейерверкеров, и у орудий стояли совсем малоопытные солдаты Минского резервного батальона, зря в самом начале выпустившие в море запас каленых ядер и плохо знакомые с наводкой и прицелкой.

Поэтому Константиновский форт понес очень большие потери. Все орудия верхнего этажа каземата были подбиты или совсем опрокинуты; на дворе взорвались три зарядных ящика, и взрыв этот произвел большое опустошение.

Но и из английских кораблей три—«Кин», «Лондон» и «Агамемнон»—несколько раз загорались и выходили из строя. «Агамемнон», наконец, ушел совсем. А боровшиеся с батареей Карташевского и Волоховой башней фрегаты «Аретуза» и «Альбион» получили так много пробоин, что их повели чиниться уже не в Балаклаву, а в Константинополь.

Двадцатью минутами позже французской ушла от Севастополя и вся английская эскадра, чтобы уж никогда за все время осады не пытаться больше атаковать севастопольские форты.

Начавшись в половине седьмого утра, кончилась в половине седьмого вечера и бомбардировка с суши, показавшая союзникам, что пока нечего и думать о штурме, что осада Севастополя обертывается делом трудным, затяжным, требующим огромнейших средств и жертв, и что канонаду с такою же, если не с большей силой, надо продолжать на следующий день.

А севастопольцы, пережившие такой ураган событий в течение двенадцати часов, принялись чинить укрепления, подвозить новые орудия и устанавливать их взамен подбитых, вводить на бастионы новых людей на смену выбывшим из строя.

Но так как никто не мог заменить погибшего Гектора новой Трои—Корнилова, то Меншиков назначил на его место старшего из вице-адмиралов, командира порта Станюковича. Его почтенный семидесятилетний возраст служил явной и веской порукой его благоразумия.

Приказом по армии, гарнизону крепости и флоту похороны Корнилова были назначены на следующий день—6 октября, в пять часов пополудни, в том самом склепе, в котором погребли адмирала Лазарева.

В наряд для проводов тела назначались: батальон моряков, батальон пехоты и полубатарея из четырех орудий.



ГЛАВА ПЕРВАЯ

КАНОНАДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

1

На батарее № 10 утром 6 октября спешно выстраивались обе бывшие там роты артиллеристов: приехал вице-адмирал Нахимов.

Старый моряк, всего только год назад уничтоживший не только турецкий флот, но и сильные береговые форты Синопа, не мог успокоиться на одних только донесениях о «благополучии».

С шестого бастиона он видел, что даже промежуточное пространство между этим бастионом и батареей № 10 было сплошь засыпано ядрами и осколками разрывных снарядов; что же могло в таком случае остаться от батареи?

Он знал, что под Синопом был он впятеро слабее, чем союзники перед севастопольскими фортами,—вот почему, не совсем доверяя донесениям, отправился он на батарею сам.

Он приехал верхом, к чему начал уже привыкать в последнее время. Хотя при спешной езде брюки его задирались к коленям, но он и к этому привык, как к неизбежному неудобству верховой езды.

Командир батареи, полковник Желтышев, заставивший солдат с раннего утра убирать двор и складывать неприятельские ядра и неразорвавшиеся снаряды в кучи, встретил Нахимова с рапортом при въезде.

Оглядев внушительные кучи ядер, Нахимов сказал Желтышеву:

— Однако они не поскупились на это добро! Сколько навалили-с, ого!.. На бастионах за целый день все-таки меньше-с!

В этом замечании была некоторая доля признания преимущества флота перед береговыми батареями вообще, пусть флот даже был неприятельский, и Желтышев, некрупный, но энергичный человек с простоватым, но весьма себе на уме лицом подрядчика, это уловил и отозвался весело:

— Засыпали, ваше превосходительство! Совершенно засыпали!.. Я приказал считать, и насчитали мои молодцы две тысячи семьсот ядер... Но, во-первых, далеко не все еще убрали, а затем—недолеты: очень много ядер их падало в море у берега,—затем перелеты, затем—гранаты и бомбы... Думаю, что одни мы им стоили не меньше, как двадцать тысяч выстрелов!.. Говорю так из осторожности, но думаю, что гораздо больше, чем двадцать.

— Возникает вопрос: сколько же они выпустили по всем фортам,—покачал головою Нахимов и добавил:—Ведь они с первых же выстрелов были в дыму, как же вы в них стреляли?

— Орудия наши были пристреляны, когда еще корабли не закрылись дымом.

— Но ведь они все-таки двигались,—перебил Нахимов.—Не замечено было вами: не потопили ни одного корабля?

— Хотел бы этим порадовать, но из-за дыма разглядеть не было возможности... Даже и солнца не было видно. Уверен все же, что всыпали мы ему здорово, и сегодня он уже едва ли рискнет подойти!—молодцевато подбросил голову полковник.

— Сегодня будут чиниться... Сегодня не ждите-с, нет... А как у вас тут,—много ли потерь?

— Восемь убито, двадцать два ранено, ваше превосходительство,—и это считая также убыль в людях двух рот прикрытия от Минского полка... Из орудий подбито только три, и у семи повреждены лафеты.

— Для такого огня?.. Невероятно мало!—удивился, как моряк, Нахимов и даже несколько подозрительно поглядел на полковника.—Очень удачно отделались, очень, очень...—бормотал он, окидывая глазами всю обширную площадь бата-

реи с пятью десятками орудий.—А скажите мне, если бы не был закрыт вход на рейд, что могло бы быть тогда, а?..—спросил он быстро.

— Тогда мы, конечно, утопили бы два-три их корабля на рейде!—тут же ответил, как на знакомый уже вопрос, Желтышев.

— Д-да, утопили бы, я не сомневаюсь,—как будто даже обиженно отозвался Нахимов,—но пока утопили бы, они нам могли бы наполовину уничтожить арсенал-с, наполовину город-с! А форта были бы обстреляны с тылу-с! И я даже уверен-с, что они пытались форсировать рейд, почему и подходили близко к заграждению-с!.. Они могли бы также высадить десант и захватить вашу батарею с суши-с,—вот что они могли сделать-с!

Нахимов даже разгорячился, как будто сам в воображении командовал огромной атакующей эскадрой союзников.

— Не забывайте того, что они были в десять раз сильнее по огню, чем все форты, вместе взятые-с,—и что у них стояли при орудиях матросы, а не солдаты... Да... вот-с... А как действовали ваши артиллеристы?—спохватился Нахимов.

— Выше всякой похвалы, ваше превосходительство!—восторженно ответил Желтышев, точно был он и не пожилой уже человек, и не полковник, а восемнадцатилетний прапорщик вроде одесского Щеголева.

— А-а!—протянул Нахимов, тем самым как бы предлагая полковнику высказаться полнее и обстоятельней.

— Сначала они были, конечно, как ошпарены кипятком,—продолжал возбужденно Желтышев, глядя снизу вверх в голубые глаза Нахимова.— Потом горячились зря, палили в белый свет, но скоро взяли себя в руки, разделись,—жарко стало!—и потом уж действовали отлично: выше всякой похвалы.

— Представьте список особо отличившихся на предмет награждения,—казенной фразой отозвался Нахимов, но левая рука его, дотянувшись до плеча полковника, задержалась на нем, точно он хотел ласково погладить командира батареи за то, что он в восторге от своих артиллеристов.

— Слушаю, ваше превосходительство,—отозвался полковник.—Вот этот фас батареи,—показал он на орудия, обращенные жерлами к рейду,— бездействовал, и прислуга отсюда сама перешла к действующим орудиям на помощь... Так же и для подноски бомб из погреба, потому что у нас в начале боя при каждом береговом орудии находилось только по двадцать бомб... Был такой еще случай с одним часовым из рот прикрытия, ваше превосходительство,—спешил рассказать полковник.—Он стоял на часах вот там, где теперь все разворочено. Там был склад ручных гранат, при них полагается по уставу пост... Вдруг попадает в этот склад граната... совсем другого свойства, отнюдь не ручная,—и весь склад взорвался. Но была такая канонада, что никто этого взрыва стекляшек и не расслышал, один только часовой остался не у дел, хотя жив и невредим... Ждал смены,—смены нет. Оказалось, в прикрытии его разводящего ранило. Смены нет, однако и склада уж тоже нет. Спрашивается,—зачем же ему стоять? Только чтобы зря его ранили или убили? Я его снял с поста своею властью. Однако он к прикрытию не пошел.—«Дозвольте, говорит, мне тут что ни что делать».—«Нечего, говорю, тебе тут делать, пехоте». И как раз мимо шел с двумя зарядами из погреба канонир Прокопенко, а в него ударило ядро и убило наповал. Другой бы, видя такое, растеряться бы мог, а этот часовой ко мне: «Дозвольте заряды вместо него донесть!» Дозволил, конечно. Так он и работал на подноске зарядов и бомб до конца пальбы, а ведь от погреба до орудий четыреста шагов!

— Вот-с, вот-с, видите-с!.. Вот и его тоже в список внесите-с. Непременно-с!

Глаза Нахимова лучились, и уже обе руки его легли на плечи Желтышева, когда он говорил этому артиллерийскому полковнику, точно лейтенанту флота:

— Матрос есть главный двигатель на военном корабле, а мы с вами только пружины, которые на него действуют, да-с! Матрос управляет парусами, он же наводит орудия на неприятеля, он же бросится на абордаж,—все сделает матрос, если мы с вами забудем о том, что мы—помещики, дворяне, а он—крепостной! Он—первая фигура войны,—матрос, да-с! А мы с вами—вторые-с! Он—матрос,—вот кто!.. Так же и солдат!—заметил вдруг Нахимов, что он говорит с сухопутным полковником и что в отдалении, выстроившись, ждут его не матросы, а солдаты-артиллеристы.

И он пошел к ним, наконец, высокий, сутуловатый, в своем длинном сюртуке с густыми эполетами, с георгиевским большим за Синоп полученным крестом на шее и с полусаблей на портупее, продетой под эполет. Брюки его внизу от частой верховой езды были сильно помяты, вспорщены, покрыты гнедой лошадиной шерстью, когда он подходил к артиллеристам.

— Здорово, друзья!—звонко крикнул он, приложив пальцы к козырьку фуражки.

— Здравия желаем, ваше превосходительство!— радостно отозвались роты.

— Благодарю вас!

— Рады стараться, ваше превосходительство!— загремели солдаты.

— Вы защищали Севастополь как герои!— взволнованно продолжал Нахимов.—Вами гордится наш славный город!.. Если все мы будем действовать, как вы, то мы скоро прогоним от стен Севастополя врагов, как вы прогнали союзный флот... с большим уроном для них прогоним!.. От всей

души благодарю вас, друзья!—и он поклонился солдатам, держа руку у козырька фуражки.

Неистовым «ура» отвечали на это солдаты, и расстроился парадно-чопорный строй. Никто не командовал «вольно!»—это сделалось как-то само собою, что фронт—«святое место» по правилам дисциплины того времени—сломался, и разнообразно изгибались солдатские шеи, чтобы можно было как следует разглядеть необычайного адмирала, который только что называл их «друзьями» и о котором все слышали, как об адмирале «геройском».

— Господа офицеры! Прошу ко мне!—крикнул Нахимов.

Офицеры вышли. Их было не так и много в двух ротах.

Каждому из них, от капитана до прапорщика, Нахимов жал руку, вглядываясь в них пристально и признательно, а уходя с батареи, окруженный ими, он говорил:

— Союзники думали, что Севастополь—это другой Бомарзунд, где и казармы-то не были достроены и орудия были малых калибров против всего флота Непира... Теперь, наконец, они будут знать, что такое Севастополь!.. Просто уму непостижимо, что писали о Синопском бое в английских газетах, и как это печатали! Писали даже, что один из моих лейтенантов ворвался в разбитый турецкий корабль, нашел там в каюте капитана этого корабля, который, натурально, хотел ему сдаться... Но он, лейтенант мой, будто бы убил этого турецкого капитана, отрезал от убитого кусок мяса,—не сказано только было, откуда именно отрезал!—и... и, представьте себе, будто бы съел сырьем-с!.. Да-с,—сырьем-с! И вот за этот подвиг был представлен мною к георгию четвертой степени, каковой и получил-с! Вот каковы эти английские журналисты-с! Мы, по их мнению, людоеды-с! Однако мы вот отбили атаку огромного их флота и заставили уж замолчать французские батареи на Рудольфе... А сегодня-завтра, может быть, и английские молчать заставим, если будем все действовать, как вы вчера. И наш... Владимир Алексеич... может тогда спать спокойно... в своем гробу...—Он свое дело сделал... хорошо сделал... А мы по его стопам...

В это время Нахимов подошел уже к лошади, оставленной под присмотром казака-ординарца, и мог, отвернувшись к ней, смахнуть движением руки непрошенно проступившие на глаза слезы.

Когда же привычным уже движением взобрался он на своего гнедого, то обратился к офицерам голосом уже вполне окрепшим и словами начальнически точными:

— Из приказа по гарнизону вам, господа, известно, что похороны генерал-адъютанта, адмирала Корнилова назначены на пять с половиной вечера... Так вот, господа, прошу... свободных от нарядов по службе к этому времени в Михайловский собор...

2

А канонада между тем продолжалась, и только на бастионах пятом и шестом, против которых действовали французские батареи, могли бы сказать, что интервенты значительно ослабили свой огонь; севастопольцы же слышали, что так же грохотало и так же визжали и тупо шлепались ядра на улицах и рвались бомбы.

Очень немногие из севастопольцев знали, что вечером 5 октября английские батареи Зеленой горы, почти сравнявшие с землею третий бастион и соседние с ним редуты, как нельзя лучше подготовили весь этот участок обороны для штурма, и штурм этот очень трудно было бы отразить, если бы в дело были пущены осаждающими большие силы. Бруствер был уничтожен, ров завален, собрать сразу к этому месту достаточное число защитников было невозможно, и если бы англичане заняли третий бастион, то они зашли бы в тыл Малахову кургану и таким образом с одного удара могли бы занять всю Корабельную сторону.

Однако они не решились на штурм, и в этом именно была победа, одержанная Севастополем над интервентами в памятный день 5/17 октября: встретив сопротивление, равное нападению, противник был побежден морально и не решился сделать то, на подготовку чего затратил так много средств и усилий.

А ночью с 5-го на 6-е на третьем бастионе работало пятьсот рабочих от Московского полка и двести саперов, и на всем протяжении был поднят и сделан еще выше, чем прежде, вал, прорезаны тринадцать амбразур, устроены два новых траверса и поправлены пять старых; исправлено семь орудийных платформ; заменены новыми подбитые орудия больших калибров,—между ними и бомбические,—и наутро третий бастион заговорил с англичанами еще внушительнее и громче, чем накануне, а пороховые погреба на нем были теперь обсыпаны землей так, что уже не боялись ланкастерских пушек.

Французы же не в состоянии оказались привести за ночь свои батареи в порядок и сконфуженно промолчали весь этот новый день.

Третий бастион восстанавливал из развалин Тотлебен лично, на остальные же он разослал подведомственных ему саперных офицеров.

Но до поздней ночи направлял большую и сложную работу в тылу по доставке на бастионы всего необходимого Нахимов.

Это вышло как-то само собою, что после смерти Корнилова все обращались за приказаниями к нему, минуя почтенных старцев,—генерала Моллера и адмирала Станюковича, считавшихся в Севастополе выше его по положению.

Нахимов понимал и раньше, видел это и теперь, что на сухопутье как администратор он значительно

уступал Корнилову в уменьи все охватить и все рассчитать. Он знал изречение Фридриха II: «Только тот побеждает, кто умеет хорошо рассчитывать»,—почему охотно и уступил Корнилову главную роль в обороне города и порта. Но на его стороне сравнительно со всеми другими было то, что все о нем знали: полное забвение себя и своих личных интересов, раз дело касалось службы.

Когда отец его, екатерининский секунд-майор, отправлял двух своих белокурых красивых рослых ребят, Платона и Павла, в морской кадетский корпус, он, конечно, не справлялся у них, любят ли они, родившись в Смоленской губернии, море, и хотят ли стать моряками. Его решение было совершенно случайным, старший из двух братьев, Платон, моряком так и не сделался. Он остался воспитателем в том самом корпусе, который окончил, потом перешел на службу в Московский университет.

И попробовал бы кто-нибудь очернить инспектора студентов Платона Степановича Нахимова, на того двинулся бы сплошной и неодолимой стеною весь возмущенный университет, так как в нем не было другого столь же порядочного, честного до святости, самоотверженного и истинного друга студентов, как этот чудаковатый с виду и одиноко живший человек.

Но младший из братьев, Павел, почему-то вышел моряком, причем моряком совершенно исключительных достоинств. С ранней молодости удивлял он даже своих товарищей, как не знающий отдыха, неутомимый, не то чтобы службист, а буквально фанатик морского дела. Именно это скверное понятие «службист» к нему и не шло совсем, так как «выслуживаться» он никогда не стремился. Он просто полюбил от молодых ногтей войну с непокорной стихией—морем, и весь без остатка отдался этой любви. Поэтому никто из сверстников лучше его и не знал всех тонкостей морского ремесла, и в пятнадцать лет он был уже мичманом, а в восемнадцать был замечен Лазаревым, командовавшим тогда фрегатом «Крейсер», и взят им с собою в кругосветное плавание.

Лазарев тогда был только капитаном 2-го ранга, но он уже выдавался, как талантливейший моряк русского флота, но он уже притягивал к себе, как магнит, всех тех из молодежи, кто мог бы со временем сильно двинуть вперед дело устройства флота по его, лазаревскому, пути. Так же были притянуты им один за другим к себе и молодой Корнилов, и Новосельский, и Истомин...

Фрегат «Крейсер» в те годы был признанным образцом военного судна, и молодой Нахимов считал для себя за большую честь служить у Лазарева на таком фрегате, да еще в иностранных морях.

Вояж этот продлился три года, а спустя еще три года и Лазарев, командовавший тогда кораблем «Азов», и Нахимов, и Корнилов, служивший на том же корабле, отличились в знаменитом Наваринском бою, за который сам Лазарев произведен был в контр-адмиралы, а Нахимов получил георгиевский крест и чин капитан-лейтенанта, став таким образом штаб-офицером в двадцать четыре года.

В те годы он считался по службе в Балтийском флоте, а в Черноморский перетащил его тот же Лазарев, когда, после смерти адмирала Грейга, он стал главным командиром этого флота.

И корвет «Наварин», и фрегат «Паллада», и корабль «Силистрия», которыми последовательно командовал Нахимов, были неизменно образцовыми судами: по ним равнялись все остальные суда, и так велик был авторитет Нахимова в морском деле, что заслужить его одобрение считали счастьем и те, кто нисколько не зависел от него по службе, но был моряком не по одному только названию, а по натуре.

Когда один известный художник обратился к нему, как к герою Синопского боя, с просьбой позволить ему написать его портрет маслом, Нахимов недовольно ответил:

— И-и, голубчик, что я, светская дама, что ли? Совершенно это лишняя затея-с!—и отказал художнику.

Один поэт прислал Нахимову, как герою Синопа, хвалебную оду. Нахимов повертел в руках лист бумаги, на котором старательно,—заглавные буквы в завитушках,—была написана эта ода, бросил ее в корзину под столом и сказал одному из своих флаг-офицеров:

— Автор этих стихов, должно быть, человек богатый,—вон какая бумага у него хорошая, еще и с фамильным гербом... Прислал бы несколько сот ведер кислой капусты для героев Синопа—матросов, было бы куда лучше-с!

Это было одно из его многочисленных чудачеств—полное равнодушие к искусству, так же, как, например, и ненависть к писанию всяких казенных бумаг. Читал он эти бумаги внимательно, если нужно было их подписывать или выполнять то, что ими предписывалось, но никак не мог заставить себя самого изъясняться официальным языком на бумаге: это делали за него его адъютанты, флаг-офицеры.

Он жил одиноким, старым холостяком, как и его старший брат в Москве, но бирюком отнюдь не был. Напротив, он был всегда радушным хозяином, когда к нему собирались гости, и охотно помогал денежно, когда к нему обращались.

Этим неуменьем его отказывать кому бы то ни было в деньгах часто злоупотребляли даже его сослуживцы, люди широкого образа жизни.

Он не отличался красноречием, однако никто из командиров во флоте не мог так говорить

с матросами, как он, потому что никто лучше его не знал ни быта, ни нужды, ни сердца матроса, и матросы его любили, хотя он был очень требователен по службе. В разговоре между собою они не называли его ни «адмиралом», ни «Нахимовым»,—он был у них просто «Павел Степаныч».

Воспитанный на парусном флоте, знавший в совершенстве все, что касалось управления парусами, способный часами наблюдать в трубу с Графской пристани не только корабли, входящие на рейд и выходящие в море, но даже и шлюпки, идущие под парусами, Нахимов был поэтом паруса, ветропоклонником, и хотя видел все преимущества паровых судов, особенно снабженных винтом, относился к ним более чем равнодушно, и в Англию заказывать и принимать военные пароходы для Черноморского флота мог быть послан Корнилов, но не он. Ему нужно было сначала отвыкнуть от парусного флота, чтобы потом привыкнуть к паровому, и то и другое были для него очень длительные и, пожалуй, даже мучительные процессы.

Корнилов как начальник штаба флота жил до войны в Николаеве, где находилось управление флотом, но когда бы он ни приезжал в Севастополь, он останавливался у своего старшего по службе товарища Нахимова: им было что вспомнить и было о чем говорить, не истощаясь, так как состояние флота никто не знал лучше, чем Нахимов. Кроме того, Корнилов видел, что из всех адмиралов один только он без всякой зависти относится к его блестящей карьере.

И вот в полдень 5 октября на Нахимова жестоко свалилась почти вся тяжесть, какая лежала на его друге, между тем как он,—адмирал, выброшенный на берег,—чувствовал себя и без того тяжело.

Он не то чтобы растерялся, но он метался по осажденному городу в огромной тревоге за все и за всех кругом, и небольшому гнедому коньку его никогда раньше не приходилось столько скакать в разных направлениях.

Раза три в этот день пришлось Нахимову проезжать мимо Михайловского собора, где было поставлено тело Корнилова в ожидании погребения и где толпились моряки и пехотные, прощавшиеся с телом.

Всякий раз Нахимов останавливал здесь гнедого, входил в собор и несколько минут простаивал около гроба, всматриваясь в черты лица, оставшиеся волевыми и после смерти.

И всякий раз он опасливо оглядывал собор, особенно его купол, не попала бы в него шальная, наудачу пущенная бомба большого калибра или конгревова ракета, вполне способная пробить купол и обрушиться вниз. Купол казался ему наиболее непрочным из всего этого обширного здания, а тело того, кто вдунул всю, без остатка, свою душу в дело защиты порта, флота и города, лежало как раз под куполом.

Канонада гремела; и если флот интервентов, выпустивший накануне, как он подсчитал приблизительно, не менее чем полтораста тысяч ядер, бомб и гранат, теперь не рисковал уже подходить близко к береговым батареям и вдали зализывал свои раны, и если большая часть французских мортир и пушек молчала, то английские ревели попрежнему не умолкая.

3

Канонада не умолкла и в шестом часу вечера, когда протяжно, печально, глухо зазвонили колокола в Михайловском соборе, сзывая на панихиду по Корнилове. Речей не было. С телом прощались молча. В церкви были только те, кто знал Корнилова, а им не нужно было в пышных словах разъяснять, кого именно они потеряли.

При виде этого большелобого, с сурово сжатыми губами адмирала в гробу другие адмиралы и генералы, и полковники, и майоры, и капитаны флота и армии чувствовали себя наполовину побежденными врагом, и это чувство было жуткое и тяжелое чувство.

Человек, который мог, обращаясь к полку солдат, сказать знаменательные слова: «Ретирады не будет! А если услышите, что я вам скомандую ретираду, колите меня штыками!»—сказал о себе все, и никто не мог бы сказать над его телом ничего сильнее, короче и ярче.

Та воля, которая сплотила все силы и средства для защиты города в часы и дни полной растерянности, разброда, преступной паники, вдруг иссякла,—и в ком же и где было искать новый источник подобной же сильной и зрячей воли?

Может быть, расстроила нервы неслыханная, убийственная, оглушающая канонада, не прекращавшаяся два дня, но плакали здесь, в соборе, многие, даже и те, которые не знали о самих себе, что они умеют плакать.

И Нахимов уже не прятал здесь своего личного горя: он стоял со свечой, как и все, ближе всех других к гробу, забывчиво слегка кивал головой, совсем не в такт панихидному пению, и слезы скатывались в его белесые едва прикрывавшие губу усы.

Вместе с племянником покойного адмирала, гардемарином Новосильцевым, который до похорон не собрался уехать в Николаев, был в церкви и Виктор Зарубин; отец же Виктора, как это ни было трудно для него, не захотел отстать от сына, раз дело шло о похоронах самого Корнилова, и тоже пробрался внутрь собора.

Он стремился вытянуть свою сведенную от раны ногу, чтобы стать хоть чуть-чуть повыше и разглядеть побольше.

Ведь, кроме Корнилова в гробу и Нахимова около гроба, тут были, озаренные слабым и неверным желтым светом мерцавших свечей, и старый Станюкович, крестившийся частыми и бессильными крестиками около сухого лица, точно сгонял с него докучную муху; и Истомин, урвавший час от своей тяжелой вахты на Малаховом, и оба Вукотичи, и Зорин, и много его бывших сослуживцев по затопленному кораблю «Три святителя»...

И всех их хотелось видеть ему, наполовину ушедшему от жизни, у тела того, кто ушел от нее совсем. Он знал великую торжественность подобных минут, когда люди как бы дают свои клятвы умершему, даже если никто из живых рядом не слышит ни одной клятвы.

Но панихида была недолгой. Она и не могла затягиваться, потому что суровы были предночные часы: канонада гремела, ядра летели в город; может быть, уже скоплялись под прикрытием глубоких балок против третьего и четвертого бастионов войска союзников для штурма.

Около собора выстроились батальон моряков, батальон пехоты и полубатарея в четыре орудия. На рейде корабли скрестили реи и приспустили свои флаги и вымпела. Гроб вынесли на паперть. Вынесли и бархатную подушку с многочисленными орденами Корнилова. Певчие пели «надгробное рыдание»... Траурная процессия потянулась по Екатерининской улице туда, где незадолго до высадки интервентов так торжественно был заложен новый Владимирский собор над склепом, в котором схоронили года три назад адмирала Лазарева.

Когда Лазарев командовал кораблем «Азов», он зашел однажды в каюту своего молодого лейтенанта Корнилова. Тот сидел за чтением французского романа. Кипа французских же романов лежала у него и на полке каюты.

Лазарев был возмущен таким легкомыслием чрезвычайно.

— Вы, даровитый, умный человек, тратите драгоценное время на чтение всякой чепухи!—закричал он.—Я вам запрещаю это как ваш начальник!.. Понимаете? Раз и навсегда запрещаю!

Он собрал энергично все книги лейтенанта и выкинул их через окошко каюты в море.

— Что же все-таки я должен читать?—ошеломленный, спросил Корнилов.

— А это уж я вам принесу сейчас сам, что вы должны читать!

И капитан Лазарев вышел, но скоро вернулся с кипою совсем других книг. Это были сочинения иностранных писателей, главным образом англичан, по морскому делу.

Прошло четверть века, и ученик стал достоин учителя настолько, чтобы лечь с ним рядом после смерти в одном склепе.

Процессия двигалась. Певчие пели «вечную память» истово и выразительно, чувствуя, что не лгут при этом, как приходилось им поневоле лгать обычно. Темнело быстро. Зажгли факелы.

А ядра и бомбы все еще летели в город.

И одна из бомб разорвалась как раз в хвосте процессии, где шли обыватели. Капитан Зарубин, припечатывая каждый свой шаг толстой палкой и вывертывая замысловато ногу, плелся недалеко впереди и слышал разрыв бомбы, и потом бабий визг, и глухой вопль.

Толпа сгрудилась сзади. Донеслись крики:

— Что, аль попало в кого?

— Ну, а как же! Известно, попало!

Зарубин остановился в нерешимости, итти ли дальше за гробом Корнилова, или повернуть сюда, где в кого-то попало.

Услышал суровые мужские слова:

— Где тут носилок искать на улице,—носилки! Берись за ноги, за руки, тащи прямо в часовню! Там люди найдут, чья она!

— Неужто насмерть?—жалостно спросил Зарубин какого-то бородатого.

— Ну, а как же? Известно, насмерть,—ответил бородач.—Баба ведь... Много ей надо? Осколок в брюхо воткнулся, вот и готово.

Зарубин покачал головой, пробормотал задумчиво:

— Что же тут скажешь, а? Бог знает, что он с нами делает...

Виктор был далеко впереди, жена и дочери оставались дома. (Они перебрались с Северной стороны вечером накануне, когда прекратилась пальба.) Успокоившись за себя и своих, Зарубин заковылял догонять процессию.

Полыхали факелы, придавая всей картине необычайный вид. На обширном отгороженном забором месте заложенного собора толпились офицеры разных чинов. Батальоны матросов и пехоты и четыре орудия дали положенное число залпов холостыми зарядами.

В последний раз приложились губами к мощному, но холодному корниловскому лбу те, кто был ближе, и вот уже начали забивать крышку гроба.

— А здесь ведь найдется, пожалуй, и для меня местечко!—оглядывая при факеле обширный склеп, неожиданно для нескольких адмиралов, которые удостоились туда войти, сказал Нахимов.

— Ну, что это вы, Павел Степаныч!—укоризненно, вполголоса отозвался на это Истомин.

— А что вы думаете? Не заслужу?.. Пожалуй, и правда, не заслужу-с!—поник головой Нахимов.

— Я совсем не в том смысле, Павел Степаныч,—захотел поправиться Истомин.

— А в каком же еще-с?.. Может, вы думаете, что мы из Севастополя живыми выйдем? Нет с! Не выйдем-с!

Но не было времени ни для праздных гаданий о грядущем, ни для того, чтобы безмолвно про-

быть лишнюю минуту около тела Корнилова: мысль о возможности вечернего штурма союзников скоро разметала всех далеко от склепа. Только каменщики остались в нем поспешно укладывать свод из кирпича над свежей могилой.

О том, что ждут штурма ночью, слышал в толпе и старый Зарубин; и когда Виктор разыскал его, отец тревожно говорил сыну:

— Штурма ждут ночью сегодня, штурма! Вот видишь ты, вышло как для нас худ: с одной стороны, и Владимира Алексеича похоронили, а с другой—штурм может быть! Что же теперь должно получиться, а?

— Пустяки!—беспечно отвечал сын.—А матросы?.. Да матросы теперь их не то чтоб штыками, зубами за Корнилова рвать будут!

Горячие слова сына все-таки не убедили отца. Утром вся семья Зарубиных вместе с другими офицерскими семьями перешла из своего дома в адмиралтейство.

4

Прошло еще два дня.

На штурм все еще не отваживались интервенты, но канонада 7 октября была уже значительно сильнее, чем 6-го: исправили все свои повреждения французы и поставили даже новые батареи. Замечено было, что появились новые дальнобойные орудия и на Зеленой горе у англичан.

Эта гора была названа так интервентами; но очень молодыми были и названия горы Рудольфа, облюбованной для своих батарей французами, и знаменитого в крымскую кампанию кургана, принадлежавшего в тридцатых годах шкиперу Малахову. Но места эти, как и все места кругом здесь, прихотливо, как в Греции, изрезанные бухтами берега незамерзающего моря, видели на своем веку великое множество больших и малых войн; по ним летали в древние времена и стрелы и камни, выпущенные из катапульт; а соседний с Севастополем — «величественным городом» — Инкерман,—«город-крепость» по-турецки,—имел не менее как трехтысячелетнюю давность, все расширяясь и обновляясь, и украшаясь орнаментами вдоль своих подземных стен из податливого резцу известняка. И каждый уступ на его отвесах, конечно, сотни раз орошался такою дешевой и такою грозною жидкостью, как алая человеческая кровь.

Первые греческие поэты и географы рассказывают с ужасом о неприступных скалах Инкермана, с которых скифы сбрасывали вниз захваченных ими мореплавателей-греков. Эти страшные укрепления тавро-скифов были взяты только Диофантом, знаменитым полководцем Митридата VI, царя понтийского.

Совсем перед Крымской войною златоустый Иннокентий, архиепископ херсонский и таврический, вздумал основать в инкерманских пещерах монастырь, и там поселилось было человек двадцать монахов, устроившихся в этом древнем жилье не так плохо. Монастырек этот был назван «киновией во имя святых пап Климента и Мартина».

На северном склоне Малахова кургана, как и на примыкавшей к нему Корабельной слободке, были тоже пещеры, оставшиеся от бывших здесь некогда каменоломен. В этих пещерах селились беднейшие семьи матросов, не имевшие средств даже и для того, чтобы соорудить себе нехитрую хатенку под крышей.

Однако теперь, когда и северный склон Малахова кургана начал обстреливаться столь же беспощадно, как и южный и восточный, занятые редутами, хаты подешевели, пещеры подорожали.

Неслыханной силы канонада загнала в землю и тех, кто нападал на город, и тех, кто в нем оборонялся. Землянки были выкопаны и для матросов-артиллеристов и для офицеров на батареях; контр-адмиралы, ведавшие участками или дистанциями оборонительной линии, имели свои пещеры. Инкерман значительно расширил свои древние границы.

Уже в первые дни канонады до сорока хатенок-мазанок на Корабельной слободке было развалено и даже сожжено снарядами и ракетами. Но велика у людей привычка к родным пепелищам, и велика сила нужды: матроски все-таки не ушли далеко от редутов, где у многих сражались мужья; они только переселились в глубь слободки, особенно густо заселяя пещеры, имевшие только двери наружу, на улицу.

Изыскивая средства для пропитания своих ребят, они и раньше занимались тем, что пекли на продажу бублики, оладьи, калачи и прочую снедь, но продавали это на рынке. Теперь же рядом с ними появился тот же рынок—пехотные прикрытия бастионов.

К утру четвертого дня канонады матроски уже освоились с ней. Не то, чтобы не обращали уж совсем на нее внимания или перестали ее бояться, но начали больше думать о продолжении жизни, чем о близкой и напрасной смерти.

Утром 8 октября соседка уже окликала бодро соседку через узенькую улицу:

— Дунька-а, а Дунька!.. Чи ты там у себе живая?

— Жи-ва-я, родимец!—откликалась Дунька.

— О-о! Живая?.. А крышу те не провалило?

— Не-е! Крыша моя стоит целая!

— Вот и слава те, осподп!.. А хотя бы ж и крышу,—а бы б не голову провалило!

И через минуту:

— Дунька-а!

— А-а!

— За водой со мной пойдешь?

— Пойду, а как же мне,—без воды сидеть?

— Ну, тогда бери ведра-то,—пойдем, што ль!.. А то мне одной чего-й-то показывается вроде как страшно!

И идут вместе с ведрами на коромыслах вниз, к колодцу. И хотя ядра немилосердно рыщут по Корабельной, выискивая себе жертвы, но когда идешь вдвоем, все-таки не так на них обращаешь внимание и поговоришь, кстати, на ходу о том, о сем, о своем бабьем.

Многочисленная же матросская детвора очень скоро привыкла к ядрам, и они занимали ребят гораздо меньше, чем бомбы.

Ядра просто шлепались в землю, как большие камни, или если падали на твердое, подскакивали и катились, как мячи. Бомбы же были куда более загадочней, таинственней и замысловатей.

Они вертелись, двигаясь по земле, шипели, как гуси, и сыпали искры из своих трубок, наконец рвались с раскатистым треском и лупили во все стороны черепками.

Так же точно рвались и бутылки, когда ребята насыпали в них негашеной извести, наливали воды и затыкали бутылку покрепче пробкой. Известь нагревалась, набухала, шипела, выстреливала пробку и рвала бутылку в мелкие брызги.

Это было тоже занятно, но бомбы занимали ребят гораздо больше.

В полдень 8 октября первая русская сестра милосердия—матросская сирота Даша—заметила от дверей своего перевязочного пункта на Корабельной, что на улице куча ребятишек лет по девяти-десяти, сцепившись руками, весело танцуют около чего-то на земле и поют.

Они пели звонко:

Бомба идет, бомба идет!
Ух, ты-ы! Ух, ты-ы!
Кого-то хватит, кого-то хватит!
Ух, ты-ы! Ух, ты-ы!

В средине их круга вертелась и шипела бомба, готовясь взорваться.

Даша не видела ее издали, но она догадалась об этом, вскрикнула, обомлела. Кинулась было к ребятам, крича исступленно:

— Чертенята! Что вы! Игрушка вам это?

Но уже поздно было; впору было самой падать на землю, спасаться от осколков. Взорвалась бомба, и двое ребят валялись на земле в крови, а остальные убегали, оглядываясь назад и крича:

— Ваську хватило!.. Митьку хватило!

Они действительно играли, хотя и оказалось, что это была игра со смертью. Но не дано нам в детстве различать, где кончается наша мечта о жизни и где начинается свирепая правда этой жизни. Однако всегда ли это известно и взрослым? И разве взрослые кругом этих ребят не играли со смертью?

Когда добежала Даша, один из ребятишек уже не двигался; осколок вонзился ему в висок, и хотя был это небольшой осколок, но она видела, применяя свой недолгий опыт, что ребенок уже безнадежен.

У другого, Митьки,—она знала его,—были только сильно изранены ноги, и это он так окровавил землю около.

Она схватила Митьку на руки и потащила на перевязочный пункт, возмущенно ворча при этом:

— Удивляюсь я на матерей таких! Чего ж они за своими детями не смотрят?

Отлично знала она, что матерям здесь некогда все время смотреть за детьми,—они были в вечной заботе о том, чем бы их накормить, но нужно же было и ей кого-нибудь обвинователь за Митьку, который, если и останется в живых, то будет калекой.

Матери и бежали, обе голорукие и с подоткнутыми подолами, и голосили над убитым Васькой, и порывались за уносимым Митькой: укрытые в своих пещерах от ядер, они стирали белье на офицеров с Малахова кургана. Это были Дунька и ее соседка, ходившие утром за водою вниз к колодцу.

В этот же день вторая русская сестра милосердия, жена батарейного командира Хлапонина, в госпитале сухопутных войск тревожно, как и во все эти страшные дни канонады, вглядывалась в каждого нового раненого офицера, которого приносили на носилках.

Утром этого дня получен уже был приказ перевезти весь госпиталь в безопасное место на Северную сторону, так как в него часто начали падать снаряды; поэтому здесь все готовились к переезду и дожидались только густых сумерек, когда прекращалась пальба.

С мужем виделась она в ночь с 6-го на 7-е; от него узнала потрясающие подробности о взрыве порохового погреба на третьем бастионе и о смерти ее недавнего гостя капитан-лейтенанта Лесли, быть может, разорванного на мельчайшие части, почему и не удалось разыскать его тела, а может быть, просто забитого слишком глубоко в землю.

На ночь она уходила к себе на квартиру, и потому, что ей негде было ночевать в лазарете, и потому, что ночью не было перестрелки, она могла несколько успокоиться за мужа и уснуть, чтобы иметь силы весь следующий день с раннего утра до темноты провести в лазарете.

Однако, если на четвертый день к ней уже привыкли и врачи и смотритель госпиталя полковник, то она никак не могла заставить себя с необходимым равнодушием смотреть на изувеченные тела, потому что каждую минуту она ждала, что вот именно с такою страшною раной, или с такою, или вот с подобной принесут ее мужа.

О том, что муж ее может быть убит и исчезнет бесследно точно так же, как исчез Лесли, она не

думала,—такая мысль просто не могла бы и появиться в ее голове: она не думала и о том, что он будет убит, как очень многие другие, как все, кроме Лесли,—и эта мысль ее раздавила бы своею тяжестью, если бы овладела ею прочно.

Но испуг за мужа, который может быть ранен, ее не оставлял и первые три дня канонады и перешел на четвертый.

Она безотказно делала в госпитале все, что просили ее делать врачи, так как раненых было очень много, врачей мало, и всегда нехватало людей для помощи им при операциях. Она старалась глядеть на страшные раны только вполглаза, у нее так болезненно сжималось сердце, что ей казалось временами это непереносимым, казалось, что сердце оборвется куда-то, и она упадет и умрет.

Тяжелый запах крови и нечистых ран доводил ее до тошноты; тогда она кидалась к окну с разбитым стеклом или открытой форточкой и старалась надышаться свежего воздуха как можно больше.

Но из госпиталя она все-таки не уходила: она силилась приучить себя и к страшному виду ран и к их не менее страшному запаху, потому что такие именно раны и с таким же точно запахом могут появиться на теле ее мужа там, на этом ужасном третьем бастионе, и что же тогда? Тогда он может заметить по выражению лица ее, что ей непереносимо тяжело с ним возиться, и это его убьет.

Падавшие в госпиталь снаряды,—причем одним из них на третий день бомбардировки было убито двое раненых, а двое доведены до безнадежного состояния,—очень нервировали смотрителя, который жил здесь с семейством, врачей и всех вообще служащих и тех из раненых, которые не были в беспамятстве.

Офицеры требовали крикливо, чтобы их сейчас же увезли отсюда, что должна быть какая-нибудь разница между госпиталем и бастионом; что они будут жаловаться на такие порядки по начальству и непосредственно в Петербург... Солдаты испуганно оглядывались на окна и потолки и ругали начальство госпиталя за то, что, как им казалось, оно не хлопочет об их переводе отсюда. Но Елизавета Михайловна Хлапонина меньше всего была обеспокоена именно этим, что госпиталь под обстрелом. Неясно, пожалуй, даже для нее самой ей чувствовалось, что так она сопереживает с мужем хотя бы отчасти то, что делается на третьем бастионе и около него, а более ясно в ней возникала боязнь, что до Северной стороны труднее будет доставить раненого с третьего бастиона, что придется перевозить его через Большой рейд на шаланде, что он много крови потеряет дорогой, что он испытает страшно много боли от толчков на такой длинной дороге... Наконец пугало ее еще и то, что на Северной стороне было Братское кладбище, куда ежедневно на подводах возили десятками сразу убитых и умерших от ран.

В полдень 8 октября она вышла из госпиталя затем, чтобы немного подышать свежим, чистым воздухом, взглянуть на голубое небо, на золотые листья тополей и белых акаций, которые были посажены кругом госпиталя, а главное, чтобы посмотреть туда, в сторону этого ужасного третьего бастиона.

Как раз в это время солдаты подносили сплошь окровавленные, без перемены служившие уже который день носилки с ранеными.

Это было так обычно для нее в последнее время, что вот именно эти носилки и в этот именно час совсем не показались ей как-нибудь особенно тревожащими: просто, вот принесли еще кого-то, еще одну несчастную жертву войны. Подойдя к носилкам, она открыла лицо раненого, ничего не спросив у солдат, открыла по создавшейся уже привычке и... отшатнулась.

То, чего она ожидала,—отнюдь не веря в это, впрочем,—все последние дни, оказалось вдруг до того неожиданным, что потрясло ее всю с головы до ног, как электрическим током: на носилках лежал ее муж, глаза у него были открыты, и рот открыт, но он глядел совершенно бессмысленно и не узнал ее, и из открытого рта его не вырвалось ни одного слова, ни даже стона...

— Митя!—крикнула она.—Митя!

Солдаты, не опуская носилок, но не двигаясь с ними и вперед, смотрели на нее с недоумением, но участливо, догадавшись уже, кем она приходилась раненому офицеру, но раненый не изменил ничего в своем взгляде и не закрыл рта.

Тогда она вскрикнула: «А-а-а!»—и упала в обморок рядом с носилками, ничком, лицом в опавшие с тополей листья...

Осмотрев Хлапонина, старший врач госпиталя решил, что он, раненный в плечо и сильно контуженный в голову, пожалуй, может оправиться, если только за ним будет тщательный уход и если будет лежать он подальше от грохота орудий.

На другой же день Елизавета Михайловна повезла своего мужа на извозчике в Симферополь.

5

Двенадцатая дивизия, посланная Горчаковым 2 м на помощь Меншикову, начала подходить эшелонами, начиная с 3 октября; а 9 октября уже все четыре полка ее, Азовский, Днепровский, Украинский и Одесский, были в сборе у деревни Чоргун, в тылу позиции интервентов. Дивизия была почти полного военного состава — пятнадцать тысяч штыков.

Однако как раз в это же время большие под-

крепления получили и интервенты: в Париже и Лондоне хотели покончить с Севастополем как можно скорее и потому не скупились ни на войска, ни на издержки по их перевозке.

Из Варны приплыла к французам бригада африканских конных егерей под командой генерала д'Алонвиля, бригада пехоты генерала Базена и дивизия Лавальяна. Так что число французских войск выросло до пятидесяти тысяч, английских же с прибывшим подкреплением — до тридцати пяти тысяч.

Русская армия численно значительно (тысяч на двадцать) уступала к 9 октября армии интервентов, хотя, кроме 12-й дивизии, к Севастополю подошли: Бутырский пехотный полк, четвертый полк 17-й дивизии генерала Кирьякова, запасные батальоны Минского и Волынского полков, Уральский казачий полк, батальон стрелков, батальон пластунов и другие мелкие части.

Наконец, Горчаков, кроме своего 4-го корпуса, отправил Меншикову и двести тысяч серебром, потому что боялся, что у него мало денег на содержание войск. А так как Меншиков больше нуждался в порохе, чем в деньгах, то несколько тысяч пудов пороху, предназначенного для Бендер, были отправлены, по приказу Горчакова, в Севастополь. 10-я и 11-я дивизии шли сюда же ускоренными маршами.

Однако Горчаков писал при этом Меншикову (конечно, по-французски):

«Войска, посылаемые вам, хороши, но вы не поддавайтесь на их хвастовство: они скажут, что готовы штурмовать небо. Дело в том, что они будут стойки при защите данной местности, но не ждите от них смелых атак. У неприятеля слишком большой над нами перевес в вооружении. Храбрейшие из начальников и офицеры бросятся, как угорелые, и будут выведены из строя, а все войско потом покажет тыл. Говорю вам это по опыту. Считал долгом предупредить вас об этом. Впрочем, говорю это для очищения совести, убежденный, что будете стараться затягивать дело, не рискуя ставить его на одну неверную карту...»

Такие советы давал умудренный Дунайской кампанией Горчаков 2-й, но совсем другие, не советы уж, конечно, а приказания, получал Меншиков от Николая.

Самодержец требовал наступательной войны и считал, что посылаемых светлейшему подкреплений для этого вполне достаточно. Он писал ему:

«...Остальные две дивизии 4-го корпуса следуют к тебе безостановочно, и таким образом, любезный Меншиков, сделано все и, смею сказать, более, чем почти можно было, чтобы помочь тебе уничтожить замыслы вражьи. Остается молить бога, чтобы это, последнее уже, подкрепление дошло еще во-время, чтобы спасти Севастополь».

Стремясь всячески руководить Крымской войной из гатчинского дворца, Николай не только не хотел считаться с технической отсталостью своей армии, не только ожидал от нее исключительных подвигов, но еще и предупреждал своего главнокомандующего в Крыму, что больше подкреплений он не получит. Единственное, что он обещал ему еще, это прислать к нему двух своих сыновей—Михаила и Николая. Если он думал обрадовать этим Меншикова, то, конечно, ошибся.

«Европейский рыцарь», как любил себя называть русский самодержец, имел огромную по тому времени армию под ружьем, но она была распылена по западной границе и Кавказу, причем для защиты одного только Петербурга и прилегающих к Рижскому заливу берегов сосредоточено было сто семьдесят тысяч.

Но русская власть в Польше тоже, по его мнению, нуждалась в сильной защите,—так же как и граница с вероломной Австрией, военного выступления которой, притом очень большими силами, он не переставал бояться.

Наконец, интервенты могли ударить и на Одессу, и на Николаев, на Херсон, потому и здесь нужно было держать сильные гарнизоны...

Английский адмирал Непир, хвастливо обещавший в Лондоне «позавтракать в Кронштадте, а отобедать в Петербурге», правда, держался на приличной дистанции от Кронштадта, но все-таки крейсировал в Рижском заливе; кроме того, англичане делали попытки нападать и на Соловки и на Петропавловск-на-Камчатке, как бы желая показать вездесущность и всемогущество своего флота.

Это обилие уязвимых мест заставляло Николая быть прижимистым в расходовании войск на Крымскую кампанию: ему все казалось, что здесь только демонстрация, а настоящий сокрушительный удар ему готовится Парижем и Лондоном где-нибудь в другом месте.

В начале 1850 года, то есть всего за три года до начала Восточной войны, Корнилов был командирован Лазаревым в Петербург к Меншикову, как к начальнику главного морского штаба, чтобы исходатайствовать нужные суммы для укрепления Севастополя как порта. Меншиков направил Корнилова непосредственно к царю, который и дал ему аудиенцию, очень примечательную тем, что на все просьбы Корнилова Николай отвечал однообразно:

— Понимаю, что надо бы это сделать,—сам люблю во всем порядок, да денег нет!.. Хотел бы дать, да не из чего: за что ни возьмешься, везде требуется монета!.. Денег нет, денег нет... Что делать с этим, когда их так много нужно?..

Так Корнилов и не добился ассигнований ни на устройство казарм, ни на ремонт госпиталя, ни на другие постройки и ремонты.

Как тогда не было у царя для Севастополя денег, так и теперь не было войск. А между тем

никто так, как именно царь, не ожидал, что чуть только с прибытием всего 4-го корпуса армия Меншикова сравнится численно с армией интервентов,—Севастополь и флот будут спасены.

«Когда дойдут 10-я и 11-я дивизия,—писал он Меншикову,—надеюсь, что ты во всяком случае найдешь возможным нанести удар неприятелю, чтобы поддержать честь оружия нашего. Крайне желательно в глазах иностранных врагов наших и даже самой России доказать, что мы все еще те же русские 1812 года,—бородинские и парижские. Да поможет тебе бог великосердый!»

В этом же письме Николай особенно рекомендовал Меншикову начальника 12-й дивизии генерал-лейтенанта Липранди. Липранди действительно был одним из наиболее способных и образованных генералов николаевской армии.

В молодости участник семнадцати сражений во время Отечественной войны, он был потом в армии Дибича, когда Николай затеял войну с Турцией в 1828 году, затем отличился при штурме Варшавы, наконец, показал себя опытным и находчивым в Дунайскую кампанию, насколько можно было это сделать под командой такого путаника, как Горчаков 2-й, который тоже расхваливал Липранди в письме к Меншикову.

Но у Меншикова были свои причины отнестись и к Липранди так же подозрительно, как относился он ко всем особо рекомендуемым ему лицам. Он считал Липранди виновником гибели лично ему известного подковника Андрея Карамзина, сына историка.

Гусарский полк под командой только что прибывшего из Петербурга в армию Карамзина, совершенно не знавшего местности и не имевшего никакого военного опыта, был послан Липранди в рекогносцировку, но наткнулся на большие турецкие силы, был почти окружен, едва вырвался, но потерял пятую часть гусар и самого Карамзина: раненный, он был взят в плен, и паша приказал отрубить ему голову, так же как и молодому князю Голицыну, тоже лично известному светлейшему.

Кроме того, Меншиков не одобрял нерешительные, как ему казалось, действия Липранди, осаждавшего турецкое укрепление Калафат, хотя в этом случае всякая решительность действий была строго воспрещена самим Горчаковым, и Липранди тут был ни при чем.

Самого Липранди Меншикову никогда не приходилось видеть, и вот в лагере на Бельбеке начальник 12-й дивизии представился ему вместе с последним своим эшелоном.

Он оказался старым уже человеком, но еще очень бодрым и, главное, державшимся безукоризненно прямо и грудью, а не животом вперед. Росту он был большого и большеголов; в плечах плотен, в движениях нетороплив. Но неприятно внимательными и даже как будто слегка насмешливыми показались Меншикову светлые глаза Липранди на довольно свежем еще лице без морщин. Кроме того, неприятно было и то князю, что говорил этот генерал с георгием на шее очень правильным, вполне литературным языком, без каких-либо вставок, запинок, эканья, пауз, как это было, по его мнению, свойственно природным русским.

Горчаков писал Меншикову о Липранди:

«Если у вас есть свободная минута, заставьте Липранди рассказать вам обо всем, что касается сохранения солдата. Это—человек с прекрасными мыслями в этом отношении».

Но такой свободной минуты у Меншикова не нашлось, да и вопрос о сохранении солдата не занимал его: на очереди стоял вопрос о расходе солдат, так как подготовлялось наступление.

— Вы прибыли ко мне, Павел Петрович, как раз во-время,—говорил он Липранди.—Бомбардировка Севастополя продолжается союзниками с очень большим усердием... цель этого усердия ясна, конечно: подготовить штурм... Мы отвечаем, конечно, но они гораздо лучше нас снабжены порохом, а у нас,—у нас пороху мало. Может случиться так, что еще три-четыре дня, и мы уж будем отвечать одним выстрелом на два. Следственно, надо отвлечь их внимание от Севастополя.

Меншиков говорил это медленно, вопросительно присматриваясь к Липранди и как бы не желая высказываться сразу до конца.

— Для того, чтобы кого-нибудь отвлечь, надо его оттащить, а для того, чтобы оттащить, надо схватить за шиворот, то есть сделать диверсию в тыл, ваша светлость,—слегка улыбнулся одними только глазами Липранди.

— В тыл, да! Диверсия в тыл союзников,—это и есть моя мысль!—оживился Меншиков.—Вот эту задачу я и хотел бы возложить на вас.

— Очень благодарен вам за доверие, ваша светлость,—наклонил голову Липранди,—но пока я не видал местности...

— Вы, разумеется, ее увидите сегодня же,—перебил Меншиков.

— Затем я хотел бы видеть и те части, какие вы мне вверяете, ваша светлость.

— Вы их видели и знаете гораздо лучше меня: это четыре полка вашей же дивизии и с вашей артиллерией.

— Только-то?—очень удивился Липранди.— Значит, это именно моя дивизия и в состоянии схватить за шиворот и оттащить всю армию союзников? Я, признаться, не знал за нею таких исключительно больших достоинств! У меня самая обыкновенная пехотная дивизия, ваша светлость.

Тон, каким было это сказано, совершенно не понравился Меншикову. Он прищурил глаза и насторожился. Липранди же продолжал, как начал:

— Предпринимать дело наступления можно только с полным вероятием на успех, а иначе лучше его не начинать. Я держусь такого мнения, ваша светлость.

— Хорошо, вот сегодня же вы сделайте рекогносцировку от селения Чоргун и представьте мне ваши соображения,—сухо отозвался Меншиков.— Не смею задерживать вас больше.

Липранди откланялся и в тот же день, взяв с собою двух своих командиров бригад—Семякина и Левуцкого и четырех командиров полков, в числе которых был генерал-майор Гриббе,—отправился осматривать тыл позиций интервентов.

С этих позиций, расположенных на длинной Сапун-горе, могли отлично разглядеть и, конечно, разглядели большую конную группу, появлявшуюся то на одном, то на другом холме по линии Чоргунских высот, а еще лучше она была заметна с четырех английских редутов, перегородивших Балаклавскую долину от деревни Комары до Сапун-горы. Но за этой линией редутов шла вторая, впереди селения Кадык-Кой; позади же этого селения расположены были две сильных батареи. Однако и это было еще не все.

Балаклава прикрывалась непрерывными траншеями, соединявшими ряд батарей от горы Спилии до селения Кадык-Кой.

Комары были заняты неприятельскими аванпостами, а впереди Кадык-Коя виден был большой лагерь кавалерии рядом с лагерем пехоты. Кавалерия эта была дивизия лорда Лукана, состоящая из двух бригад: тяжелой драгунской под командой Скарлета и легкой смешанной под командой лорда Кардигана; а пехота — 93-й шотландский полк. Дальше, к Балаклаве, стояли флотские команды.

— Ну, что вы скажете, Константин Романыч, насчет того, как они закупорили свою Балаклаву?— обратился Липранди к Семякину.

Приземистый, сутулый, косоплечий, пожалуй, очень некрасивый и на лицо и по фигуре, генерал Семякин вздохнул кротко и сказал:

— Балаклаву заткнули наславу... Откупорить эту бутылочку будет трудненько.

— А можем ли мы взять ее одною нашей дивизией, как полагаете?

— Одною дивизией нашей?—Семякин поглядел вопросительно на Липранди, не шутит ли, поглядел еще раз на все укрепления англичан и ответил решительно:—С одною дивизией на Балаклаву итти можно только во сне.

— А первую линию редутов?

— Это совсем другой вопрос,—первая линия! Если отдадут они их нам, то возьмем.

— То есть как это «если отдадут»?

— То есть, если не придвинут очень больших резервов... Если пойдем сразу и дружно, то взять их можно.

— Вот в этом именно смысле я и думаю ставить задачу... Итти на большее мы не имеем сил, значит, не имеем и права.

И тут же на месте Липранди распределил, кому и куда итти и что делать. Но другой план, гораздо более обширный, он таил про себя и с ним поехал вечером к светлейшему.

По этому плану предполагалось, взяв передовые редуты, итти не на Балаклаву, а прямо на Сапун-гору, куда вели из долины три дороги и куда Липранди думал подняться тремя колоннами, распылив таким образом силы противника.

Он рассчитал, что к 22 октября должны были прибыть 10-я и 11-я дивизии, и тогда в Чоргуне можно было бы собрать шестьдесят пять батальонов, семьдесят эскадронов и сотен и двести орудий. С этими силами он брался опрокинуть интервентов.

Он говорил горячо и убедительно, но Меншиков смотрел на него с недоумением и даже как будто с сожалением, что он, по общему мнению, человек умный, допустил такую нелепость, будто ему, всего только начальнику дивизии, дадут в командование целую армию! Он не сказал этого, конечно, но Липранди почувствовал, что именно это он и хотел дать ему понять, когда, покашляв скромно и усмехнувшись слегка, заговорил вполголоса:

— У нас истощаются запасы пороха, о чем я уже ставил вас в известность; у меня есть все основания предполагать, что союзники вот-вот сочтут подготовку к штурму законченной и пойдут на штурм... А вы строите мне какие-то воздушные замки на 22 октября! Мы и одного дня не можем ждать, не только две недели! Поэтому-то я и предлагаю вам захватить только линию передовых окопов и их удержать за собою.

— Ваша светлость! С одной своей дивизией я и этого не смогу сделать,—обиженно ответил Липранди.—Редуты можно бы было, пожалуй, занять, но удержать их будет более чем трудно.

— Я вам дам еще бригаду кавалерии генерала Рыжова... Затем, пожалуй, еще два казачьих полка—Донской и Уральский.

— Кавалерия, конечно, может мне пригодиться на случай действия против английской кавалерии, но этого мало... Мне нужен заслон со стороны Сапун-горы, предпочтительнее всего на Федюхиных высотах. Для этой цели, я думаю, довольно было бы одной бригады при опытном командире.

Меншиков недовольно несколько раз слегка покашлял и, отвернувшись к окну, сделал свою затяжную гримасу в ответ на такое вымогательство, наконец, сказал:

— Хорошо, я назначу для этой цели Владимирский и Суздальский полки под командой Жабокритского... Еще что?

— Для выполнения только этой задачи,—а именно овладения четырьмя редутами,—мне больше

ничего не нужно, ваша светлость, но я считаю своим долгом доложить, что шаг этот только обострит внимание союзного командования на свой тыл, и, пока подойдут 10-я и 11-я дивизии, оно так может укрепить его, что тогда уж ему не опасны будут все наши усилия.

Меншиков задумчиво побарабанил пальцами по столу и обещал обсудить его проект; но на другой же день, 10 октября, к Липранди приехал посланный им полковник Попов и передал, что ждать прихода всего 4-го корпуса для наступления совершенно нельзя, что бомбардировка слишком сильна, что нет пороху, что нужно сделать хотя бы что-нибудь, дабы отвлечь неприятеля.

Так было решено произвести давление в сторону Балаклавы.

ГЛАВА ВТОРАЯ
БАЛАКЛАВСКОЕ ДЕЛО

1

Бивачные ночные костры догорали, и люди, и кони, густо скопившиеся в узкой Чоргунской долине, начали чувствовать вкрадчиво жалящий холодок, набегавший порывами со стороны моря: наступало утро 13/25 октября, в которое приказано было Меншиковым дивизии генерала Липранди нажать на Балаклаву.

Еще не светало, только еще готовилось светать,—чуть брезжило. Орудия, упряжки, люди еще не воспринимались глазами, а смутно угадывались в темноте.

Окрики были негромки, манерки звякали о приклады тихо, и даже лошади, проникаясь таинственностью обстановки, фыркали вполголоса, ссорились между собою сдержанно, подымая беспокойно головы, часто ставили уши торчком, вслушиваясь в отдаленное.

Эти лошади пришли с берегов Дуная, из армии Горчакова. Они были участницами не одного там сражения с турками, и у русских солдат успели уже сложиться приметы, в которые твердо верили, особенно кавалеристы. Если лошади ржут наперебой одна за другою и если они то ложатся, то срыву вскакивают, то снова ложатся,—быть дальнему походу; если какая лошадь перед боем стоит понурясь и не ест, значит, чует, что быть ей убитой, а если ластится к своему хозяину и смотрит на него пристально и жалостливо, значит—его убьют.

Такое явное предпочтение лошадиного ума своему извинительно было старым солдатам николаевских времен: дисциплина тогда на том только и покоилась, что всячески укрощала пытливость ума человека.

Солдаты и в это наступающее утро перед боем совершенно не знали, куда и зачем они пойдут; еще меньше знали они, как встретит их «он»,—неприятель.

Но когда собираешься в бой, не нужно иметь много ума, чтобы догадаться, что могут тебя и убить, не только ранить. Поэтому у догорающих костров шла деловая передача от земляка к земляку последних просьб—сдать тому-то или переслать туда-то родным в случае смерти те небольшие деньги, которые за долгую службу скопились у каждого из этих старых усачей.

Иные пожилые семейные офицеры, сидя на корточках у тех же костров, при беглом свете их, наскоро, карандашами в записных книжках писали духовные завещания; другие, молодые, рвали письма, которые не желали видеть ни в чьих посторонних руках после своей смерти...

Когда полки 12-й дивизии стягивались накануне к Чоргуну, их встречал сам Липранди, чтобы каждому батальону прокричать несколько бравых слов и выслушать в ответ: «Рады стараться, ваше прево-сходи-тельство», а по оттенкам разноголосых криков этих решить про себя, ожидает ли его успех на другой день утром.

Он гадал по этим крикам, как гусары по своим лошадям. Опытным ухом он слышал, что солдаты кричат «от сердца» и стараться будут.

Теперь же эти, сердца которых он подслушивал,—народ уже обстрелянный, обдержанный в ежовых рукавицах войны, кто подремавший час-другой, завернувшись в шинель, кто не сомкнувший за ночь глаз,—были уже бодры и хлопотливы: ожидалась команда строиться.

И команда эта пришла; и, осмотрев в последний раз ружья и патронные сумки и подтянув ремни ранцев, стали по-ротно выстраиваться пехотинцы; похлопав и погладив коней и попробовав на ощупь подпруги, садились в седла гусары и уланы; за орудием орудие вытягивались в строй батареи...

Командующим отрядом, легким на руку генералом Липранди, было сказано наконец: «марш!» Приказ этот передали от старших младшим, и предрассветное движение началось в том порядке, который указан был в диспозиции, розданной командирам отдельных частей накануне.

От каменного Трактирного моста через Черную речку вправо разлеглись Федюхины высоты,—два длинных холма, разделенных балкой, по которой проходила дорога из Балаклавы на Инкерман; высоты эти должна была занять бригада генерала Жабокритского — Владимирский и Суздальский полки.

К лежащей версты за три влево греческой деревне Комары,—из которой еще в сентябре Раглан выгнал всех жителей, подозревая их в шпионстве в пользу русских,—двинулась колонна генерала

Гриббе, около полка пехоты с батареей и уланами. А прямо по Балаклавской долине, в сторону укрепленного англичанами селения Кадык-Кой, охраняемого, кроме того, еще и цепью сильных редутов на холмах, повел главные силы генерал Семякин.

Он ехал на смирном казачьем маштачке соловой масти, неуклюжий, в плохо пригнанной, встопорщенной горбом сзади солдатской шинели, в низко надвинутой на уши фуражке, и совершенно ничего—ни воинственного, ни начальственного—не было в его отяжелелой от лет, подавшейся на седле вперед фигуре.

Щеголеватый, подбористый полковник Криднер, командир Азовского полка, которого назначил Семякин для атаки первого и самого сильного из английских редутов, держался рядом с ним и поневоле был молчалив, потому что сосредоточенно молчал Семякин.

Светлело быстро. Утренний ветер утих. Туман сполз к морю. День обещал развернуться ясный, может быть, даже жаркий, как было накануне.

Темносиние оторвались от неба и четко обозначились верхушки Сапун-горы, которая занята была охранительным корпусом Боске. Зоркие молодые глаза пытались даже и без зрительных труб разглядеть на ней кое-где кавалерийские пикеты французов.

Правее пяти батальонов Семякина двигалась уступами 2-я бригада дивизии Липранди. Ее вели генерал Левуцкий и полковник Скюдери, командир Одесского полка. Она должна была занять остальные три редута после того, как будет захвачен первый, самый сильный, на холме, названном союзниками холмом Канробера.

За Одесским полком шагом, как на ученьи, вытянулась бригада гусар—лейхтенбергцев и веймарцев, которую вел старый генерал Рыжов.

Веймарцы на гнедых конях и лейхтенбергцы на вороных и сами в черных ментиках, шитых золотом,—краса отряда,—очень смутно представляли, придется ли им, и если придется, то как именно, участвовать в бою. Но сам Рыжов, начальник всей кавалерии в Крыму, получил приказ Липранди выжидать окончания действий пехоты, и чуть только последний редут англичан будет занят, броситься в карьер на английскую кавалерию и смять ее.

Накануне, вместе с Липранди, Семякиным, Левуцким и другими, Рыжов выезжал на рекогносцировку и видел четыре редута на холмах и укрепленный лагерь английской кавалерии за этими редутами, вблизи селения Кадык-Кой; но он сомневался, чтобы редуты, такие сильные на вид, могли быть взяты. Уже свыше сорока лет прошло с тех пор как был он произведен в первый офицерский чин. Он участвовал еще в трехдневном бою под Лейпцигом, был в войсках, вступивших в Париж; вслед за тем на его глазах проведены были еще девять кампаний, но ему никогда не приходилось получать приказания, подобного тому, какое он получил накануне от Липранди.

За день перед тем, отправляя его к Чоргуну из лагеря на Каче, с ним очень любезно говорил сам светлейший. Он просто сказал: «Вы присоединитесь к двенадцатой дивизии...»—Но присоединиться к пехотной дивизии и даже поступить под команду Липранди (хотя они в равных чинах) еще не значило получить такую диспозицию, какую придумал этот любимец генерала Горчакова.

Он утешал себя мыслью, что ему, может быть, придется только ударить в тыл бегущему противнику, хотя сильно сомневался и в этом.

Под его командой было еще три конных полка: два казачьих—уральский и донской—и сводный уланский, который сопровождал колонну Гриббе. И он вообще не понимал, зачем Липранди потребовал так много кавалерии для наступления на сильно укрепленные позиции в местности, очень пересеченной, крайне неудобной для действия конными частями.

— Ну, куда тут пущу я два полка в атаку?—ворчливо говорил он командиру лейхтенбергцев генерал-майору Халецкому, ехавшему с ним рядом.—Там, у англичан, все изрыто какими-то безобразными окопами, вы видите?

— Окопы?.. Я вижу кусты, а насчет окопов... В какой стороне вы разглядели окопы?—поворачивал голову то вправо, то влево Халецкий, длинный, с хрящеватым носом и жилистой шеей.

— Кусты,—совершенно верно, кусты!—тут же согласился Рыжов.—Теперь и я вижу, что кусты, а совсем не окопы... Однако не один ли это чорт, благодарю покорно?

И он пучил круглые светлые глаза, ерзая жесткими на вид седыми бровями недоуменно и сердито.

Между тем со стороны Комаров и монастырька Ионы Постного донесся гулкий штуцерный выстрел,—первый и потому показавшийся всем неумеренно значительным. За этим выстрелом забарабанило вразброд несколько еще: это, отстреливаясь, отходили от Комаров аванпосты союзников.

— Ну, вот!.. Началось!—строго поглядел на Халецкого Рыжов.

Потом он медленно снял фуражку и торжественно перекрестился три раза.

Халецкий поспешно сделал то же, но тут же достал часы и проговорил ненужно подчеркнуто:

— Ровно шесть! Согласно диспозиции!.. Примерный командир этот Гриббе!

— У Липранди они, кажется, все примерные,—ворчнул Рыжов.—А что Одесский полк? Остановился или продвигается?.. Остановился ведь,—что же вы? Не видите разве, что остановился? Значит, и нам стоять.

— Полк, сто-о ой!—повернул коня боком к пе-

редним рядам Халецкий, и конский топот утих постепенно от передних к задним.

Солнце выкатилось из-за моря багровое. По Сапун-горе забегали красноватые отблески, очень беспокойные на взгляд. Зарозовели и Федюхины высоты, где устанавливались орудия впереди жиденьких батальонов владимирцев, которых еще не успели пополнить после жаркого дела на Алме.

Однако и орудия батарей 12-й дивизии и зарядные ящики к ним без заметной торопливости выдвигали на линии дюжие крупные кони, и скоро прогремел первый выстрел из полевой пушки.

Халецкий снова вынул часы и сказал:

— Десять минут седьмого.

— Странное дело, благодарю покорно!—суетливо задвигался на седле Рыжов.—Чего же молчат их редуты?

Но тут заклубился розовый дым над холмом Канробера, и загрохотал очень мощный выстрел в ответ.

— Ого! Это—крепостное!—проговорил Халецкий, ища вверху глазами снаряд.

Рыжов тоже задрал голову кверху, адъютант же его, поручик Корсаков, показал в промежуток между первым и вторым редутами, обращаясь к своему генералу:

— Ваше превосходительство! Вон на рысях идет их батарея из резерва!

Залп из орудий невдали стоявшего Одесского полка заглушил его слова.

Вверху становилось все светлее и голубее от подымавшегося солнца, внизу—все неразборчивей и туманней от расползавшегося всюду дыма. Орудийные выстрелы гремели чаще; дело на подступах к Балаклаве, над обдумыванием которого трудились накануне Липранди и Семякин, началось именно так, как об этом говорилось в составленной ими диспозиции.

Даже то, что на Сапун-горе выстраивались колонны французов из корпуса Боске, предусматривалось заранее: отряд Жабокритского и занимал Федюхины высоты только затем, чтобы противодействовать обходу справа, на который мог отважиться Боске.

Полковник Войнилович, командир дивизиона лейхтенбергцев, не старый еще, черноусый, плечистый, крепкий на вид человек, спросил у Рыжова, где же именно лагерь конницы союзников.

Балаклавская долина в этом месте была неширока. До Комаров от позиции гусарской бригады можно было дать глазомерно версты две; столько же до Сапун-горы. Правее гусар шла дорога от Мекензиевых гор на Балаклаву, а впереди редутов, поперек долины тянулось Воронцовское шоссе. Из-за дыма, окутавшего редуты, трудно было рассмотреть не только лагерь союзной кавалерии, но даже и селение Кадык-Кой, и Рыжов только указал наудачу в сторону между третьим и четвертым редутом, махнув при этом рукою и усмехнувшись, как принято усмехаться заведомо пустой затее, которая, конечно же, будет отменена.

Несколько поодаль от гусар расположился Уральский казачий полк. Хотя полк этот не находился в непосредственном подчинении Рыжова, но Рыжову было неприятно, что командир его решил держаться чересчур самостоятельно, не подъезжает к нему и не просит у него никаких объяснений, даже спешился, как и несколько офицеров около него.

Это вывело из себя Рыжова.

— Поручик Корсаков!—крикнул он адъютанту.—Как-нибудь поделикатнее напомните вы этому болвану, что он не в резерве, а в боевой линии, да! Что каждую минуту,—благодарю покорно,—могут ему, болвану, приказать бросить полк туда или сюда в атаку!

Корсаков бросился к уральцам.

— Ну, что он сказал, этот болван?—спросил Рыжов Корсакова, когда он вернулся от командира уральцев.

— Удивился, ваше превосходительство,—улыбаясь, ответил адъютант.—Однако на коня сел.

Уже все три десятка орудий отрядов Семякина, Левуцкого и Скюдери заговорили громко и согласно. Войнилович разглядел сквозь дым, что английская батарея из шести орудий, занявшая было промежуток между первым и вторым редутами, повернула в тыл, и Халецкий, победно щелкнув крышкой своих золотых часов, отметил:

— Половина седьмого!

Из редутов выстрелы были подавляюще гулки, но редки, и чем дальше, тем реже. Оживленно шла перестрелка штуцерных с той и с другой стороны, таившихся за кустами. Однако ближе к семи часам, когда стало уже совсем по-дневному светло в небе, редуты первый и второй умолкли.

— Ого! Кажется, наша берет!—оживленно сказал Войнилович, подкачнув крупной головой.

Видно стало, как донская легкая батарея против третьего редута снялась с передков и передвинулась вперед: это значило, что там ослабел даже и штуцерный огонь противника.

— Покорно благодарю, а?! Кажется, мы скоро начнем штурмовать их, а?..—не столько радостно, сколько встревоженно обратился к Халецкому Рыжов и энергично оттянул раз, и два, и три тугие седые усы.

Действительно, скоро заметно стало движение в отряде Семякина, и показался на своей лошадке сам Семякин почему-то с обнаженной, несколько как будто башкирского склада, головой. Фуражку свою он держал в обеих руках перед собою.

Может быть, он что-нибудь говорил солдатам,—слов его не было слышно. Видно было только, что он низко поклонился вперед, потом вправо, потом влево, поднял фуражку и показал ею по на-

правлению на холм Канробера, потом нахлобучил ее также обеими руками на самые уши и повернул маштачка. Азовский полк ротными колоннами двинулся в атаку под музыку и барабанный бой, заглушившие перестрелку штуцерных.

Роты шли без выстрела.

Солдаты не сбивались с ноги и отбивали шаг торжественно, хотя редут весь был заволочен дымом от сильного ружейного огня его защитников. Ряды обходили убитых и тяжело раненных, свалившихся на землю, и смыкались вновь, а легко раненные шли вместе с другими, не отставая, поскольку хватало сил.

Эта атака пехотинцев была похожа на атаку конницы,—таким широким шагом двигались роты, и так быстро сокращалось расстояние между ними и подножием холма.

Гусары стали на стремена, чтобы лучше видеть.

Вот уже к самому холму подошли первые две роты. Напряженно ждали гусары «ура», и «ура» донеслось до них. Азовцы ринулись вперед и облепили холм.

Это было подмывающее зрелище: со штыками наперевес иные бежали наискось по холму, сталкиваясь и подпирая один другого, другие, более запальчивые и молодые, уверенные в себе, карабкались прямо по крутогорью к амбразурам орудий и вот уже лезли через амбразуры внутрь редута.

Редуты защищали турки. «Ура» мешалось с криками «алла». Опытные глаза гусар, отбивавших Дунайскую кампанию, видели, что штыковой бой там, внутри окопа, начался.

— Возьмут!.. Сейчас возьмут!—вскрикнул поручик Ко́рсаков.

— Раз орудия там молчат, значит редут уже наш!—радостно отозвался ему Войнилович.

— И значит, нам надо готовиться к атаке!—подхватил Халецкий, вопросительно поглядев на Рыжова.

Рыжов же, вооруженный зрительной трубой, взятой им у ординарца, следил за тем, что делалось на холме Канробера, напряженно и молча.

И вдруг закричал он:

— Бегут! Турки бегут, благодарю покорно!.. Англичане тоже отступают!

И снова припал глазами к трубе.

Правее дороги, на которой стояли гусары, проскакала вперед кавалькада всадников: сам командующий боем генерал Липранди и несколько человек его адъютантов; а через две-три минуты—барабаны, полковая музыка; и на второй и третий редуты двинулись батальоны Левуцкого, а на самый отдаленный, четвертый,—Одесский полк.

Однако турки, сидевшие в этих трех редутах, даже не защищались и не захотели принимать штыкового удара русских, как в первом: они бежали вслед за своим командиром Сулейманом-пашою.

Часть их, добежавшая до стоящего в резерве пехотного полка шотландцев, была остановлена этим полком, но другая часть рассыпалась по палаткам лагеря шотландцев, хватала там на скорую руку все, что считала поценнее, и мчалась дальше.

Расстроенное воображение турок рисовало им картину, близкую к картине потопа: русские войска казались им теперь неисчислимыми и несокрушимыми, почему им и хотелось как можно скорее добраться до спасительных кораблей Балаклавской бухты, но отнюдь не с пустыми руками.

А между тем канонада под Кадык-Коем встревожила уже Балаклаву, и из обширного лагеря около нее шли на помощь шотландцам гвардейская дивизия герцога Кембриджского и дивизия генерала Каткарта, а на Сапун-горе Боске выстраивал в линию позади укреплений весь свой корпус, и сюда, как в место более высокое и прочное на случай атаки русских, скакали оба главнокомандующих союзных армий—Канробер и Раглан.

Четвертый редут, замыкавший долину, был очень близок к Сапун-горе, поэтому, чуть только был он занят одессцами, на нем стали рваться французские бомбы.

Липранди заметил это, и от него был послан прикомандированный к нему Меншиковым капитан-лейтенант Виллебрандт с приказом срыть вал редута, изрубить лафеты взятых там трех орудий, а тела орудий сбросить с горы.

Разгоряченный успехом дела, статный и красивый полковник Скюдери, выслушав Виллебрандта, с полным недоумением поглядел на него и кругом на своих одессцев.

— И потом что же должен я делать?!—резко крикнул он.—Отступить?

— По всей вероятности, отступить,—что же вы можете делать еще?—в свою очередь спросил его Виллебрандт, преувеличенно хлопая густыми белыми ресницами, как крыльями.

— Отступить?—повторил Скюдери крикливо, исказив красивое лицо.

— Непременно!—уверенно и уже несколько свысока, как адъютант не Липранди, а самого светлейшего, ответил Виллебрандт.

Скюдери оглянулся на задымленную Сапун-гору, с которой летели ядра и бомбы, и, выхватив шашку, зло и звонко ударил по лафету стоявшего около него английского орудия, которое нельзя было вывезти отсюда как трофей.

2

Генерал Рыжов старыми, но еще зоркими глазами пристально вглядывался через трубу в эту движущуюся панораму боя, где густо заволоченную дымом, где очень четкую, яркую, но тем не менее весьма загадочную.

Он заметил и кавалькаду—Липранди с его шта-

бом—на холме Канробера и встречавшего своего начальника дивизии мешковатого Семякина, которого узнал по казачьему маштачку соловой масти; он разглядел и хозяйственную суету и оживление на редутах втором и третьем, которые днепровцы и украинцы уже деятельно принялись приспосабливать к защите на случай штурма союзников; но то, что увидел он на четвертом редуте, поставило его втупик: два задних батальона Одесского полка от него отходили.

Правда, на самом редуте все время рвались снаряды, но батальоны шли не вперед, а назад,— это было не совсем понятно.

— Посмотрите, мы отступаем, или что это?— передал он встревоженно трубу Халецкому.

— Может быть, маневрируем,—отозвался Халецкий.

— Маневрируем?.. Как именно и зачем?

Маневрировать совсем не значило отступать и не снимало вопроса об атаке английской кавалерии, поэтому Рыжов снова взял трубу у Халецкого.

Кавалерия англичан стояла так же неподвижно, как и раньше; левее ее виднелся тот самый, по номеру 93-й, шотландский пехотный полк, который собрал около себя батальоны бежавших из редутов турок, а еще дальше—полевая батарея.

Рыжов понимал, что Липранди еще лучше, чем он отсюда, видел оттуда, с первого редута, и пехотный английский полк, и орудия, которые могут осыпать гусар пулями и картечью, если они в самом деле отважатся атаковать бивак кавалерии. И чем больше вглядывался в то, что его ожидало в случае атаки, тем становился спокойнее: рождалась непоколебимая уверенность, что нелепая атака эта будет отменена.

Когда же он совершенно успокоился на этот счет, то тронул лошадь и двинулся шагом вдоль фронта лейхтенбергцев.

Всего за минуту перед этим гусары, тревожившие его тем, как-то будут они вести себя в бою, теперь становились для него с каждым шагом его лошади, прекрасной вороной кобылы Юноны, обыкновенными гусарами каждого дня. Нахмурясь, он вглядывался привычно инспекторски в посадку каждого и в стойку коней, но вдруг поднял плечи и брови.

— Это что за чучело такое? А-а?

Он заметил, что бок и даже шея одного коня были щедро выпачканы глиной.

— Ты-ы!—крикнул он гусару.—Как фамилия?

— Сорока, ваше превосходительство!—ответил молодой еще гусар.

— Со-ро-ка?.. Скверная ты птица, почему не чистил лошади?

— Выкатался, ваше превосходительство, аж перед тем как сидали на коней, а ночью чистив,— отнюдь не робко объяснил Сорока.

— Кто твой взводный?

— Старший унтер-офицер Захаров, ваше превосходительство!—заученно, поэтому очень отчетливо отчеканил Сорока.

— Унтер-офицер Захаров!—вопросительно крикнул Рыжов.

— Я, ваше превосходительство!—отозвался пожилой, с седеющими у висков баками унтер, сидевший в седле, как влитой.

— Лы-ычки сдеру, слышишь?—погрозил ему пальцем Рыжов.

— Слушаю, ваше превосходительство,—не моргнув, ответил молодцеватый Захаров.

Как раз в это время Халецкий, который уже принял было невольно позу за дело, правда, но совсем не во-время получающего замечание, увидел скакавшего к ним в карьер всадника.

— Кажется, какой-то адъютант командующего,—сказал он Рыжову, показав на всадника подбородком, и Рыжов, мгновенно обернувшись, замер.

Всадник, пехотный штабс-капитан, был действительно послан Липранди. Подскакав, он переводил глаза с одного кавалерийского генерала на другого, не зная, который из них Рыжов, но, заметив три звездочки на погоне более старого, отрапортовал без заминки:

— Командующий отрядом, генерал Липранди, приказывает вам, ваше превосходительство, сейчас же вести бригаду гусар в атаку согласно диспозиции!

— Как, сейчас же в атаку?—опешил Рыжов.

— Приказано—с места в карьер, ваше превосходительство,—дополнил штабс-капитан.

— Нельзя с места в карьер на дистанцию в полторы версты!—строго, как истину, которую не мешает знать даже и штабс-капитанам, не только пехотным генералам, сказал Рыжов, поглядел на Халецкого и добавил решительно:—Где генерал Липранди?

Штабс-капитан указал рукою. Липранди спустился уже с холма Канробера, и вся кавалькада его стояла метрах в четырестах от передних рядов гусар.

Рыжов подобрался и, точно желая показать пехотинцу-адъютанту, на какую дистанцию можно пускать кавалерию с места в карьер, дал Юноне шпоры. Нагнув голову, кобыла помчалась вскачь, сразу оставив далеко за собою лошадь адъютанта.

Оставляя свою бригаду, Рыжов успел только крикнуть Халецкому: «Рысью, вперед!»—и показать направление: полки должны были проезжать мимо Липранди, и Рыжов вполне надеялся на свою Юнону, что она их догонит.

Липранди удивился, увидев перед собой старого генерала с красным и потным лицом и сердитыми глазами.

— Прошу дать мне колонновожатого!—закричал Рыжов.—Я не знаю местности!

— Как так не знаете?—удивился Липранди.— Видите, вон—артиллерийский парк англичан?—указал он рукою на тот самый кавалерийский бивак, который изучал в трубу Рыжов.

— Парк?—удивился и Рыжов.—Значит, там парк?.. Прошу дать мне в провожатые вот капитан-лейтенанта!—кивнул он на Виллебрандта.— Как севастополец он знает, конечно, здешнюю местность.

— Простите, ваше превосходительство, я не могу с вами...—весьма решительно отказался Виллебрандт.

— Я приказал Уральскому полку итти вместе с вами...—сказал между тем Липранди.—И донской легкой батарее вас поддержать.

Рыжов невольно оглянулся, услышав в это время пронзительное гиканье и лихой топот: карьером мчался, справа по шести, Уральский полк.

— Я могу ехать с вами!—вдруг сказал какой-то капитан генерального штаба, бывший в свите Липранди.

— Благодарю покорно!—наклонился в его сторону Рыжов, взял под козырек, прощаясь с Липранди, и помчался догонять свою бригаду, стараясь в то же время не обгонять капитана и своего адъютанта, поручика Ко́рсакова.

3

Полки перешли уже на большую рысь, когда поравнялся с лейхтенбергцами Рыжов, но не больше как через полминуты Юнона, одна из резвейших лошадей во всей 6-й кавалерийской дивизии, догнала лошадь Халецкого, который вел бригаду в атаку.

Капитан свиты Липранди,—его фамилия была Феоктистов,—припав на скаку к луке, указывал блестевшей шашкой направление, наиболее удобное и короткое, но ряды мчались расстроенные.

Кусты виноградника, хотя низкие и довольно редкие, хлестали лошадей по ногам. Кое-где между кустами валялись убитые и тяжело раненные стрелки...

Свистел воздух около, но свистели и пели кругом пули шотландцев, рвалась картечь... Наконец скакать пришлось в гору, так как на высоком сравнительно месте расположилась английская кавалерия.

Поразило Рыжова, что она стояла неподвижно. Сам он скакал, как Мюрат, не вынимая сабли. Он уже различал впереди огромных всадников на огромных гнедых конях с черными гривами. То, что показалось Липранди артиллерийским парком, были простые обеденные столы между коновязей, отделявших эскадрон от эскадрона.

Уральцы опередили гусар.

В лохматых рыжих шапках, с пронзительным азиатским гиканьем, они уже гарцовали перед молчаливым плотным строем английских красных драгун, не решаясь все-таки врубиться в их стену.

Когда эскадроны пущены в атаку в карьер, их уже нельзя останавливать, чтобы не ослаблять силы их стремительного удара. Рыжов еще заранее приказал своим эскадронным командирам выноситься на скаку уступами влево; этого требовал развернутый строй английских драгун.

И вот, блестя поднятыми саблями, разгоряченные всадники неслись на разгорячившихся конях всесокрушающей на вид лавиной, а их встречала бригада тяжелых драгун Скарлета загадочной тишиной и опущенными клинками.

Первым доскакавшим эскадроном был эскадрон Войниловича. Он врубился в ряды англичан, и началась сеча.

Рыжов, отставший от Халецкого, чтобы руководить боем обоих полков, видел, как этот всегда хладнокровный и точный человек взмахнул над головой окровавленной уже саблей и как потом, через момент, брызнула на его широкий погон кровь из его левого уха, отрубленного английским клинком...

Но нельзя было смотреть на одного в общей свалке. Кругом звякали, скрещиваясь, сабли, кругом вскрикивали и хрипели люди, взвизгивали и грызлись кони...

Первый эскадрон веймарцев угодил с разгону как раз против коновязей и обеденных столов. Лошади, безудержно расскакавшись, прыгали через коновязи и опрокидывали столы...

Метнулся в глаза лейхтенбергец из молодых солдат, с очень знакомым, хотя и искаженным напряжением схватки лицом. В два сильных удара свалил он с коня огромного красного драгуна, напавшего на Войниловича.

— Молодец, Сорока!—бормотнул Рыжов, припомнив фамилию гусара.—Крест тебе, крест!..

И теперь, в разгаре сечи, не понимал он, как и прежде, зачем послал его бригаду в атаку Липранди. Англичане, видимо, тоже не поняли этого, почему и стояли на месте. Но бой был бой, раз он начался, и некогда уже было думать ни о чем другом, кроме боя.

Халецкий, зажав пальцами левой руки ухо, а ладонью—раненую шею, повернул коня в тыл, ища глазами кого-нибудь из эскадронных цырюльников—которые были также и фельдшерами,—чтобы сделать себе перевязку, остановить кровь; Войниловичже еще рубился...

Красномундирные огромные всадники на очень рослых и мощных красно-огненных с черными чолками и гривами конях держались стойко. Между тем уральцы почему-то носились взад и вперед далеко вправо, в стороне от боя, вместо того чтобы обскакать англичан и врезаться в них с их левого фланга.

Рыжов только что хотел послать к ним Ко́рса-

кова с приказом атаковать драгун, но, оглянувшись, увидел, что адъютант его бессильно припал к шее коня, раненный пулей в бок,—в крови был левый бок.

Рыжов повернул Юнону, чтобы помочь как-нибудь поручику, но вдруг Юнона сделала совершенно ненужный прыжок, до того неожиданный, что он едва усидел в седле, и стала валиться на землю, дав ему время только выхватить ногу из стремени.

Шотландская пуля попала ей в голову несколько выше глаза. Раза три жестоко ударилась она головою о землю и вытянула шею.

Юнона была у Рыжова пять уже лет, но некогда было тосковать о ней, шел бой, нужна была другая лошадь: нельзя было оставаться пешим командиру кавалерийской бригады во время боя.

Поручик Корсаков не падал со своего коня,— его можно было еще увезти в случае отхода к своим...

Но вот около самой головы Рыжова тесно пришлась голова вороной лошади. С нее спрыгнул унтер-офицер Захаров, которого четверть часа назад обещал он разжаловать в рядовые, и очень быстро, но четко сказал:

— Пожалуйте, ваше превосходительство, извольте садиться!

— Ага! Да!.. А ты как же?—спросил Рыжов, занося ногу в стремя.

— Найду себе, ваше превосходительство!.. Вот только седло сыму,—нагнулся он над Юноной.

— Брось! Что ты выдумал!—крикнул Рыжов, но тут же повернул свою новую лошадь и поскакал в сторону веймарцев, перед которыми начали уже пятиться красные драгуны.

— Урр-а-а!—кричал Рыжов, входя в азарт победы.

— Урр-а-а!—кричали веймарцы, а за ними и лейхтенбергцы, перед которыми тоже уже кое-где начали показывать черные хвосты своих коней англичане.

Захаров же не спеша, но привычно легко и ловко расстегивал ремни седла, бормоча при этом:

— Как же можно дать пропасть седлу генеральскому? Чудно́е дело!

Донская батарея, устроившись в тылу гусар, состязалась с английской полевой, но английские снаряды падали и туда, где скоплялись раненые гусары; пули же шотландцев становились все метче и злее.

Гусары гнали уже красных драгун, но подходили на выручку им шотландские стрелки, подъезжали ближе орудия...

— Труби отбой!—кричал трубачам Рыжов:— Аппель!

Трубачи, как петухи утром, подхватывали звуки «аппеля», но гусары в пылу сечи забыли, что такое там выговаривают звонкие трубы.

Полковник Войнилович за шиворот оттаскивал назад своего спасителя Сороку, а когда собрал первый эскадрон, то увидел в нем унтера Захарова верхом на огромном гнедом английском коне и с генеральским седлом, накинутым на переднюю луку английского седла.

Отступать после атаки, хотя бы и очень удачно проведенной, искусство гораздо более сложное, чем самая атака.

Халецкий, голову и шею которого наскоро бинтовал не цырюльник, а его же ординарец унтер Зарудин, заслышав трубы, по привычке вынул часы и проговорил:

— Ровно семь минут рубки.

Однако за эти семь минут рубки третья часть офицеров в полках оказалась выбывшей из строя, и сильно поредели ряды гусар.

Поддерживать в седле Корсакова Рыжов назначил было двух рядовых, но подъехал выпущенный им из виду капитан Феоктистов и сказал:

— Я могу помочь поручику; я не ранен пока...

— Где же вы были?—спросил удивленный Рыжов.

— Нечаянно попал в свалку, но уцелел,—спокойно ответил Феоктистов.

Перерубленный погон его мундира болтался, мундир спереди был забрызган кровью, хотя, видимо, не своей.

Когда спускались вниз, в долину, под певучими пулями шотландцев и турок эскадроны,—холодело между лопаток у Рыжова: вот-вот пустятся в карьер им вдогонку красные драгуны и начнут рубить, как капусту.

Но драгуны не двинулись с места. Слишком ошеломлен был генерал Скарлет лихим нападением русских гусар, и достаточно потерь было в его эскадронах, чтобы так круто переменить роли.

Уральцы передовыми были и при отступлении; прогарцовав в стороне до отбоя, они при первых же звуках труб двинулись назад большою рысью, не потеряв ни одного казака, ни одной лошади.

И чем ближе были свои и полная безопасность, тем злее становился Рыжов на Липранди и за этих бесполезных для дела уральцев и за вопиюще нелепую затею атаки, благодаря которой совершенно зря потерял он столько солдат и офицеров, и адъютанта, к которому привык, и Юнону, которую не продал бы и за большие деньги.

— Прошу подтвердить перед генералом Липранди,—сказал он, улучив минуту, Феоктистову,— что не артиллерийский парк мы атаковали, но, за неимением оного, только коновязи и столы!

4

Однако Липранди знал, зачем посылал гусар Рыжова в атаку. Предприятие это было дерзкое,— что и говорить, но оно и должно было показаться

неприятелю дерзким: оно должно было ошеломить его именно этим бьющим в глаза избытком силы и удали, которые бросаются как будто совсем ненужно щедро: оно должно было заставить задуматься.

Он предвидел, что против его дивизии будут стянуты немалые силы, и хотел выгадать время, чтобы перестроить свои для отражения атаки.

В разные стороны разослал он адъютантов, чтобы стянуть полки и батареи ближе к правому флангу, которому могла угрожать спешно спустившаяся в долину с Сапун-горы бригада генерала Винуа.

В зрительные трубы видно было, что солдаты этой бригады шли совсем налегке, без ранцев,— так спешил Винуа поскорее помочь англичанам.

Французская кавалерия,—африканские конные егеря под командой д'Аленвиля,—тоже мчались уже выручать Скарлета.

Французам было гораздо ближе, однако и английские дивизии подходили, спешно вызванные из лагеря под Балаклавой Рагланом.

Первыми пришли гвардейцы молодого герцога Кембриджского, за ними—дивизия старого и опытного генерала Каткарта, получившего известность своими удачными действиями в колониальных войнах.

Видя, что линия редутов уже потеряна, эти дивизии устанавливались у подошвы Сапун-горы, под прикрытие батарей Боске.

Войска стягивались отовсюду к левому флангу союзников и правому русскому флангу. Поэты сравнили бы их с тучами, которые ползут, клубятся, тучнеют, набухают, становятся лилово-черными, чтобы разразиться, наконец, молниями, громами и ливнем.

Бригада Рыжова стояла теперь на своей прежней позиции, но позади линии батарей, перегородивших по приказу Липранди всю долину от Комаров до Федюхиных высот в ожидании атаки союзников.

Бригада потеряла при отступлении еще несколько десятков человек от пуль и картечи, но не менее потеряли и драгуны Скарлета, запоздало кинувшиеся было в погоню за русскими гусарами: их встретили дружным огнем стрелки, рассыпанные в кустах впереди батарей, и они повернули обратно.

— Опять эти уральцы торчат перед нами, как шиши, благодарю покорно!—возмущенно говорил Рыжов Войниловичу, к которому перешло теперь командование Лейхтенбергским полком.

Уральцам приказал Липранди вытянуться развернутым фронтом шагах в сорока за батареями и шагах в пятидесяти от гусар, построенных в колонны к атаке.

— Они нас прикрывают теперь от всех напастей,—пытался улыбаться Войнилович.

Первым врезавшийся в гущу красных драгун, он чудесно вышел из сечи без царапины, и эта удача его очень ободрила,—ради нее он готов был извинить даже и уральцев.

Шестой эскадрон Веймарского полка был поставлен Липранди с правого фланга уральцев под прямым к ним углом, а три эскадрона улан полковника Еропкина—с левого фланга, укрыто за холмом, заросшим кустами. Получался как бы бредень из конницы, в мотне которого таилась бригада Рыжова.

Чтобы четвертый редут, покидаемый Одесским полком, как слишком удаленный, не был занят союзными батареями снова, Липранди приказал срыть вал и уничтожить все прикрытия на этом редуте, после чего отступать. Одессцы и сделали это не спеша, хотя их и обстреливали с Сапун-горы. Три орудия они сбросили с холма, как было приказано, но Раглану показалось, что русские отходят, потому что не могут держаться, увозят и английские пушки.

Он сделал простой подсчет: на Алме, у аула Бурлюк, после кровавого боя и больших потерь англичанам удалось захватить только два легких подбитых русских орудия, брошенных в эполементе за полным истреблением лошадей и прислуги при них; а здесь, где англичане чувствовали себя дома, вдруг неожиданно ворвавшись, русские захватили и увозят, отступая, не два, а одиннадцать крупных орудий, из которых восемь крепостных!.. Что будут писать после этого о нем, Раглане, «Таймс» и другие газеты Англии? Пусть виноваты в этом турки, бежавшие из редутов, но кто же посадил турок защищать редуты, как не он сам, Раглан, почти уже маршал Англии?

И Раглан тотчас же,—это было около полудня,—послал приказ графу Лукану, который командовал всей вообще конницей англичан.

Приказ этот был короток, ясен и прост: бросить вслед отступающим русским всю кавалерию, разбить их, занять их позицию и отнять увозимые ими английские пушки. Старый Каткарт получил тоже приказ закрепить успех конных полков.

Раглан считал стыдом для себя и для целой Англии обращаться за помощью к французам: победа над русскими должна была завершиться силами одних только английских полков.

Лукан тоже видел отход русских батальонов с четвертого редута; но вот отошли они и стали, и никаких следов отступления нигде в русских войсках. Куда же было пускать конницу в атаку?

Лукан медлил, время шло,—Раглан наблюдал с Сапун-горы бездействие своей кавалерии и бесновался.

От генерал-квартирмейстера Эри послан был к Лукану один из адъютантов, капитан Нолан, с запиской:

«Лорд Раглан желает, чтобы кавалерия, дви-

нувшись быстро, преследовала неприятеля и старалась во что бы то ни стало воспрепятствовать ему увезти наши орудия. Конная артиллерия может вам содействовать. Французская кавалерия — на вашем левом фланге. Немедленно».

Лукан прочитал приказ, огляделся кругом, всмотрелся в расположение русских и ничего все-таки не понял.

Французскую кавалерию слева от себя он видел, конную артиллерию справа от себя он тоже видел, но он не видел отступления русских и не знал, куда направить атаку.

И он сказал Нолану:

— Я не могу исполнить того, чего нельзя исполнить. Приказ для меня совершенно неясен.

— Как неясен?—удивился Нолан.—Нужно атаковать нашей кавалерией русских.

— Нельзя преследовать того, кто не отступает,—вы меня поняли?—сердился Лукан.—Я не вижу, чтобы русские увозили наши пушки... Куда же должен пустить я свою кавалерию?

— Туда, милорд!—Нолан решительно указал рукой на редуты.—Там наши враги, там наши пушки, которые должны быть отбиты вами.

Из двух бригад, которые были под командой графа Лукана, свежей была только легкая бригада Кардигана.

Кавалерия Англии тех времен была предметом совершенно исключительных забот, внимания и надежд правительства, общества и печати.

При майоратной системе, когда только первенцы наследовали своим отцам в обладании имениями, все прочие помещичьи сынки, покупая офицерские чины, охотнее всего поступали и принимались именно в кавалерию, где для них изобреталось столько должностей, что число офицеров в полках едва не равнялось числу простых солдат, взятых по вербовке. И каждый вступающий в семью офицеров кавалерии считал долгом чести ввести в конский состав полка лошадь исключительных качеств.

Ни в одной стране того времени культ лошади не был на такой степени высоты, как в Англии.

Конские состязания — дерби — воспринимались всею Англией, как национальный праздник, заставляющий в этот день жить одною жизнью и лордов, и их поваров, и горничных, и миллионеров Сити, и последних уличных нищих, словом, как принято было говорить тогда: «весь свет и его жену» (all the world and his wife).

Когда несколько кровных лошадей английской кавалерии утонуло при высадке десанта, об этом писали во всех английских газетах, как о большом несчастьи.

Дерзкая атака русских гусар стоила также не одного десятка этих великолепных животных, а запальчивость Скарлета, бросившегося вдогонку за уходившей бригадой Рыжова, значительно увеличила число выбывших из строя коней. И вот теперь совершенно безумный приказ лорда Раглана ставил под удар русских пушек и стрелков и человеческую знать Англии и конскую знать.

Когда гусары Рыжова атаковали тяжелую конницу Скарлета, легкая кавалерия лорда Кардигана,—бригада в пять полков по два эскадрона в каждом,—стояла во второй линии, в резерве, и ничем не помогла красным драгунам, даже не двинулась с места. Даже когда капитан Моррис, командир уланского полка, сам просился итти на помощь драгунам, Кардиган отказал ему в этом.

Как и Скарлет, Кардиган, дожив до пятидесяти семи лет, совсем не имел военного опыта и не участвовал ни в одном сражении. Бой на Алме был первый виденный им бой, и воспринимал он его только издали, как любой зритель.

Теперь после того, как бригада Скарлета понесла потери, она была отправлена во вторую линию, а в первой стояли пять полков Кардигана.

К ним подъехал вместе с Нолаком граф Лукан, когда Раглан повторил свое приказание.

— Вы должны бросить свою бригаду в атаку на... русскую кавалерию,—сказал Кардигану Лукан.

Быть может, это было неожиданно даже для самого Лукана, что с языка его сорвалось слово «кавалерия»: в приказе Раглана не было этого слова, однако в приказе этом не было указано и вообще никакого определенного пункта для атаки.

— Значит, я должен пустить бригаду этой долиной?—указал Кардиган в ту сторону, где стояли за жидкой оградой уральцев плотные колонны гусар Рыжова.

— Да, именно этой долиной,—подтвердил Лукан, так как не видел возможности для конницы скакать на редуты.

— Мы попадем в мешок,—сказал возмущенно Кардиган.—Вы видите, надеюсь, батареи русских против нашего фронта, а на обоих флангах еще батареи и стрелков?

— Вижу,—ответил Лукан.—Но что же делать? Нам с вами не остается ничего другого, как только исполнить приказ главнокомандующего.

При этом разговоре двух генералов присутствовал и капитан Нолан. То, что говорилось о долине и русской кавалерии, показалось ему полным извращением приказа Раглана. Ведь приказано было отбить английские пушки, которые были еще там, в стороне редутов.

И он поскакал слева направо перед фронтом, указывая рукой на третий редут и крича:

— Туда! Туда!

Это было картинно, но пущенная со стороны третьего редута граната разорвалась около Нолана, и ударило его в голову осколком.

Испуганный конь помчал его, залитого кровью

и мозгом и запутавшегося ногами в стременах, далеко прочь от фронта, но это прозвучало для колебавшегося Кардигана категоричнее приказа главнокомандующего. Он подбросил голову, сказал Лукану: «Мы пойдем!»—выхватил саблю и прокричал командные слова атаки.

5

Гусары—лейхтенбергцы и веймарцы—отдыхали после атаки.

Удачна она была или нет, но она была произведена ими безотказно, и отдых свой они считали заслуженным.

Больше того: они полагали, что сражение вообще окончено,—уже час с лишним стояли они как бы в резерве.

Офицеры спешились. Даже сам Рыжов слез со своего нового коня размять затекшие старые ноги.

Он спросил унтера Захарова, какое имя носит этот конь, чтобы и он знал, как надо к нему обращаться. Но бравый унтер, с опасностью для собственной жизни спасший генеральское седло от погибели, несколько замялся с ответом, наконец, сказал как-то, пожалуй, даже стыдливо:

— Так что, ваше превосходительство, жеребец мой всем справный, а имя дали ему вроде как совсем незавидное.

Оказалось, что жеребца звали «Перун», но солдаты по-своему переделывали все пышные имена коней, какие придумывали для них офицеры. И вместо кобылы «Дарлинг», например, получалась кобыла «Дарья», вместо «Марии Терезии»—«Марья Терентьевна»... В этом же роде, простонародно, только совсем неудобопроизносимо, переименовано было и звучное имя «Перун».

Все-таки Рыжов, несмотря на такое неприличное имя коня Захарова, обещал добродушно этому бравому унтеру внести его в список отличившихся во время боя гусар.

Ординарец же Халецкого, который стоял теперь в строю, в первом ряду первого эскадрона, оказался спасителем командира полка: он схватил за грудки того английского драгуна, который ранил Халецкого, и с первого удара своей златоустовской саблей перерубил его латы, а со второго зарубил насмерть.

Это был тот самый богатырски сложенный и большой военной сметки гусар, который захватил в плен близорукого полковника генерального штаба Ла-Гонди перед сражением на Алме, за что получил от Меншикова полтораста рублей ассигнациями и крест.

Теперь Рыжов обещал ему второй крест.

И Сороку не забыл он и его поздравил с будущим крестом, но все-таки осмотрел его лошадь со всех сторон. Никаких грязных пятен на ней теперь не оказалось.

— Когда же ты успел ее вычистить, Сорока?—спросил Рыжов.

— Никак нет, ваше превосходительство, не чистив,—простосердечно ответил Сорока.—Так что сама собою обчистилась.

И небо было чистое, голубое. Стрельба из пушек редкая. Казалось всем, и самому Рыжову, что едва ли что-нибудь еще разыграется в этот день.

И вдруг тревожные крики со стороны батареи донцов:

— Кавалерия с фронта!.. Кавалерия с фронта!..

Это вихрем мчалась по долине прямо на них бригада Кардигана. Некогда было даже и вглядываться и прикидывать на глаз число эскадронов; впору было только вскочить самим в седла.

Беспорядочную пальбу открыли штуцерные там, впереди; два-три заряда картечи успели выпустить донцы; но полки англичан мчались таким бешеным аллюром, что это не остановило и не могло остановить их.

Вот они уже налетели на батареи донцов и начали рубить прислугу и заклепывать орудия, чтобы увезти с собою на обратном пути.

Жидким строем стоявшие уральцы повернули коней и кинулись на лейхтенбергцев. И так недавно еще рубившиеся с красными драгунами лейхтенбергцы не выдержали этого напора. Кто-то бессмысленно крикнул «ура!»—другие подхватили, и все беспорядочной массой нажали на веймарцев...

За веймарцами дальше был деревянный мост через Черную речку, над водопроводом, доставлявшим воду в севастопольские доки. Перед самым мостом с этой стороны стояла конная батарея 12-й дивизии.

Видя панику уральцев и гусар, мчавшихся к мосту, желая спасти орудия, артиллеристы повернули лошадей к тому же мосту, чтобы проскочить на другой берег Черной.

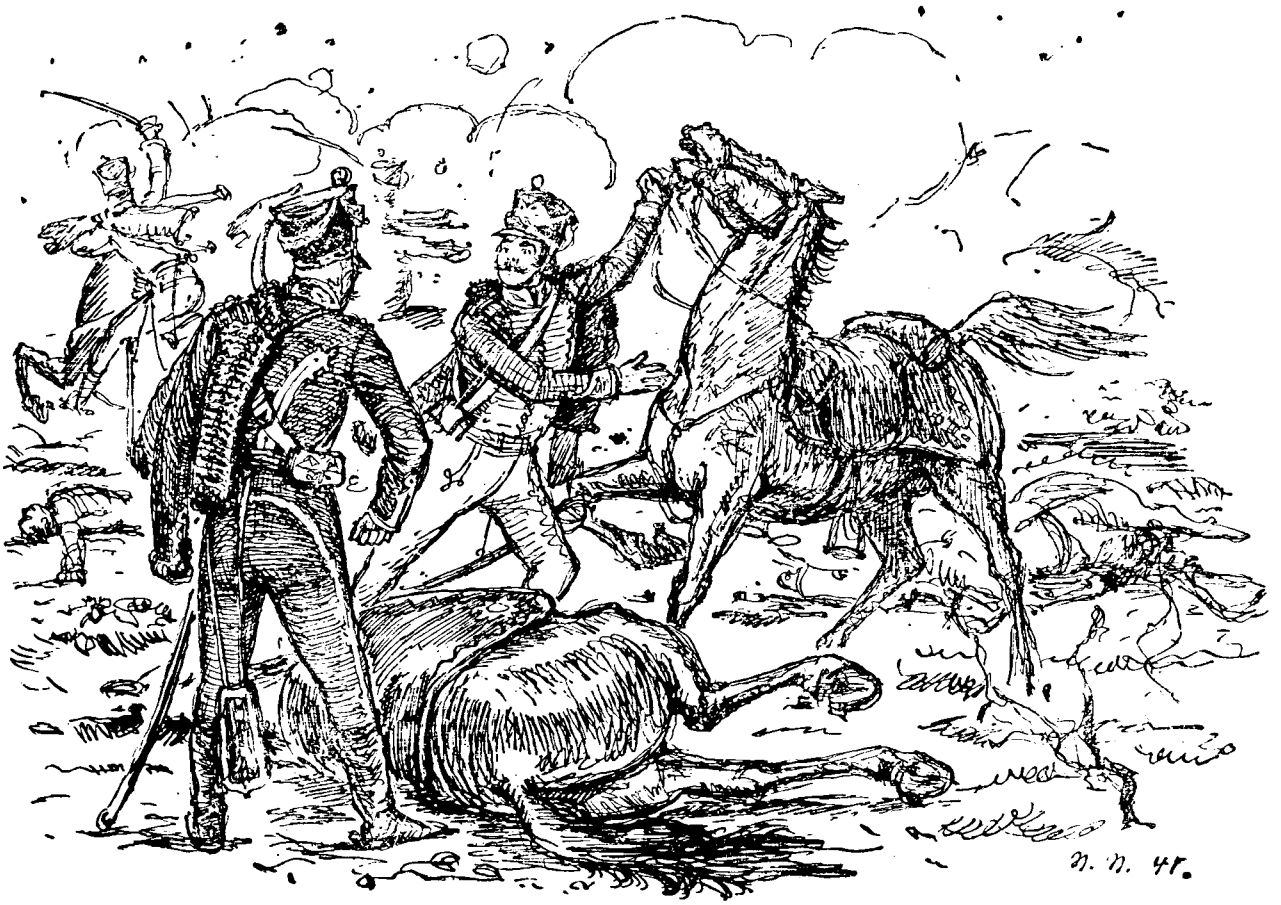
Но сюда же мчались и казаки донской батареи, огибая беспорядочно толпившихся и кричавших гусар. Донцы спасали только себя, упряжки и передки, орудия же были ими брошены на позиции.

Домчавшись до моста раньше веймарцев, артиллерия загвоздила мост. Иные гусары гнали коней просто в воду, хотя берега Черной были тут очень топки, другие же остановились поневоле; эскадроны англичан наседали на плечи и рубили,—нужно было защищаться.

Напрасно, выпучив от ужаса глаза и надрываясь до хрипа, кричал Рыжов:

— Куда-а?.. Братцы, стой-ой!—его, командира бригады, теперь уже никто не слушал.

Он видел, как недалеко от него хотел было собрать своих лейхтенбергцев полковник Войнилович, но только унтер Зарудин конь о конь с ним



бросился навстречу английским уланам, и оба они были мгновенно смяты и пронизаны пиками у него на глазах.

Тогда он выхватил саблю. Он перестал уже самому себе казаться Мюратом. Как ни неожиданно свалилась гибель на его гусар, он обвинял в ней себя и хотел бросить Перуна в ряды англичан. Он искал смерти.

Однако Перун не шел вперед, он упирался, пагнув голову,—потом рванулся в сторону за каким-то гнедым конем: это Захаров дернул его по-хозяйски за поводья, чтобы выхватить своего генерала из злой сечи.

Все кругом неразборно перепуталось и смешалось: уральцы в рыжих шапках, лейхтенбергцы в черных ментиках, уланы и гусары Кардигана, сабли и пики, лошади разных мастей... Орало, гоготало, визжало, стонало, звякало, стреляло из пистолетов и карабинов, гулко топало копытами по дереву моста, звонко сваливалось в воду, вязло в пожелтелых чащах осоки на речке...

Батальон Украинского полка, стоявший в резерве за речкой, и рота,—прикрытия обоза 12-й дивизии, не открывавшие огня, чтобы не перестрелять своих,—стали в каре и ощетинились штыками для встречи неприятельской кавалерии, как это было предписано уставом полевой службы.

И большая часть передового эскадрона англичан сгоряча проскочила уже по мосту на другой берег, гоня перед собою казаков и гусар, но Кардиган понял, что чем дальше заберется он в расположение русских, тем труднее будет ему возвращаться обратно, и теперь уже английские, а не русские трубы трубили отбой.

Однако и Липранди заметил, что безумно-стремительная атака английской конницы не поддерживается почему-то ни артиллерией, ни пехотой.

С холма, на котором он стоял, он видел полный разгром донцов, уральцев и гусар Рыжова. У него оставался только сводный полк улан Еропкина. К нему он послал Виллебрандта: уланы должны были отстоять честь русской кавалерии,—ударить во фланг англичанам, когда придется им отступать.

Батальоны Одесского полка придвинулись на ружейный выстрел из гладкоствольных; стрелки-штуцерники стянулись спешно к тому склону долины, по которому промчались эскадроны Кардигана; легкие батареи выстроились за стрелками с той и другой стороны.

Можно было думать, впрочем, и так, что Кардиган будет возвращаться какою-либо другой дорогой и тем совершенно спутает карты Липранди.

Но было великолепное презрение к опасности у этого пятидесятисемилетнего лорда, или просто отуманил его легкий успех, одержанный над русскими: именно по тому же самому пути, уже усеянному трупами своих убитых людей и лошадей, в порядке, изумительном для отступающей кавалерии, совершенно как на учении близ лагеря, возвращалась сильно уже поредевшая легкая бригада, и офицеры-уланы полка Еропкина, глазами знатоков кавалерийской службы наблюдая этот обратный марш, переглядывались удивленно, даже готовясь к своему фланговому удару.

Кардигану пришлось забыть о заклепанных, готовых к увозу в английский стан орудиях донцов, мимо которых он несся теперь; предварительные команды: «По отступающей кавалерии вдогонку пальба ротою»—отзвучали уже в ротах одессцев; теперь раздавались только короткие исполнительные: «Рота... пли!»

Залп следовал за залпом. Одиночные стрелки-штуцерники развили самый частый огонь. Картечь рвалась над головами скакавших... Пройденный путь оказался теперь крестным путем.

Через головы убитых или тяжело раненных коней летели всадники, кони скакали, волоча всадников, которые были тяжело ранены или убиты...

Наконец, выждав свой момент, кинулись из засады во фланг отступавшим с пиками наперевес, по-эскадронно, уступами, три эскадрона сводных улан.

Кое-кто из солдат Одесского полка принял их за англичан тоже потому, что были они на разномастных лошадях, чего в русской коннице не допускалось; в них полетело несколько своих пуль, и оказались убитые лошади и раненые люди; это произвело замешательство в уланах и спасло не одного из английских кавалеристов.

Но атака все-таки произошла и была сокрушительной. Началась жестокая схватка. Даже отрезанные англичане не сдавались в плен, и часть их все-таки пробилась.

За самим Кардиганом погналось было несколько человек улан, но конь его был известный всей Англии дербист, лауреат ипсонских скачек; он умчал своего хозяина, неудержимо махавшего влево и вправо саблей, и мчал его так стремительно, что оказался далеко впереди жалких остатков легкой бригады, добравшихся до английских позиций.

Под начальством Кардигана было до тысячи прекрасных всадников на породистых конях в начале его безумной атаки, и всего около двухсот, из которых только третья часть была нераненых, в конце. Легкая кавалерия англичан перестала существовать.

Наблюдавший рядом с Рагланом начало и конец действий этой конницы генерал Боске сказал ему:

— Я ничего и никогда не видел великолепнее сегодняшней атаки, но, к сожалению, так совсем нельзя воевать!

6

Французская кавалерия в этот день воевала более расчетливо. Это была бригада знаменитых африканских конных егерей под командой генерала д'Алонвиля. Она одержала немало побед над алжирскими кабилами во время восстания Абд-эль-Кадера. Овеянные своею мировой славой, егеря помчались в атаку немного позже Кардигана. Им было приказано нанести поражение отряду Жабокритского на Федюхиных высотах, артиллерия которого очень досаждала союзникам.

Д'Алонвиль разделил свою бригаду на два отряда, чтобы одним уничтожить артиллерийскую прислугу, другим—пехоту.

Атака обоих отрядов егерей была стремительна, но два неполных батальона владимирцев,—все, что осталось от полка после сражения на Алме, встретили африканцев таким сосредоточенным огнем, что д'Алонвиль счел за лучшее повернуть обратно.

Эта атака помогла остаткам конницы Кардигана проскочить остаток их пути—около четвертого редута,—где они могли бы быть совершенно истреблены батареями с Федюхиных высот, но зато вывела из строя до полусотни егерей д'Алонвиля.

Так закончилось к часу дня дело под Балаклавой, единственное в своем роде.

Как флот союзников после 5/17 октября больше уже ни разу всей своей массой не подходил к грозным севастопольским фортам с желанием помериться с ними силой, так и конница ярко блеснула через неделю после того на Балаклавской долине как будто только затем, чтобы потом совершенно угаснуть и предоставить дело войны только сухопутной артиллерии и пехоте.

Перестрелка в тот день тянулась еще часа три, но была уже выдыхающаяся, вялая, бесцельная.

Собрались и выстроились в боевой порядок дивизии союзников, но оба главнокомандующих согласились с тем, что силы их слабы для наступления, и отвели наконец войска, уступив поле сражения русским.

Раглан был под тяжелым впечатлением полного истребления бригады Кардигана и боялся еще значительнее увеличить свои потери. Неудача этого дня поразила старца чрезвычайно.

— Как могли вы атаковать русскую батарею с фронта вопреки всем решительно правилам войны?—сильно повысив голос, спрашивал он Кардигана.

— Я только подчинялся правилам воинской дисциплины,—отвечал Кардиган.—Мне было приказано это сделать графом Луканом.

— Так значит, это вы, вы, милорд, погубили нашу легкую бригаду?—обратился Раглан к Лукану.

— Но ведь я только передал лорду Кардигану ваш же категорический письменный приказ!—отвечал Лукан.

Меншиков, наблюдавший за ходом сражения издали, от Чоргуна, откуда далеко не все было для него ясно, появился на позициях, занятых Липранди, только тогда, когда артиллерийская пальба совершенно утихла, когда Виллебрандт, посланный к нему, в самых ярких красках изобразил ему успехи русских войск.

Виллебрандт всегда казался Меншикову наиболее пустым из его адъютантов. Между прочим, это он почему-то отстаивал мнение, что крупные линейные корабли союзников ни за что не пройдут в узкие ворота Балаклавской бухты. Но он попал к нему в адъютанты по желанию сына царя, Константина, «августейшего начальника флота». Зная способность этого капитан-лейтенанта слишком увлекаться во время изложения даже совершенно мизерных событий, Меншиков тем более не вполне доверял ему теперь. Но оставалось бесспорным то, что 12-я дивизия не отступала, как армия на Алме, одно это приходилось уже считать видным успехом.

В Меншикове рождалось странное для него самого чувство. Не то чтобы это была мелкая зависть к генералу Липранди, которому удалось то, чего не добился он,—одержать успех над союзниками в открытом поле,—нет, конечно; все-таки совершенно наперекор своему желанию казаться обрадованным победой Меншиков придирчиво присматривался ко всему кругом, что он видел, когда подъезжал к мосту через Черную речку.

На перевязочном пункте, приткнувшемся около обоза, ему показалось прежде всего слишком много раненых,—гораздо больше, чем можно было предположить, судя по рассказам Виллебрандта. Поток раненых еще не прекратился,—кто шел сам, кого несли на руках. Больше было раненных в лицо и голову теми самыми саблями, по поводу которых так еще недавно, на балу в Бородинском полку, пытался он острить, что их полгода точили, перетачивали и дотачивали в разных городах Англии.

Мост через Черную ясно говорил о кровавой схватке на нем. Между кустов острой, как сабли, рыжей осоки, барахталась, разбрызгивая грязь, и ревела, как бык, подстреленная кавалерийская лошадь... Какие-то колеса торчали из воды на мелководье...

Среди других трупов русских солдат бросился в глаза светлейшего раскинувшийся на пригорке труп знакомого ему унтер-офицера богатыря Зарудина.

Приостановив лошадь, он по-стариковски покачал головой, обращаясь укоризненно к Виллебрандту.

— Вот какого молодца потеряли мы, а вы мне говорите!..

— А разве из убитых англичан мало молодцов, ваша светлость? Мы сейчас будем ехать мимо них... Их несколько сот валяется, если не вся тысяча!—успокаивал его возбужденно Виллебрандт.

Действительно, дальше все гуще и гуще лежали трупы гусар, драгун и улан Кардигана, и все это был очень рослый, красивый, видимо, тщательно подобранный народ в красивых мундирах. Породистые крупные лошади как раненые, так и здоровые, но потерявшие своих хозяев, бродили, опустив к земле шеи, около тел или сходились кучками и медленно кивали головами, может быть, то же самое думая, что думал и старый светлейший над трупом бравого Зарудина.

Ожидавший приезда главнокомандующего удачливый генерал Липранди подъехал к нему с готовым уже рапортом и, передавая бумажку, отчетливо перечислил все подвиги своего отряда в этот день: взяты редуты, одно турецкое знамя, одиннадцать орудий, шестьдесят патронных ящиков, турецкий лагерь, шанцевый инструмент и прочее; сосчитанные потери противника: сто семьдесят турок, убитых в штыковом бою при занятии редута № 1; прочие потери противника, так же как и свои потери, приводятся в известность; в плен взято шестьдесят англичан, из них три офицера.

Несмотря на несомненно пережитые им кое-какие тревоги этого дня, Липранди имел, к удивлению Меншикова, свой обыкновенный вид человека, у которого, как у ротного фельдфебеля, в голове всегда и при любых обстоятельствах должно быть ясно и бывает ясно.

Безукоризненно фронтовой, сидел ли он на коне, или был пешим, генерал этот почему-то был неприятен Меншикову, и ему все хотелось найти в нем какие-нибудь явные недостатки, а в том, что он отрапортовал так отчетливо по-строевому,—какую-нибудь подтасованность или просто фальшь.

После рапорта он пожал ему как мог крепко руку своей большой, но холодной рукой; он сказал ему даже как будто растроганно:

— Благодарю вас, Павел Петрович, искренне благодарю вас!.. Вы очень, очень обрадуете государя этой победой... очень!

Он даже приветливо улыбнулся при этом, именно так, как, по его же собственному представлению, улыбался бы заждавшийся победы русского оружия над союзными силами сам Николай.

Но в то же время он переводил глаза с правильного, как будто тоже вытянутого во фронт, моложавого лица Липранди на весьма некрасивое, даже несколько курносое, как-то уж очень подчеркнуто простонародное пожилое лицо Семякина, и ему,—пока еще как-то неясно, почему именно,—хотелось, чтобы героем этого дня был не ясноголовый, проглотивший аршин Липранди, а сутуло-

ватый и угловатый, не имеющий никакой выправки Семякин.

— Шестьдесят англичан, вы говорите, сдались? Нераненых?—спросил он не без задней мысли Липранди.

— Большей частью раненые, ваша светлость, а из офицеров один не англичанин даже, а сардинец, адъютант самого Раглана,—ответил Липранди.

— А-а! Вот как! Раглана!.. Вы мне его потом покажете... Однако наши гусары бежали от английских, как я это видел из Чоргуна.

И Меншиков сделал при этом свою привычную гримасу.

— Они их заманивали в ловушку, ваша светлость,—невозмутимо объяснил Липранди.—Не совсем умело сделали это и пострадали при этом, но что же делать: без этого не удалось бы так чисто уничтожить англичан.

Меншиков внимательно смотрел на него и думал, сделал ли он сам ошибку, что не доверил ему всех сил, какие были у него на Бельбеке, или не сделал.

Собственно этот вопрос и мучил его с тех пор, как Виллебрандт примчался к нему вестником победы: не упустил ли он счастливого случая, который, может быть, и не повторится? Если так удачно захвачены редуты и деревня Комары в тылу англичан, то ведь, развивая этот успех при более крупных силах, может быть, можно было захватить в этот день и Кадык-Кой и Балаклаву? А если в это же время сделать вылазку большею частью сил севастопольского гарнизона, то, может быть, союзникам пришлось бы подумать и о посадке на свои суда, и была бы окончена Крымская война?

Когда Липранди обратился к нему,—не пожелает ли он посмотреть редуты, отнятые у союзников, Меншиков внешне с большой готовностью отозвался:

— Непременно, непременно посмотрю!—и помахал слегка плеточкой около правого глаза своего тихоходного коня, чтобы он прибавил ради такого предлога рыси.

Но вопрос, овладевший им, продолжал торчать в нем и требовать ответа. Первый редут, с которого начали осмотр, удивил Меншикова высотой и крутизной холма, на котором он был построен. Когда же узнал он от Липранди, что своих азовцев вел на приступ лично Семякин, князь нелицемерно расцвел, поздравляя угловатого командира бригады.

— Где вы получили образование?—спросил он Семякина.

— В академии генерального штаба, ваша светлость,—несколько выпрямился сообразно с требованием момента Семякин.

— А-а!.. Вот видите, да... генерального штаба! Я почему-то именно так и думал,—пристально и благосклонно оглядывал его Меншиков.

Теперь ему показалось вдруг, что он нашел решение своего вопроса. Успех этого дня принадлежит совсем не щеголю Липранди, а вот этому генерал-майору, такого невзрачного вида, но академику и имеющему большой уже военный опыт, которого, между прочим, не имел никто из его адъютантов.

Дело было в том, что в последние дни он начинал уже склоняться к мысли о главном штабе, так как был уже назначен главнокомандующим армиями Крыма,—звание, которого официально он не имел раньше. Но он затруднялся найти себе начальника штаба. И вдруг именно здесь, на холме Канробера, ему показалось бесспорным, что более подходящего на эту должность, чем бригадный генерал Семякин, он не найдет.

Он подробно расспросил Семякина о его прежней службе. Он сознавался самому себе, что несколько отстал от современных требований, как вождь сухопутных армий, что помощь в этом нужна была ему, конечно, а перед ним был боевой генерал-майор, как оказалось, речистый, несмотря на свою угловатость, и, видимо, деловой.

Решение взять Семякина в начальники своего будущего штаба зрело в Меншикове, когда он поднимался на холм и входил в редут. Но вот он увидел груды тел убитых турок и солдат-азовцев, поморщился и сказал Липранди тоном приказа:

— Закопать надо!

— Если, ваша светлость, нас не вздумают ночью выбить отсюда, то завтра же закопаем,—ответил Липранди.

Этот ответ не понравился князю.

— Выбить?.. Как так выбить отсюда?—повысил он голос.—Нет-с, этих редутов уступить нельзя! Я прикажу придвинуть сюда к ночи бригаду драгун. Сам я тоже останусь здесь, в Чоргуне,—здесь и на будущее время будет моя штаб-квартира... Нет, редутов этих мы никому не отдадим!.. Мы можем их не занимать сами,—это другое дело. Но все трупы из них вынести и закопать непременно.

Поглядев еще раз на убитых, он спросил вдруг Семякина:

— А если бы в редутах сидели не турки, то, как вы полагаете, были бы они взяты?

— Они потребовали бы тогда гораздо больше жертв с нашей стороны, но все-таки были бы взяты сегодня,—очень твердо ответил Семякин, и Меншиков вышел из редута, также очень твердо решив, что начальник его будущего главного штаба им счастливо найден, но счастливый случай захватить с боя Балаклаву потерян, потому что едва ли можно уж было теперь надеяться встретить на ответственных местах укрепленной линии союзников турок.

Он остался действительно ночевать в Чоргуне,—в первый раз за целый месяц не на биваке, а в доме, какой его адъютанты нашли более удоб-

ным. А на другой день по его приказу из Севастополя произведена была вылазка двумя полками—Бутырским и Бородинским—на Сапун-гору. Полки эти должны были поддержать отряды Липранди и Жабокритского, чтобы выбить корпус Боске с Сапун-горы. Но вылазка не удалась, и оба полка вернулись в Севастополь с большими потерями, Боске же с этого дня начал усиленно укрепляться.

Однако отобрать редуты на холмах, которые Меншиков приказал на картах обозначить, как «Семякины высоты», союзники тоже не покушались.

7

Казаки в Чоргуне продавали офицерам переловленных ими английских лошадей по дешевке: за три, за два империала, иногда и за один. А когда до Англии дошла злая весть о гибели легкой конной бригады Кардигана, возмущению газет не было меры.

Спасшегося от смерти благодаря только быстроте бега своей лошади Кардигана обвиняли в том, что он позорно бросил свой отряд и бежал с поля сражения гораздо раньше, чем его кавалерия доскакала до русских орудий. Его отставили от командования легкой конной бригадой,—впрочем, ему уж некем было и командовать.

Лорд Лукан, травимый газетами, вынужден был просить, чтобы наряжена была комиссия для расследования его действий в этом злополучном для англичан сражении.

Правительство спешно снимало полки из гарнизонов Мальты, Корфу, Пирея, Дублина, Эдинбурга; их сажали на пароходы и отправляли в Крым; но газеты не удовлетворялись этими мерами, они писали, что это только капли на горячий камень. И это писали те же самые журналисты, которые за месяц до того уверяли английскую публику, что Севастополь—совершенно картонный город и рассыплется при первых же залпах английских пушек.

Необычное волнение и в Париже вызвали депеши об успехе русских войск под Балаклавой. Как ни старался братец Наполеона граф Морни сохранить спокойствие на бирже, она отозвалась на это событие понижением курса почти на франк.

Издатели иллюстрированных журналов, заранее заготовившие рисунки Густава Доре и других известных тогда художников, изображающие величественный приступ французских войск, отчаянный штурм и взятие Севастополя, конфузливо спрятали эти иллюстрации в долгий ящик.

Султан Абдул Меджид предал военному суду бежавшего из редутов со всем своим отрядом генерала Сулеймана-пашу. Под давлением английского посланника в Константинополе, лорда Радклифа, суд приговорил Сулеймана-пашу к смертной казни. «По неизреченному милосердию своему», султан смягчил этот приговор,—разжаловал осужденного в рядовые на семь лет.

В Петербурге вестником победы под Балаклавой был Виллебрандт. Он явился в гатчинский дворец с донесением Меншикова рано утром, когда царь был еще в постели. Несколько дней он скакал на перекладных по осенне-звонким и осенне-грязным, но одинаково ухабистым дорогам без отдыха и без сколько-нибудь продолжительного сна, так как ухабы и кочки не давали заснуть во время езды, поминутно и жестоко встряхивая тележку.

Едва только успев сдать донесение светлейшего дежурному генералу для передачи царю, Виллебрандт свалился в мягкое кресло и уснул, как убитый.

Николай поднялся, как всегда, рано. Донесение Меншикова о победе так обрадовало его, что он тут же захотел расспросить адъютанта светлейшего о подробностях боя; но Виллебрандта никто не мог добудиться.

Его трясли за плечи, всячески тормошили, щекотали за ушами и подмышками, наконец, стащили с кресла на пол,—он даже и не мычал в ответ, как это принято у крепко спящих; стащили на пол,—он продолжал спать и на полу.

— Я его разбужу сейчас сам!—весело сказал Николай, вышедший на эту возню с мертвецки сонным адъютантом из своего кабинета.

Он наклонился, насколько позволил это ему громадный рост, и гаркнул в лицо спящего:

— Ваше благородие! Лошади поданы!

— А, лошади? Счас!—и Виллебрандт вскочил и испуганно замигал белыми ресницами, разглядев перед собой самого царя.

Но он проснулся уже не капитан-лейтенантом, а полковником артиллерии и флигель-адъютантом. Он сделал скачок через чин, как до него сделал то же самое Сколков, очевидец Синопского боя, так же точно посланный к царю Меншиковым, а немного позже Сколкова восемнадцатилетний прапорщик Щеголев, отстаивавший с четырьмя мелкими орудиями Одессу от обстрела союзной эскадры и произведенный за это сразу в штабс-капитаны.

При личном докладе царю о сражении Виллебрандт дал полную волю своей живой фантазии.

У него лейхтенбергцы и веймарцы не бросились в беспорядке толпою на мост под натиском англичан, а «встретили их по-хозяйски и тесали их саблями без всякого милосердия!» У него командир сводных улан полковник Еропкин, имея саблю в ножнах, «так свистнул кулаком по башке одного англичанина, что тот кувыркнулся с лошади замертво и потом попал к нам в плен...»

После подобного доклада Николай расчувствованно расцеловал Виллебрандта и оставил его во дворце обедать, как следует выспаться, а на

другой день скакать снова в Севастополь с письмом Меншикову.

«Слава богу! Слава тебе и сподвижникам твоим, слава героям-богатырям нашим за прекрасное начало наступательных действий!—писал царь светлейшему.—Надеюсь на милость божию, что начатое славно довершится так же.

Не менее счастливит меня геройская стойкость наших несравненных моряков, неустрашимых защитников Севастополя... Я счастлив, что, зная моих моряков-черноморцев с 1828 года, быв тогда очевидцем, что им никогда и ничего нет невозможного, был уверен, что эти несравненные молодцы вновь себя покажут, какими всегда были и на море и на суше. Вели им сказать всем, что их старый знакомый, всегда их уважавший, ими гордится и всех отцовски благодарит, как своих дорогих и любимых детей. Передай эти слова в приказе, и флигель-адъютанту князю Голицыну вели объехать все экипажи с моим поклоном и благодарностью.

Ожидаю, что все усилия обращены будут англичанами, чтоб снова овладеть утраченною позицией; кажется, это несомненно, но надеюсь и на храбрость войск и на распорядительность Липранди, которого ты, вероятно, усилил еще прибывающими дивизиями, что неприятелю это намерение недаром обойдется.

Вероятно, дети мои прибудут еще во-время, чтобы участвовать в готовящемся; поручаю тебе их; надеюсь, что они окажутся достойными своего звания; вверяю их войскам в доказательство моей любви и доверенности; пусть их присутствие среди вас заменит меня.

Да хранит вас господь великосердный!

Обнимаю тебя душевно; мой искренний привет всем. Липранди обними за меня за славное начало...»

Одновременно с этим письмом Николая императрица также писала Меншикову. В ее письме было только повторение просьбы ее, уже высказанной раньше и присланной с другим фельдъегерем,—беречь великих князей. Это было чисто материнское дополнение к воинственному письму ее мужа.

В те времена при петербургском дворе, как, впрочем, и во всей тогдашней Европе, процветал месмеризм [1], называвшийся по-русски «столоверчением». Устойчиво верили в то, что можно вызывать души умерших и даже беседовать с ними на разные текущие темы, предполагая в них, как «бесплотных и вечных», безусловное знание настоящего и будущего тоже.

У иных это странное препровождение времени каким-то непостижимым образом связывалось с неплохим знанием точных наук, с чисто деловым складом мозга, с обширными практическими предприятиями и заботами, которыми они были заняты всю жизнь.

К этим последним принадлежал, между прочим, талантливый инженер-генерал Шильдер, учитель Тотлебена, умерший при осаде Силистрии от раны.

Этот старый сапер, отлично умевший делать укрепления разных профилей, проводить мины и контр-мины и взрывать камуфлеты, очень любил «вызывать» дух Александра I и беседовать с ним часами.

Однако и во дворце Николая,—правда, на половине императрицы,—тоже часто беспокоили усопшего в Таганроге «Благословенного» вопросами о том, что готовит ближайшее будущее.

После того, как отправлен был в обратный путь Виллебрандт,—уже как флигель-адъютант и полковник,—на половине императрицы, беспокоившейся не столько об участи Севастополя, сколько о безопасности своих двух сыновей, Николая и Михаила, выехавших в это время от Горчакова к Меншикову, состоялось таинственное столоверчение, и вызывался, по обыкновению, дух Александра.

Предсказания его на ближайшее будущее были вполне успокоительны и благоприятны.

Даже когда отважились задать ему вопрос, когда и чем именно закончится война, он, отвечавший раньше на такие вопросы очень неохотно и уклончиво, ответил решительно, что окончится скоро и со славой для России.

Это предсказание немедленно было сообщено Николаю.

8

Между тем Меншиков, может быть даже более, чем сам Николай, был взбодрен неожиданным и дешево стоявшим успехом Липранди.

По самым подробным спискам потери оказались небольшие,—всего пятьсот пятьдесят человек, в то время как вдвое, если не втрое больше потеряли союзники. А главное, они после этого дела значительно ослабили обстрел Севастополя, справедливо опасаясь за свой тыл.

Меншиков понимал, конечно, что Раглан и Канробер все усилия клали теперь на укрепление своего лагеря, особенно подходов к Балаклаве. Это он знал и из допросов перебежчиков, хотя к тому, что говорили перебежчики, всегда относился без особого доверия. Очень скрытный вообще,—что было свойственно старому дипломату,—во всех вопросах, касавшихся его военных планов, он часто один, с ординарцем-казаком, подымался на лошаке на высокий холм около Чоргуна, в котором жил теперь, и отсюда подолгу всматривался во все окрестности и делал чертежи в записной книжке.

Лопоухого лошака он теперь решительно предпочел лошади за его способность всходить на какую угодно крутизну и спускаться с нее, не

[1] *Месмеризм*—учение немецкого врача Месмера (1734—1815) о наличии у некоторых людей «магнетической силы».

проявляя при этом никакой излишней и вредной прыти и не спотыкаясь.

Остальные дивизии 4-го корпуса,—десятая и одиннадцатая,—подходили в эти дни частями и накапливались около Чоргуна. Перебежчики были и из русского лагеря к союзникам (большей частью поляки), и, конечно, они так же, как и шпионы из местных жителей, должны были передавать союзному командованию, что скопляются большие русские силы у Чоргуна. Впрочем, в телескопы это можно было разглядеть без особых затруднений и с Сапун-горы.

На это и надеялся Меншиков: это входило в его планы; дипломат тут приходил на помощь стратегу. Даже своих адъютантов не посвящал он в то, что обдумывалось им в одиночку, и одному из них, полковнику Панаеву, поручил подыскать для армии проводников из местных татар, хорошо знающих всю местность в направлении к Балаклаве.

Когда венский гофкригсрат спросил Суворова, каков его план действий против войск французов, тот, как известно, выложил на стол совершенно чистый лист бумаги, сказав при этом: «Вот мой план!.. Того, что задумано в моей голове, не должна знать даже моя шляпа».

Это правило великого воина,—скрытность задуманных операций,—было прекрасно усвоено Меншиковым. Но Суворов сам и выполнял свои планы, а не передоверял их другим исполнителям,—об этом Меншиков не то чтобы забывал, но опыт с Липранди в Балаклавском деле давал ему основания думать несколько иначе.

Он был достаточно умен и опытен, чтобы понимать полную невозможность одному человеку управлять ходом большого сражения, в котором так много зависит от случайностей, а этих случайностей все равно ни один стратег не в состоянии взвесить заранее, предусмотреть и предупредить.

Он считал, что самое важное—скопить необходимые для удара силы, выбрать направление для удара и подходящий момент, а все остальное поневоле придется возложить на командиров и солдат, причем изменить их состав, заменить из них одного другим не было даже в его возможностях, хотя он и был главнокомандующим.

Когда он прочитал в письме к нему Горчакова, что посылается ему на помощь 4-й корпус с Данненбергом во главе, он сделал гримасу, долго не сходившую с его лица.

Данненберг,—генерал от инфантерии,—был известен ему только как начальник отряда, проигравший сражение с турками в эту же войну при Ольченице, на Дунае. И он тогда же писал Горчакову, нельзя ли заменить Данненберга Лидерсом, но Горчаков ответил, что не имеет права перемещать командиров корпусов одного на место другого.

«Я не могу,—писал он,—освободить вас от Данненберга. Принимая выгоды от войск, вам посылаемых, примите и сопряженные с этим неудобства. К тому же он не сделал ничего предосудительного, за что можно бы было отнять у него корпус; но полезно иметь в виду, что его способности не таковы, чтобы можно было поручить ему отдельное командование».

Однако письмо это непростительно запоздало: Меншиков получил его как раз тогда, когда бой был уже закончен,—вечером 24-го.

Данненберг, таким образом, против желания Меншикова, непременно должен был командовать тем большим и решительным сражением, какое обдумывал он уединенно и скрытно.

Кроме него, еще два новых для Меншикова генерал-лейтенанта—Соймонов и Павлов—приходили вместе со своими дивизиями—десятой и одиннадцатой, а между тем ни о ком из них светлейший почти ничего не знал.

Между тем откладывать сражение было нельзя, по его мнению, ни на один день: ожидался приезд великих князей, и Меншиков во что бы то ни стало стремился дать союзникам генеральный бой до их приезда. Вместе с великими князьями должны были явиться и великие заботы о них, которые неминуемо должны были отнять и все его время и время многих, нужных для дела людей.

А главное, Меншиков боялся, что по молодости и пылкости своей великие князья будут подвергать себя всем опасностям боя и что удержать их в приличном расстоянии от ядер и пуль будет нельзя.

Как старый царедворец, он и без писем императрицы понимал, что для него будет гораздо лучше потерять сражение и половину армии, но сохранить невредимыми царевичей, чем даже при полной победе потерять хоть одного из них.

Так как было известно, что они приедут в Севастополь вечером 23 октября, то сражение было назначено им на утро этого дня.

Полки, подходя к Чоргуну, располагались бивуаками около в походных палатках или совсем под открытым небом.

Придя, солдаты отдыхали, не тревожимые службой. Кашевары варили борщи и каши, балалаечники тренькали на балалайках, песенники пели, плясуны плясали... А Меншиков, избегая смотров, но желая все-таки видеть своими глазами тех, кто через несколько дней будет, по его приказу, отстаивать штыками и Севастополь и правильность его стратегических замыслов и расчетов, прохаживался иногда в одиночку между этих живописных и шумных групп.

В лицо не знал его почти никто из новых офицеров, не только солдат, и этим пользовался светлейший.

Так как ходил он в морской фуражке или в па-

пахе и в накидке серого солдатского сукна, скрывающей его погоны, то его никто не встречал и ретиво раскатистыми криками «смир-но-о!». Это ему нравилось. Так он чувствовал себя гораздо свободнее, а солдаты, казалось, ничуть не утомленные шестисотверстным маршем, внушали ему надежды на успех.

Иногда он проезжал между солдат на своем, теперь неизменном лошаке и в таком виде казался им очень смешным.

Работы, которые производились союзными отрядами для укрепления своих позиций, ему хотелось наблюдать с возможно ближайших расстояний, поэтому он часто пробирался к передовым постам около редутов.

Эти посты были расставлены дальше, чем на штуцерный выстрел от подобных же постов противника.

Однажды он был обеспокоен толпою турок в куртках верблюжьего сукна и в башлыках, которые заняли пост гораздо ближе к русской линии и сидели на земле на корточках без всяких предосторожностей, совершенно открыто.

Это его обеспокоило чрезвычайно. Он послал адъютанта, с которым выехал, подползти к ним поближе и хорошенько рассмотреть их в трубу.

Адъютант пополз; «турки», завидя его, распластали огромные крылья и поднялись. Это были грифы, сидевшие на конской падали. В них не стреляли с постов отчасти потому, чтобы не беспокоить зря выстрелами своих, отчасти признавая за грифами очевидное право на их добычу, которая никому не нужна, кроме них, и только отравляет воздух.

Несколько позже грифов появилось здесь много воронов. Странно было видеть этих обычно одиноких птиц в больших стаях. Наконец стаями же, больше по ночам, чем днем, начали набегать сюда из окрестностей бездомные собаки...

Спал главнокомандующий в облюбованном им домике в Чоргуне мало и плохо. Ел тоже мало. Был очень неразговорчив со своими адъютантами. Подготовка к новому сражению отнимала у него все время и занимала все его мысли.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
КАНУН БИТВЫ

1

— Совершенно секретно, господа,—говорил Меншиков трем новым для него генералам,—Данненбергу, Соймонову и Павлову, понижая при этом голос и оглядываясь на дверь.—Прежде всего,—совершенно секретно! Я вам подробно изложу план ваших будущих действий, но, повторяю, он должен быть известен только вам, чтобы, господа, он... не стал известен неприятелю.

Тут он перевел пытливые, прощупывающие насквозь глаза с сухощавого и более приличного немецкому ученому, чем русскому генералу, лица Данненберга на открытое мясистое добротное лицо тамбовского помещика Соймонова и остановился на лице Павлова, нервном, восточного склада, очень внимательном лице.

— Значит, ваша светлость, в Севастополе много шпионов неприятельских?—спросил Павлов.

— Есть,—коротко ответил Меншиков.—Поэтому я сделал все, чтобы главнокомандующие союзных армий были... гм, гм... введены в заблуждение насчет пункта нашей атаки,—вот!.. Сейчас им известно что именно? Что мы будем наступать на Балаклаву. Поэтому они должны были собрать и собрали, конечно, у Балаклавы достаточно сил и средств для отражения наших сил и средств... Этим я и хочу воспользоваться, господа, чтобы напасть на них там, где они не ожидают, а именно...

Он сделал длинную паузу и закончил:

— Со стороны Инкерманского моста!

Собраны были Меншиковым генералы 4-го корпуса в домике инженерного ведомства на Северной стороне,—маленьком домике в четыре тесных комнатки. Сидели они в самой большой из них. Окна домика были закрыты. За окнами, на расстоянии десятка шагов, ходил часовой. Никого из адъютантов князя не было в домике в это время,—вечером 22 октября.

Стол, за которым сидели генералы, был пуст; на нем лежала только свернутая карта,—та французская карта Крыма и Севастополя с его окрестностями, которую казаки нашли на убитом французском офицере или капрале.

В этот домик Меншиков перебрался из Чоргуна всего лишь накануне в ночь.

— Со стороны Инкерманского моста?—повторил Данненберг.

— Да! Только такой план я считаю возможным,—вытянул в его сторону сухую шею Меншиков.—Вам, как служившему раньше в севастопольском гарнизоне, местность должна быть знакома, не так ли?

— Инкерманский мост?.. Я припоминаю, где этот самый Инкерманский мост,—раздельно, и кивая при этом головою, проговорил Данненберг.

— Зато я, ваша светлость, совершенно не имею понятия, где этот мост!—сказал Соймонов и поглядел вопросительно на Павлова.

— Я тоже совсем не знаком с местностью,—пожал плечами Павлов.

— Имею честь доложить, ваша светлость, что при проезде через Симферополь я сделал все, что мог, чтобы найти карту Крыма, приложенную к сочинению Коппена о Крыме,—с возмущением в

голосе продолжал Соймонов.—Мой адъютант целый день ездил по этому делу, но карты этой так и не нашел. Нашел только книгу Коппена, но без карты! А карта попала к кому-то другому.

— Я тоже искал карту Крыма,—оживленно поддержал Соймонова Павлов.—Мне говорили, что есть подробная карта лесного ведомства. Однако я ее так и не получил!

— Да, карты, конечно, нужны нам... И я обращался в главный штаб... Думаю, что со временем мы их все-таки получим. А пока будем пользоваться вот этой,—осторожно развернул и разложил на столе французскую карту Меншиков.—Наконец, при каждом отряде будет проводник, колонновожатый из местных жителей: об этом я позаботился заранее. Вы со своей стороны только скажете проводнику, какой именно дорогой вас вести, и он поведет. Так вот, господа, здесь—Инкерманский мост,—постучал он по карте длинным ногтем указательного пальца, и все три генерала, поднявшись с мест, наклонились над картой, ища глазами ту точку, которая с этой минуты приобретала огромнейшее значение в их жизни.

— Изволите видеть,—продолжал между тем Меншиков,—от Инкерманского моста идет в гору дорога по узкому дефиле: это—старая почтовая дорога. Здесь англичане имеют редуты, но, по моим сведениям, очень слабые... По сравнению с ними тот редут на холме Канробера, который Азовским полком был взят,—целая крепость!.. Очень слабые, да,—три, кажется, редута. Их должна будет взять наша левая колонна... под вашим командованием!—посмотрел он начальственно на генерала Павлова.

Павлов вытянулся и наклонил слегка голову.

— Силами одной только одиннадцатой дивизии я должен буду занять эти редуты, ваша светлость?—спросил он.

— Три полка будут ваши: Селенгинский, Якутский и Охотский, но этого мало, этого, я думаю, вам будет мало... Поэтому я хочу добавить вам бригаду семнадцатой дивизии из севастопольского гарнизона—Бородинский и Тарутинский полки... В бою они уже были,—местность им известна... Артиллерии у вас будет, по моему расчету, около ста орудий... Это я считаю, разумеется, всего, с резервом. Кроме того, две роты стрелков... Точный перечень всех сил своего отряда вы получите: он у меня готов.

Павлов вторично наклонил голову, ожидая подробностей своего движения до Инкерманского моста и от него дальше. Но Меншиков обратился уже к Соймонову:

— Что же касается вас, то вы поведете свою колонну от бастиона номер второй по берегу вот—Килен-балки,—снова постучал он ногтем по карте.

— Килен-балки,—повторил Соймонов это странное для его тамбовского уха сочетание слов не на Дунае, а в Севастополе.—Позвольте, ваша светлость, рассмотреть мне эту Ки-лен-балку!

Он нагнулся над картой и вдруг сказал:

— Балка,—ведь это овраг, а тут изображена какая-то возвышенность, где вы показываете, ваша светлость.

— Конечно, возвышенность по обеим сторонам балки, а как же иначе?—удивился Меншиков.—Ситуация тут дана вполне правильно.

— Гм, да, ситуация,—пробормотал сконфуженно Соймонов.—Значит, мне свою колонну придется вести прямо по этому взгорью,—без дороги?

— У вас, кроме трех полков вашей дивизии, а именно: Екатеринбургского, Томского и Колыванского,—будут еще четыре полка, знакомые с местностью,—поморщившись, ответил Меншиков.—Полки эти следующие: Бутырский пехотный семнадцатой дивизии и три полка шестнадцатой: Владимирский и Суздальский пехотные и Углицкий егерский... Из них можете набрать проводников для своих полков, если найдете, что это вам нужно... Ведь вы пойдете отсюда, с Корабельной стороны и на Килен-балку... У вас тоже будут две роты стрелков, орудий же, по моему счету, тридцать восемь... Ваша колонна будет всего, примерно, восемнадцать тысяч человек с большим лишком...

Так как Меншиков остановился, как сказавший уже все, что считал нужным сказать, то Соймонов спросил недоуменно:

— Куда же я должен буду вывести свою колонну, ваша светлость?

— Как куда?—удивился Меншиков.—Разумеется, на правый фланг английских позиций! Ваша правая колонна должна появиться на правом фланге англичан как раз, вот извольте видеть, на верховьях Килен-балки одновременно,—это прежде всего прошу иметь в виду!—одновременно с левой колонной генерала Павлова, которая пойдет, как я уже сказал, от Инкерманского моста и выйдет несколько левее вашей колонны... Чтобы разгромить англичан, сил у вас будет достаточно: восемнадцать, скажем, с половиной тысяч штыков в одной колонне и пятнадцать тоже с половиной тысяч в другой,—итого тридцать четыре тысячи.

— Против?—поспешно спросил молчавший до того Данненберг.—Против какого же именно состава и количества английских войск?

— Состав и количество,—поморщился Меншиков,—значительно более слабые, судя по тем сведениям, какие у меня имеются.

— Но ведь это осаждающий корпус?—снова поспешно спросил Данненберг.—Значит, при нем и все осадные орудия?

— Вот именно! Вот именно!—подтвердил Меншиков.—И целью вылазки нашей я ставлю именно деблокирование! Мы должны добиться во что бы то ни стало, чтобы правый фланг осаждающей союзной армии был разгромлен и вынужден был

снять осаду,—останется ли часть его осадных орудий в его руках, или все они перейдут к нам, чего должны добиться обе ваши колонны, что я ставлю вам, которому поручаю командование обеими колоннами, в неотложную цель!

Данненберг несколько мгновений смотрел неподвижно в горевшие одушевлением старые глаза Меншикова и спросил вдруг:

— А французская армия?.. Разве она не сообщается с английской? Ведь она должна же будет притти ей на помощь, ваша светлость?

— Для того чтобы она не пришла на помощь английской, она будет, в свою очередь, атакована со стороны вот—шестого бастиона,—стукнул ногтем по карте Меншиков,—для чего назначается отряд под командой генерала Тимофеева... это—из состава гарнизона крепости... Наконец, чтобы связать по рукам обсервационный корпус генерала Боске,—вот здесь, на Сапун-горе,—в Балаклавской долине стоит двенадцатая дивизия Липранди и целая дивизия драгун Врангеля—тридцать эскадронов,—под общей командой князя Горчакова, Петра Дмитриевича... Отряд этот достаточной силы и для того, чтобы резервы из балаклавского лагеря союзников пришить к их месту... Итак, господа, я сказал вам, кажется, все, в главных, разумеется, чертах. От вас же я буду ждать сегодня до полуночи подробной диспозиции.

Генералы переглянулись.

— Когда же мы успеем написать эту диспозицию, ваша светлость?—вслух удивился за всех Соймонов.—Впору только посмотреть те чужие полки и артиллерию, какие вы нам даете в дополнение к нашим!

— Это вы успеете, господа!—поморщился Меншиков.—Это вы должны успеть сделать, так как выступление с бивуаков назначено на три часа ночи.

— Какой ночи? Этой ночи?—почти испугался Данненберг.

— Да, этой ночи! Больше мы ждать не можем. У нас все готово к наступлению, и мы должны выполнить волю его величества.

— Последние эшелоны только сегодня пришли в Севастополь, ваша светлость! Они не успели еще отдохнуть!—очень решительным тоном сказал Данненберг.—Вести усталых людей сразу в наступление, это значит провалить наступление!

— Пустяки,—«усталых»! Какая там усталость для русского солдата!—выпрямил корпус над столом Меншиков, что означало у него недовольство словами Данненберга.—Начало движения колонн по моей диспозиции, которую вы сейчас же получите, отнесено к шести часам утра.

— Нет, ваша светлость, мы не успеем сегодня сделать все нужные приготовления,—сказал Павлов.—Подарите нам для этого хотя бы еще один день.

— Нет, не могу!.. Еще один день? Нет!.. Завтра в это время приезжают великие князья, а мы с вами, господа, не имеем полномочий от его величества подвергать их такой же опасности боя, какой будем подвергаться сами!

— Великих князей можно будет, я думаю, отговорить от присутствия на позорище[1] боевых действий,—сказал Данненберг.

— Вы забываете, что они—молодые люди!.. Это раз, а кроме того, господа, я вас уже посвятил в мой план, а это делаю я только накануне сражения,—подчеркнул Меншиков.

— Если наступление так поспешно, ваша светлость, и так мало подготовлено, то я опасаюсь за его успех!—решительно сказал Данненберг:— У меня в корпусе введены свои крестовые порядки...

— Почему вам кажется, что оно мало подготовлено?—как будто даже обиженным тоном спросил Меншиков.

— Оно подготовлялось вами, но мы даже не в состоянии втолковать себе, что нам надо делать и куда итти! А между тем скоро надвинется ночь... Идет дождь. Земля к утру размокнет. Почва вязкая, будет налипать на сапоги, на колеса орудий... Войска же будут совершать движение по совершенно незнакомой дороге, а они еще не отдохнули как следует... им надо дать по крайней мере хотя бы один день оглядеться, ваша светлость! Кстати, завтра погода, может быть, исправится...

— И за этот один день неприятель чтобы узнал, куда и какими именно частями назначена атака?—презрительно поглядел на Данненберга Меншиков.

— От кого же он узнает об этом? Ведь не от кого-нибудь из нас троих?—с достоинством спросил Данненберг.—Я надеюсь, вы этого не думаете?

— Я имею в виду, конечно, не вас троих,—попробовал улыбнуться Меншиков.

— Однако пока вы сообщили основную мысль вашей диспозиции только нам троим, ваша светлость!—поддержал Данненберга Соймонов.—От нас это не перейдет ни к кому, но один только день еще мы усиленно просим вас подарить нам...

— Чтобы оглядеться,—дополнил Павлов.

Меншиков с полминуты стучал задумчиво ногтем по французской карте и наконец сказал:

— Может статься, что великие князья запоздают и не приедут завтра...

Наступление было отложено на сутки.

2

Меншиков после совещания этого был недоволен уже не только Данненбергом, но и другими двумя главными начальниками будущей большой вылазки, задуманной им так, казалось бы, удобовыполнимо и со всеми шансами на успех.

[1] То есть на театре...

Простившись с генералами и назначив им собраться к нему на другой день в тот же вечерний час, он раздраженно говорил одному из своих адъютантов, полковнику Панаеву:

— Ну, братец, это—какие-то бараны! Они совершенно ничего не понимают или не хотят взять в толк!.. О каких это таких «крестовых порядках» в своем корпусе начал было говорить этот Данненберг, но я не мог его дослушать? Ты не знаешь, что это такое—«крестовые порядки»?

Панаев только вздернул непонимающе плечами.

— Гм... Крестовые порядки! Что это может быть за штука?.. А Соймонов и Павлов делают вид, что не знают, что такое ситуация на карте, и горы готовы принимать за долины! Ничего решительно не мог им втолковать и должен был отложить наступление на двадцать четвертое... О дожде тоже говорят! Будто такой дождик может им помешать! А вдруг завтра не дождик, а целый ливень соберется?.. И как же, скажи, вести сражение, когда вот-вот могут приехать великие князья?.. Ведь я за них головою своей отвечу в случае несчастья с ними!

— Не успеют приехать, ваша светлость,—пробовал успокоить его Панаев.

— Однако телеграфическая депеша из Николаева получена ведь, что выехали оттуда на Херсон! А до Херсона далеко ли? Завтра на ночь придется мне с сыном перебраться к тебе в сторожку, а домик этот великим князьям нужно передать...

— Конечно, так и надо будет сделать,—согласился Панаев.

— Другого ничего не остается... Но в таком случае тебе-то куда же перебраться?—обеспокоился светлейший.

— Ничего, что ж,—натяну палатку рядом,—ответил Панаев, привыкший уже к тому, что быть адъютантом Меншикова во время военных действий значило, прежде всего, расстаться с малейшими удобствами в жизни.

Эта черта в светлейшем,—его равнодушие к комфорту, на который он имел все права и по своему служебному положению и по преклонным летам, поражала Панаева и до высадки десанта союзников.

Екатерининский дворец, который занимал князь со всеми своими адъютантами, был в сущности очень тесный и старый деревянный дом, по сравнению с которым почти любой дом на Большой Морской или Екатерининской можно было бы счесть образцом заботы о человеке. Но Меншиков как поселился в этой исторической полуруине с приезда из Николаева в Севастополь, так и остался.

Сторожка угольщика, около груды каменного угля для паровых судов, сложенного на берегу, недалеко от пристани, была убогий маленький сарайчик без пола и потолка и с протекающей крышей, но поблизости не было ничего лучшего. Панаев же приспособил сторожку под жилье, как мог и умел, и в ней, кроме лавки для спанья, были даже один складной стул и стол, сбитый из неоструганных досок.

Ночь под 23 октября Меншиков после беседы с генералами провел плохо. Его томила мысль, не заменить ли Соймонова или Павлова генералом Липранди, так как он уже хорошо «огляделся»; но прежнее глубоко-личное нерасположение к начальнику 12-й дивизии отнюдь не рассеялось в нем даже и после удачи под Балаклавой, тем более что удача эта была твердо и уверенно приписана им Семякину. Назначить же Семякина начальником одной из атакующих колонн было нельзя, так как он был только генерал-майор...

В то же время приезд великих князей он уже теперь представлял, как некое стихийное бедствие, как катастрофу, которая надвигалась на него от Николаева.

До беседы с Данненбергом и его помощниками он был уверен если не в полной победе, то хотя бы в таком успехе, какой выпал на долю отряда Липранди. После же беседы с ними он понял, что одной его власти главнокомандующего мало для того, чтобы заставить отряды двинуться в атаку на заведомо укрепленные позиции, даже не обстрелянные предварительно артиллерийским огнем, как это было в Балаклавской долине.

Его размах упал бессильно в самом начале: даже генералы, и те не согласились подчиниться ему беспрекословно! Но если таковы генералы, то каковы же офицеры? Каковы солдаты?

Он двадцать раз говорил про себя, что от армии Горчакова нельзя было и ожидать ничего другого, что дисциплина в этой армии, конечно, и не ночевала, потому что осрамилась она в Дунайскую кампанию, когда Омер-паша появлялся там, где хотел, и всегда в превосходных силах, когда вся инициатива была в его руках.

Теперь он сам хотел появиться с превосходными силами там, где его никак не могли ожидать союзники, и на этой неожиданности удара строил весь свой план, но не оказалось налицо исполнителей.

Ненависть к Данненбергу росла в нем скачками всю ночь: при усилившемся дожде он вспоминал озлобленно, что тот говорил: «Погода может поправиться»; нашаривая в темноте на табурете около койки стакан с водою и натыкаясь рукой на снятый с шеи большой георгиевский крест 3-й степени, он вспоминал «крестовые порядки» в его корпусе; даже то, что, уходя, Данненберг не попросил для просмотра составленной им диспозиции, как будто заранее решив, что она неисполнима и для него неприемлема, он ставил в вину ему, а не себе, хотя и сам не вспомнил об этой диспозиции, когда уходили генералы...

Он припомнил, как после весьма неудачной рекогносцировки, произведенной двумя гусарскими полками, он просил адъютанта харьковского губернатора Гринева не доводить этого неприятного эпизода до сведения его начальства, не выносить сора из избы.

Сор будущего большого сражения мог бы так же точно остаться в избе, чем бы оно ни кончилось, если бы не этот, совершенно некстати, приезд великих князей. От них нельзя уже было и думать ничего скрыть. Притом, никогда не бывши на войне, они, конечно, представляют ее себе неверно, совершенно превратно, и то, что увидят воочию, не может не поразить их неприятно. А их уж нельзя просить не доводить о виденном до сведения их отца.

Сын его, спавший в соседней комнатке, за дощатой перегородкой, простуженно кашлял, просыпаясь, и светлейший перебирал в памяти свои медицинские знания,—не чахотка ли у него? Здоровье сына вообще было плохо и доставляло ему много хлопот. Он ни за что не решился бы никуда отпустить его от себя в день сражения, но присутствие на этом сражении великих князей могло погубить его сына: всякому захочется показать себя неустрашимым в такой кампании, а от риска один шаг до смерти.

Пользуясь бессонницей, чтобы еще и еще раз продумать свой план сражения, Меншиков все-таки ничего уже не мог ни изменить в нем, ни внести в него нового. Он принадлежал к разряду людей самоуверенных и упрямых, а такие люди способны, не сворачивая, итти напролом к заранее намеченной цели, но не в состоянии ни менять цели, ни заменять одного средства другим.

3

Великие князья приехали к вечеру на другой день. Так как депеши оттуда, где они были, и оттуда, куда ожидались, все время исправно шли в инженерный домик на Северной стороне, то сын Меншикова и несколько адъютантов его при сотне казаков были посланы светлейшим им навстречу, на Каче встретили их с большою свитой и сопровождали до главной квартиры, которая, конечно, должна была немало удивить их своей простотою после главной квартиры Горчакова в Кишиневе, где садилось за стол обеденный не менее ста человек одних только чинов штаба, хотя штабу этому вообще нечего было делать, кроме как только отчислять те или иные дивизии, батареи, сухарные запасы, порох, снаряды, патроны в Крым, что Горчаков делал чем дальше, тем охотнее. При этом он часто писал Меншикову длиннейшие письма, в которых не то чтобы давал ему советы, как надо вести войну с коварными и сильными врагами,—нет, в каждом письме он стремился доказать светлейшему, что ставит его гораздо выше себя по уму и талантам, но со стороны-де иногда бывает виднее, за что надо взяться, и вот именно так, со стороны, ему кажется то-то и то-то.

Это подтвердили почти с первых же слов и великие князья, когда покинули, наконец, свои дорожные экипажи и расположились в домике, из которого Меншиков заблаговременно выбрался в сторожку. Они наперебой спешили рассказать Меншикову, что никто так живо не интересуется обороной Севастополя, никто так не знал ее во всех подробностях, никто не делает столько разнообразнейших планов сбить союзников с их высот и принудить их к обратной посадке на суда, как Горчаков.

— Но, между нами будь сказано, Горчаков этот так плохо видит, что всего только в трех шагах от нас меня он принимал за брата, а брата за меня!—весело смеялся Михаил.

— Впрочем, он и слышит не лучше,—добавлял Николай.—Но хоть у меня и хороший слух, все-таки я далеко не всегда мог разобрать, что он такое говорит. Он это проделывает с такой быстротой, что едва ли и сам что-нибудь понимает.

— Когда же он вполне уверен, что он один, он поет, уверяю вас! Поет!—хохотал Михаил.—И что же именно поет? Я раза два слышал, как он пел: «Je suis soldat français!» Уверяю вас! Русский главнокомандующий и поет: «Je suis soldat français!»[1]

Николай был одного роста с Меншиковым, Михаил несколько ниже брата, лицом красивее, фигурой ловчее, а главное, непосредственнее, живее и веселее. Николай как бы сознательно не разрешал себе быть таким же живым, как младший брат, но он имел вид гораздо более наблюдательного и серьезного: он как будто заранее, по уговору с Михаилом, взял на себя нелегкую обязанность быть представителем здесь своего отца.

Однако временами прорывался и он и хохотал вместе с братом. Меншикову ясно было, что их нервирует необычность обстановки, что они чувствуют себя теперь тут, где изредка хотя, но гремят настоящие боевые пушки, весьма приподнято и не могут найти сразу простого, без аффектации, тона.

Кроме того, длинная и, конечно, достаточно скучная дорога их кончилась, наконец, и Севастополь,—вот они видят его,—стоит как будто бы даже совершенно нетронутый той ужасной бомбардировкой с суши и с моря, о которой они так много слышали и читали в иностранных и русских газетах.

Им даже как будто нравился и этот инженерный домик, как выехавшим из роскошной городской квартиры на пикник за город нравится любое

[1] Я французский солдат!

дикое место, и чем оно диче, тем больше нравится.

Гораздо меньше довольны были этим обиталищем их камер-лакеи, которые, освобождая тарантасы от объемистых дорожных погребков и ковчежцев, весьма затруднялись решить, куда их поставить в скромном инженерном домике, и как должны разместиться тут они сами.

Но, кроме камер-лакеев, была еще довольно многочисленная свита, которая, оглядевшись кругом, все больше приходила в недоумение, почему так ничтожны строительные способности светлейшего главнокомандующего: им казалось, что прежде всего, готовясь к приему великих князей, Меншиков должен был бы настроить здесь, около своей штаб-квартиры, по крайней мере десятка полтора удобных домиков хотя бы и такой величины, как этот «инженерный».

Как будто считая признаком дурного тона с приезда начинать расспрашивать Меншикова о том, как дела по защите Севастополя, братья спешили рассказать ему сами о том, что они видели в Кишиневе, в Одессе, где даже удалось им, правда, всего только на час, зайти в театр, в Николаеве, в Херсоне... Михаил недурно представил, как играла в одесском театре пожилая очень толстая актриса, и Меншиков смеялся, на момент забывая, о том, что на завтрашнее утро окончательно и совершенно неотложно назначено им сражение.

Данненберг, Соймонов и Павлов приезжали в седьмом часу на совещание, но совещаться уже было нельзя: приближались экипажи великих князей. Наскоро подтвердив то, что говорилось накануне, узнав, что генералы, насколько можно было, ознакомились с местностью, по которой должны были начать наступление, раздав им свою диспозицию и потребовав, чтобы они ночью прислали ему свои, которые должны предусмотреть все подробности дела, Меншиков сам просил их уехать: он боялся, чтобы великие князья не застали их и не узнали от них, что назавтра бой.

Он вообще не хотел ничего говорить об этом своим высоким гостям. Житейски представлял он, что они с дороги будут очень крепко, по-молодому, спать в то время, когда разовьется сражение; что он уедет к Инкерманскому мосту, а без него, если даже они и проснутся, никто не будет уполномочен сопровождать их на поле сражения. Наконец, если бы даже им и очень хотелось помчаться туда, он надеялся, что адъютантам его, тем, которых он хочет оставить для этой цели, удастся их отговорить от ненужного риска здоровьем и жизнью.

Однако вышло не так, как он думал: сказать гостям о том, что назавтра готовится крупное дело, пришлось почти с первых же слов, так как вопрос об этом был сделан ими неотступно прямо и от имени их родителей. Из коляски их еще не были выпряжены лошади, и они захотели немедленно видеть войска, которые должны были итти в бой.

Ближайшим к ставке главнокомандующего был отряд Павлова; притом к нему только можно было доехать в коляске. И великие князья в сумерках, но еще засветло, появились на Инкермане, поздравляли полки и батареи с боем, передавали поклон царя...

Солдаты кричали «ура!», «рады стараться!» и бросали вверх свои мокрые фуражки.

Был сервирован чай. На скромных столиках, сдвинутых вместе и покрытых белоснежными скатертями, появились давно уже исчезнувшие из обихода меншиковской жизни закуски и вина.

Но что было еще неожиданней, вместе с ними появилось то молодое веселье, которое совершенно исчезло после несчастного боя на Алме. Даже Меншиков, как будто нечаянно потерянное нашел, вспомнил, что он—записной остряк, и несколько острот его, сказанных очень кстати, вызвали взрывы буйной веселости и великих князей и их свиты.

Так досидели до полуночи, когда обеспокоил главнокомандующего сильный дождь, и он простился с гостями, пожелал им от чистого сердца крепчайшего сна и ушел в свою сторожку.

Он думал найти там диспозиции Соймонова и Павлова, но их не оказалось.

— Что это? Разгильдяйство? Небрежность? Опять-таки горчаковское отсутствие дисциплины или это умышленное неисполнение моего приказа?—горестно спрашивал он у сына, ложась на свой конец лавки.

— Завтра узнаем,—неопределенно ответил сын.

Он много выпил вина, поэтому после обычного приступа кашля заснул крепко; сам же Меншиков заснуть не мог: сквозь худую крышу капало звучно на шинель, которой он укрылся, и ему представлялись раскисшие тяжелые дороги, пудовые комья грязи, налипшие на солдатские сапоги, и убийственно меткая штуцерная пальба, которой непременно встретят англичане полки Павлова со стороны старой почтовой дороги и полки Соймонова со стороны Килен-балки.

Раза три он выходил из сторожки и подолгу стоял, стараясь что-нибудь определенное разглядеть там, где тянулись позиции союзников.

В четыре часа по Севастополю прошел глухой в дожде и тумане гул колокольного звона. Меншиков вспомнил, что было воскресенье, и звон этот созывал людей к заутрене, а после нее к «молебствию о даровании победы русскому оружию» в предстоящем сражении.

Снова и снова он перебирал в бодрствующем старом мозгу все свои распоряжения на этот день, сделанные накануне: всем сухопутным батареям открыть огонь в шесть утра; пароходам «Херсонес» и «Владимир» поддержать огонь батарей; одно-

временно отряду Горчакова начать усиленный обстрел Сапун-горы, чтобы ввести в заблуждение корпус Боске относительно места главной атаки; несколько позже выступить от шестого бастиона отряду Тимофеева... и много-много еще приказов именем главнокомандующего морскими и сухопутными силами Крыма, каким он считался уже вполне официально с 8 октября.

Последний приказ был: прислать по одному младшему офицеру от каждого из полков гарнизона в качестве конного ординарца к великим князьям.

Перебирая в уме все свои приказы, которыми подготовлял он Инкерманское сражение, Меншиков припомнил, что материалы для починки взорванного англичанами моста через Черную, называемого Инкерманским, он не хотел требовать от командира порта Станюковича, чтобы не предавать этого дела огласке. Он придумал обратиться за этим к Нахимову, чтобы тот как-нибудь своими средствами достал из порта необходимые материалы и, кстати, рабочих. Однако Станюкович наотрез отказал выдать Нахимову что-либо из имущества порта без письменного приказания главнокомандующего. И Нахимову пришлось просто обойти Станюковича и достать материалы и рабочих благодаря одному из чиновников порта.

Вот к чему приходилось прибегать для того только, чтобы сохранить всю подготовку в великой тайне, а получилось в конце концов так, что еще за день до атаки о ней уже известно всем в Севастополе... Не известно ли также и союзникам?

Он, конечно, не мог не ответить великим князьям на их прямой вопрос, не затевается ли им то наступление, о котором все время думали во дворце в Гатчине? Он должен был сказать, что наступление должно совершиться утром. Однако он всячески просил их спать спокойно после дальней дороги, и один из их свиты, генерал Философов, даже обещал ему всячески подействовать на них, чтобы проснулись они как можно позже.

Но вот окошко караулки стало слегка выделяться из сплошной черноты стены—серело на темном фоне не прямоугольником пока еще, а каким-то неправильной формы пятном: утро наступало.

Меньшиков не мог уже больше лежать на своей лавке. Он набросил на себя шинель, так как лежал, не раздеваясь, вышел из караулки и вдруг услышал заглушенную дальностью, туманом и досадным, моросившим сквозь туман дождем, но очень оживленную ружейную перестрелку: это значило, что стрелковые роты столкнулись уже с английскими аванпостами.

Вслед за этим загремела канонада: сквозь серое, прорываясь желтой полосою, вспыхивали огни выстрелов из орудий на третьем, четвертом, пятом бастионах.

Дело, о котором он столько думал, началось, и Меншиков испуганно разглядел, что отворились двери инженерного домика, и из них вышли совершенно одетые великие князья, явно готовые к великим воинским подвигам, четкие в прорези освещенных изнутри дверей.

И старый главнокомандующий при виде их остро и веще почувствовал, что сражение будет проиграно.

Однако ему ничего больше не оставалось делать, как, вернувшись в сторожку, будить сына и одеваться, чтобы сесть уже не на испытанного в горных дорогах лошака, а на своего прежнего донца с белой звездой во лбу.

Ординарцы к великим князьям прибыли во исполнение его приказа. Вся свита великих князей, разбирая верховых лошадей, усаживалась в седла; адъютанты главнокомандующего как старые севастопольцы разъясняли, куда и как надо ехать... Так что когда вышел сам главнокомандующий с сыном из караулки, великие князья уже двинулись, имея впереди казаков как провожатых и прикрытие.

Всадников, отправившихся к месту боя из штабквартиры, было так много, что издали да еще в тумане, как в это утро, их можно было принять за целый эскадрон, идущий вольным порядком.

4

Совершенно не известный Меншикову Соймонов считался одним из лучших генералов Дунайской армии.

Утро 23 октября он провел в том, что на простой ординарческой лошадке и в солдатской шинели, скромно, чтобы не быть отмеченным с неприятельских постов, сам-друг со своим старшим адъютантом, в сопровождении только одного казачьего урядника, знающего местность, он проехал по берегу Килен-балки, насколько можно было вверх, затем спустился на Саперную дорогу, перерезавшую Килен-балку возле бухты, а с нее выбрался на старую почтовую, по которой должна была итти колонна Павлова, и пришел к бесспорному для себя выводу, что только эта почтовая дорога и была хоть сколько-нибудь возможна для движения вверх больших отрядов пехоты и полевых батарей.

Подступы к позициям англичан с той стороны, с которой хотелось атаковать их Меншикову, оказались невылазно круты, усеяны большими камнями, изрезаны балками и бездорожны. Притом тут атакующий отряд имел перед собой такие сильные укрепления, что бесполезно и наверняка потерял бы половину своих сил, пока бы до них добрался; но затем он неминуемо был бы сброшен вниз с крутизны контратакой противника.

Со стороны же почтовой дороги можно было

различить всего только два редута, из которых один даже не был почему-то совсем вооружен и занят, а на другом стояло только два орудия.

Проездив так два-три часа под упорным, хотя и некрупным дождем, слезая несколько раз с лошади и пробуя, как глубоко вязнут ноги в размокшем глинистом грунте, Соймонов сказал, наконец, своему адъютанту:

— Что бы мне ни говорили потом и чем бы наша атака ни кончилась, но атаку эту мы можем вести только отсюда и ниоткуда больше!.. Мы должны для этого выступить раньше, чтобы опередить Павлова. А там уж что выпадет на долю: или держись, «Виктория»! Или поедем мы в дальний отпуск!

И он энергично махнул рукой в серое небо, плакавшее беспросветным дождем.

Однако по решительному плотному, здоровому, совсем не задумчивому, но скорее задорному лицу своего начальника адъютант видел, что в царство небесное он отнюдь не собирается, что на земле стоит он и надеется стоять прочно, что диспозицию отряду придется писать в выражениях не менее туманных, чем сорок раз прочитанная им и все-таки не понятая до конца диспозиция самого главнокомандующего, в которой было сказано об их отряде:

«Действующему отряду... под начальством генерал-лейтенанта Соймонова начать наступление от Килен-балки в шесть часов утра, предварительно сему сделав уже выдвижение из укреплений».

Килен-балка, как выяснилось теперь, тянулась не менее как на три версты. От какого же именно места ее нужно было начать наступление в шесть часов утра, «предварительно сему сделав выдвижение»?

Это давало очень широкое поле для толкований,—другими словами, для свободы действий.

Когда Соймонов вернулся в свой штаб и написал свою диспозицию, он получил диспозицию от Данненберга. Ему предписывалось действовать, не переходя Килен-балки, то есть именно там, где действовать большому отряду, как это он только что выяснил, было совершенно невозможно.

Впрочем, вскоре адъютант Данненберга привез другую диспозицию, где кое-что изменялось по сравнению с первой «по следующим уважениям», как было написано в бумаге.

«Уважения» эти излагались довольно обстоятельно, но Соймонов рассерженно хлопнул по бумаге широкой ладонью и сказал своему адъютанту:

— Баста! Я пока совершенно самостоятельный начальник отряда и буду им, пока совершаться будет движение около всех этих балок! А генерал Данненберг станет моим начальником, только когда я соединюсь с Павловым. Соединяться же с Павловым я буду по своей диспозиции и больше не хочу никаких разговоров! Я отвечаю за свой отряд, а не Данненберг! И переколотить всех моих офицеров и солдат совершенно зря на подступах никому не позволю! Я должен послать свою диспозицию главнокомандующему. Хорошо-с! Пошлем ее с дороги,—отнюдь не раньше, чтобы я не получил еще одной подобной бумажки!

Часов в десять вечера, когда диспозиция стала известна всем командирам отдельных частей отряда Соймонова, они собрались к нему. Тут были: и командир 10-й артиллерийской бригады, полковник Загоскин, и командир Томского полка Пустовойтов, и командир Екатеринбургского полка Александров, и подполковник Темирязев, и адъютанты, и, наконец, герой сражения с турками при деревне Четати на Дунае, командир оставшегося в Севастополе Тобольского полка дивизии Соймонова генерал-майор Баумгартен, получивший за это сражение не только генеральство, но еще и георгия 3-й степени, хотя не имел еще 4-й.

Ужинали. И ужинали, пожалуй, не менее весело, чем в это же самое время в инженерном домике на Северной, и едва ли не веселее всех был сам хозяин ужина Соймонов.

Близкая и явная опасность по-разному действует на людей, это зависит больше всего от их темперамента. Иные, склонные к суеверию, во всем кругом готовы искать и находить приметы,—кто счастливые, кто несчастные. Иные становятся безотчетно беспокойными, другие так же безотчетно чувствуют большой подъем.

Эти последние люди счастливые по натуре: хорошо сработанные, крепкого здоровья, склонные ко всевозможным видам соревнования с другими, будь это сфера физическая или умственная, все равно; люди, которым до явной близкой опасности вообще и всегда «везло», и которые верят поэтому и в свои силы и в свою «звезду».

Соймонов принадлежал именно к таким, которые не только верили в себя, но в которого верили и другие,—и начальники и подчиненные.

И в этот вечер, канун боя с неизведанным пока еще врагом, Соймонов чувствовал всем телом, что для успеха необходимо поднять настроение всех своих частей, завтрашних главных действующих лиц,—казаться как можно самоувереннее самому, пожалуй, даже просто забубенной головою, несмотря на свой большой чин и положение начальника большого отряда.

Он много шутил, он заразительно-раскатисто смеялся, он сам наливал гостям вина в стаканы, он говорил о себе: «мы, танбовцы...», сильно напирая на н, он любовно хлопал по плечу сидевшего с ним рядом вихрастого Баумгартена, когда спрашивал его мнения о завтрашнем деле.

— Если англо-французы будут иметь против фронта такое удовольствие, как ваш отряд и отряд Павлова,—лучась и делая вещий вид, значительно ответил герой Четати,—а с тыла отряд Липранди,

а справа наши бастионы и гарнизон, а сзади море, то ему только и останется прыгать в море!

— Ура-а!—закричал Соймонов, целуя своего удачливого командира полка, бившегося так недавно и так успешно с целой дивизией турок и теперь назначенного участвовать в вылазке генерала Тимофеева.

Отпуская около полуночи гостей, Соймонов обещал им завтра устроить приличный случаю завтрак на отбитой у англичан «Виктории», как называлась самая сильная батарея их на Сапун-горе.

5

Между тем как в инженерном домике на Северной, в доме Дворянского собрания, где рядом с перевязочным пунктом нашел себе прибежище Соймонов со своим штабом, и в других подобных укрытых местах высшее начальство было занято стратегией и тактикой предстоящего боя за освобождение Севастополя от осады, солдаты и офицеры, до батальонных командиров включительно, предоставлены были воле стихий. И если офицеры отряда Соймонова спаслись от дождя в обширном замке николаевской батареи, — внутреннего форта,—то солдатам некуда было деваться.

Они ютились под заборами, если дождь был косой, выстраивались вдоль стен домов под жалкой защитой спусков черепичных крыш,—всячески старались о том, чтобы не насквозь промокли шинели, чтобы не пришлось тащить лишнего пуда воды в случае наступления, о котором они уже знали.

Им не сказали только, когда именно будет наступление и в какую сторону придется итти, но они понимали, что такое военная тайна.

Так маялись они уже вторую ночь без сна, потому что Меншиков, думая завязать дело 23-го числа, снял их со стоянки под Чоргуном вечером 22-го.

Бивуак отряда Павлова, расположенный на Инкермане, был похож на огромный цыганский табор, на табор таборов цыган.

Солдаты здесь связывали верхушки частых и густых дубовых и грабовых кустов, а под ними вырывали саперными лопатами ямки: так получались шалаши, которые покрывались ветками; ветки же и листья натаскивались в шалаши, а в ямках разводился огонь, чтобы обсушиться. Если подобные шалаши были сделаны поаккуратней да еще покрыты сверху брезентом или полотнищем палатки, то это уж были квартиры батальонных и ротных командиров, вместе с которыми помещались их адъютанты и младшие офицеры.

Штаб отряда Павлова, при котором был и Данненберг, устроился у развалин древней крепости генуэзцев.

Совершенно межеумочным сделал Меншиков своей диспозицией положение Данненберга.

Командир корпуса, он получал командование над двумя дивизиями его только тогда, когда соединятся они во время боя на Сапун-горе. Так сумел светлейший устранить этого неприятного ему генерала от участия в подготовке дела, не имея возможности отстранить его от дела совсем.

Павлов же как начальник отряда гораздо проще, чем Соймонов, познакомился с местностью сам и познакомил с нею тех, кто должен был на ней руководить действиями полков, батальонов, батарей.

Утром 23 октября он собрал всех своих командиров отдельных частей на Маячную гору, откуда сквозь сетку дождя смутно видна была та часть английских позиций, на которую нужно было вести наступление его отряду, и предложил им рассмотреть ее как можно внимательнее.

Смотрели и невооруженными глазами, смотрели в зрительные трубы, мало что различая из-за дождя, обращали внимание и на развороченный взрывами мост через Черную. Павлов объяснял, что о мосте думать поручено князем Нахимову, и это их не касается: мост должен быть сделан из бревен и досок там, в порту, и сюда пригнан по воде на буксире парового катера рабочими порта; сделано все это будет, разумеется, ночью, дабы не привлечь этим внимание противника.

Отряд Павлова был несколько слабее отряда Соймонова: в нем было около шестнадцати тысяч штыков, тогда как у Соймонова около девятнадцати тысяч. Зато артиллерия его была чуть не втрое могущественней: у Соймонова всего тридцать восемь орудий, у Павлова—девяносто шесть—почему именно, трудно было понять.

Однако наиболее крупный численно отряд был не у этих двух генералов, а у того, кого Меншиков знал и к кому особенно благоволил,—у князя Горчакова в Балаклавской долине.

Кроме поступившего под его команду Липранди со всею 12-й дивизией, в которой насчитывалось пятнадцать тысяч, у него была в руках вся конница севастопольской армии: три полка драгун, два полка гусар, сводный полк улан и десять сотен казаков,—всего семь тысяч и около девяноста орудий.

Горчакову доверялось выполнение самостоятельной операции, очень ответственной, но зато решающей: он должен был по одному из трех доступных с его стороны всходов на Сапун-гору ввести достаточной силы пеший отряд, чтобы по его следам обрушиться на противника массой своей кавалерии и раздавить его сопротивление отрядам Соймонова и Павлова.

Если бы даже прорваться на плоскогорье Сапун-горы в утренний час не удалось, то Горчаков должен был приковать к своему отряду весь охранительный корпус Боске—двенадцать с половиной тысяч, чтобы сделать невозможным для него помощь атакованным с фронта англичанам.

Силы же французов из осадного корпуса должен был таким же образом отвлечь генерал Тимофеев своею вылазкой со стороны шестого бастиона.

Таким образом, Меншиков, распределяя общую задачу разгрома союзников между четырьмя отрядами, в которых считалось круглой цифрой шестьдесят тысяч человек, думал сбросить в море из укрепленного лагеря прекрасно вооруженную армию союзников, отнюдь не меньшую числом.

Бывало в истории, что даже и более трудные боевые задачи решались блистательно при разумной и неослабной энергии полководцев и стремительном напоре солдат, но в таких случаях неизменно сражением руководила единая воля.

Но Меншиковым эта единая воля и победа передоверена была нескольким неспособным старым генералам, сам же он из главнокомандующего русской армией превратился в крепостного надежного дядьку, взяв на себя обязанность оберегать совершенно не во-время явившихся царских сыновей.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ИНКЕРМАНСКОЕ ПОБОИЩЕ

1

В два часа ночи дали солдатам обед и к обеду по чарке водки. Старые, с проседью в усах, ели вдумчиво, степенно, молодые же кое-где переругивались с артельщиком.

— Дал тоже порцию мясную, скаред,—кость одна!

— Дурак! Костей наешься, тебе же лучше на француза иттить: и штык пуза не пробьет, и пуля в костях застрянет!—отзывался бойкий артельщик.

Еще не светало, когда, после колокольного звона, выступили с площади на Екатерининскую улицу и потянулись в ротных колоннах полки отряда Соймонова. Ночь была сырая, мозглая, холодная; ходьбой грелись.

Солдату, идущему в плотной колонне, положено только чувствовать локоть своего товарища, а не думать о своем будущем. Правда, с думами тяжелее, а на солдате и так вполне достаточно тяжелого груза.

Перед тем как двинуться, покрестились «на восход солнца», и всякий почувствовал себя уже на самой границе жизни и смерти. Что дело, на какое шли, будет отнюдь не шуточным, это видели солдаты по многим признакам, кроме того, что войск собралось семь полков.

Перешли через Южную бухту по мосту-плашкоуту, потом миновали Пересыпь, наконец, Соймонов, поговорив с проводником, решительно повел свой отряд через Килен-балку по новой Саперной дороге, чтобы вывести его потом на старую почтовую.

Несмотря на ненастье ночи и свежий воздух, от которого першило в горле, солдатам строжайше было приказано не кашлять.

Однако полевые орудия тяжелых батарей,—косноязычно называвшихся тогда батарейными батареями,—то и дело застревали в колдобинах размытой дождями дороги. Артиллеристы дружно и молча помогали лошадям вытягивать в гору пушки, но долго выдержать молчанки не позволяла тяжелая работа; но орудия все-таки густо стучали большими крепкими колесами; но широкие, как солдатские манерки, копыта дюжих коней звучно чавкали в грязи... Солдатские сапоги тоже вязли на каждом шагу и выдирались из нее с шумом, а двигалось почти два десятка тысяч людей.

Подойти к неприятельским позициям такому отряду совсем бесшумно можно было только в детских мечтах. И вот уже на середине четырехверстного подъема в гору захлопали выстрелы впереди: это цепь русских стрелков-штуцерников столкнулась вплотную со стрелками английской сторожевой цепи.

Одновременно с этим появилась желтая, резко проблиставшая в туманной мгле, цепь огней вдоль русских бастионов, и загремели залпы огромных орудий.

Когда проходили полки мимо Килен-бухты, разглядели солдаты совсем близко к берегу стоявшие два парохода. Это были «Херсонес» и «Владимир», поставленные тут, чтобы поддержать их атаку. Теперь и они опоясались огнями залпов и гремели.

Только что перед открывшейся стрельбой дойдя до довольно широкого ровного плато у верховьев Килен-балки, Соймонов остановил передовые колонны на десятиминутный отдых; кстати, нужно было и перестроиться к атаке. Но пальба обязывала итти быстрее вперед, чтобы уменьшить потери.

Быть может, опасавшийся и шпионов противника и своих переметчиков очень скрытный и осторожный Меншиков был прав; быть может, о готовящемся наступлении оба главнокомандующие союзных армий были извещены заблаговременно.

Что они ждали нападения на Балаклаву, это бесспорно, в этом их хотел убедить и сам светлейший; но несомненно повышена была бдительность часовых по всему фронту.

По крайней мере, английский генерал Кондрингтон взял себе за правило ежедневно в пять часов утра начинать объезд аванпостов своей бригады легкой дивизии Броуна.

Он занят был этим и в утро 5 ноября (24 октября). На постах он выслушивал обычные рапорты, что все обстоит благополучно. Однако он почему-то не успокаивался этим. Он задержи-

вался, вслушивался, всматривался в туман и мглу кругом...

Он говорил даже начальнику аванпостной линии, капитану Претиману:

— А что если эти неутомимые русские именно теперь вот подходят к нашим позициям? Погода благоприятствует им: туман, дождь, штуцеры наши отсырели...

Его перебили тревожные выстрелы, раздавшиеся со склонов, обращенных к Севастополю.

— Вы слышите?—крикнул Кондрингтон, но Претиман отозвался:

— Может быть, пустая тревога, милорд.

Однако выстрелы застучали чаще и чаще, и вот уже бежали посланные оттуда, с передовых постов, с донесением, что русские наступают в больших силах.

Кондрингтон повернул коня и бросился в тыл, в лагерь, чтобы немедля поднять на ноги людей всей дивизии Броуна.

Затрубили тревогу горнисты; дивизия очень быстро покинула палатки, стала в ружье и беглым шагом пошла на помощь передовому отряду генерала Пеннефетера, который заменил Лесси Эванса, незадолго перед тем так несчастливо упавшего с лошади, что пришлось его отправить в госпиталь в Балаклаву.

На той довольно обширной площадке, на которой Соймонов остановил свой отряд, он все-таки успел его поставить в порядок наступления. Полки своей дивизии он разместил: Томский—на правом фланге, Колыванский—на левом, Екатеринбургский—в резерве, а за ними уже расположиться должна была здесь подтягивавшаяся сводная дивизия генерала Жабокритского: Владимирский, Суздальский, Углицкий и Бутырский полки. Этот глубокий резерв должен был дожидаться здесь приказа двигаться дальше. При нем оставалось двадцать шесть орудий, а батарейную батарею в двенадцать орудий Соймонов взял с собою, поместив ее в промежуток между Томским и Колыванским полками.

С атакой надо было спешить: до позиций англичан осталось еще две версты подъема, а между тем стрельба и канонада, открытая очень преждевременно, гремела во-всю.

Колыванцы и томцы поднимались по скользкой глине, хватаясь за встречные балочные камни и кусты. Кусты же чаще попадались колючие—шиповник, терновник, дикая груша—и ранили руки шипами. Между тем скорострельные штуцеры, хотя и отсыревшие, правда, но высохшие после первых выстрелов, уже посылали в наступающих тучи пуль.

Сорвалась надежда Соймонова напасть врасплох, но зато он видел, что ни одного солдата из колонны Павлова еще нет около, между тем уже яснело кругом. Это давало ему уверенность своей правоты: выходило, что он понял диспозицию Меншикова именно так, как надо, и что его атака отсюда могла бы быть сокрушительной, запоздай всего только на полчаса перестрелка, непростительно затеянная стрелками.

Когда передовые роты полков выбрались, наконец, из узкого ущелья к двум английским редутам, атаку Соймонова уже готовы были встретить бригады Пеннефетера, Адамса, Буллера, Кондрингтона,—девять тысяч пехоты с двумя батареями полевых орудий, быстро занявших выгодные позиции, в то время как пушки Соймонова застряли на крутом подъеме, оставили без своей поддержки два передовых полка и задержали третий.

Жесточайшая штуцерная пальба встретила и озадачила томцев и колыванцев: турки на Дунае кинулись бы на них со штыками, а в штыковом бою русский солдат привык уже считать себя непобедимым.

В две-три минуты потери были уже так велики, что не успевали смыкаться,—валились люди целыми шеренгами.

Появившись на знакомом колыванцам коне своем перед их отшатнувшимся строем, Соймонов крикнул:

— Ура!

Колыванцы подхватили крик, кинулись вперед со штыками наперевес, но английская пехота, верная своим тактическим приемам, введенным еще во время войны с наполеоновскими полками в Испании маршалом Веллингтоном, отступила, продолжая стрелять.

Перед колыванцами была та самая бригада Броуна, которая упорно не принимала штыкового удара владимирцев на Алме, предпочитая косить их пулями и быть в безопасности от их штыков.

Томцы в одно время с колыванцами бросились было на бригаду Адамса, но остановились под дождем бивших без промаха пуль и отхлынули. Орудия же англичан придвинулись ближе, и завизжала картечь.

Стало уже настолько светло, что англичане могли различать офицеров, бывших большей частью верхами, и то здесь, то там сваливался с коня всадник или падал под ним конь.

Соймонов метался, пока еще не тронутый ни одной пулей, и кричал:

— Артиллерия где?.. Где батарея?

Послать в тыл узнать, что сделалось с батареей, некого было: и старший и младший адъютанты его были уже тяжело ранены и вынесены в тыл. Но ему указали, как позади устраивалась батарея на так называемой Казачьей горе.

И вот, наконец, понеслись первые русские гранаты в английские ряды.

Не двенадцать полевых орудий, а двадцать два,—другие десять из дивизии Жабокритского,—

густо покрыли Казачью гору. Они били не навесными выстрелами, как английские, а прицельным огнем.

Тяжелые снаряды начали рваться не только в колоннах английской пехоты, они летели и дальше, в лагерь, и действие этих снарядов уже было видно артиллеристам.

Палатки взмывали в воздух, как лебеди, и разрывались в клочья; мчались и падали убитые лошади, оторвавшиеся от коновязей; металась и гибла лагерная прислуга...

Английские генералы дальних участков лагеря, пока еще не вступившие в сражение, не знали, куда вести свои полки, не понимали, откуда эти русские гранаты, потому что канонада гремела с трех сторон: привычная уже, хотя и очень ожесточенная для такого раннего часа,—со стороны севастопольских бастионов, новая—с фронта; наконец, и от Балаклавской долины тоже слышались пушки: это Горчаков перестреливался с Боске.

Впрочем, Боске, чуть только рассвело настолько, чтобы разглядеть, что делается в Балаклавской долине, увидел, что перед ним стоит генерал уже не тот, который был одиннадцать дней назад, а другой, отнюдь не желающий рисковать своим отрядом.

Не только полки его, пешие и конные, разбросанные в разных местах, расположились гораздо дальше, чем могли достать орудия с Сапун-горы, но и батареи его почему-то пугливо палят в воздух, снаряды их не долетают до французских позиций.

Живой и энергичный, он сразу увидел, что ему здесь нечего делать, что здесь только детски неумелая демонстрация, а настоящая атака там, на английском фронте.

Он снял со своих позиций двадцать четыре легких орудия, захватил три батальона стрелков и своего бригадного генерала Бурбаки и отправился на помощь англичанам.

Однако встреченные им генералы Броун и Каткарт оказались горды, как это было свойственно гражданам самого благоустроенного государства в мире. Они уверили его, что отразить русскую атаку считают своим частным делом, что с русскими они справятся сами.

Боске ничего не оставалось сделать, как оставить отряд Бурбаки у ближайшего редута французов, присоединив его к алжирским стрелкам.

Броун и Каткарт из глубины тыла недооценили размеров русского удара; кроме того, они думали, что со стороны Килен-балки только демонстрация, главный же натиск направлен на Балаклаву.

Так же думал и Раглан. Он даже послал приказ своим судам развести пары и приготовиться принять войска, чтобы вывезти их в открытое море.

И только в семь часов, когда стало совсем светло, и видно уж было, что Балаклаве опасность не угрожает, Раглан успокоился и поехал посмотреть, что такое затеяли русские на правом фланге его позиций.

Он подъехал близко к бою. В это время туман уже поднялся, но его место заступил такой густой дым, что стоил любого тумана.

Только с трудом, проверяя одно донесение другим, можно было установить, что, примерно, девять тысяч русских, повидимому, совсем не имея резервов, ворвались в лагерь и бьются с четырьмя бригадами англичан.

Между тем, действительно, резерва Соймонова,—четырех полков под командой Жабокритского,—не было видно со скалистых обрывов английских позиций. Он сошел с площадки, на которой был оставлен Соймоновым, и залег в лощине, где был безопасен от снарядов и пуль.

Жабокритский помнил, что должен был ждать приказания от Соймонова, что ему делать дальше: только ли придвинуться ближе, итти ли на выручку своих; развивать ли их успехи, или прикрывать их отступление. Он видел, что густо шли раненые вниз, опираясь один на другого, но это была обычная деталь всякого боя, это не было отступлением полков. Однако никто не приезжал и с приказом от Соймонова итти ему на помощь или развивать его успех.

А дело было только в том, что некому было послать такой приказ.

В начале схватки Соймонов видел, что узкая площадка, на которую вышли его полки, не в состоянии была даже вместить этих двух полков в развернутых ротных колоннах.

На фланге она была всего только шагов в двести шириною; дальше, где были редуты, шире, но все-таки не больше, как в шестьсот шагов.

Дальше, по мере того как развертывался бой, Соймонов, стремившийся лично руководить полками, может быть, просто забыл на это время, что он—начальник не только одной своей 10-й дивизии, что в его руках еще и другая дивизия, стоящая в резерве. Наконец, несмотря на большую убыль людей в полках, солдаты его неудержимо рвались вперед,—вошли в азарт, как и он сам. Томцы опрокинули надежными штыками бригаду Пеннефетера, ворвались в редут, заклепали стоявшие там два орудия, изрубили лафеты.

Бригада Буллера—из дивизии Джорджа Броуна—была отброшена колыванцами далеко назад, а в это время как раз ворвались два батальона екатеринбургцев справа, со стороны верховья Килен-балки и ударили на бригаду Кондрингтона.

Делом двух-трех минут было захватить четыре орудия и заклепать их. Однако на помощь Кондрингтону подоспели резервы, и оба батальона были сбиты снова в балку.

Резервы подошли и к другим бригадам.

Уже тринадцать тысяч англичан скопилось против значительно поредевших томцев и колыванцев. Сосредоточенный штуцерный огонь был так силен, что полки попятились. В иных батальонах вместо тысячи человек едва оставалось двести—триста.

Упал, наконец, с коня и сам Соймонов: пуля попала в живот.

Его вынесли на шинели вниз, и тут только он, будучи еще в полном сознании, увидел сам, что от места боя до перевязочного пункта в Ушаковой балке было добрых три, если не четыре версты.

Составлялись и пересоставлялись диспозиции и адъютантами главнокомандующего, и адъютантами командира корпуса, и адъютантами его самого и генерала Павлова, а о такой мелочи, как тяжело раненные, которые могут истечь кровью, пока дотащут их на перевязочный пункт, совершенно забыли.

Недолго после Соймонова прокомандовал остатками полков 10-й дивизии бригадный генерал Вильбоа,—он тоже был ранен. Командование перешло к полковнику Пустовойтову, но через несколько минут тяжело был ранен и Пустовойтов. Его заменил полковник Александров, но вскоре был убит и он.

Ранен был штуцерной пулей и командир сводной батареи полковник Загоскин...

Большая часть подполковников, майоров, капитанов на выбор расстреливались английскими снайперами, и к англичанам все прибывали резервы, а дивизия Жабокритского продолжала лежать в лощине и ждать приказа выступать.

Екатеринбургский полк уже отступил: он потерял почти три четверти людей и не мог держаться. Томцы и колыванцы пятились тоже, отстреливаясь. Англичане уже обходили их с флангов, готовясь отрезать от дороги вниз, когда подошли, наконец, уже в восемь часов свежие полки.

Но это были полки колонны Павлова, которые только теперь успели кое-как добраться до гребня Сапун-горы.

2

Почему же так запоздала колонна Павлова, которая по диспозиции Меншикова должна была наступать в одно время с колонной Соймонова?

Потому что генерального штаба полковник Герсеванов, писавший диспозицию Меншикову, не имел понятия о том, что такое большой мост через реку с топкими берегами, и какое время нужно, чтобы его навести.

Он думал, что навести готовый уже, то есть сбитый из бревен, мост можно за какие-нибудь полчаса, между тем как сто человек портовых рабочих под командой лейтенанта Тверитинова, нахимовского флаг-офицера, прибуксировав этот мост к устью Черной еще в полночь, провозились с ним в темноте до семи часов, но и тогда еще мост не вполне был готов, и Данненберг приказал передовым ротам стрелков начать переправу на лодках, чтобы хоть что-нибудь бросить на помощь Соймонову: целый час уже гремела жестокая канонада там, на горе.

Хладнокровный Тверитинов, повидимому, имевший привычку делать все основательно, солидно, прочно, отвечал неизменно нескольким посланцам Павлова и Данненберга:

— Мост не готов еще, нет, и переправляться по нему нельзя... А когда будет готов, я тогда доложу.

Между тем было уже двадцать минут восьмого. Павлов приказал егерским полкам, Бородинскому и Тарутинскому, переходить по мосту, каков бы он ни был, и поехал с ними сам.

Полки перешли, и не теряя уж ни минуты на отдых, поднялись на высоты и подоспели если и не во-время, чтобы помочь биться, то все-таки кстати, чтобы прикрыть отступление сильно обескровленной 10-й дивизии и занять в бою ее место.

Соймоновская батарея еще держалась на Казачьей горе. Увидя новые силы, там удвоили огонь, и полки, хотя сильно обстрелянные уже бригадой Адамса, бросились на нее, откинули ее назад и пошли прямо на редут, в котором хотя и не было пушек, но засело много стрелков.

Стрелки эти подпустили тарутинцев шагов на шестьдесят и встретили их залпом беспощадно убийственным.

Однако, перепрыгивая через погибших при этом товарищей, тарутинцы стремительно кинулись в редут и перекололи стрелков.

Они были налегке,—без мешков, которые были выданы всей дивизии Кирьякова после дела на Алме, где несколько батальонов этой дивизии сбросили с себя ранцы, сильно давившие и резавшие плечи ремнями. Мешки тарутинцы, как и бородинцы, сбросили с себя на последнем подъеме на гору перед атакой. В мешках было все немудрое имущество их: белье, сапоги, бритвы, кусок мыла, табак,—но как развернуться для удара в штык, когда надоевшим горбом торчит этот нищенский мешок за плечами?

Зато стремителен был их натиск.

Но примириться с потерей редута не захотели англичане. Не прошло и пяти минут, как снова, перестроившись, двинулись они на тарутинцев.

Густой орудийный дым скрыл их наступающие ряды; залпом из своих очень трудно заряжаемых ружей не успели их встретить тарутинцы, и вот около редута и в самом редуте снова начался свирепый рукопашный бой.

В армии каждого народа скопляется за долгие годы его жизни та героика, без которой не бывает победоносных армий.

«Дети королевы Виктории» твердо знали о себе, что они,—английские пехотинцы,—совершенно непобедимы в штыковом бою, как английские драгуны и гусары непобедимы в рубке, а уланы в уменьи действовать пикой.

Эта уверенность в себе до того усилила их напор, что тарутинцы были в свою очередь смяты и выбиты из редута.

Но на помощь им бросился батальон бородинцев, которые тоже знали о себе, что в руках у них русские штыки, а ведь они с подхватами, с присвистами, чуть ли не каждый день пели, возвращаясь в лагерь с ученья, свою солдатскую песню о штыке:

Пуля-дура просвистала,—
Поднесешь врагу штыка!
Штык, штык
Невелик,
А посадишь трех на штык...

Велика сила традиций о боевой непобедимости: это была тяжелая и кровавая схватка. Ни та, ни другая сторона долго не верила в то, что не она непобедима. Ломая штыки, бились прикладами, как дубинами; выхватывали друг у друга ружья и штуцера и теряли их в свалке; хватали камни и дрались камнями; наконец, просто душили друг друга руками,—с каждой минутой все глубже опускались в доисторическое.

Редут остался за бородинцами, хотя при этом тяжело был ранен их командир полка—Веревкин-Шелюта 2-й. Однако недолго торжествовали и бородинцы; они не успели еще оглядеться в отвоеванном редуте, как уже были осыпаны звучными пулями. Откатившись на четыреста-пятьсот шагов и поддержанные свежим полком, стрелки Адамса открыли частую пальбу из штуцеров, сами будучи в полной безопасности от русских гладкоствольок.

Горка редута была открыта в их сторону, и нельзя было где-нибудь в редуте укрыться всем бородинцам от меткого и злого огня, как трудно было и покинуть взятое после такого боя укрепление.

Все-таки пришлось покинуть: слишком велики были потери. Кроме того, совсем близко придвинулась легкая батарея и осыпала картечью.

Эти легкие батареи англичан были неразлучны со своими пешими бригадами, в то время как батарейная батарея русских, заняв в начале боя позицию на Казачьей горе, не сдвинулась с нее до конца, хотя большая половина артиллерийской прислуги и лошадей была там перебита не столько гранатами противника, сколько его штуцерным огнем.

Переполовиненная упорными схватками бригада Адамса снова заняла редут, но бой за обладание им отнюдь не кончился этим.

Бородинцы и тарутинцы, к тому времени лишившись почти всех старших офицеров и предводимые молодежью-прапорщиками и юнкерами, объединились в одно скопище людей со штыками, которое можно было бы назвать лавою, или, по-русски, стеною, как это было принято тогда на кулачных боях, но никак не бригадою, и кинулись на укрепление вновь.

Это уж был малоосмысленный порыв,—азарт, хорошо знакомый карточным игрокам. Укрепление без орудий не имело особого значения. Оно оставалось, пожалуй, только местом, на котором погибло много товарищей, и за них хотелось отомстить.

Теперь бой был гораздо короче: англичане сочли за лучшее отступить и опять приняться за испытанную стрельбу на выбор.

Но им на помощь шли саженные гвардейцы бригады генерала Бентинка; три тысячи человек при шести полевых орудиях, с одной стороны, и бригады Пеннефетера и Буллера, вытеснившие к тому времени остатки полков Соймонова,—с другой. Кроме того, спешили посланные Боске три батальона французов.

При этом орудия на Казачьей горе стреляли уже редко: там истощались зарядные ящики.

Меншиков надеялся, что англичане будут выбиты из своих позиций: однако взятые позиции необходимо было укрепить, чтобы их не отобрали. Поэтому целый обоз фур и полуфурков, нагруженных фашинами и мешками, и команда саперов при них двинулись по старой почтовой дороге.

Укреплять взятые позиции приказано было Тотлебену, и он хотя и видел бесконечные вереницы раненых, спускавшихся вниз, к Инкерманскому мосту, где был перевязочный пункт отряда Павлова, все-таки не думал о полной неудаче дела и поднялся на плато к 10-й дивизии.

Только тут он увидел, что туры пока излишни. Кучи солдат разных полков, вяло отстреливаясь, спускались с плато в балки. Под частыми пулями англичан, под разрывами их картечи, в дыму искал он генерала Соймонова, но ему сказали, что Соймонов уже больше часа тому назад убит, что солдаты не знают, кто сейчас у них начальство и что им делать.

Тотлебен повернул лошадь и поскакал вниз за резервами.

Несколько офицеров верхами стояли укрыто от пуль и смотрели вниз, откуда подходили батальонные колонны. Это был генерал Павлов с адъютантами и юнкером-ординарцем. Тотлебен несколько знал его по Дунайской кампании.

— Туда надо послать резервы!—крикнул он, подъезжая.

— Вы ко мне?.. Кем посланы, полковник?— удивился его крику Павлов.—Вас генерал Соймонов послал?

— Меня не посылал никто... Генерал Соймонов

убит, и солдаты остались вообще без офицеров, ваше превосходительство!

— Соймонов убит?—чрезвычайно поразился Павлов, будто Соймонов был чугунная статуя и убитым быть не мог.

Он снял фуражку, перекрестился, надел ее козырьком набок и пробормотал:

— Артиллерию туда надо!

— Надо, да, надо и артиллерию тоже,—подтвердил Тотлебен.

— Но ведь теперь уже корпусный командир сам принял начальство над обоими отрядами, значит, только он и может распорядиться послать общий резерв,—раздумывал вслух Павлов, видимо все еще не пришедший в себя после того, как услышал о смерти Соймонова.

— Прикажете, ваше превосходительство, доложить командиру корпуса?—обратился к нему один из адъютантов, поручик.

— Поезжайте, поезжайте сейчас же!.. А если встретите где-нибудь батарею, тащите ее сюда моим именем!—оживился Павлов.

И поручик поскакал вправо и вниз, а Тотлебен влево, туда, где, он видел, расположилась, лежа в лощине, сводная дивизия Жабокритского. Но там он нашел уже всех в движении. До Жабокритского дошло, наконец, известие о том, что Соймонова уже нет на поле сражения; старшим начальником всего отряда становился теперь он сам и должен был выручать разбитые полки, в беспорядке спускавшиеся в верховья Килен-балки. Бутырскому и Углицкому полкам приказано было итти на прикрытие артиллерии на Казачьей горе. С ними вместе потянулись вверх и две батареи легких орудий.

Было уже девять часов; туман поднялся; день обещал продержаться ясным до вечера. Но севастопольские бастионы тонули в дыму, из которого, как огненные языки, то и дело прорезывались вспышки выстрелов.

3

Как архитектор, давший чертежи плана и фасада большого здания подрядчикам, а сам отлучившийся до полного почти окончания работ, иногда не может узнать, приехав, своего детища и приходит в отчаяние от тех нелепых форм, какие получились у подрядчиков,—так Меншиков, сопровождавший великих князей, ничего не мог понять, приблизясь к Инкерманскому мосту, из того, что происходит там, на горе.

Оттуда доносилась канонада, оттуда густо шли раненые, и уже гораздо более батальона на взгляд столпилось около перевязочного пункта, а между тем через мост только еще переходила тяжелая артиллерия колонны Павлова.

На четырехверстном подъеме к тому месту инкерманских позиций англичан, какое Меншиков наметил для прорыва, как-то тоже совершенно непостижимо и бессмысленно, точно муравьи кишели серошинельные солдатские массы, облепившие весь подъем.

Одни медленно тащились в гору, другие поспешно бежали в овраги каменоломни и оттуда, видно было по дымкам, стреляли вверх.

Между тем видно было и то, как неприятельские гранаты рвались почти на середине подъема, и трудно было решить, делают ли они непозволительные перелеты, или совсем недалеко от крутых ребер спуска с Инкерманского плато поставлены английские орудия и обстреливают отступающих.

А фурштатские солдаты с турами и шанцевыми лопатами, размахивая вожжами, лихо взбирались по тяжелой дороге, спеша доставить необходимые материалы для укрепления взятых позиций.

Когда выезжал с Северной стороны сюда Меншиков, он думал все-таки предоставить великим князьям это неиспытанное еще ими удовольствие осмотреть только что взятые после горячего боя неприятельские позиции; но теперь его мысли шарахались оторопело: сражение по многим признакам было как будто уже проиграно,—застать врасплох англичан, видимо, не удалось, и он не знал, ни что ответить царским сыновьям на их вопросы об этом, ни где найти для них на той стороне Черной безопасное и в то же время не слишком удаленное от боя место.

Огромная свита великих князей, включая сюда и адъютантов главнокомандующего и ординарцев от всех полков, медленно продвигалась по плотине в хвосте занявшей всю ширину ее артиллерии Павлова. В этой свите все тоже встревоженно-вопросительно вглядывались и в таинственную гору и в лица друг друга.

— Мы явились к концу дела или к середине еще,—как думаете, Александр Сергеевич?—спросил Меншикова Михаил.

— Я думаю, что был всего только авангардный бой, а теперь вот начнут наступать главные силы Павлова, ваше высочество,—преданно изогнулся на седле светлейший.

— Это отряд генерала Павлова; а где же отряд Соймонова?—спросил Николай.

— Он наступает с той стороны,—уверенно указал Меншиков вправо, к верховьям Килен-балки.

Въехали на мост. Колеса орудий громыхали по мокрому дереву моста, копыта многочисленных лошадей гулко стучали; это благодетельно мешало говорить о неприятном для Меншикова обороте дела с наступлением.

Но вот миновали мост и вторую плотину.

Раненые шли вереницей. Иные хромали и опирались на ружья, как на палки, или поддерживая простреленную руку другою рукой. Но, кроме одиночек, много было и в окружении помогавших им,

с виду вполне здоровых, или носилки с тяжело раненными тащили вчетвером, даже вшестером.

Неистовые вопли неслись, не переставая, с иных носилок. Иные раненые причитали нараспев. С носилок капала кровь, и глинистая дорога с горы заметно порудела.

К раненым солдатам Меншиков не хотел обращаться с расспросами о том, что творилось там, наверху; они, конечно, и не могли бы объяснить всего дела, так как видели только то, что было около них.

Но вот поровнялись с ним носилки с тяжело раненным офицером; однако офицер этот не мог говорить: одна из штуцерных пуль, какими он был ранен, прошла через обе щеки, когда он раскрыл рот для команды, и почти оторвала язык, который свешивался теперь на подбородок, кровавый, вспухший и немой.

Наконец попался на глаза Меншикова какой-то молодой офицер верхом, говоривший с командиром подымавшейся батареи. Он говорил, как старший младшему, энергично показывая при этом рукою вверх, на кручу.

Безошибочно предположив в нем чьего-то адъютанта, Меншиков послал за ним лейтенанта Стеценко, и вот поручик подъехал с застывшей у козырька рукой.

Отделившись от великих князей, спросил его светлейший:

— Что, как идет наступление?

— Одна английская батарея взята, ваша светлость!—тактично начал с самого приятного для главнокомандующего поручик.

— А-а...—неопределенно протянул Меншиков.— Сколько же именно орудий?

Этого вопроса не ожидал поручик. Он имел в виду редут № 1, который то захватывался, то отдавался снова тарутинцами и бородинцами, и он только предполагал там орудия.

— Точного числа орудий не могу знать, ваша светлость,—замялся он.

— Вы адъютант генерала Павлова?

— Так точно!

— А как идет наступление колонны генерала Соймонова?

Поручик видел, что пытливость главнокомандующего слишком велика, а он знал очень мало.

— Ваша светлость, полки нашей колонны перемешались с полками той колонны...

— Как так перемешались?—очень удивился Меншиков.

— Большая убыль офицерского состава, ваша светлость... Так что даже и генерал Соймонов,— есть сведение,—опасно ранен.

Как адъютант поручик знал, что высшее начальство не любит печальных истин, и постарался несколько смягчить то, что услышал от Тотлебена.

— Соймонов?.. Опасно ранен?—ошеломленно повторил Меншиков и, не спрашивая уже ничего больше, послал свою лошадь вперед.

Нисколько не надеясь на Данненберга и подозрительно относясь к Павлову, Меншиков из трех новых для него генералов больше всего чувствовал доверия к Соймонову, почему дал ему в командование семь полков, а Павлову только пять,—хотя численно и несколько большего состава,—и задачу на Соймонова возложил труднее и ответственней. Убыль этого генерала сразу показалась ему зловещей настолько, что он умолчал о ней великим князьям, хотя передал туманное известие о взятой батарее.

Пришлось остановиться на полуподъеме в закрытом, казалось бы, месте, однако вышло так, что и здесь было далеко не безопасно: вскоре низко перелетевшим ядром контузило в голову двух адъютантов Меншикова: полковника Альбединского и Грейга, который, несмотря на весьма неутешительное донесение об Алминском бое, вернулся из Гатчины ротмистром.

4

Барабаны судорожно-лихо били атаку ротам Охотского полка.

Два другие полка дивизии Павлова,—Якутский и Селенгинский,—несколько отстали,—охотцы всходили уже на Инкерманское плато с той именно стороны, откуда взошли недавно, а теперь частью спустились уже в каменоломни, частью спускались остатки бородинцев и тарутинцев.

Гвардейцы бригады Бентинка—полк кольдстримов, засевший в редуте № 1, встретил охотцев рассчитанными залпами, и в числе первых были тяжело ранены ведший охотцев полковник Бибиков и два командира батальонов, но это остановило солдат только на время: отхлынув было, они прихлынули снова.

Теперь в редуте стояло уже девять орудий, а кольдстримы были отборные пехотинцы: батальоны охотцев встретили вполне достойных соперников.

Бутырский и Углицкий полки командовавший теперь всеми атакующими силами Данненберг не вводил пока в дело: они прикрывали в это время артиллерию, которая сменялась и занимала новые места.

Двадцать два полевых орудия, поставленные еще Соймоновым на Казачьей горе, отведены были в резерв. Их заменили тридцать восемь легких, и теперь эти новые состязались и с тридцатью пушками англичан и осыпали снарядами редуты.

Подкрепленные этим, охотцы бросились в штыки на кольдстримов. Упорно защищались гвардейцы, блюдя свою славу непобедимых, но русский способ удара штыком был знаком им еще с Алминского боя, когда они отражали владимирцев; они знали,

что если не удастся отбить удара, то можно заранее прощаться с жизнью.

Русских солдат учили бить штыком только в живот и сверху вниз, а ударив, опускать приклад, так что штык подымался кверху, выворачивая нутро: бесполезно было таких раненых даже и относить в госпиталь.

Но в редуте, охваченном охотцами со всех сторон, было слишком тесно, чтобы отбивать русские штыки. Кольдстримам удалось только кое-как пробиться и отступить, оставив на месте более двухсот убитых.

Из девяти орудий, там взятых, охотцы заклепали шесть, а три оттащили к оврагу и сбросили.

Этот злополучный редут, подступы к которому сплошь и со всех сторон были уже завалены убитыми, оказавшийся снова в русских руках, очень озаботил Раглана.

Он видел, что появляются на английских позициях все новые и новые русские полки взамен разбитых, так что резервы Меншикова могли показаться совершенно неистощимыми. Он только что перед этим простился со смертельно раненным около него старым соратником, генералом Странгвейсом, который сражался еще с войсками Наполеона в битве под Лейпцигом, командуя ракетной батареей, и вот где нашел свою смерть.

Кроме того, одно за другим получались донесения, что ранены генералы: Адамс, Буллер, Кондрингтон... Наконец и бывший рядом с ним французский главнокомандующий контужен был в руку. Это показывало, что они слишком близко стояли к линии огня, что нужно было отодвинуться шагов на пятьдесят, то есть упустить общее командование боем из своих рук, потому что пушечный дым мешал что-нибудь видеть с почтенного отдаления.

Отъезжая все-таки несколько назад, он послал своего адъютанта к генералу Каткарту, начальнику 4-й дивизии, с приказом двинуться в сторону редута, занятого русскими, и отбить его.

Каткарт, как и сам Раглан, как и Броун, был любимый адъютант Веллингтона и тоже участник знаменитых битв с Наполеоном под Лейпцигом и при Ватерлоо. Незадолго перед Крымской войной победно закончил он южно-африканскую войну с кафрами. Ему было шестьдесят два года, но он имел вид сорокалетнего по своей энергии, пылкости и молодости движений.

Немедленно по получении приказа два его бригадных генерала, Гольди и Торренс, повели свои бригады отбивать редут.

Силы были, конечно, далеко не равны. К дивизии Каткарта, кроме кольдстримов, присоединились еще два гвардейских полка Бентинка.

Охотцы еще не успели как следует очистить редут от тел убитых, когда увидели, что их окружают со всех сторон. Отстреливаясь, они отступили.

Но в это время подходила уже подмога и им: из-за каменного гребня выдвигались передовые роты якутцев.

Селенгинский полк двинут был левее якутцев. По пути он принял за англичан остатки тарутинцев, стрелявших из каменоломен вверх в англичан и потому окутанных густым дымом, и поднял против них такую оживленную пальбу, что если бы тарутинцы не поспешили сползти на дно оврага и там залечь, то они вообще перестали бы существовать как полк.

Но когда Каткарту донесли об этом шумном движении еще нового русского полка, он предоставил гвардейцам удерживать редут против якутцев, а сам бросился со своими полками вправо, чтобы окружить селенгинцев.

Но случилось то, чего не предвидел Каткарт.

Как только якутцы поднялись на плато и увидели отступавших охотцев, они ударили англичанам во фланг так стремительно, что смяли их и погнали в промежуток между редутами.

С особенно большим уроном отброшены были гвардейцы Бентинка. Сам Бентинк при этом был тяжело ранен в руку, двенадцать его офицеров, представители знати, убиты...

Якутцы и сами не заметили, как очутились далеко позади первого редута, откуда их начали бить штуцерным огнем кольдстримы.

Правда, их засело там уже немного, остатки полка, человек четыреста. Когда они заметили, что русские готовятся к атаке, то есть к работе штыками, они поодиночке начали покидать редут, выбегая оттуда в сторону дивизии Каткарта.

Якутцы бросились к редуту, и он был занят снова,—в который уже раз в этот злосчастный день!—русскими солдатами.

Но и охотцы подошли частью к этому редуту, но в большей своей части ко второму, и неожиданной для англичан дружной атакой ворвались в него. Так оба редута оказались в русских руках.

Каткарт увидел вдруг, что не он обходит селенгинцев, а селенгинцы его. И они обходили его обдуманно и очень искусно, пользуясь складками местности и дымом. Кроме того, две легких донских батареи взобрались вслед за якутцами на плато, выстроились и открыли по его дивизии сильный картечный огонь.

Каткарт понял, что он зарвался, и приказал отступать на редут № 1, но из редута его обстреляли вдруг ружейным огнем.

Думая, что редут занят кольдстримами, которые стреляют только потому, что в дыму принимают его солдат за русских, Каткарт скомандовал своим:

— Снять шинели!

Красные мундиры должны были прекратить печальное недоразумение, но обстрел из редута стал еще сильнее.

Тем временем охотцы,—части третьего и четвер-

того батальонов,—плотно сдвинулись около левого фланга 4-й дивизии, со стороны бригады Торренса, и Каткарт увидел, что он окружен.

Поспешно строя свои полки в каре, он командовал им:

— Огонь!

Открыли беспорядочную стрельбу англичане, но очень скоро истощили запасы носимых в подсумках патронов.

— Огонь!—неоднократно повторял команду Каткарт.

— У нас нет больше патронов!—кричали ему в ответ солдаты.

— А разве нет у вас штыков?—крикнул Каткарт.—В штыки!

И сам первый бросился в сторону охотцев, казавшуюся ему наиболее слабой.

Но хотя охотцы и были, действительно, наиболее слабой из окружавших его частей, штыки у них тоже еще были, и действовать ими они умели.

Атаку англичан они отбили, отбросив их далеко на редут.

При этом смертью ранен был бригадный генерал Гольди, ранен был другой генерал—Торренс, убито и ранено много офицеров, но Каткарт уцелел и, кое-как построив свои ряды, повел их в атаку на якутцев.

При этой новой атаке он был убит пулей в голову, а при попытке поднять его с земли был ранен и адъютант его, полковник Сеймур. Но смерть его так возбуждающе повлияла на его солдат, что они все-таки пробились, хотя и оставив много тел.

5

Между тем в это время донесли Канроберу, что отряд русских войск со стороны Севастополя атакует французские позиции. Одновременно с этим и Раглан получил донесение, что русские движутся на Балаклаву.

— Ого! Так вот оно что!—не столько удивился этому донесению, сколько обеспокоился Раглан и обратился к Канроберу с виду спокойно:

— Я начинаю думать, что мы... очень больны, а?

— Не совсем еще, милорд,—ответил Канробер.—Надо надеяться...

Немедленно были посланы адъютанты разузнать насчет наступления на Балаклаву: это было больное место Раглана. Однако они скоро вернулись с успокоительной вестью, что Балаклава пока в безопасности; что же касается позиции французов, то там, действительно, идет жаркое дело.

Еще рано утром в этот день Минский полк, в котором числилось три тысячи человек, собрался к шестому бастиону.

Предполагалось вначале, что вместе с ним пойдет на вылазку и Тобольский полк, но Меншиков отменил это свое распоряжение вечером накануне: он решил поберечь пока боевой полк и заменил его резервными батальонами, Виленским и Брестским.

Четыре легких орудия были приданы полку, но штуцерных мало досталось на его долю, и в застрельщики пришлось отправить солдат с гладкостволками.

Пошли между Карантинной бухтой и кладбищем. С бастиона взяли с собой молотки и стальные ерши для заклепывания орудий,—взяли десять штук стальных ершей, но мало, как потом оказалось.

Никто не представлял, конечно, не только ясно, даже и приблизительно, как может развиться вылазка, не ночная, какие бывали неоднократно, а при обычном утреннем свете, и не малым отрядом, а целым полком и с орудиями, притом в такое время, когда отнюдь нельзя застать врага врасплох: шла канонада по всему фронту, шло наступление главных сил.

Прошли без выстрела с полверсты от Карантинной слободки,—было подозрительно тихо в густом тумане. Генерал Тимофеев, взяв с собой застрельщиков, сам поехал верхом вперед, чтобы не завести весь отряд в засаду.

Наконец, из-за длинной каменной стенки их обстреляли французы жидким штуцерным огнем. Удостоверясь, что засады нет, Тимофеев скомандовал наступление.

Французские стрелки, отступая, соединялись с другими, расположенными ближе к позициям, и вот уже жестокие залпы встретили наступающих с такой дистанции, какая была недоступна русским ружьям.

Вслед за этим с двух осадных батарей полетели гранаты.

Тимофеев, артиллерийский генерал, приказал своим легким орудиям открыть огонь по французским стрелкам, а полку ускорить шаг.

Наконец подошли к неприятельским батареям так близко, что солдаты, много товарищей своих теряя от стрельбы французов и не имея возможности ничем на это ответить, просили Тимофеева:

— Ваше превосходительство, дозвольте орудия его взять!

«Он» был вообще неприятель, орудия же были осадные, огромных калибров, те самые орудия, которые посылали смерть и увечья в осажденный город.

И Тимофеев позволил. И ничто уж потом не могло удержать минцев: ни залпы из штуцеров, ни картечь. Они закричали «ура» и побежали в атаку.

Бежало три тысячи, добежало две с половиной, но зато добежавших не могли уж остановить штыки французов.

Не было уже среди минцев ни командовавшего полком майора Евспавлева,—он был ранен,—ни одного из капитанов, командовавших батальоном,—

они тоже выбыли из строя,—и много других офицеров было ранено и убито,—штабс-капитану пришлось командовать всеми этими пришедшими в сильнейший боевой раж героями в серых шинелях.

Несколько минут,—и укрепление было взято.

— Ершей сюда! Давай ершей!—кричали солдаты, обнимая французские пушки и гаубицы.

Вот тогда-то и оказалось, что ершей захватили мало: пушек и гаубиц было пятнадцать.

Закатывали большие камни в чугунные жерла, забивали их банниками как можно глубже, потом ломали банники.

Но орудия свои защищали французы пулями и штыками, и кипела около них отчаянная борьба. Французов было не мало: пять батальонов траншейного караула.

Однако минцы найденными тут же на батарее топорами и ломами рубили и вдребезги разбивали лафеты, сбивали с орудий прицелы, делали все, чтобы только привести их в негодность.

Генерал Тимофеев с барабанщиками и горнистами остался сзади и следил в бинокль за тем, что происходит на батарее.

Уже около часа хозяйничали минцы у французов. Чтобы не стреляли по ним французы из траншеи, они завалили вход в нее амбразурными щитами. Но Тимофееву было виднее, чем им, что они всполошили весь осадный корпус французов, что в обход их уже движется беглым шагом по направлению к Карантинной бухте не одна, а несколько колонн.

Он приказал горнистам трубить и барабанщикам бить отбой, но увлеченные разгромом батареи минцы не слыхали отбоя.

А между тем, кроме той бригады, которая была послана в обход минцам, генерал Форе, начальник дивизии, послал другую свою бригаду под командой генерала Лурмеля из тыла прямо на минцев. Но двигались также сюда еще и дивизии Лавальяна и принца Жерома Бонапарта.

Таким образом, переполох был поднят значительный, и большие силы французов были отвлечены от подачи помощи англичанам. Тимофееву оставалось только привести полк назад с наименьшими потерями.

Барабанщики яростно колотили в барабаны, горнисты трубили во все легкие. Наконец отбой был расслышан, да кое-кто из минцев увидел, что их обходят. Закричали:

— Обходят, братцы! Сейчас отрежут!—и начали поспешно строиться в ротный порядок.

Но безнаказанно уйти, подняв на ноги все французские силы, они не могли, конечно.

Бригада Лурмеля не один раз атаковала их на ходу, приходилось бросаться в контратаку, отстаивать себя надежными штыками, отстреливаться.

На помощь им спешили резервные батальоны Виленского и Брестского полков. Минцам же нужно было не только уйти самим, но еще увести и унести с собою здоровых и раненых пленных—двух офицеров и сорок солдат, а Лурмель со своей бригадой преследовал их по пятам.

Можно было даже думать, что на плечах минцев он хочет ворваться на русскую батарею и разгромить ее с еще большим успехом, чем это удалось сделать минцам у французов.

Другая бригада Форе под командой д'Ореля отстала, не доходя до Карантинной слободки, к которой подошел третий резервный батальон—Белостокский, а Лурмель все гнался за минцами.

И, подведя геройский полк к батарее капитан-лейтенанта Шемякина, Тимофеев приказал ему рассыпаться в стороны, а батарее открыть огонь по французам.

Залп изо всех орудий отрезвил зарвавшуюся бригаду. Сам Лурмель был убит одним из первых. Остаткам его полка едва удалось отступить под прикрытием бригады д'Ореля.

Минцы потеряли в эту лихую вылазку треть полка, но потери французов были гораздо больше.

И если бы отряд Горчакова сделал такую же и в одно время попытку атаковать корпус Боске, Инкерманское сражение окончилось бы крупной победой севастопольских войск, и союзникам пришлось бы снимать осаду.

Но Горчаков, как он сам потом писал в своем донесении Меншикову, «хотел избежать излишнего кровопролития», и двадцатидвухтысячный отряд его зря простоял в этот решительный день на занятых им с утра местах в Балаклавской долине.

6

Впрочем, Горчакову трудно было и угадать тот момент, когда наступление хотя бы двух его пехотных полков на Сапун-гору могло бы приковать к своим позициям корпус Боске. О том, когда именно произошла вылазка минцев, не знали даже и Павлов и Данненберг, бывшие гораздо ближе к Севастополю, чем Горчаков и Липранди. Связь между отрядами тогда поддерживалась исключительно только конными ординарцами и адъютантами, которые безотказно, конечно, скакали, куда бы их ни послали генералы, но не всегда могли доскакать во-время.

Наконец, и Тимофеев, при всей удаче своей вылазки, все-таки произвел ее значительно позже, чем было ему приказано, но для главных сил русских все-таки полезнее было бы, если бы с тою же удачей он захватил и привел в негодность французскую батарею и отвлек дивизию Форе к Севастополю часом позже, потому что именно час спустя, в одиннадцать дня, началась решительная стадия боя.

К этому времени не только редут № 1, но и редут № 2, куда англичане успели доставить два

осадных орудия, был захвачен полками Павлова. Расстроенные продолжительным, несколько часов уже длившимся боем, потерявшие не меньше четверти своего состава и почти всех своих генералов, бригады англичан были оттиснуты в промежуток между вторым редутом и верховьями Киленбалки. Здесь был тяжело ранен ядром в руку и бок старый сэр Джордж, командир легкой дивизии. Раздробленная рука его висела, бледное лицо с закрытыми глазами было безжизненно, длинные седые волосы трепало ветром, когда его несли далеко в тыл на перевязочный пункт. Из английской армии выбыл еще один участник войны с Наполеоном и ученик Веллингтона.

Под племянником королевы Виктории, дюком Кембриджским, была убита лошадь, хотя он и оберегался Раглаком и держался вместе с ним в тылу. Но стоило только Раглану на правах главнокомандующего сделать этому молодому начальнику гвардейской дивизии легкое замечание, что он опоздал послать свою вторую бригаду на поддержку первой, отчего та понесла большие потери, как герцог ответил ему исступленным криком.

Его голос был дик и хрипл, лицо конвульсивно дергалось, в глазах стояли слезы... Несколько человек едва могли удержать его.

Ужасные картины боя, потеря многих друзей из представителей высшей знати так подействовали на герцога, что он бился в сильнейшем нервном припадке, которым началось его длительное умственное расстройство. Его отвезли в госпиталь в Балаклаву.

А к русским полкам приехал Данненберг в сопровождении своего начальника штаба генерал-майора Мартинау, чтобы руководить их наступлением.

Правда, силы наступающих все-таки были меньше, чем силы англичан. В трех полках—Охотском, Якутском и Селенгинском—до начала боя считалось восемь с половиною тысяч, теперь оставалось не более шести, в то время как англичане имели вполне боеспособных тысяч восемь-девять, и английские солдаты были далеко не так утомлены, как русские, проведшие ночь под дождем и без сна и сделавшие переход по тяжелой грязной дороге. Но нужно было пользоваться моментом замешательства англичан и развивать успех боя.

Однако Раглан тоже видел, в каком положении находились его войска, и тут британская самонадеянность его уступила место необходимости: он обратился за помощью к французам.

Генерал Бурбаки был уже наготове оказать эту помощь и явился тем почти лошадиным по быстроте маршем, к какому были способны только зуавы и алжирские стрелки, но он со своими почти тремя батальонами и двенадцатью орудиями стоял сравнительно недалеко,—на стыке английских и французских позиций.

Убедившись окончательно, что Горчаков отнюдь не собирается атаковать его, Боске снял из своего корпуса еще девять тысяч, но этим было уже значительно дальше итти до места боя.

Конечно, и Горчаков мог бы отправить по крайней мере два полка, чтобы подкрепить Данненберга, но это был для него слишком смелый шаг, да, наконец, он не получал на этот счет никаких приказаний от светлейшего, и 12-я дивизия простояла совершенно бесполезно в то время, когда решался вопрос, быть или не быть дальнейшей осаде Севастополя.

Батальоны Бурбаки рьяно кинулись в бой: им хотелось показать англичанам, как надо драться.

Но зуавы были в фесках, зеленых и красных, в восточных широких шароварах и с окладистыми черными, совсем мусульманскими бородами. Якутцы, со стороны которых они появились, приняли их за своих старых знакомых—по Дунайской кампании—турок.

— Турки, братцы! Турки заходят во фланг!—кричали они, но совсем не озабоченно, скорее радостно даже: турки были привычным врагом, в турках не было ничего страшного.

И хотя Бурбаки выдвинул для успешности натиска на русских всю свою артиллерию, на «турок» якутцы ударили яростно, как и не ожидали зуавы. Они смешались и отступили в беспорядке; якутцев же не остановил и оживленный артиллерийский обстрел. Они теряли много, но стремительно рвались вперед за «турками».

Наконец за оврагом, на длинном пригорке увидели перед собой шесть орудий. Передки с выносами в шесть по-русски сытых и дюжих серых лошадей подъезжали к орудиям.

— Что это? Наши никак? Гляди!

— Известно, наши!—решили якутцы.

Но тут же их обдало картечью. Погибшие при этом остались на этой стороне оврага, но остальные кинулись вперед через овраг, и только четыре орудия успели увезти серые лошади,—два отбили якутцы.

Они отбили их, правда, после жестокой схватки: французы отчаянно защищали их, но помогла уверенность русского солдата в том, что турок не может его одолеть.

Якутский и Охотский полки наступали с фронта, селенгинцам же удалось даже обойти левый фланг англичан и появиться у них в тылу.

Данненбергу стоило бы только двинуть в дело два свежих полка, и победа спустилась бы на русские войска и повлекла бы за собою снятие осады.

В его распоряжении было не два, а четыре полка, оставшиеся от колонны Соймонова: Владимирский, Суздальский, Углицкий и Бутырский,—но он думал не столько о победе над англичанами, сколько о порядке отступления после того, как будет разбит.

7

Данненберг имел боевое прошлое.

Так же, как и его противники в Инкерманском сражении, английские генералы Раглан, Броун, Каткарт, Странгвейс,—он был в 1812—1815 годах участником многих сражений с Наполеоном. Он считался одним из лучших знатоков военного дела в русской армии, но, находясь под начальством Горчакова 2-го в Дунайской кампании, он был одним из наиболее задерганных им генералов.

Меншиков имел все основания встретить сообщение о том, что вместе с 4-м корпусом к нему отправляется Данненберг, гримасой отчаяния: дело около селения Новая Ольтеница, при впадении речки Аржис в Дунай, было проведено Данненбергом исключительно неудачно.

Может быть, и сам Данненберг, когда так решительно отказывался от наступления на Инкерманские позиции 23 октября, имел в виду то обстоятельство, что как раз 23 октября исполнялась годовщина Ольтеницкого дела.

Однако и теперь, 24 октября, стоя на левом фланге артиллерии и наблюдая за ходом боя как раз с такого места, с которого за орудийным дымом едва ли что-нибудь было видно, этот незадачливый генерал мог не один раз припоминать печальные картины наступления на турок русских полков, тем более что и полки эти были те же самые—Якутский и Селенгинский, и те же самые командиры полков: Якутского—полковник Бялый, Селенгинского—полковник Сабашинский шли впереди их, и тот же начальник дивизии,—лысый, восточного обличья, торопливый генерал Павлов с неукоснительною исполнительностью ловил на лету и проводил его приказания.

Дело при Ольтенице было весьма позорным делом, но тогда сам Горчаков великодушно разделил вину Данненберга, сваливая все неудачи этой войны на канцлера Нессельроде, который лишал инициативы русские войска на Дунае, надеясь этим избежать интервенции Австрии, Англии и Франции в пределы России.

Ввиду того, что этим подневольным отсутствием инициативы со стороны русской армии отлично пользовался кроат Омер-паша, укрепляясь на берегах Дуная и даже переходя его, где бы ему ни вздумалось, Горчаков как раз за десять дней до Ольтеницкого сражения писал товарищу своих молодых лет Меншикову:

«Обстоятельства очень серьезны. Честь России и неприкосновенность ее границ в настоящее время покоятся лишь на двух головах: на вашей и на моей. Будем же действовать по собственному внушению и собственными силами, так как невозможно рассчитывать, чтобы подкрепления и инструкции прибыли к нам во-время. Со дня на день я ожидаю, что девяносто тысяч фанатиков кинутся на меня сначала из Гирсова и Видина, а потом из Рущука, Туртукая и Силистрии...»

Конечно, поставленный в необходимость отнюдь не действовать наступательно, а предоставить агрессивные шаги туркам, чтобы обелить русское правительство в глазах Европы, Горчаков мог ожидать нападения сразу со всех сторон.

Омер-паша предпочел действовать от Туртукая в очень удобном для него месте—близ устья Аржиса, где стояло каменное здание карантина. Сперва был занят турками близкий к устью Аржиса остров на Дунае, потом навели на судах мост через Аржис и, согнав с правого берега Дуная несколько тысяч болгар, так укрепили при помощи их и карантин и всю близлежащую местность, что это не могло не обеспокоить Горчакова и Данненберга, и между ними началась изумительная по своей нервности переписка.

Со стороны турок действовал сам главнокомандующий турецкой армией Омер-паша. В занятое им и переоборудованное укрепление он сумел ночью переправить значительный гарнизон в десять тысяч человек; искусно расположил там большое число мортир и пушек; шагах в двадцати перед рвами саженной глубины заложил три ряда фугасов; кроме того, на правом берегу Дуная поставил в укреплениях несколько десятков орудий большого калибра; на острове поставлены были две батареи—четырнадцать орудий; наконец, батарея была расположена на лодках на Дунае.

И всему этому Данненберг не придавал серьезного значения: он считал это только демонстрацией и в этом духе писал Горчакову, находившемуся за сотню километров. Горчаков отвечал, что совершенно с ним согласен и ждет настоящего наступления со стороны Журжи.

Но через несколько минут отправил к нему нового ординарца с длинным, заготовленным заранее наставлением, какими приемами действовать ему, чтобы сбросить турок в Дунай.

И потом в течение трех дней, с 20 октября по 23-е, то и дело мчались адъютанты и ординарцы от одного генерала-от-инфантерии к другому с письмами по поводу того, демонстрация это у Ольтеницы или этого терпеть нельзя и нужно немедленно опрокинуть турок в Дунай.

Иногда Горчаков даже обещал прибыть к Данненбергу на помощь с восемью батальонами и восемью эскадронами, но большей частью все опасался за свой фронт против Журжи и приказывал туда стягивать 12-ю дивизию.

Начальник штаба Горчакова генерал Коцебу записал в своем дневнике относительно этого времени: «Было большое волнение, и мы усердно молились».

Наконец, Горчаков пришел к последней уверенности, что наступление на него готовится от Журжи, и приказал категорически Данненбергу очи-

стить от турок карантин: он посылал туда для рекогносцировки подполковника генерального штаба Эрнрота, и тот вернулся с донесением, что карантин занят очень слабым отрядом, и даже сам с двумя батальонами брался его очистить.

Вместо двух батальонов назначены были для этого два полка. Дело казалось таким пустяковым, что не только начальство в ожидании наград было радо участвовать в нем,—нет, даже и солдаты, соскучившиеся от долгого бездействия, шли весело, с музыкой, с песнями, не желая останавливаться для отдыха... Однако очень многие из них не вернулись.

В двух полках было тогда считанных шесть тысяч человек; артиллерия была слабая. Но при отряде были уланы, и их офицеры предложили Павлову отправить эскадрон в рекогносцировку, чтобы добыть нужные сведения о противнике. Павлов рассердился.

— Вы хотите, чтобы турки испугались и ушли на другой берег?—закричал он.—Категорически запрещаю всякие эти рекогносцировки ваши!

Шли, как на праздник, заранее задабривая адъютантов, чтобы позабористее расписали в реляциях начальству их подвиги.

Даже местность, по которой нужно было итти в наступление, и ту не осветили, все из боязни спугнуть турок и через это лишиться наград. Генералы Павлов, Охтерлоне, Сикстель назначены были командовать отрядами в два батальона или батареей в двенадцать орудий,—из одного только желания дать возможность легким делом заработать орден или повышение по службе.

Распределив части своего отряда и общий порядок наступления, сам Данненберг остался в тылу, в селении Новая Ольтеница, руководить боем.

Поднялась сильная канонада с обеих сторон, и что же? Оказалось, что слабая численно артиллерия русского отряда наносила туркам огромные потери, так как большой отряд их был скучен слишком тесно на небольшом дворе укрепления. Суда у пристани были зажжены снарядами и горели. Неприятельская артиллерия почти замолчала после часовой перестрелки.

Тогда Павлов двинул в атаку Селенгинский полк. Но чуть только он двинулся в густых колоннах и с неизменным «ура», заговорили орудия левого берега и острова. Огонь этот был так силен, что одному очевидцу «турецкий берег казался вулканом, изрыгавшим железо».

Однако селенгинцы, а за ними якутцы, хотя и теряли многих товарищей, не убавляли шага. Но тут сказалось полное незнание местности, и два батальона, которые вел генерал Охтерлоне, попали в топь, в которой увязли по колено.

Остальные шесть все-таки добрались до вала. Расстроенный большим уроном, гарнизон уже очищал укрепление. Еще несколько минут,—и карантин был бы взят. Но вдруг от Данненберга пришел приказ отступать.

В первый момент никто этому не поверил, так это показалось нелепым. Потом медленно стали отодвигаться.

Турки так были удивлены этим хитрым маневром, как они думали, что долго сидели неподвижно, готовясь к окончательной гибели и только гадая, откуда она придет. Когда же ясно и очевидно стало, что русские отступают, они выслали было своих улан в погоню, но те от первого же ядра по ним ускакали обратно.

Селенгинский и Якутский полки потеряли тогда по пятисот человек и больше половины всех находившихся в отряде офицеров, турки же хотя потеряли и вдвое больше,—между прочим, двух пашей,—могли торжествовать победу: это было первое сравнительно крупное их столкновение с русскими в Дунайскую кампанию; престиж непобедимости русских войск пал, и содействовал этому падению престижа Данненберг, командовавший наступлением за три версты от фронта.

И вот теперь, на Инкерманских высотах, ровно через год после Ольтеницкого дела, он стоял за дымовой завесой, надежно отделявшей его от наступавших, но знал, что наступают те же полки 11-й дивизии, тот же торопыга Павлов, тот же его бригадный Охтерлоне, и Сабашинский, и Бялый, только враг тут гораздо более упорный и умелый, чем дунайские турки, и, значит, еще более доводов за то, чтобы скомандовать отступление.

Но неудача под Ольтеницей была с буйной радостью подхвачена мировою прессой того времени. Это был первый и осязательный провал европейского жандарма Николая, и передовая печать не могла упустить случая поиздеваться над врагом свободы, изощряясь в насмешках над его армией.

И хотя Горчаков послал в Петербург хвастливое донесение, будто он заставил турок выкупаться в Дунае, все-таки контраст между этим его донесением и общим голосом европейских газет был так велик, что его попросили сообщить все подробности дела.

Но, кроме прессы, были еще и руководители английской и французской армий, деятельно готовившие свои войска к интервенции в Россию, и может статься, что, не будь неудачного Ольтеницкого боя, не было бы и Инкерманского побоища, решившего судьбу Севастополя.

В бесконечно длинной цепи исторических событий нет ничего «беззаконного», и какую бы массу счастливых или несчастных случайностей ни открыл в этих событиях поверхностно пробегающий по ним глаз, все эти случайности отнюдь не случайны,—они в неразрывной связи между собою.

Даже если хотят иные что-нибудь объяснить экстазом, мгновенным подъемом сил или, напротив, паникой, мгновенным падением их, то и для

паники и для экстаза есть свои законы возникновения.

И даже сам Данненберг, проигравший сравнительно мелкое, только очень показное для того времени сражение, и, будто по иронии истории, награжденный за это назначением руководить очень большим и очень значительным по своим задачам и последствиям боем, явился тут только необходимым козлом отпущения.

Меншиков более чем неприязненно его встретил. Меншиков был, несмотря на свой преклонный возраст, достаточно умен, чтобы не доверять ему ответственной роли,—и все-таки доверил... Почему же доверил?

Потому что николаевский режим не выдвигал и, по самой сути своей, не мог выдвигать талантливых людей. Это был режим для бездарностей, для тех, кто или от рождения не имел собственного лица, или тщательно вытравил его серной кислотою длительной науки служить преуспевая, и в три изумительных по своей лаконичности речения: «Слушаю!», «Точно так!» и «Никак нет!»—вложить все силы своего ума, как бы недюжинны ни были они от природы.

8

Что не удалось Бурбаки с его тремя батальонами, то удалось Боске, который в одиннадцать часов явился на помощь англичанам с девятитысячным свежим отрядом.

Этот отряд, слившись с тем, что осталось после пятичасового боя от восемнадцати тысяч англичан, принес с собою живую энергию зуавов, меткость алжирских и венсенских стрелков, обилие патронов. Четыре эскадрона африканских конных егерей примчались вместе с этим отрядом и стали пока в резерве, чтобы в свой час довершить победу над полками дивизии Павлова, которые свелись уже к пяти—пяти с половиной тысячам усталых, частью даже и легко раненных и контуженных, но не покинувших строй людей.

Данненберг думал, что к нему подойдет дивизия Липранди из отряда Горчакова, стоявшего в полном бездействии и видного с Казачьей горы, когда относило дым ветром; но оттуда никто не двигался; не поднимались свежие полки и со стороны Инкерманского моста или Килен-балки.

Напротив, верховья Килен-балки все гуще заполнялись англичанами, беспрерывно стрелявшими вниз по Углицкому полку, стоявшему в колоннах.

Шла еще ожесточенная схватка между охотцами, якутцами, селенгинцами и батальоном французов, но наметавшийся глаз Данненберга в этом скоплении англичан в Килен-балке видел уже сигнал к отступлению. А через несколько минут подобные сигналы стали чудиться ему везде кругом. И когда вдруг из облака дыма, отпрянувшего от только что бахнувшего рядом с ним орудия, вынырнула лошадиная голова, а за нею закруглилось сытое лицо адъютанта Меншикова, полковника Панаева, Данненберг почувствовал острую боль под ложечкой, точно был контужен.

— Это вы? Что?—спросил он с тревогой, думая, что Меншиков извещает его об идущем на помощь резерве, который теперь уже не поможет.

— Его светлость спрашивает, в каком положении дело,—обратился к нему Панаев.

— Дело?..

Весь прокопченный дымом, так что даже серые усы его почернели, худощекий, с оторопью в воспаленных глазах, Данненберг закричал желчно:

— Скажите главнокомандующему, чтобы вóйска, вóйска мне еще прислал! У меня нет резервов!.. Даже прикрытия артиллерии нет!.. И все орудия подбиты! Можете полюбоваться!

Точно для доказательства как раз в это время на батарее, шагах в двадцати, взлетел взорванный неприятельским снарядом зарядный ящик.

Осколки долетели до того места, где стоял, верхом на лошади, Данненберг, и один из них ударил в ногу его лошади выше колена. Лошадь повела головой в сторону Панаева, застонала от боли и медленно повалилась набок. Данненберг едва успел спрыгнуть с нее.

— Вот!.. Вы видите?—яростно кричал он Панаеву.—Это уж вторая сегодня. Прошу передать это князю!.. Мы не можем больше держаться и сейчас начнем отступать.

Но Панаев, еще когда взбирался на Казачью гору, видел, что отступление уже шло самотеком. Не то чтобы здоровые окружали раненого и, пользуясь этим, уходили, как это наблюдалось им часа три назад,—нет, теперь спускались вниз уже целыми толпами, величиною со взвод и больше, и некому было остановить их...

Когда Панаев передал ответ Данненберга Меншикову, он увидал новое для себя, совсем исступленное лицо старика, которое даже не плясало от нервных конвульсий, как обычно, а будто окостенело.

— Этот Данненберг...—почти простонал, так же как раненная осколком гранаты лошадь, искаженный светлейший,—он... он погубил все!

И вдруг заверещал каким-то заячьим фальцетом, какого не приходилось тоже слышать у него Панаеву:

— Моим именем передай ему: не отступать, а наступать! Наступать он должен!.. Чтоб он забыл и думать об отступлении!.. Не Ольтеница ему тут,—нет! И я ему не Горчаков! Позови его ко мне сейчас же!—добавил он решительно, взглянув на стоявших в отдалении великих князей.—Пусть генералу Павлову передаст командование, а сам едет сюда! Я буду здесь!

Панаев поскакал поспешно, но за первым же

поворотом разглядел, что Данненберг уже спускался с горы на ординарческой лошадке, а за ним тянулось на тормозах с кручи несколько орудий, окруженных солдатами, видимо, пехотинцами: отступление началось, и возглавлял его сам командующий боем.

Великие князья к этому времени проголодались, и тот из их свиты, который должен был заботиться об их удобствах во время сражения, достал дорожную серебряную коробку с закусками. Однако, заметив такое легкомыслие, Меншиков подъехал к ним с озабоченным лицом.

— Ваши высочества, здесь вам нельзя уже больше оставаться,—сказал он, стараясь найти тон, средний между просьбой верноподданного и приказом главнокомандующего.

— А что?.. Что может быть?—спросили они его наперебой.

— Данненберг уступил поле сражения врагу и отступает!—пояснил Меншиков.—Вам нужно будет сейчас же вернуться в Севастополь, ваши высочества.

Коробка с закусками была спрятана, и кавалькада, нельзя сказать, чтобы очень удивленно или уныло, устремилась вниз, а Меншиков зло двинул коня в сторону Данненберга, увидя Панаева около этого генерала.

— Что вы делаете? Как вы смели это без моего приказания?—закричал Меншиков, подъезжая.—Остановить!.. Сейчас же остановить!

— Как так остановить?—изумился больше, чем обиделся Данненберг.—Здесь остановить?

— Здесь, здесь! Остановить сейчас же!

— Здесь нельзя остановить, что вы! Здесь можно только всех положить!—начал также кричать Данненберг.—Отчего вы не прислали мне резерва?

— Я... вам... приказываю... остановите войска!—захлебываясь и так пронзительно закричал Меншиков, что Данненбергу оставалось только перейти на совершенно официальный тон.

Он отозвался, понизив голос:

— Ваша светлость! Если вы думаете, что теперь можно остановить войска и наступать, то примите сами командование над армией и делайте, что можете сделать...

Он махнул рукою около смятой спереди назад фуражки, прощаясь с князем, оглянулся на артиллерию и направил лошадь к киленбалочной плотине.

Меншиков невольно посмотрел на Панаева, точно своего адъютанта призывал в свидетели того, что позволил себе сделать этот горчаковец.

Но в пяти шагах от него был и другой его адъютант, лейтенант Стеценко, а впереди над явно разбитым и растрепанным, в беспорядке, но плотными кучами отступающим каким-то полком рвалась злая картечь, вырывая новые десятки раненых и убитых.

— Рассыпать их!.. Кто их ведет так, какой дурак!—обернулся к Стеценко Меншиков.—Командующего полком ко мне!

Едва Стеценко успел ринуться к этому полку, как полковник Исаков, третий его адъютант, доложил обеспокоенно, что великие князья едут как раз на линию обороны, где рвется уже не картечь, а снаряд за снарядом из огромных осадных орудий. Кстати, и сын светлейшего, уже слегка контуженный в голову, едет тоже с ними.

— Скачи к ним, голубчик, скачи, как же можно! Ах, боже мой, целая орда ординарцев с ним, и все олухи! Поверни их, куда надо!—заторопился и сморщился, еле сидя на седле от волнения, Меншиков.

Все рухнуло как-то сразу, а еще утром казалось ему, что все обдумано им, предусмотрено и сколочено хорошо, и Тотлебен укрепится на правом фланге позиций интервентов так же, как укрепился Липранди у них в тылу, и тогда можно было бы написать царю, что успешно приводится в исполнение его план войны: выжимать союзников постепенно и действовать только наверняка. Что могло быть приятнее для царя? Сам сидит в Гатчине, но незримо и непогрешимо руководит войной, как гениальнейший из русских стратегов!.. И вот ничего не вышло из этого плана.

Все рушилось... Рухнуло и падает вниз... Обвал людей в серых шинелях,—людей, лошадей, пушек... Наверху еще идет стрельба, это, конечно, отстреливаются полки, поставленные в прикрытие артиллерии, но надолго ли их хватит? Устоят ли, пока все русские пушки продерутся через узкое ущелье? Штуцерные пули звенят уже над головой и почти каждая там, ниже, находит свою жертву... Вот уже два больших снаряда, явно из осадных орудий, один за другим взорвались почти около утром наведенного моста...

Исполнительный лейтенант Стеценко возник около с каким-то пехотным штабс-капитаном, неумело сидящим на лошади, замухрышкой.

— Вы что!—воззрился на козыряющего истово штабс-капитана светлейший.

— Честь имею явиться,—командующий Томским полком, штабс-капитан Сапрунов, ваша светлость!—неожиданно отчетливо продекламировал замухрышка, в то время как лошадь его фыркала и трясла головой.

— А-а, это тот самый полк,—кучей стоит,—вспомнил Меншиков.—Рассыпать его сейчас же!

— Рассыпать, ваша светлость? Куда прикажете рассыпать?—ничего не понял штабс-капитан Сапрунов.

— Рассыпьте, чтобы меньше нес потерь,—досадливо поморщился Меншиков.

— Если рассыпать, ваша светлость, то как же его собрать потом?—удивился Сапрунов.—Ведь люди приучены так стоять—в колоннах.

— Старше вас неужели нет никого в полку?— повысил голос Меншиков.

— Никак нет, я остался старший в чине,— остальные все перебиты.

— Кто же командует ротами, если вы—полком?

— В пяти ротах совсем нет ни офицеров, ни юнкеров, ваша светлость. Прикажете унтер-офицеров поставить в ротные?

Сделать унтеров ротными командирами—это не укладывалось в сознании Меншикова, но он слабо махнул рукой в сторону штабс-капитана, чтобы ехал к полку, и сказал, отвернувшись:

— Поставьте...

Но вот неожиданно увидел он шагов за двести от себя кого-то очень знакомого верхом.

— Это не Тотлебен ли, посмотрите!—крикнул он Стеценко, указывая рукой.

— Полковник Тотлебен, так точно,—тут же ответил Стеценко, привыкший уже к сухопутному строю службы и ответов начальству.

Тотлебен,—видно было,—деятельно устанавливал на киленбалочной площадке разрозненные полки пехоты; там даже старательно равнялись по жалонерам с красными флажками на штыках.

— Ведь вот же делает человек именно то самое, что и надо!—обрадованно обратился к Стеценко Меншиков, мгновенно забыв, что только что сам приказал замухрышке штабс-капитану рассыпать заботливо собранный им полк.

Помахав хлыстиком перед правым глазом коня, затрусил он к Тотлебену.

Этот флегматичный с виду инженер-полковник, которого месяца два назад до того недоброжелательно встретил светлейший, что хотел даже отправить обратно в Кишинев к Горчакову 2-му, своей неутомимой деловитостью нравился ему все больше и больше. К тому же он был, когда не при деле, достаточно остроумен и весел, что тоже ценил Меншиков в людях. Теперь же, среди общей разбросанности, растерянности, разбитости, казалось так, только он один и мог как-нибудь наладить все и привести хоть сколько-нибудь в порядок.

— Ну, вот, это хорошо, голубчик, что хоть вы здесь, очень хорошо,—говорил он, по-стариковски горбясь на седле, Тотлебену.—А Данненберг сбежал! От него не ждите приказаний: сбежал!.. Нет-с, он у меня здесь больше не будет, нет-с! Я не хочу его терпеть около себя и одного дня-с!—удивляя Тотлебена, кричал он, яростно выкатывая глаза из дряблых зеленовато-желтых мешков.

Между тем совершенно некогда было слушать вышедшего из себя главнокомандующего,—нужно было действовать: дорога была буквально каждая секунда.

Кусты наверху на кручах уже зацвели красными цветами зуавьих фесок; батареи легких орудий поспешно ставились по отрогам, чтобы обстреливать отступающих; владимирцы, поставленные Данненбергом на Казачьей горе прикрывать отход орудий, потеряли уже раненным в руку своего командира полка, барона Дельвига, племянника поэта, и пятились под напором алжирских стрелков Боске. Штуцерные пули пели все чаще; валились, вскрикивая, люди.

Построив в ротные колонны толпы солдат, Тотлебен рассыпал одну роту в цепь отстреливаться от зуавов, другую роту послал помогать спускать на руках орудия; отправил лейтенанта Скарятина к контр-адмиралу Истомину, чтобы прислал матросов на помощь артиллеристам...

Меншиков одобрительно кивал головой на всякое распоряжение Тотлебена, а когда полковник Панаев сказал ему:

— Ваша светлость, здесь небезопасно стоять от пуль!—сразу же согласился и с этим и повернул лошадь, сказав на прощанье Тотлебену:

— Я на вас надеюсь, как на самого себя.

Только подъезжая к киленбалочной плотине, он вспомнил о генерале Тимофееве и сказал Панаеву:

— Что же Тимофеев? Как удалась ему вылазка, и жив ли остался? Надо бы узнать...

Панаев тут же направился к 6-му бастиону, а светлейший, заметив издали генерала Кирьякова, не менее ненавистного ему, чем с нынешнего дня стал ненавистен Данненберг, постарался объехать его стороною, хотя он делал то же самое, что делал на середине подъема Тотлебен: собирал и строил полки своей разгромленной дивизии, бывшие под начальством Соймонова и Жабокритского: Бородинский и Тарутинский, которые отступали со стороны каменоломен. Третий полк его—Бутырский—прикрывал ретираду дивизии Павлова, но толпы солдат-бутырцев оказались и здесь, внизу, около перевязочного пункта: они деятельно сопровождали раненых, и на них кричал знаменитым своим тенором Кирьяков.

С «Херсонеса» и «Владимира» летели, визжа, снаряды туда, где зуавы Боске устанавливали свои батареи.

На киленбалочной плотине, устроенной незадолго перед войной как часть Саперной дороги, стояла такая глубокая вязкая грязь, что не только орудия застревали в ней, даже и люди с трудом вытаскивали ноги, а иные теряли в ней сапоги.

Меншиков, пробираясь по ней, желчно бросил ехавшему на шаг сзади его Исакову:

— Вот мерзавцы, а! Видишь, как они строили дорогу? Не смогли замостить как следует... Камня кругом прохвостам было мало.

Исаков согласился, конечно, что строили дорогу прохвосты, но мог бы заметить, так как отлично знал это, что на дорогу светлейший сам всячески старался не отпускать денег, находя ее совершенно лишней, и когда ее бросили делать, наконец, не докончив, сказал облегченно:

— Слава богу, отсосались казнокрады!.. Любо-

пытен я знать, какой они еще преподнесут мне проектец!

Казнокрады эти были из инженерного ведомства, но Меншиков не мог не знать за свою долгую почти полувековую службу, что казнокрадов сколько угодно и во всех других ведомствах и что если отнять у них возможность красть на необходимых работах, прекращая эти работы, они будут искать способы красть и на безработице, и в конечном счете потеряет государство на бездействии и застое несравненно больше, чем на самом лихом казнокрадстве.

9

Корреспондент лондонской газеты «Морнинг кроникл» писал как очевидец об отступлении русской армии так:

«Судьба сражения еще колебалась, когда прибывшие к нам французы атаковали левый фланг неприятеля. С этой минуты русские не могли уже надеяться на успех, но, несмотря на это, в их рядах незаметно было ни малейшего колебания и беспорядка. Поражаемые огнем нашей артиллерии, они смыкали ряды свои и храбро отражали все атаки союзников, напиравших на них с фронта и фланга. Минут по пяти длилась иногда страшная схватка, в которой солдаты дрались то штыками, то прикладами. Нельзя поверить, не бывши очевидцем, что есть на свете войска, умеющие отступать так блистательно, как русские.

Преследуемые всею союзною полевой артиллерией, батальоны их отходили медленно, поминутно смыкая ряды и по временам бросаясь в штыки на союзников. Это отступление русских Гомер сравнил бы с отступлением льва, когда, окруженный охотниками, он отходит шаг за шагом, потрясая гривой, обращает гордое чело к врагам своим и потом снова продолжает путь, истекая кровью от многих ран, ему нанесенных, но непоколебимо мужественный, непобежденный».

Очевидец, кто бы он ни был, не мог, конечно, видеть всего поля сражения, как не мог видеть его любой из командующих боем.

Это мнение могло сложиться у него несколько позже, когда к своим личным впечатлениям мог он прибавить наблюдения других и сделать общий вывод.

Но о том, что русские полки, сбитые с английской позиции благодаря превосходству оружия и сил интервентов, не оставили в руках у них не только ни одного из шестидесяти четырех введенных в дело орудий, но даже ни одного зарядного ящика, ни одной простой повозки с целыми колесами,—об этом говорят многие очевидцы с обеих сторон.

Кому же приписать честь этого отступления, о котором восторженно отзываются даже враги?

Данненбергу ли, который уехал в Севастополь в самом начале этого отступления, или Меншикову, который уехал на час позже,—в то время как войска отступали до полной темноты, до восьми часов вечера,—или Тотлебену, который пробыл на месте почти до конца?

Тотлебен сделал, конечно, много,—гораздо больше, чем кто-либо другой из начальствующих лиц,—чтобы отступление велось в порядке и с меньшим количеством потерь. Он добился того, чтобы спустившиеся уже до половины дороги вниз роты Углицкого полка и батальоны Бутырского в бо́льшем порядке, чем они могли бы это сделать сами, отразили наседающих зуавов; он даже остановил полубатарею из четырех легких орудий и заставил ее вести перестрелку с легкой батареей союзников; посланный им к Истомину лейтенант Скарятин привел матросов, и дюжие, привыкшие обращаться с пушками матросы действительно много помогли артиллеристам, на своих руках спуская орудия, потерявшие упряжки в бою; он даже посылал на пароходы «Херсонес» и «Владимир», чтобы усилили огонь, и эта мера оказала свое действие и значительно охладила пыл французов...

Но все-таки настоящим и подлинным героем отступления, как и героем боя, проигранного неспособными и неспевшимися русскими генералами, оказался русский солдат.

Солдаты полков 10-й и 11-й дивизий, только что прибывшие из далекой Бессарабии, которая рядом с чужою Молдаво-Валахией, знали и понимали, что вызваны они защищать родину, а не воевать с турком на его земле; и еще, что очень крепко знали они о себе, это то, что они непобедимы.

Легенды ли, песни ли, предания ли, которые передаются от старых солдат молодым из поколения в поколение, внушили им веру в свою непобедимость, или это был просто приказ начальства: «Заучи наизусть, что ты непобедим, и знай это по гроб жизни, а то шкуру спущу!»

Могло быть и то, и другое, и третье, но главное все-таки,—такую уверенность солдатской голове давали ноги, которые вышагивали в походах маршруты в тысячи верст, пока приходили к границам русской земли.

Ведь солдаты русские были сами люди деревни; они знали, что такое земля, с кем бы ни довелось за нее драться, и без особых объяснений ротных командиров могли понять, что такую уйму земли, как в России, могли добыть с бою только войска, которые непобедимы...

География учила их истории и вере в себя, и на Инкерманские высоты поднялись они, как хозяева, выгнать непрошеных гостей.

Гостей этих они не выгнали, правда, гости остались, но остались на весьма долгий срок, что совсем не входило в их расчеты.

Интервенты хотели покончить с Севастополем до наступления зимы, чтобы зиму провести под крышами, если русские тут же после взятия Севастополя не согласятся на мир.

У них все уже было подготовлено к штурму двух соседних бастионов: англичане должны были штурмовать третий, французы—четвертый, и была полная уверенность в успехе, тем более что со дня на день ждали они подкреплений войсками, орудиями, снарядами, патронами, порохом, зимней одеждой и прочим.

Укрепившись после Балаклавского дела на кадыккойских позициях и сделав почти неприступной Сапун-гору против Федюхиных высот, они считали обеспеченным свой тыл, если только не кинется на Балаклаву сразу вся армия Меншикова, но и на этот случай они приняли ряд необходимых мер.

О прибытии к Меншикову 4-го корпуса осведомлены были Канробер и Раглан, но они не думали, что русский солдат выкажет такое нечеловеческое упорство в бою с противником, вооруженным гораздо лучше его, и нанесет ему такие страшные потери, после которых нельзя уже было и думать о штурме.

«В Инкерманской битве, — писала тогда «Таймс»,—нет ничего для нас радостного. Мы ни на шаг не подвинулись к Севастополю, между тем потерпели страшный урон». Урон же интервентов, особенно англичан, был так велик, что Раглан несколькими последовательными депешами подготовлял общественное мнение Англии к ошеломляющей цифре этого урона и все-таки, по общему мнению корреспондентов газет, так и не рискнул назвать эту цифру.

Опасаясь волнений на бирже и падения ценных бумаг, значительно урезал список потерь французов Наполеон III. Напротив, чтобы поднять настроение в Париже, он приказал палить из пушек с Дома инвалидов, что делалось только в случаях большой победы французского оружия. Между прочим, при церкви Дома инвалидов погребен был прах трех величайших французских полководцев: Тюренна, Наполеона и... Сент-Арно!.. Так торопился маленький племянник великого дяди сравняться по части великих побед с эпохой Наполеона.

Конечно, братец его, граф Морни, делал хорошие дела на парижской бирже под победный,— и уже не выдуманный,—гром пушек с Инвалидного дома, а императрица Евгения приготовляла всё для балов и процессий.

Но это было значительно позже, а вечером в день Инкерманского боя Раглан с Канробером обсуждали начерно вопрос о том, не лучше ли будет как можно скорее снять осаду, так как еще одна такая победа над русскими, и некому будет стоять около осадной артиллерии англичан, а следующая подобная победа обнажит позицию французов.

Официальные потери интервентов были показаны вдвое меньшими сравнительно с русскими потерями (в круглых цифрах: четыре с половиной тысячи против девяти), но список потерь офицеров и генералов нельзя было подчистить,—лица командного состава были на виду и на счету,— и если в русских войсках выбыло в этот день, считая и отряд генерала Тимофеева, двести восемьдесят девять офицеров и шесть генералов, то и у союзников вышло из строя двести шестьдесят три офицера и одиннадцать генералов, причем у англичан немногим больше, чем у французов.

И если Раглану казалось, что в сражении на Алме он в офицерском составе понес бо́льшие потери, чем Веллингтон при Ватерлоо, то после Инкермана ему уже приходилось не вспоминать Ватерлоо.

Кроме того, в полках интервентов слишком велика была смертность среди раненых в штыковом бою, в то время как в списки русских потерь попало очень много легко раненных, скоро вернувшихся в строй.

При русской армии тогда не было корреспондентов газет, и некому было давать живые и правдивые картины этого исключительного по упорству сражавшихся боя.

В дыму пороховом и в тумане, в оврагах и в тесноте редутов, отнюдь даже не на глазах своего начальства, выбитого меткими пулями снайперов в самом начале боя, врукопашную, безвестно и геройски бился и побеждал или погибал русский солдат, очертя голову наступая и гоня перед собою лучших по тому времени солдат Европы.

И из всех героев в серых шинелях только об одном в дошедших до нас воспоминаниях сохранилось смутное указание, что он, уже при отступлении, несколько раз ходил под штуцерным и картечным огнем в овраги каменоломни за своими ранеными товарищами и притаскивал оттуда каждый раз по два и даже по три человека.

Но имя и этого героя все-таки не сохранилось для потомства.

Все тяжело раненные в этом бою, как и на Алме, остались как пленные у англичан, зато англичане и всех своих убитых имели у себя под рукою, им не пришлось уже теперь посылать парламентеров в русский стан, как это было после кавалерийского Балаклавского дела.

Тогда благовоспитанные английские джентльмены-офицеры в числе трех человек явились под белым флагом к генералу Липранди и,—может быть, они вспомнили сцену из «Илиады», как Приам привез Ахиллу кучу драгоценностей для выкупа тела своего сына Гектора, или были просто осведомлены, что в России ничего вообще не добьешься без приличной взятки,—они с первых же слов предложили Липранди денег за то, чтобы разрешил он взять с поля сражения трупы уби-

тых английских офицеров бригады лорда Кардигана.

Конечно, это были трупы молодых представителей английской знати; они имели большую цену и для своих богатых семейств и для их великосветских родственников и хороших знакомых, но русский дикарь-генерал этого не понял. Он даже как будто оскорбился предложением денег. Он ответил высокомерно:

— Я мертвецами не торгую!—и отошел.

Он ни о чем больше не хотел разговаривать с английскими джентльменами, и хотя разрешил, конечно, забрать трупы, но мотивировал это разрешение целями чисто санитарными, и о невежестве этого русского дикаря-генерала долго и язвительно писали потом не только английские, но и французские газеты, называя его, впрочем, для пущего эффекта князем Горчаковым.

Трупы английской знати и здесь, на Инкерманском плато, были тщательно собраны еще до восхода луны. Но у многих английских солдат, большей частью ирландцев, были жены, жившие на задворках лагеря в палатках. Для начальства трупы этих солдат какую же могли иметь цену, если даже и живым солдатам за их военную работу цена была всего один шиллинг в день? Но ко многим женам не вернулись в этот злой день их мужья-солдаты, и вот, при луне, среди гор трупов, лежащих повсюду: около редутов, возле лагеря, в оврагах, на взлобьях холмов, в кустах, бродили женщины, поворачивая бледные лица убитых к луне, надеясь узнать и боясь узнать в них своих мужей, причитая и плача.

Так когда-то, после битвы при Гастингсе, Эдифь—Лебединая шея, воспетая Генрихом Гейне, искала труп короля саксов Гаральда не потому, что он был король, а потому что задолго до своей смерти он был ее «незаконным» мужем.

ГЛАВА ПЯТАЯ
ПОБЕЖДЕННЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ

1

Прожить долгую и богатую впечатлениями жизнь, занимать все время видные и высшие посты в государстве, добыть себе славу умнейшего и остроумнейшего человека, пользоваться прочной дружбой самого царя, быть одною из «двух голов, на которых покоилась честь России и ее достоинство», и потерпеть поражение в то время, когда все обещало полный успех, притом, не без досадных свидетелей, как на Алме, а, напротив, в присутствии великих князей, то есть все равно почти что самого Николая,—это очень тяжело отразилось на Меншикове, это встряхнуло весь его крепкий еще, хотя и старый, организм, как внезапная и жестокая болезнь.

Когда он вернулся в Севастополь, он только справился, благополучно ли доехали великие князья и его сын, а сам не мог успокоиться, не переговорив до конца с Данненбергом, которого считал виновником катастрофы этого дня.

Он разослал своих адъютантов искать его, и Панаеву посчастливилось встретить его около тюрьмы.

Когда Данненберг услышал, что его хочет видеть Меншиков, то сказал устало и равнодушно:

— Хорошо, передайте князю, что я к нему не поеду,—не поеду, нет! Но если ему все-таки захочется продол-жать говорить со мною в том тоне, в каком он это начал было, то я... я могу подождать его здесь.

И он слез с лошади и уселся на куче камней, оставшейся здесь от разбитого бомбардировкой дома.

Панаев, конечно, не передал этого так, как было сказано, и Меншиков не замедлил приехать к командиру 4-го корпуса. Два старых «полных» генерала, всего за несколько дней пред тем впервые увидевшие друг друга, встретились, как смертельные враги.

Данненберг, конечно, поднялся с камней, когда подъехал главнокомандующий, и стал по-строевому. Он приготовил было оправдательную фразу, ссылку на свою слабость и полную неспособность двигаться куда-нибудь теперь, но Меншиков обратился к нему не с тем.

— Что вы сделали, а?.. Что-о такое вы сделали?—задыхаясь от прилива душившей его ярости и разевая шире, чем нужно, наполовину беззубый рот, прокричал он.

— Я сделал все, что мог, ваша светлость, чтобы исправить ошибку Соймонова,—с виду спокойно и даже с достоинством ответил Данненберг.

— Какую ошибку, какую?.. Ошибка Соймонова!.. На мертвых, на мертвых валите?

— Разве Соймонов умер уже?—устало удивился Данненберг.—Этого обстоятельства я не знал... Но суть дела состоит в том, что покойный Соймонов пошел со своей колонной не по моей диспозиции.

— Не по вашей, а по моей, вы хотите сказать?

— Нет, также и не по вашей... Едва ли даже и по своей собственной... Но, может статься, тут был виноват проводник, которому он доверился по незнанию местности в ночное время...

— Проводник? Так, стало быть, во всем виноват проводник?

— Это мое соображение, ваша светлость, на основании того, что мне известен... был генерал Соймонов с лучшей стороны, и я отрицаю в этом несчастном случае его личную злую волю.

— По какой же дороге пошел Соймонов?—до-

гадываясь уже, но боясь догадаться, понизил голос Меншиков.

— По той самой, по которой должен был вести свою колонну генерал Павлов... Так что никакого охвата противника не получилось, почему и победы быть не могло.

Канонада еще гремела и там, на горе, откуда сорвалось столько разбитых русских полков, и здесь, вдоль линии бастионов; но гораздо оглушительнее ее показалось Меншикову то, что он услышал о Соймонове, которого из трех новых для него генералов 4-го корпуса счел за наиболее надежного. Он молчал, изумленно подняв седые пучки бровей, а Данненберг продолжал:

— Так же точно мне неизвестно, состоялась ли означенная в диспозиции вашей вылазка генерала Тимофеева...

— Состоялась,— подтвердил только что сам узнавший об этом светлейший.—Вылазка Тимофеева состоялась и будто бы достигла мною намеченной цели... Но Соймонов... как же мог не понять Соймонов, что он идет совсем не туда, куда надо было?.. Однако,—вдруг вышел он из оцепенения,—вы должны были тут же исправить ошибку Соймонова, когда приняли командование,—вот что вы должны были сделать!

— Я принял командование над обеими колоннами только около восьми часов, а к этому времени уже не было в целости трех полков дивизии генерала Соймонова, также и самого Соймонова, ваша светлость. И под напором противника невозможно уж было ничего поправить.

— Не в восемь, а в шесть часов! В шесть, а не в восемь вы обязаны были принять командование!—снова резко крикнул Меншиков.

— В шесть?—поднял было и сорвал голос Данненберг.—Если в шесть, то нужно было заблаговременно озаботиться, чтобы мост был готов к переправе отряда и почти ста орудий при отряде! Однако мост и к семи часам готов не был... Я уже сделал все, что мог сделать, чтобы поспеть во-время.

— Нет, вы не сделали! Вы ничего не сделали!— упрямо повторял Меншиков, хотя в голову его и било, как молотом, это круглое слово: Соймонов... Соймонов... Соймонов...

— Я мог бы сделать еще кое-что,—оскорбленно прошипел вдруг обезголосевший Данненберг,— а именно: послать за двенадцатой дивизией, бесполезно торчавшей... торчавшей там... на левом фланге... но она была не под моей командой, а князя Горчакова!

Эта шипуче сказанная фамилия совершенно вздернула светлейшего. Он понимал, конечно, что Данненберг обвиняет,—хочет обвинить,—его самого в том же именно, в чем виноват сам: в неуменьи распорядиться отдельно расставленными отрядами.

— Князь Горчаков выполнил то, что было ему предписано выполнить моей диспозицией!—прокричал Меншиков.—О князе Горчакове я не хочу слышать ни слова больше.

— Сожалею, что не могу,—показал на свою шею Данненберг,—ответить вам также криком, поэтому прошу на меня не кричать.

И он потянулся к поводьям своей ординарческой лошадки с явным намерением сесть на нее и уехать.

— Вы у меня не будете больше в армии, нет,— решительно, но более сдержанно сказал Меншиков, поворачивая донца.

— Об этом я сожалеть не стану,—отозвался довольно внятно Данненберг.

— Можете считать себя отставленным от командования четвертым корпусом!

Данненберг ничего не сказал на это, да и не мог успеть сказать, так как Меншиков ударил донца плеткой, и тот от непривычки к такому слишком сильному жесту со стороны своего старого хозяина бросился в сторону со всех четырех ног сразу и поскакал.

Лейтенант Стеценко, из приличия в отдалении вместе с Панаевым наблюдавший эту сцену и расслышавший всего несколько слов из меншиковского крика, припоминал, каким был светлейший после боя на Алме, и все пытался решить про себя: действительно ли такое огромное и могучее государство, как Россия, в такой серьезный и ответственный момент своей жизни не могло найти на пост главнокомандующего никого другого, кроме этого старика.

А Меншиков, услышав от Данненберга о другом виновнике поражения—Соймонове, поехал не в свою караулку на Северной, штаб-квартиру главнокомандующего, а снова туда, в толчею и неразбериху отступления.

Он вспомнил, что поручик, адъютант генерала Павлова, докладывал ему, что Соймонов опасно ранен, только ранен, а не убит. Может быть, жив еще, а может быть, и вообще выживет,—и только его личная сильно забежавшая вперед мысль, ошеломленная разразившейся катастрофой, сгустила здесь просто краски.

Уже смеркалось,—осенний день невелик,—когда лейтенант Стеценко, по приказанию светлейшего добравшись до перевязочного пункта в Ушаковой балке, узнал там от врачей, что Соймонов в безнадежном состоянии от пулевой раны в живот навылет и уже отправлен в Севастополь.

Меншиков покачал головой, услышав, что поспешившая мысль его на этот раз почти не ошиблась, и отупело принялся наблюдать, как идет отступление.

Полевая артиллерия теперь уже вся спустилась вниз, но легкая еще отстреливалась кое-где на удобных местах по откосам, прикрывая сползающие

серые и бесформенные обрывки, клочья пехоты, которую привык видеть глаз в стройных и плотных, послушных команде колоннах.

С Сапун-горы неприятельская артиллерия еще била по плотине, сплошь покрытой солдатами и повозками, увеличивая число раненых, которых и без того скопилось великое множество как раз около плотины, так как перевязочные пункты не могли обслужить и десятой их доли. Они жалобно вопили, чтобы их не бросали здесь, а вывезли к своим.

Была возня с обозом фурштатов, которые на полуфурках везли туры и фашины, теперь уже совершенно ненужные. Это было казенное имущество, за целость которого они отвечали, и они не хотели слушать приказаний пехотных офицеров, требовавших, чтобы выкинуть фашины, а грузить раненых. Фурштаты старались всячески проскочить на мост, и только адъютанты главнокомандующего кое-как с ними сладили, и то обнажив свои сабли для внушения им гуманных чувств.

Убедившись, что Тотлебен все еще хлопочет о порядке отступления и пока не ранен, Меншиков медленно поехал, наконец, снова на Северную.

Те диспозиции Соймонова и Павлова, которых он ждал накануне ночью, теперь лежали у него на столе, в караулке, вместе с письмом от Горчакова 2-го, в котором он запоздало предупреждал Меншикова, чтобы не поручать Данненбергу ответственных боевых дел.

Лейтенант Стеценко был командирован навестить раненых по госпиталям, домам и сараям, которые были заранее намечены для этой цели. Поручение это заняло все время до поздней ночи. Он видел такую массу изувеченных человеческих тел, то стонущих, то безмолвных уже, что у него мутилось в голове и глазах.

Он видел, что и здания и сараи, в которых было приготовлено хоть что-нибудь для приема раненых, намечены были без всякого расчета, что они далеко недостаточны, что раненые лежат в них вповалку, и всё приносят новых и новых, которых совершенно некуда девать, не говоря уже о том, что некому перевязывать и даже нечем. Им едва успевали подносить ведра с водою и кружки. Пили они много и жадно, как будто возмещая водою потерянную кровь. Иные перевязывали себе раны сами, зубами раздирая для этого на тряпки свои же рубахи.

Много раненых умирало; их укладывали на казенные фуры, как поленницы дров, и везли к пристани, чтобы на барках переправить на Северную, на кладбище.

Но чем еще более поражен был Стеценко, это тем, что он увидел в сарае, в котором размещено было до пятнадцати раненых пленных французов, захваченных неизвестно зачем минцами.

Среди них были и тяжело раненные, но даже и они чувствовали себя, видимо, превосходно, потому что весело смеялись один над другим. Один, с разбитыми ядром ногами, даже представлял в лицах, как будет огорчен его сапожник в Париже, когда увидит его совсем без ног.

Стеценко никак не мог понять, что это такое: позировка ли, прославленная ли галльская веселость, проявляемая во всех обстоятельствах жизни, или это влияние свободного строя жизни, способного, может быть, переделывать и самую психику людей?

Но раненые, узнав, что он послан самим Меншиковым, оживленно подымались со своих коек и просили его передать князю, что они очень признательны ему за то участие, какое к ним проявили.

Вернулся Стеценко поздно. Перебравшись на Северную, он разглядел недалеко от берега черневшую в сырой мгле одинокую и показавшуюся снизу очень высокой фигуру.

Проезжая мимо, он еще только думал, кто это может быть, и вдруг его окликнул знакомый голос:

— Лейтенант Стеценко?

— Я, ваша светлость!—остановил он коня.

— Ну, что, как раненые? Подобрали их всех?

— Подобрали и привезли очень много, но им очень нехорошо: тесно, врачебной помощи нет...

— Что делать... Завтра как-нибудь их устроим... В двадцать восьмом году было еще хуже... Плохо, да... это все результат того, что Соймонов напутал, бог ему судья за это... Ну, поезжай спать.

Стеценко отъехал, но, оглянувшись назад, разглядел, что светлейший попрежнему стоит неподвижно на том же месте, повернувшись в сторону Сапун-горы.

Стеценко сильно утомился за этот тревожный день, полный наступающих, отступающих, близкого грохота пушек, коварного пенья пуль, тумана и дыма, раненых без конца и убитых на несколько сот казенных, длинных, в темнозеленое выкрашенных, добротных фур.

Но он знал, что и старый главнокомандующий провел этот день так же точно, как и он, все время на коне, и едва ли спокоен был в ночь перед боем под гнетом великой ответственности, которую нес. Однако вот теперь стоит он совершенно одиноко в темноте и о чем-то думает, но не ложится спать.

О чем же именно думает?.. Заговорил почему-то о Соймонове, который напутал... Днем, как коршун, налетел на Данненберга и кричал пронзительно... Ищет виновников страшной неудачи?

Стеценко не знал, хорош или плох был тот план, который придумал светлейший, но понимал, конечно, что все кругом,—и прежде всего сам автор этого плана,—считали бы его бесподобным, если бы наступление окончилось победой, и он триумфально вошел бы в историю войн.

Теперь же, конечно, трудно было решить не

только ему, но, может быть, даже и самому Меншикову, план ли был плох, или плохи те, кто должны были его выполнить и не сумели.

В инженерном домике, окруженном караулом, было уже темно: царские сыновья знали, что заработали себе георгиевские кресты тем, что простояли несколько часов вблизи боя в укрытом месте, и уснули героями.

В конюшне, к которой подъехал Стеценко, какая-то дружественная его коню лошадь заржала приветственно. В палатке, где помещались адъютанты светлейшего, было тихо: все лежали по своим углам, может быть, и не спали еще, но говорить уже никому и ни о чем больше не хотелось.

2

Рано утром, когда великие князья еще спали, Меншиков, взяв только двух из своих адъютантов—Панаева и Стеценко, поехал в Чоргун к Горчакову. Он не сказал им, зачем туда едет, но Стеценко догадывался, что он продолжает искать виновников поражения на Инкермане и думает отыскать их там.

По дороге он заезжал в два-три дома, где положили раненых, видел сам, что многие еще не перевязаны врачами, качал головой и уходил поспешно, бормоча при этом:

— Вот же не присылают лекарей, а я писал ведь! Откуда же я их тут возьму?

Стеценко счел удобным сказать:

— Ваша светлость, на перевязочном пункте, где я был вчера, лекарей я видел, но я не видел там ни одного стола для операций и даже ни одного стула или табурета, чтобы посадить раненого...

Он остановился было, не отзовется ли как-нибудь на это светлейший, но тот молчал; не сказал даже, что в 28-м году было еще хуже; поэтому решил договорить он:

— Приспособили туры и фашины, какие сброшены были с полуфурков, вместо столов и стульев, а то не на чем было бы и ампутаций делать.

Светлейший посмотрел на него невнимательно и даже как будто досадливо, но промолчал и тут: мысли его были в Чоргуне и не с ранеными солдатами, которых, кстати сказать, там и не могло быть, а со здоровыми пока еще, хотя и старыми генералами.

Огромнейшие табуны лошадей паслись под присмотром драгун и гусар около Чоргуна. Травы уже не было,—старая сгорела от солнца, молодую или вытоптали, или выщипали с корнями и землей; объедали дубовые кусты.

— Вот, полюбуйтесь!—желчно обратился Меншиков к своим адъютантам.—Шестьдесят эскадронов такой чудесной кавалерии,—и не пустили в дело! Зачем же она в таком случае? Только сено есть? Одних только драгун сорок эскадронов,—и простояли, как на обеде!

Теперь уже настала очередь вежливо промолчать как Стеценко, так и Панаеву, потому что каждый из них мог бы спросить светлейшего: «Почему же вы, ваша светлость, не послали туда, к Чоргунскому отряду, с любым из нас приказа о наступлении?»

Несколько приплюснутое, как будто пришлепнутое утюгом, калмыковатое лицо Горчакова 1-го обеспокоенно задергалось, когда он издали увидел подъезжающего Меншикова.

Он сидел в это время за утренним чаем на крыльце того самого домишка, в котором провел перед сражением несколько дней и светлейший. Он засуетился, чтобы подогрели самовар и подали все стаканы, какие имелись, а сам вышел навстречу главнокомандующему, недоумевая, зачем именно он приехал, но предполагая, что не с добром.

Однако светлейший постарался принять, здороваясь с ним и принимая его рапорт о благополучии, вполне приветливый вид. Он не отказался и от стакана чаю с ромом, напротив, ему, видимо, хотелось чем-нибудь подкрепить себя, хотя бы чаем.

Разговор, конечно, сразу же начался о проигранном сражении и больших потерях, но Стеценко видел, что князь Меншиков с князем Горчаковым говорит совсем иначе, чем с Данненбергом, что для князя Меншикова князь Горчаков прежде всего человек одного круга, а затем давно уже ему лично известный, притом же брат его товарища юности, снабжающего его теперь и войсками, и сухарями, и порохом, и советами, как надо защищать Севастополь.

Меншиков, разумеется, и не повышал голоса в разговоре. Однако он спросил все-таки Горчакова, неужели так и не было никакой возможности нажать с его стороны на Сапун-гору, чтобы оттянуть на себя корпус Боске, решивший сражение в пользу союзников.

— Была бы только большая прибавка урону, а пользы не было бы ведь никакой,—развел руками Горчаков.

— Прибавка урону!—повторил с горечью Меншиков.—Когда лес рубят, то щепки должны лететь, это закон... Но урону будет гораздо больше, если союзники зимовать у нас останутся,—го-раз-до больше! Тогда ведь и болезни разовьются всякие: тифус, горячка,—может быть, и холера даже, чего, разумеется, боже сохрани!.. Ведь у нас каждый день бомбардировки бо́льший гораздо урон дают, чем у них. У нас пехота придвинута к бастионам, потому что мы штурма ждем каждый день, а у них пехота может быть хотя бы за две версты: они не ждут штурма... Нам же не придвигать пехоты своей нельзя, потому что перемётчики сразу выдадут нас, если не придвинем...

— Я диверсии делал в сторону позиций генерала Боске, но я ведь был в лощине, а он на горе! Он мог бы, прах его побери, не то что роты все мои пересчитать, а даже и всех солдат в отдельности. Вот и вышло бы,—пока поднялись бы, скажем, два моих батальона,—против них уж стояли бы четыре французских, если не восемь... А рискни я всю дивизию двинуть,—пять тысяч турок да три тысячи французов от Кадык-Коя могли бы зайти мне в тыл... А пустить одну конницу без пехоты,—ведь это же было бы на явную погибель ее пустить!

Говоря это, тощий и узкий Горчаков делал длиннейшими руками такие широкие жесты, что оба адъютанта Меншикова, сидевшие за соседним небольшим столиком около самовара, старались ближе к себе держать свои стаканы.

— Я очень надеялся и ждал, очень ждал, что может быть, понадобится Данненбергу моя кавалерия,—продолжал Горчаков.—Она стояла у меня вся наготове скакать туда к нему, но успеха, прах его побери, не последовало, и следственно кавалерия не понадобилась... Я приготовил даже два полка, два хороших семякинских полка—Азовский и Днепровский,—на случай, ежели бы потребовал у меня помощи Данненберг, но ведь не явился никто ко мне за помощью, а я ждал!

Стеценко, слушая Горчакова, находил, что он, пожалуй, прав во всем, что говорит, и обвинять его в бездействии совсем напрасно. Ему казалось даже, что и светлейший согласен с ним, потому что молчит и смотрит как-то почти невидяще, очевидно, думая совсем о другом.

В это время к домику подошел лейтенант Горчакова, капитан Струнников, который был послан им, когда союзники вызывали парламентера, чтобы договориться о погребении убитых.

Капитан этот делал свой доклад самому Меншикову, то и дело вставляя те французские фразы, какие он слышал от парламентеров-союзников. По его словам выходило, что интервенты в отчаянии от того огромного вреда и от тех потерь, какие причинила им вылазка русских.

Что касается «огромного вреда» и «больших потерь», а также «отчаяния» интервентов, это Меншиков принял с едва заметной скептической усмешкой, но слово «вылазка» (la sortie) ему явно понравилось.

— Ну, конечно, это и была простая вылазка осажденного гарнизона,—проговорил он, обращаясь к Горчакову.—Я ведь и сам буквально так называл это, как вы сами от меня слышали, Петр Дмитриевич.

Горчаков поспешил подтвердить это, а когда капитан, получив необходимые приказы касательно уборки убитых, ушел, Меншиков отвел Горчакова в сторону и заговорил с ним о том, ради чего приехал.

Это был план нового наступления (или вылазки), причем к 12-й дивизии и шестидесяти эскадронам кавалерии Меншиков обещал дать в распоряжение Горчакова столько из имеющихся войск, сколько он пожелает.

Наступление теперь должно уж было вестись по плану Меншикова со стороны Чоргуна, как это предполагал он и раньше, и с непременным выходом в самое чувствительное для интервентов место—в Балаклаву, чтобы отрезать Раглана от его базы.

Меншиков говорил горячо и убедительно. План этот, продуманный им до мелочей еще раньше, чем он вдруг решился наступать от Инкерманского моста и Килен-балки, сулил, по его словам, несомненный успех, и Горчакову стоило только взяться за его выполнение, чтобы стяжать себе славу спасителя Севастополя и всего Крыма.

Однако, как ни был на этот раз красноречив светлейший, Горчаков отказался от командования этим новым наступлением-вылазкой наотрез.

— Самое лучшее,—говорил он испуганно,—генерал Данненберг... Вот кто мог бы взяться за это дело, а я нет... я просто не в состоянии взять на себя такую задачу... совершенно для меня непосильную... Данненберг, я думаю, это мог бы.

— Не говорите мне об этом... Данненберге!—выкрикнул Меншиков, и гримаса омерзения так долго держалась на его изнуренном лице, что Горчаков испугался, как бы не осталась она уже теперь навсегда, до самой его смерти.

Согнавши, наконец, ее, светлейший спросил решительно:

— Значит, вы считаете себя неспособным провести это... эту вылазку?

— Точно так, неспособным... Совершенно это не в моих силах,—смиренно согласился Горчаков (до этой войны бывший генерал-губернатором Западной Сибири и сам напросившийся в действующую армию).

— Но вы... вы все-таки подумайте хорошенько... Некого назначить больше,—нет людей!—настойчиво повторял Меншиков.

— Как же так нет людей? А генерал Липранди?—оживленно предложил Горчаков.

— Липранди?—поморщился Меншиков.— Он—хороший начальник дивизии, но мне ведь нужен не генерал-лейтенант, поймите это,—мне нужен полный генерал, которого мог бы поставить я во главе армии! Ведь это будет уже не дивизия и не отряд в девятнадцать тысяч, какой был у Сойманова... Это будет армия... тысяч шестьдесят... может быть, даже больше того. Подумайте, кроме вас у меня никого нет... А Липранди для этого дела не подойдет.

— Липранди—хороший генерал, боевой генерал,—уклончиво отозвался на это Горчаков.— Если он пока еще только генерал-лейтенант, то

я уверен, что после этого дела он будет представлен вами же в генералы-от-инфантерии...

— Одним словом, вы решительно отказываетесь?—жестко уже спросил Меншиков.

— Я считаю себя неспособным для этого,— твердо, насколько мог, ответил Горчаков.

Меншиков пожевал тонкими губами, как будто ловя те оскорбительные по адресу своего корпусного командира слова, которые так и хотели и стремились сорваться; затем он простился с ним и выехал из Чоргуна.

Потом со своими адъютантами подъехал к холму Канробера, взобрался на него и с четверть часа оглядывал Сапун-гору, Кадык-Кой и дорогу на Балаклаву.

Он вернулся в Севастополь в полдень, а спустя час или два тому же Стеценко пришлось снова ехать к Горчакову с письмом светлейшего. В этом письме Меншиков повторял свое предложение и просил его подумать хорошенько, а если уж он, по причинам, только ему и известным, считает это для себя непосильным, то чтобы передал это поручение Липранди.

Горчаков вызвал Липранди; письмо светлейшего они прочитали и обсудили вместе, но и Липранди так же отказался командовать наступлением, как и он.

Вместе они и составили ответ Меншикову, в котором, не без основания, конечно, указывали на то, что наступление непосредственно после поражения не может сулить удачи, так как войска деморализованы, очень много офицеров убито и ранено, а без офицеров русский солдат не привык драться. Кроме того, по их сведениям, в ночь на 25 октября противник, опасаясь этого самого втайне задуманного русским главнокомандующим нового наступления, перекопал все дороги, ведущие на Сапун-гору, и везде, где только можно было, заложил мины; так что потери могут быть гораздо больше, чем в Инкерманском сражении, а результаты гораздо меньше.

Очень удручен был этим ответом двух своих генералов главнокомандующий.

— Нет людей!—повторял он, укоризненно глядя на своего неизменного полковника Вунша, который исполнял теперь обязанности директора его канцелярии и вместе с тем ведал продовольствием войск.—Никому ничего поручить нельзя! А ведь я не могу же быть везде и всюду сам! Так меня и на две недели не хватит!.. Нет людей!.. Вот также и Нахимов... Доверил наводку моста своему флаг-офицеру, а тот и провозился с нею до семи часов! И этим сорвал все дело: Павлов во-время не мог подойти к Соймонову, и тот погиб, и три полка его тоже... Хорош и Нахимов тоже! Он был у моста во время отступления и даже, как мне передавали, принес свою долю пользы, распоряжался движением войск... Но вот раненые запрудили и мост и плотину: многие даже легли на мосту, не могли итти дальше... Артиллерия стала, зарядные ящики тоже,—закупорка полная... А неприятель спускается вниз. Охрана моста была, но она была незначительная, разумеется, и куда же ей было отстоять мост. Лейтенант Сатин заведовал мостом. В таких передрягах никогда не бывал, а тут недалеко, шагах в тридцати, Нахимов. Кричит ему Сатин по-французски: «L'ennemi s'approche,—que faire avec le pont?» Нахимов, недолго думая, командует: «Brulez!» Каково, а? Хорош бы был Сатин, если ко всему тому хаосу, какой был на мосту, еще и зажег бы его снизу! Конечно, скоро Нахимов поправился: «Ломайте!»— кричит. Он думал, видите ли, что нашел, наконец, сухопутный выход из положения! Морских выходов он помнил три: сожги, взорви, утопи! А «сломай»—это уж, по его мнению, был бы сухопутный выход. Нет, чтобы сколотить сопротивление, как это Тотлебен все время делал!..

— Хорош был бы лейтенант, если бы начал ломать мост, когда бегут последние!..—сказал Вунш.—Его свои бы и убили, как изменника... Чем же все-таки кончилось это?

— По-счастью, «Херсонес» подтянулся к самому устью Черной, оттуда заметили англичан и охладили их пыл гранатами... Дальше уж переправа пошла гораздо глаже.

Через руки Вунша, как правителя канцелярии, как раз проходило в это время донесение на «высочайшее имя», в котором после перечисления полков, участвовавших в деле, и очень короткого и осторожного в выражениях изложения самого дела, названного вылазкой, говорилось:

«Отступление совершилось в порядке в Севастополь и через Инкерманский мост, а подбитые орудия свезены с поля сражения в город.

Великие князья, Николай Николаевич и Михаил Николаевич, находились в этом жестоком огне, подавая пример мужества и хладнокровия в бою».

Представление к награде их орденом георгия 4-й степени писалось отдельно, и в нем сказано между прочим, что они «вели себя истинно русскими молодцами».

3

На другой день Меншиков объезжал в городе и на Инкермане остатки полков, участников сражения.

Адъютанты его постарались, чтобы это было сделано не то чтобы совершенно втайне от свиты великих князей, но имело бы вид репетиции к смотру «высоких гостей».

У главнокомандующего, однако, были при этом и свои цели.

Не теряя времени, он послал в Николаев за подкреплением: ему нужны были пехотные части,

чтобы пополнить большую убыль в войсках. Главным образом очень недоставало офицеров.

Мысль о новой большой вылазке, которая искупила бы все неудачи первой, только и поддерживала силы светлейшего.

Теперь, когда великие князья были уже представлены к высшей военной награде за храбрость, он мог надеяться убедить их не рисковать жизнью в близком новом сражении, план которого думал разработать совместно с Семякиным, которого окончательно решил сделать начальником своего штаба.

С утра в день смотра было ясно, потом нахлынули с моря тучи, и как раз во время объезда полков дивизии Павлова, расположенных около инкерманских генуэзских руин, пошел надоедливый дождь.

Полки эти имели вид совсем неформенного сброда, так как многие солдаты растеряли во время боя кто ранец, кто манерки и подсумки совсем с поясами; у многих ружья были со сломанными штыками или без штыков, а некоторые вышли на смотр даже без ружей,—картина, знакомая уже Меншикову по Алминскому бою.

Иные роты убавились до величины взвода; батальоны свелись к роте военного состава, полки— к батальонам.

Больше всего потерь оказалось у тарутинцев.

— Где же это вы так пострадали?—мрачно спрашивал князь солдат.

— От своих больше пострадали, ваша светлость,—еще мрачнее, чем он спрашивал, отвечали тарутинцы.—Так что селенгинские подошли сзади и всех начисто постреляли.

Долго выяснял изумленный Меншиков, правда ли это, и как это могло случиться. Однако и соседние с тарутинцами бородинцы подтвердили, что так именно это и было.

Селенгинцы знали о себе, что они на совесть дрались с англичанами и что среди них найдется немало таких, которых должен будет наградить главнокомандующий; но когда подъехал к ним Меншиков, он даже не поздоровался с ними.

Он остановил донца своего перед фронтом, оглядел их брезгливо и возмущенно и крикнул фальцетом:

— Своих перестреляли, убийцы!

Приготовившиеся было уже гаркнуть «от сердца» в ответ: «Здравия желаем, ваша светлость!»— селенгинцы поперхнулись на «здра...» и осеклись.

Потом кое-кто из солдат посмелее отозвались:

— Как же можно, чтобы своих, ваша светлость!.. Боже избави, чтобы своих мы! Стреляли, в кого полагается!

Как раз в это время дождь полил сильнее. Меншиков плотнее застегнул свою серую солдатского сукна шинель и поехал дальше, к якутцам.

Навстречу ему вышел с рапортом командир Якутского полка полковник Бялый, сильно хромая на правую ногу, а перед первым батальоном стоял подполковник Малевский с перевязанной головой и с подвязанной к шее левой рукой.

— Ла-за-рет!—протянул недовольно Меншиков, подъезжая, а выслушав рапорт Бялого, спросил его брезгливо, кивнув при этом в сторону Малевского:

— Почему вы хромаете? И хотел бы я знать, где этот ранен?

Бялый слышал уже кое-что о светлейшем, но никак не ожидал такого вопроса. Он оглянулся на Малевского и, обиженный больше за него, чем за себя, ответил отчетливо и громко:

— Хромаем мы от боли в ранах, ваша светлость!.. А ранены мы оба там, где отняли батарею у английской гвардии, ваша светлость!

Ответ этот по своему тону показался Меншикову дерзким, и он проехал мимо выстроившихся якутцев, не останавливаясь для дальнейших расспросов.

За смертью Соймонова и отказом Горчакова и Липранди командовать новой вылазкой, у него оставался еще ехавший теперь рядом с ним генерал Павлов, но восточное обличье его не понравилось ему и раньше, не нравилось и теперь, и он даже не пытался говорить с ним что-нибудь о наступлении.

Со смотра своих войск возвратился он в караулку совершенно разбитый: наступление вести оказалось не с кем.

Мало того: моряки на бастионах были настроены очень нервно: ждали штурма на Малаховом кургане, на третьем и особенно на четвертом бастионе, который жестоко обстреливался и французами и англичанами перекрестным огнем.

Этот бастион был выдвинут далеко вперед и в то же время открыт для обстрела с трех сторон, причем у противника были командующие высоты.

Там всегда было много потерь, а теперь как раз команды матросов, которые шли на смену на этот злополучный бастион, придумали, точно по сговору между собою, песню под шаг. В песне этой было всего только три слова: «На четвертый бастион!», но мотив был очень своеобразен, хотя и прост по фактуре.

Начинали запевать звонкоголосые запевалы врастяжку и как будто даже лихо, бравурно, заливисто:

На-а чет-вер-тый ба-а-астион!

Подхватывали баритоны уже гораздо мрачнее:

На чет-вер-тый бастион!

И наконец басы скрепляли совсем зловеще, прибавляя еще одно слово:

На четвертый чортов бастион!

Матросы держали шаг, но итти с такою или подобной песней могли бы и на эшафот. И правда, возвращалось из них в казармы не больше половины; при этом шли они уже молча и вразброд.

Меншиков, объезжая полки и бастионы в этот день, не только оценивал с точки зрения дальнейшей боеспособности армию и гарнизон крепости, он заново пересматривал и всех тех, кто по своему положению были его ближайшие помощники.

С Данненбергом было кончено: его он больше не хотел видеть в Севастополе. Однако и другой корпусный командир—Горчаков 1-й, тоже был непригоден потому просто, что был уже стар и явно дряхл. В любую минуту он мог слечь и отказаться не только от руководства вылазкой, но и вообще от дел.

О генерале Кирьякове у него не было двух мнений. Если его он пока не отстранял от должности начальника дивизии, то только потому, что другие, как, например, Моллер, были еще менее на месте.

Липранди, как видно, не желал портить своей репутации умного человека и браться за рискованное дело. Оставался один только Павлов.

Главнокомандующий Дунайской армией, Горчаков 2-й, когда писал Меншикову, что отправляет ему 4-й корпус, отзывался о Павлове, как о храбреце, и Меншиков решил пересилить свою неприязнь к этому генералу и вызвал его к себе для переговоров о будущем наступлении.

Но одна только возможность этого наступления так неприкрыто испугала Павлова, что он бормотал какую-то нелепицу, поминутно прикладывал руку к сердцу и, наконец, начал умолять никакого больше наступления не делать.

— Ваша светлость!.. Ваша светлость!.. Христом богом умоляю вас, от глубины души и чистого сердца,—не губите напрасно войска!.. Они пойдут, они выполнят приказ ваш, но ведь они погибнут,—они погибнут!..

У него даже слезы показались в черных глазах восточного овала, и Меншиков сказал ему мягко, но решительно:

— Вам, кажется, надобно отдохнуть... Вы слишком много испытали во время боя... Я над этим подумаю... Прощайте.

На другой день Павлов был откомандирован из Севастополя, чтобы не заражать своею паникой других.

Дня через три после Инкерманского побоища никто уже не мог бы разуверить Меншикова в том, что все ближайшие помощники его, генералы, были из рук вон плохи.

Но он видел также, что диспозиция, написанная генерального штаба полковником Герсевановым, исполняющим при нем обязанности генерал-квартирмейстера, была составлена в таких выражениях, что понять ее можно было как угодно, а лучше было вовсе ее не придерживаться и поступать по-своему, как вынужден был это сделать единственно толковый и по-настоящему отважный генерал Соймонов.

Он видел и то, что все бараки, сараи, магазины, батареи Северной стороны, имевшие обширные казематы, заняты ранеными, которые всё прибывали и прибывали и которых решительно некуда было девать.

Меншиков разослал было в разные стороны своих многочисленных адъютантов, поручив им устроить госпитали хотя бы самого упрощенного типа, но из этого ничего почти не вышло.

К концу третьего дня после боя, почувствовав ясно, что ему не на кого положиться и опереться, что он—один, а около него пустота, Меншиков вспомнил о товарище своей юности Горчакове 2-м и написал ему, что он не видит уже возможностей отстоять Севастополь и спасти Крым.

Когда люди приходят к убеждению, что они не в состоянии сделать то, к чему были призваны и что считали выполнимым, это значит, что они обессилели, что им изменила энергия, что они постарели внезапно.

Меншиков был стар и год назад, однако он раньше не думал об этом, и написать, что он не может отстоять не только Севастополь, но даже и Крым, для такого самолюбивого и знающего себе цену человека было нелегко.

Однако часто бывает, что во время борьбы, теряя свои силы и выдыхаясь, мы не замечаем, что наш противник напрягает последние силы и, если даже мы сами признаем его победителем, он будет не в состоянии воспользоваться этой своей победой.

Меншиков, назначая свою вылазку на 5 ноября (по новому стилю), не знал, что на то же самое число Раглан и Канробер назначили ожесточенную бомбардировку и штурм третьего и четвертого бастионов, который мог бы удаться, пожалуй, если бы не Инкерманское сражение.

Для штурма, разумеется, они собрали бы подавляющие силы, и если бы они заняли только эти два бастиона, то это предрешило бы скорее падение Севастополя. Меншиков предупредил союзных главнокомандующих, хотя и потерял треть введенного в дело войска.

Потерять треть войска это много, конечно, но потерять надежду на оставшиеся две трети это уже значило чувствовать себя непоправимо разбитым.

Впрочем, написав письмо Горчакову 2-му, он мог и не послать его на другой день, если бы не странный сон, который он видел ночью.

Крепкого сна он не знал в последнее время. Он ложился в постель, почти не раздеваясь, и засыпал не надолго, продолжая и во сне жить не-

сколько видоизмененной явью. Так же было с ним и в эту ночь.

Он очень отчетливо и памятно для себя видел какую-то тинистую, неглубокую, но с заметным течением речку в низких берегах. Она была похожа на Черную речку, но уже и не того цвета воды: здесь цвет был какой-то свинцовый. И если на берегах Черной речки в день Инкерманской битвы толпилось до двух десятков тысяч людей в одинаковых желтых шинелях, то здесь, на этой речке, люди были только на одном берегу, и их было немного.

Они раздевались на берегу и входили в воду как будто затем, чтобы искупаться, но на другой берег не выходили, не возвращались и на этот.

Обыкновенная узкая мелкая речонка, но странно было видеть, что в нее погружались сразу до подбородка, держа головы затылками к воде, лицом кверху. И вот эти головы совершенно безмолвно, с поднятыми лицами погружаются в свинцовую воду,—медленно или быстро, нельзя постичь. Только видно, что вода подсасывается как-то непонятно к каждому затылку и сосет мозг через черепные кости.

Волокнами, длинными, белеющими в свинцовой воде волокнами выходит из черепов мозг и всасывается водою, и потом как-то странно и страшно начинает рассасываться лицо, и от всего лица каждого человека в этой воде остаются только одни глаза. Потом один выпученный испуганный глаз отделяется от другого, такого же испуганного выпученного и уплывает куда-то... Неизвестно, нельзя уследить, рассасывается ли он тоже, но он отплывает, уплывает куда-то от другого глаза, и это непереносимо ужасно. Он будто стоит на берегу раздевшись, чтобы лезть в воду и доказать кому-то стоящему сзади его, что с ним, Александром Сергеевичем Меншиковым, этого не может случиться, что он прежде всего слишком высокого роста для такой маленькой мелкой речонки.

И он входит в воду, но в то же время он же как будто и наблюдает за самим собой со стороны и видит, что речка не так мелка, как казалось, и что вода в ней густая и теплая, как застывающий растопленный свинец, и что в ней, в этой воде, нельзя шевельнуть ни одним членом.

И вот уже затылок его, как и всякого другого, кто раньше вошел в эту страшную речку, начинает рассасываться, в нем тупая глухая боль, из него тянется (он видит это) белыми нитями мозг,—мозг, в который стремился всегда вложить он так много, читая книги по всяким отраслям знаний, и наконец череп его пуст и легок, и нет уже черепа, и нет лица, и только тяжелы испуганно выпученные глаза...

Когда же один его глаз, отделившись от другого, уплыл куда-то, Меншиков проснулся в холодном поту.

Письмо Горчакову было отослано с курьером в тот же день утром. Одновременно подобное же письмо о невозможности отстоять Севастополь было отправлено им в Петербург военному министру Долгорукову.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
РАЗГУЛ СТИХИЙ

1

Катились барабаны...

И большие,—так называемые турецкие, такой величины, что в них можно спрятать от глаз начальства краденых на походе индюков, козлят и ягнят, и средней величины,—парадные, и малые,—барабаны каждого дня строевой и боевой службы,—они вырвались из своих убежищ в палатках барабанщиков на вольную волю, игриво перепрыгивали с бугорка на бугорок через дождевые лужи, докатывались до обрыва и стремительно мчались вниз, в овраг, причем каждый встречный куст старался не упустить этого единственного случая в своей жизни и пошлепать по звонкой их коже трепещущими от счастья лапами.

Домчавшись до самого дна глубоких оврагов, перерезавших в разных направлениях лагерь интервентов на Сапун-горе, барабаны, однако, не успокаивались на этом, хотя и переворачивались плашмя. Случалось, что злостный порыв бури залетал и в самые потаенные места оврагов, и тогда барабаны подхватывались им на воздух, выносились на верховья Килен-балки, Воловьей балки, Сарандинакиной, Делагардиевой или какой другой из многочисленных балок исторического значения и скакали теперь уже вниз, в сторону русских бастионов, а за ними, с опасностью для жизни и от бури и от нечаянной пули, скакали с завороченными ветром на головы шинелями барабанщики, понимавшие, конечно, что если унесет в русский лагерь их барабаны, они уж барабанщиками больше не будут. Кроме того, барабаны эти были ведь казенное имущество, за которое несли они ответственность, как обыкновенные пехотинцы-рядовые за свои штуцеры, артиллеристы за банники...

Летели, летели и летели так высоко и далеко, как никогда в жизни не приходилось им летать, петухи и куры, недавно привезенные на пароходе из Болгарии для надобностей офицерских кухонь и мирно ожидавшие конца своих дней в сколоченных из ящиков курятниках... Летели и никак не могли остановить этого подневольного и необычайного полета... Летели и орали совершенно оглашенными голосами.

Но вместе с ними мчались и крутились по воз-

духу, выкидывая всевозможные штуки, точно стаи выпущенных под свист в два пальца белых турманов, необходимейшие канцелярские бумаги, еще не подшитые к «делу», и дождь обрадованно бесчинно смывал с них все цифры, заведомо лживые, все приказы, заведомо неисполнимые, все донесения о том, чего не было и не могло быть.

Вслед за барабанами катились вниз с откосов бочки, бочонки, тюки прессованного сена, крыши деревянных бараков, сорванные бурей... Вслед за петухами и деловыми бумагами летели металлические кружки, чашки, кастрюльки, куски досок, обрывки палаток, каучуковая посуда, столы, стулья, фуражки, белье...

Потом очень быстро,—не успевал следить глаз,—клубясь и вздуваясь, надвинулась с юго-запада необыкновенно зловещего, почти черного цвета туча, засверкали страшно яркие молнии, загремел гром, и начался ливень при ветре, такой силы ливень, что не больше, как в десять минут совершенно затопил весь лагерь интервентов: на фут стояла вода во всех палатках!

К восьми часам утра утихло, туча пронеслась дальше на север, солнце глядело широко и пристально, и всем казалось, что внезапности кончились, но это было только начало их,—увертюра к музыке, весьма продолжительной, грозной и по своим последствиям очень печальной для интервентов.

Царь Николай в одном из своих писем Меншикову писал, что у него есть в запасе большая надежда на «равноденственные бури», которыми славится Черное море.

Еще генуэзцы познакомились с этими бурями в средние века; они и назвали Евксинский понт Черным морем.

Одна из памятных бурь была в 1839 году и стоила России нескольких военных судов, разбившихся у берегов Кавказа, и до пятидесяти мелких торговых.

Подобная же буря, только гораздо более мощная, надвигалась и теперь. Она шла толчками. Она точно собиралась с силами и время от времени пробовала, как велики эти силы. А когда набралось довольно, стеною двинулась на берег и не отступала от него целые сутки.

Набухшие от ливня, отяжелевшие палатки союзного лагеря, изнутри утвержденные на шестах, а снаружи приваленные большими камнями, даже стенками окруженные в защиту от ветра, валило сплошь, точно косило большой урожай. Накрытые мокрыми тяжелыми полотнищами, всюду в лагере копошились в грязи офицеры и солдаты, стараясь выбраться наружу, где их валило с ног и катило по лужам. Опрокидывало даже лошадей с повозками...

Буря принесла новый, хотя и мелкий дождь, скоро сменившийся градом, потом снегом. Разбушевалась метель, какая бывает только глубокой зимою. Большие, гораздо прочнее устроенные госпитальные палатки, в которых лежали больные тифом и другими эпидемическими болезнями, сопротивлялись буре весьма недолго; их также свалило, и больных постигла участь здоровых с тою только разницей, что они были совершенно беззащитны против разгула стихий, и многим из них не суждено было перенести этого дня.

Англичане раньше с большою завистью смотрели на запасливых и домовитых французов, у которых был не только город Petit Paris, или, по-русски, Камыш, потому что стоял он на берегу Камышевой бухты, но и в лагере много было деревянных вместительных бараков.

Чтобы построить такие же, Раглан, только что сделанный маршалом Англии, командировал незадолго до бури за досками одного из своих адъютантов в Синоп, около которого росли строевые леса. Кстати, англичане, выкорчевав все виноградники около Балаклавы и выломав в ее домишках полы и лишние, по их мнению, стропила крыш на топку, очень все-таки нуждались в дровах, так что и дрова тоже должны были им привезти из Синопа.

Но увы, буря не пощадила французских бараков, так привлекательных для английских глаз! Они рассыпались, точно картонные, точно исключительно для того, чтобы показать тщету усилий европейской культуры в этой заведомо варварской стране.

Как раз в это самое время в Константинополе на монетном дворе озабочены были отливкой медали в честь союза Франции, Англии и Турции. На одной стороне этой большой серебряной, величиной с гульден, медали изображены были: Наполеон III в середине, подающий левую руку султану Абдул-Меджиду, а правую королеве Виктории. Внизу медали поставлен был год гиджры 1231 и выбиты слова «Pour la civilisation». На оборотной стороне медали надпись на турецком языке объясняла будущим поколениям, что эти три могущественных монарха соединились для того, чтобы положить предел варварству и защитить просвещение. Цель войны была, наконец, определена четко и увековечена на серебре.

Пока же защитники цивилизации прибегали к способам самым первобытным, чтобы как-нибудь защититься от бури.

Многочисленная свита лорда Раглана, который занял для себя лично и для своего штаба помещичий домик, немудро, но прочно построенный, лишившись своих палаток, атаковала конюшню. Часть крыши с этой конюшни, правда, была уже сорвана, но под другою частью можно было укрыться от колючего снега, бьющего со страшной силой в лицо. Лошадей разместили у стен. Оторванные от своих кормушек, они недовольно

ржали и даже лягались, но должны были все-таки уступить привычные стойла джентльменам, которые сейчас же нашли в этих стойлах лишнее дерево и развели спасительный огонь.

Однако в это единственное от урагана убежище скоро набилось столько офицеров, что даже притиснули к стенам лошадей. А кругом в лагере всё было непроницаемо бело от метели. Поваленные палатки очень крепко примерзли к земле. Солдаты густыми толпами искали спасения около провиантских амбаров, возле каменных стен, под крутыми обрывами балок, но спасение это зависело всецело от того только, насколько велика была их выносливость.

Во французском лагере много африканских егерей не перенесли этих бешеных суток и утром на следующий день подобраны были закоченевшими.

Борьба с разбушевавшейся стихией казалась всем настолько непосильным делом, что солдаты кричали офицерам: «Ведите нас лучше на Севастополь!.. Лучше погибнуть, сражаясь с русскими, чем здесь, от бури!..»

Им казалось, что они переживают предел человеческих страданий. Однако это был еще далеко не предел. Кроме твердой стихии—земли, была еще колеблющаяся, изменчивая стихия моря. Она лежала тут же, рядом, и на ней неописуемо трепало и било союзный флот, единственное средство связи интервентов с их отдаленными базами.

2

Как раз накануне вечером прибыло несколько полков подкрепления как французам, так и англичанам. Полки эти высадились на Херсонесском мысу, откуда расходились по своим лагерям.

Дальше всех пришлось итти в темноте, грязи по колено и под дождем 46-му пехотному полку англичан, и многие из солдат во время этого похода говорили, ругая свое начальство, что гораздо лучше было бы им провести ночь на «Принце»—пароходе, который их привез, а отмаршировать в лагерь при дневном свете.

Но человеку не дано это житейски необходимое, конечно, свойство угадывать даже свое будущее, не только будущее других, и те, кто строили, и те, кто снаряжали в далекий рейс пароход «Принц», отнюдь не думали, что век его будет весьма недолог, и первый рейс его окажется последним.

А между тем это был прекраснейший винтовой пароход, обошедшийся в постройке более полутораста тысяч фунтов стерлингов, и с грузом, ценностью в пятьсот тысяч фунтов.

Он вез теплую зимнюю одежду для армии, госпитальные принадлежности и медикаменты, в чем армия терпела большую нужду, множество консервов и, между прочим, водолазные и взрывные приборы, отправленные из Англии для очищения севастопольского порта от затопленных по приказу Меншикова у входа на Большой рейд кораблей.

В Лондоне лелеяли еще надежду ворваться в одну прекрасную ночь в бухту, потопить там оставшиеся еще корабли Черноморского флота (одна из целей войны) и нанести городу непоправимые потери.

«Принц» пришел к Балаклаве еще за несколько дней до урагана, но море и тогда было очень беспокойным, и до тридцати судов скопилось перед входом в бухту, отстаиваясь на двух, трех, даже четырех якорях на сильнейшей волне, мешавшей их разгрузке. Если приступили все-таки к выгрузке войск, то только потому, что боялись новой большой вылазки русских. Однако генерал-квартирмейстер Эри, несмотря на сильную волну, хотел было снять с «Принца» груз, очень необходимый для армии, но командир порта, капитан Дэкр, был человек упрямый и твердых правил: волнение на море, по его мнению, было настолько сильнее нормального, что он отказал даже и генералу Эри, как отказал командиру «Принца», капитану Гуделю, когда тот просил позволить ему ввести свой пароход в гавань.

— Я потерял уже два якоря, у меня остался всего один,—говорил Гудель Дэкру, пробравшись к нему с большим трудом на шлюпке.—Если порвется и этот якорь, что станет с пароходом?

— Чего вы хотите, сэр?—спросил суровый Дэкр.

— Я прошу разрешить мне ввести свой пароход в гавань.

— В гавани нет места для вашего парохода!

— Я вижу, однако, место для «Принца»,—сказал Гудель и указал это место, но Дэкр был человек твердых правил.

— Тридцать судов еще, кроме вашего «Принца», хотели бы тоже занять это место, но я не могу позволить такой тесноты в гавани. Единственное, что я могу для вас сделать, сэр, это выдать вам второй якорь.

Гудель не мог убедить Дэкра, он только раздражил его.

— Еще одно домогательство с вашей стороны,—сказал он,—и вы будете арестованы мною, как капитан парохода «Резолют»—Левис, который тоже слишком настойчиво добивался разрешения войти в гавань. Говорю вам в последний раз: «Принц» может войти в гавань не раньше, чем из него выйдет пароход «Виктория».

Гуделю оставалось только взять в шлюпку якорь и плыть обратно.

1/13 ноября барометр все падал и падал. Опасаясь сильного шторма, адмирал Лайонс отвел линейные корабли от берегов дальше в море. На одном из этих кораблей—«Ретрибюшен»—находился душевнобольной дюк Кембриджский, на другом паровом корабле—«Агамемнон»—лежал раненый генерал

Броун, потерявший руку, как и его друг Раглан некогда, в бою при Ватерлоо.

Капитан Гудель знал гораздо лучше Дэкра, насколько ценен тот груз, который доставил он на своем великолепном и гигантском по тому времени пароходе—в две тысячи семьсот тонн водоизмещения. Не говоря об огромном количестве боевых запасов, на нем было сорок тысяч зимних шинелей и соответственное число фуфаек и прочего вязаного белья, так необходимого войскам ввиду надвигающейся зимы. Часть госпитального оборудования и медикаментов он должен был выгрузить в Скутари, но случилось так, что бурное море не дало сделать этого там, ожидать же подходящей погоды ни Гудель, ни бывший на «Принце» агент адмиралтейства капитан Байнтон не имели полномочий, так как должны были как можно скорее доставить 46-й полк и боевые припасы.

Ночь с 13-го на 14 ноября прошла для экипажей всех судов внешнего Балаклавского рейда в большой тревоге, но у всех была надежда на утро. Однако даже испытанные моряки побледнели, когда увидели, как низко упал барометр в седьмом часу утра: сомневаться в надвигающейся буре было уже невозможно.

И буря пришла...

Море побелело сразу во всю свою ширину. Оно запенилось, закипело, вскинулось огромными столбами крутящихся, несущихся к берегам смерчей и, наконец, всколыхнуло суда так, что много якорей не вынесло этой встряски: лопнули цепи.

Налетевшие смерчи закружили корабли и пароходы. На несколько жутких и долгих мгновений они совсем исчезли из глаз тех, кто следил за их участью с берега. Можно было думать, что их уже поглотило море. Но вот отхлынули смерчи, суда возникли вновь, и бывшие на берегу считали их, в понятном волнении то и дело сбиваясь в счете.

Армаду в тридцать с лишком судов несколько раз принималось с семи до девяти часов трепать и обдавать соленым душем смерчей, и совершенно нечеловеческие усилия должен был проявить несчастный экипаж их, чтобы не проститься с жизнью еще этим утром.

Однако, подбросив суда поближе к береговым утесам, буря внезапно утихла, точно это и был весь результат, которого она так настойчиво добивалась.

Затишье длилось недолго: буря только подтянула резервы, чтобы вернуться уже ураганом, таким ураганом, которого никогда не было в Англии. Теперь даже и смерчи показались бы досужей игрой моря; теперь было уж не до смерчей, теперь просто шла гибель армады, не дававшая никому времени следить за тем, какие формы принимает сплошь поднявшееся и хлынувшее к берегам Черное море.

Вид этой идущей гибели был так ужасен, что мичман Котгрев из команды «Принца» и с ним несколько матросов, наскоро привязав себя к спасательным приборам, бросились в море... И их выкинуло на берег где-то в таком месте, что они могли вскарабкаться на почти отвесные скалы и отсюда наблюдать, как один за другим разбивались об эти скалы и другие рядом несчастные суда.

«Принц» разбился пятым. Первым же погибшим был американский транспорт «Прогресс», сорвавшийся со своих якорей, а вторым тот самый «Резолют», который был удален из гавани капитаном Дэкром по каким-то ему одному известным соображениям.

На «Резолюте» был тоже дорогой для надобности английской армии груз, и командовавший им капитан Левис был отличный, опытный моряк, не зря вступивший в борьбу с капитаном Дэкром и его помощником Кристи. Это была борьба и за свою жизнь и за жизнь своего экипажа, но железная дисциплина, царившая в английском флоте, оказалась сильнее логики, основанной на знании моря.

Левис не терял еще надежды, что два якоря и цепи будут достаточны для того, чтобы удержать корабль, но мачты слишком помогали урагану раскачивать судно. Левис приказал матросам срубить их, однако это средство не помогло. Оно даже ускорило гибель судна: во время падения грот-мачта задела за цепь одного из якорей и порвала ее. Другой якорь еще держал, но когда срубили бизань-мачту, она упала на палубу, и ураган катал ее взад и вперед, сбивая в море и калеча матросов. Наконец, она докатилась до якорной цепи, цепь лопнула, и Левис прокричал, что теперь надежд больше нет, и всякий может спасаться, как сумеет.

Огромные волны бросками влекли пароход к скалам, как на место казни. При первом же ударе половина матросов была отброшена в кипящее море, в котором чудовищно плясали обломки мачт «Прогресса», бочки с ромом и сухарями, тюки сена, ящики, сундуки, наконец, куски бортов транспорта, который все еще швыряло и дробило о скалы.

При втором ударе разбился и «Резолют». Несчастный капитан Левис, повисший было на конце за кормою, был совершенно раздавлен, когда корма ударилась о скалу.

Американское парусное судно «Вандерер», зафрахтованное для нужд войны, быстро понеслось следом за «Резолютом» и разбилось в куски. Ни один человек с него не спасся.

Другой транспорт, «Кенильворт», перед тем как разбиться, столкнулся с вест-индским почтовым пароходом «Авон», капитан которого видел одно только средство спасения: вскочить в гавань через те самые узкие скалистые ворота, через которые и в тихую погоду проход был чрезвычайно труден.

Получив повреждения от «Авона», «Кенильворт»



потерял уже возможность хоть сколько-нибудь сопротивляться урагану и разбился как раз в том месте, где до него разбился «Резолют».

Тогда-то и настала очередь «Принца».

Огромный пароход хотел повторить маневр «Авона», которому посчастливилось как-то, почти чудом, проскочить в бухту, и был такой момент, когда Гуделю удалось повернуть «Принца» так, что мерещилась надежда на успех, но его погубила срубленная перед тем бизань-мачта: она рухнула за корму, такелаж ее попал в круг действия винта, запутался в нем и остановил его.

Тогда «Принц» стал уже игрушкой бури. Наступила торжественная минута. Капитаны Гудель и Байнтон, быстро сбросив с себя верхнюю одежду, объявили:

— Спасайся, кто может!..

Однако никто не спасся.

Первый удар о скалу только помял борт парохода. Его отбросило, подняло на взмыве огромнейшей волны и ударило снова. Этот удар был уже так силен, что «Принц» распался на куски почти у самого входа в бухту.

На нем было сто пятьдесят человек экипажа, и, за исключением мичмана Коттрева с несколькими матросами, все погибли.

3

Вслед за «Принцем» к тем же страшным скалам на гибель ураган гнал и гнал судно за судном, и чудовищна была его фантазия в деле истребления.

Как огромнейший молот на наковальне, плющил он о скалы деревянные овальные коробки судов, чтобы из них, разбитых на части, волны выхватили и показали ему там, на высоте пятидесяти метров, что такое таилось в этих незамысловатых коробках.

Так появилась вдруг там, среди ярко-белой пены, пара смытых с палубы вороных арабских коней, и, расставив ноги для прыжка, они, чистопородные красавцы, брали барьер в последний раз в своей жизни,—барьер из миллиона соленых брызг,—и рушились в бездну вниз головами.

Иногда высоко на гребень волны взлетал моряк, и его бросало в расселину скалы. Жесток был удар о камни, ломавший ему ребра, и не сразу

приходил он в себя от этой игры стихий. Когда же приходил, то недолго считал себя, хотя искалеченным, но спасенным. Подскакивала ввысь другая волна, обшаривала все закоулки скалы и уносила его, как свою законную добычу.

Ящики с сухарями и бисквитами разбивались; сухари быстро размокали и облепляли скалы слоем геста. Глубоко в трещины забивались окорока. Туда же попадали и бочонки с ромом...—для чьих пиров?

Иногда мачты со всеми принадлежностями к ним стоймя торжественно появлялись и держались так несколько мгновений там, наверху, на гребнях, как будто скалы сами питали надежду оснаститься, сдвинуться с места и поплыть.

Но исполинские волны вздымали свои гребни вровень со скалами только за тем, чтобы потом белыми свитками загибаться и свертываться,—свитками, испещренными осколками, обрывками, всяким щебнем, оставшимся от крохотных человеческих трудов.

На пароходе «Ретрибюшен», который и на четырех якорях трепало, точно щепку, несчастный душевнобольной герцог Кембриджский то громко молился, изо всех сил стараясь удержаться прилично этому занятию на коленях, то, катаясь по палубе, обдаваемый щедро брызгами и страдающий от морской болезни, стонал:

— О-ой, застрелите меня!.. Я вам приказываю, мерзавцы!.. Я—начальник гвардейской дивизии, приказываю вам: застрелите меня!

Несколько раз делал он попытки выброситься за борт, почему пришлось привязать его.

Чтобы облегчить пароход, слишком низко сидевший, с него сбросили в море все орудия. Он получил очень большие повреждения, но все-таки отстоялся.

На «Агамемноне», носившем флаг адмирала Лайонса, вспыхнул в машинном отделении пожар, конечно, скоро потушенный.

Он и три других больших линейных корабля уцелели, уйдя далеко в открытое море, но даже и канонада с севастопольских фортов не причинила им столько разрушений, как эта буря.

— День четырнадцатого ноября для союзного флота все равно, что день пятого ноября для союзной армии,—говорил после Лайонс.

(5 ноября по новому стилю было Инкерманское сражение.)

Пароход «Авон», спасаясь от гибели, повредил не только злополучный «Кенильворт». Перед тем, как проскочить в едва мреющие в брызгах и пене снизу и снегопаде сверху ворота гавани, он, брошенный самый волнами, повредил еще и другое судно—«Мельбурн», но, может быть, толчок, полученный им самим при этом, помог ему очутиться в безопасной пристани. Однако что это была за безопасная пристань!

Здесь многие корабли были привязаны друг к другу, иные же прикрепили себя к прибрежным скалам, как к самым надежным причалам. Но чуть только разразилась буря, они стали дрейфовать вдоль всей гавани и сталкиваться друг с другом. Якорь отдавался за якорем, но илистый грунт дна плохо держал их,—они тащились. Но бывало и так, что якорь держался прочно, тогда лопались якорные цепи, как веревки.

На суда, стоявшие ближе к набережной, напирали суда, стоявшие в середине, и первые то здесь, то там терпели аварии.

Один австрийский бриг, сорвавшийся с якорей, был отброшен на скалы, опрокинулся и затонул. Сломанные при этом мачты его косо торчали под водой.

Вскочивший в гавань «Авон» столкнулся с судном «Виктория» и тоже сорвал его с якорей. «Виктория» понеслась к берегу, там сломала руль и винт и легла набок.

В такой смиренной и кроткой в тихую погоду, в такой уютной обычно Балаклавской бухте суда плясали теперь самый дикий и пьяный канкан, какие могут только присниться в кошмаре.

Один из кораблей считанных двенадцать раз ударился о береговые скалы. Размах волн здесь не был так силен, чтобы разбить его с двух-трех ударов, и только двенадцатый оказался для него роковым, и он распался. Его экипаж пользовался близостью его к берегу во время этих ударов, чтобы соскакивать с него на скалы. Иным счастливцам удались такие прыжки, но большинство падало в промежуток между бортом и каменным отвесом или срывалось со скользких и голых камней, и их давило.

В гавани к реву урагана примешивался треск ломавшихся мачт и то здесь, то там глухой бочечный стук сталкивающихся судов, а крики людей, терпящих бедствие, сливались в один многоголосый вой с криками людей на берегу, не знающих, как и чем помочь.

4

Английские суда имели стоянку и в других местах крымского побережья: близ устья Качи, близ Херсонесского мыса, около Евпатории.

В этот грозный для флота интервентов день погибли из них при Каче: «Ганг», «Будвель», «Тейрен», «Лорд Раглан», «Пиренеи»; все они были выброшены на берег, причем последнее судно сгорело, как сгорел и транспорт «Дунай» у Херсонесского мыса.

Однако гораздо чувствительнее оказались потери боевого флота у Евпатории. Там погибли: «Георгиона» о восьмидесяти одной пушке, «Глендалоуг» о восьмидесяти пяти, «Гербингер» о шестидесяти одной, «Азия» о пятидесяти трех и «Мажесте».

Французский флот лишился стопушечного линейного корабля «Генрих IV», военного парохода «Плутон» и других судов.

Только гораздо позже были полностью подсчитаны интервентами потери людьми и убытки от бури.

Погибло свыше тысячи человек, убытков же оказалось на сорок пять миллионов франков.

Но дело было не столько в денежных убытках, от чего страдали большей частью страховые общества в Марселе, Лондоне, Ливерпуле, Соутгемптоне... В конечном итоге от гибели судов, которые везли и не доставили армиям интервентов теплую одежду, лекарства, продовольствие, должны были сильно пострадать и действительно пострадали в первую голову английские солдаты.

Свыше тридцати английских палаток, из которых каждая рассчитана была на четырех человек, примчало ураганом в чоргунский лагерь. Русские солдаты, которые жили в норах под шалашами, были, конечно, рады такому подарку и сейчас же приспособили палатки для своих нужд. Но зато человек полтораста английских солдат остались в грязи и на холоде.

Даже сам Раглан, который, несмотря на свой почтенный возраст, не жаловался пока на здоровье и не терял спокойствия, сделался жертвою урагана: к концу дня крыша его дома не устояла на месте, и половину ее разнесло далеко по окрестностям.

Тот самый 46-й полк, который прибыл на «Принце», принес с собою в английский лагерь новую вспышку изчезнувшей было холеры, и уже к вечеру того дня, в который бушевал ураган, умерло от нее в этом полку до тридцати человек.

На позициях в этот исключительный день притих боевой пыл; траншеи были полны водою; ливень, снег, град скрыли друг от друга противников. Однако,—велика сила привычки!—по нескольку выстрелов сделало и в этот день каждое из больших орудий как в стане осажденных, так даже и в стане осаждающих.

Меншиков перед бурей перебрался из своей караулки на пароход «Громоносец». Но «Громоносец» утром был выкинут на берег и стал наклонно. При помощи матросов спустился светлейший в шлюпку, а спускавшийся следом за ним старший военный чиновник его штаба Камовский упал в воду вместе со своим портфелем. Едва спасли и его и портфель с бумагами весьма серьезного свойства.

Нахимов распоряжался спасением судов в бухте, которые то сталкивались между собою, то садились на мель. С флагманского корабля «Двенадцать апостолов» то и дело давались сигналы, какому пароходу и к какому судну итти на помощь. Деятельнее всех работал в этот день «Владимир», и чаще других адмирал сигналами «изъявлял ему свое особенное удовольствие» и награждал матросов «чаркою водки невзачет».

Кипучая деятельность эта привела к тому, что в севастопольском порту ни одно судно не пострадало.

Сильным волнением раскачало только «Силистрию», затопленную в фарватере Большого рейда, и она поднялась со дна, несказанно поразив этим моряков и прежде всего самого Нахимова, который долго командовал этим кораблем и потому питал к нему особенную нежность.

— Вот, извольте посмотреть-с!—обращался он взволнованно к окружающим.—Все говорили: «Старье-с! На слом!.. Сдать в порт!» А я утверждаю, что «Силистрия» вполне исправный корабль... Извольте теперь полюбоваться,—и кто прав? То-то-с!.. Море одолела и поднялась!

Только на другой день оказалось, что Нахимов ликовал напрасно: поднялась не вся «Силистрия» целиком,—это было бы действительно чудом!—а только оторвавшаяся палуба с бортами, и было это признаком не крепости корабля, а наоборот—его дряхлости: он просто рассыпался там, под водою, от напора волн.

Меншиков приказал на том же месте затопить другой, тоже достаточно уже старый линейный корабль «Гавриил».

5

На другой день вдоль берега между Качей и Евпаторией шныряли уже разъезды казаков и улан и снимали команды с выброшенных на берег судов.

Так взвод серых улан Новоархангельского полка разглядел в семь часов утра, что метров за тысячу от берега, против селения Айерчик, стоит большое неприятельское судно с поломанными мачтами, причем на одной мачте отчаянно треплется английский флаг, на другой—красный, знак того, что судно в большой опасности и просит помощи.

Насчитали двадцать четыре люка в бортах, хотя сосчитать это и было трудно: огромные волны ходили в море... Буря, если и не такой уже силы, как накануне, все-таки продолжалась, и судно страшно качало: то очень высоко задирало оно нос, то нос стремительно падал, и подымалась корма. Разглядели также и то, что матросы что-то выкидывали с палубы в море, чтобы облегчить вес судна, может быть, уже глотавшего воду трюмом. Доступа к судну не было; разговаривать с ним можно было только пушками, но пушек пришлось ждать несколько часов.

Наконец, показалась полубатарея: под Евпаторией она только что разбила выстрелами и сожгла стоявшее на мели судно, чтобы его не стащили интервенты; теперь она шла вдоль берега на юг.

Орудия были установлены против судна, и на пике подняли флаг из четырех связанных углами платков.

Однако, хотя этот флаг и виден был, конечно, с судна, он не произвел действия: там попрежнему выбрасывали за борт тяжести и не спускали ни английского, ни красного флагов. Пришлось открывать стрельбу из орудий, и только когда ядра стали ложиться очень близко, на судне поняли, что надо сдаваться. Флаги спустили; вместо них заплескалось на мачте белое; оно означало: «Придите и возьмите», но уланы не имели лодок.

Только еще после двух выстрелов, причем одно ядро впилось прямо в корму, англичане спустили свои шлюпки, нагрузили одну из них своими вещами и направились к берегу.

За время ожидания артиллерии сюда к уланам подъехало несколько офицеров из штаба их полка, другие же примчались на выстрелы, так что на берегу в виду английского судна собралось немало народу, тем более что было на что и поглядеть.

Море бушевало. Белоголовые валы подкатывали к берегу и выкидывали сброшенные с судна бочки, сундуки, помпы, обломки мачт, и каждый такой подарок моря принимался с большим оживлением. Уланы откатывали подальше бочки, оттаскивали сундуки, чтобы их снова не унесло волной, при этом отпускали непринужденные шутки насчет того, что могло быть в бочках и сундуках; а начальник отряда послал в штаб полка за подводами.

Но внимание всех приковалось к первой шлюпке, на которой то подымались, блестя на солнце мокрыми лопастями, то опускались враз три пары весел.

Только наблюдая с берега, как иногда совсем исчезала из глаз эта несчастная шлюпка, скрываясь между двумя смежными валами, или как бросало ее из стороны в сторону, всю обдавая пеной и брызгами, и казалось, что вот-вот ей конец, поняли уланы, почему так медлили выкидывать белый флаг и спускать лодки английские моряки.

— Вот они где страсти господние!—говорили уланы-солдаты; одни снимали фуражки и крестились; иные безнадежно махали руками.

— Пропадут!—решали и офицеры.—Им ни за что не добраться до берега!

Однако, хотя и очень медленно, правда, но расстояние между шлюпкой и берегом все-таки сокращалось, и через полчаса можно уж было хорошо разглядеть, сколько человек сидит в шлюпке.

Оставалось каких-нибудь пятнадцать—двадцать сажен до отлогого здесь берега, вдруг шлюпку накренило, бросило вниз и покрыло волною так, что почти все отвернулись, ахнув, а через момент увидели снова блестящие лопасти неутомимых весел, и мокрые с головы до ног люди, радостно улыбаясь с лодки, резали волну.

Еще десятка два дружных ударов веслами, и лодка врезалась в песок у самого берега; в ней было шестеро англичан.

Едва ли когда-нибудь еще пленные встречались такими овациями! Уланы-солдаты кричали «ура», офицеры кричали «браво» и хлопали в ладоши. Капитан судна и команда прямо с лодки прыгали в воду и шли на берег, снимая шляпы, а их встречали объятиями, как друзей, за которых так нестерпимо болело сердце, пока они боролись с морем.

Англичане лобызали без разбору всех солдат и офицеров. От них сильно пахло соленым иодистым морем и ромом.

Они и с собой привезли начатый уже бочонок рома, и в то время как один из них, навязав белую тряпку на весло, сигнализировал на судно, что их хорошо встретили, другие передавали из рук в руки заветный бочонок.

Из них только один капитан мог говорить по-французски и весело сообщил офицерам, что потерпевшее от урагана судно—английский фрегат—транспорт «Кюллоден» в семьсот двадцать шесть тонн с четырьмя пушками; что на нем сейчас военный груз: свыше семисот пудов пороху и тридцать тысяч ядер; кроме того, тридцать две дорогие лошади, предназначенные для штаба турецких войск, а сопровождает их такое же число турецких кавалеристов.

— Массу всякой провизии мы везли в Евпаторию,—словоохотливо добавил капитан,—и когда установится погода, вы все это могли бы переправить сюда на лодках.

У этого веселого здоровяка был вид человека, необыкновенно вдруг полюбившего русских и способного подарить им не только потерпевший аварию свой транспорт, но и разные другие суда.

Между тем отчалила от «Кюллоден» другая шлюпка, гораздо большая, в шесть пар весел.

За этой следили уже не с таким замиранием сердца, хотя она так же точно ныряла в волнах, то совершенно исчезая из глаз, то возникая снова. Она шла медленно и долго, не меньше часа. Когда же, наконец, вполне благополучно пристала к берегу, из нее вышли еще двадцать четыре английских моряка и семеро турецких кавалеристов, и насколько веселы, здоровы, жизнерадостны были англичане, настолько же истощенными, унылыми, еле живыми оказались турки, из которых было два офицера.

Конечно, и эти англичане кинулись сначала лобызаться с русскими, потом прикладываться к бочонку с ромом. Они даже плясали от радости, что все несчастия их кончились и они попали к явно хорошим и ничего против них лично не имеющим людям.

И чем, чем только не нагрузили они свою шлюпку! Тут были даже стенные корабельные часы, не говоря уж о массе чемоданов, саквояжей, разнообразнейшей провизии в ящиках и, конечно, роме в бочонках и бутылках.

— Значит, там осталось еще двадцать пять человек?—обратился начальник отряда к капитану.

— Турок,—поправил его капитан очень любезно.—Да, я хотел было даже обрубить якоря, чтобы ветром могло пригнать судно ближе к берегу, где оно могло бы сесть на мель. Но эти канальи, представьте, не дали мне этого сделать, а мне уж некогда было настаивать. Они очень упорны и ни за что не хотят отправляться на берег, хотя там есть еще шлюпка в двенадцать весел. Согласитесь сами, что если бы они дали мне возможность обрубить якоря, и судно здесь где-нибудь совсем близко село бы на мель, ведь вы могли бы разгрузить его не спеша,—не так ли?.. Ка-ки-е там лошади, эх!—и капитан поцеловал концы своих толстых пальцев.

— Но, может быть, вы все-таки как-нибудь флагом передадите им, этим туркам, чтобы они непременно съезжались на берег, иначе я вынужден буду открыть стрельбу,—обратился к нему снова начальник отряда.

— Сигнализировать им? Бесполезно, поверьте! Они ничего не поймут, это прежде всего, а затем,—турки! Ну, что может быть глупее и нелепей этого народа?

Тогда из четырех орудий было выпущено по снаряду, и что же? При каждом попадании и капитан и его матросы весело аплодировали наводчикам, но турецкие офицеры с умоляющими жестами кинулись к русским офицерам. Они знали очень мало французских слов и еще меньше русских, но все-таки им удалось кое-как, больше мимикой, объяснить, что совершенно не то происходило на транспорте, о чем повествовал капитан; что, напротив, турки просили, чтобы их тоже взяли, но их не хотели и слушать; сами же они не могут грести и неминуемо погибнут, если рискнут одни двинуться к берегу.

Нужно было видеть, как переменилось благожелательное к русским выражение лиц англичан, когда начальник отряда предложил им через капитана отправиться на лодках на транспорт и взять турок. Они переглядывались изумленно, пожимали плечами и потом с сожалением кивали головами на этих странных людей, которым зачем-то нужны турки.

Итти на лодках обратно они наотрез отказались, даже когда начальник отряда вздумал предложить им за это деньги.

Турки же кое-как объяснили, что англичане не хотели брать в лодку их, нагрузив ее сверх меры своим бесчисленным багажом, и они ворвались в шлюпку насильно в самый последний момент.

Этому вполне можно было поверить: при семи турках не было решительно никаких вещей.

Решено было пока отправить пленных. Англичане сами укладывали на подводы свой багаж, не забыв и корабельные часы; и подводы, запряженные тройками, тронулись, а за ними пошли пленные.

Как раз в это время прискакал с аванпостов офицер с очень важным донесением: от Евпатории шел пароход,—военный, английский, на сильных парах, очевидно, привлеченный артиллерийской пальбой. Конечно, он непременно постарался бы взять на буксир транспорт и отправить его в Евпаторию, и тогда семьсот пудов пороха и тридцать тысяч ядер будут израсходованы по русским войскам.

Больше ничего не оставалось делать, как попробовать утопить или поджечь «Кюллоден».

Четыре орудия открыли оживленную пальбу по транспорту. Видно было, как несколько раз возникали там пожары, но их тушило море своими всплесками. Наконец, ядра пробили корпус судна ниже ватерлинии, оно стало наполняться водою и оседать.

Море здесь было неглубоко. Фрегат сел на мель.

Между тем пароход, шедший на выручку его, не подходил. Он даже повернул обратно в Евпаторию, оттого ли, что тяжело ему было итти в такой сильный ветер, или, что скорее, оттого, что не хотел подвергать себя действию русской артиллерии.

Так или иначе «Кюллоден» был пока оставлен на произвол судьбы и ветра, так как наступил уже вечер, шел дождь...

О нем вспомнили на следующий день.

Начальник отряда вызвал охотников из донских казаков пробраться к судну на лодках и выручить турок. Лодки были те же самые, на которых переправились на берег англичане.

Охотники, умеющие грести и плавать, нашлись. Несмотря на то, что ветер и в этот день был очень силен и несколько раз относил назад лодки, они все-таки добрались до судна и турок сняли. Им хотелось хотя бы поглядеть на редкостных лошадей, но лошади уже затонули.

Что еще оставалось сверху от «Кюллоден», казаки сожгли, и когда они привезли на берег двадцать пять полуживых турецких кавалеристов, то встретили на русском берегу этих вчерашних врагов так, как едва ли встретили бы их и на родине.

6

Турки, на «защиту» которых от русского засилья якобы выступили две сильнейшие морские державы мира, держались как англичанами, так и французами больше чем в черном теле. Балаклав-

ское дело вконец испортило им репутацию. Тогда ими помыкали даже и ирландки, жены солдат, заставляя их таскать узлы со своим скарбом и приговаривая при этом: «Вы ни на что больше и не годитесь, как только таскать наши узлы!»

Кормить турок обязаны были англо-французы, но кормили их так плохо, что они часто заболевали от недоедания. Однако их совсем не лечили. И если «Таймс» о врачебных порядках в английской армии писала: «Наши солдаты получают свои раны в Крыму; госпиталь, куда их отправляют, находится в Скутари, а аптека—в Варне»,— то турецкие солдаты должны были обходиться совсем без госпиталя и без аптеки.

Правда, в Балаклаве им отвели сарай под больных, но туда турки таскали на своих плечах, за неимением носилок, только таких заболевших, которые, по их мнению, должны были умереть, и вместо врача торчал там какой-то мулла, бормотавший над ними молитвы. Когда они умирали, выносили их тела, а на их место приносили других.

С врачами и в английской армии,—как и во флоте,—было плохо.

Чопорное дворянство, покупавшее офицерские места, не хотело якшаться с медиками, неизвестно какого происхождения, и напрасно эти последние обращались с просьбами к высшему начальству, чтобы им дали офицерские права и позволили иметь доступ в офицерские собрания в армии и в кают-компании—во флоте. Высшее начальство армии, так же как и адмиралтейство, наотрез отказало им в этом, хотя они и получали воспитание в академиях. Поэтому ни в армию, ни во флот врачи не шли, и было их там очень мало. Но в турецком отряде под Севастополем совсем не было врачей.

Потеряв свой лагерь в Балаклавском деле, кадыккойские турки не получили от своих союзников новых палаток и вынуждены были устраиваться по примеру русских—в шалашах и землянках. Но одеты они были по-восточному очень легко и совсем не имели сапог, а обходились одними туфлями, поэтому ноябрьская буря с ливнем и снегом принесла в их лагерь массу заболеваний.

В главной квартире союзной армии ставился даже вопрос об отозвании всех турецких войск в пределы Турецкой империи, так как они-де являются совершенно излишним балластом.

Но если бы было принято решение отделаться от турок, то что стало бы с только что отчеканенной медалью, на которой красовался рядом с Наполеоном III и Викторией султан Абдул-Меджид?

Турки, конечно, должны были остаться для прикрытия настоящих целей войны и остались, не столько принося пользу англо-французам, сколько неся наряду с ними потери и убытки войны.

Так, во время бури погибли их линейный корабль «Муфтаги Джегат» и военный фрегат «Багире», причем на фрегате погибло двести семьдесят человек, а на корабле семьсот вместе с адмиралом Гасан-пашею. Корабль этот был один из тех двух турецких кораблей, которые, стоя на флангах французской и английской эскадр, атаковали вместе с ними Севастополь 5/17 октября.

Когда же пожелание Канробера и Раглана очистить лагерь союзников от турецких войск дошло до французского военного министра, маршала Вальяна, то он воспользовался им, чтобы высказать и свой взгляд на Крымскую кампанию.

Военный министр Франции приходил к выводу, что отозвать следует не только турецкую, но и французскую армию, так как осада Севастополя ведется без полного обложения крепости, а это не может привести к положительному результату. Инкерманское сражение, столь пышно отпразднованное Наполеоном III, как долгожданная победа, давала Вальяну только повод утверждать, что армия союзников, уже попавшая один раз в клещи совершенно свободной в своих действиях армии Меншикова и неутомимого севастопольского гарнизона, может кончить очень печально, а Канробер—«на редкость неспособный главнокомандующий», которого непременно надо сменить, поставив на его место Боске.

Но «декабрьского генерала» Наполеон III отозвать не позволил; еще меньше, конечно, входило в его планы отозвание французской армии, сколько бы ни терпела она и от русских ядер, и от штыков, и от бурь.

Что же касается императора Николая, то он был на высоте счастья, найдя себе такого хотя и случайного, но могучего союзника, как буря 2 ноября.

Узнав о ней из иностранных телеграмм, он писал Меншикову: «Спасибо буре! Она нам услужила хорошо; желательно бы и еще такой».

Буря стоила союзникам большого сражения, проигранного ими и на суше и на море, притом без всяких решительно потерь для их противника. Она лишила их тридцати четырех кораблей, фрегатов и транспортов, нанеся огромный вред остальным. Погибшие транспорты полны были жизненно необходимых ввиду наступающей зимы припасов: армия не получила их. В то же время буря развалила многие провиантские склады союзников и, бросив под ливень и снег сухари, муку, сахар и прочее подобное, привела эти запасы в полную негодность.

Лагери интервентов были разгромлены бурей, войска оказались под открытым небом на холоде и в грязи, отчего на другой же день оказалось столько больных, что их совершенно некуда было девать.

Союзные адмиралы решили искать для флота

более безопасных гаваней, из боязни потерять и последние суда, а между тем основой всех действий интервентов именно и был их флот.

Буря принесла на своем бешеном хребте еще и то, чего так опасались и в Париже и в Лондоне: зиму и зимнюю кампанию.

Теперь одно воспоминание о беспардонной болтовне газет, что Севастополь может и должен быть взят в несколько дней, приводило в ярость офицеров союзных армий.

Ошеломленные свалившимся на них бедствием, интервенты приостановили даже осадные работы, а канонада их умолкла даже и против четвертого бастиона.

Больше того: перебежчики-турки передавали, что англо-французы свозят с позиций и грузят на суда свои осадные орудия, из чего в Севастополе поспешно вывели было, что враги убираются восвояси.

Но скоро разъяснилось, в чем было дело: большие осадные орудия действительно грузились на суда,—перебежчики не врали,—но это были орудия, заклепанные лихими минцами и охотцами в день Инкерманского боя и раньше, другими, во время ночных вылазок. Таких орудий набралось около тридцати, и их просто заменяли другими, взятыми с кораблей.

Армии очень охотно бросили бы Крым, но ни акционеры ост-индской компании, ни негоцианты Сити, ни биржевики и банкиры Парижа, ни Наполеон III, ни Виктория не могли бы согласиться бросить дело, стоившее так много денег, не добившись осязательного результата.

Это непростительно было бы и со стороны просвещения (la civilisation), поборниками которого они выступили, и очень конфузно перед Европой, перед Турцией, перед целым светом.

Войну приходилось продолжать, чего бы это ни стоило, и как бы к этому ни относились фельдмаршал Раглан и генерал Канробер.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
КАЗНОКРАДЫ

1

Дебу сидел в маленькой канцелярии батальона и писал между делом на своем родном французском языке в толстой тетради, которую можно бы было назвать дневником, если бы ставились в записях числа.

Но писать в этой тетради можно было только урывками, причем самую тетрадь приходилось на всякий случай прятать подальше.

Числа он не поставил и теперь, но это было несколько дней спустя после урагана.

«Осада Севастополя,—писал Дебу,—ведется союзниками при помощи больших сил и больших технических средств очень энергично, но следует признать, что и Севастополь обладает огромными средствами защиты и защищается умело.

Ото всех приходится слышать, что русские генералы очень плохи, но солдаты хороши. Особенно ревностно сражаются на бастионах, как артиллеристы, матросы; но ведь они—родные братья тех матросов и рабочих из флотских экипажей, которые в мае—июне 1830 года хотели искать защиты против царя у... турок!

Они подняли восстание, но восстание это если и было кому известно в остальной России, то только под стереотипным названием «холерного бабьего бунта». Так именно слышал о нем и я и включил его в серию «холерных бунтов», прокатившихся по России в 1830—1831 годах. Но только попав в Севастополь в рабочий батальон и только благодаря своему солдатскому званию, я узнал от стариков, что это был за «бабий бунт».

Для того чтобы вспыхнуло восстание, нужно достаточное количество горючего материала, собранного в одном месте в вопиюще яркую кучу, которая не может не броситься всем в глаза; но кроме этого нужны еще оружие и вожди.

Для бунта сойдут и топоры, и вилы, и простые колья; для восстания же необходимо, хотя бы в ограниченном количестве, то самое оружие, которое является средством физического угнетения народа. Это, мне кажется, непременный закон восстаний. И вождями должны быть люди, хорошо знакомые с употреблением оружия.

В севастопольском восстании все эти данные были налицо. Склад оружия, правда, очень небольшой, имелся; кроме этого склада, оружие было у восставших на руках. Вождями восстания были матросы унтер-офицерского звания (квартирмейстеры). Что же касается до горючего материала, то он, конечно, был в изобилии везде в России; здесь же, в Севастополе, творились тогда властями в целях личной наживы такие страшные безобразия, какие и полагались на далекой окраине, не весьма давно приобщенной к государству.

Прежде всего возникает вопрос: была ли действительно чума в Севастополе в 1829—1830 годах? Старики единогласно утверждают, что не было, и называют эту «эпидемию» довольно метко «карманной чумой», то есть просто способом для чиновников набивать себе карманы на предохранительных от заноса чумы карантинных мерах.

Казалось бы, как можно набить себе карман на чуме? Но для русского чиновника, заматерелого взяточника и казнокрада, всякий повод есть повод к наживе, и ни один не плох. Чума, так чума, и при чуме, дескать, живы будем.

При императоре Павле, рассказывают, был один чиновник, который все добивался получить место

во дворце: «Ах, хотя бы за канареечкой его величества присмотр мне предоставили! Потому что около птички этой желтенькой и я, и моя супруга, и детишки мои—все мы преотлично прокормимся!»

А чума это уж не птичка-канарейка; на борьбу с чумой, появившейся будто бы в войсках, воевавших с Турцией, а потом перекочевавшей в южные русские порты, ассигнованы были правительством порядочные суммы, и вот за тем именно, чтобы суммы эти уловить в свои карманы, чиновники готовы были любой прыщ на теле матроса или матроски, рабочего или поденщицы признать чумою, а население Севастополя засадить в карантин на всю свою жизнь: так, чтоб и женам бы хватило на кринолины, и детишек бы вывести в люди, и на преклонные годы кое-какой капиталец бы скопить...

Вот этот-то бесконечный карантин,—«канарейка» чиновников,—и ожесточил беднейшее рабочее население слободок: Корабельной, Артиллерийской и некоего «Хребта беззакония» (меткое название!), которого ныне уже нет и в помине. Это была тоже слободка, расположенная по хребту самого южного из трех севастопольских холмов; населялась она бесчинным, «беззаконным» образом, без спроса у начальства; жили там в землянках и хижинах (самого нищенского вида) базарные торговки, пришлые рабочие (грузчики, сапожники, поломойки)... Этот «Хребет беззакония» по «усмирении» восстания приказано было графом Воронцовым уничтожить,—и его уничтожили, и стало место пусто. А домишки Корабельной слободки, также и Артиллерийской остались, только были секвестрованы и потом продавались с торгов.

Дело было в том, что главное население этих слободок,—семейства матросов действительной службы и отставных,—жило летними работами в окружающих Севастополь хуторах, карантин же отрезывал им доступ на эти работы, обрекая их тем самым на голод зимой. Кроме того, замечено было, что через линию карантина отлично пробирались жители собственно Севастополя, главным образом, офицерство: для них, значит, существовали особые правила; они, значит, передать чуму дальше, на север, никак не могли. Карантинные же и полицейские чиновники получали по борьбе с чумой особые суточные деньги,—порядочную прибавку к их жалованью. Кроме того, на их обязанности лежало снабжать продовольствием жителей «зачумленных» районов, а чуть дело дошло до «снабжения», тут уж чиновники не давали маху. Они добывали где-то для этой цели такую прогорклую, залежалую муку, что ее не ели и свиньи. Кроме карантинных и полицейских чиновников, хорошо «питались чумою» и чиновники медицинского ведомства, которые, конечно, и должны были писать в бумагах по начальству, что чума не только не прекращается, но свирепствует все больше и больше, несмотря на принимаемые ими меры.

Какие же меры принимались этими лекарями? Правда, с того времени прошло уже почти четверть века, но и для того жестокого времени меры эти кажутся невероятными.

Подозреваемых по чуме (так как больных чумою не было) отправляли на Павловский мысок, и на это место, по рассказам всех, кто его видел, смотрели, как на готовую могилу.

Чума—болезнь весьма скоротечная, но там умудрялись держать «подозрительных» даже и по два месяца, а был и такой случай, когда держали целых пять месяцев!

Большинство умирало там, так как не все же были такие исключительные здоровяки, чтобы выдерживать режим мыска месяцами. А так как туда отправлялись не только подозрительные по чуме, но и их семейства полностью, до грудных детей и глубоких старцев, то часто вымирали там целые семьи.

Наконец, кем-то из старших врачей изобретено было поздней осенью 1829 года, как предупредительная мера против заражения чумою, поголовное купанье в море жителей Корабельной и Артиллерийской слободок и «Хребта беззакония»! И это подневольное купанье продолжалось всю зиму, благо вода в бухте не замерзала. Как же можно было не заболеть от этого всеми простудными болезнями! А чуть человек заболевал, он уже становился «подозрительным по чуме».

Если бы я услышал это от кого-нибудь одного, я принял бы это, пожалуй, за досужую выдумку; однако то же самое говорили мне многие.

Народ терпел. Правда, это был народ весьма напрактикованный именно в терпении. Ведь тогда при главном командире Черноморского флота, которого иные называют еще «гуманным»,—адмирале Грейге, матросов за пустые провинности по службе раздевали донага зимою в мороз, привязывали к обледеневшему орудию и избивали линьками так, что иногда снимали с пушки закоченевший труп.

На Павловском мыске больные разными болезнями содержались в холодном и сыром сарае, как будто бы только затем, чтобы убедить высшее начальство в неблагополучии Севастополя именно по чуме: смертность, благодаря повальному купанию в море и сараю на мыске, была огромная, количество лиц, заинтересованных в карантине, росло, так как всё увеличивались команды оцепления, которые или состояли из воинских частей или из местных окрестных татар, но под командой офицеров, получавших суточные деньги за полное ничегонеделанье.

Кроме чиновников, наживались на этом деле еще и «мортусы»—люди в просмоленной одежде, признанные необходимыми для борьбы с чумной заразой.

Эти мортусы не только всячески обирали народ, пользуясь своей безответственностью, но еще и ускоряли смерть больных какими-то снадобьями, которые выдавались ими за лекарство, а в одном семействе они будто бы попросту придушили старушку, которая ни за что не хотела отправляться на Павловский мысок.

Уцелели в памяти стариков и фамилии преступников-врачей: Ланг, Шрамков, Верболозов и другие. Купанье в море введено было старшим врачом Лангом.

Верболозову будто бы приглянулась одна красивая матроска, у которой было трое детей, но когда она отказала ему в его домогательствах, он немедленно объявил ее чумною и отправил в знаменитый сарай на мыске вместе с детьми. Там им дали каких-то ядовитых конфет, присланных Верболозовым, и все четверо умерли.

Я, конечно, записываю двадцатую долю того, что слышал из разных уст.

Народ терпел все издевательства над собою больше года; наконец терпение его лопнуло. Народ восстал. Упоминают старики о какой-то «Доброй партии», которая будто бы руководила восстанием, но сведения о ней почему-то туманны.

Правда, в восстании замешано было несколько офицеров младших чинов как флотских, так и армейских; может быть, они имели какое-нибудь отношение к декабристам? Во всяком случае для меня не ясно, что это была за «Добрая партия».

Восстание разразилось в начале июня 1830 года. Важно то, что оно подготовлялось, а не произошло стихийно. Следует отметить еще и то, что начальство узнало о подготовке восстания потому, что один из вожаков восстания—Кузьмин—обучал пешему строю матросов на узеньких улочках Корабельной слободки. Однако это делалось им с целью. Этим притянута была цепь военной охраны к Корабельной слободке, а восстание началось в городе, который благодаря такому маневру остался без войск.

Незадолго перед восстанием один матрос с Артиллерийской слободки не захотел, чтобы отправляли в карантин его жену и дочь, которых карантинный чиновник с лекарем Верболозовым при обходе дворов признали чумными, хотя они были больны, судя по описанию признаков их болезни, обыкновенным рожистым воспалением, от чего скоро и выздоровели. Против матроса этого, конечно, не замедлили употребить силу. Он же начал отстреливаться. Когда он выпустил все свои патроны, его схватили, и за вооруженное сопротивление генерал-губернатор Севастополя Столыпин приказал расстрелять его без следствия и суда у ворот его дома.

Этот случай жестокого произвола сильно двинул вперед дело восстания. Между прочим, именно тогда-то передавалось из уст в уста, что стоит только начать восстание, подымется весь Крым против царя, и татары, и греки, и к Севастополю придет турецкий флот с войсками на поддержку восставшим. К восставшим жителям слободок и «Хребта беззакония» присоединились рабочие двух флотских экипажей, много матросов, даже солдаты из частей, стоявших на охране порядка, так что называть это восстание «бабьим бунтом» можно было только из чисто политических видов, чтобы не придавать ему большой огласки и не выдать его большого значения, хотя несомненно, что это восстание было образцом для восстания в новгородских военных поселениях и других подобных.

Но по общим воспоминаниям матроски и жены рабочих действовали тогда не только не хуже своих мужей, но часто бывали и впереди их. Так, женщины звонили в набат к началу восстания на колокольне слободской церкви; женщины были в передних рядах отряда восставших, который шел к дому Столыпина, приговоренного к смерти.

Было всего три отряда восставших: первый—под командой квартирмейстера Тимофея Иванова, которого можно считать самым авторитетным лицом среди вождей восстания; второй—под командой яличника Шкуропелова, отставного квартирмейстера, и третий — под командой Пискарева, унтер-офицера одного из флотских экипажей. Из женщин запомнили Семенову, вдову, у которой забрали в карантин и там уморили двух мальчиков. Кузьмин, обучавший все три отряда военному строю, был шкиперский помощник.

Восставшими были убиты Столыпин, один из карантинных чиновников Степанов, который особенно обирал жителей слободки и, не выдавая им сена на лошадей, скупал тех, отощавших, за полнейший бесценок, и еще несколько чиновников. Верболозов спасся, переодевшись в мундир своего денщика.

От коменданта города, генерал-лейтенанта Турчанинова, восставшие взяли расписку, что в Севастополе чумы не только нет, но и не было. Такая же расписка была дана в соборе и протопопом Софронием.

Мало понятно, зачем именно брались эти расписки. Может быть, восставшие просто хотели подвести некоторые законные основания для своих действий, для казни ненавистных им людей? Но во всяком случае в первый день восстания власть в Севастополе была в их руках. Правда, в городе было до тысячи человек солдат с их офицерами, при них даже и три пушки, но эти солдаты хотя и имели задачей охранять «порядок» в городе, отнюдь его не «охраняли». Напротив, часть из них ушла из Севастополя, другая часть смотрела на восстание совершенно спокойно, а третья даже просто пристала к восставшим.

У матросов, участников восстания, были ружья

со штыками и патроны; небольшой склад оружия оказался на «Хребте беззакония»,—его разобрали по рукам. Так вооруженные восставшие представляли собою довольно внушительную силу, но на них вели пять батальонов солдат, которые стояли раньше в оцеплении у Корабельной слободки.

Однако, когда полковник Воробьев, который их привел, приказал им стрелять по восставшим, несколько человек выстрелило вверх,—и только. Тогда матросы кинулись на фронт солдат, вырывали у них ружья и кричали:

— Показывайте, где у вас офицеры-звери: мы их сейчас убьем!

Полковник Воробьев был выдан солдатами и убит, а одного из своих офицеров, штабс-капитана Перекрестова, солдаты даже расхвалили, будто он был для них очень хорош.

Вожаки восстания ухватились было за этого штабс-капитана, не примет ли он над ними главного командования, но Перекрестов отказался. Это очень ясно показывает, что ни Кузьмин, ни Иванов, ни Пискарев, ни Шкуропелов не представляли, что им делать дальше, после того как они захватили власть в Севастополе.

Они громили квартиры своих врагов, ходили с обысками по домам, разыскивали их всюду, но восстание их не росло с тою быстротой, какой им хотелось. Напротив, росли только силы окружавших их войск.

Коротко говоря, восстание было скоро подавлено, и началась царская расправа. Следствие вели две комиссии: адмирала Грейга, более благожелательная к восставшим, желавшая все-таки разобраться в причинах восстания для того, впрочем, чтобы свалить вину за него с чинов морского ведомства на чинов карантинного; и графа Воронцова, генерал-губернатора всего юга России, который хотел обратного: выгородить карантинных чиновников, ему подведомственных, и обвиноватить морское ведомство.

Возобладал, конечно, любимец царя Воронцов, тем более что царю ведь не важно было, разумеется, чем вызвано восстание, а важно было только наказать поскорее восставших.

И они были наказаны жестоко.

Семь человек были приговорены к расстрелу; среди них Иванов, Пискарев, Шкуропелов. Кузьмину смертную казнь заменили шпицрутенами в количестве трех тысяч! Вынес ли он это наказание, неизвестно.

Расстреливали семерых на Корабельной и Артиллерийской слободках и на «Хребте», разбив для этого их на три партии. Так как казнь должна была привести оставшихся в живых к должному устрашению, приказано было произвести ее днем и сгонять на нее народ хотя бы и палками, если не захочет итти по доброй воле.

Около тысячи шестисот человек было присуждено судом к разным тяжелым наказаниям: к очень большому количеству палок, к двадцатилетней каторге, к арестантским ротам и прочему.

Имущество всех было конфисковано.

Любопытно, что пострадал и генерал Турчанинов, давший расписку, что чумы нет и не было. Его тоже судили и приговорили к исключению со службы, но царь нашел этот приговор несоответствующим тяжести его «преступления» и разжаловал его в солдаты!

Но кроме участников восстания были ведь все-таки из севастопольских домохозяев, солдат и матросов такие, которые в нем не участвовали по той простой причине, что их не было в то время в Севастополе.

Их не судили, конечно, но царь был не таковский, чтобы о них забыть. Он приказал адмиралу Грейгу выслать из Севастополя всех нижних чинов, имевших там домишки, и даже таких, которые хотя не имели домишек, но были женаты,— значит, надеялись их иметь со временем. Ребятишек же их мужского пола старше пяти лет немедленно отобрать и отправить в батальоны кантонистов. И вот несколько тысяч человек, ничем не причастных к восстанию, были отправлены иные в Херсон, иные в Керчь, но большая часть за три тысячи верст—в далекий холодный Архангельск, по способу пешего хождения, на зиму глядя, в чем были, иные совсем босые и з одних рубахах.

Домишки же их были конфискованы в пользу казны и потом продавались с торгов... Вот как искоренял царь дух своеволия и непокорства! Достойный ученик деспотов древней Ассирии!

В общем было выслано тогда из Севастополя тысяч шесть. Семьи были разбиты, дети оторваны от родителей...

Были, впрочем, говорят, случаи, что иные женщины, испугавшись высылки в Архангельск, забрав своих ребят, бежали с ними в крымские леса на горах. Но вопрос: чем и как могли они там пропитаться? Воронцов опубликовал приказ, чтобы никто не смел таких беглых принимать на работу в имениях и хуторах; поэтому часть из них была изловлена и представлена начальству, другая часть погибла, ослабев от голода до того, что не могла уж выбраться из лесов.

Итак: четверть века назад ждали в Севастополе турецкой эскадры, как избавительницы от ига самодержавца, русского царя, но эскадра эта не пришла, восстание было жестоко подавлено. Теперь же, кроме турецкой, пришли и французская и английская эскадры с десантом несравненно большим, чем могли бы тогда послать турки, если бы захотели. И однакоже те же самые матросы и солдаты свирепо защищают теперь того же самого нисколько не изменившегося к лучшему царя...»

Дебу только что хотел закруглить свои мысли по поводу восстания 1830 и войны 1854 года, но в это время вошел в канцелярию, со двора и не сняв шинели, поручик Смирницкий, адъютант батальона, исполнявший по недостатку офицеров еще и обязанности казначея. Дебу поспешно накрыл свою тетрадь деловой бумагой и сделал вид, что усердно знакомится с ее содержанием.

Смирницкий, впрочем, был в таком возбужденно приятном настроении, что не заметил бы и без того его дневника на столе, а деловая бумага была и у него в руках.

— Не знаю, умеете ли вы верхом ездить,— сказал он весело,—а то я мог бы, пожалуй, взять вас с собою в Бахчисарай.

— Надолго ли? И зачем именно?—в недоумении спросил Дебу.

— Да вот,—махнул своей бумагой Смирницкий,—поскольку наши провиантмейстеры не справились с делами доставки нам фуражного довольствия, предлагается всем отдельным частям получить на фураж деньги и довольствовать лошадей своих, как они знают.

— Гм... А останутся ли в живых лошади при таком способе довольствия?—усомнился в полезности этой меры Дебу.

— Не ваше писарское дело рассуждать об этом,—притворно нахмурив густые брови, сказал Смирницкий.—И прошу иметь в виду, что вы можете поехать со мною только в качестве... как бы это сказать... ну, ординарца, что ли. Предположение насчет того, чтобы взять вас, я уж командиру батальона высказал, и он против этого ничего не имеет... Почему-то даже добавил, что так будет лучше.

— Для меня, разумеется, лучше,—повеселел Дебу.—Тем более, что я ни разу еще не видал Бахчисарая как следует. Проходил, правда, через него два года назад, но по этапу.

— Ваши личные соображения по этому поводу в расчет не принимались, милостивый государь!—шутливо отозвался Смирницкий.—Мы заботимся исключительно о пользе службы... Значит, решено. Завтра рано утром едем.

2

Спорый дождь, холодный упругий ветер, грязь, из которой с трудом вытаскивали ноги верховые лошади, а кое-где застрявшие прочно в этой грязи татарские мажары с выбившимися из сил подводчиками и волами,—такова была дорога к Бахчисараю, по которой ехали поручик Смирницкий и младший унтер-офицер в должности писаря петрашевец Дебу, Ипполит Матвеевич.

— Представьте, что волы везут сено для севастопольских лошадей,—говорил Смирницкий.—Откуда они его должны везти? Возле Севастополя на сто верст все сено уже съедено. Значит, откуда-нибудь из-под Перекопа или из-под Керчи... Предположим, что из-под Перекопа,—верст за двести. Они везут, но ведь они не бегут с этим сеном, а идут шагом. Сколько же верст они могут сделать в день по такой вот дороге?

— Верст двадцать, не больше, я думаю,—ответил, добросовестно подумав, Дебу.

— Ого! Двадцать! Можно сказать,—хватил с горя!—рассмеялся Смирницкий.—Дай бог, чтобы десять сделали! Ведь то здесь застрянут, то через версту застрянут... А кормить их надо, как полагаете?

— Разумеется, надо.

— Сколько положите сена на пару волов по такой работе и по такой погоде?

— Не меньше пуда, я думаю.

— Мало, что вы! Считайте хоть—худо-бедно—полтора пуда на сутки... Итого, на сто верст дороги считайте волам на прокорм пятнадцать пудов... Это худо-бедно, имейте в виду. А сколько сена пара волов может везти по такой дороге?

— Пудов пятьдесят?

— Не повезут пятьдесят, что вы! Дай бог, чтобы тридцать... Значит, протащились сто верст,—полвоза съели. А до Севастополя еще верст сто. Итак, когда предстанет перед их глазами Севастополь, они будут тащить уже пустую мажару... Возникает вопрос: есть ли смысл татарину везти сено из-под Перекопа в Севастополь, чтобы скормить его своим же волам по дороге? А на обратную дорогу где им прикажете взять сена?

— Смысла, конечно, нет,—согласился Дебу.—Гораздо умнее сидеть дома и самому не мучиться и волов не морить.

— Вот видите! Я тоже думаю, что так будет умнее; однако лошади в Севастополе должны же что-то такое кушать? Должны, иначе погибнут. Как же именно мы можем сами добывать для них фураж, если от этого отказалось даже интендантство? Это уж называется: «Отгадай, моя родная, отчего я так грустна...»

— Однакоже командиры частей на это согласились!

— А как же они могут не согласиться? Приказано получать деньги на фуражное довольствие, как же они смеют не соглашаться получать деньги? Да и расчета нет не соглашаться: ведь это же не в атаку итти.

— Ну, хорошо; вот вы получите деньги на сено. Как же вы будете доставать это сено?

— А как люди будут доставать, так и мы,—улыбнулся Смирницкий.—Что же нам тут новые пути какие-то открывать,—тем более, что часть мы небольшая, и лошадей у нас одна-две—и обчелся.

Спорый дождь мочил неустанно. Ветер пронизывал; густая грязь чавкала плотоядно, точно все покушалась захватить поглубже в свою пасть ло-

шадиные ноги. Только к вечеру удалось кое-как добраться до Бахчисарая.

— Нечего сказать, приятная прогулочка!—ворчал Смирницкий, подъехав к татарской кофейне, где можно было переночевать, и, слезая с совершенно замученного, мокрого, как из речки, коня, добавил, не без язвительности, в сторону Дебу:—Вот и везите на волах сено по такой погоде за двести верст!

В кофейне было невообразимо тесно и так накурено, что каганцы из бараньего сала почти отказывались светить. В той же кофейне расположились и некоторые другие офицеры, тоже приемщики фуражных денег, приехавшие раньше; они уже узнали откуда-то неутешительную новость, что в бахчисарайском интендантстве денег не выдают, ссылаясь на то, что их не имеют, а отсылают в Симферополь.

Кое-как переспали ночь, прикурнув в углу на лавке; утром же поручик Смирницкий, оставив лошадей на попечение Дебу, один и пешком отправился за деньгами, но скоро вернулся злой, сыпал ругательства по адресу интендантов, которые, действительно, уверяли, что у них ни гроша, и торопился отправиться в Симферополь, чтобы туда приехать засветло.

— Так мне и в этот раз не довелось осмотреть столицу ханов,—сетовал Дебу.

— Чорт с ней, с этой столицей! И что вам тут захотелось смотреть! Бараньих тушек не видели? Пока будем тащиться по улицам, можете налюбоваться вдоволь!

Действительно, искрасна-белые, жирные по-осеннему бараньи туши, висевшие на деревянных крюках головами вниз, виднелись тут на каждом шагу, так часто попадались мясные лавчонки и рундучки.

Улицы были узкие и гораздо более грязные, чем дорога сюда от Севастополя, то есть грязь здесь была еще глубже и гораздо зловонней. И решительно в каждом татарском домишке, выходившем на улицу, была какая-нибудь да торговля: продавали красные и зеленые сафьяновые туфли, нагайки, бурки, чуреки, яблоки, груши...

Пробиться куда-нибудь в этих улицах иногда было почти невозможно, до того они были запружены казенными зелеными фурами и обывательскими мажарами и подводами. Сено все-таки везли какие-то смелые или легкомысленные бородатые люди в бараньих шапках, то и дело крича на своих волов:

— Цоб, цоб!..

На щеголеватых и очень частых минаретах тоже кричали звонкоголосые татарские мальчуганы-подростки—муэдзины. Попадались офицеры верхами на таких же заляпанных грязью лошадях, как и у самих Дебу и Смирницкого. Все были похожи на белок в колесе: куда-то очень спешили и застревали в тесноте и грязи, сколько ни суетились.

Гораздо больше часу ушло, пока выбрались наконец из этой бывшей столицы крымских Гиреев на дорогу, но эта дорога до Симферополя была не менее грязна, чем дорога до Севастополя, так что засветло приехать в центральный город Крыма не удалось. Не сбылись и мечты о чистой отдельной комнате в гостинице. Ночевали, правда, в гостинице, а не в кофейне, но поместиться пришлось в комнате, уже занятой ехавшими в Севастополь с севера двумя офицерами, любезно уступившими им угол за рассказы о том, что творится в осажденной крепости. Между тем усталым от дороги людям гораздо больше хотелось спать, чем что-нибудь рассказывать, да и порадовать новых людей было нечем.

Дебу же в обществе незнакомых офицеров чувствовал себя очень неловко, был молчалив и старался держаться в тени, как подлинный нижний чин, писарь и ординарец поручика.

Но утром, оставив лошадей под присмотром дворника гостиницы, Смирницкий взял с собою своего спутника в интендантство.

Сюда набралось уже порядочно офицеров-приемщиков.

— Ну, что, господа, как здесь?—спросил Смирницкий, подходя к группе из нескольких человек.— А то я был в Бахчисарае,—там денег совсем не оказалось, как это ни странно, и послали сюда.

— Здесь тоже может не оказаться,—мрачно ответил за всех преувеличенно усатый и, видимо, с похмелья хриплоголосый гусарский штабс-ротмистр.

— Очень на то похоже,—что-то очень водит здешний управляющий,—намекающе подтвердил другой, артиллерийский поручик.

— Жмот!—выразительно сжал кулак третий.

— Однако как же вы так? Зачем же тогда выдали нам требование на деньги?

— На всякие требования есть свои контртребования,—прохрипел штабс-ротмистр.

Смирницкий пожал плечами, ничего не поняв из этих намеков, и решил начать действовать не теряя времени.

В Симферополе того времени числилось перед началом военных действий в Крыму тысяч восемнадцать жителей. Из них тысяч двенадцать во главе с самим губернатором Тавриды вздумали поспешно бежать на север после неудачного для русских сражения на Алме, полагая,—не без оснований, конечно,—что интервенты двинут колонну своих войск на Симферополь. Когда же обнаружилось, что вся десантная армия устремилась к югу, чтобы с одного удара захватить Севастополь («Взять Севастополь—минутное дело!»—говорил тогда публично Наполеон III), беглецы получили приказ Меншикова немедленно вернуться

в город и строя жизни в нем отнюдь не нарушать; губернатор же,—генерал Пестель,—был за это вскоре смещен и заменен Адлербергом.

Теперь население города удвоилось, а количество всяких «присутственных мест» в нем, то есть учреждений, утроилось, если не учетверилось. Поэтому интендантство, центральное в Крыму, занимало всего три комнаты на втором этаже каменного белого дома. Прямо от входа была канцелярия, в ней чиновники интендантства и писаря бойко щелкали на счетах, проверяя какие-то бумаги, подсчитывая деньги по ведомости на очень длинных листах.

К одному из чиновников подошел Смирницкий с вопросом, где управляющий.

— А вот пожалуйте сюда,—кивнул на закрытую дверь чиновник, взглянув на него одним только глазом.

Смирницкий отворил дверь и очутился в кабинете с мягкой мебелью, имеющею совершенно домашний вид. Перед столом в кожаных креслах сидел важного и сытого вида весьма пожилой человек с сильно седеющими бакенбардами и владимиром на шее, в форменном сюртуке, вверху небрежно расстегнутом, с белыми холеными руками и несколько прищуренными, как бы утомленными уже в самом начале трудового дня своего глазами табачного цвета.

Но он был не один: у него за столом сидело уже два офицера, в которых Смирницкий чутьем угадал таких же приемщиков денег, как и он.

— Что вам угодно?—обратился к нему управляющий.

— Вы господин управляющий?

— Да-с, так точно,—ответил управляющий и глядел выжидательно.

— У меня вот требование на фуражные деньги,—быстро сунул пальцы в карманы и вытащил бумажку Смирницкий.—Могу ли я их получить сейчас?

Управляющий взял требование двумя протянутыми пальцами, сделал весьма заметный глубокий вздох, который должен был показать этому новому офицеру, как ему тяжело возиться со всеми ими, приезжающими откуда-то с разными там требованиями, пробежал его бумажку утомленными глазами в прищурых толстых веках и положил ее под самый низ подобных же бумажек, грудой лежащих у него на столе.

Смирницкий стоял, наблюдая его и искоса офицеров за его столом, хотя и пехотинцев, но что-то уж очень щегольски одетых, от чего он успел уже отвыкнуть в Севастополе.

— Так-с!—глубокомысленно произнес наконец управляющий.—Вы спрашиваете, можете ли получить вы деньги? Да, конечно, можете, если... вообще это всецело от вас самих зависит: захотите получить, получите.

Смирницкий удивленно поглядел на пехотинцев, но они старались глядеть—один на кожаный диван, другой на ломберный столик перед этим диваном.

— Я, понятно, хочу их получить, и как можно скорее,—улыбнулся слегка Смирницкий.—Я и то потерял напрасно день, а лошади наши уже на голодном порционе.

Он думал, что этих его слов вполне довольно, чтобы управляющий сделал распоряжение о выдаче денег. Но случилось совершенно непонятное. Управляющий заговорил, обращаясь к сидевшим у него щеголям:

— И вот... продолжим о том, о чем я начал... Я принимаю у этих поставщиков, двух братьев, спирт согласно пробе—сто сорок два трехведерных бочонка, и отправляю в Херсон для дальнейшего следования этого груза в Одессу для нужд армии, а из Одессы,—представьте вы себе!—получаю бумагу, что в означенных ста сорока двух бочонках вместо спирта оказалась не-под-дель-ная морская вода!

Пехотные офицеры учтиво-возмущенно ахнули, а управляющий, полюбовавшись эффектом, какой он произвел у них, удостоил и Смирницкого косвенным взглядом.

— Выходит, что лучше было бы для армии, если бы спирт был отправлен сухим путем,—счел нужным отозваться на этот косвенный взгляд Смирницкий.

— Тогда бочонки пришли бы в Одессу сухими!—живо подхватил один из пехотных щеголей.

— Или с водой колодезной, все-таки более пригодной для питья,—вставил другой.

Управляющий выслушал всех трех офицеров, как человек, которому незачем торопиться, потому что эффектный конец он уже приготовил заранее, и сказал наконец:

— Дело было сделано довольно чисто: поди доказывай, где именно вылили спирт из бочонков, натурально, в другие подставные бочонки и влили морскую воду! И все-таки я это дело распутал!.. И вся хитрость была тут проявлена... как бы вы думали в чем?

И щеголи, и Смирницкий, переглянувшись, одинаково пожали плечами и выпятили губы в знак того, что в эту хитрость проникнуть они не в состоянии, особенно так вот сразу, экспромтом.

Налюбовавшись их затруднением, управляющий почесал мизинцем правую бровь и сказал расстановисто:

— Хитрость была в том, что хотя вода-то и была неподдельная морская, но влита она была в бочонки на сухопутье и от моря довольно далеко, а именно в Каховке, на Днепре.

— Вот тебе на!.. Как же туда попала морская вода?—удивились щеголи.

И обращаясь уже только к ним, управляющий

симферопольским отделением интендантства начал подробно объяснять, как заранее была подготовлена эта операция некими злонамеренными людьми, которые имели в виду, конечно, сбить следственную комиссию с толку, и как только благодаря ему дело было распутано. Разумеется, он рассказывал это затем, чтобы показать, как трудно быть интендантом, как мог бы он сам пойти под суд, если бы не затратил много усилий и даже свои личные деньги, чтобы распутать этот хитро завязанный узел.

Смирницкий стоял во все время этого длинного рассказа. Правда, его не на что было посадить в этой комнате, кроме как на диван, но это его не то что обидело, а достаточно утомило, и он спросил, наконец, выбрав момент, интенданта:

— Когда же все-таки могу я явиться за причитающимися нам деньгами?

Вопрос этот, видимо, был очень неприятен управляющему. Он даже как-то досадливо передернул щекой, точно на нее села муха. Он не ответил на него, хотя перестал и рассказывать о таинственном приключении ста сорока двух бочонков спирта. Он занялся кучей требований, лежавшей у него на столе. Смирницкий понял даже это так, что он не во-время остановил управляющего, имеющего все-таки немалый чин и значение. Но делать было уж нечего; надо было продолжать, что начал. И он спросил снова:

— Может быть, сейчас же я и могу получить деньги? Это было бы очень хорошо.

И вдруг, повернувшись к нему уже в полный оборот, управляющий спросил в свою очередь и, как говорится, в упор:

— А вы сколько намерены дать мне процентов?

Тон вопроса был совершенно спокоен и деловит и предполагал ответ столь же деловито спокойный, но Смирницкий был удивлен этим гораздо более, чем эффектной историей с морской водой, очутившейся сразу в ста сорока двух трехведерных бочонках взамен спирта.

— Процентов?—повторил он, недоуменно поглядев при этом на щеголей-пехотинцев, сидевших усидчиво.—Каких же именно процентов и с какого капитала?

— Вы, молодой человек, видно, никогда раньше не получали денег для своей части,—отеческим тоном отвечал управляющий,—поэтому я вам разъясню суть этого дела. Я вас спрашиваю о том, сколько вы мне,—лично мне,—поняли?—уплатите за то, что я прикажу отпустить деньги для вашей части... Должен вас предупредить, что мне платят обыкновенно восемь процентов с отпускаемой суммы.

— За что же, позвольте!—чрезвычайно удивился Смирницкий.—Ведь это же, кажется, и есть ваша единственная обязанность—отпускать деньги на нужды армии?

Щеголи-пехотинцы поглядели на него с любопытством, но тут же скромно отвели глаза, а управляющий сказал наставительно:

— Я гораздо лучше вас, молодой человек, знаю свои обязанности. Но если восемь процентов кажется для вас много,—правда, и сумма у вас небольшая,—то я так и быть согласен взять с вас только шесть процентов, но уж меньше ни-ни!

— Да я и полпроцента не дам!—разгорячился Смирницкий.—Я должен получить столько, сколько значится в требовании, и больше ничего!

— Тогда вы ничего и не получите,—спокойно сказал управляющий; он покопался неторопливо белыми холеными руками в куче бумажек, достал требование, привезенное несговорчивым поручиком, протянул ему и добавил:—Можете ехать в свою часть и сказать, что денег вы не получили, потому что их нет.

— Как же так нет, когда ведь есть же деньги!—вскипел Смирницкий.

— А вы почем же знаете, есть или нет? У нас есть действительно пятьсот тысяч, но-о...

— Вот видите! Пятьсот тысяч!

— Но-о требований представлено нам на полтора миллиона,—поняли? Вы горячитесь, а дела не знаете. Берите же свою бумажку!

— Я знаю только то, что буду на вас жаловаться!—выпалил Смирницкий, отнюдь не протягивая руки за бумажкой.

— Жалобой угрожаете!—покивал головой управляющий, улыбнувшись и поглядев на других офицеров.—Что значит неопытность! Берите же ваше требование назад, говорят вам, и поезжайте с богом домой.

— Требования я назад не возьму, а рапорт по начальству напишу!—твердо сказал Смирницкий.

— Что же вы такое напишете в рапорте своем? Эх, молодость!—управляющий покачал лысой спереди седою головой.—И думает ведь, что я какую-то беззаконность способен допустить, прослужив беспорочно чуть не сорок лет!.. Требований на полтора миллиона, денег в наличности полмиллиона,—что из этого следует?

— Следует то, что деньги надобно выдать,—вот что следует!

— Кому именно выдать? Этого вопроса вы себе не ставите?.. Ведь ваше начальство не научило меня, как из полмиллиона сделать полтора миллиона? Нет? Вот то-то и есть! Значит, кому именно дать деньги, кому не дать, зависит от меня и столько же от вас, господа! Уплатите мне за то, чтобы получить сейчас деньги, получите деньги, не уплатите,—не получите. Разговор считаю оконченным. За ним должны будут последовать действия.

— А действия будут вот какие,—снова вскипел Смирницкий.—Приглашаю вас, господа, в сви-

детели того, что вы слышали тут!—обратился он к офицерам.

Но один из щеголей-пехотинцев только крякнул, другой же сказал игриво:

— Мы в чужие семейные дела не мешаемся.

— В семейные, да,—подхватил управляющий, засмеявшись.—В келейные, так сказать. Я ведь с вами келейно говорю, а вы каких-то там свидетелей ищете! И делаете вид, что я не знаю, куда пойдут эти деньги, какие вы получите!

— На фураж пойдут, на фураж для лошадей, вот куда!—не сдержав голоса, выкрикнул Смирницкий.

— В карманы пойдут, в карманы!—в тон ему повысил голос и управляющий.

— Ну, если так, то вы... Знаете кто вы такой?

— Берите вашу бумажку и поезжайте!—протянул ему требование управляющий.—Кто я такой, я отлично знаю, а от резкостей рекомендую вам воздерживаться, молодой человек!

Теперь он был уже не благодушен, и старые табачного цвета глаза его в толстых веках блестели тускло и зло.

Смирницкий вышел, оставив свою бумажку в его руке, и, увидев в канцелярии Дебу, говорившего о чем-то в стороне с писарем, подошел к нему, еле сдерживаясь, чтобы не выругаться весьма крепко и весьма громко.

— Ну, что?—спросил его Дебу.—Получаем деньги? Что-то вы очень покраснели...

— Какой чорт «получаем»! У такого подлеца получишь!—прорвался Смирницкий, а писарь таинственно тянул Дебу за рукав к двери, приглашая и распалившегося поручика кивком головы.

Они вышли за дверь в маленький коридорчик, и писарь заговорил вполголоса:

— Тут у нас больше кавалеристы получают, а они люди богатые, за процентом не стоят. Зря проканителитесь, ваше благородие, у нас.

— Так что же мне,—без денег в Севастополь ехать?

— Зачем без денег? Деньги свои вы получите, только вам в Бахчисарай поехать надо,—вот куда.

— Спасибо, голубчик, я только что оттуда! Тут хоть полмиллиона в наличности, а там так совсем ничего.

— Там завтра миллион будет,—зашептал писарь.—Мы миллион получаем, и они тоже. Там живо получите.

— Но ведь управляющий ваш на то и ссылается, что денег мало, а если он миллион получает, то...

— Все равно не добьетесь... Лучше в Бахчисарай вам ехать.

— А требование свое я здесь оставил, как с этим быть?

— Это пустяк дело: я его выручу сейчас.

— Придется, кажется, опять по старой дороге грязь месить, а?..—обратился к Дебу Смирницкий.

— Что ж,—ведь к Севастополю поедем, а не от него,—сказал Дебу.

Писарь понятливо направился к кабинету управляющего выручать требование и через несколько минут принес незадачливую бумажку.

3

Однако не один только Смирницкий и Дебу, многие из приемщиков денег хлынули из Симферополя в Бахчисарай. Пришлось торопиться, чтобы не опоздать. Погода в этот день была солнечная, теплая, лошади шли гораздо бойчее, и в Бахчисарай путники приехали в час дня, так что успели еще навестить интендантство.

Обстановка тут была несколько другая. Управляющий тут, как крыловский сатрап, «все дела секретарю оставил», будучи человеком очень богатым (нажился на Венгерской кампании), дослуживающим свой срок и не желающим портить конца службы несколько все-таки рискованными аферами.

Секретарь же был еще человек молодой, очень речистый и полный завидной энергии: он и любезнейшим образом осаживал натиск большой и крикливой толпы приемщиков-офицеров и выходил из-за стола, за которым сидел, чтобы в укромной комнатке рядом с канцелярией поговорить по секрету с кем-нибудь, делавшим ему таинственно призывные знаки.

Между прочим, не только Смирницкий, вмешавшийся в толпу офицеров, но даже и Дебу от дверей расслышал, как секретарь, делая особые ударения именно на этой фразе, говорил:

— Я никаких злоупотреблений при выдаче денег не допущу, господа, это прошу иметь в виду!

— Что это значит «злоупотреблений»?—обратился Смирницкий к одному артиллеристу.—Не хочет ли он сказать, что совсем не берет взяток?

— Я у него получал уже один раз деньги,—ответил артиллерист.—Он не просит, как в Симферополе, восемь процентов; он довольствуется гораздо меньшим...

— Что злоупотреблением не считает,—докончил Смирницкий.

— Понятно,—улыбнулся артиллерист.—Тем более, что он будет вас водить, пока вы сами ему не предложите, а просить не станет... Это вообще очень ловкая бестия.

Секретарь был и с виду человеком, скроенным очень ловко.

Несколько выше среднего роста, гибкий в талии, что называется представительный и умеющий держаться непринужденно, и в то же время не переходя границ приличий, он казался и воспитанным и даже как будто либерального образа мыслей.

— Завтра—завтра!—сказал он Смирницкому, любезнейше улыбаясь.—Заходите завтра об эту пору,—все будет сделано.

— Но вы хоть требование сейчас примите!

— Непременно, непременно... Давайте ваше требование,—сообразим, как и что.

Он быстро пробежал его глазами и сказал как будто с оттенком ласково-пренебрежительным:

— Ну, ваше требование совсем легковесное!

— Так что, может быть, вы меня сегодня отпустите, а?—оживился Смирницкий.

— Ах, боже мой! Ведь денег пока еще нет! Если даже они сегодня и придут, то ведь их еще надобно пересчитать,—что вы! Попробуйте-ка пересчитать миллион!

И в тоне его было весьма извинительное превосходство над поручиком, явно никогда не пересчитывавшим даже и ста тысяч кредитками, не только миллиона.

— Странно!—раздумчиво сказал Дебу Смирницкому, когда они поехали по знакомым уже им улицам, узеньким и бездонно грязным, с высокими и старыми, посаженными еще при Гиреях[1] пирамидальными тополями, при взгляде на которые татарские домишки казались еще ниже и еще хуже, чем они были.

— Что же именно из всей этой безалаберщины, в какую мы попали, кажется вам наиболее странным?—со злости витиевато спросил Смирницкий.

— Наиболее странным показался мне не кто иной, как секретарь управляющего здешним интендантством,—в тон ему витиевато ответил Дебу.—Может быть, это только издали так кажется, но его можно, пожалуй, принять за вполне порядочного человека.

— А вот увидим завтра, какой он порядочный... Пока же не угодно ли вам полюбоваться Бахчисараем. Теперь-то уж у вас времени на это удовольствие хватит... и даже останется.

Но любоваться было решительно нечем. Даже ханский дворец, мимо которого они проезжали, не имел в себе ничего не только величественного, но и просто приглядного. Одноэтажный, в бóльшей своей части, несколько затейливой архитектуры запущенный дом, какой мог бы построить от скуки у себя в имении иной чудак-помещик, чтобы пощеголять перед соседями экзотическими своими вкусами,—и только.

Очень резко бросалось в глаза вторжение крикливой, спешащей, возбужденной, конной и пешей толпы в эти апатично тихие сонные улички, на которых даже и все торговцы около своих товаров сидели совершенно непостижимо безучастно и ко всему столпотворению около них и к тому, чем оно вызвано, и даже к покупателям.

Смирницкому захотелось купить яблок.

— Бери пажаластам,—сказал ему бородатый татарин в белой чалме поверх шапки, но отнюдь не сдвинулся даже и на вершок с ящика, на котором сидел, чтобы показать свой товар лицом.

Выбрали кофейню несколько почище той, в которой ночевали раньше, а переночевав в ней, отправились на охоту за деньгами.

Увидели к своему неудовольствию, что приемщиков-офицеров значительно прибавилось, главным образом артиллеристов, которые оказывались очень требовательны.

— Сейчас, сейчас, господа!—любезно склоняясь и направо и налево, говорил им секретарь.—Мне не нужно говорить: «Позиции!..» «Необходимо скорее!..» Я и сам понимаю отлично, что раз вы стоите на позициях, то вам необходимо скорее туда вернуться,—защищать отечество!.. Верно ведь, господа?.. Сейчас мы все проверим, все выясним,—имейте терпение!.. Ведь мы все тоже работаем, господа,—вы видите? Ведь не сидим же мы без дела.

Действительно, он имел самый взвихрённый вид, и не то чтобы говорил, а просто сыпал слова скороговоркой и, между прочим, время от времени, обняв любезно за плечи то одного, то другого из приемщиков, таинственно ему кивавших из-за чужих спин, уединялся с ним на несколько минут в комнатку рядом с канцелярией, выходя оттуда всесторонне сияющим. Однажды даже как будто венчик около его кудрявой головы, какой принято было изображать на иконах, показался поручику Смирницкому. Когда же непосредственно вслед за этим он сам добрался до секретаря, тот изумленно поднял брови:

— Позвольте, господин поручик,—но ведь вы же не артиллерист, кажется?—спросил он.

— А вы разве выдаете только артиллеристам?

— Сегодня, да: только им преимущественно... Потому что, знаете ли, позиции, необходимо, и прочее.

— Но позвольте, я ведь тоже, хотя и не артиллерист...

— Имейте терпение, господин поручик, имейте терпение!.. Вы свои деньги получите завтра.

И отошел быстро,—даже отпрыгнув вбок, как это умеют делать только козлы.

Смирницкому пришлось согласиться, что артиллерии, действительно, следует оказать предпочтение, но ждать еще день ему показалось все-таки обидным.

А секретарь вдруг крикнул весело, как командир:

— Артиллерия, подъезжа-ай!

Выдача денег началась.

Смирницкий наблюдал это дело около часу, наконец вышел из духоты к Дебу, оставшемуся на дворе.

— Вот штука-то,—сказал он весьма угрюмо.—

---

[1] *Гиреи*—династия крымских ханов, правивших Крымом с начала XV в. до его присоединения в 1783 г. к России.

Придется пробыть в этой дыре еще целый день, чорт бы побрал этого секретаря, который вам так понравился!

Однако не день они пробыли, а еще двое суток.

Другие получали деньги, и Смирницкий это видел, но как только обращался он к секретарю, тот делал озабоченное участливое лицо и говорил любезнейше:

— Ах ты, боже мой! Вот и вас еще не отпустил! Ну, уж завтра непременно-разнепременно получите! Запаситесь терпением на один еще денек!

Смирницкий вспомнил, что ему говорил артиллерийский поручик, а кстати представил и сияние и дверь таинственной каморки и сказал вполголоса:

— Послушайте! Может быть, все дело только... в благодарности, а?

Секретарь так и прильнул ухом к его губам, чуть только он решился заговорить вполголоса, и тут же, взяв дружески под руку, повел его в ту таинственную каморку, в которой было много пыльных толстых конторских книг на полках и мало света в тусклом окошечке.

— Чудак вы!—почти прошипел он, но весело.— Чего же вы до сих пор молчали, не понимаю!

— Да ведь трудно было и догадаться, на вас глядя.

— Отчего же трудно? Я ведь, конечно, не для себя тут стараюсь, поверьте!.. Тут, знаете ли, общий котел... Для общей пользы исключительно!.. Служащие, понимаете ли,—жалованье ничтожное... Я лично всего ведь только четыреста рублишек получаю в год! А у меня на четыреста-то одних закусок в год покупается! Нельзя же без закусок: порядочных ведь людей приходится принимать. Жалованье, значит, на закуски уходит, а на жизнь откуда же прикажете взять?.. Ведь не взятка это, а исключительно ведь благодарность за мой личный труд!

— Сколько?—коротко спросил Смирницкий.

— Три процентика, друже,—ласково ответил секретарь.—Идет, а?..

— Идет, отчего же нет? Давно бы сказали, а то...

— А сами не могли догадаться? Эх, на-род! Не знает, зачем голову на плечах носит! Ну, значит, по рукам?

И крепко и радостно пожав длинными пальцами широкую ладонь Смирницкого, он пропустил его вперед в канцелярию, и теперь уже Дебу, если бы был здесь, смог бы, пожалуй, различить сияние над секретарскими кудрями.

— Сейчас, сейчас приготовим вам ордерок, впишем вас в книгу живота... Подождите всего только четверть часика, не больше!—приветливо улыбнулся Смирницкому секретарь и, как козел, бочком отскочил от него к другим, а поручик вышел к Дебу и сказал ему мрачно:

— Чорт его знает, эту бестию,—пришлось ведь ему обещать три процента, иначе он нас проманежит тут целый месяц, а потом скажет, что денег уж нет, разобрали,—извольте дожидаться, когда новый миллион пришлют.

— Три все-таки не восемь, только как же мы проведем у себя по книгам эти три процента?—задумался Дебу.

— Да уж надо как-нибудь провести... или три процента по книгам, или этого бестию-секретаря!—мотнул головой Смирницкий.

— Ну, уж его-то как же вы теперь проведете?

— Никак не представляю, признаться... Ничего, кроме явного скандала, в голову не лезет... А надо бы придумать что-нибудь.

Теперь, когда дело шло уже к получению денег, они появились в канцелярии вместе, так как у Дебу была кожаная сумка через плечо поверх шинели, взятая именно для этих денег.

В канцелярии почти уже не было приемщиков. Секретарь деятельно считал деньги и отстукивал на счетах, Смирницкий, наблюдая за ним, не менее деятельно думал, как бы сделать так, чтобы не дать ему обещанных трех процентов, а Дебу, как писарь, подошел к писарю, вносившему какую-то запись в прошнурованную толстую книгу, и, заглянув в нее, увидел как раз то, что хотел увидеть: против названия их батальона и фамилии поручика,—адъютанта и казначея,—значилась та самая сумма, какую им нужно было получить по требованию.

Он быстро подошел к Смирницкому и шепнул ему на ухо:

— Подите распишитесь в книге.

Смирницкий сразу понял, что это—выход из положения. Лениво как будто подойдя к писарю, он сказал ему вполголоса:

— Ну-ка, чтобы не терять золотого времени, расчеркнемся пока!

И поставил свою подпись в книге с таким удовольствием, с каким никогда еще ее не ставил.

А минуту спустя углубленный в расчеты секретарь подозвал его:

— Господин поручик! Пожалуйте, пересчитайте-ка!—и протянул ему пышную пачку кредиток.

Смирницкий считал деньги медленно, чтобы не просчитаться, и наконец сказал:

— Странно! По моему счету тут что-то порядочно нехватает.

— Как так нехватает! Что вы!—улыбнулся секретарь.—Миллионы считаем, не ошибаемся, а чтобы каких-то там несколько тысяч не сосчитать правильно!

— Уверяю вас, что нехватает,—спокойно протянул ему пачку Смирницкий.

— А три процента забыли?—шепнул ему в ухо секретарь.

— Ах вот что! Нет, уж извольте-ка дать мне

ту сумму, против которой я расписался,—скромно с виду сказал Смирницкий.

— Как это так расписался?—бросился, сразу изменившись в лице, секретарь к писарю и загремел на него:—Дурак, скотина! Как же ты смел давать расписываться до получения денег?

Писарь только мигал виновато и краснел постепенно от носа до засаленного воротника.

— Это нечестно с вашей стороны, господин поручик!—повернулся к Смирницкому секретарь.

— Отчего же нечестно?.. И уж там судите, как хотите, а денежки подайте сполна!—невозмутимо отозвался Смирницкий.

Секретарь яростно выхватил из-под папки отложенные туда несколько крупных кредиток, швырнул их на стол и ушел из канцелярии, еще раз крикнув на писаря: «Болван, дубина!» А Смирницций, подобрав деньги со стола, спокойно засовывал их в кожаную сумку Дебу, улыбаясь ему при этом сдержанно, но многозначительно.

4

Когда на другой день утром, чтобы во-время вернуться в Севастополь, выехали они из Бахчисарая, то оба, даже и гораздо более серьезный Дебу, чувствовали себя в несколько приподнятом настроении.

— Странно,—сказал Смирницкий,—ведь едем мы с вами, по существу, в ад кромешный, где нас того и гляди или ухлопают за милую душу, или, на хороший конец, искалечат, а все кажется по привычке: «домой» едем!

— Да, как ни смешно, а правда,—согласился Дебу.—Именно «домой»!

— И как будто мы с удачной вылазки возвращаемся живы-невредимы, да еще и пленных ведем, чорт возьми! Знай наших! А ведь сделали мы самое пустяковое дело: получили, деньги, какие следовало получить, и, между прочим, одного жулика бахчисарайского обжулили сами на малую толику ассигнаций... чтобы других жуликов,—севастопольских,—этой малой толикой вознаградить.

— А за что именно вознаградить?

— Ну, уж известно за что награждают! За труды и лишения боевой жизни.

— А с лошадьми нашими как теперь будет?

— Лошадям теперь каюк,—крышка!.. Нам только придется писать в рапортичках, что от сапа да от сибирки задрали ноги... или еще там от какого-нибудь застоя мочи... Это, конечно, в том случае, если уж никак нельзя будет свалить на орудия и пули союзников.

— И говорите вы это совсем без тени возмущения?

— Нет, про себя-то я возмущаюсь, незаметно для вас, да ведь знаю же я, что это ничему не поможет: плетью обуха не перешибешь... A la guerre comme à la guerre. Я убежден, что и у союзников так же все направо и налево воруют, как и у нас... Если привыкли воровать в мирное время, то уж в военное что же спрашивать и с кого? На войне, как на пожаре. А солдаты и молодежь офицерская...

— И лошади,—вставил поспешно Дебу.

— И лошади,—эти отдуваются своими боками.

Дебу вспомнил то, что записывал в свою тетрадь несколько дней назад, но промолчал об этом.

Дорога была не только невылазно грязна, но еще и сильно зловонна местами, так как кое-где застряли в грязи вместе с повозками и не были вытащены волы и лошади. А однажды были изумлены охотники за деньгами очень знакомым по Севастополю взрывом бомбы, хотя здесь, в степи, ей, конечно, неоткуда было взяться.

Это и не бомба была: это взорвалась раздувшаяся туша огромного погибшего в грязи вола.

— Вот еще что можно писать о подохших от голода лошадях в рапортичках,—сказал Смирницкий:—«Потонули на дороге между Севастополем и Симферополем». К этому поди-ка кто-нибудь придерись! Причина вполне законная и бесспорная.

Чем ближе подвигались к осажденному городу, тем торжественнее и зловеще гремела канонада, завершая свой рабочий день. А потом стали уж различаться в темнеющем небе конгревовы ракеты и бомбы по своим огненным письменам.

Ноябрьский вечер нес с собою мозглый, пробирающий до костей холод и томительное сознание того, что героический период войны закончился и начались нудные и долгие будни тяжелой зимы в обоих одинаково сильных крепостях—осажденной и осаждающей.

КНИГА ВТОРАЯ





ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПЕРВЫЙ ОТРЯД СЕСТЕР

1

Петербургский вокзал, детище Клейнмихеля, в это утро 6 ноября был необыкновенно оживлен: столица отправляла в Севастополь первый отряд сестер Крестовоздвиженской общины, основанной на средства вдовы царского брата Михаила—Елены Павловны.

Официально отряд этот назывался как будто несколько мягче: «первым отделением», однако «отделение» на военном языке—полувзвод солдат, в котором во время войны должно быть в строю тридцать два человека.

В первом отряде сестер и было тридцать две женщины, одетых в одинаковую, строго установленную форму: даже в такой мелочи эпоха Николая I осталась верна себе.

На всех сестрах были коричневые платья с белыми накрахмаленными обшлагами; ярко-белые и тоже накрахмаленные чепчики на простых гладких прическах; белые фартуки с карманами и,—самое главное и самое заметное,—наперсные золотые продолговатые кресты на широких голубых лентах.

В этой глубоко обдуманной в Михайловском дворце униформе была и торжественность и отрешенность от светской жизни, которую вело до того большинство сестер, и даже, пожалуй, обреченность. Впечатление отрешенности подчеркивалось еще и тем, что одна из сестер была монахиня,—мать Серафима,—единственная не заменившая белым чепчиком свой черный клобук, а сопровождал всех сестер афонский иеромонах Вениамин, которому сестры «поручены были для духовного назидания», как сказал он сам накануне после молебна в церкви Михайловского дворца.

Этот молебен, половину которого простояли они растроганно на коленях, был обставлен особо торжественно, точно прием в масонскую ложу.

Кроме самой Елены Павловны, на нем присутствовали и некоторые другие члены обширной царской семьи, и несколько старых генералов, обязанностью которых только и было присутствие в разных «присутствиях».

Необычайность минуты, в которую впервые за всю историю русского государства отправлялись на театр войны женщины для помощи раненым, потребовала значительных усилий мозга для лиц, ведавших придворными церемониями.

Сестры явились на молебен уже одетыми в свою униформу, но золотые кресты на голубых лентах еще лежали чинно на аналое рядом с толстым евангелием в богатом переплете.

Перед этим аналоем сестер приводили к присяге на год службы в госпиталях действующей армии; только на один год, но все понимали, конечно, что этот год может быть для многих из них наитруднейшим, а для иных и последним годом жизни.

Священник дворцовой церкви, опытный мастер своего дела, весь—благообразие и благочиние, прекрасноголосый и внушительный, очень внятно, с расстановкой прочитал слова устава для сестер милосердия, а затем и всем им показавшиеся почему-то вдруг страшно значительными слова присяги, которые они повторяли кто вслух, кто шопотом, но с одинаково встревоженно бившимися сердцами и с испариной на висках: эти слова падали на них, как ядра в октябрьскую канонаду там, в Севастополе.

Но вот священник окончил чтение присяги и, сделав рукою широкий приглашающий жест, сказал приветливо:

— Прошу подходить **поочередно**!

И первая подошла к **аналою начальница** отряда сестер, вдова капитана **Стахович**, женщина уже

пожилая, но мощного сложения, властного вида, рассчитанных движений.

Поняв выразительный кивок густых бровей священника, она сосредоточенно опустилась на колени. Неторопливо действуя, священник надел на ее шею крест и помог ей, несколько излишне грузной, подняться.

За нею точно так же получили свои кресты остальные. Тонко обдуманный ритуал был совершен, Елена Павловна милостиво поздравила сестер и пригласила их в столовую на кофе.

Она старалась быть великокняжески важной, но была по-женски оживлена и говорлива. Она добилась, чего хотела: стала как бы тою самой благодетельной феей, о которой столько наслышалась в детстве в своих родных немецких сказках. Ее Михайловский дворец сделался центром, к которому стекались отовсюду средства помощи раненым воинам и из которого направлялись они туда, на фронт, и во все тыловые лазареты.

Ее докучный досуг был теперь переполненно занят, ее вдовья межеумочная жизнь сразу получила и большой смысл, и вес, и блеск, и значение.

Театральный зал ее дворца был завален теперь аккуратно заделанными тюками с бинтами, компрессами и корпией, которая считалась важнейшим средством для заживления ран, почему ее и щипали из разной ветоши по вечерам женщины чуть не во всех домах России. Льстило честолюбию многих и то, что пожертвования в пользу больных и раненых, как бы ни были они малы, неукоснительно публиковались в официальных отделах столичных газет и журналов.

Штаты дворца Елены Павловны сначала увеличились вдвое, потом втрое, но грозили разбухнуть еще пышнее, потому что оказалось много дела, а еще больше искусственно создаваемой суеты и бестолковщины.

Много подобной же бестолковщины было в этот день—6 ноября—и на вокзале, где только один коммерции советник Харичков, рыжий мужчина в новом лоснящемся цилиндре, с коротко подстриженной бородой и непозволительно толстой бычьей шеей, испросивший позволения на свой счет взять целый вагон первого класса до Москвы и усадить в него отряд сестер, определенно знал, что́ именно ему надобно делать, но томился в долгом ожидании посадки.

На вокзале собрались и разные сановные лица, кормившиеся около комитетов о раненых и больных воинах, и скучающие от безделья ветераны армии и флота, и многочисленные близкие и дальние родственники, и хорошие знакомые отъезжающих, и, наконец, появился неразлучный со своей супругой Авдотьей Павловной необыкновенно маститый, помнивший еще Екатерину, поэт Федор Николаевич Глинка.

И вот он, врастающий уже в землю, маленький, как восьмилетний ребенок, пискливо, но с пафосом проскандировал здесь свои стихи, сочиненные ради такого исключительного события; Авдотья же Павловна, тоже уже глубокая старушка и тоже поэтесса, не решилась читать свой стихотворный труд сама, но преподнесла его торжественно начальнице сестер, причем расцеловала ее и расплакалась.

Иные сановные люди проникались мыслью, что надо бы произнести приличные случаю напутственные речи и даже пытались говорить, но у них от непривычки ли, или вследствие большой новизны темы как-то совсем ничего не выходило, и они сконфуженно умолкали.

А один старый отставной генерал, вытаращив глаза от испуга, шептал на ухо другому такому же генералу, что отнюдь нельзя было решаться на такую жестокую меру, как отправка сравнительно молодых еще и вполне приличных женщин на позорище военных действий, где никогда не бывает ведь да и никак не может быть чистоты нравов.

Слушатель его сочувственно кивал головой, тоже выпучивал глаза и повторял однообразно:

— Совершенно верно изволили заметить! Очень справедливо... Они погибнут там, как... как шведы под Полтавой, да! Это и мое мнение тоже... как... как мотыльки, знаете, на огне, вот! Их, бедняжек, там...

И он оживленно прикладывался сам к уху своего собеседника, и потом оба они безмолвно и согласно вздыхали, одинаково выпячивали губы и смотрели на самых привлекательных из сестер с видом крайнего сожаления.

Близкие родственники отъезжающих, которые все еще никак не могли примириться с их «ужасным» решением ехать непременно в этот «миленький уголок ада»—Севастополь, изощрялись в последних доводах за то, что все еще можно изменить, несмотря на то, что они дали там какую-то клятву прослужить годовой срок, что можно упросить того-то, чтобы он походатайствовал перед тем-то, и клятва с их окаянных неразумных голов может быть снята, и они возвратятся снова в лоно своих семей.

Однако сестры держались непреклонно, хотя глаза некоторых и заволакивались непрошенными слезами.

Для того, чтобы облегчить им путешествие до Крыма, к ним был приставлен особый чиновник. Кроме того, сопровождали их четыре врача, назначенные в помощь профессору Военно-медицинской академии, знаменитому хирургу Пирогову, уехавшему в Севастополь несколькими днями раньше.

В распоряжение Пирогова же должны были по приезде поступить и сестры. Это их и подымало в собственных глазах и приводило в смущение, так как строгость его была им известна, но каждая из них всего одни сутки дежурила в петербургском

госпитале, чтобы присмотреться к больничной обстановке и к тому, как бинтуют раны. На операциях же почти никто не был, и сестры побаивались за свои нервы, которые могли ведь и не вынести работы около раненых, несмотря ни на какие присяги и клятвы.

Впрочем, не все из них были дочери или вдовы крупных, средних и мелких чиновников: было и несколько мещанок, старавшихся держаться поближе одна к другой.

Холодная мозглая погода заставила их всех надеть теплые, серого сукна, с капюшонами шубки одинакового покроя, а на головы некое подобие башлыков из белой байки. Кресты же, как неотъемлемый знак их звания, были повешены поверх шубок.

Наряду с проводами сестер злобою дня тогда был бешеный волк, забежавший в столицу и успевший искусать на улицах тридцать восемь человек, прежде чем его убили.

Об этом исключительном случае было напечатано в отделе происшествий в газете «Северная пчела», и все это читали. К тому же на вокзале среди провожавших сестер нашлось лицо, видевшее своими глазами как раз того волка. Очень могло быть, что лицо это не столько видело бешеного волка, сколько отличалось живою фантазией, способной экспромтом придумать множество красочных подробностей, но оно очень правдоподобно изображало, как волк этот накидывался на людей и грыз их и как его убивали саблями будочники и проходившие офицеры.

Рясофорная мать Серафима явно упала духом, признав этот случай очень плохим предзнаменованием для сестер, но бормотала, стараясь сама себя успокоить:

— На все воля божия... На все воля божия...

И усердно крестилась на большой образ в серебряной ризе, висевший в углу зала и огражденный прочной фигурной железной решеткой.

Швейцар вокзала, сановитый, басистый старик, изобильно украшенный галунами, провозгласил, наконец, зычно, потрясая колокольчиком:

— Пас-сажир-рскому поезду на Москву пер-рвый звонок!

Зазвонили в колокол и на перроне, и загрохотал, подходя к вокзалу, поезд.

Суета и бестолковщина мгновенно дошли до высшего градуса. Все заметались теперь уже как будто даже испуганно, и только один коммерции советник Харачков совершенно расцвел: он становился, наконец, на видное место, он выдвинулся решительно вперед и, приподнимая цилиндр, почтительно, однако с достоинством, приглашал сестер занять места в вагоне.

Втайне он надеялся на то, что со временем, может быть даже и через несколько дней, ему будет объявлена «благодарность ее высочества».

Вместе с сестрами отправлялся в Крым и довольно большой груз: бинты, корпия, сахар, чай, сухая малина, черника, свежая клюква для кислого питья, лекарства... Поэтому сестры в поднявшейся суматохе спешили занять и поудобнее места в вагоне, и наблюдать за погрузкой тюков в багажное отделение, и прощаться с родными и близкими знакомыми, и с великолепно тренированными сановниками, и с убитыми горем древними генералами, и с трогательной парочкой весьма маститых Глинок, и, наконец, с Петербургом и со всей в нем налаженной, привычной, спокойною жизнью...

Начиналась дорога в неизвестное, в пучину неимоверных лишений, в неусыпный тяжелый труд, в подвиг и, кто знает, может быть, даже в раскрытые уже там, в этом страшном Севастополе, для них объятия смерти...

Когда тронулся поезд, в окнах вагона первого класса в ответ на прощальные последние приветствия провожавших замелькали платки, значительно влажные от слез, и глаза сестер, едущих на подвиг, были красны.

2

Первая партия сестер почти целиком состояла или из бездетных вдов или из засидевшихся и весьма перезрелых девиц, которым не выпало на долю свить свое собственное гнездо. Но для того времени это был не только первый отряд сестер милосердия, но и первый призыв русских женщин, выступивших на общественную работу, и в той именно области труда, которая искони веков считалась исключительно мужскою.

По мысли Пирогова, сестры должны были не только помогать врачам при операциях, не только ведать раздачей лекарств, питья и пищи больным и раненым, не только выслушивать последнюю волю умирающих и обещать твердо ее выполнить,— нет, они должны были и стать хозяйками в госпиталях, чтобы зорко следить за прославленными ворами—смотрителями этих весьма мрачных заведений. У сестер, а не у госпитального начальства, должны были храниться и личные деньги раненых и больных солдат, чтобы из этих денег покупать, по их желанию, то, на что не отпущено средств казною, а в случае смерти больного отсылать деньги его родным, которых он укажет.

В замкнутый круг жизни, обусловленной сложными правилами жесткой военной дисциплины, эти женщины, совсем не знакомые с подобной дисциплиной, должны были внести простую, безыскусственную человечность, свойственную мягкой женской натуре, но в то же время и всю энергию к достижению намеченной цели, которою отличаются женщины.

Сестры милосердия в те времена были и в Англии и во Франции, но только в лазаретах и боль-

ницах внутри страны. Англичане, правда, довезли нескольких сестер до Константинополя, но оставили их там для обслуживания лазаретов в Скутари. Так что России, благодаря Елене Павловне с ее положением и средствами и Пирогову, принадлежит почин в деле отправки сестер непосредственно на театр военных действий. Англичанам пришлось в этом уже подражать России, и первая партия их сестер под начальством мисс Найтингель появилась под Севастополем только весною пятьдесят пятого года.

Хорошо думается под однообразный стук колес поезда, если человек едет один. Он смотрит в окно, где поминутно меняются пейзажи, и эта быстрая смена картин не приковывает его внимания. Он всем своим телом ощущает, что движется именно туда, куда ему необходимо прибыть, и уверен в том, что прибудет по расписанию, а пока он совершенно свободен и мысль его легка, ясна, прозрачна и строит точные выводы из предпосылок и посылок, если только эти последние не запутаны до чрезвычайности.

Но женщины в униформе, мчавшиеся из столицы, холодной и с размеренным строем жизни, на крайний юг, прежде всего избавлены были от одиночества по крайней мере на целый год, по присяге.

Они редко взглядывали и на окна, сквозь которые мелькали притуманенные наплывающими сумерками безлистые березовые рощицы, или зеленые стены сосен, или желтая осока на болотах, или сжатые чахлые поля, или серые домишки с высокими тесовыми крышами...

Это все оставлялось ими без сожаления, отставало от них, отбрасывалось в сторону, мешало им... Их головы были слишком горячи для каких-то там задумчивых созерцаний. Они теснились друг к дружке на мягких диванах купе, покрытых полосатыми чехлами, изучающими цепкими глазами присматривались одна к другой и говорили.

В первом купе, где поместились вместе с начальницей отряда и монахиней Серафимой только две сестры: Елизавета Лоде и Марья Гардинская,—обе дочери крупных чиновников,—разговор часто перескакивал с русского на французский язык, так как и Серафима до своего пострига была светской женщиной.

У этой четверки,—головки отряда,—еще не улеглись впечатления от Михайловского дворца и его хозяйки, так очаровавшей их своим вниманием.

Гардинская, у которой так велика была привычка к браслетам, что она, скинув их, немедленно обвила правую руку четками, сочла возможным здесь, в дороге, рассказать о том, о чем считала бы неудобным говорить в Петербурге:

— Когда я дежурила в госпитале, приехала вдруг Елена Павловна и как раз попала на серьезную операцию: ампутацию ноги. Я, признаться, боялась итти в операционную комнату,—шутка ли, скажите, так вот сразу и на такую ужасную картину! Но наша Елена Павловна мне: «Идемте, говорит, идемте вместе: надо же нам когда-нибудь начать привыкать к этому!» Я ей, разумеется, отвечаю: «С вами, ваше высочество, я, конечно, готова итти куда угодно...» И вот началась операция, и она стремится помогать врачам... Но когда стал доктор пилить ногу, точно это сучок какой-нибудь сухой,—ах, это был такой ужас, что я отвернулась к окну и стою... и ничего уж не вижу, только сердце у меня страшно бьется... А Елена Павловна никуда не отходила и даже подавала сама, что надо...

— Она—замечательная женщина! Исключительная!—восторженно поддерживала Гардинскую маленькая Лоде.

— Разумеется, она—замечательная, но вот, когда уж все кончилось, тут... Я уж не знаю даже, говорить ли мне дальше?—нерешительно поглядела Гардинская на Стахович, нервно перебирая четки.

— Ну, что же могло случиться там у вас? Пустяки какие-нибудь,—покровительственно отозвалась Стахович, у которой был густой и добротный, как и фигура, голос.

— Разумеется, отчего же этого и не сказать,—тут же согласилась Гардинская.—Ну, просто, Елене Павловне сделалось дурно... Только не в операционной,—там она храбро держалась,—а уж когда все было кончено, и ногу отняли, и перевязали лигатурой, и забинтовали, и мы с нею вышли в коридор... Вот тут уж силы ее и оставили.

Сухоликая мать Серафима покачала головой, с которой не решилась снять клобук даже и в вагоне:

— Нервы, все нервы! Она ведь, бедняжка, четырех своих дочерей потеряла, а каково это матери? Я тоже двух детей в миру схоронила... от холеры... знаю, что это—тяжкое испытание.

— Это ужасно, это ужасно,—потерять всех своих детей!—всплеснула ручками сорокалетняя девица Лоде, а Стахович разрешила себе сказать:

— Кажется, нервы у нашей патронессы и смолоду были некрепкие... По крайней мере, я слышала от кого-то, но как вполне, вполне достоверное, как родитель ее, герцог Виртембергский, вздумал отучать ее, девочку, бояться мышей...

— Мышей?.. Я уж не девочка, а я их тоже боюсь!—живо созналась Лоде.

— Кто же их и не боится, противных?—сделала гримасу Гардинская.—И что же все-таки он придумал, ее отец?

— Герцог, представьте себе, приказал наловить этих тварей мышеловками десятка два,—продолжала Стахович,—и принести ему в закрытом саквояжике. Наловили, конечно, принесли. «Шарлотта!—зовет ее:—Шарлотта, иди сюда!» Та, конечно, подбегает,—резвый ребенок. «Что, папа?»—«Посмотри-

ка, какой я тебе подарочек приготовил!»—И раскрывает саквояж... А оттуда—мы-ши! Прыг, прыг, прыг на землю!

— А-ах!—вскрикнули и подняли руки, отшатнувшись, сестры, а Стахович закончила, довольная эффектом:

— Конечно, и она тоже, маленькая принцесса Шарлотта, ахнула так же вот и упала в обморок.

— И больше уж родитель не применял к ней такого способа?—полюбопытствовала Гардинская.

— Я ду-ма-ю, что ему за это досталось от герцогини!—решила Стахович.—А патронесса наша ведь и в детстве большая умница была, как рассказывают. С нею даже и ученый этот знаменитый французский—Кювье (они тогда в Париже жили) любил говорить и все ей показывал в своем саду и называл по-латыни. Она ведь и богословие так хорошо знает, что, говорят, самого архиепископа Иннокентия,—вы уж, мать Серафима, не обижайтесь на это,—загоняла по разным этим вопросам. О ней и сам Николай Павлович не иначе говорит, как: «C'est le savant de notre famille...» [1] Он вообще ее очень уважает. Это уж мне подлинно известно, что, если б не ее ходатайство, профессора Пирогова ни за что бы не назначили в Севастополь. Из верных источников знаю... Ведь он с самой высадки союзников в Крыму туда рвался и хлопотать начал, однакож ничего не выходило. А когда к Елене Павловне обратился, наконец, через баронессу Раден, в тот же день государь приказал: «Назначить!» Потому что ее высочество так прямо и заявила государю: «Этот Пирогов—самый нужный для меня человек. Только ему я могу доверить свою общину, а больше решительно никому!» И государь сразу согласился.

— А почему же все-таки Пирогова, такого известного, не хотели послать в Севастополь?—спросила Серафима, и Стахович развела крупными кистями рук:

— Так, знаете, интриги всякие... Ведь он был уже на войне, на Кавказе, и кое-кому не понравился там из начальства. Одним словом, будто бы не в свое дело мешался,—многозначительно улыбнулась она.—Сам же Николай Иванович мне рассказывал, что он даже поразился, когда ее высочество развила перед ним все свои планы. «Это, говорит, положительно гигантские идеи! Ведь она думает, говорит, несколько сот сестер ввести в общину, и чтобы община так и осталась даже и после окончания войны... Ведь это, говорит, полный переворот должно произвести в нашем госпитальном деле, да и во всем русском обществе это должно отозваться. Я, говорит, так был этим взволнован, что, когда с великой княгиней простился уже и к вестибюлю пошел, я, верите ли, совершенно во дворце заблудился. Комнат, конечно, там достаточно, вот я и иду из одной в другую, и, вместо того чтобы на лестницу выйти, представьте себе, опять подошел к аудиенц-зале, смотрю в дверь, а ее высочество ходит по зале одна и до того, повидимому, охвачена вся этой своей мыслью, что щеки ее прямо пылают, весь вид сосредоточенный: думает! Заме-чательная женщина!.. Я, конечно, говорит, постарался ускользнуть благополучно и для нее незаметно, а потом уж попросил кого-то, кто мне встретился, проводить меня в лабиринте этом, вывести из безвыходного положения...»

— Остроумный он человек, этот Пирогов,—заулыбалась Лоде.—Вот уж с ним не соскучишься... Всегда он найдет сказать что-нибудь такое... Сразу видно, что на молоденькой женат.

— Это если он в обществе, а на службе он, говорят, строг как нельзя больше,—возразила Гардинская.—И я, говоря откровенно, очень боюсь быть с ним на операции. Он, говорят, может так прикрикнуть, если неловкость какую сделаешь, что хоть сквозь пол провались!

— А как же и не сделать неловкости, скажите, если мы даже не имеем еще никакой привычки к этому?—вопросительно поглядела на начальницу, как на игуменью, Серафима.

— Ну, не тревожьтесь напрасно,—ободрила ее улыбкой Стахович.—Он достаточно ведь воспитан, чтобы не кричать на дам. А нервы у него у самого почти что дамские. Он мне без всякого стыда рассказывал, что когда он с Кавказа из действующей армии приехал,—это в сорок седьмом году было,—то, конечно, к военному министру должен был с докладом явиться, а военным министром тогда князь Чернышев был. И вот, представьте себе, что что-то такое он, наш Николай Иванович, упустил из вида по части форменной одежды своей. То есть даже так вышло: он ничего и не упустил, а просто не знал, без него введена была какая-то реформа: не то петлицы приказано было поставить другого цвета, не то пуговицы как-то там иначе пришить. Одним словом, пока он был на войне на Кавказе, занимался там своими операциями и вообще,—тут ввели новшество. Он докладывает князю Чернышеву с жаром: и гипсовые повязки для переломов он там изобрел и применял с успехом большим, и анестезию ввел при операциях, ну, и, разумеется, не без того, что допустил кое-какие резкости, когда о полевых лазаретах тамошних говорил, какие там были до него порядки. А Чернышев слушал, молчал, сопел и все на его мундир косился. Простился с ним очень сухо. Но ведь что же можно было из этого вывести? Только одно можно было подумать: важничает. Ведь он и всю свою жизнь так важничал. Даже самому князю Паскевичу в прежнее время, когда он, впрочем, уже Эривань взял, больше как два пальца не подавал. А дело оказалось совсем не в том.

[1] «Это ученый в нашей семье» (франц.).

Как только Пирогов ушел из кабинета, Чернышев приказывает адъютанту своему послать срочно бумагу на имя начальника медицинской академии: «Профессор Пирогов осмелился явиться на прием к военному министру не по форме одетым». И вот, представьте себе, вызывает к себе Пирогова начальник академии, и ну на него кричать! Николай Иванович об этом рассказывал мне прямо с дрожью в голосе. «Как на мальчишку, говорит, на меня орал... И все это из-за каких-то там петличек или пуговиц на мундире. Выскочил, говорит, я от него сам не свой, и со мною, говорит, сделался истерический припадок! В первый раз в жизни, говорит, но зато самый настоящий припадок: с хохотом, с визгом, с рыданьями... вообще, как полагается только прекрасному полу...»

— Вот уж никогда бы я не подумала!—удивилась Серафима.—Такой строгий с виду человек и уже немолодой...

— И в генеральском уж чине,—добавила Гардинская.

— А истерика, как у нас, грешных!

— Он, может быть, пошутил просто?—усомнилась в истине рассказа Лоде.

— Какое там пошутил! Посмотрели бы вы на него, когда он это рассказывал!..

Пирогов, конечно, очень интересовал сестер как их непосредственный начальник, и они отчасти даже гордились тем, что подчиняться будут там, в Крыму, только ему, а не многочисленным военным властям. Притом же Пирогов все-таки был знаменитость в той именно сфере действий, которую избрали они и для себя, а женщины всегда любили и любят быть около знаменитостей.

Но у них четырех, принадлежащих по рождению к одному кругу, нашлись по мере разговора и общие знакомые, воспоминания о которых сблизили их еще больше.

В сумерки, когда кондуктор вставил в фонарь и зажег свечу, они разложили свои постели, пеняя при этом на неудобство вагонов—верхние места, на которые так трудно взобраться и с которых так легко свалиться во сне; потом поужинали домашней снедью и, убедив друг дружку в том, что крушения поезда, бог даст, не будет, улеглись, чтобы спокойно проспать до Москвы, куда прибывали утром.

3

В последнем купе этого вагона было уже несколько теснее: там поместилось шесть сестер: четыре из них—мещанки и две—дочери коллежских регистраторов, то есть тех канцелярских писцов, которым за долгую и усердную службу дали первый чин, чтобы в нем и оставались они до самой смерти.

Здесь мало говорили о великой княгине, потому что очень мало о ней знали, и совсем не говорили о Пирогове, которого не все и видели, а кто и видел, то мельком. Здесь бережно дотрагивались до серой, тонкого сукна занавески на окне, отороченной шелковой бахромой, и с почтительностью относились как к мягким диванам, на которых сидели, так и к усатому с пестрыми жгутами на плечах шинели обер-кондуктору, явившемуся к ним проверять билеты.

Не все из этих шести были даже и грамотны как следует. На вопрос во дворце при приеме, чем они занимаются, они отвечали скромно: «По домашности». О них наводили справки через полицию, и хотя по этим справкам поведение их оказалось вполне благонравным, все-таки включили их в число сестер только потому, что по новости дела не оказалось в такое короткое время достаточно кандидаток из дворянок.

И если остальные сестры отряда отказались от содержания, так как были из обеспеченных семей, то этим шестерым отказываться было нельзя: их родные ничего не могли бы прислать им в Крым. Зато свое новое положение они иначе не называли, как «службой», а службой в те времена именовалась исключительно только военная (всякая другая была «должность»).

Так вот, сразу привыкнуть к этому слишком новому своему положению они не могли, конечно, хотя на это и шли. Они жили себе неторопливо и укладисто. Они даже и такой совсем ничтожный шаг в своей жизни, как покупка ситца на платье, приучены были нуждою обдумывать очень долго и основательно и взвешивать со всех сторон; раз пять уходить из лавки и потом возвращаться с боязнью в сердце, что облюбованный ситчик может взять кто-нибудь другой, если его малый кусок, или оптовый покупатель, если его целая штука... Нужно было и на солнце его распялить, посмотреть, не редок ли, и простирнуть дома образчик его,—не линюч ли...

А тут вдруг взяли с них клятву, точно подвенечную, в церкви, перед аналоем надели золотые дорогие кресты на добротных муаровых голубых лентах, и кончено: везут уже, не давши опомниться, если и не совсем, как солдат, потому что в господском вагоне, но пускай даже хотя бы и как офицеров, все-таки везут ведь не куда-нибудь, а как раз туда, где теперь немилосердно воюют.

Поэтому одна у другой втайне искали они поддержки, вежливо называя друг дружку по имени и отчеству.

— Матрена Кондратьевна,—одолжите на минуточку ваш ножичек мне складной, булки отрезать!

— Нате, Марья Михеевна, только же он тупой у меня, дальше некуда: хотела точильщику отнесть, да в горячке такой разве поспеешь!

— Настасья Семеновна, что это вы с собой никак мущинские сапоги везете?.. Неужто выдавали такие, а я не знала?

— Да нет, Лизавета Ивановна, это у меня от брата покойного остались, все не продавала... А теперь надоумили люди—возьми да возьми в Крым: приезжие оттудова рассказывали, будто там без сапог и ходить нельзя, вроде как место такое топкое!

— Вон что люди-то говорят! А что же у начальства-то догадочки на это не было, чтобы нам сапоги-то выдать, раз место там топкое?

Фамилия Матрены Кондратьевны была—Аленева, Настасьи Семеновны—Савельева, а Марьи Михеевны—Лашкова.

Аленева была ростом крупнее других, но угловатее, со скуластым и курносым, несколько чухонским лицом и грубым голосом. Савельева была проворнее и бойчее других, но по-петербургски хрупка, худощава, мало надежна для той тяжелой работы, на которую ехала. Лашкова была миловиднее других и приветливее на вид, но у нее был природный недостаток: она заикалась, хотя и не сильно, и, чтобы скрыть это, излишне растягивала слова.

А Лизавета Ивановна Гаврюшина при ходьбе заметно припадала на левую ногу, так что ребятишки на той улице, где она жила, иногда кричали ей вслед:

— Два с полтиной! Два с полтиной! Два с полтиной!

Однако это была пышащая здоровьем, белолицая, сильная на вид женщина, явно хозяйственного и притом несокрушимого склада. И если она вдруг, увидев сапоги Настасьи Семеновны, вознегодовала на начальство, то совсем не из жадности к даровщине, а потому, что начальство это показалось ей неосновательным, легкомысленным в таком важнейшем вопросе, как обувь. Попробуй-ка, походи по болоту в башмаках! И какая же это будет работа?

Однако вопрос о сапогах завладел вниманием и обеих дочерей коллежских регистраторов. Одна из них—Балашова—была чернявая и сухопарая, с морщинками около глаз; другая—Дружинина—золотобровая, но очень смиренная на вид, затурканная тяжелой жизнью у своего родителя, вечно нетрезвого и попрекавшего куском хлеба.

— Разве же и в самом деле мы там будем по топким местам ходить?—усомнилась, глядя на Савельеву, Балашова.—Откуда же топкие места могут там взяться, когда мы же ведь при госпиталях состоять будем?.. А в госпиталях чистота должна соблюдаться, и половики чтоб везде на полах были белые...

— С грязными башмаками разве могут кого в госпиталь пустить?—кротко отозвалась ей Дружинина.

Остальные переглянулись, потому что действительно выходило мало понятно,—зачем сестрам нужны сапоги.

Но Савельева, сосредоточенно подумав, обратилась к Балашовой:

— Как же это вы рассчитываете, Дарья Степановна, на войне будучи да чтобы в чистоте пробыть? А ежели гошпиталь будет где в деревне, по избам раскинутый? Мне говорили люди, что и так на войне быть тоже может... Вот и таскайся из избы в избу по несусветной грязи. В деревнях ведь тротуаров не бывает, вам известно.

Однако Балашова тут же вспомнила, что на ней, как и на всех других, чистенький, беленький передничек, накрахмаленные тугие обшлага, белый чепчик, и она ответила Савельевой упрямо:

— Нет, это уж вы мне не говорите, Настасья Семеновна, чтобы нас куда-то там в деревню готовили отвезть! В деревню не стали бы нас так и наряжать, а как-нибудь попростее... Да с нами еще ведь вон сколько настоящих барынь едет, так что же, их тоже в деревню?

Очень трудно было им шестерым, никогда не читавшим ни газет, ни книг, представить, что такое их ожидало в Крыму; но жизнь в деревне все-таки пугала их, даже, пожалуй, больше, чем жизнь в осажденном Севастополе. Все они были прирожденно городские, да и не просто городские,—столичные.

Не брезгая никакой работой, если она навертывалась, Балашова нанималась сиделкой к трудно больным, и иногда они умирали у нее на руках, так что видеть смерть около себя не было для нее новым делом. Она уже приготовилась и к тому, чтобы в Севастополе видеть эту смерть гораздо чаще, может быть, даже и не один раз на дню; но все-таки смерть, а не грязь, по которой надобно лазить в каких-то охотничьих сапогах.

О грязи и другие сестры, кроме Савельевой, думали, как о чем-то там, в Севастополе, мало вероятном, поэтому скоро о ней забыли, перешли к тому, что их ожидало наверное: к тому, как им удастся угодить раненым, если их будет очень много и за каждым понадобится свой уход.

— Больных даже если взять, и те привередны бывают и капризы показывают через свою болезнь: то им не так, это не по-ихнему,—рассудительно говорила Балашова, имевшая опыт в этом деле.— Чаю им подашь стакан—три ложечки полных песку сахарного в него положишь, и то ведь им несладко кажется! А к раненому как подступишься? Шутка ли сказать, рана большая! Ведь от нее боль ежеминутно его точит, отдыху не дает.

— Да ведь и не только боль,—жуть всякого возьмет, когда возле тебя один мучается, а с другого бока другой; тот себе стонет, этот себе, а какие и вовсе в бреду кричат,—сказала Аленева; а Гаврюшина добавила:

— Что мы в гошпитале видели? Там если и раненые лежат, так они уж привыкшие к своим ранам, а ну как его свежего принесут на носилках!

То он ходил, как и все, а то ему ногу прочь должны отнять... Ведь это же страх для него какой должен быть. Ведь с ним тогда как с маленьким обращаться надо, до того он ослабеет, бедный!

— Да уж наше дело будет только смотреться так—небольшое, а уж легким его, пожалуй, не назовешь,—протянула, запинаясь на «т» и «п», Лашкова, но Дружинина попыталась уяснить, насколько дело их будет трудным:

— Говорили же ведь так, что мы дежурить будем: отдежурит одна, другая сестра заступит. А как же иначе? Иначе ведь там в неделю с ног собьешься: тому подай, у того прими... Еще неизвестно, какое для нас, сестер, помещение отведут: надо, чтобы отдых был какой следует, а то и без пули свалишься и не встанешь...

Так общими усилиями воображения пытались они уяснить себе свое близкое будущее, так как люди они были хотя и привычные к работе, однако желающие, чтобы была им она под силу.

Когда поезд останавливался на станциях, они кидались наперебой к окошку или выходили в коридор из купе, чтобы непременно узнать, что это за станция, долго ли будет стоять поезд на ней, что за люди живут тут, и как они одеты, и что они продают пассажирам и почем, насколько дешевле, чем можно бы достать в Петербурге.

Что касалось этого последнего, то тут занимала их каждая мелочь, так как они знали цену не крупным, а именно мелким деньгам, доставшимся им туго и дорого; и они оживленно передавали одна другой, почем тут жареная курица или утка, или поросенок, или бутылка молока, или десяток яиц, и на каждой станции которая-нибудь из них непременно соблазнялась дешевизной и покупала то или иное, благо они получили на руки подъемные деньги.

Так они копили запасы еды, пока совершенно не стемнело. На нижних местах улеглись они спать по-двое в разные стороны головами и не чувствовали от этого ни малейшего неудобства.

4

В Москву сестры прибыли утром, но едва успели издали поглядеть на золотую маковку Ивана Великого, как их усадили в заранее приготовленные тарантасы, запряженные тройками,—каждый тарантас на четверых.

Такая поспешность с отправкой из Москвы очень изумила и Стахович, и Гардинскую, и Лоде, и многих других сестер, которые думали пробыть в Москве хотя бы одни сутки, побывать у своих родственников и хороших знакомых; но чиновник Филиппов, их сопровождавший, обычно копотливый и нудный человек, был теперь решителен.

Он говорил им:

— Да вы знаете ли, что в такое время значит достать лошадей без задержки да еще на сорок с лишком человек? При такой гонке по всему тракту от Москвы до Севастополя—и вот вас ждут готовые тройки! Ведь это только благодаря заботам московского генерал-губернатора, который, конечно, желал сделать приятное ее высочеству... Это надо ценить, mesdames, а вы вдруг недовольны! Нельзя так, mesdames!

Появился и московский обер-полицеймейстер, извинившийся галантно, что несколько запоздал к приходу поезда. Он говорил приблизительно то же, что и Филиппов, не один раз употребив при этом жесткое слово «маршрут». Даже просьба головки сестер отложить отъезд хотя бы на три часа, чтобы успеть отслужить молебен у Иверской и потом получить благословение митрополита Филарета, не имела успеха. Напротив, обер-полицеймейстер просил их поспешить садиться, не задерживать лошадей, так как и лошади и тарантасы нужны для царских фельдъегерей и курьеров и для разных начальствующих лиц, направляющихся на юг.

Пришлось подчиниться и проститься с Москвой.

В тарантасы расселись так же точно, как сидели в купе вагона,—купе вагонов вообще ведь очень сближают людей,—и началась лихая скачка по разбитому ухабистому шоссе, которое протянуто было от Москвы до Курска.

Иеромонах Вениамин ехал в одном тарантасе с флегматичным чиновником Филипповым и двумя молодыми врачами. Одесский грек по происхождению, он не всегда правильно говорил по-русски, зато был необыкновенно словоохотлив. По его словам, он бывал и в Греции, и в Италии, и в Палестине и рассказывал многое об этих краях, а также и об иерусалимском и вифлеемском храмах, из-за которых будто бы и загорелся сыр-бор войны. Но вслед за этим не забывал он и сам расспрашивать спутников о том, как они находят положение и в Севастополе, и вообще в Крыму, и на юге России, и на Кавказе, и в Польше, и в Финляндии.

Но больше всего, как оказалось, занимало его общественное, а также и имущественное положение сестер, вверенных его духовному попечению и назиданию. И эти расспросы о сестрах он производил с такою чисто южною жестикуляцией и выразительной мимикой на смуглом, не старом еще лице, что, оставшись вдвоем на станции, когда меняли лошадей, разминаясь и блаженно зевая, говорили между собой врачи:

— Какой же, однако, пронырливый человечишко этот монах!—брезгливо морщился один.

— Он отвратителен!—с чувством соглашался другой.—До того прожужжал мне уши, что хоть ватой закладывай! И мне сдается, что он затевает быть в дальнейшем не только духовным отцом

кое-кого из сестер побогаче! Имел же бешеный успех архимандрит Фотий у графини Орловой...

Как ни было разбито московско-курское шоссе, как ни ныряли на нем тарантасы в глубокие ухабы, поминутно грозя вывалить вон сестер, но за Курском пошла уже такая бездонная черноземная осенняя хлябь, что оставленный путь показался сестрам недооцененным райским блаженством.

В Белгороде была уже вынужденная дневка, так как не нашлось нужного количества лошадей. Этим воспользовался Вениамин, чтобы повести сестер поклониться мощам местного «святого» Иоасафа, а затем сделать паломничество в девичий монастырь, где и был отслужен молебен на предмет будущего благополучия в дороге.

В Харькове генерал-губернатор Кокошкин угостил сестер обедом и вообще был с ними очень любезен и приветлив, хотя и часто качал, глядя на них, весьма сожалеюще седой сановитой головой.

Сестрам же очень нравилось приводить своим обреченным видом в полное смущение старых николаевских служак, которые до того были ошеломлены этим неслыханным новшеством, что положительно не знали, как к нему отнестись.

Но на обеде были и дамы харьковского бомонда, которые наперебой расспрашивали сестер об общине и о том, что предназначено им делать там, в Севастополе, куда они едут столь самоотверженно и героически красиво.

И сестры видели, что, может быть, не одна из этих дам, прикованных глазами к их белым передникам и чепчикам и к золотым крестам на голубых лентах, последует в ближайшем будущем их примеру.

В Харькове же значительно увеличился багаж первого отряда сестер за счет тех бинтов и компрессов, которые были трудолюбиво собраны, и той корпии, которую прилежно нащипали здесь для отправки в Крым; и торжественно прибавлены были к обозу новые телеги.

День отправки из Харькова выдался очень теплый и ясный, и несколько верст провожали сестер их новые знакомые в своих экипажах.

В Екатеринослав, на который шел в те времена почтовый тракт в Крым, приехали довольно быстро и удобно благодаря заботам Кокошкина в полдень 12 ноября. Но дальше, за Днепром, шла уже глубь Новороссии, затопленной бесконечными осенними дождями, растворившими чернозем в такую клейкую засасывающую грязь, что тройка лошадей не в состоянии уже была вытянуть из нее тяжелого тарантаса, да и лошадей было мало. Пришлось впрягать по три пары волов, и, в первый раз вверяя свою судьбу этим неторопливым животным, сестры говорили одна другой:

— А как же Пирогов тут ехал? Неужели тоже на волах, боже ты мой!.. И где-то он сейчас, наш Николай Иваныч?

ГЛАВА ВТОРАЯ
«СУДЬБА СЕВАСТОПОЛЯ»

1

А Николай Иванович Пирогов как раз в это самое время сидел в ставке главнокомандующего сухопутными и морскими силами Крыма, князя Меншикова.

Помня то, как распек его другой князь, Пирогов, одеваясь для представления Меншикову, был очень внимателен ко всякой мелочи. Действительный статский советник и кавалер, академик, автор многих ученых трудов, он, как только что произведенный в прапорщики, справлялся у своих подчиненных врачей, на месте ли у него то или другое, и правильно ли навесил он свои многочисленные ордена.

И только когда никто уже не мог сделать ему никаких указаний, облегченно окутался плащом «от возможных атмосферных осадков»: погода показалась ему достаточно теплой для того, чтобы напяливать зимнюю шинель, итти же было не так и далеко от форта № 4, где его поместили по приезде на Сухую балку.

Огромные казематы форта оказались очень вместительными, и в них были переведены оба госпиталя, и сухопутный и морской, и в них же были отведены квартиры многим врачам: снаряды интервентов пока сюда не долетали, здесь было вполне безопасно.

Человек лет под пятьдесят, сангвинического темперамента, резких, живых движений, плотно сбитый, однакоже пока не страдающий еще полнотою, с обширным лбом и начисто лысым теменем, с ноздреватым носом и глубоко запавшими, привыкшими глядеть исподлобья, острыми серыми глазами, скуластый и широкоротый, безусый, так как усов лекарям не полагалось, но с форменными небольшими баками рыжеватого цвета,—Пирогов проходил по Северной стороне, искренне любуясь Севастополем.

День был облачный, и облака медленно плыли, сизые, вязкие, очень влажные на вид, но солнце сияло ярко, и в его теплоте, хотя уже и ноябрьской, белоснежный город с красными черепичными крышами казался отсюда нисколько не пострадавшим от ужасной в октябре бомбардировки, о которой Пирогову приходилось читать и много слышать.

В этот час как раз было затишье как на русских бастионах, так и на батареях противника, и ничто не мешало ему цепко, как туристу, приглядываться через широкий Большой рейд к этим красиво расположенным массам домов, поднимающихся амфитеатром над Южной бухтой.

На рейде и в бухте было еще достаточно русских судов внушительного вида, и хотя он уже

узнал, что полукруг судов вдали, в море, был сторожевым отрядом флота союзников, но это ничуть его не беспокоило,—до того был приятно удивлен он тем, что Севастополь совсем не обращен в груды развалин. Напротив, на его оценивающий взгляд, взгляд врача-хирурга, этот прекрасно сложенный организм обладал способностью успешно бороться с ранами и жить долго.

И так безошибочен показался ему самому этот прогноз, и так захотелось ему кому-нибудь тут же передать свое впечатление, что к первому встречному казаку-донцу с казенной сумкой через плечо, легко шагающему через лужи, обратился он с вопросом:

— Ну-ка, как ты думаешь, молодчага, возьмет «он» Севастополь?

Несколько озадаченный казак, став во фронт и козыряя растопыренной пятерней, ответил тем не менее весьма бойко:

— Нипочем ему не взять, ваша честь!

— Молодец, что так думаешь!

— Рад стараться, ваше... ство!—гаркнул казак, разглядев за отворотом плаща крест на шее и уголок звезды этого явно нового здесь какого-то большого начальника лекарей.

А Пирогов хотел было спросить казака, где именно помещается на этой Сухой балке, которая очень мокра, главнокомандующий, но тут же разглядел группу офицеров конных и пеших возле одного совсем невзрачного матросского домишки и понял, что спрашивать незачем: там на шесте висел и флаг, а под ним стоял часовой.

Когда после необходимого адъютантского доклада светлейшему Пирогов получил приглашение войти и, освободясь от своего плаща на маленьком крылечке, появился в совсем небольшой, низенькой и темноватенькой, но очень жарко натопленной комнатке, ему навстречу поднялся сидевший на кровати седой старик в желтом архалуке, довольно засаленном на вид, а за столом у окошка, полуутонув в мягком кресле, сидел кто-то с пером в руке за бумагами и, только чуть взглянув на открывшуюся дверь, уткнулся снова в свои бумаги.

Не сразу узнал Пирогов в этом высоком и тощем, достигавшем макушкой до бревенчатого потолка усталом старике самого Меншикова, которого он видел несколько лет назад.

Тогда светлейший в петербургском манеже на неудачно взятом барьере упал с лошади и надломил ребро, почему и был вызван к нему известный хирург Пирогов на консультацию; был он всего один раз, определил, что никакими опасностями эта авария организму князя не угрожает, что надломленное ребро срастется без особой помощи медицины при известном режиме,—и больше уж его не беспокоили.

Но этот незначительный эпизод, видимо, весьма облегчил Меншикову начало беседы с Пироговым, так как он припомнил его с первых же слов. При этом он изгибался весьма любезно и не менее любезно, но как-то неестественно хихикал.

Потом, обернувшись к столу, он сказал начальственно:

— А ну-ка, братец, уйди-ка отсюда!

И сидевший в кресле, оказавшийся простым писарем, мгновенно вскочил и поспешно вышел, а Меншиков любезно предложил гостю весьма нагретое кресло, сам же, с трудом согнувшись, опустился на свою койку походного образца, прикрытую походным ковром.

2

В четырнадцать лет студент-медик, в девятнадцать—лекарь, в двадцать три—доктор медицины, а в двадцать шесть—профессор Дерптского университета по кафедре хирургии, Пирогов был одним из замечательнейших людей России и величайшим из русских врачей, далеко вперед двинувшим медицину.

И если в те времена это еще не осознавалось всеми, кто имел возможность судить о науке и о людях науки, то угадывалось многими, кому случалось работать вместе с Пироговым. Отчасти это понимал и Меншиков, который имел заграничный диплом ветеринара и прочитал достаточно медицинских книг.

Пирогов же и в Петербурге и по дороге в Крым от встречных офицеров наслушался о главнокомандующем разного.

Одни рисовали его совершенно бездеятельным и не способным командовать армией и выиграть хотя бы одно сражение; кроме того, по их же словам, он был очень не любим ни солдатами, ни матросами, ни армейскими и флотскими офицерами, потому что о войсках он нисколько не заботится, на бастионах никогда не бывает, и вообще «чорт его знает, о чем он думает и чем он занят».

— Но ведь все-таки, несмотря на все это, судьба Севастополя в его же руках?—допытывался недоуменно у таких Пирогов.

— В том-то и дело,—отвечали ему,—что судьба Севастополя попала в совсем неумелые и нерадивые руки! И чем скорее турнут из Севастополя этого держателя его судьбы, тем будет лучше.

— Турнуть, вы говорите?—удивлялся Пирогов.—Вон уж до чего дело доходит! И кем же, как вы думаете, можно его заменить?

— Да, вот, конечно, кем заменить, это вопрос нелегкий,—отвечали Пирогову.—Но кем бы ни заменить, а заменить надо,—иначе Севастополь погибнет!

Другие же, наоборот, отзывались о Меншикове,

как о великом стратеге, который обдумывает в тишине и тайне план полного сокрушения союзников.

— Так что, вы думаете, что судьба Севастополя вверена именно тому самому, кому надо?—без всякой иронии спрашивал этих Пирогов.

— Всенепременно!—решительно отвечали ему.

— Короче, судьба Севастополя это и есть сам Меншиков?—пытался уточнить Пирогов.

— Если хотите, это буквально так и есть,—быстро соглашались с ним.

И вот теперь Пирогов с пристальным, свойственным ему как врачу вниманием смотрел несколько исподлобья на эту «судьбу Севастополя», сидевшую в желтом замасленном спереди халате на дрянненькой узенькой койке не более как в двух шагах от него и взирающую на него не менее наблюдательными глазами.

— Так вы ко мне сюда от ее высочества... непосредственно?—тихо, но как-то скрипуче спросил после длительной паузы Меншиков.

— Именно, ваша светлость, от ее высочества получил я тоже определенные предписания и суммы для поддержания раненых, но командирован по высочайшему повелению в ваше личное распоряжение,—постарался сказать точным канцелярским языком Пирогов,—и вот мои сопроводительные бумаги.

Тут он вынул из бокового кармана пакет с бумагами и, приподнявшись, протянул Меншикову.

Светлейший неторопливо вытащил из футляра очки в золотой оправе и погрузился в чтение бумаг, а Пирогова благодаря его впечатлительности почему-то сразу ударило в пот от тихонького со скрипом голоса главнокомандующего, которому был он с этой минуты подчинен, и от всего его вида.

«Что же это такое? Прострация?»—испуганно думал он, пока Меншиков перебирал и просматривал его бумаги.

Но вот светлейший отложил их в сторону и снял очки.

— Нам хорошие лекаря нужны, очень нужны-с,—заговорил он.—Большой у нас недокомплект лекарей... Да и какие имеются, плохи-с, хи-хи-хи...

Это хихиканье показалось таким неуместным Пирогову, что он покосился на топившуюся печку, в которой трещали сырые дрова, и сказал:

— Очень у вас жарко, ваша светлость!

— Жарко, вы находите?—поднял седые пучки бровей Меншиков.—Хи-хи-хи... Это потому, что вы еще молодой человек-с!.. Вот доживете до моих лет, и вы будете греться у печки—годы-с!—Он покачал головой и добавил не в тон:—Как изволили доехать?

— О-о!—оживился мгновенно Пирогов.—Это была не поездка, а буквально путешествие, ваша светлость! Путешествовал по океану грязи!

— По стихии-с, открытой именно у нас в Польше Наполеоном,—слегка улыбнулся Меншиков.—C'est lui qui a trouvé un cinquième élément en Pologne—la boue [1].

— Я пришел, ваша светлость, к печальной мысли, что наши дороги от Курска и дальше на юг, а особенно в Крыму, являются просто препятствием на пути к месту назначения!—с чувством сказал Пирогов.

— Да-с, наши дороги осенью—они непроезжи, хи-хи-хи... За это мы должны поднести благодарственный адрес Клейнмихелю... Это он—министр путей сообщения—оставил нас без дорог.

— Конечно, с медицинской точки зрения в наших дорогах можно усмотреть нечто положительное: они несомненно полезны для пищеварения, особенно для страдающих атонией кишечника. Езда по ним—это превосходная гимнастика для всех брюшных внутренностей... А в Константинограде нам пришлось самим выводить лошадей из конюшни и запрягать, и мы уехали оттуда, даже не заплатив прогонов... Причина тому—полное отсутствие людей на станции... Мелькнул было, правда, в почтенном отдалении некто с перевязанной щекой, но тут же испуганно исчез... Проезжающие бьют их, конечно, смертным боем, но, повидимому, иначе нельзя: не изобьешь хозяина станции,—не поедешь!

— Хи-хи-хи,—скрипуче отозвался Меншиков, и чтобы заглушить в себе почти испуг какой-то от этого светлейшего хихиканья, Пирогов продолжал с одушевлением:

— Но что делается на дорогах в Крыму, положительно неописуемо! От Бахчисарая до Севастополя пришлось тащиться ровно двое суток!.. Кстати, в Бахчисарае я встретил полковника Шеншина, командированного вами, ваша светлость...

— А-а!—несколько оживился Меншиков.—Так вы его встретили?

— Да, и мы вместе с ним осматривали госпиталь в Бахчисарае.

— И что же? Как вы нашли его?

Пирогов несколько помедлил с ответом. Он старался найти такой строй выражений, который был бы не слишком резок, и начал как бы описательно:

— Два казарменных домика,—домами их назвать нельзя, ваша светлость,—но в них помещаются триста шестьдесят раненых и больных... Нары... промежутков между лежащими никаких нет: плотная стена... Грязь... Вонь, хоть топор вешай! Порядка совершенно никакого: рядом с такими, у которых раны чистые, лежат гангренозные... Температура до двадцати градусов, но окна везде закрыты, воздух снаружи в этот ад не способен

[1] Это он нашел пятую стихию в Польше—грязь (франц.).

проникнуть... Шеншин все время держал платок около носа...

— Да-с, да-с... Но ведь двадцать четвертого числа было еще хуже... Столько было раненых, что мы не знали даже, куда их девать и что с ними вообще делать...

«Как так не знали?!—хотелось почти крикнуть Пирогову.—За кого же принимаете вы солдат, что вы их бросаете, как собак, чуть только они ранены? И как же могут они биться при таких условиях, если убеждены, что вы их не считаете за людей?»

Но он сказал не то, что думал.

— Вот приезжают в самом скором времени сюда еще четверо врачей, командированных великой княгиней, и с ними человек тридцать сестер милосердия...

При упоминании о сестрах милосердия гримаса исказила лицо Меншикова, и он двумя пальцами почесал левое надбровье.

— А будет ли толк от них, от этих сестер?—сказал он с усилием.—Как бы не сделать после еще третьего, сифилитического, отделения в госпитале?

— Не знаю, ваша светлость,—сдерживаясь изо всех сил, постарался спокойнее ответить Пирогов.—Мысль учреждения, очевидно, хороша, и там, в Петербурге, сестры уже были на практике в госпитале... Остается посмотреть, как удастся применить их труд здесь, в Крыму...

— Да, правда, есть и у нас тут какая-то Дарья... Говорят, что даже перевязывала раненых на Алме... Вообще, помогала... За что получила и медаль даже...—Он скептически махнул рукой и добавил:—А что, вы уже приютились?

— Мне, ваша светлость, отвели здесь, на Северной стороне, на батарее, квартиру куда лучше вашей,—не без умысла с презрением оглянул обиталище главнокомандующего Пирогов.

— Хи-хи-хи...—отозвался Меншиков.—Да вот, как видите,—в лачужке живу...

И он поправил сбившийся набок кожаный валик дивана, служивший ему подушкой, вытащил из-под него кучу каких-то писем и взял очки.

Пирогов понял, что надобно уходить, и поднялся.

— Как ваше здоровье, ваша светлость?—спросил он больше из вежливости, чем из участия к нему лично.

— Да что вам сказать? К моим обычным недугам, кажется, желает прибавиться еще один—наполеоновский,—улыбаясь непроницаемо и подхихикнув, ответил Меншиков.

— Насморк, что ли?

— Нет... Задержка мочи... Один раз уже было... Если повторится, то, говорят, придется употреблять катетеры Дворжака.

— А-а!.. Но ведь при вас есть постоянный врач, ваша светлость?

— Да, как же... лекарь Таубе-с...

— Таубе? Что-то знакомая фамилия... Впрочем, Таубе—ходовая фамилия,—может быть, и не тот, которого я знавал когда-то... Честь имею кланяться, ваша светлость!

— Прощайте-с... Мы близко здесь живем друг возле друга, хи-хи-хи...

Сутулый старик в халате поднялся, едва не стукнувшись теменем о балки потолка, и сунул Пирогову холодную даже в такой бане руку.

«Так вот она какова, судьба Севастополя!—ошеломленно думал Пирогов, отходя от лачужки.—Фатум, рок, провидение Севастополя... Хо-ро-ош! Эти ужимки, этот слабый голос, это нервное хихиканье, этот тик, эта задержка мочи (болезнь Наполеона!), эта рука мертвеца, эта скверная шутка по поводу сестер милосердия,—что такое все это? Marasmus senilis?..[1] И так безучастно отнестись к описанию бахчисарайского госпиталя!.. Разве это такая мелочь, что не стоит малейшего внимания?..»

Уже смеркалось, когда Пирогов шел к себе на батарею № 4. Началась перестрелка, хотя и редкая. Каждый выстрел огромных орудий сильно сотрясал воздух и долго в нем держался, расходясь кругами.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ДОМА СКОРБИ

1

На другой день утром Пирогов, одевшись как можно проще и натянув сверху солдатскую шинель, раздобытую для него одним из живших тут лекарей, отправился для осмотра сводного госпиталя на Северной стороне.

Его сопровождали приехавшие с ним врачи: Сохраничев—из донских казаков, и Обермиллер—из остзейских немцев; кроме того, при нем был и давний его соработник—лекарский помощник Калашников, человек прекрасного здоровья, завидного аппетита, больших хозяйственных способностей, простого, но меткого остроумия, огромной трудоспособности и полного как будто отсутствия обоняния, что делало его незаменимым при перевязке нечистых ран.

Врачи госпиталя, почему-то весьма немногочисленные, хотя и был час обычных утренних визитаций, принимали знаменитого хирурга, точно нового своего начальника, с большим почтением, и Пирогову хотелось было в первый день знакомства со своими собратьями по профессии воздержаться в обращении к ним от каких-либо резкостей, однако он очень скоро вышел из равно-

[1] Старческая расслабленность (лат.).

весия. Оказалось, что тут он увидел то же самое, что видел в Бахчисарае, только в гораздо более крупных размерах, так как раненых было свыше двух тысяч человек. Так же лежали многие из них вповалку на нарах или просто на полу, не имея никакой другой подстилки, кроме собственных штанов.

— Это что такое, а?.. Что это такое, хотел бы я знать?—возмущался Пирогов.

Ему объясняли, что нехватает коек, что не могут никак получить соломы для подстилок и для тюфяков; что мокрую от крови солому тюфяков приходится только слегка просушивать, но снова набивать ею те же тюфяки.

— Надо отправлять как можно больше раненых в тыловые лазареты, если здесь их не могут содержать по-человечески!—возражал Пирогов.

Но ему говорили, что отправляют по мере возможности, однако все время поступают новые раненые, а также больные.

— Я знаю, как отправляют отсюда раненых!—перебивал Пирогов.—Я видел лазаретные фуры с ними на всем пути между Севастополем и Перекопом... Ведь эти фуры просто орудия пытки! Соломы в них не было, раненые ничем не покрыты! У иных только шинель надета на рубашку, и ничего больше!.. А всю дорогу лил дождь, был холод! По всей дороге стоит стон: это везут раненых! Разве можно так отправлять живых людей? Конечно, половина из них не доедет до места назначения, а кто будет виноват в этой напрасной их смерти? Врачи... не госпитальное начальство, нет,—прошу мне не говорить этого,—а вы, врачи! Вы не смели позволять такой отправки раненых!

Врачи отвечали, конечно, что они надеются теперь, с его приездом, на новый порядок дела, что ему несомненно удастся вырвать у начальства то, что не могли вырвать они. Однако и набор хирургических инструментов в госпитале оказался на оценку Пирогова тоже очень беден, иные ланцеты были непозволительно тупы, иные даже сломаны.

И морской и сухопутный госпитали разместились рядом в провиантских магазинах Михайловского форта на Северной стороне и в бараках около них. Жирная известково-глинистая грязь, из которой трудно было вытащить ноги, разлеглась между бараками. Соломенные маты для вытирания ног хотя и переменялись по утрам, но к обеду были сплошь заштукатурены грязью и потом уже бесполезны.

В бараках было не только грязно, но и свету мало проникало в них сквозь узкие и низкие окошки.

— А как продовольствие раненых?—спросил Пирогов у дежурного врача.

— Давно уже начали писать бумаги об улучшении довольствия,—ответил тот.

— Иногда вам все-таки отвечают?—полюбопытствовал Пирогов.

— Были и такие случаи... Обещали улучшить.

— Ждете?

— Ждем... И снова пишем... Ведь бумаги наши должны пройти через несколько ведомств,—это не делается сразу, вам это, конечно, известно.

— А пока раненые и больные пробавляются этим бумажным кормом?—воззрился исподлобья Пирогов.

— Что делать?.. У нас много больных крымской лихорадкой. Для них хинин необходим, как воздух, а его нет...

— Но об этом вы тоже пишете?

— Пишем! И не только мы одни. Мы извещены, что херсонский губернатор писал харьковскому генерал-губернатору, чтобы тот прислал для херсонского госпиталя хотя бы один фунт хинину, а он ответил, что не имеет и одной унции.

— Одесса должна иметь хинин,—сказал Пирогов,—ведь она, говорят, не прекращает торговли с заграницей. В Одессу нужно было обращаться, к одесским грекам, а не к харьковскому губернатору!

— Есть даже такой нелепый слух, будто и не в Одессе, а гораздо ближе к нам—в Керчи на складе имеется чуть ли не пять пудов хинину!

— Этот слух немедленно должен быть проверен!—оживленно воскликнул Пирогов.—Это преступление—держать на складе столько необходимейшего препарата и не давать его в лазареты! За это мерзавцев надо судить по законам военного времени!

Но врач, говоривший с Пироговым,—это был еще молодой человек, завербованный из вольнопрактикующих,—только развел руками и добавил, понизив голос:

— Говорят, что по всей Новороссии приказано начальством ловить пиявок и отправлять в Крым для нужд больных и раненых... Однако мы что-то их не видим, этих пиявок. Был у нас случай: одному офицеру прописаны были пиявки к сильно контуженной ноге. Мы—к госпитальному начальству: «Есть пиявки?» Отвечают: «Были, да передохли». Так и передали тому офицеру. «А в вольной продаже, говорит, нельзя ли достать?» Командировали фельдшера купить ему пиявок, если найдет. И что же? Найти-то нашел, только по империалу за штуку у одного будто бы армянина. Так и пришлось ему заплатить пятнадцать золотых монет за полтора десятка пиявок!

— Но ведь это же явная шайка мерзавцев!—не выдержав, крикнул Пирогов.

Врач втянул голову в плечи и повел ею вправо и влево, а убедившись, что госпитального начальства поблизости нет, добавил:

— Вопрос о хинине в Керчи требует расследования на месте, а с пиявками это уж нам самим пришлось иметь дело.

2

В это время, переправившись через рейд на баркасе, два солдата одного из пехотных полков принесли своего земляка со свежей тяжелой раной: осколком бомбы размозжило ему ногу ниже колена.

Раненый был крепкий на вид малый из молодых рекрутов. Пирогов осмотрел его сам и спросил:

— Как зовут?

— Рядовой Арефий Алексеев,—бодро ответил раненый.

— Вот что, друг Арефий, придется ведь тебе эту ногу отрезать, она уж отслужила свое.

— Воля ваша, резать если, так, значит, режьте,— спокойно сказал Арефий, и его понесли в операционную на черных от крови носилках те же самые двое, которые доставили его сюда из города.

Пирогов делал ему ампутацию сам; Арефий же под хлороформенной повязкой лежал неподвижно, а когда очнулся, наконец, ему уже забинтовывали остаток ноги.

— Что, уж как следует я безногий теперича?— спросил одного из своих земляков Арефий.

— В лучшем виде,—ответил земляк, поглядывая на Пирогова, а Пирогов тоже отозвался весело:

— Теперь, брат Арефий, дело твое в шляпе... Ничего, и без ноги до ста лет доживешь.

— А шинель моя игде?—принял деловитый вид раненый, обратясь к одному из земляков.—Достань, Рыскунов, там в кармане узелок есть махонький...

Рыскунов проворно засунул руку в карман его шинели и вытащил грязную тряпицу, завязанную узлом.

— Это, что ли?

— Это самое и есть!

И Арефий принялся развязывать крепкий узел, помогая рукам зубами. Наконец осторожно достал из тряпицы две рублевых ассигнации и одну из них протянул Пирогову.

— Ваше благородие, вот, получите от меня за праведные труды ваши,—проговорил он торжественно.—Сам вижу, что постарались вы мне хорошо ногу отрезать, так что я и боли от этого никакой не поимел! Возьмите, дай вам бог здоровья, сколько могу, ваше благородие!

— Вот он! Видали, какой!—улыбаясь, кивнул на него Пирогов, обернувшись к Обермиллеру и Сохраничеву; а Калашников не утерпел, чтобы не сделать замечания раненому:

— Эх, деревня ты! Что же ты его превосходительство благородием зовешь?

— Превосходительство нешто?—удивленно и растерянно несколько впился глазами в широкую пироговскую плешь Арефий: трудно было и поверить, чтобы генералы делали операции.

Пирогов же отвел его руку с ассигнацией и сказал, улыбаясь:

— Много это ты мне даешь, друг Арефий,— половину своего состояния! Спрячь-ка свою рублевку: на костыль она тебе пригодится, а ноги резать, хоть я и превосходительство, я обязан, за то я жалованье свое получаю.

Арефий понял, что вышло у него как-то не совсем ловко, хотя и от чистого сердца, рублевку приложил к той, какая осталась в тряпице, и проговорил, покраснев:

— Прощенья просим, ваше превосходительство!

— А чаю не хочешь?—быстро спросил его Пирогов.

— Чаю? Пок-корнейше благодарим!—по-строевому ответил Арефий, но, поглядев на земляков, которые улыбались, улыбнулся робко и сам и добавил:—А может, заместо чаю водочки чарку пожалуете, ваше превосходительство, для сугрева тела?

— Можно, братец! Вполне можно дать тебе водки чарку,—тут же согласился Пирогов, и скоро Арефию принесли прямо в операционную водки в оловянной чарке казенного образца.

Арефий подтянулся оживленно, опершись на локоть, наклонил голову в сторону Пирогова, пробормотал радостно:—За ваше здоровье!—вытянул ее всю, не отрываясь, крякнул, зажмурил глаза, покрутил блаженно шеей, обтер губы согнутым пальцем и сказал вдруг совсем уже неожиданным, детски просительным тоном:

— Ваше превосходительство! Что я вам хотел доложить, не осерчайте! Товарищам вот моим двоим, как они ради меня очень дюже старались,— доставили меня, куда надо было,—неужто нельзя им будет тоже по чарке поднесть? Ведь они труда сколько понесли ради меня, а?

— Верю, братец, верю,—заулыбался ему во весь свой широкий добродушный рот Пирогов.—Непременно и им дадим по чарке водки: заслужили.

— Пок-корнейше благодарим, ваше превосходительство!—вытянувшись по-строевому, отчеканили оба егеря, во все глаза глядя на странного лекаря.

3

Несколько часов провел Пирогов в госпитале, опрашивая и осматривая раненых, иногда же лично делая операции тем, у кого еще не были вынуты из тела штуцерные пули или мелкие осколки разрывных снарядов: хирургов в Севастополе было мало, раненых в результате Инкерманского боя насчитывалось до семи тысяч, кроме того, ежедневно поступали новые после дневных, хотя и довольно вялых, бомбардировок и ночных вылазок.

Раненые на Инкерманских высотах, правда, деятельно вывозились из Севастополя в тыл на тех «орудиях пытки», какие встречались и Пирогову; эти несчастные оглашали безответную, утонувшую в дождях и грязи степь своими стонами.

Но на смену раненым в госпитали начали по-

ступать сотнями больные «пятнистой горячкой», «тифусом», то есть сыпняком, который в те времена приписывался скверному воздуху и сырости землянок на бастионах и бивуаках и миазмам от неубранной падали и непохороненных человеческих трупов,—жертв войны.

Пирогов остро чувствовал свое бессилие чем-нибудь помочь в этом гарнизону крепости и полевым войскам.

— Конечно,—говорил он врачам госпиталя,— в первую голову надо бы распорядиться закопать всю падаль, которая тут чуть что не на каждом шагу повсюду...

— Даже и в бухте плавает,—дополняли врачи.

— Вот видите! В бухте—посреди города!.. Я, конечно, прислан самим государем и в распоряжение главнокомандующего, однакоже я, к сожалению, не то чтобы и полномочное начальствующее лицо,— вот в чем штука! Начальник по медицинской части у вас тут, как я уже слышал, Шрейбер—генерал-штаб-доктор и тоже действительный статский советник...

— Мы его видели только один раз,—вставили врачи.

— Где же его больше и видеть? Он, конечно, все отчеты составляет о движении раненых и больных и прочие бумаги пишет,—как же его увидеть? А нет, чтобы отправить хотя бы целый батальон, чтобы закопать всю падаль в окрестностях и трупы похоронить, где они остались неубранными... А на дороге к Симферополю, может быть, вся тысяча палых волов и лошадей лежит в грязи! Ведь можно себе представить, что будет тут, в Севастополе, весною, если не позаботятся их закопать теперь же! Я, конечно, буду докладывать об этом лично его светлости, но... за успех не ручаюсь... хотя всячески пытаться буду его убедить.

В тот же день Пирогов со своим штабом переправился в город, чтобы осмотреть главный перевязочный пункт, помещенный в доме Дворянского собрания, и другие столь же печальные места.

По мере того как Пирогов в простой солдатского сукна шинели и в лекарской фуражке, сдвинутой на затылок, подходил от Графской пристани к дому Дворянского собрания, он оглядывался кругом и радовался вслух, что не замечал особенно зияющих следов бомбардировки, а красивое здание собрания совершенно его пленило.

Однако стоило ему только войти в большой двусветный танцовальный зал, чтобы он передернул ноздрями и оглянулся на своих врачей, пораженный.

Внешне тут было гораздо чище, чем в бараках на Северной. Тут стояли правильными рядами и не слишком часто койки одного образца и с одинаковыми зелеными столиками около них; пол был паркетный, и даже белелись половики между рядами коек, как в заправской больнице, но тяжелый жуткий запах мертвецкой отталкивал и заставлял непроизвольно искать в кармане платок или портсигар.

Только бравый лекарский помощник Калашников проявлял довольно живое любопытство, оглядывая высокие белые стены с пилястрами из розового мрамора: зал этот казался ему ненужно роскошным для перевязочного пункта, и только.

Можно было и в самом деле подумать об этом лекарском помощнике, что он совершенно лишен обоняния, однако он первый наклонился над паркетинами пола, покоробленными уже и треснувшими здесь и там, присмотрелся к ним и сказал Пирогову:

— Тут, кажется, чуть ли не на вершок в глубину крови натекло в трещины: она это и гниет... Моют, должно быть, пол швабрами,—да разве вымоешь, если впиталось?

— Да, этот дом надо основательно проветрить,— отозвался ему Пирогов.

Раненые лежали на койках под одинаковыми серыми одеялами, но, обходя их, как на визитации, Пирогов скоро увидал и здесь ту же беспомощную неразбериху, какая поразила его в Бахчисарае и повторилась в госпитале на Северной: гангренозные, дни которых были уже сочтены, а раны заражали воздух, помещались рядом с теми, которых пока еще совсем не звала к себе смерть, которые по всем признакам должны были выздороветь и вернуться в строй. Кроме того, здесь же почему-то оставались и легко раненные, в то время как их гораздо лучше было бы собрать где-нибудь в другом, не столь печальном месте или даже отправить после перевязки в их войсковые части.

У нескольких раненых Пирогов нашел рожистое воспаление.

— Ну, эта гадость приобретена уже здесь!— возмущенно говорил он.—Смело могу предсказать, что подобных случаев будет чем дальше, тем больше... Нет, знаете ли, решительно перевязочный пункт этот надо как следует очистить и проветрить: он стал чрезвычайно опасен для здоровья!

Около него столпилось несколько человек экстренно собравшихся здешних врачей, между которыми оказались один американец и двое немцев из Пруссии,—все хирурги. Последние знали о Пирогове по его работам, часть которых в бытность его профессором в Дерпте была написана им на немецком языке, и смотрели на него с большим почтением.

На хорах, откуда еще 30 августа гремели туши и вальсы оркестра Бородинского полка, теперь был склад бинтов, корпии, компрессов, белья, одеял—всего необходимого для раненых, а бывшая биллиардная—обширная, светлая и с богатыми зелеными обоями, украшенными золотым тиснением, стала теперь операционной.

В этой комнате, где предстояло Пирогову сделать огромное число ампутаций, трепанаций, резекций, он задержался на несколько минут, оценивая на глаз и подбор инструментов в шкафу, и стол для раненых, и то, как именно падал из окон свет на этот стол, и прочее, что влияет на удачу операций.

Здесь и застал его командированный Меншиковым, чтобы его сопровождать, лейб-медик светлейшего—лекарь Таубе, в котором Пирогов едва узнал своего старого знакомца, бывшего студента Дерптского университета.

Теперь это был дородный, высокий человек с загадочной улыбкой на сытом лице, говоривший размеренно, важно и веско, как подобает настоящему лейб-медику. Тогда же это был длинный и тонкий белесый молодой человек, панически боявшийся экзаменов.

Особенно трагически переживал этот студент экзамены на степень лекаря. Он решил даже заболеть, чтобы не ходить на экзамены. Однако суровый декан Вальтер приказал педелям доставить его для экзамена по своим предметам к себе на дом. Так как приказ был строгим, то педеля, возможно, обошлись со студентом Таубе и без достаточной нежности, но на дом к Вальтеру он был доставлен. Однако он решительно заявил, что стоя отвечать не может.

— Садитесь в кресло!—предложил ему Вальтер.

Но и кресло не удовлетворило Таубе.

— Я не могу сидеть,—сказал он мрачно.

— Ложитесь на диван в таком случае!—прикрикнул Вальтер.

Уложили на диван, принесли холодной воды, и экзамен начался... Подробностями этого оригинальнейшего экзамена долгое время жил склонный к анекдотам Дерпт. Но теперь Пирогов видел справедливость старой французской поговорки: «Rira bien, qui rira le dernier»[1]: лейб-медик главнокомандующего, говоря с ним, улыбался и снисходительно и даже покровительственно, пожалуй.

А в одном из бывших кабинетов собрания, как раз именно в том, где так недавно, всего два с половиной месяца назад, Меншиков и другие старшие в чинах из севастопольского гарнизона и флота рассуждали о том, отважатся ли союзники высадить десант, Пирогов встретился с Дашей.

В кабинете этом лежало человек десять тяжело раненных и уже прошедших через операционную матросов и солдат, между ними был и один француз с отрезанной по плечо рукой, который восторженно глядел на Дашу, помогавшую фельдшеру перебинтовывать его соседа, и повторял:

— Ah, la soeur, la soeur![2]

Сюда перевелась Даша всего несколько дней назад, после того как хатенку ее на Корабельной совершенно разнесло большим английским снарядом, но здесь, на новом для нее перевязочном пункте, она старалась держаться как старослужащая, отлично знакомая с лазаретной обстановкой и понимающая с полуслова, что и как надо делать.

Она успела уже привыкнуть к здешним врачам, но когда они вошли в эту небольшую палату сразу несколько человек, в окружении еще нескольких новых, такое многолюдство не могло ее не встревожить, и она так и застыла, обернувшись к ним, с бинтом в руках, с вопросом в расширенных синих глазах и с невольным замиранием в сердце.

А Пирогов, заметив у нее на груди, на белом переднике, серебряную медаль на алевшей аннинской ленте, сразу догадался, кого он видит, но на всякий случай обратился вполголоса к Таубе:

— Дарья?

— Да, это есть Дарья,—снисходительно улыбнулся Таубе.

— Гм... А я ведь представлял тебя гораздо постарше, Дарья. Здравствуй!—весело сказал Пирогов.

— Здравствуйте, ваше...—запнулась она, затрудняясь определить его чин.

— Что стала втупик?—притворно нахмурился Пирогов.—Бери как можно выше!—И медаль, смотри-ка ты, уж заслужила, ого!

— И еще, кроме этого, пятьсот рублей деньгами,—не то одобрительно, не то порицательно добавил Таубе.

— Пятьсот? Вот, полюбуйтесь-ка на нее! Замужняя?

— Никак нет, девица,—ответила Даша.

— Завидная невеста! Это кто же именно,—его светлость так наградил ее?—спросил Пирогов Таубе, удивясь.

— Не-ет,—сделал непроницаемую легкую гримаску Таубе.—Это по приказу из Петербурга.

— А-а! Но кто-нибудь отсюда же сделал представление?

— Кажется, что это покойный адмирал Корнилов, насколько я слышал...

— Вот кто, тогда понятно... Так вот, Дарья, скоро сюда приедет целая община сестер милосердия, чтобы одной тебе не было жутко здесь,—положил Даше на плечо руку Пирогов.

— Какая же тут жуть?—удивилась Даша.—Да теперь и стрельбы стало мало совсем.

Она старалась говорить тихо, хотя и вполне внятно, но, видимо, и самый этот намеренно тихий девичий голос волновал безрукого француза.

— La soeur!—снова проговорил он, восторженно глядя только на нее, а не на этих вошедших.

Может быть, забыл он в эту минуту, что он в

---

[1] Смеется хорошо тот, кто смеется последний (франц.).

[2] Ах, сестра, сестра! (франц.).

плену, что он тяжело ранен, лежит на госпитальной койке не в Марсели и даже не в Скутари, а в том самом Севастополе, который его изувечил. Он не обратил, казалось, никакого внимания и на этих вошедших в палату новых русских и между ними на приземистого человека с угловатым и плешивым, как у Сократа[1], черепом,—Пирогова. Для него как бы ясна была только одна истина: приходят и уходят, отгремев, войны, приходят и уходят со своими ланцетами врачи,—женщина остается.

Пирогов же, наблюдая из-под нависших надбровных дуг внимательно и зорко за всем кругом и за французом так же, как и за Дашей, сказал, обращаясь к Сохраничеву:

— Да, пусть там как хотят и говорят что угодно всякие скептики и умники, а послать сюда сестер—это превосходная мысль!

4

Когда Пирогов выходил из бывшего дома веселья, ставшего теперь домом стонов, крови, горячечного бреда, он обратил внимание на расположенный вблизи деревянный двухэтажный дом, к которому подходили солдаты с закрытыми носилками.

— Там что такое? Еще один перевязочный пункт?—спросил он Таубе.

— Нет, Николай Иванович, в этом доме уже никого не перевязывают,—непроницаемо улыбнулся Таубе.—Это есть не более, как морг.

— Мертвецкая! Вот как! И потом отсюда куда же? На Северную, через бухту?

— О да, да... Тела отпеваются тут на-коротке,—тут есть как бы часовня... Потом их нагружают на баркас и отправляют для погребения. Это есть бывший дворец императрицы Екатерины, а перед самой высадкой союзников тут его светлость имел свою резиденцию!

И Таубе развел рукою, как бы удивляясь сам прихотливой судьбе этого еще не так и старого дома, и добавил:

— А под отделение этого, то есть первого перевязочного пункта мы заняли недалеко отсюда один дом—купца Гущина... Купец Гущин из Севастополя выехал, так что дом его освободился...

— Сколько же можно поместить раненых в доме Гущина?—полюбопытствовал Сохраничев, человек хотя и молодой еще, но осанистый, широкий, обстоятельный.

— Там... если потеснее, чем здесь, то, пожалуй, сто двадцать, даже все полтораста... да здесь двести, итого, скажем так, триста пятьдесят...

— Не мало ли все-таки?—спросил Пирогов.

— Пока, на зимний, так сказать, сезон, мы думаем обойтись,—не без важности ответил Таубе, как будто это зависело всецело от него: захочет обойтись—обойдется.—Что же до Корабельной стороны, то там, в морских казармах, второй перевязочный пункт гораздо больше, даже в несколько раз больше: там рассчитано на полторы тысячи человек... Завтра вы могли бы, я так думаю, познакомиться и с этим пунктом.

— Вы полагаете, что сегодня уж поздно?—несколько недовольно спросил Пирогов.

Таубе посмотрел на солнце, на него и неторопливо принялся доставать свои часы, говоря между тем:

— Я думаю, что это займет порядочно времени, а между тем мы имеем сейчас...

Они еще стояли на широкой мраморной лестнице, когда к ним подошла раскрасневшаяся от быстрой ходьбы девушка лет семнадцати на вид и, заметив между ними дородного и державшегося хозяином Таубе, протянула ему какой-то пакет, серый, казенного вида, спрашивая при этом и его и как бы всех прочих на лестнице:

— Ведь это здесь, мне сказали, помещается первый перевязочный пункт?

— Вы что, к раненому офицеру?—спросил ее Пирогов, разглядывая ее синюю бархатную шляпу с блондами и свежее лицо.

— Нет, я сюда, чтобы...—и девушка замялась, стараясь найти слово, которое заменило бы слово «служить», наконец закончила:—чтобы помогать...

— Кому помогать? И чем именно помогать?—недоуменно спросил Пирогов.

В это время Таубе, успевший уже вскрыть пакет и пробежать бумажку, обратился к нему с едва уловимой усмешкой в голосе:

— Чтобы понять это, Николай Иванович, надо ознакомиться с сопровождением, гласящим вот что: «Допускается распоряжением начальника гарнизона города Севастополя... к уходу за ранеными и больными воинами на первом перевязочном пункте дочь капитана 2-го ранга в отставке Варвара Зарубина с нижеписанного числа ноября месяца тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года...» и прочее... Подписал генерал-лейтенант Моллер.

— Та-ак!—протянул Пирогов, улыбаясь благожелательно.—Это значит—на ловца и зверь бежит! А вы где же учились, барышня, уходу за ранеными?

Варя Зарубина только теперь поняла, что самое важное лицо из всех, стоявших перед нею на лестнице, был именно этот вот в поношенной солдатской шинели, на котором не было никаких погонов.

— Я скоро научусь,—тихо проговорила она, глядя на Пирогова почти умоляюще, но он отозвался с отеческой ноткой в голосе:

— Только бы самой не заболеть, а научиться, конечно, можно... Сестры милосердия должны скоро

---

[1] *Сократ* (468—399 г. до н. э.)—древнегреческий философ, основоположник идеалистической философии.

приехать сюда, проситесь к ним в общину, авось примут... Да и здесь,—кивнул он головой на дверь собрания,—есть девица одна, Даша,—золотая девица! Подите к ней, познакомьтесь... Она вас и бинтовать научит...

Но, вспомнив, как поморщился он сам и подтянул губу к носу, когда вошел в залу, в которой разместилось до ста коек с ранеными, Пирогов добавил:

— Впрочем, если вы не вынесете здешней обстановки и через пять минут сбежите к себе домой, мы вас осуждать за это не будем, так и быть.

Варя поглядела на него, на Таубе и на других и ответила на это с тою самонадеянностью, которая так свойственна юности:

— Нет, я вынесу! Я непременно вынесу всё!

— Ну, вот и прекрасно,—улыбнулся ее горячности Пирогов.—А мы пойдем в таком случае в дом купца Гущина.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
МОЛОДЕЖЬ

1

За несколько дней до этого Витя Зарубин пришел на батарею лейтенанта Жерве, вспомнив, что лейтенант этот был сослуживцем его отца, батарея же, которой он командовал, находилась рядом с Корниловским бастионом, как теперь, по приказу самого царя, стал называться Малахов курган.

Место, где был поражен ядром адмирал Корнилов, имело для Вити притягательную силу и само по себе, кроме того, он надеялся, что Жерве, часто и задолго до Синопского боя бывавший у них в доме, а его знавший еще мальчиком и называвший совсем попросту «ты, Витюк», не попросит его уйти с батареи.

От одного пленного английского офицера пошел слух, будто Корнилова, разъезжавшего 5 октября по бастионам, заметили с ближайших батарей интервентов по его лошади золотистой масти с белесой гривой. Не знали только, что это Корнилов, но видели, что какой-то важный генерал, и ждали, когда он подойдет к своей лошади на Малаховом кургане, чтобы пустить в него ядро.

Лошадь Корнилова была действительно такова,—золотистая, со светлой гривой,—но когда дошел этот слух до Вити, он усомнился, можно ли было разглядеть, хотя бы и при помощи сильной трубы, эту лошадь сквозь тот дым, который сплошь окутывал бастионы. Он сразу решил, что это досужая басня, однако ему после этой басни неудержимо захотелось проверить слух самому на деле.

Правда, Капитолина Петровна каждый день с утра заклинала его «не шляться около всех этих там бастионов и батарей», и он давал слово «не шляться» там. Он был послушный сын, любил свою мать и хорошо понимал ее. Он видел, что на него переходили с плеч искалеченного отца все заботы по семье и дому и даже втайне гордился этим. Пятнадцатилетний, он стал казаться самому себе гораздо старше.

Но в этот день, как и вообще после бури 2 ноября, было тихо на бастионах. Обыкновенно бывало так, что вся семья Зарубиных, спасаясь от снарядов, бросала по утрам свой дом и откочевывала в адмиралтейство или переезжала на Северную. Теперь же в этом не было надобности: к ленивой, вялой перестрелке привыкли уже, и она нисколько никого не пугала,—ожесточенной же канонады не ждали и о ней не думали, так что даже и Капитолина Петровна не вспомнила о своих обычных напутствиях Вите: он в этот день чувствовал себя почти свободным.

На батарею Жерве проник он вполне беспрепятственно, и все здесь привлекало жадное внимание мальчика: и ряд длинноходотных чугунных орудий, знакомых ему по боевым кораблям, и шершавые банники, торчавшие при них, и деревянные площадки, по которым откатывались пушки назад после выстрела, и брустверы из мешков и фашин, набитых землею, и кучи ядер около орудий—гостинцы врагам, и сигнальные на своих постах, и матрос, который, пользуясь затишьем, приколачивал к своему сапогу набойку, и другой матрос, сосредоточенно, по-трудовому, вслух разбиравший по складам, что было напечатано в тоненькой, грязной, истрепанной книжонке, по виду житие какого-то святого.

Но больше всего удивил его мальчуган лет десяти на вид, в матросском бушлате, перекроенном на его рост в ширину, но достигавшем ему до пяток, и в форменной бескозырке с пестрыми ленточками. Он с самым серьезным видом возился около прицела одного из орудий.

— Ты что тут такое делаешь?—несколько даже строго обратился к нему Витя.

Мальчуган поднял на него смышленые серые глаза и, сразу определив, что это—совсем не начальство, ответил не без важности:

— За прислугу я здесь состою.

— Как за прислугу? За какую прислугу?—не понял Витя.

— А вот,—при орудиях,—кивнул на замок пушки мальчуган.

— Что ты болтаешь чушь!.. К отцу пришел, что ли?

— Отца уж нету—убили,—серьезно ответил мальчуган.— Я заместо его теперь.

— Как это «заместо его»?

— Так... Наводчиком я здесь, как и батька мой был...

— Хо-ро-ош наводчик!—слегка хлопнул его по бескозырке и сдвинул ее ему на глаза Витя.

Но матрос, читавший по складам книжку, счел нужным вступиться за мальчугана:

— Это он сущую правду вам сказал, господин юнкирь: у него насчет наводки глаз такой вострый, что лучше даже и не надо!

— Сколько ж ему лет?—удивился Витя.

— Двенадцать уж,—поспешно ответил за матроса мальчуган, но матрос погрозил ему пальцем:

— Николка, не ври! Вот же мальчишка какой вредный: что касается протчего, он не врет, а как спросят, сколько годов имеешь, ну, завсегда лишнее прибавит! Ему еще и одиннадцати нету,— я же это в точности знаю: на его крестинах был, а ему все хотится, чтобы как поболе... Эх, Николка, Николка!

Николка же ничуть не устыдился, что его уличили, только качнул лихо головою в сторону такого памятливого книжника, потом отвернулся и независимо циркнул через зубы.

Другой матрос, приколотивший уже к тому времени набойку, натянувший сапог на расправленную портянку и поднявшийся, тоже счел нужным похвалить Николку:

— Он, Николка этот, повсегда отцу своему обедать приносил, господин юнкирь. Баловство, конешно, бабье, ну, всё им корпится свое доказать, что ихний борщ не сравнить с казенным, какой дают... Ну, одним словом, забота, дескать, бабья об муже об своем... А она, забота эта, вышла ему гораздо хуже... В тую вон лощинку обедать он отошел, пообедал, все как следует, покрестился: «Вот, говорит, спасибо тебе, сынок, накормил свово батьку!» И только это шага на три отошел назад к батарее, а ядро, значит, вот оно! И сигнальный кричал—все честь-честью было. Ну, что ты сделаешь, все одно, как по нем пущено было,— враз на месте убило! Чтò твердости больше в себе имеет,—ядро ли чугунное, или же голова?.. Ну вот... Собрали мы его, что осталось, отправили на Сиверную, а мальчишка, спустя время, явился, как у него уж привычка была сюда к нам ходить: «Я, грит, заместо отца стану! У меня, грит, глаз,— и батька говорил,—меткий». Ну, а батька его, он, конечно, наводку ему показывал, так, шутейно... Видим мы, мальчишка ревет, слезами исходит, а итти от нас не хочет. Упросили командира батареи—разрешил. Что же с ним сделаешь? Вот и вышел из него наводчик...

— Так что и в лошадь попадешь, если увидишь?—очень живо спросил Николку Витя.

— В ло-шадь!—презрительно протянул Николка.—Тоже штука большая!

И Витя сразу поверил, что нашелся меткий наводчик и там, у англичан, и оставил Севастополь без Корнилова.

Все юное самолюбие Вити,— очень острое и сторожкое именно в переходном возрасте, когда ломается голос,—поднялось против этого шмыгающего курносым носом и циркающего через зубы мальчугана в отцовском бушлате... Будто бы и действительно он такой уж меткий наводчик! Гораздо легче было допустить и перенести, что просто шутят над ним, над «юнкирем», эти старые матросы, всегда и вообще, насколько он их знал, склонные к шуткам.

Витя и сам на учебном судне на практических занятиях проходил наводку орудий по неподвижным целям, однако ему никогда не приходилось самому лично убедиться в том, каковы были бы результаты его стрельбы. Теперь же, вот тут, его пытались уверить, что какой-то мальчишка-матросенок, которому еще и одиннадцати нет, уже комендор и, может быть, тоже вывел из строя там, у противника, если не адмирала, то хотя бы батарейного командира...

Сквозь амбразуру Витя пытался и сам разглядеть что-нибудь живое там, на неприятельской стороне, но видел только линии насыпей, казавшиеся отсюда очень низенькими: ничего грозного в них не было.

Конечно, в зрительную трубу он мог бы разглядеть больше, но труба была у дежурного, стоявшего на банкете и наблюдавшего за чем-то там неотрывно.

Начиная с 5 октября в Севастополе и кругом смерть тех или других, иногда знакомых даже, иногда крупных по своему положению начальников, стала такою обычной, что как-то не сразу дошел до сознания Вити рассказ матроса о смерти отца Николки. Когда же дошел, то оказалось вдруг, что было у него, Вити, с этим вот Николкой кое-что общее, хотя капитан Зарубин и не убит.

Он жив еще, но ведь он—калека благодаря тоже вражескому, синопскому ядру, и потому теперь в отставке не от службы только, от обороны Севастополя...

Нельзя сказать, что мысль о том, чтобы самому, как этот Николка, стать в ряды защитников города, так и не приходила никогда до того в голову Вити. Напротив, эту мысль изо всех сил приходилось ему подавлять в себе отчасти потому, что ее очень боялась мать, но больше потому, что рота юнкеров флота была распущена еще до Алминского боя и юнкерам несевастопольцам было даже строго приказано выехать отсюда туда, где жили их родные. Так что жизни их берегли не одни только матери.

Однако готовившийся с детских лет служить во флоте, Витя иначе и не представлял себе место, как там, на одном из кораблей или хотя бы пароходов боевого ранга. Он каждый день ходил их проведывать с набережной, с Графской пристани, с Приморского бульвара. Он следил за

жизнью на них и около них горячими глазами природного моряка. Служба же там шла как и в обычное время, хотя большая часть экипажей сидела уже на бастионах около своих снятых с судов орудий, а часть лежала в госпиталях или в братских могилах на Северной...

В душе Вити и до этого дня все уже было готово к тому, чтобы вспыхнуть внезапно и загореться надолго, и хотя из ребячьего самолюбия ему и не хотелось, чтобы зажег его какой-то матросенок, но он уже загорелся. Правда, это случилось с ним тогда, когда он увидел лейтенанта Жерве, показавшегося на левом фланге своей батареи.

Он узнал его по походке; несколько вихлястая от раскачки тела влево и вправо, она почему-то всегда казалась Вите красивой: в ней, на его взгляд, так и просвечивала вся широкая натура этого веселого кутилы-лейтенанта, и он пошел ему навстречу, совсем не желая подражать и все-таки как-то невольно шевеля в такт шагу плечами.

— А-а, Витюк! Ты как здесь и зачем?.. Здравствуй!—крикнул ему за несколько шагов Жерве.

— Здравия желаю!—ответил Витя.—Я... сюда к вам...—и запнулся, не зная, как именно сказать, что он надумал.

— Зачем? Что случилось?—сразу обеспокоил влажные зеленоватые глаза Жерве, беря его за руку.—Отец?

— Нет, я, я сам...—поспешно отозвался Витя, не поняв, что Жерве подумал об отце его, не умер ли вдруг, скоропостижно.

— Что именно ты сам?

— Пришел к вам... Возьмите меня на батарею волонтером,—наконец залпом выговорил Витя.

— Во-лон-тером? Вот оно что-о!—повеселел снова Жерве.—А кто же тебя ко мне направил? Неужели отец?

— Нет, не папа, а...

— Мама, что ли?

Витя даже улыбнулся, когда лейтенант упомянул о его матери, но промолчал.

— Понимаю, братец! Ты, не спросясь броду, лезешь в воду! Нет, голубчик, я даже никакого и права-то не имею принимать тебя, это во-первых, а затем-с, разве ты совершеннолетний, чтобы располагать собой?—и Жерве попытался даже по-начальнически сдвинуть черные брови.

Но так как Витя после этого сразу как-то увял и стоял потупясь, то он слегка обнял его, заглянул сверху в его глаза и улыбнулся, хотя все-таки непреклонно, так что Витя раскраснелся вдруг, как от обиды, и пробормотал:

— А как же у вас на батарее за прислугу матросенок один?

— Николка Пищенков? Есть такой... Ну, братец, он ведь сирота, безотцовщина... Куда же ему деваться?

— Говорили матросы, что на-вод-чик даже!—презрительно, насколько мог, протянул Витя.

— Действует и по этой части, каналья, и неплохо действует! Глаз есть! А ты иди-ка домой, чтобы мне за тебя перед Иваном Ильичом глазами не моргать. Тут, брат, юнкерам гулять не полагается... Тут за такими гуляками стрелки из ложементов охотятся. Итак, передай мои поклоны маме, папе, сестричке... Где вы все теперь обитаете, кстати? Неужели все у себя дома? И не боитесь?

Нотки голоса Жерве были ласковы, но он, держа его руку одною рукой, другой поворачивал его лицом к городу, откуда пришел на батарею Витя.

2

Нехорошо получать в чем бы то ни было отказ, но гораздо хуже, когда тебе отказывают, принимая тебя за какого-то ребенка.

Несмотря на ласковый голос Жерве, Витя отошел от него оскорбленный. Он пошел было, действительно, к городу, но, пройдя десятка два вялых шагов, оглянулся назад. Жерве, этот записной прежде щеголь, которого так изменили,—однако совсем не к худшему,—забрызганная чем-то шинель и ботфорты, заляпанные грязью, завидно хозяйничал на своей батарее, остановясь как раз около тех двух матросов и Николки и указывая им на кучу ядер.

Может быть, готовились тут открывать очередную пальбу, а он должен уйти, как побитый! Но вот явилось вдруг соображение, показавшееся неоспоримым: лейтенант, хотя бы и командир батареи, пожалуй, ведь действительно не имеет полномочий принимать волонтеров, но контр-адмирал, как, например, Истомин, начальник целого отделения линии обороны,—у него-то, наверное, такие полномочия имеются!

Конечно, говорить с адмиралом ему, юнкеру, это совсем не то, что говорить с лейтенантом, да еще сослуживцем отца; к адмиралу прежде всего и подойти гораздо труднее, но Вите показалось вдруг, что он допустил одну большую ошибку в разговоре с Жерве и уж не повторил бы ее, если бы удалось увидеть Истомина и говорить с ним. У него даже уши стали горячими от стыда за свою оплошность. Разве так нужно было ответить лейтенанту, когда он спросил: «Кто тебя ко мне направил?..» Так запнуться и смешаться и не подыскать нужного ответа, как это вышло у него, действительно только и мог бы сделать ребенок, а еще просится в волонтеры!..

И весь в охватившем его негодовании на самого себя, Витя, не дойдя до пехотного прикрытия батареи Жерве, круто повернул к Корниловскому бастиону.

Он прошел мимо ряда торговок, сидевших среди

жидко размешанной грязи, перемешанной с подсолнечной скорлупой, на своих низеньких скамеечках и на коленях державших корзинки с бубликами и булками, которые здесь называли франзолями. Какой-то рябоватый пожилой унтер с седеющими бачками и длинными усами говорил, крякая, одной из них:

— А ну, тетка, давай-ка мне французскую булку, переведу ее на русский язык!

Немного же дальше, у пирожницы, другой солдат нашел в купленном у нее пирожке, в начинке, кусок тряпицы и, потрясая им, кричал на нее:

— Что же ты, лярва, с холстиной какой-то пирожки продаешь!

— А тебе беспременно за твой пятак да чтобы с ба-архатом!—отзывалась зубастая торговка, и солдаты и матросы кругом хохотали.

Какая-то ухватистая старушка умудрилась тут же, посреди грязи, поставить жаровенку и кадушку с тестом, и печь оладьи. Шлепала куски теста в шипящее на сковородке постное масло и приговаривала:

— Вот, солдатики-братики, начистоту действую, без омману!.. Вот у всех на глазах пеку без омману,—кушайте на здоровьечко!

Другие бабы шли с узлами и узелками в сторону блиндажей, несли вымытое, выглаженное на рубеле скалкой белье офицерам, а может быть, и своим мужьям—матросам и солдатам. Витя знал, что они, конечно, матроски и солдатки и живут здесь же поблизости, на Малаховом и на Корабельной, хотя видел, проходя, что на Малаховом иные домишки сгорели, от иных остались только кучки камней, глины и сору.

Корниловский бастион оказался куда более людным и оживленным, чем батарея Жерве. Правда, здесь стояло уже в то время сорок три разных орудия, однако все крупных калибров,—от шестидесятивосьмифунтовых до пудовых единорогов.

Витя продвигался медленно, ища глазами кого-нибудь такого, к кому можно было обратиться со своим вопросом об адмирале Истомине, и вдруг неожиданно встретился с унтер-офицером Бородатовым, иногда заходившим к ним в дом, к хорошему знакомому своему—Дебу.

Витя знал, что тот года три назад был разжалован из подпоручиков инженерного ведомства в солдаты до выслуги—за то, что держал у себя какие-то вольнодумные книги.

Знакомое лицо бывшего подпоручика, сухощавое, но веселое, несмотря на солдатскую лямку, которую он нес, сразу притянуло к себе Витю.

— Вы чего тут?—спросил, улыбаясь, Бородатов.

— А вы?—полюбопытствовал Витя.

— Я-то по делу: получил вот наряд на ночные работы,—хлопнул себя по карману шинели Бородатов.—А вот вас здесь раньше видеть не приходилось.

— Я... тоже по делу,—несколько замялся Витя.

— А именно?

— Хочу поступить сюда волонтером...

— А-а, вон что,—нисколько не удивился Бородатов.

— Мне бы к адмиралу Истомину надо... Как вы думаете, можно это?

— Отчего же вам, юнкеру, нельзя?—сделал ударение на «юнкеру» Бородатов, у которого, между прочим, как заметил Витя, не только борода плохо росла, но и усы были реденькие, жиденькие и какого-то совсем неопределимого цвета.

— Можно, вы думаете?.. А как же именно?—оживился Витя.

— Да ведь адмирал—не иголка, найти его ничего не стоит, благо тут же он и живет в башне... Впрочем, я его как будто сейчас даже и видел где-то здесь...—И Бородатов обернулся, поглядел по сторонам и добавил:—Да вот же он—своей персоной! Смотрите вон на ту траншею и держите направление туда... Желаю удачи!

Откланялся, все еще щеголяя незабытой офицерской выправкой, и пошел дальше, а Витя, поймав глазами Истомина, боялся уже потерять его из виду, и быстро зашагал, не разбирая, где суше.

Витя никак не думал, что Истомин так же точно, как и Нахимов, не расстался еще со своею флотской парадной формой; на нем, будто он был на судне, плотно сидел длинный наваченный на груди сюртук с густыми контрадмиральскими эполетами и черные брюки. Уже один этот привычный, мирного времени, костюм адмирала заставил Витю сразу же оробеть, но Истомин, заметив это, спросил сам:

— Что вы пришли мне доложить?—и поднял ожидающе почти безволосые брови.

— Ваше превосходительство, я прошу разрешить мне зачислиться волонтером во вверенное вам отделение,—без запинки, как рапорт на вахте, проговорил Витя, так как фразу эту он приготовил заранее.

— Волонтером? Вот что! И на какую же должность?—чуть улыбнулся Истомин.

— Прислугой к орудию, ваше превосходительство!—весь напрягаясь, чтобы стоять, как в строю, ответил Витя.

— Ваша фамилия?

— Роты юнкеров Зарубин, ваше превосходительство.

— А-а! Сын капитан-лейтенанта Зарубина?—качнул головой Истомин.—Впрочем, он ведь теперь уже в отставке... Как его здоровье? Ходит?

Вите показалось, что лучше будет, если сказать, что отец не только ходит, но даже хорошо ходит; он так и сказал и ждал того самого вопроса, какой уже слышал от Жерве, чтобы на него ответить, как он придумал, но Истомин спросил:

— А разве у вашего отца есть еще сыновья, кроме вас?

Этот вопрос ошеломил Витю, потому что он слышал не один раз раньше о «единственных» сыновьях, и снова у него предательски горячи стали уши. У него мелькнула было мысль ответить: «Есть еще один моложе меня»...—но он берег ложь для более важного. Он ответил вопросом, который вдруг вытолкнуло чувство, похожее на отчаяние:

— Ваше превосходительство! Ведь если бы я был уже мичманом, а не юнкером, то, хотя бы я был и единственный сын, разве я сидел бы дома в такое время?

— Гм... да... Вы что-то очень молоды, юнкер Зарубин,—улыбнулся Истомин.—Сколько вам лет?

— Почти шестнадцать,—быстро ответил Витя, прибавив себе шесть-семь месяцев.

— Маловато! Да, между прочим, это ваше личное желание зачислиться волонтером?—спросил, наконец, Истомин, и Витя ответил, не отводя глаз:

— Я говорил об этом отцу, и он дал свое согласие, ваше превосходительство... Только чтобы я служил под вашим начальством!

Эта последняя фраза придумалась как-то сама собою, но Витя заметил,—или ему это только так показалось,—что она навернулась как нельзя более кстати.

— Что же, под моим начальством? Ведь я взять на себя ответственность за вашу жизнь не могу,—сказал уже совсем добродушно Истомин.—Это желание ваше похвально, конечно, но требует оформления... Заходите завтра в это время, как-нибудь оформим...

Витя был так взволнован своей удачей у Истомина, что даже хотел зайти похвастать ею на батарею Жерве, но беспокоило предстоящее объяснение с отцом. Вдруг он ни за что не согласится отпустить его и даже напишет об этом самому Истомину,—что тогда?

Между тем все, что он здесь видел теперь, стало казаться ему совсем уже близким к пониманию,—вот-вот еще шаг, и он скажет с гордостью: «Наш Корниловский бастион».

Бывшая дня за четыре до того буря, наделавшая так много бед флоту союзников, оторвала на одной стороне домика Зарубиных железо желобов и отливов, сбросила с места десятка три черепицы, а также вывернула водосточную трубу из рогачиков, и Витя сам прилаживал запасную черепицу вместо разбитой, для чего нужно было очень осторожно и только в определенных местах наступать на оставшуюся целой, чтобы не раздавить и ее, а при настилке железа отливов и желобов надо было умеючи прибить клямары, чтобы железо держалось прочно.

Витя трудился над этим почти целый день, но зато, когда все пригнал, поправил, закончил, дом, в котором он родился и вырос, стал ему как-то еще роднее, чем был прежде. Так же точно, проходя уже через горку Корниловского бастиона и оглянувшись назад, Витя с минуту задержался на месте, разглядывая брустверы, траншеи и руины башни на кургане.

Когда он шел сюда, ему бросилось в глаза плачевное состояние этой башни, крыша которой была совершенно снесена неприятельскими снарядами и не восстанавливалась почему-то. Уходя же теперь, он понимал, что башня эта служила только прекрасной мишенью для артиллерии врагов, что простые невысокие насыпи и даже мешки с землею гораздо удобнее и надежнее, чем это сооружение.

Оглядывая же потом горку, он видел, что эта расположенная в виде какой-то геометрической фигуры насыпь и ров за нею замыкают бастион с тыла, делают его как бы отдельной крепостью в ряду других подобных же крепостей-бастионов, соединенных батареями, как та, которой командует Жерве.

В первый раз именно теперь он, привыкший с детства к виду огромных и несокрушимых с виду зданий фортов, представил себе вполне эту цепь оборонительных сооружений в земле, все то, чего совсем не было еще там недавно, и это так переполнило его верою в могущество родного города, что кулаки его сами собою сжались до белизны пальцев и грудь долго не хотела выпускать воздуха, расширившего ее.

3

В этом приподнятом настроении уже не прежний, рейдовый, а новый, бастионный, Витя шел к Малой Офицерской улице, совсем не замечая при этом, как и куда он ставит ноги, и даже ставит ли их вообще куда-нибудь или просто проносится над неровностями поверхности земли, как это довольно часто бывало с ним во сне.

Так как дня три уже не было такой бомбардировки, которая выгоняла семью Зарубиных в адмиралтейство или на Северную, то все были дома, и Витя, раздевшись, тут же начал говорить с отцом о том, что его переполняло до краев: оно должно было вылиться немедленно,—носить его молча было бы невыносимо, и единственный, кто мог бы его понять, как нужно, был отец.

— Папа,—начал он возбужденно,—тебе поклон от лейтенанта Жерве!

— А-а! Жерве! Вот как!.. Ты где же, где его видел?—оживился отец, который в это время в своем небольшом кабинете сидел за столом, перебирая какие-то бумаги.

— Где я его видел? — несколько запнулся Витя.—Я просто ходил посмотреть батарею, как он командует... Ходил с одним своим товарищем.

— Та-ак!—отодвинул от себя бумаги отец.—

С то... с товарищем? Ну, это, знаешь ли... С каким товарищем?

Видя, что отец нахмурился и насторожился, Витя отвернулся к окну и ответил, насколько мог безразлично:

— Да это Боброву туда нужно было, к Жерве, а я просто с ним вместе пошел.

— Ишь ты, а?.. Боб-ров! Два сапога, да, два сапога па-ара!—протянул отец.—А ни Боброву твоему, ни... ни тебе тем более... тем более тебе!.. со-овсем незачем шляться туда... на батареи эти!

Отец волновался, почему и говорил с трудом, но Витя счел все-таки возможным улыбнуться краешками губ, отзываясь:

— Ну, все-таки, отчего же не посмотреть, когда никакой стрельбы нет?

Он понимал, что здесь, в своем доме, среди своих каких-то бумаг, отцом овладевают домашние мысли, но знал также и то, чем можно было выбить их из отца, и добавил:

— Там говорят, что идут к нам большие подкрепления, и скоро союзникам дадут еще один Инкерман попробовать, только уж этот будет какой следует.

Средство подействовало сразу,—Зарубин посмотрел на сына примиренно: чтобы принести домой весть об идущих больших подкреплениях, пожалуй, стоило пойти на батарею. Однако...

— Откуда же он-то... он... Жерве-то откуда же это слышал?.. И что же, что же, что идут эти... подкрепления? Должны итти, да, должны, а как же? Вот и... и идут они... А только вопрос... придут когда? Вот что! Это главное... И сколько именно их придет, вот в чем дело... А Жерве там как, Жерве?

— Ничего. Такой, какой был всегда, такой и есть. Веселый... Только ботфорты надел, как пехота!—стараясь держаться независимей, сказал Витя.

— Бот-фор-ты! Вот как!

Эти ботфорты как будто даже несколько развеселили капитана. Он подкачнул головой и прищурился, очевидно, стараясь представить себе Жерве в ботфортах, а Витя продолжал между тем:

— И маме кланялся, и Варе тоже...

— А-а! Вот видишь, вот! Стало быть, не забывает нас! Ну, что же, спасибо ему...—просветлел отец, и, заметив это, Витя сказал, как будто бы кстати:

— Адмирала Истомина я тоже там видел, папа.

— Истомина?.. А-а! Вот как!—совершенно оживился отец, даже, пожалуй, несколько преобразился.—Что же он... он... как? Или ты его... издали... издали, конечно, заметил?

— Я?.. Что ты, папа! Да я в двух шагах от него стоял!—слегка усмехнулся Витя.—Он какой был, такой и есть,—и ботфортов не носит... А вот что он эполет своих не снимает, это уж, пожалуй, лишнее совсем, потому что у англичан, говорят, наводчики какие следует есть!

— Матросы, да! Матросы!—уверенно качнул головой Зарубин.—У нас—матросы, у них тоже... тоже матросы!

— Да, конечно, а то кто же? И если бы Корнилов па другой лошади тогда был, в него бы не стреляли, это уж теперь доказано,—сказал Витя.—Ну, ничего, пусть... При хорошей наводке и наши там тоже найдут, кого надо! Все дело в наводке.

— Ну, а как же еще? А?.. Разумеется, да... Разумеется, в наводке... А что же он... Владимир Иваныч... разве он тоже там... у Жерве, у Жерве был?—разнообразно работая мускулами лица, чтобы помочь непослушному языку, однако с большим любопытством спросил капитан.

— Н-нет, он у себя там, на Малаховом... Там у него землянка такая, большая, вроде пещеры... Там вообще у всех такие пещеры, весь курган изрыли!—с восхищением махнул рукой Витя.

— А-а? Так ты, значит, все это там... там видел? На Малаховом?—уже как будто даже любуясь теперь сыном, спросил капитан.—И Владимира Иваныча... его тоже... близко видел?.. Как же ты так?.. И не прогнал, а? Не прогнал он... тебя оттуда?

— Ну, вот еще, «прогнал»!—усмехнулся Витя.

— А я бы... я бы прогнал, да!

— Я с ним и говорил даже,—вдруг решил подойти к самому главному Витя.

— Го-во-рил даже! Он?.. с то... с тобой?.. О чем это, о чем?

Кресло капитана было простое, с жестким сиденьем и на винте, и чтобы как следует, как можно лучше, не только услышать, но и разглядеть своего сына, говорившего там, на боевом Малаховом кургане, с самым главным его защитником—адмиралом Истоминым, Зарубин повернул кресло и оказался лицом к лицу с Витей, который ответил весело:

— Да вот о чем именно говорили мы с ним: прежде всего спросил он меня, конечно, как моя фамилия... А потом спросил, как твое здоровье.

— А-а! Здоровье мое?

— Да... Ходишь ты как, и вообще... Он даже обрадовался как будто, когда я сказал, кто мой отец.

— Ну, а как же... как же, да... Владимир Иваныч...—совершенно просиял Зарубин.—«Три святителя» и его «Париж», ведь они... они рядом стояли... рядом, да... во время боя... Ведь он у меня... он даже... в госпитале у меня был!.. Милый человек... Владимир Иваныч!.. Милый человек!—И слеза навернулась от волнения на правый глаз капитана.

Этот момент и счел Витя самым удобным, чтобы сказать, наконец, то, чего не решался сказать раньше.

— Берет меня волонтером на Корниловский бастион!—как бы между прочим и глядя при этом через окно в сад, проговорил глуховато Витя.

— Во-лон-тером?—воззрился на него отец, смахивая слезу пальцем.—Ка-ак так это... волон-тером?.. Он тебе... пред... предложил так... так?.. Поступить волон-тером?

— Все идут, папа! А как же иначе?.. Никому не итти?—подвинулся вплотную к столу Витя, придумав, по его мнению, то, что должно было сразу же убедить отца и в то же время обойти стороною прямой ответ на его вопрос.

Он видел, как отец забарабанил пальцами по столу, что было в нем признаком большого волнения и в то же время желания сдержать это как-нибудь в умеренных границах.

— Идут! Да!.. Должны итти!.. Все!.. Только не ребята!.. Не дорос, не дорос ты! Не дорос!..— выкрикивал он, выкатывая глаза.

— И помоложе меня есть там, папа!—выкрикнул и Витя.—Совсем ребятишки есть! Десять лет ему, а он уже наводчик!

— Десять лет? А? Кто сказал?.. А? А?

— Видел!—Сам видел такого! Своими глазами, папа!—не в полный голос, но уже в полную силу правдивости сказал Витя, и отец увидел эту правдивость в его глазах и поверил, но пробормотал пренебрежительно:

— Ну, чьи же они такие там?.. Если и есть, до... допустим... то чьи?..

— Чьи бы то ни были, папа!.. Они—в отцовских бушлатах до земли,—там, у орудий!..

Зарубин барабанил пальцами все быстрее, нервнее, сбивчивее... очень слышно потянул раза два носом и сказал вдруг:

— Я пони... понимаю!.. Ты ходил к Владимиру... Иванычу... проситься... в службу!.. А отца... отца мать... ты спросил, а?

Витя почувствовал, что решающая минута—вот она, и, глядя прямо в середину вскинутых на него укоризненных, гневных, закруглившихся глаз отца, ответил насколько мог спокойно:

— Напротив, папа, я даже сам сказал Владимиру Ивановичу, что ты мне разрешил уже это—обратиться к нему.

— Ты?.. Так... так ему... сказал?.. Как же ты... смел это?

И Зарубин взялся за подлокотники кресла, чтобы подняться, и в то же время подвигал к себе ногою отставленную, прислоненную к столу палку.

Однако Витя, переживавший во все время объяснения с отцом странное, но подмывающее чувство, как будто он тянется и тянется кверху, а плечи его становятся шире и шире, ответил отцу, неожиданно даже для себя самого твердо:

— Я не думал, папа, что ты можешь мне этого не позволить!

— Как так... «не думал»?—медленно, но не сводя с него круглых глаз, опустился снова в кресло отец.

— Почему я этого не думал? Потому что ты... ты для меня—герой, папа! Нет, ты и не можешь мне не позволить, потому что... я тебя уважаю, папа!.. За то... за то...

Он не договорил. Это было и не нужно. Это было понятно и без слов... Но он и не мог бы договорить, потому что задрожали губы, мокрыми стали глаза...

Он бросился к отцу, обнял его и прильнул к его небритой колючей щеке.

Так обнявшимися и в слезах застала их обоих вошедшая в это время в кабинет Варя.

4

Варя испуганно вскрикнула и спросила скороговоркой, без пауз:

— Что такое? О чем вы плачете? Кто убит?—но в то же время тою странной стремительностью мысли, которой обладают почему-то женщины, перескакивая сразу через длинные цепи мужских силлогизмов, поняла, что именно произошло в кабинете.

Между молодыми Зарубиными, сестрою и братом, была, конечно, та большая дружба, которая свойственна членам хороших и ладно сбитых семейств. Но Витя никогда не говорил сестре о том, что хотел бы записаться куда-нибудь добровольцем на бастион.

Он не то чтобы таил это глубоко про себя, нет, он и сам-то пришел к этому решению только там, на батарее Жерве. И Варя не думала раньше о нем, как о возможном волонтере. Напротив, она думала, что придется всем им выбраться все-таки куда-нибудь из Севастополя,—скорее всего в Николаев, куда выехало много семейств моряков, так как это был портовый город.

Нечего и говорить, что она не слыхала никогда такой догадки о Вите и от матери, и все-таки она поняла мгновенно, что было объяснение между Витей и отцом в таком именно духе: отец задумал уехать из Севастополя и вывезти их всех, для чего и приводит в порядок теперь свои бумаги и разные документы, которые необходимы им будут там, на новом месте, а Витя сказал отцу, что никуда не поедет, что хочет остаться здесь.

И если мокры у них у обоих лица, хотя оба они молчат, то это значило для Вари, что были уже сказаны все слова и что отец не мог не согласиться с Витей: уехать отсюда хотя и нужно, однако не всякому же бросать Севастополь,—это низко; нужно уехать папе, потому что он раненый, в отставке; нужно уехать Оле, потому что она маленькая; нужно уехать маме, потому что как же без нее будут жить папа и Оля? Но Витя и... и она сама...

Витя между тем выпрямился, быстро, стыдливо вытер глаза и щеки; отец обернулся к ней, Варе, качнул засверкавшим сединами подбородком в сторону Вити и пробормотал невнятно:

— Вот... по... полюбуйся-ка... на брат-ца!.. Каков, а?..

— Ты что это такое наделал?—вполне уверенная уже в своей догадке, но по привычке старшей из детей сразу нашедшая в своем голосе строгие нотки, обратилась к брату Варя.

Витя только улыбнулся ей, но ничего не ответил.

— Вот я сейчас позову маму!—угрожающе поглядела на него Варя и быстро вышла, а не больше, как через минуту, в кабинете появилась Капитолина Петровна, с засученными, как была на кухне, рукавами и с прилипшими кое-где к полным сильным рукам кусками белого теста, а вместе с нею Оля, испуганная, с кошкой в корзиночке.

С виду кошка Оли была самая обыкновенная кошка—пестрая, бело-дымчатая, но у нее оказались совершенно исключительные способности. Прежде всего она любила есть свежие капустные листья, а это совсем неподходящая еда для кошек, затем она питала своим молоком и воспитала маленького ежонка, найденного Витей летом на Приморском бульваре. Ежонок этот доставлял ей много горьких минут, так как сколько она ни пыталась его облизывать, только колола себе язык, фыркала, вскакивала в страхе и убегала, но возвращалась снова: все-таки материнская нежность побеждала. Ежик вырос, но никуда не уходил, так и остался при доме, жил под крылечком около кухни.

— Это что ты такое накуралесил, что отца до слез довел?—накинулась на Витю мать.

— Ничего я не куралесил, мама,—степенно сказал Витя, пожав плечами.

— Поступил вот... на бастион... на Малахов... к Истомину...—с усилием проговорил капитан, так как на него перевела непонимающие, но возбужденные глаза Капитолина Петровна; Витя же радостно отметил про себя: «Поступил», а не «поступает», значит кончено,—решено!

— Куда ты лезешь, дурак, сумасшедший!—закричала мать.—Куда полез, ни слова мне не сказавши? Чтобы я тебя хоронила, дурака, потому что ухлопают ведь! Ухлопают!

И она схватила Витю за плечи и дернула его от окна внутрь кабинета, точно вознамерилась сейчас же оттащить его как можно дальше от всех этих Малаховых, Истоминых и бастионов.

— Нельзя было, мама, иначе: все идут,—слегка улыбнулся Витя и этой горячности матери и ее непривычным для слуха, слишком энергичным словам.

— Ка-ак так все идут?.. Требуют, что ли, всех?—сразу опустила руки мать и снова обернулась к мужу:—Говори! Требуют?

Затаясь, ждал Витя, что скажет отец, но он ничего не сказал. Он только развел, насколько мог, руками и вздернул брови,—жест, который целиком вмещался в слова: «Теперь уж ничего не поделаешь! Придется примириться с этим...»

Однако примиряться мать не хотела.

— Я сама поеду к начальнику гарнизона!—крикнула она и ударила руку об руку, чтобы счистить с них налипшее тесто.—Я скажу ему, что ребят таких брать нельзя! Нет! Не смеют они!.. И что мы и уезжать уж собираемся, потому что скоро тут на одну пенсию и не прожить будет! Франзоля уж до семи копеек серебром на базаре дошла! Баранина шесть копеек фунт, да и той не достанешь! Когда это было, чтобы такие цены? А дальше в лес—больше дров, франзоля и до пятиалтынного дойти может, чем тогда жить?.. Хотя и в своем доме даже могли бы жить, так одними стенами все-таки жить не будешь... А тут еще и ребят тащат! Я им скажу это!

Маленькая Оля долго глядела во все глаза и на мать, и на отца, сидевшего молча, и на брата, который отвернулся к окну, глядела, силясь понять, что случилось, и, поняв, наконец, что Витю берут, чтобы его «ухлопать» на Малаховом кургане, безутешно зарыдала вдруг, а пестрая кошка, которая принимала всегда живейшее участие в семейных сценах своих хозяев, поднялась встревоженно из корзинки и начала гладить ее участливо по щеке лапкой и подлизывать слезы на ее подбородке.

Варя же не обратила внимания на слезы младшей сестренки. Она думала в это время и не о Вите, а о себе самой.

5

Накануне она встретила совершенно случайно на Морской улице Дебу, их бывшего квартиранта, и между ними завязался значительный для нее разговор, хотя он и начался шуткой с ее стороны.

Она спросила:

— Когда же вас, Ипполит Матвеевич, произведут в прапорщики наконец? Имейте в виду, что я все жду и надеюсь!

— Жду и надеюсь и я,—так же шутливо ответил он,—что шестое декабря, в день царских именин, или, на худой конец, на новый год выйдет мне производство, Варенька, и мы с вами прочитаем об этом событии в «Инвалиде».

— Ну, значит, скоро! Вот и отлично! Хотя за что же вас и производить? Ведь ваш рабочий батальон в сражениях не бывает, кажется?

— Сражаться ему не полагается, правда, но убивают нашего брата во время работ достаточно... Так что не думайте, что это—совсем безопасно.

— Ну, мало ли кого убивают! Даже и прохо-

жих на улицах... Не производить же их всех за это в офицеры!

— Не только на улицах, и в доме, на постели, могут убить... Был же ведь случай с одним капитаном-лейтенантом: всю бомбардировку в октябре пробыл на бастионе и уцелел, даже контужен не был, а недавно вздумал ночевать на своей квартире, и вдруг ракета угодила в дом— пробила крышу и потолок и в спальне его разорвалась... Третьего дня его хоронили.

Дебу назвал и фамилию этого капитан-лейтенанта. Варя слышала эту фамилию. Это заставило ее сразу оставить шутливый тон. Она болезненно поморщилась и спросила:

— Когда же, как вы думаете, уберутся от нас союзники, а? Неужели они останутся у нас зимовать?

— Все незваные гости убираются только тогда, когда их прогоняют,—сказал Дебу,—а если нехватает силенки их выгнать, то они и остаются, сколько хотят.

Глаза Дебу не улыбались при этом, но Варе не понравилось выражение, с каким было это сказано им; она вспомнила, что он—француз, католик,—такой же француз, как и те, которые стоят лагерем у Камышевой бухты и на Сапун-горе, а бомбардируют Севастополь с Рудольфа. И она сказала обиженно:

— Однако, говорят, что с их стороны к нам каждую ночь порядочно бежит народу... Значит, им у себя не так и сладко?

— Перебежчики эти ведь больше турки,—пренебрежительно отозвался Дебу.

— Ну, есть, говорят, и англичане, даже и французы, прошу меня извинить!

— В чем же именно вы просите извинения, Варенька?

— Все-таки, как бы там ни было, но ведь вам, как французу, это может быть неприятно.

— Так, Варенька, вы можете дойти и до того, что спросите, почему я до сих пор не перебежал к французам,—грустно сказал Дебу.

— Зачем же мне спрашивать такое?.. Хотя вот Витя откуда-то узнал, что и от нас перебегают к союзникам, только одни поляки, впрочем.

— Ну, а вы, то есть все семейство ваше, так и не желаете перебежать отсюда куда-нибудь на север?—спросил Дебу, отчасти чтобы вывести из затруднения Варю.

— Что? Дезер-тировать?.. Как какие-то там поляки делают?—вдруг оскорбленно поглядела на Дебу Варя.

Она не могла бы себе объяснить и теперь, что такое тогда в словах Дебу ее оскорбило так остро, но именно тут она вдруг представила Хлапонину, которая не только никуда не бежала из Севастополя, но даже сама пошла служить в госпиталь и выдержала там четырехдневную бомбардировку, помогая раненым, как могла... И не она ли раньше ездила на Альму, когда там было сражение?

Конечно, Варя знала, что даже и мать ее склонялась уже теперь, испытав всякие мытарства, к решению уехать, но в каких-то тайниках ее самой незаметно совершалась работа неясных еще мыслей, может быть, даже больше чувств, чем мыслей, что уезжать отсюда молодым и здоровым неудобно как-то, неловко почему-то, даже стыдно, пожалуй... низко.

— А что делают с дезертирами?—спросила Варя Дебу, который не успел еще найти, как ответить ей на раньше заданный вопрос.

— Расстреливают, кажется,—не понял ее Дебу.

— Как так расстреливают? Та сторона, на которую они бегут, их расстреливает?

— Ну, что вы! Зачем же! Там им, конечно, бывают очень рады...

— Ага! Вот видите: рады! Почему же?

— Да потому, во-первых, что они приносят сведения очень нужные, а затем благодаря перебежчикам этим противник ведь становится слабее численно: сегодня перебежит десять, завтра пятнадцать,—глядь целой роты у противника и нет!

— Вот видите! Роты и нет!—повторила Варя торжествующе,—и Дебу еще не понимал, откуда взялся у нее этот торжествующий над ним тон, как Варя уже спешила с ним проститься, и потому, что шла она по делу, и потому, что хотела теперь остаться одна со своим решением, которое в ней созревало.

Конечно, разговор с Дебу продолжался в ее разгоряченном мозгу и тогда, когда она шла по делу дальше, и потом, когда возвращалась домой: это бывает часто, когда люди возбуждены. При этих отнюдь не праздных, впрочем, упражнениях мысли она будто бы спрашивала Дебу не без насмешки: «Странно, в самом деле, почему это вы до сих пор не дезертировали к своим соплеменникам! Ну, посудите сами, что дала вам Россия? Только арестантские роты да солдатчину за вашу приверженность ко всем этим учениям Фурье[1] и других французов, о которых вы мне говорили...» А он будто бы отвечал кротко: «Но ведь родился я все-таки в Петербурге, а не в Париже, где у меня нет ни родных, ни друзей, как нет их и во всей Франции... Арестантские роты я уж отбыл давно, а солдатчина моя кончается. Если только меня не убьют, то я ведь буду произведен, значит, получу снова все права и могу ехать куда угодно, и делать, что хочу...»

После этих слов, сказанных кротко, она простила ему даже и то, что он француз. Она и раньше не могла долго сердиться на Дебу. Он был, ко-

---

[1] *Фурье Шарль* (1772—1837)—французский социалист утопической школы.

нечно, не так уж и молод и не то чтобы красив, но он слишком занимал ее мысли.

Она представляла и то, что его, хотя и не в сражении, а на работах, но ранят точно так же, как капитана Хлапонина... Кто придет тогда навестить его в госпитале? Она... Придет и скажет: «Вы ранены ведь французами, не так ли? Или англичанами, союзниками французов, не все ли равно?.. Но родина ваша все-таки Петербург, а не Париж,— Россия, и вы ее защищали, как могли... И друзья ваши здесь, в России, в Севастополе, а не там, на Рудольфовой горе!»

И весь день после этой встречи она была во власти не совсем для нее ясных, напротив, очень взбудораженных представлений, среди которых нет-нет да и сверкнет вдруг только что прокравшееся в ее мысли маленькое хотя, но очень значительное словцо: «Низко!»

А вечером в этот же день всего на несколько минут заходила к ним старая, в седых буклях и очках жена одного бездетного чиновника адмиралтейства, грудастая, густоголосая...

— Представьте вы себе, Капитолина Петровна, родная,—говорила она,—каждый день я хожу теперь в морской госпиталь раненых матросиков чаем поить! Ну, что же поделаешь, когда я никаких этих там перевязок и даже на раны не могу смотреть,—дурно мне становится,—а чай я, конечно, весь свой век еще с девчонок у отца наливала гостям и только спрашивала: «Вам пожиже или покрепче? Не боитесь цвет лица испортить?»... И вот что я вам скажу, родная, ведь они там,— администрация-то ихняя,—оказалось, чаем-то поить раненых и не у-ме-ют! Операцию там и перевязки — это, конечно, тоже дело нужное, а чай-то—ведь это же для нас, для русских людей, тот же воздух! А у них это все и безалаберно-то и грязно, и посуды-то на всех нехватает, да и бьют ее то и знай,—вот я и занялась там чаем!..

Она посидела минут десять всего, спрашивала, нет ли лишних стаканов и блюдечек, и взяла с дюжину стаканов и сколько-то чашек, а сама оставила в Варе хлопотливость и блистанье очков, добродушие и круглоту двух подбородков, низкие ноты густого голоса и густой запах госпиталя, пропитавший ее шерстяное платье.

Так как говорилось уже дня за два до этого о возможном отъезде, то Варя тогда же принялась было откладывать в особую корзиночку с замком то свое, чем она не так давно еще дорожила, и сама удивилась тому, какое все это было детское, ничтожное, мизерное, и как далека она была теперь от всех этих альбомов со стишками, писем любимых подруг по пансиону, в котором училась, рисунков для вышивания и выжигания, которые кто-то приводили ее в восхищение, вырезок из журналов мод, французских книжонок...

Утром в этот день, когда вернулся с Корниловского бастиона Витя, Варя принесла все свои реликвии на кухню и бросила их около плиты на подтопку. А когда кричала мать по поводу Вити что она пойдет к начальнику гарнизона жаловаться на то, что забирают на службу детей, решение Вари было уже готово.

На другой день уже не мать, убежденная все-таки хотя и косноязычным, но очень твердо почему-то ставшим на сторону Вити отцом, а она, Варя, пошла к генералу Моллеру, начальнику гарнизона, и без особых задержек и затруднений получила разрешение на уход за ранеными на первом перевязочном пункте.

ГЛАВА ПЯТАЯ
ДВЕ ВЫЛАЗКИ

1

Генерал Данненберг, которому Меншиков в донесении царю приписал всю неудачу Инкерманского боя, был отозван в Петербург, а на его место назначили по просьбе того же Меншикова командира третьего корпуса, барона Остен-Сакена Дмитрия Ерофеевича, что дало повод Меншикову сострить: «Ну, вот, и подкрепили нас ерофеичем!»

В противоположность Меншикову, которого одесский Златоуст, архиепископ Иннокентий, после того как тот не принял его в лагере под Бахчисараем и не позволил везти в Севастополь икону Касперовской божией матери, ославил атеистом, Остен-Сакен был богомолен анекдотически, до умопомрачения и вполне был убежден, что именно восемнадцатилетний прапорщик артиллерии Щеголев отстоял Одессу от покушений на нее союзного флота, а отстоял потому, что был юноша весьма верующий, и что он сам, барон Остен-Сакен, начальник гарнизона Одессы, тоже человек образцово верующий, а предстателем их перед богом и молитвенником за Одессу был и остается совсем уже святой жизни архипастырь Иннокентий.

Если Меншиков шутки ради давал Николаю совет сделать Клейнмихеля митрополитом Петербургским и Ладожским на место умершего Серафима, то Сакен как будто рожден был именно митрополитом и только по злостной шутке судьбы вышел в генералы от кавалерии, пройдя боевую школу во всех войнах против Наполеона, затем на Кавказе в армиях Эристова и Паскевича.

Паскевич сделал его в турецкую войну 1828—1829 годов своим начальником штаба, но это значило только, что никакой самостоятельной мысли он проявлять не смел. За то он, будучи уже тогда генерал-майором, торжественно благословлял и дарил отеческим поцелуем каждого из начальников мелких кавалерийских отрядов, отправляющихся в

рекогносцировку, будучи твердо убежден в том, что это священнодействие принесет им удачу. Когда же он напросился сам на командование несколькими эскадронами, чтобы добить разбитых при Миллидюзе и бегущих турок армии Гахи-паша, то действовал при этом до того осторожно, что упустил их, за это попал под следствие, и Паскевич стряхнул его с Кавказа на службу в России.

Однако боевой опыт помог Сакену одержать победу над польским генералом Гелгудом в 1831 году. Потом он участвовал в Венгерской кампании снова под командой Паскевича... Так, с годами, постепенно продвигался он в чинах и обвешивался крестами, звездами и лентами.

Теперь ему шел уже шестьдесят пятый год, но он происходил из рода весьма долговечных остзейцев, хотя при своих узких плечах и длинном росте не казался особенно прочным.

В начальники штаба к нему был назначен флигель-адъютант князь Васильчиков, родной брат секунданта Лермонтова в дуэли с Мартыновым. Это был еще молодой полковник, человек энергичный и в силу своих лет, и по натуре, и по тому, что хотел оправдать доверие к себе царя, хорошо его знавшего. Лет за десять до Крымской войны, во время поездки Николая за границу, Васильчиков был назначен сопровождать его и, как это водилось, был награжден и нидерландскими, и австрийскими, и сардинскими, и сицилийскими орденами; военных же подвигов за ним не числилось, хотя он и был одно время прикомандирован для этой цели к командующему Кавказской армией генералу Граббе: он не был рубакой; весь его душевный строй был более штатский, чем военный.

Он появился в Севастополе гораздо раньше Сакена; Сакен же в тяжелом тарантасе, медленно-медленно, шагом и с частыми остановками тянувшемся по грязи, ехал вместе со своим адъютантом Гроттусом и только к утру 24 ноября миновал почтовую станцию Дуванкой, последнюю перед Севастополем.

Старики часто бывают болтливы, и Сакен был именно из таких, весьма болтливых; теперь же, когда он был совершенно свободен от всяких служебных дел, как бы совершая некий вояж, он совсем заговорил кроткого Гроттуса, слушавшего его с необходимым терпением.

За длинную дорогу от Одессы до Симферополя, отдавшись пленительному потоку воспоминаний, он рассказывал своему адъютанту и то, что уже говорил ему неоднократно за своим обеденным столом раньше, однако при этом спрашивал:

— Мне кажется, вы от меня этого еще не слыхали, не правда ли?

И Гроттус, бывший в чине ротмистра, но надеявшийся в Севастополе выскочить по крайней мере в полковники, неизменно отзывался:

— Никак нет, не приходилось от вас слышать... Может быть, рассказывали кому-нибудь другому, я же слышу это в первый раз.

— Вот видите! А это, это, знаете ли, примечательно в высочайшей степени, что я вам сейчас рассказал!.. Но в непосредственной связи с этим находится еще и такой эпизод...

И Сакен вспоминал, что́ когда-то, этак лет сорок пять назад, сказал или сделал граф Остерман, у которого он был тогда адъютантом, или как при его, Сакена, непосредственном участии истреблен был арьергард французов под Вязьмою, или кое-что о Милорадовиче, у которого он тоже был адъютантом, числясь в лейб-гвардии Литовском полку, или о Ермолове, или о князе Баратове, или о князе Андронникове...

Но иногда в рассказы эти, давно уже набившие оскомину Гроттусу, вплеталось действительно кое-что новое.

Подъезжая к Симферополю, Сакен начал развивать перед своим адъютантом внезапно осенивший его план обратиться в святейший синод с покорнейшей просьбой оповестить иеромонахов в монастырях, что православное воинство, защищающее Севастополь от мусульман и их друзей, нуждается в духовной помощи и просвещении, почему чем больше иеромонахов явится в осажденный город, тем крепче будет дух его защитников.

— Приходские священники необходимы своим приходам,—объяснял он Гроттусу,—между тем как иеромонахов бывает по нескольку, знаете ли, человек в каждом даже не особенно видном монастыре, а в лаврах их десятки, да, буквально десятки!.. А что нужно нашему русскому солдату? Причастить его перед смертью—вот что для него главное... Смерть без причастия, это у него, знаете ли, называется н а п р а с н а я смерть,—вот как это называется. И когда он отправляется в бой, он любит, чтобы отслужили молебен. И это будет первый мой шаг, когда я приму начальство над гарнизоном: я обращусь тогда в святейший синод!

Дорога между Симферополем и Севастополем все-таки очень круто повернула мысли Остен-Сакена от небесного к земному.

По этой дороге, точнее, по полному бездорожью, в несколько рядов туда и обратно двигались с огромнейшим трудом, выкатывая глаза и раздувая ноздри, лошади, мокрые волы и верблюды, которых звонко колотили кнутовищами по ребрам. Увязающие по ступицы подводы тащили фураж, орудия, порох, снаряды, раненых, обывателей, и люди около них и на них орали, ругались, стонали, не обращая никакого внимания на нового начальника севастопольского гарнизона, командира 4-го корпуса...

На почтовых станциях нельзя было согреться: они не отапливались, их нечем было отапливать... На иных не было даже и станционных смотрите-

лéй... На дворах их валялись, раскорячив ноги, издохшие от бескормицы лошади, которых некому было вывезти подальше... В ямщицкой на одной станции, куда в поисках людей задумал заглянуть сам Сакен, он увидел трупы трех, уже босоногих ямщиков, торчавшие под лавками, а на лавках умирали двое, пока еще проявлявшие некоторые признаки жизни.

— Что это тут такое, а?—испуганно обратился Сакен к своему адъютанту.—Что это, я вас спрашиваю, а?.. Чума? Какая была в Карсе?..

Гроттус сам пятился назад в ужасе, но бормотал при этом успокоительно:

— Не пятнистая ли это горячка, ваше высокопревосходительство? О чуме ведь, если бы появилась, было бы слышно...

— Ну да, ну да, и князь Меншиков должен бы был распорядиться насчет карантина,—несколько приходил в себя Сакен.—Да, скорее всего это—тифус.

На этой станции совсем не пришлось выпрягать измученных коней, только дали им отдохнуть и сунули им по куску солдатского хлеба с крупной солью.

Чем ближе подвигались к Севастополю, тем больше расстраивалось воображение барона. Под Бахчисараем он внимательно всматривался в вечереющее небо и вдруг вскрикнул:

— Но ведь это же монгольфьеры![1] Смотрите скорее сюда!

Гроттус поднял голову кверху.

— Коршуны, кажется,—сказал он.

— Монгольфьеры, я вам говорю!—упорствовал Сакен.

— Повидимому, это орлы,—догадывался Гроттус.—Они, несомненно, велики для коршунов.

— Орлы?.. Вы полагаете, что... Я и сам замечаю какие-то зубцы у них по сторонам... Крылья, а? Но, может быть, это монгольфьеры новейшего какого-нибудь образца, а?..

— Нет, это просто орлы,—решительно отверг догадку своего начальника адъютант.

— Однако, когда я участвовал в Венгерской кампании,—не успокаивался, хотя и опустил уже голову Сакен,—я это слышал и даже читал в подробностях, как австрийцы атаковали Венецию монгольфьерами... Я вам рассказывал это?

— В первый раз слышу, чтобы монгольфьеры годились для атаки!—удивился вполне искренно Гроттус.

— Вот видите, сколько я могу еще рассказать вам нового для вас!—слегка даже торжествовал Сакен.—Да, была такая атака, была... это совсем недавно, стало быть, в сорок девятом году... Их, знаете ли, клеили из бумаги и доставляли в армию на подводах в сложенном виде... Ну, так, десять или даже двадцать штук клали на подводу,—не помню уж,—ведь они легкие. На месте уж там их надували, как это делается, знаете? Их надувают над такими жаровнями... Я когда-то интересовался этим, но не очень помню это теперь... И вот сто штук примерно,—я не настаиваю на этом именно числе, или больше или меньше, как пишут в купчих крепостях на землю,—сто или больше штук было доставлено... И, знаете ли, на каждый в гондолу садился человек, поднимался, знаете ли, на высоту над Венецией и... бросает вниз снаряд, представьте! Были снаряды разрывные и были зажигательные, насколько я помню. Конечно, что могло загореться в таком городе, как Венеция? Суда в гавани могли загореться прежде всего,—и они сейчас же вышли из гавани в открытое море... Даже на площадь святого Марка попадали разрывные снаряды, насколько я помню!

— Можно себе представить, что тогда делалось в Венеции!—сказал Гроттус.

— Вот! Вот именно,—что делалось! Они вьются над головой, как вот эти орлы, и от них вниз летят бомбы! И, знаете ли, я боюсь, что это может случиться и здесь, в Севастополе! Ну, что им стоит, скажите, доставить сюда морем монгольфьеры, а?.. Клеить же их они могут и в Варне, например,—бумаги же у них много,—и вот...

Сакен закрыл глаза, вздохнул и покачал головой.

— Да, это было бы скверно,—согласился Гроттус.—Но, помните, писали в газетах о каких-то удушливых газах английского изобретения? Кажется, еще в сорок втором году изобретены они были...

— Да, да! И бомб с этими газами привезли союзникам в Крым целый транспорт!

— Однако мне писали, что бомбы эти теперь уже союзники не употребляют в дело... Они, эти бомбы, правда, оказались очень зловонные, но, говорят, что зловоние все-таки людей не убивает...

— О-о!—поднял кверху палец Сакен.—Русскому солдату—что ему там какое-то это зло-воние! Гм... гм... Нашли, чем удушить русского солдата! Но монгольфьеры, это, знаете ли, мой дорогой Гроттус, совсем другое дело...

От Дуванкоя уже вполне отчетливо было слышно пушечную пальбу из больших орудий, хотя и редкую. Когда же часа через три дотащился тарантас Сакена до Северной стороны, откуда развернулся величественный вид на Севастополь и бухты, перестрелка сделалась очень оживленной, и Сакен обратил внимание на белые клубы дыма от выстрелов в открытом море.

— Что это там? Посмотрите, Гроттус, у вас глаза острее моих! Похоже, как будто здесь происходит настоящий морской бой, а?..

---

[1] *Монгольфьер*—аэростат, который поднимается при помощи нагретого воздуха. Назван по имени своих изобретателей, братьев Монгольфьеров.

— Я вижу три парохода, но чьи они и куда палят, этого не пойму,—отозвался Гротгус.

— Нет, знаете ли, это... это меня необыкновенно занимает!—почти восхищенно раза два проговорил Сакен, не отрывая от моря своих сильно выпуклых раскосых глаз, редко поставленных на круглом, бритом, с небольшими рыжеватыми, опущенными вниз усами, свежем еще для его возраста лице.

Но это занимало в тот момент не только Сакена; за происходившим в море следил с живейшим участием весь Севастополь.

2

Русский Черноморский флот был так прочно, казалось бы, закупорен в бухте прежде всего стеною своих же собственных затопленных в сентябре судов, что интервенты просто сбросили его со счетов, как активную силу.

Он существовал, по их мнению, только как резерв для сухопутной линии обороны, давая туда и свои орудия, и матросов из своих экипажей, точно так же, впрочем, как это было и во флоте союзников.

При канонаде иногда случалось так, что русские артиллеристы били прямой наводкой по амбразурам батарей противника, и не одно ядро при этом врывалось в жерла осадных орудий и взрывало их. Интервенты снимали, чтобы поставить на их место, орудия со своих боевых судов, постепенно их разоружая, что же касается матросов с этих судов, то к концу ноября на иных батареях, как английских, так и французских, по десяти смен выбыло из строя: так велики были потери от огня севастопольцев.

Но велика была и уверенность адмиралов Гамелена и Лайонса,—заменившего отозванного в Англию за бездеятельность Дондаса,—в полной безвредности русского флота. На внешнем рейде, вне досягаемости самых дальнобойных орудий фортов, стоял только один винтовой пароход, на прочном якоре, в полной беспечности, почти в полусне, не дымил, не спускал шлюпок, вообще не показывал признаков жизни.

Назначение его было наблюдать за передвижением судов в бухтах, и, несомненно, на нем вели журнал этих наблюдений, но может же, наконец, и надоесть вид такого молчаливого стража.

Так надоел он Нахимову. В его распоряжении были два вполне исправных парохода—«Владимир» и «Херсонес», правда, колесные, а не винтовые, но под командою бравых и молодых капитанов—Бутакова и Руднева, матросы же на них своей удачной стрельбой оказали уже неоценимую услугу русской армии в день Инкерманской битвы.

«Мегера», железный пароход-наблюдатель, стояла против небольшой и мелководной Песочной бухты; несколько поодаль от него, в большой по размерам Стрелецкой бухте, находились два других парохода интервентов, а дальше к востоку—в бухте Камышевой была стоянка всего французского флота. К северу же от Севастополя, у устья Качи, несколько судов союзников занимались разгрузкой выброшенных здесь на берег во время бури кораблей и транспортов, охраняя их в то же время от покушения со стороны русских тыловых войск всею мощью своих пушек.

Такова была обстановка на море, когда Нахимов вызвал к себе старшего в чине из двух капитанов Бутакова и дал ему приказ атаковать намозолившего всем глаза стража.

Матросы на обоих пароходах сразу повеселели, чуть только услышали, что выходят в море, но когда (это произошло в ясный и теплый полдень) разведены были цепи боков и один за другим любимцы гарнизона «Владимир» и «Херсонес» вышли на открытый рейд и побежали по направлению к неприятельскому пароходу, глаза всех обратились на море,—до того это зрелище было неожиданно, смело и красиво.

На берегу Стрелецкой бухты по склону расположен был французский лагерь с несколькими полевыми батареями при нем. Энергичный Бутаков не захотел терять времени напрасно и приказал открыть на ходу пальбу по этому лагерю и по пришвартованным к берегу пароходам, а страж между тем понял, что ему угрожает опасность, вышел из своей спячки, стал разводить пары и проворно сниматься с якоря.

Эскадре, стоявшей в Камышевой бухте, он давал сигналы о помощи, отстреливаясь в то же время от приближавшегося «Владимира».

Скоро пальба стала общей и весьма оживленной: палили из полевых орудий, придвинутых к самому берегу, палили с двух пароходов, не решавшихся выходить из бухты, палил получивший способность двигаться и уходивший во всю силу разведенных паров страж, палили, наконец, и оба небольших, но смелых русских парохода.

Может быть, большой поспешностью, нервностью стрельбы со стороны интервентов объяснялось то, что ядра и бомбы их только «уходили пить», как говорили матросы, между тем как на одном из пришвартованных пароходов вырвался из-под палубы столб белого пара—знак того, что снарядом с «Херсонеса» был пробит на нем паровой котел.

Обстрел французского лагеря произвел в нем величайший переполох, но страж уходил из-под выстрелов «Владимира», пользуясь преимуществом хода. Напротив, боевые суда французов, стоявшие в Камышевой бухте, заслыша пальбу и приняв сигналы, поспешили на помощь, а от устья Качи в свою очередь двинулся большой пароход. Но кроме них, находившихся в это время в дви-

жении в открытом море, два английских парохода, а за ним французский, на котором в трубу можно было различить вице-адмиральский флаг, переменили курс и стали приближаться к месту боя.

Так с трех сторон устремились суда интервентов на два бойких русских парохода. Улыбаясь в лихие усы, Бутаков дал сигнал к отступлению в Севастополь, и «Владимир» пошел в кильватер за «Херсонесом».

Один большой быстроходный англичанин успел приблизиться к «Владимиру» на действительный выстрел. «Владимир» отстреливался от него из кормовых орудий. Наконец первое и единственное неприятельское ядро ударилось в фок-мачту, отбило часть мачты, перебило несколько снастей и ушло пить воду.

Пароходы вернулись в бухту, не потеряв ни одного человека. Нахимов объявил благодарность их экипажам и приказал выдать матросам по лишней чарке водки, невзачет дневной порции.

3

Дня через два после приезда, приняв от Моллера и его начальника штаба полковника Попова все дела, Остен-Сакен объявил в приказе, что он вступил в должность начальника гарнизона крепости Севастополь.

При обычном в подобных случаях представлении ему высших чинов разных ведомств он был очень любезен со всеми,—это было в его натуре,—но особенное внимание оказал он герою Синопа. Конечно, он восторженно рассказал при этом Нахимову о том, как прямо с приезда удалось ему полюбоваться вылазкой двух пароходов.

— Положительно, знаете ли, они меня совершенно очаровали, точно бы это были две красавицы!—говорил он, склоняя голову набок, делая умильные глаза и прикладывая руку к сердцу.— Я за них, признаюсь вам откровенно, по-ба-и-вался, конечно, когда разглядел хорошенько опасность,— опасность, какая им угрожала со всех сторон... И я, знаете ли, молился про себя втайне, чтобы ушли они благополучно... И так я был рад, когда увидел, что ушли и уже в полной безопасности! А когда я услышал, что даже потерь при этом никаких не понесли, то это уж, знаете ли... честь им и хвала! Будто они на прогулку ходили!

— Да, вот-с, все-таки... Это подняло все-таки, я так думаю-с, настроение духа у войск,—по обыкновению запинаясь, но при этом пристально разглядывая и стараясь оценить нового начальника гарнизона, отвечал ему Нахимов.—Риску же тут было, признаться, мало-с... Команды на пароходах прекраснейшие, дело свое знают отлично-с. Однако... должен я вам сказать, что за разрешением на вылазку эту обращаться я был обязан, конечно, к его светлости, главнокомандующему, и едва-едва он разрешил-с!.. А ведь без вылазки как же-с? Защищаться—это ведь и значит нападать, а отнюдь не ждать, когда на тебя нападут-с! Будь у у нас винтовые пароходы и получше тех, какие имеются колесные, ведь мы бы имели в этой вылазке хороший успех... Теряем время-с!—перебил он сам себя резко.—Самое лучшее время для нападения мы теряем-с! Я докладывал об этом его светлости, но он на это только рукой машет,— вот как-с!.. А между тем-с теперь сезон штормов, теперь отнюдь не всякий транспорт союзников дойти по назначению может-с... Между тем что же изволил сказать мне его светлость?—горячо закончил Нахимов:—«Нельзя, говорит, наступать, если пехоту учили все время тому, что два патрона боевых должны хватить солдату на цельный год для обучения стрельбе, а кавалерия наша не имела ни одной порядочной атаки со времен Полтавского боя!»

— Кавалерия?!—выпрямился вдруг очень воинственно Сакен.—А как же тогда дело под Прейсиш-Эйлау? [1] А павлоградских гусар, атака на французский кавалерийский полк... это было где же, позвольте? Это было под Франкфуртом, и командовал тогда павлоградцами майор Нечволодов... До трехсот человек тогда французов было изрублено, а человек двести взято в плен вместе с полковым командиром! А сколько было кавалерийских атак, когда из России Наполеона гнали?.. А все кавказские войны,—как же можно! Ведь эти войны—и при Котляревском, и при Ермолове, и при князе Паскевиче, тогда он был, впрочем, графом, и даже просто генерал Паскевич... кавалерийские войны были!.. А между тем... между тем его светлость, по вашим словам, утверждает, что... что совсем не было порядочных атак! Как же так, я вас спрашиваю?

Сакен показался Нахимову теперь как будто даже оскорбленным и за кавалерию и за себя. Он не знал, что Меншиков действительно несколько задел его, когда тот представлялся ему по приезде. И без того восторженного склада Сакен был, конечно, весьма возбужден тем, что он—в Севастополе, который ему высочайше доверен для защиты, и сказал, может быть, и не совсем обдуманно, зато с большим чувством:

— Эх, если бы одесского героя, Щеголева-прапорщика, сюда!.. Впрочем, он уж теперь и не прапорщик, а штабс-капитан и георгия носит за свой подвиг...

— А еще лучше бы,—ехидно подхватил Меншиков,—прислать бы сюда игумена Соловецкого монастыря, как, бишь, его там зовут! Раз он от

---

[1] *Прейсиш-Эйлау*—город в Восточной Пруссии, около которого в 1807 г. русские войска в союзе с прусскими отразили армию Наполеона.

своего монастыря англичан отбил, то, разумеется, отбил бы союзников от Севастополя!

Теперь-то, познакомившись с огромным делом осады и обороны Севастополя, Сакен понимал уже, что высунулся с одесским героем не очень кстати, но все-таки замечание Меншикова казалось ему нетактичным.

— Кавалерия могла бы сослужить свою службу у нас во время Инкерманского сражения-с,—сказал Нахимов.—Я лично, конечно, мало понимаю в этом, но утверждают пехотные генералы, что если бы тогда кавалерия наша вся,—а ее было свыше семи тысяч!..—если бы она двинулась на Балаклаву, то победа была бы наша... и полная-с! Но вот не вышло-с почему-то... И теперь ее у нас уже не имеется, перебросили к Евпатории, где ожидается десант новый, чтобы нас от Перекопа отрезать... Да и фуража не достало для такого множества коней... Черная речка теперь непроходима-с... Мосты пробовали ставить,—рвет их и уносит-с... Тройка фурштатская кашу Чоргунскому отряду везла с Инкерманской стороны,—хотела вброд перейти,—куда тут! Унесло и тройку и кашу-с! Теперь уж упущено время для новой атаки с той стороны большими силами-с... Теперь только мелкие вылазки возможны-с. А для подобных вылазок ваших полномочий как начальника гарнизона вполне довольно-с. Им нельзя давать покоя, союзникам-с! Их надо тормошить и трепать, хотя бы и понемногу-с!

И Нахимов сделал правой рукой энергичный жест, как будто схватил кого-то за чуб и треплет... Сакен немедленно с ним согласился, и действительно первая при нем вылазка была назначена на следующий же день со стороны третьего бастиона.

И поздно вечером, часов в одиннадцать, перед тем как отряд охотников должен был выступить по направлению к французским редутам, сам новый начальник гарнизона изъявил непреклонное желание благословить участников вылазки.

Высокий, но несколько хлипкий, светлоглазый и с русыми бакенбардами, несколько длиннее общепринятых, князь Васильчиков, со всею серьезностью доводов начальника штаба пытался было отговорить его, но не успел в этом. Напротив, ему пришлось сопровождать Сакена, так как он, приехавший в Севастополь гораздо раньше,—предполагалось так,—должен был знать дорогу к третьему бастиону. Вместе с ним сопровождали Сакена Гротгус и флигель-адъютант Ден.

Ночь, однако, была далеко не из светлых. Все ехали верхами, но почему-то лошадь под старым кавалерийским генералом все спотыкалась и даже однажды оступилась в какую-то непредвиденную канаву, едва не сбросив своего седока.

— Гм... Странно,—задумчиво сказал Сакен.—Туда ли мы едем, куда надо?

— Едем-то мы туда, но вот зачем именно едем—вопрос!—недовольно ответил Васильчиков.—Тем более, что и опасно ведь... Вот это летит на нас сверху яркое,—это совсем не метеор, а ракета, ваше высокопревосходительство!

— Да, это ракета,—согласился Сакен,—но она упадет сзади нас, я думаю...

— А другая может попасть и в нас... Нет, мы напрасно едем.

— Это направо от нас что за стена, не знаете?—спрашивал Сакен.

— Это? Направо?.. Это—сад, а стены тут никакой нет.

— Сад?.. Есть еще, значит, и сады в этом Севастополе,—философски заметил Сакен, и снова оступилась его лошадь, почти упала на передние ноги.

— Может быть, вы уговорите его не ехать дальше,—прошептал на ухо Дену Васильчиков.—Ведь у него куриная слепота, он ничего не видит теперь и зря дергает лошадь.

Ден, знакомый еще по Одессе и с Сакеном и с его женою, Анной Ивановной, которую тот любил без памяти, решился на последнее средство:

— Если вы поедете туда, на бастион, где так опасно,—обратился торжественно к Сакену Ден,—и если с вами случится, не дай и сохрани бог, несчастье, что я скажу Анне Ивановне, когда она спросит, почему я вас не отговорил?

Эта длинная фраза, сказанная торжественным тоном в глубокой тьме, а главное, упоминание об Анне Ивановне привели к желанному исходу вылазку Сакена.

— Ах, Анна Ивановна, да, да... Вы правы, мой друг! Я чуть было не сделал большую глупость!—с чувством отозвался Дену Сакен, ощупью нашел его руку, чтобы пожать ее крепко, и повернул своего коня, который шел назад, уже не оступаясь.

На третий бастион послан был как представитель своего начальника только Гротгус в сопровождении двух полевых жандармов.

4

Подполковник Ден, один из многочисленных флигель-адъютантов Николая, был послан в Севастополь вскоре после Алминского сражения и остался в свите Меншикова, как очи и уши царя. Этих очей и ушей очень не любил Меншиков и при каждом появлении нового флигель-адъютанта болезненно морщился, трагически вытягивал: «Заче-ем он?»—и старался найти ему какую-нибудь командировку внутрь Крыма, подальше от Севастополя. Он знал уже, что каждый доклад подобного посланца царя о виденном в Севастополе вызывал новые и новые приказы Николая, как надобно действовать ему, главнокомандующему, между тем как сам он,—так ему казалось,—гораздо лучше, чем царь из своей Гатчины, понимал создавшуюся на

театре войны обстановку и действовал, напрягая все силы.

Эта уверенность в безошибочности своих личных действий роднила его с Николаем.

Года за четыре до начала Крымской войны отец Дена, генерал-инженер, осматривал сухопутные укрепления Севастополя и вошел к Николаю с докладом об их совершенно непозволительной слабости.

— Что же ты хотел бы там еще видеть?—спросил его Николай.

— Я хотел бы видеть Севастополь настоящей крепостью, то есть не морскою только, но и сухопутной,—ответил генерал-инженер.—Мне кажется, что окрестности Севастополя будто нарочно созданы природой так, чтобы их хотя бы несколько укрепили, а потом уж были бы спокойны за судьбу города.

— И где же именно, думаешь ты, надо провести линию этих укреплений?—иронически спросил царь.

— В район крепости, ваше величество, я непременно ввел бы и Инкерман, и Федюхины высоты, и Сапун-гору—такие естественно крепкие позиции... Там, на их восточных склонах, расположил бы я линию передовых фортов, а из Севастополя провел бы к ним шоссейные дороги для удобства сообщения с ними. Затем вторую линию фортов я устроил бы на таких более близких к городу высотах, как Зеленая гора, Рудольфова гора...

Николай перебил его, рассмеявшись:

— И против кого же это,—против крымских татар, что ли, ты хочешь сооружать все эти форты?.. Напрасная трата денег: татары покорны и спокойны. А в случае чего, для них вполне достаточно того, что имеется в Севастополе...

— Я меньше всего думаю о татарах, ваше величество... Я даже совсем не думаю о них,—сказал Ден-отец.—Но не так давно мне случилось прочитать записки французского генерала Мормона [1] еще от тридцатых годов. Он предсказывает, что если начнется война между Францией и Англией с одной стороны и Россией—с другой, то ареной борьбы будет Севастополь, а затем и весь Крым.

— Охота же тебе придавать значение глупым пророчествам разных мормонов! [2]—уже с оттенком досады в голосе возразил Николай и этим кончил разговор о возможном укреплении Севастополя с суши, которое могло бы предотвратить Крымскую войну, или значительно ее отсрочить, или дать ей совершенно иной облик.

Поскупился ли Николай на средства для обширных укреплений, не хотел ли давать понять западным державам, что допускает мысль о возможности нападения с их стороны, или действительно и непоколебимо был уверен, что никто не осмелится на Россию напасть именно в этом пункте?

Скорее всего последнее. Он просто недооценивал огромнейшего торгового флота Англии и Франции, как транспортного средства для переброски большого десанта, а малые,—тысяч на двадцать, на тридцать,—конечно, не были бы страшны для севастопольского гарнизона. Мысль о том, что не одна тысяча торговых судов может участвовать в доставке осадных орудий и вообще всего, что необходимо для осады черноморской твердыни, просто не укладывалась в голове Николая. Десантные отряды русских войск,—однажды в Константинополь и несколько раз на Кавказ,—перевозились обыкновенно, по его приказу, на боевых кораблях. Только такой порядок вещей представлялся ему возможным и со стороны Франции и Англии, если бы вдруг, паче чаяния, вздумалось им затеять с ним войну.

Он был и остался консервативен и здесь, несмотря на то, что всякие новости в военном деле должны бы были, кажется, найти прямой доступ в сферу его мыслей. Виктория после его визита в Англию в 1844 году писала бельгийскому королю Леопольду: «Николай не очень умен и занят всецело только политикой и военными вопросами». И однако, действительно отдавая военным вопросам все свое время, недальновидный Николай, при тупой самонадеянности своей, оставил Севастополь совершенно беззащитным с Южной стороны. И если гарнизон Севастополя под руководством Корнилова и Тотлебена начал наспех строить бастионы, то это была уже не первая и не вторая даже, а третья, последняя, линия фортов в самой непосредственной близости от города и всех жизненных центров крепости и порта, что совершенно противоречило веками выработанной практике защиты крепостей, но отнести дальше линию бастионов не было уже возможности.

Между тем интервенты обкладывали Севастополь хотя и с одной только стороны, но соблюдая при этом все правила осадной войны. На сближение с бастионами русских они подвигались быстро, руководимые опытным французским военным инженером Бизо.

Зигзаги их апрошей [1], сколько бы ни задерживал работу над ними твердый каменистый грунт, шли неуклонно вперед, а в ложементы [2] их, параллельные линиям русской обороны, залегали стрелки, борьба с которыми делала вылазки неизбежными, как бы ни были по трофеям ничтожны их результаты.

---

[1] *Мормон Огюст* (1774—1852)—маршал Наполеона I, примкнувший после к Бурбонам.

[2] *Мормоны*—члены американской религиозной секты; названы по имени вымышленного пророка Мормона.

[1] *Апрош* (франц.)—буквально «подступ»—тип траншеи для прикрытия, строился зигзагообразно, по мере приближения к осажденному укреплению противника.

[2] *Ложемент* (франц.)—окоп для прикрытия орудий и людей.

Без этих вылазок обходилась редкая ночь, тем более что и сидевшие в передовых своих траншеях французы и англичане,—чаще, впрочем, первые, чем вторые,—подымали по ночам ложные тревоги. Они не выходили при этом из траншей, они только делали вид, что идут на штурм, кричали «ура» после усиленной пальбы. Это «ура» подхватывалось, перекатываясь из траншеи в траншею, и подымало на ноги даже пехотные прикрытия на русских бастионах, так как рискованно все-таки было оставаться спокойным при таких воинственных криках.

Зато вылазки с русской стороны после подобных упражнений интервентов бывали особенно удачны. Англичан чаще всего заставали мирно спящими, иногда даже в стороне от составленных в козлы ружей; французы же гораздо лучше несли сторожевую службу, чем наемники английских капиталистов, представлявшие свой поход в Россию чем-то вроде карательной экспедиции в Ост-Индии, стремительной, молниеносной, неотразимой, после которой наставал продолжительный период приятного ничегонеделания за шиллинг в день на всем готовом.

5

Первая вылазка при Остен-Сакене, раз только не удалось ему по причине темноты добраться до бастиона и благословить ее участников, ничем особенным не отличалась от тех, какие выполнялись и при Моллере.

Бывали вылазки совсем малыми командами при одном только офицере, но бывало и так, что на вылазку ходила целая рота охотников, сборная от разных частей. Эта вылазка в конце ноября была именно такого рода; в ней участвовали команды по нескольку десятков человек в каждой: от двух пехотных полков и от экипажей флота. Командовать вылазкой был назначен, как часто случалось это и раньше, лейтенант Бирюлев.

Никогда люди не бывают так суеверны, как во время боевых действий. Смерть реет тогда повсюду и вырывает из рядов свои жертвы то здесь, то там—по каким законам? Человеческий мозг устроен так, что непременно ищет законности и в совершенно случайном; однако как было бы объяснить, почему, например, храбрец лейтенант Троицкий, под ураганным огнем флота интервентов пробравшийся 5 октября на батарею № 10 и под тем же огнем, среди падавших роем около него бомб и ядер вернувшийся к Нахимову с докладом о положении батареи, уцелел тогда и сам и не потерял ни одного из доверившихся ему пяти человек матросов, а через несколько дней после этой ужасной канонады погиб от совершенно случайной штуцерной пули в первой по времени вылазке.

Но так же трудно было понять, почему удачно сходили именно вот Бирюлеву все вылазки, в которых он участвовал. Однако матросы заметили эту особую удачливость лейтенанта и с ним,—главное, под его общей командой,—шли на вылазки гораздо охотнее, чем с кем-либо другим из своих офицеров, точно там, где был Бирюлев, успех был заранее обеспечен.

Бывают такие исключительные любимцы жизни, которых не могут не любить окружающие. Бирюлев был и красив собою, и ловок, и не способен теряться в минуту опасности, умел увлечь за собою и во-время отозвать своих охотников, знал, когда бросить в толпу матросов острое словцо, способное заставить их забыть про опасность, когда влить предельную строгость в слова команды.

Словом, он был что называется прекрасным командиром роты в бою, и, пожалуй, больше всего именно этим объяснялась его таинственная удачливость в вылазках.

В середине ноября, когда стрелки, лежавшие в неприятельских ложементах, большей частью зуавы, стали слишком заметно вредить своими выстрелами с недалеких дистанций по амбразурам и по каждой голове, неосторожно выставлявшейся над бруствером, пришлось в защиту от них устроить наскоро свои ложементы шагах в двадцати от неприятельских и посылать в них своих стрелков. Они не назначались, они вызывались охотниками сами. Сначала это были пластуны, потом матросы и пехотинцы. Французы своих стрелков в ложементах называли enfants perdus[1] или infernaux[1]—сорвиголовами, головорезами, чертями,—русские же охотники никаких особых названий не получили. Они знали только, что половина из них, отдежуривших в ложементах свой срок, не дождется смены и не вернется назад, поэтому, отправляясь на свой опасный пост, усердно молились перед образом, висевшим обыкновенно на каждом бастионе. Ложементы представляли собой ряд мелких, только лечь, ямок, в которых голова стрелка едва прикрывалась выкопанной саперной лопаткой землей, и над бедовой головой каждого охотника то и дело пели штуцерные пули. Малейшая неосторожность—и пуля впивалась в голову или пробивала грудь около ключицы. В каждой ямке лежал только один охотник, и действовать ему приходилось на свой страх и риск, к чему никто не приучал в мирное время русского солдата. Какое бы ни проявлялось в это время геройство, оно оставалось совершенно безвестным, какая бы ни проявлялась тем или иным из охотников личная храбрость, она проявлялась только наедине с собой. И все-таки на место убитых или тяжело раненных шли ежедневно

[1] *Enfants perdus*—окаянные ребята, *infernaux* дьяволы (франц.).

в ложементы новые и новые охотники: недостатка в храбрецах не было.

Тем более не могло его быть около такого удалого командира, каким оказался Бирюлев. И первым из этих храбрецов был матрос Кошка.

На батарее капитан-лейтенанта Перекомского, куда попал Кошка в начале осады, известно было о нем только то, что он любил выпить, а под хорошую закуску сколько угодно, но никто и не подозревал в этом неказистом с виду матросе такого удальца, каким он проявил себя вдруг, когда убили в одной из первых вылазок бывшего рядом с ним его товарища, а на другой день тело его враги выставили с наружной стороны брустверa, подперев, чтобы держалось стоя.

Потемнел Кошка, когда разглядел тело старинного товарища, выставленное точно на позор.

— Дозвольте сходить его выручить, ваше всокбродь!—обратился он к Перекомскому.

Тот удивился,—не понял даже.

— Как это так—сходить выручить? С ума сошел, что ли? Того убили в деле, а тебе захотелось, чтоб тебя ухлопали попусту?!

— Не ухлопают авось, ваше всокбродь! Дозвольте сходить,—ведь глум над хорошим матросом производят...

— Он уже не матрос теперь, а бездыханное тело: какой же для бездыханного может быть глум?.. Впрочем, я доложу, пожалуй, начальнику отделения. Если он разрешит, то это уж будет его дело, а я считаю такой риск совершенно лишним.

Однако начальник 3-го отделения оборонительной линии, контр-адмирал Панфилов, совершенно неожиданно для Перекомского посмотрел на это иначе. Он согласился с Кошкой, что глумление над трупом павшего бойца надобно прекратить, только спросил Кошку, как же именно думает он выкрасть труп.

— Так что подползу до него ночью, а потом тем же ходом с ним обратно, ваше превосходительство...

Кошке казалось, что адмирал только время проводит, спрашивая о том, что и без вопросов вполне ясно и понятно, но адмирал сказал:

— Ночью ты можешь с принятого направления сбиться и совсем не туда попасть.

— Есть «не туда попасть», ваше превосходительство, а только я полагаю так уж, чтоб ближе к свету ползти начать...

— Тогда тебя разглядят и подстрелят, как зайца!

— Я, ваше превосходительство, хочу мешок грязный что ни на есть на шинелю надеть, чтоб от земли не различили, а кроме прочего и казенной амуниции чтоб порчи не произвесть...

— Мешок?.. Ну, если хочешь быть ты Кошкой в мешке,—улыбнулся Панфилов,—тогда валяй, ползи.

— Есть «валяй-ползи», ваше превосходительство!—радостно отозвался Кошка и повернулся палево кругом.

Он сделал так, как решил: напялил на себя грязный мешок и, дождавшись конца ночи, сначала пошел, пригнувшись, потом пополз.

Но батарея против батареи Перекомского была английская, англичане же нигде не придвинулись к русским так близко, как французы,—довольно далеко пришлось ползти Кошке, рассвет же начался непредвиденно быстро, так как совершенно чистое оказалось в это утро небо на востоке. Кошка видел труп товарища своего,—цель его действий, но разглядел также не дальше как в двадцати шагах от него серую фигуру часового около входа в траншею и понял, что ползти вперед уже нельзя.

Однако возвращаться назад с пустыми руками казалось еще более невозможным. Он огляделся и заметил в стороне остаток каменной стенки,—была ли тут раньше садовая ограда, или стояло какое строение,—он подполз к этим нескольким каменьям и приник к земле.

Ружья с собою он не взял, так как обе руки должны были быть свободными, чтобы тащить тело; хлеба тоже не взял, потому что думал вернуться утром. А между тем развернулся ясный день, началась обычная перестрелка... Кошка приник за камнями, в которые звучно стукались иногда свои же русские пули, и не было никогда более длинного дня за всю его жизнь и большего простора для мрачных мыслей.

Утром справлялся у Перекомского Панфилов, сам зайдя к нему на батарею,—вернулся ли Кошка; Перекомский с сознанием правоты своих соображений ответил, что он, конечно, погиб совершенно зря, что нечего было и думать, чтобы явно сумасбродная затея его удалась.

Панфилов же, досадуя внутренне на себя за то, что разрешил Кошке эту затею, проговорил смущенно:

— Жаль малого, разумеется, но что же делать: ведь и допускать явного глумления над трупами наших молодцов тоже нельзя... Побуждения у него были хорошие, и осудить их я не мог.

Труп матроса продолжал, однако, торчать на прежнем месте весь этот день, и всем уже, не только Кошке, стало казаться возмутительным такое издевательство над павшим.

Но вечером, когда как следует стемнело, раздалась вдруг весьма оживленная и мало понятная по своим причинам и целям ружейная пальба со стороны англичан, и вдруг на батарее появился усталый, запыхавшийся, но довольный Кошка, притащивший на спине тело товарища.

Оказалось, по его рассказу, что он дождался, когда у англичан в траншеях началась смена людей, тогда-то и пополз он к трупу, подставил под

него спину, прижал к себе его руки и проворно побежал к своей батарее. Он рассчитывал на то, что занятые сменой англичане не обратят на него внимания, и действительно успел пробежать полдороги, когда в него начали стрелять. Но тут уже его ноша послужила ему надежным прикрытием, приняв в себя пули, которые иначе были бы смертельны для Кошки.

Панфилов представил его за отвагу к георгию.

В другой раз вздумалось Кошке непременно поймать красивую белую верховую лошадь, которая вырвалась почему-то из английского лагеря оседланная, может быть, сбросившая с себя седока, обогнула Зеленую гору и остановилась как раз посередине между батареей Перекомского и батареей англичан, поворачивая точеную тонкую голову на гибкой шее то в сторону своих, то в сторону русских.

— Эх, лошадка! Вот это так красота!—восхищался Кошка и обратился к командиру батареи:— Дозвольте коня этого на абордаж взять!

— Конь-то стоющий—это правда,—сказал Перекомский,—и я бы не прочь тебе это дозволить, да ведь англичане не дозволят.

— Дозволят, ваше всокбродь! Я как будто к ним дезертером буду бежать, а по мне чтобы наши холостыми зарядами стреляли,—вот и вполне может выйти дело!

Глаза у Кошки так и горели, казалось, и не разреши ему даже, он все-таки побежит за лошадью,—да и лошадь была бы дорогим призом.

Перекомский вспомнил историю с трупом матроса и махнул рукой в знак согласия, приказав тут же открыть по Кошке пальбу холостыми.

Кошка же бросился к лошади со всех ног.

Англичане были сбиты с толку поднявшейся по нем частой пальбой: ясно было для них, что кто-то перебегает к ним из русской батареи; они даже сняли шапки и махали ими приветственно. Понятно им было и то, что дезертир направляется к лошади, чтобы вскочить на нее и мчаться к ним: четыре ноги английского скакуна, конечно, куда надежнее своих двух.

И Кошка добежал беспрепятственно до белой лошади, точно только его и поджидавшей, вскочил на нее и пустился на ней обратно. Конечно, английский скакун проделал этот обратный для Кошки путь гораздо быстрее, чем даже могли сообразить англичане, что такое происходит перед их глазами; они открыли стрельбу с большим опозданием: Кошка уже успел ворваться в укрепление.

Он ходил обыкновенно во все вылазки, и его щадили пули, штыки, сабли врагов. Сам же он часто приносил на себе раненых англичан или французов или два-три штуцера их. Когда же вылазок не было и когда ночи были темные, бывало, подбирался он к английским траншеям один и непременно притаскивал оттуда штуцер—вещь ценную в обиходе русского солдата. Однажды, когда добыть штуцера никак не удалось, он притащил попавшиеся под руки носилки, справедливо полагая, что и носилки пригодятся. Главною же целью этих одиночных вылазок Кошки было поднять пальбу и кутерьму в стане союзников, которая обыкновенно, открывшись по нем, Кошке, перекидывалась по всей линии осаждавших, заставляя их изводить попусту множество зарядов. Кошка же, добравшись к своим со своей добычей, ухмылялся бедово и говорил:

— Вот как я их распатронил, чертей!.. Неужто это и в сам-деле вся их братия по мне одному так стараются?.. Чудное это дело, война! Один человек, значит, может всех союзников осоюзить!

Иногда он притаскивал одеяла, которые накидывали на себя поверх плащей англичане наподобие пледов, но самой ценной его добычей были все-таки штуцера.

И во время вылазок большими ли, малыми ли партиями всем хотелось набрать у противника как можно больше штуцеров, которые, кстати сказать, всячески утаивались от высшего начальства, а оставлялись в той части, какая их забрала, был ли это пластунский батальон, пехотный полк или флотский экипаж, хотя все и знали предписание—сдавать добытые с боя штуцера для распределения их по усмотрению самого начальника гарнизона.

Так велика была у солдат, казаков, матросов досада на то, что их гладкоствольные ружья никуда не годились по сравнению с дальнобойными штуцерами, причинявшими им гораздо больше ущерба, чем все орудия союзников.

Правда, к этому времени Баумгартен, герой Четати, пришел к мысли переливать русские круглые пули в конические, по образцу пуль Минье, то есть с ушками и стерженьками. Такие пули даже при гладком стволе ружья могли лететь, как оказалось, вдвое дальше, чем круглые, но все-таки шестьсот шагов было далеко не то, что полторы тысячи, а кроме того, переливку пуль для всей армии было не так легко и просто наладить, как для одного Тобольского полка, в котором ввел это Баумгартен.

6

Бирюлев не мог, конечно, знать солдат Охотского и Волынского полков, которые в этот раз шли с ним на вылазку: раньше были у него в командах охотники других полков, но своих матросов он знал.

Кроме Кошки, неизменно во все вылазки с ним ходил спокойный и рассудительный пожилой уже матрос Игнат Шевченко, широкогрудый человек большой физической силы, которую, как иные

силачи, почему-то стеснялся показывать в мирной обстановке. Только по тому, как его нагружали ранеными пленными или штуцерами, когда возвращались назад, можно было судить, что у него за безотказная крепость мышц. Матросы звали его «воронежским битюгом»,—есть такая порода лошадей-тяжеловозов. В штыковом бою, какой бывал обыкновенно в траншеях интервентов при вылазке, он действовал, как таран,—за ним шли другие. Раза четыре он натыкался сам на штыки англичан и французов, но раны были мелкие, легкие, и после перевязки он снова появлялся в строю и снова шел в охотники на вылазки.

При этом само собой повелось как-то так, что он будто бы взял на себя совершенно непрошенно роль какого-то дядьки при молодом, горячем лейтенанте. Он даже говорил ему ласково-ворчливо, когда подбирались они к неприятельским ложементам:

— Идите себе опозаду, ваше благородие. Нехай уж мы сами передом пойдем, а вы только за порядком глядите.

Бирюлев видел, что ворчит старый матрос дружески,—заботясь о нем, и на такие замечания, конечно, не обижался. Он любил этого «битюга», который однажды самолично приволок с вылазки вполне исправную мортиру некрупного калибра. И когда в густых сумерках он принимал команду матросов, то прежде всего спросил: «Есть Шевченко?»—«Есть, ваше благородие!»—отозвался в пяти шагах от него знакомый грудной голос, и этого было достаточно лейтенанту, чтобы почувствовать себя перед новым ночным делом, как всегда, уверенно и спокойно.

Но рядом с Шевченкой были тут и другие, испытанные в лихих вылазках матросы. Был унтерофицер Рыбаков, известный тем, что захватил однажды в плен английского полковника, за что должен был получить крест; был другой, унтерофицер Кузменков, староватый уже и сильно лысый со лба, но стремительный и находчивый в деле; это он ходил с лейтенантом Троицким выбивать французов из их окопов и все не мог себе простить, как это случилось, что он оставил тогда тело своего начальника в неприятельской траншее. Был матрос Елисеев—шутник и балагур, который не способен был, кажется, не сыпать шутками и во время штыковой схватки. Был Болотников, который соперничал с Кошкой по части разных военных хитростей и выдумок, цель которых была озадачить противника, чтобы тут же воспользоваться этим. Он был ловко скроенный малый, лихо, с заломом на правый бок носивший свою бескозырку...

Кроме матросов и солдат, которых в общем было двести пятьдесят человек, в эту вылазку шло и восемьдесят рабочих с лопатами, которыми должны они были повернуть в сторону врага его ложементы против третьего бастиона, а что ложементы эти будут отбиты, в этом, конечно, никто не сомневался.

Начались уже осенние заморозки; ночь ожидалась холодная, но зато землю затянуло, не стало сильно надоевшей всем грязи; шаги людей были нетрудные и неслышные.

Однако для вылазки все-таки было рано,—это знал по опыту Бирюлев. Должна была после полуночи взойти ущербная луна, а при ее свете, хотя бы и сквозь тучи, кругом обложившие небо, можно гораздо лучше провести вылазку, чем в темноте, хотя местность перед бастионом и была достаточно знакома.

Местность эту видели каждый день, так как собирались команды охотников и рабочих на батарее Перекомского, где была землянка Бирюлева. Матросы были тоже с этой батареи, как Кошка, Шевченко, Рыбаков, Болотников, или с третьего бастиона, а охотцы и вольнцы из прикрытия этой батареи.

Вольнцами командовал юный прапорщик Семенский, охотцами, которых было вдвое больше, поручик Токарев, но ни тот, ни другой ни разу до этого в вылазки не ходили. Бирюлев прошел вдоль шеренг проверить—все ли в порядке у людей, довольно ли патронов, у всех ли рабочих есть кирки и лопаты, сколько заготовлено носилок для раненых... Сказал солдатам, что полагалось говорить перед делом: какие именно ложементы приказано начальством занять в эту ночь, какой взвод должен в них залечь потом и что делать; как рабочие должны переделать ложементы, чтобы смотрели они в сторону неприятеля, чтобы в них для ружей были бойницы, чтобы вполне укрывали они стрелков,—и закончил, как обычно принято заканчивать все подобные обращения к солдатам:

— Держать строй, ребята! Локоть к локтю, плечо к плечу! Иначе перебьют, как перепелок. Смотри!.. А если я буду убит, слушать команду поручика Токарева. А если с его благородием, поручиком Токаревым, что случится, так что уж не в силах он будет командовать, то его замещает прапорщик Семенский...

В небе было темно, вблизи расплывались очертания даже знакомых лиц, а шагах в двадцати совсем уж нельзя было ничего различить: такое освещение для вылазки не подходило, поэтому Бирюлев добавил:

— Пока не взойдет месяц, стой себе, ребята, вольно; у кого есть тютюн, кури, кто не выспался днем, приткнись где-нибудь и спи... Спишь—меньше грешишь, а встанешь—свежее будешь... Шуму лишнего не делай, огня неприятелю не показывай... Когда приказано будет строиться, живо стройся!

Бирюлев, разрешая солдатам поспать перед вы-

лазкой, сам думал только о сне, так как всю предыдущую ночь пришлось ему простоять на батарее, а днем заснуть тоже не удалось. Он забрался в свою землянку, прилег там одетый, как был, и заснул сразу и крепко.

Гроттус добрался до третьего бастиона как раз в то время, когда Бирюлев спал, и, по новости дела, очень был этим озадачен, так что уж самому адмиралу Панфилову пришлось объяснять адъютанту Сакена, что Бирюлев свое дело знает и удобного для вылазки времени не проспит.

Бирюлев же, ложась спать, приказал Шевченке разбудить его часа через два, когда, по его расчету, должна была подняться луна.

Луна поднялась, наконец, хотя и ущербленная, но огромная, и тучи сдвинулись к противоположной от нее стороне горизонта.

Шевченко растолкал вестового лейтенанта, и с трудом удалось им вдвоем добудиться мертвым сном спавшего Бирюлева.

Но когда он вышел из землянки, то зажмурил глаза от света: столько лилось этого света от тупо уставившейся в землю однобокой луны, что белые амуничные ремни, перекрещенные на богатырской груди Шевченки, сияли, как днем, искрились штыки солдат и бляхи их поясов, и девичьи глаза юного Семенского горели будто огнем вдохновения.

— Вот досада какая!—потягиваясь, сказал Бирюлев.—Куда же ты вымел все тучи, Шевченко? Ведь теперь мы попали из огня в полымя!

— Ночь еще долгая, ваше благородне,—утешил его Шевченко.—Може, еще и захмарит.

— Хорошо, как захмарит, а если нет?

Он вынул свои часы, заводившиеся без ключика; было около двух. Ждать еще было, пожалуй, непростительно, итти теперь же было нельзя. Впрочем, на луну надвигалось тонкое белесое облако...

Бирюлев приказал командам собраться и построиться, и минут через десять все снова стояли в шеренгах, так что Гроттус мог наконец передать, что начальник гарнизона благословляет всех и желает полной удачи во славу русского оружия.

Однако и после этих торжественных слов Бирюлев все-таки не решался вести свою роту, и Панфилов с ним вполне согласился.

Но вот через полчаса, не меньше, к тому тонкому белесому облачку, которое проскользнуло над луною, потянулись другие, погуще; блики на штыках и бляхах померкли, поручик Токарев, передернув от заползающего под шинель холодка плечами, сказал Бирюлеву:

— А знаете, кажется, даже вот-вот снежок пойдет.

— Если и в самом деле, было бы как нельзя лучше,—повеселел Бирюлев и, когда, действительно, закружились снежинки, скомандовал вполголоса:—На молитву! Шапки долой!

Сняли фуражки, перекрестились три раза...

— На-а-кройсь!

Потом еще две-три обычных, но необычно отозвавшихся у всех в сердцах команды, и люди пошли во взводной колонне из укрепления в поле.

Все старались итти отнюдь не так, как их учили ходить в мирное время, звонко отбивая шаг, а как можно легче и неслышней ступая, но часовые, лежавшие в секрете впереди неприятельских ложементов, заметили темную движущуюся на них массу. Это были английские ложементы; можно было надеяться, что часовые там спят, однако вышло иначе. Один за другим раздались три гулких выстрела... Потом сигнальная ракета взвилась и рассыпалась красными огоньками в небе, за ней другая... И вот по всей линии противника началась оживленная пальба.

Панфилов, который стоял с Гроттусом, выжидая, как пойдет вылазка, сказал недовольно:

— Вот видите, как иногда бывает!.. Неудача! Завидели, проклятые... Не дали нашим и пятидесяти шагов отойти.

— И что же придется им сделать в таком случае?—обеспокоился Гроттус.

— Что?.. Просто надобно отозвать их назад, чтобы не перебили напрасно,—вот и все, что придется сделать.

И Панфилов, действительно, послал к Бирюлеву вдогонку ординарца унтер-офицера, правда, не с приказом, а только с разрешением вернуться.

Ординарец добежал, запыхавшись. Бирюлев остановил роту. Выслушал посланца адмирала. Понял, что от него теперь зависело, вести ли людей вперед или назад. И стало как-то неловко поворачивать их обратно, командовать «налево кругом». Однако он знал, конечно, и то, что многих из них стережет уже там, впереди, смерть или увечье, поэтому он обратился вполголоса к передним:

— Назад или вперед итти, братцы?

— Вперед!—тут же ответил ему Кошка.

— Вот Кошка говорит, что лучше вперед, а вы как?

— Ночью все кошки серые!—отозвался весело Елисеев, а кто-то дальше, из рядов пехоты, подхватил:

— Все мы—кошки!

И потом пошло по рядам, как общий выдох:

— Все—кошки!

— Ну, раз все—кошки, значит, вперед! Так и передай его превосходительству,—обратился Бирюлев к ординарцу.

Как раз в это время и снег пошел гуще, и пальба затихла, только трубили в рожки горнисты в траншеях да кричали часовые.

— Вперед, ма-арш!—скомандовал Бирюлев.

Итти нужно было в сторону—не к англичанам, а к французам, которые гораздо энергичнее англи-

чан придвигались к четвертому бастиону и вели к нему мины с явной целью его взорвать.

Рота Бирюлева шла уверенно и с подъемом, тем более что не было пока в ней никаких потерь, несмотря на пальбу.

Обогнули острый холмик, прозванный Сахарной головою; недалеко уж должны были, по расчетам бывалых в вылазках матросов, начаться французские ложементы на взгорье, однако оттрубили горнисты, откричали часовые,—настала какая-то подозрительная насторожившаяся тишина...

Но вот в тишине этой вдруг раздался резкий и громкий окрик:

— Qui vive? [1]

Задние взводы замедлили было шаг, но передние быстро шли вперед за Бирюлевым, подтянулись и задние.

— Qui vive?

Рота шла.

— Qui vive?—встревоженно громко.

— Russes! [2]—крикнул Бирюлев, и тут же вслед за этим:

— Ура-а!

И кинулись со штыками наперевес на ложементы.

7

Enfants perdus, сидевшие в ложементах, успели дать только один залп, торопливый, нестройный, от которого упало только трое охотцев. Их проворно с рук на руки передали в тыл на носилки, присланные Панфиловым с бастиона. Сквозь крутившийся снег было видно, как зуавы бежали, пригибаясь к земле, в траншеи.

Едва они добежали, оттуда поднялась пальба.

Нельзя было терять ни секунды. Бирюлев только крикнул: «Рабочие, сюда!»—только махнул рукою на ложементы саперному унтер-офицеру, а сам, почему-то непроизвольно стараясь не касаться на бегу земли каблуками, побежал руководить боем дальше, к траншее, куда, опередив его, подбегали уже матросы и солдаты.

Он думал именно этими словами: «руководить боем», хотя и знал уже по опыту, что чуть только начнется свалка в траншее, руководить ею никак нельзя.

А свалка в траншее уже началась: одиночные выстрелы, крики на двух языках, хрипы, стоны, лязг железа о железо, треск, гул,—и через три-четыре минуты кто из зуавов не успел своевременно выбраться из траншеи и бежать выше, в другую такую же, был заколот.

Но зуавы были ловкие и крепкие люди и яростно защищали свою жизнь и свой окоп. Только трое захвачены были здесь в плен: один раненый офицер и два солдата. Зато одним из первых погиб так жаждавший боевых подвигов юноша с девичьими глазами—прапорщик Семенский. Некрупный телом и тонкий, он был буквально поднят на штыки и брошен на вал окопа. Волынцы вынесли было его на линию отбитых окопов, где старательно и споро перебрасывали с места на место почти белую от известковых камней гулкую землю рабочие, но он недолго лежал тут живым. Рабочие сняли с ложементов и оттащили к сторонке восемнадцать тел заколотых зуавов; девятнадцатым невдалеке от них лег бывший прапорщик Семенский...

Лунный свет ярок только вблизи,—вдали же он причудлив. Он способен очеловечить все кусты и все крупные камни кругом, особенно тогда, когда ошеломлен мозг внезапностью чужого нападения и своей оплошностью или неудачей.

Горнисты трубили тревогу, ракеты взвивались и лопались где-то в глубине французских позиций, точно напала на них не одна рота, а по крайней мере дивизия. Конечно, к передовым траншеям теперь спешили уже резервы.

Но пока подтягивались эти резервы, вторая траншея начала такую частую стрельбу, что поручик Токарев обеспокоенно подскочил к Бирюлеву:

— Прикажете унять их, Николай Алексеич? Несем потери!

— Ура-а!—крикнул во весь голос вместо ответа Бирюлев.

И тут же общее дружное «ура» и такой же страшный для сидящих в окопе стремительный дробный стук бегущих по твердой земле нескольких сотен ног, и казалось, что через минуту-другую все будет кончено здесь, как и в первом окопе; но раздался пушечный выстрел, и картечь повалила сразу человек десять.

Остановить атаку, впрочем, не мог этот выстрел,—слишком яростен был разбег,—и другого выстрела не пришлось уже сделать артиллеристам; их смяли. Но свалка в этой траншее была ожесточеннее, чем в первой. Тут оказалось больше защитников, может быть, успели подойти из других траншей, однако очистили и эту траншею; человек около двадцати отправили отсюда своих раненых в тыл, к носилкам, а с ними вместе еще двух подбитых французских офицеров и пятерых солдат.

Бирюлев замешкался было при отправке раненых, но Шевченко, все время державшийся вблизи его, дернул его за рукав шинели:

— Ваше благородие, глядите сюда, то не обходят ли нас французы?

Бирюлев поглядел вправо,—действительно тянулась вниз какая-то плотная масса.

— Барабанщик! Где барабанщик! Бей отбой!—закричал он.

[1] Кто идет?
[2] Русские.

Ударил барабанщик, затрубил горнист... Рота спешно строилась во взводную колонну для отступления, и тут, на ходу, подобрался к Бирюлеву Рыбаков, чтобы сказать:

— Ваше благородие, Кошку ранили, а он слушать сказываться раненым не хочет...

Кошка ранен?—Это показалось почти сверхъестественным.—Где же он? Лежит?

— Идет, да ведь и кровь из него хлещет... Кровью изойти может.

— Чем ранен? Пулей?

— Штыком...

А тем временем траншея, только что очищенная, вновь, видимо, наполнилась набежавшими из тыла зуавами, и запели оттуда пули. Но отстреливаться было уж некогда, беспокоило то, что могут напасть на рабочих.

Миновали первую траншею. Стало яснее видно, что французов, затеявших обход, немного—не больше ста человек.

— А ну, братцы, наляжь!—крикнул Бирюлев.—Мы их в плен захватим!

Однако там заиграл трубач, и французы быстро повернули в сторону и исчезли: гнаться за ними совсем не входило в задачу вылазки. Главное, было перестроить ложементы. Работа же эта шла полным ходом.

— Кошка? Где Кошка?—вспомнил Бирюлев.

— Есть, ваше благородие!—отозвался Кошка.

— Ты что, ранен?

— Пустяка — запекается,— недовольно ответил Кошка.

— Куда же ранен?

— Просто сказать, чуть скользнуло вот сюда, в левый бок...

— Перевязаться надо!

— Есть, ваше благородие, «перевязаться»... Домой придем—перевяжут.

Между тем пули из траншеи, которую только что очистили, сыпались чаще и чаще, и Кузменков сказал Бирюлеву:

— Неймется проклятым! Придется, кажись, пойти шугануть их подальше! Дозвольте, ваше благородие, я со взводом пойду!

— Взвода мало, братец... Итти, так всем.

И в третий раз повел в штыки Бирюлев всю роту.

Однако вторая траншея была занята немногими стрелками: можно было насчитать только человек пятнадцать, вскочивших на насыпь, чтобы встретить наступающих залпом и бежать в третий окоп.

Бирюлев с обнаженной саблей шел впереди роты и только что повернулся к ней лицом, чтобы, выждав момент, крикнуть «ура», как Шевченко, не спускавший глаз с тех, на насыпи, вырвался из ряда и метнулся вперед: он заметил, что большая часть ружей французов направлена на его командира. Он только успел выкрикнуть: «Ваше...»—как в одно и то же время раздались и залп зуавов и «ура» Бирюлева, подхваченное всеми... всеми, кроме Шевченки, который рухнул, пронизанный несколькими пулями...

Обернувшийся Бирюлев споткнулся о ноги убитого и упал на колени. Кругом его бежали в атаку, штыки наперевес, и билось в уши со всех сторон нестройное: А-а-а... Бирюлев припоминал этих зуавов на насыпи, и то, как метнулся вдруг вперед, крикнув «Ваше...», этот простодушный богатырь, державшийся с ним всегда, как дядька, и то, как он почувствовал, когда кричал «ура», несколько тупых ударов в спину от шеи до поясницы, и понял, что Шевченко, чуть только увидел опасность, какая ему угрожала, кинулся его спасать своим могучим телом, и пули, предназначенные ему, принял своею грудью... И только пройдя насквозь через его грудь, эти пули, уже безвредные, шлепнулись в его спину, как мелкие камешки.

— Шевченко!.. Шевченко! Друг!..—кричал Бирюлев, тормоша его круглое плечо, но глаза Шевченки уже закатились, тело вздрогнуло в последний раз и легло спокойно.

Заметив, что упал лейтенант, около него остался Болотников. Он тоже видел, что сделал Шевченко, и понял его, как понимал и тоску по нем лейтенанта; но он заметил, что рота пронеслась ураганом мимо второй траншеи в третью, и обеспокоился.

— Ваше благородие, а ваше благородие!—взял он за руку Бирюлева.—Теперь уже не вернешь его,—воля божья... А наши уж в третью траншею прочесались, кабы их там не прищучили!

Бирюлев встал. Действительно, свалка гремела уже далеко. Он побежал вперед, как и прежде, на носках, бросая на бегу Болотникову:

— Не забудь, где Шевченко лежит!.. Потом заберем его!..

Смерть Шевченки его ожесточила. Он бежал отомстить за него французам. Но с зуавами, сидевшими в третьей траншее, все уже было кончено, пока добежал он. Оставалось только собирать своих во взводы и подбирать раненых, чтобы итти обратно.

И взводы уже построились, раненых вынесли, когда со стороны траншеи раздалась резкая команда:

— En avant![1]

Обернулся Бирюлев: высокий офицер стоял на насыпи с пистолетами в обеих руках, но те, кому он командовал, не шли вперед,—их не было видно. Была ли это небольшая кучка, добежавшая из резерва, или один только этот офицер, бегством спасшийся из обреченной траншеи и теперь за-

[1] Вперед!



хотевший показать свою картинную храбрость,— осталось неизвестным. Он выстрелил из обоих пистолетов сразу, и нужно же было случиться так, что одна пуля попала прямо в выпуклый лоб Болотникова, так лихо всегда державший бескозырку. Матрос был убит наповал, офицер же, француз, исчез... За ним вдогонку бросился сам Бирюлев с целым взводом, но его не догнали, даже просто не знали, куда бежать, чтобы его догнать: он точно затем только и выскочил, чтобы убить бравого Болотникова, а потом провалиться сквозь землю.

Возвращаясь, несли тела и прапорщика Семенского, и Болотникова, и очень тяжелое тело Шевченки... Несли и все штуцеры, какие нашли в траншеях.

Тем временем ложементы были перевернуты, и в них оставили взвод для их защиты. Цель вылазки была достигнута: ложементы против четвертого бастиона оказались теперь выдвинуты шагов на тридцать вперед. Как будто совсем немного, но эти тридцать шагов дорого обошлись французам, потерявшим не менее ста человек одними убитыми, десять пленными, из них три офицера. В роте Бирюлева убитых нашлось семь человек, раненых тридцать четыре.

8

Когда донесение о вылазке через Гроттуса и адмирала Панфилова дошло до Остен-Сакена, он умилился не столько удачливости лейтенанта Бирюлева, сколько геройской смерти матроса Шевченки. Но верный своему взгляду, что каждый русский герой должен быть примерно религиозен, он добавил в своем донесении об этом главнокомандующему слово «перекрестясь»: «перекрестясь, кинулся»... Это слово и попало в «Приказ главнокомандующего военными, сухопутными и морскими силами в Крыму», продиктованный писарю самим Меншиковым.

Вот этот приказ:

«Товарищи! Каждый день вы являете себя истинно храбрыми и стойкими русскими воинами; каждый день поступки ваши заслуживают и полного уважения, и удивления. Говорить о каждом отдельно было бы невозможно, но есть доблести, которые должны навсегда остаться в памяти нашей, и с этой целью я объявляю вам: 30-го флотского экипажа матрос Игнатий Шевченко, находившийся во всех вылазках около лейтенанта Бирюлева, явил особенный пример храбрости и самоотвержения. Когда молодцы наши штыками

вытеснили уже неприятеля из траншей, пятнадцать человек французов, отступая, прицелились в лейтенанта Бирюлева и его спутников; Шевченко первый заметил, какой опасности подвергается его начальник: перекрестясь, кинулся к нему, заслонил его и молодецкою своею грудью принял пулю, которая неминуемо должна была поразить лейтенанта Бирюлева. Шевченко упал на месте, как истинно храбрый человек, как праведник.

Сделав распоряжение об отыскании его семейства, которое имеет все права воспользоваться щедротами всемилостивейшего государя нашего, я спешу, мои любезные товарищи, сообщить вам об этом, поздравить вас, что вы имели в рядах своих товарища, которым должны вполне гордиться.

Приказ этот прочесть во всех экипажах, батальонах и эскадронах.

Генерал-адъютант князь Меншиков».

Слова «как праведник» были тоже взяты Меншиковым из донесения Сакена, но над донесением этим, основанным, конечно, на рапорте самого лейтенанта Бирюлева, светлейший задумался. Он знал суворовское правило, включенное даже в «Памятку молодого солдата»: «Сам погибай, а товарища выручай», однако он плохо верил в то, что на подвиги такого рода способен русский солдат; даже самая торжественность этого лаконического правила совсем не подходила к складу его насмешливого, скептического ума. Человек большой культуры, чего отнять у него нельзя, он неплохо усвоил прозу войны, но от него совершенно ускользнул ее пафос, особенно пафос войны оборонительной, которую он же сам и вел теперь. Война с турками, в которой он участвовал в зрелые годы жизни, когда ему пришлось осаждать Анапу и Варну, была наступательной войной, а русский военный строй последнего времени был как будто сознательно создан в расчете на стадность, не отводя заметного места личному героизму.

До Крымской войны Меншиков относился как к матросам, так и к солдатам вполне безразлично, начальственно. Он стоял над ними в выси, слишком для них недосягаемой, занимая пост морского министра.

Но вот его прикрепили к небольшому клочку империи—Крыму, и только номинально числился он управляющим морским министерством, из которого вытеснял его второй сын царя Константин. Самое свое назначение командующим вооруженными силами Крыма он счел понижением, потому что этим самым становился в подчиненное положение к военному министру, с которым до этого был на равной ноге.

Уже с первых шагов войны, когда она еще не коснулась берегов Крыма, он чувствовал себя как бы в опале,—второй раз за время своей служебной карьеры. Он назначался командовать флотом, который неминуемо будет блокирован в Севастопольской бухте, и армией, состоящей из пяти-шести полков и пяти-шести резервных батальонов, которые обречены на разгром при столкновении с крупными силами союзников. Самая же роль защитника родины его не только не умиляла, но он считал ее навязанной ему оттуда, из Петербурга, по проискам его врагов при дворе.

Больше адмирал, чем дипломат, он считал, в конце концов, что назначением его командующим войсками в Крыму кто-то (про себя он даже останавливался на нескольких именах) непременно хотел доставить ему блестящую возможность запятнать свое историческое имя... И успел в этом...

Алма, атака английской конницы под Балаклавой, Инкерман—все это выдавило из Меншикова прежнее безразличие к русским солдатам: теперь отношение его к ним—пешим и конным—было непреоборимо презрительное.

Однажды, проезжая верхом на лошади с двумя своими адъютантами мимо только что пришедшего в Крым из Южной армии полка, Меншиков был чрезвычайно неприятно удивлен тем, что солдаты, стоявшие «вольно», столпились близко к нему и глядели на него во все глаза. С их стороны это было, конечно, проявлением вполне понятного любопытства: они видели своего нового главнокомандующего, от которого зависело в любую минуту послать их всех на смертный бой с неприятелем, но светлейший сделал, видя это, одну из своих знаменитых гримас и досадливо обратился к своим адъютантам:

— Qu'est ce qu'ils me veulent? [1]

Ударил плеткой своего коня и уехал рассерженный.

Солдаты посмотрели ему вслед, покачали головами и решили:

— Этот генерал, братцы, прямо какой-то аспид склизкий, а не человек!

Конечно, Меншиков не сомневался в том, что всякое приказание его солдаты выполнят, но как выполнят? Он понимал уже теперь, что—не Суворов, что по его приказу они не сделают того невозможного, что делали по приказу графа Рымникского, князя Италийского, а именно только такое «невозможное» и могло, по его мнению, спасти Севастополь. Но вот перед ним лежало донесение нового севастопольского начальника гарнизона, говорившее как раз об этом «невозможном», суворовском «сам погибай, а товарища выручай»,—и будто бы сделал это невозможное самый обыкновенный матрос 30-го экипажа Игнат Шевченко.

Правда, судя по донесению, он хотел выручить

[1] Чего они от меня хотят?

и выручил, погибая, своего начальника, но ведь лейтенант шел с ним рядом на штурм траншеи, значит, и был ему действительно товарищем по той опасности, какая им угрожала...

В этот день Меншиков чувствовал себя гораздо лучше, чем за все последние дни, и ему захотелось проехаться к отряду Липранди на Инкерман; погода же была солнечная, тихая.

Он отложил донесение с недоверием к нему, решив вызвать к себе Бирюлева и Токарева для устного доклада, а также допросить пленных французских офицеров и солдат.

Что Сакен склонен к сентиментальности, было ему известно. Что же касалось Бирюлева, то кто мог бы доказать, что он не сочинил просто-напросто этого Шевченку, как мог бы сочинить и еще не одну яркую деталь своей вылазки, была бы налицо фантазия,—сочинить, как сочинялись в штабах реляции о сражениях.

Как можно проверить, сколько траншей штурмовала за ночь его сводная рота, если эти траншеи снова заняты французами? И как можно проверить, действительно ли хотел или даже не думал совсем матрос Шевченко заслонить своим телом лейтенанта от пуль вражеского залпа?

Ведь он убит, этот матрос, а на мертвого можно валить, конечно, что угодно, тем более, что это создает Бирюлеву желанную несомненно ему славу любимца матросов: так, мол, любят, что даже жизнью за него жертвуют!

Меншиков усмехнулся криво, откладывая донесение Сакена под кожаный валик своего дивана, что значило «в долгий ящик». Поехал же он, взяв с собою из своих адъютантов одного только подполковника Панаева.

В 1814 году, под Парижем, Меншиков был ранен в левое бедро, вследствие чего левая половина его тела осела несколько вниз. И если прежде он всячески старался, чтобы такой недостаток был незаметен для других, то в последнее время уже не заботился об этом; и Панаев видел теперь, на свежем воздухе и в ясный сравнительно день, когда его начальник подходил к своему неизменному лошаку, какой он кособокий, прозрачнолицый, старый и немощный.

Кроме этой старинной раны, в последнее время, должно быть, от большого похудания, стали особенно беспокоить его и следы ранения под Варной[1] в 1828 году.

Тогда ядро пролетело у него между ногами выше колен так, что вырвало по куску мяса с обеих ног. Эти раны оказались серьезны потому, что военная обстановка того времени не могла дать возможности сразу и основательно заняться их лечением. Он целый год пролежал с ними тогда и целую жизнь время от времени возился с ними потом. Для того чтобы ездить верхом и не растереть о седло ноги, он пристегивал к ним особые сооружения из лубков.

Ехали шагом. Меншиков держался на своем лошаке сгорбившись.

Панаев с огорчением замечал, как постепенно, но неуклонно главнокомандующий занимал все меньше и меньше пространства и все меньше беспокоил людей. Он как бы сжимался, усыхал, втягивался в свою раковину, как улитка, уходил в отставку у всех на глазах.

Его спартанство, поразившее Пирогова, было вынужденное, конечно, он не щеголял им, не рисовался, не до того совсем ему было. Ему просто некуда было деваться здесь, на Северной стороне, поскольку более удобный для жилья инженерный домик был занят теперь великими князьями.

Можно было ночевать в капитанской каюте на пароходе «Громоносец», но для этого надо было подходить к нему на шлюпке и взбираться на палубу по трапу, что казалось Меншикову непосильно трудным делом. Кроме того, ему уже не хотелось беспокоить людей.

Да, это проявлялось в нем чем дальше, тем заметнее.

Теперь у него уж был штаб, но он был разбросан по всей Сухой балке: в одной избенке жил начальник штаба генерал Семякин, в другой, далеко от него, начальник провиантской комиссии полковник Вунш, еще в нескольких прочие чины штаба. И часто бывало так, что Меншиков, вместо того чтобы вызвать их к себе для доклада, сам ездил к ним на своем смиренном лошаке, что дало повод весьма исполнительному, но по-украински насмешливому Семякину прозвать его «Иисусом на осляти». Бывало и так, что он ездил к ним уже поздно вечером и в любую погоду; своенравничал, например, ветер, хлестал дождь,—шел впереди лошака казак с фонарем, закутанная в бурку сгорбленная фигура тряслась на лошаке: Меншиков ехал к Семякину или к Вуншу совещаться по вопросам общего положения дел как чисто военных, так и по продовольствию армии.

Этот последний вопрос вследствие полнейшей распутицы, срывавшей подвоз провианта, с каждым днем становился острее, и Панаев знал, как неподдельно радовался светлейший тому, что из Южной армии Горчакова пришли, наконец, долгожданные сухари. Они пришли совсем недавно; с огромнейшим трудом доставили их возчики, потерявшие при этом половину своих лошадей и повозок, но все-таки сухари были налицо, их роздали в полки, присылавшие за ними особые команды; на какое-то время, значит, вопрос этот перестал беспокоить главнокомандующего.

Трудно молчать, когда идешь или едешь с кем-

[1] *Варна*—турецкая крепость, взятая русскими войсками в 1828 г. во время русско-турецкой войны.

нибудь рядом; Меншиков же давно привык к Панаеву, человеку серьезному, начитанному, хорошо владевшему пером, поэтому он говорил ему, будто думая вслух:

— Вот идут бесконечные дожди, земля раскисла, так что и на лошаке ехать трудно, и он, бедный, еле ноги из грязи вытягивает,—никаких крупных военных действий начинать нельзя, а между тем в Петербурге думают иначе... Почему же именно так думают? Да потому все, что отсюда туда идут всякие сплетни устно и письменно,—вранье всякое. Вот теперь в Симферополь, как ты знаешь, эти еще сестры милосердия явились... Ведь они все, говорят, дамы из общества. Ну, что они увидят там и у нас здесь, когда сюда доберутся? Одни только ужасы на их взгляд... Вот и будут писать своим родным и знакомым: ах, ужасы, ужасы, ужасы!.. То ужасно, это ужасно, все ужасно! А родные их и знакомые разнесут по всему Петербургу... И во дворце будут то же самое повторять:—Ужасы, ужасы!.. А между тем война, как война,—ни лучше, ни хуже всякой другой войны, какие были, какие будут... Только совсем не одно и то же, конечно, война, как она есть, и то вранье забубенное, какое около войны сплетается... И ведь досаднее всего то, что война отойдет, а вранье об этой войне останется! Вранье будет занесено в реляции, в мемуары; во вранье этом потом историки будут копаться и купаться с головой, на вранье этом обучаться в военных академиях всех стран молодые люди будут... А когда обучатся и когда новая война начнется, то одни из молодых людей этих, окончивших академии военные, будут управлять военными действиями и делать ошибку за ошибкой, а другие, которые в столице, в штабах сидеть будут, все будут отлично понимать и видеть: здесь сделано возмутительно, там сделано отвратительно!.. Ясно же, как день, что вот как надобно было сделать здесь, а вот как—там! И тогда была бы полная победа и конец бы настал войны... А что это, между прочим, там они, казаки эти, сушат там на рогожах, посмотри-ка!—перебил он свои мысли вслух, кивнув в сторону бивака казачьей донской батареи, мимо которой проезжали они.

Панаев присмотрелся. На разостланных на земле рогожах действительно чернели какие-то кучи, а около них стояли и ворошили их палками казаки.

— Это, должно быть, табак, ваша светлость,— выразил свою догадку Панаев.

— Табак? Откуда же может быть этот табак?— недоверчиво поглядел на него Меншиков.

— Очевидно, с разбившихся во время бури судов союзников, ваша светлость.

— А-а! Ты думаешь, что это табак союзников?.. Что ж, и то хорошо, что хоть табаком запаслись казаки благодаря буре... Однако много же этого табаку они натаскали! Посмотри-ка, дальше вон и солдаты тоже сушат табак!

Примыкая непосредственно к Сухой балке и дальше до Инкерманских высот, лежащих по правому берегу реки Черной включительно, разлегся лагерь армии, питавшей своими батальонами и полками севастопольский гарнизон. Вместо палаток рядами стояли шалаши, в которых в ямках разводился огонь. Теперь около этих шалашей довольно однообразно сушились где на рогожах, где на мешках черные кучи.

Осенний день короток, и осеннее солнце непостоянно. Едва успели объехать лагерь по линии аванпостов, как завечерело, хотя и не задождило. Но, возвращаясь обратно, Меншиков заметил, что солдаты, готовившие себе ужин на своих огоньках, насыпают пригоршнями в котелки что-то из назойливо лезших в глаза черных куч на рогожах.

— Поди-ка посмотри, что там такое они делают,—послал князь Панаева.

Подъехав, Панаев увидел, что на рогожах были сухари, а не табак, и что эти сухари бросали в кипяток, чтобы сделать из них похлебку. Панаев попросил ложку, чтобы попробовать, что это такое за кушанье, однако едва проглотил, до того эта «тюря», как ее называли солдаты, воняла гнилью и драла горло.

Он закашлялся и протянул ложку солдату, который ему ее подал, и смотрел на него, лукаво и выжидающе улыбаясь.

— Чорт, какая же эта тюря горячая!—политично сказал при этом Панаев.

А солдат подхватил весело:

— Да уж вполне в аккурат, как говорится, пословица, ваше вскобродие: «За вкус не берусь, а уж горячо будет!»

— Ну, что там такое?—спросил Меншиков догнавшего его Панаева.

Панаеву же казалось, что его вот-вот стошнит, и, сделав немалое усилие, чтобы побороть приступ тошноты, он ответил:

— Это—сухари, ваша светлость... последней получки...

— Ну, вот видишь! А ты говорил табак!

— Они совершенно гнилые, черные... ни на какие сухари не похожи...

Меншиков посмотрел на него испуганно, и лицо его задергалось.

— Вот чем удружил, значит, Горчаков! Завалью! Гнилью! На тебе, небоже, что нам негоже! А мы за это благодарили!.. И вот этой гнилью, значит, должны мы кормить солдат?.. Что же они, солдаты? Не жаловались тебе?

— Не слыхал в этом смысле ни одного слова, ваша светлость.

— Но ведь от этих сухарей половина армии пойдет в госпитали, как бог свят! Как же можно

допускать это! Жаль, я не видел Липранди!.. И почему-то он мне не донес, что он намерен делать с этими сухарями! И Вунш не доложил, что сухари он принял гнилые!.. Вот каковы мои помощники!

Однако еще не успел несколько успокоиться Меншиков, как встретился генерал Липранди, зачем-то ездивший к Остен-Сакену в Севастополь.

Панаев удивился тому спокойствию, с каким этот, по аттестации Горчакова, весьма заботливый в отношении солдат начальник 12-й дивизии встретил возмущенное обращение к нему Меншикова насчет сухарей.

— Знаю, ваша светлость, что сухари гнилые,—сказал он,—но ведь никаких других нет и в близком будущем не предвидится. Значит, остается одно: съесть их. И их солдаты съедят, конечно. Только не нужно подымать из-за них никакой истории, ваша светлость.

— Но ведь как же так не поднимать истории?—несколько даже опешил Меншиков.—Раз это не сухари, а дизентерия на рогожах!

— Я не смею, конечно, высказывать это, как совет вам, ваше светлость,—слегка улыбнулся Липранди, от которого пахло вином,—но это просто мой личный взгляд на вещи: солдата прежде всего не нужно жалеть в глаза! За глаза это совсем другое дело, конечно, но если пожалеть его при нем, то он тогда себя самого пожалеет вдвое и втрое! И прощай тогда военная дисциплина, ваша светлость! Я знаю только то, что в моей дивизии едят эти сухари и жалоб не заявляют. И съедят... Голодно, правда, им, но ведь солдаты чем голоднее, тем злее бывают... к неприятелю, а не к начальству! А что же нам и нужно еще от солдата? Только то, чтобы он был зол на своего врага, ваша светлость! После таких сухарей дайте ему только сойтись грудь с грудью с союзниками,—в клочья их разнесет!

Липранди говорил это с подъемом, но так и нельзя было понять, говорит ли он хоть сколько-нибудь серьезно или издевается, подогретый винными парами.

Меншиков посмотрел на него подозрительно, пробормотал:

— Может быть, вы и правы, что не стоит поднимать истории,—и простился с ним.

Панаеву же он сказал после длительного молчания:

— Да, как ни говорите о русском солдате, все-таки нужно признать, что он удивительное существо, этот самый русский солдат!

Вернувшись в свой домишко и лежа на диване, он и продиктовал писарю приказ о подвиге матроса Игнатия Шевченки.

Лейтенант Бирюлев произведен был в штаб-офицерский чин капитан-лейтенанта, и Николай сделал его своим флигель-адъютантом.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМИ НЕДОВОЛЬНЫ

1

Здоровье императрицы, возвратившейся из Италии, сделалось до того плохо, что придворные врачи опасались ее скорой смерти, поэтому 24 ноября Николай переехал из Гатчины в Петербург, а за великими князьями, чтобы им присутствовать при последних минутах матери, был послан в Севастополь фельдъегерь.

Когда уезжали они, Меншиков смиренно просил их доложить царю, что он по своим недугам и дряхлости не в состоянии нести великих трудов главнокомандующего в такое тяжкое время и просит назначить лицо, которому мог бы он передать свой пост. Когда же великие князья спросили его, кого мог бы он сам предложить на свое место, Меншиков, не задумываясь, указал Горчакова 2-го, у которого в руках вся Южная армия и хорошо налаженный аппарат управления ею.

— Вместо того чтобы урывать из этой армии кусочки для Севастополя,—говорил он,—гораздо лучше будет для дела просто перевести всю ее сюда вместе с ее главнокомандующим, и тогда уж наверное не поздоровится союзникам.

Была ли в последних словах его ирония, он, конечно, не дал понять.

Однако и Горчаков со своей стороны как раз в это время писал царю, что Меншиков совершенно не способен стоять во главе армии, защищающей Крым, что, отчаявшись в возможности отбиться от врагов, он только теряет время и дает усиливаться им, что сменить его надо поэтому как можно скорее.

В том же письме он, со всею деликатностью, ему свойственной, намекал царю, что охотно взял бы на себя бремя, согнувшее Меншикова, и что бремя это было бы ему как раз по силам, так как план успешных военных операций против союзной армии у него созрел, и, конечно, он во всех деталях совпадает с теми «драгоценными мыслями» об обороне Севастополя, которыми «угодно было» царю с ним делиться в письмах.

Великие князья, уезжая в Петербург, конечно, уверяли Меншикова, что он вполне на своем месте и что царь может дать ему, пожалуй, временный отпуск для восстановления здоровья, расшатанного понесенными им трудами, но ни за что не согласится совсем отозвать его из Крыма; между собою же говорили они, что старику действительно пора на покой, что он не больше как историческая руина, столько же живописная, сколько и бесполезная. Однако возможность замены одной руины другою развалиной—Горчаковым—вызывала у них только непринужденный молодой смех и остроты.

В русских газетах и журналах того времени можно было писать только то, что разрешалось начальством и одобрялось цензурой; поэтому в печать не попадало ни одного отрицательного мнения о Меншикове, хотя достаточно ходило их в обществе.

Совсем в другом положении оказались его противники — Канробер и Раглан. Орган Сити «Таймс»—газета очень близкая к военному министерству, которым управлял герцог Ньюкестль, поместила в декабре громовую статью против Раглана.

«Нельзя более отрицать,—говорилось в этой статье,—что крымская экспедиция находится в совершенном расстройстве. Кроме мужества офицеров и солдат, нет ни одной из потребностей армии, которая не была бы запущена безвозвратно. Армия получает только половинные рационы, а некоторые полки бывали без провианта по нескольку дней. Солдаты и большая часть офицеров дурно одеты и обуты, не имеют защиты против дождя и грязи... Из гавани нет никакой дороги в Балаклаву. Три или четыре тысячи лошадей околели от голода и от чрезмерной работы; многие полки вынуждены были заменять вьючный скот, то есть переносить провиант и припасы из гавани в лагерь. Даже зимняя одежда не была роздана по недостатку средств к ее перевозке. Смертность доходит до шестидесяти человек в день. Во всем недостаток: в пушках, мортирах, ядрах, бомбах, топливе, материалах для постройки бараков,—во всем, что необходимо для существования армии. Врачи предсказывают, что еще до марта месяца погибнут две трети армии. Все энергические люди впадают не в апатию, а в отчаянье. Между тем лорда Раглана едва видели со времени Инкерманского сражения. Он или не знает положения дел, или считает себя не способным оказать в этом случае помощь и потому держится в стороне... Есть люди, для которых не было бы несчастием, если бы главнокомандующий и его главный штаб пережили всех на высотах под Севастополем, получили ордена и готовы были бы вернуться в отечество, чтобы пользоваться там пенсиями и почестями среди костей пятидесяти тысяч англичан, лишь бы только спокойствие управления не было нарушено хоть одним увольнением, одним новым назначением. Как будто армия как в мирное, так и в военное время служит только правительственным орудием для того, чтобы продвигать вперед аристократию и защищать министерство! Мы торжественно протестуем против этого мнения; мы думаем, что армия есть орудие защиты страны против неприятеля и поддержания ее интересов... Если армия терпит крушение, если честь страны и положение английского государства должны быть спасены, то необходимо бросить за борт, не теряя ни часа времени, все уважения личной дружбы, официальной щекотливости, аристократических чувств и придворного прислужничества и поставить во главе управления опытность, энергию, дарование и достоинство, хотя бы в самой суровой и грубой их форме. Нет интересов выше общего интереса, потому что с падением последнего рушится всё. Итак, нет никаких доводов против немедленной смены начальников, оказавшихся недостойными исполнять обязанности, к которым призвали их протекция, старшинство и ошибочность в их оценке. Не стыдно для человека не обладать гением Веллингтона[1]. Но со стороны военного министра преступно позволять офицеру хотя на один день браться за исполнение обязанностей, забвение которых довело великую армию до гибели».

Цицероновский[2] стиль этой статьи не мог, конечно, не потрясти старого Раглана, и он сделал прежде всего то, что сделать было легче всего: выслал вон из армии корреспондента газеты «Таймс».

Конечно, ответ на такую крутую меру не заставил себя долго ждать. В это время действовал уже телеграфный кабель, проложенный от Балаклавы до Варны, и таким образом армия интервентов была связана с Лондоном через Константинополь гораздо более современным средством связи, чем русская армия с Петербургом.

«Таймс» разразилась несколькими жестокими выпадами против Раглана, так что друзьям старого маршала приходилось уже утешать его тем, что на Веллингтона нападали не меньше во время испанской войны, впоследствии же все пред ним преклонились, как перед победителем самого Наполеона.

Утешения эти, впрочем, действовали плохо, так как Раглан видел, конечно, все недостатки в снабжении английской армии, только винил в этом не себя, а нераспорядительность военного министерства, потому что расположенная по соседству союзная армия французов, вдвое большая по численности, чем английская, имела, на посторонний взгляд, все, что можно было потребовать для нужд солдат и офицеров в этой пустынной стране, и ни в чем не нуждалась.

Солдаты имели там внешне здоровый вид и были хорошо одеты. В запасных магазинах французов находилась обувь даже для турецких подкреплений, приходивших из Константинополя обыкновенно в туфлях и попадавших прямо с парохода в невылазную грязь, английские же солдаты, исху-

---

[1] *Веллингтон Артур Коллей Веллсслей* (1769—1852)—английский фельдмаршал, боролся с войсками Наполеона в Испании и командовал в 1815 г. под Ватерлоо армией, которая окончательно разбила Наполеона. В 1828 г. был премьер-министром.

[2] *Цицерон Марк Туллий* (106—43 г. до н. э.)—римский государственный деятель, знаменитый оратор и писатель.

далые до невозможности и бессильные, завертывали ноги в сено и солому. У французов всюду стояли бараки, в то время как Раглан только еще отправлял в Синоп транспорты за досками для бараков. В английской армии оставалось всего несколько сот лошадей, похожих на ходячие скелеты, наспех и кое-как обтянутые шкурой; у французов же были в большом числе мулы, сытые и крепкие, почти как в первый день высадки в Крым, и годные для всякой тяжелой работы. У французов приходилось то и дело занимать для перевозки тяжестей этих мулов и фургоны, бывшие всегда в исправном виде, и даже людей для прокладывания дорог, в то время как и в лагере французов и во всем районе расположения французских войск были проложены отличные дороги.

Сказывалось, конечно, то, что Англия сорок лет после свержения Наполеона наслаждалась миром и очень мало думала о сухопутных войсках и их устройстве, все свое внимание отдавая флоту; Франция же, не забывая о флоте, всегда стремилась поддерживать былую славу своей армии, когда-то самой сильной в мире.

Но кое-что все-таки зависело и от разницы в характере англичан и французов. И если первые под давлением холода, голода и всяких лишений становились с каждым днем все мрачнее и молчаливее, вторые не теряли своей природной веселости; и если в английском лагере иногда палые лошади валялись около самых палаток и только в виде наказания за ту или иную провинность можно было добиться от солдат, чтобы их оттащили и закопали, то в лагере французов в этом отношении было несравненно чище, а энергии зуавов, известных своими мародерскими привычками, хватало даже и на то, чтобы по ночам грабить англичан, особенно их фуры с ромом, виски и другими «горячими» напитками.

Если же зуавы не считали за грех слегка пограбить своих союзников, то французские солдаты вообще относились к английским пренебрежительно, французские офицеры к английским снисходительно, как старые служаки в полку относятся к зеленой полковой молодежи, плохо знающей службу.

Даже и попадая в русский плен ранеными, англичане и французы очень резко отличались друг от друга на лазаретных койках. Первые были угрюмы, сдержанны, почти не говорили ни с врачами, ни между собою, и если что читали, то только «божественное»: евангелие, библию, псалмы Давида; вторые же были очень общительны, сыпали шутками, прилежно старались усвоить хотя бы два-три десятка русских слов и даже ампутированные из них, жизнь которых при состоянии тогдашней хирургии и санитарии зависела от стечения многих особо счастливых условий, все-таки не прикасались ни к какой божественности, а читали запоем Бальзака.

Вполне сознавая слабость своей армии по сравнению с французской и в то же время невозможность ни увеличить ее в несколько раз, ни сделать ее, наемную, гораздо более боеспособной, английские политические деятели взывали к Франции, прося Людовика-Наполеона посылать безотлагательно как можно больше и больше подкреплений в Крым.

«Таймс» по заказу своих хозяев, банкиров Сити, писала:

«Если мы даже сделаем все то, что в состоянии исполнить, все-таки наши усилия будут ничтожны в сравнении с тем, что в полной боевой готовности находится у нашего великого союзника. Для Англии послать тридцать тысяч человек на помощь нашим измученным и осажденным в Крыму войскам кажется усилием, превышающим ее средства, между тем как императору французов стоит только захотеть, и в три раза большее количество войска будет в одну неделю готово к вторжению в Россию... Людовик-Наполеон должен быть даже более заинтересован в окончательном результате экспедиции, чем Англия, потому что его армия в Крыму гораздо многочисленнее нашей. Он должен чувствовать, как и мы, что завязал борьбу с могучим соперником, и борьбу решительную, в которой ему уже нет отступления. Одно из двух: или славные французские войска, стоящие перед Севастополем, должны остаться до последнего на поле брани, или надобно усилить французскую армию до того, чтобы ей открылась возможность начать наступательные действия. С настоящими же нашими средствами как победа, так и удачное отступление равно невозможны...»

Так, на четвертом месяце со дня вступления войск интервентов на русскую территорию, с одной стороны, князь Меншиков признал свое полное бессилие отстоять Севастополь и запросился в отставку, с другой—лорд Раглан, а за ним все руководители английской политики пришли тоже к бесспорной мысли, что они своими силами не в состоянии не только взять Севастополь, но даже благополучно убраться из него во-свояси.

Оставались генерал Канробер и Франция в лице ее банкиров и «маленького» Наполеона—как надежда и опора воинствующих и сконфуженных английских министров, герцогов и самой королевы Виктории.

2

В начале декабря в силу непредвиденных обстоятельств был созван парламент, который открыла королева Виктория тронною речью.

— Милорды и господа!—провозгласила она.— Я собрала вас в необыкновенное время года для

принятия при вашем содействии мер, которые позволили бы мне продолжать с бо́льшею силою и самым деятельным образом начатую нами великую войну.

Виктория все-таки хотела остаться самою воинственною женщиною в мире, несмотря на неудачно ведущуюся войну на Востоке, несмотря на то, что многие скамьи депутатов были пусты, так как депутаты эти успели уже погибнуть в Крыму, и много знатных леди и мисс видела она теперь одетыми в глубокий траур.

Конечно, тронная речь была встречена необходимым в подобных случаях громом аплодисментов и сочувственных восклицаний.

Англия уже привыкла к своей королеве и во многом отдавала ей должное.

Она была примерная жена своего мужа и не менее примерная мать своих семерых детей, ожидавшая в будущем еще нескольких маленьких принцев и принцесс, благо государство было богато и могло вполне прилично содержать их всех, сколько бы их ни появилось на свет.

Это плодородие их королевы непритворно умиляло англичан, но они отмечали в ней также и то, что она оказалась расчетливой домашней хозяйкой, а в качестве королевы старательно выполняла все, что полагалось ей выполнять.

Теперь, например, во время серьезной войны с Россией, когда очень многое поставлено было Англией на карту, ей полагалось быть преувеличенно воинственной, и она вполне добросовестно изображала воинственность.

Ума она была умеренного, никаких невыполнимых желаний не проявляла, конституцию соблюдала свято, сочиненные для нее тронные речи читала всегда ясно, отчетливо, с соблюдением всех знаков препинания и всех ударений; в парламент входила величественно, как подобает входить королеве, уходила под несмолкаемые овации тоже неторопливо и с поднятой головой.

Что же касалось ее супруга принца Альберта, то ей лично никто не решался ставить в вину то, что он, вопреки английской конституции, все пытается вмешиваться в дела правления и вообще быть несколько бо́льшим, чем только мужем своей жены, которая является королевой.

Притом же его посягательствам на кое-какую власть прекрасно умели сопротивляться, и между членами парламента, а также в обществе ходило по его поводу изречение какого-то давнего философа: «Отличие человека от других животных заключается в том, что он единственный из всех их имеет способность вечно вмешиваться в то, что до него совсем не касается».

Заседания парламента открылись после тронной речи. Однако вопрос о наборе новых войск оказался, как и предполагалось, труднейшим из всех вопросов. Он заставил даже маленького, старенького, седенького Джона Росселя[1] выступить с гневной иеремиадой[2], произнесенной хотя и тихим голосом, но с большим чувством.

— Когда дело идет о деньгах,—пламенно, точно юноша, говорил он, поднимая палец к небу,—дух английского народа является во всем своем блеске! Откройте подписку, потребуйте от него фланели, пуддингов, сластей и портвейну для армии, он отзовется на это единодушно, отказа в этом не будет... Только, пожалуйста, не трогайте его самого, не требуйте, чтобы он оставил свои уютные комнатки и подвергся опасностям и трудам военным! Он, видите ли, очень любит свой домашний очаг, он весь без остатка погружен в трехпроцентные биржевые спекуляции, но он ненавидит лагерную жизнь и очень холодно относится к звуку боевых рожков и барабанов. О, еще бы,— он, конечно, охотно уступит наемным немецким братцам защиту и успех этого великого предприятия—завоевание Крыма!

Да, в парламенте говорились речи в пользу того, чтобы вербовать в английскую армию немцев, австрийцев, итальянцев, шведов, хотя в тогдашней Англии, считая и Ирландию, было до двадцати пяти миллионов жителей, а в крупнейшей из ее колоний—Индии круглым числом сто миллионов. Очень мало кого прельщала даже повышенная по случаю тягостей войны в отдаленном Крыму плата наемникам капитала. Как ни бедствовали ирландцы, но и у них вербовщики не имели успеха: слишком велики, а главное, совершенно неожиданно велики оказались потери английских войск как в армии, так и во флоте.

Между тем войну начинали с надеждой на очень скорый и полный успех: золотое правило Веллингтона: «До борьбы с врагом узнай его силы»— было забыто почему-то всеми, кто начинал борьбу с Россией; с этим должны были согласиться многие, выступавшие на необычных декабрьских заседаниях парламента.

Признано было необходимым поддержать и принять предложение члена палаты общин Робука: создать «следственный комитет о причинах гибели английской армии в Крыму», и сам же Робук назначен был председателем этого комитета.

Но от чего бы ни погибла армия, она прежде всего требовала замены ее другою, более боеспособной,—в этом вопросе и таилась та крепкая стена, которую не смогли прошибить опытные парламентские болтуны своими речами.

Лондонские банкиры соглашались дать Фран-

---

[1] *Россель Джон* (1792—1878)—английский государственный деятель, премьер-министр.

[2] *Иеремиадой* называют скорбную жалобу; происходит это слово от имени библейского пророка Иеремии, который будто бы предсказал гибель древней Иудеи и горько о ней скорбел.

ции большой заем на очень льготных условиях, лишь бы Франция выставила в Крыму столько войск, сколько потребуется для окончательной там победы.

Для того же, чтобы склонить к этой сделке Наполеона, в Париж к нему командирован был Пальмерстон [1], давний друг и, как говорили, даже «сочинитель» его как императора Франции.

Знаменитый английский государственный деятель лорд Пальмерстон, которому было в то время уже семьдесят лет, но который не дожил еще тогда до зенита своей славы, являлся не только сочинителем Наполеона III, но и одним из главных соавторов франко-английской интервенции в Крыму.

Великие основоположники коммунизма, Маркс и Энгельс, всего за год до начала Крымской войны дали в «People's paper» великолепный портрет его, начиная ряд статей о нем таким убийственным сравнением:

«Руджьеро все снова и снова пленяется ложными прелестями Альчины [2], за которыми, как он знает это, скрывается старая ведьма—«беззубая, безглазая, отвратительная, лишенная всякой прелести». Странствующий рыцарь все снова влюбляется в нее, хотя знает, что она превращала всех своих прежних поклонников в ослов и других животных. Английская публика—новый Руджьеро, и Пальмерстон—новая Альчина. Он умеет всегда придавать себе прелесть новизны, хотя ему уже под семьдесят, и он с 1807 года почти непрерывно выступает на политической арене. И он умеет все снова возбуждать надежды, которые обычно связываются лишь с неиспытанным, многообещающим юношей. И хотя он стоит уже одной ногой в могиле, от него все еще ожидают, что он еще начнет свою настоящую карьеру. Если бы он завтра умер, вся Англия удивилась бы, что он целых полвека был министром».

Но этот счастливый ирландец оставался министром и еще десять лет после Крымской войны, пока наконец не умер, и в смысле «памяти народной» ему повезло даже в России: не одно поколение русских грамотных людей знало его благодаря известным стишкам какого-то неизвестного автора:

Вот в воинственном азарте
Воевода Пальмерстон
Поражает Русь на карте
Указательным перстом!

Имя Пальмерстона в этих стишках очень тесно сплеталось с именем французского императора:

Вдохновлен его отвагой,
И француз за ним туда ж:
Машет дядюшкиной шпагой
И кричит: Allons, courage! [1]

Полно, братцы! Насмех свету
Не останьтесь в дураках,—
Мы видали шпагу эту
И не в этаких руках!

Если дядюшка бесславно
Из Руси вернулся вспять,
Так племяннику подавно
И вдали не сдобровать...

Стишки эти появились тогда, когда Николай и Нессельроде думали избежать войны с Европой и не хотели раздражать ни Англии, ни Франции в лице их представителей в Петербурге: Гамильтона Сеймура и Кастельбажака.

Несмотря на патриотичность стишков, не уступающую в этом отношении солдатской песенке Горчакова, они все-таки были запрещены из видов чисто дипломатических, и автора их искали жандармы, поэтому он благоразумно скрыл свое авторство, а молва приписывала их то поэту-актеру Григорьеву, то Алферову, то Опочинину, то другим, а так как они были под запретом, то читались и распевались в светских гостиных... Музыку к ним написал Вильбоа.

Запрещая куплеты о Пальмерстоне, Николай, между прочим, считался и с ним самим. Он почему-то был убежден, что Пальмерстон, политика которого в двадцатилетнюю бытность его министром иностранных дел сводилась в сущности к покровительству либеральным партиям за границей, благоговеет перед ним лично и поэтому ничего во вред ему и России замышлять не будет.

Это проявление симпатий к Николаю со стороны Пальмерстона и действительно было так заметно для других, что ему однажды задан был в парламенте резкий вопрос, не состоит ли почтенный и благородный лорд на жаловании у русского императора.

Однако почтенный лорд, как бы благоговея перед Николаем, в то же время поддерживал революционные движения в Италии и Венгрии и потом устраивал в Англии торжественные встречи вождю венгерских революционеров Кошуту. Он же первый признал Наполеона III императором Франции, отлично зная, как относился к принцу Луи Николай.

Но как бы то ни было, Пальмерстон на посту секретаря (то есть министра) иностранных дел был настоящим человеком на настоящем месте... как казалось всем англичанам до декабря 1854 года, когда устно и печатно все начали признавать, что сочиненное главным образом им нашествие в Крым кончается или грозит окончиться явным крахом,

[1] *Пальмерстон Генрих* (1784—1865) — английский премьер-министр.

[2] *Руджьеро* и *Альчина*—герои эпической поэмы «Неистовый Роланд», принадлежащей перу известного итальянского поэта XVI в. Ариосто.

[1] Пойдем, смелей!

и посланная туда английская армия, собранная с такими великими усилиями, почти уже не существует.

Конечно, он, один из главных инициаторов войны, и должен был употребить в дело весь свой талант убеждения, чтобы повлиять на Наполеона в желательном для правящих кругов Англии смысле.

3

Прекрасный, остроумный собеседник, всегда превосходно чувствовавший себя за любым столом, человек очень еще крепкого здоровья, несмотря на преклонные годы, и весьма располагающей к нему внешности, Пальмерстон был встречен очень радушно Наполеоном и императрицей Евгенией, хотя цели его визита были им заранее известны, и нельзя сказать, чтобы они были приятны Наполеону.

Наполеон знал, конечно, Пальмерстона гораздо лучше, чем те, которые признавали его либералом, вигом по партии, к которой он принадлежал и которую возглавлял даже; для него он был истый тори, консерватор.

Он помнил фразу из одной его недавней речи: «Век, в который мы живем, есть век прогресса, а не реформ», и этой фразы было для него довольно.

Он считал Пальмерстона в числе своих друзей, потому что тот в декабре 1851 года должен был выйти из кабинета Росселя и прервать тем на время свою политическую карьеру из-за восторженного отношения своего к государственному перевороту во Франции, послужившему прологом к восстановлению империи. Друзьями же своими Наполеон дорожил, так как был подозрителен и видел их около себя очень мало.

Наполеон много сделал для дворца в Сен-Клу, где он жил и где принимал теперь Пальмерстона. При Луи-Филиппе дворец этот не то чтобы был запущен, но гораздо менее изящен и менее уютен внутри; кроме того, при нем было в этом дворце гораздо менее порядка, но зато много суетни, которая казалась совершенно излишней. Это прежде всего и бросилось в глаза английскому дипломату. Когда же он был представлен императрице Евгении, то сумел совершенно непритворно поразиться ее красотою, ее грацией и приветливостью обращения. Это создало хорошую почву для будущих переговоров по вопросу о войне на Востоке, тем более что знатный гость из союзной страны был приглашен к завтраку в семейной обстановке.

Однако Пальмерстон, сам в совершенстве владевший искусством скрывать до удобнейшего времени свои мысли, как бы ни были они важны по существу, удивлялся, что встретил подобное же искусство в человеке, так сравнительно недавно еще приобщившемся к государственным делам и тайнам.

Перед завтраком говорилось о королеве Виктории и ее семье, о принце Альберте, который в сентябре сделал визит Наполеону и будто бы изумил его своими глубокими познаниями в самых разнообразных вопросах, об Орлеанах[1], которые после изгнания из Франции нашли себе приют в Англии, о новшествах во внешнем виде дворца и старинного парка при нем, создании знаменитого садовника Ленотра. За завтраком говорили о всемирной выставке, которую готовились в следующем году открывать в Париже. Этим вопросом была особенно занята Евгения. Она сообщила гостю и о том, что на выставке этой будет показан между прочим колоссальной величины бриллиант, который после окончательной обработки будет весить свыше ста двадцати каратов и стоить пять миллионов франков.

Пальмерстон восхищался искусно, льстил умело и бесподобно, наблюдал зорко, запоминал крепко, делал выводы про себя точно и быстро: преклонные годы не сломили в нем ни одного из счастливых свойств полнокровной, упругой зрелости.

Он, конечно, во всех подробностях, какие были возможны, знал многое из того, что теперь слышал, например, о готовящейся в Париже всемирной выставке, которая, кроме успехов промышленности, должна была показать и успехи мирового искусства. Он знал, что знаменитый немецкий художник Корнелиус собирает для этой цели все свои картины и пришлет их более двухсот. И об алмазе «Южная звезда», который был уже доставлен из Бразилии в Европу владельцем его Гельфеном, весил двести сорок четыре карата, а ограненный будет весить вдвое меньше, но и при этом условии все-таки явится достойным соперником ко-и-нура—«горы света», который был три года назад украшением лондонской выставки,— Пальмерстон тоже, конечно, читал в газетах, но он читал также и то, что самая выставка в Париже отменяется вследствие войны.

Теперь же ему было более чем приятно услышать от самой императрицы Франции, что война—войною, а выставка—выставкой и что как было предположено первоначально, так и будет: выставка откроется непременно 1 мая 1855 года, к чему уже теперь Париж готовится весьма деятельно: расширяются магазины, отели, рестораны, столовые, предусматривается вообще все, чтобы принять наплыв большого количества экспонатов и посетителей из других городов Франции и остального мира.

---

[1] *Орлеаны*—ветвь королевской династии Бурбонов во Франции. Один из Орлеанов—король Луи-Филипп—был свергнут во время революции 1848 г.

Это сообщение сулило Пальмерстону успех в предстоящих ему переговорах с Наполеоном: если Франция так могуча, что война в Крыму нисколько не отражается на ее внутренней жизни, то что стоит ей отправить на Восток достаточное количество подкреплений, чтобы в непродолжительном времени добиться решительной победы?

Императрица Евгения очаровывала его с каждой минутой сильней и сильней, но он не мог сказать самому себе того же о Наполеоне. Этот казался таинственным, загадочным сфинксом: весьма тщательно и долго обдумывал он каждую свою реплику, точно не говорил, а играл в шахматы, и в каждой деловой фразе его непременно была какая-нибудь неопределенность, которую можно толковать так или иначе, смотря по личному вдохновению.

И когда, наконец, он остался с монархом Франции один-на-один в его кабинете, он чувствовал себя не совсем уверенно.

Здесь почему-то даже самая внешность Наполеона «маленького»,—его несоразмерно длинная талия при коротких ногах, его излишне прищуренные, явно прячущиеся глаза, его неторопливая и не в полный голос речь, таившая настоящий смысл свой где-то вдали, за словами,—все это обескураживало несколько Пальмерстона, несмотря на его огромную опытность и способность никогда не теряться и выходить из любых положений победоносно.

Но его не зря называли актером на любые роли: наблюдая собеседника, он исподволь заимствовал его жесты и почти непроизвольно начал щуриться сам, не упуская при этом все же ни одной тени на лице Наполеона, как бы мгновенно она ни пробегала по его лицу.

Теперь, наедине, разговор шел уже исключительно о войне и ее непредвиденных трудностях.

— Вашему величеству несомненно гораздо известнее, чем мне в данное время, когда я уже не ведаю иностранной политикой и не стою у кормила военных дел, положение наших армий под Севастополем,—говорил Пальмерстон, старательно округляя фразы.—По мнению сведущих лиц в Англии, оно... оставляет желать лучшего. Я отказываюсь приписывать наши неудачи нашим главнокомандующим. И лорд Раглан и генерал Канробер—люди весьма опытные в военном деле, и я уверен, что они со своей стороны сделали все, что могли сделать, однако после трех месяцев осады результаты получились очень скромные, чтобы не сказать печальные... В особенно же неблагоприятном положении оказалась английская армия, так как она—ближайшая к армии князя Меншикова и первая получает удары при его атаках. Это весьма сказалось уже в двух сражениях, особенно в Инкерманском, но кто же может дать гарантии, что нашу армию не ожидает в ближайшее же время еще атака, притом гораздо сильнейшая? Тогда, ваше величество, она при всем своем мужестве, при всей своей стойкости, может совершенно перестать существовать, о чем даже подумать страшно!.. Между тем нельзя же сказать, что мы не делали всего, что могли сделать, чтобы поддержать, чтобы предохранить нашу армию, чтобы снабдить ее всем необходимым! Нет, мы сделали все, что было в наших силах, однако армия наша тает, стремительно, неудержимо тает, и в последние недели даже не столько от русского оружия, сколько от болезней, сколько от этого ужасного русского климата, совершенно не привычного для наших офицеров и солдат...

Тут Пальмерстон сделал маленькую паузу, какие были свойственны ему и тогда, когда произносил он парламентские речи, так как первоклассным оратором он не был.

Этой паузой его воспользовался Наполеон, чтобы сказать совершенно непроницаемым, спокойным тоном:

— По донесениям, какие получил я, английские батареи против Редана [1] и других русских бастионов совершенно почти замолчали двадцатого ноября, а с двадцать четвертого несколько дней не могли сделать ни одного выстрела, потому что иссяк запас снарядов. Приходилось даже подбирать русские ядра, если они подходили по своему калибру к английским орудиям.

Это сказано было как-то совершенно вскользь, между прочим, без малейшего повышения голоса, но Пальмерстон сразу широко раскрыл глаза, как от удара.

— Об этом печальнейшем факте, ваше величество, я не был осведомлен, хотя не сомневаюсь, разумеется, что он мог иметь место... Доставка снарядов для огромных тринадцатидюймовых осадных орудий вещь, вообще говоря, трудная для лорда Раглана: от места выгрузки снарядов, Балаклавы, до наших батарей против Редана считается шестнадцать километров самой невозможной дороги... Между тем для доставки всего только шести снарядов требуется, насколько мне известно, десять лошадей, и на это уходит у них целый день, ваше величество!

— Отчего же в таком случае не провести от Балаклавы к позициям железную дорогу, милорд? Локомотив по рельсам доставил бы английским артиллеристам все нужное и в каком угодно количестве,—сказал Наполеон.—Притом же доставлять для него уголь было бы гораздо легче и проще, чем сено для лошадей.

Пальмерстон постарался сделать изумленное этим откровением лицо, отвечая:

— Вы совершенно правы, ваше величество,—

---

[1] *Реданом* французы и англичане называли третий бастион.

это мысль! Но я все-таки не думаю, чтобы лорд Раглан там, на месте, не имел в виду чего-нибудь подобного. Очевидно, он все же полагает, что удачного завершения осады можно достичь скорее, чем построить для этой цели железную дорогу. Генерал Канробер оказался в лучших условиях: позиции армии вашего величества гораздо ближе к своей базе.

— Добавьте, милорд, что он успел построить несколько шоссейных дорог, как говорят, вполне удовлетворяющих своему назначению... Тем не менее я все-таки очень недоволен им за крайнюю медлительность его действий! У него есть любимая поговорка: «Нельзя всего делать вдруг»,—вследствие чего он предпочитает делать очень мало.

Это замечание Наполеона было брошено им английскому министру как спасательный круг, за который Пальмерстон немедля схватился: Канробером были недовольны и правящие круги Англии.

— Вы изволили сказать, ваше величество, что не одобряете образ действий генерала Канробера, но ведь армия вашего величества так богата опытными и даровитыми генералами! Взять хотя бы Боске, сумевшего так отличиться и в сражении при ауле Бурлюк и в бою на Инкерманских высотах.

Пальмерстону казалось, что он назвал имя, которое бесспорно и для его собеседника, однако Наполеон сделал едва уловимый жест неудовольствия.

— Боске, конечно, сообразительный и даже сведущий генерал, не говоря о личной храбрости, в чем нет недостатка и у Канробера,—сказал Наполеон,—но все-таки он не годится в главнокомандующие. Я думаю дать ему корпус, что же касается Канробера, то, быть может, ему еще удастся проявить себя с лучшей стороны, подождем этого... Впрочем, может случиться и так, что война не получит дальнейшего развития.

Эти последние слова Наполеона, сказанные несколько небрежно, совершенно ошеломили Пальмерстона.

— Каким же образом это может случиться, ваше величество?—спросил он изумленно и даже с тревогой.

— Император Николай, кажется, начинает уже серьезно подумывать о мире,—неопределенно, но сделав подобие улыбки, ответил Наполеон.

— О мире?.. Как же можно говорить о мире, когда мы в сущности ничего почти не добились, когда и Севастополь еще стоит, и большая часть русского флота цела. Какие же условия мира мог бы нам предложить русский император, ваше величество?

— Несомненно, милорд, русский император желает мира, так как видит, что попал в тяжелое положение. Но что касается условий этого мира, то диктовать их будем, разумеется, мы,—снисходительно улыбнулся Наполеон; Пальмерстон же отозвался на это с твердостью в голосе, наиболее для него возможной:

— Что касается до меня лично, то я уполномочен говорить с вашим величеством только о возможностях успешного продолжения войны, чтобы закончить ее в кратчайший срок. Англия сделает для этого все, что найдет нужным, но затруднения наши заключаются как раз в том, чем сильна монархия вашего величества: мы должны еще только создавать свою армию, в то время как во Франции она существует и может быть увеличена в короткий срок до огромных размеров благодаря воинской повинности... Турецкие войска очень плохи, и когда армия Омера-паши высадится в Евпатории, едва ли можно надеяться, что она в состоянии будет пойти к Перекопу и запереть русских в Крыму. Наш новый союзник—Сардиния—не в состоянии прислать в Крым больше корпуса в пятнадцать тысяч, между тем как у русских огромнейшие резервы. Едва ли я ошибусь, если скажу, что армия Горчакова имеет еще не менее ста тысяч штыков, полтораста тысяч в Польше—у князя Паскевича, двести тысяч собраны под Петербургом... Как бы мы ни надеялись на русское бездорожье, но эти страшные силы, если будут двинуты, то дойдут до Крыма. Наша тактика должна быть основана только на том, чтобы предупредить их и кончить с Севастополем до их прихода...

На этот раз Пальмерстон говорил долго, будто в парламенте, стараясь не упустить ничего, что могло бы повлиять на быстроту и решительность действий Наполеона, который, казалось бы, думая о чем-то постороннем, ходил в это время по кабинету, неслышно ступая по коврам.

Он курил при этом сигару и подходил раза два к столу только за тем, чтобы стряхнуть пепел в пепельницу из тончайшего розового севрского фарфора, представляющую чашу-грудь, одну из нескольких, отлитых по капризу Марии-Антуанетты[1] по ее собственной груди, чтобы угощать из них парным молоком в своем уютном Трианоне интимных гостей.

По весьма сосредоточенному, однако, как будто застывшему лицу Наполеона Пальмерстон никак не мог определить, какое впечатление производит он своими хорошо, казалось бы, взвешенными словами: оно было непроницаемо, точно в забрале.

Иностранной политикой Англии ведал в это время лорд Кларендон, но и Пальмерстону, конечно, не безызвестны были четыре пункта обращения Нессельроде к своему посланнику, барону Будбергу. Император Николай предполагал, что достаточно было бросить своим врагам такую кость

[1] *Мария-Антуанетта* (1766—1793)—французская королева, жена Людовика XVI, казненная в 1793 г.

о четырех уставах, чтобы они удовлетворились ею, сняли осаду Севастополя, подписали бы мир и увели свои корабли из Черного моря: 1) общее ручательство со стороны пяти держав (то есть России, Англии, Франции, Австрии и Пруссии) за сохранение религиозных и гражданских прав христианского населения Османской империи; 2) покровительство автономным княжествам со стороны тех же пяти держав; 3) пересмотр договора 1841 года России с Портой, причем правительство России соглашалось на его уничтожение, если на этом будет настаивать султан; 4) свободное плавание по Дунаю.

О том, чтобы уступить не только Крым, даже Севастополь, в этом обращении не говорилось ни слова, как не говорилось и об уничтожении Черноморского военного флота, как будто отнюдь не это являлось ближайшей целью войны, поставленной себе союзниками. Русская дипломатия начала слишком издалека, не считаясь с создавшейся обстановкой, и Пальмерстону было известно, что этих четырех пунктов обращения Нессельроде не хотели даже и обсуждать в Англии, однако он опасался, не было ли сделано Николаем каких-нибудь добавлений к четырем пунктам, адресованных непосредственно Наполеону, чтобы попытаться расколоть союз Франции с Англией; поэтому он говорил, воодушевляясь сам теми представлениями, которые просились в его слова:

— Известно и решение русского императора: «Я могу выставить миллион войска. Прикажу—будет два; попрошу—будет три!» При том огромном запасе пушечного мяса, какой имеется в России в лице ее бесправных крестьян, можно, пожалуй, поверить, что это не совсем хвастовство, но для такой гигантской армии в России не хватит ни оружия, ни боевых припасов, ни даже офицеров, чтобы командовать необученною массой каких-то партизан от русской сохи... Трехмиллионная русская армия—это утопия, двухмиллионная—шальная фантазия, не будем говорить даже и о миллионной в Крыму, но если удастся как-нибудь русскому императору сосредоточить там двести-триста тысяч к весне и снабдить их всем необходимым... это уже гораздо ближе к вероятию, и мы во что бы то ни стало должны предупредить такой скверный для нас оборот дела, ваше величество!

Пальмерстон сделал паузу сознательно, вызывая своего молчаливого собеседника на необходимую реплику, но тот, остановившись у окна, смотрел в парк, в котором зеленели уже только деревья и кустарники, не способные желтеть зимою, и предпочитал больше слушать, чем говорить.

В императоре французов совсем не было основной черты любого француза—оживленной говорливости, какою отличался, например, и толстый Луи-Филипп и которая вообще была свойственна всем членам Орлеанского дома. Не допуская, чтобы корсиканцы, народ южной крови, были так мало экспансивны, Пальмерстон соображал мимоходом, не немец ли был тот случайный избранник королевы Гортензии[1], которому молва приписывала появление на свет Луи-Наполеона. Это соображение направило его мысли в сторону Пруссии, и он продолжал:

— Все наши попытки привлечь в союз против России прусского короля остаются бесплодными, как вам, ваше величество, известно. Однако он начинает мобилизовывать свою армию, против кого же именно? Что если эта армия выступит против нас? Отношения его к императору Николаю продолжают оставаться почтительными, но трудно предположить и то, что он занялся мобилизацией просто так, на всякий случай, так как Пруссии никто не угрожает. Австрия развязала войну на Востоке, заняв княжества на Дунае, однако мы ничего пока не успели сделать, чтобы заставить ее итти дальше, вторгнуться в пределы России. Очень юный австрийский монарх, видимо, просто питает страх к маститому русскому монарху. Так неужели же можно допустить, чтобы варварская держава эта—Россия задерживала прогресс человечества? Историческая миссия наших двух стран, состоящих в совершенно органическом союзе, приобщить к цивилизации Восток, и эту миссию, завещанную нам всем ходом истории человечества, мы должны выполнить во что бы то ни стало! Эта война для нас так же священна, как крестовые походы! Ни о каких уступках варварской России не может быть речи,—она должна быть поставлена на колени, иначе зачем же прогресс? Иначе зачем же вся эта великолепная сокровищница изобретательности ума и таланта, часть которой вы, ваше величество, имеете намерение показать в мае будущего года в столице прекрасной Франции?

Пальмерстон даже несколько раскраснелся, постепенно подходя к цели своей поездки, но все еще считая недостаточной свою подготовку к ней. Наполеон же, стряхивая с сигары пепел в грудь Марии-Антуанетты, несколько мгновений глядел на него выжидающе и сказал, точно думая вслух:

— Шестые роты третьих батальонов во всех ста полках линейной пехоты моей армии были отменены одно время, чтобы не слишком увеличивать численность армии. Теперь они будут мною восстановлены вновь.

— И насколько же в таком случае может увеличиться армия вашего величества?—оживленно, однако с некоторым недоумением спросил Пальмерстон.

— Это будет около двенадцати тысяч человек, милорд,—непроницаемо серьезно ответил Наполеон.

---

[1] *Гортензия* (1783—1837)—жена Луи Бонапарта, который был королем Голландии в 1806—1810 гг.

— Двенадцать тысяч храбрых французских егерей под стенами Севастополя способны, появись они там во-время, повернуть в нашу сторону лицо победы, как это случилось на Инкерманских высотах, где выручили нас девять тысяч егерей генерала Боске, ваше величество,—тщательно скрывая разочарование, проговорил Пальмерстон,—но затянувшаяся так неожиданно война требует... более могущественных усилий...

Бросив в чашу окурок сигары, Наполеон сел в кресло, слегка улыбнулся, поднял голову и, глядя на гостя-друга теперь уже не сощуренными глазами, сказал почти шутливо:

— Мой великий дядя любил повторять, как вам, конечно, известно, милорд: «Для войны нужны три вещи: деньги, деньги и деньги».

— Прекрасно, ваше величество!—обрадованно подхватил Пальмерстон, видя, что его собеседник сам переходит к тому пункту переговоров, который считался им наиболее щекотливым.—При малейшем затруднении вашего величества по части финансирования дальнейшего ведения войны в более широких масштабах, чтобы решительной победы добиться возможно скорее, английское правительство всемерно придет вам на помощь!

Наполеон, дотронувшись до своей эспаньолки и пристально глядя на Пальмерстона, спросил медленно:

— В какой же именно форме вы думаете предложить эту денежную помощь, милорд?

— В виде займа, ваше величество, размером, скажем, в двести миллионов франков,—не совсем уверенно ответил Пальмерсон.

Он имел полномочия итти и дальше этой суммы, если потребуют того обстоятельства, но хотел соблюсти порядок постепенности и смотрел выжидающе.

— Нет, я решительно против внешних займов,—неожиданно для него сказал Наполеон.—Воевать на счет будущих поколений я считаю неудобным, как бы ни были святы цели войны нашей... Я прихожу к мысли объявить подписку на заем внутренний. Война с Россией должна стать делом всей французской нации, и пусть каждый принесет для этой цели свои сбережения.

— Это превосходная мысль, ваше величество! Сделать войну народной войною—что может быть выше этого? Разумеется, этот заем будет очень популярен во Франции. И на какую же сумму, позвольте узнать, ваше величество, предполагаете вы объявить заем?

— На полмиллиарда франков,—несколько небрежно ответил Наполеон.—Но я думаю, что эта сумма будет значительно перекрыта.

— Она будет перекрыта вдвое и даже втрое, ваше величество!—горячо сказал Пальмерстон.—В этом займе, конечно, будут участвовать и английские капиталисты, и он будет перекрыт значительно, в чем прошу позволения мне вас уверить!

Пальмерстон думал, что этим своим заявлением, выраженным с большой горячностью, он растопит ледок в душе «сочиненного» им императора, но тот сказал на это медлительно и как бы совершенно равнодушно:

— Возможно, что в нем примут участие и бельгийские банкиры... а также и голландские, милорд, хотя процент будет и невысокий, ввиду дешевизны денег в Европе в настоящее время.

4

Из Сен-Клу в Париж до Страсбургского вокзала сопровождал Пальмерстона плешивенький граф Морни.

В противоположность своему побочному братцу, монарху Франции, он был настоящим французом по неистовой говорливости; когда же он узнал кое-что о готовящемся внутреннем займе, обещавшем, по словам Пальмерстона, небывалый успех, то, прирожденный биржевой делец, он оживился до чрезвычайности.

Между прочим он, в шутливой форме конечно, попенял знатному гостю Франции на то, что английское правительство, убедясь, что бирмингамские оружейные заводчики не справляются с заказами на штуцеры, передало большие заказы на них в Бельгию, главным образом в Люттих.

— Поверьте, милорд,—говорил он,—французские фабриканты сделали бы для Англии то же самое и гораздо скорее и гораздо лучше, чем эти неповоротливые бельгийцы! Впрочем, я упускаю из виду то обстоятельство, что король Леопольд—родной дядя королевы Виктории, и если заказ Люттиху на штуцеры был сделан в угоду лично королеве Виктории, то французские фабриканты, разумеется, не будут иметь ровно ничего против этого... милого родственного подарка! Поверьте, милорд, во Франции умеют любить и почитать королеву Викторию!

Морни, говоря о штуцерах, заказанных в Бельгии, не забыл упомянуть и о том недостатке английских патронов, который приводил к постоянным осечкам во время дождей.

— А между тем,—добавлял он с видом знатока оружейного дела,—самый тонкий, только непромокаемый слой на капсюле патрона вполне мог бы предохранить бравых английских солдат от тех огромных потерь, какие они понесли в Инкерманском сражении. Фабриканты Люттиха должны, так мне кажется, милорд, прежде всего прочего иметь в виду это маленькое обстоятельство, способное привести к большим и печальным последствиям.

Однако самым существенным из средств ведения всякой вообще войны, а этой, с Россией,

тем более, граф Морни считал неослабный подъем настроения масс как на фронте, так и внутри воюющей страны, поэтому он с увлечением говорил о балах, маскарадах, оперных, театральных и цирковых представлениях недавно открывшегося зимнего сезона в Париже, причем даже и м-ль Борелли, нежная с виду девушка, укротительница зверей, входящая в Наполеоновском цирке в клетку к двум львам, медведю и гиене, чтобы дразнить и усмирять их, не была им забыта.

— По общему мнению парижан, милорд, эта сцена, поражающая ужасом, невыразимо привлекательна!—говорил Морни с увлечением.—А бразилец Карвальс, который ставит себе на нос целое дерево с чучелами птиц, сидящими на ветках, и потом, вообразите, начинает, держа дымящуюся сигару во рту, сбивать этих птиц одну за другой пистолетными выстрелами без промаха! Это вызывает бурный восторг парижан! Это в то же самое время поддерживает в них воинственность, не так ли, милорд? А на театре Ambigu и других бульварных театрах так больно бьют каждый вечер казаков, милорд, что за исполнение роли русских уже не берут теперь меньше, как по три франка за спектакль, между тем как на роли наших гренадер и зуавов охотно идут и за семьдесят пять сантимов!

Пальмерстон благодушно смеялся, слушая это. Он вообще и всегда был склонен больше к комическому, чем к трагическому. Жизнерадостность Морни и других французов, его окружавших в Париже перед отправлением обратно в хмурый Лондон, заражала его, падая на благодарную почву. Свою миссию он считал выполненной если и не совсем так, как предполагали в Лондоне, все же довольно удачно, так как участие банкиров Сити во внутреннем французском займе было явно желательно Наполеону. Он даже решил про себя, что для блага Англии и в видах ускорения победы над сильным северным медведем ему необходимо добиваться того, чтобы неспособный к управлению военным министерством герцог Ньюкестль уступил этот очень важный пост ему, Пальмерстону.

5

Канробер был ранен в левую руку во время сражения при Алме, в правую—на Сапун-горе, во время Инкерманского боя; раны были, правда, легкие, однако сам взбираться на лошадь он, человек небольшого роста, не мог,—его подсаживали. Так, с чужою помощью утвердившийся в седле, в одно из первых чисел декабря отправился он к лорду Раглану на совещание по многим очередным вопросам.

Что армии союзников должны будут перенести так или иначе зиму в Крыму, это уж было предрешено. Что о наступательных действиях не могло быть и речи до весны, когда должны были прибыть большие подкрепления, об этом главнокомандующие обеих армий договорились уже раньше.

Напротив, все усилия в последнее время обращены были только на то, чтобы как можно лучше обезопасить себя от нового нападения русских, подобного большой вылазке 24 октября (5 ноября) со стороны Инкермана; и теперь правый фланг позиции англичан имел уже целую непрерывную цепь сильных редутов, где вместо двух-трех, как было раньше, стояло тридцать пять орудий большого калибра.

Однако если, как казалось, обезопасили себя от больших вылазок, то малые вылазки каждой почти ночи беспокоили всех страшно, выбивая из сна солдат и офицеров. Участились за последнее время и случаи стаскивания часовых с траншейных валов по ночам какими-то крючьями на длинных палках. Захваченный таким крючком часовой летел вниз, где его проворно связывали веревками, затыкая ему рот, чтобы он не кричал, и уносили на бастионы.

Такой способ нападения на часовых показался Канроберу достойным африканских кабилов, а не армии цивилизованного государства. Он, бывший адъютант самого императора французов, был возмущен этой дикостью и даже написал письмо начальнику гарнизона Севастополя, барону Остен-Сакену в том смысле, что сражаться полагается так, как это принято у просвещенных народов, то есть: пушками, мортирами, ружьями, саблями, штыками, наконец, но не какими-то крючками на палках и веревками. Сакен смиренно ответил на это, что крючками на палках и веревками действуют, очевидно, рабочие, посылаемые в отбитые ложементы для земляных работ, что же касается строевых русских солдат, то откуда же у них могут взяться какие-то крючки и веревки?

Впрочем, и Сакен и Канробер знали во время этой переписки, что «крючки» эти—просто загнутые концы пик и действуют ими по ночам казаки-разведчики.

Когда бы ни приезжал в Балаклаву Канробер, его всегда удивляла и коробила царившая там безалаберность в гавани, совершенно непроходимая грязь, вонь около этих двух сотен балаклавских домишек и в лагере англичан и турок.

Так же было и теперь.

Бухта, самое широкое место которой едва ли доходило до полутораста метров, была совершенно забита транспортами, которые разгружались. Новые осадные орудия были уже на берегу, но рядом с ними громоздились в густой, черной, зловонной грязи и бочонки с ромом, и ящики с зимней одеждой, и мешки картофеля, и ящики с карабинами, и бочонки с соленой свининой и сухарями, и мешки с ячменем—все это в полнейшем

беспорядке, хотя много было офицеров при разгрузке, которые, кажется, могли бы установить какой-нибудь порядок, отнестись бережно к тому, что прислано за три тысячи миль и является дозарезу необходимым.

Худые, зеленолицые, оборванные, грязные люди, пригибаясь почти к земле, таскали по сходням, зыбким и скользким, и дальше все эти ящики и бочонки и бросали их в грязь с ожесточением. Конечно, трудно было узнать в этих измученных людях когда-то блестящих по своей форме и хорошо упитанных, тяжелых и рослых английских солдат.

В углу бухты, в воде, лежал привезенный из Синопа лес для постройки бараков; Канробер знал уже, что постройка их затормозилась из-за полного отсутствия гвоздей. Везде в лавчонках, устроенных для нужд английского лагеря, видны были только бутылки—коньяку, рома, виски, даже шампанского. Около них стояли бочки пустых бутылок и горы бутылочного стекла.

Между тем в лагере англичан, точно нарочно оставленные, чтобы подпирать изорванные палатки на случай новой бури, валялись, как обычно, палые лошади и быки, заражая воздух зловонием.

Впрочем, в том помещичьем доме, который занимал Раглан с несколькими офицерами своего штаба и своим врачом, было довольно чисто, и на столе в изящной рамке красовался даже портрет леди Раглан, весьма уменьшенная копия с портрета работы талантливого Лоренса. Канробер уже видел его на том же столе не раз и всякий раз думал, что это красивое надменное лицо, показатель сильного характера, годилось бы для актрисы, играющей леди Макбет.

Но Канробер знал от самого Раглана, что умерший давно уже художник Лоренс, человек счастливой внешности и судьбы, писал его жену в пору их медового месяца, лет тридцать назад. Это тогда в ее искусно завитых русых волосах кокетливо горела яркая, пышная роза; это тогда голубой пояс перехватывал ее светлокремовое платье, не в талии, а гораздо выше, под самой грудью; это тогда тонкий, прозрачный малиновый шарф обвивал прихотливыми складками ее голую полную руку, и крупный алмаз-брошь приколот был на низком вырезе ее лифа.

Все это было в далеком прошлом, а теперь здесь, на пустынном берегу Крыма, странно было бы даже и вспоминать об этом. Здесь нужно было думать только о том, как удержаться до весны или до присылки сильных подкреплений ввиду грозных, как и в начале октября, севастопольских бастионов и как уберечь от полного истребления болезнями полки, которые доверила ему королева Англии, пожимая при прощании с ним его единственную руку.

Раглан был дома и встретил главнокомандующего союзной армии несколько суетливо, что было в нем ново. Обычно красноречивый, он в этот раз был немногословен, хотя совещание их касалось, между прочим, и такого важного вопроса, как выбор места зимней стоянки военного флота.

Адмиралы Дондас и Гамелен, по древности своей, были отозваны, и на место первого был назначен Лайонс, на место второго—Брюа; военный флот был значительно уменьшен, особенно после бури 2 ноября; но представлялось возможным свести его всего до нескольких единиц, остальные же суда отправить на зимовку в Босфор, так как о новой бомбардировке фортов с моря никто уже не думал, а выход почти разоруженного русского флота из своего убежища был явно немыслим.

Однако Раглан отнесся к этому вопросу нерешительно. Он говорил:

— Конечно, корабли наши почти бесполезны для нас на море, где они могут к тому же серьезно пострадать от зимних бурь. Но они ведь снабжают нас орудиями, когда в этом бывает крайняя надобность, и прислугою к ним в лице матросов. Когда у нас будет в избытке и то и другое, тогда, разумеется, нам незачем будет держать на якорях боевые суда, а пока... У меня только что были в руках сводки: мы теряем в среднем по полтораста человек в день от дизентерии и других болезней! Да, армия тает даже без боя с русскими полками от русского климата,—это, кажется, общий результат всех вторжений в Россию.

— Получилось известие, милорд, что от всех пехотных полков Франции будет взято по сто шестьдесят человек отборных людей и послано в Крым,—сказал после длительной паузы Канробер.—Эту меру правительства можно приветствовать. Это даст до шестнадцати тысяч прекрасной пехоты.

Раглан встретил эти слова союзника не то чтобы недоверчиво, но без большого воодушевления; скорее просто холодно. Он заметил, не повышая голоса:

— Отборные люди каждого полка составят в общем отборный корпус, но тем печальнее будет, если и этот отборный корпус станет жертвою эпидемий. Между тем есть в газетах толки о каких-то мирных переговорах, которые ведутся за нашей спиной... Если бы это было так и если бы наши правительства обнаружили мудрую уступчивость, это было бы гораздо лучше, чем присылка нового корпуса... Между тем Омер-паша потому только будто бы задерживает свою армию, совершенно готовую к высадке в Евпатории, что английские и французские офицеры плохо обращаются с турецкими солдатами... думает ли он, что лучше обращается с ними кровавый понос, холера и пятнистый тиф? Они то и дело таскают своих покойников на кладбище.

— Думаете ли вы, милорд, что этот план вы-

садки турецких войск в Евпатории может произвести перелом в войне?—спросил Канробер.

— Ах, мой друг, я уже перестал и давно уже перестал видеть что-нибудь впереди в розовом свете! Тем более, что со дня на день жду, что меня отзовут, как лорда Дондаса,—с горечью ответил Раглан.—Что же касается вообще войны с русскими, то мне вспоминается сейчас правило лорда Нельсона[1] сражаться с русскими посредством искусных маневров, а не прямым нападением в сомкнутых рядах. Если турецкая армия не будет сидеть в Евпатории, когда там высадится, а постарается зайти в тыл князю Меншикову, то, пожалуй... Хотя на турок я совсем не надеюсь. Это ленивый и какой же грязный народ! Посмотреть только, что они сделали с Балаклавой!

Совещание двух главнокомандующих на этот раз не затянулось и не привело к каким-либо важным решениям. Когда же Канробер возвращался к себе, он слышал, хотя постарался сделать вид, что не слышит, выкрики из кучек толпящихся у бараков своих солдат:

— На штурм! Ведите нас на штурм, генерал!

А из одной кучки, где были зуавы, раздалось очень громкое площадное ругательство.

Канробер сделал вид, что не слышит и этого, и только поторопился проехать скорее мимо. До него уже доходили слухи, что солдаты им недовольны и даже заявляют, что желали бы видеть вместо него главнокомандующим Кавеньяка, или Бедо, или Ламорисьера, или Шангарнье, оставшихся во Франции, или, наконец, Боске, который был с ними здесь, но имел слишком мало власти для того, чтобы вести их на приступ и тем закончить войну.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
НИКОЛАЙ НЕРВНИЧАЕТ

1

Все при дворе готовились к смерти императрицы Александры Федоровны, но она предпочитала оставаться в довольно устойчивом положении между жизнью и смертью, часами лежала с закрытыми глазами, хотя и без сна, слегка стонала, когда прикасались к ее телу, внимательно глядела в лица придворных медиков и с гримасой крайней брезгливости глотала подносимые ей лекарства.

Она уже перестала верить в медицину, после того как все известнейшие врачи Европы, которые ее лечили, не могли сойтись на чем-нибудь одном при определении ее болезни. Как ни был узок и беден ее духовный мир, но раз отказав медицине в кредите, она уже оставалась верна этому убеждению и, лежа с закрытыми глазами, шептала обрывки молитв, приходившие ей на память, готовая уже переселиться в селения праведных.

Между тем наступало 6 декабря, день торжественного празднования тезоименитства Николая, день, знаменовавшийся вот уже почти три десятка лет не только грандиознейшим парадом войск на Марсовом поле, но еще и наградами по ведомствам военному, гражданскому и духовному.

Еще в ноябре заготовлен был указ, которым предполагалось обрадовать всех вообще защитников Севастополя в день царских именин, и Николай тогда же писал об этом Меншикову:

«Считаю справедливым велеть тебе объявить всем войскам, составляющим гарнизон Севастополя как сухопутным, так и морским, что, в признательность за их беспримерное мужество, усердие и труды в течение сего времени, я велел им зачесть каждый месяц за год службы по всем правам и преимуществам. Они этого вполне заслуживают, и объяви это на 6 декабря. Ты скуп представлять о наградах; прошу тебя, дай мне радость наградить достойных».

Нужно заметить, что никогда раньше так не тянуло Николая к письменному столу, как во время Крымской кампании. Всегда до того чувствовавший себя в силу своего самодержавства далеко от житейских слабостей, теперь он с каждым днем все более и более, острее и острее чувствовал, что почва под ним колеблется, и, пожалуй, вот-вот все рухнет!

Восстание декабристов в самом начале царствования страшно ошеломило его, но оно закончилось и было раздавлено в один день; восстание Польши в 1831 году достаточно испугало его, но он был тогда уверен в своих военных силах, стоило только их стянуть в направлении на Варшаву. Теперь было совсем не то: в дополнение к весьма тяжелому настоящему можно было с большой долей вероятности ожидать гораздо более тяжкого будущего.

Друзей у него среди монархов Европы не оказалось, что изумило его чрезвычайно, как будто он только и заботился все время о том, чтобы обзаводиться друзьями. Половина Европы выступила против него с оружием в руках, другая половина повернула к нему спину, но под прикрытием этой спины собирала средства, копила силы, чтобы пристать в нужный момент к победителям для дележа добычи, не сомневаясь уже, что победителями выйдут англо-французы.

Приступы сильнейшего негодования стали все чаще сменяться в нем приступами растерянности, когда он становился похожим на анекдотического генерал-губернатора, очутившегося на медвежьей охоте один-на-один с огромным медведем, вылез-

[1] *Нельсон Горацио* (1758—1805) — английский адмирал, одержавший победу над французским флотом в 1805 г.

шим перед ним из берлоги. Генерал-губернатор этот, вместо того чтобы стрелять, закричал привычно: «Полиция! Взя-ять эт-того негодяя!» Николай, конечно, не кричал по-генерал-губернаторски,—слишком велико было расстояние между ним и театром войны,—но его письма к Меншикову были не более как тот же крик растерявшегося властелина, а письма к Горчакову и Паскевичу были переполнены то жалобами, то надеждами на божью помощь.

Выходило очевидным даже для него, не страдавшего дальновидностью, что целую жизнь перед ним трепетали и его славословили, а в минуту очень серьезной опасности не на кого было опереться.

Меншикову писал он чуть ли не ежедневно, давая приказания в виде просьб и предъявляя требования в виде скромных пожеланий.

Он считал себя—и, пожалуй, не без основания—сведущим в фортификации и минном деле, и когда Меншиков донес ему, что к началу декабря было построено в разных местах перед бастионами и батареями до двадцати ложементов, он писал Меншикову:

«Радуюсь, что приступлено местами к контрапрошам; мера эта спасительная в теперешнем положении, и надо, кажется мне, стараться продолжать подвигаться навстречу к неприятелю. Вылазки также прекрасное дело. Посмотрим, не выморозим ли тараканов».

Несколько раньше, получив от Меншикова донесение, что он, ожидавший общего штурма Севастополя после Инкерманского боя, несколько успокоился за его участь, Николай писал:

«С удовольствием вижу, что надежда твоя на сохранение Севастополя не исчезла и что попрежнему геройский, молодецкий дух всех войск возрастает в мере угрожающей опасности. Грешно бы мне было в этом усомниться, но сердце бьется, читая рассказ об этом. Хотелось бы к вам лететь и делить участь общую, а не здесь томиться беспрестанными тревогами всех родов».

Тогда вопрос о доставке пороха в Севастополь был несколько улажен, главным образом тем обстоятельством, что на складе адмиралтейства «нашлось» около двадцати семи тысяч пудов, и Меншиков, до этого беспрестанно требовавший пороха от военного министра Долгорукова, донес, наконец, что порохом на ближайшее время он обеспечен. Николай ответил ему:

«Благодарю, любезный Меншиков, что поспешил меня успокоить насчет крайних моих опасений о недостатке пороха; кажется, что теперь эта важная статья обеспечена. Надеюсь, что мы в состоянии будем не уступить неприятельскому огню, ежели бы возобновился с прежней силой, чего весьма ожидаю. Из всего, что до меня доходит сюда и что от тебя получаю, я все более убеждаюсь, что план врагов: выигрывать время, претерпеть, доколь не удвоятся их силы всем, что безостановочно к ним посылается, и до собрания всех способов медлить, а потом возобновить, может быть с удвоенной яростью, бомбардировку, а быть может, и атаку с трех сторон. Успеют ли в том, один бог знает. Вопрос, что тут нам делать? Разумеется, что это трудно решить, а в особенности мне здесь. Могу только указывать, решение предоставляя тебе...»

И затем указывал чрезвычайно подробно и обстоятельно, на нескольких страницах письма, заканчивая его чисто личными мотивами:

«Теперь должен обратиться к другому и для меня тяжелому делу. Здоровье жены до того расстроено, что она не встает с кровати; слабость непомерна. Все это усилилось с отъезда детей. Отрадно было бы ей их обнять. Это возможным нахожу только в том случае, ежели военные действия не возобновились деятельно и ежели не предвидится скоро решительного действия. Наконец, ежели влияние их возвращения не произведет дурного впечатления на дух войск. Если всего этого нет, то дозволь им ехать к нам».

После этого-то письма великие князья и отправились в Петербург. Но, отослав это письмо, Николай на другой же день пишет снова Меншикову и снова о контрапрошах, то есть окопах, параллельных окопам противника впереди своих батарей:

«Кажется мне, что сомнения не может более быть в настоящем намерении неприятелей выиграть время и усовершенствовать свои осадные работы и укрепление своих позиций. Желательно сему сколь можно препятствовать; думаю, что контрапроши один способ...»

Но кроме военных действий непосредственно на подступах к Севастополю, над Николаем висела, как постоянная угроза, возможность высадки большой армии интервентов в Евпатории или где-нибудь в другом месте Крыма, как об этом писалось неоднократно в иностранных газетах; затем могли быть отдельные нападения на тот или иной пункт побережья Черного, Балтийского, Белого морей или даже Великого океана, подобные нападению английских эскадр на Соловки и на Петропавловск на Камчатке. Два последние нападения, правда, были отражены, причем во втором случае даже с большими потерями у нападавших, но они всегда могли повториться. Кроме того, шла война с турками в Закавказье, при этом ожидалось, что туда отправится сам Омер-паша с большим десантом. Загадочно вела себя Пруссия, вызывающе Австрия, наконец, можно было ожидать восстания Польши, такого же, как в 1831 году.

Угрозы надвигались со всех сторон, и это их изобилие удерживало Николая на месте—в Гатчинском ли дворце или в Зимнем: донесения и

известия поступали отовсюду, иные из них представлялись особенно важными и требовали немедленного распоряжения; кроме того, сидя на месте, можно было гораздо лучше взвесить все доводы за и против того или иного политического шага, как, например, обращение от имени канцлера Нессельроде о желательности начать мирные переговоры на основе четырех пунктов.

Затем важно было изыскивать средства для ведения войны. К внешнему займу прибегнуть было нельзя, внутренних же тогда в России не производили. Оставалось только два выхода: объявить сбор пожертвований на нужды войны и сделать усиленный выпуск кредиток. И то и другое было проведено в жизнь, причем благодаря усердию полиции добровольные пожертвования скоро обратились в принудительные, а кредитки обеспечивались государством только в шестой части их нарицательной стоимости.

Царь сам просматривал списки жертвователей, так как за особо крупные пожертвования ввел в обычай благодарить в официальном отделе газет. Но одно пожертвование однажды остановило его внимание. Какой-то отставной коллежский асессор Пустырев из Рязани, пожертвовав сто рублей, прибавил к этому обязательство «жертвовать по таковой же сумме каждогодно вплоть до окончания войны».

То обстоятельство, что среди его подданных есть люди,—еще и в чинах,—способные думать, что война продлится несколько лет, очень возмутило Николая, и он положил резолюцию против фамилии этого жертвователя, слишком пытливо и безнадежно глядящего в будущее: «Дурак или мерзавец?—Узнать!»

2

Списки пожертвований «на раненых воинов» и вообще «на нужды войны» были очень показательны для Николая тем, кто именно и сколько именно жертвует. Его вполне искренно изумляло, что жертвуют часто какие-то совсем невразумительно ничтожные суммы с копейками и даже с полушками на конце. В этих полушках и третях копеек проглядывал у его подданных не копеечный даже расчет, а гораздо мизернейший, точно жертвователи боялись, как бы не переборщить, не слишком уж раззолотить алтарь отечества, находящегося в опасности.

Он, конечно, отлично знал, что из-за копеек и полушек при казенных отчетностях подымалась *иногда целая переписка, стоившая десятки рублей* и массы потерянных часов, он сам и поощрял даже такую сверхзаботу о каждой казенной копейке, которая не должна была пропадать бесследно, но он знал также и то, что в его царствование, всемерно радея о пользе службы, чрезмерно обогащались и высшие чиновники, и чиновники средних рангов, и военные, начиная с командиров рот, батарей и эскадронов, и духовенство черное и белое, и купечество, и помещики, если только были они не картежники, не кутилы, не круглые дураки.

Он знал, например, что граф Канкрин, бывший двадцать один год министром финансов, скопил себе на старость лет четырнадцать миллионов одними только банковскими билетами, не считая недвижимостей, и скопил, как оказалось, без малейшей помощи казнокрадства, благодаря отчислениям в его пользу весьма как будто скромных процентов по финансовым операциям его на благо царя и отечества. Так, например, будучи в отпуску за границей ввиду расстроенного здоровья, этот министр, тогда уже семидесятилетний старец, не только написал там на досуге пухлый роман на немецком языке, но умудрился еще и подготовить весьма выгодный заем... Надо же было достойно отблагодарить его за это!

Когда по полнейшей ветхости его пришлось принять прошение об отставке и Николай назначил на его место Вронченко, то учредил еще при этом новом министре особый «финансовый комитет» из трех лиц: князя Меншикова, графа Левашева и князя Друцкого-Любецкого, что дало повод Меншикову сострить: «Теперь ясно видно, сколько стоит один немец в России: двух русских, малоросса и поляка!»

Но Вронченко далеко не был так удачлив в финансовых операциях, как Канкрин. По его совету, например, было куплено на пятьдесят миллионов французской ренты, причем половина выплачена хлебом, половина слитками золота и серебра. Однако покупка эта совершена была в 1847 году накануне февральской революции и падения и Людовика-Филиппа и французской ренты.

И все-таки Канкрин, этот действительно способный министр, был найден и утвержден министром не им, Николаем, а его братом, Александром, он же просто получил Канкрина по наследству и теперь, в старости, на тридцатом году царения и в годину жестокой борьбы с Европой изумленно видел, что ему не удалось выпестовать ни одного по-настоящему большого государственного человека.

И Дибич и Паскевич, кроме титулов и аренд, получили по миллиону рублей за Турецкую кампанию 1828—1829 годов. Но спустя всего только два года Дибич показал свою полную неспособность, если не измену, в Польской кампании; Паскевич был удостоен царских почестей за взятие *Варшавы,—тогда барабаны ему били «полный поход»* при криках «ура», гвардейские батальоны салютовали знаменами, отдавая честь, и он сам, император Николай, вышел,—это было на разводе в Михайловском манеже,—ему навстречу и, сделав «на караул» шпагой, отрапортовал торжественно:

«Князь Иван Федорович, благодарю вас именем отечества!..»

Но вот наступила Венгерская кампания [1], и оказалось, что Паскевич действовал там, в Венгрии, как Дибич в Польше, и если повстанцы были наконец сломлены и сдались, то приписать это удачным распоряжениям Паскевича было никак нельзя.

Не оказалось талантливых генералов к тридцатому году самодержавного владычества, и некого было послать на смену Меншикову, но по донесениям шефа жандармов всего только за три месяца войны офицерами разных чинов и положений послано из Крыма родным и в банки свыше восьми миллионов рублей «сбереженій от жалованья».

Николай понимал, конечно, что если война с Наполеоном I в двенадцатом, тринадцатом, четырнадцатом годах обошлась России сто пятьдесят семь миллионов рублей, то Крымская война грозит совершенно истощить небогатые средства русской казны при условии, что она затянется года на два, как полагает, очевидно, какой-то Пустырев из Рязани. Миллионы будут отправляться из Крыма, полушки и копейки будут течь в Петербург.

Он ожидал, что дипломатический шаг, который он сделал через посредство барона Будберга, будет встречен совершенно иначе, чем его встретили правительства Англии и Франции. Однако вот уже пришли в Петербург и заграничные газеты, как «Indépendance Belge» и «Ausburger Zeitung», в которых были напечатаны четыре пункта, но на то, что они будут приняты, не давалось никаких надежд. Из обращения вышел только новый конфуз, только признание в своей слабости перед целым миром.

3

Лет пятнадцать назад Николай очень увлекался постройкой новых крепостных фортов Кронштадта. Они делались иногда под его личным присмотром из тесаного гранита и с таким расчетом, чтобы выдержать огонь из морских орудий наибольшего калибра и в свою очередь поражать любую точку лежащей перед ним площади моря.

Когда они были готовы, он сознательно показывал их лорду Кодрингтону и был весьма удовлетворен его отзывами о них:

— Я не хотел бы когда-нибудь получить приказ атаковать эти форты, ваше величество!

По серьезному и задумчивому лицу лорда Николай заметил тогда, что слова его были вполне искренни.

Теперь же он мог видеть из Ораниенбаума соединенную эскадру интервентов в виду Кронштадта,—картина, на которую смотреть ездили из Петербурга многие, чего запретить было им нельзя.

Правда, Непир все еще не решался приступить к бомбардированию Кронштадта, очевидно помня старинное положение, что одна пушка на берегу стоит целого корабля в море, хотя он же хвалился, отплывая от берегов Англии, «позавтракать в Кронштадте—пообедать в Петербурге». Однако удалить его с его флотом от подступов к столице не было сил, и это бессилие свое Николай переносил тяжело: он, жандарм Европы, очутился сам под крепким караулом,—так сразу и в корне переменились роли.

Однажды на пути в Варшаву, весной, он едва не утонул в Немане, когда, по маршруту, нужно было переезжать эту реку ночью, как раз накануне ледохода. Тогда его вместе с неизменным его спутником графом Орловым спасли солдаты, стоявшие по пояс в ледяной воде, чтобы сдержать его санки и не позволить ему даже замочить ботфорты, когда он вылезал из саней на подсунутые с берега доски.

Этот случай весьма испугал его тогда; производилось следствие, не было ли тут злого умысла со стороны неблагонамеренных лиц, не замешаны ли в этом революционеры-поляки. Однако испуг за свою жизнь появился после, а там, на Немане, ночью он даже не почувствовал, не представил ясно, что мог утонуть, если бы не удалось задержать лошадей, если бы не так самоотверженно вели себя солдаты. Он спал перед этим, утомленный дорогой и ночной темнотой, так же как и Орлов, а дежуривший при переправе офицер не успел предупредить его об опасности.

Николай часто вспоминал про себя этот случай теперь, когда ему тоже казалось, что он тонет, и не два-три десятка солдат, как там, на Немане, а вся армия русская силится спасти его, но успеет ли в этом?

Побывавшие при нем в России наблюдательные французы, как, например, Кюстин [1], сравнивали его с Людовиком XIV, любившим повторять: «Государство—это я!» Они подмечали с первого же взгляда то раболепство перед царем, какое пышно цвело при дворе среди людей знатных, очень высокопоставленных, колоссально богатых, которым, казалось бы, не было никакой нужды в этом раболепстве. Но дело было только в том, что множество людей при Николае именно раболепством и сделали себе карьеру. Если сам Николай любил нравиться тем, с кем он говорил, то еще естественнее было тем, с кем он говорил, стараться понравиться чем-нибудь и как-нибудь ему, само-

[1] *Венгерская кампания*—война, которую русские войска вели в 1849 г. под начальством Паскевича в Венгрии против повстанцев, боровшихся за независимость Венгрии от Германской империи.

[1] *Кюстин Адольф* (1793—1857)—француз, побывавший в царствование Николая I в России и оставивший описание ее порядков и быта в своей книге, изданной в 1930 г. на русском языке под названием «Николаевская Россия».

держцу, от которого зависело возвысить или унизить. Если он сам любил позировать художникам в две трети фаса, так как при таком повороте лица нравился себе больше всего, то каждому из его подданных не оставалось ничего больше, как в себе самих отыскать те же самые две трети фаса.

Зато каждое слово похвалы его кому бы то ни было мгновенно подхватывалось решительно всеми при дворе и сразу, как магический ключ, открывало счастливцу двери во все сердца; стоило только раскрыть для кого-нибудь свои объятия царю, и избранник фортуны терял уже счет объятиям, которые кругом для него открывались, и радостным восклицаниям, которыми его встречали всюду.

И, наоборот, все сразу становились холодны к тем, кого постигла царская немилость, их не замечали, переставали их узнавать, может быть, боялись даже показать, что с ними знакомы, чтобы это не стало известно и при дворе.

Все доносили и всё доносили; не опасаясь доносчиков, можно было говорить разве только с самим Николаем.

Но царь, присвоивший себе такую исключительную полноту власти, должен был не казаться только, а действительно быть всемогущим,—это понимал Николай. Он терпеть не мог латыни, которую вздумали преподавать ему в его отроческие годы, но он знал историю Августа [1], счастливого во всех своих начинаниях до конца своих дней. Он привык считать себя именно русским Августом и даже в любви своей к строительству находил это сходство с первым из римских цезарей.

И вот рухнуло это сходство. Границы государства оказались в опасности. Назойливо стало лезть в голову сравнение с положением Фридриха II, которому также пришлось бороться с коалицией сильнейших европейских держав, Фридриха, перед которым благоговели его дед, его отец, часами просиживавший перед его портретом, наконец его мать, всячески старавшаяся всем своим детям внушить преклонение перед этим королем Пруссии.

Но Николаю роль Фридриха II всегда казалась и слишком суетливой и не совсем благодарной, мелочной. И хотя он часто говорил: «Расстояния—вот язва России», но особенной горечи не вкладывал в эти слова, и как бы ни малы были расстояния Пруссии по сравнению с Россией и тем самым удобнее для сношения со всеми ее границами из центра, все-таки он не променял бы корону России на корону Пруссии и Петербург на Берлин.

Он даже любил называть себя самым русским из всех русских царей после Петра, хотя солдаты гвардии, говоря между собою, окрестили его Карлом Иванычем.

---

[1] *Август Октавиан* (61—14 г. до н. э.)—римский император.

Бывает, что при своих личных несчастиях и неудачах люди несколько утешаются, когда слышат о неудачах, постигающих их врагов.

Когда в газетах, пришедших из-за границы, появилось известие о внутреннем займе, затеянном Наполеоном в виду военных нужд, Николай втайне надеялся, что затея эта лопнет, как мыльный пузырь. Кому во Франции нужна была война с Россией, кроме самого Наполеона? Последний посланник Франции в Петербурге, генерал Кастельбажак, уверял, что подобная война была бы очень непопулярной.

Но вот депеша по проволочному телеграфу от Паскевича из Варшавы через Киев принесла первое известие, как слух, что заем в пятьсот миллионов франков, объявленный Наполеоном так, казалось бы, самонадеянно, перекрыт в четыре с половиной раза благодаря участию в нем английских, бельгийских, голландских банкиров.

Это известие Николай болезненно воспринял, как проигрыш Меншиковым нового большого сражения, гораздо более грандиозного, чем Инкерманское.

4

Именины Николая праздновались при дворе скромнее, чем обычно: это связывали не столько с войною, сколько с болезнью императрицы.

Это странное существо, не раз уже умиравшее так же длительно и трудно, чтобы потом неожиданно для всех подняться совсем почти невесомой и с трясучей головою, но деятельной и даже способной ехать за границу лечиться, часто спрашивало окружающих ее камер-юнгфер, приехали ли из этого страшного Севастополя ее дети. И когда дня через два после именин отца они действительно приехали, она тут же, повидавшись с ними, попросила снять себя с кровати и посадить в кресло, лицом к окну.

Ее посадили, обложив со всех сторон подушками, и, слишком чадолюбивая для того, чтобы умереть, она решила с этого дня начать свое новое возвращение к жизни. Николай же принялся подробнейше расспрашивать сыновей о том, какими они оставили Севастополь, Меншикова, войска, флот, батареи союзников. Расспросы были таковы, что требовали обширных и точных знаний: младшим сыновьям царя стало видно, что их отец следит отсюда, из Петербурга, за всякой мелочью севастопольской обстановки.

Когда же речь зашла о главнокомандующем, и Михаил, более непосредственный, чем его брат, которого, между прочим, в семейном кругу звали Низи, обрисовал отцу состояние Меншикова и передал его просьбу об отставке, царь нахмурился и сказал:

— Этого еще недоставало! Не думал я, чтобы

в такой короткий срок мог он в такой степени износиться! Но отставку все-таки придется пока отставить, потому что всякий другой на его месте будет еще хуже вести дело, чем он. У него-то по крайней мере есть хотя здравый смысл в голове, а у других и этого не найдешь. Пусть хоть на диване лежит в халате, да чтобы главное руководство было его... В сущности ведь в моем распоряжении имеются всего только два генерала, на которых я могу положиться...

— Кто же такие, папа?—спросил Низи, когда он замолчал и задумался.

— Эти два генерала—Генварь да Февраль,—без улыбки ответил Николай, и оба сына его поняли, что надежд на победу в этой войне у него мало, если он вполне как будто серьезно думает, что союзников можно «вымородить, как тараканов», и они один перед другим пустились успокаивать отца единственным, чем могли,—духом войск.

— Дух войск моих хорош, конечно, это я знал всегда и теперь знаю,—слышал от своих флигель-адъютантов не один раз,—сказал Николай,—но одного духа войска в такой войне, какую мне навязали, все-таки мало... За три месяца, считая с боя на Алме, пороху вышло столько, что могло бы хватить на три хороших войны в прежнее время, а порох везти приходится из Киева, из Шостки, из других мест за несколько сот верст, а то и за тысячу даже!.. А на чем везут? На быках!.. Также и снаряды!.. Мерзавцы из двух английских компаний добивались у меня разрешения вести на свои средства дорогу от Москвы на Нижний, наподобие того, как граф Бобринский провел от Петербурга на Павловск... Спрашивается, почему же именно им хотелось на Нижний, а не на Курск и Харьков? Теперь-то я вполне понимаю этих негодяев! А они ссылались на то, что дорога на Харьков была бы будто бы малодоходна. Дело же тут было совсем не в них, а в их господах, которые в Лондоне и которые теперь воюют со мною! Поэтому-то и невыгодно им было вести дорогу на Харьков... Но у нас были и свои голоса против железной дороги из Петербурга в Варшаву, когда я четыре года назад передал этот вопрос на обсуждение комитета. Граф Гурьев тогда высказывался против, а другие пошли петь с его голоса: «Подождем, когда московская дорога покажет, насколько она будет выгодна...» Ждать?—вдруг крикнул резко Николай.—Чего же именно ждать?.. Вся Европа покрывается сетью железных дорог, и в случае внезапной войны там, на западной границе, не только Варшава, а и все западные губернии наши наводнятся их войсками, а наши за это время и от Петербурга до Луги не успеют дойти! Хорошо, что я не поглядел на умников из комитета и приказал начать строить дорогу на средства казны!

Михаил и Низи знали, что председателем этого комитета, о котором говорил с такой горячностью и гневом отец, был не кто иной, как их старший брат Александр, наследник-цесаревич; они только переглянулись и промолчали.

Михаил и Низи понимали, что отец их был теперь в таком состоянии, что всех кругом готов был обвинять в неудачах войны, как это бывает едва ли не с каждым при несчастии. Они видели и то, что он заметно осунулся за время их отлучки,—пожелтело лицо, впали несколько щеки, даже голос стал как-то глуше, и заметнее сделались складки под круглым сизым подбородком... Можно было даже подумать,—не заболел ли?

5

Как бывало это ежегодно, награды по случаю именин царя обрадовали одних, опечалили других, получивших не то, что они надеялись получить, наконец, были и совсем обойденные при этом. Эти последние переносили свои упования на 1 января.

Но между 6 декабря и 1 января был день, который праздновался как подлинное восшествие на престол, хотя официально это событие—«восшествие»—было приурочено к 20 ноября. День этот был, конечно, день восстания на Сенатской площади, когда судьба династии Романовых висела на волоске, и волосок этот не замедлил бы оборваться, если бы руководители восстания сумели его подготовить и провести.

Николай всегда праздновал этот день особенно торжественно, но в этом роковом году обстоятельства складывались так, что заранее нарушалась спокойная уверенность в будущем, необходимая для особо праздничных настроений.

Прежде всего и важнее всего был вопрос о четырех пунктах мирных предложений, на которые все еще ожидали ответа, и по этому поводу Николай долго совещался с руководителем своей внешней политики, семидесятипятилетним канцлером Нессельроде.

Доставшийся Николаю в наследство от старшего брата, так же как и Канкрин, Карл Вильгельмович Нессельроде стоял на страже русских интересов почти полвека, умудрившись так тесно связать их с интересами Австрии, что развязать их, и то далеко не вполне, суждено было только Восточной войне.

Это был едва ли не единственный в истории дипломатических отношений европейских стран пример, чтобы министр огромного государства во всем и навсегда подчинялся бы влиянию министра другого, соседнего государства, сравнительно небольшого по размерам: в таком подчинении у Меттерниха был Нессельроде.

Меттерних мог убедить его в чем угодно, даже и в том, что греческое восстание двадцатых годов необыкновенно опасно для России. Под непосред-

ственным влиянием и по горячим настояниям Нессельроде Николай пустился спасать Австрию от восставших венгров. Если бы на месте Нессельроде был другой министр иностранных дел, события могли бы сложиться по-иному, но Николай был слишком консервативен, чтобы сместить своего советника, к которому, вполне естественно, он привык уже за несколько десятков лет. Кроме того, ему и самому всерьез казалось, что Австрия нечто вроде придатка России, как гоголевскому Поприщину думалось, что если сказать «Испания», то это и будет Китай.

Австрия отплатила Николаю за свое спасение в 1849 году черной изменой; чудовищная осада Севастополя удручающе тянулась; Нессельроде продолжал оставаться у кормила правления.

Маленький и в молодые годы, канцлер теперь под бременем лет усиленно рос книзу. Женившись еще в 1812 году на дочери тогдашнего министра финансов графа Гурьева, особе величественных форм и крутого характера, Нессельроде потерял ее, разбитую параличом лет пять назад, и теперь единственною привязанностью старичка были туберозы, гладиолусы, корилопсисы и другие цветы его обширных оранжерей.

Говорил по-русски он так же плохо, как и Канкрин. Власть его в государстве была, конечно, громадна, но, несмотря на это, он казался только пажем своей жены в ее салоне. Рыжий Михаил Павлович, брат царя, называл ее не иначе, как «Ce bon monsieur de Robespierre»[1], так совсем не по-женски была сурова ее внешность и так велико ее презрительное высокомерие ко всем, кто был с нею мало знаком. У себя же в гостиной она принимала всех, каково бы ни было их положение в свете, самым легким, едва заметным кивком головы, полулежа при этом на диване. Если она удостаивала кого-либо из гостей своим разговором, то это был разговор только на политические темы. Она говорила иногда, впрочем, и о высшей администрации, но исключительно в отрицательном духе, а распоряжения правительства встречали в ней критика самого придирчивого, жестокого и ядовитого.

Конечно, около этого подлинного канцлера в юбке с годами образовался кружок избранных людей, немногочисленный, но весьма сильный по своему влиянию на государственные дела. Враждебное же отношение Нессельродши к кому-нибудь обыкновенно приводило к самым серьезным последствиям.

Дочь свою она выдала за саксонского барона Зеебаха и часто уезжала за границу.

Этот Зеебах был посол Саксонии в Париже и иногда извещал своего тестя о настроениях при дворе Наполеона. Но ничего утешительного по поводу последнего обращения начать мирные переговоры Нессельроде от зятя пока не получил, хотя в четыре пункта обращения было вложено именно то, что требовали западные державы в августе, перед отправкой десанта в Крым. Напротив, получилось известие о том, что Австрия заключила договор с Францией и Англией, а с другой стороны Кавур, премьер-министр Сардинии и Пьемонта, объединенных королем Виктором-Эммануилом, вступает в союзные отношения с коалицией враждебных России держав и обещает им помощь войсками в их борьбе с армией Меншикова.

Сложную и неприятно для него сложившуюся обстановку на Западе Николай хотел выяснить при помощи своего старого канцлера.

У всякого, кто мог бы совершенно незамеченно заглянуть в кабинет Николая в то время, когда он принимал доклад Нессельроде, совершенно непроизвольно заиграла бы на лице улыбка при виде двух таких несоразмерных фигур за одним столом: детски крохотного канцлера и колоссально огромного царя.

Соответственно фигуре и голос Нессельроде был писклявый, цыплячий, когда он говорил, поблескивая стеклами круглых очков:

— Князь Шварценберг[1], разумеется, хотел бы сделать все, что можно, в пользу мира, но он истощает свои усилия в борьбе с непреклонным желанием Англии продолжать войну, чего бы это ей ни стоило, ваше величество, хотя стоит это ей уже и теперь очень много... Император же Франции имеет цели менее реальные и, я бы сказал, просто желает приобрести себе больше весу для некоторых дальнейших своих планов в Европе, а не в России, конечно, в Европе и, пожалуй, в Африке...

Говоря это (разговор шел на французском языке), канцлер разводил и приближал к груди ручки, как маленький паучок, снующий по своей паутине.

— Меня интересует договор, заключенный князем Шварценбергом с союзными державами,—перебил его царь.—Какая суть этого договора? Австрия набивается в члены союза?

— Нет, государь! По всем данным, какие находятся в моем распоряжении, суть этого договора только в том, чтобы совместно обсуждать меры, какие можно будет принять державам-союзницам в случае, если мир не будет заключен до нового года.

— До нового года? До нового года остаются уже считанные дни,—и, значит, это условие можно отбросить... Что же означает «совместно обсуждать меры, какие можно будет принять»?—И Николай

[1] «Этот добрый господин Робеспьер» (франц.).

[1] *Шварценберг Карл-Филипп*, князь (1800—1852)—австрийский дипломат, после подавления венгерского восстания—глава австрийского правительства.

высоко поднял седеющие брови в знак полного непонимания этой фразы.—Обсуждать меры можно, кажется, только с союзником, а не с посторонним, не так ли?

— Беру на себя смелость, государь, уверить вас, что Австрия воевать против вас не желает и не будет,—пропищал Нессельроде, приложив руку к сердцу.

— Ты мне говорил это не один раз и раньше,—перешел на русский язык Николай,—и однакоже войска Австрии приковали мои войска к Бессарабии, и, как последствие подлой политики Шварценберга, между прусским королем и мною бежит уже черная кошка...

— Государь! Но ведь Австрия вполне одобрила все четыре пункта наших условий!—выставил сложенные лодочкой ручки Нессельроде.

— Ну, еще бы,—когда эти пункты составлены самим Шварценбергом! Итак, о близком мире нечего больше говорить... А что нужно в Крыму Кавуру с его сардинцами? Этого, признаться, я не понимаю!

Небольшое личико канцлера сделалось очень озабоченным.

— Этот Кавур, ваше величество, мне кажется, доставит со временем много хлопот не кому другому, как императору Австрии. Этот Кавур ищет себе союзников для своих целей. Ему совершенно безразлично, с кем воюют Франция и Англия; ему нужны только сильные покровители. Сколько может выставить в поле какая-то там Сардиния? Одну дивизию, не больше. И дивизия эта, может быть,—я говорю: «может быть», государь,—будет доставлена в Крым, и дивизия эта погибнет в Крыму, но за эту ничтожную цену думает Кавур купить себе и своему королю покровительство Франции и Англии в тяжбе своей будущей с кем же? С Австрией, конечно, которая владеет всею северной Италией. Этот Кавур молодой еще политик, но он далеко смотрит вперед, государь! Он будет, кажется, гораздо опасней для Франца-Иосифа, чем революционер Мадзини![1] Он хочет собрать всю Италию под власть своего короля Виктора-Эммануила... И наши севастопольские пушки должны будут помочь ему в этом,—так он, кажется, думает, этот Кавур!

— Гм... А если к союзу их пристанет и Австрия, в каком же тогда будет он положении?—И не дожидаясь ответа своего канцлера на этот вопрос, Николай добавил:—Я думаю, что наступило время объявить сбор ополчения... для начала хотя бы в пяти-шести губерниях... По двадцать—двадцать пять человек с тысячи населения... Я, конечно, уверен, что мой близкий родственник и друг прусский король не против меня вздумал произвести пробную мобилизацию своей армии, но я не забываю все же о происках Австрии. Между тем, если прусская армия мирного времени сто пятнадцать только тысяч, то в военное время она может учетвериться. При хорошем вооружении и при хороших генералах, какие имеются в Пруссии, в чем я не раз убеждался, это будет очень сильная армия... Кстати, мне кто-то говорил, что Кавур—блондин и гораздо больше похож на пруссака, чем на итальянца... Если это так, то над этим следует подумать...

Нессельроде не знал, как ему следует отнестись к последним словам царя, и смотрел на него пристально-выжидательно. Что касалось набора ополчения, то он считал его преждевременным и даже, пожалуй, не совсем безопасным для внутреннего порядка в империи. Относительно же прусского короля Фридриха-Вильгельма IV, брата императрицы Александры Федоровны, он боялся уже утверждать, что преданность его русскому царю непоколебима. Кстати, он припоминал и то, что сделалось ему известно сравнительно недавно: болезненные явления, угнетавшие прусского короля, сверстника императора Николая, врачи определили, как разжижение мозга; все большее участие в управлении Пруссии начинал принимать младший его брат Вильгельм, и при дворе выросла сильная военная партия.

В 1817 году принц Вильгельм вместе со своею сестрою Шарлоттой, тогда только еще невестой великого князя Николая, отправлялся в Россию, сопровождаемый генералом Натцмером. Сам Вильгельм, может быть, получил от своего отца Фридриха-Вильгельма III только отеческие наставления, как ему следует вести себя в таком высоком обществе, как двор победителя Наполеона, императора Александра, но генерал Натцмер—строжайшую инструкцию, написанную для него королем, о том, что ему следует говорить, как представителю прусской политики. А генерал Грольман, глава генерального штаба Пруссии, вручил Натцмеру особую записку, рекомендующую ему узнать, насколько сильно укреплены русские города: Рига, Псков, Новгород, Нарва и Ивангород...

Так что, если еще в 1817 году и как раз в торжественный такой момент, когда союзные отношения скреплялись выгодным браком, правительство Пруссии соображало, насколько прочна русская граница, то, конечно, теперь, через сорок лет после наполеоновских войн, накопилось в Пруссии достаточно сил, стремящихся найти себе применение.

Эти силы не удалось повернуть против Наполеона III, но кто может ручаться за то, что Наполеону не удастся направить их теперь в сторону Риги, Пскова, Новгорода?

[1] *Мадзини Джузеппе* (1805—1872)—итальянский патриот и революционер, основатель тайного общества «Молодая Италия», целью которого было свержение австрийского владычества и утверждение в Италии буржуазно-демократической республики.

Нессельроде понимал, что от него требовалось успокоить царя именно в этом, что со стороны Пруссии не будет такой же измены Священному союзу [1], как со стороны Австрии, и он сказал наконец:

— По моему крайнему убеждению, государь, у Пруссии все-таки нет причин для войны с нами.

— А я, должен тебе сказать, готовлюсь к самому худшему!—резко сказал Николай.—Я уже ничуть не сомневаюсь, что король прусский пристанет к нашим врагам, и весьма скоро это может случиться!.. Ты не видишь причин? А Польша? Получить часть Польши взамен своих услуг—разве это не достаточная причина?.. Ведь между Францией, Англией и Австрией условлено отнять у меня Польшу,—об этом пишет мне князь Варшавский [2], значит это и было предметом договора между ними!

Нессельроде постарался изобразить на своем маленьком сухоньком личике не только изумление и испуг, но даже и возмущение, однако сказал, поднимая руки:

— Но, может быть, князь Варшавский передал вашему величеству только слухи, которые ходят в самой Варшаве? Варшава—это город экзальтированный... Конечно, можно, пожалуй, опасаться там восстания, подобного тому, какое...

— С этим ты все-таки согласен, что может быть и восстание?—перебил Николай.—Князю Варшавскому там, на месте, виднее, чем нам тут, и он, не забывая о восстании, видит еще и войну... Он просит создать для него еще одну армию против Каменец-Подольска, чтобы сдержать австрийцев, и он вполне прав, разумеется. Если врагам нашим удастся отнять Польшу, мы потеряем почти пятнадцать миллионов населения! Если им удастся проникнуть в Новороссию, мы потеряем весь юг России, кроме того, что нам придется проститься с Крымом!.. На Петербург готовится нападение тоже, как это тебе известно...

— Может быть, это только досужие выдумки журналистов, государь?—попробовал возразить Нессельроде.

— Ты в это поверишь, когда увидишь! Но Петербург я все-таки надеюсь отстоять с теми силами, какие у меня здесь имеются!—выкрикнул Николай, выкатив глаза.—Петербург им не видать, как своих ушей! А защита центра России лежит на князе Варшавском... Хотя, между нами говоря, он стар, он становится очень слаб... Он очень много неприятностей перенес в последнее время и несчастий... Сгорел его Гомель. Один за другим умирают его дети... Но пусть хотя бы общее руководство защитой,—в этом мне его заменить решительно некем. Он знает свою армию, и армия знает его... Он найдет себе дельных помощников. В крайнем случае можно бы было пожертвовать Бессарабией, но не Польшей! Сбор дружин ополчения надо объявить в самом скором времени, потому что их еще надо подготовить, одеть, снабдить оружием,—это не делается в один месяц... Я надеюсь, что запасные дивизии, которые формируются теперь, могут быть готовы к марту, но по ходу дела видно, что дай бог дождаться их к июню.

Нессельроде слушал того, кого он видел еще когда-то, при императоре Александре, совсем еще зеленым юнцом, почти мальчиком, способным протестовать против занятий с ним древними языками тем, что вцепился зубами в плечо своего преподавателя, наступив ему при этом на ногу, чтобы он вырвался не так скоро. Этот слишком непосредственный юнец на глазах его сделался не только императором, но и стариком, однако прежняя непосредственность в нем осталась непеределанной, неукрощенной. И вид у него такой, как будто и сейчас он готов на кого-то броситься, кому-то наступить на ногу, в кого-то вцепиться зубами... И хотя ему самому обстоятельства не казались столь мрачными, какими их рисовал самодержавный монарх России, так еще недавно диктовавший свою волю нескольким монархам в Европе, он вынужден был сказать, понизив голос:

— Если вы, государь, считаете, взвесив все доводы, что положение государства настолько опасно, то об этом надобно оповестить также и всех подданных вашего величества.

— Да, это представляется мне необходимым,— отозвался Николай, поднимаясь и вытягивая исподволь уже не гибкое огромное тело.—Манифест надобно составить, отпечатать и выпустить с таким расчетом, чтобы в Петербурге он был прочитан четырнадцатого числа... Ты говоришь: «Если вы считаете положение опасным...» А ты в какие же погружен сны или мечтания, что этого не видишь? Ты мне говорил как-то, что мы много теряем от блокады, что остановилась торговля с заграницей на морских путях... Много, да! Но то, что мы потеряем, когда допустим врагов в наши внутренние губернии,—неисчислимо! Ты забыл про Пугачевщину? Вспомни ее хоть четырнадцатого числа! В армии Наполеона I мало было людей, способных говорить с русскими мужиками... Поверь, что в армии Луи-Наполеона их будет гораздо больше, и в первую голову—революционеры-поляки... Ты читал, я думаю, что пишут в иностранных газетах?—Что я должен уступить Швеции Финляндию по реку Кемь, Турции—Кавказ по Кубань, а Польшу непременно сделать свобод-

---

[1] *Священный союз* был заключен в 1815 г., после изгнания Наполеона, между Австрией, Россией и Пруссией с целью противодействия революционному движению в Европе.

[2] *Князь Варшавский*—титул фельдмаршала И. Ф. Паскевича (1782—1836), полученный им за подавление польского восстания в 1831 г.

ным государством! Так называемое общественное мнение Европы на меньшем мириться не хочет! Или эти уступки, или Пугачевщина в России!..

Бледное до этого лицо Николая багрово покраснело, вены на шее вспухли, глаза округлились. Встревоженный канцлер робко смотрел на него, задрав седенькую плешивую головку, как деревенский мальчуган на звонаря, таинственным движением веревок вызывающего оглушительный трезвон на колокольне.

6

В недоброй памяти день 14 декабря петербуржцы читали новый манифест Николая.

«Божиею милостью мы, Николай Первый, император и самодержец всероссийский, и прочая, и прочая, и прочая, объявляем всенародно:

Причины доселе продолжающейся войны вполне известны любезной нам России. Она знает, что не виды честолюбия, не желание новых, не принадлежащих по праву нам выгод были побуждением нашим в действиях и обстоятельствах, имевших неожиданным последствием настоящую борьбу. Мы искали единственно охранения торжественно признанных преимуществ православной церкви и единоверцев наших на Востоке; но некоторые правительства, приписывая нам весьма далекие от мысли нашей своекорыстные, тайные намерения, препятствовали успеху сего дела и, наконец, вступили в неприязненный против нас союз. Провозгласив, что их цель есть спасение Турецкой империи, они действуют против нас вооруженною рукою не в Турции, а в пределах наших собственных владений, направляя враждебные удары свои на все более или менее доступные им места: в Балтийском, Белом и Черном морях, в Тавриде и на самых отдаленных берегах Тихого океана. Благодарение всевышнему, они везде, и в войсках наших и в жителях всех состояний, встречают смелых противников, одушевляемых чувством любви к нам и отечеству, и мы, к утешению нашему, в сих смутных обстоятельствах, среди бедствий, неразлучных с войною, видим непрестанные, блистательные примеры и доказательства сего чувства и храбрости, им внушаемой. Таковы неоднократные, несмотря на неравенство сил, поражения неприятельских полчищ за Кавказом и совершенный, также с несоразмерными силами, отпор от берегов и шхер Финляндии, от стен обители Соловецкой и от гавани Петропавловской на Камчатке; такова особенно геройская оборона Севастополя, ознаменованная столь многими подвигами неодолимого мужества и неусыпной, беспрерывной деятельности, коим отдают справедливость и удивляются сами враги наши. С умилением признательности к богу, взирая на труды, неустрашимость, самоотвержение наших войск сухопутных и морских и на общий всех сословий в государстве порыв усердия, мы смеем почитать их залогом и предвестием счастливейших в будущем событий. По долгу христианства мы не можем желать продолжения кровопролития и, конечно, не отклоним мирных предложений и условий, если они будут согласны с достоинством державы нашей и пользами любезных наших подданных. Но другой, не менее священный долг велит нам в сей упорной борьбе быть готовыми на усилия и жертвы, соразмерные с устремленными против нас действиями.—Россияне! Верные сыны наши! Вы привыкли не щадить ничего, когда провидение призывает вас к великому и святому делу, ни достояния, многолетними трудами приобретенного, ни жизни и крови вашей и чад ваших. Благородный жар, с самого начала войны пламенеющий в сердцах ваших, не охладится ни в каком положении, и ваши чувства суть также чувства государя вашего. Буде нужно, мы все, царь и подданные, повторяя слова императора Александра, произнесенные им в подобную нынешней годину искушения, с железом в руках, с крестом в сердце станем перед рядами врагов на защиту драгоценнейшего в мире блага: безопасности и чести отечества.

Дан в Гатчине, в 14-й день декабря, в лето от Рождества Христова тысяча восемьсот пятьдесят четвертое, царствования же нашего в тридцатое.

Николай».

В этот день, как всегда в прошлые годы, царь приказал собраться в дворцовой церкви всем бывшим офицерам (которые теперь, разумеется, были уж генералами), участникам подавления восстания декабристов; но кроме них приглашены были все офицеры трех полков: двух гвардейских—Преображенского и Семеновского—и лейб-гренадерского, именно тех, которые помогли царю тогда, на Сенатской площади, спасти свою жизнь и удержать власть.

Было благодарственное молебствие, провозглашена была «вечная память болярину Михаилу», то есть графу Милорадовичу, убитому Каховским, и другим, павшим тогда со стороны защитников Николая, а после молебствия офицеры были собраны в большой Арабской зале, и здесь царь, картинно держа за руки своего сына и наследника Александра и своего внука Николая, которого в отличие от других Николаев в многочисленной царской семье звали Никсой, сказал отрывисто, резко, но не с теми привычными для слушателей начальственными оттенками в голосе, с какими обращался он всегда к офицерам:

— Благодарю вас за службу!

— Рады стараться, ваше величество!—по-солдатски гаркнули все офицеры.

Потом он повернулся к преображенцам, помня то, что Преображенский полк тогда, в 1825 году, первым пришел к нему на помощь;

— А вас, преображенцы, в особенности благодарю!

— Рады стараться, ваше величество!—гаркнули преображенцы.

— Вы знаете, каким странным случаем сблизились мы с вами в знаменательный для меня и для вас день, а потому мы составляем общую семью, и моя семья принадлежит вам, и вы принадлежите мне... Вот перед вами три поколения,— поднял царь руки сына и внука,—теперь вы видите, кому служить вам! Служите же им так, как вы служили мне, и ваши дети, надеюсь, будут служить моим так, как вы служили мне...

Тут голос Николая взобрался на большую высоту, сильно вибрируя при этом, и показалось всем, что он пойдет еще выше и польются какие-то еще неслыханные по своей значительности слова, быть может, даже отречение от престола в пользу сына-наследника, но оборвался вдруг голос на высокой крикливой ноте, потом беззвучно шевельнулись раза два губы под плотными закрученными как всегда серыми усами, и усиленно замигали веки, стряхивая слезы.

Голубоглазый Александр, уже тридцатишестилетний, но чрезвычайно почтительный к отцу, почти такой же длинный, как он, но гораздо тоньше в поясе и у́же в плечах, справа от царя, и мальчик Никса, рослый для своих двенадцати лет, но неплотный, слева, повернули к нему головы, встревоженно ожидая, но он не сказал больше ни слова.

Бравые преображенцы, семеновцы, лейб-гренадеры решили, что им, пожалуй, тоже не мешает прослезиться, поддержать царя, что это отнюдь не должно испортить торжественно начатого ритуала; и те, у кого слезы были близко, прослезились.

И на этом кончилась вся умилительная сцена. А через час после нее был обычный на Адмиралтейской площади парад всему гвардейскому корпусу, которым, после смерти Михаила Павловича, умершего от удара в 1849 году в Варшаве, тоже во время парада, командовал наследник Александр, так же как и корпусом гренадеров.

Казалось бы, можно было очень строгому на смотрах и парадах царю в такой знаменательный для него день посмотреть сквозь пальцы на кое-какие ничтожные погрешности в захождениях колонн правым или левым плечом вперед, держа «дирекцию направо» или «налево» или «за середину фронта», но он ведь собрался сам лично защищать столицу от вражеского нашествия, поэтому недостаточная вымуштрованность лошадей при захождениях пронизала его, как штуцерная пуля английского фузелера, поэтому он накричал сначала на кавалергардов, а вслед за ними на конногвардейцев и тут же приказал им повторить на следующий день на Семеновском плацу все экзерциции парада в его присутствии.

А петербуржцы, читавшие в это время манифест, не вполне ясно понимали, куда именно они должны итти «с железом в руках, с крестом в сердце».

Патетический конец манифеста, начиная со слов «Россияне! Верные сыны наши!», заставлял каждого искать объяснений такой явной тревоге, раздавшейся с высоты, как будто чрезвычайно устойчивого, не подверженного никаким тревогам престола.

Недоуменные спрашивали на улицах и в домах:

— Что же это за обращение к «россиянам»? Ведь это уж вроде как было при Минине и Пожарском: «Заложим жен и детей!..» В виду чего же и кого же именно приходится нам это делать? Кто еще идет на Россию?

Им отвечали те, кто считали себя знатоками мировых событий:

— Да ведь во всей Европе пока один только папа римский не бряцает оружием против России и то в надежде на скорое соединение церквей католической и православной! А кроме него решительно все бряцают. С медведя, говорится, и шерстинка приятна!

Непонимающие начинали строить догадки:

— Поэтому можно ожидать, что повсеместный будет объявлен сбор денег и прочего, а также и людей в армию?

И знатоки отзывались на это категорически:

— Всенепременно-с!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ШУМНЫЙ ТЫЛ

1

На улицах Симферополя то и дело раздавались зычные отрывистые крики:

— Во-от сбитень медово́й, сбитень медово́й! Налетай, солдат строевой!

Бородачи с севера́, в чуйках, подпоясанных красными или зелеными кушаками, и в войлочных белых и серых шляпах-черепенниках, таскали на широких ремнях, закинутых на шею, перед собою сбитень в горячих самоварах, к ручкам которых были привешены на проволочных крючках гремучие жестяные кружки.

Однако и местные татары, тоже окладистоборо́дые, но в бараньих круглых шапках, скоро постигли нехитрое искусство варить этот любимый тогда напиток масс в зимнее время и тоже таскали такие же самовары, выкрикивая раздирающими душу голосами:

— Во-от кипито-ок! Во-от кипито-ок! Пади пагрей живото-ок!

Но и черепенничники нахлынули сюда из северных городов вслед за сбитенщиками, и на деревянных промасленных лотках, на подстеганных

ватой картузах у них красовались эти канувшие ныне в вечность любопытные сооружения из гречневой муки, имевшие вид небольших усеченных конусов, посаженных на лоток правильными рядами.

— И э-э-эх, черепе-еннички-и!—высочайшими фальцетами заливались черепенничники, а им вторили аладочники сиповатыми, но солидными басами:—Аладиев горячих, ала-адиев!

В то же время татары-возчики, продвигавшиеся на своих низкорослых клячонках, запряженных парой, по непроездно густо забитой возами и народом улице, надрываясь орали:

— Яваш-ява-аш!.. Яваш-ява-аш! Э-эй!

Фурштатские солдаты, сидя на передках громоздких, но прочных, зеленой масляной краской окрашенных казенных фур, то и дело застревая то в грязи, то среди других подвод, непередаваемо ругались во все горло так, что перед ними пасовали даже денщики, правившие за кучеров офицерскими колясками, бричками, дрожками, линейками, причем оглобли всё норовили попасть в воловьи ярма и в них застрять, а колеса—сцепиться в тесноте с чужими колесами.

— Афиц-цер-красавчик, пагадаем!.. Давай сейчас пагадаем!—кричали, хватая за руки проходивших узенькими тротуарами офицеров здешние, из Цыганской слободки, цыганки разных возрастов, в широких плисовых шароварах, завязанных у щиколоток шнурками, и в таких необыкновенно пестрых шалях, что даже в глазах от них рябило и сами собою щурились веки.

Кричали ребятишки, которых чрезвычайно занимало все, что делалось теперь на их улицах, обычно, до войны, тихих и благопорядочных,—ребятишки разных национальностей: русские, татары, греки, евреи, армяне, караимы и прочие, разных диапазонов крикливости. Но все голоса на двух смежных центральных улицах покрывал редкостно могучий бас, доносившийся через открытую форточку, вместе с клубами табачного дыма, из гостиницы «Европа». Для всякого на тесных улицах было ясно, что голос этот принадлежал человеку, умеющему им владеть в совершенстве и знающему себе цену.

Бас гремел через форточку второго этажа гостиницы:

По у-улице довольно грязной
Однажды шел мужик Демьян...
Немножко пьян... Немножко пьян... Немно-о-ожко пьян...
Немножко пьян... Немножко пьян... Немно-о-ожко пьян...

Ему-у навстречу шла Евсевна,
Его законная жена...
Чуть-чуть пьяна... Чуть-чуть пьяна... Чуть-чу-у-уть пьяна...
Чуть-чуть пьяна... Чуть-чуть пьяна... Чуть-чу-у-уть пьяна...

Голос был потрясающий, буквально какой-то потоп звуков, но этот рефрен «чуть-чуть пьяна» певец отчеканивал коротко, наподобие барабанного боя, и вместе с тем сатанински лукаво, очень разнообразя в то же время каждую из этих одинаковых фраз, что изобличало в нем не простого певчего, но тонкого артиста пения.

И воо-от сказал Демьян Евсевне,
Своей законнейшей жене:
Пойдем ко мне!.. Пойдем ко мне!.. Пойде-е-ем ко мне!
Пойдем ко мне!.. Пойдем ко мне!.. Пойде-е-ем ко мне!
Я угощу тебя там чаем,
И будем в козыри играть!
Тебе сдавать!.. Тебе сдавать... Тебе-е-е сдавать!
Тебе сдавать!.. Тебе сдавать... Тебе-е-е сдавать!

Дым из форточки валил гуще, слышался прорвавшийся, воспользовавшись паузой певца, дружный пьяный хохот многочисленных слушателей там, в гостинице, и снова покрыл и этот хохот и все уличные крики могучий бас, старавшийся теперь придать себе некоторую женственность интонаций:

На ко-о-й мне чорт твой чай и кофий,
И жареные су-ха-ри-и!..
Чорт их дери!.. Чорт их дери!.. Чорт и-и-их дери!
Чорт их дери!.. Чорт их дери!.. Чорт и-и-их дери!
А лу-у-тче бы на эфти деньги
Купил бы ты полштоф ви-ина!
У Фомина... У Фомина... У Фо-о-омина!
У Фомина... У Фомина... У Фо-о-омина!

Подъезжавший как раз во время этого пения к гостинице на совершенно измученных, мокрых, как из воды, еле переступавших ногами лошадях профессор Пирогов, явившийся сюда из Севастополя наладить деятельность здешних лазаретов и сестер милосердия, уже работавших в них, покачал удивленно головой и сказал:

— Однако здесь что-то чересчур весело, в этой Европе!

2

Путешествие от Москвы до Симферополя, продолжавшееся в общем более трех недель, сестры «из общества», совсем не привычные к подобным подвигам, перенесли только при крайнем напряжении своих сил. Особенно трудным показался им путь от Берислава на Днепре, когда пришлось довериться серым украинским круторогим волам, как единственной скотине, способной вытащить их куда-нибудь из обступившего со всех сторон океана грязи. Но полное и как будто нарочитое, вполне сознательное отсутствие темперамента у этого вида животных совершенно выводило из себя сестер.

Напрасно начальница отряда Стахович, желая их ободрить, рисовала им привлекательные картины их будущего, говоря, например:

— Разумеется, mesdames, врачи будут с нами учтивы... Они не будут нам ничего приказывать. Они будут говорить нам: «Ayez la bonté de faire

ceci ou cela,—ayez la complaisance de donner toutes les deux heures cette médecine»[1].

Это помогало мало. В том, что врачи будут говорить с ними на изысканном французском диалекте, сестры «из общества» не сомневались; по дорога к этому утонченному обращению оказывалась из рук вон русской.

Ощущение последней степени физической нечистоты овладевало ими все больше и больше, сильней и неотвратимей по мере того, как они приближались к Перекопу, но от этого очень скромного, хотя и исторического местечка, где были казенные пакгаузы, а в этих пакгаузах скопилось множество пересылавшихся дальше раненых и больных солдат, до Симферополя было еще далеко. Волов запрягали по четыре пары в каждый тарантас, но как с ними ни бились, они не одолевали в час более трех верст. Это был предел их скорости. Сестры бывали рады, когда их заменяли верблюдами, которые действовали своими длинными ногами гораздо проворнее, но зато швыряли им в тарантасы комки грязи, от которых не было спасения.

На станциях было холодно, тесно, неуютно и тоже грязно до невозможности, если только они не бывали забиты сплошь проезжающими офицерами, которые хотя и выказывали большое внимание к сестрам, но создать для них свободное чистое помещение, где можно бы было отдохнуть, все-таки не могли, конечно.

Так что, когда сестры узнали, наконец, «что еще одна станция, а там уже и Симферополь», они почувствовали то же, что матросы Колумба при виде берегов Америки.

Правда, в первые два-три дня по приезде в этот административный центр Крыма и губернатор Адлерберг, сменивший генерала Пестеля, брата казненного декабриста, и начальник казенной палаты Княжевич, местный старожил и деятель, и полицеймейстер, и пристав—все пришли в движение и постарались устроить в донельзя переполненном городе отряд сестер, командированный свояченицей самого царя.

Но когда сестры несколько отдохнули на отведенных для них квартирах и привели себя в порядок, оказалось, что в невозможном беспорядке были восемнадцать здешних лазаретов, разбросанных по всему городу без плана и связи.

Это были или обыкновенные обывательские дома, покинутые хозяевами еще во время общей паники после боя на Алме, или казенные постройки, отданные под лазареты; но не всегда знало даже и медицинское начальство, где именно находится тот или иной лазарет. Врачей же было слишком мало, чтобы посещать их ежедневно; доходило до того, что иные из этих мелких заведений, считавшихся лечебными, по неделям не видели лекарей.

Даже и воды иногда некому было подать больным и раненым: не было лазаретной прислуги. Когда же после очень долгой переписки присланы были для этой цели сюда из Херсона четыреста гарнизонных солдат, то оказалось, что им «забыли» выдать на руки при отправке так называемые аттестаты на довольствие, поэтому в Симферополе их на питание не зачисляли, хотя они и обращались всюду.

Истратив деньги на хлеб, они начали голодать и, наконец, все или почти все сделались жертвами «пятнистой горячки».

Сыпняк царил в лазаретах, покрывая собою и все раны и все другие болезни, делая этим восемнадцать учреждений просто преддверием кладбища.

Ретиво взявшиеся за исполнение своих обязанностей—кто хозяйки, кто аптекарши, сестры даже и сами не знали, что они в первые же дни почти наполовину были заражены сыпным тифом.

Они переживали еще только скрытый период этой болезни, неразлучной спутницы войны и голода; они еще бегали по начальству жаловаться на те безобразия, какие встретили, и требовать всего необходимого для раненых и больных; торжествовала еще сестра Савельева перед другими, так как была счастливой обладательницей высоких мужских сапогов, очень, как оказалось, необходимых для посещения лазаретов благодаря грязнейшим симферопольским улицам; и монахиня Серафима наводила еще между делом справки о женских монастырях в Крыму, а уже были они во власти исподволь размножавшихся в них микробов.

Двух сестер—Лоде и Гардинскую—командировала Стахович в Севастополь к Пирогову с докладом о том, в каком состоянии нашла она лазареты. Только он один мог, по ее мнению, привести их в надлежащий вид, так как имел необходимый авторитет у начальства, генеральский чин и бумажку из канцелярии самого государя.

Маленькая Лоде, захватив с собой зонтик от непогоды, и Гардинская со своими четками в несколько рядов, заменившими ей браслеты, храбро ринулись в новый нелегкий путь. Их окрыляло то, что они первые из сестер увидят этот героический город.

За двое суток кое-как они дотащились и пока были на Северной и смотрели на город и Малахов курган из почтенного далека, они только испытывали восторг и большой подъем. Но вот им сказали, что Пирогова они могут найти, вернее всего, в городе, на первом перевязочном пункте. Они переправились через Большой рейд на шлюпке. С огромной жадностью глаз оглядывали все кругом и уже с робостью, так как видели и зияющие окна, лишенные стекол, и разбитые стены, и взды-

[1] Будьте добры, сделайте то или это; сделайте одолжение, давайте через два часа это лекарство (франц.).

блесные балки на крышах, и ямы от снарядов, и ядра, которых никто не подбирал...

Между тем прохожих на улицах было не так мало, попадались даже и дамы. Это был период затишья: стрельбы не велось ни с той ни с другой стороны. Они в своей необычайной форме и с золотыми крестами на голубых лентах, висящими поверх шубок, пользовались общим вниманием офицеров и дам и двигались не без горделивости.

И уже подходили они к дому Дворянского собрания, который не был еще очищен от раненых, когда услышали пушечный выстрел, отдаленный, но внушительный, и кто-то сзади их сказал: «Ядро!»

Они посмотрели в небо налево, куда глядел он, и увидели, и обомлели обе: летело черное, круглое и прямо на них!

— А-ах!—вскрикнула во всю мочь Гардинская и присела на корточки.

— А-а-ах!—взвизгнула самозабвенно Лоде, припала на одно колено, дрожащими руками распустила зонтик и спрятала в него голову, замерев, как перепелка во ржи при виде ястреба в небе.

С лестницы собрания раздался звонкий молодой хохот: хохотали вышедшие подышать свежим воздухом Даша и Варя Зарубина.

Ядро шлепнулось в бухту, далеко сзади Лоде и Гардинской, а Даша и Варя помогли еле пришедшим в себя сестрам отыскать Пирогова.

3

Дым коромыслом стоял в гостинице «Европа».

Если отели Парижа ввиду близости Всемирной выставки 1855 года стремились расширяться, увеличивать число комнат, то симферопольские отели, врасплох захваченные войной, могли только уплотняться, и они уплотнялись до последних пределов возможности, как все почтовые станции на тракте Берислав—Севастополь.

Все комнаты были прочно заняты приезжими, платившими за них по самым высоким ценам, но в то же время в них довольно охотно впускались новые приезжие, причем говорилось приветливо: «Э, так уж и быть! Говорится пословица: «В тесноте да не в обиде!..» Располагайтесь, как дома, кладите чемоданы к чемоданам! И милости просим к столу...»

А за столом в каждом номере гостиницы шла азартная карточная игра, и компания шулеров, часто в офицерских мундирах, ощипавшая уже одних доверчивых и наивных, естественно искала других, новеньких и побогаче.

Шулера успели съехаться в Симферополь едва ли не из всех крупных центров России, потому что здесь было главное полевое казначейство, сюда шли миллионы, ассигнованные на нужды войны, здесь прилипало из них к рукам сколько успевало прилипнуть, и расчеты шулеров, основанные на опыте многих поколений, ошибочными быть не могли.

Но вслед за шулерами, багаж которых был легок, а риск ничтожен, сюда съехались также и продолжали съезжаться поставщики на армию всех сортов, имеющие сложные дела и отношения с интендантством и комиссариатствами, вносившие залоги, дававшие обязательства.

Эти, конечно, тоже не стеснялись высокими ценами на комнаты,—они были заведомо денежные люди,—но и они не прочь были потесниться, так как из разговоров, которые направлялись ими в нужную им сторону, умели чеканить монету и никакое знакомство ни с военными ни со штатскими людьми не считали лишним.

Лошадиные барышники, смуглые, чернобородые, большей частью люди в ловких боярках и картузах синего сукна, знающие наперечет все сколько-нибудь значительные помещичьи конские заводы на юге России и даже совсем незначительные хозяйства, где все-таки по-любительски выращивался конский молодняк, тоже съехались сюда, имея в виду хорошо заработать на неизбежном, конечно, в результате военных действий ремонте конского состава кавалерийских и артиллерийских частей.

Жрицы свободной любви, отчасти перекочевавшие сюда из Севастополя, отчасти собравшиеся здесь из других больших городов, тоже прочно осели в номерах гостиниц, считая их наиболее удобными для себя из всех вообще видов городских квартир.

Но оборотливые люди из обывателей, зная, что гостиниц в городе мало, и в чаянии больших доходов от своих домов, сжались сами, насколько могли, но приспособили их под меблированные комнаты с самоварами и услугами, и очень заметно на четвертом месяце войны как бы в две шеренги выстроились все более вместительные здания Симферополя: в одной шеренге—гостиницы и меблирашки, в другой—госпитали и лазареты; в первой—дикий безудержный разгул, во второй—гангренозные раны, пятнистый тиф, смерть—несколько десятков смертей ежедневно.

Однако и смерть здесь была не бездоходная, как сплошь и рядом на позициях, а, как это всегда имеет место за ареной жизненной борьбы, она кормила многих обывателей: гробовщиков, извозчиков, могильщиков, попов, певчих и прежде всего тех, кто заведывал хозяйственной частью лазаретов.

4

Пирогов, приехавший сюда на паре госпитальных лошадей, заранее знал, конечно, что нечего было и думать ему устроиться на несколько дней в лучшей из симферопольских гостиниц, и все-таки он, сойдя с коляски, вошел в «Европу». Ему ска-

зали, что при гостинице имеется ресторация с буфетом, где можно было бы не только выпить рюмку водки, что не мешало сделать после трудной дороги, но и пообедать.

Кроме того, вполне естественно привлекал этот контраст беспечного тыла напряженному Севастополю, и даже любопытно было ему, анатому, узнать, кто был счастливым обладателем такой исключительно устроенной человеческой гортани, только что поведавшей миру о забубенной Евсевне.

Сестер Лоде и Гардинскую Пирогов отправил из Севастополя раньше, причем они убедительнейше просили его или оставить их в Симферополе, или если перевести их оттуда, то не дальше, как в Бахчисарай,—до того напугало их первое в их жизни ядро, какое они видели.

Пирогов был один. Он не взял с собою даже обычного своего спутника подлекаря Калашникова, оставив его в доме Гущина, куда распорядился отправлять всех безнадежных раненых с перевязочных пунктов в городе.

Тыловая жизнь была уж ему знакома по 1847 году, когда он состоял врачом Кавказской армии. Он наблюдал ее там в Пятигорске, Тифлисе и других городах. Но на Кавказе прежде всего нигде не было крупных военных действий и, значит, не было большого количества войск, как в Севастополе, сосредоточенных в одном месте, поэтому там тыл и фронт разнились, в сущности, очень мало. Наконец там были только набеги на аулы горцев, а не защита своей земли от очень серьезного врага.

Проезжая через Симферополь на пути в Севастополь, Пирогов не разглядел его,—не было времени,—и только теперь должен был познакомиться с ним вплотную.

Рослый швейцар в солидных седых бакенбардах при выбритом красном подбородке, как видно, из отставных гвардейцев, встретил Пирогова привычным для себя поклоном, но сказал скучающе:

— Свободных помещениев, вашество, не будет-с.

— Очень это печально, мой друг,—отозвался Пирогов.—Но я думаю, что буфет у вас действует, а?

— Что касается буфета — работает-с,—сразу оживился швейцар и зашевелил руками.—Вот пожалуйте в ресторацию, вашество!

И он, изогнувшись в поясе, прошел между гладкими колоннами вестибюля внутрь первого этажа, сделав руками любезно приглашающий жест.

— А кто это, кстати, поет у вас тут так сердцещипательно?—шутливо спросил, направляясь за ним, Пирогов.

— Поет-с?

Швейцар сделал вид, что прислушивается, и пробормотал на всякий случай:

— Кажись так, нигде не поют-с, вашество!

Но не успел Пирогов сказать, усмехаясь:

— Ты, кажется, думаешь, что я новый полицеймейстер?—как снова грянул тот же сверхчеловеческий бас:

Настоечка двойная,
Настоечка тройная,
Сквозь уголь про-пуск-ная,
Восхи-ти-итель-ная!
Лишь стоит мне напиться,
Само собой звонится,
И хочется молиться
Умилительно!

— Это семинарист поет!—убежденно сказал Пирогов, остановившись между колоннами и воспользовавшись маленьким перерывом между куплетами песни Ивана Мятлева, а певец уже громыхал, ощутительно напирая на колонны и на стены кругом потопом разливанного моря звуков, несшихся сверху, в пролет лестницы:

Тряхну ль я в хороводе
При всем честно́м народе:
«Взбранной воеводе
Победительная!»

По тому, как неодобрительно качал головою швейцар, Пирогов видел, что ему очень не нравится такое бесчинство, а когда певец замолчал почему-то внезапно и Пирогов снова сказал убежденно:

— Семинарист! — швейцар дотянулся губами почти до его уха и пробормотал точно по секрету и сокрушенно:

— Еромонах-с!

— Ера-монах? Та-ак!.. Я прав, значит. Редко бывает, чтобы ёра-монахи не были раньше семинаристами... Как же он сюда попал к вам?

— В Севастополь едут-с... И вот загуляли-с...— развел руками старик.

— Мудреного ничего нет, что загулял,—успокоил его Пирогов.—А что в Севастополь—это неплохо: одной мортирой в Севастополе больше будет.

Он знал насчет обращения Остен-Сакена в синод по поводу присылки иеромонахов для напутствия умирающих солдат, но этот,—явно было,—предупредил Остен-Сакена и синод и ехал добровольцем, а что его в этом доме разгула одолели мирские соблазны, в этом Пирогов ничего удивительного не видел, так как соблазны здесь были действительно велики: стоило только заглянуть в двери ресторации, чтобы убедиться в этом.

Все столики залы здесь, не очень, правда, обширной, были заняты тесно, сплошь, и на каждом торчали, поблескивая, бутылки с вином и стаканы.

Все говорили в один голос,—крикливо, пьяно, азартно; гул стоял одуряющий. Много было офицеров; много и дам,—«этих дам». Воздух был густой, синий. Со входа лица казались как в тумане. Пахло табаком, вином, сыром и хреном, так как поросенок под хреном мелькал на тарелках в руках у половых здесь и там.

После унылой дороги весьма занятным казалось Пирогову это шумное нетрезвое многолюдье. Он неторопливо пробирался по узенькому проходу между столиками к буфетной стойке, на которой заманчиво расставлены были на тарелочках закуски около водки разных сортов.

Серыми, глубоко запавшими, небольшими, но зоркими глазами он пробегал при этом по лицам сидевших за столиками, не встретится ли знакомый по Петербургу ли, по Москве ли, по Кавказу ли, но не нашлось знакомого. Никто, повидимому, не знал и его в лицо, по крайней мере никто не уделял ему больше одного беглого взгляда.

И так, пожалуй, было лучше.

Одного в генеральских погонах заметил он, весьма перегруженного, огнедышащего, с лиловым носом; был важен, но весел,—хохотал густо, запрокидывая почти голую голову, а сидевшая рядом с ним простоликая дама в теплом, козьего пуха платке на голых жирных плечах, вторила ему, звонко подвизгивая по-поросячьи.

Были тут и несколько человек в одинаковых теплых коричневого или синего драпа с черными гусарскими шнурами спереди венгерках, которые принято было носить в юго-западном крае. Эти деляги,—спиртом ли они снабжали армию, или овсом, крупой или скотом для убоя, держались вместе, жестикулировали крупно, то срыву пригибаясь к столику, то вздергивая плечи и откидываясь, как подстреленные; часто дергали друг друга за рукава и тыкали указательными пальцами себя в грудь, посредине между двумя тугими бумажниками в боковых внутренних карманах; часто и азартно чокались, но мало пили. И споря друг с другом, и дергая друг друга, и тыча себя в грудь, не забывали все же шарить глазами по сторонам, поджидая, должно быть, нужных им человечков.

За буфетной стойкой орудовал дородный, важного вида грек, с парализованным, приспущенным веком левого глаза.

— Чего бы мне выпить такого?—стал думать вслух Пирогов, разглядывая батарею бутылок на стойке.—Разве стаканчик киршвассеру?

— Можно!—наигранно-радостно отозвался ему грек, и пахнущая горьким миндалем вишневая наливка забулькала из узкого горлышка бутылки.

И вдруг подобную же бутылку, но более крупную,—знакомую по виду бутылку шампанского Клико,—Пирогов заметил неожиданно для себя, оглянувшись на какие-то резкие крики в другом конце залы, близко к двери; бутылка эта взвилась высоко в чьей-то руке, державшей ее за горлышко, и из нее тоже лилось, но не в стакан, а на голову и плечи того, кто ее держал в опрокинутом виде. И тут же ей навстречу выскочила кверху другая такая же бутылка, из которой тоже лилось, но менее заметной струей.

Глотая свою пахучую вишневку и наблюдая в то же время за странным взлетом этих бутылок, Пирогов думал сначала, что это нового типа тосты, явно опасные для костюмов пирующих, но скоро понял, что это пьяный скандал в среде молодых офицеров.

Донеслись оттуда исступленные крики:

— Голову размозжу!

— А я тебе!

— Гос-сда! Вы пьяны!

— Вызываю!

— Через платок!

— На саблях! На саблях!

К бутылкам в поднятых руках потянулись другие руки. Бутылки исчезли... В густом табачном дыму, слабо различимая в подробностях, ворочалась человеческая каша. Звенели голоса женщин. Поднялся багровый генерал и кричал начальственно:

— Безо-бразие, господа! Уймите буянов!

Кого-то тащили в дверь, которая для этого была открыта настежь, и через нее сюда сверху ворвалось оглушительное:

Там, где тинный Булак
Со-о Казанкой-рекой,
Словно братец с сестрой,
Обни-ма-а-ается,
Там Взрлампий святой
Золотой головой
Средь горелых домов
Воз-вы-ша-а-ается...

— Та-ак! Песня казанских студентов!—сказал Пирогов, взял первый попавшийся бутерброд с какою-то тощей рыбкой, расплатился и пошел к выходу.

Закутивший иеромонах гремел неистово:

От зари до зари,
Лишь за-жгут фонари,
Верени-и-ицей студенты
Шата-а-аются...
Он и сам бы непрочь
Прокутить с ними ночь,
Да на ста-арости лет
Не реша-а-ается...

Старый швейцар в вестибюле суетился, стараясь водворить порядок на своей территории. Крики: «Через платок!.. На саблях!..» были уже хриплы и слабы, а бас певца лился вниз удушающим потопом:

Но-о соблазн был велик,
И-и решился старик.
Оглянув-шись кругом,
Он спуска-а-ается,
И всю ночь напролет
Он и пьет, и поет,
И еще кое-чем
За-ни-ма-а-ается...
А наутро домой
Со боль-ной головой
Варла-а-ампий святой
Возвраща-а-ается!

Пьяный скандал не произвел особенного впечатления на Пирогова. Он был доволен только тем, что бутылки шампанского не были пущены в дело и не размозжили ничьего черепа, так как, будь это, ему пришлось бы, конечно, применять тут свои познания и опыт хирурга и задержаться на неопределенное время.

Гораздо больше поражен он был силой голоса певца-монаха, его уменьем петь и его светским и даже запрещенным репертуаром. И он, снова усаживаясь в свой тарантас, чтобы ехать теперь прямо к сестрам, которые имели, как он полагал, возможность устроить его на два-три дня в отведенной им квартире, жалел, что не узнал даже имени монаха.

Однако случилось так, что он увидел его самого в неожиданно раскрывшемся окне на втором этаже гостиницы. Сомневаться в том, что это он, было невозможно,—такою густейшей октавой он кашлянул, собственноручно открывая окно, такая львиная оказалась у него голова и такие широкие плечи.

С минуту любовался им Пирогов, пока он стоял у окна, и восхищенно сказал, когда он отошел:

— Ого! Да это целый Пересвет-богатырь или Ослябя!.. [1]

Пирогов был впечатлительной натурой,—певец очень взбодрил его... Но когда он добрался, наконец, до дома, в котором отведена была квартира Стахович и нескольким другим сестрам, он узнал, что две сестры—Савельева и Аленева—уже заболели «пятнистой горячкой» и мечутся в сильном жару, а три других тоже недомогают и, пожалуй, слягут не сегодня-завтра; что лазареты здесь ужасны; что местные власти только обещают что-нибудь сделать для них, но ровно ничего не делают; что на него—профессора, генерала и прочее—возложены все надежды и сестер, и раненых, и больных.

5

Но была в Симферополе и еще одна возмущенная, смятенная и измученная женщина, знавшая о том, что должен был приехать Пирогов, и с этим приездом связывавшая кое-какие свои надежды: это была Хлапонина, жившая здесь уже около двух месяцев, превратясь в терпеливую сестру милосердия для своего раненого и контуженного во время октябрьской бомбардировки мужа.

Он выздоравливал, но медленно. Он ходил уже, но неуверенной походкой. Он двигал левой рукой, однако не мог донести ее до лица. Он начал говорить уже довольно связно, но по лицу его она видела, какой это для него труд и как быстро он его утомляет.

Она приглашала к нему всех врачей, каких можно было найти в Симферополе, однако ответы их на ее вопросы были явно уклончивы, а каждый подобный ответ казался ей жестоким до оскорбления.

Когда она узнала о приезде первого отряда сестер и с ними врачей из Петербурга, она, конечно, явилась к ним, скромная, как всегда, но упорно настойчивая, так как дело шло о здоровьи мужа, а петербургские врачи,—она иначе и не могла думать,—были гораздо лучше местных.

Однако и петербургские врачи сказали ей не больше, чем местные. Только один оказался щедрее других на «благополучный исход» сотрясения мозга, но он как раз был наиболее молодой и наиболее воспитанный.

Она не хотела допустить и мысли, чтобы ее Митя не стал снова прежним Митей, с его крепкой волей, широтой его интересов, строгой логикой его мыслей... Поэтому-то она и ждала приезда такой всероссийской знаменитости, как Пирогов.

Наблюдая за постепенным возвращением как бы временно отсутствовавшего интеллекта мужа, она была похожа на мать, которая убеждается каждый день, как все умнеет и умнеет ее ребенок. И об этих своих наблюдениях она говорила каждому из врачей, которых приглашала к мужу, и ее не столько пугало, сколько раздражало их непонимание свойства болезни мужа: там, где она видела неуклонный ход улучшения впереди, пока положение не станет вполне прежним, дооктябрьским,—там они как будто усматривали какой-то тупик, барьер, стену...

Подобный же тупик, между прочим, только чисто денежного свойства, виделся в близком будущем и ей самой: ни у нее лично, ни у мужа не было никаких других средств, кроме жалованья командира батареи.

О том, чтобы жалованье за два последних месяца было переведено мужу в Симферополь, она писала генералу Кирьякову, думая, что вполне достаточно этого шага, что начальник дивизии, к ним с мужем так расположенный, сделает все, что нужно, для перевода денег.

Однако ответа от него не приходило, хотя прошли уже все сроки, и она не знала что думать. Но вот он сам вдруг явился в их скромную квартирку. Это случилось всего за день до приезда Пирогова, и тот генерал, которого Пирогов видел в ресторане гостиницы «Европа», был не кто иной, как Кирьяков.

Хлапонина обрадовалась было приходу Кирьякова, думая, что он проявил в отношении их с мужем высшую степень начальственной любезно-

[1] *Пересвет* и *Ослябя*—два брата, инока Троице-Сергиевской лавры, которые участвовали в битве русских с татарами в 1380 г., на Куликовом поле, причем Пересвет вступил, по преданию, в единоборство с татарским богатырем. Оба брата пали в битве.

сти,—привез лично жалованье, о котором она писала.

Но Кирьяков с первых же слов сказал, что он сделал распоряжение со своей стороны, однако не ручается за успех, так как не только в 17-й артиллерийской бригаде, но и в 17-й пехотной дивизии теперь уже новое начальство «благодаря этому подлому ветеринару Меншикову».

— Мне пришлось передать свою дивизию генералу Веселитскому,—сказал он шумно и злобно,—пусть попробует послужить с этой мумией Веселитский, а я получил назначение в Киев, куда и направляюсь теперь... готовить для Меншикова на убой новую дивизию, резервную.

— Что же, Киев—прекрасный город,—чтобы утешить его, сказала Хлапонина.

— Вы находите?.. Вы знаете Киев, Елизавета Михайловна?—живо спросил ее Кирьяков.—Вы там живали?

— Я однажды провела в Киеве недели две, но это было уже давно...

— «Давно»! Что же такое для вас «давно»?—усмехнулся, любуясь ею, Кирьяков, а сам Хлапонин, обыкновенно весьма молчаливый, сказал вдруг, глядя на него сосредоточенно:

— Киев—безопасный город...

Он похудел и стал казаться старше лет на шесть, на семь. Почему-то совсем перестал улыбаться. Пристальными, как у детей, и большими сделались глаза. Голова дергалась вперед, точно он подмигивал собеседнику.

— Да, разумеется, безопасный,—поддержала мужа Хлапонина,—совсем не то, что Севастополь.

— А если австрийцы вздумают наступать на Киев через Подолию?—усмехнулся Кирьяков.

— Неужели этого кто-нибудь ожидает?—испуганно спросила Хлапонина.

— Все может случиться... при таких главнокомандующих, как Меншиков!

— А что... капитан Ергомышев... он жив?—вдруг спросил Хлапонин.

— Капитан Ергомышев? — несколько удивился этому вопросу Кирьяков.—Он ведь был очень контужен тогда, при взрыве третьего бастиона... Нет, он жив-то жив, только останется, мне так говорили, полным инвалидом.

— Полным инвалидом,—повторил Хлапонин и подмигнул раза три подряд, так что Елизавета Михайловна поспешила перевести разговор снова на Киев.

Кирьяков пришел вечером, перед заходом солнца, но в Крыму сумерки недолги, и когда они сгустились до того, что Елизавета Михайловна хотела уже зажигать свечу, гость поднялся и начал прощаться.

Конечно, он пожелал Хлапонину скорейшего выздоровления, чтобы снова принять свою батарею и быть ее молодцом-командиром попрежнему; тот в ответ на это несколько раз поклонился очень серьезно с виду, но совершенно безучастно к его словам по существу.

Хлапонина сочла нужным проводить гостя-генерала через темную прихожую к выходной двери, но там он шепнул ей:

— Я хотел бы сказать вам несколько слов, можно?

И она поняла это так, что эти несколько слов относятся к служебному положению ее мужа, о чем неудобно, быть может, было говорить при нем.

Она накинула на голову теплую шаль и вышла из дома во двор. Кирьяков же, взяв ее под руку, провел ее несколько дальше, на улицу, в этой части города нелюдную, и, воровато оглянувшись по сторонам, вдруг сжал обе ее руки в кистях, говоря с неожиданным для нее волнением:

— Елизавета Михайловна! О вас я думаю все последнее время! Только о вас, больше ни о ком и ни о чем не могу думать, поверьте!

Хлапонина сказала:

— Пустите же все-таки мои руки!

Но он продолжал держать их крепко, говоря при этом если и не совсем уверенно, то, видимо, обдуманно заранее:

— Давайте будем откровенны, будем смотреть на вещи прямо! Дмитрий Дмитрич теперь волею судеб калека! Простите меня за жестокое слово, но что делать,—это, к сожалению, правда... Он не поправится, так же как Ергомышев,—я думаю, вы уже убедились в этом. Приходится примириться с этим—божья воля... Но вопрос, который меня очень больно тревожит: что же вам делать дальше?

— Пустите мои руки! Вы мне их давите!—сказала она, еле сдерживаясь.

— Разве давлю? Простите великодушно!

Он разжал свои пальцы, но придержал ее за концы шали, видя, что она хочет уйти.

— Дорогая моя, я не договорил, останьтесь еще на минуту!.. Что вас ожидает дальше? Конечно, мужу дадут пенсию, но, во-первых, когда еще это будет, а во-вторых, что это будет за пенсия! Ведь вы на нее не в состоянии будете прожить! А между тем я хотел бы вам предложить вот что: поедемте вместе в Киев!

— Что-о?—чрезвычайно удивилась она.

— Да, очень просто, все втроем: я, вы, Дмитрий Дмитрич... Может быть, мне даже удастся устроить его у себя адъютантом.

— Адъютантом?—еще более удивилась Елизавета Михайловна.—Это вы говорите о том времени, когда он совершенно поправится? Или я ничего не понимаю!

— Поправится он едва ли, но ведь это не так важно, поверьте: он будет числиться для того, чтобы получать жалованье, а нести службу будут, конечно, другие...

— Это что-то незаконное, что вы говорите...

— Дорогая моя, у меня достаточно будет власти, чтобы это маленькое беззаконие сделать вполне законным. Наконец, ведь есть просто письменные работы, чисто канцелярские,—их можете вести даже и вы вместо вашего мужа, а Дмитрий Дмитрич будет их только подписывать.

— То есть, другими словами, вы, кажется, хотите, чтобы я была вашим адъютантом?—отшатнулась она.

— Нет-нет! Это я только к слову!—заторопился он.—Никакой надобности не будет вам заниматься дивизионной письменностью! Это тем более очень скучная материя! Я просто хочу сказать вам: поедемте со мной в Киев, а там я берусь устроить вашу с Дмитрием Дмитричем жизнь...

— Каким же все-таки образом устроить?

— Ах, боже мой! Зачем же так много говорить об этом?.. Вы знаете ведь, что я—вдовец, одинок, содержание получаю и буду получать большое...

— И поэтому желаете тратить часть его на меня?—перебила она, задыхаясь.

— Почему же часть?—не смутился ее восклицанием Кирьяков.—Вы мне очень дороги, и я для вас ничего не пожалею!

— Как вам не стыдно говорить то, что вы мне говорите!—возмущенно выкрикнула Хлапонина.

Но Кирьяков был не из тех, которые смущаются, что бы им ни говорила женщина.

Он сказал ей:

— Вы меня, кажется, совершенно превратно поняли, Елизавета Михайловна!

— Я не девочка, чтобы вас не понять... Счастливой дороги!

Она повернулась было, чтобы уйти поспешно к себе, но он держал оба конца ее шали.

— Пустите!—крикнула она.

Он оглянулся вправо, влево,—никого не было поблизости.

— Странно,—приблизил он к ней лицо.—Почему же вы не хотите, чтобы я вместе с вами заботился о вашем муже? В Киеве университет, там есть профессора медицины... Вот один из них, Гюббенет, приехал в Севастополь. Благодаря моему положению там, в Киеве, весь медицинский факультет был бы к вашим услугам... Ему доставили бы лучший уход... Например, может быть, ему нужны ванны...

Хлапонина с силой потянула к себе концы шали, но он продолжал, как бы не замечая этого:

— Наконец наука, медицина, она, разумеется, идет вперед, она не стоит на месте. Мы могли бы обратиться к лучшим врачам Берлина за советом, как нам лечить нашего дорогого больного...

Больше вынести Хлапонина не могла; правая рука ее, высвободившись из-под шали, вздернулась кверху как-то сама собою и наотмашь ударила искусителя по щеке.

От неожиданности Кирьяков выпустил шаль. Мгновенно отпрянув, Хлапонина бросилась от него бегом к себе.

Когда она вошла в комнату к мужу, там уже горела свечка, зажженная денщиком Арсентием. Освещенные скромным огоньком свечки, навстречу ей поднялись по-детски пристальные, вопросительные глаза Дмитрия Дмитриевича.

У нее очень билось сердце, и, пожалуй, только затем, чтобы его успокоить, чтобы не колотилось оно так, сжимаясь до боли, она крепко обняла мужа, прижалась к нему всею грудью и, не отрываясь и плача, начала целовать его глаза.

— Что ты, Лизанька? Что с тобою? Зачем плачешь?—очень обеспокоился Дмитрий Дмитриевич.

— Пустяки... Ничего... Так...—прошептала она и прижалась к нему еще крепче, как будто боялась, что этот, который остался там, на улице, вернется сюда и оторвет ее от мужа, употребив для этого всю свою власть начальника резервной дивизии.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ПРЫЖОК В ТИШИНУ

1

Бывает иногда так, что нас поражает в совершенно случайно встреченном человеке какое-то неопределимое, но сильнейшее сходство с другим, очень хорошо нам известным, хотя мы и знаем при этом, что никакого решительно, даже отдаленнейшего родства между ними нет и быть не может.

Это совсем не относится к так называемым типичным лицам для того или иного народа. Конечно, китаец похож на другого китайца, негр на другого негра, калмык на другого калмыка. Нет, иногда, как внезапное озарение, блеснет сходство между людьми, внешне даже далекими друг от друга по типу,—сходство в манере глядеть, говорить, улыбаться, смеяться, сердиться, делать те или иные жесты. Это явление отмечается больше всего художниками и детьми; однако и врачи, профессия которых заставляет их быть особенно наблюдательными, бывают иногда способны находить у людей сходство там, где поверхностный глаз его не схватывает.

Так Пирогов, когда пришла к нему Хлапонина с убедительной просьбой осмотреть ее контуженного мужа, поражен был каким-то неуловимым сходством между нею и своей молодой женой, оставленной им в Петербурге вместе с двумя маленькими детьми от первой жены, умершей родами.

Он поселился в Симферополе не у сестер, а в гостинице «Золотой якорь», в дрянненьком номере, очищенном для него усилиями полиции.

И когда в этом номере появилась Хлапонина, он, хотя и усталый от поездки по лазаретам с несколькими тысячами больных и раненых, все-таки не отказал ей исключительно ввиду этого странного сходства, усмотренного им, хотя жена его была шатенка, Хлапонина же блондинка и гораздо выше ростом, чем его жена.

А так как он перед приходом Хлапониной писал письмо жене о том, что делает в Симферополе, то и в разговоре с Елизаветой Михайловной, пока они ехали, он как бы продолжал писать или, точнее, диктовать кому-то это длинное письмо, и от него Хлапонина узнала, что́ он нашел в лазаретах и в общине сестер, и каков, по его мнению, губернатор Адлерберг и председатель казенной палаты Княжевич.

Когда же доехали, он сказал ей шутливо, оглядев домишко, в котором она жила:

— По сравнению с моим гнусным номером—это целый дворец! Эх, пожить бы в таком хотя бы денька два, да лиха беда—надо в Карасубазар ехать, а оттуда в Феодосию, где, говорят, тоже полторы тысячи больных и раненых...

Очень внимательно осмотрел он Дмитрия Дмитриевича, и Хлапонина заметила, что ее муж, обычно такой апатичный, оживился при виде Пирогова: бодрее держался, складнее отвечал на вопросы... Это ее так изумило, что она сказала Пирогову:

— Вы его на моих глазах лечите уже одним своим видом!

— Ага! Прекрасно!—очень радостно подхватил это ее замечание Пирогов, даже пальцами щелкнул, потому что сказано это было ею точь-в-точь так, как сказала бы его жена.—В таком случае у меня готов для вашего больного рецепт! Попробуйте-ка увезти его отсюда!

— Увезти? Куда же именно?—удивилась она.—В Киев?

Это вырвалось у нее внезапно,—она даже и сама не знала, как и зачем.

— В Киев?—повторил Пирогов.—Нет, не нужно ни в Киев, ни в какой другой город. Лучше бы всего вам отвезти его куда-нибудь в деревню, где он мог бы видеть и новых для себя людей, и где было бы тихо, когда они ему, эти новые люди, надоедят и захочет он от них отдохнуть... А здесь и тишины необходимой ему нет, и людей новых для себя он не видит,—живет поневоле затворником. Раз вы сами, как мне говорили, работали в госпитале в Севастополе...

— Ну, сколько же я дней там пробыла!—перебила его Хлапонина, застыдившись.

— Все равно, сколько именно, но раз вы там работали, мы можем говорить с вами, как коллеги. Самый опасный для вашего мужа первый период прошел благополучно?—Прошел. Ни обмороков, ни рвоты, ни прочих тяжелых явлений не наблюдается больше?—Не наблюдается... Что же наблюдается?—Расстройство движений, расстройство речи; ну, еще там кое-что менее важное, как головные боли иногда... Может вся эта неприятность исчезнуть из вашего житейского обихода?—Помилуйте, коллега, разумеется, может! Мыслительный процесс нашего больного только замедлен, но он происходит так же, как и у нас с вами. Ведь самое вещество мозга при контузии не пострадало, значит, им вполне можно овладеть снова... У вас есть какие-нибудь родственники и где именно?

— У меня есть брат,—он адъюнкт-профессором в Московском университете,—сказала Хлапонина.

— А-а! В Московском! Очень приятно моему сердцу слышать это... Кстати, Московский университет готовится к своему юбилею: двенадцатого января столетие будет праздновать,—сотый Татьянин день! Жаль, что не могу туда попасть на этот день, очень жаль... Но Москва для нашего больного пока не подходит так же, как и Киев. Его бы в деревню. Где ваша родовая вотчина?

— У меня нет никакой вотчины.

— Вот как!.. Вы городская, значит... А у вашего мужа?

Дмитрий Дмитриевич сидел тут же и слушал, что говорил знаменитый хирург, очень внимательно с виду, но Елизавета Михайловна знала, как туго, с каким трудом и запозданием доходило до его сознания то, что говорилось, хотя бы и о нем самом; поэтому она ответила за него:

— У моего мужа тоже нет вотчины.

— Значит, вы оба безземельные... Та-ак-с! Ну, может быть, какие-нибудь родственники или даже хорошие знакомые ваши имеют возможность вас приютить на время в деревне, а?

— Деревня... А дядя мой?—вопросительно поглядел на жену Дмитрий Дмитриевич, и она сказала Пирогову:

— У мужа есть дядя,—он помещик, небогатый, из малодушных... Бывший его опекун,—но ведь вы знаете, как часто поступают эти опекуны?

— До того опекают, что до тла сжигают?—с усмешечкой отозвался Пирогов.

— Вот именно так и вышло, что дядя опекал, опекал племянника, и в результате как-то так получилось, что оставил его ни при чем. Когда он вышел из корпуса, оказалось, что все отцовское стало уже дядиным...

— Привыкло к нему!—качнул лысой головой Пирогов.—Но все-таки он как, этот дядя? Вы бы послали ему письмо, а? Может быть, раненого воина-племянника он и принял бы на время, тем более что теперь, зимою, сам-то он, пожалуй, живет где-нибудь в городе, а дом его в деревне все равно пустует... Далеко это отсюда?

— В Курской губернии, в Белгородском уезде...

— А-а! Далеченько!.. Но все-таки, Белгородский уезд ведь это на границе с Харьковской губернией. Так что вам, значит, проехать Перекоп,



Берислав, Екатеринослав, Харьков,—и вот вы попадете в тишину... Снегà выше пояса там теперь,—хорошо! Бесподобно!.. На четверке цугом или на тройке с колокольчиком по снегам, а? Замечательно! Гораздо лучше, чем тащиться по грязи в Феодосию...

Говоря это с виду шутливо, Пирогов в то же время оценивающе вглядывался в Хлапонина и совершенно неожиданно для Елизаветы Михайловны закончил:

— Ничего! Вынесет! Ручаюсь за то, что хуже ему не будет: довезете его благополучно... Ведь все самое скверное давно уже прошло,—вынесет переезд. Если, конечно, только получите от этого дяди подходящий ответ,—с богом!

Он поднялся и начал прощаться. Елизавета Михайловна благодарно, восторженно глядела на его лоснящуюся мощную плешь во всю почти голову, плешь не меньшую, чем у Кирьякова, но она вспомнила о деньгах своих, приходивших к концу, о жалованьи мужа, которого пока не получила, и сказала об этом Пирогову. Тот обещал навести об этом справки, пока он в Симферополе; кроме того, посоветовал ей, куда обратиться, чтобы получить небольшую хотя денежную помощь из отпущенных именно на этот предмет сумм.

Он оставил Хлапонину обрадованной чрезвычайно. Надежды ее оправдались так блестяще, что даже больной муж ее на несколько, по крайней мере, минут после ухода Пирогова стал уже ей казаться совершенно здоровым, прежним Митей, с которым можно говорить о чем угодно. И она, возбужденно обнимая его, говорила ему о той «бесподобной», «замечательной» поездке к дяде, которая совершенно воскресит его снегами, родными снегами по пояс, тройками, колокольчиками под дугой, старым деревенским домом с антресолями, тишиною, главное, тишиною...

Она ожидала и со стороны мужа подъема, оживления, может быть, даже улыбки, как отклика на свою большую радость; однако он отнесся и к рецепту Пирогова так же безучастно, как и ко всем прочим рецептам других врачей, хотя понимал, что путешествие к дяде Василью Матвеевичу Хлапонину должно быть очень длинным, значит, представил это и, кроме того, сказал задумчиво и с паузами:

— Ухабы... косогоры... раскаты...

Елизавета Михайловна видела, с какими усилиями припоминал он самые обыкновенные слова, но вместе с тем она знала, что эти именно три слова он припомнил только теперь, после визита Пирогова, так что ей казалось, что знаменитый

хирург прав, что муж ее за время дороги, поневоле столкнувшись снова с тою жизнью, которой жил до своей ужасной контузии, припомнит и уже не забудет больше все необходимое множество русских понятий, но, с другой стороны, эти ухабы, косогоры и раскаты, на которых так часто опрокидываются сани, способны были, конечно, вызвать сотрясение мозга и у здоровых людей, а не только вылечить от сотрясения больного.

Ночь она провела почти без сна,—так много нахлынуло новых и неразрешимых вопросов. Прежде всего, конечно, и уехать им из Симферополя было нельзя, пока Дмитрий Дмитриевич не получит от своего начальства отпуск на продолжительное лечение вдали от своей батареи; затем совершенно неизвестно было, примет ли их Хлапонин-дядя; нужно было послать ему эстафету, а не письмо, и просить его ответить тоже эстафетой; наконец, представлялись разные другие возможности,—усадьбы других помещиков поближе к Крыму или тишайшие захолустные уездные города, утопающие в снежных сугробах, в степях Новороссии...

Представлялось вдруг, что вот в российской снежной пустыне вследствие какого-нибудь неприятного происшествия придется им итти пешком до ближайшей деревни, немного, версты три-четыре, а Дмитрий Дмитриевич и по комнате плохо ходит, волочит правую ногу,—как же будет он итти по снегу, в тяжелой шубе и так далеко—три-четыре версты?

2

К утру от радости, принесенной Пироговым, не осталось почти ничего. Денщик Арсентий был старый солдат, удивлявший Хлапонину тем, что мог делать по хозяйству решительно все, что угодно, так что казалось ей,—оставь его на необитаемом острове, он и там сейчас же проявит свою домовитость и укладливость и устроится в лучшем виде. С ним она привыкла советоваться по всем вопросам хозяйства, вполне признавая его авторитет; ему же утром она рассказала и о поездке, которую прописал ее мужу Пирогов, прибавив, конечно, что Пирогов считается на всю Россию один, что нет более знаменитого врача, чем он.

Арсентий, человек приземистый, плотный, широкоплечий, с сединою в бурых усах, выслушал ее довольно угрюмо и, когда она кончила, спросил неожиданно:

— А голову к тулову он, барыня, Пирогов этот, пришить может?

— Голову к тулову?—переспросила она, не поняв.—Какую голову?

— Оторвавшую снарядом,—как это мне видать приходилось... Вот где тулово лежит, а голова напрочь, и шагов на десять она отлетела... Она всем целая, смотреться, голова эта, и даже глаза на тебя глядят, аж страшно,—и вот бы, думаешь, если бы пришить ее на место, с какого ее оторвало!

— Я тебя о деле спрашиваю, а ты мне какую-то чепуху несешь,—поморщилась Елизавета Михайловна.

— Да ведь и я, барыня, о деле,—не смутился Арсентий.—Хотя бы он и Пирогов, а ведь голову до туловища не пришьет,—не бог, одним словом... Уехать отсюда—это, конечно, все можно сделать, воля ваша, а как обернется потом, кто ж его знает... Говорится: «Жениться-то шутя, да кабы не взять шута...»—так и это.

Елизавета Михайловна должна была согласиться про себя, что и сама она думает то же.

Все свои сомнения насчет дальней поездки выложила она в этот же день Пирогову, придя к нему опять в «Золотой якорь», и на все сомнения эти он отозвался, невероятно широко растягивая рот улыбкой:

— Всякое почти лекарство, какое мы, врачи, прописываем больным, ядовито, коллега! Дело только в дозе и ни в чем другом... Если вы обыкновенной, полезнейшей поваренной соли съедите сразу целый фунт, вы отравитесь и умрете, да, да, не удивляйтесь, пожалуйста! Чем гомеопатия отличается от аллопатии? Только дозой лекарства, а лекарства ведь одни и те же. Но в конце концов я не аллопат и не гомеопат, а хирург. Мои действия решительны, а вынуждает меня к ним явная необходимость. Явная,—понимаете, коллега? Так я поступил и в вашем случае: мне этот выход,—этакий, знаете ли, прыжок в тишину,—кажется спасительным для вашего мужа, несмотря даже и на то, что дорога к тишине идет через буераки, овраги, ухабы, гм, татарские все слова, как будто до татар на Руси никаких ям на дорогах и не бывало!.. Да, так вот, несмотря даже и на то, что от всех этих прелестей и здоровый человек сотрясение мозга может получить, как совершенно правильно изволили вы заметить, коллега... Далеченько, разумеется, ехать в Курскую губернию из Симферополя, но что же, если нет ничего подходящего ближе? Впрочем, с одной стороны, может быть, если хорошенько поищете, найдете какое-нибудь тихое пристанище и гораздо ближе, а с другой—ведь никто не понуждает вас скакать по-фельдъегерски, да едва ли у вас и будет такая возможность. Наконец, везде, где будет удобно или необходимо, можете ведь вы остановиться, чтобы дать вашему больному отдохнуть от дороги... Что же касается медицинского свидетельства, что вашему мужу требуется трехмесячный отпуск для восстановления своего здоровья, то я вам сейчас же состряпаю.

— И вы полагаете, что через три месяца муж

может выздороветь?—ошеломленная радостью, едва выговорила Елизавета Михайловна.

— Имею смелость быть в этом уверенным,— весело ответил ей Пирогов, и после этого ответа полнейшими пустяками показались ей все ночные сомнения и страхи, и здесь, в дрянненьком номере гостиницы, где писалось Пироговым размашистым почерком на четвертушке шершавой бумаги медицинское свидетельство, была окончательно решена ее поездка на север, в снега по пояс.

3

Елизавета Михайловна помнила тот свой ужас, когда она в первый раз увидела раненого и контуженного мужа и его открытые, но совершенно незрячие, страшные глаза, вроде тех глаз, которые видел Арсентий у голов, оторванных осколками снарядов, точно отрезанных мгновенно ударом лезвия на гильотине.

Полное беспамятство мужа, во время которого даже приставленная к самым глазам его свечка не заставляла их мигать, тянулось долго, и никто из врачей тогда не решался ее обнадеживать.

Но вот она вырвала его из рук явной смерти, которая ждала его, будь он в госпитале рядом с другими ранеными. Благодаря ее неусыпному уходу он вернулся к тому состоянию, в каком находился теперь, и потому стал ей несравненно дороже, чем раньше, как дорого мастеру создание своего искусства, как дорог матери ребенок.

И теперь она, конечно, боялась риска потерять его совсем, и если бы посоветовал ей путешествие с ним на север кто-нибудь другой из врачей, она, не долго думая, сочла бы подобный совет непростительным легкомыслием. Но Пирогову она верила, вопреки своему рассудку. И верила не столько потому даже, что он был знаменитый хирург, нет: он заразил ее своею верой в то, что Дмитрий Дмитриевич через три месяца будет совершенно здоров, если только уедет в деревенскую тишину.

Эта тишина родных полей, в которых было проведено раннее детство мужа, начала представляться Елизавете Михайловне в каких-то смутных, расплывчатых образах, неясных, туманных, но обаятельных необычайно и, главное, целебных, всеисцеляющих...

Сама она родилась в Курске, где отец ее был чиновником казенной палаты, но белгородские поля и курские поля не одни ли и те же поля? Его родина была и ее родиной,—и никакие другие поля не имели этой таинственной, но могучей силы исцелять, воскрешать, так ей казалось.

Но вопрос, как именно добраться до этих полей, казался ей почти неразрешимым. Эстафету дяде мужа она отправила, но ведь эстафета должна была застать его в деревне, чтобы он ответил без промедления ей тоже эстафетой; однако, если даже допустить такую счастливую случайность, все-таки как преодолеть этот дальний путь, на чем ехать?

С этим головоломным вопросом обратилась она снова к Пирогову уже перед самым его отъездом в Карасубазар.

— Почтовые лошади все заняты для разъездов по казенным надобностям,—говорила она.— Обывательские подводы очень трудно найти... Не на волах же везти больного несколько сот верст!

— Не на волах, верно!—весело ответил ей Пирогов.—Но вам благоприятствует сама Фортуна в лице винного откупщика Кокорева, хотя вы его, может быть, и не знаете. Миллионером стал из костромских мещан, старообрядец поморского толка,—самородок, а? В большой дружбе был с министром финансов Вронченко... Ну, так вот, без лишних слов, этот самый Кокорев снарядил на свой счет обоз из Москвы в Севастополь—ни мало ни много, как сто троек со всякой всячиной: сахар, крупа, рис и прочая бакалея. Сто саней, а? Размах у этого костромича! Так вот я только что услышал, что первая партия—двадцать пять саней—уже скачет сюда,—к середине декабря доскачет. А все остальные к рождеству должны быть в Севастополе... Но вот обратно-то они поедут, эти тройки, порожняком, вы думаете? Нет-с, они повезут из Крыма раненых на север, сколько могут забрать. Вот вы, коллега, и сделайте свою заявочку на первую же тройку, какая появится в Симферополе через неделю, я думаю, самое большее... И дело ваше будет в шляпе-с!

Кокоревские тройки действительно решали вопрос с путешествием как нельзя лучше. Они явились для Елизаветы Михайловны подлинным подарком Фортуны. Благодаря Пирогова за все, что он сделал для нее с мужем, она вся светилась от радости. Прощаясь, он расцеловал ей руки, она же прикоснулась губами к его внушительной плеши и почувствовала резкий запах спирта: великий хирург имел обыкновение ежедневно натираться спиртом от насекомых, причем убедился на грустном опыте, что блохи игнорируют это сильное средство.

Кокоревские тройки действительно появились в Симферополе перед серединой декабря и по снежному первопутку помчались дальше, в Севастополь.

К этому времени, хлопоча без отдыха, Елизавета Михайловна выправила уже бумажку, дающую право на трехмесячный отпуск для поправления здоровья ее мужу и даже получила жалованье его, а при участии важной дамы в очках—Александры Петровны Стахович—обеспечено было и ей, и ее больному, и Арсентию место в первых обратных кокоревских санях.

Но, самое главное, успела притти эстафета от Хлапонина-дяди, окончательно уничтожившая по-

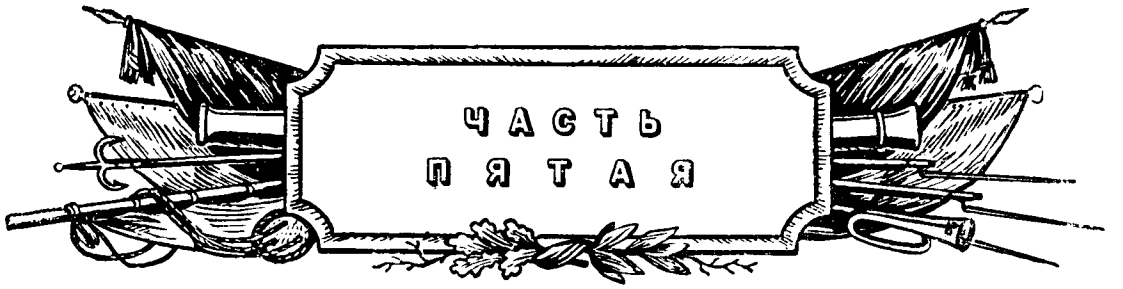
следние сомнения. Вышло так, что эстафета, посланная наудачу Елизаветой Михайловной, сказочно счастливо достигла своей цели: адресат оказался дома и отвечал, что «будет рад приютить севастопольского страдальца», просил известить, когда выслать за ними лошадей на станцию.

Эта весточка от дяди, которого давно уже не видел Дмитрий Дмитриевич, заметно оживила его: он держался бодрее, и все, что касалось отъезда, видимо, его занимало, вплоть до дюжих косматых кокоревских коней, со строгими глазами, подвязанными хвостами и затейливыми бубенчиками на упряжи.

Арсентий деловито, как это было ему свойственно, хлопотал, чтобы мягче и удобнее, то есть поглубже было сидеть больному, и Елизавета Михайловна окончательно поверила в удачу и силу пироговского рецепта.

Расцеловалась с хозяйкой домика—простою мещанкой, которая всплакнула при этом, уселась, тщательно укутав ноги мужу и себе; забрал вожжи в рукавицы густобородый ямщик, гикнул, и кони двинулись с места рысью.

Так начался этот «прыжок в тишину», в гробовую тишину и крепостную темь необъятнейшей российской деревни.



ГЛАВА ПЕРВАЯ
ГРОБОВАЯ ТИШИНА

1

Кокоревские тройки смогли проскочить через совершенно опустошенную в смысле фуража полосу Крыма от Симферополя до Перекопа только при покровительстве и поддержке военных властей. Притом же пятая русская стихия—грязь—была, наконец, покорена морозом.

Елизавета Михайловна Хлапонина, увозившая, по совету Пирогова, своего тяжело контуженного мужа в курскую деревню, в начале дороги была за него в постоянной тревоге при каждом раскате саней, грозившем вывалить его в снег, при каждом ухабе, которых было вполне достаточно не только для тревог, даже и для отчаянья.

Однако уже к концу первого дня определилось, что, пожалуй, в некую смутную возможность добраться если не до курской деревни, то хотя бы до Екатеринослава можно было поверить. Старообрядец Кокорев, наживший свои миллионы на винных откупах, стремился подбирать к себе на службу только непьющих людей, и густобородый ямщик Пахом, который вез Хлапониных, оказался человеком вполне обстоятельным, хозяйственным, заботливым и к своей тройке, и к упряжи, и к саням, и к пассажирам.

Сани же были не простые розвальни, открытые всем ветрам и метелям, а кибитка, обитая плотным серым войлоком. На облучке рядом с Пахомом сидел денщик Арсентий, который успел перед отъездом добыть себе нагольный тулуп, необходимый для зимних путешествий, и в нем вполне уже чувствовал себя в деревне, чему помогали и необъятные снежные поля кругом, и запах лошадей впереди, и то, что тройки двигались длинным дружным обозом, поневоле не слишком торопливым, так как нужно было размерить лошадиную прыть на тысячу с лишним верст.

По-матерински наблюдая за своим мужем, Елизавета Михайловна отмечала, как он оживился, чуть только началась эта длинная, необычайная дорога.

Прежде всего дорога эта совсем не была так утомительно однообразна, как бывали в те времена нескончаемые русские дороги зимой. Она ярко пестрела и гремела, деловито, пожалуй, весело даже, потому что все на ней было осмысленно, бодро, необходимо: русским войскам, атакованным в Крыму, везлись военные грузы.

Разномастные лошади, то мелкие, лохматенькие, сельские, ласково именуемые «котятами», то крупные, жилистые, городские; огромные, как слоны, длиннорогие украинские волы; величественно и даже как будто презрительно глядящие сверху вниз вислогубые рыжие верблюды; на возах или около возов горластые возчики в дубленых полушубках, подпоясанных то красными, то зелеными кушаками, в шапках шерстью наружу, и в голицах поверх варежек, а лица их пылали, подожженные морозом.

Радостно плыли навстречу, густо зеленея на снегу, огромные воза степного сена, и пахло от них такими изумительными ароматами, что кокоревские кони, втягивая их широкими, горячими ноздрями, замедляли шаг, мотали головами, фыркали и вздрагивали всею кожей.

Конечно, львиная доля этого сена съедалась дорогой теми же, кто его вез,—были ли это волы, верблюды или лошади,—но кое-что привозилось все-таки и конскому составу Крымской армии.

Везли сухари в мешках, закрытых сверху рогожами, крупу, овес, туши мороженого мяса, порох в ящиках, наконец снаряды. Огромнейшее и ненасытное брюхо войны требовало всего этого в умопомрачающих количествах, поэтому дорога была

как река в половодье: оживленно-бурлива, стремительна и изобильна.

И не было на ней тихих минут, и не могло быть. То и дело звенели колокольчики ямских троек, которые то обгоняли кокоревский обоз, то мчались ему навстречу, увозя и привозя то офицеров разных чинов и положений, то других, причастных войне, людей.

И, наблюдая сама с чисто ребяческим любопытством все, что несла на себе эта фантастическая зимняя дорога северного Крыма конца 1854 года, Хлапонина часто заглядывала также и в лицо мужа,—как он? Не слишком ли утомляет его такая чрезмерная густота впечатлений?

Но с изумлением видела, что он почти так же ребячески оживлен, как и она. Это замечала она по его большим серым глазам, над которыми то и дело поднимались брови, и по губам, которые отзывались на многое, хотя и совершенно беззвучно.

Дмитрий Дмитриевич как будто понимал сам, что пока он вложит то или иное впечатление в слова, оно промелькнет уже, заменится другим, для которого тоже надо разыскивать слова в косной, неповоротливой памяти... Да и зачем они, эти слова? Беззвучное шевеление губ не лучше ли передаст радость от непрерывной цепи всяких этих чудесностей, брошенных сюда обороняющейся от нападения страною?

Однажды им встретился и какой-то пехотный полк, который шел в Севастополь из армии Горчакова. На обывательских подводах и санях везли солдатские вещи и отсталых, полк же шел обыкновенным походным порядком.

Кокоревский обоз должен был свернуть в снег, правда, неглубокий, чтобы уступить дорогу. Очень ярко сверкало солнце на штыках солдат. Верхами ехали тепло одетые офицеры.

Полк, шедший во взводной колонне, проходил долго. Елизавета Михайловна только здесь, в дороге, как следует, осязательно поняла, какую силу представляет собой всего только один пехотный полк, даже и далеко не полного состава.

Вдруг батальонному командиру несколько приотставшего четвертого батальона вздумалось подбодрить своих усталых солдат песней, и он крикнул:

— Песенники, вперед!

Команду передали дальше. Песенники выбегали перед строем проворно, даже весело. И вот один из них, запевала, завел высоким и звонким тенором «Марусеньку».

Ма-ару-се-ень-ка пшани-ченьку жа-ла...
Ма-ару-се-ень-ка пшани-ченьку д'жала,—

поддержали остальные песенники, и тут же, приударив ногою, ожесточенно-лихо подхватил весь батальон:

Э-эхх, Маруся, д'э-эх, Маруся больная лежала!..
Э-эхх, Маруся, д'э-эх, Маруся больная лежала!

Запевала подтянулся, подбросил голову и так же звонко и высоко, как прежде, но уже с оттенком легкой лукавости кинул в сверкающий воздух:

Вот прихо-дит ле-екарь...
Стал Машу лечить,—

подхватили песенники, а за ними батальон прогромыхал мало обработанными, но весьма искренними голосами:

Скажи, скажи, душа-Маша, что в тебе болить!

Нарочито тонко, по-девичьи, ответил на это запевала:

Болит моя спи́на...
Болит голова!—

всплакались песенники, а батальон дополнил жалобы болящей:

Э-эхх, грудью Маша д'нездорова,
Сама чуть жива!

Из дальнейших слов песни Елизавета Михайловна узнала, что лекарь был не кто иной, как солдат, и что он, как и полагалось солдату, сразу вылечил Машу от всех ее болезней.

Дмитрию Дмитриевичу песня эта была хорошо знакома, и, слушая ее, он улыбался, к большой радости жены, которая отвыкла уже видеть улыбку на его губах.

Когда совсем свечерело и обоз остановился на постоялом дворе дать отдых и коням и путникам, она с новой радостью заметила, что ее муж совсем не разбит первым днем дороги,—напротив, чувствует себя гораздо бодрее, чем в Симферополе, и, взяв его за руку, чтобы привычно проверить его пульс, она сказала ему умиленно:

— Ну, вот, видишь теперь, что такое Пирогов!.. А признаться, когда он предлагал мне этот свой... рецепт, я думала про себя: уж не шутит ли он, думаю, над нами!.. Оказалось, что он сразу увидел, что ты будешь вести себя молодцом!.. Вот это—врач! Вот что значит светило медицины!

— А чаю... нельзя будет тут?—вполне осмысленно огляделся в очень тесно набитом, хотя и теплом покое почтовой станции Дмитрий Дмитриевич.

— Непременно, милый! Арсентий уже хлопочет,—успокоила его Елизавета Михайловна.

И эта собственная забота мужа о чае тоже была ей радостна: обыкновенно ему приходилось каждый день напоминать о чае.

2

За Перекопом появилась уже у Хлапониной уверенность, что длинную и трудную все-таки дорогу муж ее перенесет, что даже, пожалуй, не нужно будет делать недельную остановку в Екатерино-

славе, бросив кокоревский обоз, на что она решилась уже при начале пути. Именно та самая пониженная впечатлительность мужа, которая так ее пугала, здесь оказалась спасительной.

За собою же лично она замечала, что никогда раньше так внимательно не вглядывалась она во все встречное, как теперь, когда она хотела представить себе, как все это воспринимается вот теперь ее мужем.

Среди разных новых для нее открытий она отметила, между прочим, что молодые дубки стояли кое-где в рощицах по сторонам дороги, не роняя своих листьев, несмотря на зиму. Листья эти, правда, были уже сухие, коричневого цвета, железно-жесткие на вид, но они храбро держались на ветках, несмотря на сильные ветры и метели, в то время как ветки старых дубов были голы.

Что давало силы этим листьям так цепко держаться за родные ветки? Она решала: молодость деревьев. Таким же молодым еще дубком был теперь в ее представлении муж, и она уже готова была поверить пироговским словам о нем, что переживет он свою случайную зиму, что непременно вернется к нему прежнее здоровье с новой весной,—весной будущего пятьдесят пятого года.

Когда подъезжали уже к Днепру, встретился им на одном постоялом дворе артиллерийский капитан в теплой шинели с меховым воротником, в каких никто не ходил в Крыму, и Дмитрий Дмитриевич долго и упорно всматривался в него,—наконец сказал ей:

— Первушин, а?.. Погляди-ка...

Действительно, артиллерист оказался Первушин, сослуживец ее мужа по Нижнему, и Елизавета Михайловна радостно удивилась тому, как мог он узнать этого Первушина, который был так старательно закутан башлыком, что от всего лица его оставались видны только мутные, цвета пуговиц гимназических мундиров глаза с оледенелыми ресницами, чрезмерно распухший красный нос да завиток заиндевелого уса.

Первушин ехал не в Севастополь, а в Николаев, и отсюда должен был свернуть на другой тракт, но он очень живо, как все из глубокого тыла, любопытствовал узнать, что делается в Крыму, в Севастополе; и отвечать на его вопросы приходилось уже самой Елизавете Михайловне, тем более, что времени в их распоряжении было немного, а узнать Первушину хотелось обо всем.

Дмитрий Дмитриевич во время этого разговора только кивал головою, соглашаясь со всем, что сообщала его бывшему товарищу жена, но и это длительное напряженное внимание было в нем для нее ново и многозначительно.

Простились они тепло, и Первушин так усердно желал Хлапонину поскорее поправиться и так крепко прижимался к его лицу своим красным разбухшим носом, что сразу стал дорог и Елизавете Михайловне, и почему-то именно теперь она твердо решила не задерживаться в Екатеринославе, а ехать с обозом дальше, в деревню Хлапонинку.

Эстафета о том, когда, приблизительно, могут они добраться до станции, стоявшей от Хлапонинки верстах в тридцати, была послана еще из Симферополя; но на всякий случай Елизавета Михайловна послала из Екатеринослава вторую, так как здесь можно уж было рассчитать довольно точно время приезда: ошибка могла быть не больше, как на один день.

Проехав Харьков, Хлапонины попали уже в родные им обоим места.

Здесь коричневолистые дубовые рощицы и перелески перемежались с сосновыми, посаженными на песках, чтобы закрепить их. Чаще стали попадаться сороки. Изрезаннее стала местность, так как близко проходил Донецкий меловой кряж.

— И отчего бы уж вам, барыня, в моей кибитке до Москвы не докатить, право слово!— конфузливо улыбался в дремучую бороду Пахом, расставаясь со своими пассажирами на маленькой почтовой станции.

И Арсентий, уныло оглядываясь кругом, поддерживал его:

— Тут, гляди-ка, может, еще и лошадей не дождешься, вот и сиди, куняй!

Но он ошибался: пара неплохих лошадей, запряженных цугом в просторные санки с ковровой полстью, ждала Хлапониных еще с утра.

3

Крыша барского дома была из камыша, переслоенного глиной с известью. Когда подъезжали к нему Хлапонины, стояла оттепель, пухлая шапка снега на крыше таяла, и сияющими сталактитами висели вдоль низких стен огромные рыжие сосульки, образуя как бы ледяной частокол,—защиту от посягательств на мир и довольство засевшего здесь Хлапонина-дяди.

Елизавета Михайловна не имела раньше никакого представления об усадьбе, в которой родился ее муж, и теперь вид этой приземистой, хотя и длинной, просторной, зажиточной хаты ее поразил неприятно.

— Это дом барский или людская?—спросила она кучера Фрола, который правил именно сюда свою пару цугом.

— Дом-с, а как же-с,—несколько удивился Фрол.—Известно-с, дом барский...

Распространяться об этом больше ему не было возможности: к крыльцу дома полагалось подкатить бойко и фасонно, в то же время и с немалым искусством обогнуть, ничего не повредив, клумбы роз перед домом и еще каких-то нежных растений, окутанных рогожами.

Елизавета Михайловна вопросительно поглядела в глаза мужу, и он, который был в понятном волнении, подъезжая к родному гнезду, ответил ей тихо:

— Это дом... да... и крыша та же.

Две больших, кудлатых черных собаки с лаем кинулись к саням, заставив Фрола отмахнуться от них кнутом, потом несколько человек дворни,— казачок, девка, широколицая баба в красном, с подтянутыми толстыми грудями, выскочили все сразу из двери на крыльцо, низенькое, всего в две ступеньки, но широкое,—и бросились опрометью на тающий снег отстегивать полсть и высаживать гостей. Наконец, точно выждав свое время, показался на крыльце и тот, к кому ехали,—Василий Матвеевич Хлапонин.

Он вышел так, как был у себя в комнатах, без шапки, в толстом зеленом халате, отороченном беличьим мехом, в плисовых теплых сапогах. Лысый лоб его был полуприкрыт зачесом рыжеватых волос слева направо, а лысина на макушке—зачесом справа налево, отчего голова его имела не совсем обыкновенный вид.

Но лицо его, небольшое, тщательно выбритое, очевидно, ради ожидавшегося приезда племянника с женой, так и расцвело на глазах весьма внимательно глядевшей на него Елизаветы Михайловны, так и заиграло сразу всеми лучами теплейших и нежнейших родственных чувств, чуть только ступил на крыльцо Дмитрий Дмитриевич.

Еще когда собиралась ехать сюда Елизавета Михайловна, она пыталась, но все-таки не могла даже и отдаленно представить себе, как могут встретиться после очень долгой и молчаливой разлуки обиженный племянник с обидчиком-дядей, настолько ревностно опекавшим его имение, что оно совершенно истлело для него, превратилось в какой-то сон юности.

Об этом же самом думала она очень часто и во время дороги: добрая встреча как-то совсем не укладывалась в ее сознание.

Однако же Пирогов почему-то отверг Киев, когда прописывал свой «рецепт» ее мужу; так же точно, конечно, отверг бы он и Екатеринослав, Харьков, Москву: только деревня обладала, по его словам, необходимым для Дмитрия Дмитриевича целительным бальзамом.

Но встреча, встреча двух людей враждебных лагерей, как она могла бы произойти?

Оказалось, что встретились дядя с племянником как нельзя лучше. Не забыв почтительно поклониться ей, дядя так и впился в племянника неотрывным, слезоточивым родственным поцелуем.

Да, он непритворно расплакался от сильнейшей радости, этот Василий Матвеевич! И лицо его было все сплошь совершенно мокро от слез, когда он обратился, наконец, к ней, чтобы чмокнуть ее в руку выше перчатки, и потом под руку ввести ее первую в свой дом, а за нею помочь войти и племяннику, пострадавшему при защите родного Севастополя и потому не свободно владеющему рукой, ногою и языком.

4

То, во что поверила Елизавета Михайловна, когда представила себе, как врачующе может подействовать на ее мужа возвращение в мир его детства, совершалось в действительности на ее глазах.

Едва отдохнув после дороги, Дмитрий Дмитриевич,—это было уж на другой день по приезде,— сам, без ее помощи, ковыляя и держась за стены здоровой рукой, обошел несколько комнат в доме в то время, когда дядя был занят где-то по хозяйству.

Она, правда, не оставляла мужа без своего попечения, но старалась держаться в стороне, не быть заметной. Она только наблюдала пристально, как он медленно проводил рукой и глазами по обоям, очевидно, стараясь припомнить, те ли это обои, какие были здесь тогда, лет семнадцать назад... Если крыша осталась неизменной, то могли, конечно, остаться и обои, выцветши, сколько им полагалось выцвесть.

Она следила с учащенно бившимся сердцем, как он, взяв со стола или с этажерки какую-нибудь безделушку,—фарфоровую статуэтку или раковину-перламутренницу,—долго вертел ее перед глазами и бережно клал, наконец, на прежнее место, чтобы тут же взять другую. Ведь эти незначительные с виду мелкие предметы могли быть до последнего пятнышка и изгиба изучены им в детстве...

Когда он увидел неказистую с виду, старенькую, красного дерева тумбочку на высоконьких ножках, он долго не мог от нее оторваться. Он глядел на нее широко раскрытыми, растроганными глазами и оглянулся только затем, чтобы увидеть кого-то, с кем можно бы было поделиться своей радостью.

Она поняла, что ей надо было подойти к нему, и она подошла. И положив свою руку на одно из бронзовых колец на крышке тумбочки, он сказал ей, волнуясь:

— И ты тоже... ты тоже так!—При этом он показал ей на другое такое же кольцо рядом.

Потом он потянул за кольцо, глядя на нее чуть-чуть лукаво, как фокусник, и она потянула,— крышка разошлась, и из глубины тумбы поднялась еще одна доска—средняя,—получился столик, причем на этой средней доске оказалось два ряда медных подставок для бутылок, рюмок, стаканчиков.

— Скатерть!—сказал он торжественно.—Это— скатерть... как она, ну, как?

Он задвигал пальцами от усилия припомнить трудное слово, и она подсказала:

— Самобранка!

— Само... вот!.. Само-бранка!—повторил он с усилием, однако удовлетворенно.

Но вслед за столиком-кабаре находил он на каждом шагу хорошо знакомые ему предметы, а когда дотащился до кухни, то нашел и слишком хорошо знакомого человека, свою няньку Феклушку. Он помнил ее уже старухой, но все кругом него почему-то, как и он сам, конечно, звали ее девичьим именем Феклуша. Теперь она была уж совсем дряхлая, должно быть, под восемьдесят лет, и голова у нее дрожала, и желтая кожа лица, вся из прихотливо сплетшихся морщин, обвисала бессильно; только глаза светились еще и глядели остро.

Дмитрий Дмитриевич не узнал бы свою няньку в этой старухе, как и она не могла бы узнать того, кого водила когда-то за ручку и таскала на руках, в этом усатом, искалеченном на войне офицере. Но ей сказали, что приехал барчук Митя, и она первая постаралась «узнать» его, а потом уже вспомнил, «узнал» ее он.

И так трогательна показалась Елизавете Михайловне встреча ее мужа с его древней нянькой, что даже и она, настороженно держащая себя в этом загадочном для нее доме, почувствовала, что глаза ее стали влажны и заволокло их вдруг, точно туманом.

Но вот старушка испуганно шепнула вдруг:

— Барин пришли!—и не по возрасту проворно юркнула в двери.

Слуха она не потеряла: действительно, голос Василия Матвеевича послышался со стороны парадного хода—крыльца.

Елизавета Михайловна вопросительно посмотрела на мужа, не поняв, чего могла испугаться Феклуша, и повела его обратно, в гостиную, куда вскоре явился и Василий Матвеевич, снявши в прихожей свой лисий полушубчик, бобровую шапку с плисовым верхом и высокие кожаные ботики, в которых прохаживался он по своей усадьбе, делая утренний осмотр хозяйства.

— Встали-с?.. И в добром здоровьи-с?.. Очень, очень... очень приятно-с!.. Приятно, что в добром здоровьи встали-с!—весь так и засиял он, целуя руку Елизаветы Михайловны и чмокая звучно племянника в щеку.—Ну, вот-с, теперь мы и кофейку можем напиться-с!

Как ни была огромна любознательность деревенского обитателя касательно осады Севастополя и всей вообще войны в Крыму, но она была удовлетворена все-таки еще накануне, в день приезда гостей.

Правда, суетливо хлопотал он тогда, чтобы досыта накормить их, наголодавшихся, по его мнению, в дороге, и потом уложить их на отдых, необходимый после такого длинного пути, но в то же время так же неустанно и выспрашивал их, находя все новые и новые вопросы.

Отвечать ему приходилось, конечно, Елизавете Михайловне, а глядя на племянника, дядя часто и сокрушенно качал головой, бормоча по адресу англичан и французов:

— Ах, злодеи, злодеи, что сделали!.. Ведь вот же мало им, ненасытным, своего,—чужого добра захотелось! Ах, злодеи!

И никак не могла тогда Елизавета Михайловна определить, жалеет ли он действительно ее Митю и как было бы лучше всего ей с ним держаться.

Теперь пройдясь по свежему зимнему воздуху, дядя имел какой-то заразительно взвинченный вид; он жестикулировал всем телом, он приплясывал как-то, когда даже стоял на месте; от него так и пышало застоявшейся энергией, и даже руки его, которые он потирал все время, были ярко-красны, как у гусака. Роста он был несколько выше среднего, но сутул; однако даже и сутуловатость эта делала его похожим теперь на человека, готового к отважному прыжку через барьер.

Кофе внесла девка, которая накануне помогала гостям выбраться из саней; но что-то такое непозволительное усмотрел дядя в том, как она подавала на стол стаканы; он внезапно выпрямился и поглядел на нее так многозначительно, поджав при этом губы, что та чуть не выронила из рук подноса.

Однако это прошло мимолетно, как облачко на ясном небе. Угощая домашней сдобою, дядя спросил вдруг Елизавету Михайловну:

— А насчет медицинских пиявок вы какого мнения, дражайшая?

— Насчет пиявок?—удивилась вопросу Елизавета Михайловна.

— Да-с! Обыкновенных пиявок медицинских! Я спрашиваю вас потому, что, представьте себе, не так давно говорил с одним лекарем, так он, изволите видеть, сомне-вается в пиявках... Да-с! Со-мневается, невежда! Я даже был вынужден ему сказать: «Жаль, молодой человек, ваших родителей, которые деньги свои кровные потратили на образование ваше-с!..» Вот я и сейчас волнуюсь, чуть только вспомнил это!

Елизавета Михайловна поспешила его успокоить:

— Как же так можно сомневаться в пиявках? В Севастополе за них готовы большие деньги платить, да и в Симферополе тоже.

— Ну, вот видите, вот видите!—подскочил на месте дядя.

— Их нехватает... Их назначают врачи, но их очень трудно добыть.

— Ага! Вот именно! Именно-с! Добыть трудно! А я, здесь вот, в глуши... скушайте, пожалуйста, вот этот коржик румяненький!.. Я оза-рился мыслью и... развожу-с!

— Кого разводите?

— Пиявок-с!

И Василий Матвеевич победительно посмотрел сначала почему-то на своего племянника, потом на Елизавету Михайловну.

Даже Дмитрий Дмитриевич удивленно поднял брови и спросил:

— Пиявок?.. Разве... можно?

— Ага! Вот-с! В этом вся суть дела! Оказалось, вполне можно-с! Пиявка существует чем именно?—Кровью-с! Всасывает чужую кровь, тем и жива!.. Вот я и задался мыслью: нельзя ли, думаю, мне, худоумному, обработать эту самую пиявку так, чтобы и из нее что-нибудь высосать для своей пользы-с!

Тут он очень ловко сделал из своих бритых губ что-то вроде присоска и красными гусачьими лапами подгреб к ним воздух. На пиявку, впрочем, он походил при этом мало, но какое-то разительное сходство с пауком, нацелившимся на муху, мгновенно нашла в нем Елизавета Михайловна и глядела на него с тревогой, спрашивая его:

— Как же все-таки вы их разводите?

— О-о, как! Это имеет свою историю! Вы к медицинским пиявкам не приглядывались? Не имели с ними дела-с?

— Не приходилось как-то. Хотя я и была в госпитале, но в такое время, когда там было не до пиявок, а только операции делали, и то не успевали.

— Это где же так именно было не до пиявок?— несколько опешил дядя.

— Во время канонады... когда и в самый госпиталь ядра летели...

— Ага! Так! Это могло быть. Читал, читал. Канонада! Это, конечно, совсем другое дело, и тогда отца-мать забудешь, не только пиявку... Это понятно-с... А неужели Мите никто из ваших там врачей не прописывал для здоровья этак дюжинку пиявочек к затылку... или там к руке, к ноге, а? Ну, да впрочем, вы сказали, что их доставать там было трудно, тогда я все понимаю-с!

Он потер руки, откинулся на спинку кресла, принял сосредоточенный вид, как будто готовясь прочитать целую лекцию, и продолжал:

— Пиявка,—это пришло мне в ум еще тогда, когда в «Северной пчеле» писали: «Раз Наполеон III прошел в императоры, значит надобно ожидать войны!..» Коротко и ясно! Вроде кометы с двумя хвостами-с! Раз, думаю, ждут войны, следственно, понадобится много пиявок! Это так как-то у меня слепилось одно с другим, и разорвать не могу. А как Меншикова-князя послал государь к султану турецкому, я сам себе сказал: «Действуй». Так, стало быть, весной пятьдесят третьего года я и начал действовать. Пиявка, думаю себе, где она любит водиться? В болоте? Хорошо-с!.. Есть у меня подобное?—Имеется, как не быть! А водятся ли у меня-то в болоте моем пиявки медицинские? Вот оказался коварный, можно сказать, вопрос! Конские пиявки водились, а медицинских-то,—этих-то как раз и не было-с! Вот с чем я столкнулся на первых порах: не было медицинских,—значит, их надо было еще раздобывать где-то на завод, а потом уж разводить. Конская пиявка, позвольте вам доложить, она иззелено-черная и ростом большая, а медицинская поаккуратнее и посветлее, и тут у нее рисуночек такой желтенький имеется, на брюшке-с,—чиркнул для наглядности пальцами по своему жилету дядя, весьма игриво поглядев при этом на Елизавету Михайловну.—Шесть полосок желтоватых с красниной если на пиявке имеется, это и есть врачебная-с! Самый верный признак! Даже и цветом она пусть совсем на конскую похожа, и ростом тоже,—был бы только рисуночек на ней. Теперь вопрос: болотце мое,—или его можно озерком назвать,—от дома далековато, а между тем пиявка—штука тонкая, за ней следи да следи, а уж если следить за ней нужно, стало быть, поселять ее надо возле дома-с... Одним словом, я сделал такой прудок у себя в саду; моху лесного туда набросали на дно, торфу, кочек болотных во всей целости по берегам воткнули,—полная обстановка пиявочная, одним словом! Плодись, матушка, весели хозяина!

— Где же все-таки вы достали пиявок для развода?—спросила Елизавета Михайловна.

— Купил-с таких, знаете ли, уже ставленных,— они, конечно, обошлись дешевле мне, чем если бы совсем новеньких, а мне ведь на завод,—не все ли равно?.. От жары чтобы не перевелись они у меня летом, я прудок свой обсадил ветлою, ветла растет бойко и тень как раз над водой дает. А для зимы, чтобы живых пиявок иметь, я завел вроде как бы пиявочную оранжерею-с,—теплицу, которую отопляем по мере сил и возможности, хотя это уж большой добавочный расход оказался. Но что же делать,—взялся за гуж, не говори, что не дюж. Скриплю, а топлю. Это свое заведение я вам могу показать хоть сегодня. Правда, я там уже сам был,—с нашим народом нельзя без своего глаза: только не досмотри, и все дело пропало-с! Но ради вас я могу и еще раз туда пройтись,— наклонил он голову в сторону Елизаветы Михайловны, как бы совсем забывая о своем племяннике.—А пока только объясню вкратце, в чем там суть. Это рядом с прудом вырыта яма большая, а в яму опущен сруб в сажень глубиной, в три шириной, в четыре длиной... Так что вроде купальни, а над ямой изба, настоящая изба, с окнами большими, чтобы им там светло было, этим тварям, а то они в темноте ведь и заснуть могут... Железная печь, и через всю избу железные трубы идут! Теплица!.. Вода не застывает, солнышко в окошки светит, летние настроения налицо! Плодись, милая, весели хозяина!

— Что же... плодились?—спросил внимательно слушавший Дмитрий Дмитриевич.

— Был приплод!—торжествующе ответил дядя.—Был! И говорят знающие люди,—большой! Так что с гордостью могу сказать: теперь у меня уже из полутораста штук образовались тысячи!

Он помолчал несколько секунд, как бы наслаждаясь эффектом, им произведенным, и повторил уже более сдержанно и скромно:

— Да, тысячи... И, кроме того, я ведь должен же был кое-что читать о пиявках,—как же иначе-с? Иначе нельзя. И вот я убедился, что Линней[1] прав, да, Линней был прав, когда причислял пиявок к живородящим. Они рождают живых маленьких пиявчат,—представьте себе, дражайшая Елизавета Михайловна! И не мало-с: до тридцати штук приходится на одну мамашу-с! Вот какие оказались плодущие! Так мамаша и выносит их всех на себе погреться на солнышке, я это наблюдал собственными глазами-с! Но ведь пиявки не могут же плавать так, как, скажем, ерши или налимы, нет! Им нужно было дать возможность греться на солнышке и греть свой приплод. Я положил для этого обыкновенный плетень на воду, и вот решена задача-с! Плетень плавает, как все равно плот на реке, а к нему уж может прилипнуть хоть пятьсот пиявок, хоть и вся тысяча. На плетень этот я тоже приказал кочек болотных насажать, чтобы для них, как это говорится, родная стихия была-с. Молодые—они, как червячки,—держатся хвостиками за мамашку, а сами цвет имеют гораздо светлее ее. С неделю она их так таскает на себе, а потом уж эти канальи говорят ей: «Адью, мамашок, теперь уж мы сами начнем плавать на свой риск и страх!»

И даже умиление в голосе этого любителя пиявок послышалось Елизавете Михайловне, и, чтобы убедиться, действительно ли это умиление, она сказала:

— Я слышала, что по империалу за штуку платили раненые офицеры в Севастополе и все-таки не могли достать, сколько нужно было.

Дядя так и подскочил, чуть дело дошло до империала.

— Вот видите, видите, что это такое за мысль меня осенила, а? Тут ведь с одной стороны польза человечеству, явная польза, самая очевидная для всех... за исключением дурака этого, о котором я говорил; а с другой—ведь это целый капитал, посудите сами-с!.. Из тысяч могут выйти десятки тысяч пиявок, из десятков сотни... Потом миллионы, а? Мил-ли-оны!—Он закрыл глаза рукою, точно ослепленный небесным видением, и даже головою покрутил.—Миллионы, да ничего нет хитрого-с! И если за каждую пиявку я тут, у себя дома, на месте, так сказать, производства, буду получать... не по империалу, конечно, а только по казенной цене, самим правительством установленной, то и то ведь я могу быть, как это говорится, сват королю и кум Ротшильду, а?.. А?.. Просто и ясно-с!

5

После завтрака Василий Матвеевич действительно повел гостей показать им свой пиявочник,—избу просторную, снаружи довольно опрятную, внутри же весьма таинственную.

Ведать ею приставлен был Тимофей «с килой» прозванный так в отличие от другого Тимофея, конюха, и третьего Тимофея, «Татарина», который, впрочем, был ничуть не татарин, но когда-то давно, еще в молодости, внося в барский дом тяжелую поклажу, забыл при этом снять шапку,—просто, заняты были обе руки,—за что и получил от Василия Матвеевича свое прозвище.

Этот третий Тимофей был плотник, а кила первого Тимофея—багровая шишка величиною с куриное яйцо—торчала сбоку подбородка, выпячиваясь из реденькой русой бороденки.

Елизавета Михайловна заметила, что был этот Тимофей очень суетлив, но в то же время как будто и проникнут сознанием важности порученного ему, а не кому другому дела с пиявками. Кроме того, у него была, повидимому, непобедимая привычка к словечку «ась?».

Приведя гостей и показывая им с увлечением свою затею, Хлапонин-дядя рассказал между прочим, что вода здесь проточная,—«иной пиявки не уважают»,—а чтобы они не уползали из своей ванны, в отверстия труб вставлены медные решетки.

— А ну-ка, объясни господам, для чего же именно разорился я на медные,—ведь железные, например, были бы дешевле,—обратился Василий Матвеевич к Тимофею.

— Ась?—потянулся к нему, встряхнув волосами, Тимофей, так что можно было подумать, что он глух; однако он тут же откачнулся, стал, как во фронте, и проговорил заученно:—По той самой причине медные решетки, что бессравненно способнее! Железная поржавеет, пропадет, и что тогда может выйтить? Все как есть пиявки будут пробовать, как бы им отседова увойтить, и прямым манером увойдут... А медная решетка, эта ржи не боится-с.

— Ну, вот, видите, почему медные,—победоносно поглядел на Елизавету Михайловну хозяин.—А скажи-ка, температуру какую ты здесь держишь?

— Ась? Касательно температуры как вашей милости приказать было угодно для зимнего времени, так и держу-с: двенадцать по градуснику чтобы, не менее того, склучая когда дрова очень шибко горять,—тогда даже и двадцать пять набежать может от нагрева труб-с.

[1] *Линней Карл* (1707—1778)—известный шведский естествоиспытатель.

— Вот тут и градусник,—кивнул на стену Василий Матвеевич, но Елизавета Михайловна только глянула в ту сторону, однако не подошла проверять.

В избе было три больших окна, поэтому вполне светло, но все-таки темная, почти черная вода казалась бездонной и жуткой, и это чувство какой-то жути еще усиливалось от торчавшего посередине островка с болотными кочками на нем.

Дмитрий Дмитриевич тоже с видимым недоумением оглядывал тут потолок, стены, воду, мостки со всех четырех сторон, наконец сказал:

— А конюшня?

— Ась?—потянулся к нему Тимофей, встряхнул волосами и ответил с достоинством:—Конюшня, барин, это, примерно будучи сказать, совсем в другом месте-с!

Когда дядя вел под руку племянника показывать ему конюшню, Елизавета Михайловна нашла нужным спросить о том, что было ей более понятно:

— Как же все-таки можно топить железную печку так, чтобы тепло долго держалось на двенадцати градусах?

— Требуется так, чтобы не меньше двенадцати, но, конечно, разве на этих подлецов вполне положиться можно? Он то нажаривает так, что трубы красные, как огонь, то чуть у него ночью вода не замерзает! А печка, хоть и железная, она в середине кирпичом выложена, тепло держать может, да ведь он ночью спит, мерзавец, а не топит!

— А вообще-то зачем именно надо топить?

Этот вопрос удивил дядю так, что он даже приостановился на шаг.

— Ка-ак же так зачем? Затем, дражайшая, чтобы пиявки были живые и зимою! Приезжают ведь покупщики и зимой... Полагаю, что и в зимнее время людям приходится ставить пиявки.

— А-а, вот что! Значит, ваши питомицы начали уже приносить вам пользу?

— И людям тоже,—скромно добавил дядя.

Конюшня, когда к ней подошли, показалась Елизавете Михайловне не более, как конюшней, но совсем другое впечатление получилось у ее мужа.

Во-первых, это было то же самое длинное, низенькое и с камышевой крышей, как и дом, здание, украшенное над воротами гипсовой конской головой. Одно ухо головы этой как было им лично отбито в детстве, так и осталось. Стойла в два ряда, застреленные сороки, висевшие на тонких бечевках под поперечными балками над проходом между стойлами; узенькие маленькие окошечки, так как лошади, не в пример пиявкам, не нуждались в свете,—все это было то самое, что он привык видеть здесь давно, в детстве.

Дмитрий Дмитриевич стоял забывчиво, как зачарованный, и странно было ему самому ощущать, что резкий запах конюшни этой, запах, такой привычный и милый его сердцу артиллериста, почему-то связывается в его памяти с запахом цветущих лип и рокочущим жужжаньем бесчисленных майских жуков...

Липы эти стояли тут же в стороне,—несколько штук, больших, развесистых, старых, но теперь, обернувшись, он напрасно искал их глазами: их срубили, видимо, даже выкорчевали и пни. Но чувствовался под осевшим от таянья снегом прежний плац, на котором еще отец его любил гонять молодых лошадей-полукровок на корде.

По кругу, протоптанному тут резвыми третьяками с подрезанными гривками, он бегал в детстве сам и, ему казалось тогда, ничуть не тише, чем они, и любым аллюром.

Но день был до того тепел, что всюду капало, стояли рыжие лужи, расчирикались воробьи, и—неизменная принадлежность конюшни—косматый зеленоглазый грязно-белый козел, жуя жвачку, грелся около ворот на солнце.

И Дмитрию Дмитриевичу почему-то вдруг очень отчетливо припомнился очень давний вечер, весною, когда цвели липы и жужжали кругом майские жуки... Ему было тогда лет пять, не больше. У них в доме было почему-то много гостей с детьми. И вот чья-то бойкая девочка лет десяти, с золотой косичкой, в которую вплетен был шелковый голубой бантик, поставила всех их, малышей, вкруг около себя и таким твердым, но удивительно приятным почему-то пальчиком тыкала каждого в грудь, певуче приговаривая при этом:

Ка́хин-ма́хин, кто под нами,
Под железными столбами?
Ко́монь-по́монь. Чем подкован?
Зла́том ли́тым под копытом.
Ши́шел-вышел, вон пошел!

И кого касался пальчик этой девочки при последнем слове «пошел», тот должен был выбегать из круга, и счет начинался снова с загадочных слов «ка́хин-ма́хин», пока, наконец, не оставался перед девочкой всего один малыш; тогда девочка отскакивала от него, а он должен был ловить ее,—но где же было малышам поймать ее, резвую, как дикая коза?

Бегали, кричали изо всех сил, пахло конюшней, липами, молодою зеленой травой, голубым бантиком девочки в золотой косичке... И так очаровательно было вдруг вынырнувшее из тугой памяти во всей своей полноте это воспоминание, что Дмитрий Дмитриевич даже не изумился тому, что вспомнил от слова до слова все эти непонятные и теперь, как и тогда, слова: «ка́хин-ма́хин», «ко́монь-по́монь, «зла́том ли́тым», «ши́шел-вышел», а между тем он только именно тогда, в тот вечер, слышал это детское заклинание,—никогда не приходилось слышать его потом.

Когда они вошли в конюшню, там кучер Фрол, плотный и ражий, лет сорока, совсем ему незнакомый человек, вместе с Тимофеем-конюхом,—по виду

тех же лет, что и он,—чистили скребницами и щетками как раз тех самых вороных рослых коней, которые везли их сюда с почтовой станции.

И вот теперь, когда зазвенела неотбойно в Дмитрии Дмитриевиче странная, но милая песенка девочки, он пододвинулся к одному из этих коней, потрепал его по холке и проговорил, весело улыбаясь:

— Ну-ка, ты, ко́монь-по́монь, чем подкован, а?

Проговорил это совсем без запинки, даже скороговоркой, чем чрезвычайно изумил Елизавету Михайловну.

— Ми-ля?—вопросительно обратилась она к нему, подняв брови, а он, добродушно улыбаясь ей и взяв ее указательный палец в свою руку, начал постукивать им себе в грудь, приговаривая, как та девочка с голубым бантиком:

Ка́хин-ма́хин, кто под нами,
Под железными столбами?..

И проскандировал все пять этих овеянных теплом и радостью детства строчек не только без обычных для него пауз, но даже с некоторым выражением, так что даже и дядя понял, что что-то такое поворотное и весьма значительное произошло с его племянником вот тут, на его глазах.

Он счел даже необходимым ответить чем-нибудь радостным на огромную радость, светившуюся в лице Елизаветы Михайловны, и слегка, по-отечески, обняв ее плечи и нагнув к ней голову в бобровой шапке, проговорил игриво:

— Вот что делают пиявочки-то мои, милашки! Стоило только мне позвонить о них с полчасика,— и я уже замечаю, дражайшая моя, польза от этого есть! А если поставить дюжинку голодненьких минуток хотя бы на десять, а?.. а?.. Ох, мне кажется так, был бы от этого нашему Мите большущий прок!

И лицо его, когда он говорил это, было весело, сам же он испытывал некое беспокойство, связанное тоже с воспоминаниями о весьма приятном прошлом.

6

Когда Елизавета Михайловна посылала Хлапонину-дяде эстафету из Симферополя, она это делала, как говорится, для очистки совести, чтобы оправдаться перед Пироговым, но не перед мужем. Она не думала, чтобы мужу доставила хоть малейшее удовольствие встреча с дядей, не надеялась и на то, чтобы дядя, обобравший племянника, выразил согласие принять его, как раненого защитника родины, до возможного, но гадательного выздоровления в свой дом.

Она знала от мужа, что его отец, ротмистр в отставке, жил в деревне, дядя же в это время служил в Петербурге, в министерстве внутренних дел; впоследствии он тоже вышел в отставку, не дослужившись до высоких чинов.

Имение деда Дмитрия Дмитриевича было поделено между двумя его сыновьями, и старший, Дмитрий Матвеевич, управлял частью младшего, Василия, и высылал ему деньги в столицу.

Но вот умерла его жена, мать Мити, который был тогда кадетом одного из младших классов, а вслед за этим заболел неизлечимой болезнью и он сам, и дядя, после его смерти, был назначен опекуном племянника, что было вполне естественно.

Вот тут-то и проявил дядя свое знание русских законов, то есть произвола больших, средних и даже мелких чиновников, царившего в те времена. Сфабрикованы были какие-то денежные обязательства и даже векселя от имени отца Мити в пользу Василия Матвеевича, и ко времени производства Дмитрия Дмитриевича в чин прапорщика подоспело решение суда о продаже его части имения на уплату «долга» дяде.

Вести дело с таким знатоком законов в следующей инстанции, а потом, может быть, и в высшей было немыслимо без наличия крупных денег на взятки чиновникам, а Дмитрий Дмитриевич имел только свое жалованье; дядя же его при помощи новых махинаций на торгах сумел оставить бывшее имение брата за собой и таким образом объединить раздробленную было Хлапонинку в своих руках.

Но он оказался настолько умелым крючкотворцем, что, задумав округлить свою землю за счет довольно крупного куска земли своего богатого и даже имеющего вес соседа, преуспел и в этом.

Он узнал как-то стороною, что многоземельный сосед его не имеет плана своей земли, и этого было с него довольно, чтобы завести в суде дело о том, будто крестьяне этого соседа запахали у него, Хлапонина, двести три десятины земли.

Дело было явно вздорное, так и посмотрел на него богатый сосед, однако он не знал того, кто это дело затеял, и, уехав за границу, предоставил своему управляющему отвечать в суде. Но и управляющий его тоже держал себя, как очень важный барин, Хлапонин же не постеснялся вступить чуть ли не в приятельские отношения с местной полицией—становым и исправником.

Когда земский суд затребовал планы земель и когда оказалось, что в конторе богатого соседа Хлапонина не имелось планов, решено было поручить становому приставу собрать показания окрестных жителей. И тогда-то восторжествовал Хлапонин-дядя! Задобренный им пристав собрал большую толпу окрестных жителей, а Василий Матвеевич понял ее на свой счет.

Пьянство получилось гомерическое, и, правду сказать, оно обошлось не то чтобы дешево, но особые уполномоченные зато давали подписывать пьяным то, что хотелось Хлапонину, и те подписы-

вали, и вместо двухсот трех десятин на основании этих показаний окрестных жителей становой пристав заблагорассудил прирезать к Хлапонинке тысячу двадцать четыре десятины, всю дачу, к которой принадлежал кусок, понравившийся сутяге.

Тогда только барствующий управляющий понял, что дело это не вздорное, и начал действовать. Земский суд, по его ходатайству, уничтожил распоряжение станового, но Хлапонин-дядя перенес дело в уездный суд, и там оно было решено снова в его пользу. Сосед взялся за это дело сам и перенес его в гражданскую палату. Благодаря своим связям он выиграл его здесь, но Хлапонин-дядя тогда сам отправился в Петербург, где у него остались знакомые среди чиновников-сослуживцев, и здесь, в Сенате, одевшись едва не в рубище, начал слезно молить, что он совершенно разорен своим богатым соседом, который беззаконно отнял у него последнее его достояние. Мольбы и знакомства подействовали: тяжущимся предложено было размежеваться полюбовно. Сосед, которому надоела волокита, добровольно уступил Хлапонину половину спорной дачи, чтобы как-нибудь отделаться от этого паука. Тот повздыхал, попенял на людскую жадность, но в конце концов согласился и начал осматриваться кругом, нельзя ли урвать что-нибудь себе под межу и у кого-либо другого из соседей.

И скоро нашел и начал новое дело, которое пока еще тянулось, проходя уже третью инстанцию, но давало все-таки ему уверенность окончиться также благополучно: межевые узаконения в те времена были темны, как история мидян, печенегов и половцев, а потому в поземельных владениях было достаточно неясностей, которые могли толковаться и вкривь, и вкось.

Слухи о подобных художествах дяди доходили до Дмитрия Дмитриевича стороною и передавались им жене. Когда возник в Симферополе вопрос о поездке в деревню, Елизавета Михайловна даже и вообразить не могла печальной возможности продолжительно гостить у такого родственника, и ее удивляло, почему муж не был против этой поездки. Она объясняла это его апатией ко всему на свете.

Однако еще меньше понимала она Хлапонина-дядю, когда читала его ответную эстафету. Не понимала его отношения к ним обоим и теперь. Она только решилась упорно, чего бы это ни стоило ей, терпеть их, видя уже с первого дня, что Пирогов почему-то оказался прав, что деревня действительно врачует ее мужа у нее на глазах.

7

Стороною доходили до Дмитрия Дмитриевича слухи, что дядя его, считаясь по паспорту холостяком, в то же время имеет семью, о которой по-своему печется, и Елизавета Михайловна думала, что попадет в деревенскую семейную обстановку, хотя и несколько необычного свойства.

Спрашивать об этом кучера Фрола, когда ехали они со станции, считала она не совсем удобным, но, увидев дядю мужа на одиноком положении, видимо, для него привычном, была очень удивлена.

Встречавшая их толстая баба с высоко подтянутыми грудями,—ее звали Степанидой,—была ключницей. Она распоряжалась на кухне и в доме, отличаясь от других женщин дворни только тем, что одета была несколько чище, телом заметно потяжелее, и голос имела начальственный, густой, сиповатый, басистый.

В тот самый день, когда Хлапонин-дядя показывал свой пиявочник, Степанида обратилась к нему:

— Укладываться, барин, будете, аль-бо не поедете совсем в Харьков?

— Пошла, пошла с укладкой!—сердито отозвался Василий Матвеевич.—Лезет тут с Харьковом, когда гости прибыли!

Это слышала через дверь отведенной им спальни Елизавета Михайловна и в удобную для того минуту спросила Степаниду, куда хотел ехать ее барин, чему они помешали своим приездом.

— А как же так—куда? К ней же, к своей Маргарите Карловной,—просипела полушопотом Степанида.

И все так же полушопотом, однако довольно подробно объяснила, что Маргарита Карловна—вдова чиновника, с которым когда-то вместе служил в Петербурге Василий Матвеевич, что муж ее сошел с ума и был помещен в сумасшедший дом, а Маргарита Карловна прижила за это время от Василия Матвеевича троих, которые, конечно носили фамилию не его, а сумасшедшего чиновника Реусова, так как Маргарита Карловна развода не получала и продолжала до его смерти считаться его законной женой. Когда водворился в имении Василий Матвеевич, он помог сожительнице перебраться поближе к себе—в Харьков, где она на небольшую пенсию, заработанную мужем, воспитывала детей, открыв маленькую белошвейную мастерскую; Василий Матвеевич оказывал ей кое-какую помощь, но только своими сельскими продуктами, а не деньгами; продукты эти иногда поручал отвозить Степаниде, почему она и знала все это, а иначе трудно было бы и узнать, так как к себе в имение Хлапонин-дядя, как оказалось, никогда свою сожительницу не приглашал. Сам же он иногда, особенно зимою, отправлялся в Харьков и проживал там по неделе и больше: этот губернский город был гораздо ближе к Хлапонинке, чем Курск. Теперь дети его были уже взрослые, но судьбою их он не занимался, предоставив это всецело им самим и теченню случайностей. Впрочем,

новый год он обычно считал нужным проводить в кругу своей «незаконной» семьи, чтобы ровно в двенадцать часов поднимать торжественно бокал шампанского за свои преуспевания в наступающем году... А теперь было как раз 30 декабря,—близился новый 1855 год.

Толстая Степанида, полушопотом передавая некие тайны интимной жизни своего барина, кое-что утаила по недостатку времени. Но в тот же день нечаянно удалось услышать Елизавете Михайловне, что казачок Федька звал Степаниду мамашей и подозрительно показался похож и цветом волос и складом лица на Василия Матвеевича. А несколько позже она заметила еще человек пять ребят среди дворни хотя и разных матерей, но большого сходства с казачком Федькой: в нерушимой тишине черноземной деревни Василий Матвеевич явно стремился к увеличению количества своих крепостных, собственным стараньем «улучшая» их породу.

Приготовлениям к новогоднему торжеству ввиду приезда племянника с женой Василий Матвеевич придал довольно шумный характер. Резали всякую разводимую в усадьбе живность, за исключением пиявок; жарили, варили, начиняли и пекли пироги, делали заливное, терли хрен...

Судя по большому оживлению на кухне, Елизавета Михайловна думала, что к вечеру соберется много гостей, но время шло, наступал вечер, а к приему гостей дом не готовился. Наконец, на вопрос ее, будут ли гости, Василий Матвеевич ответил многозначительно-торжественно:

— Дражайшая моя, я привык встречать этот день только в своем семейном кругу-с! Никаких посторонних личностей при этом я видеть желания не имею-с!

И приложил преданно руку к сердцу и наклонил к ней голову с замысловатой прической рыжих с проседью волос.

Глядя на эту торжественность лица его и на длительное прощупывание им своего сердца под праздничным бархатным жилетом, можно было подумать, что он готовится объявить своему племяннику, что когда-то сознательно и жестоко его обидел, но кается в этом от всей души; что с первого же дня нового года начинает он новую жизнь; что, ответив на его эстафету приглашением приехать, он тогда же решил возвратить ему отцовскую часть имения; что слезно молит его простить, снизойти к человеческим слабостям и порокам и дать счастливую возможность загладить свою вину неусыпными заботами о нем, жертве кровавой войны, поднятой против России врагами...

Елизавета Михайловна не то чтобы думала о нем именно так в этот вечер,—ее институтские годы были далеко позади,—но ожидала все-таки, что он несколько расчувствуется за шампанским, вспомнит своего брата, отца Дмитрия Дмитриевича, расскажет что-нибудь о маленьком кадете Мите, о его матери, так безвременно-рано умершей... Упоминание о «семейном круге» навевало на нее именно такую цепь предположений, тем более что в этом чувствовалось ей нечто, способное, может быть, даже окончательно разбудить полудремлющее сознание ее мужа.

И вот они сели за достаточно пышно убранный стол втроем, когда наступил поздний вечер. Были даже букеты гортензий и розовые примулы в горшках из теплицы. Традиционные бутылки шампанского показывали свои золотые головы из вазы со льдом, стоявшей на другом столе.

И поглядывая на эти бутылки и на гостей, весело заговорил Хлапонин-дядя:

— Одного чудодея действительного статского советника я знал,—коллекцией увлекся до умопомрачения. И что же он собирал такое? Пробки от шампанского-с! На каждой пробке есть, конечно, свой штемпель,—французы на это доки,—какой марки шампанское, какого года,—и ух, как же это его занимало! Где бы ни пили шампанское, он там! И вы его, чудака, даже и шампанским можете не угощать, он не обидится, но уж что касается про-о-бок, то пожалуйста, не выкидывайте на двор, а ему подарите! Да что там подарки! Мелочь! Он у всех половых в трактирах пробки поскупал! Служба у него была больше разъездная,—ревизии да инспекции. Так он, голубчик, куда ни приедет, первым делом в трактир или там в ресторации бежит, чтобы пробки поскорее захватить, а то вдруг кто-нибудь возьмет да—хе-хе-хе-хе—и перебьет ему музыку! Возьмет да и перекупит у него драгоценности эти-с!.. Зато уж если к нему попадешь даже и по службе, заговорит! Прямо до полусмерти готов заговорить,—и все только касаемо пробок от шампанского-с! Где ему что удалось достать, да сколько числом, да каких годов, да каких фирм. Чу-до-дей!.. Десять шкафов он этих пробок набрал! Государственный муж! Действительный статский! Иной может подумать, что какие-нибудь своды законов всех держав в десяти-то шкафах у него этих, а там одни только пробки по сортам и ранжирам-с! Хе-хе-хе-хе!

Когда он смеялся, то откидывал назад голову, выставлял лодочкой подбородок и, казалось бы, совершенно закатывал глаза, но Елизавета Михайловна чувствовала, что сквозь самые узенькие щелки век он на нее очень внимательно смотрит, именно на нее только, а не на мужа. Сама же она следила за мужем и видела, что он не менее внимательно наблюдает своего дядю, как совершенно нового для него человека.

— Спрашивается, что же он этими своими пробками до такой степени увлекся, что даже и о назначении своем забыл?—продолжал дядя го-

рестно, как-то мгновенно из смеющегося ставши не только серьезным, но даже как бы и негодующим.—Назначение же его было огромнейшее: ревизии государственных учреждений разных, а ему,—так, кажется, выходило,—стоило только какую-нибудь редкостную пробку показать, и вот уж кончена ревизия-с! Пробку эту он в свою пятерню захватил, и обо всем забыто! А на-зна-чение человеческое, дражайшая Елизавета Михайловна, это-с... это все! Кушайте, пожалуйста, покорнейше прошу-с! Меня слушайте, а сами кушайте! Митя! Не обессудь! За исключением одного только шампанского, тут перед тобой на столе все наше с тобою,—родовое, хлапонинское!—Он обвел глазами, что было на столе, и подтвердил с гордостью:—Все!.. Помещик существует для того, чтобы добывать из земли все, что можно из нее добыть, это и есть его назначение! Но что же такое есть имение в своей сущности-с?.. В миниатюрном виде—это целое государство-с! Государство—вот что оно такое! А государство с государством только и делает, что воюет. Вопрос теперь,—вполне ли законно оно поступает?.. Однако спокон веку оно так поступает—и ничего-с. Поэтому выходит, что вполне законно-с! Одного человека другие люди и судить и осудить могут, и присудить даже,—на каторгу, например. А целое государство? Суди его не суди, ему как с гуся вода и как об стенку горох. Только тем его и осудить можно, что на войне разбить и у него что-нибудь отнять с бою... Вот так же точно выходит и у меня с имением. Воюют эти государства в миниатюре, и уж там чья возьмет, на то воля божия-с!

Елизавета Михайловна слушала его с недоумением. Он говорил что-то совсем не то, чего она ожидала от него под новый год в «семейном кругу». Он же поглядывал на нее с сознанием какого-то непонятного ей своего достоинства и своей правоты. Чтобы как-нибудь отозваться ему, она сказала:

— Да вот и сейчас несколько государств воюет в Крыму, чему мы и были свидетели.

— Ага! В Крыму! Вот-вот!—очень оживился дядя, точно она весьма помогла ему такою незначительной репликой.—Об этом именно и пойдет у нас сейчас речь!—потер он крепко руки, хотя в комнате было тепло.—Не так давно читал я в «Инвалиде», что имеют желание англичане сделать Крым своею колонией, а французов приспособили доставать им из огня каштаны. Государство, видите ли, колоний себе ищет... Ну, а имение как?.. Если кругом его давят так, что локти не раздвинешь, то о чем оно может думать? Тоже о колониях?.. Колониями это не называется, конечно-с, а вот так, скажем, если бы где-нибудь в другой губернии, где земли дешевые, прикупить клочок невредный, это ведь законом не воспрещается... И вот, дражайшая Елизавета Михайловна, и ты,—ты также, Митя,—вы были в Крыму, а в Крыму—война, напали на нас негодяи, но мы-то, мы-то со своей доблестью, мы-то ведь отстоим Крым в конце-то концов, а? Отстоим или не отстоим, говорите прямо, по-родственному!

— Отстоим!—очень твердо ответил ему на этот раз как на весьма знакомый вопрос вполне определенным выводом Дмитрий Дмитриевич.

— Отстоим? Ага! Вот он, голос святой воина православного! Отстоим!.. За это выпьем!—Он опрокинул в открытый рот рюмку домашней наливки и, ничем не закусив, точно спеша договорить, продолжал:—Это и мое мнение тоже!.. Но я знаю, знаю некоторых таких, которые сомневаются в этом, маловеры! И даже осмеливаются утверждать противное-с! И вот теперь я вас хочу спросить обоих: есть ли и в Крыму подобные маловеры из помещиков, которые даже на свои имения рукой махнули-с и в грош их теперь не ценят, а? Есть ли?

— Я думаю, что таких найдется довольно,—сказала Елизавета Михайловна.

— Ага! Та-ак! Даже много? Приятно мне это слышать-с... Ну, вот-с что теперь: не знаете ли вы, дражайшая, там хотя бы двух-трех подобных, чтобы с ними письменные отношения завязать или даже доверенное лицо к ним послать, чтобы они могли быть настолько умны... настолько умны, чтобы с имениями своими теперь же развязаться, а я бы, дурак, может быть, надумал бы подходящую цену им предложить за бросовое это, никчемушное их имущество, а? За души, которые даже, может, и разбежались!

И высказав, наконец, свою заветную, видимо, мысль, Василий Матвеевич выпрямился, глаза его выкарабкались из мясистых век и округлились, и появилось в них такое сосредоточенное выражение, как у ястреба в клетке.

Только теперь поняла Елизавета Михайловна, почему с такою готовностью отозвался Хлапонин-дядя на эстафету, подписанную именем его племянника: при помощи все того же уже обобранного им племянника Мити он думал утвердиться в смелой мысли о «колонии» в Крыму, которую можно бы было приобрести за полный бесценок.

Это заставило ее вздрогнуть от омерзения, однако она сдержалась, взглянув на мужа. Она даже заставила себя припомнить несколько фамилий крымских помещиков.

— На Каче там есть большое имение Мордвинова,—с трудом подыскивая слова, проговорила она.—На Бельбеке—Бибиковых... под Евпаторией—Ревелиоти...

— Ну, вот, ну, вот, вы, стало быть, знаете там многих, дражайшая!—так и потянулся к ней всем корпусом дядя.—И у всех, должно быть, душа в пятки ушла, и все, наверно, из Крыма умчались,

а я бы так и быть рискнул, да! Я бы напустил на себя смелости, и, конечно, с переводом долга, какой на имении числится, они могли бы пойти на сделку со мной, выгодную для них, а не для меня, для них, и во всех отношениях! А что касается меня, то тут—риск! Но-с я люблю рисковать! Я не зря ведь служил в молодые свои годы в министерстве внутренних дел и наружного бездействия, как это называлось! Наружно я—молчок, замочек на ключике, а что касается моих внутренних дел, то здесь у меня,—постучал он себя пальцем по лбу,—крупные идут иногда разговоры и споры-с! А что такое наш помещик здесь, кругом меня? Я все их делишки насквозь вижу и знаю-с! У них по сто коров, а своего масла нет,—в городе покупают! У них телята маток сосут,—откуда же молоку быть и откуда маслу? Они только за зайцами по полям своим рыщут, а зимой в город—и к цыганкам! Жить на планете нашей и русским быть—это, дражайшая моя, задача из самых трудных! А чтобы еще и большим куском земли владеть,—наитруднейшая!.. Однако я на это готов итти и... пойду! Чувствую в себе силы для этого!

Василий Михайлович глядел победителем и только на одну Елизавету Михайловну; увечного племянника своего он явно скидывал со счетов.

Четыре свечи на столе в высоких медных ярко начищенных шандалах горели, потрескивая и склоняя в разные стороны лепестки пламени. Когда они нагорали, Василий Матвеевич кричал: «Федька-а!»—и из прихожей вскакивал в столовую рыженький казачок с щипцами, проворно снимал нагар со свечей, потом, не мешкая, выскакивал снова в свою прихожую.

— Чуть только запахло войною,—продолжал Василий Матвеевич с большим подъемом,—я, я весь внимание!.. Нужно было бы продать пшеницу нового урожая, но я ее не продал-с... я, чтобы обернуться с платежами, скот продал, на зиму глядя, а пшеницу и сено—это я оставил про-о запас!—Он глубокомысленно сжал губы и поднял палец.—Война, думаю, не свой брат, война все подберет и крылышком из закромов повыскребет. И так что, может, пожалуй, случиться, понадобится вдруг и мой запасец, а?.. Но это я к слову-с. Главная же мысль моя витает не здесь, а там, откуда вы прибыть изволили, дражайшая,—в Крыму-с... Я ведь очень ревностно читаю газеты-с: «Московские ведомости», «Северную пчелу». Я все про себя отмечаю за них и за нас, и, конечно же, не осмеливаюсь я думать, чтобы мы, большущее государство такое, не выгнали их, мерзавцев, посягающих на наше добро, вон, в три шеи! Вон, в три шеи!.. Я убежден в этом! Я патриот и убежден! Выгоним, а? Как, Митя?

— Выгоним,—как автомат повторил Дмитрий Дмитриевич, жуя соленую и твердую ветчину и глядя на своего дядю с немалым любопытством.

— А вдруг не выгоним? — почти прошептал дядя, склоняя голову в сторону Елизаветы Михайловны.

— Никто в Крыму так не думает,—сказала Елизавета Михайловна.

— А-а! Никто?.. Вот оно что значит геройство русское!.. А если не выгоним,—допустим на минутку-с,—тогда как? Тогда, значит, я опростоволосился, деньги мои пропали, продавец же в выгоде будет, вот что-с! Положим, что не такая большая уж будет его выгода, да я и той не хочу ему доставлять!.. А правительство... Что касается правительства, то ведь, посудите сами, дражайшая Елизавета Михайловна, как оно может войти в положение всех потерявших имущество в Крыму? Ведь и теперь, пока война еще только вначале, многие потеряли уж все и теряют, а разве кто-нибудь возмещает им? Вы об этом не слышали?

Теперь вид у Василия Матвеевича был оторопелый, как у потерпевшего от бомбардировки. Глядя на него, можно было подумать, что имение в Крыму, свою колонию, он уже потерял. Но что было совсем уж неожиданно, он глядел на Елизавету Михайловну умоляюще, скорбно, как будто она была—русское правительство и от нее зависело возместить или не возместить его потерю, и если возместить, то как именно, в какой мере: полностью или же только в какой-нибудь десятой части?

Но как только минутная стрелка старинных стенных часов пододвинулась к двенадцати, Василий Матвеевич мгновенно сбросил с себя все заботы, даже и о потерянном под напором союзных сил имении в Крыму. Он стал торжественным. Он даже поднялся, чтобы собственноручно разлить по бокалам душистое пенящееся шампанское. Он никому не хотел передоверить обращения с этим деликатным, дорогим напитком, а когда разлил его, сосредоточенно вгляделся в Дмитрия Дмитриевича и проговорил без передышки:

— В наступившем новом году желаю тебе, Митя, полного здоровья, вам же, Елизавета Михайловна, радости желаю видеть своего мужа опять в цветущем виде, а что же касается вас самой, то от всего сердца желаю я, чтобы так же цвели вы в наступившем году, как вот теперь вы цветете на мое сиротское счастье!..

Тут он неожиданно как-то коротко всхлипнул,—подготовлено это было им или нет,—и, припав к руке Елизаветы Михайловны, целовал ее породственному, может быть, но долго и крепко; впрочем, так же долго и крепко целовал и племянника. Мигая потом влажными ресницами, он казался до того растроганным, что можно было

подумать: вот-вот теперь-то, наконец, он и заговорит о своем покойном брате, о его безвременно умершей жене, матери кадета Мити, об опеке над их частью имения и прочем таком, но он сказал, взяв со стола большеголовую пробку от шампанского:

— Спрячу и эту! Достаточно уж я их спрятал на всякий случай... Ведь он жив, как я недавно справлялся о нем... Он теперь уж в отставке, тайный советник и очень стар, но все-таки, как бы то ни было, живет в столице, знакомства кое-какие, поди, сохранил, так что в случае чего повезти ему чемоданчик пробок, авось что-нибудь и сделает в мою пользу-с!

8

На другой день рано, только что встали в доме, явились хлапонинские крестьяне поздравлять своего барина, узнав еще накануне от дворни, что в Харьков, как это было у него в обыкновении, он не поехал. Их было человек десять выборных стариков, с ними и староста.

Довольно долго стояли они на дворе кучей; потом позвали их на крыльцо, где они сняли шапки. Наконец отворилась перед ними дверь, в прихожей их встретил сам Василий Матвеевич и сказал с возможным для него добродушием:

— А-а, подлецы мои верноподданные! Входите, входите, не стесняйтесь, что наследите, что делать! Подотрут бабы. Приступайте к своим прямым обязанностям, только в комнаты не заходите, а с порожку, с порожку...

Елизавета Михайловна не понимала, о каких обязанностях, так игриво поглядывая на нее, говорит он. Но вот мужички откашлялись, пощупали бороды, опустили руки в карманы полушубков и запели очень нестройно на пороге столовой:

Дева Мария́
В поле ходила́,
Хлеба́ сеяла́.
Направо махнет,
Там пшеничка растет,
А налево махнет,
Там жито растет...
Дай, боже, жита-пшеницы,
Всякой пашни́цы!
Сеем-сеем, посеваем,
С новым годом поздравляем!

При этом вразброд, как кому вздумалось, бросали они в столовую из правых карманов пшеницу, из левых—жито, так что и на стол, за которым встречался накануне новый год, и на стулья, и всюду на пол порядочно насыпали зерна.

Василий Матвеевич оберег остальные комнаты от такого приятного, впрочем, хозяйскому сердцу сора, и сам проводил своих «подлецов-верноподданных» на кухню, где для них приготовлен был четырехгранный зеленого стекла штоф водки и подходящая закуска к ней.

Почетными же визитерами в этот день у Хлапонина-дяди были только поп и становой пристав, тот самый пристав, который помог ему однажды ни с того ни с сего оттягать у соседа полдачи в пятьсот с лишком десятин и помогал в другой, несколько затянувшейся вылазке в сторону чужих заливных лугов на речке Лопань.

Обедать молодым Хлапониным пришлось вместе с ними, и если старенький смиренный попик только прилежно слушал, особенно когда говорилось о Севастополе, и еще прилежнее, до крупного пота на постном лице, ел и пил, то становой пристав, громкоголосый, осанистый, истый блюститель гробовой тишины и спокойствия, говорил один за всех, оставляя в тени даже и самого хозяина, который был с ним преувеличенно любезен.

Гости эти оказались очень усидчивы; они пробыли дотемна и утомили Елизавету Михайловну, так что спать она пошла рано, однако долго не могла уснуть.

Она подводила про себя итоги первым трем дням своей жизни в Хлапонинке и теперь начинала уж сомневаться в пироговском рецепте, действительно ли принесет он много пользы ее мужу. Все дело было, конечно, в Василии Матвеевиче, которого она даже стала бояться: он казался ей способным не только на любую подлость, даже и на прямое преступление; поэтому и дверь отведенной им комнаты она теперь старательно заперла на ключ и даже прислушивалась к каждому шороху за этой дверью. Потом зажгла свечу и начала писать письмо в Москву своему брату, адъюнкт-профессору, не найдет ли он возможности подыскать для них тихий уголок в Москве или под Москвою.

Но засидевшись за длинным письмом, она расслышала ближе к утру протяжный отдаленный плач за окнами, очень жуткий, может быть, даже и вой. Он шел переливами от более низких нот до самых высоких и щемил за сердце. Странным показалось и то, что собаки его как будто не слышали или не обращали внимания: они молчали.

— Митя, что это?—зашептала она, заметив, что муж проснулся.

— Где «что»?—спросил, поднявшись на здоровом локте, Дмитрий Дмитриевич.

— Плачет там,—кивнула она на окно.—Это не вьюга, ночь тихая, и луна...

— Это ничего,—прислушался Дмитрий Дмитриевич,—это—волки!

— Волки?.. А отчего же собаки молчат?

— Молчат отчего? Боятся,—бормотнул Дмитрий Дмитриевич и снова улегся и уткнул голову в подушку.

Новогодний волчий концерт продолжался почти до рассвета.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЮБИЛЕЙ

1

Брат Елизаветы Михайловны получил письмо ее тогда, когда у него не было даже и времени приискивать для Хлапониных тихую квартиру в Москве, а тем более под Москвою: Московский университет деятельно готовился к празднованию сотой годовщины своего основания,—сотого Татьянина дня,—12 января 1855 года. К этому дню должен был выйти из типографии и особый сборник статей по разным отраслям знаний, составленный профессорами с понятной целью показать, на какой высоте стоит наука в стране, где низко стоит человек.

Бывший тридцать лет профессором Московского университета историк Погодин преподнес ему к сотому Татьянину дню совершенно исключительный подарок при таком письме:

«Имею счастье принести Московскому университету, к торжеству его столетия, частицу от руки св. Кирилла, Славянского Апостола, изобретателя нашей Грамоты, основателя Словесности. Какое место для нее достойнее Московского университета, оказавшего такие заслуги Отечественному Слову? Драгоценная частица отделена была для меня в 1835 году в Праге, от кости, хранящейся в тамошнем соборе каноником Пешиною, который в свидетельство приложил к ней свою подпись и печать».

Кроме того, тот же Погодин предложил попечителю Назимову прочитать на юбилейном торжестве свое «Слово о Ломоносове», как основателе русской науки. Подобные же слова и речи готовили и Грановский, и Шевырев, и Соловьев, и другие профессора.

Ожидался большой наплыв депутатов из Петербурга: от Академии наук, от университета и других высших учебных заведений; наконец, приглашен был и обещался быть министр народного просвещения Норов, известный тем, что потерял ногу при Бородине, почему ходил на деревяжке и имел способность писать патриотические стихи.

Царь Николай в виде подарка к юбилею разрешил увеличить число студентов каждого факультета на пятьдесят человек, а кроме этого соблаговолил осчастливить студентов введением в курс университетских наук военного строя, которым студенты должны были заниматься по часу с четвертью в день. Последний приказ царя начинался, впрочем, словами: «Узнав о пламенном желании студентов проходить военный строй...» И декан историко-филологического факультета Шевырев приветствовал это введение несколько выспренне: «Наука и война должны облобызаться для того, чтобы водворить мир во вселенной!»

Но не один только университет деятельно готовился к своему празднику, составлял программы торжеств, рассылал приглашения, наконец, украшался и наружно,—вся культурная Москва приосанилась, подобралась, отложила на время карты, растегаи, жирные кулебяки, начала осматриваться кругом, подсчитывать свои силы, чиститься духовно, тем более что «година невеселая настала», Крымская война затянулась, поговаривали о решенном уже созыве ополчения,—во всем кругом видно было большое напряжение сил, дававшее почему-то слишком ничтожные результаты.

Там и здесь читалось ходившее по Москве мрачное стихотворение Тютчева «На новый 1855 год» и смущало умы каким-то зловещим смыслом, скрытым в этих строках, первоначально написанных в альбом писателя Данилевского:

Стоим мы слепо пред судьбою,—
Не нам сорвать с нее покров...
Я не свое тебе открою,
А бред пророческих духов.

Еще нам далеко до цели:
Гроза ревет, гроза растет,
И вот в железной колыбели,
В громах родится новый год.

Черты его ужасно строги,
Кровь на руках и на челе;
Но не одни войны тревоги
Несет он людям на земле.

Не просто будет он воитель,
Но исполнитель божьих кар,—
Он совершит, как поздний мститель,
Давно задуманный удар.

Для битв он послан и расправы,
С собой несет он два меча:
Один—сражений меч кровавый,
Другой—секира палача.

Но на кого?.. Одна ли выя,
Народ ли целый обречен?
Слова не ясны роковые,
И смутен замогильный стон...

— «Секира палача»!—повторяли читавшие, поднимая палец.

— «Одна ли выя»?—чья же именно «одна выя»?—поддерживали слушатели и переглядывались многозначительно.

А иные вспоминали прошлогодние стихи того же Тютчева, напечатанные в «Современнике», и замечали:

— То он призывал царя короноваться в святой Софии и стать «как всеславянский царь», а теперь что же он предсказывает такое? Ох, что-то, кажется, переметнулся из стана славянофилов к западникам наш исполнительный цензор!

Так как университет начал готовиться к юбилею еще за три года, озабоченный выпуском в срок биографического словаря профессоров, работавших в нем на протяжении столетия, то заветного дня ждали не в одной только Москве, а по всей России.

Кроме депутатов от университетских городов: Петербурга, Киева, Казани, Одессы, Дерпта, Гельсингфорса, ехали на праздник общерусской культуры на почтовых и долгих многочисленные бывшие питомцы юбиляра: старики, средних лет и молодые, иные из глубокой и глухой провинции, из губернских и уездных городов, из усадеб.

Они приехали взбодренные, взбудораженные, точно окропленные сказочной живой водой. Они заполнили все московские гостиницы и потом пустились отыскивать в Москве своих однокашников и профессоров. Они одни способны были бы заразить Москву шумной предпраздничной суетою, если бы Москве вздумалось вдруг отнестись к юбилею равнодушно.

Но исторический момент был настолько суров и важен, что равнодушию не могло быть места. Юбилей университета обратился как бы во всероссийский съезд верхнего слоя русских интеллигентских сил. Правда, съезд этот не то чтобы был разрешен строгим правительством в тех размерах, какие он принял, однакоже и запрещен не мог быть он, так как это был праздник.

Как-то сама собою образовалась в наглухо закупоренной русской жизни такая отдушина, в которую ринулись люди, имевшие возможность и средства свободно передвигаться, думать о судьбах своей родины, гореть стыдом за ее военные неудачи, говорить горячо и убедительно,—наконец, желавшие получить успокаивающие ответы на все тревожные вопросы, возникшие у них в почтительной дали от столиц.

2

Один из таких питомцев Московского университета, ученик профессора Грановского, молодой историк Круглов, приехавший из Одессы, сидел у своего учителя дня за три до праздника и говорил возбужденно:

— Все время, от молодых ногтей, убеждали нас, что мы, мол, Россия,—сильнейшая в мире держава. Не скрою от вас, Тимофей Николаевич, слушать это было все-таки приятно, как хотите. Сознание того, что ты гражданин страны, хотя и весьма нелепой, но сильнейшей, рассудку вопреки,—это сознание, оно как-то поднимало, даже и против воли иногда. Надо же чем-нибудь гордиться, чтобы жить на земле! Нет-нет, да и повторишь: «А все-таки хоть и нелепая, да сильнейшая!»—и на душе как-то полегче станет... Даже и славянофильские бредни не были совершенно противны,—иногда, иногда, Тимофей Николаевич!.. Льстило все-таки самолюбию, как хотите, особенно там живучи, в Одессе, где ничего почти русского не видишь. Вот тебе Черное море, а за Черным морем второй Рим, Константинополь,—кажется, и доплюнуть до него можно, не то что на нашей эскадре доплыть... Да, думали мы, там—темнота, конечно, русская, крепостное рабство, гнусно и подло, не похвалишь, конечно, не за что хвалить, однако поди же вот,—прем во все стороны невозбранно! Не сокращаемся, а расширяемся,—как газы! Растем, молодой народ с огромными задатками!.. Полюбуйтесь-ка на нас черненьких!.. А вот каковы мы будем, когда побелеем,—погодите, дайте срок, почтенные!.. Однако что же мы видим? Не дают сроку, а колотят! И должен я сказать вам, Тимофей Николаевич, плохо мы себя чувствуем теперь, очень плохо!.. Однажды уж были мы под обстрелом, вам известным; тогда даже и самому дюку Ришелье непочтительно ядро вклепали союзники: дескать, зачем из Европы сюда ушел! Но ведь всегда может повториться это удовольствие: море теперь уж не наше, а ихнее. Даже страшно временами становится, до чего же мы оказались слабы!.. Нас-то все уверяли, что мы—сильнейшая держава и прочее, а мы просто-напросто аракчеевцы оказались, людишки глупой и дикой формалистики, а совсем не дела! Капралы!..

Круглов был очень полнокровен, с косым пробором обильных темнорусых волос, близорук и потому сверкал стеклами очков в золотой оправе, сверкал возмущенно.

Грановский, человек лет сорока, с открытым, красивым, хотя и несколько болезненным лицом, высокий, но со впалой грудью, медленно позвякивая серебряной ложечкой в чаю и поглаживая левой рукой рано облысевшее темя, слушал своего ученика, слабо улыбаясь. За столом вместе с ними сидел и молодой адъюнкт-профессор Николай Михайлович Волжинский, брат Хлапониной,—преданный Грановскому и противник его университетских врагов: Шевырева, Бодянского и других. Он был похож на свою сестру, только черты его лица были чуть-чуть грубее, крупнее. Он сказал Круглову, товарищу по курсу:

— Теперь, брат, и Погодин наш забеспокоился: все пишет политические письма и, представь себе, не плохо, особенно если принять во внимание, что ведь адресует-то он их не кому-нибудь, а самому царю. Может быть, потому только и прибавил царь по пятьдесят студентов на факультет, что до него дошла такая погодинская фраза о трехстах студентах: «Если университетское образование так вредно, то за что же должны страдать триста невинных юношей, которых приносят ему в жертву, как чудовищному минотавру?[1] А если

---

[1] В 1849 г. было установлено, что число студентов не должно превышать 300 человек в каждом университете. Мера эта была связана с целым рядом других реакционных мероприятий правительства Николая I.

Минотавр—по преданию древних греков, чудовище с телом человека и головой быка, которому приносились человеческие жертвы.

находят все-таки в нем кое-какую пользу, то зачем лишают его остальных юношей, тоже невинных?» Не правда ли, довод этот не лишен кое-какого остроумия?

— Непосредственно государю писал Погодин?— усомнился Круглов.

— Как же он мог непосредственно написать? Конечно, он мог это передать только графу Адлербергу, с покорнейшей просьбой доложить хотя бы в основных чертах... И о том,—говорил он сам,—писал будто бы, что бедные лишились возможности учиться в гимназиях и университетах из-за введенной высокой платы за учение; писал, что дикая мера—юношам из податных сословий запрещать поступать в университет. Писал и больше того: «Дарования не ободряются, а унижаются; невежество подняло голову; из учебных заведений выходят только дрессированные болваны, машины, лицемеры, чем и объясняется то, что нас бьют теперь. Нет людей ни в одном ведомстве, не за кого взяться, чтобы поправить дело. Ни о каком предмете ни философском, ни политическом нельзя стало писать из-за строжайших на этот счет предписаний. Никакого злоупотребления даже издали выставлять стало нельзя. Даже из истории, как науки, исключены целые периоды, как будто их и не бывало, а о настоящих сословиях и ведомствах писать и подумать страшно... Даже Платон[1], Эсхил[2], Тацит[3]—и те подверглись запрещению! Книжная торговля в России дает одни банкротства... Порядочные люди решились молчать, даже не только не писать, а и не говорить ничего, ибо незваных слушателей, конечно, гораздо больше, чем присяжных цензоров, а на каждого незнакомого человека приходится смотреть, как на шпиона. И вот зеленые ломберные столы заменили все кафедры и трибуны, и карты стали единственным утешением в жизни, единственным искусством, которому покровительствует правительство...»

— Насчет карт Погодин, очевидно, про себя лично сказал,—перебил, улыбаясь, Грановский.— Он очень скуп, как известно, и не любит проигрывать, а в последнее время зачастил в гости к графу Уварову, а у того ежедневно карты, и Погодин всегда был в проигрыше... Да, я тоже пристрастился к картам!

— Вы, Тимофей Николаевич?—изумился Круглов, блеснув очками.

— Я, да... И даже в долги влез благодаря картам... Пришлось продавать родительскую деревеньку, чтобы расплатиться. Единственное утешение мне при этом было, что вот папаша Хомякова[1], говорят, в одну ночь умудрился целый миллион проиграть, а я, разумеется, гораздо меньше.— Он позвякал ложечкой в стакане и добавил:— Ничего не поделаешь, тоска заедает. Хотел вкупе с Кудрявцевым издавать исторический журнал, обратился за разрешением, мне ответили коротко, но вразумительно: «Не нужно!» Донесли на меня, что я на лекциях не говорю: «По воле провиденья, по велению божью совершилось то-то и то-то»,— то есть выходит, как бы совсем упраздняю промысел божий в событиях исторических,—пришлось мне по этому вопросу объясняться с самим митрополитом Филаретом.

— Объяснились?.. Пошли к Филарету?—удивился Круглов.

— Пошел... Иначе я был бы уже в отставке,— пожал плечами Грановский.—Впрочем, с первых же слов его едва не ушел. Но он решил, кажется, обольстить меня кротостью и усадил опять в кресло, с которого я поднялся. Старенький... дряхленький... говорит еле слышно. Сказал даже, что уважает науку и меня тоже уважает. Не помню уж в точности, какой именно елей он расточал, да стоит ли это помнить? Только ушел я от него с решимостью университета все-таки не покидать, а, сколько будет возможностей, в нем держаться. Надеюсь я все-таки на какой-то перелом к лучшему, теперь-то уж во всяком случае.

— В каком смысле «к лучшему»? Вы верите в нашу окончательную победу, Тимофей Николаевич?

— А разве у вас, в Одессе, верят в победу?— в свою очередь спросил Грановский.

— Лишены права не верить, однакоже сильно сомневаются,—сказал и вопросительно поглядел на своего учителя Круглов.

— Вот видите,—сомневаются!.. Вы там ближе к театру войны, вам виднее. А мы здесь питаемся одними только газетными вестями да слухами; и то и другое—на любителей. О сообщениях официальных у нас принято говорить: «Убит один казак». Не знаю, кто пустил это в ход, а ядовито. Официальные известия становятся всегда очень скромны, чуть дело касается наших потерь. А ведь не скроешь, что смертей там множество. И умирают не бесславно, нет, русский человек умеет умирать доблестно, только жить не умеет. Перед русскими матросами, да и перед адмиралами такими, как Корнилов, Нахимов, Истомин, в шапке не стой, а стащи ее да земной поклон бей. Но кто же из нас не пойдет умирать за Россию? Вот, говорят, скоро объявят манифест об

---

[1] *Платон* (427—347 г. до н. э.)—древнегреческий философ, ученик Сократа, создатель собственной системы идеалистической философии.

[2] *Эсхил* (525—456 г. до н. э.)—древнегреческий поэт, считается родоначальником драматической поэзии.

[3] *Тацит Публий Корнелий* (55—120)—римский историк, сурово осуждавший в своих трудах деспотизм и жестокость римских императоров.

[1] *А. С. Хомяков* (1804—1860)—публицист и поэт, один из вождей славянофильства.

ополчении. Пусть и меня возьмут,—я пойду и умру радостно. Но вот если бы меня спросили: «А хочешь ли ты, положа руку на сердце, полной победы России?»—я бы ответил, как человек, очень любящий свою родину, желающий ей только счастья и процветания, а не хамства в квадрате: «Нет, не хочу!»

— Не хотите?—поднял брови и сморщил лоб Круглов, но тут же добавил:—Я, пожалуй, вас понимаю, Тимофей Николаевич.

— Понимаете?—пристально поглядел на него взволнованный Грановский.—Тем лучше, не нужно толковать много... Из своих занятий историей я вынес взгляд, что победы в войнах очень редко бывают полезны победителям. Гораздо больше пользы извлекают из них побежденные, если только они не обескровели, если имеют достаточно сил, чтобы заняться коренными реформами, переделаться, обновиться... А ведь этот свекловичный николаевский пресс, под которым мы задыхаемся, что он такое по своей сути, как не результат александровской победы над Наполеоном? Получилось раздутое самомнение, шапкамизакидайство,—и ни апелляции, ни протеста, ни контроля! Не только Далай-Лама [1] сидит на троне, в каждом ведомстве есть свой непогрешимый Далай-Лама, и попробуй только не покури ему лестью, сейчас же крик: «Дави его!» А народ? Что для таких Далай-Лам народ, который вот теперь, в Севастополе, защищает честь России своею кровью? Он им известен? Разве только по ведомостям казенных палат! И я осмеливаюсь думать, что эта война—событие огромного значения в нашей жизни,—не в западной. Там это может быть только эпизод, для нас же несет она целый ряд открытий, и первое, что будет найдено благодаря ей, это потерянный русский народ! Затоптанный правительственными ботфортами в грязь народ выкарабкается из грязи, вымоется, вочеловечится и заживет умно и свободно! Вот в какой результат этой войны я верю! Когда же вочеловечится наш народ, вот тогда-то он и будет по-настоящему непобедим! А вы представьте только победу, полную, блистательную победу над целой почти Европой,—что же это было бы такое? Абсурд! Торжество николаевских шпор, триумф аракчеевщины, татарщины, крепостничества! Это была бы ужаснейшая вещь, и наше счастье, что подобных фокусов современная история человечества выкинуть никому не позволит! Я сомневаюсь и в том, хотят ли этого даже и наши московские славянофилы! Сами по себе они—прекрасные люди, и у них бездна сведений, но вот это их пристрастие к допетровской Руси очень портит студентов, которые к ним льнут, и злит меня чрезвычайно... Не знаю, будут ли они на нашем торжественном акте в качестве гостей, а я ведь должен быть на нем как профессор, я не могу ведь от этого отвертеться, а?—обратился он к Волжинскому.

— Думаю, что это было бы замечено начальством,—улыбнулся Волжинский.

— И истолковано, конечно... Однакоже молодые профессора наши—и Леонтьев, и Соловьев, и даже Кудрявцев—как будто тоже не очень-то хотят присутствовать на торжестве... генерала Назимова и его приспешников Альфонского и Шевырева, а?

— Это одни только разговоры, Тимофей Николаевич! Они, конечно, будут, и Соловьев прочитает свою речь о Шувалове, основоположнике нашего храма науки.

— Соловьев о Шувалове, а Погодин, говорят, о Ломоносове? А еще кто выступит с речами?—полюбопытствовал Круглов.

— Про-вин-циал!—усмехнулся Грановский както одними только своими густыми сросшимися бровями.—Да если бы все заготовленные речи были произнесены на самом деле, то кто бы в состоянии был их переслушать?! Я думаю, что и одного митрополита Филарета будет достаточно, чтобы уморить своим «словом» всех депутатов и всех почетных гостей!

3

Из одного только Петербурга приехало в Москву в особом поезде около трехсот депутатов. Между ними и выдающийся профессор Никитенко, и ведавший всеми военно-учебными заведениями старый генерал Ростовцев, и, наконец, сам министр просвещения Авраам Сергеевич Норов.

В вагоне, в котором ехали Норов, Ростовцев, Никитенко и другая чиновная знать, всю дорогу то пировали на деньги Ростовцева, то садились за карточные столы—испытанное средство отвлечения мыслей от всяких острых вопросов современности.

Поезд прибыл в Москву утром 10 января, и министр был встречен на перроне попечителем московского учебного округа генерал-адъютантом Назимовым, ректором университета Альфонским и деканами факультетов, между которыми играл главную роль Шевырев.

В тот же день вечером Норов принимал у себя тех, кто должен был выступать с речами на торжественном акте. Очень внимательно прослушивал он речи, чтобы не проскользнуло как-нибудь то, о чем говорить воспрещалось. Приветствия различных депутаций также предварительно просматривались им: благодушный с виду старик этот, некогда совершивший путешествие в Палестину, в Египет, в Нубию,—в целях поклонения разным

[1] *Далай-Лама*—высший духовный сан у буддистов Тибета. Далай-Лама пользуется неограниченной властью как в вопросах религиозных, так и политических.

святым местам,—теперь был обременен большими заботами, так как Московский университет в глазах царя был гнездом вольнодумства, хотя по случаю юбилея и был почтен царской грамотой, текст которой составил Никитенко. Эту грамоту привез сам Норов, но пока держал ее при себе до акта.

Много было волнений и суеты и в этот день и накануне юбилея; наконец, настало двенадцатое число, и празднование началось обедней в университетской церкви в честь «великомученицы Татианы»—весьма длинной обедней, полной всяких отступлений в сторону нарочитой торжественности, так как служил ее сам митрополит Филарет.

Выступая в конце ее перед таким избранным ученым обществом, Филарет, конечно, назвал юбиляра «обителью высших учений», привел множество текстов из посланий апостольских, обращался поочередно к каждому факультету с доказательствами того, что все науки заключены в одной книге,—именно в «Книге бытия», и что «только Христос есть истина и жизнь».

Закончил же он так:

— Теки же, теки царским путем, царская обитель знаний, от твоего первого века в твой второй век! Подвизайся образовать подвижников истины и правды, веры и верности богу, царю и отечеству, которые бы жили истиною и правдою и готовы были за них пожертвовать жизнию. Ибо истина, когда за нее умирают, бывает особенно животворна. Аминь.

Последние слова митрополита были поняты всеми в связи с тем, что в университете вводилось обучение военному строю ввиду затянувшейся войны.

В скромной церкви, совсем не рассчитанной на такой огромный наплыв посторонних людей, которых съехалось всего свыше пятисот, было страшно тесно и душно. От чрезмерного обилия ладана очень трудно стало дышать. Золотая, нелегкая на вид риза и митра, вся сверкающая золотом и драгоценными каменьями, казалось многим, должны были доканать на этот раз тщедушного, ветхого Филарета; но велика сила привычки,—он все-таки вынес их бремя,—зато по окончании обедни сокрушенно пожаловался на свои немощи министру и просил обойтись без него на торжественном акте.

Норов сейчас же нашел выход из затруднения. Он сказал Филарету, что все устали, как и он, что все нуждаются в отдыхе, что без него и акт будет не в акт, но если отложить его до семи часов вечера, то и все отдохнут к тому времени, и, разумеется, он, владыка, тоже подкрепит свои силы.

Акт был отложен на вечер.

Никогда раньше не бывал иллюминован Московский университет так, как в этот вечер. Теперь он был подлинным светочем для всех, кто проходил по Моховой улице, а тем более для тех, кто останавливался поглазеть на ярко сиявшие окна, пока полиция не кричала: «Рразсходись! Чего надо?»

Однако университетский актовый зал оказался еще менее вместителен, чем церковь, и как в церкви депутаты стояли, так же пришлось стоять им и здесь, иначе многим не хватило бы места. Все были в тесных, необношенных парадных мундирах, при всех знаках отличия—орденах, звездах, лентах,—все должны были плотно прижиматься один к другому, вытягивать при этом шеи и спинные хребты, чтобы что-нибудь разглядеть и расслышать, все обливались потом и завидовали тем немногим петербуржцам, которые сидели рядом с министром, Назимовым, Альфонским и Филаретом около кафедры. Грановский же положительно задыхался и по своей слабогрудости и от возмущения тем, что Леонтьев и Кудрявцев, задумав не притти и действительно не придя на акт, не предупредили его об этом. Он видел, что ему совершенно нечего было тут делать, особенно когда выяснилось накануне, что ему выступать с речью едва ли придется. Но Соловьев был здесь и, держа в руках сверток с речью об Иване Ивановиче Шувалове, стоял в первом ряду, чтобы, не мешкая, занять место на кафедре, когда дойдет до него черед.

Торжественное заседание (на котором почти все стояли) открыл Норов чтением царской грамоты. Читал он ее несколько шепелявя, но с чувством верноподданнического трепета, когда дошел до слов: «Обращая внимание на столь существенные заслуги Московского университета, мы в торжественный день празднования столетия его общеполезной жизни в особенное удовольствие себе вменяем изъявить ученому сословию оного наше монаршее благоволение и признательность».

Конечно, по прочтении грамоты все слушатели кричали «ура», оркестр заиграл «Боже, царя храни», а корреспондент «Московских ведомостей»[1] успел разглядеть «слезы глубочайшего умиления, слезы радости и восторга, блиставшие во взорах всех присутствовавших».

Но не успели еще высохнуть эти слезы, как тот же Норов, несколько даже растрепанноволосый от избытка обуревавших его чувств, передав царскую грамоту Альфонскому на вечное хранение в стенах университета, вытащил из тайников своего штатского мундира, украшенного тремя звездами, рескрипт наследника о том, что он «милостиво соизволил» принять предложенное ему звание почетного члена Московского университета.

---

[1] «*Московские ведомости*»—газета реакционного направления, издававшаяся в Москве под редакцией М. Н. Каткова.

Передав Альфонскому и эту драгоценную бумагу, Норов уселся наблюдать, как будут после него выступать и другие.

И первым выступил тяжеловесный маститый заика Ростовцев[1]. К счастью, это выступление его было коротко: он только поздравил университет от имени наследника, чем, конечно, тоже вызвал «слезы умиления во взорах». Его сменил генерал Назимов, прочитавший рескрипты великого князя Константина и великой княгини Марии Николаевны.

Тяжело дышащий Грановский при чтении последнего рескрипта, свирепо нахмурясь, поглядел выразительно на стоявшего рядом с ним Волжинского. Молодой адъюнкт-профессор понял его взгляд так: «Этой-то еще какое дело до нашего университета?!»—и сочувственно ему улыбнулся.

Потом на кафедру подымались, с великим трудом протискиваясь к ней, депутаты для чтения поздравительных адресов. Депутатов этих было множество: и от духовных академий, и от военной академии, и от медико-хирургической, и от училища правоведения, и от лицеев, и от нескольких высших институтов, и даже от общества сельского хозяйства.

Большого разнообразия не было, конечно, в их речах и не могло быть. Многие говорили о том же, что удалось Никитенко вставить в царскую грамоту, что Московский университет «образовал отличных писателей и ученых, доставивших честь России своими дарованиями и трудами». Но как бы то ни было, это был все-таки парад русских ученых сил того времени. Помоложе, постарше, и еще старше, и еще маститее, они, представители мысли, первый раз за все царствование Николая получили возможность собраться в таком внушительном количестве и хотя бы показаться друг другу.

Однако шло время,—не минуты, а часы... В люстрах трещали и чадили свечи... Воздух становился все гуще и гуще... Мысли тупели, затекали ноги...

Когда последний по списку депутат,—от московского общества сельского хозяйства,—проскандировал с кафедры свой адрес, многие думали, что будет сделан перерыв, во время которого можно бы было незаметно исчезнуть; так же думал и Грановский, однако напрасно думал.

Перерыва не сделали. Поднялся тяжеловесный Альфонский: ему полагалось по программе торжеств прочитать записку о действиях университетского начальства, но впереди было еще шевыревское длиннейшее «Обозрение столетнего существования Московского университета», потом речи профессоров и академика Погодина.

Грановский заметил, как Норов, обеспокоенно поглядев на часы, поманил к себе пальцем Соловьева и, взяв у него «Благодарное воспоминание», энергично начал чертить по нем ногтем. Дело было явно в том, чтобы сократить речь насколько возможно. Соловьев был красен, взволнован. Погодин, которому предстояло познакомить ученых России с заслугами Ломоносова, встревоженно поглядывал то на ректора, то на министра.

Но вот окончил ректор свой доклад—и вниманием всех овладел речистый Шевырев. Невысокий, но очень плотный, мясистолицый, с приемами записного оратора, начал он излагать историю Московского университета, начиная со времен Елизаветы и Шувалова. И Грановский видел, как по мере углубления оратора в суть своей темы подвижное, нервное лицо Погодина все чаще кривилось и все гуще темнело: акт начался в семь часов, а шел уже одиннадцатый,—мало оставалось у него надежды блеснуть своим красноречием перед такою единственной по подбору аудиторией. Раньше его должен был поведать о Шувалове Соловьев, но его снова подозвал к себе Норов и что-то шептал ему на ухо.

Историей Московского университета Шевырев начал заниматься прилежно еще за три года до юбилея и труд свой успел даже напечатать для раздачи депутатам, так что материала для речи накопил он много, но силы слушателей иссякали,—и это замечал Норов и старался делать ему знаки бровями и губами. Шевырев, наконец, понимающе кивнул ему головой и закончил свою речь обращением от лица университета в сторону министра:

— Голосом любви и щедрой милости к нам возлюбленного нашего монарха, услышанным нами из уст исполнителя его державной воли в деле народного просвещения, открылось наше столетнее торжество! Со слезами радостного умиления мы вложили в сердца наши царское к нам слово. Единодушный взрыв восторга был на него ответом... Государь наследник цесаревич благоволил прислать нам со своим уполномоченным милостивое свое поздравление и принятием звания почетного члена сам изволил вступить в ученое сословие наше.

Дальше так же витиевато и фальшиво умилялся Шевырев поздравлениями великого князя Константина и великой княгини Марии Николаевны и «повергал благоговейные чувства неизменной преданности Московского университета к стопам их...»

Затем он обратился к депутатам, «много прекрасных венцов возложивших на маститое столетнее чело Московского университета», и просил их «принять признательное приветствие во имя любви к науке и отечественному просвещению».

Ему же поручено было огласить и список лиц, избранных в этот день Московским университетом в свои почетные члены. В этот список наряду с великим математиком Лобачевским попал и златоуст одесский Иннокентий, наряду с Плетневым—генерал Ростовцев и наряду с Пироговым—лейб-

[1] *Я. И. Ростовцев* (1803—1860)—генерал-адъютант Николая I и главный начальник военно-учебных заведений. Впоследствии сыграл большую роль в подготовке так называемого «освобождения» крестьян.

медик царя Мартын Мартынович Мандт, бывший в те времена, что называется, «притчей во языцех».

Пробило одиннадцать часов. Норов видел, что утомление ученых достигло предела. Он еще раз подозвал к себе Соловьева и сказал ему, что речи его и Погодина приходится отменить по недостатку времени

Торжественный акт был закончен Шевыревым, прочитавшим под аккомпанемент музыки им же сочиненную раболепнейшую кантату.

Он, Степан Петрович Шевырев, оказался подлинным героем этого дня. Он точно по мерке был выкроен именно для подобных торжеств. А Грановский, уходя с заседания, бурно негодовал по адресу Кудрявцева и Леонтьева, обращаясь к Волжинскому:

— Какой низкий, какой подлый в отношении меня поступок! И будут еще потом уверять, что питают ко мне дружеские чувства! Ведь умнее умного сделали, что не пришли на эту китайщину,—отчего же мне не сказали, что не пойдут? Я тоже мог бы просидеть этот вечер дома и отлично бы сделал. А то ведь я почему-то был уверен, что всем нам, несчастным, в строжайшую обязанность это вменено,—непременно торчать деревянными болванами на этом глупом акте!

Погодин же был недоволен своим другом Шевыревым, который отнял у него широковещательностью своею блистательную возможность пожать лавры, единственные в своем роде. Однако вспомнив, что был приглашен на вечер к Юрию Самарину, молодому славянофилу, поехал туда прямо с акта и там отвел душу: прочитал о Ломоносове собравшимся гостям, среди которых, кстати, было несколько бывших студентов Московского университета.

Это был первый по времени праздник в честь юбиляра в частном доме.

За ним пошли ежедневные званые вечера: хлебосольная Москва была рада новому и такому незаурядному предлогу собираться для бесед и ликований. 13-го вечером собрал у себя многочисленных гостей Леонтьев, причем подарил им, никого не обделив, по экземпляру своих «Пропилеев».

На этом вечере, конечно, говорилось совсем не то и не так, как говорилось 13-го же днем в залах университета, открытых для торжественного обеда на пятьсот персон, причем обед этот давался Москвою официальной, то есть самим московским генерал-губернатором, графом Закревским.

4

Только на третий день праздника, строго держась заранее составленной программы, дошли до студентов. Норов решил в этот день несколько отдохнуть от депутатов и отобедать в тесном кругу профессоров университета и студентов, имея, впрочем, при этом и кое-какие еще соображения.

Он сам заговаривал со студентами, он старался казаться совсем своим, простым—душа нараспашку, а между прочим полковой оркестр был приглашен для увеселения студентов, и оркестр этот играл одни только военные марши, причем особенно отличались трубачи и барабанщики.

Только что все заняли места за столами, поднялся присяжный оратор Шевырев и обратился к министру:

— Ваше высокопревосходительство! Добрейший начальник наш! Когда в священную брань двенадцатого года лежали вы с оторванной ногой на поле Бородинском, думали ли вы, что провидение с поля брани приведет вас на мирное поле науки и просвещения? Когда вы совершали ваши ученые и духовные странствия по Египту и Нубии и по священным местам Палестины, к семи церквам апокалипсическим, думали ли вы, что собираете духовные силы на святое служение просвещению вашего отечества? Бог наградил вас за вашу бородинскую рану, за ваше доброе сердце, за ваши искренние набожные странствия и привел вас стать во главе русского просвещения в такую важную минуту отечества, когда нам угрожает другая священная война, может быть, еще более ужасная и истребительная, чем война двенадцатого года. В событиях настоящих есть много знамений дивных: думаю, что недаром в такое время и в день столетнего торжества Московского университета в министре народного просвещения видится нам инвалид Бородинской битвы!

— Позвольте, позвольте мне сказать несколько слов!—возбужденно прервал его Норов, вскакивая с места.—В моей жизни были только две полные счастья минуты: первая, когда под Бородиным пролил я кровь за царя и отечество, вторая—эта!

Студенты кричали «ура» и хлопали в ладоши; полковой оркестр сыграл короткий туш. Шевырев же продолжал, когда все успокоилось:

— Третьего дня вы, ваше высокопревосходительство, принесли нам сюда грамоту любви и милости царской. На этом самом месте громко возвестили вы ее всем, благоговейно внимавшим; каждое слово ее коснулось нашего слуха, каждое слово ударило в сердце!

Оратор приложил руку к сердцу, и студенты снова закричали «ура», и оркестр заиграл соответственное, знаменовавшее высшую степень восторга.

— Уверьте государя, перед ликом которого мы стоим,—повернулся в сторону портрета царя Шевырев, дождавшись тишины и особенно возвысив голос,—уверьте его величество, что когда ему будет угодно, то не только это юношество, цветущее и прекрасное, которого искренний чистый

восторг вы слышите и видите теперь, будет готово итти по его зову, мы, мы все,—ударил он себя в жирную грудь,—мы бросим свои перья и пойдем вместе с ними!

После этих слов возбуждение стало уже всеобщим и неудержимым. Студенты бросили свои места за столами, как будто они уже были призваны, и кинулись толпою к Шевыреву и другим своим профессорам, а Норов, прослезясь, широко раскрыл объятия, прижимая к груди тех, кто пришелся ближе к нему.

И крестился при этом, как на пасху, и—раз крестился сам министр—все кругом принялись креститься и лить слезы. Так что едва удалось Шевыреву закончить то, что он приготовился сказать:

— Да, уверьте государя, что, кроме этой будущей армии, в нас ему готова армия духовная, снаряженная его же монаршими заботами об университете, воинство мыслящее, которое сумеет постоять против Запада за святые начала нашего отечества!

Но эти слова были уж, пожалуй, лишними, явясь повторением предыдущих, а может быть, Шевырев, сознательно повторяясь, сам хотел несколько умерить высокий полет им же возбужденных чувств, чтобы нащупать переход к началу обеда.

И обед начался, наконец, но старинный сослуживец Шевырева, академик Погодин, который тоже был приглашен на пиршество, не хотел упустить удобнейшего случая выступить вслед за своим другом. Он обвел зал загоревшимися глазами испытанного словесного бойца и произнес с пафосом:

— Милостивые государи! Настоящие минуты драгоценны! Они—чистейшая поэзия! Они принадлежат истории! В чувствах и выражениях этих минут залоги и семена тех дел, коими наши братья защищают четыре месяца Севастополь от грозных сил и адских изобретений всей Европы. Достойный министр засвидетельствует государю нашу неограниченную преданность своему священному долгу. Красноречивый профессор сказал правду, что не только вы, молодые люди, нет, и мы, старики, готовы итти вслед за вами, когда царь скажет свое последнее слово, когда потребует нужда. Пока же она еще не наступила, позвольте обратить к вам мое мирное слово. Старый студент, ваш товарищ, хотел я прежде всего пожелать вам, молодые, любезные, хоть и незнакомые мне друзья, встретить новое столетие университета в полном удовольствии и радости. Теперь желать мне этого не нужно. Больше радости и удовольствия не бывает, чем сколько вы испытали в эти минуты. Я должен пожелать вам на будущее время учения и труда поддержать чистую славу нашего святилища, которому, вы слышали, какую честь воздал сам царь и его дети, которому все отечество сочло священным долгом выразить чувства глубочайшего уважения. Московский университет особенной любовью пользуется в России: все почитают его родным! Я видел стариков, которые, почти на одре смерти, оживлялись воспоминанием о годах, проведенных ими в университете. Ныне старые студенты собрались со всех концов России, чтобы только провести юбилейный день в стенах университета. Желаю вам, друзья мои, воспитать в своих сердцах те же благодарные чувствования... Да здравствуют студенты Московского университета!

Опытный словесный боец хорошо рассчитал удар. Молодежь, за которую поднял он бокал, была польщена и отозвалась на него шумно и восторженно. Так что Норов, оставляя за недосугом пир, заявил расчувствованно:

— Благодарю, от души благодарю начальников и профессоров университета за воспитание таких прекрасных юношей! Третья моя счастливая минута в жизни будет та, когда я всеподданнейше донесу государю о том, что я здесь видел и слышал!

Ему нужно было беречь свои силы: в тот же день он приглашен был на вечер к попечителю Назимову. Конечно, не все депутаты могли попасть на этот вечер в частной квартире, но все-таки прием был оборудован на очень широкую ногу. На вечере этом Шевырев продекламировал оду, которая была им написана в честь Назимова.

Две первые строфы ее были таковы:

Тебе судил всевышний с нами
Столетний праздник пировать
За то, что нашими сердцами
Умеешь мирно обладать.

За то, что чтишь отцов преданья,
Науки любишь красоту
И ценишь высоту познанья,
Но больше сердца чистоту...

На эту оду, впрочем, скоро стала ходить по рукам пародия, сочиненная молодым ученым, учеником Грановского, Борисом Чечериным:

Тебе судил всевышний с нами
Столетний праздник пировать
За то, что мерными шагами
Умеешь ты маршировать,

Что чтишь на службе ты дубину,
Мундиров любишь красоту,
За то, что ценишь дисциплину,
А также комнат тесноту...

И этот праздник омраченья
Вершим мы миром в честь твою...
Подай нам, господи, терпенья,
Чтоб выносить тебя, свинью!..

Но будь ты во сто раз сильнее,
А все ж не сделаешь никак,
Чтоб был Альфонский поумнее,
Чтоб Шевырев был не дурак.

На следующий день для министра и депутатов был дан вечер графом Закревским в его доме. Неутомимый Шевырев и там выступал с речью от лица университета.

Этой, как и другими речами своими, Шевырев заработал себе приглашение в депутацию от университета в Петербург, к царю, «для принесения почтительнейшей и всеподданнейшей благодарности» за грамоту и награды, данные профессорам. Депутация была немноголюдна, она состояла всего из трех лиц: Назимова, Альфонского и Шевырева.

Успех вскружил голову Шевыреву и возбудил немалую зависть в его друге Погодине. Чтобы как следует напомнить культурной Москве и о себе и, главное, прочитать все-таки большому числу депутатов, а также студентов не прочитанную на акте речь о Ломоносове, Погодин при всей своей скупости решил сильно тряхнуть мошной и в первое же воскресенье после официальных празднеств созвал к себе, на Девичье поле, гостей не только на вечер, но и на бал для молодежи.

5

Продавший, хотя и в рассрочку, за полтораста тысяч рублей серебром свое «древнехранилище» в Императорскую публичную библиотеку, Погодин мог считаться вполне состоятельным человеком. «Древнехранилище» это собиралось им много лет, как любителем и знатоком, и состояло не только из старинных рукописей, автографов царей, грамот, документов бытового свойства, книг, гравюр и портретов; в нем, кроме того, было и множество старых икон, крестов, монет, резьбы по дереву, кости и камню, печатей, старинной утвари, оружия, серег, колец, запонок и прочего, найденного в древних курганах.

Привычки своей к собиранию всяких подобных редкостей Погодин не оставил, конечно, и после продажи «хранилища», и предметы эти снова и снова приносились и привозились им из поездок в большом количестве, стремясь еще раз загромоздить собою его деревянный дом. Но дом этот все-таки был достаточно обширен, чтобы в нем нашлось место и для нескольких десятков гостей.

Молодежью, явившейся для прелестей бала, занялись его дети, из которых старший был уже студентом Московского университета и доставил за год перед тем достаточно горьких минут отцу тем, что за него, как за всякого другого студента, потребовали с академика, бывшего профессора, плату 25 рублей за семестр; по этому поводу Погодин затеял было переписку с ректором Альфонским, но тот просто предупредил его официальной бумагой, что если плата внесена не будет, то сын его будет уволен; пришлось подчиниться.

Приглашенных на вечер депутатов и своих московских знакомых и бывших сослуживцев и сотрудников (бесплатных) издаваемого им журнала «Москвитянин» Погодин очень радушно встречал сам и, как истый коллекционер, тут же, с приходу, стремился показать им новинки своего музея.

Самородок, сын крепостного, Погодин и теперь, в пятьдесят пять лет, отличался неиссякаемой энергией, которая свойственна была ему в молодости и выдвигала на первые места среди товарищей. Его страсть не только к старинным книгам и рукописям, но и к древним вещам, оружию, утвари, конечно, питалась тем, что был он историк, но, с другой стороны, может быть, и историком-то стал он только потому, что с детских лет жила в нем чисто крестьянская, трудовая внимательность к тому, как именно и что делалось человеком сто, двести, пятьсот, тысячу лет назад...

Заполнившие вместительный кабинет хозяйственно устроенного погодинского дома гости-депутаты и гости свои, привычные москвичи, сблизились между собою очень быстро. Этому помогли не только древности, собранные Погодиным: каждый из гостей имел в своей области крупное имя, и даже единственный среди штатских молодой генерал-майор Милютин, профессор военной академии, был известен всем остальным своей пятитомной «Историей войны Павла I с Францией» и другим трудом: «Суворов как полководец». Правда, никто не предполагал тогда, что этот скромный с виду человек, которому даже и усы, соединенные с бакенбардами, не придавали воинственного вида, очень вежливый, предупредительный, приятный на вид, но отнюдь не пышащий каким-нибудь исключительным здоровьем, доживет почти до ста лет, будет военным министром, графом, фельдмаршалом, преобразователем русской армии после Севастопольской войны...

Из историков, кроме него, были: академик Устрялов, профессор Казанского университета Бабст, Грановский, Кудрявцев... Был Никитенко; был филолог Яков Карлович Грот, профессор Александровского лицея; были депутаты Публичной библиотеки Бычков и Коссович, более других заинтересованные в новых «древностях» погодинского хранилища; был Катков, редактор «Московских ведомостей», а из москвичей не служащих—Хомяков, Иван Киреевский, Кошелев, Константин Аксаков—наиболее видные славянофилы, которых Закревский с генерал-губернаторской легкостью мыслей смешивал с петрашевцами, говоря о них: «Хотя из московских «славян» никого не нашли запутанным в этом заговоре, но что же это значит? Значит, все тут, да хитры, не поймаешь следа!..» Впрочем, след этот, по его мнению, был «пойман», когда перед Крымской войной появилось в рукописи знаменитое стихотворение Хомякова «России». С этих пор Хомяков и его друзья были в опале, хотя граф Блудов и защищал их при дворе, го-

воря, что они не опасны уже потому, что «все на одном диване поместятся».

На вечер были приглашены также и несколько молодых университетских преподавателей и адъюнктов, как Волжинский, но они держались с зеленой молодежью в зале, где уже гремела, доносясь в кабинет, бальная музыка. Притом же вопросы бытия в этот исторический момент оказались так уныло сложны, что они охотно и всецело предоставили решение их людям старших поколений.

6

У Погодина была способность с такой горячностью говорить о любой вещи своего хранилища, что вещь привлекала внимание даже и людей, далеких от музейных интересов. Но вот он сделал свое нервное лицо особенно таинственным и серьезным и достал из письменного стола какую-то бумагу, истлевшую на углах, толстую, светло-синего цвета с полосами, явно старинную, и, поднимая ее над головой, сказал, обращаясь ко всем, кто был ближе, но больше всего к Бычкову:

— Вот удача моя, прошу полюбоваться! Автограф крупного исторического лица прошедшего века... Как бы вы думали, чей именно? Я вам скажу сам, не буду томить: Волынского Артемия Петровича! Кабинет-министра! Главы русской партии при Анне Иоанновне!

Москвичам этот автограф был уже знаком, приезжие же, тесно окружив Погодина, с большим любопытством рассматривали крупный энергический почерк одного из сподвижников Петра, через пятнадцать лет после его смерти кончившего жизнь на плахе благодаря Бирону [1] и Остерману [2].

— Как же к вам попало это, Михаил Петрович?—весь так и просиял Бычков.

— О-о, это целая история!—воодушевился Погодин.—Некий Куприянов в прошлом году прислал мне для «Москвитянина» письменный памятник,—в копии, разумеется,—под названием «Инструкция дворецкому Ивану Немчинову о управлении дому и деревне...» Год помечен—1724-й, а подписи нет, и кто писал эту инструкцию, неизвестно. Упоминаются, правда, в ней деревни: Никольское, Архангельское, Васильевское, ведь эти названия ходовые, по престольным праздникам в церквах, таких деревень или сел в России сколько угодно. Есть, правда, еще Петино, более редкое, но все-таки не настолько уж редкое, и, наконец, Батыево.

— Вот это имечко!—подхватил Никитенко.

— За него-то я и ухватился и давай искать, где может быть Батыево,—продолжал Погодин оживленно.—Однако к кому ни обращался, сейчас же вопрос: «А какого уезду?» Как будто я сам не нашел бы его, если бы уезд знал! Так несколько месяцев прошло, втуне были мои поиски. Но вот однажды посещает меня одно лицо из Костромы и говорит: «Есть около нас одно село—Батыево». Я так и вскочил с места. «Где? где,—кричу,—это село?»—«А возле Кинешмы, Костромской губернии».—«Кому принадлежит?»—«Теперь генералу Павленкову, а ему досталось от Воронцовых, а Воронцовым в род попало от Волынского. Да вот, кстати, говорит, я вам и автограф его, этого самого Волынского, завез...» Тут, конечно, мне все стало ясно, а то в «Инструкции» упоминалась почему-то Астрахань, даже и Персия, а мне и невдомек, что ведь Волынский правил Астраханью, а в Персию посылался Петром заключать договор и поручение выполнил блестяще.

— Вот эта самая рука избила Тредьяковского,—поднося близко к глазам автограф, сказал Грот.

— И мичмана князя Мещерского,—добавил Бабст,—что известно из истории, но сколько было подобных избиений, в историю не попавших?

— Какая б ни была вина, ужасно было наказанье,—заметил Катков.

А Милютин добавил:

— Однако и его жестоко однажды избил Петр за лихоимство, кажется, как и Меншикова.

В это время Грановский, который давно не заходил к Погодину, заметив какую-то новую для себя картину в старой рамке, засунутую небрежно за книжный шкаф, вытащил ее, поднес к канделябру и застыл над нею, изумленный.

Картина отнюдь не была покрыта пылью, как можно бы было ожидать, судя по месту, где она находилась. Напротив, она была как будто только недавно протерта влажной губкой, и краски ее казались свежими. С нее на Грановского незряче глянуло очень знакомое, большое, мертвенно-желтое лицо, несколько ушедшее в подушку красного бархата... Высокий лоб, жидкие черные с проседью волосы, курчавящиеся у виска; небольшие, концами кверху направленные усы; крупный подбородок, несколько раздвоенный, и какое-то странное, пожалуй, но явно необходимое, талантливо схваченное художником несоответствие между верхней и нижней частью лица.

Верхняя часть была уже в состоянии потустороннего покоя. Она как будто мыслила, но эта мысль, таившаяся под веками закрытых глаз и в мощных линиях лба, казалась уже не здешней, не земной, а отошедшей в сторону, выше, даль-

---

[1] *Бирон Иоанн-Эрнст* (1690—1772)—немец из Курляндии, фактический правитель государства при императрице Анне Иоанновне.

[2] *А. И. Остерман* (1686—1747)—государственный деятель и дипломат, поступил на русскую службу при Петре I и удержался на высших постах вплоть до воцарения императрицы Елизаветы Петровны, когда был сослан как противник русской партии при дворе.

ше—все понявшей и все простившей. Но губы как будто еще дрожали... Рисунок их поражал вложенной в них энергией. В них ясно чудилась досада, гнев даже и вместе с тем скорбь... С чем еще не совсем примирился этот человек, уже отошедший от жизни? На что он гневался? О чем скорбел?

— Петр?—спросил Грановский бывшего около него Хомякова, хотя и видел, что спрашивать было не нужно.

— Петр, конечно,—дернул плечами Хомяков, низенький, черноволосый, хотя и по шестому уже десятку, слегка раскосый.

— Кто же смог написать его так?

— Неизвестно... Художник не подписался.

— А между тем поразительно!.. Я плохо понимаю в живописи, может быть, а? Вы—лучший знаток, Алексей Степанович, вы сами писали красками...

— Даже иконы писал для одного костела,— улыбнулся Хомяков.—Когда-то, когда-то очень давно, за границей дело было.

— Ну, вот... Как вы находите?

— Сделано удачно, мне кажется.

— Удачно? Только-то?! Потрясающе сделано! Половину своей библиотеки отдал бы я за этот портрет!

Грановский говорил возбужденно громко, и Погодин увидел, как все от него повернулись в сторону портрета Петра на смертном одре. Это выбивало его из той последовательности, которую он себе составил для показа гостям своих сокровищ. Даже больше того: Петр сознательно был им запрятан в укромное место, чтобы он не бросался в глаза. Но раз уж его вытащили на свет за спиной у хозяина, делать было нечего, пришлось спрятать автограф Волынского и подойти к «Петру».

— Михаил Петрович, откуда вы взяли это?— взволнованно спросил Грановский.

— История этого портрета такова,—берясь за рамку картины, как бы не доверяя этому слишком любознательному гостю, начал объяснять Погодин.—У Петра был кабинет-секретарь Макаров. Может быть, в общей суматохе тут же после смерти Петра он и приказал какому-то художнику с возможной точностью...

— И быстротою,—вставил Хомяков.

— И быстротою, конечно, потому что положение во дворце тогда было бесхозяйственное, безобразное, всяк молодец на свой образец,— подумать только, этакий колосс рухнул! И вот художник расположился, как ему показалось, удобнее и набросал наскоро, а после, у себя дома, должно быть, закончил.

— Нет, этого лица дома закончить нельзя было!—с жаром возразил Грановский.—Может быть, подушка, костюм, но лицо—нет! Такое божественное лицо можно было написать только с натуры, не отходя от него ни на шаг!

— «Божественное лицо» вы сказали? Что же вы находите в нем божественного?—спросил Аксаков.

Одного роста с Грановским, но гораздо шире его в плечах и с выпуклой грудью, более молодой годами и несокрушимого с виду здоровья, он глядел на профессора-западника не как на представителя взглядов, ему враждебных, а с простым, самым искренним непониманием его восторженности.

— Да, божественное!—подтвердил Грановский несколько запальчиво.—Лицо человека, который дал нам право на историю, который один указал нам на века вперед наше историческое призвание, не божественным и быть не может! И художник, никому из нас не известный, это понял, и увидел, и схватил!

— Позвольте все-таки мне прежде всего придраться к выражению вашему: «никому из нас не известный художник»,—медленно подбирая слова, обратился к Грановскому обрубковато сложенный и оплывший под тяжестью своих пятидесяти лет академик Устрялов.—Мне, занимавшемуся историей Петра, кажется, например, что можно, приблизительно конечно, назвать имя художника. Это может быть Таннауер, или писали и так: Даннауер, Данаур... Он был саксонец родом и придворный художник при Петре. Во всяком случае мне помнится, что в год смерти Петра был он в Петербурге... Он и при жизни Петра писал портреты его и Екатерины...

— А насколько я помню,—живо подхватил Хомяков,—был еще в те времена в Петербурге Петром же из Голландии вывезенный художник Хзель или Кзель... Так вот, может быть, это его работа, Кзеля?

— Что же касается божественности в лице, то как же иначе мог бы его изобразить придворный живописец?—усмехнулся Кошелев.—На то ведь они и существовали, чтобы превращать всех тиранов в богов, за то и получали свои оклады, а также чины и знаки отличия.

— Когда я был в Праге в последний раз,— поспешил выступить Погодин, чтобы замять некоторую резкость слов Кошелева,—мне там говорили о чешском художнике Купецком, который приглашен был писать портрет Петра, когда Петр лечился в Карлсбаде. Купецкий явился было со своей палитрой, но в страхе бежал!

— Еще бы не бежать!—заметил Аксаков.

— Но потом все-таки ему объяснили, что ему опасаться нечего, что русский царь его не изувечит и головы ему не отрубит, так как он не русский стрелец, а известный венский живописец,—продолжал Погодин,—и он портрет написал и даже успел полюбить страшного русского царя за время разговора с ним, причем Петр говорил

по-русски, а Купецкий по-чешски, но они отлично понимали друг друга.

— Вот, кажется, именно этого самого Купецкого Петр и приглашал к себе в Петербург, но он не поехал, а по его рекомендации Петр и взял Таннауера,—сказал Устрялов.

— Хорошо, пусть будет Таннауер, пусть будет Кзель, пусть кто-нибудь третий, мне в конце концов безразлично это,—отмахнулся рукой от Устрялова Грановский.—Ведь дело не в художнике в данном случае, а в Петре, который гениальнее, чем любой из русских людей, и досадно не оценен нами! Ведь взять кучу сырых исторических фактов и представить их в хронологическом порядке, это не значит еще дать образ Петра! Ведь раз и навсегда осудить Петра за то, что он рубил головы стрельцам и брил бороды боярам, это значит смотреть на Петра слепыми глазами! Это значит в душе своей носить гроб, а не трепет жизни живой! Как же можно быть уже Петра, говоря о Петре? А попробовал ли кто-нибудь у нас из историков, не говорю уж подтянуться к Петру поближе, а хотя бы посмотреть на него из почтительного далека, да так, чтобы был он весь ему виден, а не по кусочкам! Не знаю, господа, как у кого, а у меня именно теперь тоска по Петру, который лично ходил на Азов и его взял лично. Ходил на Карла и разбил его под Полтавой, создал такой флот, который восторжествовал над сильным шведским флотом,—не прятался от него, а искал с ним встречи и победил! Никогда лицо народа не проявляется так резко и так верно, как во время защиты от нападения! Вот именно тогда-то и напрягаются все его силы и способности, тогда-то и появляются таланты и гении. Я, конечно, знаю эти голоса, отрицающие даже и необходимость великих людей в истории, утверждающих, что роль их была искусственно раздута, а теперь совершенно кончена, что народы сами, без их посредства, могут выполнять свою историческую миссию. Как же это именно сами? Ведь народ—это понятие собирательное. Его собирательная мысль и воля должны претвориться в мысль и волю одного, чтобы проявиться сильнейшим образом. Так именно и было с Петром. И художник-то в данном случае,—кто бы он ни был,—это понял в силу именно того, что он—художник, а не собиратель всяких мелких фактов и фактиков о гении, изобличающих его, видите ли, то в том, то в этом! Из-за деревьев не видеть леса, а из-за букашек—слона, вот что такое все эти изобличения! Я знаю только то, что нам теперь в нашей жизни дозарезу необходим Петр, но вот его нет и неоткуда нам его взять... Хотите, Михаил Петрович, я вам дам половину своей библиотеки за этот портрет?

Это последнее обращение к Погодину вышло несколько неожиданным для него, однако, бегло взглянув на лупоглазое круглое лицо Бычкова, Погодин ответил:

— А не горячитесь ли вы, Тимофей Николаевич? Не будет ли вам потом жаль ваших книг?.. Во всяком случае поговорим об этом как-нибудь потом, а?

— Таланты появляются во время войны, это верно, это я по себе вижу,—улыбаясь, заговорил Хомяков.—Я, например, изобрел дальнего боя ружье. Оно может бить дальше даже, чем английские штуцеры. И, кажется, выдали бы мне патент на изобретение и ввели бы мое ружье в действующей армии, а? Отчего же этого не делают?.. Я изобрел еще недавно и такой прибор, которым орудие можно опустить в траншею и можно поднять из траншеи в случае, если войска передвигаются или если оно подбито неприятелем, требует замены... Почему же не хватаются за мой прибор обеими руками, а напротив, не хотят и чертежей рассматривать?

— Вот видите, да как же это в самом деле?— растерянно, точно сам был виноват в этом, посмотрел на всех кругом, а дольше всех на Милютина Бычков и обратился к Погодину:—Михаил Петрович, вы друг Степана Петровича, а он едет в депутации к государю на-днях. Вот был бы удобный случай сказать государю,—Шевырев это мог бы сказать, у него особый дар речи,—сказать бы, что крайняя нужда в реальных факультетах, откуда бы мы получать могли своих механиков и машинистов. А то ведь все иностранцы у нас механиками, а сами мы ничего не умеем. Иностранцы огромные деньги за это получают, а мы только глазами хлопаем да из-за их плеч смотрим.

— Конечно, в этом-то именно мы и отстали от Запада,—сказал Милютин, пока Погодин соображал еще только, может ли Шевырев доложить о реальных факультетах лучше, чем это сделал бы он сам, если бы поехал в Петербург и добился аудиенции у царя.—Мы уступаем неприятелю не в храбрости, конечно, а только в технике. И я вполне согласен с вами, Тимофей Николаевич,— обратился он к Грановскому,—что лицо народа проявляется резко, как никогда, во время оборонительной войны; но иногда бывает так, как при осаде Карфагена, когда женщины отдавали свои косы на тетивы для луков. Жест, что и говорить, красивый, однако лучше бы было, если бы раньше заготовлены были в Карфагене тетивы из более подходящего материала. Технику сразу не создашь, для этого нужны годы и годы,—вот в чем наше несчастье. Может быть, не столько нам нужен пафос народный, сколько холодный, трезвый расчет. Ведь в Петербурге уверены, что с весною военные действия откроются против столицы. Вот когда потребуется напряжение всех сил, когда «угличане»,—ведь вы из Углича выводите англичан,—

обратился он улыбаясь к Хомякову,—когда эти новоявленные славяне с Британских островов начнут высаживать десант на побережье Финского залива.

— А разве хватит у них войск для десанта, Дмитрий Алексеич?—усомнился Хомяков, забыв обидеться на легкую шпильку насчет его теории о происхождении англичан.—Ведь Петербург—не Севастополь. Такими проектами только ребятишек пугать можно, что вы!

— Однако пугают ими и взрослых,—невозмутимо отозвался Милютин.

Киреевский же, медлительно действуя, снял свои очки, протер их стекла фуляром, утвердил их снова на своем коротком, слегка вздернутом носу и сказал, выждав паузу в разговоре:

— Иногда бывают умнее всех дураки,—это особенно принято доказывать в русских сказках. И что бы там ни случилось дальше с Россией, я позволю себе думать на манер бессмертного дурака русского—Скалозуба: «По моему сужденью, пожар способствовать ей будет к украшенью!»

— Вы это серьезно так думаете?—оторвавшись от портрета Петра, обратился к нему Грановский.

— Вполне серьезно-с,—наклонил голову Киреевский.

— Вот на чем мы наконец-то сошлись с вами! Вот это и есть истинный патриотизм! В таком случае мне, другому подобному же дураку, позвольте пожать вашу руку!

Никитенко в это время, придвинувшись к Каткову, который был не только редактором «Московских ведомостей», но еще и чиновником особых поручений при Норове, говорил ему полушопотом:

— У меня к вам большая просьба, Михаил Никифорович! Пока министр здесь, не ставьте, пожалуйста, его в известность, что царскую грамоту университету писал я. Он этого пока не знает, и, по моим личным соображениям, знать это ему не нужно. Ну, просто, понимаете ли, это может восстановить его против меня, что мне, понятно, совсем нежелательно. Обещаете?

— Помилуйте, отчего же не обещать! Да и зачем мне говорить об этом с министром? И когда говорить, если он послезавтра уезжает?

— Да, мы все уезжаем послезавтра,—и министр, и Ростовцев, и я, и многие из питерских депутатов. Так обещаетесь? Благодарствуйте! Пусть он будет убежден, что грамоту писал граф Блудов.

И Никитенко крепко пожал руку Каткову.

7

Это была совершенно патриархальная картина: отбытие Норова из Москвы в Петербург. Против вагона первого класса, окна которого были тщательно протерты, выстроились около попечителя, генерала Назимова, ректор и деканы и многие профессора, доценты, преподаватели, даже и студенты университета, и все глядели в то окно, в котором неподвижно и торжественно стоял Норов.

Правила отбытия поездов, как и прибытия их, одинаковы, едут ли в этих поездах министры или простые смертные, поэтому пришлось все-таки несколько минут министру безмолвно любоваться на своих подчиненных, подчиненным—на министра. Зато, чуть только засвистел обер-кондуктор, давая этим знать машинисту, что пора пускать поезд, и поезд дернулся всем своим составом, перед тем как окончательно сдвинуться с места, Норов начал торопливо благословлять всех его провожавших: и попечителя, и ректора, и деканов, и прочих.

Он крестил их совершенно по-филаретовски, наклоняя при этом старую седую голову; глаза его, верхние веки которых нависали, как две стороны равнобедренного треугольника, были похожи при этом на два «всевидящих ока», затуманенных благостными слезами. Провожавшие стояли без шапок, как и подобало принимающим благословение. Публика, бывшая в это время на перроне, смотрела на них с большим недоумением. Поезд двигался, а толпа профессоров все стояла без шапок и кланялась в ту сторону, в которую уходил многозначительный синий вагон. В толпе провожавших был и Катков, и на другой день в «Московских ведомостях» напечатана была подробная и обильно смоченная слезами статья о расставаньи ученых мужей Москвы со своим любимым министром.

Но ни отъезд Норова, ни состоявшийся дня через два после него отъезд Назимова, Альфонского и Шевырева в Петербург, к царю, не прекратил московских празднеств по случаю сотого Татьянина дня. Даже и у Грановского собрались многие из его сослуживцев, учеников, почитателей, воспользовавшись тем предлогом, что он получил анну на шею и что перед своим отъездом министр оказал ему особое благоволение, предложив ему составить учебник по всеобщей истории.

Те из съехавшихся в Москву питомцев университета, которые не могли попасть на официальные обеды с речами, собирались по трактирам, как тогда назывались рестораны, и праздновали там и говорили речи. Интеллигентная Русь впервые заговорила, это было знамение времени, случайно совпавшее с юбилеем московского рассадника просвещения.

И вплоть до 6 февраля тянулся праздник раскрепощения в николаевской России присущей людям способности речи.

На «отдании дня святыя мученицы Татианы» 6 февраля был последний обед в университете, и на этом обеде выступил Погодин.

— Милостивые государи! Мы провожаем ныне одно столетие и встречаем другое,—и в каких мудреных, в каких тяжких обстоятельствах!—начал он взволнованно.—Сердце замирает не только

за науку, но и за будущее, за судьбу всех нас!.. Прекрасный, блистательный плод дало нам прошедшее, им мы имели счастье насладиться двенадцатого января: убеждение общее в пользе учения, в необходимости образования, в достоинстве науки, в святости просвещения... Такими минутами вознаграждаются с лихвою все душевные скорби, сопряженные с ученою жизнью. Поэт сказал ведь правду: «Нам музы дорого таланты продают».— Перечтите университетский «Биографический словарь». Двести пятьдесят человек трудилось на нашем поле. Укажите мне из них, кто прошел свой путь по цветам? Кто не страдал и не плакал? Бедность—вот наша общая, наша милая мать; нужда—вот наша верная, любезная кормилица; препятствия, огорчения, оскорбления, удары—вот наши неотлучные, дорогие спутники, которые воспитывали наши души, трезвили ум, напрягали способности... Настоящее пасмурно, грозно! Небо обложилось тучами. Даже и на самом дальнем горизонте не светит никакого луча,—все звезды скрылись... Но все к лучшему—вот любимое замечание Истории. Восток наш посылается теперь, может быть, туда же, куда послан был Запад во время крестовых походов, и может быть, для тех же самых целей, для каких посылались во время оно западные государства,—то есть для пробуждения своих сокровенных сил! Дух возвысится, способности разовьются, деятельность получит пищу и направление, когда благословенный мир снизойдет на нашу землю...

Погодин был в ударе: речь ему удалась.

Двадцать пять лет назад, в 1830 году, в первый раз в стенах Московского университета раздались рукоплескания, и виновником их был тот же Погодин, тогда молодой профессор, выступивший с горячей речью. Так же аплодировали ему и теперь люди разных направлений—правые, левые, средние... И когда после него Шевырев прочитал свои новые стихи, написанные на «отдание» праздника, кое-кто даже из заведомо правых шопотом на ухо соседу отметил их преувеличенно холопский характер.

Торжества кончились, и суровые будни русской жизни вступили в свои права.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ОПОЛЧЕНИЕ

1

В январе новый союзник Англии Сардиния уже готовила в Крым пятнадцатитысячный корпус под начальством генерала Ла-Мармора. Но, кроме того, усиленно шли подкрепления и к французам и к англичанам; наконец, после долгих приготовлений, двинул туда же свою армию и Омер-паша. К концу января число одних только французских войск в Крыму дошло до ста тысяч, а всех вообще интервентов скопилось около ста семидесяти тысяч, и выпуск манифеста о сборе ополчения был Николаем решен.

Манифест был обнародован 29 января. В нем объявлялось, что хотя на переговоры о мире с западными державами, союзницами Порты, русское правительство и дало согласие, однако приготовления их к продолжению войны не прекращаются, а напротив «достигают обширнейшего развития», вследствие чего «мы обязаны и с своей стороны помышлять не медля об усилении данных нам от бога средств для обороны отечества, для того чтобы поставить твердый, могущественный оплот против всех враждебных на Россию покушений, против всех замыслов на ее безопасность и величие».

Так как в манифесте были слова: «Обращаемся с сим новым воззванием ко всем сословиям государства», то сословие, наиболее близкое к правительству,—дворянство, закипело рвением в обеих столицах, и в дворянских собраниях полились новые речи, но уже не те, что на юбилее в университете. Момент требовал не умозрительности только, а действия, и первым действием явился выбор начальника ополчения для защиты Петербурга и начальника других ополченских дружин для защиты первопрестольной Москвы.

В шумных собраниях вспоминали ополчение Дмитрия Донского[1] и Куликово поле, вспоминали Смутное время и Минина и Пожарского, но больше всего памятный многим старикам двенадцатый год, и такой подвиг петербургских дружин, как участие их в сражении с войсками Наполеона под Полоцком, благодаря чему Витгенштейн одержал победу.

Но двенадцатый год неразрывно связывался с Кутузовым, старым, седым генералом, бывшим в опале у царя Александра и выдвинутым народом в спасители отечества. Не нужно было долго искать и теперь такого же старого, седого, опального генерала, чтобы воззвать к нему: «Вставай, спасай!» Он был у всех на глазах, он уже двадцать восемь лет был в опале; он был сед и стар, очень стар; это был почти восьмидесятилетний генерал-от-артиллерии Алексей Петрович Ермолов, живший на покое в Москве с 1827 года.

О нем было известно всем, что первый свой георгиевский крест он получил из рук самого Суворова, что в Бородинском бою он был правою рукою Кутузова, что баснописец Крылов, написавший басню о Кутузове, написал также и о Ермолове басню «Конь», ходившую в списках, но не

[1] *Дмитрий Донской*—великий князь московский (с 1363 по 1389 г.). При нем Москва начала открытую борьбу с татарами. На Куликовом поле, при устье речки Непрядвы, произошла в 1390 г. битва, в которой русские наголову разгромили татарское войско.

пропущенную в печать. Повторялась также всеми и посвященная ему строка Пушкина: «Смирись, Кавказ, идет Ермолов!..» Вспоминался рассказ, как ахнула от страха при виде его императрица Александра Федоровна, когда ему пришлось представляться ей в 1831 году. Колоссального роста, исполинского сложения, с непокорной копною волос на голове, с тяжелыми, густыми, нависшими на острые серые глаза бровями, с грозной складкой на лбу между бровей, подходил к ней широким строевым шагом герой Отечественной войны и Кавказа, и она,—слабая женщина,—попятилась от него в испуге, так что он, заметив это, должен был остановиться и простоять неподвижно несколько минут, чтобы она хоть несколько привыкла к его виду, прежде чем начать с ним «милостиво беседовать». Вспоминался и ответ Ермолова царю Николаю, когда тот, отозвав его с Кавказа, предложил ему пост председателя генерал-аудиториата, высшего военно-судебного учреждения: «Я считал и считаю высшим утешением привязанность к себе войск, но наказателем быть не способен». Также отказался он и участвовать в заседаниях Государственного совета, в который был назначен, потому что видел всю никчемность этих заседаний при самовластии царя.

Вспоминались москвичами и петербуржцами бесчисленные остроты Ермолова, имевшие политический характер, вспоминалось и то, главным образом, что Николай обвинял Ермолова в «либерализме», благодаря которому он «заразил всю Кавказскую армию духом вольномыслия». Никто даже не хотел и проверять, так ли было на самом деле: это нравилось, это ставили Ермолову в заслугу, таково было требование момента.

Если все военное могущество николаевской эпохи покоилось на трех китах: Паскевиче, Меншикове и Горчакове, то Ермолов был четвертый, совершенно незаконный, неофициальный кит и именно потому-то казавшийся наиболее надежным в глазах дворянства. Забывали только о том, что восьмидесятилетний старец, давно проживающий в московском особняке на покое, едва ли уже был в состоянии теперь испугать своим видом даже и нервную слабую женщину—императрицу.

В черном нанковом широчайшем сюртуке, на который был нацеплен георгиевский крест,—первый, суворовский,—а другой, большой, белел на шее,—в таких же нанковых и широчайших брюках без подтяжек, с кучей все еще густых белых волос на огромной голове, с морщинистым лбом и широким носом, похожий еще, правда, на льва, но уже на льва, дожившего до предельного возраста, Ермолов, вооружась очками, читал адресованное ему московским дворянским собранием письмо, писанное Погодиным:

«Генерал! Московское дворянство, призываемое священным гласом царя, ополчается на защиту православной веры, на помощь угнетенным братьям, на охранение пределов отечества. Оно просит вас принять главное начальство над его верными дружинами и смеет надеяться, что вы уважите его торжественное избрание. Сам бог сберегал вас, кажется, для этой тягостной годины общего испытания. Идите же, генерал, с силами Москвы, в которой издревле отечество искало и всегда находило себе спасение, идите принять участие в подвигах действующих наших армий. Там ваши ученики и младшие товарищи, все наши храбрые солдаты. Пусть развернется перед ними наше старое, наше славное знамя 1812 года. Все русские воины будут рады увидеть в своих рядах вашу белую голову и услышать ваше славное имя, неразлучное в их памяти с именем Суворова и именем Кутузова. Неприятели вспомнят скоро Кульм, Лейпциг и Париж, а магометанские их союзники—Кавказ, где до сих пор еще не умолкнул в ущелиях отголосок ваших побед. Идите, приняв благословение в Успенском соборе перед гробами наших древних святителей. Братия наша, которая пойдет с вами, будет беречь вас, как драгоценное русское знамя 1812 года, а те, которые останутся дома, будут молиться, чтобы вы возвратились скорее с честью и славою, доказав ослепленной Европе, что святая Русь остается неизменно святою Русью и, несмотря ни на какие опасности и ни на чьи угрозы, не позволит никогда никому прикасаться без наказания к ее заветным святыням: церкви, престолу и отечеству».

Раза два-три при чтении этого письма вытирал Ермолов побелевшие, как и волосы, глаза полосатым красным носовым платком, встряхивал головою и снова брал письмо в огромные и точно какою-то рыбьей чешуею покрытые, плохо сгибавшиеся руки. Когда же дочитал его, сказал: «Да-а!.. Хорошо. Только очень поздно вспомнили!»—покачал головой и начал перечитывать письмо снова. Опять прослезился в двух-трех чувствительных местах, наконец поднялся, с трудом разгибая поясницу, откашлялся и полез в карман своих необъятных, свободными волнами обтекавших его слоновьи ноги штанов за табакеркой, чтобы несколько успокоиться и привести в равновесие слишком расплескавшиеся мысли.

Но как раз в это время доставлено ему было другое письмо, более короткое, гораздо менее красноречивое, зато как будто начальственно предупреждающее: это писал ему граф Закревский, что до него дошли какие-то странные слухи, будто московское дворянство наметило выбрать его, генерала Ермолова, в начальники ополчения. Закревский не сомневался в том, что он откажется от этого хлопотливого и ответственного поста ввиду своего преклонного возраста и неразлучных с ним недомоганий, но хотел бы все-таки, чтобы он известил его об этом.

— Не ввиду преклонного возраста!—рявкнул вдруг побагровевший Ермолов, бросая на пол письмо.—Нет, конечно! А ввиду того, что там, в Петербурге, могут не утвердить,—вот почему! Бо-ишь-ся? А-а!.. Ну, раз ты этого так боишься, то я в таком случае непременно дам свое согласие дворянству! А там уж посмотрим, что из этого выйдет!

Пудовые руки его так крупно дрожали, когда он сел писать ответ Закревскому, что он долго не мог вывести ни одного слова и только портил лист за листом бумагу.

Наконец, успокоившись кое-как, написал:

«Милостивый государь граф Арсений Андреевич! Благодарю вас покорнейше за сообщение мнения вашего на предмет предстоящих выборов и со всею откровенностью отвечаю вам. Не знаю, можно ли избирать меня по носимому мною званию; но если я буду удостоен избрания московского дворянства, я не должен уклоняться от службы наравне с каждым дворянином, не имея пред лицом закона никаких особенных прав и не давая места суждению, еще менее негодованию, если бы даже не утвержден был в звании начальника губернского ополчения, в каковое я, вероятно, могу быть избираем. Легче всего, могут найтись люди способнейшие и не в праздности дождавшиеся престарелых моих лет. Двадцать четыре года, вышедши из службы по приказанию, я не был употреблен на службу деятельную, и в теперешнем случае нимало не удивлюсь и не приму к сердцу, если, как и прежде, не признан буду за годного. Впрочем, благодаря бога, я доволен совершенно моим положением, ничего не желаю и, конечно, искать не стану. Вот моя исповедь почтеннейшему графу, и никому другому я не скажу иначе. Душевно преданный Ермолов».

Письмо это он не скрыл от своих близких. В один и тот же день пришло оно и к Закревскому и в двух-трех списках в Дворянское собрание. Его читали громогласно в толпе дворян, собравшихся на выборы. Тут же снимались с него копии, и оно пошло гулять по всей Москве, добралось даже до торговых рядов. Это сдержанное рычание старого льва принималось за вызов правительству, открытый упрек ему за опалу, тянувшуюся четверть века.

Говорили, не опасаясь даже доносов:

— Небось, если бы Алексей Петрович провел все это время на службе, а не сидел бы поневоле без дела в Москве, он не допустил бы, чтобы армия наша уступала в чем-нибудь французско-английской. Он давно бы потребовал штуцеры взамен ружей и много кое-чего еще! Неудобен был немцам нашим,—вот почему отстранили!.. Не зря просился Алексей Петрович, чтобы произвели его в немцы!

В середине февраля проведены были выборы начальника московского ополчения. Из двухсот восьмидесяти шаров только шесть было черных, что было приписано происках Закревского. Четверть часа кричали дворяне «ура» в честь Ермолова. Восторг Москвы был неслыханный, как будто над интервентами одержана была решительная победа, а не над одним только генерал-губернатором Закревским.

Но в тот же день пришла телеграмма из Петербурга, где также закончены были выборы начальника петербургского ополчения. Оказалось, что Ермолов выбран был и там тоже, притом, в укор Москве, совершенно единогласно. Пришла и другая телеграмма, что выборы утверждены царем.

Теперь настал черед выбирать Ермолову между Петербургом и Москвой. Москва волновалась страшно,—вдруг он предпочтет столицу! Автор послания к нему от дворян—Погодин—был послан уговорить его остаться с Москвою, где он нашел себе такой долговременный приют. Ужасно спешили с этим, потому что прошел слух, будто едет уже в Москву депутация от петербургских дворян с тем, чтобы обольстить его сладкими речами и увезти в столицу.

Погодин отправился, как на бой, с пылающим сердцем. Возвращения его ждали в собрании встревоженно и не расходясь. Наконец он явился сияющий, возглашая еще от дверей:

— Остается с нами! Петербургу отказ!.. Помолодел старик на двадцать лет!

Снова восторженно кричали «ура» и, за отсутствием Ермолова, принялись качать Погодина.

2

Елизавета Михайловна, отослав письмо брату в Москву, ждала от него ответа в точно рассчитанный ею срок, и не письмом даже,—эстафетой. Однако дни шли, эстафета не приходила.

Правда, переписку свою с братом за последние годы она не могла бы назвать оживленной: очень мало осталось у них общих интересов; но все-таки было и непонятно и даже досадно, что нет ответа, и она не знала, писать ли снова или выжидать, тем более, что выжидать было можно: 10 января Василий Матвеевич неожиданно быстро собрался и уехал в Курск по своему сутяжному делу о лугах на речке Лопани.

Уезжая, он предупредил, что задержится, может быть, даже больше, чем на неделю, и она могла чувствовать себя свободно, не опасаясь ни за себя, ни за мужа, как опасалась чего-то все последние дни, потому что Хлапонин-дядя становился все более и более навязчиво предупредителен к ней, напоминая ей этим генерала Кирьякова.

Конечно, уезжая, он просил ее понаблюдать за его «подлецами-верноподданными», за общим

распорядком в доме и усадьбе, а в особицу за пиявочником, и она, обрадованная его отъездом, однообразно повторяла:

— Хорошо, хорошо... Если только я что-нибудь могу тут... Хорошо, хорошо... Я попытаюсь...

Он же отзывался ей на это:

— Вы можете! Вы все можете, дражайшая!.. Вы бесценная женщина! Ах, если бы вы только захотели, то... вы все могли бы сделать!

Когда он сидел уже в санях, а она из вежливости стояла на крыльце, накинув шубку, он забеспокоился, что она простудится, заболеет, но в то же время глядел на нее преданно и неотрывно, пока кучер Фрол не ударил по лошадям вожжами и те не рванули дружно и в несколько мгновений не вынесли его со двора на дорогу.

В пиявочник после отъезда деловитого владельца Хлапонинки Елизавета Михайловна не заходила: просто ей там казалось почему-то страшно, будто там кого-то утопили втихомолку. К коровам она, как истая горожанка, относилась не совсем доверчиво и потому на скотном дворе тоже не появлялась. Конюшня занимала ее больше, как занимала она и ее мужа, но там не было таких красивых лошадей, как ее севастопольский Абрек. К дворне она присмотрелась уже за несколько дней еще при Василии Матвеевиче, присматривать же за нею не думала.

Но Арсентий, который вникал во все и очень быстро вошел во вкусы деревенской жизни, сказал ей однажды, слегка улыбаясь в усы:

— А на деревне тут, барыня, какой-то-сь дружок старинный барина нашего нашелся.

— Дмитрия Дмитриевича дружок?—удивилась Елизавета Михайловна.

— Так точно, их... Говорит, когда они еще в кадетах состояли, он с ними провожал время, если домой их летом брали: казачок при них был.

— А-а, а я-то думала, какой такой дружок!

— Теперь-то он уж поболе меня ростом будет, хотя, может, я и постарше его чуть... Ну, одним словом, с барином нашим ровесники. Я сказал, что барин наш теперь называется контуженный, все равно, что раненый крепко,—вот тужил! Аж за голову руками взялся. «Эх, говорит, повидать бы мне их, посмотреть хотя минутку одну! Вот если бы можно было! А то ну как уедет от нас, и не увидишь!»

— Отчего же нельзя?—быстро решила Елизавета Михайловна.—Вот я сейчас спрошу барина.

Это было в первый же день по отъезде Василия Матвеевича. Когда Дмитрий Дмитриевич услышал о своем друге на деревне, он с минуту думал, припоминая, наконец спросил:

— Это не Терёшка ли?

— Терёшка, Терёшка, ваше благородие!—обрадованно подтвердил Арсентий.—А фамилию он имеет Чернобровкин.

— Фамилию я не знал,—покачал головой Хлапонин.—А Терёшку... Терёшку я помню... Хорошо помню... Хорошо помню... Терёшка,—как же... Он где?

— Да он, признаться, с утра тут на дворе ждет, как я его обнадежил, ваше благородие.

— Тут?.. Давай!.. Давай сюда его, давай!—очень оживился Хлапонин.—Терёшка! Как же!

В столовую, где в это время пили чай поздно вставшие Хлапонины, введенный Арсентием, вошел, в легкой новой казинетовой серой поддевке, круглобородый, русый, волосы в кружок, румянолицый не то с морозу, не то от смущения, высокий статный малый, и Хлапонин поднялся с места ему навстречу, радостно улыбаясь и говоря торопливо:

— Вот ты какой стал, а?.. Терёша... Бородач! Терентий, а?..

Он вытер усы салфеткой, обнял Терентия за шею, и они поцеловались три раза накрест, как на пасху.

Видя это, Елизавета Михайловна подала Терентию руку и сказала:

— Садись чай пить с нами.

— Да, да, садись, брат, садись рядом!—засуетился Дмитрий Дмитриевич, и даже при этом как-то слегка, но заметно задвигал левою рукою, к удивлению следившей за ним жены, между тем как Терентий, тоже поглядевший на эту руку, сказал простодушно-горестно:

— Вот война-то что делает!—и покрутил головой.

Чай он пил по-деревенски, прихлебывая с блюдечка, которое держал на распяленных пальцах, а Дмитрий Дмитриевич глядел на него, трудно, но с охотой припоминая отроческие годы. Как сквозь заросли густой бороды и разлатых, белесых, ни разу в жизни, видно, не бритых усов Терентия с большими усилиями нужно было пробираться воображению к гладкому, продувному, всегда озаренному какою-нибудь смелой ребячьей выдумкой лицу казачка Терёшки, так еще больше усилий требовалось памяти пробиться сквозь какую-то непостижимую мглу, державшую в плену, в темнице впечатления тех лет.

— А помните, как мы с вами на Донец с ружьем летом ходили?—спросил после третьего стакана чаю Терентий, улыбаясь и почтительно, как полагалось при разговоре с барином, и в то же время несколько снисходительно, как это невольно прорывается у вполне здоровых людей, говорящих с больными.

— На Донец?.. С ружьем?—повторил Дмитрий Дмитриевич, вглядываясь в его бороду.

— Еще тогда чужую лодку у нас мальчишки угнали, а мы за ними по берегу гнались и в топь попали,—старался напомнить Терентий.

Что-то было такое, но смутно, непостижимо, как-то туманно, точно виденное во сне или кто

рассказывал во время лагерной попойки, и Дмитрий Дмитриевич оглядывался на жену, привычно ища у нее помощи.

— Как же, на Донец, на охоту пошли мы, на чибисов, а главным делом, конечно, на уток,— продолжал между тем напоминать Терентий,—и так что убить почесть что ничего не убили, только утенка одного да чибиса... ну, да еще вы стрижа влёт сшибли...

— Стрижа? Стрижа влёт—помню!—оживился Дмитрий Дмитриевич.—Разве это тогда стрижа я сбил?

— А как же! Это когда уж оттуда шли... А там мы помучились с чужой лодкой: и бросить ее вам не хотелось, потому что, известно, чужая, хотели ее доставить в целости, и топь своим чередом: в такую топь залезли мы тогда, что конца ей не видно, а что ни шагнем, все по колени, а то и выше. Я говорю вам: «Назад надо!» А вы мне: «Вперед, а то лодку угонят!» Известно, человек вы и тогда военный были, а я за вами следом ныряю в топь, а у самого думка: «Засосет обоих, и квит!»

— Как же вы тогда выбрались?—спросила Елизавета Михайловна.

— Да так что не меньше часу мы все топли, ну кое-как вылезли на сухое... Тут уж мы могли бежать шибчее тех мальчишек, что нашу лодку угнали, забежали им наперед; как прицелились в них: «Стрелять будем, гони сюда лодку!» Ну, те испугались, что и в сам-деле их постреляем, скорей к тому берегу пристали—да в лес; а я разделся тогда, переплыл, и стала лодка опять наша, так что могли мы на бережку и вымыться от грязи и обсушиться, и лодку хозяину предоставить.

Терентий говорил это, обращаясь уже к Елизавете Михайловне, на которую как-то по-детски виновато взглядывал и Дмитрий Дмитриевич.

— А Донец далеко отсюда?—спросила она.

— Верст двадцать будет, смотря, как иттить... Ну, мы вышли чем свет и, конечно, к такому времю угодили, когда вся птица от жары в камышах двошит, и только одно бучило слышно, как оно в камышах: бу-бу, бу-бу!

— Бучило?—вдруг очень как-то беспокойно замигал глазами Дмитрий Дмитриевич.

— Ну, да, а то еще зовут—бык водяной, а что это такое, никто в глаза не видал.

— Помню,—сказал, слегка усмехнувшись, Дмитрий Дмитриевич.—Все теперь помню... Это там, где-то... девки нас в хоровод звали, а?

— Истинно! Звали в хоровод!—тряхнул волосами Терентий.—Это когда мы обратно шли вечером через Дворики... А мы еле ноги волочили, идем... Спасибо, какая-сь подвода нас нагнала, мы на нее, в сено, и сразу заснули сном праведным!

Дмитрий Дмитриевич мгновенно вспомнил запах того сена, лет семнадцать-восемнадцать назад, на скрипучем возу, в который он едва вскарабкался нежелающими сгибаться от крайней усталости ногами, и ощутил такое же почти блаженство от одного этого воспоминания теперь, как тогда, когда засыпал, уткнувшись головой в щекочущие сухие былинки.

Но эта прогулка на Донец была только малая часть нахлынувших вместе с бородатым Терентием воспоминаний, и все они были связаны с долгими, до синевы тела и судорог в ногах и руках, купаньями в Лопани, с удочками и ныретами, с гольцами, кусаками и вьюнами в речной тине, с таинственною вдоль этой речки рощею, теперь уже вырубленной на дрова, и птичьими гнездами в ней, причем Терешка знал всех птиц и все их повадки, так что перед огромной книгой природы он стоял около кадета Мити Хлапонина, как учитель с указкой в руке.

— А помнишь... Я тебя французским словам учил?—спросил Дмитрий Дмитриевич.

— Истинно! Это я хорошо помню, что учили, только слова уж те позабыл за мужицкими делами. Ведь я и читать-писать мог, и то уж без последствий осталось, и из памяти вон вышло... По-церковному еще малость читаю, а писать уж совсем отвык—забыл.

— Как на деревню попал?—спросил Дмитрий Дмитриевич с видимым усилием мысли, оцененным Елизаветой Михайловной.

— Это уж барину благодаря,—понизил голос Терентий.—Барин у нас тогда, как здесь поселились, многих из дворни разогнали кого куда: «Мне, говорят, не надо!» Ну, и меня в том числе тоже. А потом я, конечно, женился, детишки пошли...

— Много?—спросила Елизавета Михайловна.

— Детишек-то? Четверо уж имею,—пятый в ожидании.

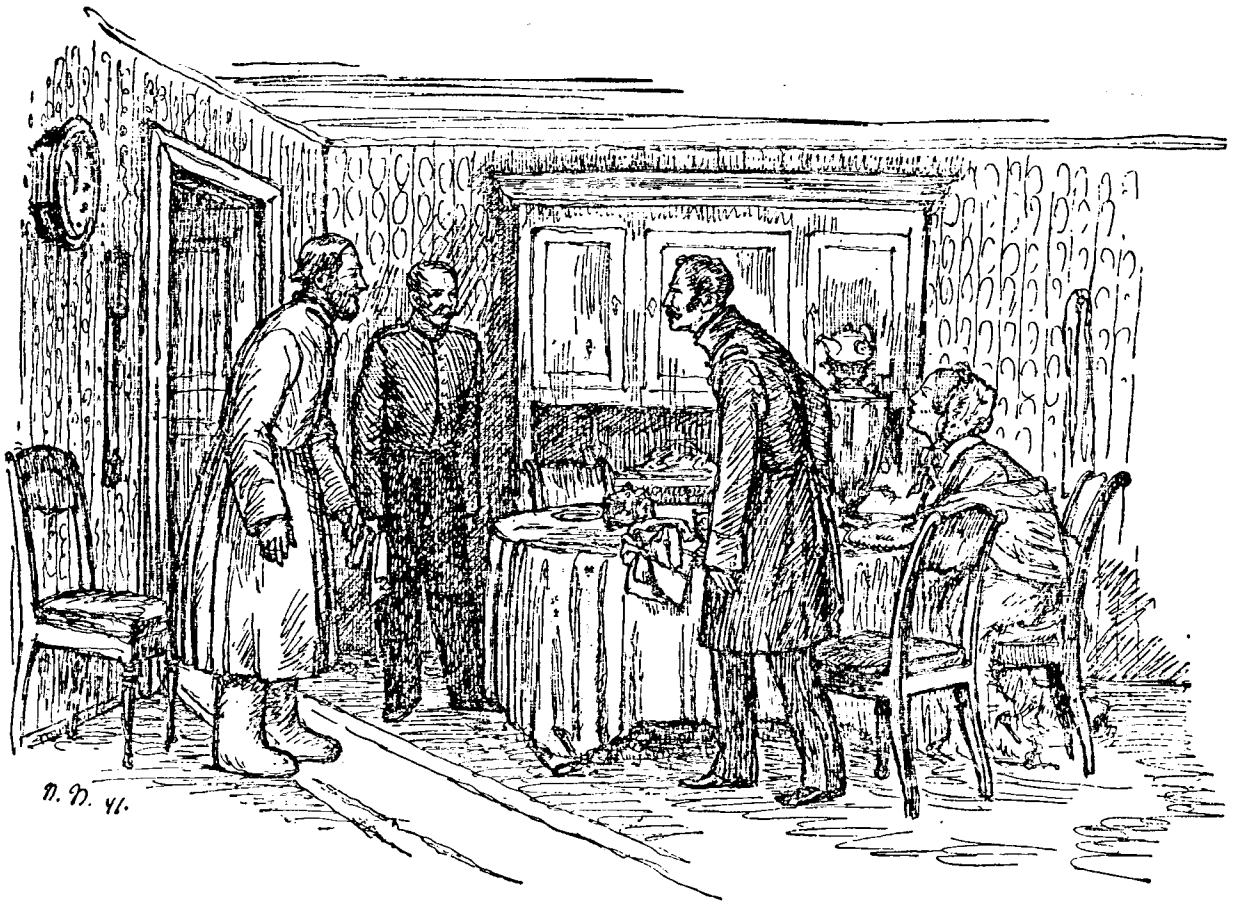
И как бы устыдясь такой своей плодовитости перед бездетными господами, добавил, обращаясь к Дмитрию Дмитриевичу:

— Ох, и вспоминают же часто у нас, кто постарше годами, папашу вашего! Вот, говорят, барин был, не нынешнему чета! Потому что этот, он, хотя бы сказать, приходится вам и дядя родной, ну, все-таки змей!.. Извиняйте, если я не так сказал...

Терентий замолчал вдруг сконфуженно, но Хлапонин одобрительно кивнул головой, и он продолжал вполголоса:

— Та-ак мужиков всех скрутил, что дальше уж некуда! А чуть кто что скажет, не вытерпит, он того в разор разорит, и пожалиться некому: полиция вся его! Так что теперь мужики наши в один голос между собой решают к вам проситься, когда у вас дележка имения выйдет.

Хлапонин посмотрел на жену непонимающими глазами.



— Какая дележка имения?—удивилась Елизавета Михайловна.

— Полюбовная, должно, мы так промеж собой думаем: судом разве можно с него что взыскать?

— Так что на деревне думают, что мы за этим сюда и приехали?

— Известно, барыня!—даже чуть улыбнулся Терентий, как бы добавляя этим: «Ведь не такие уж простаки наши деревенские!»

— Ты слышишь, Митя? Будто бы мы приехали затем, чтобы твою долю имения вернуть!

Хлапонин понял наконец. Он высоко поднял брови и посмотрел удивленно на Терентия, на жену и вновь на Терентия.

— Откуда? А? Откуда это они?

— Нет, нет, скажи им всем, пожалуйста, что мы ничего такого не думаем делать судом и уж давно забыли о своей доле тут, а Василий Матвеевич ведь не такой, чтобы об этом вспомнить!—поспешно сказала Елизавета Михайловна.

— Это уж известно, что не такой,—пробормотал Терентий, однако смотрел недоверчиво.

Когда он ушел, Елизавета Михайловна даже и Арсентия спрашивала, как мог пойти по деревне слух о том, будто они приехали в Хлапонинку устраивать какую-то полюбовную сделку насчет имения. Арсентий отвечал по-солдатски непроницаемо: «Не могу знать». Однако отводил при этом глаза в сторону, точно давая этим понять, что игра ведется тонкая, но и он не настолько уж лыком шит, чтобы ее испортить.

3

Хлапонины думали, что деревенские слухи после этого сами собой улягутся так же вдали от них, как вдали и возникли; но они плохо знали деревню, которая только и жила слухами о лучшем будущем.

Деревня не читала газет, но всякий странник, заходивший в нее издалека, был для нее живой газетой. И странники, среди которых бывали многие, прежде тесно связанные с землей, знали это нутром, и на таинственно задаваемые вопросы: «Как насчет воли, а?.. Есть слушок?»—отвечали с готовностью: «Как не быть, родимые! Есть...

Дальше они могли уж плести какое угодно кружево из действительно ходивших по деревням слу-

хов и из своих собственных досужих домыслов и измышлений: раз только они клонили к скорому объявлению воли, их слушали жадно. Гробовая тишина деревни казалась такою только снаружи.

Приезд в усадьбу помещика Хлапонина его племянника-офицера, о котором всем известно было, что он до нитки обобран дядей-опекуном, не могло не возбудить толков, и Терентий Чернобровкин явился к приезжим как бы ходоком от целой деревни.

Вернувшись домой, он старался подробно и в точности передать все, о чем говорили, но сам он не то чтобы не хотел,—просто не мог поверить ни своему бывшему «дружку», ни его жене, будто приезд их в Хлапонинку не имел никаких других, более вещественных целей, кроме поправки здоровья.

Когда ему говорили соседи:

— Поэтому выходит так: помирились они промежду собой, дядичка с племянником...

Терентий возражал ожесточенно:

— Ты чтоб меня ограбил вчистую, а я с тобой чтоб мириться стал? Обдумай умом, что языком звонишь! Да я тебе голову сначала от шеи оторвать должен, а потом уж с тобою мириться, когда ты без головы валяться будешь!

И—человек большой силы—он сцеплял свои толстые пальцы так, как будто кому-то отрывал невидимо голову и потом, скрипя зубами, швырял ее наземь.

Как бывший дворовый, он считал себя понимающим господ гораздо лучше, чем все его однодеревенцы. Он не успокоился тем более, что беспокойное для всех наступило время: война. Он снова через день пришел в усадьбу уже не один, а с женой и старшим сынишкой лет семи. Он видел «дружка» своего семейным и считал, что нужно показать и ему хоть часть своего семейства.

— А трое молодших в хате с бабкой остались,— говорил он конфузливо.

Голубоглазому мальчику Фанаске насыпала в карманы Елизавета Михайловна конфет и орехов, его матери Лукерье подарила свой шелковый платок, но сам Терентий и в этот раз не мог добиться, зачем, по-настоящему, приехал сюда Дмитрий Дмитриевич.

Он, правда, улучил момент, чтобы спросить шепотком, не хочет ли начальство, по случаю войны с французом, объявить волю крестьянам, чтобы лучше защищали веру-царя-отечество; тогда для него было бы понятно, что добиваться возврата своей части имения будет, пожалуй, и действительно ни к чему, незачем...

Эта мысль засела в нем гвоздем, и он, когда высказал ее, хотя и с оглядкой на двери и шепотком, впился в обоих Хлапониных неотрывными глазами. Но оба они,—сначала она, потом, когда понял, он,—так простосердечно удивились, откуда мог взяться подобный вопрос, что Терентий померк и пробормотал, опавши:

— Ну, тогда извиняйте, если что не так...

И от дома в деревню шел,—они это видели из окна,—как будто сделался вдруг ниже ростом и слабее ногами.

Василий Матвеевич приехал, как и говорил, пробыв в Курске всего около недели.

Может быть, дело его в суде шло не так гладко, как он бы того хотел, или пришлось не по его расчету много заплатить чиновникам, только он, приехав, не то чтобы устал с дороги, а был явно не в духе. Елизавета Михайловна слышала, как он кричал на бурмистра, на конторщика, на Степаниду. Что-то не так нашел с приезда и в своем пиявочнике и грозился выдрать Тимофея «с килой».

С Елизаветой Михайловной и своим племянником старался быть попрежнему очень любезным, но именно старался,—это заметно было. За ужином в день приезда говорил о том, что слышал в Курске о Севастополе, о поставках на армию, о госпиталях, которые появились уже в глубоком тылу, о том, что на Россию с весны готовится напасть вся Европа, а это уж вопрос очень серьезный, о том, что Крым отстоять едва ли удастся, и, наконец, об особых «Положениях касательно ополченских дружин», уже разосланных для сведения и руководства во все полицейские части в ожидании манифеста.

Накануне Елизавета Михайловна получила, наконец, письмо от брата. Он писал о юбилейных торжествах, подготовка к которым помешала ему ответить ей своевременно, и предлагал в случае необходимости приехать прямо к нему, в его холостые комнаты, откуда она могла бы сама начать поиски более удобной для больного мужа квартиры.

Правда, она приходила тоже к этому решению, но все-таки лучше было заручиться согласием брата: это ставило ее на более твердую почву.

— Значит, теперь, за такое короткое время, как мы выехали из Симферополя, всему Крыму уже грозит опасность, Василий Матвеевич?—спросила она, затаенно недоверчиво.

— Да, к сожалению, к весьма большому прискорбию моему, дражайшая Елизавета Михайловна, я это узнал из самых верных источников,—покивал головой Хлапонин-дядя.

— Так что ваша мысль о покупке там имения...

— Пошла прахом! Лопнула-с, окончательно лопнула! Это был бы с моей стороны самый безрассудный шаг, если бы я сделал его так, наобум, заглазно, наспех!

— Но ведь вы бы его, конечно, и не сделали наобум и наспех!

— Как знать? Как знать, сделал бы или нет? Я иногда бываю человек горячий... Вдруг что-ни-

будь возьму да и сделаю, а потом, потом уж даже и ума не приложу, как мне выбраться из скверного положения-с! Вот я какой иногда бываю! Поступаю иногда до такой степени опрометчиво, точно я мальчишка какой... Вдруг что-нибудь втемяшится в голову,—я и пошел чертить. И только потом уж глаза луплю во все стороны: что же это я выкинул такое, какого такого козла? А остановить меня некому-с,—ведь я один!

Почему-то, говоря это, Хлапонин-дядя смотрел на своего племянника и смотрел не то чтобы доброжелательно, благодушно, совсем нет,—сосредоточенно, с искорками в глазах, почти враждебно, так что даже и Дмитрий Дмитриевич заметил это, и ему стало, видимо, несколько не по себе, и он вопросительно поглядел на жену.

Елизавете Михайловне тоже показались слова Хлапонина-дяди каким-то намеком на то, что вот он пригласил их к себе эстафетой, а теперь в этом кается, называет это «опрометчивым» поступком, и она хотела уж было сказать, что увозит мужа в Москву, но все-таки решила подождать пока, поберечь это на крайний случай.

Она спросила с виду вполне спокойно:

— Это вы не о пиявочнике ли своем говорите, что опрометчиво поступили? Действительно, эта ваша затея...

— Что «эта моя затея»?—так и вскинулся Василий Матвеевич.—Эта затея, если хотите знать, все равно, что четыре туза в прикупе, вот что такое эта затея-с!.. Вот Митя—артиллерист и пока только батареей командовал, но все-таки умные люди говорят, что это тоже весьма неплохо-с, батарея! А если бы он командир артиллерийской бригады был? На-пле-вать бы ему тогда на любое имение, с которым только одна возня, а часто от него и убытки! Го-раз-до больше бы имел он тогда доходу со своих бессловесных чугунных или там медных пушек, чем я, например, со всей своей земли! А что же касается пиявок, то я вам объяснял это как-то, что они меня могут со временем, и может, очень близко уж это время, тем же командиром бригады артиллерийской сделать по доходу,—вот что такое-с пиявки-с! Только свой глаз—алмаз, чужой—стекло. И разным подлецам этого дела и на один день оставлять нельзя, а не то что на неделю... Вот я уехал, а вы бы спросили подлеца с шишкой, топил ли он, как следует, или нет? И оказалось бы, что нет, не топил, подлец! И вот поймал я сегодня сачком вместе с живыми штук несколько уже дохленьких. А ведь кое-кому приказывал я строго-настрого смотреть за ним, когда уезжал. Куда же они смотрели? В свой карман?.. А мне нанесли большой убыток, я лишен от пиявок этих приплоду, да ведь их, дохленьких-то, может, и не несколько штук, а десятков! Вот что получилось... Ну, этот мерзавец с шишкой пойдет у меня в сдаточные, в ополчение, когда так!.. Двоих от меня потребуют,—я справлялся. В первую голову пойдет он!

Елизавета Михайловна почувствовала себя как бы виноватой в том, что ни разу за эту неделю не заходила в пиявочник, но в то же время ей показалось, что Тимофей с шишкой не годится в солдаты.

— Тимофея, с такою вот шишкой здесь, помнишь, Митя? Едва ли возьмут его в ополченцы, а?—обратилась она к мужу.

— Едва ли, да,—отвечал Дмитрий Дмитриевич, добросовестно подумав.

Но Василий Матвеевич махнул рукою энергично.

— Потому не возьмут, что шишка? Пустяки какие! Пускай вырежут эту шишку, если будет она им строй портить. Как будто если он с шишкой, то уж и не человек! А если он человек, то он тоже денег стоит. Ведь явно свое кровное отрывается, а кто возместит? Шишка же—это для работы ничего не значит.

— Вы сказали, двух от вас потребуют... А кого же другого вы наметили?—спросила Елизавета Михайловна, ожидая, что и другой ополченец из Хлапонинки будет тоже с каким-нибудь изъяном, и уж заранее придумывая, с каким именно.

Но Василий Матвеевич ответил неожиданно еще более взвинченно, чем когда говорил о Тимофее:

— Есть у меня на деревне мужичонка вредный: его хоть в острог отправляй, хоть в сдаточные. Вот он теперь, кстати, и пойдет вторым нумером после Тимофея... Это—Терёшка Чернобровкин, подлец! Грубиян, лодырь, а главное смутьян,—смутьян, мерзавец! Он и пойдет вторым.

Чета Хлапониных переглянулась, а владелец Хлапонинки, багровый от нескольких рюмок выпитой за ужином водки, зло постучал по столу кулаком.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
«ЛИЦО ИМПЕРАТОРА»

1

В уставе, утвержденном Николаем в 1846 году, было сказано: «Главнокомандующий в военное время представляет лицо императора и облекается властью его величества...»

Что касалось «лица императора», то в конце января—в начале февраля старого стиля Меншиков почти буквально выполнял этот (16-й) параграф устава. В это время Николай в Зимнем дворце в своем кабинете лежал на походной кровати, дрожа от сильного озноба, подоткнув под себя со всех сторон теплую шинель, которой укрылся до подбородка; Меншиков же тоже, почти не поднимаясь, лежал в своей «главной квартире»—матросской хате на Сухой балке, вытянувшись во всю

длину старого кожаного дивана, без кровинки на дряблых, впалых щеках, с жидкой седой щетиной на подбородке, с закрытыми глазами, костлявый, бессильный на взгляд каждого, входившего к нему по неотложному делу, похожий на мертвеца.

Великие князья—Михаил и Николай—вернулись из Петербурга в Севастополь в половине января, но не привезли ему ни отставки, ни отпуска. Напротив, царь через своих сыновей уверял его в своей «неизменной благосклонности», как будто достаточно было в сотый раз получить это уверение в монаршей благосклонности, чтобы сразу вылечиться от всех болезней.

Диктуя кому-либо из своих адъютантов, или генерал-квартирмейстеру Герсеванову, или ведавшему провиантской частью армии полковнику Вуншу тот или другой приказ, Меншиков говорил так тихо, что приходилось скорее угадывать по движению его синих губ, что именно он хочет сказать, чем действительно иметь возможность расслышать его слова... Начальник же его штаба, генерал Семякин, был глух вследствие контузии и для подобных собеседований совсем уже теперь не годился.

Однако и Вунш, и Герсеванов, и другие часто испуганно застывали с карандашами в руках над бумагой, так как Меншиков то и дело впадал в глубокий обморок, длившийся иногда до получасу, и беспомощно оглядывались по сторонам, пытаясь решить, не умер ли уже главнокомандующий Крымской армией.

Но вот судорожно передергивался рот Меншикова, открывались тусклые белесые глаза, и слабый голос спрашивал:

— На чем это... на чем мы остановились?

И шелестящий шопот приказа по армии продолжался снова до нового обморока, похожего на смерть.

Иногда же,—и это было, пожалуй, так же способно навести испуг на слушателей, как и обмороки,—Меншиков начинал вдруг говорить совсем не на тему приказа: он отдавался вдруг побочным, посторонним мыслям или воспоминаниям, которые казались другим не только не идущими к делу, но даже подозрительными с точки зрения умственного здоровья главнокомандующего.

Как будто и самая работа мысли его, всегда до этого бодрой и деятельной и очень часто склонной даже к иронии и сарказму, вдруг перерывалась какими-то перебоями мечтательности, почти бреда; как будто не только физически, но и психически уходил уже он или старался уйти от всего, что было связано с ведущейся им же войной,—с осажденным Севастополем, с батареями интервентов, с сухарями и мясом для армии, с ложементами впереди бастионов, которые надо было то отбивать у врага, то отстаивать...

«Наполеонова болезнь», как он называл ее когда-то Пирогову, теперь овладела уже им всецело, и лекарю его Таубе часто приходилось прибегать к помощи катетеров Дворжака. Но полную расслабленность Меншикова нельзя было все-таки объяснить одною только этой болезнью. Тут как будто сразу открылись все его старые раны, и поднялись из глубин памяти все обиды и неудачи жизни.

Он слушал, например, серьезный и деловой доклад генерал-интенданта Затлера, касавшийся продовольствия свыше чем стотысячной армии, отрезанной от плодородных районов России пятисотверстной полосой опустошенных степей и зимнего бездорожья, и вдруг спрашивал его, перебивая:

— Вы графа Ожаровского в Варшаве не знавали?.. Жив ли он еще?

Затлер был прислан в Крым Горчаковым, подобно тому как им же еще до высадки интервентов был послан Тотлебен. Но Меншиков еще до чтения им доклада слышал от Затлера, что он выехал в Севастополь из Варшавы, и выходило, значит, что главнокомандующий только делал вид, что внимательно слушал доклад, а думал совсем о другом.

Не понимая, какое отношение имеет граф Ожаровский к его рассуждениям о том, где можно достать и как удобнее и дешевле доставить фураж, львиная доля которого неизбежно будет съедена в пути лошадьми и волами, Затлер ответил на всякий случай:

— Кажется, я встретил Ожаровского незадолго перед выездом из Варшавы...

— Значит, он жив еще?—несколько оживился Меншиков.—Это имя напоминает мне одно обстоятельство... из кампании тринадцатого года... Я состоял тогда при князе Волконском. После сражения под Кульмом послал меня государь... осмотреть, какие позиции наши гвардейские полки заняли... и чтобы ему доложить. Я тут же поехал... осмотрел... докладываю, что видел... И вдруг государь мне резко: «Неправда! Не там моя гвардия и совсем не так расположена! Все неправда!..»—«Ваше величество,—говорю я,—только что был я там! Я объехал все полки... и я докладываю вам именно то, что я видел!»—«Неправда! Граф Ожаровский доложил мне совершенно иначе! Вот как было!..» Спасибо, что все-таки пришел к сомнению... приказал призвать Ожаровского. Я его уличил с первых же его слов! Он сознался, что даже и не был там... в гвардейских полках... а со слов других свой доклад царю сделал... Вот как тогда... исполнялись приказания... его величества!

И вакрыл надолго глаза, изнеможенный таким длинным отступлением в сторону графа Ожаровского, оставив генерала Затлера в нерешимости, продолжать ли ему свой доклад.

Когда же, отдохнув, Меншиков открыл глаза, он

не спросил даже, как обычно: «На чем мы остановились?» Он сказал вдруг с некоторою энергией в голосе:

— А в тысяча восемьсот седьмом году... на походе... и в богатом краю... армия наша дошла до таких лишений... что солдаты кожу своих сапогов съели! Да-с! Вот-с! Так армия свои сапоги и съела-с!.. И не сыта этим была, и босая осталась...

Затлер думал, что после этого идущего уже к делу замечания он может продолжать доклад, но главнокомандующий впал снова в забытье.

2

Между тем вместе с великими князьями в половине января из Петербурга в Севастополь от императора его «лицу» пришло приказание в форме совета без промедления атаковать и взять Евпаторию, куда направлялся большой десант турецких войск, предводимых самим Омер-пашою.

Для того же, чтобы следить за неуклонным выполнением этого «монаршего предначертания», был особо прислан флигель-адъютант, полковник Волков.

Так, к концу января свалилась на маститого вождя Крымской армии, страдающего мучительным циститом, еще и новая забота—подготовка штурма Евпатории, хотя сам он и думал, что это совершенно ненужная затея.

— Разве мы в состоянии будем... удержаться в Евпатории... если даже и возьмем ее?—спрашивал он у Волкова, стараясь изо всех сил подольше не опускать на глаза тяжелые верхние веки.—Ведь неприятельская эскадра... выбьет оттуда наши войска... после двух-трех часов обстрела!

Полковник Волков, о котором царь Николай писал Меншикову, как о «вполне надежном» офицере, человек еще довольно молодой, но уже весьма расплывшихся форм, державшийся почтительно до того, что ни одним взглядом своим не выдавал недоумения при виде главнокомандующего, полумертво распростертого на стареньком вытертом диване, отвечал тоном непреклонной судьбы:

— Такова воля его величества, ваша светлость!

Что армия союзников, высадившись в Евпатории, будет стремиться отрезать его армию от сообщения с остальной Россией, закупорить ее в Крыму и взять измором, это, конечно, знал и сам Меншиков, но он не думал, что Омер-паша отважится выйти из Евпатории в степь, где он неминуемо наткнулся бы на большие силы русской кавалерии, которым на помощь всегда могли бы подоспеть беспрерывно идущие в Крым пехотные части, кроме тех резервных батальонов, которые стояли по брошенным татарским деревням и вблизи Евпатории и у Перекопа.

Все истощенное, хотя, однако, способное еще мыслить, существо Меншикова было против этого навязываемого оттуда, из Петербурга, броска в сторону от Севастополя. Он знал и по Анапе и по Варне, что турки умеют хорошо защищаться в сильных укреплениях, а что Евпатория была основательно укреплена, в этом он не сомневался.

«Лицо императора», когда-то искусное в дипломатических ходах, теперь, лежа с закрытыми глазами, всячески искало способ как-нибудь выйти из большого затруднения: не выполнив воли императора, не слишком раздражить его этим.

Он понимал, что самое лучшее для него было бы теперь же выйти в отставку, чтобы ответственность за штурм Евпатории, грозивший крупной неудачей, нес его преемник. Однако отставки он не получал, хотя положение его было известно великим князьям, занявшим снова инженерный домик и домик таможенного ведомства и державшим открытый стол для своей многочисленной свиты и для генералов, приезжавших часто к ним из Севастополя и его окрестностей.

Он знал, что там, среди молодежи, обычно безжалостной к немощной старости, не могут не смеяться над ним, не могут не рассказывать на его счет веселых анекдотов. Однако ему хотелось, чтобы конец его службы сошел как-нибудь на-нет без потрясений, без катастрофы, между тем как евпаторийское дело иначе и не представлялось ему, как катастрофой.

Слишком свежим в его памяти было тяжелое впечатление от Инкерманской битвы, когда он не знал, куда девать тысячи раненых, чтобы повторять подобный же маневр в пустой и голой степи.

И вот единственное спасительное, что он мог придумать теперь, сводилось к тому, чтобы генералы, к которым он обратится с приказом вести войска на штурм Евпатории, отказались выполнить этот приказ.

Правда, такой отказ был бы противен воинской дисциплине, но он был бы насущно необходим, чтобы предупредить слишком большие потери, совершенно лишние для хода дела.

И, не желая высказывать кому-либо этих своих затаенных мыслей, но в то же время находя нужным, чтобы их все-таки угадали другие, Меншиков сказал как-то вечером своему адъютанту, подполковнику Панаеву:

— Ты ведь знаешь это... Когда я хотел повторить штурм Инкерманских высот, князь Петр Дмитрич отказался сделать это... сослался на свою старость... Потом и Липранди тоже отказался... говорил, что не надеется на успех... Может быть, они были тогда... по-своему и правы... Как ты думаешь, теперь вот, не откажется ли и генерал Врангель, если ему поручить штурм Евпатории?

Панаев думал после этих слов разглядеть на су-

хом желтом лице Меншикова привычную для него ироническую усмешку или складку около тонких губ, но не увидел, а черные тусклые глаза глядели на него пытливо из полукружий седых бровей и резких темных подглазий.

Как давний адъютант светлейшего и человек очень наблюдательный, Панаев лучше других знал Меншикова: также и чаще других слышал от него многое, что не под силу бывало таить сокровенно даже и такому тонкому дипломату, каким был главнокомандующий.

Полковник Волков приехал с личным письмом Николая насчет Евпатории еще в декабре, около 20-го числа, то есть больше месяца назад. Тогда Меншиков еще бодрился и даже иногда выходил на свежий воздух, хотя уже перестал ездить на своем муле.

Панаев видел и тогда, как неприятен был ему всякий вообще разговор об Евпатории в связи со штурмом ее. Волкова отправили тогда же непосредственно к генералу Врангелю, командиру отряда драгун, стоявшего под Евпаторией, чтобы там, на месте, «надежный» этот флигель-адъютант своими глазами разглядел как следует то, что слишком туманно представлялось из Петербурга. Светлейший вообще не терпел флигель-адъютантов и всячески стремился их поскорее сплавить, но Волков, как заметил Панаев, был ему гораздо ненавистнее всех, приезжавших раньше.

В своем письме царь очень подробно излагал, как Меншиков должен был действовать, чтобы отбиться от нового десанта союзников. Прежде всего им возлагались большие надежды на Врангеля с его драгунами, затем на подходившие десять батальонов 10-й и 11-й дивизий, наконец, на 8-ю пехотную дивизию, шедшую в Крым от Горчакова под начальством князя Урусова.

Опасения царя были очень велики; ему казалось, что десантная армия непременно должна будет пойти к Перекопу, чтобы запереть Крым и угрожать Крымской армии с тылу; он писал, что «без значительной пехоты тут (то есть у Перекопа) все может быть потеряно».

Чтобы показать какую-нибудь видимость дела, но в то же время как можно дальше отодвинуть диктуемый ему штурм Евпатории, Меншиков послал в начале января курьера к генерального штаба подполковнику Батезатулу, состоявшему тогда при Врангеле, с приказом тщательно обдумать и доложить план атаки на Евпаторию. Это с виду незначительное слово «тщательно» давало Батезатулу неограниченное время для размышлений.

Но в Петербурге забеспокоились такою явной оттяжкой штурма. Оттуда летели новые флигель-адъютанты с новыми письмами. Наконец к Меншикову явился снова Волков и в выражениях весьма прозрачных дал ему понять, что царь очень недоволен слишком медленной поспешностью главнокомандующего в выполнении монарших предначертаний.

Вот тогда-то, только что выпроводив Волкова, Меншиков и обратился к Панаеву со своим несколько запутанным вопросом о том, не откажется ли от штурма Врангель.

Панаев пригладил и без того гладко лежавшие, хотя и негустые, русые волосы и сделал самый неопределенный жест губами, решив до времени выждать с ответом, а Меншиков продолжал:

— Найди-ка толкового курьера, чтобы послать его к Врангелю... Я хочу вызвать его сюда для доклада.

— Слушаю, ваша светлость,—облегченно повернулся, чтобы уйти от больного и капризного старика, Панаев, но Меншиков остановил его брюзгливо:

— Постой-ка, куда ты?.. Успеешь еще... видишь ли, этот Волков докладывал, что государь поручил ему непременно присутствовать при взятии и разрушении Евпатории... При полном разрушении, чтобы было там место пусто... Место пусто!— повторил он с ударением.—А затем... затем еще говорил, что разрешено... если не хватит, если мало будет для этого наличных сил, то чтобы взять восьмую дивизию... когда она подойдет туда... А когда же именно она может подойти туда, восьмая дивизия?

— В начале февраля, пожалуй, она пройдет уже Перекоп, ваша светлость,—мгновенно, как опытный адъютант, подсчитав в уме дни, ответил Панаев.

— Но что же из того, если даже?...—загримасничал Меншиков.—Допустим, что мы возьмем Евпаторию... с большими очень потерями, разумеется... что из того? Все равно, мы не сможем ее удержать... Все равно, ее придется очистить... что бы ни думали там, в Петербурге, на этот счет... Двух Севастополей в Крыму мы защищать не можем! Если бы даже этого захотелось союзникам, то для нас... для нас это слишком большая роскошь—два Севастополя!

3

Барон Карл Егорович Врангель принадлежал к числу генералов скорее мирных, чем воинственных, и об этом знал Меншиков.

В 1831 году он был ранен польской пикой в голову, и между почтенными сединами его сбоку багровел шрам. Ростом он был довольно длинен, но тощ. В движениях стариковская суетливость, в глубоких глазах угодливость к высшему начальству, а оттопыренные, притом острые уши придавали ему вид очень большой настороженности,—вечного «на-чеку». Иным казалось даже, что уши эти имели способность двигаться.

Явившись в Сухую балку на Северной стороне, он был похож на кающегося грешника, удручен-

ного тяжкими прегрешениями. Прегрешения же его действительно были серьезны: он решился просить главнокомандующего не вручать ему начальства над отрядом, предназначенным штурмовать Евпаторию.

— Посудите сами, ваша светлость,—говорил он Меншикову, сидя около его дивана, волнуясь и прикладывая сразу обе руки к сердцу.—Что могу сделать на таком посту ответственном я, кавалерист? Ведь у меня, кроме того, должен вам признаться, почти и опыта боевого нет!.. Нет, решительно нет!.. В Польскую кампанию только участвовал я в трех боях, но ведь я тогда кем же—ротмистром был! А вся остальная моя служба протекала вне боевых действий.

— Разве в Венгерской кампании вы не участвовали?—перебил его Меншиков.

— Только в походах участвовал, ваша светлость! А в делах против неприятеля бывать не пришлось!

— Ну, а на Дунае в эту кампанию?

— Так же точно и на Дунае только в походах был, а не в делах... Служба же моя здесь, в Крыму, проходит на ваших глазах.

— Гм... А разве так уж сильно союзники успели укрепить Евпаторию?—сурово с виду спросил Меншиков, вполне довольный в душе таким скромным о себе мнением барона.

— О-о, оч-чень сильно, оч-чень сильно, ваша светлость!—точно для защиты именно от этих укреплений поднял и поставил ребром Врангель сухие ладони на высоте седеньких, котлетками, бак.—Я лично делал рекогносцировки... и неоднократно! И совместно с полковником Батезатулом, а также флигель-адъютантом Волковым.

— О Волкове говорить не будем, а Батезатул как? Такого ли он мнения об этом, как и вы?

— Точно такого же, ваша светлость. Во-первых, ров оч-чень широк и глубок, вал же крут и высоты большой... Во-вторых, много орудий, снятых с кораблей... В-третьих, гарнизон многочисленный...

Беседа Меншикова с Врангелем была довольно продолжительна, так как она доставляла удовольствие светлейшему. Выходил от него Врангель грешником прощенным: просьба его была уважена, хотя для видимости Меншиков и предложил ему еще подумать над вопросом штурма.

На самого же главнокомандующего желанный им отказ Врангеля командовать штурмом повлиял до того ободряюще, что он, отпустив барона, встал с дивана и не только прошелся, медленно двигая ногами, по своей хате, но даже рискнул выйти на воздух и поглядеть на бухту, на город, кругом.

Снег, выпавший в середине декабря, держался, к общему удивлению, почти до середины января, заставив и французов одеться в полушубки; об этом знал Меншиков из опросов довольно многочисленных перебежчиков, с ужасом говоривших о свирепой русской зиме.

Но теперь тянуло мягким, пропитанным озоном весенним воздухом с юга, от лазоревого моря; явно живительное солнце дрожало яркими блестками всюду на легкой волне Большого рейда; небо раскинулось беспорочно чистое во всю ширь, и потому очень заметны были плывущие в него белые, плотные круглые дымки от пушечных выстрелов над ближайшими бастионами: это был час, когда бастионы обменивались обычными гостинцами с батареями интервентов.

Слабый, еле державшийся на ногах, главнокомандующий русской армией в Крыму осторожно втягивал в старые слежавшиеся легкие свежий воздух, не разжимая губ; казачий офицер, дежуривший у ставки, почтительно поддерживал его за острый локоть.

Может быть, так простоял бы светлейший, вдыхая весенний воздух, и еще несколько минут, но показалась из-за поворота Сухой балки весьма уже знакомая ему и весьма опротивевшая фигура полковника Волкова на знакомой тоже серой в яблоках лошади из конюшни великих князей, и он поспешно повернулся, недовольно крякнул и, войдя в свою хату, рухнул на диван.

Таким беспомощно утонувшим в очень податливом расшатанном диване застал светлейшего Волков.

Флигель-адъютант навытяжку стоял перед генерал-адъютантом, но вид у него был спокойно требовательный и неотступный: перед «лицом императора» стояла здесь, в тесной хатенке—главной квартире—«воля императора». Осанистый, излишне полный, хотя и молодой, полковник с царским вензелем на погонах почтительно наклонялся почти к самой голове Меншикова, чтобы расслышать его полушопот о том, что Врангель считает выше своих сил и способностей вести свой отряд на штурм, что Евпатория, по его словам, укреплена очень сильно, что на успех дела он не надеется.

— Я участвовал во всех рекогносцировках, которые предпринимал генерал Врангель, ваша светлость,—отвечал тоном рапорта Волков.—Мне известно мнение его, а также и полковника Батезатула... Я лично, конечно, не решаюсь оспаривать их выводов, но, ваша светлость, осмеливаюсь еще раз напомнить, что воля его величества должна быть приведена в исполнение...

— Несомненно должна, и я отправил генерала Врангеля еще раз,—сделал ударение на этих двух коротеньких словах светлейший,—как следует выяснить обстановку и обдумать план атаки.

Помолчав немного и пожевав губами, он добавил:

— Может быть, когда подойдет восьмая дивизия, то князь Урусов возьмет на себя эту задачу...

— Ваша светлость, в отряде евпаторийском есть

генерал, который говорил мне, что он, если бы получил в свое командование отряд, ручается за то, что Евпаторию возьмет,—сказал Волков.

Меншиков поглядел на него изумленно и указал рукою на стул:

— Присядьте, пожалуйста!

Волков поблагодарил, поклонившись, и сел неторопливо.

— О ком это вы говорите? Какой это генерал?—перешел с полушопота на обычную речь Меншиков.

— Это, ваша светлость, начальник штаба Врангеля и командующий всей его артиллерией генерал-лейтенант Хрулев.

— А-а, Хрулев,—слегка усмехнулся Меншиков.—Очень горячая голова у этого Хрулева... Горячая-с, да... Так мне писал о нем и князь Горчаков, который его лучше знает, чем я... А излишняя горячность в боевых действиях может привести к большой неудаче-с... Впрочем, я могу его вызвать сюда, чтобы не только вам, но и мне он... доложил, какими именно средствами располагать он хочет для успеха дела... чтобы мы могли обрадовать государя, а не огорчить... Его величеству достаточно и без того огорчений...

ГЛАВА ПЯТАЯ
СТЕПАН ХРУЛЕВ

1

Крупный, красивый белый конь, с подстриженной гривой и подвязанным коротко хвостом, заляпавший грязью высокие сильные ноги по самое брюхо, довольно фыркал и тряс головою, когда его остановил всадник в кавказской папахе кадушкой и лохматой бурке: конь видел, что дорога была кончена,—дальше скакать некуда, дальше была широкая вода бухты, на ней корабли, а на земле кругом хотя и невзрачные и редкие, но дома, и хозяин его уже готовился спрыгнуть с седла, бросив поводья.

Передав коня своему ординарцу унтер-офицеру и поправив папаху и бурку, приехавший направился к знакомому уж ему домику главнокомандующего, а дежуривший в это время адъютант Стеценко, ставший с нового года капитан-лейтенантом, заметив его еще издали, доложил Меншикову:

— Генерал-лейтенант Хрулев, ваша светлость!

— А-а... да-а... Ну, что же, проси его,—вяло отозвался светлейший.

Только что сделавший в седле по очень тяжелой вязкой дороге неблизкий путь в несколько десятков верст, вошедший Хрулев представлял собою разительный контраст с расслабленным вождем всех оборонных русских сил в Крыму.

У него было обветренное, пышащее, раскаленно-кирпично-красное круглое лицо, тугие черные, прочно и лихо подкрученные усы, яркие глаза несколько навыкат; черные, с легкой проседью у висков, густые волосы были низко подстрижены; и хотя ему было уже под пятьдесят, он казался сорокалетним, то есть молодым еще, боевым генералом.

Именно, боевым,—такая, на всякий посторонний взгляд, стремительность клокотала в нем, хотя он и стоял по-фронтовому, по форме рапортуя, что «по вызову прибыл».

Подобная клокочущая в подчиненных, как вода на крутой стремнине, готовность по первому приказу броситься хоть на рога к чорту, всегда восхищает начальников, но Меншиков, предложив сесть Хрулеву, разглядывал его прищуренными и холодными глазами.

Он как будто сознательно решил даже на время забыть об Евпатории. Он спросил, медленно двигая губами:

— Я хотел бы знать, каковы результаты... ваших работ в комиссии?

Хрулев был председателем комиссии, занимавшейся пригонкой штуцерных конических пуль с чашечками и полукруглых пуль со стерженьками к русским гладкоствольным ружьям. В комиссии этой, кроме него, было шесть человек. Опыты Баумгартена в его Тобольском полку Меншиков хотел основательно проверить, чтобы ввести это новшество во всей армии, и Хрулев, появившийся в Крыму в половине декабря, должен был решить важный для боеспособности армии вопрос, какие пули следовало предпочесть круглым.

— Ваша светлость, работу нашу я могу считать уже законченной,—ответил Хрулев, стараясь говорить по возможности тихо, чтобы не тревожить больного излишней зычностью, но в то же время плохо справляясь с голосом в силу привычки артиллериста перекрикивать рев орудий.

— Закончили?.. И что же?—несколько оживился Меншиков.

— Испытания производились согласно полученного предписания на дальность полета пуль, на верность полета пуль, на количество пороху, потребное для заряда, наконец, на вред, наносимый ружьям нашим от стрельбы пулями нового образца,—отчетливо проговорил Хрулев.—И последняя задача больше всего отняла у нас времени. Теперь же и ее можно уж считать решенной. Комиссия остановилась на полушарных пулях со стерженьками.

— А-а!.. А вред от них для гладких стволов?

— Наименьший, ваша светлость! Полет же их наиболее правильный, и пороху на заряд для них идет меньше, чем на конические, следственно, они экономнее.

— Это хорошо... А дальность их полета?

— Доску в дюйм толщиною пробивают на восемьсот шагов, ваша светлость!—с торжеством сказал Хрулев.—А это значит, что по неприятелю пальба будет действительна и с дистанции в девятьсот!

— Это—прекрасный результат, прекрасный!—еще более оживился светлейший.—Но это проверялось вами неоднократно?

— Результат окончательный! Этот результат делает наши ружья мало чем уступающими штуцерам, ваша светлость!

— Ну, конечно, пятьсот-шестьсот шагов разницы—это не так уж мало-с... Но все-таки результат прекрасный. Особенно, если иметь в виду, что траншеи противника везде приближаются уже к нашим контрапрошам... Жаль только, что у нас мало метких стрелков... Плохо учили стрельбе нашу пехоту!

Меншиков плотнее уселся на диване, внимательно поглядел на Хрулева, не нашедшего, чем отозваться на его слова, и сказал вдруг тоном безразличия:

— Сегодня я получил донесение, что четыре парохода направились от Херсонеса на север, полные войска... По всем видимостям, это десантный отряд, назначенный для Евпатории...

При последнем слове Хрулев развернул суховатые плечи и насторожился.

— Как? Еще четыре парохода с войсками?—спросил он изумленно громко.

— А сколько же пришло туда раньше?—полюбопытствовал Меншиков.

— Точно установить этого не удалось нам, ваша светлость: они подходили и стояли на якоре, но часть их снималась, не разгружаясь, и шла на юг. По слухам, с турецким отрядом прибыл и Омер-паша, но в Евпатории не остался и выехал в Балаклаву... Проверить эти слухи нам не удалось.

— Флаг Омер-паши будто бы был замечен на одном из пароходов,—тем же тоном безразличия сообщил Меншиков,—следственно, он думает лично защищать Евпаторию, на которую, как я слышал, вы собираетесь напасть.

Хрулев еще более выкатил глаза. Он был очень удивлен и не знал, как понять последние слова главнокомандующего: шутка ли это с его стороны, или?.. Однако истощенное лицо князя показалось ему явно колючим, чуть насмешливым, а пристальный взгляд тусклых глаз, пожалуй, даже презрительным.

— Я, ваша светлость, собираюсь будто бы напасть на Евпаторию?—на всякий случай решил изумиться Хрулев.

— Да, это именно я слышал от полковника Волкова.

Все еще не понимая и после этих слов, что именно хочет сказать Меншиков, Хрулев, подумав, ответил:

— Флигель-адъютант Волков меня, действительно, спрашивал, имеется ли, на мой взгляд, возможность овладеть Евпаторией.

— Да-а... вот именно! И как же все-таки на ваш взгляд?

В этом возгласе Хрулеву послышалась уже прямая, неприкрытая насмешка над ним; поэтому он выпрямился, даже откинулся корпусом на спинку стула и сказал твердо:

— Разумеется, с одними только кавалерийскими дивизиями смешно было бы итти на штурм укрепленного города, но с подходом восьмой пехотной и если ввести в дело всю артиллерию—полевую и легкую, успех мог бы быть налицо!

Это заявление Меншиков встретил многозначительной долгой паузой; наконец спросил:

— На сколько же орудий всего вы рассчитываете?

— Приблизительно на сто, ваша светлость.

— М-м, да-а... А у противника сколько полагаете встретить?

— Едва ли там найдется столько!

— Значит, точных сведений об этом у вас не имеется? Но ведь кроме тех, какие поставлены союзниками в первой линии, должны быть резервные... Затем-с артиллерия кораблей линейных и пароходов, которые непременно придут на помощь гарнизону... А это уж будет далеко не сто орудий!

Покачав задумчиво головою, Меншиков добавил:

— Численность гарнизона вам известна?.. Впрочем, она ведь сильно увеличится, как только подойдут туда суда с десантом...

— В Евпатории много молодых татар, которых турки привели к присяге султану и обучают стрельбе,—уклончиво ответил Хрулев на вопрос князя, и тот понял это и выпятил неодобрительно губы.

— Вот видите! Численность гарнизона вам неизвестна, но, между прочим, много татар со всего Евпаторийского уезда... и из других, ближайших к нему... Эти будут защищаться отчаянно, потому что... им больше ничего не остается... Затем-с, весь, может быть, десантный корпус Омер-паши,—а это, как писали в газетах, двадцать шесть тысяч... У вас же в распоряжении, даже считая восьмую дивизию, может быть сколько же всего? С небольшим тысяч двадцать? Затея безумная! Нет-с, это положительно может обернуться вторым Севастополем, только уже для нас! Блокировать, имея в виду, что там турки, это—одно, а штурмовать... штурмовать, чтобы бессмысленно положить там половину отряда, а со второй половиной бесславно уйти, как от Силистрии?..

Меншиков смотрел теперь на Хрулева недовольно и даже уничтожающе, и, заметив это, Хрулев отозвался запальчиво:

— А я ручаюсь, что Евпаторию взял бы штур-

мом после двухчасовой бомбардировки, ваша светлость!

Главнокомандующий изумленно поднял седые пучки бровей.

Этой самонадеянностью своей Хрулев очень живо напомнил ему генерала Липранди, который в начале октября вызывался сбить союзников с Сапун-горы, если получил бы во временное командование весь четвертый корпус для этой цели. Тогда он решил отказать этому предприимчивому начальнику дивизии, а командир четвертого корпуса Данненберг испортил все дело в бою при Инкермане.

Теперь, как и тогда, перед Меншиковым стоял очень важный вопрос, можно ли доверить такое слишком рискованное, со всех точек зрения безнадежное дело этому черноусому генералу с горячей головой, вдобавок очень мало ему известному.

Оценивая его про себя, он спросил наконец:

— Вы, кажется, командовали штурмом коканской крепости Ак-Мечеть в отряде Перовского?

— Точно так, ваша светлость,—эта крепость была взята мною, за что я и был его величеством награжден чином, который теперь ношу,— ответил не без достоинства Хрулев.

— Да, да-с... Но ведь согласитесь сами, что какая-то там Ак-Мечеть это совсем не то, что Евпатория!

— Это не подлежит никакому сомнению, ваша светлость! Но ведь тогда у меня было всего только семь орудий, а теперь я рассчитываю иметь сто, которыми огонь гарнизона будет непременно потушен не больше как за два часа!

Меншиков долго глядел на Хрулева молча и попрежнему изучающе: действительно ли родился он под такою завидно-счастливою звездою, или же он вызвал его в Крым из армии Горчакова только затем, чтобы испортить благодаря ему свой послужной список, уже достаточно, кажется, и без того испорченный полной неспособностью нескольких горчаковских генералов?

Хрулев же, со своей стороны, глядевший на главнокомандующего не отрываясь, заметил, что у него был положительно вид жертвы, когда он начал говорить наконец, часто останавливаясь, повидимому, выбирая слова:

— Государь желает штурма и... и, разумеется, взятия Евпатории, и мы должны это сделать... должны, вы понимаете?.. Но мы здесь, на месте, больше знаем, как сильна Евпатория... как сумели ее укрепить за несколько месяцев... Кроме того, я считаю нужным... напомнить вам... что шпионы из татар, разумеется, дают им там знать обо всем... что делается в отряде Врангеля... Вы только еще примеряетесь к штурму, а там уже все-е известно-с! Вы следите за ними, они за вами... Вы группами конными на рекогносцировки выезжаете... они же мотают это на ус! Зрительные трубы есть ведь и у них, а также мозги в головах. Кроме того, ведеты их стоят, конечно, везде... где только можно было им их поставить... Ведь вот мы еще только думаем с вами, можно ли на них напасть, а уж четыре парохода английских... повезли туда от херсонесского маяка войсковые части... А когда этот наш замысел станет для них уже бесспорно явным, что тогда будет?

Хрулев решил промолчать, а Меншиков совершенно неожиданно для него закончил заговорщицким шопотом:

— Я могу вам разрешить по-пыт-ку штурма,— только попытку... Но зарываться, чтобы зря истребить половину отряда... этого я... это я решительно вам запрещаю!.. Вы меня понимаете, надеюсь, а?

И главнокомандующий посмотрел на своего генерала так проникновенно, что Хрулев невольно поднялся и вполголоса, так же заговорщицки ответил:

— Слушаю, ваша светлость!

Как бы сразу успокоенный догадливостью, которой не ждал от этой горячей головы, Меншиков заговорил после этого гораздо громче:

— Ну, а что касается плана ваших действий, то... обдумайте его как следует и мне передайте завтра... написанным в виде диспозиции... но где вы можете написать это? Я думаю, что вам можно бы было устроиться... у флигель-адъютанта Волкова... Да кстати, вот его вы могли бы взять... в начальники штаба своего отряда... как представителя его величества... А со своей стороны я могу вам дать подполковника Панаева... Панаев, он—лейб-улан... полезен вам будет при рекогносцировках... у него есть в этом опытность... Да и вообще можете ему поручить что-нибудь ответственное, он выполнит с успехом...

Помолчав несколько, он добавил:

— Что же касается до того, чтобы отливать пули,—я разумею, конечно, пули нового образца для наших ружей,—то этим уж вы займетесь после дела...

Вложив некоторую игривость в последние слова, Меншиков простился с Хрулевым с виду непроницаемый, однако заметно утомленный не одною только длительностью беседы, но и скрытым смыслом ее.

2

Бывает иногда так, что человек может развернуться широко и совершить громкое дело, если не целую вереницу подобных дел, но не находит случая развернуться. Между тем все данные для этого он имеет, даже больше того: они всем кругом бросаются в глаза, эти данные, они для всех очевидны...

«Талант!—говорят о нем все,—умница!.. Большого полета птица!» Однако как-то складываются обстоятельства так, что этой «птице большого полета» не дается возможности высоко летать,—и вот талантливый архитектор, например, вынужден строить скромненькие обывательские дома, способнейший инженер казенно работать на худосочном заводишке, а смелый исследователь, человек, рожденный для глубоких и важных обобщений, прозябает всю жизнь каким-нибудь статистиком областного масштаба...

Но чаще все-таки бывает так, что случаи летать предоставляются судьбой, однако при этом подсовывается также и неуклонный предел каждого полета, и меру личных сил летуна суживают и сжимают черствые обстоятельства, предписанные извне.

Тогда жизнь проходит не то чтобы в безвестности и тоске по не воплощенным созданиям, а в понятной горечи от того, что движется она по нелепо укороченной орбите.

Так именно и сложилась жизнь Степана Хрулева.

Он еще с детства знал о себе, что в какой-то, хотя и трудно определимой степени приходится сродни самому непобедимому русскому герою Суворову, так выходило из родословных книг, что фамилии Суворовых и Хрулевых шли от одного общего корня,—и военную карьеру он выбрал себе сам еще с ребячьих лет.

Это было и неудивительно, пожалуй: нашествие Наполеона застало его пяти-шестилетним, и он воспитался на обаянии победы над величайшим военным гением новых времен.

Но, готовясь в офицеры, он отнюдь не был так практичен и рассудителен, как большинство его товарищей-кадетов, высчитывавших, через сколько лет службы и в каких именно рядах войск выйдут они в полковники, чтобы в силу этой весьма доходной,—особенно в кавалерии,—должности иметь со временем возможность приобрести имение в тысячу душ: на меньшем не хотели мириться пятнадцатилетние кадеты.

Хрулев-кадет мечтал только о боевых подвигах, и первая война, в которой удалось ему проявить себя, была Польская война 1831 года [1].

Тогда, за неполный год войны, он оказался участником тринадцати сражений, что доставило ему несколько орденов и повышение в чине. Однако и сражения эти были незначительны сами по себе, и участие его в них поневоле ввиду его молодости могло быть только скромным, поскольку он был артиллеристом и в его распоряжении бывало не больше полубатареи.

Но вот наступили глубоко мирные времена. Чины, правда, шли, и вожделенный для практических кадетов чин полковника он получил к концу сороковых годов, но развернуться, как бы ему хотелось, на полях сражения не представлялось возможности: не было таких полей. Поэтому-то, чуть только стало известно в 1849 году, что русские войска будут двинуты в Венгрию, Хрулев воспрянул духом: теперь он был уже не юный прапорщик около двух-трех орудий, теперь ему могли бы доверить серьезное дело.

Но война шла вяло. Из непонятных Хрулеву побуждений престарелый фельдмаршал князь Варшавский действовал чересчур осторожно, задавшись очевидной целью потушить восстание больше передвижением своих войск, чем боями. Хрулев сам напрашивался на разные рискованные дела, но получал отказы.

Наконец ему, полковнику артиллерии, дали совсем маленький партизанский отряд—два эскадрона драгун и сотню казаков при двух орудиях. Командуя этим ничтожным отрядом, Хрулев должен был висеть на хвосте отступавшей в направлении на город Лозонч Венгерской армии, предводимой одним из вождей восстания—Гергеем.

Висеть на хвосте отступавших было делом нехитрым, но Хрулев по своей горячности слишком далеко оторвался от русских сил, находившихся под командой генерала Засса и слишком уж вплотную прилип к арьергарду венгерцев, которые, дойдя до Лозонча, выставили против него кавалерийский полк и батарею.

Силы оказались весьма неравные, отступить безнаказанно уже не было возможности, поддержки своих ожидать было нельзя: казалось всем, что маленький партизанский отряд ждала неминуемая гибель.

Тогда Хрулев рассыпал своих конников всюду на пересеченной местности, которую занимал, с таким расчетом, чтобы их можно было принять издали за весьма внушительный отряд, и, в довершение этого, послал одного бойкого корнета с трубачом передать требование: если командующий венгерским отрядом не положит оружия добровольно, то будет немедленно атакован крупными силами.

Конечно, это предложение сдаться было приписано самому фельдмаршалу, однако для бравых корнета и трубача, появившихся перед полком венгерских гусар, был весьма критический момент, когда на них наскочило сразу двенадцать офицеров с обнаженными саблями, готовых изрубить их в капусту. Но требование Хрулева было передано молодым корнетом настолько твердо и прозвучало так внушительно, что заставило наскочивших задуматься.

Дали знать о прибытии русского парламентера самому Гергею в Лозонч, где одной кавалерии было четыре тысячи человек. Хрулев же тем временем решил подкрепить корнета еще и ротмист-

[1] Польская война 1831 г. была вызвана восстанием в Польше, начавшимся в конце 1830 г. Русские войска были в 1831 г. введены в Польшу и—под командованием Дибича, а после его смерти—Паскевича—овладели всей Польшей.

ром, хорошо владевшим немецким языком, так что к Гергею явилось уже два парламентера.

Гергей, с одной стороны, был очень озадачен требованием сдачи, с другой—не имел точных сведений о числе и расположении русских войск, вошедших в соприкосновение с его армией, с третьей—поджидал отряд, шедший на соединение с ним, и медлил с ответом, всячески задерживая посланцев Хрулева.

Гораздо хуже чувствовал себя Хрулев.

Правда, благодаря посылке парламентеров ему удалось продержаться до наступления ночи, однако об отряде Засса у него не было никаких известий, так что явно был он еще очень далеко. Чтобы внушить венгерцам уважение к силе своей горсти драгун и казаков, он приказал зажечь как можно больше костров и поддерживать их всеми способами целую ночь.

Была надежда, что за ночь успеет подойти хотя бы авангард отряда Засса, но наступало уже утро, казаки, посланные навстречу своим, вернулись на взмыленных конях ни с чем. Хрулев видел, что с восходом солнца венгерцы проникнут в его обман; поэтому, чуть забелело на востоке, он отправил в тыл бывшие с ним два орудия под прикрытием одного эскадрона, а с другим эскадроном и с казаками решил как можно дороже продать свою жизнь, но не сходить с места.

Однако с восходом солнца начал отступать от Лозонча Гергей, и торжествующий Хрулев видел, как тянулась, уходя от его эскадрона и сотни, многочисленная кавалерия впереди армии венгерцев, как двигались за нею полки пехоты, с орудиями в середине, потом бесконечные ряды повозок обоза и, наконец, снова кавалерия в арьергарде.

Вскоре после этого счастливого для Хрулева случая Гергей действительно сдался со всей своей армией Паскевичу, видя невозможность сопротивляться соединенным русско-австрийским войскам, а в записках своих впоследствии он признал, что мысль о сдаче подал ему не кто иной, как «дерзкий русский полковник Хрулев».

Из Венгерской кампании Хрулев вышел генерал-майором, что дало уже ему возможность проситься в действующую армию на Кавказ.

Это назначение он получил, но Кавказская армия представляла свой особый мир, в котором было гораздо больше отведено места кумовству и интригам, чем крупным боевым действиям. Там создавались военные карьеры и блистали свои имена.

Пробездействовав там около двух лет, Хрулев вывез оттуда только неизменную любовь к бурке, папахе и белому кабардинскому коню.

Но вот оренбургский генерал-губернатор Перовский затеял экспедицию против коканцев, разорявших своими набегами подвластных России кочевых киргизов, угоняя их стада. Целью экспедиции была сильнейшая в Средней Азии коканская крепость Ак-Мечеть, оплот хищников. Экспедиция эта снаряжалась, конечно, самим Николаем, и начальником отряда был назначен Хрулев.

Отряд двинулся из Оренбурга сперва к укреплению Аральскому, за шестьсот шестьдесят верст, куда прибыл в конце мая, сделав переход этот при сорокаградусной жаре, частью песками Яман-Кум. Отсюда вдоль реки Сыр-Дарьи, сделав четырехсотверстный поход за месяц, одолев и жгучий зной и пустыню Кара-Кум, русские солдаты добрались, наконец, до Ак-Мечети.

Крепость оказалась, как крепость,—четыреугольник стен с восемью фланкирующими башнями; стены, сделанные из твердой глины, были толщиною в четыре сажени при такой же, четырехсаженной, высоте по отвесу; кроме того, на гребне стен торчали зубцы вышиною в полсажени. Огромный ров был выкопан перед стенами, но артиллерия крепости была слаба,—всего три орудия; гарнизон тоже невелик: четыреста человек.

Все приготовления к осаде и штурму крепости велись по распоряжениям Хрулева; он же указал саперам удобнейшее место для перехода через ров, наполненный водою, чтобы заложить мину под стеною.

Мина была взорвана рано утром, и тогда Хрулев повел лично штурмовые колонны в образовавшуюся брешь.

Коканцы защищались отчаянно, и крепость была взята не без потерь, но взятие Ак-Мечети, переименованной после в «Форт Перовский», сильно встревожило англичан и явилось одним из поводов к начавшейся вскоре Восточной войне.

Восточная война перебросила Хрулева на Дунай, но на Дунае был достойный ученик старчески осторожного и медлительного фельдмаршала князя Варшавского Горчаков 2-й, поэтому дела в общем шли тихо, и случаев крупно отличиться не представлялось.

Было одно не совсем рядовое дело под Каларашем, где удалось разбить шеститысячный отряд турок, перебравшихся на левый берег Дуная, и тут Хрулев показал, кроме редкостного уменья владеть солдатами, еще и большую личную храбрость, но он командовал только левым крылом русских сил, и не ему досталась вся честь победы.

Зато ему безраздельно принадлежал успех сражения с отрядом Омер-паши под Туртукаем, причем это дало возможность Горчакову беспрепятственно перейти Дунай со всей своей армией под Систовым.

На Дунае же в двух местах—под Систовым и Никополем—Хрулеву удалось рассеять метким артиллерийским огнем турецкие флотилии. Наконец, он, имея под своим начальством Тотлебена, энергично начал было действовать под Силистрией, занимая острова на Дунае и устраивая на них батареи, но от Силистрии неожиданно для себя был

он оторван новым назначением: командовать авангардом, прикрывавшим главные силы русских от нападения турецкой армии со стороны Шумлы.

Эта новая задача, возложенная на Хрулева, была им выполнена тоже вполне удачно: он разбил турок последовательно в двух сражениях: в конце мая и в начале июня 1854 года. Но Дунайская кампания уже кончилась, русской армии приказано было оставить Силистрию и очистить Молдавию и Валахию.

Развернуться так, как ему бы хотелось, Степану Хрулеву не удалось и тут, на Дунае. Однако он заставил говорить о себе, решительно выдвинувшись из серой массы затурканных и задерганных генералов армии Горчакова. Это-то и заставило Меншикова в декабре вызвать Хрулева в Севастополь.

Правда, хлопотать о том, чтобы непременно попасть в число защитников Севастополя, начал, конечно, сам Хрулев, но он приехал сюда в зимнюю распутицу, бездорожье и затишье на фронте.

И как же было ему, несмотря на все намеки Меншикова, вдруг взять и отказаться, подобно Врангелю, от такого, первого за всю его боевую работу действительно и по-настоящему крупного дела, как штурм Евпатории?

Это дело, несмотря на всю его трудность, сваливалось на него, как вожделенная цель его давнишних мечтаний... В его руки давался уже не маленький отряд, а мощная двадцатитысячная сила с целой сотней орудий. Это дело должно было при удаче совершенно обезопасить тыл героической и многострадальной русской армии, отстаивающей Севастополь; это дело при удаче должно было совершенно спутать все карты интервентов.

Степан Хрулев понимал важность этого дела, как короткого, но очень сильного удара по рукам слишком обнадеженного и своим численным превосходством и своею лучшею боевой техникой врага.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
НАЛЕТ НА ЕВПАТОРИЮ

1

Через день Хрулев выезжал из Севастополя помолодевшим на десять лет: мысль о захвате Евпатории стремительным штурмом с трех сторон завладела им с головы до ног.

Он уже начал эту военную операцию в ставке на Сухой балке тем, что «выторговал» у Меншикова в дополнение к полкам 8-й дивизии еще один полк—Азовский, который был знаком ему по Дунайской кампании и который здесь так блестяще овладел редутом на холме Канробера в Балаклавской долине в деле 13 октября.

Перед выездом побывал Хрулев в этом полку сам, долго говорил с командиром его Криднером и офицерами, шутил с солдатами и покинул его на спешных сборах к походу, решив именно этот боевой бравый полк поставить в первую линию при штурме.

Он знал, что в его распоряжении будут еще резервные батальоны Подольского полка, стоявшие по деревням под Евпаторией, но на эти батальоны не было у него твердых надежд: они целиком состояли из молодых необстрелянных солдат; полки же 8-й дивизии были еще на пути к Перекопу, и хотя он несколько знал эти полки, но им, как неминуемо растрепавшимся в дороге, отводил место во второй линии и в резерве.

С князем Урусовым, начальником 8-й дивизии, отношения у него создались еще там, на Дунае, почти приятельские, главным образом потому, что каждый из них считал другого гораздо глупее себя. Оба они признавались в армии хорошими шахматистами и часто играли друг с другом с переменным успехом.

Часть кавалерии, особенно драгун дивизии Врангеля, Хрулев решил спешить и придать к батальонам азовцев, и в разгоряченном мозгу его теперь, когда он ехал вместе с Волковым и Панаевым туда, к Евпатории, батареи, батальоны и эскадроны теснились, как фигуры на полной шахматной доске, вполне определенно известные ему по своим свойствам, но в то же время несколько тревожаще-загадочные по тому поведению, которое выкажут они в предстоящем деле.

Нервная вздернутость делала его многоречивым не по чину, но его просто угнетало то, что и медлительный Волков и осторожный Панаев держались с ним так, как принято у политичных людей держаться с новым начальством.

Хотя было всего только 28 января, но воздух плыл навстречу чудесный, весенний, плотный, теплый, бодрящий и даже как будто с запахом каких-то луговых цветов, хотя начинали зацветать пока только одни крокусы, приютившиеся около грабовых и дубовых кустов; их золотые звездочки сияли ярко и веселили душу Хрулева, и он говорил возбужденно:

— В бытность мою в Кавказской армии слышал я об Ермолове Алексее Петровиче, что отрубил он шашкой голову быку с одного взмаха— вот какая была сила у него в молодых годах! Вот каков был когда-то главнокомандующий русских войск!

Панаев же, которому в этих словах Хрулева послышалось косвенное осуждение Меншикова, не способного убить и муху, отозвался на это сдержанно:

— О бычьей голове я тоже слыхал, но мне говорили и так, что голова эта придумана впоследствии для пущей важности.

— Пусть даже и так,—подхватил Хрулев ожи-

вленно,—пусть даже и придумали насчет бычьей головы, однако вот же нам с вами ее и после смерти нашей не подбросят, а Ермолову сейчас уж девятый десяток идет, и он ничего себе, дубдубом стоит, повыше нас с вами головы на две и пошире раза в четыре! Если бы силы большой не было, до таких дремучих лет не дожил бы, будьте покойны! А жен у него на Кавказе осталось—десятки! Есть и черкешенки, и армянки, и у всех ребята от Ермолова выросли—богатыри-богатырями!.. Можно сказать, если граф Орлов-Чесменский орловскую породу рысаков завел, то этот на Кавказе ермоловскую породу людей оставил, чорт побери! А насчет бычьей головы—это было бы здорово, чорт, перед солдатами проделать!.. На празднике полковом, например, поставить солдат амфитеатром, чтобы каждому ряду было видно,—в середине Ермолов с шашкой, в виде матадора испанского, и вводят в круг быка на веревке, в губах кольцо, глаза кровью налиты, хвостом по ляжкам бьет и ревет,—вот-вот тех, кто его ведет, на рога подденет!.. Тут-то шашку и пустить в дело! Только один взмах, чорт побери! Блеснула шашка—и голова бычья стала сама по себе, рогами в землю, а туша тоже сама по себе со всех четырех копыт брык!.. Вот бы солдаты ахнули!.. Да они бы за подобным генералом после того куда угодно на карачках бы полезли, батенька мой! И никакие бы им валы и стены нипочем были...

Видно было едущему слева Панаеву, что бычья голова эта совершенно пленила воображение Хрулева, что он ее ему ни за что не уступит; Хрулев же продолжал с немалым жаром:

— А генерал Булгаков, Сергей Александрович,— его тоже кое-кто из стариков помнит еще на Кавказе... В начале века он там командовал войсками на линии... Семьдесят лет уж ему тогда было, а на самом горячем жеребце персидском за зайцем мог скакать, как мальчишка!.. Подковы гнул и ломал в семьдесят лет, чорт побери! Росту был колоссального, голосище протодьяконовский... Как закричит на весь лагерь: «Ре-бя-та, ва-лись!»—так «ребята» и валят к нему на обед, то есть все офицеры от прапорщиков до полковников... А он сидит в своей палатке и табак собственноручно трет для табакерки, чорт побери,— вот фигура!.. А вино у него за столами пили из бычьих рогов, оправленных в серебро, и перепить его, семидесятилетнего, никакой чорт не мог, не то что протодьякон! Вот какие были генералы в старину, когда гремели наши солдаты на весь мир! Солдат любит что именно? Чтобы генерал был первый солдат в армии!.. Чтобы он и быкам головы рубил, и подковы ломал, и чтобы на коне он скакал, как чорт, и чтобы перепить его никому было нельзя!.. А когда, знаете ли, ты от солдата требуешь, а сам этого сделать не можешь, то какой же к чорту ты генерал тогда? Вот также и генерал Хрулев: боится воды!.. Да-да-да, вы представьте только! Как только ему купаться, он двух казаков с собою берет, как маленький... Непобедимо боюсь утонуть и ничего с собою не могу поделать, господа!.. Страдаю водобоязнью!

И даже как-то не совсем весело захохотал после этого Хрулев, показав все свои еще крепкие, крупные зубы и сощуренными от хохота глазами наблюдая в то же время то Волкова, то Панаева, как отнеслись они к его откровенности насчет водобоязни.

Между тем грунт дороги, по какой они ехали, чем дальше, тем становился коварнее. Грязь несколько подсохла сверху, больше от ветров, чем от солнца, зато стала до чрезвычайности вязкой. Лошади едва вытаскивали ноги, вынося на них с каждым шагом все больше тяжести, точно деятельно и проворно кто-то штукатурил им ноги этой известково-глинистой массой.

— Эй, благодетели!— обернувшись, крикнул звонко Хрулев казакам конвоя.—А ну-ка, гони сюда!

Казаки гикнули на коней и скоро появились рядом.

— Сто-ой! Найди-ка там где-нибудь, хлопцы, щепку или что,—ботфорты эти неформенные с лошадей наших снять... да и со своих тоже...

И казаки, спешившись, принялись счищать плотно приставшую к лошадиной шерсти толстым и прочным слоем грязь, а Хрулев в это время, думая о будущем штурме, говорил, обращаясь к Волкову:

— Вот, например, то, о чем не имеют ясного представления там, в Петербурге,—и указывал пальцем на передние ноги своего белого, около которых возился казак.—Солдаты идут по команде «Вперед, марш», а за ноги их эта вот стерва клещами держит... Оттуда же, куда они идут, лупят в них всеми возможными средствами... В результате огромнейшие потери, а кто будет виноват в них? Грязь? Нет, она в реляции не попадет, конечно...

Волков подумал, посопел широким носом и ответил не на вопрос:

— В таком состоянии грязь ведь не может долго держаться... Она или высохнет, или, если дожди пойдут, станет жиже...

— Или замерзнет,—добавил Панаев,—потому что заморозков еще можно ждать сколько угодно, если даже не настоящих морозов градусов на пятнадцать.

— Ого! Это недурно!—подхватил Хрулев весело.—Если бы можно было заказать там, на небеси, подобный мороз, я бы его непременно заказал и даже месячное свое жалованье дал бы в задаток!

Добравшись до аула Бурлюк, Хрулев расположился там на отдых. Сожженные во время Алминского боя сакли аула татары успели уже местами поправить и заселить снова, а трактир попрежнему стал гостеприимен, изобиловал жареной бараниной и вином, и хозяин его, оборотистый словоохотливый татарин с коротко подстриженной чалой бородой, чувствовал себя прекрасно, так как недостатка в гостях у него не было.

И сидя с двумя своими спутниками, после баранины, жареной с картошкой и приправленной красным перцем, за стаканами вина, Хрулев говорил, сияя ярко раскрасневшимися щеками и кивая на толпившихся в трактире татар:

— Во время оно, как вам и без меня, господа, известно, крымцы и ногайцы только и делали, что ходили конно, людно и оружно на Московскую Русь за молодыми бабами и девками, за парнями и ребятами и десятками тысяч гнали бедняг во полон... А потом в той же самой Евпатории и в Кàфе—Феодосии[1] на базаре продавали их турецким купцам... Погибла бы давным-давно эта Турция, я вам говорю, если бы не подливали к ней в жилы каждый год русской крови! Русские девки и бабы шли в гаремы, рожали там полурусских ребят; русские парни женились на турчанках, от них шли тоже полуроссы; ребятишки русские подрастали, турчились, принимали магометову веру,— становились волками-янычарами... Вот и в Евпатории теперь... Говорится только, что в ней турецкий гарнизон, а попробуй-ка, посчитайся с этими турками роднею! Может статься, что не одна сотня там на командных должностях найдется таких, что у них прадеды были Петры да Иваны, а прабабки—Матреши да Мавруши... Такие биться будут на совесть... Вот вы сказали мне насчет мороза в пятнадцать градусов,—кивнул он Панаеву,—а не скажете ли, кстати, и того, какому святому надо о подобной оказии молиться, чтобы как раз в день штурма такой именно мороз и ударил!.. Вот тогда можно быть уверенным, что Евпатория будет в наших руках.

— А почему же все-таки такое значение большое имел бы мороз, ваше превосходительство?— учтиво осведомился Панаев.

— Почему именно?.. Вот они знают, чего я опасаюсь,—повел Хрулев головою в сторону Волкова.—Мы вместе объехали всю линию укреплений турецких и знаем, что рвы пока сухи... Но что если инженеры там,—французы они или англезы,—устроили нам сюрприз? Что если, чуть только мы на приступ, они откроют, например, шлюзы, и вода из моря хлынет сразу во все рвы?.. А рвы там, нужно вам знать, широкие и глубины большой. В море же воды, как вам известно, достаточно для каких угодно рвов... Вот вам и образуется барьер, через который не перескочишь... Генерал же Хрулев, как он вам сказал, страдает водобоязнью... потому что отдает себе ясный отчет, сколько будет стоить солдатских жизней подобный барьер. А если пятнадцатиградусный мороз вздумает к нам пожаловать, то снимет тогда Хрулев свою папаху и поклонится этому благодетелю в ноги!..

[1] Феодосия называлась у турок Кáфа.

2

Приехав в расположение кавалерийского корпуса, Хрулев не дал себе и часу отдыха: он тут же вступил в командование отрядом, проявляя при этом деятельность, совершенно изумившую Панаева.

Между прочим Панаеву как штабному работнику лучше, чем кому-либо другому, известно было непомерное самолюбие генералов и их вечные ссылки на старшинство в чинах и даже во времени производства в чины, поэтому у него были опасения, что Врангель в чем-нибудь заартачится, не захочет быть в подчинении у своего же начальника штаба. Но неожиданно с этой стороны все обошлось благополучно.

Врангель, правда, был удивлен таким скачком Хрулева через его голову с разрешения самого главнокомандующего, но все-таки быстро примирился с этим. Панаев, как адъютант Меншикова, передал ему личную просьбу светлейшего не оставлять увлекающегося Хрулева своими советами, и Врангель торжественно обещал «всемерно помогать и содействовать успеху предприятия, во всех отношениях рискованного».

У него и раньше был вид человека, удрученного опасениями и не уверенного в своей судьбе. Ему не нравилось находиться в близком соседстве с Евпаторией; это соседство не сулило ему ничего доброго. Теперь же он был обеспокоен вдвойне, потому что в «успех предприятия» совершенно не верил, очень его боялся и то и дело твердил Хрулеву:

— Меня утешает только одно,—что вы самоотверженно сняли с меня всякую ответственность, Степан Александрович! Вы благороднейший человек, дорогой Степан Александрович!.. Позвольте дружески пожать вашу руку, родной мой Степан Александрович!

Но и при всей утешительности этого обстоятельства заметно было, как обычно лиловый шрам на правой стороне его головы побледнел от испытываемых волнений.

Еще когда только подъезжал от Севастополя к Евпатории Хрулев, он не мог утерпеть, чтобы не свернуть с прямой дороги в сторону тех самых озер, около которых производился десант интервентов в сентябре предыдущего года. Отсюда, держась близко к берегу моря, он выбрался к

кургану, стоявшему близ правого фланга евпаторийских укреплений. Ему непременно хотелось с этого кургана рассмотреть, не прибавилось ли и насколько именно, если прибавилось, орудий у противника. Однако курган этот оказался занят пикетом конных татар, которые открыли стрельбу и, слышно было, ругались по-русски.

Но эта разведка дала Хрулеву толчок к тому, чтобы именно с этого фланга,—правого для противника, левого для русских войск,—начать приступ. Тут, кроме кургана, который господствовал над местностью и мог быть занят без всяких потерь, лежало еще в стороне и кладбище, способное укрыть до двух батальонов пехоты. Перед фронтом же и с другого фланга тянулась открытая ровная степь, и тут всю надежду можно было класть только на артиллерию. Хрулеву представилось очень ярко, как именно отсюда, от кургана и кладбища, врываются азовцы в укрепления правого фланга турок так же точно, как ворвались они в редут № 1 в Балаклавской долине, и только тогда он дает сигнал, чтобы и две другие колонны его войск—центральная и правофланговая—шли на приступ.

В этот же заезд верстах в девяти от Евпатории, в тылу кургана и кладбища, облюбовал он себе под главную квартиру покинутый владельцем помещичий дом в имении Ораз, возле деревни Хаджи-Тархан, а на другой день переселился туда и разместил около себя свой скороспелый штаб.

Панаев, пробывший довольно долгое время адъютантом Меншикова, привык к тому, что тот обдумывал план сражения про себя и молча и только потом или писал сам, или диктовал совершенно готовую, но очень скупую на слова диспозицию, в которой множество невыясненных мелочей предоставлялось решению начальников отдельных отрядов.

Совсем не то он видел у Хрулева. Этот черноусый, некрупного сложения человек с блестящими цыганскими глазами обладал большим воображением и какою-то неистощимой энергией. Еще за несколько дней до штурма он уже шел на штурм, шел каждый час, каждую секунду часа, мгновенно перевоплощаясь то в батарею, то в батальон, то в отдельную роту пехоты, то в эскадрон драгун, то в саперов, то в санитаров с носилками для раненых, то в фельдшеров и врачей перевязочных пунктов, то, наконец, в кашеваров, которые в тылу, в безопасном от неприятельских снарядов месте должны будут расположиться, чтобы приготовить обед для резервных частей, для раненых, для всех, кто будет иметь возможность обедать в день штурма...

В расстегнутом мундире или даже совсем без мундира, чтобы ничто не стесняло его движений, то загребая, то отгребая тощими на вид, но жилистыми руками, то сгибаясь в поясе, то выпрямляясь внезапно, он метался по канцелярии своего штаба, всем в нем задавая работу по диспозиции.

Каждый день рано утром, чуть брезжило, он выезжал с кем-нибудь из своих штабных на рекогносцировку, подъезжая очень близко к неприятельским укреплениям и вызывая тем против себя оживленнейшую пальбу. И с каждой такой прогулки под пулями он привозил в штаб что-нибудь новое, не вложившееся еще в диспозицию, не предусмотренное раньше, не представленное им прежде во всей своей яркой очевидности и осязаемости, однако важное.

— А штурмовые лестницы!—кричал он вдруг, едва входя в штаб, с розовыми от возбуждения щеками.—Послать приказ всем эскадронным командирам дивизии генерала Корфа, чтобы скрыто,—подчеркнуть это,—скрыто и непременно секретно где-нибудь в сараях, в конюшнях сейчас же начать работу по постройке лестниц указанного образца... А какого же именно образца,—позвольте! Образец—образцом, а лес—лесом! Надо иметь в достаточном количестве лес для постройки лестниц. Озаботиться этим вопросом капитану Мартынову! И ни минуты не мешкая, чорт побери, извольте ехать сейчас же!.. А если чаю еще не пили, то проглотите на-скорях стакан чаю и марш, голубчик,—дело это не может ждать!

Мартынов, молодой штабс-капитан артиллерии, был при Хрулеве для особых поручений. Конечно, он тут же мчался в расположение дивизии улан барона Корфа хлопотать насчет штурмовых лестниц.

Или вдруг возникал вопрос у Хрулева:

— А как же так, господа, собираемся мы штурмовать и занимать Евпаторию, а расположение евпаторийских улиц и площадей? Может быть, вы привезли из Петербурга план Евпатории?—обращался он к Волкову.

— План Евпатории?—удивился Волков.—А разве здесь нельзя достать этого плана?

— У кого прикажете его доставать? Где доставать? Ведь я, лично я,—стучал пальцем себе в грудь Хрулев,—числился до сего времени начальником штаба евпаторийского отряда и отлично знаю, что никакого плана города у нас не было и нет... и никто о нем не вспоминал даже... А между тем, господа, как же без плана, а? Как же можно без плана, чорт побери?.. Вот у нас уже имеется в диспозиции, чтобы образа из православной церкви, хоругви, подсвечники, престол с антиминсом—всю вообще церковную утварь вынести на площадь на предмет отправления в наш лагерь... А вдруг там не одна площадь, а две или целых три? На какую же именно площадь? Ведь так всех с толку можно сбить, чорт побери! Один будет тащить подсвечники на одну площадь, другой хоругви на другую,—ищи потом, где что!.. А ведь наша задача какая? Осно-

вательно ограбить Евпаторию, однако не жечь! Евпатория русский город,—русским и будет; жечь его—свое добро жечь,—преступление выше головы! Вывезти оттуда что ценное—это другое дело! Так и солдат всех оповестить: «Грабь с дозволения начальства!» Если солдатам обещать грабеж, да они к чорту на рога полезут!.. Но ведь на вальяжный грабеж нам не дадут времени неприятельские суда, значит это надо проделать с быстротой фокусников,—не так ли? А как же это проделывать, когда плана города ни у кого нет?.. Вы были когда-нибудь в Евпатории?—обратился Хрулев к Панаеву.

— Никогда не приходилось,—ответил Панаев.

— Чорт побери! Остальных хоть не спрашивай! Но, может быть, чертить планы умеете? Приходилось? И чтобы красками, как следует, а?

— Это могу, пожалуй.

— Можете? Отлично-с... Узнайте у кого хотите, как там и что в Евпатории,—где какая улица, где какая площадь,—и живым манером соорудите... Сколько именно? Десять?.. Нет, лучше уж всю дюжину, чтобы во все части раздать, чорт побери, и чтобы обязать, обязать непременно выучить этот план наизусть!

Панаев разузнавал расположение улиц и площадей в Евпатории и чертил и перечерчивал планы, другие писали и переписывали диспозицию, выросшую в толстую тетрадь, но все помнили при этом и о завтраках, обедах и ужинах, и о чае, и о сне; забывал обо всем этом, необходимом для поддержания энергии, один только Хрулев.

Просто даже как-то не находил времени для этого: подготовка к большой и, конечно, рискованной военной операции отнимала буквально все его время.

За обеденный стол он даже и не садился: пожует что-нибудь схваченное на ходу, запьет двумятремя глотками оставленного кем-нибудь из чинов его штаба холодного чая и опять принимается за диктовку все той же диспозиции, повторяя при этом:

— Кажется вам, господа, что это мелочи, однако от копеечной свечки целая Москва сгорела!.. А знаменитый подковный гвоздь?.. От потери гвоздя пропала подкова, от потери подковы пропал конь, от потери коня пропал всадник, от потери всадника пропала битва, от потери битвы пропало войско, от потери войска пропало царство! Итак, запишите, не поленитесь, благодетели...

Дальше шло что-нибудь, относившееся или к порядку движения отрядов к месту боя, или к размещению их в боевой линии, или к поведению их в городе, когда он будет захвачен после штурма...

Но работой над подробнейшей диспозицией не ограничивался Хрулев.

Он вызывал к себе в Ораз то одного, то другого из командиров отдельных частей, расспрашивал их, оценивая при этом, чего они стоят, насколько можно на них положиться; отдавая им приказания, заставлял их, как солдат, повторять, чего именно он от них хочет, и отпускал, только окончательно убедившись, что дело свое они представляют ясно и его исполнят.

Однако и этого ему казалось мало; он вызывал еще и адъютантов и ординарцев их и им втолковывал то же самое, чтобы не случилось ошибки по забывчивости их прямых начальников: он не возлагал больших надежд на человеческую память.

Иногда, уставая от напряжения, он кидался на оттоманку, чтобы отдохнуть, и тогда можно было видеть, как он то поднимал ноги кверху, то сгибал их в коленах, то разводил их, то сводил, то вытягивал правую, стараясь вытянуть и носок, то левую, но при этом действовал и руками, проделывая ими шведскую гимнастику.

Это он называл отдыхать и, отдохнув так минут пять-шесть, снова вскакивал и кого-нибудь вызывал к себе, наставлял, втолковывал, относясь при этом ко всем не наигранно дружески и только в случаях крайней непонятливости кого-нибудь хватался за голову и говорил горестно:

— Вот какой уж я стал дурак: не могу объяснить человеку!.. Пропало дело!

3

Пришел Азовский полк с генералом Криднером во главе; подтянулись резервные батальоны Подольского полка... Для действий 8-й дивизии была уже написана особая, притом обширнейшая инструкция, но самой дивизии пока еще не было, и никак не удавалось, несмотря на все уловки казаков по ночам, добыть «языка», чтобы узнать, много ли гарнизона в городе.

Напротив, с русской стороны перебежал в стан противника один улан-поляк. Он был денщиком у одного эскадронного командира и вдруг как бы затосковал по военным подвигам и начал просить своего ротмистра позволить ему хотя бы раз постоять на передовых постах.

Ротмистр оказался добродушно настроенным, похвалил даже его за такое желание и нарядил в аванпосты.

Только и видели этого улана: изменник ускакал и передал, что на город готовится нападение, что уже идет работа по устройству штурмовых лестниц... Рекогносцировка, предпринятая на другой день после этого самим Хрулевым, показала, как за одну ночь удвоилось число орудий на укреплениях и как стало на них людно от придвинутых резервов.

По всем расчетам 8-я дивизия должна была подойти 3 февраля, почему и штурм был назначен на 4-е. Но 2-го утром появились неожиданно для Хрулева волонтеры-греки, пять рот, всего

около шестисот человек, и заявили, что 8-я дивизия 3-го притти не сможет по причине глубокой грязи на дорогах.

На 4-е по диспозиции был назначен штурм, и это известие огорчило Хрулева, но греки-волонтеры упали к нему, как с неба в подарок: ему ничего не было известно о том, что приготовлена для него такая поддержка.

Но она и не была приготовлена для него: греки должны были итти в Севастополь, а к Евпатории свернули они вполне самовольно, прослышав в пути, что главный командир здесь теперь Хрулев, которого они успели хорошо узнать еще на Дунае, и что против него стоят турки под командой Омер-паши, а турок они знали гораздо лучше, чем даже Хрулева.

Именно с турками-то им и хотелось теперь, как всегда раньше, сражаться; к ним они были полны огненной ненависти.

В Дунайской кампании на стороне русских участвовало их не пять рот, а много больше. Но при отступлении армии Горчакова только им посчастливилось перебраться вслед за последними русскими частями на левый берег Дуная. Другие же греческие роты не успели этого сделать и остались на правом берегу вместе с беженцами-болгарами, так как мост очень спешно был разобран. И эти отставшие их товарищи были настигнуты тут турецкой кавалерией и зверски изрублены вместе с болгарами.

Среди серошинельных солдат отряда Хрулева прибывшие греки казались оперно-живописными в своих национальных костюмах. На них были коричневые и синие, щедро расшитые короткие куртки, больше похожие по форме своей на жилеты, под которыми за широкими кушаками из шалей располагался весь их огромный арсенал: пистолеты, ятаганы, кинжалы, по нескольку штук каждого вида оружия; кроме того, у всякого была привешена к тому же кушаку кривая турецкая сабля, а сзади красовался карабин... На головах круглые низкие суконные шапочки с кистями; лица у всех смуглые, обветренные, жесткие, из-под воинственного вида острых орлиных носов торчали лихие усы...

Пятеро капитанов их—командиры рот—гурьбою ввалились в штаб-квартиру Хрулева. Они сияли от удовольствия видеть боевого генерала, который встретил их, как старых своих друзей.

— Во-время вы подошли: я как раз собирался итти в атаку на Евпаторию.

— Очень хорошее дело, господин генерал!—отозвались ему капитаны через переводчика, так как ни один из них не говорил по-русски.

— Вот выберите-ка при мне себе старшего: он будет у вас за командира батальона,—предложил им Хрулев.

— Нет из нас никаких старших-младших: мы все равны между собою,—недовольно ответили капитаны.

— Помилуйте, что вы! Разве так можно!—улыбнулся Хрулев и сам выбрал из них наиболее плечистого и рослого за старшего.

Но капитаны сказали решительно и твердо:

— Все равно, господин генерал, мы его слушать не будем!

— Спроси их,—сказал переводчику Хрулев,—какого же чорта им нужно?

Оказалось, что они непрочь были бы подчиняться русскому штаб-офицеру. Тогда Хрулев подвел к ним Панаева.

— Вот,—сказал он,—штаб-офицер вам! Притом же это не простой подполковник, а целый адъютант самого главнокомандующего, князя Меншикова!

Это последнее обстоятельство явно понравилось капитанам.

— Очень хорошо, господин генерал!—радостно согласились они, и каждый из них счел своею обязанностью, любезно улыбаясь, похлопать дружески по спине Панаева и подать ему руку в знак признания его своим начальником.

4

В этот же день вечером встреченный на дороге разъездом казаков при офицере, заранее посланным для этой цели в сторону Перекопа, явился в штаб Хрулева и князь Урусов, опередивший свою дивизию.

Радостно-шумливо встретил его Хрулев. Широко раскрыв объятия, расцеловался с ним крепко. Тут же с приходу усадил его за горячий самовар и с первых же слов посвятил во все свои планы. Сказал и о том, что со штурмом Евпатории необходимо спешить, чтобы не дать противнику, предупрежденному уланом-изменником, подготовиться к защите свыше меры.

— Поэтому штурм я назначил на утро четвертого числа,—закончил Хрулев, сам наливая Урусову крепчайшего чаю и пододвигая к нему бутылку коньяку.

— На четвертое число чего? Февраля?—удивленно уставился в него Урусов несколько сонными, воспаленными с дороги глазами.

— Разумеется, февраля—не марта же!—удивился и Хрулев его удивлению.

— Это совершенно немыслимо, что ты!.. Дивизию после такого похода и вдруг—бух!—прямо под пушки! Дай же передохнуть хоть неделю!

Урусов был моложе Хрулева лет на семь-восемь, но его служба в смысле чинов и положения шла гораздо успешнее, чем служба Хрулева, потому что проходила в гвардии, на глазах царя.

Даже и теперь, после дороги, он значительно отличался от Хрулева этой нарочитой барствен-

ностью гвардейца, который и в те времена, как и гораздо позже, считал своею первой обязанностью снисходительно-свысока относиться к армейцу, независимо от того, кто бы он ни был.

Казалось со стороны, что и глаза он щурил не потому, что ему сильно хотелось спать,—что было бы извинительно, конечно,—а потому только, что этим было принято в его среде подчеркивать свое умственное и прочее превосходство. Продолговатое лицо его было холеное и руки тоже. Несмотря на то, что он попал к Хрулеву прямо с дороги, он был довольно чисто выбрит; Хрулев же, забывший об еде и сне, забыл также и о бритье и зарос колючей щетиной.

— Неделю передохнуть дать? Ты шутишь, что ли?—испугался Хрулев.—Когда же именно придет твоя дивизия?

— Когда именно, это, брат, сказать затруднительно,—растягивая слова, не спешил с ответом Урусов.

— Завтра начнет подходить, как я получил донесение... ведь так?

— Завтра может быть только один первый полк...

— Ну, вот и прекрасно! (Хрулев не ожидал и этого.) И чудесно, что завтра будет полк! Днем полк, вечером другой, ночью остальные два, а утром—пойдем штурмовать Евпаторию!

— Да, да, так я тебе и дал свою дивизию на убой!—пренебрежительно сказал Урусов.—Нет, брат, пока все до одного орудия в укреплениях не будут сбиты, я свою дивизию на штурм не поведу, как ты хочешь!

Хрулев принял это за дружескую шутку. Он даже расхохотался весело.

— Ну, еще бы, чудак ты, приказал я штурмовать раньше времени!.. Итак, значит, четвертого утром...

— Кто тебе сказал, что четвертого утром?—изумился Урусов.—Четвертого моя дивизия только-только подтянется!

— Это вполне серьезно ты?

— Совершенно серьезно, и ты сам это увидишь своими глазами...

Хрулев потемнел, забарабанил пальцами, вскочил, прошелся раза три по комнате, наконец сказал:

— Один день в подобных операциях промедлить—это значит иногда совсем погубить все дело! Ну, что же делать... Тогда, значит, пятого утром... Придется изменить число в диспозиции...

— Пятого тоже будет нельзя,—спокойно сказал Урусов.

— Нет, уж если и не пятого, то уж тогда никакого, и чорт его побери, этот штурм!—закричал Хрулев.

— А у тебя уж и для моей дивизии диспозиция готова?—полюбопытствовал свысока Урусов.

— А как же иначе?—удивился Хрулев и сам вытащил из шкафа толстую тетрадь.—Вот она, смотри!

Урусов, не отнимая стакан от губ, искоса заглянул в первый лист тетради и отвел ее рукой.

— Так нельзя, братец, я не приму твою диспозицию в таком виде,—сказал он теперь уже явно недовольно.

— То есть что именно нельзя? В каком «таком» виде?—опешил Хрулев.

— Как же так в каком? Ты везде пишешь мне в форме приказа: «Начальнику восьмой дивизии приказываю...»

— Вот тебе на! А как же иначе?—еще более изумился Хрулев.

— «Предлагаю»—вот как иначе,—невозмутимо ответил Урусов.—Ты, кажется, упустил из виду, что ты пока еще не командир корпуса... и даже не начальник дивизии, как я!

— Ну, пустяки, пустяки!—заулыбался Хрулев.—Я вижу, голубчик, что ты шутишь, только сразу *как-то невдомек было...*

— Нисколько не шучу, братец... Прикажи-ка переписать всю эту свою диспозицию!

Хрулев понял, наконец, что его приятель по Дунайской кампании действительно не шутит.

— Но ведь ты приказом главнокомандующего вливаешься в мой отряд и становишься под мою команду!—уже не совсем уверенно произнес он, думая про себя, не отменил ли этого Меншиков и не стало ли это каким-нибудь образом известно Урусову прежде, чем ему.

— Хорошо, вливаюсь, но, во-первых, у тебя нет никакого отряда, насколько я знаю,—невозмутимо попрежнему отпарировал это замечание Урусов,—потому что отряд этот барона Врангеля, а не твой; во-вторых, я, кроме того, что начальник дивизии, еще и генерал свиты его величества,—показал он большим пальцем на свой погон.

— Ну, ладно, ладно, не будем о чепухе спорить! «Приказываю» или «предлагаю»—не все ли равно? Не один ли это чорт?—примирительно заговорил Хрулев.

— Вот именно, совсем не один чорт, и я не буду читать твоей диспозиции, если...

— Не читай,—я тебе сам прочитаю и все объясню!—схватил тетрадь Хрулев.

— Не буду и слушать... Вели переписать, чтоб было везде «предлагаю»...

Хрулев воззрился на него в полнейшем недоумении: он видал его и раньше глупо упрямым, но таким не ожидал его видеть в ответственный момент. Сжимая себя самого, как тугую пружину, изо всех сил, чтобы не вспылить, не раскричаться и тем вконец не испортить дела перед самым его началом, он пытался все обернуть в шутку:

— Э-э, переписать! Тут на целую ночь хватит работы моему обер-квартирмейстеру! Что ты вы-

думал!.. Ведь писали все это чины моего штаба под мою диктовку,—я писарям ничего тут не доверял, чтобы не перепутали и не дали огласки...

— Мне, брат, нет до этого дела, кто писал и кто будет переписывать... А вот прикажи переписать, и все,—уперся на своем Урусов.

Тогда Хрулев бросил тетрадь и выскочил из дома на свежий воздух, чтобы унять бунтовавшую кровь.

Когда же через четверть часа вошел он снова в столовую, где оставил Урусова, он увидел его посреди комнаты в кругу своих штабных. Куря трубку, упрямец теперь весело рассказывал им что-то, первый начиная иногда смеяться коротким начальственным смехом, поощряющим на такой же ответный и даже несколько подлиннее и пораскатистей смех своих слушателей, начиная с капитана Цитовича, державшего свернутую в трубку злополучную тетрадь диспозиции.

Хрулев стоял у двери молча и хмурясь. Он, конечно, имел возможность за четверть часа, проведенных наедине, придумать немало доводов к обузданию этого «свиты его величества» генерала кавказского облика, но, прислушавшись к его смеху, решил все-таки выждать, чтобы не портить с ним отношений.

Между тем Урусов, заметив его и при плохом освещении, шагнул к нему сам, вполне дружелюбно говоря:

— Ну, вот, я тут без тебя решил так, чтобы переписали только один первый листок тетради, где обращение ко мне, а то действительно ведь и без того задал ты работы своему штабу! Потрудился на пользу службы, что и говорить!

— А самую-то диспозицию ты просмотрел?— сдавленно спросил Хрулев, глядя исподлобья и не совсем еще доверчиво.

— Ну, где же там!.. Пробежал кое-что вполглаза...

— Хорошо. Садись в таком случае к столу, я тебе прочитаю все сам,—отходчиво обратился к нему Хрулев, как поэт, нашедший ценителя своего творения.

Урусов изобразил и лицом и всем своим стройным ловким телом выражение обреченной на заклание жертвы, даже вздохнул как мог глубоко, но все-таки сел, а Хрулев, с увлечением читая и разъясняя ему несколько лаконичный текст диспозиции, выпил между делом стакан остывшего чаю, на четверть добавленного коньяком, но совершенно этого не заметил.

5

Хотя 8-я дивизия и собралась вся к ночи с 3 на 4 февраля, но Хрулев скрепя сердце оставил в силе новое приказание вести отряд на штурм 5-го числа утром· пришлось согласиться с Урусовым, что прибывшим издалека полкам надо же хоть осмотреться днем, куда именно придется им итти в бой.

К утру 4-го все части, предназначенные к атаке,—и пехота, и драгуны, и батареи, и казаки, и греки-волонтеры,—стеклись к деревне Хаджи-Тархан.

Отслужили, как было принято, молебен... Еще раз проверил Хрулев, знают ли командиры частей свои места в штурмовых колоннах. Проезжая перед рядами солдат на своем парадно вычищенном, сияющем белом коне, придал он себе вид лихой и веселый. Поздравлял с предстоящим геройским делом, и солдаты «покорнейше благодарили». Сыпал шутками, запас которых был у него значителен, и солдаты разрешенно смеялись.

Греки, назначенные в голову левой колонны, просили Хрулева выдать им для рукопашного боя русские ружья со штыками, и приказ об этом тут же пошел куда надо. Однако прошел целый день в суете сборов к выступлению, но ружей они не получили.

Вечером, в сумерки, тронулся, наконец, отряд. Захолодало; земля застыла, однако не настолько, чтобы превратиться в камень. Она держала копыта и колеса, так что орудия шли без больших усилий лошадей и прислуги и без досадного грохотанья; солдаты тоже шли, не увязая и не стуча гулко тысячами сапог... Хрулев был доволен.

— Доброе начало—половина дела,—говорил он своему начальнику штаба, полковнику Волкову.

Когда подошли на расстояние не больше трех верст от укреплений города, было почти совершенно темно; ни одной звезды в небе, ни одного огонька кругом... Курить, конечно, было воспрещено строжайше.

Ночью, соблюдая возможную тишину, артиллеристы должны были подвезти свои орудия, саперы устроить для них эполементы, а цепь стрелков быстро развернуться впереди орудий, чтобы оберечь их от вылазки противника. И все это было сделано совсем уж невдалеке от вала и не вызвало оттуда ни одного выстрела... Так выполнялась хрулевская диспозиция!

Но с выполнением приказа о выдаче ружей грекам-волонтерам сильно запоздали. Греки так и пошли со своими карабинами. Они роптали всю дорогу, и батальонному командиру их, Панаеву, стоило большого труда их успокоить тем, что ружья непременно будут доставлены еще задолго до штурма.

Действительно, их привезли на ротных подводах вместе с подсумками и патронами, но что это были за ружья!

Конечно, для русских солдат, особенно молодых, из новобранцев, они сошли бы, но греки были знатоки и любители оружия,—недаром же ходили они каждый со своим арсеналом.

Даже и ночная темнота не помешала им всесторонне исследовать, что им такое поспешно всовывали в руки, проходя по их рядам. И вдруг поднялась такая отчаянная ругань, в которой расслышал Панаев даже и русские ходовые речения, несколько искаженные только сильным акцентом.

Для того, чтобы унять их ругань, надо было перекричать их, а кричать все-таки было нельзя, и он заметался между ними, умоляя их успокоиться, чтобы не услышал их неприятель; хотя до укреплений от того места, где они стояли, было не близко, но темнота ночи могла, конечно, укрывать патрули, пикеты...

Переводчик из балаклавских греков поспешно переводил, что кричали волонтеры:

— Измена!.. Измена!.. Нас погубить хотят, как погубили на Дунае наших товарищей!.. Нас первых посылают на штурм, а дают никуда негодные ружья!

Со всех сторон обступив своего начальника, греки совали ему то ружья, то подсумки, то патроны, сопровождая это таким галдежом, что переводчик едва успевал передать и десятую часть выкриков.

Панаев понимал, впрочем, и без услуг переводчика, что ефрейторы в ротах, собиравшие ружья для волонтеров, постарались отделаться от разного хлама, скопившегося за время войны, и потому-то сюда привезены были ружья, у которых совсем не взводились курки или даже не было собачек; штыки не держались на ружьях; шомпола были растеряны; ружья все были «темпùстые», как это называлось у солдат, то есть способные дребезжать во всех своих частях при ружейных приемах, что так нравилось высокому начальству на смотрах,—но итти с такими ружьями в бой могли только русские солдаты, а не иноземцы.

Патронные сумки почти все были разорваны до того, что бесполезно и даже очень вредно для дела штурма было бы доверчиво класть в них патроны, если бы патроны были настоящими боевыми патронами, но в этих патронах оказалось вместо пороха просо!

— Просо! Просо!—кричали греки Панаеву, высыпая содержимое патронов ему на ладони.—Кур кормить! Кур кормить!..—Возмущение достигло предела.

Панаев не поверил крикам. В темноте он не мог определить, что такое появилось на его ладонях, но мелькнула догадка раскусить несколько зерен, и тут уж сомнений не осталось: зерна эти даже и не пахли порохом.

— Обманули нас!—кричали греки.—Дубинки дали вместо ружей! Просо вместо пороху!.. Вот также и на Дунае предали наших туркам!..

Отвечать на это было нечего Панаеву. Оставалось только обещать им после штурма разобрать, кто виноват в доставке такого оружия, теперь же упрашивать их не кричать, чтобы не испортить всего дела.

Греки, наконец, утихли.

6

Евпатория, получившая это греческое имя в силу мечты Екатерины и Потемкина создать из Крыма дорогу в Константинополь, называлась у татар Гезлев; конечно, потемкинские солдаты очень скоро переделали это имя по созвучию в понятный им Козлов, и на берегу их силами начали строиться просторные двух- трехэтажные каменные дома для разных учреждений. Остальной же город не менял своего восточного характера, и в нем оставались все те же запутанные, узенькие, фантастические кривые улички, низенькие домишки под черепицей, дудочки минаретов...

Уже в первые дни после занятия города интервентами в нем поселился в качестве коменданта турецкий паша, выдававший себя за потомка крымских Гиреев, и принялся составлять и рассылать по окрестным татарским аулам прокламации, призывая татар переходить со всей своей движимостью в город. Прокламации эти имели успех, особенно после Алминского боя; ушло в Евпаторию до тридцати тысяч татар, которые пригнали до двухсот тысяч голов скота и привезли двадцать тысяч четвертей пшеницы, создав этим большое подспорье армиям интервентов.

Первоначальный гарнизон города, состоявший всего из нескольких рот французов и англичан, значительно был усилен за счет спешно обученных ими молодых татар, из которых была составлена пешая и конная милиция; татары же употреблялись и для обширных земляных работ по укреплению города.

Возможно, что не представило бы большого труда захватить Евпаторию гораздо раньше,—например, в декабре, но теперь в ней думали уже не о защите, а о нападении на русский тыл, и такую именно задачу должен был осуществить корпус Омер-паши.

Теперь гарнизон Евпатории почти вдвое превосходил по числу восемнадцатитысячный отряд Хрулева, и если на укреплениях стояло всего только тридцать четыре орудия и пять ракетных станков против двадцати четырех тяжелых и семидесяти шести легких орудий Хрулева, то на судах, защищавших город, было вполне достаточно мортир и пушек крупных калибров, с которыми не могла бы состязаться русская артиллерия.

Дезертир-улан сделал свое дело: штурма в Евпатории ждали и к нему были готовы. И все-таки около пятисот человек отряженных Хрулевым рабочих, беспрепятственно действуя всю ночь всего в пятистах метрах от укреплений, выкопали в под-

мерзшей, но вполне податливой земле и эполементы для ста орудий и ложементы впереди их для штуцерников от Азовского полка и казаков; так что к пяти часам утра были подвезены сюда и бесшумно заняли свои места орудия и зарядные ящики. И как только начал брезжить утренний свет, с укреплений увидели, что русские уже обложили город тесным полукольцом.

Тогда началась канонада.

Начали ее оттуда, из укреплений, потому что туда прискакали испуганные татары пикета, стоявшего на кургане: на этот курган и на соседнее с ним кладбище двигались, становясь все виднее, плотней, осязательнее, русские колонны. Это были: батальон греков, разделенный на два отряда, батальон азовцев и четыре сотни казаков; вел же их сам Хрулев.

Он успел уже обскакать всю линию и оценить ее хозяйским глазом, насколько это возможно было перед зарею, и за центр свой, как и за правый фланг, был спокоен,—там дело было в надежных руках, а полковник Шейдеман, ведавший действиями всей артиллерии, даже восхитил его распорядительностью и хладнокровием, установив в такой короткий срок все батареи. Правда, он был его ученик, и другого он от него не ждал.

Он не сомневался в том, что артиллеристы себя покажут в лучшем виде, а пехотные полки дружным напором в какие-нибудь полчаса займут укрепления, взорванные и разбитые снарядами; но левый фланг его казался ему самым важным: именно отсюда благодаря естественным прикрытиям скорее можно было подобраться ко рву и валу и потом броситься на штурм, дав этим сигнал к общей атаке; отсюда же, с кургана, как с самой высокой точки на местности, решил он руководить всем боем.

Та минута огромной в его жизни важности, минута, к которой неусыпно и неустанно несколько суток готовился он сам и готовил всех около себя, наконец наступила торжественно: гулко ударили первые пушки, задрожал около воздух, потянуло пороховым дымом, и как будто даже сразу яснее, отчетливее стало кругом, и на кургане бросились в глаза яичная скорлупа, оставленная тут татарским пикетом, и клочок полувтоптанной в землю бумаги.

Выстрелы раздавались все чаще, чаще. Хрулев жадно следил за разрывами русских снарядов там, на укреплениях, когда это позволял то подымавшийся клубами вверх, то оседавший дым...

— Та-ак!.. Так-так!—бормотал он, поворачивая голову в неизменной папахе то к одному, то к другому из своих штабных.

Накануне его цырюльник улучил все-таки момент сбрить с его подбородка и щек наросшую черную щетину, и теперь щеки его рдели от возбуждения, и штабные его им искренно любовались: он казался им явным центром всего этого, пока еще только орудийного и ружейного, боя, гремевшего кругом,—от него бесчисленными радиусами исходила энергия, начавшая и питающая бой.

Но сам Хрулев с каждой минутой все сильнее ощущал, что им овладевает дремота. Он удивленно вздергивал плечами, стараясь ее сбросить, он излишне часто поворачивал голову вправо и влево, желая самого себя убедить в том, что эта дремота—какая-то досадная случайность, наваждение, а между тем верхние веки его тяжелели, тяжелели, опускались...

Раздался гулкий взрыв там где-то, в укреплениях...

— Ага!—вскрикнул Хрулев.—Так их, мерзавцев! Лупи!.. Пороховой погребок взорвали!—обратился он к флигель-адъютанту Волкову.

Волков что-то ответил, чего не расслышал за гулом орудий Хрулев.

О том, чтобы роты волонтеров-греков начинали наступление с первыми же выстрелами из орудий, было в диспозиции, и теперь Хрулев наблюдал, как они двинулись. Впереди каждой роты ехал верхом капитан. Эти пять капитанов точно соревновались между собою в молодцеватости, так лихо они держались на конях и так размахивали своими кривыми, турецкого изделия саблями.

— Молодцы греки!—кричал он в их сторону, точно могли они его расслышать.—Вы посмотрите сейчас, какая у них тактика!—обращался он то к Волкову, то к Цитовичу.

Удивляя между тем и своего батальонного командира Панаева, греки быстро рассыпались, размыкая ряды, и шли вперед, совсем оторвавшись от локтей товарищей, широким и свободным шагом! Свои карабины сняли они из-за спин только тогда, когда подошли к валу на ружейный выстрел, когда стала их доставать и орудийная картечь с укрепления и начали залетать в их ряды круглые турецкие пули.

Тогда части их рот вдруг падали на землю, как подстреленные, и отсюда, прикрывая себя какими-нибудь выступами, камнями, кочками, открывали стрельбу сами, в то время как другие части рот быстро бежали вперед, чтобы также упасть всем сразу и открыть огонь, когда начинали в свою очередь перебегать первые.

Это был тот самый рассыпной строй, который ввели в русской армии только после Крымской войны, теперь же он только казался смешным и даже вызывал презрение у русских офицеров.

Вот заметил Хрулев, как один из капитанов-греков неловко сполз с коня головою вниз.

— Эх, подбили беднягу!—качнул он головою, но тут же заметил и за своею головой что-то странное: она свешивалась ниже, ниже, ниже... он подбросил ее снова с трудом и, ожесточась, начал

тереть себе уши, вспомнив о том, что это будто бы помогает от приступов дремоты.

Между тем привычное ухо артиллериста давало знать Хрулеву, что над его головой высоко пролетают крупные снаряды. Они посылались с моря, с пароходов союзников. Иногда там, на море, показывались мачты двух пароходов,— остальное скрывалось в ватно-белом дыму...

Утренний ветер нес с собою резкий холод, и Хрулев запахивал свою бурку, но, замечая, что так ему непобедимо хотелось сомкнуть глаза, распахивался снова. Холод оживлял тело, сбрасывал коварную скованность, которая овладевала уже и спиной его, подавая ее вперед, к луке седла, так что был такой момент, когда уж не он Волкову, а Волков ему крикнул:

— Еще один погреб взорвали наши!

— Ага! Да! Здорово!—машинально отозвался Хрулев и затеребил свои уши, пропустившие такой успех молодцов-наводчиков.

И тут же появилась мысль, что нужно отослать от себя куда-нибудь этого флигель-адъютанта, чтобы он не заметил, что его, генерала Хрулева, одолевает дремота как раз во время боя, так преступно некстати!

— Вот что, голубчик,—обратился он к Волкову,—сделайте милость, поезжайте посмотрите, как там у князя Урусова... и вообще... потом доложите мне...

— Слушаю!—взял под козырек Волков и спустился с кургана.

7

Устроенные по планам и под руководством французских инженеров, опытных в этом деле, евпаторийские укрепления могли, как оказалось, долго сопротивляться даже и более сильному обстрелу, чем какой выдерживали они в этот день, тем более что вооружены они были орудиями крупных калибров. Полевая артиллерия русских производила, конечно, значительные опустошения в рядах защитников укреплений, так как резервы были подтянуты в ожидании штурма, и немалое число орудий там было подбито, а кроме двух пороховых погребов в начале боя, удачными выстрелами были взорваны еще три. Но все это не могло заставить совершенно замолчать их батареи, несмотря на всю меткость огня русских артиллеристов, когда почти ни один снаряд не пропадал даром.

Уже более двух часов шла артиллерийская дуэль. Как это и было предусмотрено диспозицией, батареи легких орудий посылались Шейдеманом вперед и занимали линию не больше как в трехстах метрах от вала, осыпая турок картечью. Штуцерники-азовцы передвигались еще ближе, чтобы быть впереди своих пушек. Турки теперь стреляли в них уже не пулями, а «жеребьями», как это называлось у солдат, то есть кусками пуль, для чего круглые пули резались на четыре части.

Между тем пароходы интервентов выстроились и с левого и с правого фланга Евпатории, и снаряды их дальнобойных орудий находили свои жертвы в глубоком резерве, в полках Урусова и среди улан Корфа.

Когда вернувшийся на курган Волков докладывал об этом Хрулеву, тот едва поднял пудовые верхние веки, с явным и огромным трудом вглядываясь в него мутными глазами: он дремал, сидя в седле, когда все кругом него грохотало, гремело, рвалось. Но вот до его пробудившегося сознания дошло насчет потерь, которые несут резервы от огня пароходов, и он сказал, вдруг усмехнувшись:

— А если бы вся эскадра союзников пришла сюда, а?.. Как она и придет, когда мы возьмем Евпаторию!.. Как она и придет, да, да...—Он потряс головой, потер уши, огляделся и закричал вдруг:—Лестницы, лестницы отчего же не несут?.. Лестницы штурмовые сюда!

Он заметил, что, кроме греков, близко подобрались к валу и спешенные драгуны, что уже набухло, назрело, настало время для штурма, но он не разглядел, что лестницы лежали на земле,—ничего не было упущено из его распоряжения,—все было готово для того, чтобы под сильнейшим огнем вскарабкаться самозабвенно на вал.

Он шевельнул поводья, и белый конь его, тормозя задними ногами, начал спускаться с кургана; в голове же Хрулева било отчетливо, как молотом по наковальне:

«А зачем штурм?.. А на кой чорт?.. Чтобы уложить тысяч шесть ребят?.. Старик прав, конечно: пустая затея!.. Он на диване полудохлый лежит, а больше этих петербургских понимает!»

«Петербургскими» он окрестил при этом, кроме флигель-адъютанта Волкова, еще и военного министра, князя Долгорукова, и самого царя, наконец.

Но приказ его о лестницах уже полетел к атакующим вместе с одним из его штабных. Лестницы были подтащены к самому рву, и Хрулев издали разглядел какую-то крупную заминку в деле: он видел, что лестницы подымались и бросались в ров, но люди оставались перед рвом, падая под пулями турок.

— Что там такое?—спросил он у подъехавшего к нему Панаева.

— Вода, ваше превосходительство!—обескураженно ответил Панаев.

— Вода?.. Во рвах вода?.. А что?.. Я так и думал!.. Шлюзы!.. Были шлюзы, и их открыли.

Дремота покинула Хрулева. Он даже почувствовал прилив сил, и в голове его стало ясно, как редко бывало когда-нибудь в его жизни; а Панаев продолжал докладывать:

— Лестницы поплыли, когда их вздумали перекинуть через ров.

Хрулев знал, что лестницы делались из шестиаршинных брусьев, и вот они не достали до другого берега рва и поплыли... Но ведь они делались и не для того, чтобы по ним переходить ров.

— Раз вода, значит кончено!—отчетливо отозвался на донесение Панаева Хрулев.—Вода—неодолимое препятствие!.. Прикажите моим именем трубить отбой!

Панаев в недоумении стоял, не двигая лошади.

— Отбой, приказываю я!—крикнул Хрулев.—Евпаторию взять нельзя!.. Отступать!

И Панаев повернул лошадь в сторону своих греков, Хрулев же поскакал к колонне, наступавшей с фронта.

Около резервных батальонов Подольского полка он остановился и скомандовал:

— Налево круго-ом... марш!

Но молодые солдаты ближайшего к нему батальона смотрели на него в полнейшем недоумении. Они знали, конечно, что значила команда «налево кругом, марш», но у них не хватило духа ее исполнить, так что Хрулеву пришлось повторить ее.

Однако солдаты закричали:

— Зачем, ваше превосходительство, налево кругом?—Прикажите вперед итти! Мы возьмем,—только прикажите!

Этого не ожидал даже и сам Хрулев. Молодые солдатские лица колыхались перед ним в дыму, и общее выражение их было умоляющим, как у ребят, которые просят красивых игрушек или сладких конфет. Он даже поколебался было на мгновенье, но пересилил эту слабость.

— Сейчас пока мы пойдем обедать, братцы,—прокричал он,—запасемся патронами, а после обеда Евпатория будет наша, ура!

— Урра-а!—радостно заорали подольцы и повернули «налево кругом».

Хрулев же направился прямо к Урусову.

Даже Урусов, который сам два дня назад говорил, что не поведет дивизию свою, пока не будут приведены к молчанию все неприятельские орудия, и тот несказанно был удивлен решением Хрулева.

— Отступать? Как так отступать?—повторял он.—Ты не шутишь, нет?

— Отступать непременно!—твердо приказал Хрулев.

— Не понимаю, братец! Так хорошо начали и так скверно кончаем! Солдаты мои так и рвутся вперед,—как же я их поверну назад? Мы бы Евпаторию взяли!

— На чорта нам ее брать,—рассуди сам! Только людей зря губить! Игра не стоит свеч!

— Я не решаюсь командовать отступление, как хочешь,—упрямо сказал Урусов.

— А-а, не решаешься,—это другое дело! Тогда я скомандую сам!

И заехав перед фронт центральной колонны, он выхватил свою кавказскую шашку и зычно, как на параде, скомандовал:

— От-ступ-ление в шахматном порядке! Первые батальоны, начи-на-ай!

Команда его, поданная, как на параде, так же как на параде, передавалась всеми батальонными командирами своим батальонам, а Хрулев держал в это время шашку «подвысь», и когда отзвучала последняя передача, скомандовал:

— Марш!—и только тогда опустил шашку.

И точно и в самом деле на параде или на большом линейном ученье в лагере, первые батальоны повернулись по команде своих командиров «налево кругом» и пошли в тыл, старательно отбивая ногу.

Перед вторыми батальонами повторилась подобная же команда Хрулева, и также держал он шашку «подвысь»...

Быть может, и турки, и французы, бывшие с ними в укреплениях, были изумлены этим торжественным маршем назад только что бывшего очень грозным для них русского отряда. Но когда прошло это изумление, началась оживленная пальба вслед русским каре. Даже вылетело два-три эскадрона турецкой конницы, но батальоны азовцев, бывшие в арьергарде, остановились, взяли «на руку», и эскадроны повернули обратно.

Скоро прекратилась и пальба из Евпатории, так как она стала уже бесцельной, а потом и с пароходов.

Штурм окончился так же внезапно, как и начался.

8

Когда отступление было завершено так, что и арьергардные части вышли из-под действия дальнобойных морских орудий, Хрулев справился, все ли раненые подобраны. Эти сведения мог дать только старший хирург отряда, врач Райский. Послали за ним, и он сказал, что если какие и остались, то совершенно безнадежные, жизнь которых висела на волоске; все же остальные перевязаны, и тяжело раненные уложены на подводы, а легко раненные идут в строю вместе со своими товарищами.

— Сколько же все-таки вы насчитали раненых?—спросил Хрулев.

— Человек около пятисот,—ответил Райский.

— Все-таки!.. Да убитых, должно быть, не меньше двухсот... Вот во что обошлась эта затея... Ну все-таки, я думаю, не совсем зря: у турок, по моим расчетам, наберется втрое больше потерь,—будут помнить! И едва ли уж теперь скоро высунут оттуда свой нос... Дело мы все-таки сделали, а теперь отдыхать!

И точно это себе самому он во всеуслышание разрешил отдых, Хрулев тут же крепко уснул, сидя на лошади.

Кавалеристы умеют это делать—спать и не вываливаться из седла, но на всякий случай Волков и Панаев, один справа, другой слева, ехали рядом с ним и за ним наблюдали.

Когда же войска пришли к тому месту, где заранее был приготовлен обед, снятый с лошади Хрулев лег прямо на землю на чью-то шинель, подложил под голову папаху, укрылся с головой буркой и заснул, как в могиле.

Пообедали люди; было уже за полдень. Никто из начальствующих лиц не знал, что делать дальше.

Волков все-таки не мог примириться с мыслью, что «воля его величества» непременно взять Евпаторию и предать ее полному разрушению не была выполнена. То, что было сказано Хрулевым молодым солдатам-подольцам, стало ему известно, и это дало ему мысль разбудить начальника отряда, который после обеда должен был возобновить наступление.

— Ваше превосходительство!.. Степан Александрович!—начал легонько тормошить его он.

— Степан Александрович, вставайте!—присоединился к нему полковник Шейдеман, который не знал, держать ли ему батареи под своей командой или распустить по своим частям.

— Степан Александрович!—толкали они его сильнее, видя, что он не открывает глаз.

— Степан Александрович!.. Ваше превосходительство!.. Генерал Хрулев!—кричали они ему в уши, перекатывая его вместе с буркой и папахой.

Все было бесполезно.

Подошел Урусов. Ему пришла мысль запустить по-кадетски Хрулеву в нос «гусара». «Гусар» подействовал. Хрулев чихнул свирепо и приоткрыл один глаз.

— Что делать с войсками?—крикнул ему, нагнувшись, Урусов.

Хрулев выругался и добавил:

— Развести по домам!.. Дать лошадь!

Солдаты замаршировали дальше. Хрулева кое-как снова усадили на его белого коня. Он склонился к его шее и опять уснул. А когда доехали до деревни Тюп-Мамай, где собрался обоз и где была квартира штаба, Хрулев, не раздеваясь, утонул в своей оттоманке и проспал, не просыпаясь, восемнадцать часов, наверстывая несколько бессонных ночей, отданных им на подготовку к несостоявшемуся штурму. Можно было сказать, что спал он сном праведника. Он взял на себя задачу штурма для того, чтобы была выполнена «воля императора», и не довел дело до конца, выполняя волю «лица императора» и прямое требование здравого смысла ведения войны—зря не расходовать людей.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
НИКОЛАЙ ЗАБОЛЕЛ

1

Полковник Волков получил предписание еще в Петербурге немедленно возвратиться после взятия Евпатории, чтобы осведомить царя об этом деле с неподкупной честностью флигель-адъютанта и точностью одного из участников боя. И он отправился поспешно, не дожидаясь не только реляции Меншикова, но даже и того, когда вздумает проснуться Хрулев. Состояние главнокомандующего было ему известно, его отношение к штурму Евпатории—тоже.

Сопроводительные бумаги он получил от Врангеля, к которому снова после несостоявшегося штурма переходило командование евпаторийским отрядом. И отъезжая на север, Волков не скупился про себя на самые нелестные оценки и Меншикова, и Хрулева, невзначай затормозивших его продвижение по службе.

Мнение Хрулева о том, что турки не отважатся теперь высунуть нос из Евпатории, он слышал, но никакого значения ему не придал. Ему казалось, что слова эти говорились полусонным человеком с явной целью оправдать неспособность к действию в самый решительный момент боя.

Однако он понимал и то, что нельзя было обрисовывать ни Меншикова, ни даже Хрулева царю так, как они представлялись ему самому. Нужно было как-то смягчать краски, чтобы не слишком раздражить царя.

Дальняя дорога давала ему достаточно времени для подыскания нужных выражений, но он не знал того, что застанет царя больным и что болезнь его придворные медики отнесут в разряд серьезных.

Был бал в конце января у Клейнмихеля по случаю свадьбы его дочери, выходившей за гвардейского офицера. На этом балу присутствовал царь в знак особой милости к своему давнему любимцу, но к себе в Зимний дворец он увез с этого бала грипп.

Грипп тогда не считался еще заразной болезнью; говорили: царь простудился, начал кашлять, слег даже, что было совсем не привычным ни для него, ни для придворных.

Нельзя сказать, чтобы Николаю совсем не присуще было болеть.

Хотя внешность его, казалось бы, исключала всякое предположение о слабости, но придворные врачи лучше знали его организм, чем высшие чиновники, бывавшие на приемах во дворце, или офицеры и солдаты, видевшие его на смотрах, маневрах, парадах.

Правда, Николай пережил всех своих братьев, и старших—Александра и Константина, и млад-

шего—Михаила. Александр умер всего сорока восьми лет от воспаления мозга; Константин—пятидесяти двух от холеры; Михаил—пятидесяти одного года от паралича. Между тем в 1855 году Николаю шел уже пятьдесят девятый год.

Крепкое сложение в соединении со строгим режимом давало ему возможность справляться с нетрудными болезнями, однако в особую прочность своего здоровья он не особенно верил и любил лечиться так же, как любил позировать художникам.

Врач английского посольства Грэнвиль, приглашенный для осмотра заболевшего Николая в 1853 году, пришел к выводу, что он может прожить еще не более двух лет, однако, по вполне понятным причинам, этот вывод был сообщен только английскому послу сэру Гамильтону Сеймуру, а этим последним—министру иностранных дел Англии.

Можно предположить, что обнаружен был довольно далеко зашедший наследственный склероз, но достаточно ли было склероза, чтобы в такой короткий срок справиться с сильным еще организмом царя? Несомненно, что на помощь склерозу пришли неудачи Дунайской кампании и Крымской войны, так как причины этих неудач коренились в плохом управлении страною, а правил страною сам Николай, называвший себя «самовластным».

Из придворных медиков наибольшим доверием его пользовался Мандт.

В русскую медицину Николай не верил, однако слишком приближенный им к себе немец Мандт был вполне способен уморить и гораздо более молодого и крепкого пациента, чем русский царь.

Холера, впервые появившаяся в России при Николае,—точнее паника перед нею, не щадящая даже и лиц царской семьи,—заставила обратить «милостивое внимание» на Мандта, написавшего на немецком языке брошюру о лечении этой грозной болезни. Брошюру эту приказано было немедленно перевести на русский язык и разослать для руководства по всем военным госпиталям и лазаретам, а сам Мандт приглашен был в лейб-медики и очень скоро приобрел исключительное влияние на царя, так как весьма легко было ему, невежде в медицине, подчинить себе полнейшего невежду в этой области Николая и заставить его уверовать в свою «атомистику», которая имела такое же отношение к подлинно научной медицине, как алхимия к химии или месмеризм к здравым понятиям о вещах.

Мандт являлся учеником прусского врача Рademахера, который, в свою очередь, считал своим учителем не кого иного, как самого Парацельса [1], определял болезнь, как «совершенно непостижимое для разума поражение жизни», и лечил все болезни медью, железом и селитрой.

Мандт усвоил у своего учителя эту простоту в обращении с болезнями и создал свой метод лечения, основав его на гомеопатии Ганеманна—лечении очень малыми дозами лекарств.

Может быть, этим он и пленил весьма экономного к концу жизни Николая; по крайней мере, все военные врачи получили вдруг предписание являться на смотры и парады с особыми сумками, в которых были бы «атомистические» лекарства Мандта, способные едва заметными крупинками и с наименьшей затратой времени восстановить испортившийся механизм солдата или офицера. Этим достигалось истинно строевое отношение к разным нежелательным человеческим слабостям, мешающим иногда гармонии смотров в высочайшем присутствии.

Очутившись при русском дворе, Мандт как нельзя лучше своею деятельностью доказал царю, что вся вообще русская медицина стоит на совершенно ложном пути и что поэтому число студентов медицинских факультетов может быть значительно сокращено в видах спокойствия и порядка внутри страны. Хирурги, конечно, пусть остаются, здесь ничего сделать нельзя: ланцет хирурга—все равно что штык солдата, неопровержим; но терапевты стали в глазах Николая полными профанами с появлением у него Мандта.

Даже в Севастополь послан был ящик его лекарств с приказом «употреблять их преимущественно перед всеми прочими». К счастью множества больных севастопольского гарнизона, ящик этот прибыл только тогда, когда о посылке его в Петербурге забыли по обстоятельствам совершенно непредвиденным.

2

Когда в конце 1800 года Павел I пригласил директора кадетского корпуса, генерала Ламздорфа, в воспитатели к двум своим младшим сыновьям, Николаю и Михаилу, он сказал ему:

— Ты обязан взяться за это дело если даже не для меня, то для России! Требую от тебя только одного, чтобы ты не сделал из них таких же шалопаев, каковы все немецкие принцы.

И Ламздорф, по мере своего разумения, начал выполнять сложную программу воспитания маленьких царских ребятишек.

Он сек их розгами почти ежедневно, и этот испытанный прием воздействия был разрешен ему безусловно, причем каждое сечение заносилось для памяти в подробный журнал занятий с принцами.

Нельзя сказать, чтобы сечение это переносилось

[1] *Парацельс Аврелий Теофраст* (1493—1541)—швейцарец, естествоиспытатель и врач, основоположник научной фармацевтической химии и экспериментального метода лечения.

ими легко; нет, заливаясь слезами, они в первое время прибегали к своей няньке, шотландке мисс Лайон, с горячей просьбой, не возьмет ли она на себя эту обязанность, чтобы сечь их не слишком больно.

Но Ламздорф был человек раздражительного характера и когда приходил в ярость, то уж не довольствовался методическим сечением, а колотил принцев линейками, бил их ружейными шомполами и вообще всем, что попадалось под руку. А однажды, окончательно выйдя из себя, схватил Николая за шиворот, поднял его на воздух и так ударил его об стену головой, что тот лишился сознания.

И вот все педагогические приемы своего достойного воспитателя Николай, сделавшись императором, применил к России, которую нужно было воспитать, обучить, вывести в люди. Он сек ее розгами, бил шпицрутенами и плетьми, всеми способами подавлял в ней естественную способность мыслить, искоренял в ней малейшее стремление к свободе, наконец, как бы в припадке последней ярости, схватил ее за шиворот и бросил о крепкую стену поднявшейся против него Европы.

Мог ли он избежать войны, которая оказалась для него такой позорной? Над этим чрезвычайно тяжелым для решения вопросом Николай задумывался очень часто в последние месяцы, но все как-то недоставало за срочными делами времени, чтобы его обсудить всесторонне, не осуждая себя. Теперь же, когда он заболел гриппом и когда даже сам Мандт почтительнейше предписал ему несколько дней не выходить из стен дворца, время как будто нашлось.

Кашляя и принимая чудотворные мандтовские лекарства, он, конечно, не переставал заниматься всеми текущими государственными делами, писать письма и нетерпеливо ожидать штурма Евпатории; но оставались все-таки долгие часы, проводимые в одиноких думах главным образом о самом сильном среди объединившихся врагов его, о Наполеоне III.

Он припомнил несколько случаев, когда этот удачливый авантюрист то стремился приехать в Россию, то искал возможности втереться к нему, русскому монарху, в друзья. Еще в 1840 году, когда удалось ему бежать из крепости Гам в Англию, он обращался к русскому посланнику в Лондоне, князю Ливену, прося его ходатайствовать о разрешении ему приехать в Россию. Об этом начала было хлопотать княгиня Ливен через своего брата Бенкендорфа... Как же отозвался тогда на это он, Николай? Он отказал наотрез. Он предписал даже посольствам русским не визировать паспортов Луи-Наполеона на проезд в Россию, наконец пограничному начальству приказал задержать его, если бы он пытался проникнуть в Россию, обойдя посольства, и непременно отправить его вон из пределов империи.

Лет через семь, незадолго до избрания его в президенты, Луи-Наполеон снова возмечтал о приезде в Россию, о чем писал графу Орлову. Через Орлова же он предлагал ему, Николаю, за дешевую цену свою картинную галлерею, доставшуюся ему от его деда кардинала. Он всячески выхвалял достоинства художников, картины которых предлагал, и самые картины. Он, конечно, нуждался тогда в деньгах. Его расположение можно бы было купить тогда незначительной суммой. Что же приказал тогда он, Николай, Орлову ответить принцу Луи? Николай припомнил этот ответ в окончательной редакции. Ответ был сух и немногословен: приезд считался нежелательным; в картинах не было надобности.

Наконец в конце 1852 года принц Луи объявлен был императором Франции. И вот в первые же дни, упиваясь властью, к которой столько лет стремился, он обращается к русскому посланнику Киселеву с заявлением, что желал бы быть в дружбе с Россией, что эта дружба была бы для него и Франции гораздо более приемлема, чем дружба с Англией, что он хотел бы знать об этом мнение русского царя. От Киселева явился тогда с этим предложением дружбы Наполеона чиновник посольства Бартенев. Что ответил тогда на это он, Николай? Он ответил, что не хочет и слышать ни о какой дружбе с узурпатором французского престола.

Ответ этот передан был Наполеону III в выражениях, конечно, смягченных, однако не допускающих двух толкований. Остановило ли это Наполеона в его домогательствах дружбы, то есть союза с Россией? Нет, он повторил свое предложение через того же Киселева, только на этот раз добавил, что в случае, если этот союз не состоится, он вынужден будет заключить союз с Англией. Однако неприязнь к этому выскочке-бонапартисту была так сильна в нем, Николае, что он и на этот раз ответил отказом.

Был даже и такой случай совсем незадолго до столь несчастливой войны—летом 1853 года. Дочь его, Мария Николаевна, вдова герцога Лейхтенбергского, который приходился двоюродным братом Наполеону III, жила тогда за границей, и Наполеон, ссылаясь на свое родство с нею, приглашал ее в Париж. Он уверял ее, что она будет принята им и императрицей Евгенией со всеми почестями, на которые может рассчитывать она как дочь русского императора, что Париж превзойдет себя в устройстве всевозможных увеселений в связи с ее приездом... Словом, он снова хотел сблизиться с ним, Николаем, втягивая в свой политический шаг его дочь. Выяснилось потом, что и сама Мария Николаевна хотела побывать в Париже, но не решалась на это, не испросив

позволения отца. И он, Николай, не только запретил ей эту поездку, но приказал даже немедленно вернуться в Петербург.

Так последовательно и неуклонно отбрасывал от себя он, Николай, Наполеона III, втиравшегося всячески к нему в друзья. И что же вышло в результате? Севастопольская война!.. А ведь ее могло бы не быть. Кто же вызвал ее? Не он ли сам своими слишком самонадеянными шагами?

И вот фельдмаршальский жезл, приготовленный им для Меншикова, лежит праздно: Меншиков не оправдал его надежд... Кроме того, он стар уже, болен, сам просится в отставку, и ужаснее всего то, что его и заменить некем! Огромнейшая страна, но как будто совершенно пустая, восемьдесят миллионов подданных, и нет людей для защиты границ, и куда бы ни захотел вонзиться враг, он везде будет в численном превосходстве, не говоря о лучшем вооружении, потому что он при помощи пара владеет пространством, а в России пространство владеет народом и царем,—оно непроходимо, оно бездорожно, оно враждебно.

Николай вспоминал теперь, во время невольного досуга, подаренного ему болезнью, как внезапно похолодел он, когда услышал, что действительный статский советник Политковский, ведавший инвалидным капиталом, присвоил и растранжирил этот капитал, попросту говоря—украл.

Он похолодел тогда от испуга за то, что у него оказались такие чиновники в генеральских чинах. Он был близок тогда, при своей впечатлительности, к обмороку от ужаса за судьбу свою, своей семьи, всей России... Он представил тогда, что все русские финансы разворовываются не исподволь, а вдруг, как по взмаху какой-то волшебной палочки, русскими чиновниками с одной стороны и русскими военными чинами—с другой. По полтора миллиона присваивают действительные статские, генерал-майоры, контр-адмиралы; высшие чином—соответственно бо́льшие куши, низшие—меньшие... И вот казна пуста. И где же тогда искать похищенное, и кто именно будет искать, если у них круговая порука? А государству придет конец.

Казна же теперь, в силу ведущейся войны, пустела и пустела, но как возможно было учесть, на дело или без дела, куда и сколько по рубрикам шли деньги? Не являлась ли эта война, как, впрочем, и всякая другая, только средством наживы для тех, кто не только не рисковал жизнью, но даже и всячески оберегал свое здоровье?

Враги чудились повсюду: на всех границах, как и в столице, здесь, рядом; на всех дорогах, ведущих к Севастополю, как и в самом Севастополе; в Крыму, как и в Москве; в Рязани, как и в Казани; в Твери, как и в Торжке...

Кабинет царя в Зимнем дворце,—который был в то же время и его спальней,—убранный очень просто, с печью, греющей очень плохо, находился в нижнем этаже, с так называемого Салтыковского подъезда. Рядом с кабинетом была комната царского камердинера Гримма. И вот по ночам стал просыпаться и вскакивать старый Гримм от пения, шедшего из кабинета царя.

Угнетаемый тысячью тяжелых опасений за будущее свое, своей семьи и государства, которым он правил самодержавно, опасений, развивавшихся в нем со страшной силой благодаря уединению и болезни, царь Николай становился ночью на колени перед образом и пел псалмы Давида. Особенно часто и особенно выразительно звучал этот псалом:

«Господи, чтося умножишася стужающие ми? Мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей: несть спасения ему в бозе его! Ты же, господи, заступник мой еси и слава моя и возносяй главу мою!..»

Давид был тоже царь, и если он, псалмопевец, действительно пел, молясь, именно так, как это записано в псалтири, то, конечно, ничего не было зазорного и в том, что русский царь Николай пел по ночам те же псалмы.

Однако, передавая по утрам об этом Мандту, Гримм растревоженно добавлял, что голос царственного певца был настолько замогильно свят, как будто ему, недостойному камердинеру Гримму, удалось слушать самого царя Давида.

Иногда же царь просто надломленно плакал, отложив в сторону псалтирь.

Всем во дворце бросалось в глаза, что за несколько дней легкой сравнительно болезни он очень похудел, постарел, даже поседел весьма заметно. Маленьким внукам его приказано было молиться о его здоровье, и, поглядывая один на другого, а также на старших, они в дворцовой церкви, стоя на коленях, старательно стучали головенками в холодный пол.

3

В ночь с четвертого на пятое февраля, когда там, в Крыму, под Евпаторией, стягивались войска, готовясь к штурму, Николай почувствовал, что ему трудно дышать. Мандт прибегнул к помощи слуховой трубки и определил, что нижняя доля правого легкого поражена гриппом, а верхняя доля левого легкого действует слабо.

Это обеспокоило его гораздо больше, чем пение по ночам псалмов Давида, и он просил назначить ему в помощь другого врача. Консультантом к нему был назначен лейб-медик Карелль, который обычно сопровождал царя в его путешествиях за последние годы.

Хромой, с совершенно голой яйцевидной головою, с загнутым острым орлиным носом и запав-

шими, глядящими исподлобья, но весьма волевыми глазами, Мандт казался придворным дамам настоящим Мефистофелем; они признавали даже в нем большую магнетическую силу, чем и объясняли его влияние на царя.

Его заботливости и его таинственным крупинкам приписано было и то, что Николай дня через два почувствовал себя почти совершенно здоровым и начал даже говеть и поститься, так как наступила первая неделя великого поста. Правда, Мандт был решительно против этого, но тут уж он ничего сделать не мог при всем своем магнетизме.

Девятого февраля Николай позволил себе не только отстоять обедню в дворцовой церкви, но даже и отправился после того в манеж Инженерного замка на смотр маршевых батальонов лейб-гвардии Измайловского полка, направлявшихся на фронт. Было холодно: двадцать три градуса мороза; гриппозный кашель отнюдь не покинул царя; понятно, что его решение ехать на смотр привело в ужас и Мандта, и Карелля, и наследника, и Гримма... Оседланная для Николая верховая лошадь стояла уже у подъезда. Был час пополудни. Снег сильно скрипел под ногами; деревья были в густом инее; солнце казалось багровым шаром, как это часто бывает в морозные дни; густой воздух обжигал легкие даже у совершенно здоровых людей; Николай же был даже и одет легко, как это требовалось для верховой езды.

Все вокруг царя понимали, что только взвинченная до последнего предела самонадеянность, стоящая очень близко к безумию, может заставить чуть-чуть оправившегося, однако еще часто кашляющего царя ехать на смотр, как на какую-то совершенно неотложную работу, которую если не выполнить,—погибнет государство.

— Ваше величество!—испуганно бросился к нему камердинер:—Умоляю вас, ради бога вернитесь в кабинет! Нельзя вам и двух минут дышать таким ледяным воздухом!

— Ты ошибаешься,—мягко сказал ему Николай.—Свежий воздух не может быть вреден для легких.

— Папá! Ведь ты еще болен, а на смотр мог бы ведь поехать и я!—пытался удержать его наследник.

— Во-первых, ты напрасно волнуешься, я уже совершенно здоров, а во-вторых, я слишком засиделся, и моцион мне необходим,— отозвался ему отец с оттенком недовольства.

— Ваше величество! Как ваш медик я считаю своим долгом предупредить вас: ваша поездка может принести вам огромный вред! Ваша болезнь...—торопливо заговорил Карелль.

— Послушай,—перебил его, досадливо поморщившись, царь.—А если бы я был простой солдат, ты тоже стал бы меня удерживать?

Карелль ответил:

— Я убежден, что в вашей армии, ваше величество, не найдется ни одного врача, который выписал бы солдата из госпиталя в таком положении, как вы сейчас, и в такой холод! Это было бы преступлением! И мой долг не просить даже, а настоятельно требовать, чтобы вы не покидали своей комнаты.

— Ну, что ж, хорошо, ты, значит, исполнил свой долг,—нахмурился царь,—теперь я исполню свой.

И он, отстраняя всех, пошел к лошади и вскочил на нее привычно легко. Но тут Мандт, хромая и придерживая одною рукой свой плед, которым укрылся от стужи, подобрался поспешно к царскому коню, схватил его за уздечку и почти простонал:

— Я, я отвечаю за вашу жизнь!.. Ваше величество, это самоубийство, что вы хотите ехать!

— Иди прочь!—начальственно крикнул царь, снимая его руку с уздечки и посылая вперед коня шпорой.

Конь пошел с места широкой рысью, бросая назад сжатые копытами комья снега. Это был картинный конь под все еще картинным всадником в высоком гвардейском кивере с белым султаном.

Смотр Николай провел, как всегда, вникая в каждую мелочь строя. Поздравил резервистов с походом, милостиво простился с офицерами. После смотра заезжал к великой княгине Елене Павловне, потом к военному министру Долгорукову, который был болен и сидел дома. Только к вечеру вернулся он во дворец, но вернулся очень продрогший. Ночью его знобило, он почти не спал, но встал рано и отстоял обедню, а к часу дня так же точно верхом, как и накануне, поехал на новый смотр, теперь уже маршевых батальонов гвардейских саперов и полков Преображенского и Семеновского.

В этот день он вернулся во дворец гораздо раньше, так как почувствовал себя плохо. Врачи—Мандт, Карелль и Енохин—уложили его в постель, укрыли теплой шинелью... Для каждого из них было очевидно, что болезнь приняла вид гораздо более серьезный.

Одиннадцатого Николай не мог уже встать с постели, а двенадцатого пришла телеграмма, посланная «надежным офицером», флигель-адъютантом Волковым из Екатеринослава о неудачном исходе дела под Евпаторией.

Эта телеграмма сыграла роль бутыли керосина, брошенной в пламя начавшегося пожара. Николай был поражен страшно. Его сопротивляемость болезни упала, и воспаление легких пошло вперед неудержимо быстро.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
НОВЫЕ РЕДУТЫ

1

Но Севастополь продолжал жить своей напряженной жизнью, независимо от того, удалась или не удалась Хрулеву атака Евпатории и здоровы были или опасно больны сам император всероссийский—Николай и его «лицо»—князь Меншиков.

Форпост России на крайнем юге, приковавший к себе внимание Европы, Севастополь окреп, ощетинился и стоял неразрешимой загадкой, перед которой в недоумении были крупнейшие военные умы многих стран, имевших большие армии.

Для всех ясно было только одно, что даже бывший адъютант и ученик Веллингтона, маршал королевских войск Раглан, отправляясь в Крым, забыл золотое правило своего учителя: «Не узнав силы противника, не начинай военных действий».

И если английский парламент отправил в Крым ревизионную комиссию, чтобы выяснить причины неуспешных действий и больших потерь своей армии, то и Наполеон III послал своего личного адъютанта генерала Ниэля, которому должны были дать отчет в своих делах оба главнокомандующие союзных армий, так много уже стоивших и Франции и Англии и все-таки не добившихся никаких результатов.

Английская комиссия нашла много нераспорядительности, упущений, бесхозяйственности в снабжении армии самым необходимым, в результате чего несколько лиц было смещено, генерал-инженер сэр Бургоин отозван, и «Таймс» писала:

«Мы ожидали легких побед, а нашли сопротивление, превосходящее упорством все, доселе известное в истории, и были свидетелями внезапного сосредоточения огромных сил, которое принудило нас искать спасения не в хладнокровных и хорошо обдуманных действиях, но в романической храбрости. Это не должно больше повторяться».

Раглан все-таки был оставлен на своем посту: Англия не имела никого для его замены, тем более что явились большие трудности в отправке пополнений для армии. Приходилось отовсюду снимать гарнизоны и замещать их наскоро навербованной в Швейцарии милицией. Между тем армия в Крыму дошла до того, что с передовых позиций на Сапун-горе пришлось снять дивизию генерала Эванса и заменить ее дивизией французов.

Превосходя почти втрое по численности армию англичан, французская армия по праву заняла первое место среди союзных сил, и генерал Ниэль встретил полную предупредительность в маршале Раглане, раскрывшем перед ним все свои карты.

Ниэль был участником взятия Бомарзунда—русской крепости на Балтийском море, но он увидел, что Севастополь далеко не Бомарзунд. Весьма знающий военный инженер, он очень тщательно ознакомился с укреплениями русских и осадными работами союзников и при всем своем желании послать Наполеону донесение, полное надежд на скорый конец осады, не мог этого сделать. Напротив, он донес, что Севастополь может считаться крепостью непреступной, пока он не обложен со всех сторон.

«Никогда,—писал он,—не предпринималась осада при более неблагоприятных условиях!..» Перечислив все эти условия, Ниэль признал необходимым бросить прежний план и вести главную атаку не на четвертый бастион, а на Малахов курган, как такой пункт, с которого союзники могут уничтожить и русский флот, и город, и, что важнее всего, неистощимые русские арсеналы.

Ниэль был командирован Наполеоном затем, чтобы «возбудить в стане осаждающих новые идеи». Вести атаку на Малахов и было этой новой идеей.

Но ее нужно было скрыть от осажденных, поэтому в январе работы против четвертого бастиона продолжали еще вестись открыто, а против Малахова втихомолку, и французы всячески старались внушить Меншикову и Остен-Сакену, что готовятся штурмовать город со стороны четвертого бастиона, а чтобы подкрепить действия сухопутных войск, собирают и продвигают ко входу в бухту свой флот.

Действительно, пятьдесят судов союзного флота, из них восемнадцать больших линейных кораблей, выстроились в начале февраля (старого стиля) хотя и вне огня фортов, но явно готовые возобновить атаку, не удавшуюся 5/17 октября.

В то время как Николай ждал результатов нападения на Евпаторию, Меншиков уже знал их, и они его не только не взволновали, не огорчили, но даже обрадовали, насколько он мог чему-нибудь радоваться, одолеваемый своим циститом. Он мог теперь рассчитывать и на 8-ю дивизию Урусова и на Азовский полк для гораздо более важного дела—встречи штурма интервентов.

Больше всего озабочен был он тем, что не может противопоставить союзной эскадре того же, что было в его руках 5 октября. Многие орудия с фортов были сняты и отправлены на бастионы, сняты были орудия и с кораблей; только на пяти из них оставались еще пушки, и то с одного только борта. А самое главное—вход в бухту был теперь совершенно свободен.

Буря 2/14 ноября начала раскачивать и растаскивать затопленные в фарватере Большого рейда суда, а другие штормы докончили это дело, и теперь вход на рейд был совершенно свободен, и неприятельские пароходы,—а их почти три десятка стояло полукругом на якоре,—в любое время

могли ворваться даже и в Южную бухту, разгромить все тылы обороны и сделать невозможной дальнейшую защиту города.

7 февраля Меншиков, донося о своих опасениях царю, писал:

«Положение это так опасно, что я должен был решиться действовать против воли вашего императорского величества и потопить еще три корабля, на которых ныне нет вооружения и из которых все дельное выбрано».

Правда, эти корабли, назначенные к затоплению,—«Двенадцать апостолов», «Ростислав» и «Святослав»,—не были еще потоплены, когда писал Меншиков; зато несколькими днями позже, когда похороны их состоялись, к ним были прибавлены еще два фрегата—«Месемврия» и «Кагул».

В то же время Тотлебену удалось разгадать «новую идею» Ниэля,—сгущение туч над Малаховым курганом. Ключ к этой разгадке дала ему установка французами двух батарей в бывшей английской траншее у Килен-балки, против Малахова. В той стороне подымался курган; он был значительно выше Малахова и у русских носил название «Кривой Пятки», французы же окрестили его «Зеленым Холмом» (Mamelon vert). Была ясна цель французов—подобраться траншеями к этому кургану, занять его, установить на нем сильные батареи и под их прикрытием подвигаться ходами в земле к Малахову, чтобы в удобный момент захватить штурмом его, а потом и город.

Кривая Пятка, правда, давно уже мозолила глаза не только Тотлебену и Меншикову, но и самому Николаю, который из Петербурга давал советы ее занять и отсюда вести контратаки, чтобы постепенно отжать интервентов от Севастополя и выжить их совсем из Крыма. Но давать советы было гораздо легче, чем их исполнить.

Меншиков на это или отмалчивался, или ссылался на недостаток войск, так как такой прием защиты слишком растягивал и без того длинную линию обороны. На охране линии стояло тридцать тысяч человек пехоты. Из них на земляные работы ежедневно назначалась третья часть, а другая треть—на очень трудную сторожевую службу, так что солдаты отдыхали только через два дня в третий и были крайне изнурены, а это помогало развиваться болезням.

Начальник гарнизона Остен-Сакен засыпал начальника штаба Меншикова генерала Семякина требованиями подкреплений, а 7 февраля писал в своем «отношении», что гарнизон находится накануне полного истощения сил и что он сам, если не получит подкрепления, сложит с себя ответственность за судьбу Севастополя.

Как раз в это время добрался до Севастополя флигель-адъютант Левашев, посланный в конце января царем с требованием выдвинуть непременно вперед укрепления, атаковать ослабленного зимними бедствиями неприятеля, разбить его и опрокинуть в море.

Отправляя Левашева, Николай приказал ему повторить дословно все требования, какие он должен был передать Меншикову. Левашев повторил. Николай, подумав, добавил кое-что еще и заставил своего флигель-адъютанта повторить все снова. Левашев это сделал.

— Ну, вот, теперь с богом,—сказал Николай.

Левашев пошел было из кабинета, но, не дойдя до дверей, остановился.

— Ты что?—грозно спросил царь.

— Ваше величество, а если бы князь Меншиков почему-либо нашел невозможным выполнить вашу волю, то следует ли мне просить разрешения главнокомандующего о возвращении в Петербург для доклада об этом?—ответил Левашев вопросом.

Николай с полминуты смотрел на него уничтожающе гневно, наконец проговорил с усилием:

— Высочайшие повеления русского императора не могут быть не исполнены его подданными!.. С богом!

Меншиков, выслушав Левашева, сделал было свою обычную гримасу, но сказал, что это вопрос уже им решенный: обстоятельства складывались так, что теперь итти навстречу французам, взбодренным Ниэлем, приказывала уже не царская власть, а прямая и явная опасность нападения.

2

Был в армии Меншикова очень скромный человек, хотя и в генеральском уже чине,—Александр Петрович Хрущов.

Когда разбитая на Алме армия отступала, он со своим Волынским полком прикрывал отступление, а с переходом интервентов на Южную сторону он был в авангарде. Он же три месяца пробыл со своим полком на самом опасном из бастионов, на четвертом, который обстреливался так яростно, что иногда за одну ночь разрывалось на его тесной площадке более семисот бомб.

Огромное большинство растений любит яркий солнечный свет; много среди цветов и таких, которые поворачивают свои головки в солнцу по мере прохождения его по небу, но есть и тенелюбивые. Хрущов тоже любил оставаться в тени. Он никогда не признавал за собою каких-нибудь особенных военных способностей, не напрашивался ни на какие подвиги, но в то же время и не отказывался ни от каких поручений, только просил дать ему время осмотреться, чтобы решить, как действовать.

Ничего вышколенно бравого не было и в его фигуре: ни роста, ни дородства, ни осанки. Грудь он не выпячивал; напротив, был даже непоправимо сутул. Командирским зыком, звонким и гул-

ким, он тоже не обладал, и к своему чину генерал-майора добрел уже здесь, в Севастополе, с сединою в висках и небольших обвисших усах, как будто даже лишних на его круглом и кротком, благообразно бабьем лице.

Случаев как-нибудь выпукло выдвинуться ему не давало начальство, не предоставляла судьба; но все-таки было замечено, что когда бы он ни командовал отдельною частью в боях, эта часть держалась надежно стойко и поражений не знала.

Вот он-то и получил назначение в ночь с 9/21 на 10/22 февраля устроить редут впереди Малахова кургана, на склоне Сапун-горы.

Вечером там уже побывал Тотлебен и под защитой секрета пластунов произвел разбивку укрепления на батальон пехоты и шестнадцать орудий, оставалось только вырыть траншеи, укрепить их, установить орудия, вынести вперед ложементы и посадить в них стрелков,—задача довольно простая, если бы решать ее не приходилось в восьмистах метрах от передовой линии французов.

Барон Сакен, понимая всю важность и трудность дела, возложенного на Хрущова, преодолел все препятствия и добрался до второго бастиона, чтобы благословить его и полковника Сабашинского, командира Селенгинского полка, назначенного под команду Хрущова для производства работ. В прикрытие селенгинцам шел Волынский полк.

Хрущов повел свои два полка тем же самым маршрутом, каким Соймонов вел отряд на Инкерманский бой,—через Килен-балку по мосту и по Саперной дороге. Наступившая ночь была довольно темна, чтобы французские пикеты могли различить движение бригады русской пехоты, но все же не настолько темна, чтобы мешать работе селенгинцев; и когда полки дошли, куда было назначено, работа началась дружно, так как заранее подвезены были кирки, лопаты, туры.

Тотлебен, который был тут же, сам расставлял людей на линии в двести пятьдесят метров. Работали в шереножном строю, положив винтовки около себя на случай внезапного нападения. Каменистый грунт под ударами кирок давал искры; без сильного стука нельзя было разбивать известковый крепкий камень, и все опасались, что искры увидят, а стук услышат французы. Однако залегшие в секретах далеко впереди пластуны, а за ними ближе к работающим селенгинцам рассыпавшаяся в цепь рота волынцев сигнальных выстрелов не давали. Ложементы же на четыре отделения штуцерников, по двадцать пять человек в каждом, копали волынцы саперными лопатками. Три парохода—«Владимир», «Херсонес» и «Громоносец»—были поставлены Нахимовым перед Килен-бухтой, чтобы поддержать Хрущова в случае атаки французов.

Но прошла ночь, наступило утро, и перед изумленными глазами союзников встала линия свежей насыпи, пока еще низкой и маловнушительной, однако укрепленной уже турами, набитыми землей. Орудий, правда, не было еще,—их нельзя было поставить,—но стрелки сидели уже в ложементах и на выстрелы французов отвечали таким метким огнем, что те первые прекратили перестрелку.

Ниэль мог убедиться, что «новая идея» его была очень быстро разгадана русскими. Вместе с Канробером явился он познакомиться с их контрапрошными работами на Инкерманском плато, и Канробер обещал ему немедленно атаковать русских. Это было 11/23 февраля, а между тем работы по устройству редута не прекращались ни днем 10-го, ни в ночь на 11-е число,—траншея углублялась, насыпь росла, штуцерники в ложементах и пластуны вели перестрелку с французскими «головорезами». На незначительные потери при этом не обращали внимания селенгинцы, работавшие сменными батальонами над редутом, который получил имя их полка, но со стороны французов подготовлялись уже силы, которым приказано было Канробером уничтожить и этот редут и русский отряд, который будет его защищать.

Генерал Боске назначен был составить и подготовить сборный из разных полков отряд, начальник дивизии генерал Мейран был выбран в руководители атаки, генерал Моне поставлен был во главе атакующих.

В сборном отряде французов были и зуавы, и моряки, и батальоны пехотных и линейных полков, и, наконец, охотники, вызванные изо всех частей французской армии, а в резерве стояла английская дивизия и несколько сот рабочих, которые должны были повернуть траншеи в сторону русских.

Делу этому придавалось у союзников большое значение, так как в случае удачи оно значительно сокращало намеченный ими вначале путь к овладению Малаховым курганом.

3

Небо было чистое, звездное, и поднялась молодая луна—первая четверть, когда тот же Селенгинский полк—три батальона—пришел в третий раз на свою ночную работу, а Волынский—в прикрытие ему.

Кивая на очень яркую Венеру, сиявшую в близком соседстве с луною, полковник Сабашинский, балагур и сочинитель нескольких солдатских песен фривольного содержания, говорил Хрущову:

— Извольте полюбоваться, Александр Петрович, на этот турецкий ландшафт! Под таким знаменем Востока как бы не явились к нам защитники Магомета, а?

Хрущов пригляделся к небу, потом к дальним склонам Сапун-горы и очень отчетливым очертаниям Кривой Пятки и сказал вместо ответа:

— Наблюдайте, чтобы ружья у ваших солдат были под рукою и чтобы,—чуть только секреты откроют пальбу,—в ружье! А для бастионов и пароходов зажжем фалшфейер.

— Но все-таки, как вы думаете, будет в эту ночь атака?

— Ночь ничего, подходящая, если днем подготовились,—отозвался Хрущов и отошел от Сабашинского к левому флангу прикрытия, на котором ждал нападения, так как этот фланг примыкал к длинному оврагу—Троицкой балке, впадавшей в Килен-балку; обе эти балки были очень таинственны теперь, ночью, и могли прятать авангардные части союзников значительной силы. Необходимо было усилить секреты в этой стороне, чтобы при неожиданно быстром нападении они не были смяты и лишены возможности открыть стрельбу. Кроме того, с этой стороны можно было опасаться и обхода, если не теперь, когда для этого было слишком светло, то позже, когда зайдет луна.

За общее расположение Волынского полка Хрущов был спокоен. Один батальон—четвертый—стоял в ротных колоннах по линии ложементов, и от каждой роты по одному взводу было рассыпано в цепь; остальные три батальона—в резерве. Но секреты, в которых было всего только тридцать человек пластунов при старом, шестидесятилетнем есауле Даниленке, казались ему именно теперь, в эту ночь, слишком редкой завесой, сквозь которую при бурном натиске легко могли прорваться лавины нападающих; кстати, отзыв, данный на 12 февраля, был «натиск», а зуавы отличались известной уже ему быстротою действий.

Волынский полк был неполного состава, Селенгинский тоже; в обоих полках можно было насчитать около четырех с половиной тысяч человек; и Хрущов не один раз задавал себе вопрос: «А что если атакующих будет семь-восемь тысяч?» И отвечал на него: «Пожалуй, могут смять тогда,—разве что поможет орудийный обстрел с пароходов!»

Он знал, что у противника нет близко орудий, но разве не могут они подвезти себе на подмогу легкие горные пушки, обмотав, например, их колеса парусиной, чтобы не гремели, как это сделал в одной своей вылазке мичман Титов? Пушки же эти могут не столько наделать вреда, сколько подействовать устрашающе на русских солдат, заставят их, может быть, попятиться, а ночью это гораздо опаснее, чем днем,—труднее привести ряды в порядок.

В полночь, когда только один рог уходившей уже за горизонт луны вонзился в небо, как огромный кабаний клык, Хрущов послал своего ординарца-прапорщика проверить аванпосты.

— Ну, что там? Ничего не замечают секреты?—спросил он ординарца, когда тот вернулся.

— Движения противника не обнаружено,—ответил ординарец, его воспитанник Маклаков.

— Ты есаула видел?

— Так точно, ваше превосходительство.

— Что же он говорит?

— Говорит: «Нэма ни чортова батька та мабудь и не будэ».

— А он не того, не выпивши? Ты не заметил?

— Никак нет,—безусловно трезвый.

Хрущов огляделся, как это было у него в обыкновении, и сказал спокойно:

— Посмотрим, что будет, когда стемнеет...—и добавил:—Если ничего не видно, то, может быть, что-нибудь слышно со стороны неприятеля, а?

— Со слов пластунов там будто бы тоже идет работа в траншеях, как и у нас, ваше превосходительство... Точнее говоря, шла работа, а теперь что-то тихо,—доложил прапорщик.

— Ага! Вот видишь! А это-то и очень важно мне знать. Значит, копали-копали и вдруг перестали? Почему же перестали?

— Не могу знать, почему именно перестали.

— Потому что в траншеи стали набиваться войска, приготовленные для атаки,—вот почему! Атака непременно будет и, пожалуй, скоро... Луна зашла, набегают облака, скоро будет темно, и вот тогда-то они двинутся... Ну, дай бог успеха! Передай от моего имени полковнику Сабашинскому, чтобы ждал атаки непременно.

Прапорщик почти бегом пустился к селенгинцам, а сам Хрущов направился к людям, приставленным к фалшфейеру, чтобы убедиться, все ли там в порядке и не будет ли задержки в необходимый момент.

Горнист на случай вызова резерва был неотлучно при нем. Это был видный детина из старослужащих. Хрущов осведомился, как его фамилия. Он оказался Павлов Семен.

Еще раз через полчаса справился Хрущов, не слышно ли чего в траншеях французов. Секреты дали знать, что тихо.

Зато довольно шумно шла работа у селенгинцев, да в каменистом грунте и нельзя было работать под сурдинку, тем более что исподволь стало совсем темно, в двух шагах и на открытом месте ничего не было видно, не только в траншее, и там, в тесноте, рабочие поневоле задевали один другого, иногда ругались, иногда смеялись чьему-нибудь острому словцу.

Время подходило уже к двум часам. Ночь холодела, темнота становилась гуще. Даже зоркие глаза пластунов отказывались различить что-нибудь перед собою, однако ухо ловило какой-то невнятный гул, когда припадало к земле.

Гул, впрочем, был настолько неопределенный, что поднимать тревогу казалось преждевременным. Его слышал и старый есаул Даниленко, но пока

он раздумывал о нем, отдаленный гул как-то внезапно перешел в очень близкий топот множества ног, и вот уже оттуда, из темноты, кто-то наскочил на него, сидевшего на земле, и упал грузно.

— Палыть-палыть, хлопцы! Враг идэ!—успел крикнуть Даниленко.

Но уже справа и слева бежали. А крик «Палыть-палыть! Враг идэ!» пошел гулять от бегущих пластунов к волынцам, лежавшим в цепи, пока, наконец, кто-то из волынцев не выстрелил.

Тогда захлопали выстрелы с разных сторон, и огненный сноп фалшфейера дал знать на пароходы и на Корниловский и второй бастионы, что началась атака.

4

Атака же была стремительна. Генерал Моне шел во главе пяти батальонов отборнейших солдат: зуавов, моряков, венсенских стрелков.

Эти батальоны и при своем беге по очень пересеченной местности между своими траншеями и русскими ложементами соблюдали тот порядок, какой им дал еще в одиннадцать часов вечера Боске: два батальона зуавов разместились на флангах, моряки—в центре, венсенские стрелки—в резерве. Генерал Мейран был при английской дивизии, шедшей за стрелками.

Вполне удалось французам благодаря темноте ночи подойти незамеченно к цепи волынцев. Удар их был дружный. Ротные колонны, расстроенные бежавшей цепью, попятились. Встречные выстрелы были нестройны.

— Братцы, не выдавайте!—закричал Хрущов, не столько видя, сколько ощущая всем телом, что мимо него, пятясь поспешно, отступают перед противником,—вот-вот побегут его волынцы.—Горнист, труби резерву!

Павлов Семен повернул свой рожок в сторону резервных батальонов, но только что успел оттрубить призыв, как увидел перед собою и перед своим генералом офицера-зуава с поднятой саблей. Он увидел его потому, что в этот момент пролетало вверху, над головой, светящееся каленое ядро, пущенное с одного из бастионов.

Ничего не было в руках у Павлова,—только рожок,—этим рожком он и ударил зуава по руке, в которой блеснула сабля, занесенная над Хрущовым. Тут же поднял он рожок снова и раструбом его ударил зуава по голове, а задержавшийся около своего командира рядовой Белоусов добил его штыком.

Всего несколько мгновений ушло на это. Хрущов даже и не заметил, что был на волос от смерти. Он спешил к левому флангу редута, чтобы туда ввести первый батальон, обезопаситься от обхода.

Темнота, лязг штыков, крики:

— Ребята, сюда-а!

— En avant!

— Урра-а!

Подавшиеся от первого натиска волынцы, подпертые резервными ротами, оправились, местами даже пробились вперед. Ружейные выстрелы, освещавшие на момент лица врагов, были редки. Шла штыковая работа—из всех человеческих работ самая ужасная.

Угадать замысел французов было нетрудно, и Хрущов правильно его понял. В то время когда началась атака, он был ближе к правому флангу своего отряда, на который наступала левая колонна французов—зуавы. Но правая колонна их,—тоже зуавы с командой охотников впереди,—имела задачей захватить левый фас редута и обойти русских со стороны Троицкой балки, в которой, между прочим, расположены были и палатки хрущовского отряда, стоявшего здесь биваком. Если бы удалось это французам, разгром русских был бы полный, тем более что силы союзного отряда были достаточно велики, превосходя в общем силы Хрущова тысячи на две штыков.

Но в темноте ночи определить эти силы невозможно было, так же как и генерал Моне не знал точно сил своего противника. В самый разгар боя он был ранен случайной пулей, а вслед за ним командир зуавов полковник Клер, тоже раненый, был отправлен в тыл.

Однако тыл стал небезопасен после того, как русские батареи и пароходы благодаря светящимся ядрам уяснили себе, где резервы противника. Поднялась оживленнейшая артиллерийская пальба, особенно действительная с трех пароходов, стоящих в Килен-бухте.

У французов не было орудий. Но уверенность атакующих в успехе была так велика, что они неудержимо лезли на редут, казавшийся им издали, днем, какою-то ребячьей забавой. Это было их ошибкой. Редут был как редут, со рвом впереди, с бруствером, хотя и не очень высоким, однако одетым уже фашинами, а селенгинцы на этом бруствере выставили навстречу гостям штыки, и первым попал на штык командир роты охотников.

Здесь, у цели атаки, была и самая оживленная схватка. На правый фас редута напирали дюжие моряки. Батальон волынцев, приведенный сюда самим Хрущовым, поддерживал здесь селенгинцев, хватавшихся за кирки, если не находили в темноте и суматохе своих ружей.

Хриплые крики борьбы, жесткие звуки удара железа о железо, стоны раненых, хлопанье выстрелов здесь и там, визг ядер и бомб, пролетавших вверху, надсадно звонкие команды, призывы на помощь,—и все это в темноте, и все это тянулось около часу... Одних тащили за шиворот

в плен, других, раненых, уносили в тыл, убитых топтали, спотыкаясь о них, как о мешки с землею, и падая, и ругаясь злобно...

Наконец от редута отхлынули французы. Лихой полковник Сабашинский послал донести Хрущову, что неприятель отбит.

— Отбит? Тогда пусть бьют «сбор»,—отозвался Хрущов, и барабанщики один за другим, как петухи на заре, ударили сбор в разных концах поля сражения, а через несколько минут, штыки наперевес, плотным каре пошли в атаку волынцы.

Батальоны венсенских стрелков, спешившие на помощь зуавам и морякам, были опрокинуты после короткой схватки. Даже разгоряченные борьбой две-три роты волынцев заскочили было им в тыл; стрелки бежали.

Почти до самых их траншей провожал французов Хрущов с волынцами. Роли могли бы перемениться: только что атаковавшие могли быть атакованы сами, но в расположении французов рвались русские снаряды, и дальше итти было нельзя. Горнист Павлов Семен протрубил отбой.

Шел только четвертый час: темнота оставалась прежней. Отведя своих к редуту, Хрущов выстроил их снова в боевой порядок. Осторожный и осмотрительный, он ожидал повторной атаки, но поражение французов было полное, они понесли большой урон и не только не отважились на новую атаку, даже не открывали стрельбу и утром.

Рассвело, и можно уж стало подсчитать своих убитых и раненых и чужих убитых. Свои потери перевалили за четыреста человек. Около редута насчитали свыше ста тел французов, из них десять офицеров. Радовались, что убитых русских было гораздо меньше.

Так был окроплен первою кровью первый редут на подступах к Малахову кургану.

Меншиков, сколь ни чувствовал себя плохо, все-таки вышел из своей хижины и наблюдал этот ночной бой, насколько можно было разглядеть в темноте с Северной стороны вспышки ружейных выстрелов за Малаховым.

— Эх, жарко приходится бедному Хрущову!— время от времени говорил он, обращаясь к Панаеву, который в последнее время был при нем бессменно, сумев оттеснить от него остальных адъютантов.

— А вот, кажется, наши огни вперед пошли, ваша светлость!—радостно заметил Панаев.

— Неужто вперед? В самом деле, как будто движутся в ту сторону! Гоним, значит?.. Что-то мне все-таки не верится... Подождем до утра.

А утром ординарец Хрущова прапорщик Маклаков прискакал с докладом о победе.

Внимательно выслушав доклад, Меншиков сам открыл шкафчик, где у него хранились важные бумаги и прочее, достал оттуда связку георгиевских крестов и, передавая ее Маклакову, сказал:

— Тут двадцать пять штук. Пятнадцать я даю на Волынский полк, десять—на Селенгинский... Поехал бы сам, поздравил бы молодцов, да не могу, слаб, еле по комнате двигаюсь... Болен.

Рядом с селенгинским редутом, только на сто сажен ближе к противнику, вполне беспрепятственно после чувствительной острастки, данной французам, был заложен волынцами свой редут, а через несколько дней Камчатский полк устроил третье укрепление, названное Камчатским люнетом.

На виду у противника создать в короткий срок новую мощную линию обороны—это был крупный успех русского оружия в Севастополе, но обрадовать этим успехом царя уже не удалось.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
СМЕРТЬ НИКОЛАЯ

1

Полковнику Волкову, который приехал в Петербург вечером 14 февраля, пришлось делать доклад об Евпаторийском деле уже не царю, а наследнику: Николай, только познакомясь с его телеграммой за два дня до того, так упал духом, что совсем перестал говорить о войне да и все другие заботы по управлению государством передал Александру, а сам умолк, сжался. На своей узкой походной кровати, закутанный в шинель вместо одеяла, то дрожа от озноба, то задыхаясь от кашля, то следя про себя за болями, возникавшими в спине, груди, в боку, он начинал уже понимать, что, пожалуй, все крупинки мандтовских лекарств могут оказаться бессильными перед его болезнью.

Еще в тридцать первом году, когда холера, в первый раз посетившая Россию, косила население и появилась даже в Петербурге, вызвав известные «холерные беспорядки», Николай приготовился было к смерти и наскоро набросал свое духовное завещание. В сорок четвертом году это завещание было им несколько переделано, развито в тридцать с лишком статей, но оно касалось только распределения того имущества, которое он считал своим личным, между всеми членами его семьи. Он очень подробно перечислял все имения, дворцы, дачи, мызы, деревни, которые после его смерти должны были перейти в собственность его жены Александры Федоровны; Аничковский дворец предназначался старшему сыну Александру, а Константину—«все модели, телескопы, рупоры, медальный кабинет и библиотека». Что же касалось царской конюшни, то все четыре сына его должны были поделить ее между собою поровну и по жребию, но при этом и брату царя, Михаилу

Павловичу, разрешалось выбрать для себя лошадей по его желанию. Дочерям же завещались только капиталы, однако вывозить их из России права им не давалось,—на это должны были итти только проценты с капиталов...

Завещание это представляло собой довольно объемистую тетрадь. В нем не были обделены разными милостями и чрезвычайно многочисленные царские дворцовые слуги вплоть до старых дворцовых гренадеров; но в нем ни слова не было сказано ни о внутренней, ни о внешней политике.

Казалось бы, что с головой ушедший в заботы о «благе» своих подданных, точно так же как и о благе всей Европы, царь должен был бы передать своему преемнику одушевлявшие его идеи во всей их полноте и доказательности не только для сведения, но и для руководства, однако о них-то и не сказал Николай ни тогда, в сорок четвертом году, ни впоследствии, за десять с лишком лет, когда, без сомнения, представлялось ему много случаев вынуть из заветного шкафа тетрадь и ее дополнить... хотя бы одним только пожеланием своему преемнику раскрепостить крестьян.

Имея полную возможность составить свое завещание как царь, он написал его только как первый по своему богатству русский помещик.

13 февраля пришлось на воскресенье первой недели великого поста, а в это воскресенье обычно в церквах совершали обряд «проклятия». Торжественно проклинали вождей народных восстаний—Степана Разина и Емельяна Пугачева и пели «вечную память» умершим царям.

Но... бывают же иногда такие фатальные ошибки! В Казанском соборе служил обедню митрополит, а лаврский иеродиакон Герман, обладатель единственного в своем роде громоподобного голоса, провозглашал перед амвоном «анафему» и «вечную память».

И то и другое должно было потрясать сердца молящихся. Но вот,—привычка ли тут сказалась, или усталость, или временная рассеянность,—только, втянув воловью шею в жирные плечи насколько мог, багровый от натуги, проревел Герман:

— Благочестивейшему, самодержавнейшему и великому государю нашему Николаю Павловичу ве-е-ечная па-а-а...

Он опомнился, правда, испуганно оборвал свой рев, но певчие на хорах подхватили его и грянули:

— Вечная па-амять!

Митрополит с амвона махал им руками и кричал:

— Многая лета! Многая лета!

Публика в церкви переглядывалась в недоумении. Произошло общее замешательство. Одни из певчих начинали «Многая лета», в то время как другие заканчивали «Вечную память».

Только через несколько дней немногодумный иеродиакон понял, что на него снизошел в этот момент дар пророчества; пока же пришлось ему достаточно претерпеть за этот так некстати свалившийся на его голову дар от разъяренного митрополита.

15 февраля утром Николай начал отхаркивать кровь. Это его испугало.

— Не каверны ли открылись у меня в легких?—спросил он у Мандта.

Тот ослушал его, но сосредоточенно молчал.

— Что же сказала тебе твоя трубка?.. Каверны?—упавшим голосом повторил Николай.

— Нет, ваше величество, это—не каверны... Это несколько хуже, чем каверны,—решился, наконец, ответить Мандт.

— Еще хуже?.. Что же может быть хуже этой гадости?

— Хуже каверн—паралич легких, ваше величество.

— А он... уже есть?—тихо спросил Николай.

— Пока его нет, и будем надеяться, что не будет,—пробормотал Мандт.

Между тем внимательно следивший за ним огромными на исхудалом лице глазами Николай замечал и в то же время боялся заметить, что он старается скрыть от него какую-то злую правду.

16 февраля второй сын царя, Константин, ведавший морским министерством, очень встревоженный состоянием отца, под руку с женою, в сильный мороз и ветер, пешком отправился из дворца к вечерне в Невскую лавру, чтобы там помолиться усердно о «многих летах» для своего родителя.

Он был вообще благонравен и богомолен, однако итти пешком за пять верст в такой холод—это можно было объяснить только порывом отчаянья, которое в подобном «подвиге» искало для себя выхода.

Между тем петербуржцы, за исключением только придворных, ничего не знали о болезни царя: бюллетени не выпускались; болезнь не считалась очень опасной даже лейб-медиками, полагавшимися на сильный организм Николая.

Эти надежды пошатнулись только 17 февраля, когда начались у больного сильные колотия в области сердца и потом сильный жар и бред. Только тогда консультация врачей пришла к выводу, что положение очень опасно, и решилась сказать об этом наследнику, тот передал это матери,—и ожидание близкой уже смерти главы большой семьи, для которой был выстроен Клейнмихелем Зимний дворец, началось. Оно началось с того же, с чего начиналось подобное ожидание смерти в каждой русской помещичьей семье того времени: с заботы о том, чтобы умирающий успел исповедаться и при-

частиться перед тем, как перейти «в жизнь вечную».

Весьма искусная в частых своих приготовлениях к смерти (для того, впрочем, чтобы еще и еще возвращаться к жизни земной) Александра Федоровна, стараясь не обеспокоить умирающего мужа слезами, склонилась к его изголовью.

— Друг мой,—сказала она тихо,—ты начал было говеть, но не мог по болезни закончить и не успел приобщиться святых тайн с нами вместе... Но ведь ты... мог бы сделать это и теперь... Святые тайны, они ведь лучшее лекарство от всех болезней...

Сказала и ждала ответа, пряча глаза от мужа. Он же поворачивал голову так, чтобы найти эти глаза,—глаза той, которая сорок лет была его женою,—этой истощенной, слабой, как тростинка, женщины, которая тем не менее переживала его...

Он понимал это внутренним чутьем, инстинктом, но это не укладывалось в его сознание. Он отбрасывал тайный смысл ее слов,—этот смысл казался слишком страшен, чтобы его принять. И он отозвался ей:

— Да, я хотел бы закончить свое говенье... но это уж сделаю, когда встану на ноги... Как могу я приступить к такому великому таинству лежа в постели, неодетый?..

Это была уловка искушенного дипломата, когда-то руководившего всею внешней политикой России. Но теперь шел вопрос не о Франции или Англии, не об Австрии или Турции, не о войне, в которой могли бы погибнуть сотни тысяч людей, а о собственной, личной жизни, к которой приближалась со своею тривиальной косой смерть.

Он ждал, что именно возразит ему жена, чтобы безошибочно угадать истину по ее первым же словам; однако и ей нетрудно было понять тайный ход его испуганной мысли. Она увидела, что ни одним словом нельзя было настаивать на причастии, чтобы не поразить его, не отнять последней его надежды.

Она отвернулась и стала тихо читать молитву, стараясь движением ресниц стряхнуть слезы. Но молитва эта испугала его; это было похоже на чтение «отходной» по нем.

— Что ты это?.. Зачем?—поднял он голову, не сводя с нее расширенных глаз.

— Молюсь о тебе,—ответила она, боясь повернуть к нему лицо.

— Разве я... А? Что?..—еле проговорил он, задыхаясь.

— Я молюсь, чтобы ты выздоровел, на что я надеюсь,—поспешила сказать она; однако дальше не могла выдержать притворства и поспешно вышла, так и не решившись ничем еще намекнуть умирающему мужу на то, что он умирает, что это неизбежно, что это уже скоро... сутки или даже несколько часов всего...

2

Первые бюллетени о болезни Николая были отпечатаны поздно вечером 17-го числа, а обнародованы только утром на другой день. Правда, тогда уже выпущено было один за другим три бюллетеня, причем в последнем говорилось, что болезнь опасна, другими словами—неизлечима, смертельна, не оставляет надежд.

Однако во дворце никто из близких к царю лиц не решался взять на себя, после неудачной попытки самой императрицы, смелость объявить об этом умирающему. Вся большая семья царя во главе с наследником Александром, который должен был вот-вот сам стать самодержавным властелином России, или толпилась в придворной церкви, выслушивая на коленях молебствия о здравии, или шушукалась в комнатах, соседних с кабинетом, в котором лежал умирающий, и всех ужасала мысль, что он может умереть без исповеди и причастия.

Наконец решено было обратиться к тому, кто, казалось бы, имел такое влияние на царя, к человеку мефистофельской внешности—Мандту.

Идя в третьем часу ночи на дежурство к умирающему, он получил записку, писанную по-французски, от одной из придворных дам, графини Блудовой:

«Умоляю вас, не теряйте времени ввиду усиливающейся опасности! Настаивайте непременно на приобщении святых тайн. Вы не знаете, какую придают у нас этому важность и какое ужасное впечатление произвело бы на всех неисполнение этого долга. Вы—иностранец, и вся ответственность падает на вас!..»

Мандт—немец, протестант—обрекался таким образом на трудный подвиг—склонить царя исполнить православный обряд, обычно исполнявшийся перед смертью.

Сменяя своего коллегу Карелля, Мандт спросил его, каков больной.

— Совершенно безнадежен!—тихо по-немецки ответил Карелль.

Мандт был очень испуган и этим приговором Карелля и последней строчкой полученной им записки. Он поспешно принялся ослушивать царя, но увидел, что Карелль прав, скоро все должно было кончиться.

Он несколько минут сидел пораженный или только желавший показаться таким внимательно глядевшему на него больному, чтобы он понял его без лишних слов. Но умирающий молчал: он не хотел понимать... Пришлось начать говорить, хотя и весьма отдаленно, о цели разговора.

— Когда я сейчас шел сюда, я встретился с одним почтенным человеком,—затрудняясь в подборе фраз, заговорил Мандт.—Этот человек просил меня положить к стопам вашего величества

изъявление его преданности и пожелание выздороветь...

— Кто такой?—неожиданно громко и недовольно спросил Николай.

— Это... это ваш духовник Бажанов, с которым я очень близок...

— А-а... Я не знал, что ты близок с Бажановым,—пробормотал умирающий, начиная уже предугадывать дальнейшее.—Когда же ты успел с ним так сблизиться?

— О, я познакомился с этим почтенным человеком у смертного одра почившей великой княжны Александры Николаевны... Это было тяжелое время для всех нас... У государыни императрицы мы вспоминали об этом вчера, и... и я мог понять, что ее величеству было бы приятно, если бы вместе с отцом Бажановым она могла бы помолиться около вашей постели об умершей дочери, притом же вознести мольбы и о вашем скором выздоровлении...

Очень окольный путь был избран хитрым Мандтом для того, чтобы дать понять Николаю, что он, хотя и самодержец еще, но умирает. И Николай это понял. Скрестились две пары глаз: выпученные, огромные, почти белые глаза Николая и запавшие, но немигающие мефистофелевские глаза его лейб-медика, и Николай спросил наконец:

— Разве я должен умереть?

Мандт опустил глаза и ответил тихо:

— Да, государь!

Царь повернулся к стене и лежал так несколько минут. Мандт взял его руку в свою и стал считать пульс.

Умирающий снова лег на спину и спросил:

— Как же осмелился ты сказать мне это?

Действительно, осмелиться было бы трудно, но все кругом во дворце ожидали от Мандта этой смелости, и Мандт ощущал это, как приказ тех, кто имеет силу и власть, в отношении к тому, кто теперь уже совершенно бессилен, хотя еще и считается царем.

Мандту пришлось так же пространно и сложно, как и раньше, объяснять царю, что во всех отношениях было бы хуже, если бы он не сказал ему этого, что он имеет еще возможность объявить близким свою последнюю волю и проститься с ними, что в его распоряжении есть еще для этого несколько часов.

Царь выслушал это с виду спокойно и снова повернулся к стене. Он, который выше всего в жизни ставил строжайшую военную дисциплину и за малейшие проступки против нее наказывал жестоко, теперь видел, что и у смерти, которая шла к нему, есть тоже свои правила дисциплины, которые он, уже сходящий с трона самодержец, обязан выполнить.

Но к подобной мысли все-таки надо было привыкнуть; для этого необходимы были хотя бы десять минут сосредоточенности, молчания... Дышать же было трудно, дышать могла уже только небольшая часть легких. Сильные подагрические боли охватывали пальцы правой ноги, как будто за них брались уже, пробуя, жесткие костлявые руки смерти. Мысли иногда путались, заскакивали одна за другую, терялись...

— Благодарю!—сказал он наконец.—Позови ко мне моего старшего сына...

3

Тягостная для всех во дворце неопределенность, полная притом ужаснейших опасений, что умирающий может умереть внезапно, без исповеди и причастия, окончилась, когда наследник вошел в кабинет к отцу. Во дворце, конечно, никто не спал, хотя было только четыре часа утра. Обер-священник Бажанов также ожидал только приказания приступить к церемонии напутствия, в которой он был бы главным действующим лицом, отлично знающим свою роль.

И его позвали, и исповедь царя-деспота в его тяжких грехах началась.

Однако обер-священник задавал только привычные свои вопросы, какие задавались всеми вообще священниками их «духовным чадам» под душным покровом епитрахили. Эти вопросы касались только личной жизни каждого человека, умирал же тот, кто тридцать почти лет самовластно руководил огромной страною и душил в ней мысль.

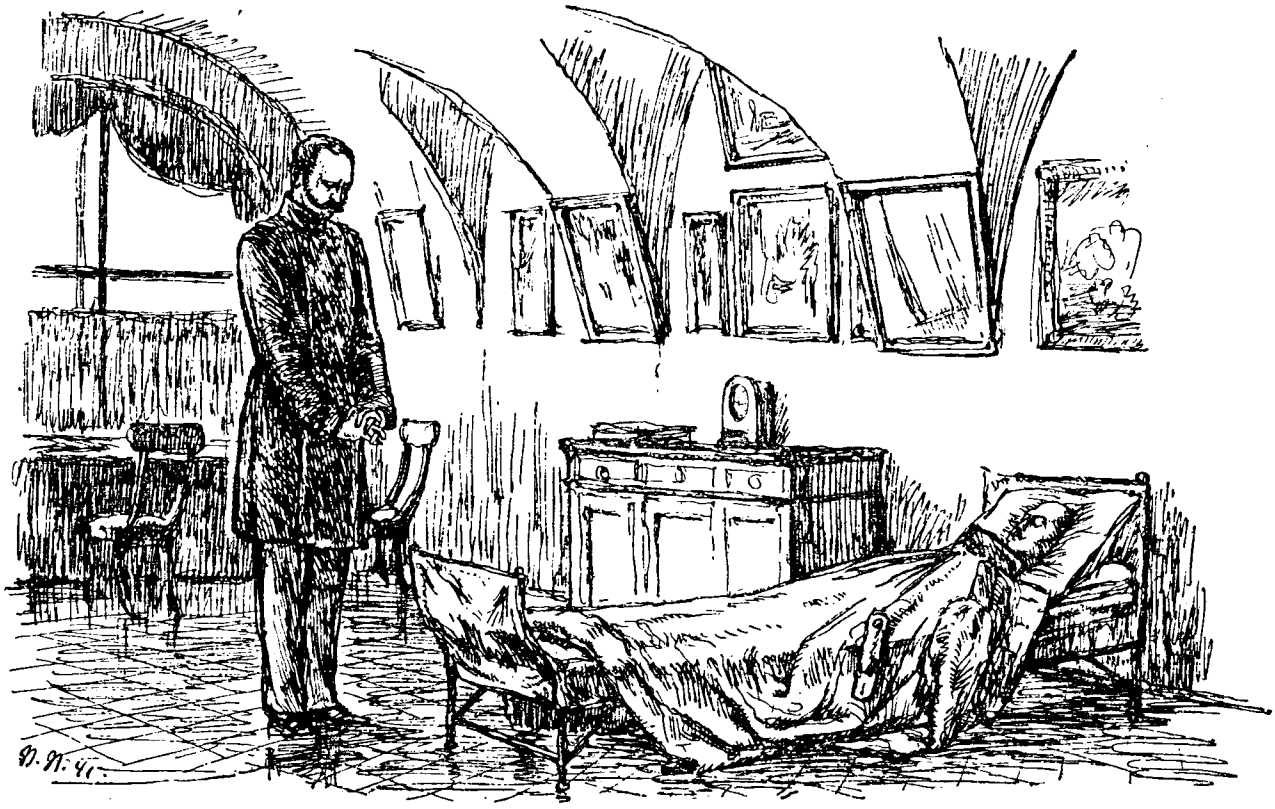
Хомяков в своих знаменитых стихах, написанных в начале Восточной войны, вежливо переложил грехи Николая на голову России, обращаясь к ней с укором, возмутившим и правительство и правящие классы:

...А на тебя, увы, как много
Грехов ужасных налегло!
В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена,
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!..

О «всякой мерзости», которой полна была русская жизнь при Николае, не говорил, конечно, придворный духовник, задавая умирающему свои вопросы; исповедь велась в пределах десяти заповедей, и когда она кончилась, Николай, перекрестившись, сказал торжественно:

— Верую, что господь примет меня в свои объятия!

И с этого момента торжественность человека, привыкшего за свою долгую жизнь к тысяче придворных церемоний, приемов, парадов, смотров, подменивших для него простую, естественную жизнь, уже не покидала Николая. Он как будто незримо надел на себя новый мундир, тот мундир, в котором нужно было итти представляться



уже не папе в его Ватикан, а богу, в которого он верил. Он старался как можно отчетливей повторять за священником слова передпричастной молитвы. Он даже попытался сползти с кровати, чтобы принять причастие стоя на коленях, а не лежа...

Выполнив свою роль, покинул кабинет Бажанов, и в это последнее обиталище царя стали входить, чтобы проститься с ним, его семейные.

Когда вошла Елена Павловна, Николай сказал ей с подобием улыбки:

— Eh bien, madame Michel [1], стоп машина!

Как раз в это время ему принесли письмо от сыновей из Севастополя, привезенное курьером.

— А-а!.. Что? Здоровы они?—спросил он и, когда ему ответили, что здоровы, добавил:—Все прочее меня уже не касается больше... я весь в боге.

От «всего прочего» он уже чувствовал себя оторвавшимся и свободным,—от затеянной им войны, от осажденного Севастополя, от России... Он оставался только в тесном кругу своей семьи.

За большим окном его кабинета свистел леденящий ветер; на столе его лежала неразорвавшаяся английская бомба, из тех, которыми союзный флот осыпал Одессу; на стенах висело несколько батальных картин; темнела икона в серебряном окладе... такая комната могла бы быть у любого штаб-ротмистра. Николай перед смертью точно сознательно забрался в это неуютное и притом холодное убежище, чтобы менее чувствителен был переход к могиле в Петропавловском соборе.

О Петропавловском соборе не забыл Николай перед смертью: он сам определил место там, где хотел бы быть погребенным.

Вели и несли к нему его внуков, детей наследника. Маленький Александр, будущий император, до того испугался вида умирающего деда, что с криком ужаса кинулся вон из кабинета. Его удержали в дверях и едва успокоили.

Но кроме семьи были и еще близкие Николаю люди, как граф Адлерберг, граф Орлов, князь Долгоруков... Их тоже приказал призвать к себе умирающий и одному подарил свою чернильницу, другому—свои часы, за то, что он «никогда не опаздывал с докладами», третьему—свой старый портфель для бумаг...

Даже камер-лакеев своих он призвал к себе... Однако уже зимний день смотрел в окно. Жизнь, от которой ему думалось уйти ночью, поднималась перед ним снова, хотя сознание его уже заволакивалось временами.

[1] Итак, мадам Мишель.

— Когда же вы меня отпустите?—спросил он недовольно у Мандта.

Мандт не дослышал и не понял вопроса.

— Я хочу сказать, когда это все кончится?— повторил Николай.

— Теперь уже скоро,—ответил Мандт.

— Скоро?.. Тогда... пусть же читают отходную.

Он боялся и в этот момент, что не исполнят чего-нибудь, что полагается по уставу, по закону, по форме исполнить.

Начали читать отходную молитву. Все стали на колени. Наследник держал в своих руках его руки, уже начинавшие холодеть.

В первом часу дня он умер.

4

Тело Николая, в одной рубашке, прикрытое только шинелью серого солдатского сукна, лежало на походной кровати сначала в том же кабинете, потом было перенесено в нижнюю залу дворца.

Когда был открыт к нему доступ народу, все время окружавшему дворец, то в общей давке у дворцовых дверей несколько человек было задушено насмерть, и это сочтено было не столько за результат преступной нераспорядительности полиции и жандармов, сколько за бурное проявление особой любви к покойному царю, готовой сломать все преграды.

Что народ, только после смерти Николая увидевший печатные бюллетени о его болезни, был чрезвычайно изумлен этим и даже заподозрил в этом что-то неладное, было правдой. Ночью народ, окружив дворец, со слов кучера умершего царя, кричал, что Николая отравили и что отравителем был не кто иной, как Мандт. Шум, поднятый толпою, был настолько угрожающим, что перетрусивший Мандт, который жил во дворце, обратился к новому императору, Александру II, прося спасти его от неминуемой смерти.

Александр распорядился вывезти его из дворца тайно в наемной карете, а через несколько дней злополучный лейб-медик был уже за границей, где года через три и умер.

В первые же дни после смерти деспота-царя возникла и легенда о том, что он покончил самоубийством, не в силах будучи перенести военные неудачи в Крыму, и что именно Мандт дал ему какого-то медленно действующего яду по его же приказу. Потом будто бы, испугавшись смерти, он требовал у того же Мандта противоядия, но в этом творец «атомистической» теории лечения не мог уже ему помочь.

Несомненно, что психика Николая была очень потрясена тем, что он, угрожавший когда-то Франции «миллионом зрителей в серых шинелях», не мог справиться с армией союзников в самой сильной точке русской пограничной линии на юге; не будь такого потрясения, он, пожалуй, не пел бы по ночам псалмов Давида и не плакал бы в одиночестве в своем кабинете. Не нужно забывать и того, что был он сыном сумасбродного Павла и что все его братья, начиная с Александра, не отличались устойчивым умом.

Но, с другой стороны, положение в Крыму в феврале было далеко не так уж плохо для русской армии. Хуже было тогда союзникам; а затем, Николай все-таки был религиозен и слепо верил в загробную жизнь. Он говорил о себе: «Я не богослов; я верю попросту, по-мужицки», с точки же зрения такой «простой, мужицкой», веры самоубийство считалось великим грехом, и самоубийц запрещено было даже отпевать по православному обряду и хоронить на кладбище.

Что же касается не яда, данного будто бы ему Мандтом, а того, что он, не поправившись от гриппа и вопреки запрещению своих медиков, в двадцатиградусный холод отправился на смотр, как будто с затаенной целью простудиться смертельно, то это может быть истолковано, конечно, и так и иначе,—например, простою переоценкой своих сил.

Во всяком случае можно сказать, что те, кто распространял и поддерживал печатно легенду о самоубийстве Николая, о свободном уходе его из жизни, оказывали только посмертную услугу мрачной тени этого убежденного душителя свободы, подсовывая хотя и невысокий, но все-таки некий пьедестал под его личность, делая его способным ужаснуться той пропасти, в которую он завел Россию, и казнить себя самого за дикую глупость своей системы правления.

Так или иначе, яростный враг революционных идей Запада, крепко державший в крутом невежестве и гробовом безмолвии огромную страну, сошел, наконец, со сцены, России же осталось в наследство пожать то, что упорно и настойчиво сеял он в течение тридцати лет.

Для этого трудного и горячего времени жатвы, для этой с т р а д ы, отведена была историей как будто небольшая совсем полоска недавне-русской земли, побережье Крыма, всего в два-три десятка километров длиною, в несколько километров шириною; но для России страда эта оказалась действительно временем огромнейшего напряжения всех ее средств, так как война вылилась в позиционную войну,—первую в истории России,—и на небольшом клочке земли с той и с другой стороны сосредоточены были огромные силы.

И первое, что сделал новый царь для того, чтобы успешнее проходила севастопольская страда, он, действуя еще как бы от имени своего отца, главнокомандующим Крымской армии на место Меншикова назначил Горчакова, послав светлейшему необходимый всемилостивейший рескрипт.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ОТСТАВКА МЕНШИКОВА

1

В сущности отставка Меншикова была уже предрешена тут же после Инкерманского боя, когда главнокомандующий сам в своих письмах к Долгорукову в Петербург и к Горчакову в Кишинев признавал себя не способным удержать в русских руках не только Севастополь, но даже и Крым.

Три месяца с лишком после Инкермана он как будто только тем и был занят, что дожидался отставки, до того всем била в глаза его бездеятельность при мелочной копотливости и всем резали уши его жалобы на свои болезни и немощи. И все-таки,—велика сила привычки даже и у царей,—к общему изумлению, он, обитавший вдали от войск, никогда не появлявшийся на бастионах, никогда не смотревший ни одну часть, присылавшуюся ему в Севастополь, бывший как бы у самого себя под арестом, держался на своем посту,—огромнейшем, наиважнейшем, от которого зависела честь России, целость государства, достоинство армии, длительность войны, стоимость войны людьми и средствами и много всего...

Капитан-лейтенант Стеценко, человек малого роста, но большой серьезности, чем ближе и больше наблюдал Меншикова, как один из его адъютантов, тем яснее видел, что тот попал почему-то совсем не на свое место, хотя в нем и было несколько качеств, без которых немыслим главнокомандующий.

Ум?—Был, притом всеми признанный.—Широкий взгляд на вещи?—Был и широкий взгляд на вещи.—Общая образованность?—Была, и большая, вплоть до диплома ветеринара и звания ученого кузнеца, полученного в Германии в молодости.—Знание военного дела?—Было, притом всестороннее: и пехотного, и кавалерийского, и инженерного, и морского дела.—Умение управлять людьми?—Было несомненно приобретено за очень долгую службу на высоких постах финляндского генерал-губернатора и управляющего морским министерством.—Стратегия?—Да, он был даже и стратегом, несмотря на его неудачи... Казалось бы, что по всем предметам, необходимым для поста главнокомандующего, Меншиков мог бы выдержать экзамен на двенадцать, и все-таки чего-то нехватало в нем, притом самого важного.

Сколько ни думал над ним Стеценко, он все казался ему как-то механически составленным из разнообразных достоинств. Эти достоинства не сплавлялись в нем воедино, не зажигались чем-то неопределимым изнутри, не создавали того, что называется у борцов ловкостью, уменьем, свойственным телу как-то помимо даже ума сосредоточить все силы вдруг в одном месте и этим приемом внезапно одолеть противника, будь он даже гораздо сильнее физически.

Он не ставил в вину Меншикову его преклонных лет; он был достаточно сведущ в истории и знал многих полководцев, умевших побеждать в том же возрасте, что и Меншиков, и даже в более маститом. Он наблюдал иногда, что светлейший как будто горел той или иной мыслью, но он никогда не воспламенялся ею: он не был романтиком, он не был ни капли поэтом, как не был им и тот, чье лицо представлял он здесь, в Крыму. Его ум был сух, его расчеты слишком математичны. Он не мог никого заразить экстазом победы, потому что всякий экстаз вообще был совершенно чужд его натуре. Но война ведь экстатична по самой природе своей. Как бы ни был хорошо рассчитан и подготовлен бой, иногда слепой и темный, но пламенный порыв противника способен опрокинуть в нем все расчеты.

Стеценко часто и настойчиво думал над тем, почему Меншиков, всегда очень выдержанно любезный и аристократически простой со своими адъютантами, так утомительно непрост со своими ближайшими помощниками, командирами крупных войсковых частей, адмиралами и генералами, находя в них только пищу для своего остроумия, даже сарказма. Пусть они очень плохи на его взгляд, но потрудился ли он хоть сколько-нибудь над тем, чтобы сделать их лучше? Всякий великий администратор велик прежде всего тем, что умеет подобрать себе талантливых помощников. Сделал ли хоть что-нибудь в этом направлении Меншиков? Решительно ничего, даже и не пытался делать, только брюзжал на всех.

Но может быть,—задавал себе последний вопрос Стеценко,—совсем не обязательно, чтобы главнокомандующий был великим человеком? И отвечал на этот вопрос решительно: нет, в такой исключительный исторический момент, когда на карту поставлены и честь и целость государства, и сотни тысяч жизней его граждан, главнокомандующий не смеет не быть великим человеком! Он выступает на историческую сцену как избранник целого народа, пусть даже народ и не участвовал в его избрании, и потому обязан быть великим, а если этого нет, то великой ошибкой станет его избрание (или назначение, все равно), и огромной ценой заплатит народ за эту свою ошибку.

Положение свое, как адъюданта светлейшего, Стеценко начал считать каким-то межеумочным, если не зазорным даже, так как его товарищи по флоту честно несли боевую службу на бастионах. Правда, он мог бы, как Виллебрандт, когда-нибудь быть послан к царю с донесением о крупной победе русских войск и этим заработать себе чин полковника, как он же или Сколков, но карьеристом Стеценко не был и такой дешевой ценой зарабатывать чины не хотел.

Он знал, что Меншиков просил всех флигель-адъютантов, отправляемых в последнее время из Севастополя, передать царю, что он болен, нуждается в длительном отпуске для лечения ваннами и покоем. Однако не только ему, но и другим адъютантам светлейшего видно было, что долго так тянуться не может, что это должно чем-то кончиться: или полным выздоровлением князя, или отпуском, который в такое горячее время равносилен смещению с поста главнокомандующего за инвалидностью. Ротмистр Грейг уже начал через свою петербургскую родню хлопотать о переходе в адъютанты к великому князю Константину, другие думали все-таки остаться в Севастополе, где больше возможностей быстро выслужиться, но зачислиться адъютантами к преемнику Меншикова.

О том же, что светлейший, как человек больной, не может уже нести своих обязанностей, открыто говорилось в ставке великих князей, особенно негодовавших на его решение затопить линейные корабли при входе на Большой рейд.

Они говорили возмущенно:

— Если мы сами будем уничтожать свой флот, то этим мы, значит, будем дуть в дудку союзников! Одна из целей войны, нам навязанной,— уничтожение Черноморского флота, и вот не противники наши, а мы сами его топим к их радости! Как будто нельзя просто минировать фарватер Большого рейда и не прибегать к таким варварским мерам, как затопление своих судов.

Но Стеценко слышал и доводы Меншикова против минных заграждений, и в этих доводах была большая доля правды.

Мины для заграждений были двух видов: донные, рассчитанные на то, что их заденут днища неприятельских кораблей и они взорвутся тогда, и мины, соединенные гальваническими проводами с береговыми фортами: взрыв этих мин всецело зависел от бдительности моряков.

Меншиков признавал мины того и другого вида никуда негодными по их качествам, на бдительность моряков не надеялся; говорил, что донные мины будет или срывать штормом или засасывать илом, и в первом случае они будут опасны для своих судов, во втором—безопасны для судов противника, парусный же флот все равно устарел с появлением парового и винтового и особенной ценности не представляет.

Как ни жаль было моряку Стеценке свой Черноморский флот, но он готов был в спорном вопросе стать на сторону Меншикова, а не великих князей; однако решение затопить суда не приводилось в исполнение несколько дней благодаря противодействию царских сыновей. Категорический приказ о затоплении был отдан светлейшим только 12 февраля, после получения известия об отражении атаки союзников на Селенгинский редут. Приказ этот отвозил Остен-Сакену и Нахимову Стеценко, и 12-го вечером были затоплены «Ростислав», когда-то спасенный от этой злой участи Корниловым, «Святослав», «Двенадцать апостолов» и другие, а 13-го утром сторожевой пароход англичан «Мегера» мог уже любоваться верхушками мачт, подымавшимися из воды, как барьер для союзной эскадры.

Конечно, гибель родных судов от собственных рук и в этот раз была не менее тяжелой картиной для моряков, чем потопление первых семи судов за пять месяцев до этого, в начале осады. И Стеценко был грустно настроен утром 13 февраля, когда случайно встретил, будучи в городе, Дебу.

— Очень рад вас видеть, Ипполит Матвеевич, живым и здоровым!—вполне искренне, хотя и обычной фразой обратился к нему Стеценко.—Когда же вас произведут наконец? Я заждался.

— Чем попусту ждать, сделали бы представление,—отшутился Дебу.—Вот и Бородатов тоже ждал производства на новый год,—ничего не вышло.

— А между тем представления посланы были в Петербург и о нем, и о вас тоже. Не понимаю, почему им не дали ходу... А может быть, просто завалялись где-нибудь.

— Будем надеяться. «Надежды юношей питают»,—сказал какой-то поэт...—Улыбнувшись было, Дебу тут же погасил улыбку.—А вы помните Варю Зарубину?

— Ну, вот, как же не помнить? А что с ней?

— Заболела, бедняжка, тифом на первом перевязочном.

— Тифом на первом перевязочном?—повторил Стеценко.—Как же она туда попала, не пойму?

— Она там была сестрой милосердия, и вот... Теперь опасно больна. Конечно, организм молодой, должен вынести, а?—спросил Дебу, глядя на Стеценка так, как будто тот, адъютант главнокомандующего, повелевает тифом.

— Я полагал, что Зарубины уехали уж давно куда-нибудь,—сказал Стеценко.

— Еще до начала осады я им это советовал,— не вняли доброму совету,—что делать! Большая оказалась привязанность к месту... Витя поступил волонтером на Малахов и тоже был ранен; но тот скоро поправился, теперь опять там... Только одна маленькая Оля при родителях.

— Значит, Виктор Зарубин у адмирала Истомина? Вот как! Ну, что же, он—молодчина. Был один из лучших у меня юнкеров в роте,—одобрительно улыбнулся Стеценко.—Ничего, что молод,—таким только и воевать. А Варя—с такими всегда огненными щеками—сестра милосердия стала, это для меня новость... Тиф она перенесет, я думаю, ничего. Были, правда, случаи в Симферополе,—схоронили там трех или четырех сестер,

но те ведь все были уже почтенных для женщины лет.

— Да, да, я тоже уверен, что Варя поправится,—оживился при последних словах Стеценко Дебу.—А то это было бы уж совсем вопиющим абсурдом!

— Э-э, батенька, вопиющих абсурдов кругом нас с вами сколько угодно... Ну, желаю вам здравствовать! Производства все-таки ждите,—представление сделано.

И Стеценко, который был верхом, перегнувшись с седла, протянул Дебу руку, прощаясь.

Дебу, конечно, и без Стеценка знал о вопиющих абсурдах кругом. Один из таких, притом достаточно вопиющий, случился совсем недавно.

Рабочая рота, в которой числился Дебу, целый день начиняла бомбы в одной укрытой от выстрелов пещере. Потом, ночью, эти бомбы грузили на подводы и отправляли на бастионы. Это было обычно, но нужно же было, чтобы в одну из этих подвод, едущую в то время по Театральной площади, попал неприятельский снаряд! Ведь снаряд этот мог разорваться где-нибудь дальше, хотя бы в двадцати шагах, и на это никто бы не обратил внимания. Но он искал себе жертв и нашел их. Бомбы, начиненные с таким старанием, чтобы нести назавтра разрушение и смерть в стан противника, взорвались на тяжелой подводе, запряженной четверкой крупных артиллерийских коней, и взрыв этот был ужасен. От коней и от людей, сопровождавших подводу, остались только разметанные далеко повсюду клочья паленого мяса; в больших домах кругом вылетели рамы, мелкие развалились совсем... Артиллеристы же союзников, пославшие этот злой снаряд, могли торжествовать, конечно: они сделали даже больше, чем думали сделать... Таковы законы войны.

А маленькая Оля Зарубина, проснувшаяся в отцовском домике на Малой Офицерской от страшного грохота и гула, заставившего дрожать даже землю, на коленях молилась перед иконой и требовала от своей кошки, чтобы молилась и она вместе с нею. Кошка эта была умная и кое-что понимала уже в делах веры. Так, когда Оля спрашивала ее: «Машка, где бог?»—она поднимала зеленые свои глаза к небу и принимала очень набожный вид; а когда Оля кричала ей: «Молись, Машка, молись!»—она упиралась лбом в пол и мяукала жалобно, протяжно, сокрушенно и, пожалуй, даже невыносимо: по крайней мере, так казалось Дебу.

2

Главнокомандующий не мог быть и не был на Селенгинском редуте после отбития атаки французов, но зато посетили отстоявший себя редут великие князья.

В Селенгинском полку выбыло из строя всего только пятнадцать человек, и то ранеными. Волынский одними убитыми потерял шестьдесят семь. Они лежали в ряд ниже редута, и в головах их в землю были воткнуты восковые свечи, горевшие теперь днем маленькими желтенькими робкими огоньками. Убитые французы лежали отдельно.

Перед телами убитых и перед оставшимися в строю, наскоро перевязанными, которых набралось до полутораста человек, кто-то должен был благодарить остатки полка за совершенный подвиг, благодарить торжественно, от лица самого императора. Но как раз «лицо»-то это, князь Меншиков, не мог этого сделать. Пришлось старшему из великих князей, Николаю, прокричать:

— От лица государя императора благодарю вас, братцы!—и выслушать многоперекатное «ура», и обещать всем награды, как солдатам, так и офицерам, и «милостиво беседовать» с тяжело ранеными.

Вышло так, что старший из сыновей царя, находящихся в Севастополе, замещал главнокомандующего, выполняя его роль.

Но главнокомандующий, таясь в своей хате по Сухой балке, существовал все-таки, и вечером в тот же радостный день победы по его жестокому приказу затопили три линейных корабля из новых и два фрегата. Это возмутило обоих братьев; это привело их к самостоятельному решению, поддержанному всею их ставкой, начиная с генерал-адъютанта Философова: Меншиков на посту главнокомандующего более терпим быть не может.

Существует множество способов и приемов любую жесткую истину облечь в более или менее мягкие формы, и дня два после того, как решение было принято великими князьями, они отыскивали эти мягкие формы. Остановились на том, чтобы предложить в деликатнейших выражениях самому князю Меншикову написать Горчакову, что благодаря его болезни Севастополь может очутиться в критическом положении, и не только Севастополь, но и вся Крымская армия, что только его, Горчакова, он считает надежным себе заместителем и просит его немедленно прибыть в Крым и принять главное начальство над армией.

Меншикову оставалось согласиться и благодарить за заботу об его здоровьи, хотя он не забыл сказать и о том, что «перемена главнокомандующего без высочайшего на то соизволения совершиться не может».

Это последнее обстоятельство взялся уладить великий князь Николай своим письмом к отцу, а Михаил в то же время написал от себя и брата письмо Горчакову, которое должно было прозвучать, как неотложный приказ.

«Вам уже известно,—писал он,—что здоровье князя Меншикова в последнее время очень расстроилось и теперь дошло до того, что он не

в состоянии ни сесть на лошадь, ни двигаться и принужден большую часть дня проводить лежа; к тому же нервы его так ослабели, что ему крайне трудно заниматься делами, какими он обременен. Поэтому, сколько ему ни грустно и ни тяжело оставить в столь важную эпоху Севастополь, князь решился сдать команду Сакену, а сам едет лечиться на первый раз в Симферополь. Завтра уже начинается сдача, а послезавтра он полагает уехать.

Итак, теперь, в самую решительную и критическую минуту, Крымская армия остается без главнокомандующего!.. Столь важные и трудные обстоятельства подали брату и мне мысль предложить князю Меншикову сообщить вам немедленно о положении своем и здешней армии и убедительно просить вас, не сочтете ли вы возможным сейчас сами прибыть сюда для принятия главного начальства над всеми силами крымскими... Что Севастополь до сих пор держится, мы обязаны вам, ибо вы по всем частям решительно помогали князю Меншикову столь деятельно и неусыпно, что Россия навсегда за это благороднейшее участие ваше останется вам благодарной. Кроме того, вы так внимательно следили с самого начала за ходом здешней кампании, что, найдя здесь образованный штаб и хороших помощников, вам нетрудно будет ознакомиться со всеми обстоятельствами... В нынешнее время все усилия союзников обращены против Крыма, и не позже, как в конце марта или начале апреля, они начнут чрезвычайно решительно действовать и с огромными превосходными силами...

Князь Меншиков вам пишет, кажется, в том же смысле и отправляет флигель-адъютанта графа Левашева к государю; к нему же и брат пишет подробное письмо.

Долг присяги, чувство чести нашего оружия и спасения важного участка нашего государства побудили меня и брата на столь решительное предложение. Мы уверены, что вы, князь, вполне поймете критическое положение Севастополя и здешней армии и для пользы дела сами решитесь прибыть сюда для принятия главного начальства».

Это письмо было послано 16 февраля одновременно с письмом Горчакову же самого Меншикова.

«Великие князья,—писал Меншиков,—узнав, что я вынужден передать командование Сакену и что доктора торопят меня отправиться в Симферополь, чтобы там брать ванны, поручили мне передать вам, любезный князь, что, по их мнению, вы должны приехать в Крым, чтобы принять в свое командование весь полуостров и сделать это немедленно. Сколько им известно, они полагают, что это будет согласно с желанием императора, и просят от себя донести о том его величеству.

Сообщая о вышеизложенном, я только исполняю приказание их высочеств, но со своей стороны должен прибавить от себя, что если вы решитесь на этот шаг, то окажете отечеству услугу, которую, к несчастью, я не в состоянии оказать».

В немногие скупые слова этого письма к другу юности было вложено светлейшим достаточно едкого смысла по его адресу и бессильных выпадов в сторону великих князей, так бесцеремонно сталкивающих его, не спросясь даже у самого царя, с поста главнокомандующего, который он думал оставить только временно в руках Сакена.

В самых неопределенных выражениях писал Меншиков и военному министру Долгорукову:

«Их императорские высочества великие князья, видя необходимость мою отлучиться отсюда в Симферополь для пользования от тяжкого недуга, предложили мне выразить князю Горчакову, что ежели он сочтет возможным отлучиться в Крым, то прибытие его сюда было бы весьма полезно. Мысль эту я передал князю Горчакову частно от имени их высочеств».

Он осторожно писал «отлучиться», в то время как был уже совершенно уволен, безвозвратно снят с поста главнокомандующего самим Николаем в последние дни его жизни; в то время, когда рескрипт об этом, подписанный пока еще наследником Александром, был уже отправлен в Севастополь, а Горчаков как единственный кандидат в главнокомандующие Крымской армией был уже назначен им и обязан был не «отлучиться» в Крым, а «прибыть», чтобы взять бразды правления армией до конца, «оказать отечеству услугу», которую Меншиков «оказать был не в состоянии».

3

Никто не провожал Меншикова, когда он 18 февраля покидал Севастополь в надежде, что покидает его временно, пока излечится от своей болезни и отдохнет от забот и неприятностей, неизбежных, разумеется, при командовании большою армией во время военных действий. Из адъютантов при нем было только двое—Стеценко и Панаев.

Любя во всем точность и снабженный бесчисленным множеством необходимых в дороге вещей, которые были размещены в сорока карманах нескольких напяленных на него одежд, Меншиков, усевшись в бричку, посмотрел на часы. Часов у него было двое, но они были врезаны в одну серебряную коробочку. Конечно, они показывали одно и то же время. Меншиков присмотрелся к ним, прищурясь, и сказал Панаеву:

— Выезжаем в тридцать три минуты первого.

Это была очень странная случайность, что «лицо» императора Николая покинуло навсегда Севастополь как раз в ту минуту,—принимая во внимание долготу Петербурга и Севастополя,—когда душа Николая покинула его бренное тело.

Несколько раз оглядывался Меншиков на Севастополь, пока было его видно. Но вот начала при-

ближаться Бельбекская долина, потянуло холодным ветром с гор. и светлейший съежился в бричке и бормотал:

— Вот какой ветер, поди же ты! Хорошо, что надел я под низ заячью шубку, а то этот ветер меня бы донял!..

Доехав до Бахчисарая, он остановился в нем на отдых и ночевал в домишке отставного унтерофицера, грека. Стеценко к удивлению своему заметил, что на другой день светлейший неузнаваемо сделался бодрым. Даже и стянутое обычно лицо его как-то раздалось вдруг, побелело, помолодело.

— А не съездить ли нам отсюда в Чуфут-Кале?—сказал он вдруг тоном заправского туриста.—Я вообще хотел бы осмотреть окрестности Бахчисарая: они привлекательны своею древностью.

Заложили лошадей,—все было готово для поездки в Чуфут-Кале, как вдруг явился из Севастополя генерал Семякин.

— Ох, опять этот глухарь!—скривил лицо в длинную севастопольскую гримасу Меншиков, чуть только заметил его издали.

Семякину же как начальнику штаба Крымской армии нужно было от него многое, он ездил в командировку и не виделся со своим начальником последние дни; сдача дел Сакену состоялась без него, и у него, естественно, было множество нерешенных вопросов.

Чуфут-Кале пришлось отложить ради Семякина, с которым Меншиков и проговорил, точнее прокричал весь день. Они расстались поздно вечером, а утром на другой день Меншиков заторопился ехать в Симферополь, точно опасался, что может сюда прискакать кто-нибудь еще и растревожить его окончательно возвратом к только что брошенным делам.

Но в Симферополе Меншикова ожидало нечто гораздо худшее, чем надоевшие севастопольские дела. Прибыл курьер из Петербурга, посланный вызвать великих князей в виду тяжелой болезни их отца. Это было до такой степени неожиданно для всех, что Остен-Сакен не решился даже передать тревожного известия великим князьям: им сказали, что тяжело больна императрица, и они понеслись в Петербург. Через Симферополь проехали они, постаравшись не видаться с Меншиковым, который впал в большое уныние, с часу на час ожидая новых, еще худших вестей из Петербурга. Однако вести эти пришли из Севастополя, от Остен-Сакена. Барон сообщал то, что было ему передано союзниками, через парламентера,—о смерти Николая. В тот же день подоспел и рескрипт за подписью Александра, которым Меншиков увольнялся с своего поста.

Этих двух ударов сразу светлейший не вынес: он слег; его била лихорадка. С Крымом было уж для него все кончено, получить какую-либо высокую должность из рук нового царя он не надеялся, для него оставалось в будущем только деревенское одиночество, скука, тишина и... бесславие. Блестящий послужной список его был испорчен Севастополем непоправимо.

Однако на рескрипт, подписанный наследником, необходимо было ответить на имя наследника же, тем более что известий из Петербурга о смерти Николая еще не приходило. И Меншиков ответил.

Это был ответ старого царедворца-дипломата, оскорбленного теми, кому он служил, настолько, что уж не в силах промолчать об этом, но старавшегося высказать это так, чтобы было как можно более похоже на благодарность и преданность до конца дней.

Полученный им рескрипт был писан Александром от имени больного отца. В нем довольно резко упомянуто было и о неудачном Евпаторийском деле, и о собственноручном уничтожении флота, и в самых категорических выражениях давались указания, как надобно поступать в дальнейшем при обороне Севастополя.

Но все это служило как бы только вступлением к сути рескрипта, выраженной в таких словах:

«За сим государь поручает мне обратиться к вам, как к своему старому, усердному и верному сотруднику, и откровенно сказать вам, любезный князь, что, отдавая всегда полную справедливость вашему рвению, государь, с прискорбием известившись о вашем болезненном теперешнем состоянии и желая доставить вам средства поправить и укрепить расстроенное службой ваше здоровье, высочайше увольняет вас от командования Крымской армией и вверяет ее начальству генерал-адъютанта князя Горчакова...»

Требовалось несколько позолотить горькую пилюлю, и рескрипт кончался так:

«За сим государь поручает мне, любезный князь, искренне обнять своего старого друга Меншикова и от души благодарить за его всегда усердную службу и за попечение о братьях моих».

Свой ответ Меншиков начал с того, что командование армией он сдал еще до получения рескрипта, который застал его в Симферополе, давая этим понять, что сам горячо желал только одного—быть уволенным. К этому он тут же добавил:

«Не сумею выразить вашему высочеству, сколь глубоко чувствую и высоко ценю я то лестное внимание, которое оказано мне при этом».

Обещал дальше передать Горчакову при свидании с ним все, что знает, но замечал тут же не без большой доли ядовитости:

«При всеподданнейшем донесении вашему высочеству об этом да будет мне дозволено обратить внимание ваше на—осмелюсь так выразиться—существенную необходимость дать преемнику моему разрешение двигать войска по своему ближайшему

местному усмотрению в то время, когда придется ему маневрировать из одного края полуострова в другой и обращать головные войска наступательных колонн, те войска, которые будут ближе под рукой для стратегического направления их от турок к сардинцам, либо к французам, или англичанам и обратно, смотря куда и как понадобится.

В таком передвижении могут быть войска 6-го корпуса и 8-я дивизия. Уполномочие своевременно и по своему усмотрению распоряжаться сею последнею необходимо дать моему преемнику потому, что их императорские высочества государи великие князья между переданными мне высочайшими указаниями изволили, также именем государя, объявить запрещение сближать к себе 8-ю дивизию. Разрешено мне было только одну бригаду передвинуть в случае крайней необходимости и то не далее как до высоты Симферополя».

Так в ответе наследнику, хотя тот был в конце февраля уже императором, Меншиков, пусть и осторожными намеками, но все-таки пытался свалить на самого царя Николая ответственность перед историей за свои неудачи в Крыму, который представлялся ему в будущем ареной маневренной войны с интервентами.

Он не говорил при этом, что он думает об участи Севастополя, но надеялся, что Александр умеет читать между строками и поймет из его письма, что на сохранение Севастополя нет надежды.

4

— Ну, кажется, я теперь сделал уже все, что от меня требовалось,—обратился Меншиков к своим адъютантам за завтраком после того, как это письмо было отправлено.—Теперь мне остается только повидаться с князем Горчаковым, а это лучше всего сделать в дороге, может быть, в Перекопе, например, но только не здесь... Здесь очень беспокойно. Отсюда я думаю уехать сегодня же.

— Ваша светлость, простите, но, мне кажется, еще одно не сделано вами... Впрочем, может, и сделано, но только я об этом не знал,—сказал Стеценко, слегка улыбаясь, но серьезным тоном.

— А именно, что еще? Что ты предполагаешь?—вскинул на него усталые глаза Меншиков.

— Мне кажется,—впрочем, может быть я ошибаюсь, тогда прошу меня извинить,—кажется, вы не простились с флотом и армией.

— Ты прав,—это надобно сделать теперь же, пока я еще главнокомандующий,—отозвался на это Меншиков.—После свидания с Горчаковым будет уже поздно, пожалуй... Да, тогда будет поздно, а теперь пока рано еще. Вот какое междупредметное положение!

Он попытался усмехнуться, но вместо усмешки вышла затяжная гримаса, справившись с которой, он добавил:

— Из Перекопа можно будет послать обращение к войскам. А теперь вопрос, сколько лошадей нужно будет заложить в мою бричку, чтобы добраться до Перекопа? Я слышал, что очень трудная туда дорога.

Заложили шесть лошадей в бричку, четыре—в тарантас, в котором ехал камердинер Меншикова с багажом. Несколько верховых казаков собственного конвоя светлейшего сопровождало экипажи. И снова началась дорога.

Когда выезжали из Симферополя, Меншиков просил своих адъютантов позорче глядеть по сторонам, чтобы не пропустить встречного курьера из Петербурга, так как и в день выезда—26 февраля—все-таки не было известно и таврическому губернатору Адлербергу, действительно ли умер царь.

И курьер этот был встречен, но далеко от Симферополя, на одной из почтовых станций: это был князь Паскевич, сын фельдмаршала, генерал-адъютант. Он ехал в Севастополь приводить войска к присяге новому императору.

Он вез и депеши на имя Меншикова и еще два рескрипта от Александра II. В первом было сказано между прочим:

«Уволивая вас, для поправления расстроенного на службе вашего здоровья, от всех занимаемых вами должностей, вы остаетесь моим генерал-адъютантом, и я рад буду видеть вас при мне. Если же вы предпочтете остаться в Севастополе, то я вам в этом не препятствую».

От этой фразы у Меншикова сразу потемнело в глазах, не потому, конечно, что она была безграмотно составлена. Дело было в том, что светлейший, хотя и был назначен сначала командующим, потом главнокомандующим, не был в то же время смещен с занимаемых им раньше должностей—финляндского генерал-губернатора и начальника главного морского штаба, кроме того, что был членом Государственного совета. Первый из полученных через Паскевича рескриптов оставлял его совсем не у дел. Второй, данный на следующий день, был несколько милостивее: право заседать в Государственном совете у него не отнималось.

— Ну, вот, кончено,—сказал, простившись с Паскевичем, Меншиков своим адъютантам.—Я теперь только член Государственного совета и ничего больше... Я уже не имею больше права на адъютантов. Теперь мне остается только пристроить вас, потому что остальные, кажется, уже пристроились раньше. Подумайте,—и если я что-нибудь еще могу для вас сделать, я сделаю.

Когда Стеценко, в ответ на это, высказал свое желание итти на бастионы, Меншиков был искренне изумлен такою несообразностью.

— Что ты, помилуй! Я дам тебе самую лестную рекомендацию, и ты перейдешь адъютантом к князю Горчакову! А на бастионах—какое же там дви-

жение по службе?.. Кроме того, разумеется, что ведь и небезопасно... Нет, ты подумай над этим хорошенько, а скажешь мне об этом потом, когда доедем до Николаева.

Панаев с первых же слов заявил, что очень хотел бы остаться при светлейшем, хотя бы и не в качестве его адъютанта. Такая привязанность к нему, казавшаяся совершенно бескорыстной, заметно тронула старика, но не Стеценка: он твердо решил вернуться к строевой службе.

До Николаева же было еще далеко; не близко оказалось и до Перекопа: считалось между Симферополем и Перекопом не меньше двухсот верст. Дорога была убийственная, и именно только теперь, когда пришлось ехать по ней самому Меншикову, он оценил ее по достоинству.

В сущности, не было никакой дороги,—была разлегшаяся по степи топь, по которой колесили подводы обозов во всех направлениях, ища более твердого грунта, но делая это совершенно напрасно: грунт был везде одинаковый—лошади по колено, заднему колесу по ступицу. Когда он был жиже, по нем тащились, как по болоту, с огромным трудом, правда, но кое-как тащились. Теперь же, после нескольких сухих дней, грязь стала гуще и невылазней. Она точно издевалась над всеми усилиями коней и людей. Жирно и звучно чавкая, она засасывала, заглатывала и подводы и ноги. И если шестерик, а за ним четверка экипажей Меншикова едва тащились шагом, то встречные обозы стояли. Из подвод в них выпрягали лошадей и уводили к ближайшим станциям, бросая грузы, которые назначались все для нужд армии в Севастополе.

Светлейший в первые часы этой дороги любопытствовал, что за грузы были брошены беспризорно посреди невылазной степи, и качал сокрушенно головою, что все это дозарезу нужное русской армии, что этого ждут не дождутся, а оно брошено, засосанное пятой стихией—четвертым союзником турок, и нет таких сил в русской природе, которые пришли бы на помощь злосчастным севастопольцам.

К вечеру все совершенно выбились из сил: и лошади, и кучера, и казаки конвоя, и адъютанты, и камердинер Разуваев, и больше всех, конечно, сам Меншиков.

Остановились на станции Акбары и здесь заночевали. Однако самая трудная часть пути была еще впереди и именно под Перекопом, который стал казаться зачарованным по своей недоступности.

Тут, от близости Сиваша, почва пошла глинисто-солонцеватая, и до того была густа грязь, что колеса экипажей облеплялись ею сплошь и совершенно теряли способность вертеться. Казаки пытались счищать с колес эту грязь своими кинжалами, но не видно было ни конца топи, ни конца бесполезной трате сил. Лошади стали, понурив головы; пар от них шел, как от котлов на ротной кухне. Их оставалось только выпрячь, как это сделали кругом подводчики, потому что кругом торчали, оглоблями кверху, брошенные воза.

— Хорошо, выпрячь,—и что же делать дальше?—спрашивал Меншиков опытных людей, дававших такой совет.

— А дальше,—верховые, может, доберутся до Перекопа,—отвечали ему,—там в соляном ведомстве, а то даже и на станции, есть быки... Так вот, если пар по десять быков пригонят да запрягут в бричку и в тарантас, те авось как-нибудь вытянут.

Пришлось отправить казаков за быками. С ними поехал верхом и Стеценко. Меншиков остался в бричке, так как вылезать из нее, чтобы немедленно полуутонуть в грязи ему, пока еще главнокомандующему Крымской армией, не хотелось.

Был день. Шли часы. Исполосованная повсюду колесами и уставленная засосанными возами, как ярмарочная площадь, лежала кругом унылая степь. Меншикову оставалось только думать,—о настоящем, о будущем, о прошлом...

В одном из рескриптов, им полученных, говорилось о его сыне Владимире: «Известясь о болезненном состоянии сына вашего вследствие сильной контузии, его величество разрешает ему воротиться сюда и вместе с тем назначает его генерал-адъютантом».

Но еще до получения рескрипта он сам отправил сына в Петербург под предлогом донесения об устройстве Селенгинского редута на склоне Сапун-горы, но больше потому, что тот, естественно, льнул к ставке великих князей, как будто и не желая совсем замечать, что в этой ставке все настроены против его отца. Контузия, полученная им на Инкермане, была из самых легких и послужила просто предлогом, чтобы его выслать из Севастополя. Гораздо тяжелее была «контузия», приобретенная им в детстве и юности.

Один из образованнейших людей своего времени, Меншиков совершенно не занимался воспитанием сына, и он до такой степени безграмотно писал по-русски, что заставлял краснеть отца, и до такой степени не выносил около себя никаких книг, что светлейший боялся завещать ему свою громадную и очень ценную библиотеку, в которой им самим была внимательнейшим образом, со многими отметками на полях, прочитана каждая книга.

А между тем Владимир Меншиков был его сын. Как же это случилось, что у него оказался именно такой сын?.. Когда-то, очень давно, когда он сам был еще молод, отец его написал ему, блестящему преображенцу, что нашел для него невесту, и предлагал ему приехать посмотреть ее. Он не поехал, но написал отцу:

«Je n'ai rien à voir; j'épouserai une chèvre si elle a des cornes d'or et si elle est capable de mettre au monde un Menchikoff»[1].

Козою с золотыми рогами и оказалась его невеста, графиня Протасова, обладательница семи тысяч душ крестьян и целых залежей бриллиантов. Это была безобразнейшая женщина, толстая, краснолицая, глупая, полуграмотная, знакомая только со святцами и житиями святых. Она таскалась по монастырям, беседовала только с богомолками и монахами, окружила себя юродивыми и странниками.

И все-таки он, усвоивший всю философию восемнадцатого века, женился на ней. Что могло быть общего между ними? Ничего, конечно. Он был красавец самых утонченных манер; она же, появляясь вместе с ним на великосветских балах, была предметом самых откровенных насмешек. Она пыталась наряжаться как можно богаче, но от этого делалась еще смешнее. Кивая на нее, острил он, ее муж: «Не правда ли, я похож на пилигрима в Мекку[2] со своим верблюдом?» Однажды он посоветовал ей явиться на костюмированный бал Орлеанской девой. Она даже и не подумала заподозрить издевательства в этом совете. Костюм Жанны д'Арк был заказан, и она блеснула им на балу, вызвав такую бурю хохота, что вынуждена была уехать.

В то же время она бешено ревновала его к светским дамам, а чтобы расположить его к себе, прибегала к помощи ворожей и засовывала тайком в карманы его парадного мундира наговоренные корешки, которые высыпались в самых неподходящих для этого местах, когда он доставал платок.

Меншикова она родила ему,—это и был Владимир, нынешний генерал-адъютант; кроме того, родилась у нее от него дочь, бывшая теперь замужем за Вадковским; но он отходил от жены все дальше и дальше и сначала поселился в особом доме, сообщавшемся, однако, с домом жены коридором, потом приказал заложить кирпичом и этот коридор, чтобы даже случайно как-нибудь не встретиться со своей женой.

С тех пор они больше и не видались. Он делал большую карьеру при дворе,—ездил в одной коляске с царем; она же снова начала ездить по монастырям и принимать у себя странников и юродивых. Заниматься воспитанием детей ему было некогда, да этим и вообще не занимались вельможи того времени, предоставив скучные заботы эти нанятым гувернерам и гувернанткам из иностранцев. Таким гувернером у сына был m-r Voison.

Когда сыну исполнилось шестнадцать лет и надо уж было отдавать его в Пажеский корпус, отец вздумал проэкзаменовать его сам и испугался его невежества. Он не только не знал, кто был Юлий Цезарь и какой главный город Швеции,—он не знал и сложения, не умел написать правильно под диктовку почти ни одного русского слова, а при чтении русской книги так спотыкался на каждом шагу и немилосердно перевирал слова, что пришлось прекратить эту пытку, вырвав у него из рук книгу... Зато у него была коллекция кнутов и уздечек и даже любовница на содержании.

За большие деньги нашли ему учителя из преподавателей Пажеского корпуса, и кое-как он был принят в пажи. Но через год ему, по безграмотности, предложили все-таки уйти из корпуса. Удалось устроить его в артиллерию, а оттуда перевести в лейб-гусары... Так и остался он круглым невеждой, повышаясь в чинах только благодаря заслугам и положению отца.

Однако не лучше вышла и дочь. Она засыпала его ругательными письмами с требованиями денег, денег и денег. Эти письма, писанные по-французски, представляли собою верх безграмотности, по-русски же она совсем не писала. За долги ее чуть что не сажали несколько раз в тюрьму, и ему, во избежание скандала, приходилось платить за нее огромные суммы. Он называл ее своей Лукрецией Борджиа[1].

Теперь, в старости и в немилости у судьбы, Меншиков видел, что у него нет и семьи, что он—одинок и что это возмездие за легкомыслие молодости. Сын его, всегда стоявший перед ним воплощенным укором, вдобавок был и бездетен, и внука Меншикова у него уже не могло быть: род его угасал на его глазах...

Именно тут, в перекопских топях, представилось ему непростительной оплошностью, что он не удосужился до сих пор разыскать место в Березове, где был похоронен начальник рода Меншиковых, Александр Данилович[2], сподвижник Петра. О его прабабке, жене Александра Даниловича, Дарье Михайловне, сохранилось предание, что она тяжко заболела на пути в ссылку, ослепла от слез и, наконец, умерла в селе Верхний Услон, на пути в Сибирь. Там же и выкопал для нее могилу собственноручно Александр Данилович, сам сколотил гроб, сам отчитал по ней псалтырь, сам опустил

---

[1] Мне нечего смотреть; я женился бы и на козе, если у нее золотые рога и она может родить Меншикова (франц.).

[2] *Мекка*—город в Аравии, место рождения Магомета, основателя религиозного учения магометан, привлекающее большое число пилигримов-мусульман.

[1] *Лукреция Борджиа* (1480—1519)—дочь папы Александра VI Борджиа, известная своей красотой, расточительностью и распутством.

[2] *Ал. Д. Меншиков* (1670—1729) — сподвижник Петра I и почти полновластный правитель в царствование Екатерины I; при малолетнем императоре Петре II был в 1729 г. сослан в Сибирь, в Березов на р. Оби, где и умер.

гроб в могилу и засыпал мерзлой землею, а на могиле положил камень с надписью, тоже выбитой им самим.

Настоятельно необходимым показалось Меншикову именно теперь поставить на могилах прабабки и прадеда внушительного вида часовни.

Засосанная грязью бричка стояла так до вечера, когда показалось, наконец, целое стадо быков оттуда, со стороны Перекопа. Больше часу прошло, пока их впрягли в бричку—пять пар. Сгустились сумерки. Флегматичные животные еле переступали с ноги на ногу, тем более что с трудом могли и вытаскивать ноги. Но бричка все-таки двигалась куда-то в темь под крики погонщиков-украинцев.

Можно было думать, что к утру, а если не к утру, то к полдню следующего дня зачарованный Перекоп станет явью. Меншиков закрыл глаза и, усталый, крепко заснул.

5

В Перекопе, остановившись у соляного пристава, Меншиков отдыхал пять дней, думая здесь же дождаться и Горчакова и передать ему свой пост. На досуге он написал и ответное письмо новому царю на полученные через Паскевича два его рескрипта и последний «Приказ главнокомандующего сухопутными и морскими силами в Крыму».

Приказ этот кончался так:

«Товарищи!.. Тяжкими недугами разлученный с вами, мне остается только искренне поблагодарить всех и каждого из моих морских и сухопутных войск сотрудников, от генерала до рядового, за неоднократное доставленное счастие передавать им царское «спасибо», и, покидая, по необходимости, ряды доблестного воинства, я утешаюсь убеждением, что, удостоенное прежде, оно не перестанет и впредь заслуживать монаршее одобрение, радуя нашего царя успехами защиты православного дела.

Товарищи! Прощайте! Господь да помогает вам».

В этом последнем его приказе было кое-что общее с последним приказом Сент-Арно, даже и кроме французского построения некоторых фраз. И тот и другой главнокомандующие оставляли свою армию по причине «тяжких недугов». Третий из главнокомандующих, начавших войну в Крыму, Раглан, ждал своей очереди.

Но хотя Меншиков и послал этот приказ в Севастополь, он не сдал еще должности, поэтому должен был поневоле принимать начальников проходивших через Перекоп воинских частей и давать им указания и наставления. Это ему надоело, наконец, и он решил поехать навстречу к Горчакову, рассчитав, что встреча с ним, едущим из Кишинева, может произойти в Херсоне, губернском городе Новороссийского края, где будут полные удобства передать ему все, что представится необходимым.

От Перекопа до Херсона считалось по почтовому тракту девяносто верст, но дорога здесь была несравненно лучше, чем в Крыму, и лошади гораздо менее изнуренные. Меняли их на каждой станции, бежали они бойко, и, выехав из Перекопа рано утром, Меншиков в два часа дня был уже в городе Алешках на Днепре. Через Днепр, который был здесь очень широк и вполне свободен ото льда, был виден Херсон.

Расчеты светлейшего оказались правильны: Горчаков был уже в Херсоне, и Стеценко был послан к нему с письмом, чтобы он подождал друга своей юности, готовящегося переезжать Днепр. Однако Стеценко очень быстро вернулся в сопровождении одного из адъютантов Горчакова: новый главнокомандующий просил друга юности не спешить в Херсон, так как он сам спешит к нему в Алешки.

Меншиков несколько удивился такой ретивости, но остался ждать его в Алешках, городишке маленьком и грязном, расположенном на луговом берегу, в то время как Херсон на нагорном.

Бесконечные рыжие камыши—плавни—покрывали Днепр со стороны Алешек, и нужно было выбрать на берегу особо высокое место, чтобы рассмотреть лодку, в которой переправлялся Горчаков, окруженный своим штабом. Лодка приближалась медленно, наконец пристала к берегу, и новый главнокомандующий, едва выбрался из нее, так и бросился с юношеской резвостью в объятия старого.

Можно было бы ожидать, что друг юности упрекнет Меншикова за то, что тот, так несвоевременно заболев, обрушил на его узкие плечи совершенно непосильную тяжесть, под которой придется согнуться в дугу, если не сломиться в первое же время. Но ни малейшего намека на укоризну не только в словах, даже и во взглядах не проскользнуло у Горчакова: он был как бы с головы до ног,—кстати сказать не менее длинных, чем у светлейшего,—упоен восторгом, что едет спасать Севастополь, Крым, всю Россию. Тут же он представил Меншикову своего начальника штаба генерал-адъютанта Коцебу, начальника артиллерии генерала Сержпутовского и других. Свита его была многочисленна и вся полна неистраченной, накопившейся за долгое кишиневское безделье энергией. Такая, скрытая пока, но готовая вот-вот неудержимо вспыхнуть энергия бывает у застоявшихся на обильном корме в конюшнях коней, и не только Меншикову, даже и Стеценке странно было, хотя и издали, наблюдать ее после тяжких и грустных севастопольских впечатлений. Все так и рвались в бой, как и сам Горчаков, ничего не видевший по близорукости дальше, чем в десяти шагах, и ничего не слышавший из того, что говорилось в пяти метрах. Стеценко вспомнил,

где и когда он видел толпу таких же блестящих военных, то и дело сыпавших шутками и заливавшихся самым непринужденным смехом: это было в ставке Меншикова перед боем на Алме.

В скромном по внешнему виду доме, занятом Меншиковым на берегу Днепра, и произошла смена главнокомандующего Крымской армии,—сдача дел старым, прием их новым, но очень изумил светлейшего при этом друг его юности. Он если и приседал иногда на минуту, слушая монотонную и тихую, но богатую содержанием речь Меншикова, то только затем, чтобы тут же вскочить и начать, поблескивая очками, метаться по комнате, жуя в то же время пряники, поставленные для него предусмотрительно в трех местах: на столе, на этажерке и на подоконнике.

Казалось Меншикову, что это были самые обыкновенные пряники на меду, которых трудно съесть много. Но Горчаков уничтожал их один за другим в количестве баснословном. Жевал он быстро, как жуют козы, но Меншиков сомневался, слышит ли он его, мечась на длинных ногах по комнате, стуча каблуками и звякая шпорами. Он знал, что глухие слушают больше открытым ртом, чем ушами, однако рот Горчакова был очень плотно забит пряниками.

Между тем все, что он мог передать новому главнокомандующему о деле обороны Севастополя и Крыма, представлялось ему теперь, на большом расстоянии, очень отчетливо и было важно. Расположение войск русских и войск союзников, снабжение Крымской армии боевыми припасами, продовольствием, палатками, полушубками, которые начали поступать в Севастополь большими партиями только в феврале, на исходе зимы,—врачами и принадлежностями госпиталей, медикаментами и подводами для перевозки раненых и больных в тыл,—обо всем этом без напряжения голоса, но обстоятельно говорил Меншиков и видел, что это как будто совсем не занимает Горчакова, не нужно ему.

Светлейший заговорил о новом этапе оборонительных действий—системе контрапрошей, из которых редут Селенгинского полка был не только сооружен на виду у противника, но и защищен блестяще волынцами в ночь с 11 на 12 февраля.

Горчаков уселся против него и, казалось, стал слушать внимательней, однако не переставая жевать пряники быстро-быстро, как козы. Голова у него была вытянутая, но узкая, а лицо еще более плоское, чем у его брата, командира 6-го корпуса.

Меншиков, расхвалив генерала Хрущова и полковника Сабашинского, перешел к устройству другого редута—Волынского, законченного вчерне как раз в день его отъезда из Севастополя, но вот Горчаков снова вскочил и застучал каблуками, зазвякал шпорами, мечась по комнате.

Это озадачило Меншикова. Он умолк. Он смотрел на друга юности с недоумением, стараясь определить, в порядке ли то, что находится в его длинном и узком черепе.

— Ах, боже мой, Александр Сергеевич!—заметив его испытующий взгляд, вскричал Горчаков фальцетом.—Все это прекрасно, что вы мне говорите, и за всем этим я следил из Кишинева неослабно, да, неослабно!.. Но у меня там, на свободе, выработался свой план ведения войны, чудесный план, поверьте, мой друг! Простой и чудесный!.. И вот он в чем заключается, чтобы не тратить лишних слов на его изложение...

Тут Горчаков вытащил из бокового кармана мундира бумагу, сложенную в восемь долей и действительно оказавшуюся планом, точнее даже картой Севастополя и его ближайших окрестностей. На этой карте черными треугольниками, расположенными в шахматном порядке, испещрены были все склоны Инкерманских высот.

— Что это такое?—в недоумении спросил Меншиков.

— Это? Редуты, которые будут построены, чтобы изгнать неприятеля,—очень весело ответил Горчаков, поднимаясь на носки, склонив голову и поднося ко рту новый пряник.

— Редуты?.. Какая же их тут стая!.. И в каком они завидно безупречном строю!.. Но должен я сказать вам следующее, Михаил Дмитрич. Во-первых, они у вас тут приходятся на таких местах, где их совершенно невозможно построить...

— Ничего, русские саперы построят,—махнул рукою Горчаков.

— Думаю, что и у меня тоже были русские саперы,—живо возразил Меншиков,—однако не везде им удавалось строить редуты... Затем я очень плохо представляю, сколько именно пехотных полков думаете вы бросить на защиту такой массы редутов и где вы возьмете эти полки...

— О-о, разумеется, все это у меня рассчитано, будьте покойны!—весело сказал Горчаков и, перевернувшись волчком на одном левом каблуке, отошел к этажерке за пряником.

— Бсюсь, как бы вы не заболели, Михаил Дмитриевич,—кивая на пряники, не удержался, чтобы не заметить, Меншиков и добавил тут же:—Затем я еще хотел сказать, что даже если все эти редуты будут при вас воздвигнуты и защищены даже,—на что должно уйти несколько месяцев,—то все-таки наступательного значения они ведь иметь не могут, а только оборонительное. Что же касается решительного удара, то его можно нанести там, где это не удалось сделать мне двадцать четвертого октября, именно со стороны Инкерманского моста,—вот здесь!

И Меншиков приставил указательный палец к той точке карты, на которой был показан Инкерманский мост, но Горчаков не посмотрел даже ни на него, ни на его палец, потому что в это время

вошел его камердинер и внес еще две тарелки пряников.

— Нет, положительно вы решили заболеть, Михаил Дмитриевич,—и вы заболеете, уверяю вас, вы заболеете!—раздосадованный поднялся с места Меншиков и вышел из комнаты.

Они разъехались в тот же день, эти друзья юности,—один, направляясь в Николаев, на покой, другой—в Севастополь на ратные подвиги. И хотя после сдачи своего поста Меншиков не мог удержаться от того, чтобы не отпустить несколько острот по адресу Горчакова, все-таки Стеценко, к удивлению своему, увидел в нем разительную перемену. Он как будто воочию скинул со своих сутулых и тощих плеч страшную тяжесть и теперь на глазах в два-три часа помолодел, выпрямился, стал похож на студента, сдавшего все экзамены.

Переехав на лодке через Днепр в Херсон, он сказал Панаеву и Стеценке:

— Как это ни странно, но не приходилось мне почему-то бывать в Херсоне. Давайте-ка пошляемся по улицам, посмотрим, что это за город такой.

И пошел бодро, забыв о своих болезнях.

Вспомнив, что у него на исходе сургуч, зашел он в лавочку канцелярских принадлежностей и обратил внимание на обыкновенную жестяную песочницу, широкую, приземистую, окрашенную в голубой цвет.

— Прекрасная вещь,—залюбовался ею Меншиков.—И песку поместится много и зря его не просыпешь. Сколько таких имеется у вас, любезный?—обратился он к лавочнику.

— Шесть штук, ваше-с...—запнулся лавочник.

— Очень хорошо, шесть штук! Вот я и возьму у вас все шесть штук... новеньких, голубеньких, в дополнение к такой старой песочнице, как я!

И, говоря это, Меншиков улыбался весело и смотрел молодцевато на своих адъютантов, топорща плечи, украшенные генерал-адъютантскими погонами.

Стеценко проводил его до Николаева, то есть проехал еще шестьдесят верст по почтовому тракту, и там с ним простился, взяв, правда, данную им письменную рекомендацию, адресованную Горчакову, но решив никогда не пускать ее в действие; при этом он обещал все-таки довести до сведения нового главнокомандующего, что наступательную операцию можно вести только со стороны Инкерманского моста.

Когда он добрался до Севастополя, его на другой же день зачислили на первую дистанцию оборонительной линии на должность траншей-майора.